Борис Панкин

Та самая эпоха

СОБРАНИЕ
МОСКВА • 2008

УДК 82-32+82-4
ББК 84Р7-4
П16

© Панкин Б.Д., 2008
© Панкин Б.Д., составление, 2008
ISBN 978-5-9606-0057-6
© Оформление. ООО «Издательство “Собрание”», 2008

Содержание

О себе... 7
...о читателях моих 9

Глава первая.
СТРОГАЯ ЛИТЕРАТУРА

Вместо предисловия 13
Прощания и встречи с Матёрой 17
Живут Пряслины!. 34
Не по кругу, по спирали! 57
Василий Шукшин и его чудики 83
Ребята и зверята 98
Взгляд через годы 103
Плут или простак? 117
Волки сгубили... 123
Джордж У. Колдуэлл и другие 136

Глава вторая.
ЧЕТЫРЕ Я КОНСТАНТИНА СИМОНОВА

Вместо предисловия 143
Пролог. 147
К.М.. 179
Эпилог 350

Глава третья.
СТО ОБОРВАННЫХ ДНЕЙ

Вместо предисловия 357
В ближневосточном котле 359
Мадрид — начало арабо-израильского диалога 381
Мадрид — последний саммит Горбачева. 386

Глава четвертая
ПРЕСЛОВУТАЯ ЭПОХА

Вместо предисловия 393
Дядя Вася и юный тимуровец 396
Тетка Маша, или Бабушкино заклятие 399
Хохловка — это где? 404
Как все-таки не погасили факел 407
«Запиши, как доехать...» 414
Федор Великий Александрович 418
Се человек 429
Красная Лолита 435
«И так — каждый вечер...» 447
Волною бурной рока 455
У неба отпросился... 465
Мы не будем этой темени бояться. 475
Некто из Воронежа, или три трости к юбилею 477
Четвертое измерение. 485
«Глядя на луч пурпурного заката...». 492
Валюн из Переделкино 494
Кипучий родник на Мысах 508
«Свободы сеятель...». 527
Бенни Андерссон из «АББА» поет «Катюшу». 539
День первый, день последний 544

Глава пятая.

ШВЕДСКИЙ ДОМ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Вместо предисловия 553
Улоф Пальме — его любили и ненавидели 556
Стокгольмские каникулы 562
Звонок из Уппсалы 565
Ингвар Кампрад — олигарх из Ельматарюда 569
Карлсон, который живет в каждом доме 574
А почему бы и нет? 579

МОЕЙ ЖЕНЕ
ВАЛЕНТИНЕ ПАНКИНОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

О себе…

Сознаю, что автору, рискнувшему поселить свои книги разных лет под одной крышей, надо сказать хотя бы несколько слов в свое оправдание.

Одно из них, о чем подробнее скажу во втором предисловии, — апелляция к суду моих профессиональных и непрофессиональных читателей, который нашел свое выражение в статьях, рецензиях, письмах знакомых и незнакомых мне людей, в переписке с ними, в выступлениях участников читательских конференций.

Другое слово нужно, чтобы избежать упрека в самомнении. Это Евтушенко или Белле Ахмадулиной не надо напоминать читателю, кто они такие. А нашему брату — чернорабочему журналистики и литературы — явно не помешает.

Итак, Панкин Борис Дмитриевич. Родился 20 февраля 1931 года в столице советской Киргизии Фрунзе, названной так в честь в честь одного из полководцев гражданской войны — Фрунзе, уничтоженного впоследствии Сталиным.

Отец, выходец из крестьянской семьи в Саратовской губернии, признанной в пору коллективизации кулацкой, от ареста скрылся и уехал в Среднюю Азию, где обрел дефицитную тогда профессию механизатора.

Там же и по тем же причинам обрела пристанище семья моей матери — купцы первой гильдии из Оренбурга Ишковы.

Так что плоха Октябрьская революция или хороша, не будь ее, мои родители никогда бы не встретились, и я, как и мой младший брат Александр, никогда бы не увидел этот свет. То же самое могут сказать о себе миллионы моих сверстников и соотечественников.

Мне было всего десять месяцев, когда отец, опустив очередной раз в анкетах свое неприемлемое происхождение, увлек семью в Москву, где поступил сначала на рабфак, а потом в МАДИ, Московский автодорожный институт, по окончании которого был «распределен» на строительство автомобильной дороги Улан-Удэ — Улан-Батор, из Бурят-Монголии в Монголию.

…Вспоминаю, что читать я научился рано, в пять с половиной лет, и по этой причине был в нарушение правил записан в детскую библиотеку, так сказать, досрочно. Первой книгой, которую я попросил в библиотеке, как тогда говорили, был рассказ в стихах о «Дяде Степе» Сергея Михалкова, с которым много позже довелось состоять в одном писательском союзе.

Следующее воспоминание, связанное с книгой, относится к зиме 1938 года, когда я, второклассник, живущий «в нахлебниках» у друзей моих родителей в монгольском, пограничном с нашей Кяхтой городке Алтан Булак, был уличен моим отцом, нагрянувшим нежданно с трассы, в чтении «Ямы» Куприна. В свою защиту я сказал (и показал), что читаю еще и драмы Шиллера, «Разбойники», «Вильгельм Телль» и другие.

Увлечение с малолетства чтением не осталось безнаказанным. После десятилетки меня потянуло в МГУ и не куда-нибудь, а на только что созданный факультет жур-

налистики. Когда под первой в моей жизни заметкой в многотиражке «Московский университет» я увидел свою фамилию, у меня в самом буквальном смысле закружилась голова.

«Благородная страсть печататься» (В.И.Ленин) привела меня в «Комсомольскую правду», где я начал литсотрудником «на полставки», а закончил, двадцать лет спустя, главным редактором с восьмилетним стажем в этой должности.

За эти же годы «вырос», как тогда было принято выражаться, в литератора — репортера, очеркиста, литературного критика.

За книжку «Газетный писатель» получил премию Союза журналистов, за книгу «Время и слово» — премию Ленинского комсомола.

Моя повседневная работа на ниве литературной критики вылилась в книгу «Строгая литература», которая в 1982 году удостоилась Государственной премии.

Она-то теперь и легла в основу одноименной первой главы этого тома «Избранного», который я назвал «Та самая эпоха».

Когда-то я сказал о себе и, кажется, даже где-то написал, что каждое крупное событие жизни переживаю дважды — сначала в реальности, потом — с пером в руках. Таким событием, длившимся годы, стала моя встреча, а потом и дружба с Константином Симоновым. Роман о нем я начал писать сразу после его смерти в 1979 году, а закончил и опубликовал в 1998 году, когда позади уже были не только «Комсомолка», но и девять лет во главе созданного велением Хельсинкского акта (1975) Всесоюзного агентства по авторским правам, восемь лет посольствования в Швеции, полтора года — в Чехословакии, за чем последовали три месяца в роли последнего министра иностранных дел СССР и три года — послом России в Великобритании.

Хронологически «Четыре Я Константина Симонова» являются второй главой в «Избранном», но между романом и «Строгой литературой» были еще «Сто оборванных дней» — размером в книгу художественно-публицистический репортаж о последних днях Советского Союза, написанный по горячему следу головокружительных событий конца перестройки, коих я был не только свидетелем, но и участником. Как сказал об этой книге мой земляк, сердобский писатель Владимир Коновалов: «В книге последнего министра иностранных дел СССР Бориса Панкина "Сто оборванных дней" — сюжеты, за которые много бы отдал автор "Графа Монте-Кристо"».

Парадоксально, но факт: и «Симонов», и «Оборванные дни» впервые были опубликованы в Швеции. Последнюю шведские издатели просто сорвали, можно сказать, с пера, хотя создавалась она уже при посредстве компьютера.

В России, где книга вышла в 1993 году в издательстве «Совершенно секретно», она не менее года оставалась в числе бестселлеров. Она же побудила Бориса Ельцина на одном из заседаний выкрикнуть перед оком телекамер на весь белый свет, что «пора разобраться с нашим послом в Лондоне», который там какие-то книги пишет в рабочее время. Указ президента об отставке последовал на второй день после того, как в «Известиях» появилось мое «самоубийственное», по выражению одной газеты, интервью, в котором я должным образом ответил на «извержение» Бориса Николаевича. В результате из Лондона я, с вынужденного согласия МИДа, поехал не в Москву, а в Стокгольм, где мы с женой решили провести несколько моих неиспользованных в турбулентные годы отпусков. А там само собой явилось решение жить «на два дома», в Москве и Стокгольме, благо инициированные перестройкой перемены в законах этому не препятствовали. Тем, кто меня спрашивает, когда я вернусь, отвечаю, что не уезжал.

«Симонова» в журнальном варианте рискнул опубликовать только покойный ныне редактор «Юности», мой коллега по «Комсомолке» Виктор Липатов. Говорю «рискнул», потому что в начале девяностых, в пору оголтелого «переосмысления» всего и

вся, даже близкие Симонову другие боялись «оскоромиться» симпатиями к «сталинскому любимцу». Трения возникали даже с близкими мне людьми из симоновского круга, который он в шутку называл своим «дворянско-еврейским подворьем».

И только в 1998 году книга в полном объеме увидела свет в издательстве «Воскресенье». Причем и тут не обошлось без содействия шведа — Бенни Андерссона из ABBA, который посмотрел сделанный мною в содружестве с режиссером Владленом Трошкиным фильм о К.М. Бенни по сию пору не расстается с мыслью написать музыку к «Жди меня».

В стокгольмскую пору я написал «Пресловутую эпоху» (2002), где само название и подзаголовок — «в лицах и масках, событиях и казусах», — говорит о отчаянной попытке автора объясниться со временем, в котором он живет, оперируя не тезисами и понятиями, а образами и портретами наиболее примечательных современников, с которыми сводила судьба, — будь то старый волчатник из Ново-Хоперского заповедника Василий Анохин или прозаик Юрий Трифонов, Галина Уланова или Ясир Арафат, Горбачев с Ельциным и Маргарет Тэтчер с Джеймсом Бейкером…

Забегая чуть вперед, скажу, что предисловие к переводу на шведский моей последней по времени книги «Шведский дом и его обитатели», которая стала пятой главой в «Избранном», я начал словами, что эту книгу я не просто написал, я ее прожил и живу в ней вот уже более двадцати лет.

Подобно Борису Дьякову, руководившему до недавнего времени Санкт-Петербургской социал-демократической организацией, который в «Российской газете» назвал книгу «откровением для всех российских социал-демократов», я думаю, что «шведская модель» государства всеобщего благосостояния больше всего подошла бы нам из того, чему можно поучиться у Запада, со всеми необходимыми поправками, разумеется, на историю нашей страны, характер и численность народа, размеры территории и другие геополитические факторы.

На этом я заканчиваю свое первое обращение к читателю и приглашаю его познакомиться со вторым.

…о читателях моих

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», — сказал поэт, и прежде чем дать согласие издательству, я мысленно пробежал по страницам своих книг и, что оказалось еще важнее, заглянул в архивы, поднял, ох как ненавижу этот кондовый оборот, отклики на скромные свои труды, и опубликованные, и эпистолярные, и… не стесняюсь признаться — был приятно, нет — радостно удивлен.

Жило, жило, конечно, во мне воспоминание о том, что начиная еще с 1960-х годов выход каждой из моих книг, да и отдельных работ, из которых они складывались, вызывал, иногда сильнее, иногда слабее, волну читательского интереса, который для автора всегда важнее всех наград, хотя и ими я не был обделен. Но то, что столько искренних, проникновенных строк было написано, слов прозвучало, открылось для меня как бы заново. Надеюсь, что воспроизведение некоторых из них в этой книге не будет сочтено ее читателями за нескромность.

Ведь сказанное в заочном разговоре со мной моими профессиональными читателями, то есть литературными критиками, и просто читающим народом самых разных профессий относится не только к моим сочинениям. Люди говорили о жизни, не стесняясь касаться ее пороков, делились своими взглядами на настоящее и прошлое,

размышляли, как правило, с тревогой о ближайшем и отдаленном будущем страны и ее народов. Они и сегодня, эти строки, звучат не ностальгически, вот, мол, как жили-то люди, а актуально. Вчитываясь в них, как правило после довольно-таки большого перерыва, начинаешь по-новому понимать многое в дне сегодняшнем. Да и в собственном творчестве, если уж быть совсем откровенным. Надеюсь, что такое ощущение посетит и читателей этого тома, и те, кто даст себе труд взять его в руки, не пожалеют об этом.

Так и возникла идея, во-первых, согласиться с благодарностью с предложением на издание тома «Избранного», а во-вторых, сопроводить главы книги подборками тех самых публикаций и писем, с которых я начал это короткое предисловие.

БОРИС ПАНКИН

Глава первая

Строгая литература

Вместо предисловия

ИЗ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЯ К.П.НЕКРАСОВА,
г. ЕГОРЬЕВСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

…С восторгом прочитал рассказ Панкина Б. «Волки сгубили» и остался необыкновенно доволен, что про нас, охотников, стали наконец-то писать правду.

Рассказ Панкина поражает правдивостью. Ведь надо было подметить в Василии Александровиче (герой рассказа. — Ред.) его охотничью душу и так изложить. Все написанное также задевает и мою охотничью душу старого, с 1922 года волчатника.

«Одно слово, волчатник», — отзываются о В.А. окружающие. А меня некоторые называют обиднее, наверное учитывая мой рост (метр восемьдесят пять) — «волкодавом».

Поражает точность таких строк: «Давно уже нет в округе волков… Рассказы Василия Александровича потеряли привкус новизны для односельчан, и они незаметно для себя научились подтрунивать над пожилым человеком. Это глубоко задевает его, хотя, гордый человек, он старается не подавать вида».

В следующем разделе читаем: «Ну, — сказал В.А., — разве это лес? Это ежели бы сейчас вот из того ложка… вдруг волчок. Соскучился я по ним. Скрывать нисколько не буду…» Как понятен и здесь В.А.

И вот еще: «— Я что говорю, если бы я не был волчатником, я бы умер. А пойдешь в лес, подвоешь, волки откликнутся, и душа полна радостию». Ох, как понятны мне эти слова и их содержание.

«Но очень мало и как будто бы даже нехотя говорил В.А. о последнем и, собственно, главном акте — о выстреле и смерти. Казалось, что если бы каким-то чудом можно было бы сделать так, чтобы охота существовала без этого злополучного последнего акта, он только был бы рад». Рискну высказать и свои мысли. Волк и для меня всегда был соперником. Кто кого перехитрит. И я также презираю охотников, смакующих выстрел, смерть, восхищающихся этим. Истинный охотник и спортсмен оправдывает свой охотничий инстинкт тем, что бьет зверя только наверняка, избегая подранков и ненужных мучений зверя или птицы. В этом культура охотника.

Немного ниже о дисциплине в команде.

«— Я в загон? Не пойду. Тут обязательное дело на своем стоять. А то — все вразнобой».

Да, сколько хорошо подготовленных обкладов срывали сильные мира сего. Обидно и досадно.

Волков последних у нас вот уже три года как взяли. Но недавно они дали о себе повесточку — порвали овечек. Веду наблюдения за ними. Ездил, подвывал. Не откликнулись. Но не хочется уходить из жизни, не послушав еще хотя раз симфонии осени и не обложив выводочек.

ОЛЬГА МАРТЫНЕНКО, «МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ». ДЕКАБРЬ 1982 г.

«Отношение, а не оценка», — как бы вскользь роняет автор слова Марины Цветаевой, говоря о принципе работы литературного критика. И эта формула, пожалуй, вернее всего определяет позицию самого автора, Бориса Панкина в его книге «Строгая литература», вышедшей недавно вторым изданием и удостоенной этой осенью Государственной премии СССР.

Книгу Панкина интересно читать не только потому, что хочешь знать его мнение об авторах, которые и для тебя так много значат: Айтматов, Абрамов, Распутин, Шукшин, Трифонов, Гранин… Но и потому, что он никогда не уходит от существа проблем, часто сложных, болезненных, которые поднимают в своих произведениях и Абрамов, и Распутин, и многие другие, о ком идет речь в «Строгой литературе». Это и судьбы деревни, и метания городской интеллигенции, и те взлеты и падения человеческой души, что вообще решению не поддаются.

«Строгая литература, — пишет Панкин, — это такая литература, которая, желая воспеть человека, не будет гримировать его. Желая сказать о времени, она не остановится в страхе и растерянности перед его противоречиями и не захочет сгладить их».

При всей объективности отношения критика к субъектам его анализа, предмет особой привязанности, чувствуется, — Федор Абрамов. Абрамов, который «не прошел мимо тягот людских, сказал о них все без утайки последним по времени своим романом "Дом", олицетворяет для критика тот главный дом, что строит человек у себя в душе».

Эта же взыскательная любовь помогает критику найти на редкость точные слова для «деревенской прозы» Василия Шукшина: «Да, все как в жизни, но такой нашу деревню мы еще не видели. И не могли видеть. Такой ее открыл Шукшин».

Н.ГУРЬЕВ. ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ». 1981 г.

Книга Бориса Панкина — цельная вещь. Очень хотелось бы продемонстрировать цитатно, какова «основная мысль» «Строгой литературы», но сделать это затруднительно, настолько органично мысль эта вживлена в размышления Панкина о творчестве близких ему художников слова, настолько плотно вошла она в кровь и плоть абзацев и фраз.

О Б.Панкине можно сказать словами его же блестящего очерка о рано ушедшем молодом критике Марке Щеглове: «Он был чуток к малейшей фальши и малейшему "пережиму", претенциозности, в том числе и в тех произведениях, которые ему нравились».

Да, это нелегко — писать все, что думаешь, в том числе и о произведении близком тебе, тем паче, когда «дружественная дарственная надпись — поперек журнальной страницы» (О романе Юрия Трифонова «Старик»).

…А как много сумел критик сказать важного и нового для истолкования повести Троепольского «Белый Бим Черное ухо». Идя от очевидного, только для всех ли, факта, что повесть-то лишь «в-третьих» написана о собаке, а во-первых и во-вторых — о детях и взрослых, об интеллигентности и скотстве человеческих.

ИЗ ПИСЬМА ВАЛЕНТИНА НЕЧАЕВА, г. РАМЕНСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемый Борис Дмитриевич, летом 1982 года с большим удовольствием прочитал Вашу книгу «Строгая литература». Больше всего мне понравились Ваши работы о Федоре Абрамове. Все же Михаил Пряслин — это герой нашего времени.

Я и раньше читал многие Ваши литературно-критические статьи, поэтому как только увидел, что в киоске продается Ваша книга, купил ее даже не заглядывая в содержание. И не ошибся. Осенью узнал, что Вам присудили за нее Государственную премию

ИЗ ПИСЬМА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА НЕДЗВЕЦКОГО, г. МОСКВА

С громадным удовольствием читал Вашу прекрасную книгу «Строгая литература», которую купил «по случаю», вернее, раскрыв ее в магазине г. Зеленограда на странице 188 и увидев заголовок «Василий Шукшин и его чудики». Дело в том, что в детстве на Брянщине у меня было прозвище. На улице меня не иначе звали как «Чудик». С тех пор и сохранилась у меня одна черта, которая не приносит мне успеха, но которой я в какой-то мере горжусь: почти всегда готов уступить пальму первенства более способному, более талантливому и рад просто тому, что дело сделано, хотя и начинал его я, а закончил и получил признание другой.

Чем поразила меня Ваша книга? Она поразила меня обилием и силой мысли, при отсутствии всякой наукообразности. Писать так просто о вещах столь сложных конечно же можно только познав самую суть. Здесь я ничего нового не говорю, но сказать это о Вашей книге необходимо.

ИЗ ПИСЬМА ФЕЛЬЕТОНИСТА, СОТРУДНИКА «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» ВИТАЛИЯ РЕЗНИКОВА

Читал Вашу статью о романе Федора Абрамова. Главное ее достоинство — она честная и умная. Нынче в литературной критике очень рискованно писать без фальши. Вы же умудрились ни разу не покривить душой.

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

Дорогой Борис Дмитриевич!

Сразу по ознакомлении с Вашей великолепной статьей об Абрамове пытался дозвониться до Вас…

Так или иначе, хочу сердечно поблагодарить Вас за доброе, благородное дело — статью о Пряслиных.

Я так рад за Абрамова, человека — мало сказать — талантливого, но честнейшего в своей любви к «истокам», к людям многострадальной северной деревни, и терпящего всяческие ущемления и недооценку именно в меру этой честности.

…Конечно, даже при сочувственном отношении к «Зимам и летам» Вы могли (и это уже было бы не мало!) ограничиться заказом статьи кому-либо (автор статьи в ту пору был главным редактором «Комсомолки». — Ред.), но Ваша дорога тем особым поворотом темы «положительного героя», до которого вряд ли внешний автор дотянулся бы.

ИЗ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЯ В.В.ХАРИТОНОВА, г. СВЕРДЛОВСК

Очень люблю Вашу книгу и сожалею, что не имею ее. Она одна ценнее многих, так как в ней есть самое главное — осмысление того, что другими еще и не замечено.

Помню, с какой радостью прочитал еще в «Дружбе народов» Вашу статью о Ю.В.Трифонове. Вы тогда очень помогли не просто открыть, но узаконить имя автора в нашем общественном сознании.

ГАВРИИЛ ТРОЕПОЛЬСКИЙ. ИЗ ПИСЬМА В КОМИТЕТ ПО ЛЕНИНСКИМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕМИЯМ СССР

…А закрыв последнюю страницу, я, например, сказал себе мысленно: Стоп! Да ведь он же — тот же самый участник высших достижений литературы последнего десятилетия, который след в след и рядом шел почти с каждым писателем из тех, кого он собрал на беседу в «свой дом». Он, кстати, и одного поколения с главными из них, поколения, идущего за нами, стариками, обгоняющего или уже обогнавшего нас…

Радовался я, когда услышал над своим ухом дыхание Чингиза Айтматова еще при первых его произведениях, радовался решительным и бескомпромиссным переходам Федора Абрамова от романа к роману в его трилогии, радовался размеренному, по-сибирски спокойному и уверенному шагу Валентина Распутина и вспышке таланта Шукшина. Помню свое восхищение от Марка Щеглова, так рано ушедшего… Это о тех молодых (для меня), что в книге Панкина.

СТАНИСЛАВ ЛЕСНЕВСКИЙ, ЛИТЕРАТУРОВЕД, КРИТИК

Герои «Строгой литературы» — писатели, художники, мастера. У каждого из них — особая статья, особый творческий и жизненный сюжет. Входят в литературу поколениями, расти же в ней, жить и отвечать каждому за себя, полагает критик. Его внутренний девиз можно выразить словами поэта: «Чтоб каждую строку прожить собой»…

ВС.СУРГАНОВ, ЖУРНАЛ «ЗНАМЯ»

Не случайно одна из глав-статей, составляющих «Строгую литературу», обращена к творчеству Марка Щеглова… Оставаясь выдающимся явлением нашей литературы, Щеглов одновременно воплощает для Панкина нечто очень личное и близкое его уму и сердцу, некие типические черты того поколения критиков, к которому принадлежит и он сам. Все они, в том числе и автор этой рецензии, формировали свое отношение к жизни, обществу, литературе в сложной атмосфере конца сороковых — начала шестидесятых годов двадцатого века.

Прощания и встречи с Матёрой

Входят в литературу поколениями, расти же в ней, жить и отвечать — каждому за себя. И значить в ней что-то человек начинает лишь с тех пор, как имя его зазвучит самостоятельно — не в обойме, не за компанию с другими. Если правда, что всякое сравнение хромает, то верно и то, что в каждом обобщении содержится натяжка. Есть она, наверное, и в моем утверждении. Ведь такие, например, фигуры, как Айтматов или Шукшин, Рощин или Вампилов, с самого начала были, так сказать, сами по себе. Но чаще все же, вспомним, последние четверть века случалось по-другому. Была, если пользоваться терминологией тех лет, генерация поэтов «эстрадных», и возникла потом «тихая» поэзия, были потоки прозы «исповедальной» и прозы лирической, потом — городской, эссеистской... Оставались же, живут и будут жить в литературе просто имена — Андрея Вознесенского и Беллы Ахмадулиной, Владимира Соколова и Юрия Казакова, Василия Белова и Владимира Цыбина, Владимира Амлинского и Владимира Чивилихина... Имя Валентина Распутина в сознании читателей тоже долгое время неотделимо было от доброго десятка имен его сверстников и соратников, которые все почти в одно время появились на страницах художественной пашей периодики и которых критика, не без резона, объединила понятием — молодая деревенская проза. Для них излюбленным жанром стала повесть, жизненным материалом — деревня, — как правило, за Уральским хребтом и на Севере — вологодская, архангельская, костромская, героем — человек этой деревни, тот, что и доселе живет на земле своих дедов, и тот, что в силу разных, и объективных и суетных, причин покинул родную землю, ушел в город и домой наезжает не часто и ненадолго.

Как бы, однако, ни были близки друг другу по духу, по идейным и эстетическим устремлениям представители той или иной литературной плеяды — близнецов в литературе не бывает. Вот и в отношении Распутина тому, кто приглядывался к его творчеству с самых истоков, с первых публикаций в журналах Сибири, несомненным становилось, что имя его пусть и в ряду с другими, но чаще повторяется и звучит громче, хоть до поры и читатели и критики больше подмечали, что сближает Распутина с его сверстниками в литературе, чем то, что отличает, подчеркивали, так сказать, не индивидуальные, а видовые признаки, быть может, именно потому, что они тогда прежде всего и бросались в глаза.

Так было, когда после ряда очерковых книжек появилась первая, получившая всесоюзное звучание, повесть Распутина «Деньги для Марии», так было еще и со следующей повестью «Последний срок».

«Деньги для Марии» — это, строго говоря, не повесть даже, а развернутый очерк. Так сказать, очерк, распрямляющийся в повесть. Так не бывает — или,

как правило, не бывает — у писателей, которые с самого начала знают о себе: я очеркист — и именно это в себе ценят. Тут первым надо конечно же назвать основателя, классика этого жанра Глеба Успенского. В наши уже времена Валентин Овечкин, Юхан Смуул, Ефим Дорош, Георгий Радов, а также ныне здравствующие и работающие Анатолий Аграновский, Василий Песков, Анатолий Иващенко... Это они, вместе со многими другими, создали те образцы, тот эталон очерка, который существует в нашей литературе на равных правах со всеми прочими жанрами прозы и о котором никому, ни профессионалу, ни любителю, не придет в голову сказать в похвалу — это, мол, почти как рассказ или почти как повесть...

Но бывают и другие по складу, по направленности таланта прозаики, для которых очерк — действительно лишь этап, лишь школа мастерства, и они тоже знают об этом с самого начала. Они могут так никогда и не достичь максимальных успехов в этом жанре, однако накопленное в работе над очерком, несомненно, отзовется в будущем.

И это прямо относится к Валентину Распутину, который даже публично както признался: «Первый рассказ родился неожиданно: после одной из служебных командировок в леспромхоз писал для газеты очерк “Я забыл спросить у Лешки”. Очерк не получился — получился рассказ. О чем? Об искренности человеческих чувств, о красоте души».

Ситуация, которая легла в основу первой повести Распутина «Деньги для Марии», тоже ведь чисто очерковая. Но рамки очерка, с его акцентом скорее на социальном, чем на психологическом, скорее на обстоятельствах, чем на характерах, автору уже тесны, они жмут и режут... Строить же характер и сюжет по законам беллетристической прозы он тоже еще по-настоящему не умеет. Отсюда наивно-загадочный финал: вся повесть — это размышление ее главного героя, колхозника Кузьмы, по поводу того, даст ли живущий в городе брат деньги, без которых семье Кузьмы грозит трагедия, или не даст... Повесть, повторяю, начинается этим. А кончается, как говорится, проклятой неизвестностью, ибо с Кузьмою, проделавшим в нашем читательском сопровождении нелегкий путь из деревни в город, мы расстаемся как раз на пороге квартиры его брата... «Вот он и приехал — молись, Мария! Сейчас ему откроют».

Типично очерковая, «интригующая» концовка. Прямолинейна и композиция повести: интересные автору характеры, как бусинки, нанизаны на нитку сюжета — Кузьма собирает по родным и знакомым взаймы тысячу рублей, чтобы покрыть недостачу, которая образовалась без всякой на то вины Марии, жены Кузьмы, в магазине, где она, Мария, и за продавца и за директора...

Эта жанровая, сюжетная неуклюжесть, впрочем, сродни неуклюжести породистого щенка. Она сама по себе выдает те стати, которым предстоит развиться. Уже в первой повести Распутина невооруженным глазом можно обнаружить то, что заявит о себе в его последующих произведениях. Сила Распутина уже здесь, в этой первой вещи, — в глубоком, изнутри, знании того и тех, о ком он пишет, в стремлении именно об этом «знаемом» прежде всего и говорить. «Чтобы писать о коренном сибирском характере, самому нужно быть сибиряком, — говорил писатель в одном из интервью. — Я пишу о деревне, потому что в силу причин субъективных знаю ее гораздо лучше, чем, может быть, мои московские коллеги, я вырос там, она вскормила меня, и рассказывать правду о ней — теперь мой долг».

«Выдает» здесь будущего Распутина, в этой его первой повести, и тяга к психологическим характеристикам, желание и умение передать душевное состояние своих героев, способность, наконец, к собственному внутреннему перевоплощению, та проницательность, с которой он, человек еще невеликого тогда возраста, передает, живописует внешней ли деталью, диалогом или пейзажем — состояния, переживания, строй мышления людей сложившихся, бывалых. «Когда человеку под пятьдесят, трудно сказать, есть у него друзья или нет. Столько самых разных людей, как в гостях, перебывало у него за это время в друзьях, что теперь осталось только умудренное с годами, молчаливо спокойное отношение к близкому человеку. Не чаще, чем с другими, они встречаются, не имеют общих тайн, но при случае каждый из них осторожно, словно не доверяя себе, вспоминает, что есть у него человек...»

В этом то ли от автора, то ли от героя его Кузьмы идущем психологическом обобщении, как в семени злака, как в почечной завязи, заложено и предвосхищено то древо отношений Кузьмы и односельчанина его Василия, которое, в полном соответствии с внутренними своими законами, разовьется на страницах повести. Не владея еще в должной мере искусством строить и развивать Сюжет, Распутин обладает недюжинной способностью угадывать и воспроизводить глубокую внутреннюю логику людских взаимосвязей, порывы, диалектику души.

Как лаконично, с какой пронзительной точностью передано то главное и страшное, что, подобно смерти, присутствующей невидимо и неслышно, сжимает сердце, не дает дышать Марии. Это стояние на грани двух миров — того, что был и кажется теперь таким фантастически прекрасным, хотя всего-то навсего это житье-бытье рядовой деревенской семьи в далеком и невеликом сибирском селении, и того, который видится ей. «— Ты, поди, решил, что я сошла с ума, — говорит Мария мужу. — Я и правда ненормальная. То плачу, то вдруг стала смеяться. Я вспомнила, кто-то рассказывал, что бабы там, в тюрьмах этих, вытворяют друг над другом. Срам какой. Мне стало нехорошо. А потом думаю: да ведь я еще не там, я еще здесь.

Она прижалась к Кузьме и заплакала.

— Ну вот я и опять плачу, — всхлипывала она. — Не отдавай ты им меня, не отдавай, хороший ты мой, не хочу...»

В считанные секунды, пока произносятся и читаются нами эти фразы, страшный мир, который вчера еще был так же далек и призрачен, как «жизнь на Марсе», приблизился с потусторонней скоростью и заслонил белый свет.

«— Иди сюда,— позвала Мария мужа.

Он подошел.

— Ляг, полежи со мной.

Он осторожно лег и почувствовал, что она дрожит».

Есть писатели, чье творчество, тематика его взрослеют как бы вместе с ними. В молодости они пишут о студентах, стали постарше — о молодых специалистах, потом — о командирах производства...

Для Распутина, как убеждает уже первая повесть, возрастных барьеров не существует. Его музе все возрасты покорны. Что же касается молодости, то он поначалу как бы даже обошел ее своим вниманием, сосредоточив его на людях среднего и старшего поколения.

Вторая повесть, «Последний срок», родимых пятен того направления, которому необъявленно принадлежит, несет в себе, пожалуй, даже больше, чем

предыдущая. Повесть эта по внешним приметам — своеобразный катехизис, а если хотите, и коллекция всего того, что так свойственно было молодой деревенской прозе при ее рождении.

Кажется, все то, что могло бы составить основной, единственный мотив в том или ином произведении того или иного близкого Распутину автора, здесь сведено воедино. Последний срок — смерть, вернее, умирание старой женщины, родоначальницы большой семьи, которая вся почти собирается у смертного ее одра. Сыновья и дочери, которые и сами успели уже стать и родителями и прародителями... Симпатии автора конечно же на стороне тех, кто, подобно матери, прожил всю жизнь в деревне, в этой или соседней. К горожанке же Люсе, самому «правильному» из всех детей Анны, отношение, наоборот, ироническое — город наложил несмываемую печать свою на характер, образ мышления, привычки, манеры...

Это бросается в глаза, как, впрочем, и то, что в литературном отношении образ Люси наименее убедителен. Люся по характеру своему, по типу личности — ненатуральный человек. Все в ней ненатурально — голос, манера говорить, вести себя, переживать и радости и горе... Само по себе это обстоятельство не может, естественно, вызывать возражения — и у критика и у читателя, «Ненатуральных» людей в жизни, вокруг нас, в наши дни действительно хоть отбавляй, хоть не были они, думается, редкостью и в прошлом. Вполне возможно также, что в городе их, как теперь, так и прежде, больше, даже в процентном отношении, чем в деревне. Городское население всегда пестрее и подвижнее по составу... Все так... Верно, однако ж и то, что ненатуральность, как и любое другое человеческое свойство, нуждается в натуральном, что ли, отображении, объективном авторском подходе — иначе ведь не поверим... Человек может выглядеть в жизни карикатурно, образ же его, чтобы мы убедились в этом, должен быть написан по законам того произведения, которому принадлежит.

Вот мы представляем себе Люсю глазами умирающей матери, старухи Анны: «При Люсе старуха стыдилась себя, того, что она такая старая и слабая, ни кожи, ни рожи. Ей казалось, что и дочь тоже должна стыдиться ее — вон какая она красивая, грамотная, даже говорит не так, как говорят здесь: слова вроде те же, но чтобы понять их, надо слушать изо всех сил... Что ни спроси ее, она обо всем знает...» Точный и лаконичный штрих, выявляющий ту несхожесть и то отчуждение, которые возникают в силу возрастных, образовательных различий, условий жизни даже между близкими по крови.

После очередной стычки двух сестер, старшей Варвары и младшей Люси, брат их, Илья, успокаивает, посмеиваясь, Варвару:

«— А ты с ней по-городскому разговаривай, по-интеллигентному, а не так.

— Я-то по-городскому не умею... а она-то, поди, из деревни вышла, могла бы со мной и по-деревенски поразговаривать.

— Она, может, разучилась.

— Она разучилась, я не научилась — че ж нам теперь — и слова не сказать?»

Стоило ли еще раз доказывать однажды уже доказанное? Ведь и для Варвары и для Ильи, человека межеумочного, того, кто «ни в городе Богдан, ни в селе Селифан», найдется еще у писателя достаточно полнокровных красок, чтобы и высветлить и оттенить самые разнообразные и порой противоречивые свойства их натур. Что касается Люси, то снова и снова, с настораживающей, а порой просто утомляющей дотошностью и педантизмом будет иллюстрировать автор с первых же строк заявленные «правильность» и одновременно ненатураль-

ность каждого слова, каждого жеста, внутреннего движения несимпатичного ему персонажа. Вот чудесным образом, хоть и ненадолго, воспрянула старуха Анна от смертного обморока. Даже каши попросила — к радости детей...

«— Но мать-то, мать-то наша! — радуется Илья... — Мы с тобой ей водку на поминки берем, а она говорит: "Подождите, — говорит, — добрые люди, дочери мои и сыновья, я еще каши не наелась".

— Родова, — соглашался Михаил, — нашу родову так просто в гроб не загонишь».

«Кашу подала старухе Люся... Старуха пила маленькими, осторожными глотками.

— Ничего, мама, ничего. Так и надо. Сейчас желудок перегружать нельзя. Мало ли что. Пусть он сначала это переварит, потом можно еще попить».

«— Побудьте. Я не стану вам надоедать, — говорит в другой раз Анна, и радуясь, что собрались вокруг нее дети, и словно извиняясь перед ними за то, что так долго не берет ее смерть. — Я тихонько. Лежу и лежу. Это я сейчас разговорилась, долго не видала вас... Потом я молчком буду.

— Что это еще за "надоедать" да "молчком"? — выговорила старухе Люся. — Как тебе не стыдно, мама? Что ты выдумываешь? Тебе не в чем оправдываться перед нами — пойми, пожалуйста, это».

С тем же деревянным каким-то безразличием, спокойствием истукана Люся урезонивает мать по поводу самой младшей, так и не приехавшей дочери.

«— Где? Где она? — уже почти в бреду восклицает мать.

— Если бы мы знали, зачем бы мы стали скрывать от тебя, где она, — спокойно сказала ей Люся. — Пойми, пожалуйста, мы сами ничего не знаем.

— Когда с ей че доспелось, мине ить и на том свете смерти не будет, — жалобно сказала Анна.

— Мы не знаем, доспелось с ней что-нибудь или не доспелось».

Пишет ли Люся письмо домой — это раньше, еще до приезда ее к умирающей матери: «скажите маме, что лекарства помогают в любом возрасте» или «следите, чтобы мама зимой одевалась лучше», как будто мать без нее не знала, что в холода по-летнему не проживешь. Илья, тот в письмах лишь «торопливо и как бы в шутку спрашивал: «как там мать дышит?» и, «слава богу, хоть советов не давал».

Собирается ли Люся в лес — это уже здесь, в деревне, когда матери стало чуть полегче: «Одеться хотелось так, чтобы и удобно было в лесу, и чтобы выглядеть прилично, без той случайности в одежде, которая выдает безвкусицу... Как бы сейчас пригодились ей брюки и купленные специально для поездок за город туристские ботинки, да кто знал, что ей выпадет здесь идти за грибами».

Кстати, как раз в этом «походе» Люсей овладела было одна-единственная отличная от всех других ее размеренных и уравновешенных переживаний «затаенная бередящая мысль», и она «поддалась какому-то незнакомому, пугающему чувству»: нахлынули, окружили со всех сторон воспоминания далекого военного детства, которое было «тяжело и горько», но не только тяжело и горько.

Увы, и это — лишь на мгновение: «Что это я?! — упрекнула она себя.— Что это, в самом деле, я так распустилась?.. Какая ерунда. Вышла прогуляться, подышать свежим воздухом — на тебе! — поддалась каким-то глупым, детским страхам. Это все нервы, нервы, надо лечить их». И снова, и снова еще, с истовостью заводного механизма, она будет обличать себя за эту «бередящую мысль» — «просто нервы после телеграммы о матери приготовились к беде, к потрясению и теперь требуют возмещения за свою напрасную работу».

Повторюсь и я. Не о том речь, что не существует такой вот породы людей или что относиться к ней надо снисходительнее. Дело тут не в личностном, а в творческом, писательском подходе к явлениям и характерам жизни, которые писателю как творцу, как мастеру все должны быть одинаково дороги.

Не с одинаковой ли тщательностью отбирает ваятель и ту глыбу мрамора, которой предстоит стать мадонной, и ту, что предназначена превратиться в сатану?

Сказанное, быть может, станет еще понятнее, нагляднее, если обратиться к образу Михаила, младшего из сыновей Анны. Нетрудно заметить, что именно Михаил из всех детей старухи вызывает у автора наибольшие симпатии — быть может, именно потому, что он «один из всех не уехал из деревни». «Ненатуральной» Люсе противостоит «естественный» житель деревни Михаил. Замысел сам по себе конечно же схематичен, и, доведи его автор до логического конца, быть бы в повести еще одному манекену — только со знаком плюс. Этого, к счастью, не случилось. Естествен характер, увиденный в жизни, полнокровен и образ Михаила — человека с нелегкой судьбой и нелегким укладом жизни. Ненатуральность Люси всячески подчеркивается автором, естественность Михаила естественна, да простится мне этот немудреный каламбур, вырастает из хода событий, композиции повести. Нет, это вовсе не тот благостный пейзанин, одновременно мудрый и наивный, мужественный и кроткий, слабый и несгибаемый, которыми населены иные повести и романы того же периода. Это реальный человек, живущий реальной жизнью современной сибирской деревни, сильный ее силою и болеющий ее болезнями. Не болями только, а именно болезнями. Многодневная пьянка у постели умирающей матери, скандалы в ее присутствии — все это вряд ли может вызвать сочувствие. И автор не спешит с оправданиями. Он стремится понять, как и почему объединяются в одном человеке душевная тонкость и грубость, самоотверженность и бескультурье... И что же в этом характере главное? Вывод его в последних строках повести, в словах Михаила (который в конце концов один остался у постели матери): «Ничего, мать,— после долгого молчания сказал он и вздохнул.— Ничего. Переживем. Как жили, так и жить будем. Ты не сердись на меня. Я, конечно, дурак. Ой, какой я дурак, — простонал он и поднялся. — Лежи, мать, лежи и ни о чем не думай. Не сердись на меня сильно. Дурак я». Мысль автора, стоящая за этими словами его героя, зовет верить человеку, понимать его.

Давно уже оценены и, можно сказать, инвентаризованы в критике нашей крайности как самой деревенской прозы, так и отношения к ней — от брюзгливой пренебрежительности до слезливых и напыщенных восторгов.

Образ Люси — самая, пожалуй, большая дань Распутина особенностям, а точнее, предрассудкам, которых мало кто избежал из работающих в этом жанре. В целом же повесть, появившаяся в самый разгар споров по этому поводу, хоть и идет внешне в русле основных тенденций направления, в то же время лишена тех крайностей, того надрыва, который был присущ многим в подобном ключе и на подобную тему написанным произведениям. И не оттого, думается, что автор сознательно уберегал себя, страховался от этих крайностей.

Талант, самобытность и присущее им чувство меры указывали ему верное направление, предостерегали от грозящих опасностей. Именно этим особенностям его дарования мы обязаны целой галереей запоминающихся образов, которые вместе представляют собой своеобразную, пусть и неполную, панора-

му современной деревенской жизни — с ее буднями, обычаями, смешением трагического и комического, радостями, болестями, столкновениями...

Главное же в повести — это старуха Анна. Образ ее — повод для самостоятельного исследования. Но оно уже, собственно, произведено критикой. И не раз. Тот редкий случай, когда пишущие единодушны в своем понимании характера и оно, это понимание, совпадает в основных чертах с читательским. Поведав о жизни и смерти простой русской женщины, писатель приблизил нас к неброской, как бы изнутри светящей красоте русского народного характера.

Анна умирает долго и трудно. Силы то совсем покидают ее, то вдруг возвращаются вновь, обманув, хоть и ненадолго, стоящую у постели смерть. И как бы в такт этим приливам и отливам возникает в сознании Анны ее прошлое и настоящее, а перед нами, читателями, проходит вся ее жизнь, жизнь человека с глубоко индивидуальной и в то же время такой типичной для ее поколения, для всего послереволюционного крестьянства женской судьбой.

Что же касается автора, таланту которого, как уже отмечалось выше, столь свойственно это глубокое проникновение в строй мыслей и чувств людей самых разных возрастов, то, пожалуй, никогда еще доселе не было у него столь благодатного повода так полно и открыто выразить свое понимание жизни, ее самодвижения, эволюции. Во внутренних монологах Анны, в тех ее непрерывных раздумьях, когда каждое суждение, каждая сценка словно омыты чистотой и бескорыстием последнего, предсмертного чувства, мы слышим голос мудрости и доброты, который преодолевает условности и путы жанра, возвышается над обличительной направленностью сюжета, особенно кульминацией его — трое из детей покидают мать в самый канун ее смерти...

Когда Распутин судит Люсю или даже Илью «от себя», на первый план выходит вина их — бездушие, эгоизм, жестокость в отношениях Люси с матерью, безалаберность, безответственность мыслей и чувств Ильи. Когда он судит их именем Анны, ее душевным, жизненным опытом,— мы думаем об их беде — о тяжелом военном детстве без отца, раннем расставании с родным домом, годах одинокой жизни...

В последнем, предсмертном взгляде Анны на своих детей нет, а может, и никогда не было, привычной материнской слепоты.

...Но есть всепонимание и всепрощение. Да, всепрощение и надежда, выстраданные собственной жизнью, которая подошла к концу и в которой было все, буквально все, что может выпасть на долю человека,— рождения и смерть, радости, болести, разлуки, встречи, письма, ожидания и ежедневный, будничный и поэтичный труд, которым создано все вокруг нее...

«Последний срок» дает ощутимые приметы растущего профессионального мастерства писателя. То, например, что в повести «Деньги для Марии» выглядело как чисто очерковый ход, — располагая, как правило, сравнительно небольшой газетной или журнальной площадью, очеркист вынужден покруче, потуже спрессовать, сцементировать действие, — здесь, в «Последнем сроке», воспринимается уже как продуманный принцип, важная архитектоническая особенность, в равной мере принадлежащая как содержанию, так и форме произведения. Позднее, когда появятся «Живи и помни» и «Прощание с Матёрой», мы каждый раз будем убеждаться, что это именно так и есть. Дело в том, что в основе каждого из повествований Распутина, у его истоков, в самом зароде его лежит событие, более или менее значительное по масштабу своему, но неизменно драматическое. Событие это всегда имеет протяженность во времени,

и всегда есть нечто, чего ждут, к чему неумолимо приближаются герои, и это почти физическое ощущение ожидания и составляет каждый раз и канву и содержание произведения.

В первой повести, как уже говорилось, все поступки и переживания героев сосредоточены вокруг обнаруженной в магазине недостачи и имеют своей целью предотвратить негаданное и не заслуженное людьми несчастье. В основе второй повести — ожидание смерти старухи Анны. Действие повести «Живи и помни» мертвой петлей захлестывается вокруг дезертирства Андрея Гуськова из армии в последние месяцы Великой Отечественной...

И наконец, четвертая — снова ожидание, мучительное, в многочисленных судьбах и характерах материализовавшееся ожидание того момента, когда Матёру — остров на Ангаре и деревню на нем — должны будут перед затоплением покинуть последние ее жители. Как видим, раз от разу Распутин задает себе все более сложный урок. Масштаб, глубина, напряженность действия, а вместе с ними и возможности летописца их возрастают, как, впрочем, и требования, самому к себе им предъявленные.

Повесть «Живи и помни», неоднократно уже издававшаяся у нас в стране и за рубежом, может служить тем, пока, на мой взгляд, единственным в творчестве Валентина Распутина, примером, когда замысел и воплощение оказались в полной гармонии друг с другом. Именно с этой повести, за которую ему присвоено звание лауреата Государственной премии СССР, Распутин стал в нашей литературе тем явлением, тем именем, говоря о котором нет нужды сопрягать его с какой-либо литературной обоймой.

«Живи и помни» и автор его — сами по себе уже точки отсчета.

Сколько поистине золотых страниц нашей советской литературы посвящено русской деревне в годы войны. Деревня фронтовой полосы и захваченная врагом партизанская деревня, деревня в далеком тылу, все жители которой, по преимуществу старики, бабы, дети да инвалиды, тем только и живы, что ждут Победы и работают на нее. Что, казалось, может добавить к сказанному писатель, которому в сорок первом исполнилось четыре года... Но стремительно летит время, и все чаще и настойчивее к святой для каждого из нас теме войны обращаются дети тех, кто ее делал. Крошечный, микроскопический, в общем-то, эпизод, почти неразличимая зарубка на древе войны и Победы — история Андрея Гуськова и Настены, быть может с раннего военного детства трагическим уроком запавшая в душу писателя. В литературе нет таких исхоженных дорог, по которым нельзя было бы пройти как впервые. Талант не признает рецептов. И вот история, в центре которой падение и гибель, послужила исходным толчком для создания произведения глубоко партийного, гуманного, патриотического.

«Живи и помни» — поясной поклон нынешнего поколения всем, кто «отломал» войну вместе со своим народом, кто выстоял, не согнулся и победил в смертельных схватках на полях сражений, в тылу у врага или там, где проходил трудовой фронт, как проходил он через абрамовское Пекашино и Атамановку Распутина, сибирскую на Ангаре деревушку о тридцати дворах. На наших глазах эта крохотная, за тридевять земель от фронта деревушка вырастает в несокрушимый нравственный форпост, который в глухих лесах Восточной Сибири верно и твердо стоит на страже всего, что завоевано, выпестовано советской властью, укладом нашей жизни.

Повествуя о днях минувших, это произведение Распутина целиком обращено в день сегодняшний. Оно сегодняшнего читателя зовет жить честно и пря-

мо, служить своей родине самоотверженно, по закону того истинного благородства, которое только в родстве со своим народом, неотделенности от него и состоит. А нет — и первые же неверные шаги, даже малая твоя ошибка приведут неизбежно к полному поражению, трагедии, позору.

И то, что вывод этот, в статье, быть может, звучащий декларативно, схематично, воспринимается органично, что он незаметно, но властно овладевает нашим умом и воображением,— это и есть главное достоинство произведения, его непреходящая Ценность.

Сюжет здесь — дезертирство Андрея — словно повторение легенды о шагреневой коже, катастрофически сокращающейся при каждом, неминуемо ведущем к пропасти движении беглеца, увлекающего за собой и Настену.

Андрей — трус, предатель и эгоист... Это нам становится понятно с самого начала. Но Настена...

Попробуем еще раз представить, восстановить в своей памяти обстановку, атмосферу того вечера, когда и раньше уже смутно догадывавшаяся о чем-то Настена вдруг обнаруживает в одночасье, что Андрей, ее муж, ее любимый, ее суженый, вернулся, но вернулся тайно, тишком, вернулся не героем, не победителем, не рядовым хотя бы участником событий, которыми Настена, простая душа, живет вместе со всем народом, а говоря проще, среди своих односельчан, товарок, подруг — у одной мужа убило, у другой покалечило. Вернулся дезертиром, преступником...

Вспомним, что все это суждено было постичь, угадать ей в один миг, в тот самый, когда она, молодая женщина, любящая жена, стояла в ночной рубашке, в шубейке, накинутой впопыхах на эту рубашку, и ощущала всем своим молодым, истосковавшимся по мужней, по мужской ласке телом его жесткие и голодные руки, знакомый рельеф его мускулов, шероховатость его губ, запах табака и пота...

Попробуем еще раз восстановить все это в своем воображении, всю эту встречу — долгожданную и одновременно «воровскую и жуткую», и мы ощутим тогда бездонную сложность вставшего вдруг перед Настеной и даже еще не осознанного ею вопроса — как быть? Да и встал ли он, возник ли, замаячил ли перед ее внутренним взором в тот трагический миг, этот вопрос? Тут какие-то другие слова, другие определения нужны.

Представим себе это, и мы поймем, может быть, лицом к лицу с каким неописуемо сложным испытанием поставила ее жизнь. Трагедия, а она всегда заключает в себе и вину и рок, в том, что испытание это превышало силы Настены, застигло врасплох ее несформировавшееся чувство, глубокое и чистое от природы.

Течение событий, и внешне и внутренне, направляется автором, словно бесстрашным лоцманом на порогах Ангары, по тому единственно верному и возможному психологически руслу, когда самоубийство Настены, удесятеряющее и без того лютую вину Андрея, воспринимается как очищение, как тот единственный шаг, которым, в ее представлении, только и может она избыть свою вину перед людьми и собой. Нет, Настена не простила Андрею его вины, но она, как сильная и любящая натура, разделила ее с ним, а когда увидела, что он не способен, не в силах принять как искупление, как спасение наказание людское, сама себя приговорила и наказала смертью.

В завязке повести Настена, подобно Марии из первого прозаического произведения Распутина, без вины виновата. Но если Марии остается только стра-

дать и ждать, Настене выпало решать и действовать и при этом любить и ненавидеть одновременно.

Здесь еще раз, во всю силу, заявляет о себе органическая неизбывная вера писателя в здоровое, естественное нравственное чувство человека из народа.

В повести достигает особой силы обнаруженная Распутиным еще ранее способность слушать и воспроизводить в тонком, поистине музыкальном переложении живую речь, внутренние монологи персонажей. Речь героев, как, впрочем, и авторская, литературна и народна в одно и то же время. Она несет в себе все разнообразие, богатство, весь колорит словаря и фразеологии восточносибирской деревни, но и свободна от излишеств, архаизмов и областничества, которыми редко кто из пишущих о деревне не соблазнится.

Скажем, наконец, и о раскрывшемся здесь в полную силу даре видеть, чувствовать, понимать природу. Врачуя, вбирая в себя или, наоборот, отторгая души людские, природа на страницах повести непременный свидетель и соучастник всего происходящего. Вот несколько подтверждений этому.

...Не в силах даже наедине с собой признать свою вину, страшась измерить глубину своего падения, Андрей живет в состоянии глухой и все более ожесточенной войны с окружающим его миром: лесом, рекой, живностью в тайге, мужиками из собственной деревни, за которыми наблюдает издалека, — словом, со всеми «родными, прикипевшими к сердцу местами, — уж не они ли приговорили?». Не только голод заставляет его охотиться на диких коз. В той исступленности, с какой он преследует их, есть, быть может, неосознанное стремление разорвать круг, изменить свое положение любой ценой, из беглеца самому превратиться в преследователя — пусть даже ни в чем не повинных созданий. «Андрей ударил вдогонку из обоих стволов, и козуля, бежавшая последней, подсеклась, отчаянным прыжком выскочила высоко в воздух, но уже не вперед, а в сторону, и завалилась. Когда Гуськов подбежал, она еще была жива. Хрипя и молотя ногами, она подгребала под себя снег... Он не добил ее, как следовало бы, а стоял и смотрел, стараясь не пропустить ни одного движения, как мучается подыхающее животное, как затихают и снова возникают судороги, как возится на снегу голова».

Вспомним и о том, как и почему пристрастился Андрей выть по-волчьи — сначала просто передразнивая повадившегося на зимовье волка, озорничая от тоски и отчаяния, а потом и почуяв, что именно и только этот «тонкий и длинный, режущий по живому, жалобный и убийственный стон» и способен как-то облегчить, выразить его зарастающую звериной шерстью душу. И Настене, которая все больше не узнавала мужа, его новых, пугающих повадок, казалось после очередной встречи с ним, «что она сразу же вся там покрывается противной звериной шерстью и что при желании она может по-звериному же и завыть».

Но здесь, кажется, мне придется защищать Распутина от Распутина. Дело в том, что в одном из интервью «Литературной газете» писатель, говоря о растущей требовательности к собственному мастерству, как бы отрекается от некоторых из названных выше эпизодов. «Не сразу, не вдруг приходит осознание собственных огрехов. Теперь, по прошествии определенного времени, едва ли я стал бы писать в «Живи и помни» те картины «озверения» Гуськова, когда он воет волком или когда убивает теленка, — слишком близко, на поверхности по отношению к дезертиру это лежит и опрощает, огрубляет характер». Что ж, если согласиться с тем, что эпизоды эти рождены стремлением покруче «обличить» дезертира, тогда прав Распутин — автор интервью. Если же, и это кажется

мне ближе к истине, Гуськов и дезертиром-то стал оттого, что всегда жило в нем это низменное, жестокое, эгоистическое начало, тогда прав автор повести. Не случайный порыв, не мимолетная слабость толкнули Гуськова на измену.

Есть неоспоримая логика, и художник выявляет ее всем строем произведения, в поведении Гуськова, в том, как уходит он на фронт, проклиная войну не потому, что она — бедствие для миллионов, а потому, что лично ему встала поперек жизни и привычного ее уклада: «...если бы не война, если б не она, проклятая, — оправдывался он, — так бы и жил я, так бы и работал. Какие мои годы... Полжизни не заступило, а уж все, конец. Да почему ж на меня-то — столько народу в мире. Чем я провинился перед судьбой, что она так со мной — чем?» Та же логика и в том, как он воюет и как бежит с войны, как ведет себя в лесах под Атамановкой. Нашлись виновные и тому, что началась война, и тому, что его, Андрея, «погнали» на нее, и тому, что ранили, и тому, что дезертировал он. Обещали после госпиталя домой вернуть, а послали снова в часть. «Возвернись я туда, я бы там и остался — это точно».

Загнав самого себя в западню слабостью своей, бесхарактерностью, животным страхом смерти, Гуськов, не мысля пути назад, единственный выход видит в том, чтобы действительно превратиться в зверя, которому ничего на свете не жаль и ничего не надо, кроме удовлетворения равняющих его с волком потребностей. Все человеческое, даже внутри себя, потому и представляет для него опасность, что может толкнуть на неожиданные поступки, может заставить поддаться уговорам Настены, мыслям о страдающем отце...

«Куда, зачем он идет, что здесь ищет?» — рассуждает сам с собой Андрей, подобравшийся однажды в своих скитаниях к самому отцовскому дому и даже увидевший отца возле коней. «Но нет, ему это надо, надо — потом будет легче. Нельзя по-настоящему почувствовать себя зверем, пока не увидишь, что существуют домашние животные, нельзя продолжать новую жизнь, не подобрав пуповину от старой... Ему надо было прийти сюда, чтобы наяву, вблизи убедиться, что никогда больше не бывать ему в родном доме... и он пришел, полагаясь на старинное правило: клин клином вышибают».

Есть логика в поступках Гуськова, есть она и в замысле, который диктовал свою волю, водил по листу рукою писателя... А из песни слова не выкинешь...

...Чем измерить сложность и ответственность задачи, которую ставит перед собой художник? Существуют ли какие-то постоянные, всегда пригодные критерии на этот счет? Быть может, это актуальность темы? Масштаб изображаемых событий? Число, так сказать, задействованных лиц? Все относительно. И мы это теперь хорошо себе представляем. В Атамановке Распутина всего тридцать домов, а действующих лиц в повести, вместе с Надькиными, соседки Настениной, многочисленными ребятишками, и десятка не наберется. И это не помешало писателю повести нас в глубины народного характера, поведать о высотах человеческого и зачерпнуть с самого его дна, обнажить новый срез вечной, но нестареющей проблемы борьбы добра со злом. Быт, труд, хозяйствование на земле, ратная и трудовая страда — все это в повести тоже присутствует, но не на первом плане, не как предмет непосредственного рассмотрения, что ли, а как неотъемлемый и само собою разумеющийся фон, который как бы материализует, обосновывает непоправимость происходящего с Гуськовыми, неизбежность крушения.

В последней пока своей повести, «Прощание с Матёрой», Распутин, не давая себе, как говорится, ни отдыху, ни сроку, вновь обращается к коренным

вопросам жизни и смерти человека, истокам и целям его существования, его отношениям с обществом и природой. Только теперь — это сегодняшний, или почти сегодняшний, день с его сегодняшними, и радостными и нелегкими, проблемами, и в центре внимания писателя — уже не два и не три человека, а судьба целой деревни, да такой, что, хоть и ненамного больше она Атамановки, уготовано ей было оказаться на самом перекрестке противоречивых созидательных забот века.

И если все ранее написанное в прозе было результатом, в значительной мере, внутреннего душевного опыта, наблюдений, не связанных со специальным изучением тех или иных материальных сторон действительности, здесь впервые потребовал выхода в лирическую прозу багаж, накопленный в годы повседневной журналистской работы.

Вчитываясь в «Прощание с Матёрой», невольно оглядываешься на события более чем тридцатилетней давности, когда проблемы преобразования природы, самого лика земли для нужд человека впервые во весь рост стали перед нами, народом, который только-только залечил зияющие раны и боли войны и собрался для нового — дерзкого прыжка в будущее. Что говорить, оно казалось нам тогда и ближе и достижимее — прекрасное и безоблачное будущее, и вся проблема виделась, в том числе и в литературе, в искусстве, в основном количественной своей стороной — хватило бы рук да шагающих экскаваторов, саженцев да бетона, чтобы выкопать все эти водохранилища, перегородить великие реки плотинами да насадить лесополосы...

Известно, что опыт не приходит сам собою. До него и человеку в отдельности и целому обществу надо доработаться. Та пора, с ее одолениями и открытиями, издержками и поражениями, миновала, но не ушла бесследно. В решении задач неизмеримо более масштабных мы стали вести себя в той же степени диалектичнее, а проще говоря — осмотрительнее. Необозримая сложность и хрупкость взаимосвязей человека, общества, природы стала для нас теперь куда очевиднее. Охрана окружающей среды, равновесие в природе, экологическое эхо — эти и многие другие понятия, поставленные в повестку дня неудержимым проникновением человечества в тайны вселенной, сегодня на устах у всех — общественного деятеля, хозяйственного руководителя, педагога, журналиста, литератора... Вот и «Прощание с Матёрой» — не что иное, как попытка взглянуть на созидательную деятельность человека с особой точки — с того, так сказать, берега, с берега, которому суждено будет стать дном будущего моря. Скажем сразу, что такая попытка не только допустима, она закономерна, необходима. Согласимся, однако, что и такой подход сам по себе не застрахован еще от односторонности.

Тогда, четверть века назад, читая о «великих стройках», мы преимущественно слышали и в литературе и в прессе голос сильного, голос созидателя, преобразователя, ни на йоту не сомневающегося в своем праве. В повести Распутина во всеуслышание звучит другой голос — старухи Дарьи, ее соседок и подружек. Их слово в споре, где ставкою — вся прошлая и будущая их жизнь, их земля, верования, традиции, устои, — их слово, сказанное болью души, выстраданное всем опытом жизни,— весьма внушительно и впечатляюще.

«...Сегодня, когда деревня старая доживает свои последние дни, мы с особым обостренным вниманием вглядываемся в тот тип человека, который был создан ею, вглядываемся в наших матерей и отцов, дедов и бабок», — сказанные со свойственной ему страстностью, эти слова Федора Абрамова в его речи на

одном из писательских съездов словно бы предсказали появление образа Дарьи. Может, и на полемической закваске замешенный, характер этот не просто антитезис. Это реальная, живая фигура, отнюдь не елеем и не миром выписанная, характер своенравный, колючий, не такой уж и легкий, наверное, в повседневном быту.

Думаю, что прямое отношение к повести Распутина, к ее замыслу имеет и другая немаловажная мысль маститого его собрата по перу. Стремление представителей деревенской прозы осмыслить и удержать духовный опыт, нравственный потенциал русской деревни Абрамов прямо связывает с заботами сегодняшнего дня, в котором нам «предстоит в полном смысле заново сотворить русское поле, построить такие селения, где бы зеленая радость деревенского существования была дополнена всеми благами современного города». Посмотрите, как перекликаются с этим тезисом те разговоры, которые ведет Дарья со своим внуком. Двадцатилетний Андрей, отслужив в армии, заглянул в Матёру перед тем, как уехать на какую-нибудь стройку, да обязательно такую, что «ни одно утро не обходится, чтобы о ней не говорили» по радио: «Охота, пока молодой, тоже участвовать... чтоб было, значит, потом что вспомнить...»

Андрей — живой, естественный, «невыболевший, не потратившийся на работе парень», со здоровыми и благими порывами, в которых он, однако, и сам еще не отдает себе отчета. Его речь, настроения — словно оттиск, клише со всего того, что он услышал, прочитал, но не успел пока переварить как следует. И вот устами Дарьи и сына ее, Павла, отца Андрея, автор как бы пробует на зуб осмысленность, выношенность, органичность представлений Андрея и обнаруживает не то чтобы несостоятельность их, нет, никакого антагонизма в их воззрениях нет, а заемность, зазубренность... Не оттого ли все в жизни кажется Андрею простым и легким? Матёру ему жалко: «она нам родная», но «по-другому, значит, нельзя...» «Электричество, бабушка, требуется, электричество... наша Матёра на электричество пойдет, тоже пользу будет людям приносить». Он высокого мнения о призвании человека на земле — «человек — царь природы», убежден и во всесилии техники: «...знала бы ты, бабушка, каких машин понастроили...»

Втолковывает он все это бабушке, «ласково задирая ее», «как маленькой», — неужели, мол, непонятно. И старшие так же с улыбкой, но задумчиво отвечают ему: «Почему не понимаем? Маленько и мы чего-то понимаем. Я с тобой не о том говорю, нужна или не нужна ГЭС. Об этом спору нету. Я говорю, что и здесь кому-то работать надо». Это отец. А бабушка в одном из разговоров с внуком, который «отсталость» ее объясняет себе тем, что она, мол, «дальше Матёры носа не высовывала», весьма резонно возражает ему: «Я мало видала, да много жила». Тут не условные архаика с модерном столкнулись, не абстрактно понятые старое и новое... Опыт и мудрость беседуют с молодостью, необстрелянностью.

Хотелось бы задержать внимание читателя на образе Андрея — персонаже, по месту в повести, ему отведенному, как будто бы и проходном, второстепенном. Генетически Андрей, как и Люся в «Последнем сроке», — из тех, уже по одному тому находящихся «на заметке» у автора, людей, кто волею субъективных или объективных обстоятельств покинул родную деревню. Сравнивая, однако, как «сделаны», выписаны два этих характера, нельзя не порадоваться тому, как продвинулся в своем развитии автор, насколько увереннее он себя чувствует в «прекрасном и яростном мире», что окружает каждого из нас, где бы мы ни

жили — в одной из главных столиц мира, далеком от нее городе или в крохотном приигарском селе... Чувствуется, что в Андрее автору многое не нравится, многое вызывает улыбку, а то и раздражает... Легкость и бесшабашность иных суждений, чувство ничем не подтверждаемого превосходства, обнаруживаемое им во взаимоотношениях с бабушкой и отцом, проскальзывающая за всем этим несамостоятельность и необязательность: могилки обещал помочь перенести на новую землю — не сделал, вернуться обещал на Матёру, до того как окончательно опустеет она перед затоплением,— не вернулся... Все так, и тем не менее теперь уже автор не спешит с приговором, не торопится, как на Люсе, поставить на Андрее клеймо. Там, в «Последнем сроке», приговор, окончательный и обжалованию не подлежащий, здесь — если хотите, исследование, доброжелательное и объективное... Что влечет Андрея в сторону от отчих мест — в большие города, на большие стройки? Что ждет его там, что он там может найти и что потерять? Насколько он вообще подготовлен к взрослой и самостоятельной жизни, к ответственности за свои поступки, где бы ни довелось ему их совершать — в деревне или в городе?..

Собственная растущая гражданская и художественная зрелость побуждает Распутина к этому анализу — речь ведь идет о представителе того поколения, которому черед наступает хозяйствовать на земле и отвечать за все на ней...

Отрадно и естественно, что и молодые люди стали попадать в зону творческих интересов, размышлений писателя... Обнадеживает и итог этих раздумий... Многое в Андрее вызывает у автора улыбку, но это улыбка добрая, снисходительная, если хотите, но никак не осуждающая. Он видит его не плоскостно, в двух измерениях, как Люсю, а объемно. Многое из того, что не может принять в Андрее,— понимает, объясняет его молодостью, той самой «невыболенностью», и «непотраченностью в работе», о чем говорилось выше и что тоже — благо до поры до времени, надеется на него в будущем, хочет помочь, подсказать...

Поэтому, отнюдь не отвергая с порога декларативные, лозунговые рассуждения Андрея о больших стройках («ГЭС отгрохают, она тыщу лет стоять будет»), о прогрессе человечества («Человек столько может, что и сказать нельзя, что он может. У него сейчас такая сила в руках, о-е-ей!»), об исторической необходимости, о смысле жизни («надо не поддаваться судьбе, самому распоряжаться над ней»), Распутин как бы предлагает — и Андрею, и нам вместе с ним — поразмышлять над истинной сутью этих важных понятий, добраться до их глубинного смысла. Три человека, три поколения, ведут беседу, и автор внимательно прислушивается к каждому и, за каждым признавая правоту его, стремится понять, где же она, общая-то правда...

Тональность бесед Андрея с бабкой и отцом, интонация авторских комментариев — словно камертон, по которому и настраивать бы все произведение. К сожалению,— и это недостаток не только композиции, но и замысла в целом — разговоры Павла, Дарьи и Андрея, выписанные с доброй и мудрой лукавинкой,— лишь эпизод в повести. Андрей вскоре уезжает — то ли на свою стройку, то ли еще куда, другого же оппонента у Дарьи и ее товарок, для которых переселение с Матёры — конец мироздания, не находится. Голоса тех, чьей волей и действиями затопляют Матёру, читателю услышать не дано.

Вот это и представляется мне односторонностью. Немалую дань заплатила ей наша литература. Так стоит ли, вооружась против нее, повторять старые ошибки, пусть и с другого бока?

Да, мы не зря прожили четверть века. Мы не спешим теперь понаслышке восхвалять каждый внешне впечатляющий проект. И печать и литература наша, эти рупоры общественного мнения, не раз за последние годы вступали в схватку с ура-прожектерством и одерживали победы, в том числе и тогда, когда речь шла о судьбе малых и немалых рек, озер, лесных и земельных массивов. Но для того чтобы оппонент был опровергнут, он должен быть, по крайней мере, выслушан.

Не так уж важно название той ГЭС, ради которой затопляют Матёру, но оправдано ли в принципе, по мнению самого автора, ее строительство? Если да, если вышло так, что приверженность к родному очагу старейших жителей села столкнулась по необходимости с целесообразностью более высокого порядка, затрагивающей интересы несоизмеримо большего количества людей, — прощание с Матёрой для нас — элегия, высокая и светлая грусть по тому, что неизбежно уносит с собою время. Ну а если то, что происходит с Матёрой, просто головотяпство — и так бывало,— тогда наши читательские чувства приобретут совсем иную окраску...

Художественное произведение, конечно, не газетная дискуссия, но на подобные вопросы, коль скоро они самой повестью и поставлены, хотелось бы — «извольте мне простить ненужный прозаизм» — получить более определенные ответы.

То же самое следует сказать и по поводу нового поселка. Здесь мысль автора тоже до конца не прояснена. Исполненные гражданского гнева описания того, как второпях, без знания дела, без любви и уважения к людям, которым предстоит здесь жить, выбирали место для новой Матёры, строили ее, вызывает ответное чувство. История, к сожалению, весьма правдоподобная и легко узнаваемая. Распутину-журналисту она, видимо, знакома до мельчайших деталей, и Распутин-писатель изобразил ее глубоко и правдиво. Но порою создается впечатление, будто есть, по мнению автора, что-то фатальное в этой неудаче с новым поселком, в той неустроенности, которая окружает здесь людей, что иначе, мол, и не могло бы быть. Нас как бы хотят уверить в том, что на неуспех обречена вообще всякая попытка что-то изменить в сложившемся исстари укладе жизни. Надо ли говорить, насколько ограничен и уязвим с точки зрения самого обыкновенного здравого смысла такой подход?

Насколько уже и непродуктивнее он того, что содержится в приведенных выше словах Федора Абрамова, который в необходимости «построить такие селения, где бы зеленая радость деревенского существования была дополнена всеми благами современного города» видит «задачу, прямо скажем, грандиозную», выполнение которой связано исторически с «великим созданием и великой ломкой». Ведь и все ныне старое было когда-то новым, хочется по-дружески напомнить Распутину, и та же, к примеру, Матёра, которой предстоит затопление,— это вовсе не та Матёра, какой она была, скажем, пятьдесят лет назад. Да и тот, столь же близкий нам, как Дарье, как Павлу, уклад их жизни, порядки, отношения между людьми, сложившиеся в коллективном хозяйствовании и владении островом. Все это ведь тоже пришло и утвердилось когда-то не само собой, не гладко, не в идиллических формах...

Распутин взялся за тему, где проблемы этические и экономические, житейские и философские в силу именно замысла авторского завязаны в один узел, и такой тугой, что, дергая лишь за две-три ниточки, его никак не распутаешь. Выпячивание одних сторон повествования в ущерб другим, пренебрежение некоторыми очевидными истинами деформирует общее впечатление.

И начинает казаться, что деление героев на положительных и отрицательных по принципу — хочет или не хочет он уезжать с Матёры — весьма искусственное, что монологи Дарьи, столь захватывающие поначалу, оказываются безбожно затянутыми и порой доходят до таких обобщений, которые просто не под силу, не под стать деревенской старухе, пусть и талантливой, самобытной, незаурядной от рождения, по развитию.

И тогда с не удивляющей уже точностью услышанная и переданная музыка ее речи начинает звучать форсированно, напряженно, порою просто искусственно и ненатурально. Нарочитость какая-то появляется — подобная той, что мы встречали в монологах и репликах Люси, городской дочери Анны. Справедливо попрекая, например, Андрея в небрежении родными местами, их зеленой красотой, тишиной, в увлечении машинами, Дарья свои возражения заканчивает такими весьма ненатурально, выспренне, натужно звучащими в ее устах дефинициями: «Ты говоришь, машины. Машины на вас работают. Но-но. Давно ж не они на вас, а вы на их работаете — не вижу я ли че ли! А на их много чего надо! Они от вас, вы за имя вдогоню. Догонили не догонили те машины, другие сотворили. Эти, новые, ишо похлеще. Вам тошнее того припускать надо, чтобы не отстать...» Тут стиль становится стилизацией.

Словом, не хватило здесь писателю того самого чувства меры, чувства пропорции, которое составляет сильную сторону его творчества.

Нелишним будет добавить, что случается это с ним редко, и обычно именно тогда, когда пишет он о людях, которые либо очень близки и дороги его сердцу, либо, наоборот, вызывают откровенную антипатию.

Констатируя те или иные промахи и ошибки, мы в критике не всегда задаемся вопросом: а в чем же их причина? В данном случае, в «Матёре», этой причиной является, как это ни парадоксально, именно увлеченность автора, влюбленность его в жизнь, о которой он пишет, та углубленность в тему, которая не позволяет с необходимой дистанции взглянуть на свое детище, обозреть его в перспективе, а только так можно заметить перекосы, диспропорции, убрать лишний мазок, увидеть неточно взятую краску.

...О последней повести Распутина написано уже немало — как о несомненных ее достоинствах, так и о недостатках. Что касается недостатков, подобных, например, тем, о которых и я только что вел речь, то они кажутся столь очевидными и несомненными, так бросаются в глаза, что невольно диву даешься, как же это сам-то автор не увидел того, что сразу же увидели и так дружно отметили все мы — его критики. И приходит на ум, что замысел повести, быть может, значительно глубже, чем это представляется нам, и все очевидные заведомые преувеличения — в чувствах, размышлениях героев, в самой образной стилистике повести с ее Царским лиственем и загадочным, метафизическим Хозяином — имеют особое предназначение, и уж конечно более существенное, чем просто служить мишенью для критики.

Ключ к этому сверхсмыслу, что ли, произведения, который, мне кажется, действительно существует, заключен опять-таки в словах Дарьи, в тех, о которых даже не ясно, были они произнесены или только послышались, почудились потрясенному воображению Андрея, когда он рассказывал бабушке о собрании, на котором подробно излагался порядок предстоящего ей переселения и затопления Матёры. «Она присела на лавку у стены, опустив руки, помолчала и, словно что-то надумав, что-то решив про себя, только и сказала:

— Но-но.

Андрея удивил ее голос: на одном звуке он сумел вознестись до какой-то праведной торжественности, точно никто не верил, не знал, одна она верила и знала, и правда осталась за ней. Но было в нем, кроме того, что-то еще, что-то похожее на предостережение: мол, посмотрим, как оно будет. Будет-то будет, никуда от этого не деться, но как будет?! Не спечется ли, глядя на Матёру, остальная земля?»

Не спечется ли? Вот оно! И, будучи, с чисто даже эстетических позиций, ревностным противником разного рода преувеличений, крайностей, экстрем, право на такую гиперболу, каковой в этом смысле является тогда и вся повесть, право на такую гиперболу я хотел бы защитить и поддержать. В ней звучит тревога за судьбы всего земного шара, казавшегося людям когда-то таким необъятным и не имеющим границ, а теперь ставшего таким крохотным, таким уязвимым и так зависящим от каждого неосторожного движения человечества. «Мир маленький, я говорю, что мир не так велик, как думают простые люди»,— сказал в 1503 году Христофор Колумб, только что открывший новую землю. И мы, открывшие за последние два десятилетия целый космос с его Луною, Марсом, Венерой, Юпитером, которые теперь уже и для «простых людей» перестали быть просто «звездочками», можем сегодня подтвердить это с еще большей уверенностью. В каждой из профессий и в каждом из политических направлений есть люди, которые видят ту опасность, которая грозит земле со всех сторон — и со стороны милитаристов, и со стороны неутомимых преобразователей, и со стороны туристов, и каждый, кто способен интересы прогресса, мира поставить над своими, личными, узкими, стремится заявить о ней как можно громче. По-своему, по-писательски, захотел сказать о ней и Распутин, и то, что кажется преувеличенным по отношению к маленькому клочку земли на Ангаре, вполне по росту всей земле нашей.

Конечно, гипотеза эта не отменяет всего того, что сказано критикой о чисто творческих, профессиональных недостатках повести, сказать о которых было необходимо, но она объясняет их происхождение, заставляет отнестись к ним снисходительно, предостерегает, чтобы с водой не выплеснули ребенка.

Несколькими годами раньше Распутин опубликовал в «Нашем современнике» нечто вроде документальной повести «Вниз по течению». Это и был первый приступ к теме Матёры. Герой произведения, молодой писатель, навестивший родных в таком же вот, наверное, новом поселке, как тот, куда теперь перебираются жители острова, покидает земляков с чувством неудовлетворенности. «Надо будет, — говорит себе Виктор, — еще вернуться... увидеть и испытать заново все то, что он уже видел и испытал, в новой поездке, но быть самому другим человеком, более опытным и спокойным, хорошо и ясно представляющим, куда он идет и что там найдет».

«Прощание с Матёрой» и есть такое возвращение, и, наверное, не последнее. Распутин упорен, последователен, неустанен в своем поиске, и в этом — залог и источник его роста. Тема основ, устоев народной жизни, связей настоящего с прошлым и будущим — коренная в творчестве Распутина. И здесь, без сомнения, и его, и нас, читателей, ждут еще новые и новые открытия.

Живут Пряслины!

Известно немало случаев, когда зрители в театре, проникнувшись пламенными симпатиями к одним героям и исполнившись столь же откровенного негодования по отношению к другим, вмешивались в происходящее на сцене и бурными выкриками, а то и с помощью физической силы стремились повернуть ход действия в том направлении, которое соответствовало их представлениям о справедливости. Чаще всего такое происходит в детской аудитории, но случается и со взрослыми, о чем нам поведал, например, Алексей Толстой в своем романе «Хмурое утро».

Помните, как досталось исполнителю роли злодея Франца Моора в драме Шиллера «Разбойники» от красноармейцев из отряда Ивана Горы? О такого же рода казусах совсем недавно рассказал нам в своем повествовании «Царь-рыба» Виктор Астафьев.

И хотя подобная непосредственность свидетельствует не только о благородстве порывов, по и о недостатке эстетической культуры, не постесняюсь все же признаться, что такого вот простодушного потребителя искусства обнаружил я в себе, когда впервые, теперь уже много лет назад, читал, да что там читал — зачитывался романом Федора Абрамова «Две зимы и три лета». Только негодование моего второго «я» вызывали не герои романа, а сам автор. Как не посетовать, как не подосадовать было на романиста, который с безжалостной последовательностью обрушивал на своих героев, полюбившихся уже читателю, испытание за испытанием! Разум понимал их неизбежность, а сердце отказывалось принимать и все искало отдушины, проталинки, ждало, когда же хоть краешек солнца проглянет над семейством Пряслиных, над далекой северной деревней Пекашино.

Вспоминался опубликованный несколькими годами раньше роман Абрамова «Братья и сестры», по отношению к которому следующий — и продолжение и совершенно самостоятельное произведение. Там речь шла о войне, и люди жили тем, чтобы она кончилась, и верили, что после этого все сразу станет по-старому, — нет, даже лучше, чем по-старому.

Две зимы и три лета — первые послевоенные годы. Но что же? Кончилась война, а «похоронки» все идут. И тает, захлебывается в море слез робкая радость тех, кто дождался своих с фронта. Да и сами-то вернувшиеся, прошедшие там, на войне, все круги ада, чувствуют себя рядом со вдовами и сиротами словно бы виноватыми в том, что остались жить.

Кончилась война, но люди пуще прежнего разрываются между колхозной нивой и лесной делянкой: лес нужен стране, много леса.

Кончилась война, но по-прежнему львиную долю того, что производят, люди сдают государству, а сами едят хлеб пополам с травою.

Кончилась война, но почему-то вместо Анфисы Петровны Мининой, которая все эти годы, надрываясь, командовала колхозом, становится во главе артели пришлый, никому не известный мужчина, о котором Михаил Пряслин, главный герой романа, скажет позднее:

«Такой... председатель. Ему ты на мозоль наступил, а он тебе за это ногу рвет напрочь».

А тут еще подписка на заем, а тут еще погибает корова Пряслиных Звездоня, всю войну кормившая молоком многодетное семейство...

Словом, только-только приготовимся мы вместе с героями вздохнуть чуточку посвободнее, как новая напасть выбивает нас вместе с ними из колеи...

Все так, спохватываешься наконец, но при чем же здесь автор? В чем, положа руку на сердце, можно его упрекнуть? Что именно вправе мы отнести к недоброй его фантазии? Что, кроме, быть может, смерти Звездони? И приходит в голову такая ненаучная мысль: мол, не из этого ли наивного читательского раздражения, не из этой ли извечной тяги к счастливому концу рождается порой и упрек литературной критики в том, что писатель искусственно нагромождает трудности, нарочито сгущает краски?..

Нет, что касается романа, здесь все, от главного до мелочей, продиктовано тем суровым временем, которому он посвящен, несет на себе его печать. Тяготы и лишения, выпавшие на долю Пряслиных, всех пекашинцев, — не что иное, как частица общенародной ноши, и мы должны признать, что их доля, как она ни велика, еще не самая тяжелая, хотя бы потому, что огненный вал войны бушевал далеко в стороне и о сожженных дотла городах и селах здесь знают лишь понаслышке, из газет да от вернувшихся с войны земляков. Пекашинцы постоянно ощущают себя в долгу перед страной и не ропщут, принося свои великие жертвы, когда ясно видят их необходимость.

Вот написал я «должны признать» и сам подивился этому упору на слово «должны» там, где признание должно быть саморазумеющимся. Крепко все же въелась в нас привычка о тяготах и лишениях, выпадающих на долю народа, говорить с реверансами, словно бы стесняясь их.

Кстати, написав впервые в газетной рецензии о романе «Две зимы и три лета», я очень быстро убедился, с какой агрессивностью может выявлять себя эта тенденция. Обрушившись на роман и на высказанные в рецензии соображения, автор статьи в журнале «Дон» заявил ни больше ни меньше, что Федор Абрамов своим реалистическим отражением трудностей послевоенного периода «снижает патриотический подвиг своих земляков», что он чуть ли не в угоду «своим изобразительным возможностям рисует одну тягостную картину за другой».

Критику этому возразила тогда, весьма аргументированно и остро, «Литературная газета». Время дало отстояться оценкам. И может быть, сейчас и не стоило бы ворошить этот давно забытый полемический казус, если бы не нес он в себе семени того самого спора об отношениях литературы и жизни, который всегда вспыхивает при появлении незаурядного, чуждого схеме произведения литературы или искусства. Если б не суждено было возникать подобному спору и вокруг каждой новой вещи Абрамова.

Послушать да почитать иных критиков, так любое упоминание о трудностях тех или иных периодов развития нашей страны — чуть ли не укор всем нам. А ведь трудности и заботы эти не с неба упали. Они — неизбежный до поры спутник народа, избравшего путь борьбы с вековыми несправедливостями за счастье всего человечества. Что же касается Великой Отечественной войны, то она-то

и была самым тяжким, самым лютым испытанием, в стороне от которого не мог остаться ни один человек как на фронте, так и в тылу, во вражеской оккупации.

Согласимся же, что жизнь Пряслиных, жизнь пекашинцев — это, с теми или иными поправками на личную судьбу, на возраст, на географию, это наша, всех, кто оставался в тылу, общая жизнь с ее голодухой, нечеловеческим напряжением в труде, детской инстинктивной тоской по беспечному детству, со страшными «похоронками», приходившими, раньше или позже, почти в каждую семью. Так стесняться ли нам теперь перенесенного?

Изловчившись, а то и просто игрою случая, один человек может какое-то время прожить беспечнее других. Народу же в целом некуда и невозможно было уйти от военной страды и ее последствий, и он нес эту доверенную историей ношу на своих натруженных плечах. И если кому-то становилось легче сегодня, он знал: завтра будет труднее. И наоборот. Как всегда бывает, когда делят тяготы по-братски, честно. Тем же, кто, подобно Михаилу Пряслину, секретарю райкома партии Лукашину или недавнему фронтовику Илье Нетесову, вперед других спешил подставить плечо, было оттого и труднее, но и легче, потому что хоть и надрывались, но и лучше других понимали: работа не бросовая, благодарная, нужная всем, и им самим тоже.

«Да пойми ты, дурья голова, — объясняет жене недавний фронтовик Илья Нетесов, — страна такую войну перенесла... Везде нехватки. Нынче засуха. А города-то нужно кормить? Там ведь не жнут, не сеют...»

Преуменьшить тяжесть испытанного — значит принизить и величие совершенного. Сегодняшняя литература о войне, когда война уже стала историей, вправе — нет, обязана — сказать нам об этом даже полнее, откровеннее, чем это можно было говорить, идя вслед за событиями.

Кто из тех, кто хоть краешком детства захватил Великую Отечественную войну, не помнит фильма «Два бойца»? Появление его в разгаре войны было событием, и первое впечатление от него до сих пор хранится в памяти как одно из самых сильных, самых заветных. Но попробуем взглянуть на этот же фильм глазами сегодняшнего старшеклассника и тотчас же увидим немалые слабости его — и шаблонность сюжета, и наивность реплик, и ходульность образов. Если что и забирает, как прежде, всерьез, то, пожалуй, лишь песни в исполнении Марка Бернеса. Его знаменитая «Темная ночь»...

Как же совместить два этих, казалось бы, несовместимых ощущения? Возможно ли примирить их? Надо ли? Вопрос отнюдь не праздный, не умозрительный. И потому, что касается он не только этого фильма и вообще не только кино. Есть разные ответы на него, разные точки зрения. Согласно одной, произведения, подобные фильму «Два бойца», давно уже пора списать в архив как безнадежно устаревшие. Согласно другой — они-то и есть образец того, как и сегодня надо говорить о войне, показывать войну. И оттого, что сторонников каждой из двух этих точек зрения и шага не заставишь сделать навстречу друг другу, возникают роковые недоразумения в отношении целых пластов литературы и искусства.

Пушкин говорил, что произведение искусства должно судить по тем законам, которые создатель его сам признает над собой. Искусство, литература в суровые дни войны жили по особым законам, одной целью — помочь выстоять, помочь победить, одушевить, поддержать. Секрет фильма в том, очевидно, и заключается, что он, как никакой другой, сумел удовлетворить самые задушевные потребности тогдашнего зрителя — фронтовика, солдатки, рабочего, де-

вушки, ждущей любимого, и матери, склонившейся над кроваткой сына, бойца, вспоминающего темной вьюжной ночью о доме, о родных... Фильм говорит о чистой любви и верной дружбе, он учит ненавидеть врага и вселяет уверенность в победе. Он лиричен, улыбчив, задушевен, и он запал в души миллионов, которые этими чувствами и этими настроениями жили тогда. Фильм стал другом, товарищем в борьбе, как политрук в роте, как агитатор в цеху.

В титрах фильма стоит 1942 год, и дата эта для зрителя постарше работает как бы наравне с кадрами фильма, а то и посильнее, воскрешая все пережитое, перечувствованное в ту страшную и незабываемую пору.

Сегодня у нас другие заботы, другие проблемы, другие мерки. И зрителю помоложе действительно уже трудно представить себе, что же находили в этом фильме старшие. И не помогут тут никакие восклицания. Но поведите такого зрителя в музей. Вот автомат, с которым шел в атаку его отец, вот обломок самолета, на котором летчик совершил таран, вот истершийся кисет... Теперь у нас другое оружие и другое снаряжение, но, если бы мы не приходили сюда, к этой пробитой фашистской пулей каске, к этому постаменту, на котором уже десятилетия несет свою вахту «тридцатьчетверка», не вспоминали бы песен той поры и не смотрели тогдашних фильмов, мы были бы слабее и беднее во сто крат...

Есть создания искусства, которые вечно молоды и новы. Но есть и такие, которые дороги как спутники былого, свидетели пережитого. Справедливо говорится, что самый великий художник — время!

Неразумно с меркою сегодняшнего интереса к минувшему событию подходить к произведениям, родившимся одновременно с ним.

Но и от тех, что появляются ныне, нельзя ждать лишь вариаций уже существующего. Вновь и вновь возвращаясь к минувшему, человек каждый раз переживает его по-новому, и искусство отражает эту закономерность, то совершая открытия, то повинуясь моде. За волной волна...

К жизни и горестям героев романа Абрамова никто не может остаться равнодушным. И казалось бы, писатель, вызвавший чувство сопереживания, уже за одно это достоин признания: он не прошел мимо тягот людских, сказал о них все, без утайки. Как часто этого оказывается достаточным для автора и круга его верных поклонников и вдохновителей. И как мало этого для широкого читателя, для людей вообще, которые хотят увидеть и понять истинный, часто скрытый где-то в глубине смысл происходящего. Постигнуть и научиться. Извечен утилитарный подход народных масс к литературе. Но тот, у кого хватает мужества признать его власть над собой, тот всегда будет находить наслаждение в поисках ответа, смысла и в самом процессе, то есть в творчестве, а не в аплодисментах видеть смысл своей деятельности.

С тем самым простодушным читателем в себе, что так озабочен житейским благополучием пекашинцев, расстаешься скоро и без грусти. Если Абрамов и безжалостен, то не к героям своим, а к нам, сегодняшним читателям, которых он заставляет до конца испить чашу познания. Но, осушив ее, мы обнаруживаем драгоценный осадок — истинную красоту.

Как произросла она на этом скудном Севере, среди пинежских подзолов да супесей,— секрет жизни. В том, что так крупно бросилась в глаза нам,— секрет художника, плод редкого дара, которому можно только позавидовать. И первое, о чем думаешь, разгадывая секрет, герои романа — родня художнику, он родня им. Ему не надо вставать перед ними на цыпочки, не надо и наклоняться. Может быть, он теперь живет и вдали от них, но внутренне он никогда и никуда

не уходил. Он не кокетничает, подобно многим, своей близостью к деревне. Его интонация лишена и высокомерного заискивания перед ней, которое мы тоже встречаем, к сожалению, в нашей деревенской прозе.

Сколько в свое время ушло творческих сил на то, чтобы низвести образ так называемого простого человека с тех искусственных высот, на которые он был искусственно же и вознесен. Сколько потом было потрачено усилий на то, чтобы из этого, ставшего уже «маленьким», человека сотворить себе кумира, прощая ему все слабости, а то и возводя их в добродетель. Волна за волной...

Герои Абрамова — живые, реальные люди.

Перебирая мысленно перипетии романа, вновь и вновь убеждаешься, что нигде и ни в чем не поступился автор истиной, счастливо избежав соблазнов как приукрасить жизнь в угоду одним, так и очернить ее в угоду другим.

Есть писатели, которые приносят красоту в жизнь. Это писатели по преимуществу лирические. Их произведения больше говорят нам об авторе, чем о герое.

Абрамов — писатель эпический. И красоту он находит там, где она живет: среди людей, которые и становятся его героями.

В конце концов, каждый из нас — будь он артист, инженер, токарь или геолог — живет в какой-то определенной среде и знает ее так, что любого бытописателя этой среды обязательно на чем-либо неточном — большом или малом — да поймает, подвернись случай. Но многие ли способны именно так, как Абрамов, увидеть этих вот нас окружающих людей? Речь здесь, очевидно, следует вести уже не о профессиональном даре, но о даре человечности, который вовсе не является монополией какого-то одного рода занятий.

Десятилетиями ведется в литературе спор о положительном герое, об идеальном герое. Спор этот, как эстафету, передают из поколения в поколение критики. А когда герой является, он порою долго остается незамеченным.

Опубликованный вначале в журнале «Новый мир», рассчитанном на сугубо серьезного читателя, роман Абрамова получил репутацию чтения взрослого. Подрастающее поколение поначалу обращалось к нему значительно реже. А между тем тогда уже видно было, что Михаил Пряслин, паренек из глухого северного села Пекашино, станет еще жизненным спутником не одного поколения молодежи. Давно уже ни в деревенской прозе, ни в городской, ни в так называемой исповедальной не встречались мы с характером столь ярким и самобытным.

Смешно слышать разговоры о том, что молодежь нынешняя живет в тепличной обстановке. Ничего, кроме взаимного раздражения собеседников, такие разговоры не приносят. И все-таки трудности, выпадающие на долю сегодняшних подростков, юношей и девушек, совсем другого характера, чем тридцать лет назад. Можно было бы долго рассуждать на эту тему, но если говорить о самом главном, то оно, на мой взгляд, вот в чем. У нынешних молодых, как бы ни терниста была порой их жизнь, больше возможности думать о себе. Их победы и поражения — чаще всего ступеньки их собственного становления, за которым с чрезмерным даже вниманием наблюдают родные и близкие. Сегодня первые треволнения связаны с самоопределением в жизни. Кем быть? А драма поиска, как ни говори, предпочтительнее того бремени житейского, что смалу несли ровесники Михаила Пряслина, как будто бы и не подозревая о возможности выбора.

Придавило к земле так, что жилы вот-вот лопнут и кости затрещат. Где тут по сторонам оглядываться да о будущем думать? Но так уж устроена жизнь: кто

раньше взваливает на себя заботы об окружающих, тот быстрее становится хозяином и собственной судьбы. Испытания закалили волю, выдубили характер.

Смешно было бы призывать к искусственному разведению трудностей. Жизнь не ипподром, где можно поставить ровно столько барьеров, сколько требуется условиями соревнования. Однако знать и помнить о том, какой закваской для формирующегося характера были те военные и послевоенные годы, сегодня совершенно необходимо.

Образ Пряслина способен многое сказать людям разных возрастов. Ветеран Отечественной узнает в нем своего сына, которого, уходя на войну, оставил совсем ребенком, а вернувшись, застал не по годам взрослым. Ровесники Михаила, которым давно уже пятый десяток пошел, увидят в нем себя, свою нелегкую юность. А молодежь в них, сегодняшних, увидит нечто дотоле неизвестное, поймет в их характерах многое из того, что оставалось непонятным. Заглянув в их детство, взгрустнут, а может быть, и позавидуют чему-то сегодняшние подростки.

Трудолюбие Михаила, безотказность его, помноженные на сноровку, ухватистость, делают то, что все в Пекашине, где взрослые на фронте, считают его «главным мужиком». Стоило ему показаться на улице, бабы наваливались со всех сторон: этой поправь крышу, той подними дверь. Домой придет — тоже работа со всех углов глядит, зовет к себе. У председателя колхоза Анфисы Петровны одно на устах: «Выручай, Михаил». Вот и выручал — колхоз, семью, соседей. Поворчит иной раз — да и за дело: сено косить, крыши ладить, косы отбивать да править, багром на лесосплаве орудовать, навоз возить, валенки братьям подшивать...

Умело Пекашино навалиться вот так на человека, но и за благодарностью не стояло. Редко, наверное, кому в Михайловом возрасте доводилось столько слов о себе добрых услышать, сколько услышал их Пряслин, когда Пекашино с войной прощалось.

«— Да, бабы, за первого мужика Михаил всю войну выстоял. За первого, — смахнула слезу Анфиса. Налила из своей половинки в стакан, протянула Михаилу: — На-ка, выпей от меня.

— И от меня, и от меня! — зашумело вокруг. Позабыли растроганные пекашинцы, что не мужик еще вовсе Михаил, а вчерашний подросток».

И он, согретый бесхитростной этой похвалой, чувствовал себя перед народом, наверное, так же, как дома, с братьями и сестрами меньшими, когда, возвращаясь к ним из леса с гостинцами, возглашал: «Чай будем пить! С хлебом! С настоящим!» И ощущал на себе их восторженные, благодарные взгляды. Живут Пряслины!

Проделав вместе с сестренкой Михаила Лизкой нерадостный ее путь до лесной делянки, подслушав долгие разговоры Михаила с матерью о кормах для Звездони, о трудодне-палочке, о хлебе для семьи, взглянув на избу Пряслиных, которая тем только и изба, что «тепло в стенах держалось», а так «один угол увело в сторону, другой сел», скажем ли мы, что писатель хоть что-нибудь утаил от нас из нелегкой жизни своих героев?

Проводив вместе с Анфисой Петровной все ликующее малолетье пряслинское на пожню, став растроганным свидетелем величания Михаила бабами-вдовами, усомнимся ли хоть на минуту в том, как велико и плодотворно в жизни человека значение таких вот радостей, настоянных на семейной душевности, на благодарности людской, на ощущаемой всем естеством несказанной поэзии земледельческого труда?

Потерянное в знаниях можно наверстать. Приобретенное в характере остается с тобой на всю жизнь.

Помните встречу Михаила с Егоршей, ровесником его, на лесосплаве?

Егорша только что на тракториста сдал, с кучей игривых новостей — к приятелю. Порассказать и порасспросить только что вернувшегося из областного центра Михаила: что, мол, успел, выбравшись в кои-то веки в город, побывал ли хоть в ресторане?

Михаил не отвечал.

«Он смотрел за реку, на пестрый луг, по которому медленно со стрекотом ползала конная косилка. Так вот в чем дело, догадался Егорша. Пожня, сенокос у него на уме. И бесполезно теперь о чем-либо с ним толковать. Не поймет, не услышит. Как глухарь на токовище».

У Егорши такое настроение приятеля не вызывает ни малейшего сочувствия. Он даже считает его вредным для дальнейшей жизни Михаила: «Сколько я тебе говорил, жук навозный: подавайся в леспромхоз. А ты как бревно. Спустили на воду, куда поволокло водой, туда и плывешь. Ну и плыви, хрен с тобой».

Хитроумен Егорша, но не дано ему понять ту простую истину, что ясна чуть ли не каждому на селе. Это он, Егорша, качается послушно на волне мелких житейских интересов. Михаил же во власти совсем иной силы.

И мы, вглядываясь вместе с Михаилом в луговое заречье, прозреваем в этот миг его будущее.

Видим добровольного узника, словно невидимой цепью какой прикованного к этим лесам, к реке, к этим людям.

Видим те трудные для нас теперь прошедшие, а его лишь поджидавшие годы, которые еще немало вытянут ему жил, попортят крови и нервов, но еще крепче привяжут к этой жизни, без которой ему нечем дышать.

И еще чуточку воображения. Есть такой тип людей на селе, кремень-людей, которым мы так многим обязаны в нашем сельском хозяйстве. Несговорчивые, неуживчивые, всю жизнь гнут они свою, не с кондачка выбранную линию. Не собьешь их с нее ни испугом, ни лаской, ни инструкциями, ни прожектами самыми заманчивыми. В трудную минуту такой, как Кузьма Кузьмич, один из героев романа, «головой кивает, вроде бы сочувствует, а губы поджал — значит, при своем мнении».

Не сходится его мнение с другими, ругают, наказывают; по его слову потом повернется — и не вспомнят.

Таким вот и видится где-то впереди Михаил. Но немало еще предстоит ему пройти до того, потому что застаем мы его как раз в тот момент, когда только началась ломка характера и все, что есть в нем хорошего и плохого, бурно пошло в рост, усложняя изо дня в день отношения с окружающими. И вот тут-то самое время задаться всерьез вопросом, который начинает нас беспокоить уже в самом начале романа.

Вот Егорша — само безразличие к людям, а как колобок катается по пекашинским полям и улицам, никому не в радость, но никому и не в обузу. Почему же Михаил — сама сердечность, само сердце, открытое людям,— постоянно оказывается в конфликте с кем-нибудь, да уж добро бы только с людьми бросовыми, никчемными. Но нет! Помните, Анна Пряслина унесла с тока мешочек зерна? Унесла, чтобы его же, Михаила, братьев и сестер его меньших от голода спасти. Потрясенный Михаил идет к председателю Анфисе Петровне: «Что делать? Как жить? Отец на фронте погиб, а мать — такая-разэдакая — на колхозное зерно руку подняла».

Позже он с такой же верой, убежденностью в собственной правоте выступит и против самой Анфисы Петровны. Не только проголосует, подобно другим, за уход ее с председательского поста, но и от себя камешек вдогонку бросит.

«— Но, товарищи, надо бы нашему председателю за войну сказать спасибо. — Это Илья Нетесов неуверенно голос подал от печки.

Михаил поморщился как от зубной боли: ну, будет сейчас мокряди. Бабы откроют шлюзы — закапают собрание слезами. Он сложил руки ковшом, крикнул басовито:

— Голосуй! Все ясно. Сколько еще можно назад оглядываться?»

А его стычка с Тимофеем Лобановым?

Два проклятия тяготеют над Тимофеем. Одно, что возвратился он домой не с фронта, как другие, а из плена, чего ему даже родной отец простить не может. Второе — болезнь, весь ужас которой и до него самого дошел, наверное, только перед самой смертью. Люди же вокруг считают его ссылки на болезнь чуть ли не дезертирством. И как уже не раз бывало, бичом божьим становится Михаил, который, вместо того чтобы помочь Тимофею добраться до больницы, понуждает его вернуться на лесозаготовки.

«— Круто ты берешь, парень, смотри не споткнись, — сказал Михаилу обессиленный спором Тимофей.

— Ничего, — сказал Михаил, — я с 42-го круто беру. — Помолчал и врезал для полной ясности, глядя Тимофею прямо в глаза: — Когда на отца похоронную принесли».

Как же нам примирить эти противоречия в его характере? Может, и не от жизни это, а от писательской прихоти? Может, это лишь дань дурному психологизму?

Можно представить себе читателей, которые охотно согласятся с таким предположением. Можно представить и таких, кто вообще тут никакого противоречия не увидит. И труд Михаила, забота его о колхозе, о семье — благо. И бдительность его, непримиримость ко всякого рода нарушениям порядка — Добро. Ну, а то, что ошибается порой адресом, перегнет, с кем не бывает! Молод же еще! Для третьих, наоборот, неуступчивость Михаила, категоричность суждений станет источником такого рода тревоги, которая может начисто смазать растущую к нему симпатию.

Слишком много соединилось в Михаиле такого, что имеет самое непосредственное отношение к заботам сегодняшнего дня, к нашим раздумьям о прошлом и будущем. Вот это-то и убеждает: как угодно можно относиться к противоречиям его характера, с одним бессмысленно спорить — они в образе Михаила не от литературы, от жизни. Больше того — через них-то и выявляется цельность характера, составляющая самую суть натуры парня.

Попробуем поставить в ряд эти, такие разные случаи из жизни Михаила, припомнив и все то доброе, что им сделано, и то недоброе, что сказано. Мы тут же увидим необыкновенную последовательность в его поведении. Жажда справедливости всегда и во всем! Это она, торопыга, толкает его то на полное самоотречение, то на очевидную жестокость. Словно янтарный слиток, маячит справедливость перед его глазами — светлая, прозрачная. Протяни руку — и достанешь. И так же прозрачны, ясны для него ее законы.

То, что у другого лежит на разных полочках, у Михаила — вместе. С детства, как нечто единое, впитал он чувством и разумом правила житейские, народные и требования идеологические, государственные. Они для него одинаково

святы, потому что вырастают из одного корня, одинаково служат благу людей. Переступить через них — преступление перед собой и перед людьми.

Кража отвратительна, кража в колхозе — вдвойне. А сколько взято и для чего — какая разница! И надо было обладать всем тактом и всем мужеством Анфисы Петровны, чтобы взяться объяснить этому юному ригористу, почему он и прав и неправ. Да и ее не готов он был понять до конца и сразу. То же и с Тимофеем. Кто такой для Михаила Тимофей, чуть ли не ползком добравшийся до дома и выгнанный из него родным отцом? Трус и лодырь, если не хуже. И ради такого человека ставить на карту интересы колхоза, благополучие людей? «А какого дьявола с ним миндальничать? Почему для всех существует закон о трудповинности, а для него нет?»

Тут вспоминаются наблюдения Анны Пряслиной за походкой ее детей: «Свою ногу Анна старалась ставить в след дочери. Шаг у Лизки не крупный и не мелкий, как раз по ней, а самое главное — шла Лизка с разбором. Не то что Михаил. Михаилу все равно, грязь ли, болото ли — все прямо. Не любит обходы делать».

Михаил и живет, как ходит,— прямо, никуда не сворачивая. И не задумываясь до поры об этой своей особенности.

«Об Мининой райком сказал ясно», — обрезает Михаил сестру, когда та корит его за черствость к Анфисе Петровне.

Конечно, объяснение этой жестокости, которая вскорости против него же самого, такого же беззаветного колхозного радетеля, как Анфиса Петровна, и обернулась, не может быть однозначным. Нельзя, конечно, снять со счета и личную обиду его на председательницу, которая разлучила его, вроде для его же блага, с Варварой Иняхиной, больно ударив по первому серьезному чувству.

Сделаем скидку и на возраст. Судит сына старик Лобанов. Судит несправедливо, жестоко. Но само право судить выстрадано им. Судит Тимофея и Михаил. Судит умом, по существу, просто копируя отношение старика к сыну. Так же, как копирует он Анфису и Варвару, не понимая, что в основе их поведения нечто такое, что приходит лишь с возрастом, — жизненный опыт, страдания. Анфиса, мол, сама живет с чужим мужиком, а ему не позволяет любить Варвару. Это как?

Многое переплетается в натуре, в побуждениях растущего человека. Ум, точнее, рассудок часто шагает у Михаила впереди сердца. Но счастье его характера в том, что долго они идти врозь не могут. Завидное это у Михаила свойство: как бы ни вспылил, ни осерчал, полной воли настроению не даст. Если не прав, обязательно себя остановит, еще раз поразмыслит.

Будь иначе, из Михаила со временем получилась бы точная копия Подрезова. Такой же беспросветный труженик, такой же мученик своего долга перед народом. Но именно и только перед народом, в котором слишком поздно научился Подрезов отличать одного человека от другого. Для Подрезова народ в целом — самое высокое, самое благородное понятие. А вот люди, те самые люди, с которыми он каждый день имеет дело, — это совсем другое. Предполагается, что все они — колхозники, председатели, лесорубы — могут оказаться ленивыми, трусливыми, несознательными, согрешить жалостливостью. Поэтому и надо их для их же собственного блага беспрерывно понукать, наказывать и заменять время от времени одного другим. От каждого можно ждать подвоха. «Одному дал — другому дай. Так, нет — говорю?» — объясняет он в разговоре с Лукашиным свой отказ выделить корову семье Пряслиных.

Повинуясь суровому, благородному долгу, пекашинцы, отнюдь не созданные героями, творят чудеса под стать библейским. «Строили Михаил вместе с Егоршей и ветхим стариком Никифором барак для колхозных лесорубов. Анфиса Петровна тогда сказала: «Хошь умрите, а изба должна быть. Не я прошу, война просит». Никифор каждую ночь выковыривал ребят из песчаной норы, где они, как звери, спали, зарывшись в сено. Сам он, заснув у костра, обгорел. И вот какой был старик. Не о себе горевал, не о том, что у него до костей сожжена спина и жить ему осталось ровно неделю, а о крыше. «Ох, ребята, ребята, что я наделал, старый дурак! Как вы без меня поднимете стропила?» Стропила они действительно не подняли, лабазом покрыли избу. Не хватило у них умения, у пятнадцатилетних подростков, сделать двускатную крышу. Да и некогда было. Сталинград кричал с Волги».

Выражая всю глубину сопричастности пекашинцев великой беде, великому горю и подвигу народному, слова эти и теперь, когда бои уже отгремели, словно стоят за спиной у каждого.

Михаил, встретивший войну подростком, потерявший на ней отца, Мишка-пестун, сильнее прочих был заворожен их магической силой.

Благоговейно, истово служа идее, Михаил не постиг еще той очевидной истины, что идея и люди, призванные ее воплощать, не всегда одно и то же. Быть может, Подрезов так и остался бы навсегда для Михаила единственным примером того, каким должен быть старший руководитель, если бы не с кем было его сравнить. Если бы не было рядом Анфисы Петровны, Лукашина...

Не будь рядом Мининой и Лукашина... Но в том-то и дело, что не могло их не быть. Не писатель поставил их рядом с Подрезовым для равновесия — жизнь!

Лукашин — коммунист, и Подрезов — коммунист, да еще и чином побольше. Но живут они не мирно. У каждого вроде своя правда. Только кто же прав? Что колхозный паренек, тут впору было и повзрослее человеку споткнуться. Но, однажды задавшись этим вопросом, Михаил не найдет уже покоя, пока не получит ответа.

Куда легче Егорше, этому «рыцарю» без страха и сомнений, который всегда ориентируется на должность. Подрезов для него «сам», «набольший», хотя, можно не сомневаться, лишь до тех пор, пока он в силе. А качнется Подрезов — поминай как звали Егоршу.

Чем органичнее усвоил Михаил определенные истины, тем труднее ему выбраковать то, что оказалось негодным. Но он и здесь верен себе и идет до конца, как бы это ни было мучительно. И тогда мы убеждаемся, какой высокой пробы его прямота, какое обаяние в себе таит, какую уверенность в нем внушает.

Такой вот придирчивости к себе, страсти анализировать, пусть с опозданием, собственные свои поступки, поражения, казнить, винить до боли, до болезни физической себя, прежде всего себя,— этого дара, этой способности Михаилу досталось вдосталь. И то, что сегодня является для него причиной бесконечных переживаний и даже мук, завтра застынет цементом в характере.

«— Ты зря, между прочим, из-за Тимофея убиваешься, — сказал Лукашин, чтобы хоть как-то успокоить Михаила, которого история с Лобановым свалила в постель. — Тимофей был обречен.

— А кто его обрек?

— Кто? Война.

Михаил скривил губы:

— Война... Этак рассуждать, все можно на войну свалить... Тимофея не война в лес загнала. Люди... Меня плен этот проклятый с панталыку сбил».

И нисколько не утешает Михаила признание самого Лукашина: «Не казнись, Михаил, не ты один не разобрался с Тимофеем. Я тоже...»

Михаил с упрямством человека, который во что бы то ни стало решил докопаться до истины, продолжал рассуждать вслух: «Да, вот кто меня сбил окончательно. Шумилов, секретарь райкома...»

До Михаила уже дошло, что и секретарь способен ошибиться. Но он пока принимает это лишь как факт, не более. Выводы, которые из этого факта следуют, для него еще в тумане: «Значит, я должен быть умнее секретаря? Так?..»

Ему еще многое неожиданное предстоит открыть для себя. В частности, и то, что в газете могут написать неправду: это когда в районной газете появилась хвалебная заметка о трудовых подвигах Егорши. «Печатному слову он верил всегда, с малых лет. Печатное слово — это сама правда... А тут брехня на брехне, все шиворот-навыворот...»

Михаил доверяет тому, что сходится с жизнью, он многое может взять на веру из того, что говорят заслуживающие уважения лица и организации. Но никто не может переубедить его в том, что он собственными глазами видел, что он знает. И здесь нелишне вспомнить еще один разговор — с тем же Егоршей, и все относительно Тимофея. Это почти финал романа. Егорша, взяв за правило поучать Михаила, корит его за то, что тот ставит столб со звездой на могиле Тимофея.

«И тут Михаил вскипел:

— А тебе что, краски жалко?

— Дурила! В краске дело?

— А в чем же?

— А в том, что это политика. Нет, ты сперва заслужи эту звезду, а потом ставь.

— А Тимофей Лобанов не заслужил, по-твоему?

— Если бы заслужил, райком бы дал команду, будь спок. Я это знаю, как делается, работал в райкоме...»

Роли поменялись. Циник и острослов Егорша рассуждает «правильнее» самого Михаила. Конечно же потому, что так ему в данном случае спокойнее, выгоднее, безопаснее.

Егоршу часто называют дружком Михаила. Это, конечно, оговорка, хотя и выросли они вместе и живут рядом, а может быть, даже родственниками станут. Только детство да случай и могут на какое-то время свести таких людей. Чем дальше, тем больше будут расходиться их пути. То, что сегодня может показаться лишь поводом для мальчишеских перебранок, завтра ляжет между ними пропастью.

В постоянном противостоянии Михаила Егорше заключено нечто гораздо большее, чем простое несходство характеров. Тот неотрывный, почти лунатический взгляд Михаила через реку — он не только для Егорши откровение, он и нам помогает вдруг охватить сразу весь характер Михаила, получить ответ на многие вопросы.

Михаил конечно же живой человек. Еще какой живой, не агнец божий, не страстотерпец какой-нибудь! Он, как мы видели, может и нагрубить, и повздорить, и обидеть ни с того ни с сего. Так и бывает часто в его отношениях с Егоршей.

Но вглядимся попристальнее и увидим, что в основе растущей неприязни к закадычному дружку — неприятие фальши, показухи, лицемерия, захребетничества. Неприятие умом и нутром.

Михаил всегда и во всем будет следовать идеалу, призвание Егорши — спекуляция, и по-своему он так же последователен, как и Михаил.

Кто знает, откуда у него это, но Егорша сызмалу научился «подводить базу» под каждое свое деяние. Не стесняя себя в быту, он без церемонии обходится и с идеей. Никогда не посягнет на букву ее, суть же, как и людей вокруг, стремится приспособить для собственной пользы. Надо, к примеру, председателю колхоза кого-то отправить на лесозаготовки. Работа эта хоть и тяжелая, но сытная, денежная. Михаила бы послать подзаработать — у него пятеро на шее, но без него как без рук в колхозе. И хотела бы Анфиса Петровна порадеть многодетной семье Пряслиных, да не может. Поедет вместо Михаила Егорша, но поездку свою представит как высокий патриотический подвиг. «Так и так: хочу на передовой участок. Лесной фронт. Комсомол... Да мало ли чего можно наворотить». Ну, а так как работать Егорша умеет, пожалуй, и не хуже Михаила, не мудрено, что скоро он оказывается на виду. И в газетке районной о нем написали, и трактор первый — ему. А там — прощай лесной фронт. В шоферы позвали Егоршу, да не в какие-нибудь — секретаря, товарища Подрезова возить. И он с тех пор всегда будет повторять: «Когда я работал в райкоме...»

Из такого, как Егорша, может получиться нечто вроде деревенского шута, который всю жизнь почему-то чувствует себя уязвленным, неоцененным, эдаким Печориным районного масштаба. А может случиться и так, что, на беду своим землякам, выйдет Егорша в люди, в начальство районного масштаба, а то и выше...

Егорша без стеснения приспосабливает людей для своей пользы, идеи перекраивает на свой вкус, жонглирует ими и оттого живет до поры легко и победно. У Михаила же все спаяно воедино. Для него одинаково святы и долг в несколько бревен старику Евсею, и трудовое обязательство на лесоучастке. Вину свою и перед бывшим военнопленным Тимофеем Лобановым, и перед председателем колхоза он переживает одинаково остро.

Нет, трудности еще не обязательно панацея от ржавчины. Оказывается, они способны стимулировать и эгоизм, учат приспосабливаться. Озабоченный лишь собой, Егорша как рыба в воде чувствует себя в напряженной обстановке послевоенных лет. Он всегда готов к услугам, а поди разбери, чем продиктована такая готовность. К тому же он забавный, Егорша, бывает даже трогательным, и самое опасное в нем, по сути, еще не проклюнулось. Во всяком случае, для Подрезова, которому подавай сегодняшний результат.

Однако у односельчан Егорши, у пекашинцев, к нему совсем другое отношение. Народ, который и является главным действующим лицом в романе, судит строго и прозорливо.

Удивительно, то ли по инерции, то ли из-за моды, но, как только дойдет у иного писателя дело до народа, так и полезут изо всех углов божьи старушки, мудрые деды, деревенские чудаки, блаженные.

Конечно, из песни слова не выкинешь, да и незачем. И в таких людях заключена толика разума народного, как есть она, несомненно, и в рассуждениях Евсея Мокшина. Но именно толика. Истинный же народ деревенский — это Илья Нетесов и Петр Житов, фронтовики, это Лукашин, тоже фронтовик, партийный работник, это Кузьма Кузьмич, начальник лесоучастка, старик Никифор и подрастающая Лизка — само трудолюбие и сама чистота... Другими словами, люди, накрепко — характером, профессией, бытом, наклонностями и потребностями — привязанные, не в первом уже поколении, к колхозному строю, живущие его бедами и радостями.

Удивительно густо населен роман Абрамова людьми, и на редкость просторно в нем каждому персонажу со своим характером, своей философией... Но я сейчас не о мастерстве, которое позволило писателю столь плодотворно нагрузить каждую строку. Я о социальном звучании, которое приобретает здесь мнение народное, о его весе, осязаемости, авторитете, в чем, кстати, нет ничего сверхъестественного.

Люди вместе трудятся, рядом живут и всегда на виду друг у друга — лодырь и труженик, эгоист и бессребреник, скромняга и болтун... Послушайте, как в самые трудные времена здесь судят о войне, о мире, о Сталинграде, о займе, об урожае и трудодне, и можно смело ставить знак равенства между словами «народное» и «партийное». Судят не без острого словца, не без соли в ином случае... Это только у Егорши все «на ура», да что в том проку.

И вовсе не нуждаются эти люди ни во взаимном понукании, ни в острастке, а единственно в дальновидном совете, мудрой подсказке, душевном понимании, на которое сами так щедры. Егорше только до себя. Вот этого ему и не прощают односельчане. «Не прощают», впрочем, не совсем подходящие слова. Егоршу никто не корит, не осуждает. Просто всерьез его, вот в чем кара, никто не принимает, вплоть до собственного его деда, которому парень, несмотря на все его выкрутасы, несмотря на мотоцикл, трактор и райкомовский автомобиль, кажется человеком совсем нестоящим. И, ощущая эту свою несостоятельность и не желая ее признать, чувствуя себя здесь, в колхозе, как на ладони, Егорша торопится соскользнуть с нее, уйти от этого необъявленного суда. Егорша чувствует тяжесть неодобрения народного, но признаться в справедливости его даже себе не в состоянии. Оттого-то не скупится он на бранные словечки по адресу своих земляков, «этих жуков навозных, этой древесины пекашинской».

И та же самая сила, та самая деревня, которая давно уж пренебрегла Егоршей, бережно и ненавязчиво пестует Михаила — своего избранника. Каждому здесь до него. За многое люди благодарны Михаилу, многое по возрасту прощают. Но если надо, все скажут в лицо, не постесняются, не побоятся обидеть. И сестра родная скажет, и Илья Нетесов, и Анфиса Петровна. Скажут и от своего не отступятся.

Первой его воспитательницей, когда пришел он с жалобой на мать, стала Анфиса Петровна. Когда же Михаил откачнулся от Анфисы Петровны, голос на него подняла даже Лизка — Лизка, родная сестра его, которая после матери никого так не любила, как Михаила, и никого на свете так не боялась.

А когда Михаил прогоняет на лесоразработки больного Тимофея Лобанова, в спор с ним вступает совсем уж, казалось бы, посторонний делу человек — Кузьма Кузьмич, начальник лесопункта. И вразумляет Михаила именно это столь неожиданное и столь упорное заступничество.

Здесь каждый своим участием что-то добавляет к личности Михаила, кладет свой мазок. Так, наверное, и создается подлинно народный характер — самое большое богатство на свете.

Перо писателя позволило нам заглянуть в кузницу, где этот характер выковывается. И в этом — главное достижение книги.

Тому, кто прочитает хотя бы одно произведение Абрамова, который за трилогию «Пряслины» был удостоен в 1975 году Государственной премии СССР, не миновать приобщиться и ко всему его творчеству. И тут вновь хочется подчеркнуть — Федор Абрамов из тех, в прозе не таких уж частых, писателей, у кого образ жизни, особенности характера, личность как бы переливаются в твор-

чество, отражаются в нем почти адекватно. Но не подробностями собственной биографии, нет, и не сходством литературных героев с окружающими писателя людьми, хоть это и есть. Тут связь более глубокая, более органическая.

У Абрамова все внутри. Перемены в его жизни происходили не часто, но каждый из этапов его развития был напряжен и драматичен.

Он родился в 1920 году в селе Веркола, Пинежского района, Архангельской области. Здесь, на Севере, он окончил среднюю школу, после чего поступил на первый курс филологического факультета ЛГУ. Нетрудно понять, как много это значило тогда для крестьянского парня из глухого, отдаленного района. Но грянула война. Он записался в народное ополчение Ленинграда, а затем ушел в армию и всю Великую Отечественную войну прошел от начала до конца. Не раз был ранен и не единожды награжден. После победы вернулся в Ленинград, в университет. Окончил его, защитил диссертацию по «Поднятой целине» Шолохова и другим романам о коллективизации и затем в течение десяти лет преподавал в университете русскую советскую литературу, заведовал здесь кафедрой.

Выступать в печати Федор Абрамов начал в 1949 году в качестве литературного критика. Первое прозаическое произведение (роман «Братья и сестры») появилось в 1958 году, то есть на тридцать восьмом году жизни. С тех пор литературное творчество стало единственным и всепоглощающим видом его деятельности.

Жизнь и люди советской деревни — вот что в первую очередь привлекло Абрамова в его научной и литературно-критической деятельности. Они же стали в центре его художественного творчества. Абрамова, как немногих других писателей, можно назвать певцом одной темы — русской деревни, одного времени — военных и послевоенных лет нашего века, творцом одного исторического характера в художественной литературе — характера русского советского крестьянина.

Однако, как я уже старался показать, утверждение это ни в малой степени не входит в противоречие с тем несомненным фактом, что и романы, и повести, и рассказы Абрамова — это на редкость многочисленная галерея глубоко индивидуальных характеров, судеб, личностей, так же не похожих одна на другую, как могут быть не схожи деревья одной породы, растущие в одном лесу. Есть нечто несомненное, что отличает, например, «среднего» горожанина от «среднего» селянина, жителя Севера от обитателя южнорусских наших степей. Для того чтобы обнаружить и показать это, «достаточно» быть этнографом. Увидеть и рассказать, как непохожи друг на друга двое мальчишек, выросшие на одной улице,— задача, которая по плечу лишь художнику. Увидеть в этой «непохожести» отблеск, отзвук и выражение противоречий эпохи — свойство большого таланта.

Военная и послевоенная деревня нашего русского Севера, ее люди — старики и молодежь, колхозники и сельская интеллигенция, партийные, советские работники — вот тот «район исследования», который всю жизнь неодолимо влечет к себе писателя. Созданное Абрамовым являет собой впечатляющий пример того, как, оставаясь на протяжении всего своего творчества на одном и том же «пятачке», житейском перекрестке, писатель способен подняться до художественного анализа важнейших и острейших явлений в жизни общества, услышать поступь самого времени.

Десять лет отделяли появление первого романа Абрамова «Братья и сестры» от второго — «Две зимы и три лета». Десять лет, в течение которых он конеч-

но же не молчал, чему свидетельство — многие рассказы и повести. Но только сопоставление этих двух, опубликованных теперь рядом вещей, события в которых развиваются без какого-либо перерыва, дает возможность увидеть, как выросли автор и его герои. Сравнивать эти две книги — все равно что пытаться уловить бег часовой стрелки. Сколько ни вглядывайся в нее, ни за что не заметишь, движется она или стоит на месте. А смотришь — уже ушла вперед.

Ко времени появления «Братьев и сестер» не одна уже волна прозы, посвященной фронту и тылу Великой Отечественной, успела отшуметь, и, быть может, поэтому роман, хоть и был он замечен критикой, как-то затерялся в общем потоке. Быть может, поэтому, а может, и потому, что о многом, что безраздельно и поныне владеет воображением писателя, он сказал тогда как бы начерно, контурно. Хотя главные особенности его художественного видения заявили о себе уже здесь. Они продиктованы были ощущением кровного родства его со своими героями, неподдельным интересом к жизни так называемых простых людей, тех, кто в годину величайших испытаний, которые выпадали когда-либо за всю историю человечества на долю одного народа, одного государства, принял на себя эту ношу, не дрогнул и не согнулся под ней.

И если попытаться сейчас в одной фразе выразить главную, определяющую черту творческого миропонимания писателя, то она, по моему убеждению, как раз и состоит в активном, бескомпромиссном отрицании правомерности самого этого понятия — простой человек, рядовой человек.

Сравнительный анализ двух первых романов — тема отдельного исследования в критике. И оно покажет, как, ни в чем не противореча облику, духу отображаемого времени, заявившим уже о себе характерам героев, входит в новую книгу, прибавляя ей веса, все пережитое и передуманное.

«Книга населена столькими прекрасными по живости и натуральности своей людьми, судьба которых не может не волновать читателя»,— писал автору А.Т.Твардовский по прочтении рукописи его романа «Две зимы и три лета». Он особенно выделил при этом сестру Михаила Лизу, образ которой «обрисовывается с исключительной сердечностью... Она истинное открытие художника, и человеческое обаяние этого образа просто не с чем сравнивать в нашей сегодняшней литературе».

Трудно не согласиться с этим определением Твардовского, но и хочется, следуя ему, поставить с нею рядом еще «председательшу» Анфису Петровну, и недавнего фронтовика Илью Нетесова, удивительно цельного в своей самоотверженности и любви к людям, и Петра Житова, этого некоронованного властелина мужицкого солдатского братства деревни, Степана Андриановича, тестя Лизы, и многих, многих других. Все они живут в произведении, не мешая и не тесня друг друга. Но при этом попеременно кто-то один выходит на передний план.

В романе «Две зимы и три лета» — это Михаил Пряслин. В третьем романе эпопеи, «Пути-перепутья», — это первый секретарь Пинежского райкома партии Евдоким Поликарпович Подрезов. Конечно, ему и в предыдущих произведениях отведено немалое место. Но там мы его видим как бы издалека, глазами председателя колхоза Анфисы Мининой, рядового колхозника Михаила Пряслина. Он, Подрезов, олицетворяет в районе идею государственной необходимости. Он поставлен здесь с самого начала войны, чтобы связать Пекашино с Большой землей, где полыхают невиданные сражения. И конечно же именно он, Подрезов, лучше других знает, как и что делать. Его рукой водит сам долг, и его повеления, как бы они ни были тяжелы, должны выполняться беспрекословно.

Таким знали Подрезова в войну и в первые послевоенные годы, и вот теперь, вглядываясь в его черты на страницах нового романа, мы узнаем и не узнаем его. Это тот и не тот Подрезов. Часовая стрелка снова, и, как всегда, незаметно для глаза, ушла вперед...

Раньше мы видели Подрезова на лесосплаве, в райкомовском «газике», на заседании, в момент выступления перед колхозниками. Теперь — в гостях у Лукашина, на палубе речного парохода, во время отпуска, в застольной беседе со своими коллегами — такими же районщиками, как и он. Кому, кроме писателя, решать, в каких именно ситуациях, мизансценах представить читателю своего героя? Но рукой его, если он большой художник, водит, естественно, не простая тяга к равновесию: показал, мол, в труде, борениях, теперь покажу в быту, на отдыхе... «Пути-перепутья» называется роман, и посвящен он времени трудному, переломному, когда вместе с некоторым полегчанием в повседневную жизнь входили, дальше — больше, нелегкие раздумья о настоящем и будущем родного дома. В том, предыдущем романе Подрезов — весь действие. Там он как натянутая до предела струна. Здесь, пусть и ненадолго, он в отрешении от сиюминутных забот. Здесь он размышляет, рефлектирует. И мы вместе с ним как бы переживаем заново всю его жизнь. И с каждой страницей понятнее становится, в чем источник силы и слабости этого незаурядного человека, что в нем от собственной индивидуальности, а что — отпечаток эпохи, среды, воспитания...

«— Ну, еще какие вопросы будут? В разрезе биографии первого? — говорит он, шутливо и смущенно одновременно, в гостях у Анфисы и Лукашина. — Образование начальное, семейное положение — женат. Я с семи лет встал за верстак, а в десять-то я уже рамы колотил, — продолжал он, серьезнея. — Ты когда город впервые увидел? Не помнишь, поди, такого? Ни к чему. А я до шестнадцати лет не то что города, а и человека-то не видел... И вся твоя академия — псалтырь да библия, да и то по вечерам».

А потом?

«Я как вырвался из своей берлоги — мир, думаю, переверну. В восемнадцать лет председатель сельсовета... В двадцать председатель коммуны... Потом дальше — больше. Первая пятилетка, коллективизация — вся жизнь на дыбы. Меня как бревно на порогах швыряло. Сегодня в лесу, завтра на сплаве, послезавтра в колхозе...»

Подрезов — характер исторический. Героический и драматический одновременно. Он вместе с другими творил эпоху, служил времени, которое в конце концов и обогнало его. Не сразу, не без муки, но он нашел в себе силы понять это. Писатель поведал об этом с мужеством и доброй проницательностью, которые много скажут людям разных поколений.

Подрезов — центральная фигура романа «Пути-перепутья». Критика, за немногими исключениями благожелательно встретившая появление нового произведения, отметила это столь же дружно, как и то, что вот Пряслину Михаилу и некоторым другим уже хорошо знакомым героям повезло меньше. Говорилось о том, что Михаилу, к примеру, не хватает новых черт, того «самодвижения» характера, которое помогло бы увидеть нам по-новому, на большую глубину этот жизненно сильный и правдивый образ; отмечалась «недопроявленность» инженера Зарудного, который «воплощает необходимость новых форм и методов руководства...»

Но условимся же еще раз, о чем мы судим: о человеческих характерах или литературных образах?

Да, Михаил как личность выглядит беднее, банальнее в третьем романе. Да, Лукашин в «Путях-перепутьях» далеко не образцовый председатель. Он многого не умеет, а на многое не может еще найти ответа. Но дело-то здесь, простите, не в писателе, а в них самих, в их характерах, которые в эту самую пору и испытывались на разрыв...

И не беда, а заслуга писателя, что, верный времени, следуя логике развития личности своих героев, он не остерегся лишить их такого ореола, которым окружены они были в предыдущих главах эпопеи.

Удивляться ли тому, что Лукашин, взваливший председательскую ношу в самые сложные, самые кризисные для нашего послевоенного сельского хозяйства годы, рвется и страдает душой оттого, что так трудно совместить ему интересы колхозников и указания, идущие из района. А Михаил? Разве не ясно, что в романе «Пути-перепутья» мы, как и Подрезова, застаем этого чистого, цельного характером юношу в пору своеобразного междувременья, когда он, еще год назад только и знавший, что выкладываться до конца на колхозной работе, не может теперь, входя в силу и возраст, не задумываться: ну, а что же дальше?

И здесь возникает необходимость еще раз окинуть взглядом созданное Абрамовым в трех его романах, вслушаться в основное звучание эпопеи. Но прежде еще об одном произведении писателя, которое в жанровом отношении стоит как бы особняком в его творчестве и в то же время так много дает для более объемного его понимания.

Я имею в виду «Вокруг да около» — этот полурассказ-полуочерк, написанный буквально по следам событий, в нем изображенных, что, кстати сказать, тоже не часто у Абрамова встречается.

Произведение это посвящено мытарствам председателя колхоза «Новая жизнь» Анания Егоровича Мысовского, человека образованного, думающего, неравнодушного ко всему, что его окружает. Он умеет и любит хозяйствовать на земле, знает, что надо сказать и что надо сделать для тех и вместе с теми, кто живет на этой земле. Однако инициатива, силы и воля его скованы мелочной опекой и регламентацией, противоречивыми указаниями, поступающими «свыше». Он весь — со своими знаниями, предприимчивостью, стремлением к продуманным и обоснованным решениям — «выламывается» из устаревшей, вошедшей в противоречие с требованиями жизни, но цепкой и живучей системы руководства сельским хозяйством, против которой вместе со своим героем и восстал автор, восстал тогда, когда необходимость в этом была ясна далеко не всем и мало ком признавалась.

Может, это покажется натяжкой, но некоторые коллизии этого произведения напоминают мне целый ряд ситуаций, в которых, подобно Мысовскому, бьется и председатель пинежского колхоза Лукашин. Лукашин, например, для того чтобы скорее достроить позарез необходимый колхозу коровник, выдает плотникам-фронтовикам по нескольку килограммов хлеба из неприкосновенного запаса. Ананий Егорович, чтобы обеспечить колхозный скот кормами, также на свой страх и риск решается предложить колхозникам тридцать процентов от всего сена, которое они скосят...

И в том и в другом случае принятое решение — единственно верное. И в том и другом случае принявшего это решение ожидают немалые неприятности.

Что это — вольный или невольный повтор? Нет, конечно. Это — свидетельство неустанных и непрестанных раздумий писателя над формами и способами

хозяйствования на колхозной земле, над судьбами родной деревни и ее дорогих ему до боли людей.

Рассказ «Вокруг да около» посвящен годам значительно более поздним, чем второй и третий романы Абрамова, появился же он значительно раньше их. Романы создавались и публиковались в ту пору, когда партия нашла уже ответы на многие из тех «больных вопросов», которые так мучили и Лукашина и Мысовского. Очерк же резал, что называется, по живому, будил мысль и поиск. Выстраивая эти произведения в ряд, мы видим, как вдумчивый и одновременно страстный анализ колхозной действительности начала 60-х годов способствует более глубокому и в социальном и в художественном плане осмыслению всего послевоенного периода в жизни нашего народа. Правда о том, что годы, отображенные в романах Абрамова, особенно в последнем, не были просто порою залечивания ран, что именно в это время противоречие между потребностями людей села, их способностями и условиями их труда, стилем руководства их деятельностью достигло особой остроты и ждало разрешения, — эта правда нашла свое художественное воплощение.

Говорят, если хочешь иметь хорошее здоровье и нормальное пищеварение, надо вставать из-за стола слегка голодным. Не думаю, чтобы Федор Абрамов специально стремился поддерживать и разжигать аппетит у своих читателей. Тем не менее эффект этот возникает всякий раз, когда переворачиваешь последнюю страницу его нового произведения.

...Этот очерк о творчестве Федора Абрамова был бы неполон, если не обратиться к его рассказам и повестям. Написав и перечитав эту фразу, я подумал, что в самой себе она несет то самое умаление этой части работы Абрамова, против которого как раз вроде бы и восстает. В творчестве Абрамова рассказы всегда как будто бы в тени его эпопеи, тома которой, выходившие с интервалом в несколько лет, как бы гипнотизируют внимание читателя.

Что касается меня, то, признавая и даже провозглашая полную самостоятельность, самоценность этих его произведений, я в то же время, как человек, влюбленный в его творчество, не могу не смотреть на них взглядом как бы из эпопеи. Быть может, это и субъективно, но все написанное Абрамовым представляется мне как бы единым целым. Только в рассказах и повестях на авансцену выходят такие характеры и судьбы, которые в романах, словно бы по скромности, держались на отдалении.

«Пелагею» и «Альку», которые и хронологически-то появились друг за другом, с весьма небольшим интервалом, следовало бы назвать главами «повести о матери и дочери». Вещи эти, как и все у Абрамова, вызвали при своем появлении весьма острую полемику. Напоминание об этом становится уже рефреном, но что поделаешь. И эти произведения приняты были не сразу, а поняты и сейчас еще, по-моему, не до конца.

Верный себе, писатель и здесь, обращаясь к жизни двух деревенских женщин, ставит читателя лицом к лицу с глубокими нравственно-этическими проблемами. Вопросы о цели в жизни, о смысле ее — они и в судьбе пекарихи Пелагеи или официантки и стюардессы Альки решаются не менее драматично и напряженно, чем, скажем, в жизни секретаря райкома Подрезова. Сознаю, что и здесь я в заслугу писателю ставлю то, за что и грешно, казалось, было бы хвалить. Но что поделаешь, если столько на своем веку пришлось нам всем перечитать произведений, где служебная, должностная табель о рангах была одновременно и мерилом страстей, интеллекта, глубины человеческой.

Кто не знает, что одна из непременных забот художника, создающего литературное произведение, состоит о том, чтобы была глубокая внутренняя логика в поведении, поступках героев, чтобы они вели себя, думали и чувствовали в соответствии с тем замыслом, который вырастает в воображении творца, и в то же время оставались бы живыми и естественными, как бы никем и не придуманными. В стремлении к гармонии, законченности образа писатель порой, сам того и не замечая, обтесывает углы характера, останавливается в нерешительности перед противоречиями в его личности, сглаживает, сближает то, что может показаться несовместимым. И только крупному, творчески бесстрашному художнику выпадает так соединить несоединимое, что потом уже не оторвешь в своем представлении одно от другого, как два магдебургских полушария.

Пелагея — редкого в своем деле мастерства человек, редкого трудолюбия и самоотверженности. Она же мелочна, эгоистична, завистлива и бессердечна по отношению ко всем, кроме разве дочери, да и ту любит, кажется, лишь любовью собственника.

Цели жизненные Пелагеи чисты и безупречны — домом жить, да таким, чтобы не стыдно было уважаемых людей, дочь вырастить, воспитать, наставить на путь истинный... Собственная же жизнь ее кончается крахом, в пустоте и одиночестве... Погибает по причине ее черствости и деспотичности Павел, ее муж, человек, с которым — худо, хорошо — она прожила целую жизнь... «Прости, прости, Павел Захарович! Это я, я довела тебя до могилы». Самое дорогое, что у нее было, дочь свою, сокровище, Альку, в заботах о ее счастье сама же и толкнула в постель подонку, на мундир да на зарплату его офицерскую польстившись...

Почему соединилось несоединимое, как согласовать беспощадность автора к своей героине с его же любовью и жалостью?

Секрет тут в том, по-видимому, и заключен, что писатель до конца, из одного края в другой, как путь из дома до пекарни и обратно, проходит со своей Пелагеей дорогами ее взлетов и дорогою падений. Ничего не скрывая и ничего не стесняясь. Посредством излюбленного им и в совершенстве освоенного, способа внутреннего монолога показывает автор окружающий его героиню мир и тем самым ее внутренний мир. В этом смысле образ Пелагеи — удивительное по точности художественное свидетельство того, какую неповторимую, индивидуальную форму могут обретать в характере, личности одного человека расхожие, банальные и в то же время очень цепкие и живучие представления о жизни. Да, все, что в Пелагее против нее, — все от этого въевшегося, как копоть, и так же трудно смываемого идиотизма деревенской жизни, от того, что в горожанах мы привычно называем мещанством, обывательщиной.

Придет в жизни Пелагеи такая пора, когда не раз с тревогою и недоумением она спросит себя: «Да что же это такое? Как жить дальше? Ведь что бы ни делала, все невпопад, все мимо...» Придет такое время, но до того, пока не похоронила Пелагея мужа, пока не сбежала в город дочь, пока, это как последняя капля, не опростоволосилась с плюшевым старомодным жакетом, купленным в сельмаге как «дефицит», до тех пор представления Пелагеи о жизни, о взаимоотношениях людей, об иерархии сельской, о принятом и непринятом, о выгодном и невыгодном были столь же прочны и надежны, как та тропа, которую она два-три раза в день проходила от дома до пекарни и обратно и которую в народе так и назвали после ее смерти — Паладьиной межой.

В гости ли идти — сразу в два места позвали, к сестре мужа ее Павла, мужика больного и совестливого, и к местной деревенской «шишке» Петру Иванови-

чу, — Пелагея выбирает не колеблясь. «Еле ноги из Заречья приволокла. Меня хоть золотом осыпь — не подняться... Спасибо на почести», — говорит она, понимая, какое оскорбление наносит невестке, как ранит мужа. А вот, когда от Петра Ивановича прибежал мальчик с записочкой, они с Павлом уже ложились спать. Но записочка («Ждем дорогих гостей») все изменила. И не беда, что место им досталось неважное — с краю у комода, на доске и что позвали второпях, словно в последнюю минуту надумали, — Петр Иванович «три года их в забытьи держал, а сегодня позвал — с чего бы это?»... Может, на Альку виды имеет? Главное, что они все-таки в числе званых, что «Петр Иванович худых гостей не позовет, не такой он человек, чтобы всякого вином поить», что будут у него «головки: председатель сельсовета да председатель колхоза...» и что с каждым из них можно о деле поговорить, а то и пройтись у всех на виду «под ручку с советской властью».

На работу ли выгодную, хлебную устроиться — тут уж ничего не пожалеешь, вплоть до чести своей женской. «— Ежели дашь мне выспаться на твоих волосах, вот те бог — через неделю сделаю пекарихой, — пообещал Леша-рабочком. — Я не шучу.

— А и я не шучу, — ответила Пелагея.

Через неделю она стала пекарихой. Сдержал свое слово Алеша... Ну и она сдержала — в первый же день на ночь осталась на пекарне...»

Дочке ли помочь жениха подыскать, хотя та вовсе в подсказке не нуждалась; этого «ученого воробья», Антониду, «конкуренток» ли ее отпихнуть и словом обидным и локтем — за этим у Пелагеи тоже дело не станет... «А ее-то Алька! В самой середке, на самом верховище. Да с кем? С самим секретарем комсомольским из Заречья. Какая еще характеристика требуется? Разве станет партейный человек себя марать — с худой девкой танцевать?»

Впрочем, хватит цитат. Мысль моя, надеюсь, уже ясна.

Автор каждой своей строкой, каждым словом, идущим, мы помним, от самой героини, как бы пригвождает ее к позорному столбу. И кажется, никогда уже не подняться ей в наших глазах. А она и не падала. Мы негодуем, досадуем, злимся, презираем и одновременно сочувствуем, сострадаем Пелагее и даже восхищаемся ею. Ее лихой силой, упорством, ее преданностью, что сильнее самой жизни, дому, очагу, остротой и трезвостью ее ума, которым она словно лезвием ножа пробивает толщу тянущих ее вниз предрассудков. Нет-нет да и пробьет. И главное, конечно, ее способностью трудиться, ненасытной жаждой ее к труду, что бы она вслух и про себя по этому поводу ни говорила... «Всю жизнь думала: каторга, жернов каменный на шее — вот что такое эта пекарня. А оказывается, без этой каторги, без этого жернова ей и дышать нечем». Далеко вокруг шла слава об искусстве Пелагеи. «Хлебы пекла — каждую буханку любо-дорого в руки взять. Смеется да ластится. Сама в рот просится».

Да и не только хлебы, хотя это — главное в жизни Пелагеи дело и искусство, недаром и дочери своей говорила: «Да у меня самая главная должность на земле, ежели на то пошло. Да я хлеб пеку, я сама жизнь делаю».

По дому ли «ломить», в лес ли за грибами, за ягодами «сгонять» — тут Пелагее тоже ни соперников, ни соперниц не бывало. Любила работать и терпеть не могла тех, кто этого не любил и не умел, кто не видел в труде истинной поэзии. Что с того, что слова такого в обиходе пекарихи, может быть, и не было, но иначе как поэтическим отношение ее к работе не назовешь. Таково оно и в радости трудовой, и в горести, когда видит, как гибнет, хиреет отбившаяся от

ее рук пекарня, как «сиротой смотрит» выпеченный ее дочерью Алькой хлеб, «двенадцать подряд буханок «мореных» и квелых, неизвестно где и печенных». «Да разве ты первый раз на пекарне? Не видела, как матерь делает?»

Своему «отростку», «кобылке молодой, когда та лягнет тебя», хоть выговорить можно. А что скажешь посторонней, сменившей тебя женщине, Ульке-пекарихе? «Пелагея, так и не присев, вышла. А на нечищеный самовар и рукомойник, на печь грязную, ни разу не беленную после ее ухода, она не посмела бросить даже прощальный взгляд. Потому что все ей казалось, что и самовар, и рукомойник, и печь с тоской и укором смотрят на нее».

Слог «Пелагеи» — раздумчивый, неторопливый, музыка повествования вся настроена в унисон тем последним настроениям Пелагеи, горестным и светлым, с какими и уходит она из жизни, укрепляя душу тем славным, что сделала за жизнь, казня себя, пусть и с безнадежным опозданием, за то, что разменяла собственными же истовыми усилиями жизнь на пустяки, износила, измочалила ее, словно волну собственных волос, которые некогда золотом лились, а теперь превратились в «жиденькую бесцветную куделькy, собранную сзади в короткий хвостик». «...Ежели им, Амосовым, — думала Пелагея, — суждено когда-нибудь по-настоящему выйти в люди, то только через Альку. Через ее красу. Через это золото норовистое...»

Красивая, неугомонная Алька убоялась материной судьбы, отреклась от ее роковой страсти «выйти в люди», но не унаследовала и ее таланта и любви к труду. Эдакой вот «кобылкой» лихой, которая «бежит, ногами перебирает и солнце в боку несет», и скачет она по жизни, отгоняя, пока сил и здоровья хватает, настигающие ее думы о неизбежной расплате за пустоту жизни.

Безрадостен итог жизни Пелагеи. Но люди, но молва не забыли того доброго, что она оставила после себя, нарекли ту тропку, по которой полжизни ходила она в пекарню, по ее имени — Паладьиной межой. Приезжали люди из города, услышали о Паладьиной меже, расспрашивали о ее жизни: «Как да за что такая почесть. Очень удивительно им, что межу к нынешнему человеку привязали. Это, говорят, все равно что памятник».

Алькина жизнь только начинается. Что останется от нее?

Почему так ничтожны и суетны порывы дочери?

«Пелагея» и «Алька» — это элегия о великих и прекрасных, но понапрасну растраченных человеческих силах. При этом симпатии автора к этим героиням так откровенны, боль так остра, что плач по их изломанным жизням не расслабляет, а возвышает читателя, укрепляя тягу к идеалу.

Личность и обстоятельства — вот еще один вечный вопрос, который всегда присутствует в творчестве Абрамова.

И не случайно, наверное, рядом с Пелагеей встает в рассказе «Деревянные кони» старая Милентьевна, мудрая, добрая и сильная русская женщина. Ее ли не била, не мытарила жизнь? Ей ли не увянуть было, не ожесточиться от немыслимых тягот и утрат долгого пути? Но и на склоне лет эта женщина, которую еще до революции шестнадцати лет «взамуж выпихнули» за «урвая» из лесного, дикого хутора, остается для всех окружающих впечатляющим примером внутренней, духовной красоты.

«Целый косяк деревянных коней, вскормленных Василисой Милентьевной» — на каждом доме конь; поклон молодой еще Василисе Милентьевне при всем народе от свекра: «Спасибо за то, что нас, дураков, людьми сделала»; молва по народу о «твердости» и «кремневом характере», о «кротости и великом тер-

пении» ее — вот лишь немногое из того духовного богатства, которое создала своей жизнью «безвестная, но великая в своих деяниях старая крестьянка». Не часто прочитаешь у Абрамова то, что зовем мы «громкими словами». Но когда он их решается произнести — они стоят дорогого.

Не знаю уж, случайно это или по какой-то внутренней логике, но в центре большинства рассказов и повестей Абрамова — женщина, либо героиня, либо «рассказчица», как, например, слывущая сразу и «колдуньей» и «доктором Айболитом» высокая старуха «с веселыми глазами» Олена Даниловна. И коль это так, хочу особо сказать о совершенно неповторимом в своей чистоте, восторженности, проникновенности — словом, «абрамовском» отношении писателя к женщине.

«...Какие душевные россыпи, какой душевный свет! Бесконечная самоотверженность, обостренная русская совесть и чувство долга, способность к самоограничению и состраданию, любовь к труду, к земле и ко всему живому, — да всего и не перечислишь», — говорил Абрамов, выступая на Шестом Всесоюзном съезде советских писателей. Слова эти и есть самим автором сформулированный символ веры, который дает нам ключ к пониманию и других важных особенностей его творчества.

Я вот сравниваю женщин Абрамова с женщинами Шукшина и Трифонова, и при всем том, что каждый женский образ у трех этих писателей сам по себе, есть на стороне Абрамова, на мой взгляд, одно преимущество. Взгляд Абрамова на женщину — более мужской, мужественный, а оттого и более объективный, глубокий. У Шукшина, если не ошибаюсь, женщина женственна только в кино, да и то лишь тогда, когда ее играет Лидия Федосеева, — в «Калине красной», в «Печках-лавочках»... В поразительных его рассказах, составляющих, я убежден, самую сильную сторону его многогранного творчества, женщина лишена, с огорчением это констатирую, ореола женственности, поэтичности. Доказательств тут приводить не приходится, надо лишь перечитать еще раз рассказы. Женщина в рассказах Шукшина, как правило, суетна, бессмысленно озлоблена, не видит дальше собственного носа. Она совершенно чужая своему мужу. Соответственно к ней относится и мужчина. «С той стороны, с женской, оттуда ждать нечего. Это обман сплошной» — под этими словами Попова из рассказа «Страдания молодого Ваганова» подписались бы, увы, пожалуй, многие герои Шукшина.

И вот такого типа деревенской женщине сродни в чем-то городская «интеллигентная» женщина из последних повестей Трифонова — от Лены из «Обмена» до Ольги Васильевны из «Другой жизни», которой так и не дано понять, почему умер, не болев, неожиданно, в сорок два года, ее горячо любимый Сергей. Есть, правда, у Трифонова и женщины-ангелы, женщины-жертвенницы, вроде Сони из «Дома на набережной»...

Абрамов видит женщину глубже и оттого относится к ней добрее, шире, гуманистичнее. Тому свидетельство — галерея «положительных» образов из эпопеи «Пряслины», а также и далеко не положительные Пелагея и Алька.

Еще одно сравнение. Алька и Люся — горожанка из «Последнего срока» Распутина. Собственно, они обе — горожанки, покинувшие свое село. Только Люся считает, что нашла свое счастье, кажется, а Алька только ищет — и пока, увы, безуспешно. И тот и другой писатель с неодобрением, в общем-то, относятся к выбору, который сделали их героини, независимо от результата, к которому это привело или приведет. Но неодобрение Абрамова включает в себя и пони-

мание, и любование, и боль, и сострадание. И оттого оно, неодобрение, действенно, впечатляюще. Неодобрение Распутина — в данном случае — плоско, монотонно, априорно. Люся плоха во всем уже тем одним, что из деревни, из дома своего отчего уехала в город. Плоха, виновна и не заслуживает снисхождения. К такому приговору относишься с недоверием. Возникает желание даже выступить в защиту.

Образ Люси, как я стараюсь показать в статье о творчестве Распутина, — в общем-то, эпизод, запоздалая дань издержкам того направления «деревенской прозы», из пеленок которого писатель давно уже вырос. Мне приходилось в той же статье говорить о чувстве меры, которое составляет одну из сильных сторон писательского дара Распутина. О чувстве меры не миновать сказать и в связи с Абрамовым. Оба они на редкость щедро наделены этим даром, без которого, строго говоря, нет художника. Но Абрамов, тут уж вступает в свои права зрелость, опыт, профессионализм, как бы познал уже цену этого богатства и управляет, распоряжается им совершенно сознательно, уверенно. Распутин пока более интуитивен, стихиен.

Его может и занести, но прекрасное спасительное чувство меры, врожденное чувство пропорции вернет его вновь в лоно гармонии.

Абрамов — мастер того направления добротной русской реалистической прозы, формальные особенности которого охарактеризовать при всей их наглядности и очевидности нелегко.

Жизнь «простых», «рядовых» людей, их повседневные заботы, радости и утраты, их, каждый на особинку, характеры — неиссякаемый источник вдохновения для писателя, и страницы его рассказов, где лирика и лукавый народный юмор, патетика и сарказм сливаются воедино, как в самой жизни, — еще одно тому свидетельство.

Абрамов любит сюжет и умеет его выстроить, в чем мы особенно наглядно убеждаемся при чтении романов. Он не любит резонерствовать, и авторская речь его там, где автор не является действующим лицом, предельно лаконична. Герои говорят каждый сам за себя, каждый по-своему, но все — тем сочным, естественным, живым языком, по которому сразу узнаешь Абрамова, писателя, обладающего редкостным слухом и способностью как бы просеивать услышанное, собранное, отделить зерно от плевел.

Да, Абрамов знает и любит народную речь, язык его героев привязан к месту и времени действия, но его не назовешь «областническим».

Он всю жизнь пишет о деревне, но его не отнесешь к писателям-«деревенщикам» в распространенном узком смысле этого слова.

Он не стремится казаться оригинальным, а просто идет своей дорогой, пишет как может и как любит, чтобы высказать заветное до конца.

Его не спутаешь с другими, но он почти никогда не попадает в плен собственной манеры. Новаторство его, как правило,— в личности героя, в мысли, в гражданском чувстве.

Не по кругу, по спирали!

Принято считать, что все городские повести Юрия Трифонова — о быте. Быт — это именно то, что влечет к ним одних и беспокоит, раздражает других. Быт — таково распространенное мнение — их специфика и их существо. В конце концов и сам автор, кажется, поверил такому толкованию. И даже защищал его — энергично, с вызовом. «Опять скажут, автор толчется на пятачке: быт, быт, бутылка, двести граммов. Но автор хочет в заключение сказать слово в защиту быта. Быт — это великое испытание. Не нужно говорить о нем презрительно, как о низменной стороне человеческой жизни, недостойной литературы. Ведь быт — это обыкновенная жизнь, испытание жизнью, где проявляется и проверяется новая, сегодняшняя нравственность».

Что ж, значение того, что называем мы ныне примелькавшимся словом «быт», в жизни человека действительно велико. И право на внимание литературы, в том числе и художественной прозы, быт конечно же заслуживает. Верно и то, что право это на протяжении всего развития советской литературы не раз оспаривалось. Быт писатель защитил. А вот смысл, содержание своих повестей, как мне кажется, принизил. И незаслуженно. Нет, не в том одном их значение, хочется возразить, чтобы «хотя бы на минуту сделать человека лучше... Чтобы, прочитав повесть, читатель пошел бы в гастроном и купил бутылку молока, а дедушке двести граммов российского сыра». И не об испытаниях бытом идет в них речь прежде всего, как бы ни было это само по себе важно и, повторяю, достойно внимания самых высоких жанров литературы.

Но о чем же тогда?

Есть у Юрия Трифонова маленький рассказ, который как бы приоткрывает завесу над тем, как же вдруг возник замысел по крайней мере первой из пяти его повестей, о которых идет речь. Знаменательно само название рассказа — «Путешествие». В нем поведано о том, как, повинуясь традиционным писательским импульсам, собирался автор в поисках темы в творческую командировку, и конечно же куда-нибудь подальше от приевшейся и утомившей Москвы — в Соликамск или Кондопогу, где «полным ходом разворачивается» строительство бумажных комбинатов, в Тюменскую область, где «открыты новые месторождения нефти», или в Навои, где «досрочно введены в строй корпуса аммиака, синтеза и конверсии». Собирался привычно, заученно, не задумываясь и не сомневаясь, что там, и только там, — в Тюмени, Кондопоге, Навои, Соликамске — найдет он то, что ему надо, — «конфликты, страсти и производственные драмы...». И вдруг реплика журнального работника — словно шлагбаум на пути экспресса: «Поезжайте поблизости, в Курск, в Липецк, там не менее интересно, чем в Сибири, ей-богу...»

И мысль, словно споткнулся человек на бегу, — «дело не в километрах». И взгляд вокруг себя: «Навстречу мне двигался густой и медленный весенний

поток людей. Я всматривался в лица, бесконечно возникавшие передо мной и исчезавшие сзади, за спиной, исчезавшие бесследно... и подумал: «Зачем ехать в Курск или в Липецк, когда я как следует не знаю Подмосковья... Да и в самой Москве есть улицы и районы совершенно мне неведомые». Через полчаса у своего дома, на углу Второй Песчаной, рассказчик увидел сидящими на расставленных кольцом вокруг фонтана скамейках пенсионеров — стариков и старух. «Я не знал никого из них». У себя в подъезде, на лестничной клетке, он встретился с соседом жестянщиком Дашенькиным и впервые задумался, как мало он доселе знал об этом, рядом живущем человеке... Он вошел в свою квартиру, где на кухне жарили навагу, — и «в зеркале мелькнуло на мгновение серое, чужое лицо: я подумал о том, как я мало себя знаю». Рассказ есть рассказ. Это не исповедь. Отдадим должное легкой и грустной иронии, которой пронизана миниатюра. Но и отметим всерьез, что здесь в шутливой форме Трифонов передал нам ощущение творческого кризиса, который овладел им, как это явствует и из других автобиографических свидетельств, после того как весь «материал», накопленный в предыдущие годы многочисленными творческими командировками, особенно в Туркмению, был, казалось, исчерпан... Так уже бывало с ним и раньше. Но теперь речь шла уже не о смене лишь географии поиска... Возвратившись, физически и мысленно, из своего «производственного» далека, автор с азартом неофита, тем самым азартом, который брызжет из-под каждой строки «Путешествия», обратился к людям самым обыкновенным, обстоятельствам самым прозаическим, переживаниям и «драмам» самым повседневным, к тому, ради чего действительно смешно было бы скакать за тридевять земель, чем каждый день живет, в сущности, каждый из нас, малый и большой, и в Москве, и в Смоленске, и в Кондопоге, и в Небитдаге...

Как это ни странно, но писать о том, чем просто живешь, словно бы не принято. И мы видели уже, что Юрию Трифонову пришлось преодолевать своеобразный психологический барьер, чтобы обнаружить рядом с собой, вокруг себя, не на Крайнем Севере и не на Дальнем Востоке, жизнь, полную проблем и характеров.

Итак, Москва наших или почти наших дней, служилая интеллигенция, ее житье-бытье, преимущественно в тех срезах, которые обнажают внутренние, домашние хлопоты, радости и неурядицы. Словом, тот самый быт, с рассуждений о котором мы начали эту статью.

Показательно, что именно «Обмен», эта первая из повестей, родившихся под влиянием описанных в «Путешествии» психологических катаклизмов, в наибольшей мере отмечена стремлением сделать быт, и только его, героем произведения. Быт как таковой, как нечто самодовлеющее, самозарождающееся из материальной, а следовательно, стихийно-эгоистической природы человека. Быт, который в равной мере обременяет и обогащает жизнь каждого человека, каким бы и кем бы он ни был по происхождению, возрасту, профессии, национальности, складу характера, наконец... Быт как нечто в высшей степени осязаемое, реальное, материально ощущаемое ежедневно и ежечасно и как нечто иррациональное, противостоящее человеку, так же ежедневно и ежечасно подвергающее испытанию его волю, совесть, запас культуры... Таков, представляется, был замысел автора. Получилось же произведение отнюдь не вневременное, а, наоборот, вполне актуальное, остросоциальное.

Повесть в одно и то же время воспринимается и как притча, современный вариант сказки о рыбаке и рыбке, и как «физиологический очерк» — в духе

«натуральной школы» первой половины прошлого века. Притча... «Обмен» с его серым величеством бытом в качестве главного действующего лица и задуман и осуществлен так, что нам, читателям, при всем обилии точных реалистических, густо выписанных деталей, в какой-то момент становится как бы и неважно, кто меняется и что на что меняют. Тривиальный квартирный обмен оборачивается изменой человека лучшему в себе, предстает как некое действо, выявляющее извечные качества человеческой натуры, сталкивающее все косное, материальное в человеке с духовным, чистым, благородным...

При небольшом усилии не трудно предположить, что такого же накала сшибка характеров, воль, усилий, вкусов, представлений может происходить вокруг чего-то другого, житейски не менее весомого. Например, вокруг завидной, ставшей вакантной должности или путевки в увлекательное морское путешествие, места в аспирантуре, дачного участка и т. д. Борющимися могут быть те, для кого, подобно героям данной повести, отдельная двухкомнатная квартира была почти недосягаемой мечтой, и те, у кого ставка в игре повыше, куда как повыше... И она, эта ставка, может быть приметой нашего времени и нашей жизни, а также и жизни ушедшей, чужой и непонятной нам... Борьба может идти вокруг куска хлеба и из-за каприза, барской причуды...

Симпатизирующая автору критика, анализируя содержание повести, по справедливости поспешила обратиться к тому высшему ее смыслу, главному выводу, который острием своим направлен против омещанивания, «олукьянивания» — выражение, произведенное автором от фамилии родителей Лены, жены главного героя повести, Дмитриева.

Неограниченное, по способу арифметической прогрессии, удовлетворение потребностей, пусть поначалу разумных, законных, не принесет автоматически удовлетворения. И если тяга к удобствам житейским не освещена моральным интересом, служит самоцелью, она рано или поздно превратит человека в жалкого раба собственных привычек, склонностей, капризов... И наоборот, трудностям, лишениям, жизненным испытаниям не под силу сломить, обесцветить жизнь человека со стержнем, с идеалом, или, как в старину говорили, с богом в душе...

Таков смысл «Обмена»-притчи. В публицистическом изложении этот вывод, правда, выглядит с неизбежностью ординарно, отдает общим местом, и все же — не ради ли утверждения этой самой прописной истины написаны и десятки, сотни других, ставших классическими произведений отечественной и зарубежной литературы?! Не так важно, в конце концов, как изложен итог в статье, важнее, каким образом он становится достоянием читателя в повести. Вот тут-то возникает необходимость сказать о повести как «физиологическом очерке», обратить внимание на то, что здание своих выводов автор строит не на золотом песке барственных капризов, а на грешной, реальной земле нашей. Другими словами, если уж развивать аналогию со сказкой о рыбаке и рыбке, трифоновских «старика и старуху», то бишь Дмитриева и Лену, мы встречаем не в тот момент, когда от рыбки требуется доставить уже полцарства, а тогда, когда предел мечтаний — заиметь новую избушку, яснее говоря — отдельную двухкомнатную квартиру.

Как физиологический очерк «Обмен» — одновременно и суровое и сдержанное свидетельство того, как нелегко еще, неуютно, неустроенно живет довольно «широкий» горожанин наших дней. Сколько огорчений, душевных ран с неизбежностью заключает в себе эта неустроенность, как она травмирует

психику детей и взрослых, какой раздор способна приносить в семью. И мы по-человечески не можем не сострадать, не сочувствовать всем персонажам повести, и правым и виноватым, симпатичным нам и несимпатичным, ибо как не понять взрослых, в возрасте уже людей, которые не о манне небесной, не о кисельных берегах же пекутся, а о самом что ни на есть хлебе насущном... Кто осмелится возразить, что их образ жизни, не с нравственной пока, а с чисто бытовой точки зрения взятый, не может быть признан удовлетворительным. И разве непризнание это не заключено в самой политике нашего государства, осуществляющего с неутомимой последовательностью, из пятилетки в пятилетку, программу невиданного размаха жилищного, культурно-бытового строительства, программу, рассчитанную на то, чтобы удовлетворить потребности самых широких слоев населения...

В повести Трифонова побудителем к обмену комнат служит ожидаемая и неминуемая смерть тяжелобольной матери Дмитриева. Это-то и привносит столь терпкий привкус в повествование. Ну а если бы был просто обмен, просто стремление хоть как-то улучшить жилищные условия, если бы желание это не отягощено было столь аморальным мотивом? Что осталось бы нам, как не посочувствовать от души, не поболеть за успех предприятия, в которое, отнюдь не из-за каприза или причуды, оказываются ежегодно втянутыми тысячи и тысячи Дмитриевых... Не видеть и этого в «Обмене» — значило бы обеднять его содержание, притуплять его гуманистическое звучание.

Нелегкая, неблагодарная, требующая немалого писательского мужества задача — упрекнуть в «олукьянивании» людей, живущих в таких, как Дмитриевы, условиях, заявить устами матери Дмитриева, этой спартански бескорыстной и самоотверженной женщины, что «обмен произошел», и что-то главное, с трудом определяемое даже, но решающее обменено на пустяки, преходящее, суетное...

Но именно оттого, что писателю удалось заставить нас почувствовать, как бы руками пощупать нелегкую, полную ежедневных вяжущих забот жизнь героев, его предостережение вытекает из смысла повести органически. Лишенное налета ханжества, оно звучит уверенно и убежденно.

Следующие две повести, при том, что они пользовались, да и сейчас пользуются успехом, что именно с их появлением утвердилось мнение о новом повороте в творчестве Трифонова,— повести эти, представляется мне, лишь отражение и результат раздумий — о чем же дальше? И как?

В «Обмене» Трифонова интересует сама сфера бытования так называемого среднего человека, ее внутренние законы, психология житейская, не всегда, как кажется, зависящая от внешних условий и обстоятельств. Вырвавшись из тупика, в которых завели его традиционные пути поиска, писатель как бы наслаждается раскрепощением, отречением от всяческих канонов, шор, пут — словом, всего, что так долго держало его в добровольном плену. И вот он торжествует, резвится, он наслаждается этим чувством свободы, его так и подмывает поделиться своими открытиями, что он и делает, публикуя наряду с «Обменом» рассказ «Путешествие».

Однако уже «Предварительные итоги» свидетельствуют, что путь в сферу «чистого» быта, начавшись «Обменом», им же, по существу, и кончился. Уже в «Обмене» писатель сказал о быте, если представлять его себе изолированно, все, что хотел и мог сказать, уже здесь он глянул на него и с высоты птичьего полета, и сквозь линзы микроскопа. И кажется, здоровый инстинкт реалиста

подсказал ему, что он тут подошел к черте, пересекать которую, эдак с налета, было бы рискованно.

То есть в принципе можно шагнуть и за нее, взглянуть, условно говоря, на тот же быт даже уже и не в микроскоп, а в глазок циклотрона, где материя уже и не из клеток состоит, а на атомы, протоны и нейтроны расщеплена. Но тут попахивало бы уже сменой литературной школы, отказом от накопленного... И вот в «Предварительных итогах» Трифонов как бы застыл на месте, как замирает с поднятой ногой путник, почуяв впереди опасность...

На первый взгляд и здесь — стремление изобразить стихию быта, его плоскую игру и немудреные фокусы... Мелкие, суетные переживания персонажей, тот же в каждой детали узнаваемый мир московской полуинтеллигенции, где «пьют кофе из болгарских чашечек», ценят тех, кто может «организовать рейтузы шерстяные, билеты на Райкина, путевки, курортные карты, встречи с нужными людьми...» и способен по блату попасть в клинику, куда другие «стоят по два месяца в очереди». Полуинтеллигенция эта гоняется сегодня за почерневшими иконами и допотопной мебелью, как вчера гонялась за «модерном». Она симулирует что-то вроде веры в бога, как вчера щеголяла «афеизмом», и при этом старается «быть в курсе» различных открытий в науке, увлекается вошедшей ненадолго в моду социологией, «достает» джинсы и шорты, ищет детям репетиторов, и так далее и тому подобное...

Но все это уже не на первом плане, все пропущено сквозь призму воспоминаний, которые обострены, сфокусированы болезнью главного героя, его разладом с семьей. Собственно, это уже не просто воспоминания, а именно итоги, хотя и предварительные... Здесь и писателю и нам не безразлично, кто главное действующее лицо, например, по профессии... Речь идет о совершенно определенном с социальной точки зрения образе жизни, о среде, которая отнюдь не нейтральна к своим обитателям и во многом определяет их поведение, поступки... Весьма симптоматично и то, что Трифонов отправил-таки своего Геннадия Алексеевича в Туркмению, не на стройку, правда, а в дом отдыха, но все же в те самые места, из которых автор сам совсем недавно устремился, пресытившись «романтикой трудных дорог», в недра коммунальных квартир. Повторяю, «квартирной поэзии» писателю хватило лишь на одну повесть и уже для следующей понадобилось вернуться к накопленному, пережитому... Еще ощутимее это движение — от себя и к самому себе — в «Долгом прощании».

Здесь остро намечены социальные типы, ясно просматриваются и прослушиваются все боли и злобы дня того времени, к которому относится повествование...

И наконец, «Другая жизнь» — самая интересная, на мой взгляд, повесть и как будто бы самая традиционная, ибо здесь вновь присутствует весь «джентльменский набор» знакомых нам проблемных городских повестей — производственный (научный) конфликт, столкновение передового и отсталого, конфликт идеалиста и приспособленцев, столкновение мещанского и романтического отношения к жизни...

Итак, по кругу? Нет, по спирали...

По спирали, ибо к социальной тематике, социальному конфликту Трифонов возвращается обогащенный поисками и потерями целого периода в творчестве, обострив зрение и слух, с новыми, более емкими представлениями о взаимосвязях личного и социального.

К традиционному, в хорошем смысле слова, багажу русской прозы, с ее неистребимой тягой к содержательности, конкретности, проблемности, Трифонов, не в пример блудному сыну, возвращается умудренный поисками формы, приобщением к современным стилевым течениям западной литературы, тяготеющим к условности образов, разорванности композиции, интонационной ломке, потоку сознания, отдавшим немалую дань скитаниям по подкорковой сфере человеческого мозга... Скажу сразу же, что порой это увлечение ретроспективой, наплывами, дымкой, смешением реального и воображаемого органично содержанию трифоновских повестей, порой же выглядит как своеобразная аппликация, дань модерну и моде на него. И тогда путешествие к читателю отдает путешествием за читателем...

В целом же ключ к пониманию повестей лежит в определении не только того, чем они разнятся, но и того, в чем схожи. И последнее особенно отчетливо позволяет представить весь круг житейских и философских проблем, волнующих автора, его симпатии и антипатии — словом, все, что он хотел сказать нам, своим читателям, этим циклом.

То общее, что незримо складывает повести в нечто цельное, заключено, быть может, в стремлении автора высказать что-то чрезвычайно важное, значительное, с его точки зрения, и одновременно в осознании того, что каждый раз, с каждой новой повестью сделать это до конца не удается.

Как быть? Инженерное решение могло быть различным. Можно взяться за переделку, доработку уже написанного. Можно написать продолжение или самостоятельное произведение, где наряду с новыми персонажами будут фигурировать и уже знакомые читателю. А можно написать очередную, совершенно новую, самостоятельную повесть и в процессе работы или по завершении ее — вместе с читателями и критиками своими — обнаружить, что возвратился, вольно или невольно, в круг тех же идей, что снова бьешься над теми же образами, коллизиями, проблемами...

Реально, физически действие во всех пяти повестях Трифонова происходит в последнее десятилетие. Мыслями же своими, воспоминаниями — а они непременный и весьма внушительный компонент каждой из повестей — герои уходят в прошлое, не далее, впрочем, первых десятилетий Октября. При всем своем разнообразии, довольно определенен, с точки зрения основных характеристик, круг действующих лиц. Это — первое, из героев и современников революции вышедшее поколение советских интеллигентов и их здравствующие потомки — сами уже давно папы и мамы, подвизающиеся на ниве художественного и научного творчества. Или же — совслужащие, как говаривали у нас в 20-е и 30-е годы. И всегда это — представители средних слоев интеллигенции, те, кто не добился особых, явно выраженных успехов в труде, в творчестве, в служебной карьере, но кого и неудачником не назовешь. Таковы главные герои, таковы и второстепенные — друзья, знакомые, сослуживцы и дальние родственники Дмитриевых из «Обмена», Глебовых и Шулеповых из «Дома на набережной», Сергея и Ольги Васильевны из «Другой жизни»...

Словом, интеллигентская «глубинка» со всеми характерными ее признаками, плюсами и минусами, склонностями и капризами, чистотой и затуманенностью.

На первом плане, не всегда, но как правило, семья современных людей — среднего или чуть старше среднего возраста. Муж — работник НИИ или проек-

тного института, переводчик, литературовед... Жена — актриса, тоже научный работник или просто домохозяйка...

Родители, родственники мужа (или жены) — это, как правило, активные, убежденные, самоотверженные деятели первых революционных лет, пусть и не ахти какого большого масштаба. Бывшие красные партизаны, как дяди Дмитриева, конармейцы, как Ганчук из «Дома на набережной», подвижники на ниве народного образования... Люди, которые, дожив до сегодняшних наших дней, в глазах окружающих, тех, что на поколение помоложе, выглядят порой и трогательными, и нелепыми, наивно-беспомощными и твердокаменными, старомодными и неувядаемо юными...

Родители жены — или, наоборот, мужа — почти наверняка будут людьми другого склада — и происхождением и характером. Они — из «бывших» — мелкого и среднего пошиба — торговцев, нотариусов, чиновников. С чисто бытовой точки зрения в жизни им удается, как правило, добиться меньше, но чувствуют они себя в нашем сегодня, пожалуй, даже увереннее, по крайней мере тверже знают, чего хотят от жизни для себя и для своих детей. Цели их весьма практичны, и к осуществлению их они идут без оглядки, сражаются хоть и не по-рыцарски, зато без страха и упрека.

Столкновение, сшибка, как называет это Ольга Васильевна из «Другой жизни», практицизма и прекраснодушия, материального и идеального происходит, таким образом, как бы на двух уровнях, в двух плоскостях, при этом яблоко от яблони, как правило, недалеко падает... Сергей, например, из «Другой жизни», умерший внезапно и неожиданно в сорок два года,— весь в свою мать — старуху несгибаемого характера и твердых принципов; Лена же, например, из «Обмена» — копия, конечно применительно к дню сегодняшнему, своих родителей, прижимистых, эгоистичных, беспардонных и пробивных по мелочам...

Варьируются не только герои, но коллизии... Процедура обмена квартирами — основа первой из пяти разбираемых повестей — возникает и в следующих, но уже как эпизод — воспоминание, горький опыт или недвусмысленное предостережение. В чем-то основном схожи события, которые разворачиваются в НИИ у Сергея и в институте, где учится Глебов и преподает Ганчук из «Дома на набережной». Повторяются и настроения, мотивы переживаний... Например, грусть по ушедшим годам, острое ощущение разрыва временных связей, когда человеку кажется, что одна-единственная дарованная ему жизнь состоит как бы из нескольких — так непохожи, так разнятся между собой те или иные годы...

«Вещь окончена, — пишет Трифонов в одной из литературных заметок, — но над ней продолжаешь думать: видишь скрытые планы, неисчерпанные возможности, новые грани старых идей». Он говорит о «дочерпывании, большей частью бесполезном для оконченной вещи, но плодотворном для будущей». И думается, что в этом «дочерпывании» отражена какая-то потребность времени, которую не один только Трифонов подметил и стремится уловить. Есть в этом стремление литературы пойти навстречу читательскому вниманию, ставшему более углубленным, философским, к явлениям жизни и литературы.

Каждая из повестей Трифонова совершенно самостоятельна. Взятые вместе, они производят эффект, в чем-то сходный с тем, что возникает при созерцании полотен кубистов. Как бы в нетерпении открыть зрителю все грани изображаемого, художник выстраивает их в одной плоскости... Условность как средство реалистичнее, полнее изобразить натуру. У Трифонова в результате этой повторяемости — персонажей, настроений, ситуаций — каждый психологичес-

кий, социальный тип одновременно виден как бы в нескольких временных и пространственных измерениях, — и сегодня, и вчера, и завтра; и в профиль, и анфас; и крупным планом, и в качестве фона... Образы возникают и исчезают, приближаются и уходят. Один наплывает на другой... И кажется порой, что это не образы книги, а поток собственных твоих мыслей, ощущений, воспоминаний уносит тебя вдаль...

Обратившись к жизни, которую ему, кажется, специально и не надо изучать, писатель дает нам убедиться в огромной изобразительной силе остро увиденной, точно выхваченной, к месту приставленной детали, подробности.

Примеры? Да раскрывайте наугад страницу, берите любую строку. Вот так, как это сию минуту сделаю я. Ну вот хоть это... «Таня принесла в стеклянной посуде шпроты, два помидора, масло, хлеб и рюмки» — типичный ужин двух неустроенных, любящих или некогда любивших друг друга людей, у которых всего полчаса и есть на встречу. Или это — уже из хроники семейного быта: «Вечерами, ложась на свое чешское ложе — оказавшееся не очень-то прочным, вскоре оно расшаталось и скрипело при каждом движении, — Дмитриев и Лена всегда долго прислушивались к звукам... стараясь понять, заснула дочка или нет...» Здесь, собственно, не о роли детали в арсенале изобразительных средств говорить приходится, а о ее самодовлеющем значении, о том, что все повести из этих деталей и сотканы, и каждая накрепко, намертво привязывает героев к определенному месту, времени, социальному слою.

Так в «Обмене», так и в последующих повестях...

Этот вот интерес к мелкой, порой самой микроскопической подробности бытия, то, чем пренебрегают нередко, как бы даже брезгуют иные наши прозаики-урбанисты, у Трифонова приобретает первостепенное значение. И читатель, еще прежде чем герои Трифонова взволнуют его, захватят чем-то главным, уже этими «мелочами» взят за живое... Всамделишность, достоверность описываемого подкупает в первую очередь, создает повестям Трифонова необыкновенно широкую читательскую аудиторию. Если, к примеру, речь заходит о продовольственном магазине, то он будет охарактеризован именно с точки зрения говорящей о нем женщины — в данном случае служащей НИИ, у которой рассчитана каждая копейка и каждая минута: «Какой ваш гастроном-то чудный... и «докторская» колбаса, и сырки глазированные, а у нас редко когда бывают. Хотя наш вот тоже считается диетический...» Находясь в расстроенных чувствах, героини Трифонова знакомо «давятся слезами и пьют то валокордин, то заварку из чайника». Писатель отлично улавливает особенности своеобразного «интеллигентского» арго: «и все же не верила, такая дура, такая тетеха наивная». Или: «мужики (это в современном-то городе, в Москве — мужики — типичный жаргон: «мужик», «старик», «старуха») очень любили «обща». Давай «обща», «Что-то мы давно не обща».

Трифонову ведомы трассы, по которым перемещаются, «улучшая жилищные условия», преуспевающие и умеренно преуспевающие горожане, как, например, Геннадий Климук из «Другой жизни», ставший на наших глазах сначала ученым секретарем, а потом и заместителем директора одного НИИ: «Вечно он что-то перестраивал, ремонтировал или же менял квартиры, неуклонно расширяя площадь... Теперь, кажется, обосновался на новом Арбате, в небоскребе, где магазин «Мелодия».

Трифонов способен точно определить и внешние приметы человека преуспевающего как на административной, к примеру, стезе: «Влад кивал скорбно,

но с оттенком какой-то тайной начальственности. Черный казенный автомобиль ждал его на площадке...», так и на творческой — «дела шли очень хорошо, он занимал какие-то выборные должности, чем-то распоряжался, где-то преподавал и работал слегка».

Если речь заходит о какой-либо вещи — части гардероба, мебели, украшении, то это тоже не просто, скажем, шуба или демисезонное пальто, шкаф или диван. Отчим Ольги Васильевны из повести «Другая жизнь» — художник, и он носит «широкую из черного вельвета художническую куртку». И опять-таки не просто куртку, а пошитую в ателье Мосх. И это важное дополнение, потому что просто куртка, купленная по случаю, — одно дело, другое, когда куртка такая специально шьется и что известно место, где такие куртки шьются...

Или вот короткий, но весьма выразительный обмен репликами между четой москвичей и сельскими жителями Подмосковья, у которых горожане гостят. Диалог этот по поводу женской замшевой курточки, «тогда еще новой, нигде не засаленной» — значит, курточка из тех, которые не раз в год, а может быть, всего-то раз в жизни покупают и берегут — и не потому, что они очень уж дорогие, а потому, что их «трудно достать».

«И где же такие пиджаки берут?» — спрашивает один из хозяев. И здесь каждое слово придает фразе особую окраску. «Берут» — подтверждение того, что такие курточки, грубо говоря, на улице не валяются... «Пиджаки» — бедный Пантюша, задавший вопрос, не разбирается, кажется, в тонкостях гардеробной терминологии. Видит, что красиво, понимает, что так просто «не достать», а что и из чего...

«— Это из Венгрии, — поясняет владелица курточки, Ольга Васильевна.

— Ишь ты, как бархат...

— Да это замша, — поправляет Пантюшу жена, медсестра. — Что же ты, не видишь?

— Я вижу, — говорит Пантюша. — Я-то вижу».

И мы видим — что не так уж он и прост, этот Пантюша.

Заметим попутно, что в книге этот обмен репликами мимолетен и как будто бы не имеет прямого отношения к действию, сюжету, и места-то в повести занимает меньше, чем в этой статье...

Автор помнит и нам напоминает, что в первые послевоенные годы студенты любили проводить свободные минуты «в дешевой ресторации или в баре «на Серпуховке» или «на Пушкинской». В «Доме на набережной» он упоминает о «настоящем лаваше из грузинского магазина...».

Трифонов знакомит нас с такими женщинами, для которых главное удобство квартиры — в соседстве с «английской спецшколой в Утином переулке», этим «мерилом родительской любви и расшибаемости в лепешку», а преимущество службы — в том, что в обеденный перерыв можно «бегать в ГУМ и смотреть, не выбросили ли каких кофточек», а еще в том, что на «работе по четвергам показывали иностранные фильмы на языках».

«Ключ от квартиры», переданный или заимствованный у приятеля, красное венгерское вино «бикавер», завсегдатай на столе интеллигентного москвича, «вечерние электрички, встречи у пригородных касс», «отпавшая дача на Клязьме», «десять рублей до получки», «пиво для мытья головы» и так далее, и так далее — бесконечная россыпь деталек и деталей, мелких и мельчайших, но чрезвычайно важных для изображаемой жизни подробностей, когда одним словом, междометием, восклицанием, эпитетом восстанавливается в памяти, в

сознании читателя целая эпоха, социальный тип, создается психологическая, возрастная, идейная характеристика...

Трифонов ставит акцент на том, что все время на виду у всех, так самоочевидно и так примелькалось, что именно поэтому просто порой не замечается. Трифонов, как старьевщик, собирает то, что другие выбрасывают не глядя, как рыбаки мелкую рыбешку, случайно запутавшуюся в мотне крупноячеистого невода, — даже если эта рыбка золотая.

И здесь пора уже сказать, что именно эта вот особенность новой прозы Трифонова привлекла к нему широкий читательский интерес, привела в состояние некоей растерянности широкий круг специалистов литературы и критиков. Одних эта увлеченность деталями и подробностями коробила с эстетической точки зрения. Казалось дурным вкусом, крохоборством, неприличным для большого писателя, подбирать, так сказать, то, что валяется под ногами... Ведь все эти «глазированные сырки», «английские спецшколы», «дубленки» и замшевые курточки, валокордин и заварка из чайника — какое это открытие, кто этого не знает, зачем всю эту обыденную шелуху тащить в литературу?! Было это все уже и быльем поросло...

Других приверженность Трифонова к «бытовому реквизиту» волновала по иным причинам. Не заслоняют ли эти детали и мелочи быта, все это копание — главного в нашей жизни и людях, не принижают ли их вольно или невольно? Не создает ли автор искаженного представления о времени, когда отворачивает взор от переднего края стройки, от трудных, но благородных будней прежних своих героев — строителей, геологов, изыскателей — и вперяет его в бессмыслицу учрежденческих интриг, семейных склок, «клановых сшибок»... Не проиграл ли он творчески, променяв пески Туркмении на «пустыни» коммунальных квартир...

Все это, правда по-своему, беспокоило не только откровенных скептиков, но и энтузиастов нового поворота в творчестве Юрия Трифонова.

И тем и другим представлялось, что каждой своей новой повестью писатель как бы нарушает некие общепринятые, хоть и неписаные законы, переступает невидимую черту, которую переступать негоже.

Одни при этом волновались за читателя, у других звучала и слышалась опаска за автора. При этом ни та, ни другая сторона словно бы не уверены были до конца как в истинности своих суждений, так и в том, следует ли предавать их гласности. Не попадешь ли впросак... Добавлю, что это суждение мое не является результатом скрупулезного изучения всего, что написано о Трифонове в прессе и сказано на всякого рода обсуждениях и конференциях. Не могу гарантировать, что не упустил я что-либо из действительно серьезных и глубоких работ. Я пытаюсь передать чисто читательское ощущение от того, что попадало в поле зрения человека, неравнодушного к литературным нашим процессам.

Трудно, во всяком случае, спорить с тем, что, став знаменательным явлением литературной жизни последних лет, повести Трифонова не нашли еще в литературной печати отражения и оценки, адекватных тому месту, которое они заняли в сознании широкого читателя.

Попасть впросак, высказавшись откровенно, опасаются, кажется, как те, кто привычно и с удовольствием взмахнул бы литературной дубиной, так и те, кто не хотел бы изъявлением восторгов оказать писателю медвежью услугу. В результате говорят о повестях кисло-сладко, невнятно, довольствуясь дежурными констатациями.

Внимательно разглядывая ткань повествования, мы обнаружим меж тем, что эти вот штрихи, детали, подробности — не нейтральны по отношению к

действию, персонажам. Они не просто создают бытовой фон, они высвечивают характеры. То любовно и с грустью, то едко и беспощадно.

Кому, например, из действующих в повестях лиц беспрерывно приходят в голову или попадают на язык все те суетные подробности, вроде тонов и фасонов курточек, «начальствующих» взглядов, новомодных украшений, почерневших икон? Людям, которые глубоко несимпатичны автору, — например, Ольге Васильевне из «Другой жизни», Лене и всем Лукьяновым из «Обмена», Глебову из «Дома на набережной», который еще подростком со сладострастием расспрашивал детей, трагически потерявших отца, а будет ли в доме, куда их переселяют, лифт и неужели, мол, только одна комната теперь у них и останется.

Вернемся еще раз к тому же диалогу с курточкой. Повторяю, это была минутная мизансцена, даже десятистепенного отношения не имеющая, казалось бы, к основному ходу действия. Но вспомните, каким камнем она отложилась в памяти Ольги Васильевны, в то время как Сергей, муж ее, даже не заметил этого, так напугавшего Ольгу Васильевну инцидента.

Люди симпатичные автору воинственно настроены по отношению ко всей той суете, которой заняты сознание и руки разного рода Лукьяновых, Глебовых, Климуков и т. п. Они не понимают, как можно отдавать столько времени, нервов, труда на устройство внешней стороны жизни, когда есть главное — принципы, идеи, идеалы, служение им и борьба за них. У них и внешние приметы иные, и слова, и подробности жизни сопутствуют им тоже совсем другие.

Мать Сергея, Александра Прокофьевна, перед которой, к великой досаде жены, «сын благоговел», и все лишь потому, по словам Ольги Васильевны, что «Александра Прокофьевна что-то там делала на фронте во время гражданской войны, в политотделе армии стучала на машинке», мать Сергея ходит не в замшевой импортной, тщательно оберегаемой курточке, нет. По воскресеньям она «наряжалась в древнейшие штаны цвета хаки, немыслимую куртку эпохи военного коммунизма, закидывала за спину рюкзачок, пригодный для сбора утиля, и отправлялась куда-то на электричке... Вид у свекрови в туристском одеянии времен наркома Крыленко был трагикомический».

Заметим, что эта вот последняя фраза, хоть и идет она в авторском тексте, не автору принадлежит. Это не он, а Ольга Васильевна видит свекровь каким-то ископаемым. О вкусах не спорят — резонно повторяем мы, но видим, как на страницах повестей Трифонова именно борьба и столкновение мнений, вкусов, точек зрения на самые прозаические мимолетные детали быта становятся отражением столкновений принципов, идеалов.

Что касается вкусов и пристрастий самого автора, то главный разговор о них еще впереди, здесь же, отмечая активный, воинствующий характер используемых писателем изобразительных средств, хотел бы заметить, что, именно в них всматриваясь, их оценивая, и надо судить о позиции автора.

Она отнюдь не так неуловима и неопределенна, как об этом порой говорят. Только не в риторике, не в декларациях надо ее искать. Декларации Трифонову как раз менее всего удаются, в чем лишний раз убеждают авторские монологи в «Доме на набережной», хотя и родились они, думается, как раз под влиянием критических подсказок.

Итак, если согласиться с представлением о «московских повестях» Трифонова как о чем-то цельном, как о некоем едином, но по-особенному устроенном произведении, то где же и в чем же мысль автора сказалась наиболее полно? Что можно было бы назвать кульминацией, которая, как учит

нас наука о литературе, должна быть во всяком произведении, по каким бы оно законам ни создавалось. Такой кульминацией для меня является повесть «Другая жизнь». Именно в ней, кажется мне, «дочерпывание» выразило себя наиболее полно. Но эта полнота — и в композиции, и в образах, и в мыслях — потому именно так полна, что перед «Другой жизнью» были уже и «Обмен», и «Предварительные итоги», и «Долгое прощание». Перед Сергеем — Гриша, перед матерью его — родня Дмитриева, а до Ольги Васильевны — и Лена, и Рита...

Если бы повести «Другая жизнь» нужен был подзаголовок или статья моя была бы об одной лишь «Другой жизни», я бы назвал ее «Почему умирают мужчины?». Ведь именно на этот вопрос «Другая жизнь» и отвечает. Отвечает внутренним монологом Ольги Васильевны, жены умершего, в которой по воле автора и воплощено в наиболее концентрированной форме все то, что проявилось еще в Лене и Рите.

Сергей Афанасьевич, историк, без пяти минут кандидат наук, «умер в возрасте сорока двух лет от сердечного приступа», умер внезапно, неожиданно.

Почему вообще так часто умирают мужчины в его возрасте?

О том, что это действительно так, свидетельствует статистика. Это признает и по-своему объясняет наука — медицина, психология. Их объяснение касается всего возраста в целом — критическая фаза, «предварительные итоги», стресс... На Западе существует даже, довольно активно оборачивающаяся практикой, теория, согласно которой на границе сорока и пятидесяти лет мужчина, в целях самосохранения, должен менять все — квартиру, семью, работу, род занятий...

Наука, теория, имеют дело с закономерностями... Жизнь же состоит из исключений, и чем особеннее судьба, тем сильнее притягивает она к себе литературу. Как бы ни был опасен, по свидетельству статистики, упомянутый возраст, большинство перешагивает роковую черту... Повесть же Трифонова — о том, кто умирает. Умирает в силу глубоко индивидуальных обстоятельств и особенностей собственной личности и окружения. Пусть даже и подтверждая тем самым определенную закономерность.

К истории с Сергеем, к трагедии его можно было бы подойти как к клиническому случаю — яркому примеру физической и психологической несовместимости двух людей, соединивших свои жизни... Плох ли, хорош ли кто из них — жизнь вместе им противопоказана.

Повесть могла бы быть только об этом, и таких повестей, содержание которых, при всем обилии тонких и захватывающих психологических нюансов, укладывается в лаконичный медицинский диагноз, написано, особенно на Западе, немало — теми, кто исповедует в своем творчестве современные философские и психологические теории, вслед за Фрейдом призывающие ключ ко всему в человеке искать в таинственных, почти иррациональных процессах подсознательного...

С неизбежностью возникает и другая гипотеза, другое предположение относительно причин ранней смерти Сергея.

«Признайся, у тебя есть кто-то, с кем ты хочешь побыть вдвоем?» — на этот, прямо скажем, дежурный в семейном обиходе вопрос жены Сергей отвечает со внезапно прорвавшейся страстью и болью.

«Да, есть, есть, — заговорил он шепотом, мгновенно проснувшись. — Этот кто-то я сам. Я хочу побыть вдвоем с собой. Хочу отдохнуть от вас, от тебя, от матери, от всех, всех...»

Драма горожанина наших дней, издерганного ежеминутными заботами, звонками, необходимостью заниматься десятком дел одновременно, сознанием, что всего, тем более самого главного, все равно не успеешь? Комплекс мужчины в большом городе, делающего, подобно тысячам, если не миллионам других, не мужскую, в физическом смысле, работу? Да, и этот мотив довольно ощутимо звучит в повести, и он не безразличен нам, ибо это то, что касается действительно всех, кто идет по утрам не в цех и не в поле, чей верстак — телефон, а станок — письменный стол, что бы за ним ни создавалось — поэмы, научные исследования, сводки, циркуляры, справки...

Да, и это. И все же истинная, главная причина лежит где-то глубже... И писатель зовет нас на эту глубину.

Как уже упоминалось, впервые «мотив Сергея» возникает еще в повести «Долгое прощание». Это Гриша — ищущий и неприкаянный литератор, муж Ляли, актрисы московского театра, которую, после долгого прозябания, вдруг посещает, хоть и ненадолго и не совсем заслуженно, успех.

Гриша не похож на большинство тех людей, которые его окружают. Всех их, в большей или меньшей степени, одолевает суетность, их кумир — сиюминутный успех, их оружие — локти, связи, конъюнктура, беззастенчивость в жизни и искусстве... Гриша как бы не от мира сего... Не то чтобы слава, успех, сопутствующие им жизненные блага претили ему. Нет, конечно. Просто это — не самое главное для него... Овчинка не стоит выделки. Есть — хорошо, нет — не надо.

Главное же — быть самим собой, заниматься тем, что тебе самому кажется важным, пусть даже это будет исследование жизненного пути некоего «Ивана Гавриловича Прыжова, совершенно бесполезного и давно всеми забытого дяди, незадачливого бунтовщика, историка, пьянчужки, попрошайки, благороднейшего человека... жившего сто лет назад».

Любить того, кого любится, и находить наслаждение и страдание в том, чтобы, смиряя себя, ей, любимой, позволять жить так, как она хочет, пусть даже бестолково, бессмысленно, легкомысленно.

Григорий Ребров добр, самоотвержен, незлобив, кристально честен... Но в такой же степени и безволен, бесхарактерен и не способен что-либо противопоставить злу, кроме собственной уязвимости, ранимости. Его оружие — тяга к одиночеству, отстранение от себя грязи и пошлости, целомудрие, неприспособленность. Порою кажется, что автор безоглядно любуется этими качествами своего героя, поэтизирует их... И его можно понять, ибо рядом со смоляновской живучестью, нахрапом, накопительством Гришина неприкаянность, беззащитность, неприспособленность уже сами по себе выглядят добродетелью. Что же касается неожиданной известности, благополучия, которые пришли-таки к Реброву спустя много лет, после разрыва с женой Лялей и бегства из Москвы, они не вызывают у автора энтузиазма, и кажется, он вместе со своим героем глубоко убежден, «что те времена, когда он бедствовал, тосковал, завидовал, ненавидел, страдал и почти нищенствовал, были лучшие годы его жизни, потому что для счастья нужно столько же...»

Кажется даже, что и весь этот happy end понадобился автору лишь для того, чтобы произнести предостерегающие слова.

Да, не будь «Другой жизни», Григорий Ребров из «Долгого прощания», пожалуй, так и остался бы для нас авторским идеалом.

И вот Сергей. Та же неприхотливость, то же равнодушие к благам земным, та же увлеченность делом, и кстати, подобною же темой в науке, которая ка-

жется блажью, нелепицей окружающим, в том числе и жене его, Ольге Васильевне...

Тот характер и не тот. Именно характер, а не образ. Это хочется особо подчеркнуть, ибо есть соблазн заключить, что образ Реброва — своего рода черновик Сергея. Написал автор Григория, не удовлетворился сделанным, вернулся к образу — и вот вышел Сергей. Нет, тут два совершенно самостоятельных и законченных образа. И два характера, как два побега от одного корня...

Если бессребреника Реброва с его щепетильностью, брезгливостью к злу, неприхотливостью хватает лишь на то, чтобы пассивно презирать пороки и пошлость, если он лишь отстраняется от них с брезгливостью, то Сергей беспрестанно и упорно лезет в самую гущу жизни, в драку... Он никого не заденет зря, незаслуженно, но и не поступится ни на йоту своими принципами, правилами, выношенными представлениями о жизни, когда бы и в чем бы ни подвергались они испытанию — в большом или в малом...

Гриша, с его кристальной честностью и неприхотливостью, на какое-то время, по существу, оказывается приживалом собственной жены и ее любовника — драмодела Смолянова; Сергей же до конца, до последней минуты своей жизни останется хозяином собственной судьбы, жизни, принципов. Это при том, что по всем внешним приметам, которые особенно очевидны для его любящей и все о нем и за него знающей жены, он, Сергей, потерпел полный крах в работе и в науке: книга не вышла, диссертация провалена, с начальством и друзьями молодости полный разлад...

Вот она — сердцевина противоречия, разрешившегося внезапной смертью Сергея, которому еще накануне «когда брали курортную карту, врач написал: «практически здоров». Все было ничего, анализы, сердце, давление. Что же случилось за это время? Никто не может понять».

Есть такая страшная болезнь — несвертываемость крови. Тому, кто ею болен, опасна любая рана, любая царапина, такая, что другой ее просто и не заметил бы. И все же, если этот порез, эта царапинка и вызванное ими кровотечение — снаружи, можно еще как-то бороться за жизнь больного. Хуже, когда травма внутренняя. Гибельное, неощутимое, долго не дающее никаких внешних знаков о себе кровотечение, которое лишает человека сил, способности двигаться и наконец сводит в могилу. Сергей — из тех, у кого не заживают душевные раны, никогда и никакие, чем бы и кем бы они ни были нанесены — врагом ли, другом ли, стечением обстоятельств. Умышленно или ненароком.

Человек, страдающий несвертываемостью крови, как правило, узнает о своей болезни уже тогда, когда начинает себя помнить. Сергей конечно же и не подозревал о своей болезни. Да и не болезнь это вовсе, а печать духовной конституции особого порядка...

Скажем по-другому. Сергей — мужчина в настоящем смысле этого слова. «Он человек был...», смелый, умный, мужественный, рожденный жить и дышать всею грудью. Сполна наделенный юмором, он ко всему на свете относился с той серьезностью, на которую просто не способны люди помельче. Он — борец, он парус, который ищет и любит бурю. Борьба, противостояние — его стихия. И все же он все время проигрывает, терпит одно поражение за другим. Не случайно я снова и снова повторяю это утверждение. Глубину и масштабы драмы, заключенной в судьбе и образе Сергея, не охватишь, пока не проникнешься, не заживешь протестом против того, что случилось с ним.

Тут стоит еще раз напомнить и о том, что Сергея и весь его путь к неожиданной смерти мы видим глазами его жены, Ольги Васильевны. Есть немалый соблазн в том, чтобы ее и назвать главной, а может, и единственной виновницей смерти Сергея. И не в силу простой несовместимости двух, может быть, даже и хороших, но по-разному людей... В тексте повести мы находим немало свидетельств, что жизнь с Ольгой тяготила Сергея, что они не понимали, да и не могли понять друг друга. Да и вообще, вслед за матерью Сергея, мы легко можем прийти к выводу, что Ольга Васильевна — личность откровенно отрицательная. Однако против такого толкования многих его героев восстает, и справедливо, сам автор, когда в статье «Выбирать, решаться, жертвовать» полемизирует с критиком, считавшим Лену из «Обмена» отрицательным персонажем: «Что она: ребенка бьет? Ворует деньги в кассе взаимопомощи? Пьянствует с мужчинами? Никудышный работник? Ничего подобного, ребенка любит, вина не пьет, семью свою обожает, работает прекрасно и успешно...» Все это можно сказать и в защиту Ольги Васильевны, добавив к тому же, что по уровню интеллектуальному она — человек куда более крупного масштаба, чем Лена. Не нужно, однако, думать, что автор защищает этих своих героев. В том-то и состоит одна из принципиальных особенностей повестей Трифонова, что нет в них, на первый взгляд, ни ангелов, ни демонов, ни даже второразрядных чертей, а есть обыкновенные, с точки зрения бытовой, повседневной морали, люди — каждый со своими достоинствами и недостатками. С точки зрения повседневной морали... Автор, однако, подходит к своим персонажам с иными нравственными мерками. Хотя и не любит декларировать свои претензии.

Ольга Васильевна со всеми ее достоинствами и недостатками — это воплощение здравого смысла, трезвости, рационализма. Ученый-естественник, она знала твердо — «все начинается и кончается химией». Эти особенности ее характера, натуры и заставляют ее принимать жизнь такою, как она есть. Без скепсиса, но и без иллюзий. Нелепо, устремляясь к лучшему, уповать на переделку людей и жизни. Самое большее — надо уметь к ним приспособиться. Нет, это даже грубо. Не приспособиться — это означало бы быть нечестным,— а приноровиться. Другого не дано. И оттого, что Сергей этого не хочет и не умеет, не понимает, он кажется ей большим ребенком, которого она и любит, и осуждает чуточку даже свысока: «...она улыбалась, слыша его речи за ужином и в постели, когда на него вдруг находил стих курить и философствовать». Большой ребенок, нуждающийся в ежедневном и ежечасном руководстве. И все его поражения — конечно же результат того, что он не хочет и не умеет прислушаться к ее трезвым, любовью продиктованным советам. Его метания — лишь неизбежная примета той «душевной смуты», которая охватывает большинство мужчин после сорока лет. Его неудачи — результат все того же «неумения жить», строить отношения с людьми, быть хотя бы внешне снисходительным к их слабостям и изъянам. «Сережа был болтлив, неосторожен и сеял себе врагов. Скольких он наплодил — шуточками, спорами, ядовитостями, неумением вовремя сдержаться и сообразить».

Даже достоинства Сергея, несомненные и очевидные, вели, по мнению Ольги Васильевны с ее несокрушимым здравым смыслом, к напрасному расходованию себя, вредным для жизненного пути жертвам. «Он умел быть другом. Поэтому его многие любили и кидались к нему, когда им было плохо, и, пожалуй, эксплуатировали это его уменье». Его тяготение к друзьям юности тоже кажется ей странным. «Верно, они были приятелями, учились все трое на одном курсе — когда-то страшно давно... Ну и что?»

В повести целая цепь драматических коллизий, героем и жертвой которых становится Сергей. Весьма красноречивым представляется самый незначительный, казалось бы, эпизод, связанный с приездом Климуков на дачу к Сергею — часть деревенского дома под Москвой, который семья снимала много лет подряд у одних и тех же хозяев. Происходит это некоторое время спустя после того, как Климук, получив повышение, став хоть и небольшим, но начальником в том институте, где они вместе с Сергеем работают, отдалился от старых друзей, «пошел в гору и заважничал». Пригласила Климуков Ольга Васильевна. Сергей же относится к этому сложно. С одной стороны, ему, человеку, во всей полноте сохранившему привязанности юности, хотелось бы встретиться с Климуком — «Гениталичем», как он его прозвал, и в непринужденной обстановке развеять все дурацкие недоразумения, пугнуть как следует ту кошку, которая пробежала между ними... С другой, будучи натурой чистейшей и щепетильнейшей, он опасается, как бы гостеприимство его, его давняя и неистребимая мужская страсть «обща» не были бы восприняты как стремление справить некий свой личный интерес, коль скоро именно от Климука и именно в эту пору зависело, поедет ли Сергей в совершенно необходимую ему командировку во Францию...

Увы, уступив настойчивости жены, которая как раз теперь, вопреки хронической неприязни к этой злополучной тяге «обща», настаивает на встрече, Сергей быстро убеждается, насколько основательными были все его опасения... У Климука отношения с людьми, в том числе и со старыми друзьями, давно уже переведены на язык чистогана... На дачу к Сергею он приезжает не один, а еще с одним начальником — заместителем директора института... А тот еще приводит с собой «девицу цыганистого вида и неопределенных занятий», явно нацеливаясь провести с ней ночь. Оказывая услуги Кисловскому, Климук, естественно, рассчитывает на взаимность, и Кисловский относится к этому «с пониманием». Благодарность конечно же не заставит себя ждать. Что же касается Сергея, то и его реакция, кажется им, не может вызывать сомнений. Не младенец он, чтобы не догадываться о правилах игры. Если даже и не по вкусу ему придется вся эта амурная история, он конечно же не захочет отказать тем, от кого зависит и научное и личное его благополучие... Тем более и услуга-то, в общем, пустяковая, и приехали гости не с пустыми руками, и веселятся не отдельно от хозяев...

Что Климук... Даже Ольга Васильевна, возмутившись про себя поначалу бесцеремонностью гостей — «для такой любви есть определенные заведения, а не изба тети Паши», склоняется под бременем реальных соображений: «А почему нельзя было оставить парочку ночевать? Уложить их в комнате, самим на террасе». И только Сергей, у которого, по словам той же Ольги Васильевны, «было несуразное, вкусовое отношение ко всему, даже к серьезным делам и к собственной судьбе», взорвался, когда дошел до него скабрезный замысел гостей, и выпроводил их из дому, невзирая на все последствия, на которые ему тут же недвусмысленно и указал обескураженный Климук: «Старик, ты поступаешь опрометчиво. Пеняй на себя...»

«Я вдруг догадался, что предо мной торгаш. Наша дачка была товаром в каких-то его операциях. Ему он обещал это, а тот обещал ему что-то другое...» — говорил потом Сергей жене. Мера его наивности, отразившаяся столь красноречиво в этом запоздалом открытии, была, однако, не исчерпана до конца в ту злополучную ночь. Он долго еще не переставал верить, что Климуку в конце концов станет стыдно. Он и тогда, когда всем уже все было ясно, нимало не сомневался в том, что Климук обязательно поможет ему с командировкой во Фран-

цию. Это же для дела нужно... Но нет, не поехал Сергей в командировку, да и на службе у него, одна за другой, стали возникать неприятности и недоразумения, в которых непонятно кого было и винить...

Не следует из этой истории выводить «всего» Сергея, но верно и то, что именно в этом «бытовом» эпизоде четко отразился и характер героя, и суть его постоянных конфликтов с окружающими, с обстоятельствами.

Так что, если вернуться к предположению о несовместимости двух людей, послужившей причиной смерти одного из них, то приходится констатировать, что она — налицо. Но это несовместимость не личная, не интимная, а социальная, духовная. Несовместимость Сергея — не с Ольгой Васильевной как таковой, а с тем образом жизни, который за ней стоит, с тем кругом представлений, где все начинается и кончается «химией». В этой связи хочется сказать и о названии повести, которое, в общем-то, допускает немало толкований. Для меня другая жизнь — это не жизнь Ольги после смерти мужа, что, кажется, впрямую вытекает из содержания произведения. Другая жизнь — это жизнь Сергея, которую Ольге не дано было понять ни при жизни, ни после смерти Сергея.

Сергей и в большом и малом ведет себя по законам рыцарства, благородства, и не потому просто, что он взял это себе за правило. Уж такова его натура, иначе он не может, как не может человек дышать в воде, а рыба на берегу. Нарушения этих законов побуждают его бросаться в драку, и они же, независимо от исхода каждой такой схватки, оставляют те часто незаметные, но никогда не заживающие раны, из которых капля по капле и вытекало то «благо жизни», про которое со ссылкой на Льва Толстого говорит Ольга Васильевна.

Сергея убивает не сам факт существования зла — он действительно не ребенок и не святой, чтобы впадать по этому поводу в прострацию... Он борец и погибает оттого, что не хватило ему сил и средств для борьбы со злом, с многоликими Климуками и Кисловскими...

Климук сильнее, вернее, живучей Сергея, потому что ему ничего не дорого. У него нет ни принципов, ни привязанностей, разве что к собственной персоне. Поэтому его невозможно ни обидеть, ни оскорбить, ни унизить, максимум — напугать, поставить в тупик, разозлить, что, как мы видели, успешно, порою и сам того не подозревая, проделывал беспрерывно Сергей. Впрочем, есть у Климука конечно же и самолюбие, и даже свои представления о достоинстве — недаром он «заважничал», став ученым секретарем института. Но все это настолько искажено, искривлено, изуродовано, что способно оборачиваться лишь злыми, низкими поступками, моральной небрезгливостью. Оружие Климука — сплетни, кляузы, склоки, интриги. При этом он умеет предстать борцом за справедливость, за идею, за принципы, хотя на самом деле ни того, ни другого, ни третьего для него не существует, а существует лишь «мнение», и он, своим звериным чутьем угадывая, какое «мнение» сегодня в силе, служит ему преданно, истово, пожалуй, даже искренне, но... лишь до той поры, пока оно еще в фаворе. Бывает, правда, что чутье обманывает и таких, как Климук или Кисловский, и тогда они попадают под то самое колесо, под ту бочку, которую так ревностно катили... И вообще, исторически они обречены, исторически правда и победа за Сергеем и такими, как он. Но не забудем же — что для истории миг, для человека — целая жизнь порой, и, прежде чем пробьет час очередного Климука, его хозяина или подхалима, может погибнуть не один еще Сергей.

Сергей — мужчина. В самом высоком и полном смысле этого слова. Парадокс же современного образа жизни, особенно жизни горожанина, в том и заключа-

ется, что в быту нашем, служебном, семейном, каком хотите, все меньше остается средств и способов выявления специфически мужского начала, мужского достоинства... Это, если хотите, издержки прогресса, самого развития цивилизации, спутник технократизации.

Когда-то способом защитить и отстоять свое «я» был небрежно отесанный камень в руках первобытного человека. Дубинка простолюдина, меч рыцаря и шпага дворянина... На протяжении веков и тысячелетий оружие в руках мужчины было способом чинить зло, но и средством отстоять свое и близких своих достоинство.

Поединок, дуэль оказались вне закона в конце концов. Но и тогда, когда возглас «к барьеру!» был уже под запретом и обрекал на наказание и правого и виноватого, вызов на дуэль был тем последним средством, которое всегда было к услугам честного человека, как бы ни подавлен, ни унижен, ни оклеветан он был, и это было то, от чего, как «от тюрьмы и от сумы», не мог отказаться ни один интриган, кляузник, циник...

Задумываемся ли мы, кстати, что кляуза, донос, интрига, провокация — эти орудия людей без чести и совести — дотянули до наших дней, почти не изменившись, а вот дуэль, да что дуэль, вижу снисходительную улыбку на устах читателей, простая пощечина, оплеуха обидчику, оскорбителю стала уже чем-то чрезвычайным и неизвестно еще кого порочащим. В пьесе Сергея Михалкова руководитель клиники, честный, благородный человек, дал пощечину одному из своих учеников, который, прикрываясь именем учителя, брал взятки у пациентов. Так вот, пощечина эта, как что-то невиданное и чудовищное, буквально потрясла стены клиники, и острие осуждения общественного было направлено как раз против того, кто ее нанес.

Бог с ней, с пощечиной, тем более — с дуэлью. Они, видимо, так же невозвратимы, как обращение «сударь», которое некогда предлагал возродить подвергшийся за это злейшим насмешкам Владимир Солоухин. Но какие же новые способы изобрело человечество для того, чтобы и сегодня у каждого была возможность собственными силами, а не только «силами общественности» доказать свою правоту, восстановить справедливость...

Должны же они быть...

Тут закономерно приходит на память еще один герой Трифонова, на этот раз из «Дома на набережной». Повесть, кстати, не представляется мне лишенной некоторых знаковых недостатков. Сознаю, что тут возможны и другие, даже противоположные суждения на этот счет, ибо повесть сразу же вызвала широкий и неподдельный интерес у читателей в нашей стране и за рубежом. Дискуссию, которая, в общем-то, продолжается и поныне, хотя после этой повести появились и «Старик», и (увы, посмертно) роман «Время и место», и пророчившие совершенно новый виток рассказы... Но не знаю, как другие, а я перевернул последнюю страницу с чувством легкого разочарования, о котором стоит и сегодня сказать, и моя неудовлетворенность была вызвана, кажется, тем, что при всей внешней новизне и остроте сюжета, коллизий, в нем заключенных, автор в чем-то уже повторял самого себя. Если это и дочерпывание, то того, что, в сущности, уже вычерпано... В отношении остальных повестей, коль скоро они рассматриваются здесь как нечто единое, она представлялась даже не эпилогом, не развязкой, закономерно следующей за кульминацией... Она как пуля на излете, чей динамизм, упругость, энергия уже израсходованы.

И еще одна, тоже не из политесных соображений, оговорка. Сказанное выше отнюдь не мешает мне видеть в повести ряд несомненных достоинств, сильно написанных глав. Есть в ней и интересные и неожиданные образы, и это в первую очередь относится к образу профессора-филолога Ганчука. Именно его хочется поставить в один ряд с Сергеем и Гришей, как еще одну сторону одного характера.

Ганчук старше и Сергея и Гриши... И кажется, если пойти за автором, даже счастливее их, несмотря на то что финал его научной карьеры был столь драматическим.

Дело в том, что Ганчуку, именно этим он и интересен, суждено было воплотить в собственной судьбе и связь времен и их разрыв. Он родился, начал действовать, вызрел и проявил себя как личность именно в ту пору, когда возможностей проявить и отстоять себя и свои принципы, отстоять или погибнуть, было у человека больше, чем в иные времена. Именно в эту пору, пору революции, гражданской войны и первых послереволюционных лет, бывший красный конник, рубака превратился сначала в студента-рабфаковца, потом преподавателя и ученого... Закат же его карьеры совпал и ускорен был временем, это была уже послевоенная пора, когда нечестность, карьеризм, приспособленчество, подлость и вероломство получили в ряде отраслей науки своего рода фору и, наряжаясь в одежды благородства и принципиальности, какой-то срок одерживали свои жалкие, призрачные победы...

Именно в эту пору деятели на ниве литературоведения и истории, Дороднов и Друзяев, как две капли воды похожие на Климука и Кисловского, только покрупнее в замахе и потому еще страшнее, нанесли удар по Ганчуку, сокрушили его «не большой горой, а соломинкой». И мы видим, как, идя навстречу поражению, предвидя, предчувствуя его неотвратимость, он, и ныне остающийся рыцарем без страха и упрека, и сегодня пытающийся, но тщетно, одолеть своих врагов в честном поединке, тоскует по тем временам, когда он не был столь безоружен.

«Он знает, что такое рубать врагов. Рука не дрожала, когда революция приказывала — бей! Вот как тогда решались вопросы». С тех пор много воды утекло. И тоскует Ганчук в 50-е годы, конечно, не по сабле. В бесконечных и изматывающих университетских схватках и противник у Ганчука иной, чем на фронтах гражданской, и оружие против него нужно другое. Но какое? Противника своего нового Ганчук, следуя заветам Маркса, «который в каждом явлении, в каждом факте жизни умел видеть диалектическую и классовую сущность», представляет себе отчетливо. По существу, все эти Дородновы и Друзяевы, козыряющие ныне ультрапартийной фразой, «типический мелкобуржуазный элемент, закамуфлированный в духе времени... и вот тогда мы его не добили! Он уполз, растворился, как многие, для того, чтобы теперь выплыть в новом качестве. Анекдот: он меня учит марксизму! Недопеченный гимназистик со скрытой то ли кадетской, то ли нововременской психологией обвиняет меня в недооценке классовой борьбы... Да пусть молится богу, что он не попался мне в руки в двадцатом году...»

Здесь, конечно, требуется ремарка... Оторви эти тирады распаленного несправедливостью Ганчука от обстановки, от характера его, конкретных, неповторимых черт личности, судьбы, мы в этих его эскападах легко заподозрили бы блестяще воспроизведенные отголоски печальной памяти рапповщины, которая отнюдь не вызывает у нас симпатий... Но в том-то и дело, что жизнь не уложишь в схемы и в формулы... Ганчук интересен нам не как представитель,

символ какого-то идейно-эстетического течения, он дорог и близок как историческая фигура, живой слепок времени, воплотивший в себе все его невыдуманные противоречия.

Перед нами сын революции, ею мобилизованный и вылепленный, самородок, красный конник, ставший крупным ученым, гуманистом... И вот он-то, знавший, как сражаться с белогвардейцами, чувствует себя как Гулливер, опутанный сетями лилипутов. Он и ощущает в себе силу, несоизмеримую с силешками всех этих Дородновых и Друзяевых, и не знает, как ею воспользоваться, как применить, доказать очевидное — что белое есть белое, а черное есть черное...

Увы, есть в этом нечто от природы фатальное. Честный, простодушный человек всегда будет слабее в первой пробе сил, первой схватке... В первой... Но второй-то может и не быть.

Оружие, выкованное Ганчуком, его противники-лилипуты против него же и обернули и сразили его этим оружием... И мужское, не убитое, неистребимое в Ганчуке начало только тем и могло о себе заявить, что буквально через полчаса после заседания-разгрома, через полчаса, как «этого человека убивали», он стоял в кондитерской на улице Горького, вблизи Пушкинской, «у высокого столика, за которым пьют кофе» и назло убивавшим «с жадностью ел пирожное «наполеон», держа его всеми пятью пальцами в бумажке... стоял и ел «наполеон» с громаднейшим аппетитом!».

Вот и Сергей, терпя от «лилипутов» одно поражение за другим, будучи, по существу, быстро и незаметно убиваем бесконечными булавочными уколами, с таким же, как у Ганчука, «аппетитом» и презрением отмахивался от своих недругов, как норовистый конь от слепней: «зарубили» диссертацию — ну и черт с вами, не послали во Францию — плевать. И это «плевать», это его великолепное презрение потому еще оставляет в нем самом неизлечимые следы, что даже «свои», даже близкие люди не часто способны понять и согласиться с логикой его поведения. Как часто мы в поражении, понесенном в неравном бою, склонны винить только проигравшего, в деликатности и непосредственности его видеть признак слабости и, наоборот, в хамстве, изворотливости, самодурстве — признак силы, примету власти и властности... Обе повести — как бы напоминание обществу о необходимости дать верное, надежное оружие в руки тех, кто служит его идеалам. Дать мужчинам возможность вести себя по-мужски и не проигрывать, а выигрывать благодаря этому...

Сергей и Ганчук, их друзья и противники, их окружение, симпатии и антипатии — вот то, что позволяет судить о пристрастиях и самого автора, которые вызывают столько вопросов и споров.

Конечно же те, кто делал революцию в подполье и эмиграции, делал ее с клинком или винтовкой в руках, кто отстаивал ее потом, в годы разрухи, восстановления и первых пятилеток, сегодня, дожив до наших дней, выглядят не так уж грозно и романтически... А некоторые, вроде Ганчука или матери Сергея, кажутся иным из окружающих даже и старомодными, и наивными, а может быть, и смешными, и даже жалкими... И вот повести Трифонова, особенно такие, как «Другая жизнь» или «Дом на набережной», есть не что иное, как протест против такого восприятия... И конечно же не по поношенным гимнастеркам и буденовкам, парусиновым туфлям или полувоенным френчам, этим символам ушедших лет, скорбит и грустит автор... Его беспокойство, его тревога о другом... Не ушло бы незаметно — вместе с этими гимнастерками, буденовками,

всем спартанским бытом, неприхотливостью, ригоризмом голодных и бедных лет — нечто более важное, что эти люди — в гимнастерках, буденовках — несли и лелеяли в себе — идеализм, служение будущему, вера в новое общество... Не проглядеть бы за сегодняшней, старомодной и наивной внешностью, кажущейся экстравагантностью манер, речи, привычек главное, не уступить бы вездесущему, неистребимому мещанству, которое, обладая поистине гениальной способностью мимикрировать, готово выступать под любыми лозунгами, ополчаться против любого вчерашнего друга и союзника, лишь бы сохранить в неприкосновенности самое для него драгоценное в мире — самое себя и свое место под солнцем.

Эта-то направленность и роднит повести Трифонова, при всей их внешней несхожести, с «Первым учителем» Айтматова, «Обелиском» Быкова и «Прялиными» Абрамова, произведениями многих других современных писателей, для которых верность идеалам означает непримиримость ко всему, что замутняет их, потребность бороться против этого всей силой своего творчества. Их творчество — их оружие...

Я, признаюсь, не любитель выпытывать у писателя, «над чем он сейчас работает». Тем не менее появление «Старика» в свое время никак не оказалось для меня неожиданностью. Наверное, у каждого, кто, подобно мне, подряд, залпом прочитал не только эти пять повестей, но и «Отблеск костра» и «Нетерпение», родилось бы предощущение вещи, в которой у писателя должны пересечься, как прямые в неэвклидовой геометрии, стихии быта и героики, прошлое и сегодняшнее. Задача тройной сложности. Но не миновать было писателю устроить самому себе такое испытание. Готов ли он, думалось, к нему? Выдержит ли экзамен? На этот вопрос нелегко дать исчерпывающий ответ даже теперь, когда роман стал уже неотъемлемой частицей современного литературного процесса.

Итак, «Старик», где на наших глазах, словно в кадрах киноленты, которую прокручивают в обратном направлении, все эти вызывающие снисходительную улыбку Лены и Ольги Васильевны, — Лукьяновы, старики и старухи «в древнейших штанах цвета хаки» и «немыслимых куртках эпохи военного коммунизма» встали из своих постелей, кресел, а то и гробов и, отряхнув пыль с буденовок и длинных красноармейских шинелей, оседлали горячих коней и поскакали, кто «верхи», а кто на тачанках, навстречу злейшим врагам Республики. Вновь загудел тот костер, пламя которого «дотянулось до дня сегодняшнего, отразилось, преломилось, стало светом и воздухом». Завязалась та «кровавая сеча», гул которой слышится еще и поныне в будничном трудовом шуме нашего сегодня.

Как доносится он по сию пору и до маленького подмосковного дачного поселка, где окруженный чадами и домочадцами, доживает последние дни участник, очевидец и, по мере сил своих, летописец тех ярких и грозных дней, персональный пенсионер Павел Евграфович Летунов.

Представшая перед нами в яви и воспоминаниях жизнь этого человека, отнюдь не главного героя книги, да и вообще не героя, служит своеобразной связующей нитью между днем нынешним и минувшим.

Не мирно на страницах книги. Воюют не только красные с белыми. Спорят, да что спорят, схватываются, и порой не на жизнь — на смерть, люди одного, нашего лагеря. И это не обязательно в прошлом — когда все только укладывалось... И сегодня непокойно Павлу Евграфовичу. Вся его сегодняшняя жизнь — это один нескончаемый спор. С близкими своими и с собой, с собственными

воспоминаниями и совестью. С тенями прошлого и реалиями нынешнего дня. Не так ли, впрочем, и у каждого из нас? Не это ли и есть внутренняя жизнь человека, которая в таком обнаженном виде не часто становится достоянием наших повестей и романов.

Этот почти на полтораста журнальных страниц спор-монолог — а его, по хорошо уже знакомой трифоновской манере, поочередно, почти незаметно для читателя сменяя друг друга, ведут то автор, то его сквозной персонаж — составляет и содержание романа, и его форму, которая дает писателю возможность вместе с нами легко и свободно путешествовать во времени, сопрягая годы, характеры и расстояния.

Во имя чего? Во имя отыскания ответов на те вечные вопросы, которые жизнь, история, революция вновь и вновь задают каждому новому поколению. Еще одна попытка — а они никогда не прекратятся — на прошлое взглянуть с высот постигнутых за эти годы истин; светом же, идущим из пламенных лет революции, озарить рельефы сегодняшнего дня. Замысел исторический, гуманистический, правомерный.

Постоянная наводка на резкость позволяет дела и людей гражданской войны видеть столь же явственно, четко, как и сегодняшних.

Роман читается с захватывающим интересом. Но вот он лежит передо мной. Я смотрю на его первую страницу и думаю: чего же мне в нем не хватает? И почему? Думаю, как бы точнее и вместе деликатнее сказать о том, что самому уже кажется ясным. И о том еще думаю, что дружеская дарственная надпись — поперек журнальной страницы — дает мне на это право. Обязывает!

Зачем эти оговорки? — могут возразить. Думаю все-таки, что нужда в них есть.

Когда имеешь дело с таким многоплановым, сложным и по замыслу и по исполнению произведением, как роман Трифонова «Старик», с произведением, написанным на чрезвычайно высоком, ставшем, впрочем, уже нормой для автора уровне, любой неаккуратно высказанный, хотя и совершенно справедливый и даже необходимый, с твоей точки зрения, упрек легко может быть воспринят читателем как критика с позиции упрощения жизни, лакировки действительности. Было бы неправильно не предвидеть этого, не принимать во внимание.

Довод — а разве в жизни так не бывает? — потому, наверное, и звучит сегодня столь часто и столь воинственно, что раньше, и на протяжении немалого числа лет, не менее воинственно звучал другой — а где это вы такое видели?

А разве в жизни... Ну, не метко ли, действительно, схвачены и на сей раз писателем все бытовые подробности, детали жизни на этих подмосковных, возникших сразу же после гражданской войны дачах, ставших достоянием нарождавшейся советской интеллигенции? Не характерны ли, как всегда, и типы людей, изображенные писателем? Хотя бы тот же Олег Васильевич Кандауров с его афористическим «до упора»? Да и сам Павел Евграфович, столь узнаваемо, против своей воли, увязающий в дрязгах дачной повседневщины? Его соседи и родственники, наконец, — мученики и реальных и выдуманных, но таких реальных в своей выдуманности житейских проблем... Мало ли, действительно, вокруг нас таких вот вялых, скучных, разочарованных неизвестно по какому случаю людей? И разве не право художника — вывести на всеобщее обозрение, пусть даже и скопом, эдакую вот галерею частью лимфатических, частью, наоборот, агрессивных ненужностей. Благо, он не любуется ими и не сочувствует им. Совсем наоборот!

Да и все сказанное о необычайной изобразительной силе подробностей житья и быта — разве это не относится и к новому произведению Юрия Трифонова?

Повторение? Но разве мы с ним уже не встречались ранее? И не в этой ли вот статье высказано убеждение, что развитие идет тем не менее по спирали, а не по кругу. Все так, но не забудем, однако же, что каждое повторение, в том числе и осознанное,— это всегда риск. Это всегда не только количество, но и качество. Скачок — либо вверх, либо вниз...

Так вот в данном случае не можешь избавиться от ощущения, что среди персонажей, принадлежащих сегодняшнему дню, слишком мало находишь новых, неожиданных для тебя лиц. Старые же знакомцы от чрезмерного употребления словно бы повыцвели, слиняли и не интересны моему читательскому любопытству. Все их хлопоты вокруг дачной пристройки как-то не берут за живое, независимо от того, кто хлопочет — симпатичные ли мне личности, вроде, например, сына Павла Евграфовича, Руслана, этой довольно бледной копии Сергея и Гриши, или несимпатичные, их же легион, начиная с Олега Кандаурова, не столько зловещего, сколь злополучного с его болезнью, накликанной на него автором в наказание за суетность и животный эгоизм его.

По правде говоря, они просто трудноразличимы, все эти Мюды, Валентины, Гарики, Николаи Эрастовичи, ближние и дальние родственники старика Летунова, гнездящиеся на его старенькой даче. В этом калейдоскопе лиц, «особых примет не имеющих», от которых пестрит в глазах, трудно уловить индивидуальность того или иного образа, а порой приходится перелистывать страницы назад, чтобы понять, кто же есть кто. Возможно, писатель как раз и хотел показать невыразительность, аморфность окружающих Павла Евграфовича людей. Но ведь и безликости мастер обязан дать неповторимое лицо.

В центре исторических глав повествования фигура красного комкора Мигулина, бывшего казачьего старшины, ставшего на сторону советской власти. К нему-то, к его облику и его трагической судьбе, непрестанно возвращается травмированная мысль и совесть Павла Евграфовича, подхлестнутая к тому же письмом и встречей, чуть ли не через полвека, со вдовой героя. Мигулин — фамилия произвольно выбранная. Но не трудно догадаться, что за ней стоит фигура историческая, реальный, хорошо известный человек. Замысел писателя, совершенно очевидно, состоял в том, чтобы во весь рост изобразить фигуру рыцаря, «льва революции», пришедшего в нее без предварительной партийной, теоретической, подпольной подготовки, просто — по зову сердца, по неизбывной, почти маниакальной тяге к справедливости... Человек в высшей степени талантливый — и в военных свершениях, и в социальном мышлении... Талант, пусть и неотшлифованный, неотграненный, но талант... Словом, один из крупных военачальников гражданской войны, •оставивший яркий след в истории борьбы за торжество советской власти, числивший за собой реальные, решающие в ходе боев за Дон деяния...

Может быть, впервые в нашей литературе после «Чапаева» именно такой тип революционера становится в центр произведения... Мы больше привыкли к тому, что люди подобного склада призываются на страницы литературных произведений, чтобы служить выгодным фоном, обрамлением рассказу о героях без сучка и задоринки. Ничего, кроме самого искреннего сочувствия, такой писательский замысел у меня, например, не вызывает, тем более что, рассказав о казаке Мигулине, Трифонов много смелого, верного и неожидан-

ного добавил к тому, что мы знаем о путях и нелегких судьбах красного казачества в целом.

Червячок же скребется совсем по другому поводу. Хорошо, что такой герой, как Мигулин, — центральная фигура романа. Но что центральное в нем самом? Мы видим метания, нервные срывы, истерию, непоследовательность в словах и действиях... Все то, что действительно может сопутствовать величию, масштабу, гигантскому эмоциональному заряду, не умеющему разрядиться. Все то от крупного человека, что может действительно не вмещаться в рамки, выламываться из них, стать причиной драмы, трагедии крупной личности.

Но все это работает, именно когда масштабы налицо, когда мы ощущаем, что это изломы, метания, рывки действительно крупной фигуры. Но уж вы мне «крупноту»-то эту самую, обещанную, продекларированную, подайте, чтобы и я, как Ася Игумнова, подпал бы под обаяние этих во всем нестандартных духовных размеров. Но вот — в силу какого-то рокового авторского просчета — рывки и метания, ссоры и дрязги налицо, а подлинного величия не ощущаешь. Документальных свидетельств незаурядности, значимости Мигулина предостаточно, а вот ощущение не возникает.

Не оттого ли это, что впервые в своем теперь уже шестикнижии — «Старика» никак не оторвешь от предыдущих «городских» повестей Трифонова — писатель, впервые поставив во главу угла фигуру бесспорно, без оговорок крупную, незаурядную, историческую, к лепке образа подошел с приемами, которые хорошо освоил, но которые здесь не всегда кстати.

Полководческий дар Мигулина, стратегия мышления, талант трибуна и организатора — все это вынесено за скобки, все это как бы само собой подразумевается, обо всем этом — мельком, перечислительно, общим планом: «Мигулин ломит на юг». Ему, командующему «самой победоносной и знаменитой в ту пору армией», сопутствует «небывалый успех. Почти вся Донщина освобождена, красновская армия развалилась, катится к Новочеркасску, падение донской столицы — дело дней...».

Такою же скороговоркой и о другом звездном периоде деятельности Мигулина, когда он, переживший снятие с поста, ревтрибунал, вынесение и отмену смертного приговора, десятки специальных комиссий, опять на коне: «...в войсках Фрунзе, вместе с Блюхером и Буденным громит Врангеля. Перекоп, станция Воинка, Джанкой, почетное оружие и орден Красного Знамени...»

Писатель словно бы стесняется показать своего героя во весь рост именно тогда, когда тот на коне в прямом и переносном смысле. И наоборот, все внимание его — драматическому разладу с окружающими, с самим собой... И тогда утомительным уже рефреном звучат слова и фразы о «нелогичности действий», о его «душевном состоянии», муках, «колебаниях, которые длились целые сутки», о его срывах, угрозах, часто непростительных, «бешенстве себе во вред», «бешеной гневной ругани». Столь же настойчиво, во вред определенности, целостности образа, идут упоминания о «странности, зыбкости» фигуры Мигулина, в котором «то мерещится одно, то брезжит другое». Они тем более способны сбить читателя с толку, что не всегда уловишь, кто же это судит о «странности и зыбкости» — Павел Евграфович, сам автор или какие-то случайные, вовсе безразличные нам персонажи повести.

Веришь, что ярким, как внезапно вспыхнувшая звезда, видит его Ася, чья любовь — сама по себе феномен, нашедший в романе адекватное подлинной ее глубине отображение. Но мы хотим, чтобы писатель помог и нам увидеть то,

что провидит своим любящим сердцем она, когда и в роковые часы суда над Мигулиным и много лет спустя после его трагической смерти твердит: «Я никогда не встречала таких людей, как Сергей Кириллович... Он необыкновенный, понимаешь? Не как все. Не как мы с тобой».

А мне комиссар Данилов, дядя Павла Евграфовича, «Шура», о котором отец Павла говорит: «таких людей победить нельзя», кажется интереснее, индивидуальнее. Его образ — образ человека, который, когда все вокруг были во власти стихий, потока, «понимал все это издали умом и глазами другого (то есть нашего. — *Б.П.*) времени»,— настоящая находка, и досадно, что, словно бы попав в плен к самому себе, автор заставляет героя, подобно спутнику второй величины, вращаться, как вокруг солнца, вокруг Мигулина и подлинное значение характера меряет порой не собственными его достоинствами, а тем, насколько помог он или не помог Мигулину. Обидно, что этот интересно намеченный характер все время остается в тени истории и пера автора.

Ну, и, наконец, сам Павел Летунов. Скажу сразу, что как раз Павел Евграфович, Старик, вспоминающий прошлое, идущий с пером в руках по следам Мигулина, представляется мне даже интереснее, чем Павлик гражданской войны. Там его роль и место совершенно туманны. Он всегда и все время при Шуре. Для чего, почему? Не для того же только, чтобы было потом что и кому вспомнить о Мигулине и Шуре. Задуман ли он таким нарочито невзрачным, «лица не имеющим» или по авторскому недосмотру получился? Мне как читателю небезразлично, повторяю, какой человек пытается разгадать загадку судьбы и личности Мигулина. Какой нравственной ценности, какого духовного потенциала? Что означает вопрос Аси — мол, почему именно ты написал о Мигулине? Или заключающая собою роман фраза аспиранта Игоря Вячеславовича, который в своих научных изысканиях идет по следу уже не только Мигулина, но и самого Летунова: «Истина в том, что добрейший Павел Евграфович в двадцать первом на вопрос следователя, допускает ли он сам возможность участия Мигулина в контрреволюционном восстании, ответил искренне: “Допускаю”».

Сказал так Павел Евграфович и забыл, и на протяжении всего романа не вспомнил, и намека Аси, которую сам любил когда-то, не понял и не принял. Так что же эти фразы? Упрек Летунову? Отпущение грехов? Стремление подчеркнуть сложность времени и противоречивость фигуры Мигулина? Или просто констатация банальности, что, дескать, все вообще сложнее в этом мире, чем кажется, что все люди, все человеки, не судите да не судимы будете...

Издержки очевидны. Но несомненно и другое. В этом своем романе, завязав в гордиев узел прошлое и настоящее, житейское и возвышенное, писатель в профессиональном плане ставил перед собой несоизмеримо более сложные задачи, чем раньше. И многое, очень многое ему по-настоящему удалось. Помимо того, о чем уже шла речь, надо обязательно еще раз сказать о замечательно выписанном образе Аси Игумновой и о парящем над нею образе ее Любви к Мигулину. Интересны, во многом неожиданны, смелы размышления о путях и судьбах красного казачества, которые немало добавляют к тому очень важному и впечатляющему, что мы знали и раньше из истории и литературы. Выразительны такие эпизодические, казалось бы, лица, как Браславский, все рвущийся «Карфагеном пройти» по казачьим станицам, как Шигонцев, Бычин...

Есть что-то по-булгаковски трогающее в описаниях быта семей Аси и Павлика...

Вообще калейдоскоп характеров, типов людей, действующих в годы гражданской войны, необыкновенно разнообразен... Многие живыми и теплыми выхвачены из порохового дыма, пожарищ, бешеных схваток, из старых дореволюционных интеллигентных домов с их не сразу рухнувшим даже под напором революционных бурь бытом и духом.

Путь писателя — судьба его книг. По отношению к Юрию Трифонову это особенно верно. Жизнь его была сложна, разнообразна, полна драматических и радостных событий. Но уверен, что с тех пор, когда почти еще юношей он принес Александру Трифоновичу Твардовскому свою первую повесть, единственную, кстати, из всех его работ удостоенную высокой премии, не было для него в жизни другого дела, чем писание, страсти неутолимее, чем литература.

Как-то, в одну из последних наших встреч, я подивился и позавидовал профессиональной его неутомимости, тому незаметному для внешнего взгляда рвению, с которым он в почти равные промежутки времени создавал вещь за вещью. И он ответил в характерной для него резкой, даже самоуничижительной манере — есть, мол, не помню только чья, поговорка: у каждой собаки свой час лаять. И он быстро проходит.

Слегка, пожалуй, даже сконфуженный такой аллегорией, я тем не менее не мог не отметить ее прицельность. Предчувствовал ли сам писатель, что время его уже на исходе. Не знаю, но писал он до последней минуты и оставил много.

Человек внешне — обликом, манерами, неторопливой, словно ленивой, речью — прозаический, Юрий Трифонов в глубине души был лиричен и даже сентиментален. И теперь, когда его уже нет, отчетливее понимаешь причины, которые побуждали его торопиться.

С опозданием, казалось ему, он вернулся творчески в страну своего детства — Москву, и вот надо было успеть отдать сполна долг этой стране, в которой для него отражался весь мир.

Писатель умер. Пожелаем же долгой жизни его книгам.

Василий Шукшин и его чудики

Один из рассказов Василия Шукшина так и называется — «Чудик». Не самый заметный, пожалуй. Но, перебирая, словно бусинки четок, их названия, на этом останавливаешься невольно: «Ужели слово найдено...»

Впрочем, у Ушакова такого слона не найдешь, тем более в словаре Даля. Это — детище нашего времени, наших дней. Зато есть в словарях другое, корневое — «чудо», ведущее, наверное, свою родословную еще с языческих времен. Слово, которым народ наш испокон века обозначал и самое знаменательное, и самое таинственное в жизни, самое радостное, светлое — чудесное, и самое отвратительное — чудовищное...

Ну, а чудик... Этой меткой люди весьма легко и беззаботно наделяют друг друга в повседневной жизни... Тут слышится и насмешка, и снисходительное любование, и пренебрежение, и восхищение... Словом, совсем так, как в рассказах Шукшина, где чудиком слывет не один только герой одноименного рассказа, написанного еще в 1967 году, — неловкий, доброжелательный до неправдоподобия, при этом — застенчивый, уступчивый и гордый, несчастный и неунывающий... Такой же, например, чудик в глазах окружающих — столяр при «Заготзерне» Андрей Ерин, который, приобретя в сельпо микроскоп, объявил войну всем микробам мира. Или Моня, по паспорту Дмитрий Квасов, совхозный шофер, двадцати шести лет от роду, который потому именно замыслил создать вечный двигатель, что вычитал в книгах, будто двигатель такой — невозможен. Это, наконец, да нет, далеко не наконец, Николай Николаевич Князев из райгородка Н., мастер по ремонту телевизоров, который у себя на дому восемь общих толстых тетрадей исписал трактатами «О государстве», «О смысле жизни» и «О проблеме свободного времени».

Есть у Шукшина рассказ, где чудинку в характере героя он связывает даже с мастью, так сказать, человека. Рассказ этот — о встреченном еще в далеком, прошедшем на Алтае детстве, — вот откуда она ведет начало, эта его приметливость к людям с «пунктиком», — рыжем шофере, который со многими приключениями вез паренька домой по Чуйскому тракту. «С тех пор я нет-нет ловлю себя на том, что присматриваюсь к рыжим — какой-то особенный народ, со своей какой-то затаенной, серьезной глубинкой в душе... Очень они мне нравятся».

Есть в рассказах Шукшина и другая порода людей, те, кого следовало бы, пожалуй, назвать... античудиками, чудиками наоборот. В их поведении, характере тоже заметно то, что в рассказе «Психопат» Шукшин называет «сдвинутостью». Только сдвинуты эти люди совсем в другую, дурную сторону. «Античудики» — непревзойденные мастера творить зло, пусть мелкое, пусть бессмысленное, бьющее прежде всего по ним же... Творят они его с истинно творческим азартом, артистически, с упоением... Таков «непротивленец Макар Жеребцов»

из одноименного рассказа, который всю трудовую неделю, работая в селе почтальоном, «ходил по домам и обстоятельно, въедливо учил людей добру и терпению». Учил жить — по возможности весело, по благоразумно, с пониманием многомиллионного народа, а по субботам и воскресеньям, наоборот, сидя перед собственным домом на скамеечке да выпив «с утра рюмочку-две, не больше», советами подбивал тех же людей, своих односельчан, на всякие пакости друг против друга. «Чудной ты мужик, Макар»,— говорили про него в селе. И спрашивали: «Почто, например, ты то одно людям говоришь, то другое — совсем наоборот? Чего ты их путаешь-то?»

«— Не для этой я жизни родился, — искренне вздыхал в таких случаях Макар.

— Для какой же?

— Сам не знаю. Вот говоришь — путаю людей. Я сам не знаю, как мне их: жалеть или надсмехаться над ними. Мне бы в большом масштабе советы-то давать, у меня бы вышло».

Невинные вроде бы забавы и вреда большого не приносят, поскольку люди в деревне давно уж раскусили этого доморощенного Мефистофеля. Но как раздумаешься над тем, что действительно дорвется какой-нибудь другой такой со своими советами до «больших масштабов», — и холодок бежит по спине.

Впрочем, пересказывать, толковать рассказы Шукшина — каждый в отдельности — задача неблагодарная. Они, рассказы, как ежик, который при любой попытке потрогать его моментально сворачивается колючим мячиком, и только иголки во все стороны торчат. Попробуй перескажи, например, историю с микроскопом или с тем же вечным двигателем — выйдет анекдот. Или рассказ «Сельские жители» — сын уехал в город, устроился там, зовет мать к себе погостить, вот она сидит с внуком и «отписывает» ему: приеду, мол, только не сразу после Нового года, а поближе туда, к осени,— получается самая обыкновенная, чуть ли не банальная история.

Мне кажется, что даже самому автору эти пересказы, для кино например, не всегда удавались.

Каждым в отдельности взятым рассказом Василия Шукшина можно лишь наслаждаться. Судить о картине жизни, которая возникает из-под пера его, плодотворнее, представив себе рассказы как нечто единое, цельное.

Русского мужика, русскую деревню изображали многие большие писатели-реалисты. Тургенев и Лев Толстой, Салтыков-Щедрин и Гончаров, Чехов и Бунин... Все они видели, знали и изображали одну и ту же русскую деревню и одного мужика и того же самого дворянина в ней. Часто в одну и ту же пору. Но какие разные у них получались и деревня, и мужик, и дворянин... И кажется иногда, что была у них просто разная натура — у Гончарова, например, в «Обрыве» и у Решетникова — в его «Подлиповцах». Мы понимаем, конечно, что в основе такой аберрации художественного зрения лежит прежде всего социальное. Бунин оплакивал медленное умирание дворянских гнезд, и на погосте ему слышался не запах тления, а аромат увядающих роз. С Головлевыми Салтыкова-Щедрина мы впервые знакомимся, когда агония поместного дворянства еще только начинается. Однако смрадом запустения, вымороченности несет от них, как от покойников, с самого начала.

Но не только социальное разделяет... Многое, конечно, зависит от характера дарования, от натуры самого художника, от того, как он посмотрит на то или иное явление жизни — серьезно, с улыбкой, меланхолично, с насмешкой...

В рамках одного творческого метода мы можем различать, например, реализм лирика и реализм сатирика, реализм романтика. Ну и бытовой, что ли, реализм. Так вот, думается, для Шукшина труднее, чем для кого-либо из современных советских писателей, пишущих о деревне, найти исчерпывающее определение, он не поддается классификации, ему невозможно присвоить порядковый, так сказать, номер.

И проще и соблазнительнее всего было бы сказать, что секрет обаяния шукшинского творчества в том, что у него все как в жизни и ничего — от литературы. С точки зрения строгого литературоведения рассказы Шукшина — это не рассказы даже, а именно пересказ разных деревенских историй, курьезных, печальных и трагикомических случаев, портретные зарисовки... И в то же самое время мир, в который вводит нас Шукшин, — не сколок с окружающего, не фотография, пусть даже самая талантливая. Мы ясно видим, что перед нами — вторая действительность, реальность, созданная воображением писателя. Да, все как в жизни, но такою мы нашу деревню не видели. И не могли видеть. Такой ее открыл Шукшин. Это его открытие. На них, оказывается, и в наши дни способна не только наука.

Привычным, обыденным стал сам факт, что наука и техника ежедневно и ежечасно заставляют нас расставаться с привычными представлениями о мире.

Менее двух десятков лет назад, за месяц, за день, за час до сообщения о полете Юрия Гагарина, идея полета на Луну в представлении миллионов целиком принадлежала сфере научной фантастики. Сегодня же камни с Луны преспокойно лежат в лабораториях и музеях Нового и Старого Света, а вид человека в скафандре, двигающегося странными прыжками по какой-то пыльной поверхности или завтракающего, свободно повиснув вниз головой, не вызывает у нас при взгляде на телеэкран никакого удивления — мы скажем, что идет очередной репортаж об очередном полете космического корабля, запущенного с космодрома Байконур или мыса Канаверал, либо рассказ об очередной высадке человека на Луну.

Как это ни странно, с откровениями искусства, литературы люди свыкаются куда медленнее и мирятся совсем не так послушно. А ведь наука и искусство, научное и художественное творчество — это две равноправные формы познания. Каждая — со своим голосом. Причем язык искусства, литературы, как более доступный самым широким массам, способен, а часто так и случается, как бы предуготавливать их к восприятию научной истины. Так, я думаю, изобразительное искусство, переходя в своем развитии от одного этапа к другому — от наскальных рисунков к первому примитивному мазку, от иконы к парсуне, от плоскостного решения пространства к правильной геометрической перспективе, а потом и к смещению плоскостей, искажению пропорций, от нейтрально выписанного фона к «пленэру»,— изобразительное искусство, исполняя основное свое эстетическое назначение, призывало еще воинствующий в своем консерватизме человеческий глаз заглянуть за грань очевидного, привычного, приучало видеть физический мир объемным, многокрасочным, парадоксальным, таким, каким предстояло ему явиться в формулах и схемах Лобачевского, Эйнштейна, Циолковского, Планка...

Кому не известно замечание Энгельса о том, что из романов Бальзака он даже в смысле экономических деталей узнал во много раз больше, чем из всех ученых сочинений экономистов и философов той же эпохи, вместе взятых.

Обращаясь с этой же точки зрения к советской литературе, мы справедливо вспоминаем об Овечкине, о Мариэтте Шагинян и многих других писателях, книги которых часто предрешали государственный подход к той или иной экономической, хозяйственной, организационной проблеме. Кажется, что творчество Шукшина невозможно поставить в этот ряд. Ведь ни в одном его рассказе и намека не встретишь на «постановку», как мы привычно выражаемся, вопроса. Ни в авторских отступлениях, ни в речи героев не найдешь прямых обращений к каким-то политическим, экономическим событиям в жизни деревни. В центре художественного видения Шукшина — не проблема как таковая, пусть даже и опосредованная через судьбы и характеры героев, а собственно человек, его жизнь. Но человек этот каждый раз столь конкретен, возникает так зримо, с массой таких снайперски точных бытовых и психологических деталей, что нам никогда не нужно заглядывать на последнюю страницу рассказа, чтобы узнать, когда он написан, к какому времени относится.

Да, в поле зрения Шукшина прежде всего человек. Его жизнь. И тут необходимо оговориться, что предложенное выше деление его героев на чудиков и античудиков носит конечно же условный характер, именно чисто служебное значение. На самом деле они, как и рассказы, не поддаются классификации. Каждый сам по себе, на свой манер, совершенно индивидуальная фигура. Что же до чудинки, до сдвига, то — и здесь корень творческой позиции Шукшина, его устой — это вовсе не особенность его героев. Это — то, что присуще, убежден, и справедливо убежден, Шукшин, каждому человеку вообще. Отличие одного от всех других, непохожесть — это и есть сущность человеческой натуры, семя, которое, однако, может дать пышные, добрые всходы, а может увять или развиться в условиях, которые делают из человека нравственного урода, пустышку, античудика. Шукшин не коллекционирует чудаков, а просто обнаруживает сучок или задоринку в каждом, кого встречает на пути.

Есть у Шукшина страшной, трагической силы рассказ «Как помирал старик». Ровно четыре странички занимает этот шедевр. Тема смерти старого человека не нова в нашей классической и современной литературе. А последнее время она как бы даже входит в обязательную программу каждого начинающего прозаика. И нередко решается творчески, плодотворно, например у Распутина. Финал жизни человека, который либо сам возвращается умереть к пенатам своим, либо, наоборот, к себе, в деревню, чуя смертный час, созывает всех близких и дальних родственников, становится в таких случаях для писателя поводом изобразить широкие картины жизни деревни и города в их извечном взаимодействии и противоборстве, служит исходным пунктом для глубоких, а порой лишь пространных философских и психологических обобщений. У Шукшина все скромнее, непритязательнее. Как проста была жизнь старика, так проста и незаметна его смерть, описанная автором самыми простыми, обиходными словами. Но от этой непридуманной простоты кровь леденеет в жилах. Вот пример, когда высказанное и невысказанное, видимое и невидимое переплелись, вросли друг в друга с какой-то устрашающей силой.

Вчитаемся, вслушаемся в последний, предсмертный диалог старика и старухи.

«— Степан! — позвала старуха.

— Мм?

— Ты не лежи так...

— Как не лежи, дура? Один помирает, а она — не лежи так. Как мне лежать-то? На карачках?

— Я позову Михеевну — пособорует?

— Пошли вы!.. Шибко он много мне добра сделал, ваш бог. Курку своей Михеевне задарма сунешь...

— Да ты что уж, помираешь, что ли? Может, ишшо оклемаисся.

— Счас — оклемался. Ноги вон стынут...»

Отвлечемся на минуту от обстановки, от атмосферы этой одинокой, запущенной и снаружи и изнутри избы.

Уж не клоунада ли это, не реприза ли двух радиостарух, потешающихся друг над другом и над публикой, — столь мелко, никчемно, пусто, кляузно то, что мы слышим из уст старика, знающего точно, что он умирает, в его смертный час. Но нет, сказанное стариком и переданное художником — достоверно. Оно находится в какой-то угнетающей душу гармонии со всем тем, что еще скажет, почувствует, переживет старик до и после этих вот слов, в самую свою смертную минуту.

Тело и мозг человека прощаются с жизнью. Тело раньше ощутило приход неизбежного: «Ноги вон стынут...» Мозг же и душа еще сопротивляются, еще жива и вспыхивает память и о заботах и радостях земных, об обидах ближних.

«— Дай разок курну,— попросил старик соседа, который зашел перенести его с печи на кровать... Затянулся и закашлялся. Долго кашлял...

— Прохудился весь... Дым-то, однако, в брюхо прошел.

— Лучше дай мне полрюмки вина, — попросил он чуть погодя старуху. — Может, хоть маленько кровь-то заиграет...» — Попросил и не преминул упрекнуть, по привычке, старуху, что, мол, «всю жись трясетесь над ей, а не понимаете: водка — это первое лекарство».

Глотнул этого «первого лекарства» и чуть не захлебнулся. «Все обратно вылилось. Он долго лежал белый, без движения. Потом с трудом сказал:

— Нет, видно, пей, пока пьется».

Да, тело уже отказало, но мозг, будто спохватившись, еще силится подвести итоги жизни.

Старику «было трудно говорить. Но ему хотелось говорить хорошо, обстоятельно.

— Перво-наперво: подай на Мишку алименты. Скажи: «Отец помирал, велел тебе докормить мать до конца». Скажи. Если он, окаянный, не очухается, подавай на алименты... Маньке напиши, чтобы парнишку учила...— Старик устал и долго опять лежал и смотрел в потолок. Выражение его лица было торжественным и строгим».

Все это будет сказано буквально за минуты до того, как и сознанию придет пора произвести последние расчеты с жизнью. И тогда сдует, словно дуновением ветра, все — мелочные и реальные, призрачные и основательные — заботы и тревоги старика, и останется одно — встреча со смертью.

«...Ему еще что-то хотелось сказать, что-то очень нужное, но он стал как-то странно смотреть по сторонам, как-то нехорошо забеспокоился...

— Агнюша, — с трудом сказал он, — прости меня... Я маленько заполошный был... А хлеб-то рясный-рясный!.. А погляди-ко, в углу-то кто? Кто там?

— Где, Степан?

— Да вон? — старик приподнялся на локте, каким-то жутким взглядом смотрел в угол избы — в передний. — Вон же она, — сказал он, — вон... Сидит-то?

Егор пришел вечером...

На кровати лежал старик, заострив кверху белый нос. Старуха тихо плакала у его изголовья».

Так на четырех страницах, на протяжении нескольких часов, в присутствии старухи да Егора завершается жизнь человека, приходит смерть, одна из многих в рассказах Шукшина. Чувству, которым мы проникаемся, трудно дать определение. Скорбь? Жалость? Пожалуй, все вместе взятое. И жалость не к человеку даже, а к жизни его, этой жизни, которая ничего не накопила к концу своему такого, что бы можно было завещать остающимся. И скорбь наша не оттого, что старик «помер» — все умрут, а оттого, что жил не так, как мог, как должно было, как хотелось. Как он того достоин уже по одному тому, что родился.

Можно только гадать, что же такое случилось однажды с этой жизнью, чем ее так переехало, что словно ветром выдуло, в ступе вытолкло ту самую чудинку, которая была, не могла не быть и в этом человеке, как и в каждом живущем на земле.

Что же? Может быть, то самое, что отложилось в судьбе шорника Антипа Калачикова из рассказа «Один»?

Всю жизнь просидел этот человек в большом своем доме, где царил неистребимый крепкий запах выделанной кожи, вара и дегтя, в тесном рабочем уголке — справа от печки, за перегородкой, где он шил сбруи, уздечки, седелки, делал хомуты. Сидел и шил — скромный, незаметный, безропотный труженик, способный образом своей жизни умилить не одного наивного и сентиментального горожанина, будь то приезжий писатель или просто отпускник. У самого Антипа собственная жизнь его не вызывала умиления. «Работал! А спроси: чего хорошего видел? Да ничего. Люди хоть сражались, восстания разные поднимали, в гражданской участвовали, в Отечественной... А тут как сел с тринадцати годков, так и сижу — скоро семисит будет...»

Не одни абстрактные сожаления обуревают Антипа. Висит в рабочем его углу балалайка. «Это была страсть Антипа, это была его глубокая, бессловесная любовь всей жизни — балалайка».

«Я, может, в музыканты бы двинул. Приезжал ведь тогда человек из города, говорил, что я самородок. А самородок — это кусок золота — редкость, я так понимаю. Сейчас я кто? Обыкновенный шорник, а был бы, быть может...»

И не то Антипа беспокоит, что он «обыкновенный» шорник, а то, что всю жизнь занимался не своим делом, жил по чужой, хотя бы и по жениной, указке.

«— Тебе что требуется? Чтобы я день и ночь только шил и шил? А у меня тоже душа есть...

— Плевать мне на твою душу».

И снова и снова ковыряет Антип старую болячку.

«— Мы могли бы с тобой знаешь как прожить! Душа в душу. Но тебя замучили окаянные деньги. Не сердись, конечно.

— Не деньги меня замучили, а нету их — вот что мучает-то», — привычно и простодушно отвечает ему жена. И все, на что хватает протеста Антипа, — это выпросить у Марфы «на чекушечку», а под настроение — и на новую балалайку...

Так, может быть, именно неосознанный или даже осознанный страх перед такой вот жизнью, перед таким, как у старика Степана, финалом и движет чудиками и античудиками Шукшина?

Не особенные люди, а особенное в людях. Это не игра словами, ибо Шукшина действительно интересует не часть какая-то особая людей, как можно, в общем-то, предположить, а та частица в них, которая обычно бывает сокрыта от взора

и на которую у этого писателя особый глаз. Это особенное в героях Шукшина связано, как правило, со стремлением как-то вырваться из заколдованного круга ежедневных забот и обязанностей, рядовых необходимостей. Связано со стремлением что-то противопоставить заведенному раз и навсегда ходу событий. Со стремлением показать себя, доказать что-то себе и окружающим — словом, подняться, восторжествовать над обыденностью, повседневностью.

Стремление это оборачивается, как мы видели, разным — порой серьезом, порой причудой, порой уродством, издевательством над собой и ближними... Но оно есть всегда. И заявляет о себе как поступками, так и словами... Герои Шукшина много и естественно рассуждают о смысле жизни, о своем месте в ней, о том, что было до них и что будет после. Многие, подобно Сильченко из рассказа «Штрихи к портрету», — «ушибленные общими вопросами».

Стремление это — доказать, показать себя, как правило, остается неудовлетворенным. Не выходит у Мони Квасова с вечным двигателем, микроскоп Андрея Ерина жена относит в комиссионку. Старинная церковь, в которую влюбился под влиянием бесед с писателем маляр Семка Рысь, оказывается в конечном счете не такой уж старинной и не таким уж произведением искусства. Улицу, на которой прожил жизнь «мужик Дерябин», несмотря на все его ухищрения, его именем так и не назвали, а назвали Кривым переулком... Шофера Ивана из рассказа «В анфас и профиль», который так гордится тремя своими специальностями и «почти девятью классами образования» и который так мучается вопросом: «для чего я работаю... Неужели только нажраться? Ну, нажрался... а дальше что?», в конце концов «за стакан вина да кружку пива» лишают водительских прав...

Все так, и тем не менее никого из этих людей не зачислишь в неудачники. Даже злополучного Ивана, потому что эпизод с правами — действительно всего лишь эпизод в его жизни. В том-то и дело, что в основном-то, за исключением того, на чем сосредоточено внимание писателя, это обычные, нормальные люди, живущие так называемой нормальной жизнью. Не находит себе удовлетворения лишь частица их души, натуры, личности... Частица... Но не она ли и есть главное — слышится, как шелестит этот вопрос со страниц каждого рассказа... И порой, как бы даже изменяя собственному стилю, автор ставит его впрямую, публицистично. «Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай, — восклицает писатель, возвращаясь мыслями к образу человека, ставшего для него одним из самых сильных впечатлений детства, — и его тоже поминаю... И дума моя о нем простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например, что был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или не было никакого смысла, а была одна работа, работа...» Собственно говоря, на этот-то вопрос Шукшин и отвечает всем своим творчеством.

Вселенский замах раздумий Шукшина, неотступность его мысли о будущем особенно пронзительной нотой звучит в рассказах, где действуют дети.

Василий Шукшин конечно же не детский писатель. Более того, в отличие от многих «взрослых» писателей, он никогда ничего специально для детей не написал. Дети, однако, подростки, мальчики и девочки, — герои многих его рассказов.

Для взрослых такие рассказы — вспомним, например, «Сельские жители», «Космос, нервная система...» или «Вянет, пропадает», «Обида» — интересны,

помимо прочего, тем, что позволяют взглянуть на себя и себе подобных пытливым, взыскующим, любящим и непрощающим детским взглядом. Подростки, юноши и девушки обнаружат с благодарностью, что автор рассказов относится к ним всерьез, с уважением и без скидок, если и с легким юмором, то таким, чье острие направлено, собственно, в сторону взрослых, тех, кому так трудно уразуметь, что детство, молодость — недостаток, увы, проходящий со временем.

Видеть, прозревать в детях будущее — открытие, в общем-то, нехитрое.

Обаяние детских персонажей в рассказах Шукшина в том, что будущее это они несут в себе зримо, вещественно, оно набухает в них, как почки на деревьях.

Взрослые и дети, даже состоящие друг с другом в самом близком родстве, в рассказах Шукшина встречаются и взаимодействуют как посланцы единого, но разбросанного по разным планетам племени, и нередко нас предупреждает об этом даже само название рассказа. Например, «Космос, нервная система и шмат сала». Забавная, поучительная и многозначительная история взаимоотношений старика Наума Евстигнеевича и его квартиранта, восьмиклассника Юрки. Юрка этот, «от горшка два вершка», мил и любопытен Евстигнеевичу. Он «удивляет его своими познаниями», категоричностью и, вообще-то, правильностью своих суждений. Юрка не понимает, например, «зачем» старику пить, если выпивка ничего, кроме «отравления организма сивушным маслом», не дает. Юрка все знает о хирургах, каким и сам мечтает быть, об аэропланах, о кино, о космосе и даже о «кулацких уклонах». Он с жаром рассуждает о полетах на Луну, на Венеру, о встречах с неведомыми инопланетянами... Не понимает он только, что в старике Евстигиеевиче, который так внимательно, то ли любопытствуя, то ли поддразнивая, расспрашивает его о житье-бытье в мире, не меньше заключено не познанного им, Юркой, чем в загадках Галактики. Говорят они на одном языке, но понимают друг друга вроде бы с трудом. Сегодня это может показаться и несущественным и смешным, недаром все свои разногласия старый и малый в конце концов урегулировали с помощью «шмата сала», но завтра, завтра это непонимание, эта «частичность» человеческая, так или иначе навеваемая временем, может стать опасностью.

Чтобы уберечься и уберечь от нее, в беседу этих двух представителей разных поколений незримо вступает третий — автор, а вместе с ним и мы, читатели.

Шукшин по натуре своей не был беспристрастным — и как человек, и как писатель, и как гражданин. Его пристрастия касались порою целых категорий, тех или иных, по профессиональному ли, психологическому ли, возрастному ли принципу сложившихся человеческих общностей. Одни людские типы ему нравятся, других он, что называется, на дух не принимает. Ненавистен ему, например, тип сварливой, лишенной полета, приземленной и практичной женщины, жены, диктатора у очага, тип прихлебателя, неприятен и жалок ему тип «чудика наоборот», вроде «непротивленца Макара Жеребцова».

Пристрастен Шукшин и к детям: он влюблен в них, они для него истинное, незамутненное чудо человеческое, которому он готов служить, которое по-рыцарски, по-донкихотски стремится оградить от коррозии временем и предрассудками, от всего того, что историческим бременем давило на жизнь предшествующих поколений.

Причины неудач и томлений героев Шукшина невозможно до конца объяснить лишь субъективными факторами, так или иначе сложившейся обстановкой его личной жизни, жизни семьи, развития родного села... Есть нечто более общее и важное...

Каждый, в ком сидит Рафаэль, должен иметь возможность беспрепятственно развиваться — говорили Маркс и Энгельс. При этом под словами «иметь возможность» они понимали не обыденные мелочи, а всю совокупность общественных условий. Говоря в «Немецкой идеологии» об условиях действительного освобождения людей и критикуя в связи с этим идеалистические воззрения многих философов, в частности Фейербаха, Маркс и Энгельс писали, что действительное освобождение невозможно осуществить иначе как в действительном мире и действительными средствами... что вообще нельзя освободить людей, пока они не будут в состоянии полностью обеспечить себе пищу и питье, жилище и одежду. «Освобождение» есть историческое дело, а не дело мысли, и к нему приведут исторические отношения...

Вчитываясь в эти строки основоположников марксизма, прикладывая их, так сказать, к жизни, судьбе, «чудачествам» героев Шукшина, мы начинаем понимать, что писатель, независимо от того, отдавал он себе в этом отчет или нет, отразил противоречия целого поколения, более того — времени.

Только в коммунистическом обществе, писали Маркс и Энгельс, где никто не ограничен каким-нибудь исключительным кругом деятельности, каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует все производство и именно поэтому создает для меня возможность делать сегодня одно, а завтра — другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике — как моей душе угодно, — не делая меня, в силу этого, охотником, рыбаком, пастухом или критиком.

«Драма жизни» — термин «драма» употребляется здесь скорее в философском, чем в психологическом смысле — шукшинских Квасовых, Ериных, Князевых, Калачиковых в том и заключается, что у них уже появилась потребность быть одновременно и шорником, и трактористом, и ученым, и балалаечником, то есть артистом, но материальные условия их жизни, взятые опять же в целом, не дают им полно проявить себя. Действительность наша не нуждается в приукрашивании, но мы отдаем себе отчет, что и в нашем социалистическом обществе жизнь основных масс населения складывается пока еще так, что человек, говоря словами Маркса и Энгельса, находится во власти «какого-нибудь определенного, исключительного круга деятельности, который ему навязывается и из которого он не может выйти: он — охотник, рыбак, или пастух, или же критический критик и должен оставаться таковым, если не хочет лишиться средств к жизни...». Из Антипа Калачикова, может, и вышел бы действительно какой-нибудь виртуоз-балалаечник, но он должен был остаться шорником на всю свою жизнь, и наивно было бы вслед за ним самим полагать, что вся загвоздка тут лишь в златолюбивой супруге Антипа... То есть данный-то Антип, сложись чуть иначе его личная обстановка, может, и стал бы известным на всю страну виртуозом. Но все равно, какой-то другой Антип должен был бы, наступив «на горло собственной песне», оставаться против желания шорником, водовозом, слесарем... Вот об этом «другом», о «других», собственно, и писал все время Шукшин.

Но при чем же здесь особенность времени, возразят мне, и почему именно в нашу пору эта неудовлетворенность приобретает особую остроту? И что здесь, собственно, от времени, а что — лишь плод особым образом направленного творческого воображения художника?

Ну что же, что касается возможностей, предоставляемых обществом, они действительно велики, и их реализация на наших глазах дает бесчисленные и

прекрасные результаты. Однако, оценивая как результаты, так и возможности, мы должны оставаться в наших расчетах на грешной земле и помнить, что возможности эти ограничены определенными историческими рамками, перепрыгнуть через которые дано отдельным людям, но не обществу, не поколению в целом.

Что же касается остроты переживания, остроты неудовлетворенности, то это-то как раз и понятно. В этом-то и есть знамение времени.

Вместе с героями Шукшина мы живем в эпоху широко декларируемых возможностей. И декларация эта — отнюдь не только в словах, она в массе реалий, конкретно, зримо входящих в жизнь каждой семьи, каждого человека. Герои Шукшина живут в современной социалистической деревне, в современном городе, которые связаны друг с другом бесчисленными нитями. Они живут в мире бесконечно участившихся контактов, развитых коммуникаций, в мире, и это необходимо особо подчеркнуть, где сломаны и быльем поросли перегородки социального, возрастного, сословного, образовательного характера, в мире, где, сидя на дедовской еще лежанке, можно наблюдать по телевидению кинокадры, сделанные советским спутником на планете Марс или Венера... В этом мире так легко можно забыть о злополучных исторических рамках, спутать свои личные возможности с резервами общества в целом, возмечтать о единоличной победе над микробами или с энтузиазмом взяться за вечный двигатель...

Социальный, научно-технический прогресс общества в целом обгоняет в наши дни возможности отдельно взятой личности. И личность от этого испытывает неудобство. Не случайно Моню Квасова, замыслившего вечный двигатель, так выводят из себя вопросы об образовании. Инженеру РТС Андрею Голубеву, молодому специалисту, с которым, кстати, Моня на «ты», Монино сообщение о том, что им рождена-таки идея вечного двигателя, кажется, естественно, либо розыгрышем, либо бредом, «бредятиной». Ну, а Моне, которому, между прочим, уже «двадцать шестой год» и который «окончил семилетку в деревне, поучился в сельскохозяйственном техникуме полтора года, не понравилось, бросил и теперь работал в совхозе шофером», Моне кажется ограниченностью, тупостью это вот неверие инженера, «дипломированной головушки». «До каких же, оказывается, глубин вошло в сознание людей, что вечный двигатель невозможен, — искренне негодует Моня. — Этак и выдумаешь его, а они будут твердить — невозможен».

Инженер же, в свою очередь, доведенный до исступления уверенностью Мони, этой «упертостью», за которую так и кличут его в селе «упорным», почти кричит: «Ну, а чего же уж такая... самодеятельность-то тоже!.. Почти десять лет учился — и на тебе: вечный двигатель. Что же уж?.. Надо же понимать хоть такие-то вещи...» «Учиться надо, дружок». — «Да при чем тут учиться, учиться... — горячится Моня. — А ученых дураков не бывает?»

«Эта неравномерность — это кажущаяся неравномерность. Здесь абсолютное равенство», — это, заступаясь за незыблемость законов механики, уже учитель физики разъясняет Моне корень его ошибки. «Да горите вы синим огнем с вашим равенством!» — отвечает ему Моня, сгребая со стола чертежи.

При всем при том во всей остальной своей жизни и деятельности Моня действительно одаренный, живой, смышленый, деятельный парень, который, «если ему влетела в лоб какая-то идея», всегда «своего добивался». И только вот с вечным двигателем не вышло...

С точки зрения теории проблема открытия и формирования таланта — это прежде всего проблема социальная. Ленин буквально на следующий же день после победы Октября указал на те горизонты, которые в противовес старому обществу открывает перед личностью новое. Он показал, что только социализм впервые дает возможность «втянуть действительное большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе,— непочатый родник...». Воздавая должное великому гуманизму нового общества, Ленин, однако, учил всегда, в каждый конкретный момент, оставаться в рамках реального...

Об этом же напоминают нам ленинские слова: «По мере расширения и углубления исторического творчества людей должен возрастать и размер той массы населения, которая является сознательным историческим деятелем». Должен возрастать... Но не сразу, не вдруг, не по мановению волшебного жезла, а «по мере расширения и углубления исторического творчества людей».

Так выглядит проблема с точки зрения науки, теории. Шукшин открывает ту же истину чутьем, провидением художника. Она в его рассказах, во всем его творчестве. Пульсирует голубой жилкой на виске недотепы Чудика, слышится в тоскующем «Нужен праздник!» Егора Прокудина из «Калины красной» и в воркотне Антипа Калачикова, в торжествующем «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы тоже не в Филях» Глеба Капустина, которого хлебом не корми, дай только «срезать» на чем-либо приехавшего на побывку в родное село Новое знатного земляка, будь то полковник, летчик, корреспондент или даже кандидат наук — чем «знатнее», тем заманчивее. «Пусть, мол, подумает на досуге. А то слишком много берут на себя».

Шукшин рассказывает о своих чудиках с глубоко затаенной улыбкой, но не умиления или снисхождения, нет. С доброй и грустной улыбкой уважения и понимания, сострадания... Эти чудачества в людях он ценит, он дорожит ими всерьез, любуется ими или досадует, когда они принимают совсем уж искаженную форму.

Он, в конце концов, сам — один из этих чудиков, только такой, в ком искра возгорелась огнем. Не случайно, играя своих героев в собственных фильмах, Шукшин всегда как бы один и тот же — внутренне и внешне. Да, все творчество его глубоко автобиографично. При том, что ни в одном рассказе, ни в одном произведении он нигде ни прямо, ни косвенно не обращается к фактам собственной жизни. Исключение, правда весьма многозначительное, составляет лишь известная всем статья «Кляуза», где Шукшин без обиняков и без всяких художественных приемов излил свои чувства по поводу стычки в больнице, куда к нему, больному, пришли друг и мать.

Признаюсь, когда я прочитал эту «Кляузу» в день ее появления в газете, мне стало не по себе. Разделяя негодование и брезгливость по поводу изображенных Шукшиным явлений и типов, увы, столь еще распространенных и потому легко узнаваемых, я подумал все же, что автор немного даже роняет себя, расписывая так всю эту историю, где обиженные оказываются порой чуть ли не на уровне обидчиков. Посетовал мысленно и на редакцию газеты, которая больше заботилась о «постановке» проблемы и о «гвозде» номера, чем о добром совете автору.

Только со временем я пришел к выводу, что сомнения эти, хотя и не лишены были полностью оснований, имели все-таки второстепенное значение по сравнению с тем важным и главным, что можно узнать и понять о Шукшине из этой

«вопленницы». Ведь именно в «Кляузе» родство Шукшина с его героями — в их силе и в их слабости — проступает как нигде обнаженно.

Право же, яростно сражающийся в больнице с вахтершей пациент, который тщетно и безрезультатно пытается доказать всего лишь то, что белое есть белое, а черное есть черное, что хорошо — это хорошо, а плохо — плохо, больной, забывающий о своей болезни в страстном безуспешном стремлении восстановить в правах справедливость и достоинство, и, к примеру, Сашка Ермолаев из рассказа «Обида» — это один и тот же человек.

«Сашку Ермолаева обидели.

Ну обидели и обидели — случается. Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие, самый смысл жизни — это тоже, знаете, роскошь. Себе дороже, как говорят».

Это вот намеренно «интеллектуализированное» рассуждение, которое, как это характерно и для большинства новелл, не поймешь от кого и идет, то ли от персонажа, то ли от рассказчика, Шукшин, три года спустя, столкнувшись со злобной дурой в больнице, мог бы и к себе обратить. В конце концов, это не самое страшное зло в жизни и не самая главная мишень для писателя, обладающего, в отличие от Сашки Ермолаева, весьма крупнокалиберным оружием борьбы с темными сторонами жизни. Мог бы и пройти мимо. Мог бы — но не прошел. Схватился с данным, пусть мелким, но конкретным злом, в котором в тот момент воплотилась для него, наверно, вся пошлость, вся демагогия, вся пустота и ничтожество, какие сохранились еще в нашей жизни. Схватился и, в отличие от Сашки, который в конце концов «покорно пошел домой», не покорился, а добился своего, и если не в том конкретном случае, то во всем творчестве своем, которого тот конкретный случай в больнице был как бы квинтэссенцией.

С тою же силой и непосредственностью, как и герой, пережить и восстать против унижения. И так же пережить торжество. Помните состояние Мони Квасова в ту ночь, когда уверен он был, что сотворил-таки, придумал свой вечный двигатель. «И даже не испытал особой радости, только удивился: чего ж они столько времени головы-то ломали... Моня мысленно вообразил вдруг огромнейший простор своей Родины, России... и увидел себя на той равнине — идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг... И в этой ходьбе — ничего больше, идет, и все — почудилось Моне некое собственное величие. Вот так вот пройдет человек по земле — без крика, без возгласов, — поглядит на все тут — и уйдет. А потом хватятся: кто был-то! Кто был... Кто был...»

Вообще же в такой вот только лиро-иронической тираде и обнаружишь у Шукшина намек на самовыражение... Зато и многого же он стоит. Смысл тут не в том даже, что через героя сказано о себе... Шукшин и сам, может быть, удивился бы такому выводу... Смысл в том, что в нелепой этой затее, в «бредятине» сумел Шукшин увидеть глубокое напряжение и томление духа. Сумел высшей меркой оценить благородный и наивный порыв. Мечта «быть понятым родной страной» всегда живет в сердце художника. Последними словами Булгакова были: «...чтобы знали!»

Ну и «Микроскоп», наконец. Разве не находим мы в Андрее Ерине, с его первобытным почти преклонением перед силой науки, что-то от самого Шукшина с его священной верой в исцеляющую, волшебную силу искусства, собственного творчества... Героев Шукшина хватает на один порыв. Писателю этого внутреннего огня хватило на целую жизнь, которая, однако, потому и была коротка, что сгорала на этом огне.

Да, рассказы Шукшина от жизни, но они отнюдь не копия ее. Аппелируя снова к живописи, общее художественное впечатление от произведений Шукшина хочется сравнить с тем, что возникает при созерцании лучших полотен импрессионистов.

Перспективы и очертания знакомых и привычных предметов и фигур предстают загадочно преображенными благодаря присутствию в картине воздуха, «пленэра». В рассказах Шукшина этим «пленэром» служит неуловимое поначалу, но неизменное присутствие автора, его настроения, его мудрой и озорной улыбки, светлой и кипучей слезы его...

То, что слово — единственное оружие писателя, — аксиома, ставшая трюизмом. Тем не менее в отношении Шукшина эту истину хочется особо подчеркнуть, с одним, правда, уточнением. Не слово вообще, а речь, живая разговорная речь, легко, непринужденно, словно ртуть, принимающая любые формы. Это ее стихия составляет ткань и содержание рассказов, их строительный материал. Именно она слышится и в диалогах, и в монологах героев, и в лаконичных авторских комментариях... Не случайно порой бывает так трудно определить, где начинается одно и кончается другое.

Язык рассказов художественно выразителен, но средства выразительности необыкновенно скромны, непритязательны, они все из арсенала устной речи. И, подобно устной речи, слово Шукшина почти лишено привычных литературе стилистических примет — гипербол, аллегорий, метонимий, развернутых сравнений... Что это, сознательное самоограничение? Вряд ли. Без сравнений, вспомним, обходился Достоевский. Истинно творческая натура редко бывает способна диктовать себе ту или иную творческую манеру. Другое дело, что не всегда писатель сразу, в начале своего пути, находит свой голос, свою стихию.

Рассказы Шукшина — свидетельство того, что он себя в литературе нашел сразу и бесповоротно. Годы труда и творчества были лишь историей развития и совершенствования этой единственно ему свойственной манеры, которой он был одинаково верен и в рассказе, и в сатирической сказке; может быть, только в романах, которые, кстати, ему меньше и удались, он попробовал отступить от нее. Видно, так уж припало Шукшину писать. Именно так, и не иначе, он умеет, а по-иному — нет. Поиск его шел до самого последнего дня, и прежде всего в сфере содержания. Обладая прирожденной способностью слушать и слышать, запоминать и вторить всему, что звучит вокруг, Шукшин, следуя своим героям, легко и непринужденно объяснялся голосом сельского и городского жителя, человека старого закала и современной формации, рабочего, колхозного пастуха и слесаря, сельского бухгалтера и мастерового, столичного бюрократа и периферийного сноба. Он, наконец, с необыкновенной точностью улавливал и воспроизводил в собственной аранжировке — всерьез и пародируя — тот жаргон, ту неповторимую словарно-стилистическую мешанину, на которой говорит ныне огромное число людей, проживающих на социальных и географических перекрестках. Все это позволяло ему легко и непринужденно переходить не только от одной речевой манеры к другой, но и от одного жанра к другому, от одного к другому роду искусств...

Именно на этом пути и нашла свое воплощение могучая и неодолимая страсть художника к самовыражению — свободному, полному, не терпящему никаких преград и условностей.

...В коротком предисловии к двухтомнику избранных произведений Шукшина Сергей Залыгин небезосновательно замечает: «То, что критики не очень

художественно называют «художественным разбором» произведений искусства, для творчества Шукшина еще впереди. Время для них еще не настало, оно, может быть, только-только настает».

Я согласен с этим и хочу повторить, что главное и сейчас — и для тех, кто пишет о Шукшине, и для тех, кто просто читает его и о нем, — это охватить глазом хотя бы основные контуры здания, которое оставил нам Василий Шукшин, здания, которое, подобно шедеврам древнерусского зодчества, тем более поражает своим величием, соразмерностью всех своих частей внутри, чем менее громоздким, помпезным выглядит снаружи. У автора этих строк есть тут и свой, особый, личный интерес. Дело в том, что в 1960 году я в качестве «ведущего номер» напечатал в «Комсомолке» рассказ, который был чуть ли не первой публикацией совершенно мне тогда неизвестного автора — Василия Шукшина. Скорее цеховое любопытство и самомнение — еще бы, открыли талант,— чем подлинно профессиональный или читательский интерес, побуждало потом следить за появлениями Шукшина в литературной периодике... Не помню уж, как и когда это вот знакомое каждому редактору «собственническое» отношение к таланту отмерло, «отделилось», как сработавшая ступень ракеты, и уступило место совсем другому чувству. Коли посчастливилось увидеть, как великан учится ходить,— этого уже не забудешь. Встретиться же с «живым» Шукшиным мне довелось еще лишь раз... в Париже, где я был в командировке от газеты, а он гостем и автором кинофестиваля.

Мы тогда не вспомнили о первой нашей встрече, и оттого еще свободнее, непринужденнее мне было и в тот момент и потом рассуждать про себя о чуде, которое народилось и зажило в такой исторически неправдоподобно короткий срок.

После смерти писателя в нашей прессе появилось немало статей, где о Шукшине говорилось не иначе как в превосходной степени. Справедливо сетуя на то, что не все при жизни Шукшина сумели по-настоящему оценить его творчество, авторы статей говорили и о тех терниях, которых действительно немало было и на пути Шукшина — как в кино, так и в литературе.

Невозможно сомневаться в том, что все эти, или почти все, выступления продиктованы самыми добрыми и благородными намерениями. Но, думается мне, есть нечто чрезмерное, преувеличенное и в силу этого уводящее от истины в таком плаче, когда, желая возвысить, невольно принижают, желая защитить — отнимают то, что принадлежит человеку по праву — живому, а не мертвому. Верно, что Шукшину было меньше, незаслуженно меньше, чем другим, отпущено разного рода представительских знаков внимания. Но у него главное было — и тут ни убавить, ни прибавить — всенародное признание.

Миллионы знали и любили его и как артиста, и как писателя, и как режиссера...

Грешно было бы умалять задним числом препятствия и тернии на пути Шукшина. Но и свести все к обидам, чиновничьей ограниченности, мелким уколам завистников и недругов значило бы мерить великое недостойной его меркой. Путь, жизнь Василия Шукшина были равно в той мере трудны, драматичны и счастливы, в какой это было предопределено самим его непомерным талантом. Он был кинорежиссером и артистом первой величины, одним из крупнейших прозаиков современности. И то, что составляло его силу, незаурядность, как раз и осложняло ему объективно жизнь. Он не был человеком какого-то одного цеха. И писателям, быть может, казалось, что главное в Шукшине — это его

работа в кинематографе, а в кино его нередко воспринимали как писателя, для которого кино — лишь увлечение... Тем более что и в кино-то одновременно работало как бы два Шукшина — артист и режиссер. В одной из посмертных статей о Шукшине, кстати, очень точно передается, как сам он тяжело нес эту неизбежную раздвоенность.

И что бы он ни делал, все казалось — главное у этого богатыря впереди.

Почерк Шукшина, его полное безразличие к внешнему — даже в том, как выходили, появлялись на свет белый его произведения. Он, мне кажется, был ярым ненавистником всяческих премьер и бенефисов. Только что сыграв в чьем-то фильме главную роль или выпустив свой собственный, он мог тут же мелькнуть где-то в эпизоде, во вставной новелле...

Наше натренированное и натруженное внимание ориентировано, как выражаются социологи, на определенные сигналы, символы. И мы уже привыкли к тому, что произведение, с которым надо обязательно познакомиться, нам заранее «подадут» рецензией в газете, передачей по телевидению, предисловием. Шукшину и в голову не приходило заботиться о каких-то анонсах. Рассказы его всегда появлялись неожиданно. Он выдавал их малыми толиками — то в одном журнале, то в другом. Сборниками они стали выходить позднее — под неброскими, негромкими названиями — «Деревенские жители», «Характеры», «Беседы при ясной луне». Кстати, и названия эти, не несущие в себе вроде бы никакой «идеи», как бы подчеркивали, что Шукшин и сам, подобно тому как и мы теперь, читатели и исследователи его творчества, как бы в недоумении останавливался и руками разводил по поводу собственных творений — что же это.

Если уж на то пошло, то главным «супостатом» самому себе, той топкой, в которой сгорела его жизнь за какие-нибудь сорок пять лет, был он сам, его талант, его натура, которые не давали ему передышки. И чтобы понять это, не надо даже знать факты его биографии, обо всем этом можно прочитать в его рассказах, увидеть в его картинах — при том, что рассказчик в них в высшей степени скромен и, как мы уже отмечали, крайне редко говорит от себя, тем более впрямую о себе.

Ребята и зверята

(О повести Г.Н.Троепольского)

Если судить по тому, как много значимого узнаем мы из повести Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо» о лесе и его обитателях, о людях, живущих в непрестанном общении с природой, можно предположить, что книга эта — о природе, о ее мире. Такое предположение будет, в общем, правильным, хотя полного представления о произведении оно нам не даст.

Писатель конечно же хорошо знает предмет, о котором пишет, ему известны все породы охотничьих собак и их повадки, он знаком с законами охоты, для него не секрет и то, как поведет себя вальдшнеп при встрече с собакой и человеком, как отнесется к Биму или к любой другой собаке овдовевшая волчица...

Волчица эта — эпизодический, если так можно выразиться, персонаж, она присутствует всего на нескольких страницах, но мы запомним ее надолго.

Представим себе еще раз мысленно их встречу — Бима и волчицы, ну и, конечно, неизменной в таких случаях сороки. Перед рассветом Бим, привязанный в лесу к дереву злым и глупым человеком, услышал вой волка: «Один провыл: больше к очередной перекличке в лесу не оказалось...» Завыл волк, и Бим «приподнял шерсть на холке, застучал зубами и слушал, слушал, слушал, хватал чутьем воздух, глубоко втягивая.,.». В напряженном ожидании, незаметно для самого себя Бим «натянул веревку, отчего ошейник стал душить до хрипоты. Тогда Бим попятился к дереву, прижался задом к стволу, перехватил коренными зубами веревку и... перегрыз. Как ножом отхватил!» Писатель тут же объясняет нам, что Бим поступил так строго в соответствии с логикой собак его породы: «Так любая собака в конце концов и поступает, хотя у разных пород это происходит по-разному». Итак, Бим свободен. Бим отошел от дерева осторожно, оглядываясь, прислушиваясь к лесу. «Вот тут-то он и услышал сороку... Бим немедленно, с первого же предупреждения сороки, остановился в чаще молодого дубняка... Ждал он в трепете, в то же время с решимостью, и еще с благодарностью к сороке».

И вот появилась волчица. «Передняя нога у нее — кривая (значит, она когда-то была ранена человеком). Прихрамывая, она переступила еще несколько шагов, повернула голову точно к Биму и с разлету... бросилась в его сторону». Бим увернулся, волчица кинулась на него снова, он откатился за дуб... «Выставил зубы, зарычал неистово и стал лаять так, как никогда в жизни не лаял... Голос Бима зазвенел по лесу одним-единственным словом, понятным каждому: «Беда-а! Беда-а!» А лес подхватил и помогал эхом: «Беда-а! Беда-а!!!»

Спасибо тебе, лес!»

Но кто это сказал? Вот эти последние слова кто произнес — Бим или рассказчик, пес или человек? Подумаешь и не скажешь — так они слились сейчас вместе.

И тут пора уже объяснить, почему этот кусок повести представляется таким важным для общего ее понимания. Если мы вновь пробежим глазами соответствующие страницы или перечитаем хотя бы приведенные здесь строки, мы заметим, что автор, говоря о животных, не стесняется слов и понятий, связанных в нашем представлении с действиями человека, с осмыслением его поступков: трепет, решимость, благодарность, понимание... Сорока «предупреждает»; Биму «кажется»; волчица «знает»... И в то же время здесь, в этом эпизоде, в отличие от многих других, у нас ни разу не возникает соблазна представить себе Бима, или волчицу, или ту же сороку в человеческом обличье.

Посмотрите, ни одно движение, ни одно действие (будем избегать здесь слова «поступок») трех участников драмы не выходит за рамки того, что не было бы сообразно с их звериной природой. Даже звуки... Когда голос Бима звенит понятным каждому словом «Беда-а! Беда-а!», мы отчетливо слышим отчаянный собачий лай. Так же, как и самое настоящее, сто раз нами слышанное стрекотание сороки слышится в крике: «Тут кто-то, кто-то, кто-то есть! Кто-то есть, кто-то, кто-то, кто-то есть!»

Для того чтобы возбудить наш интерес, внимание к животному, автору нет нужды «возвышать» его до человека. Он выбирает другое — точно описывая поведение Бима, волчицы, сороки, он просто открывает нам глаза на то, как много в этом поведении, а стало быть, и в мотивах его общего с нашим. Не потому ли и сочувствие наше чуть ли не поровну делится тут между Бимом и волчицей. Нам жалко Бима, но мы сострадаем и хромоногой волчице, такой одинокой в этом лесу, где все другие волки перебиты. Мы только что успели вздохнуть с облегчением, убедившись, что опасность погибнуть в зубах волчицы для Бима миновала, и вот уже теснится что-то в груди, когда мы видим, как сама она кружит около смертельно раненного волка, спутника и товарища своего, «время от времени оповещая округу своей страшной для человека тоской».

Перед нами лес и его обитатели, самой природой поставленные в определенные, застывшие навеки отношения между собой. И коль скоро нам не приходит в голову винить Бима за то, что он в своих скитаниях по лесу загрызает вальдшнепа, такого же невинного, только еще более беззащитного, чем он, Бим, то трудно, согласитесь, упрекнуть и голодную волчицу за то, что она собиралась подкрепиться Бимом.

Поведение волчицы и Бима мы видим как бы изнутри — их глазами. И извне — своими собственными. И если во время городских мытарств Бима мы порой забываем, что Бим всего-навсего собака, то здесь, в лесу, нам уже и не вспомнить, что Бим только что воспринимался нами почти как человек.

Но именно потому, что автор способен заставить нас забывать то об одном, то о другом Биме, мы так верим в них обоих. И тот и другой для нас — реальность.

Но каков же все-таки Бим в городе и что меняется в нашем к нему отношении?

Хотя собака и является одним из самых давних друзей человека, все-таки она — животное. Прирученное, «интеллигентное», как выражается, ссылаясь на старинные источники, Троепольский, но животное. И поведение ее в городе в неизмеримо большей степени, чем в забытом ею лесу, обусловлено различными обстоятельствами, целиком зависящими от человека.

Когда мы видим Бима в лесу, нам спокойнее за него. Не потому, что здесь его подстерегает меньше опасностей, их, как мы убедились, и тут немало. Просто

здесь мы как бы снимаем с себя ответственность и перекладываем ее на плечи матери-природы, в лоно которой, хоть и ненадолго, вернулся ее блудный сын.

Другое дело — город. Здесь собака полностью во власти человека, целиком на его попечении. И каждая травма, нанесенная ей ненароком или умышленно, воспринимается куда болезненнее. Здесь уже и художнику, описывающему поведение собаки, ее реакции на мгновенно и во сто крат умножившиеся воздействия внешнего мира, труднее держать себя в рамках «правдоподобия». Если бы и здесь он стремился дать каждому поступку и действию сеттера только «собачью» мотивировку, мы бы меньше узнали о Биме и окружающих его людях. Вот почему, находясь в городе, Бим куда больше «думает», «сравнивает», «разговаривает».

Автор как бы предлагает две версии поведения, действий, реакции Бима. По одной — Бим и в городе ведет себя точнехонько «согласно со своей собачьей натурой», по другой — его поведение, его реакции — ровня человеческим.

Нам предоставляется выбрать между отношением к собаке как к живой игрушке, четвероногому слуге, обученному по методу условных рефлексов, или как к существу, родственному нам.

Выбор самого писателя не вызывает сомнений. Неслучайно Бим у него не только «думает», «догадывается», но и «охает, как человек», даже «припадает на колени», хотя известно, что никаких коленей у собак нет. Читателю же Троепольский выбора не навязывает. Помните, как плакал и тосковал по хозяину Бим, которого оставил ночевать у себя Серый, коллекционер собачьих жетонов.

«Ох-хо-хо-ой! Ой-ой, люди-и, — плакал он. — Тяжко мне, ой, тяжко без друга. Отпустите вы меня, отпустите искать его». Биму удается бежать. «Бим бежал и ощущал во рту вкус человеческого мяса от задницы, которую он возненавидел всем существом. Нет, Бим не считал себя несчастным и жалким, наоборот, сейчас он был храбрым, а храбрость всегда совмещается с гордостью и чувством собственного достоинства». Чисто человеческие переживания, не правда ли?

А заканчивается эта главка словами: «По городу бежала с виду унылая собака, но преданная, верная и смелая». И так не раз еще напомнит нам писатель, что с виду-то Бим всего-навсего собака.

Так что же хотел сказать автор? Пробудить и укрепить в читателе любовь к природе, к окружающему нас живому миру? Кто главный герой произведения — Бим? Да, Бим, так же как и волчица, и сорока, и вальдшнеп, и Лохматка... Повесть Троепольского — не басня, не притча, где сплошь и рядом действуют люди, одетые в костюмы зверей и животных. Повесть Троепольского — именно о собаке Биме, лишившейся своего хозяина и погибшей от бездушия одних людей и беспомощности других. Если бы было иначе, если бы судьба погибшей собаки стала бы лишь поводом поговорить на актуальную тему, а прием одушевления — лишь средством решить те или иные творческие задачи, повесть не стала бы тем, чем она стала, а больше была бы сродни тому сочинению, которое писали в школе о Биме одноклассники Коли, большого друга Бима.

Да, повесть Троепольского о Биме, но конечно же не только о нем и его сородичах.

В самом деле, взглянем на события в городе глазами человека, не предрасположенного ко всяким там сантиментам, или того, кто еще не прочитал книги Троепольского. Происшедшее с Бимом, признаемся себе с грустью, кажется будничным, настолько будничным и каждодневным, что, не задержи на нем

писатель своего внимательного, доброго взгляда, многие прошли бы мимо, ничего и не заметив. Что, собственно, случилось? Увезли старого человека в больницу, осталась его собака, бедняжка, без присмотра. Жалко их обоих, конечно, но что поделаешь. Дело житейское. Кто-то попытался помочь ей, но не сумел — по собственной беспомощности или в силу обстоятельств. В конце концов, приняв за бродячую, ее уничтожили, то есть поступили с ней так, как не могут в большом городе не поступать с десятками других, действительно бродячих собак, бездомных, опасных в человеческом общежитии. Хозяин же собаки, к счастью, выздоровел и, погоревав вволю, даже завел себе нового щенка, не хуже того, первого. Вот и все.

Вот и все. Но, прочитав повесть, мы уже так не скажем и не подумаем. Хотя, впрочем, читают книги разные люди. И далеко не в каждом человеке даже самая хорошая книга способна произвести душевный сдвиг. Но мы сейчас говорим, естественно, о тех, кто способен откликаться сердцем на прочитанное, для кого художественное слово может стать если и не всегда откровением, то хотя бы сигналом побудки, толчком для более интенсивной работы мысли и сердца. Так вот для таких людей мир, окружавший Бима, уже никогда не будет выглядеть так, как прежде. Взглянув на него глазами существа чистого, светлого, рожденного для радости, для жизни, но не нашедшего себе в ней места, мы многое увидим как бы впервые.

Где живое, щенок ли, кошка, голубь,— там и дети. Каждый день мы видим, как они возятся с этой живностью, пищат, радуются, ссорятся. И редко кто даст себе труд внимательнее приглядеться и призадуматься, а не происходит ли там, в этом сообществе ребят и зверят, что-то более серьезное, чем мы можем дежурно предположить. Оказывается, происходит. Кто, казалось бы, беззащитнее и безобиднее в людском общежитии, чем ребенок? Однако по отношению к зверятам и он — старший. И вот выясняется, что один из детей способен всерьез привязаться к своему маленькому другу, и эта привязанность впервые пробудит в нем благотворное чувство ответственности, сопереживания. Другой увлечется и тут же остынет, беспечно покинет своего подопечного на произвол судьбы, а потом, спохватившись, переживает это как первую осознанную ошибку. Третий, к несчастью, уже в крошечные свои лета способен на жестокость, на мучительство... Обо всем этом нам поведал Бим, «наш ласковый Бим», этот живой, на четырех ногах счетчик Гейгера, который улавливает частицы зла и в такой среде, где никаким другим способом их не обнаружишь.

То, что взрослые могут быть добры, а могут быть и бессмысленно жестоки по отношению к животному миру,— увы, не открытие. Повесть говорит нам о большем — о том, как можно больно ранить душу ребенка, не желая этого, даже не отдавая себе в том отчета. Мы видим, как дети становятся жертвами того же равнодушия, непонимания, злобной мелочности, от которой пострадал и Бим. И как часто виновниками этой боли, этих незаслуженных обид становятся по глухоте душевной близкие ребенку люди, желающие ему только добра.

Родители Толи, одного из маленьких героев повести Троепольского, никакого зверства как будто не учинили. О том, что отец вывез Бима в лес и привязал там его к дереву, положив рядом кусок мяса, Толик, к счастью, не узнает. Но посмотрите, как отдалило мальчика от родителей одно лишь непонимание его душевных забот. Страшная опасность, которая может прийти с самой неожиданной стороны и как угодно рано. С Толиком как будто бы ничего и не происходит. Просто «с того дня Толик стал молчаливым дома и в школе, замкнутым,

настороженным к близким. Он искал Бима. Часто можно было видеть в городе, как чистенький мальчик, из счастливой, культурной семьи, останавливал прохожего, выбрав его только по лицу, и спрашивал:

— Дяденька, вы не видели белую собаку с черным ухом?»

Как еще живуче представление о том, что позаботиться о ребенке — значит сделать так, чтобы он был обут, одет, напоен, накормлен, мог бы ходить в школу. Если с этим все в порядке, родители спокойны. Все остальное — детская блажь, возрастное. С годами приходит, с годами и уходит.

Счастливы те папы и мамы, которым не довелось на собственном недобром опыте испытать, какой это ошибочный, фарисейский, страусиный подход. Те же, у кого этот тяжелый и часто безнадежно запоздалый урок позади, редко бывают склонны поделиться своим невеселым опытом. Художественная литература — своего рода память общества, обладающая таким запоминающим устройством, которое способно хранить в своих ячейках не только понятия, но и образы, краски, эмоции. Это память, которая может пеплом Клааса стучать в грудь, бить в набат с вечевых колоколен Новгорода, брать за сердце в тиши квартир и рабочих кабинетов.

Писатель рассказал нам о детях и о взрослых и об одном щенке «интеллигентной» собачьей породы сеттер. Собака, конечно, не человек, она лишь друг человека, да и на это ее звание уже начали покушаться. И все-таки, когда всех маленьких героев этого замечательного произведения советской литературы пытаешься представить себе по отдельности, в воображении, возникает почему-то один образ — образ трогательного, чистого, такого беззащитного до поры существа. И кажется, что, если сейчас, сию же минуту не сделать для него чего-то очень важного и необходимого, потом себе этого никогда не простишь. Наверное, с таким вот чувством и брался писатель за перо.

Отрицательных героев повести тоже представляешь себе как бы в одном лице. Это физиономия злобного, жадного, ограниченного человека, почему-то очень уверенного в безнаказанности и даже правомерности самых жестоких своих деяний. И если не покарать, то хотя бы выбить его из этого состояния безмятежности хотелось, видимо, писателю. Задача невероятно трудная, потому что, как не раз уже отмечалось, именно дураки и подлецы меньше всего склонны узнавать себя в зеркале.

Тех же, кто хотел, мог, да не успел прийти на помощь, гораздо труднее представить в одном образе. Слишком их много, и слишком они разные. Забота о том, чтобы эти люди никогда не опаздывали, чтобы они не ошибались и чтобы их было еще больше,— вот главная забота автора этой необычной повести, которая сегодня хорошо знакома людям всех возрастов не только в нашей стране, но почти повсюду за рубежом.

Взгляд через годы

Марк Щеглов не знал тех радостей, которые выпадают на долю почти каждого ребенка, в каких бы условиях ни проходило его детство. С ранних лет он заболел костным туберкулезом, и тогда, когда его сверстники, на чью долю выпало потом довоевывать войну, учились, играли в Чапаева, сдавали нормы ГТО, занимались в комсомольских кружках и секциях, он, закованный в гипсовые кандалы, кочевал из больницы в больницу, из диспансера в санаторий, и часто месяцами, а то и годами спутниками и собеседниками его были лишь книги. Книги и книги.

Заочно он окончил среднюю школу. Заочно начал учиться в университете. Но потом, одержав временный перевес в единоборстве с болезнью, перешел на очное отделение русской литературы филологического факультета МГУ, которое и окончил в 1953 году, получив диплом с отличием.

Я сказал «в единоборстве», но это неверно, ибо в университетские годы Щеглов сражался с болезнью уже плечом к плечу с друзьями. Это чувство дружбы, чувство локтя, ощущение поддержки дает ему силы для ученья и для творчества. Оно не покидает его до самой смерти, которая настигла его через три года после окончания университета, в 1956 году. По сути дела, только эти три года и были ему отпущены для безоглядной творческой работы, и за эти три года он написал два десятка блестящих, глубоких, исполненных огня и мысли литературно-критических статей и рецензий, которые поставили его в ряд крупнейших критиков нашей литературы.

Его «Студенческие тетради», записи юных лет, объясняют нам, почему стало возможным это чудо.

Когда в руках у тебя документ, подобный «Студенческим тетрадям» Марка Щеглова, трудно прочитать хотя бы страницу, чтобы не взяться за карандаш... Особенно если это и твои университетские годы. Хочешь подчеркнуть отдельные строки, а отчеркиваешь абзац за абзацем.

Начало пятидесятых... Мы были тогда совсем еще молоды, но уже и достаточно взрослы, чтобы ощутить драматизм и величие происходящего. В войну мы завидовали тем, кто чуть старше. Теперь же понимали, что с возрастом и нам повезло. В пору решающих размышлений мы были уже способны и судить и действовать. В этом наше преимущество перед младшими. Праздно говорить у нас о конфликте поколений, но нельзя и не различать их. Они есть. Каждое несет на себе черты времени. И каждое по-своему одарено и обделено.

Одни знают такое, чего по знают младшие, по сами лишь слышали о многом, что пережили и испытали старшие. И в этом смысле каждое предшествующее поколение в чем-то сильнее последующего. До поры до времени, конечно. Потому что и каждое последующее хочет знать, трудом и борьбой добывает новые

знания и понимание жизни. При этом, неодолимо продвигаясь вперед, несет и неизбежные потери.

Так бывает с каждым поколением. Но, пожалуй, никогда еще молодежь у нас не заглядывала в лицо минувшему так пытливо, требовательно и пристрастно, никогда еще, кажется, прошлое, а вернее, отношение к нему не значило так много для настоящего, как в годы, которыми помечены «тетради» Щеглова. Постижение сказанной Хрущевым правды, во всей ее громадности и сложности, составило суть, сердцевину духовного процесса, охватившего тогда миллионы.

Не литературному критику прежде всего, а просто молодому человеку тех лет принадлежат «Студенческие тетради». И не только полные драматизма страницы, воссоздающие картину борьбы — духа — с немощным телом, жажды жизни и действия — с беспощадной болезнью, привлекают нас здесь, какими бы впечатляющими они ни были.

Говоря о себе, Щеглов нарисовал портрет своего поколения, юношей и девушек первых послевоенных лет! И затаив дыхание мы всматриваемся в их черты.

Марку двадцать два года. Он очень болен. Вот, превозмогая слабость, встает он с постели и едет в университет. Ему надо во чтобы то ни стало договориться в ректорате о переводе на очный филологический факультет. Он не может продолжать учебу без стипендии. Перед его глазами лицо матери, усталой и тоже больной. Марк не возлагает особых надежд на предстоящий, уже не первый, разговор. Перспектива, и вполне реальная, бесконечных ожиданий в приемных и скитаний из кабинета в кабинет угнетает его.

Получив очередной отказ, он возвращается домой. По осенней Москве, еще не сбросившей сумеречные краски военных лет. Мимо скудных витрин. В толпе людей в ватниках, кирзовых сапогах, грубых брезентовых плащах и пальто.

Нелегкое время. Трудная судьба. Но послушайте, какие песни звучат в душе этого человека, посмотрите, с каким радостным и нетерпеливым чувством оглядывается он вокруг. Как ему дорого и мило то, чем живут его сверстники.

«...Сейчас я весь в другом, — пишет он, как бы отстраняя, отодвигая в сторону невзгоды, болезни, хлопоты. — Университет, книги, новые люди — жизнь, любимейшая жизнь охватывает меня, и так много мне хочется».

И это не просто естественное тяготение больного к здоровым, к их миру. Представление Марка о большой жизни, к которой он жаждет приобщиться и которою, в сущности, не перестает жить, вполне определенное.

«Нет, нет, не знаю, как смогу я сохранить те крохи бодрости и молодости, которые я еще не растерял... если я не глотну чистого воздуха юности, здоровья, задора, труда, лирики, чистого воздуха тех будней, которые захватывают, зовут меня каждый раз, как я попадаю в университет».

А вот и зримые, осязаемые приметы этих будней. Щедрой рукой автор разбросал их по дневнику.

«Вот вчера я зашел на факультет. В тесном вестибюле толпа парней и девушек обступила какого-то преподавателя и выпытывает у него все, что можно выпытать о внутривидовой борьбе, о трудах Лысенко, и здесь же вступают в спор между собой и с самим преподавателем. Шум, смех. Слышно: «Он стоит на ламаркистских позициях!.. Внутривидовая борьба существует!.. А как же Лысенко?.. Это революция в ботанике?.. В своих статьях...»

У филологов свои проблемы. «Весна, гормоны, экзамены, борьба идей и прочее... Теперь филологический факультет подвержен расколу на два проти-

воположных лагеря: марристов и немарристов...» Не столько существо обсуждаемых вопросов, в которых он не очень-то еще и разбирается, увлекает Марка, сколько сама атмосфера дискуссий, где до поры мы каждое слово принимали за чистую монету.

Вот Марк на обсуждении фильма «Сельская учительница». Снова в милой его сердцу атмосфере студенческой дискуссии. Вместе со всеми возмущается он поданной в президиум запиской: «Теперь, когда нас, педагогов, будут усылать в Сибирь, все время будут ссылаться на ваш фильм». И в то же время негодует по поводу выступления критика-проработчика, «с лицом злого доки и эгоиста», который «ушел с кафедры... с видом оскорбленного величия, полный пренебрежения и злобы к топающему и хохочущему залу».

Все симпатии Щеглова этому залу. «Вообще народ у нас в университете замечательный. Подумать только, сегодня на дворе жуткая слякотища, гололед, и дождь, и ветер, а философы, например, усталые после учебного дня, дружно собираются куда-то к черту на кулички, в Серебряный бор, в подшефный избирательный участок. И всё с подъемом, весело, будто это пустяк».

Щеглов поистине упивается каждым событием университетской жизни, и мы видим, как дух ее растит человека, формирует критика, помогает стать на ноги инвалиду. И не только общим своим настроением, но и самым простым и самым осязаемым вниманием, участием.

«...В этом мире «чуть что не так — весна»... Вся эта история долгих хлопот, и участие, которое принял во мне университет, и такие лестные характеристики, и все-все — так это необыкновенно, так книжно идеально, и в то же время со мной же это происходит и на самом же деле!.. Это не просто эпизод для восхищения соседок и знакомых, это отрывок нашего чудесного, милого времени, которое умеет калек и бедняг образовывать в завзятых оптимистов, влюбленных в жизнь...»

И честное слово, трудно удержаться, чтобы не привести еще одно место, в котором эта его «любимейшая жизнь» предстает перед нами в наиболее обобщенной и одновременно чувственно осязаемой форме: «Захожу в боковой зал-аудиторию. У стен, у столов и на столах студенты, и опять вокруг споры, смех, умные лица над книгами. А в углу у окна две девушки в накинутых на плечи пальтишках, и третья тихонько наигрывает, разбирает рахманиновский романс «Не пой, красавица...». И так все хорошо: и этот зал, уставленный столами, и обилие книг, и высокий полусвет из окон, и девушки, и Рахманинов, и вся эта обстановка умной и веселой жизни... так и отдает атмосферой молодого, трудового, комсомольского мира...»

«...Так все хорошо!» — восклицает Щеглов.

В то же время какое возмущение, какой протест рождали, какой повод для тягостных раздумий и недоумений давали Щеглову иные наблюдаемые им в жизни явления, которые никак не гармонировали с «атмосферой молодого, трудового комсомольского мира».

«У входа к М. собираются студенты — истцы и просители. Присоединился к ним, волнуясь и предчувствуя. Настала моя очередь идти. Вошел. За письменным столом сидит полная седовласая женщина, от которой зависит решение судьбы моей. Начал говорить о том, как трудно, о том, что не знаю, как быть и т. п. У седовласой сразу лицо сделалось скучным и невнимательным, и я понял, что не имеет смысла убеждать ее в своей правоте, так как исход предрешен. Несколько официально убедительных фраз и цитат из министерских приказов, несколько неумных советов — и я свободен».

Затем следует еще более выразительный диалог Щеглова с Б. и слова, вырвавшиеся из самой глубины души этого бесконечно доброго и справедливого человека. «У, чинуша, законченный тип буквоеда, бюрократа без души и человечности...» Нет, не личная обида только, не отчаяние больного и неудачника продиктовали эти слова, а естественное и здоровое отвращение к язве равнодушия, к рабской подчиненности букве, «обожаемому циркуляру»...

А вспомним брезгливую улыбку Щеглова, слушавшего критика-проработчика, который на глазах аудитории, подобно пушкинскому Сальери, искусство разымал, как труп. Вспомним, что он пишет о пьесе-поделке, каких немало рождалось тогда: «Неискренняя пьеса. Вместо живых образов какие-то плакатные, плоские фигуры. Всем как будто наделены: и революционная юность, и трудовое подвижничество, и патриотизм, — а не веришь, что это действительно так. Говорит каким-то жестяным языком вещи, ставшие уже двадцать лет тому назад трюизмами».

Не проходит Марк Щеглов и мимо шедших в ту пору споров о судьбах и развитии советской музыки. Он с убежденностью говорит о своем «несогласии с «закрытием» Шостаковича и Прокофьева, с категорическим обвинением их в формализме».

И наконец, чрезвычайно важны те страницы, но которым мы можем судить о Щеглове последних лет жизни. Не полетел ли действительно вверх тормашками весь его энтузиазм? Нет! «Мы живем в необыкновенное, суровое, полное нежданного-негаданного время, — пишет он в письме. — Думайте о серьезном, ничего не бойтесь, будьте всегда честной и любите людей. Когда я вижу, сколько на свете чудес, сколько любви, хороших людей, дорогих слов, картин, музыки, когда я знаю, что стоит только позвать — и сколько всех нас откликнется! — то можно ли терять голову! Все будет хорошо!»

Размышляя над «Тетрадями», невольно вспоминаешь свое с детства сохранившееся ощущение, своеобразную «сумму уверенностей», которую мы словно бы с молоком матери впитывали: ты живешь в самой лучшей, самой славной стране — и отсюда непрерывное переживание счастья и мгновенный леденящий испуг: а вдруг бы родился в другой? Тогда ведь это «в другой» не могло означать ничего, кроме «в капиталистической». А ты — в социалистической. Единственной в мире. Она всех лучше, всех сильнее. В ней ничего не может быть плохого и людей плохих нет. Это и в главном: мы строим Турксиб, Днепрогэс, сражаемся в Испании, рвемся в стратосферу, спасаем челюскинцев и Папанина. «Рот фронт!» — поднимаем вверх кулаки, приветствуя антифашистов Германии И в малом: читаешь в книге о взятках — у нас такого не может быть, слышишь о ворах, о преступниках — их все равно всех перевоспитают...

Потом увидели, что в этом ощущении и сила наша была, и слабость. И тем более ощущалась необходимость разобраться, откуда что.

Еще и тем ценны для нас «Студенческие тетради» Марка Щеглова, что, предваряя его литературно-критические статьи, они находятся в согласии с этими работами зрелого мыслителя и художника. А это, не правда ли, довольно веская гарантия того, что мы имеем дело с человеком глубоким, честно и последовательно мыслящим. И уже это одно не может не вызывать к нему интереса и уважения.

Путь литературного критика никогда не был усыпан розами. А порою в склонности к этому роду словесности усматривали даже нечто зазорное. Так, Сенковский, предостерегая Пушкина от увлечения «журнальной полемикой», писал не-

когда: «...как горько, как прискорбно видеть, когда этот гений, рожденный вить бессмертные венки на вершине зеленого Геликона, нарвав там горсть колючих острот, бежит стремглав по скату горы... Берегитесь, неосторожный гений! — продолжал Барон Брамбеус. — Последние слои горы обрывисты, и у самого подножия Геликона лежит Михонское болото — бездонное болото, наполненное черной грязью. Эта грязь — журнальная полемика, самый низкий род прозы...»

Не ахти как оригинален был Сенковский в своих нападках на критику.

Древнегреческий глагол, давший критике свое название, означает «судить», и неудивительно, что отношения между критикой и другими родами литературы еще со времен жившего до нашей эры грека Зоила, которого наименовали «бичом Гомера», складывались отнюдь не безмятежно, не гладко.

«Писатели редко бывают удовлетворены критикой, и критика объясняет это их непомерным самомнением», — пишет в своей, посвященной таинствам литературного творчества, книге «Алхимия слова» польский писатель Ян Парандовский. Он же не без юмора свидетельствует, что «в прошлом писатели со своими критиками дрались на дуэли, подсылали наемных убийц, чтобы те их если не убили, то хотя бы хорошенько поколотили...».

Одним словом, история развития критики изобилует эпизодами как серьезных, принципиальных столкновений, так и курьезных стычек, на которые мастером был, в частности, и Сенковский — Барон Брамбеус.

В данном случае крайность его суждения объяснялась, скорее всего, боязнью приобрести в лице великого поэта могучего конкурента в сфере литературной полемики. Предрассудок же, в нем выраженный, жив и поныне. Он и в наши дни дает о себе знать. Даже в заявлениях, свидетельствующих как будто о высоком уважении Писателей к должности Критика. Признал ведь великодушно один из авторов «Литературной газеты», что и «критик может быть таким же властителем дум, как поэт, драматург и прозаик». Простим же ему невольную бестактность и отдадим должное искреннему стремлению «поднять престиж профессии», как выражаются социологи.

В талантливой исполненной художественного вкуса критике остро нуждаются и писатели и читатели всех возрастов.

Известно, что на пустом месте ничего не растет. И логично в заботах о том, что должно бы быть, присмотреться к тому, что есть.

Как ни странно, но для широкого читателя история русской критики обрывается где-то сразу за Луначарским...

Этакое «пренебрежение к жанру» истоки берет, увы, еще со школы. Мы много рассуждаем об акселерации, о том, что подростки не по возрасту рано начинают всерьез интересоваться многими проблемами науки, политики, культуры.

Принадлежит ли к числу их увлечений и такой род серьезных занятий, как критика?

Не приучившись читать критику с юных лет, читать не «по программе», не «от сих до сих», человек часто и в зрелые свои годы до нее не дотягивается. И в этом, несомненно, одна из причин того, что для многих еще литература так и остается на всю жизнь просто развлечением, просто котомкой занимательных историй. Заштриховать это «белое пятно» можно лишь общими усилиями критики, литературоведения, литературы. Моя же цель скромнее. Я как раз и хочу рассказать об одной «написанной увлекательно» литературно-критической книге.

«Студенческие тетради» принадлежали юноше, для которого главным и единственно возможным было постигать мир знаний, готовить себя к грядущему. И теперь перед нами «Литературная критика», произведение взрослого Щеглова, том его критических статей, созданных за три последних в его жизни года, в тот немыслимо короткий промежуток времени, который и определен был ему для творчества.

«Литературная критика» — серьезный, глубокий труд, рассказ о котором хотелось бы начать не с самой, казалось бы, существенной его главы — со статьи «Перо вальдшнепа». Посвящена она творчеству Виталия Бианки, писателя, которого все мы в детстве обязательно читаем, а потом не то что забываем, но как бы отодвигаем от себя — это, мол, для самых маленьких.

Критик убеждает нас, что Бианки не грех и перечитать — и в старшем школьном возрасте, и в более зрелом. И быть может, для многих книги этого писателя, открывающего нам мир природы, вообще стали настольными после прочтения статьи Марка Щеглова. Так серьезно, уважительно и увлекательно он о нем рассказал, с таким глубоким проникновением в творческую мастерскую писателя, с таким пониманием смешливой, любознательной ребячьей аудитории, для которой Бианки прежде всего и работал.

«Искусство Виталия Бианки, скромное и своеобразное, очень жизнерадостное, получило широкое признание. Его очаровательные и серьезные миниатюры-сказочки, рассказы, шутки и выдумки из жизни зверей, птиц, насекомых и растений — читают дети на разных языках мира. Но даже и человек, вышедший из лет детства, все-таки не может, видя книжку в веселом переплете и прочитав «Виталий Бианки», не ощутить особенной, «домашней» теплоты. Он вспомнит, что в числе первых книг, прочитанных им, была «Лесная газета» — и как после этого все вокруг, в лесу и в поле, стало интереснее, понятнее, забавнее».

Думаю, что уже один этот абзац, содержащий такую лаконичную и такую полную, многогранную, с оттенком личного, характеристику творчества писателя, способен развеять предубеждение, будто критика — чтение сугубо взрослое.

Критик обнажает здесь перед нами секреты души и мастерства, которые позволяют писателю «говорить детям о красоте природы, о радости общения с нею лаконично и впечатляюще, просто, специально “по-детски”».

И чувствуется, что писать об этом критику так же интересно, как самому Бианки о своих героях. Это удовольствие угадывается даже в подборе слов, в том, как они выстраиваются.

Посмотрите, какое разнообразие жанров находит Щеглов в книге Бианки: «сказочки, рассказы, шутки и выдумки из жизни зверей».

«Синичкин календарь» Бианки он называет «веселой цепочкой рассказиков», герои писателя — это «живой и интересный зверинец», где «медведи, птицы, муравьи, кузнечики и даже деревья — думают, рассуждают, строят планы, ссорятся, обижаются друг на друга, разнообразно выражают свои чувства. Каждый из них имеет свой маленький и вполне реальный характер».

И хоть ни о каких других писателях, пишущих о природе, Марк Щеглов не говорит и ни с кем Бианки не сравнивает, мы, читая статью, начинаем понимать, в чем у этого писателя своеобразие того приема «очеловечивания» животных, к которому прибегает неизбежно каждый, кто пишет о них.

«В.Бианки дорожит тем отношением к природе, которое свойственно именно детям, с их невольным уподоблением действий и повадок зверей, птиц, насекомых человеческому опыту». Своеобразие его подхода в том, что лесные герои

у него, несмотря на всю их, как выражается Щеглов, «волшебную разумность», ни в чем не противоречат жизни «прототипов» — живых зверей и мурашей. Ни в чем не заходят они дальше того, что дано им природой...

«В творчестве В.Бианки, — подчеркивает критик, — стоят рядом художник, знаток природы — естественник и педагог».

Бианки — детский писатель, можно сказать, классический пример писателя, пишущего для детей, и только для них. Он «захватывает душу маленького читателя», который на понятных ему примерах из жизни мышат и синичек учится разбирать, «что такое хорошо и что такое плохо».

Однако, как показывает нам критик, Бланки умеет незаметно перебросить мостик из мира забав в совсем иной, «и подчас мы встречаем здесь на детском языке речь совсем о недетском». Это свое утверждение Щеглов развивает, обращаясь к сказке «Люля», где «отношение к животным и птицам приобретает характер высокой поэтической образности, родственной народному творчеству».

Щеглов довольно подробно пересказывает это крохотное произведение, этот «подлинный шедевр». Попробуем и мы сделать это вслед за ним, чтобы читателю понятнее было дальнейшее.

Когда-то землю покрывало море, суши не было вовсе, и жить зверям было очень неудобно. Даже кит не мог достать земли со дна океана. И тогда вызвалась маленькая северная птичка Люля-нырец. Посмеялись звери над ней, но Люля нырнула. Один раз, другой... И только на третий раз достала щепотку земли. Но была Люля уже чуть жива, и на кончике клюва у нее дрожала капелька крови. Звери сделали из земли остров, стали на нем жить, а о птичке забыли. Так она и живет по-прежнему, прямо на воде, а памятью о былом на клюве у ее потомков — красная капелька.

«Птичка Люля с кровинкой на носике, — пишет Щеглов, — может быть, для маленького читателя — это первые слова о беззаветном подвиге для других, во имя общего счастья».

И вот другой, еще более выразительный пример. Щеглов обращается к одному из «отрицательных героев» мира Бианки, «выдуманной птице», которая никак не поймет, зачем это другим птицам разные отличия, коли у нее их нет. Зачем, например, сороке хвост-руль, а чайке — такое белое оперение. «Этой неинтересной птице чайки говорят чудесные слова, которые так и хочется, — пишет Щеглов, — употребить в более широком и серьезном смысле, обращаясь к персонажам иных литературных произведений.

Вот эти слова: «Да тебя и вовсе нет. Ты кругом средненькая. Ты выдуманная. Таким под солнцем места нет. Посмотри-ка ты на себя в воду». Посмотрела птица вниз. Там, в тихой речке, все как в зеркале... А ее — птицы — нет».

И вот что добавляет от себя критик: «С этой выдуманной птицей дело кончается просто: она влетает в рот спящему, выдумавшему ее человеку — и как будто ее и не было. С героями романов и повестей гораздо труднее. Их нет, нигде они не отражаются — кругом средненькие, выдуманные, — а книги с их участием все-таки существуют, и никакого постного выдумщика автора не заставишь съесть их обратно». Так, подобно Виталию Бианки, критик и сам от детского переходит к «совсем недетскому», к тому, что волнует, заботит его и тогда, когда он пишет о детских сказочках, рассказиках, шутках, выдумках, и тогда, когда речь заходит о произведениях сугубо «взрослой» литературы.

Нас занимало при знакомстве со «Студенческими тетрадями» не столько личное, преимущественно щегловское, сколько то общее — для его поколения, для его сверстников, для их мироощущения, что отразилось в юношеских записях. И мы видели, как «жизнь, любимейшая жизнь», да простится мне невольное пристрастие к этому выражению, растит личность незаурядную, характерную своей тягой к идеалу, к прекрасному в жизни. Но кто в ранние-то годы не прекраснодушен, кто не «болен» идеализмом, не тянется совершить что-либо трудное и благородное! Интересно было, конечно, узнать и увидеть: а во что же «выработается» этот юношеский идеализм, насколько он плодотворен, стоек, не выдохнется ли, как это, увы, бывает.

Сергей Чекмарев говорил о себе: сначала жить, потом писать о жизни, сначала любить, потом писать о любви. Если бы Марк Щеглов решился бы поделить жизнь свою на две половинки, мы бы ничего о нем не узнали, как, впрочем, и о Сергее Чекмареве. К счастью, они оба не могли, не умели и не хотели ждать.

И мы убеждаемся, в каком органическом единстве находятся «Студенческие тетради» и «Литературная критика» Щеглова.

Щеглова и в критике не оставляет то любование своими сверстниками, «обстановкой умной и веселой жизни», «атмосферой молодого, трудового, комсомольского мира», которым были пронизаны страницы его дневников. Он и в литературе тех лет ищет следы, приметы этой жизни.

В мыслях о жизни человека с судьбой Марка Щеглова мы, возможно и не отдавая себе в том отчета, склонны бываем именно исключительностью его биографии объяснять всю значимость совершенного им. Словно бы удары, которые обрушила на человека болезнь, были не помехой, а поощрением к творчеству. И тут же неизбежен совершенно нелогичный, но утешительный для многих вывод: то, что дано таким людям, не под силу нам.

Размышляя над книгой Марка Щеглова, вновь и вновь убеждаешься, что если и применимо к автору ее часто мелькавшее выражение «молодой критик», то только в смысле возраста. Со склонностью же ставить ударение именно на первом слове и рассматривать сделанное Щегловым лишь как «многообещающее начало» вообще нельзя согласиться. Марк Щеглов конечно же много обещал, но и то, что он смог совершить, отнюдь не нуждается ни в каких скидках на возраст.

Поражает количество сделанного за три года. Четыреста страниц в томе. Почти три десятка работ, объемом от нескольких страничек до двух и более печатных листов. И целый калейдоскоп имен. Классики нашей литературы — Лев Толстой, Достоевский, Блок, Есенин... А рядом с ними, и преимущественно, советские писатели — Всеволод Иванов, В.Овечкин, Г.Троепольский, А.Софронов, В.Розов, А.Штейн, А.Фадеев, Вс.Вишневский, А.Арбузов, Василий Смирнов, Сергей Антонов, Ованес Шираз... И за каждым, даже мимолетным упоминанием — глубокие, по-университетски основательные знания.

Статьи Щеглова печатались и в «Новом мире», и в «Октябре», и в «Дружбе народов», в сборнике «Литературная Москва», в «Вопросах литературы», в журнале «Молодая гвардия», в «Литературной газете»... Он писал предисловия, «внутренние» рецензии.

Невольно задумываешься: что означала эта невероятная работоспособность и продуктивность человека, который ведь и в эти годы ни одного дня не был всерьез здоровым? Что стоит за этим? Лихорадочная спешка человека, предчувствующего трагический исход? Но тогда следы нервического возбуждения

непременно обнаружились бы в написанном. А от его строк веет силой, оптимизмом.

«Я рад, — писал Щеглов другу, — без конца и без устали смотреть и смотреть на все, что выделывает вокруг меня жизнь... Столько судеб, событий, преображений, столько красок, звуков, картин... Вот как-то так я воспринимаю жизнь, так это во мне сильно и идет изнутри, что я готов доказывать и прививать это каждому встречному и поперечному как что-то сугубо мое, неповторимое и особенное!»

И это «неповторимое», переливаясь в строки его статей, звучало в них апофеозом всего здорового, прекрасного, естественного в жизни и литературе.

И тут хочется сказать о статье «Верность деталей». Что скрывать, за примерами совершенства формы, высшего мастерства критика наша, и это особенно характерно для той поры, охотнее обращается к классике, делая исключение лишь для нескольких, самых славных имен советской литературы. Щеглов не ждет, когда время просушит чернила. Говоря о «верности деталей», что, по Энгельсу, является одним из непременных условий возникновения истинно реалистической литературы, Щеглов наряду с созданиями Льва Толстого, Бальзака, Тургенева называет произведения, только-только входившие в читательский обиход, — «Не ко двору» Тендрякова, «Русский лес» Леонова, «Времена года» Пановой. И то, что он находит в них по горячим следам, выдержало, убеждаемся сегодня, проверку временем.

Есть критики, которые садятся за письменный стол лишь в тех довольно редких случаях, когда произведение, как говорил Щеглов, «задирает» их либо своим «положительным», либо «отрицательным». К числу их, признаюсь, относится и автор этих строк.

Щеглов с первых же своих выступлений ощущал себя профессионалом, призванным неотрывно вглядываться в поток литературы.

Наряду с произведениями вершинными, будь то русская классика или советская литература, его внимание занимали и произведения рядовые, даже заурядные, интересные не сами по себе, а тем, как соотносятся они с важной общественной тенденцией, с каким-либо значительным литературным явлением. «Перед тружеником мир не безмолвствует»,— говорит Гёте. И о «проходных книгах» не писал Щеглов проходных рецензий.

Есть критики, для которых в литературе все прочно и навсегда поделено на «свое» и «чужое». И как бы ни исхитрялся такой критик в своих оценках, какими бы оговорками ни сопровождал свои суждения, эта вот «групповая» подоснова его творчества всегда различима. Не все, впрочем, стесняются этого свойства. Некоторые, наоборот, им гордятся, выдавая его за принципиальность, последовательность позиции.

Есть критики, которые, осознанно или нет, всегда держат перед мысленным взором литературную «табель о рангах». Если совесть и не позволит разругать хорошую книгу, так сказать, рядового литератора, то она никак не помешает в случае нужды похвалить слабый труд какого-нибудь «литературного генерала».

...Как уже говорилось, прозаики, драматурги не балуют критиков своим вниманием. И все же время от времени последние обнаруживают себя даже героями художественных произведений. И тут, дабы сделать разговор о некоторых поветриях и проблемах литературно-критического мира более наглядным, объемным, что ли, я и хочу напомнить о двух таких фигурах, очень метко, точно обрисованных драматургом Э.Радзинским в его пьесе «Снимается кино», кото-

рая шла в свое время на сцене Театра имени Ленинского комсомола, а впоследствии была издана в сборнике лучших работ драматурга.

На первый взгляд эти «герои» Радзинского противостоят друг другу. Если Трофимов, работник киноглавка, — это, по его собственному выражению, «учреждение» («Меня нету. Я — это не я. Я — это учреждение, которое я представляю»), то влиятельный кинокритик Кирьянова — «общественное мнение». У нее, в отличие от респектабельного Трофимова, «тяга к демократизму», она покровитель всего молодого, «модного», обиженного... И нужно, видимо, какое-то уж совсем неудачное для нее стечение обстоятельств, чтобы вдруг проглянула сущность этой приятной во всех отношениях дамы — ее пустая душа, занятая только собой. Вот это-то и объединяет Кирьянову с Трофимовым — полное безразличие к искусству, то есть к делу, ради которого они как будто бы живут. Они не знают слова «истина», а только слово «мода». Первый всегда говорит моде «нет», вторая — всегда «да». Но и тот и другая с оглядкой.

Они, к примеру, достаточно сообразительны, чтобы понять, что молодость в искусстве, наступление молодых сил — тот фактор, с которым надо считаться. И вот Трофимов на худсоветах рубит сплеча, а в интимных беседах бьет себя в грудь: старик, мол, я — это не я. А Кирьянова специализируется на лести — лести достаточно тонкой, завуалированной: «Все, что я видела,— это правдиво, и, кроме того, в этом есть что-то молодое... лермонтовское».

Принцип Трофимова в том, что он всегда ориентируется на среднестатистическую, так сказать, точку зрения. Так, ему кажется, надежнее. Сам он вряд ли способен увидеть в целующейся на сцене паре потрясение основ. Не очень-то он верит и в то, что узкие штаны или низкая челка обязательно должны поразить молодежь духовной немощью и что лучшая защита от этой опасности — запрет. Но он знает, что так думает еще немало людей, в том числе и влиятельных, что пережиток еще достаточно устойчив, и именно поэтому Трофимов считает за благо его держаться. Ведь как раз на эксплуатации этого пережитка основана система его ориентиров в искусстве, без которой он как без рук.

Поцелуй? — насторожись. Любовь? — сделай стойку: «Не слишком ли быстро сходятся?»

Трофимов — анахронизм, но у него блестяще развита способность к мимикрии. У него нет принципов, а лишь инстинкт самосохранения и тактика, к которой одно требование — не подводить!

Облик Трофимова отмечен чертами времени. Но он все же более знаком, разгадан. Это, так сказать, зло очевидное.

«Прогрессистка» Кирьянова, пожалуй, впервые предстала перед нами в столь безжалостном освещении. И многие, наверное, почувствовали себя обескураженными, разглядывая и разбирая нехитрый механизм, создавший ей столь лестную репутацию.

«Например, в каких-то вещах мы могли бы быть посмелее. Впрочем, сейчас... А может быть, и нужно быть смелым именно сейчас!»

Оружие Кирьяновой восторг, ее стихия — кулуары, сладкая отрава недомолвок, взглядов и понимающих усмешек...

Такие, как она, знают, где и что сказать и даже как промолчать, чтобы это соответствующим образом «прочиталось». Они ухитряются слыть принципиальными, хотя за то, о чем говорят вслух, оправдываются потом по служебному телефону...

Драматургу удалось довольно метко схватить некоторые характерные отрицательные черты, которые нельзя оправдать, но можно отчасти объяснить своеобразием положения критика в литературном цехе.

От критика зависят, но ведь и сам он зависим. Начиная каждую новую свою работу, он вступает в определенные отношения не только с созданием, но и с автором, который сам становится героем, положительным или отрицательным, его критического труда. И, в отличие от образов романа, поэмы или рассказа, герой этот — писатель, художник — лицо отнюдь не воображаемое, не синтезированное, а самое что ни на есть конкретное, индивидуальное, бок о бок с критиком живущее и весьма ранимое. Способное и обидеться и... обидеть. Ян Парандовский пишет в своей книге: «В предисловии к “Мадам де Мопен” Готье перечислил почти все смертные грехи критиков, как они представляются писателям. Если бы он сегодня, спустя сто лет, держал корректуру этого вступления, ему ничего не пришлось бы изменять в своей филиппике. И ни один писатель не стал бы призывать его к этому».

Что ж, может, потому и жилось так нелегко Марку Щеглову в литературном цехе, что никогда он не дарил дежурных улыбок «потребителю, то бишь писателю». Щеглову чужды были какие-либо второстепенные, преходящие соображения. «Табели о рангах» для него не существовало. Против попыток отнести его к какой-либо группе энергично возражал. Человеком цеха он так и не стал и все годы активной, сознательной деятельности провел не в собственной литературной, а в университетской, студенческой среде, о неповторимом обаянии, благотворном воздействии которой писал в своих «Студенческих тетрадях». Для Щеглова было характерно — и об этом мы узнаем прежде всего из самих его произведений — необыкновенно целомудренное отношение к литературе. И стремление к истине, к откровенности — во всем до конца. Именно этим особенностям мы обязаны, наверное, рождением таких его значительных произведений, как статьи «“Русский лес” Леонида Леонова» и «Реализм современной драмы».

В работах, посвященных творчеству Щеглова, можно встретить фразу о том, что проживи он дольше, то, наверное, внес бы какие-то поправки в сказанное, пересмотрел бы некоторые свои оценки и утверждения. Не исключено, что такие предположения относятся и к статье о романе «Русский лес». Ведь это было первое и, пожалуй, единственное выступление в нашей периодике, в которой речь шла не только о сильных, но и о слабых, по мнению критика, сторонах романа. Но вот что важно: как критические замечания Щеглова не умаляют для нас сегодня значения романа, так и наше возможное несогласие с критиком в той или иной части его рассуждений нисколько не снижает ценности самой статьи. И это не софизм. Статье Щеглова, как и роману Леонова, суждено было стать произведением особого ряда, и мерить их надо особой меркой. Верится: два этих произведения будут стоять для читателя рядом, как стоят, например, повесть «Ася» Тургенева и статья о ней Чернышевского или роман Гончарова и статья Добролюбова. И точно так же они будут примечательны нам то одной, то другой своей стороной.

Статья Щеглова о романе Леонова — большая, то, что называют капитальная. Она охватывает все стороны романа. «Дорогая автору идея сохранения... чудесного богатства России лежит в центре романа «Русский лес»,— пишет Щеглов и добавляет: — ...народнохозяйственная (очень важная и интересная) проблема лесоустройства представлена в романе Л.Леонова в самом широком плане — как тема жизни, определяющая всю сюжетную, образную, идейную связь

романа... Величальную лесу воспринимаешь у Леонова как хвалу всему хорошему на земле: благоденствию, мудрости, родине, самой жизни».

Что же касается нравственно-этического пафоса произведения, то критик видит его в том — и это ему особенно дорого в романе,— что писатель отразил «смертельную борьбу зла с добром».

Щеглову, поклоннику и певцу всего прекрасного в людях и жизни, необыкновенно близка и понятна ненависть писателя к гнусности человеческой, воплощенной в романе в образе профессора Грацианского.

Романист создал художественный образ. Критик, вдохновленный его созданием, объяснил нам, помог распознать явление, запечатленное в этом образе.

Грацианский и грацианщина... С тех пор как появилась статья Щеглова, в понятие «грацианщина» мы вкладываем нечто большее, чем представление об образе романа.

Грацианский, по мысли Щеглова, это духовный преемник горьковского Самгина, «самгинское семя», которое еще и сегодня суждено нам распознавать, угадывать в окружающей жизни и людях.

Вслед за писателем критик видит в Грацианском и грацианщине нынешнюю, современную отрасль мещанства, прокаленную огнем революции, хитрую, предприимчивую и мстительную. Спекуляция высокими идеями и понятиями, паразитирование на них — вот оружие этой разновидности мещанства, которое «выступает в ореоле бдительности и мнимой идейной принципиальности».

«Л.Леонов, — пишет Щеглов, — создает в Грацианском тип той гнусности, которая, умело и с изощренной лживостью прикрываясь высокими понятиями и идеями, возможна на виду у всех и в нашем обществе, к глубочайшему вреду для великого дела».

Не лишне будет заметить, что мишень здесь у Леонида Леонова и Марка Щеглова та же, что и у Юрия Трифонова в его «Доме на набережной».

Нащупав главное в образе, Щеглов, опираясь на четкий социально-художественный анализ, помогает нам увидеть новые и новые грани явления. «Грацианские, подчас, выглядят убежденнее, героичнее и безупречнее, чем «простые смертные», пашущие землю и берущие штурмом дворцы... Они во всем умеют увидеть прежде всего ошибки. Не занимаясь сами изучением новых проблем, они живут только тем, что ищут ошибки у других. И чем больше находят ошибок, тем веселее движется кровь в жилах грацианских».

Подобно тому как образ Грацианского с его «замшелыми футлярчиками», фальшивой «согбенностью», «длинноволосостью» и «гороховой похлебкой», словно живой, встает со страниц романа, осязаем и облик грацианщины, созданный в статье,— этот «неуловимый, двоящийся, ускользающий в «мелкой колдовской ряби» духовный облик... особи несколько странной, но несомненно существующей породы».

Поистине сарказм, выразительность филиппик Щеглова может здесь сравниться только с леоновскими. Подпадая под обаяние его таланта, критик отдает добровольную дань его стилю.

Это не подчинение, а следствие общности взгляда, побуждающей к размышлению, к согласию и спору.

Впрочем, спор этот, предложенный критиком, — о происхождении, о корнях «грацианщины» — не представляется мне спором непримиримых. Сказалось вполне естественное различие в способах видения романиста и критика: образное в первом случае, понятийное — во втором. А также и различие в возрасте,

принадлежность к разным поколениям. Для художника органично, неизбежно стремление к конкретному, индивидуальному, личностному обоснованию некоторых особенностей персонажа, вырастающего в тип. Естественным было для Леонова, представителя старших поколений советских писателей, и другое — связать все отвратительное в Грацианском с дореволюционным прошлым.

Щеглов не возражает против такого объяснения, но оно не полностью его удовлетворяет. С Грацианским «данного случая» все могло быть и так, как представил писатель. Ну, а другие, ему подобные, те, кто моложе, кто о царской охранке знает только из художественной литературы, откуда они? Опасением не сузить, не локализовать бы рамки обозначенного зла, не ослабить удар по нему продиктованы возражения критика.

В Грацианском «Леонов с содроганием запечатлел приспособляемость мещанского индивидуализма, его вместительный диапазон — от мелкого пакощения до горячечной «левизны», до грозного арбитража над человеческим трудом, подвигом, традицией». Таков конечный вывод критика, полностью обусловленный содержанием художественного образа.

Если статья о «Русском лесе» — это статья о жизненных явлениях и человеческих характерах даже больше, чем о литературе, то статья «Реализм современной драмы» (1955) — больше, чем о драматургии. Это размышления над некоторыми особенностями литературы того периода, и сегодня не утратившие остроты, злободневности. Если говорить о форме, в статье этой счастливо сочетаются фундаментальная литературоведческая подготовка Щеглова и талант, темперамент критика, публициста. Глубина теоретических обобщений и их актуальность, весомость литературного, драматургического материала, к которому обращается автор, дают основание говорить, что статья эта явилась своеобразным кредо критика.

Щеглов обращается к драматургическим произведениям, которые в ту пору поистине были на устах у всех. Он обращается, используя его же выражение, к «очень центральным произведениям» — пьесам Штейна, Корнейчука, Арбузова, Софронова... Он признает, что многие из этих произведений получили уже довольно высокую оценку в печати («одной из интереснейших пьес последнего времени единодушно признана пьеса А.Штейна “Персональное дело”,— подчеркивает Щеглов), и тем не менее решается и им предъявить весьма серьезный счет.

Причиной расхождения критика с распространенными точками зрения является отнюдь не желание «подразнить» литературное общественное мнение, блеснуть оригинальностью суждений. Это было не то что чуждо — противопоказано таланту Щеглова. Суть тут в другом — в глубоком, органичном уважении к литературному, театральному делу.

Как ни странно, под доброжелательностью в литературном обиходе часто понимают одно — готовность критика похвалить разбираемое произведение и его автора, а если уж и пожурить, то непременно «уважительно», чтоб не обидеть, не задеть, не огорчить. Щеглов исповедует доброжелательность иного, высшего порядка. «Резкий тон во многих случаях — это единственный тон, приличный критике, понимающей важность предмета и не холодно смотрящей на литературные вопросы», — говорил Чернышевский, и это хорошо понимал Щеглов.

Сегодня, задумываясь о причинах, вызвавших справедливо резкие суждения критика, мы больше, конечно, интересуемся уже не именами, не названиями, а явлениями, ибо три-четыре пьесы, разобранные Щегловым, дали ему повод

говорить о разочаровывающих его тенденциях в литературе и драматургии в целом.

Щеглов — за верность литературы жизни, за понимание драматургом специфики драмы, сценического произведения, в конечном счете за уважение к читателю и зрителю, для которого искусство — школа души и ума и который не приемлет суррогата.

Именно с этих позиций Щеглов ведет критический огонь по многим участкам драматургического фронта. Щеглов демонстрирует здесь искусство проникновения в святая святых драматургического ремесла, у него редкостное чутье на серость, халтуру, ремесленничество, эпигонство, в какие бы одежды они ни рядились. Ему достаточно одной-двух точно найденных фраз, чтобы обнажить схему пьес, «где подлинное (в жизненном оригинале) человеческое чувство просто зашифровано ложной и бедной, элементарной... системой фраз и действий». Он против пьес, герои которых «тяжело больны патетикой и ригоризмом: чувствуя и думая на грош, они безумно расточительны в громких и важных словесах». Он против того, что во многих пьесах «так мало обобщающей силы искусства, мало символов и типов и так много частных случаев».

Один за другим демонстрирует он читателю «канонические способы обработки жизненного материала», в том числе и такой, когда «драматург строил пьесу на каком-нибудь тезисе, механически заимствованном из политико-хозяйственной области и разложенном по действующим лицам: вот — противники, вот — сторонники...». Или такой пример — рецепт, когда «над судьбой героев властен лишь некий «благой промысел». Какие бы осложнения ни были задуманы драматургом, какие бы душераздирающие сцены ни создавало его воображение, зритель остается спокоен, он знает, что ни один волос не упадет с головы героя, что все эти страшные слова и терзания не страшны».

Эти характеристики тем более остры, что в статье этой, как и во всем, что писал Щеглов, осязаемо присутствует эстетический идеал критика. Его идейно-художественная платформа предельно ясна, идет ли речь о содержании драматургических произведений или их форме, о самой природе драмы, суть которой Щеглов раскрывает глубоко, дерзко и увлекательно. «О серьезных вещах, — пишет он, — нужно говорить серьезно, во весь голос, избавившись от привычки создавать «улучшенную природу», где все «как в жизни», но в то же время нет... ни подлинных драм, ни возвышенных побед».

Он пишет: «Нужны смелые поиски и попытки, опирающиеся на опыт классической и революционной драматургии, которые бы сдвинули нашу драматургию с подчас мнимо реалистического, неинтересного и бесперспективного самоповторения».

Последнее замечание, как бы венчающее статью, да и всю книгу, представляется особенно знаменательным. Оно сразу же приближает нас к проблемам наших дней. Ведь если многие из «расшифрованных» Щегловым схем вроде бы и изжиты, на месте их появилось, увы, немало других, представляющих другую крайность, но приводящих к такому же унылому результату. И тут хочется вновь цитировать Щеглова: «Читатель и зритель вправе ожидать от драматургии настоящей «пьесы жизни», высоких образцов искусства, явившихся в неповторимой и специфической новаторской форме. Но для этого нужен какой-то «максимум» творчества и, говоря словами «Оптимистической трагедии», «неистовые искания ответов и нахождения».

Плут или простак?

Не многие знают, что сценарий Александра Володина, по которому режиссер Гиви Данелия снял фильм «Осенний марафон», называется «Горестная жизнь плута». Вряд ли даже в самом начале работы над фильмом Андрей Бузыкин представлялся его создателям всего-навсего плутом, пусть даже и с оттенком условности — из фабльо, из плутовского романа. Тем не менее факт есть факт — название изменено. Между «Горестной жизнью плута» и «Осенним марафоном» — дистанция немалая. Очевидно, она была пройдена творцами фильма уже в процессе работы над ним.

И конечно же для тех, кто даст себе труд последовать за авторами в их замысле и поисках, фильм раскроется и глубже и многозначительнее.

Но явно задержался на старте, например, рецензент «Комсомольской правды» А.Кротов. Не знаю, было ли ему известно о названии сценария, может быть и нет, но он, кажется, всерьез принимает Бузыкина за плута и пройдоху, причем самого обыденного, к тому же еще и злостного, неисправимого.

Операция, которую А.Кротов произвел с образом Бузыкина, напоминает мне работу тех гигантских штамповочных прессов, назначение которых готовить металлический утиль к переплавке. Положат между челюстями этого чудостанка, к примеру, остов автомобиля, шлеп — и перед нами железный блин. Суньте ему в пасть новенькую машину — он и из нее сделает такой же блин, который будет похож на то, чем был раньше, не более, чем бабочка из гербария на живую обитательницу полей и лугов.

Другими словами, Бузыкин со всей его «горестной жизнью» для рецензента как бы сотоварищ по коллективу, напросившийся на персональное дело. Надо крыть, и он кроет его, бедолагу, истово и простодушно. При таком подходе и Дон Жуан окажется всего лишь бабником, а Отелло — убийцей-садистом.

Бузыкин, видите ли, лжив, бездушен, безволен и способен приносить только зло и беду тем, с кем встречается. У самого автора рецензии на этот счет явно нет никаких сомнений, но вот окружающие, беспокоится он, могут и обмануться, и он предостерегает их: «Самое парадоксальное, что внешне Бузыкин может показаться правдивым и искренним в своих побуждениях, даже привлекательным, заслуживающим снисхождения».

Опасения А.Кротова весьма основательны. Есть, есть, несомненно, среди зрителей такие, кто способен попасться на удочку Бузыкина, а точнее, тех, кто его породил. И среди них, признаваться так признаваться, и автор этих строк. Ему Бузыкин действительно кажется и искренним и привлекательным, а что касается снисхождения, то Андрей Павлович в нем, пожалуй, не нуждается.

Но подробнее об этом чуть ниже. А пока еще об одной рецензии, на этот раз в «Советской культуре». Автор ее, Далила Акивис, отнюдь не берется читать

мораль Бузыкину, а, наоборот, призывает нас быть снисходительными к нему. И не только к нему, а ко всем мужчинам, которые оказываются в плену тех же самых жизненных проблем, что и Бузыкин.

По мнению рецензента, фильм А.Володина и Г.Данелия «выводит» нас на «характерную социальную проблему современной семьи определенного типа», то есть таких семей, где происходит «феминизация» мужчин и «мужчинизация» женщин, где мужчина, подобно Бузыкину, «не по авторской прихоти, а по логике жизни» становится жертвой «непримиримой схватки двух женщин, оказавшихся соперницами». Женщины эти родились и выросли с характерами «лидеров». И, конечно, «у той и другой, как и положено лидеру, есть своя доктрина, то есть представление о том, в чем состоят интересы подчиненных (в данном случае, видимо, мужа или любовника. — *Б.П.*) и как их следует вести к благополучию». Вот, собственно, борьбе этих двух «лидеров» за «интересы подчиненного», то бишь Бузыкина, «человека доброго, но бесхарактерного», и посвящен, по мнению рецензента, фильм. Этому же посвящен и ее анализ фильма и резюме, в соответствии с которым «в положении Нины и Аллочки или самого Бузыкина может в один прекрасный день оказаться каждый из нас, любой семье может выпасть такое испытание». Так что, дорогие товарищи зрители, готовьтесь к марафону, ибо «марафон — это такая дистанция, что без серьезной внутренней подготовки ее не пробежать».

Нетрудно догадаться, что Далиле Акивис близка социология, и, как положено по этой науке, рецензент подкрепляет свои суждения основательным количеством цифири, к которой и я отношусь с полным уважением, как и к труду социологов вообще. И права на такого рода анализ я у социологов вовсе не хочу отнимать. При одном, правда, условии. При том, что исследователь заранее оговорится, что фильм, или роман, или комедия интересует его лишь как «материал» для научного исследования и его художественную, образную специфику он просто решает не принимать во внимание.

Но я — не социолог. И передо мной — фильм, произведение искусства, назначение которого давать эстетическое наслаждение.

Мы ждем его, естественно, и от «Осеннего марафона». И давайте спросим себя, получили ли? Я — получил. Говорю это как зритель. Как критик попытаюсь сказать, в чем же оно состоит и из чего рождается.

Но кажется, что задаться такими вопросами легче, чем ответить на них. Чем сильнее впечатление, тем меньше поддается оно расщеплению. Получаешь наслаждение оттого, что окунулся в жизнь, в такую, как она есть. В такую и не в такую, ибо все, что течет перед тобой так свободно и раскованно, на самом деле строго «скомпоновано» волею режиссера и сценариста, расставлено во времени и пространстве. И оттого, что упакованная в двухчасовую рамку жизнь десятка людей — персонажей фильма — развертывается перед нами с непринужденностью и неторопливостью самой действительности; оттого, что мы ни подпорок, ни швов не ощущаем,— первый толчок удовольствия. Нас «обманули», и мы рады этому обману. Если бы его не было, не было бы и искусства. Оно — концентрат действительности.

Узнавание, эта щемящая узнаваемость мира, в который попадаешь с первых же кадров, — вот второй толчок. Этот исседа-черный пуловер Андрея, крепко и красиво уложенные волосы его жены Нины, зябкая, с ногами на тахте поза Аллы, хрипловатый, такой ленинградский, басок ее опекуна — соседа дяди Коли — Крючкова, такая типичная обитательница литературных

плавней Варвара, милые сердцу очертания питерских мостов, линии набережных...

Как-то так повелось считать, что только деревенский, провинциальный пейзаж способен уколоть наше подзачерствевшее сердце, ибо все мы, в конечном счете, либо жители деревни, либо выходцы из нее... «Осенний марафон» — городской фильм, «городской романс», и конечно же он слышнее стучит в души завзятых горожан. Но их ведь становится все больше в нашем обществе.

Демократизм произведения и его создателей тоже принято в первую очередь соотносить с обращением к сельской тематике, к жителям деревни. «Осенний марафон» — фильм о городском люде, в жизни которого тоже есть свои традиции, обычаи, поверья, приметы, своя поэзия. Романтикой большого города пронизано все происходящее в фильме. Она растворена в самом воздухе его, в светлых ночах, в стуке быстрых женских каблучков, перебранке дворничих, лязге автомобильных тормозов, в невидимых и явных заботах и драмах обитателей коммунальных квартир и отдельных «секций»...

Чары искусства бывают столь сильны, что даже искушенный читатель или зритель, чему примером упомянутые мною рецензенты, может забыть, что перед ним произведение художественного творчества, и начать судить и рядить о его героях как о реальных людях. И, возражая А.Кротову, например, по существу я не могу в чем-то не последовать его примеру, ибо Бузыкин и для меня — в этом-то и очарование образа — живой человек, и хочется говорить и рассуждать о нем как о таковом.

Итак, Бузыкин? Но какой? Есть Бузыкин сценария, ведущий «горестную жизнь плута», есть Бузыкин фильма, есть Бузыкин А.Кротова, Далилы Акивис. Есть он, наверное, и у каждого из зрителей. Я буду говорить о своем Бузыкине. Мой Бузыкин — талантливая личность. Не верите? Но ведь он — прекрасный переводчик, и скорее всего сам — поэт. Откуда это известно? Да хотя бы из того, как объясняет он своему датскому коллеге Хансону разницу между обыкновенной обезьяной и «зеленой аблизьяной» Достоевского, из тех немногих строк, которые он вслух прочитывает Алле. Я тут доверяю Марине Нееловой и ее героине, которая в восторге от стихов и, думается, не только по сердобольности любящего женского сердца называет Андрея Павловича их автором. Так отвечает ее настроениям то, что она слышит. И меня подкупает щепетильность этого «лжеца Бузыкина», который даже наедине с любимой всякий раз педантично поправляет ее: это не мои стихи, это перевод.

Бузыкин — хороший преподаватель, и его, чувствуется, любят студенты. Что же касается некоторого злоупотребления с их стороны его добротой — так это удел всех, кто сам широк и талантлив и эти же качества предполагает в людях.

Если Бузыкин так талантлив, почему он так малого достиг? — скажут мне. Но разве так называемые «успех» и «положение» — непременное мерило честности?

Мне тут ближе глубоко гуманистическое суждение Пушкина, который в «Путешествии в Арзрум» писал: «Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одной егерской ротой, или другой Декарт, не написавший ни одной строчки...»

Вот именно, скажет тогда оппонент, Бузыкин мог бы гораздо больше сделать, не будь он таким безвольным. И в свидетели даже создателей фильма приведет, которые, судя по статье Д.Акивис, в «Кинопанораме» «дали авторский ключ к пониманию сюжета: герой фильма человек добрый, хороший, но бесхарактерный».

Что ж, коли так, можно и с создателями поспорить, ибо важнее нам все-таки то, что у них сказалось в фильме, а не о фильме. И тут позволю себе еще одну ссылку на классику. В воспоминаниях о Льве Толстом его дочь Татьяна Львовна рассказывает, как ее отцу, который в поезде всегда ездит в вагонах третьего класса, пришлось попросить купить билет станционного служащего. Увидев, однако, как в изумлении поползли вверх брови жандарма, когда он услышал слово «третий», дрогнул и сам великий человек. Он не смог, пишет мемуаристка, обмануть ожидания собеседника, не в силах был разрушить какие-то его представления. Короче говоря, он пожалел его и поехал вторым классом. Что ж, если это уступчивость, то уступчивость особого порядка. И не в этом ли, будем тоже снисходительны и сделаем скидку на масштабы личностей, «ключ к пониманию» образа и характера Бузыкина?

Будь он уступчив, непоследователен, «бесхарактерен» лишь в отношениях с Ниной и Аллочкой, не о чем было бы и говорить. Банальный треугольник. Но он уступчив и в отношениях с Варварой, столь блистательно вылепленной Галиной Волчек, он делает за Варвару ее работу — и потому, что он действительно добр, и потому, что он фанатик перевода, одержим своей профессией, своим призванием.

Он уступает Харитонову, своему соседу. Но и это нелепо было бы ставить ему в вину, ибо это пресловутая «интеллигентщина», пасующая в житейском обиходе перед «представителем рабочего класса».

Уступает Бузыкин и Хансену, своему коллеге из Скандинавии, составляя ему каждое утро, независимо от собственного самочувствия и настроения, компанию в беге и объясняя виновато, как всегда виновато, жене: «Что делать, он привык. Он не хочет ломать режим».

Впрочем, если Бузыкин и уступчив, то лишь до предела. И он нам показан. В отношениях с Шершавниковым, например.

Так что приносящая столько боли ему самому и окружающим «бесхребетность», непоследовательность Бузыкина в отношениях с женой и любимой — не исключительное, а лишь одно из проявлений «сквозной» черты его характера.

Да и непоследовательность ли это? Нет, это не сумятица чувств. Бузыкин любит Аллу, но не решается открыться жене, жалеет ее. Его колебания не между ними — между любовью и состраданием. И если продолжать психологический изыск, то следовало бы лишь добавить, что в метаниях и рывках Андрея не меньше, чем он, повинна и Нина, которая ведь знает об истинных чувствах мужа, но не хочет взглянуть реальности в глаза, мучает его и себя.

Алла тоже страдает, ее жалеют, но она жалости не заслуживает, то есть наоборот — не нуждается в ней... Сосед и опекун ее добр, но простодушен. Он не понимает, что в любом случае ее любовь к Бузыкину — праздник, который возвышает ее, дает содержание жизни. Из чего это вытекает? Где и кем сказано? Да никем. Это — в ткани фильма, в том неуловимом, что и составляет главное очарование произведений искусства, когда они подлинны.

И стоит только развязать этот узелок, понять скрытые пружины адюльтера, как тут же развеивается, подобно колдовскому смогу, туман вокруг характера Бузыкина.

«Так что же, — продолжаю я слушать голос незримого оппонента, — Бузыкин у вас из ответчика превращается чуть ли не в жертву, а то и в героя?! Но если не он, то кто же или что же тогда является причиною его (и близких его) злоключений?»

Что ж, попробуем поискать причины, заметив попутно, что не всегда они и бывают, — во всяком случае, не всегда на них можно указать пальцем.

В талантливейшем исполнении О. Басилашвили Бузыкин — русский человек, россиянин, и это немаловажное обстоятельство рельефно подчеркнуто соседством его по фильму с датчанином Хансеном — образ не такой уж эпизодический, как может показаться. Со всеми его странностями, ломаным русским, дотошностью и методичностью, обстоятельностью, Хансен, несомненно, вызывает симпатию, и вполне заслуженную. Вот уж он-то, думаешь невольно, окажись в ситуации Бузыкина, поступал бы совсем по-другому, не мямлил бы и не вихлял. Он бы скорее нашел выход из положения, и уж наверняка в его действиях было бы больше логики, четкости, рассудительности... И наверное, и он, и связанные с ним люди в силу этого страдали бы значительно меньше. Может быть, но на то он и датчанин, а Бузыкин россиянин, русский. А может быть, и даже наверняка, и у Хансена возникли бы тут свои, непохожие на бузыкинские проблемы, как и в прошлом возникали они не только у Обломова, но и у Штольца.

Думаю также, что мы не погрешим против истины, против социального подхода, если, приглядываясь, примериваясь к тому или иному образу, художественному типу, будем делать поправки на время вообще, на тот этап, на котором находится человечество.

В наше время научно-техническая революция, сокращенно НТР, конечно же накладывает определенный отпечаток на любую социальную, национальную, профессиональную общность, используем тут термин социологов — на любую индивидуальность.

Не забудем, что развитие цивилизации, изменение бытового образа жизни людей, эволюция профессий — все бьет прежде всего по мужчине, традиционно и изначально представителю физического труда, добытчику, охотнику, делателю... И это особенно верно в отношении горожан, особенно служащих, процент которых все растет.

Жизнь в современном городе, большом городе, строго говоря, не для мужчин. Между тем число людей, занятых в непроизводственной сфере, все увеличивается. Мужчины сидят по кабинетам и аудиториям, которые становятся для них и станком, и верстаком, и плугом. Плюс к этому колоть и пилить дрова им, как правило, не надо, печи топить тоже. На базар они ходят в виде исключения, готовят — забавы ради, по праздникам да по скандалам, когда с женой поссорятся.

Приходится выдумывать себе физические нагрузки: ходьбу, бег — словом, «осенний марафон».

Возьмите знаменитые терренкуры Кисловодска, где вы обнаружите десятки и сотни здоровых «мужиков», часами выгуливающих исключительно моциона ради. И попробуйте представить в этой роли кого-либо из аборигенов здешних же мест, тех, кто находится «на воздухе» по рабочей надобности — строителем, шофером, агрономом, делающими хотя бы шаг ради этого самого моциона.

Легче ли от всего этого городскому мужчине живется? Не думаю.

Примета времени в фильме — не какие-нибудь ЭВМ, реакторы, космодромы, а самые обыкновенные часы на руке Бузыкина, которые от многих других отличаются тем, что время от времени издают довольно-таки противное верещание, напоминая о сроках, заседаниях, встречах, мероприятиях. Словом, о необходимости быть энергичным и собранным, оперативным и категоричным

в наш супериндустриальный век, который набрасывается на человека потоками информации, сетевыми графиками, требованием быстрых и оптимальных решений... Бузыкин со своими колебаниями, рефлексией, своей гипертрофированной вежливостью, мягкостью и уступчивостью как бы выпадает из ритма, идет не в ногу, не смотрится — не только рядом с Хансеном, но и с хамоватой «скотиной» Шершавниковым, рядом с Варварой — Галиной Волчек даже, которая со своим «мне худо, Бузыкин», обвела вокруг пальца не только его самого, но и своих издателей. Конечно же и здесь причины того, что Бузыкин чего-то не достиг, кем-то не стал, до чего-то не дотянулся...

Рассуждая о художественном произведении, всегда, как на канате, балансируешь на грани искусства и действительности, рискуя смешать одно с другим. Настала уже пора вспомнить, что речь мы ведем все-таки не о реальном, живом человеке, нашем знакомом, а о художественном образе, который, по законам искусства, говорит нам значительно больше того, что могла бы сказать судьба одного человека. Можно поругать и осудить Андрея Павловича Бузыкина, можно пожалеть его. Но плодотворнее задуматься и пожалеть о том, что многие естественные человеческие качества — доброта, такт, сострадание, правдивость — часто остаются неузнанными в житейской суете и даже принимают в наших глазах иное, чуждое им обличье.

Фильм как бы возвращает всем этим качествам их первородную ценность, он как бы приглашает нас остановиться, оглянуться, вспомнить, как жизнь может быть прекрасна и как важно, чтобы люди, живущие, работающие, творящие бок о бок, умели бы понимать друг друга. Не так уж мало!

В одном из ранних своих романов Леонид Леонов самым надежным способом нравственного воспитания назвал «введение полезных идей в сознание читателя через неподдельное душевное волнение, доставляемое искусством». Вот это самое и происходит, на мой взгляд, в те часы, когда мы смотрим фильм «Осенний марафон». Итак, плут или простак? Простак, но в том же смысле, в каком дурак Иванушка из русской сказки, когда она подходит к концу.

Волки сгубили...

Книгу Василия Пескова «Шаги по росе» читатели заметили задолго до появления первой рецензии и даже... до выхода самой книги в свет. Как же это могло случиться? Дело в том, что книга эта родилась дважды. Первый раз на страницах «Комсомольской правды», где уже много лет подряд печатаются очерки, репортажи, новеллы и фотоснимки В.Пескова. И второй раз — в издательстве «Молодая гвардия», которое, без преувеличения скажем, по «социальному заказу» читателей вместе с автором собрало все лучшее, что было опубликовано в газете.

Итак, книга вышла. Она получила Ленинскую премию. Появилось у Пескова и еще несколько книг. Но, думается, и сейчас критик, решившись написать о них, испытывает немалые затруднения. Что сказать? Тому, кто еще не читал ее, надо попросту посоветовать сделать это поскорее. А тот, кто прочитал, пожалуй, уже не нуждается в комментариях. Ну что, действительно, добавишь к рассказу о том, как, скажем, в Каракумах, в этой стране песка и нестерпимого зноя, впервые купаются в полноводном канале его молодые строители;

как в Вешках, на Дону, шоферы, улыбаясь и переглядываясь, без очереди вежливо пропускают на паром единственную конную подводу;

как весь мир, затаив дыхание, слушает голос первого космонавта Земли и жена его у себя дома вытирает всей ладонью слезы и улыбается;

как сухой и педантичный с виду учитель во время урока кормит на подоконнике щеглов;

как в осеннюю пору скрипит тугая капуста в кузовах;

как хрупкой льдиной плывет над темными вербами месяц;

как кричит перепел, порхают дрозды на рябинах, клубится вечерами туман на земле и с тяжелой ношей садятся отдохнуть на цветы работящие пчелы;

как смотрят люди на человека, убившего в орешнике дятла «просто так»...

С книгой хочется побыть наедине. Как посидеть в одиночестве на берегу горного озера. Чистый берег, ясное, кажется, до мельчайшей песчинки просматриваемое дно. Все на виду, все просто. Но чем пристальнее всматриваешься в прозрачные воды, тем больше открываешь для себя.

Прозрачен и ясен мир книги. И кажется, все предельно близко, понятно и досягаемо в ней. Ее люди — это те, кто нас окружает; ее селения и города — те, в которых мы живем; леса, в которых мы бываем. Кажется, стоит сделать лишь шаг, чтобы тотчас же самим оказаться в этом мире.

Что ж, попробуйте, шагните — и вы непременно убедитесь, что это не так-то просто.

Разве мы и раньше не бывали в лесу? В горах, на берегу реки? Но почему же раньше так мало удавалось увидеть и услышать там? Почему столько звуков, кра-

сок, запахов, казалось бы таких ярких, явственных, стало доступно нам лишь теперь?

Разве не встречалась нам такая мужественная и прямодушная старуха, как Антониха, только что без мотоцикла, или такие простецкие русские девчата, как Люба-Любушка Перегудова из захолустной пензенской деревушки Ново-Студеновки?

Открытия — большие и малые — ожидают читателя чуть ли не на каждой странице книги. И, пораженный ими, их значением, он не может оставить без ответа возникающие перед ним вопросы. Начинается незримая, вначале даже и неосознаваемая, но такая интенсивная и слитная работа мысли и чувства, которая делает человека лучше, благороднее, возвышеннее, наполняет душу прекрасными и деятельными порывами. И он испытывает желание поделиться своими новыми ощущениями с друзьями, с членами семьи, а то и берется за перо: пишет автору или в редакцию.

«Сейчас около двенадцати часов ночи. В двенадцать подойдет автобус и отвезет меня на станцию Третьяково. Только что кончила читать последнюю страницу книги “Шаги по росе”. Получила огромное наслаждение, хоть многое и знакомо уже по “Комсомолке”. Книгу я, как хорошее вино, читала небольшими порциями, чтобы продлить удовольствие и ощутить всю тонкость аромата каждого репортажа, каждого рассказа.

Книга многому учит, многое открывает. Песков удивительно умеет затронуть в человеке очень потаенные и очень хорошие струны. Прочитаешь любой материал — и лучше начинаешь относиться к людям, и самому хочется быть чище и добрее. А после каждого его репортажа о лесе, охоте, птицах, зверях хочется брать скорее рюкзак — и в лес! Ходишь по лесу и иными глазами смотришь на него».

И вот еще:

«Получил я недавно письмо. Друг рассказывал в первых строчках о шахтерском житье-бытье. И вдруг просто выкрикнул: “Слушай, у меня не выходит Василий Песков из головы. Ты читал в “Комсомолке” его “Ржаную песню”? Вот сила! Черт возьми, зачитываешься до слез, честное слово! А о космонавтах как он сказал! Волей-неволей повторишь: “Тут ни убавить, ни прибавить””. Это пишет В.Савченко из города Шостка».

Да, в данном случае читатель не испытывает нужды в посреднике между собой и книгой. В этом утверждении нет преувеличения, как может показаться. Это не полемический прием, имеющий целью как-то задеть литературную критику. Это реальный факт, подтвержденный сотнями и тысячами писем, которые много лет приходят в редакцию «Комсомольской правды». Но уж сам этот факт, эта знаменательная направленность и пристрастность читательского интереса как раз и заслуживает пристального внимания литературной критики. Тут есть над чем подумать и есть чему порадоваться. И не только за автора, но и за тех, кто его читает, пишет ему.

«Три часа утра, а я не могу расстаться с книгой. Все в ней так завораживает, зовет все дальше и дальше шагать по необъятным просторам. Приношу автору свой земной поклон за все, что узнала и увидела. Хочется после такой книги встать, расправить плечи и сказать:

Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова».

Эти слова — «хочется расправить плечи» — заставляют неожиданно и невольно вспомнить сколько раз уже, правда, вспоминавшийся рассказ Глеба Успенского «Выпрямила». Согласимся заранее со всеми возможными упреками по поводу чрезмерности, приблизительности или затертости подобного сравнения. Нам важна здесь сама суть. Именно «распрямляющее» действие оказывает на человека знакомство с творчеством Пескова. И радостно сознавать, что подобной силой обладает красота нашей обыденной жизни, земли и природы нашей, духовное богатство и величие самых обыкновенных, реально существующих, среди нас живущих советских людей.

Впрочем, Песков, кажется, как раз и поставил перед собой задачу доказать, что обыкновенных людей у нас нет, а есть открывшие или не открывшие себя. И об этом, словно подтверждая концепцию журналиста, и свидетельствуют письма читателей. Потому что каждое такое письмо не только оценка книги, но и духовный портрет самого автора письма с его восприимчивостью, необыкновенной отзывчивостью на хорошее и жаждой искать и находить в жизни и литературе пример для себя, свой положительный идеал.

И когда раздумываешь над этим, приходишь к выводу, что нет ничего удивительного в необычайном интересе читателя и к личности автора книги «Шаги по росе». Он сам становится в их представлении положительным героем, тем самым, которого они порой ищут в художественной литературе. Ведь это он так много знает, так много видел, так хорошо разбирается в людях и жизни, так тонко умеет почувствовать красоту, так точно ее передать.

«Можно ли назвать Пескова писателем? — пишет Владимир Зыкин из Сыктывкара. — Я бы назвал его поэтом. Поэт, как мне кажется, не просто человек, умеющий складывать рифмы, а личность глубоко гражданственная в высоком смысле этого слова, который страстно ненавидит старое и пламенно любит новое».

И вот все настойчивее с каждой новой публикацией в газете, с каждой новой его книгой звучит в письмах просьба: расскажите о Пескове.

...Есть в каждодневности общения с человеком нечто такое, что понемногу стирает для тебя его своеобразие. И, встречаясь с ним в редакционных коридорах и кабинетах, обмениваясь привычными приветственными фразами, слыша, как его то хвалят, то поругивают на летучках, ты не без удивления узнаешь, что этим, «таким же, как все», человеком интересуются тысячи читателей, что в письмах к нему, незнакомому, они объясняются в любви, а в письмах в редакцию спрашивают, какой он, сколько ему лет, как выглядит, и даже строят различные предположения на этот счет. Ему самому, например, особенно нравится письмо, автор которого рисует его себе высоким блондином. Нравится, быть может, потому, что он-то как раз черняв и коренаст...

...Как-то в конце одного, теперь, увы, уже давнего, сентября я получил от Пескова телеграмму: «Выезжай. Встречаю Борисоглебске». Обратный адрес был: «Воронежская область, Хоперский заповедник».

«Вот удобный случай посмотреть на Пескова работающего», — подумалось мне.

И вот перрон. Песков подбежал, увешанный фотоаппаратами, показал на спешившего за ним пожилого человека в высоких сапогах и длинной клеенчатой куртке.

— Познакомься, Игнатыч из заповедника. Волчатник.

Поезд из Москвы уходит поздним вечером и приходит в Борисоглебск рано утром. Я приехал на Казанский вокзал прямо из редакции и, проспав ночь на

мягко вздрагивающей полке, вышел из вагона еще совершеннейшим москвичом, переполненным заботами и звуками большого города. И вот одним только словом «волчатник» Песков, как волшебник прикосновением магической палочки, перенес меня в совершенно иной, удивительный мир, в котором он чувствовал себя как дома.

Мы погрузились в ГАЗ-69 и поехали в хутор, до которого было 40 километров. Колдовство продолжалось. Песков рассказывал о зубрах, которых мы пойдем снимать завтра, об озере Тальниковом. Сейчас перелет. И уток на озере столько, что стоит только коснуться веслом борта лодки, как небо над головой становится похожим на серую, трепещущую на ветру шаль крупной вязки... Игнатыч прибавлял, что ежели время будет, то и на волков можно сходить. Василию Александровичу как раз депеша о выводке прибыла.

— Василий Александрович, Игнатыч не обидится, первый здешний волчатник, — продолжал уже Песков. — Да я бы сказал, не только в здешних местах. Сейчас-то, конечно, он просто рабочий в заповеднике. Волков почти не осталось. Но его все кругом знают, и чуть что — к нему. Очень интересный человек. Охотник-лирик. Их два брата. Сергей Александрович в Воронежском заповеднике — тот другого склада. Они как соберутся — так в спор. Василий Александрович говорит: «Волк — он умница». А Сергей Александрович возражает: «Дурак он, твой волк».

— Дура-ак, — укоризненно покачал головой Игнатыч. — Ежели бы дураком был, его бы давно и на дух не осталось. А он хитер, бестия. Умница!

Продолжая развивать тему, Песков то и дело останавливал машину, чтобы прицелиться одним из дальнобойных своих объективов в самую обыкновенную ворону или сойку, усевшуюся на столбе. И хотя дело было в воскресенье, ни шофер, молодой парень, ни Игнатыч не проявляли никаких признаков нетерпения: ждали послушно и уважительно. С таким же уважением хозяйка хуторского дома приезжих, в котором мы остановились, докладывала потом по утрам, тихо-тихо постучав в дверь:

— Василий Михайлович, синицы.

И Василий, спрыгнув с кровати, хватал один из своих «пулеметов» (так здесь прозвали его аппаратуру) и мчался на кухню. Окно ее выходило на солнечную сторону. А перед окном, на завалинке, Песков с вечера примащивал половинку арбуза, на которую и слетались синицы. Надо было видеть, с какой серьезностью и тщательностью, мурлыкая при этом неизменную «Ой ты, рожь, хорошо поешь!..», выбирал он вечерами арбуз, как раскалывал его пополам кривым садовым ножом, как, выбрав лучшую половинку, делал сбоку искусный надрез, который должен был показаться синицам естественной трещиной.

Отсняв синиц, Песков уходил с ведром арбузных корок, охапкой травы и зеленых веток на окраину села. Там, в маленьком загоне, рядом с конюшнями, бегала молодая оленуха Найда. Зимой ее нашел в снегу с переломанной ногой уже знакомый нам Василий Александрович Анохин. К весне нога поджила. Но, когда перед Найдой открыли ворота загона, она никуда не побежала и осталась жить на хуторе. К радости ребятишек... и Пескова, который их, кажется, всех переснимал.

С какой целью? Признаюсь, я не раз задавал себе этот вопрос. Зачем ему в таком количестве копии и этих синиц под окном, и сорок на обширной приусадебной ветле?.. Ведь он столько снимал и видел всего в диких больших лесах! Встречался один на один с разгневанным лосем, отбивался своим «пулеметом»

от вышедшей прямо на него медведицы. Подобно деду Мазаю, перевозил в половодье на сушу заячьи острова...

Стоит ли хлопотать ради одной синицы? Так спрашивал я себя и приходил к выводу, что иначе Песков просто не может. Он не может жить, не вглядываясь постоянно и пристально в окружающий его мир природы, потому что все в ней, с его точки зрения, полно значения, все заслуживает одинакового внимания. Ведь никогда нельзя предугадать, где и в чем удастся подсмотреть тебе то неуловимое движение, то неповторимое сочетание теней и красок, которое, кажется, одно только и способно заставить дрогнуть человека сердцем, вызвать то щемящее, пронзительное чувство, которое зовем мы любовью к родному краю.

И эта постоянная охота за прекрасным, охота с карандашом и объективом, превращает его жизнь в беспрерывный труд, а труд — в беспрерывное наслаждение, которое тем острее, чем больше людей разделяют его с тобой.

Для Пескова та поездка, быть может, и обыденность. А я вот вновь и вновь возвращаюсь к этим дням в заповеднике...

Раннее осеннее утро в хуторе, окруженном жестяно шелестящим лесом. Песков заряжает свои многочисленные аппараты. Под окном мелькает суетливая фигурка Василия Александровича, прикомандированного на эти дни к нам. Серые в полоску брюки заправлены по-казацки в вязаные чулки. Через плечо на брезентовом ремне перекинута фляга с водой — всегдашняя его спутница. У него слегка приплясывающая походка: высоко поднимет одну ногу и словно покачается слегка на другой, прежде чем переступить. Руки при ходьбе свободно висят вдоль тела, и только ладони в постоянном движении — то опускаются, то приподнимаются в такт шагам, как бы говоря идущим сзади: тише, тише, тише... Такие походки, наверное, вырабатывает лес, поиски зверя.

Вот Василий Александрович подводит к дому запряженную в фургон лошадь. Складывает на дно фургона аппараты, провизию, палатки. Сегодня в программе у нас — олений рев. К вечеру доберемся мы до оленьих троп на Терниковой поляне, разобьем палатки и, выбрав укромные места, засядем на несколько часов подманивать и снимать красавцев оленей.

Через плечо у Василия Александровича сегодня, помимо неизменной фляги, висит на толстой шерстинке стекло от керосиновой лампы — «пузырь». Вот он берет его, подносит ко рту и начинает кричать, подражая реву самцов оленей. Встрепенулся Песков, замер. А Василию Александровичу только это и нужно.

— А без стекла, Василий Александрович? — спрашивает наконец Песков.

— Без пузыря никак невозможно, — с готовностью отвечает тот. — Звук будет другой.

— А если все-таки попробовать? Вот я помню в Кавказском заповеднике...

Песков набирает воздух. Лицо его застывает, напрягается. Он резко и пронзительно свистит, а затем исторгает из груди своей несколько мощных звуков. У Василия Александровича в глазах хитреца. Он покачивает головой.

— Я, конечно, извиняюсь, Василий Михайлович, но это вы, как бы справедливей сказать, орете за самца благородного оленя. В Кавказском заповеднике такие, правда, и живут, а у нас олень пятнистый. У него и крик свой, без свиста.

Песков разводит руками.

Анохин, гордый одержанной победой, засовывает стекло глубоко в рукав тулупа, лежащего рядом.

— А вот вы как рассчитываете, Василий Михайлович, что, к примеру, сейчас лисица делает?

— Лисица сейчас, Василий Александрович, к зиме готовится. Норы укрепляет...

— Нет, Василий Михайлович, я имею в виду настоящий момент. К примеру, мы с вами едем сейчас на лошади, а она...

— Она, Василий Александрович, сейчас завалилась в норку и спит. И так будет спать до вечера.

— Вот правильно, Василий Михайлович, — прихохатывает довольный Анохин, — значит, уже вы к настоящему специалисту приближаетесь.

И он задумывается. Но только на мгновение, потому что следующая загадка уже готова. Впрочем, я еще раньше убедился, что под видом этих своих загадок Василий Александрович, как ему кажется, ловко и незаметно, нимало не поступаясь своим авторитетом лесного ведуна, и для себя выясняет, проверяет кое-какие вещи у гостя, которого он признал за своего.

— Поинтересуюсь я, Василий Михайлович, вашим мнением, извините, конечно, отчего такого ласка по ночам любит лошадей посещать? Чего она в их гриве ищет?

— Ну, это же ясно, Василий Александрович, — гудит Песков. — Ей соли не хватает, а у лошади после работы холка в поту. Вот она и слизывает соль у нее с гривы.

— Именно, — подхватил Василий Александрович. — А то, что она косички в гриве заплетает, так это вроде зарубки ставит: здесь, мол, я была, сюда уже не возвращаться.

Песков с большим уважением и пониманием относится к привычке Анохина одушевлять создания природы, приписывать им вполне разумные действия. Но истина прежде всего.

— Вряд ли, конечно, ласка додумалась бы до такого, Василий Александрович, — возражает он мягко. — Просто она берет волосинку и тянет ее зубами. И волосинка эта, она ведь мокрая, переплетается с другими. Так и получается что-то вроде косички.

Василий Александрович замолкает. Спорить ли дальше? Наконец он осторожно спрашивает:

— Это вы сами обдумали, Василий Михайлович, или прочитали где?

— Прочитал, прочитал, — охотно идет ему навстречу Песков, понимая, что тогда собеседнику легче будет согласиться с ним.

— А вот не приходилось ли вам, Василий Михайлович, — продолжает неутомимый охотник, — наблюдать, как самка летучей мыши ребятенков своих переносит? Нет? А я видел. Они под крыльями содержатся: по одному под каждым крылом.

Это сообщение вызывает у Пескова неподдельный интерес.

— А не заметили вы, Василий Александрович, каким образом они там держатся? Цепляются или присасываются?

— Вот этого не заметил, Василий Михайлович, почему и хотел у вас поинтересоваться. Вы человек ученый, не то что мы, дуболомы. Хе-хе-хе... Я шутейно, конечно, говорю. Может, и приходилось где вам читывать?

— В том-то и дело, что не приходилось, Василий Александрович, — говорит Песков. И чувствуется, что червь сомнения уже запал в его душу и теперь дело только за тем, чтобы выразить его в наименее обидных для собеседника словах.

— А вы давно такую картину наблюдали, Василий Александрович? — спрашивает он, немного помолчав.

— Да годков тому двадцать, пожалуй, Василий Михайлович.

Пауза.

— А с тех пор не приходилось больше видывать?

— Да нет, не видывал, Василий Михайлович.

Снова пауза. Более продолжительная.

— А не могло вам тогда показаться, Василий Александрович, дело-то ведь, наверное, под вечер было?..

Для старого волчатника такая беседа с «московским человеком», проявляющим необыкновенную осведомленность в тонкостях лесной жизни, — редкое удовольствие. Для Пескова это, как и его непрестанные съемки, и удовольствие и работа.

— Меня волки сгубили, — вздыхает Анохин, — не шутейно вам говорю. Мои товарищи кто инженер, кто фельдшер, а хуже меня отметки получали. А я что? Дурачок перед ними. Рыжий. Одно слово — волчатник. Когда еще волки были — я первый. А сейчас кто меня слушать станет... Который год твержу: плотину надо на Хопре ставить. Проект у меня такой имеется. Говорю дочке: ты десять классов кончила, грамотная, знаешь, как запятые расставить, напиши заметку. Правда, нет ли, — сейчас, если точки не так расставишь, не примут заметку... А?

Когда у человека возникает потребность подвести итоги своей жизни, его не надо прерывать. Потому что и согласие и возражение могут показаться ему одинаково обидными. Ведь рассуждает он, по существу, не с собеседником, а с собой.

Не спеша, опустив голову, шагает по лесу лошадь. Осень шуршит листом под ее ногами и под колесами брички.

— Богатство-то какое! — восклицает Василий Александрович. — Золото чистое. Так под ноги и валит.

Впереди, оповещая лес о нашем движении, кричит сойка.

— Очень я сойкин голос обожаю. Трогает он меня невыносимо.

Василий Александрович вдруг останавливает лошадь, привязывает ее к дереву и, не говоря ни слова, углубляется в чащу. Мы за ним. Перед нами маленькая круглая полянка. Посреди нее — целые холмы слежавшейся земли и глины. Мы вышли к барсучьей норе. Василий Александрович показал нам в пожухлой траве едва заметную тропку. По ней, объяснил, барсуки таскают грибы и дубовые листья.

— Листьями они нору устилают, а грибы, — Василий Александрович потыкал прутиком в листве, — грибы — вот они. Они их вначале на воле сушат, а потом уж в кладовочку тянут.

Сейчас хозяина дома не застанешь — по-темному уходит, по-темному приходит. А для незваных гостей зарубочки ставит. Василий Александрович показал на две свежие ссадины на дереве примерно на уровне его глаз.

— Это он на цыпочки встает и отметки делает: вот я, мол, какого роста, берегись. — Он еще раз нагнулся к норе и стал пристально, ладошка козырьком, всматриваться вглубь. Неожиданно он попросил Пескова сфотографировать его в такой позе.

— Ну вот, — удовлетворенно и великодушно сказал он, когда Песков, благодушно улыбаясь, выполнил его просьбу. — Теперь вы все сможете в газету описать о барсучьей норе. И снимок дать, где он, значит, живет, барсук, чем пита-

ется, как гуляет и какую пользу дает сельскому хозяйству. А можно, конечно, в случае чего сказать, что это волчья нора, вроде мы выводок нашли. И заголовочек дать «Удачная охота».

Тут мы невольно переглянулись. Особенность Василия Александровича заключается в том, что он никогда не упускает случая «свою образованность показать».

Василий Александрович между тем истолковал наши взгляды по-своему.

— Можете не сомневаться, — успокоил он, — у волка нора все одно что у барсука. Но только волка, конечно, мы сейчас не обнаружим. Нету волка, — с грустью повторил он. — А для вас, может, снимок с волком ценнее будет, потому волк — хищник...

— Вот хищник, а страху у меня на него нету, — продолжал Василий Александрович некоторое время спустя. А мы не сразу и догадались, о чем идет речь, потому что успели уже вернуться к лошади, разбить палатку и разобрать рюкзаки.

— Какого другого зверя скорее напугаешься. — Он вытащил из кармана пачку махорки и тщательно потрусил вокруг палатки. — А как же, надо, — объяснил он. — Может, гадюка или еще какая гадость приползет... Волк — другое дело... Чу! — Василий Александрович замер и предостерегающе поднял руку. — Слышите? Слышите? — не сказал, а выдохнул он. Прекратился, словно его выключили, назойливый комариный гуд. И из глубин леса, из неведомой дали дальней, словно дыхание ветра, долетела низкая, исторгнутая из немыслимых глубин нота. Потом еще и еще. Звук за звуком наплывал на поляну. Мы уже знали, кому они принадлежат. Стояла пора осеннего оленьего рева, тогда трубным голосом олень-самец вызывает соперников и бьется с ними насмерть. Вот что-то зашумело совсем рядом. Послышалась тяжелая поступь, затрещали кусты, и на поляне показалось нечто огромное с седыми вздыбленными боками и высоко поднятой рогастой головой. Щелкнул затвор фотоаппарата. Зверь повел головой и, заметив нас, несколько секунд смотрел пристально, не отрываясь. А потом шарахнулся обратно в лес. Долго еще был слышен треск и шорох.

— Лось проклятущий! — в сердцах сказал Василий Александрович. — Всех оленей нам разгонит. Надо глубже забираться. Тропы искать. Подманивать.

Он приложил стекло широким концом к губам и рявкнул неожиданным для такого тщедушного тела басом:

— Э-э-э! Э-а-а!

Помолчал. Прислушался. Издалека ответили. Василий Александрович непроизвольно сделал несколько быстрых шагов навстречу звукам. Мы — за ним.

— Сидите, — шикнул Василий Александрович.— Сюда выйдут.

Исчез. И вот уже издалека доносятся его крики, а вскоре мы совсем перестали отличать голос Василия Александровича от звуков, которыми полон вечерний лес. Но вот шуршание и топот все слышнее, все ближе, и, словно скользящие тени деревьев, появились и исчезли ветвистые рога. Видение повторялось вновь и вновь. Мы и не расслышали, как подошел Василий Александрович и сел рядом на поваленную осину.

— Конец, — сказал он. — Теперь оленя до утра не услышишь.

Мы взглянули на него недоверчиво.

— Точно говорю, — словно бы даже обидевшись, подтвердил Василий Александрович. — Сейчас в лесу звук другой. Сейчас в лесу сову слушать надо. — Ска-

зал и опять словно тайный знак какой подал жителям леса, потому что через несколько минут мы услышали совсем недалеко от себя «бу-бу-бу-бу-у-у-у...».

— Сова, она мышатину любит, — пробормотал Василий Александрович. — Вот мы ее и угостим.

Он присел на корточки и провел по сухой, шуршащей листве рукой. И тут же что-то большое и черное мягким, беззвучным камнем упало на ветку дерева метрах в трех от нас.

— Вот мы ее и угостим,— повторил Василий Александрович и, продолжая шуршать листвой, пискнул, как мышь, тонко, пронзительно. Сова оторвалась от ветки и так же беззвучно спланировала прямо на него.

Никогда еще не чувствовал я себя в лесу так по-домашнему. Словно сумерничаешь в тепло натопленной избе, где достаточно протянуть руку, чтобы достать крынку молока с полки...

— Хорошо, Василий Александрович, — не выдержал Песков.

— Ну, — сказал Василий Александрович, — разве это лес? Это ежели бы сейчас вот из того ложка, вам его не видно, безусловно, так вот из того бы ложка сейчас — волчок. Соскучился я по ним, скрывать нисколько не буду... Бывало-то как, — продолжал он, когда мы уже возвращались к палатке, — октябрь подойдет, в октябре откуда-нито ждать депеши: мол, Василий Александрович, выводок обнаружили. Эх, сейчас с этой депешей к директору: так и так, выправляй командировку. Чтобы кто когда против — ни боже мой! Да и прав таких не имеет. Только и скажет: дескать, Василий Александрович, я с тобой. Оно конечно, и с моей стороны отказу нет, потому у директора машина, продовольствие.

Прибыли на место. За километр командуешь: становись! Тут уж все едино — директор или сам инженер какой. Все в строй, в строй... Неудобно ему, неловко, но встает... Проверишь курки, чтобы не спустили невзначай. У кого войлочные пыжи, спросишь, потому как в засаду с ними нельзя. Откликнутся: у меня, мол. Так. Понятно. Ты, ты и ты — в загон. У директора тоже войлочные — тоже в загон.

«Я в загон? Не пойду», — говорит. Тут обязательно на своем стоять. Не то все вразнобой.

Неплавно течет рассказ Василия Александровича. Он бурно жестикулирует, то срывается с места, то садится, и чувствуется, ярко и больно переживает вновь минуты своего величия. В те часы и сейчас в эти минуты он первый над людьми. «А кто из нас не рождается с желанием первенствовать?» — шепчет мне с улыбкой Песков. И, словно подтверждая его мысль, Василий Александрович возвращается к юности, к той поре, когда убил он первого волка.

— Сидим потом в избе, сбросили шапки, полушубки поснимали. Пар стоит. Старшой водку разливает. Я молодой, в дальний угол забился. Берет он первую рюмку. Кто, говорит, матерого подвалил? Молчу. Кто, повторяет, подвалил? Я опять же молчу — ни гугу. Мне откликаться не положено. Охотники сами покажут: вот этот, мол, парнишонка. Тут мне первую рюмку.

Василий Александрович переводит дух.

— А я потом две ночи не спал, все, как было, снова и снова вижу. В мыслях своих иду на то место. Вот здесь волк был, здесь я стоял, вот так он на меня пошел, отсюда я его...

Сколько потом этих волков было, а характером я все такой же остался. Нервный. Я вот какой охотник... Приходим, к примеру, на место, это еще когда молодым был. Говорю: вот сниму халат, изорву, шапку заброшу, ружье возь-

му — и об осину, если я волка не убью. Только, говорю, поставьте меня, где я велю. Ну где ж им послушать. Подходит время. Стою. Вот они, волки-то. Да все мимо меня, да в аккурат на то место, о котором я просил. А там никто. Бежит старший — видит, промахнулся он. Морда красная. «Василий Александрович, — кричит, — меня смолоду по отчеству звали, — ты халат-то сними!» Дело ясное. Халат казенный. Опасается. Шапку я, правда, забросил, как и обещал. А что ружье об дерево — нет, погожу. Ружье мне еще понадобится. Тем более не моя вина...

Песков еще раньше рассказывал мне, что волков убил на своем веку Василий Александрович очень много. Трехзначной цифрой исчисляется их количество. Но он очень мало и как будто бы даже нехотя говорит об этом последнем и, собственно, самом главном акте — о выстреле и смерти, о том, ради чего и ведется вся охота. Казалось, что если бы каким-то чудом можно было сделать так, чтобы охота существовала без этого злополучного последнего акта, он был бы даже рад. Разве фехтовальщику нужен вид крови? Разве боксер жаждет смерти своего противника? Волк для Василия Александровича был соперником. Хитрым, сильным, умным — словом, достойным всяческого уважения. И он не просто убивал его, он ходил за ним, изучал его повадки, свыкался с ним, как привыкают на ферме к домашней скотине, за которой ухаживают и которую рано или поздно пустят все-таки под нож.

— Меня вот спрашивают иногда на семинарах: Василий Александрович, а правду говорят, что волк дурак? Дура-а-ак... Если бы он дураком был, его бы давно уж и на дух не было...

Раз в год Василия Александровича действительно приглашают на неделю, на две в областной центр, в область. И там он, как самый настоящий учитель, лектор, преподает на охотничьих курсах волчью грамоту...

— Он, возможно, уже и научился вабить, выть то есть, а послушаешь, нет, с таким голосом зверя не возьмешь. Если какой охотник на один голос воет, волк может и не отозваться, подумать, что это матерой подъярка окликает: волчица часто подъярков привлекает — за малышами ходить. А вот когда ты полежишь на зорьке, послушаешь их разговоры, когда ты как бы внутрь семейства проникнешь, в их семейное войдешь, тут он обязан откликнуться...

Вот все это и объясняешь. Сначала как бы теоретически, что вот, мол, есть голос степного волка, он мелодии вести не может. С лесным волком они друг друга не поймут. Лесной — тот артист... Потом на природу выезжаем, волков в натуре послушать. Но беда в том, что последнее время они грамотные стали, на голос больно жадные. Вот и приходится самому. Одного подправишь, другому покажешь. А их двадцать человек, шутка ли? За день-то навоешься...

Утром мы отправляемся в обратный путь. Уже у самой деревни нас встречает ватага ребятишек.

— Василий Александрович, — хором кричат они, — а телята вашу отаву разворошили и едят!

Он приходит в сильное возбуждение:

— Ах ты, пропасти на них нет! Чьи телята-то? — Кажется, еще секунда, и Василий Александрович устремится за обидчиком. Но он так же внезапно успокаивается.

— Ну ладно, едят, так и черт с ними, я, конечно, извиняюсь. Всю, может, еще и не съедят, хотя, конечно, это нахальство — чужую отаву травить. Я что говорю, — поворачивается он снова к нам, — если бы я не был волчатником, я

бы умер, честное благородное слово. А пойдешь в лес, подвоешь — волки откликаются, и душа полна радости. Меня волки сгубили, ей-богу.

Кто из нас не ищет себе примера в людях! И не случайно, наверное, чаще других предметом нашей зависти и восхищения оказывается человек призвания. Счастливый дар — угадать его в себе, подчинить и подчиниться. Задумываясь над этим, мы совершенно естественно обращаемся мыслями к людям большим, целям пламенным и героическим.

Но вот старый лесхозовский рабочий, которого открыл мне Василий Песков. Судьба и облик его убеждают, что счастливцы ходят по земле рядом с нами. И кажется, что все они добрые старинные друзья и знакомые Пескова.

Один разговор с Анохиным, другой, поездка по заповеднику, съемки, кольцевание уток, ловля выхухолей — всюду вместе. И не подозревает старый волчатник, что его самого уже «обложили» не хуже волка. Если уж напал Песков на интересного собеседника, ничего он в нем не пропустит...

Вот мы прощаемся с Василием Александровичем, и я знаю, что в первую же свободную минуту достанет Песков свой уже и без того разбухший блокнот и тщательнейшим образом зафиксирует в нем все мельчайшие подробности этих дней. Быть может, Василий Александрович станет героем очередного большого очерка в газете. А может, и всего-то одно характерное словечко, одна не замеченная мною деталь мелькнет в его грядущих репортажах. У журналиста, как и поэта, в грамм — добыча, в год — труды.

Завидуешь естественности, простоте, непосредственности, с которой ведет и чувствует себя Песков в мире своих героев, знакомом ему с детства.

Чувства любви и уважения к этому миру родились задолго до того, как Песков впервые подумал о профессии журналиста. Он с детства полюбил лес, потому что жил в нем, рос с ним рядом в маленьком воронежском селе. Потому что лес в те тяжелые годы был в своей неисчерпаемой щедрости кормильцем людям, согревал их дома и сердца, смягчал опаленные войной души.

И, наверное, именно с тех пор красота души человеческой в представлении Пескова всегда так или иначе связана с красотой природы, с ее всепроникающим влиянием.

Он очень широк, мир героев Пескова. В нем живут не только рыбаки, охотники и лесоводы. Его населяют инженеры и кукурузоводы, врачи и радисты, летчики и милиционеры. Но о ком бы ни писал журналист, мы всегда становимся свидетелями этой чудесной связи человека с природой. И тут не выдумка, не домысел автора, не навязчивая идея журналиста. Тут дело в том, что он не устает искать и герою своему помогает найти в себе следы этой связи, вспомнить, что и у него в жизни был первый снег на лесной тропе, и яблоки в руках, и ранние зори над озером, и восход солнца в степи...

А там, где звучат эти струны, — там раскрывается душа человека, и ближе, понятнее становятся собеседники друг другу. Вот как хорошо сказал об этом инженер Нерулаев из Удмуртии в своем письме Пескову: «Ваши небольшие рассказы о людях, о природе. Читая их, буквально чувствуешь запахи трав, леса, видишь и охотника с сизым носом, и покосившийся плетень. Быть может, такому восприятию помогает то, что в детстве я жил в селе, где отец работал агрономом. С ним мне посчастливилось бывать летом целыми днями на полях колхозов. Дурманящий запах трав и полевых цветов, ноги купаются в пыли, теплой, как парное молоко. Как хорошо после грозы идти босиком по лугу, где в мягкой, шелковой отаве стоят чистые зеркальца воды! Такое никогда в жизни не забудешь.

Спасибо вам за ту радость, которую доставляет мне любая ваша заметка».

И мне кажется, что все те же неутомимые поиски прекрасного в человеке, в природе, во всем окружающем нас мире привели Пескова к теме космоса и определили его успех. Вспомните «Интервью перед стартом», опубликованное впервые в «Комсомольской правде», а затем неоднократно переиздаваемое. Внимательному, вдумчивому читателю это «Интервью» одинаково много говорит как о космонавте Павле Поповиче, так и о его собеседнике — Пескове.

В ответах космонавта раскрывается перед нами тонкий и богатый душевный мир настоящего советского человека. Но перечитайте вопросы журналиста, и вы увидите, как многое он угадал в своем собеседнике, угадал потому, что он сродни ему по духу, по мысли, по вкусам и симпатиям. И как многое предугадал журналист в ожиданиях читателя, как бестрепетно отделил зерно от плевел — благородный, возвышающий интерес и восхищение перед человеком подвига от праздного, щекочущего нервы любопытства.

В своем стремлении подружить с природой буквально миллионы людей Песков ненасытен и поистине неистощим на выдумку. Он бьется не только над формой каждого нового своего произведения. Он озабочен тем, как помочь читателю выстроить в систему его знания об окружающем нас живом мире, и плодом этой озабоченности становятся постоянные «именные» рубрики. Последняя из них — «Окно в природу», которое Песков на протяжении ряда лет открывает еженедельно. По форме это всего лишь редкая фотография и комментарий к ней. По сути — еженедельная проповедь любви и уважения к природе, обращенная к людям всех возрастов.

Комментирует Песков живописно, умело и лаконично, переводя на язык, понятный миллионам, порою очень сложные биологические закономерности. То, что с чисто специальной точки зрения эта работа ведется квалифицированно, подтверждают многочисленные письма биологов.

Для каждого своего разговора о природе Песков умеет выбрать такую тему, которая позволяет незаметно перейти к миру человеческих чувств и отношений. Двадцатистрочные заметки выполняют задачу нравственного воспитания. Уроки усваиваются без нажима и назидания. Замечательный советский педагог А.Сухомлинский рассказывает в одной из своих книг, как он, решив раздвинуть стены классной комнаты, вынес занятия с ребятишками в поле, в лес, на озеро, на ферму. Песков делает то же самое оружием печатного слова.

А теперь о двух обстоятельствах, которые часто вызывают споры, когда речь о Пескове заходит на страницах печати либо в профессиональном журналистском, писательском кругу. Характер этих споров и сам факт их существования лишний раз, на мой взгляд, подчеркивают, что творчество Пескова — явление самобытное, незаурядное, которое не так легко вписать в привычные рамки.

Называя Пескова «певцом природы», критики часто как бы знак равенства ставят между понятиями «певец» и «созерцатель». И тут звучит основанный на недоразумении упрек Пескову в том, что он-де, рассказывая о красотах природы, недостаточно энергично выступает в ее защиту. Упрек такой, а слышать его приходится нередко, даже и с фактической стороны неточен, ибо перу Пескова принадлежит немало гневных публицистических выступлений на тему охраны природы, о которых я еще скажу. Но суть даже не в этом. В том и заключается один из секретов воздействия Пескова на читателя, что сама проповедь добра, красоты, любви к природе неотделима у него от обличения всего того, что стоит на пути к красоте — в природе ли, в человеческих ли отношениях и связях.

Его «Драма на Курбских гарях» — это острое и гневное выступление против головотяпства, бюрократических извращений — стала первым в нашей печати тревожным сигналом об издержках и крайностях в химизации в сельском хозяйстве.

А очерк «Живая рыба»? Как выступление на важную народнохозяйственную тему он стал предметом обсуждения на заседании Совета Министров СССР, который принял в связи с этим ряд важных мер по возрождению такой забытой, заброшенной отрасли сельского хозяйства, как рыбоводство. Как проповедь, обращенная к душе и сердцу сельского жителя, очерк растревожил в людях, молодых и старых, чувство любви к родному своему селу, где пруд исстари был одной из достопримечательностей, любимым местом отдыха, общения.

А «Речка моего детства»? Кто здесь Песков — моралист или «проблемник»? И чего здесь больше — экономики, политики, морали? Говоря об экономике, писатель обращается к самым тонким движениям человеческой души, проповедует гуманность. Говоря о человечности, лишний раз доказывает, что сфера ее проявлений гораздо шире мира интимных, личных отношений. Не случайно многие отклики на очерк, посвященный таким прозаическим вещам, как обводнение, мелиорация и землепользование, начинаются словами: «Вы заглянули в мое сердце».

И еще одна сторона его творчества, которая вызывает оживленные дебаты. Кто же сегодня Песков: журналист, газетчик или писатель? И тут хочется задать встречный вопрос: а обязательно ли, всегда ли надо ставить разделительный союз между двумя родами деятельности? Не будем углубляться в этот схоластический, на мой взгляд, спор. Вспомним лишь, не заглядывая в седую старину, что уже в наше время он возникал в связи с такими, например, именами, как Овечкин, как Дорош, Троепольский. Скажем и о том, что повседневная работа в газете — вовсе не помеха творчеству.

Что же касается Пескова, то последние годы, принесшие ему поистине всенародную славу, ничего не изменили ни в его рабочем расписании, ни в его методах работы. И каждая его новая книга — а их после первой, отмеченной высшей наградой, появилось уже несколько — в издательстве рождалась вторично. Первое рождение — в газете.

И тот, кто сегодня, исходя из самых лучших побуждений, задался бы вопросом, кто такой Песков — сегодняшний Пришвин, Паустовский, Бианки? — должен был бы ответить себе: Песков сегодня — это Песков.

Джордж У. Колдуэлл и другие

О романе Д.Апдайка «Кентавр»

Хотя роман Джона Апдайка и называется «Кентавр», а кентавр, как известно, образ мифологический, в книге не происходит ничего сверхъестественного. Наоборот, жизнь, свидетелями которой мы становимся, протекает на редкость буднично и бесцветно. Да и что может быть прозаичнее существования провинциального учителя в заштатном американском городишке, находящемся во власти вселенского хама — многоликого, многовозрастного и неистощимого в своих мерзких проделках. Он то в образе директора лезет рыхлой лапой под кофточку к ученице, то пакостником-школьником нацеливает самодельную железную стрелу в ногу учителя, то в виде великовозрастного лоботряса без определенных занятий разглагольствует о преимуществах фашистской системы править миром...

От такой жизни не жди чудес. И все-таки чудо совершается. За какие-нибудь три дня учитель Колдуэлл, герой романа, из затурканного и нелепого, вызывающего всеобщую жалость и пренебрежение неудачника, эдакого юродивого, дурацкая вязаная шапочка которого повергает в отчаяние даже его сына, вырастает на наших глазах в титана.

Однако сколько бы мы ни перелистывали вновь и вновь страницы книги, как ни раскладывали бы по часам все события этих последних дней в жизни провинциального учителя, мы нигде не найдем и намека на эволюцию в духовном или умственном облике Колдуэлла.

Не без удивления обнаруживаешь, что изменился не герой. Сдвинулось, непременно должно сдвинуться что-то в читателе. В том числе и предвзятом. Это не случайная оговорка. С сожалением приходится констатировать, что предвзятость — весьма распространенное свойство читательского восприятия в наши дни. И не только читательского.

Предвзятость — это когда, оставаясь с глазу на глаз с произведением искусства, мы слышим, видим, реагируем собственно не на него, а на какие-то внешние, формальные его признаки, которые побуждают нас немедленно отнести нового знакомца к той или иной категории произведений, из которых одна мила нам, а другая противна. Предвзятость — это когда тот или иной театр в моих глазах всегда плох, что бы и кого бы он ни поставил, а тот или другой писатель заведомо хорош, что бы он ни написал... Это когда все, что рождается в сфере литературы и искусства, предназначено лишь для того, чтобы подтвердить непогрешимость моей концепции.

Вот и в отношении «Кентавра» легко предугадать возможность обманчиво непримиримых воззрений, из которых одно поспешит увидеть в романе новое проявление упадочно-модернистских тенденций в современной буржуазной литературе, а другое — превознести благословенность трещины, которая одна лишь и способна наделить человеческий характер приметами «истинной сложности».

Исходя из образно-стилистического строя произведения, кажется действительно нетрудным определить место нового романа Апдайка на полке литературы, развивающейся под деформирующим влиянием философских и эстетических концепций вроде фрейдизма. Отсюда, кстати, и усложненность формы, способная отпугнуть рассеянного читателя. Однако истинно талантливое произведение всегда выше разного рода направлений и течений. Даже рожденное ими, оно в конце концов разорвет их путы. Оно само — родоначальник и прародитель.

Роман Апдайка способен одолеть барьер предвзятости, даже обоюдоострой,— таким от него веет ароматом неповторимости.

Кентавр, согласно древнегреческой легенде, получеловек-полуконь. В сущности же это полубог-получеловек. А если иметь в виду самое широкое толкование понятия, то нам вообще может быть безразлично, из каких половинок состоит целое. Важно, что оно половинчато. Кентавр — синоним раздвоенности.

Ну, а Колдуэлл, герой романа?

Два чувства, две стихии стремятся одолеть и погубить его.

Боль — живое, безжалостное существо, которое не расстается со своей жертвой ни на минуту... «В своем теле он находит боль любой формы и цвета». Собирается ли он на работу, ведет ли урок, блуждает ли в снежном тумане, боль всегда и повсюду с ним. Она запускает свои щупальца в череп, расправляет влажные крылья в груди, ослепляет кровавым туманом, мохнатыми лапами теснит сердце и легкие...

Писатель рассказывает о боли с такой очевидностью, с такой ужасающей достоверностью, что кажется, так написать мог лишь человек, сам переживший эту боль и умерший от нее вместе с героем. Тем дороже для Апдайка то почти нечеловеческое сопротивление, которое оказывает страданиям Колдуэлл. Даже самые близкие Колдуэллу люди до самого конца не подозревают о силе и источнике его мук. Лишь однажды отчаяние прорывается наружу в присутствии сына:

«— Должен же быть какой-то способ тебя вылечить, — сказал я.

— Убить меня, — сказал он. Эти слова так странно прозвучали на темной и холодной улице... — Самое верное средство, — сказал он, — убить».

В нетерпении донести до читателя всю необъятность мужества среди безмерности страданий Апдайк, художник милостью божьей, умеющий найти зримое, живописное выражение каждому чувству, ощущению, переживанию героя, нередко отбрасывает кисть и многоцветную свою палитру, чтобы схватиться за обыкновенное автоматическое перо. Лишь обнаженная публицистичность мысли кажется ему тогда единственно надежной.

Колдуэлл — это сложный характер. Но если бы, не стесняясь утилитарности своих намерений, мы попытались расщепить его, свести к какой-то одной, доминирующей черте, ею оказалось бы это умение переносить, таить в себе боль, которое и становится содержанием последних дней жизни героя. И если бы нам нечего было больше взять в Колдуэлле, кроме этого потрясающего в своей будничности стоицизма, мы и перед ним должны были бы преклонить колени. Однако, сделав первый шаг навстречу герою, мы тотчас же обнаружим, что перед нами — целый мир, и мы, конечно же, не захотим оставаться на его пороге...

Способность противостоять мукам — в сознании людском это извечно одна из высших и истинных человеческих добродетелей и всегда примета человека незаурядного, одушевляемого великими целями. Но что дает силы Колдуэллу? Ответ поначалу напрашивается самый странный: страх.

Страх смерти и боязнь потерять свое место учителя. Но не поспешим с выводами. Задумаемся лучше: почему эти столь несоизмеримые опасности в его представлении одинаково страшны? Да потому, что каждая из них в равной мере способна лишить его возможности делать то, ради чего он живет, — содержать семью, жену, сына...

«Господи, да если я уйду из школы, мне одна дорога — на свалку...» «Сыграй я сейчас в ящик, они с матерью засядут в своей дыре, а есть, наверное, будут цветы с обоев. Нет, я не могу позволить себе умереть...»

Колдуэлл немало поскитался по дорогам Америки, достаточно хорошо изучил ее, чтобы понять: в этом мире человеку не приходится рассчитывать на чью-то поддержку. Близкие ему люди погибнут, если его не будет рядом. И вот, отказывая себе в праве даже на смерть, поставив крест на мечтах и способностях, порывах и надеждах молодости, он идет, никуда не сворачивая, однажды выбранной дорогой. Он нисколько не обольщается, не надеется на то, что его жертва будет понята, отмечена, оценена. Участь пусть скромного, но счастливого отца семейства, слух которого непрерывно услаждался бы возгласами хвалы и благодарности со стороны домочадцев, не грозит Колдуэллу. Он уверен, что в глазах жены и сына, не говоря о всех прочих, он всегда был и останется неудачником, чудаком... Но он и пальцем не пошевельнет, чтобы что-то изменить в этом отношении. Не потому, что ему импонирует роль непонятого, и не потому, что ему все безразлично. Он, как бегун на дистанции, дорожке и только дорожке отдает весь остаток своей энергии, чтобы упасть в конце ее бездыханным, не зная, какая буря разразится над его головой — гул восторга или насмешливый гогот. «Сделай все возможное — больше никому не дано».

Колдуэлл — это современный Сизиф, который не по принуждению, а добровольно взялся катить камень в гору и катил его до тех пор, пока не пал под его колоссальной тяжестью.

«Впереди, как крутая гора, высилась безнадежная усталость. От мысли, что снова придется изворачиваться перед Зиммерманом, миссис Герцог и всей этой огромной деспотичной олинджерской бандой, ему становилось тошно; как могло семя его отца, таившее в себе беспредельные возможности, взрасти вот здесь, на клочке бессильной, неблагодарной, враждебной земли, среди непроницаемых лиц, в четырех замкнутых стенах двести четвертого класса?

Подойдя к машине ближе, так, что в крыле появилось его вытянутое и искаженное отражение, он понял: это колесница, которую прислал за ним Зиммерман. Уроки. Он должен совладать с собой и подготовиться к урокам.

Почему мы чтим Зевса? Потому что другого бога нет».

В этих словах, рисующих нам Колдуэлла за минуту до его смерти, — трагедия его судьбы и подвиг его жизни. Сливаясь воедино, они рисуют современного Хирона с его двуединым телом характером редкостной цельности, в котором даже и намека нет на какую-либо раздвоенность, половинчатость. Поведение Колдуэлла все до мельчайших поступков и помыслов подчинено внутренней логике, логике благородства. Другого бога нет.

Вот почему даже испытываемое Колдуэллом чувство страха неожиданным образом не принижает, а возвышает героя в глазах читателя. Конечно же, Колдуэлл не боится ни директора Зиммермана, ни миссис Герцог, ни всей этой олинджерской банды, именующей себя его классом. Он не боится их, а как бы заставляет себя бояться, напоминает себе об этой необходимости, как об узде, которая не дает кентавру вырваться и растоптать копытами это царство мер-

зости. И если он чему-либо и изменяет в себе, то только чувству страха, ибо даже угроза потерять место, то есть последнее, что у него есть, не позволяет ему мириться с гадостями, которые творят люди, держащие его судьбу в своих руках. Страх Колдуэлла — это всегда чуть-чуть розыгрыш, мистификация.

Человек создан для идеала, для подвига, для служения. Он, даже не находя достойного применения своим силам, будет, подобно художнику, не имеющему под рукой необходимого материала, творить из того, что его окружает, и создаст шедевр. Таким феноменом и является одержимость Колдуэлла, его безоглядная отданность единственно понятной для него цели.

«Что ж, он не зарыл свой талант в землю, он извлек свечу из-под спуда, и все увидели, какая она — сгоревшая свеча».

Колдуэлл, в оковах своей боли, сражался в одиночку и выстоял до конца. Плацдарм, доверенный ему жизнью, он защищал с честью. Так не будем торопиться зачислять его в когорту сломленных обстоятельствами, хотя они, обстоятельства, действительно погубили его. Им удалось сделать его несчастливым, но они не смогли сделать его слабым. Только поняв и постигнув эту главную истину, мы вправе перейти к размышлениям о том, каких высот могла бы достигнуть личность, подобная Колдуэллу, окажись она в других условиях, попади на другую почву, имей возможность выйти за круг только семейных забот, обогатись ясной и подлинно величественной жизненной целью...

Таков Колдуэлл, этот современный кентавр. И двойственность следует искать не в нем, а вне его. Двойственно положение Колдуэлла в мире зиммерманов, двойственно отношение к нему людей. Колдуэлл противостоит окружающей его среде и в постоянной борьбе с ней как бы откупается тем, что по сравнению с его сверхзадачей представляется ему не имеющим значения. Сознательно жертвует внешними приметами достоинства, уважения, признания. Это дано понять не каждому.

Разгадает ли загадку Колдуэлла его сын Питер — вот вопрос, который особенно заботит писателя.

Размышляя с ним вместе над этим, мы незаметно и сами из свидетелей превращаемся в участников событий. Итог, к которому придет Питер, немаловажен и для нас.

Питеру свойственно многое из того, что на Западе принято считать характерным для нынешнего молодого поколения, под каким бы небом оно ни росло. Это изрядная доля практицизма, гиперболизированная трезвость, скепсис, откровенная тяга к удовольствиям и радостям жизни. Питеру они тоже кажутся соблазнительными, и его раздражает, стесняет, а порой и бесит все, что мешает ему иметь такие, кажется, доступные для других блага, элементарные удобства. В числе этих помех и вечная неисправность автомобиля, и сыпь на коже, доставшаяся в наследство от матери, и главное — очевидная всем неполноценность его отца.

«Джонни Дедмен был одним из моих кумиров», — признается Питер. Джонни Дедмен с его широкими, чуть оплывшими плечами, поднятым воротником канареечно-желтой вельветовой куртки, с причудливой копной давно не стриженных волос, на затылке торчащих лоснящимся хвостиком. «Он остался на второй год, но зато в совершенстве умел проделывать все бессмысленные чудеса, требовавшие ловкости, — прекрасно танцевал под джаз, без промаха попадал в лузу механического бильярда, ловил на лету ртом соленые орешки...».

В какой-то степени Джонни Дедмен — олицетворение того мира удачливых, в который не вписывался и никогда, с грустью сознает Питер, не впишется его отец.

Если отец, при всей прозаичности его задачи на земле, мыслями и духом своим весь в высшем мире вдохновения и добра, сын его — от мира сего. Он в суетных заботах, опасениях, волнениях. Почему отец не такой, как все? — вот навязчивая идея, которая одолевает Питера, и он жаждет, чтобы отец «заговорил, как другие мужчины, нормальным, уверенным тоном, без которого немыслим мир». Собственно, глазами этих «других мужчин» он и смотрит на отца. Почему у нас никогда нет денег? Почему мы живем в старом доме? Почему наш автомобиль — развалина? — вот что на устах у юноши. И здесь писатель ведет исследование и вершит суд над так называемой нормальной, общепринятой точкой зрения на жизнь.

Но если бы в Питере было только это, он, наверное, навсегда остался бы заурядным членом «олинджерской банды», готовой травить каждого, кто не похож на других. Но Питер все-таки сын своего отца. Хирон недаром жил на свете. Он оставил людям Питера, в котором истинно человеческое одерживает победу. Сколь бы ни казались невыгодными позиции отца в жизни, как бы ни вопияло все вокруг против него, Питер становится на его сторону. «Но таких, как ты, больше нет, папа! Таких, как ты, на свете больше нет!» — в этом отчаянном возгласе уже не осуждение отца, а восхищение им. Так писатель вторично голосует за самоотверженность Колдуэлла, за его цельность, его чистоту и одержимость. И мы, конечно, вместе с ним.

Как же велик человек, как он красив, готовы воскликнуть мы вместе с писателем, как неисчерпаем его потенциал и в какой мы все вместе ответственности перед каждым из нас! Воспринимаемое таким образом произведение Апдайка, которое читаешь с ощущением все возрастающей боли, оказывается одновременно творением глубоко оптимистичным, пронизанным верой в человека, надеждой на него. Вот почему «Кентавр» противостоит духу тех эстетических и философских воззрений, которые отказывают человеку и человечеству в красоте, силе духа, способности к самопожертвованию, в стремлении к идеалу.

В споре цельности с раздвоенностью Апдайк на стороне цельности. В споре инстинкта с долгом он берет сторону долга.

Роман Апдайка не оставляет у читателя сомнений в характере и природе тех социальных условий, которые разбили жизнь Колдуэлла. Не случайно ведь именно в бармене Майноре, который называет Рузвельта сифилитиком и сожалеет, что американские войска, дойдя до Эльбы, не взяли и Москву, «раз уж случай такой вышел», именно в нем Питер, а вместе с ним и сам Апдайк, видит «человека, который со своей непроходимой республиканской глупостью и упрямой звериной силой воплощает все то в мире, что убивает его отца».

Конечно, Апдайк не марксист, и мы идем гораздо дальше в своих выводах относительно действительности, которую он изобразил. Апдайк верит в человека, но не видит для него возможности быть счастливым. Для сына так же, как для отца. Социальное зло почти фатально. И тут мы не можем с ним согласиться.

Все так. Но мы совершили бы ошибку, если бы сосредоточили свое внимание на противоречивости мировоззрения автора, непоследовательности его взглядов на социальные процессы, изменяющие мир, и прошли бы мимо тех открытий в сфере человековедения, которые он совершил и помогает совершать нам.

Глава вторая

Четыре Я Константина Симонова

Вместо предисловия

ИЗ ПИСЕМ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ОЛЬГИ ТРИФОНОВОЙ, ВДОВЫ ЮРИЯ ТРИФОНОВА

…Дело в том, что именно сегодня я закончила читать «Четыре Я» и намеревалась завтра писать Вам подробное письмо. Но так — сумбурно, может, оно и к лучшему, — я не критик, чтобы учинять разбор.

Поэтому скажу сумбурно, но искренне прямо сейчас.

Это было мучительное для меня чтение, потому что требовало напряжения душевных сил. Ведь это и о моём поколении, и о поколении Юры, обо всех нас разнесчастных, проживших ту самую эпоху. Я — дочь репрессированного — на себе испытала страшную деформацию души обстоятельствами той жизни.

Но сначала о другом.

Константина Михайловича я не то чтобы недолюбливала, а была просто скорее равнодушна и к его прозе и к его личности. Правда, хорошо помню его одинокую фигуру на пахринских аллеях незадолго до его ухода и своё чувство глубокого сострадания к его последнему одиночеству. Я не знала обстоятельств его жизни, но взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что… не знаю, на память мне тогда пришло стихотворение Некрасова «Несжатая полоса», может, Вы его помните.

Лариса уходила по-другому: те же прогулки по аллеям, но в ней ощущался протест, или даже бунт.

И вот Ваша книга. Я вскрикивала от протеста или от боли, читая её. Особенно, читая страницы его так называемого «прощания» с Валентиной, и у меня сложилась готовая формула (простите) — духовный и физический импотент. «Он не знал, что такое любовь, и не знал, что такое подлинное творчество, — думала я. — Серова ощущала нелюбовь, и как всякая женщина чувствовала, что она есть просто катализатор творческой потенции. Это сделало её несчастной и оскорблённой. Лариса была орешек покрепче, и к тому же, как рассказывал мне Г.С.Берёзко, сильно любила Гудзенко». И потом его любовь к генералитету и маловысокохудожественное поведение во времена космополитизма. Вот как думала я, читая первую половину книги, и припоминался мне всё рассказ Юры «Недолгое пребывание в камере пыток».

Но Вы заставили меня понять, что в камере пыток были мы все — великие и малые, и одни выдержали испытание пытками, а другие — нет. Но мне, как директору музея «Дом на набережной», хорошо известно, что болевой порог у всех разный, и осуждать других за то, что сломались, не нам. А вот к мысли этой подвел меня автор, и вот теперь о главном после прочтения, к началу этого сумбурного письма. А главное — это автор.

Ваша рука Вас выдала! Это удивительная по мудрости и благородству книга. Она оказалась очень важной для меня. Спасибо Вам огромное.

Всегда искренне Ваша Ольга Трифонова. В книге у меня много подчёркиваний и закладок.

Даст Бог, свидимся, и, если будет интересно, покажу мой, так сказать, мучительный путь вслед за Вами к лучшему во мне. Спасибо.

…Вот я теперь тот человек, который будет ждать с нетерпением Вашу новую книгу, потому что надеюсь, что, как с К.М., она поможет мне разобраться, что же с нами произошло. Меня «либералы» внутренне достали. А уж как они доставали Юру! Это был просто либеральный террор Аэропорта: «Юрочка, твой папа высек бы тебя за образы комиссаров в романе «Старик»… «Юра, как Вы могли написать такое!», «Юра, Ваши «Предварительные итоги» плевок в интеллигенцию».

Юра отвечал мрачно, твёрдо и с оттенком злобы. Но я не Юра, да и им совсем неинтересна. Казалось бы, мне, дочери репрессированного, чувствовавшей себя изгоем, пристало так яриться, но я не ощущаю в себе ненависти к той ужасной стране. Горечь, — да, и, конечно, ощущаю нравственные шрамы и родимые пятна, оставшиеся во мне от прошлой жизни.

А главное, помню финал романа «Время и место» о том, что «не было времени лучше, чем-то, которое он прожил. И нет места лучше…»

Конечно, горько ещё и оттого, что, как мне видится, у страны какой-то короткий момент был шанс повернуть к жизни достойной, правильной, но этот шанс то ли упустили, то ли его перехватили мародёры, пришедшие на поле боя, как всегда они приходят.

Таким, как я, осталось только удивляться тому, какой запас прочности был в той стране, если её вот уже как почти двадцать лет разворовывают и не могут доворовать.

Простите, слишком разболталась. Мне дорого наше общение, вот и несёт.

ИЗ ПИСЬМА ПИСАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА КОНОВАЛОВА, г. СЕРДОБС

Проглотил Вашу книгу «Четыре Я Константина Симонова». Серия ЖЗЛ пополнилась оригинальным исследованием творческой кухни яркого советского писателя. Вы счастливо избежали нудного жизнеописания. Творчество — суть жизни Симонова.

Так написать о Симонове могли только Вы. Ваш пиетет к писателю освящает каждую строчку. Ваша искренность подкупает. Вам неведома конъюнктура. Вам веришь. И Вы — первый исследователь личной жизни писателя. До Вас никто не осмелился.

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ТАМАРА СЕРГЕЕВНА БУСЬКО, г. КРАСНОДАР

Пишет Вам с Кубани бывшая фронтовичка. Огромное спасибо за книгу «Четыре Я Константина Симонова».

Я совсем не посторонний человек этой теме. Всю войну прошла от звонка до звонка, участвовала в обороне Москвы, а потом, в 1944-м прошла с боями всю Белоруссию, от Чаус и Могилева до Польши и Кенигсберга.

Константина Симонова я и мои близкие звали Военкором № 1. На войне лучше его не было. Так это ощущение и сохранилось на всю жизнь.

Я лично с К.М. не встречалась, не пришлось. Но ходила по многим его дорогам.

В 1984 году, когда исполнилось пять лет со дня смерти Константина Михайловича, я была в Буйничах, на Буйническом поле, где развеян его прах и поставлен памятник. Там

познакомилась со многими близкими ему людьми — его военным редактором Ортенбергом, писателем Воробьевым, Лазаревым, Евгением Долматовским и с дочерью Машей.

Если набраться смелости, скажу, что я собрала все, что К.М. написал за войну. Может быть, почти все. И решила, что будет выставка. И сделала.

1985 год был последним, когда День Победы был настоящим праздником. В моем Краснодаре, в Кубанском университете, где я работала, ректорат, партком, узнав о моем замысле, создал идеальные условия для работы. Дали целый курс художественно-графического факультета, фотографов… Ведь К.М. широко уважаем. Он был участником освобождения Кубани.

И перед 9 мая выставку торжественно открыли. Неприлично хвалиться, но что удалось, то удалось…

А потом началась разруха в стране и начались мои возрастные немощи.

В Могилеве в этом году (2003) буду 28 ноября. В 24-й раз. Раньше в день его рождения собирались люди со всей страны. А теперь приезжаю одна, с коробкой цветов, которые разбрасываю по полю…

К 55-летию Победы в магазине Краснодара увидела Вашу книгу. В продаже было 5 экземпляров. Я их все купила. Один уже в Могилеве.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ШВЕДСКОМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ В 1982 ГОДУ

Конец 70-х в застойном и замкнутом Советском Союзе. Борис Панкин берется написать сценарий к фильму, а затем и роман об одном из кумиров своей юности — Константине Симонове.

В ходе почти детективной работы, связанной с открытыми и закрытыми архивами, встречами и беседами с апологетами Симонова и его недоброжелателями, законопослушными гражданами и диссидентами складывается многоплановый образ писателя и его творчества.

Проникновение за магическую границу мира Симонова — это загадочное и не всегда безопасное дело. Через фильтр человеческой души проявляется история страны и всего мира.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА ОБОЗРЕВАТЕЛЮ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» АНДРЕЮ ЩЕРБАКОВУ, МАЙ 1999 г.

— Чингиз Торекулович, наверное, мимо Вашего внимания не прошел роман-воспоминание Панкина «Четыре Я Константина Симонова», — удивительная, на мой взгляд, книга о нашей жизни и нашей литературе.

— Да у меня и самого неожиданное впечатление от книги Бориса Панкина. Когда я посмотрел на название, я подумал, ну что еще нового можно сказать о Константине Симонове. Но когда начал читать, понял, что это неожиданный разворот темы, новый подход к документальной прозе, где сам автор участвует в событиях, которые он описывает. Он — в этой стихии… Что касается Симонова. То… У нас был период, когда все советское отбрасывалось. И заслуга Панкина и его книги в том, что многое справедливо возвращено на свое место. Симонов, конечно, непростая личность. Есть в его творчестве и анахронизмы и стереотипы того времени. И Панкину удалось поразительно точно и интересно для читателя любого поколения показать всю сложность и диалектику того времени.

ФРИДРИХ ХИТЦЕР, ИЗВЕСТНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК, СОЦИОЛОГ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ФРГ. ИЮНЬ 1999 г.

Уважаемый, дорогой Борис Панкин, я все еще читаю Вашу книгу. Чтение не легкое, благо она, книга, хотя и о прошлом заметной личности и века, важна для будущих поколений. Пока хочется сказать, что Вы уловили то, чего так не хватает и в России, и в Германии, если автор обращается к прошлому.

ВЛАДИМИР ЛОМЕЙКО, БЫВШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СССР, А ЗАТЕМ РОССИИ В ЮНЕСКО

Уже с первых страниц возникает и уже не отпускает до конца чтения удивительное состояние сопричастности ко всему, о чем идет речь. Уже первая, верно взятая нота в Прологе дала тональность всему роману. Нота радостной приподнятости от того, что впереди трудное, но захватывающее дело…

Держа в руках уже прочитанную книгу, я не думаю, что о Константине Симонове можно было написать лучше. Трудно себе представить, что так могло все сойтись вместе у другого писателя: и досконального знание всего материала — и произведений, и дневников, и личного досье Симонова, всей его необъятной переписки, и рабочего, и интимного характера, и доверительных исповеданий его близких, и личное многолетнее знакомство с героем будущего романа.

Ценность романа еще и в том, что он не только о Симонове, хотя прежде всего о нем, но это и книга о нашем времени, о стране, в которой мы жили, которую любили и с которой вместе страдали. Недаром Фридрих Хитцер сказал мне недавно, что это — удивительная книга и он будет рекомендовать ее для перевода на немецкий и издания.

ИЗ СТАТЬИ ЛИТЕРАТУРНОГО КРИТИКА АЛЕКСАНДРА РУБАШКИНА, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В книге «Четыре Я Константина Симонова», в этом романе-биографии, я увидел жизнь сложную, драматичную, с выводами объективно отнюдь не комплиментарными.

Были у Симонова и большой талант, и широта, и трудолюбие, и честолюбие. Но сколько сил ушло «на служение долгу», как он его понимал, на пьесы «по случаю» и статьи, о которых пришлось потом сожалеть.

Симонов — и это убедительно демонстрируется в романе — пытался вырваться из круга ограниченных представлений, был в непрерывном надрывном споре с самим собой.

Среди персонажей книги, кроме заглавного, по крайней мере, еще несколько занимают место особое. Это жена Лариса, секретарь Симонова, Нина Павловна Гордон, жена, а потом и вдова узника ГУЛАГа, наконец, автор повествования, который через своего героя хочет показать эпоху, раскрыть собственные сомнения, переживания, прозрения.

Кроме упомянутых, есть еще один персонаж, к которому автор непрерывно возвращается. Это Сталин, в опасной близости к которому находился Симонов…

Пролог

ПОСВЯЩАЮ ЖЕНЕ МОЕЙ ВАЛЕНТИНЕ

Вопрос: Ставила ли жизнь перед вами вопросы,
на которые вы так и не смогли ответить?
Ответ: По-моему, она только это и делала.
*(Из интервью Константина Симонова корр.
«Комсомольской правды» Г.Бочарову. 1970)*

После того как Лариса Алексеевна Жадова, вдова Константина Симонова, позвонила и сказала, что очерк получен и что она начинает его читать, целую неделю от нее не было известий.

Я, признаюсь, недоумевал. Кусок мой, выражаясь газетным жаргоном, предназначался для сборника воспоминаний. Я отослал его составительнице вовремя. Знал, что пунктуальностью Лариса Алексеевна была в мужа.

Нет-нет, помню, да и возьмешь снова в руки эти два десятка страниц на машинке, перелистаешь их, невольно задерживая взгляд на том, что тебе самому кажется примечательным или, наоборот, уязвимым. Пытаясь угадать реакцию первой моей читательницы, человека взыскательного и прямого, а главное, самого близкого моему герою на протяжении четверти века, я переживал не за художественные достоинства этой вещицы — они могли для нее оказаться безразличными. Примет ли концепцию, узнает ли в моем Симонове своего? Мнение близких — род цензуры самой пристрастной из всех нам ведомых.

Наконец ее звонок — вечером, на дачу. Ее напряженный монолог, прерываемый моими междометиями и покашливанием.

— Я прочитала. Только вчера руки дошли. И не могла уснуть до четырех, наверное, утра... Все снова встало перед глазами... Получилось именно то, что вы задумали. Воспоминания-размышления. И удивительно раскованно. Вы знаете, что я подумала? Вы будете писать роман. То, что уже сделано, — само по себе законченная вещь. Но она несет в себе ростки, развитие...

Я пытался что-то пробормотать насчет признательности, но она, кажется, не слышала, да и не слушала меня. Ей важно было сказать свое и себе.

— И так точно это схвачено... И передано — это всеобщее, просто повальное в годы войны и после нее сразу увлечение К.М. Таких, как вы, — тут она, судя по голосу, улыбнулась, — мальчиков и девочек, и постарше — как я. И, конечно, реплика из письма матери, Александры Леонидовны, насчет самолюбования. Это у него в ту пору было, но, по-моему, делало его еще неотразимее. До определенного времени, во всяком случае. Но тогда уже и самолюбование начало исчезать.

— Юношеское увлечение Симоновым — это да, — повторила она после короткой паузы. — Более поздний период тут сложнее. Вы все-таки недостаточно хорошо его знали. Тут надо поговорить. Например, об его отношении к Сталину... И другое. Но это потом, при встрече. С карандашом в руках, над рукописью. А сейчас...

Снова пауза. И через две-три секунды:

— Вы знаете, у нас, ну, у меня, у других членов комиссии по литнаследию К.М. есть к вам предложение — не хотели бы вы стать автором сценария фильма о

К.М.? В плане у студии есть такой фильм, на ближайшие два-три года. И много было кандидатов, но теперь все отпали, — она оборвала фразу на восходящем тоне, который как бы обозначал, что и без того много сказано и теперь надо говорить мне.

Что я ответил? Я согласился. Не раздумывая ни минуты, не вспомнив в тот миг ни об одном из своих замыслов. Вернее, подумав о них всех сразу. Это была вспышка, и при свете ее я с фантастической ясностью увидел то, что отныне буду делать, быть может, годы.

В ту минуту мне было не до реминисценций, не до цитат. Теперь знаю, лучше Пришвина об этом никто не сказал: «Материалы мои были хорошо собраны, правильно расположены, но не хватало им момента творческой кристаллизации, когда каждое слово становится на свое место само собою».

У него — о завершении замысла. У меня — о его рождении. Там — готовые уже строки и слова, застывшие в ожидании таинственной кристаллизующей силы. Здесь — начатое и оставленное, неоконченное и недодуманное — за недостатком времени, решимости, за разочарованием и усталостью — вдруг пришло в движение и стало выстраиваться в ряд. Я увидел сценарий, который напишу, и фильм, который снимут по этому сценарию, и роман, в котором будет и этот сегодняшний разговор с Жадовой, и работа над сценарием...

Будет ли это роман о Симонове? Да, о нем. Прежде всего о нем. Но не только о нем. О его и о моем времени, которое и одно и то же, и так разнятся. О себе. О чем уже не раз пытался сказать, но не сказал еще, как хотел и как, верилось, мог.

Ларисе Алексеевне из всего того, что пронеслось в моем мозгу, сказал только, что я согласен.

Уже на следующий день я неожиданно ощутил себя частицей большого и слаженного механизма.

Позвонил весьма влиятельный в кинематографических кругах человек, давний, я знал, друг Симонова, и, сказав несколько добрых и, чувствовалось, искренних слов о моем пресловутом эссе, спросил, говорила ли Лариса со мной о режиссере.

Услышав, что н-нет, кажется, нет, он сообщил, что «имеется в виду» обратиться к Владику Трошкину. Вы о нем, конечно, слышали. Он сын того Павла Трошкина, военного фотокорреспондента, с которым К.М. начинал войну в Белоруссии, под Могилевом. Трошкин-старший погиб в конце войны подо Львовом, от пули бандеровцев. К.М. шефствовал потом над его сыном — долг дружбы. Сын пошел почти по стопам отца — стал кинодокументалистом.

Да, конечно же я хорошо знал Владика Трошкина. Мы с ним даже оказались соавторами одного фильма, в котором у нас фигурировал и Константин Михайлович. В качестве участника молодежного диспута по поводу его очерка о молодом трактористе, который погиб на пожаре, спасая колхозное добро. Об этом и был спор: стоило жертвовать собой или нет? Очерк был напечатан в «Комсомольской правде», которую я тогда редактировал.

Эта цепь совпадений воодушевила меня еще больше.

— Значит, — подытожил мои то ли слова, то ли воспоминания собеседник, — у вас возражений поработать вместе с Владиком не будет. Тогда начнем с ним говорить. И, я надеюсь, через неделю-другую вам позвонят со студии на предмет заключения договора. Практически вы уже можете писать заявку.

Действительно, через десять дней звонок со студии: «Договор можно подписать хоть сейчас. Заходите в удобное для вас время и приносите заявку».

Из Союза писателей позвонили и спросили согласия на включение в комиссию по литературному наследию.

Я еще не написал ни одной строки сценария, но уже жил в нем. И ближайшее событие, которое ожидало меня на этой новой стезе, была встреча с Ларисой, так звали ее в окружении Симонова, «над рукописью, с карандашом в руке».

Она приехала ко мне на дачу, и мы устроились возле письменного стола, каждый со своим экземпляром рукописи. Вначале она повторила все хорошее, что говорила по телефону.

Она прочитала вслух: «Мы влюблялись по Симонову, ссорились и "мучились от разлук" по Симонову. По Симонову учились ненавидеть врага и дружить терпкой, горьковатой, как дымок его неизменной трубки, дружбой. Он всегда был на фронте, всегда там, где жарко. Он любит и любим, и свидетелей его любви — миллионы, и любовь у него не такая, как у всех. Он был для нас в те военные и послевоенные годы и символом, и реальностью одновременно, и человеком, и книгой...»

Как будто бы оно на мгновенье вернулось к нам, то время, и я, вызвавший его этими строками, был его властелином.

— И знаете, — повторила Лариса, возвращая меня на землю, — мне показалось, не то что лучше, но законченнее — первая часть. Эта юношеская восторженность... Ну, а вторая, она и сложнее, тут противоречий у вас больше.

Это уже был голос редактора, опытного и искушенного в изложении своей мысли. И у меня было достаточно натренированное ухо, чтобы распознавать такие интонации.

— Вот это место со Сталиным, например, — продолжала Лариса ровным, без малейшей краски в звучании голосом, но я понял, что это — главное. — Вот это место со Сталиным, — повторила она. — Не получается ли у вас, что К.М. лучше относится к Сталину, чем на самом деле было. Ну, что он не разобрался в нем до конца, что ли.

Я понял, что ждал этого возражения.

— Но я только привожу то, что Константин Михайлович сам мне говорил в те часы, когда мы с ним гуляли по больничному двору, о чем вот и упомянуто. И без особых выводов.

Сослаться на первоисточник — была первая, самая естественная линия обороны.

— Ну, может быть, вы не так поняли его, а может — это было под влиянием минуты. Он же не мог высказаться тогда всеобъемлюще. О его отношении к Сталину нельзя судить по отдельным словам, надо судить по всему, что он написал. И по тому, что собирался написать — и написал, — теперь она не могла уже скрыть волнения, — но не опубликовал. Я покажу вам, если хотите, — осталось надиктовок на эту тему — листов на пятнадцать. Только пусть это будет между нами. К.М. распорядился сдать в ЦГАЛИ и не вскрывать пятьдесят лет. Один экземпляр, тоже по его настоянию и с тем же условием, я отправила в ЦК. И один, — она сделала непроизвольную паузу, — оставила у себя. Я вам дам почитать, и вы поймете...

У меня дух захватило от такой возможности. Но, — душа поперечная, я все-таки спросил: не та ли самая это вещь, о которой он мне в больнице рассказывал? Он как раз говорил о листах двенадцати-тринадцати. Вот видите, у меня это есть: «Постарался сказать о нем в меру того, как я его люблю, — с усмешкой, — и не люблю».

Лариса Алексеевна помолчала, и в молчании этом теперь слышалось неудовольствие.

— Тогда я вам должна... должна показать. Это не только мое мнение. Это пометки на полях ваших воспоминаний одного нашего друга, человека, который очень, очень хорошо знал Константина Михайловича.

Она отколола от рукописи исписанную бисерным почерком четвертушку листа, которая давно уже интриговала меня, и протянула мне. «Невольно от Б.Д. возникает, — было написано там, — что К.М. в сущности неплохо относится к Сталину или еще не решил, как к нему относиться. Это не так. Именно потому, что его отношение было безоговорочно осуждающим, именно поэтому (так бывало и в отношении к другим людям) он стремился быть объективным, не упрощать и не облегчать. В ту же пору К.М. много говорил со мной о Сталине, и я пишу это со всей ответственностью. Он говорил, что Сталин велик, но страшен...»

— Велик, но страшен, — произнесла она вслух, как мне показалось, с нескрываемой гордостью за того, кому эти слова принадлежали.

— Велик и страшен, — машинально повторил я.

Я не слышал от К.М. именно этих слов, но это было именно то его ощущение, которое я и стремился интуитивно передать. Вот же. Вот оно, это ключевое место в моем очерке, из-за которого, собственно, и вышел спор: «Константин Михайлович приводил немалое число таких реплик, указаний, резюме Сталина, нередко действительно поражавших (во всяком случае, в мастерском пересказе Симонова) неожиданностью и какой-то даже своеобразной мудростью, которой он и теперь, когда у него уже не оставалось никаких романтических иллюзий в отношении этой фигуры, не мог не воздать должное, следуя своей до предела обостренной объективности. Что же касается той опасности, которую, по свидетельству моего собеседника, Сталин нес в себе ежедневно и ежечасно для каждого из тех, кто с ним соприкасался, то в ту давнюю пору она, как мне представлялось, выглядела в глазах Симонова неким природным явлением, стихией характера, которая капризна, но неизбежна и может и покарать, и одарить в одно и то же время. И чтобы меньше ущерба было нанесено стихией, надо постараться постигнуть закономерности, которым она подвластна. Риск все равно неизбежен, но он значительно меньше для тех, кто опасность ожидает заранее...»

— Да, велик, но страшен, — согласился я. — Это его формула.

— Так вот, и не получается ли у вас, что автор воспоминаний знает, что такое Сталин, а герой его — нет, — заключила Лариса.

Это сказано было предельно тактично и миролюбиво. Обидеться тут, если только не распалять себя намеренно, было абсолютно не на что. Но и не услышать того, что осталось, так сказать, за кадром, невысказанным, тоже было нельзя. Неужели вы, сравнительно еще молодой человек — я тогда, правда, приближался к пятидесяти, — встретивший войну мальчишкой, а в годы, там, коллективизации, индустриализации и проч. вообще ничего еще не смысливший... Неужели вы, студент в эпоху «ленинградского дела», постановлений о журналах «Звезда» и «Ленинград» и им подобных, думаете, что вы смогли лучше разобраться в этом вопросе, чем он — кто прошел войну от первого до последнего дня, кто лично был знаком со Сталиным, со всеми, кто его окружал, кого он возвышал и кем жертвовал? Чем он, для кого, если хотите, ответ на вопрос, что же такое Сталин, стал делом всей жизни, всего творчества.

Это и многое другое обозначилось для меня в тот момент в ее коротком риторическом вопросе, в ее почти бессловесном укоре.

— Но что же мне делать? — в шутливом отчаянии воздев руки, воскликнул я, — что мне делать, если в этой формуле — велик, но страшен, — мне правильной кажется только вторая ее часть?

Она обескураженно смотрела на меня. Словно бы мысль о возможности и такого подхода впервые пришла ей сейчас в голову.

— В общем, — с заметной усталостью сказала она наконец, — вы делайте, как знаете. Я высказала свои соображения и не только свои. А вы поступайте, как знаете.

Она неожиданно и щедро улыбнулась: «Как считаете нужным, так и поступайте. Так бы вам, наверное, и К.М. сказал».

Тут мы сочли за благо отправиться в соседнюю комнату, где жена, которая еще с давних лет встречалась с Жадовой в «Литературке», приготовила ужин. С удовольствием пробуя одно блюдо за другим, Лариса Алексеевна вспоминала и подробно рассказывала, как любил готовить К.М., какие шашлыки он, бывало, закатывал своим друзьям, а то и просто в кругу семьи. Она была весела, говорлива за столом, но в этом оживлении, казалось бы, совершенно естественном, мне все слышалась некая тревога. Неспокойно было и у меня на душе.

Подъехала и прогудела за окном машина. Лариса сказала, что это за ней. За рулем «Жигулей» — старинный спутник их семьи Толя, или дядя Толя, как звали его младшие. Он «крутил баранку», сидя в войну рядом с ее отцом, генералом Жадовым, потом возил ее первого мужа, поэта Семена Гудзенко. До последних дней возил К.М., которого и любил, конечно, и чтил, но всерьез за хозяина, кажется, все-таки не принимал — не хватало ему в нем генеральской выходки. К.М. это замечал, относился с юмором, когда возникала нужда чуть-чуть приструнить Толю, спрашивал его не без ехидства: «Толя, а не слишком ли я для вас интеллигентен?»

Что касается Ларисы, то ей категоричности было не занимать. Она сквозила даже в ее движениях, манере одеваться. Походка — мужская, широкая и стремительная. Прическа короткая, прямая, волосы — словно парик из соломы на голове. Одежды на худом и угловатом теле — длинные, просторные, темных тонов. Пальто напоминало накидку.

Когда дверца машины захлопнулась за нашей гостьей, жена неожиданно заговорила о том, какой красивой была Лариса в ту пору, когда она впервые увидела ее в «Литературке». Когда она появлялась в редакции, мужчины, как сговорившись, высыпали в коридор.

Что-то невысказанное звучало в интонации жены. То ли она намеревалась меня в чем-то убедить, то ли удивлялась тому, что же это делает с людьми неумолимое время.

Машина уехала, а я, как пишут в романах, долго смотрел ей вслед. Было над чем задуматься. Слишком многое встало за этим коротким и по форме весьма куртуазным спором, во многом неожиданной была для меня эта сшибка. И не в Сталине одном, я понимал, тут дело. Хотя это несомненно было все-таки самое главное. Я почувствовал острую необходимость задуматься наконец серьезнее над масштабами и сложностью дела, за которое так легко, словно по наитию, ни секунды не колеблясь, взялся. Так ли уж приветлив и расположен ко мне будет этот мир, который вдруг так щедро распахнул мне объятья, поманил чувством команды, приверженностью общему идеалу.

А с другой стороны, рассуждал я, что мне эта команда? Этот симоновский клан. Спасибо за приглашение, за доброе слово, за помощь. Но не клан и не Лариса — мой заказчик. Никто, надеюсь, не видит во мне эдакого придворного живописца, воплощающего волю «пославших мя».

Распаляя себя, я не переставал прислушиваться и к другому голосу, который советовал не спешить колотить горшки. О трех мною же изобретенных принципах напоминал мне, и очень кстати, внутренний голос: уметь поставить себя в положение другого. Взглянуть на себя самого со стороны. И сделать правильный вывод.

В положение другого.... Вспомнилось знакомство с Ларисой. Один из приятелей, международный обозреватель «Огонька», возвращая ужин, пригласил в «Арагви». Будет Симонов с женой, как бы между прочим обронил он. И добавил не без рисовки:

— Если ты, конечно, не возражаешь.

Я был рад, но бурного восторга не выказал. Положение недавно назначенного главного редактора «Комсомолки» обязывало. Уточнил деловито, во сколько и где встречаемся: вечная табличка «мест нет» и страж в ливрее могли сыграть роковую роль.

Симонов с женой. Для моего и моих сверстников уха привычнее звучало бы: «Симонов с Серовой». Но я знал, что они давно разошлись и что с Серовой — нехорошо, хотя что нехорошо — не знал.

Представить себе другую женщину рядом с ним было выше моих сил. По этой ли, по другим ли еще причинам Лариса Алексеевна Жадова для меня в тот вечер как бы и не существовала. Благо и она, занятая с моей женой общими воспоминаниями о «Литературке», ко мне почти не адресовалась.

Еще в «Арагви» мы с Константином Михайловичем условились, что я на своей казенной машине подвезу их за поздним временем до дома, близ станции метро «Аэропорт». И первое, что я ляпнул, едва мы разместились вчетвером в «Волге», Лариса Алексеевна рядом с водителем, было недоспрошенное за ужином:

— Константин Михайлович, почему вы не пишете больше стихи? — Спросил и тут же обозлился на себя — сколько же раз, наверное, ему этим досаждали?

Симонов отнесся к вопросу спокойно.

— Стихи, — сказал он, — вы, наверное, имеете в виду лирические стихи, точнее сказать, интимные, пишутся, знаете ли, тогда, когда жив нерв любви, а когда он умирает, — тут я в ужасе покосился на Ларису Алексеевну.

Она сидела как ни в чем не бывало, и трудно было понять, слышит или нет.

— А когда он отмирает, — продолжал Симонов, — то сочинять стихи на эту тему было бы попросту грешно.

Все это, повторяю, спокойно, раздумчиво, с хрестоматийной симоновской картавинкой: да-да, поп'осту г'ешно.

— А вообще, почему же, я стихи сочиняю, например эпиграммы. Хотите прочитаю одну? — с неуловимой улыбкой.

Мы — дружно: «Конечно, хотим».

Ворона в октябре
Жемчужное зерно искала.
Напрасен труд —
Журнал был весь из к...

Потом, при коротких, часто мимолетных встречах с Ларисой Алексеевной я ловил себя с неловкостью на том, что не всегда, во всяком случае, не сразу мог даже вспомнить ее имя. И два или три раза называл-таки почему-то ее Людмилой Алексеевной. Она не возражала, не поправляла меня и только поднимала каждый раз с недоумением свои тонкие брови.

Все это были бы мелочи, не заслуживающие внимания, если бы они не оттеняли неожиданность и быстроту последующего нашего в трудную уже, а затем и в драматическую, и в трагическую пору ее жизни сближения.

Счастливая случайность соединила меня и семью Симоновых в Тбилиси. Мы оказались соседями по загородному коттеджу, в который поселили нас грузинские писатели, пригласившие тогда на свой литературный праздник гостей из всех республик.

Была осень, ласковая, отдающая всеми красками и запахами грузинского плодородия тбилисская осень 1978, и жить К.М. оставалось не более года. Но об этом, разумеется, в ту пору никто не догадывался. Хотя чувствовал он себя в те дни явно неважно.

Симоновы даже опоздали немного из-за нездоровья Константина Михайловича. Появившись наконец вместе с Ларисой Алексеевной, он сразу стал гостем из гостей. За ним раньше всех приезжали по утрам и позже всех «возвращали домой». Так что по-соседски мы с ним почти и не виделись, и наблюдал я его больше издали — на трибуне, на сцене — в кругу других писателей, читавших свои стихи и прозу шумному, впечатлительному тбилисскому слушателю, который валом валил на встречи с разноязычными литераторами.

Симонов все время выглядел уставшим, но был одновременно оживлен и как-то по-особому собран и отзывчив на все, что говорилось и происходило вокруг. Особенно в ударе он был на вечере «Русские поэты о Грузии». Он вместе с грузинским литературным критиком вел этот вечер в помещении театра имени Руставели, читал стихи — свои и переводы. А когда слушал других, то мыслями и чувствами уходил, казалось мне, в далекие-далекие пределы тех пространств и тех времен, от которых сохранились лишь стихи, те, что сейчас на русском и грузинском звучали со сцены.

Читали стихи и говорили о тех, кто их создавал — в восемнадцатом, девятнадцатом, двадцатом веках... Не был ли и он в глазах переполненного зала, подсказывало воображение, одним из этой плеяды избранных?

После его смерти мне не раз приходило в голову, что в те часы он, быть может, бессознательно прощался с такой привычной и дорогой ему атмосферой переполненного поэзией пространства — со взрывами аплодисментов, восторженными выкриками, жаром «юпитеров»... Быть может, подобно Блоку «с белой площади Сената» он «тихо кланялся» со своего возвышения на сцене Тбилиси и тбилисцам, с которыми так много было связано в его жизни.

Взглянув на сидевшую рядом Ларису, я точно впервые увидел ее тогда. Нет, не о смерти, о жизни говорило все ее существо. Рассиявшиеся влажным блеском глаза вдруг оказались большими-большими. Неожиданно нежный, цвета раннего ранета румянец на щеках и скулах; разметавшиеся под воздействием токов каких-то волосы, обычно лежавшие скучной прямой челочкой...

Что-то, наверное, прочитала Лариса в тот вечер в моем взгляде. Ничего не сказав, мы стали ближе друг другу. И мне теперь кажется, что я смог почувствовать это уже на следующий день, когда мы — редкий случай — собрались втроем за завтраком. Проглотив с аппетитом кружку холодного, обжигающе кислого

грузинского мацони и выпив чашку по-турецки сваренного кофе с лепешкой и сулугуни, Симонов вдруг встал и в характерном для него в хорошую минуту шутливо-церемониальном стиле попросил у жены разрешения удалиться, а у меня — навестить, разумеется, в моем присутствии, мои «апартаменты». Лариса Алексеевна не возражала, а по тому, как подбадривающе кивнула мне, я понял, что она догадывается о характере предстоящего разговора.

Посидели с ним на веранде, подышали бодрящим, октябрьским холодком тбилисских предгорий, полюбовались темно-золотыми слитками айвы на оголенных ветках, поговорили о литературных новостях. Ничего особенного. Он уже поднялся, направился было мягким неторопливым шагом — был в мягких туфлях — к двери, но — предчувствие не обмануло меня — разговор еще не был окончен. Вернулся к креслу, сел снова и, коснувшись моего колена, сказал как бы между прочим:

— Вот приеду в Москву и недели через две зайду, занесу: должны выйти одним томом мои «лопатинские повести».

Я заметил, что, когда Симонов заговаривает о своем творчестве, речь его становится как бы невнятнее — он глотает окончания одних слов, пробормотывает другие, повторяет без особой нужды третьи.

— Специально собрал эти повести под одной крышей. Назвал романом. Хочу, чтобы кто-то прочитал их подряд, только так, знаете ли, разом, залпом, — он повел рукой наискосок сверху вниз, — и сказал бы, — тут он кашлянул, — стоит ли мне дальше писать беллетристику.

Сказав это, он поднялся и, не давая возможности ответить, не говоря более ни слова, двинулся к дверям и вышел, обернувшись на мгновение с порога, и глаза его в ту минуту вдруг показались мне похожими на глаза измученной птицы.

Прошел год, и мы снова оказались вместе — в больнице, из которой Симонов уже не вышел. Парадоксальность ситуации состояла в том, что самым тяжелым из троих, Лариса, К.М. и я, поначалу считался я, привезенный сюда два месяца назад со сломанным позвоночником — упал с лошади, занимаясь этим спортом вместе с нашим общим другом, глазным хирургом Славой Федоровым.

В тот момент, когда я увидел у своей кровати Константина Михайловича, позади уже была операция, прошедшая успешно. Мне уже был обещан через неделю-другую первый подъем, первые шаги, а там, глядишь, и первый выход на волю. Но пока что я лежал распластанный на спине — строго в соответствии с предписаниями, а он присел рядом, в больничной робе, не то чтобы утешая, этого он в принципе никогда не допускал, а пошучивая, подбадривая, вовлекая в совместные планы... Я смотрел благодарный и утешенный на него и вдруг прочитал в его облике то, что, наверное, и называют печатью смерти. Какое-то темное свечение исходило от лица, и непонятно было, в чем же его природа, что давало этот холодящий душу эффект — иссиня ли выбритые щеки, глаза ли, глубоко сидящие в туго обтянутых потемневшей и тонкой, как пергамент, кожей глазницах!

Показалось и исчезло, а через десяток дней я встал, как и предсказывали мне врачи, и мы гуляли с ним по просторному и зеленому больничному двору, и каждый раз, когда проходили под окнами корпуса, он поднимал глаза вверх и помахивал рукой. Там из окна третьего этажа смотрела на нас Лариса, которую несколько дней назад привезли сюда с микроинфарктом.

Таких прогулок было несколько. Однажды он с воодушевлением рассказал, что два дня назад ему сделали так называемую выкачку из легких, под полным

наркозом, разумеется. Что перенес он операцию хорошо, чувствует себя превосходно, даже вот плеваться, как видите, перестал, — он знакомо усмехнулся, а я только теперь заметил, обрадованный, что нет с ним уже, казалось бы, неотделимой от него маленькой фляги в темном кожаном чехле, куда он, кашляя, переправлял по указанию врачей мокроту.

Было начало августа. Погода — пастернаковская. Солнце устало, но усердно пекло наши головы. Ветерок, который почти всегда веет на Воробьевых горах, обдавал прохладой и отгонял мошек. Монотонно гудели шмели. Настроение, под влиянием погоды, благоприятного развития моих собственных дел и добрых вестей, услышанных от К.М., было приподнятым.

К нам вскоре присоединились пришедшие навестить Симонова, да и меня заодно, правдист Тимур Гайдар и младшенькая К.М. и Ларисы, самая его любимая из детей Санька, которая собиралась поехать к кому-то в гости в Италию и донимала отца, много раз там бывавшего, расспросами. Тимур тянул в свою сторону — пытался обсудить подробности предстоящей поездки целой «обоймы» журналистов и писателей в Монголию, на годовщину Халхин-Гола.

Несколько дней после этого Симонова я не видел, не встречал в больничном садике и не хотел беспокоить в палате — после нелегкой все же, несмотря на все его рассуждения, операции. А когда наконец решился заглянуть, обнаружил палату пустой. Медицинские сестры с непроницаемым видом объяснили, что Константина Михайловича еще три дня назад увезли — они возводили очи горе — на специальный этаж.

Идти и расспрашивать Ларису Алексеевну казалось неловким, просто невозможным... Она на особом режиме. Но на следующее утро она сама прислала за мной гонца. После второй бронхоскопии, которую по его настоянию сделали досрочно, началось кровотечение горлом. Оно с небольшими перерывами продолжалось несколько дней. Было искусственное дыхание, была маска с кислородом, были и короткие минуты облегчения. А потом опять ухудшение за ухудшением.

По трагической усмешке судьбы это началось 13 августа, в день ее рождения. Еще неделю назад они планировали отметить его вдвоем, «пусть и в больничных условиях. Вдвоем — ни детей, ни знакомых».

— Он мне сам все рассказал: «Я проснулся весь в крови, дышать нечем», — говорила мне Лариса Алексеевна. — Это его собственные слова. Наверное, говорит, они мне что-то там пропороли. Вот они тут теперь все и крутятся, все приходят: профессора, врачи, один за другим. Ничего они не знают, а у меня, наверное, там, внутри, огромная гематома. Вот такой печальный был мой день рождения. На следующий день он мне прислал записку, я обрадовалась! — продолжала она. — Может держать карандаш в руках. Пишет, что он чистый, умытый лежит в кровати и что его продержат в реанимации, вероятно, до понедельника. Так что, мол, будем сообщаться записками. Когда меня снова к нему пустили, он был розовый, выбритый и довольно активный. Но что на меня произвело прямо-таки удручающее впечатление — он дышал только кислородом и у него были такие зеленые усы — вставлены трубочки.

Тут она подошла к тому, ради чего и позвала меня:

— У нас есть знакомые швейцарские специалисты. Их приглашали, когда Жуков лежал здесь. Жена Георгия Константиновича добилась их вызова. Они прилетели и продлили ему жизнь.

Я сказал, что врачей надо вызывать немедленно, что бы по этому поводу ни думали местные обидчивые эскулапы. Она попросила меня пойти вниз и позвонить по вертушке Зимянину. Была суббота, и можно было надеяться, что главного врача не окажется в кабинете.

Так оно и оказалось. Когда я вернулся к Ларисе Алексеевне, увидел ее с трубкой в руках. У нее уже выясняли имена и телефон врачей. На следующий день они прилетели, но, осмотрев больного, только руками развели. Вслух сказали, что все идет по правилам. А мне шепнули, что надо было раньше их вызвать.

Между тем пришла пора мне выписываться из больницы. И в соответствии с логикой постепенно сраставшегося позвоночника перебираться на реабилитацию в клинический санаторий под Москвой.

Превозмогая какую-то странную неловкость, я утром 27 августа 1979 года снова постучал в палату Ларисы. О том, чтобы попроситься к К.М., не могло быть, естественно, и речи.

Она в постели. Ей меряют давление. Просит подождать, не уходить.

— Плохо, — говорит она, не дожидаясь моих расспросов, когда белые халаты ушли. — С субботы наступило резкое ухудшение. Боли в сердце, нечем дышать. Задыхается. И самое страшное, что он все понимает. Мне не говорит, а сестре сказал: «А ведь плохи мои дела». Мы ему хотели сделать бульон. Его любимый, чтобы поел. Он говорит: «Не успеете». Что значит не успеем? Сейчас сварим и принесем. Он говорит: что ты! Не понимаешь? Подумай как следует.

А вчера у него произошел сердечный приступ. Как они тут говорят: сердце поехало. Я в это время гуляла, первый раз вышла, и сестра прибежала за мной прямо в сад. Я страшно испугалась. Они предложили из гуманных соображений включить искусственное дыхание. А до этого надо всех родных вызвать — проститься. Это делается с выключением сознания, Я не согласилась. Потом пришли Катя, Алеша — проститься. Доктор Абрамов «раздышал» его. К.М. сказал ему: я ведь, по существу, уже умер. Дали ему большую долю седуксена, он спит.

Слушаю ее, но до меня все-таки не доходит то, что для нее уже стало неизбежным. Пытаюсь что-то сказать, но рот словно бы схвачен судорогой. Слова не идут с языка. Каждое, едва зародившись, уже кажется кощунственным.

В палату между тем входит женщина в спортивном шерстяном костюме. Такой же точно она кладет на стул рядом с кроватью больной. На мой недоуменный взгляд Лариса реагирует неловкой усмешкой: «Мне вот говорят, надо делать лечебную гимнастику, чтобы, знаете, быть в форме. Предстоят разные дела...»

Будничность, с которой она произносит эту фразу, и меня как будто встряхивает, возвращает к холодным, неуютным реальностям. Почему-то вспоминаю на мгновение ту нашу первую встречу в «Арагви» и разговор в машине о стихах. Ничего не скажешь — в этой семье хватает мужества называть вещи своими именами.

Такая женщина. Память о муже была для нее теперь все. Я продолжал смотреть на события ее глазами. Ее глазами вчитывался снова в начальные страницы своей рукописи. И их-то принять нужно было мужество. Потому что все, чем я в моем Симонове восхищался, принадлежало не ей. Весь этот период, который был едва ли не лучшим в его жизни, прошел под иной звездой. И это было известно всем. Ее была вторая часть его жизни, и она-то теперь ставилась под сомнение. Кем? Человеком, которого она только что подвигнула на новую «обреченную на успех» работу, которому сказала вдохновенно и искренне: «Вы будете писать роман».

А он уперся в несколько абзацев, которые, она уверена, и написаны-то были случайно — не продуманно, не взвешенно, а так — разбежалась рука... Неясно было, как дальше поступить, но ясно, что так этого оставлять нельзя.

Да-да, теперь мне становилось все яснее — не так эти абзацы сами по себе нехороши с точки зрения моей гостьи, как это упорство. Боже мой, все они хотят быть умнее К.М., смелее его, глубже его. Все хотят его судить вместо того, чтобы увидеть, разглядеть, — думала, наверное, она. Но вы пройдите с ним, что он прошел, переживите то, что он пережил, упадите так низко, как он падал, и поднимитесь на его высоту, с которой он смотрел на меня, когда я была у него в палате в тот последний день. Глаза у него были без единой грустинки — ясные, чистые и абсолютно бесстрашные. И он смотрел, смотрел на меня, смотрел и говорил... Я теперь всю жизнь буду расшифровывать этот взгляд — я умираю, так надо, я сделал все, что надо было, я боролся изо всех сил — но больше сил моих нет, и поэтому прощаюсь.

Лариса ли так думала, или это ее рассказ прокручивался в моем сознании, или это я прочитал в той последней записке, действительно ему принадлежащей, которую он оставил в своей палате, когда его увозили на операцию?..

Я и не заметил, как мои мысли смешались с мыслями Ларисы, в моем же воображении родившимися. И я уже не знал, кого я больше понимаю в этот момент — ее или себя.

Посидев над очерком еще немного и перепечатав его для пущей важности снова на машинке, я отослал его Ларисе. Она как составитель книги воспоминаний накапливала у себя поступавшие рукописи.

Увы, самой ей не довелось уже увидеть не только книги воспоминаний, которая вышла спустя почти три года после нашего собеседования, но и моей журнальной публикации. События развивались скоротечно и трагично.

Мы виделись редко, гораздо чаще звонили друг другу. И каждый раз она упоминала о какой-нибудь либо старой, забытой работе К.М., либо о том, что вообще не было опубликовано. Предлагала, чтобы Толя при случае завез домой или на работу.

А потом вдруг ее звонок на дачу вечером и предложение встретиться, поговорить, в чем я не уловил поначалу ничего экстренного.

Неделя предстояла напряженная, и я с дотошностью, выдававшей смущение, разложил перед ее мысленным взором мой рабочий распорядок на ближайшие три-четыре дня. «Может быть, — предложил я, — попозже?»

Несколько секунд пауза на том конце провода.

— Тогда по телефону, — звеняще, как будто бы именно в это мгновение что-то решив для себя. — Потому что послезавтра я ложусь в больницу. Да нет-нет, ничего серьезного, — твердым тоном на переполох моих вопросов. — Ничего серьезного, но будет операция... Совсем незначительная, по их параметрам. Но вы понимаете... все может быть... Это онкологический институт все-таки.

Такая непостижимая была у нее манера подводить к существу дела. Несколько коротких, с паузами фраз. В одной тональности. А между первой фразой и последней — пропасть.

— Я написала завещание... Да, собственно, я его раньше написала. Как К.М.

Все было так неожиданно, что показалось мне в тот момент какой-то сумасбродной игрой или подражанием старомодным романам.

— Дело идет о литературном наследии... Я хочу, чтобы вы знали... Я имею в виду К.М. Конечно, ядро наследства, так называемый литературный архив,

передан и будет еще передаваться в ЦГАЛИ. Он завещается комиссии по литературному наследию... Нина Павловна Гордон сейчас этим занимается. К.М. ей поручил. Неопубликованное, особое, завещается Кате с обязательством сдать в ЦГАЛИ. И не вскрывать 50 лет. В том числе и то, о чем мы говорили. И я хочу, чтобы вы знали... После меня старшая в семье — Катя... Последнее время она из всей семьи была ему ближе всех. Хотя она не его дочь... Я ей сказала все, что надо, она будет вам давать... А сейчас я вам посылаю, как договорились.... Наброски «Мои четыре Я». И еще... Я жалею, что не успела... Но мы еще найдем время. Меня обещали выпускать из больницы. Встретимся у нас на даче. Я хочу познакомить вас с Ниной Павловной Гордон. Удивительно, что вы с ней незнакомы. Это личный литературный секретарь Константина Михайловича. Из всех сотрудников — самый близкий ему человек. Он доверял ей как себе. Они работали с ним больше тридцати лет. Ну, вот, чтобы вы знали.

Фраза о том, что я готов все бросить и приехать тотчас же, была у меня на языке, но, к счастью, не слетела с него. Несколькими днями позже, воспользовавшись первым же приемным днем, я был у нее в больнице.

Стоит ли говорить, с каким чувством входишь в заведение с тем названием, которое Лариса упомянула в телефонном разговоре со мной?

Разумом понимаешь необходимость построить такой центр. Но духом падаешь, входя под сень этого гигантского улья, в одной из бесчисленных сотов которого ждала меня Лариса.

У нее была Катя. Уютный, по натуре и внешне, человек, она и вела себя непринужденно. Все хлопотала — то о чае, то о фруктах, и было вполне естественно в ее присутствии сразу принять и исповедовать без лишних слов версию о том, что у больной действительно ничего серьезного нет, и операция ей на днях предстоит, действительно, скорее профилактическая. Хотя именно Катя, я не сомневался в этом, знала о болезни матери больше, чем она сама, во всяком случае, все, что знали врачи. К тому телефонному разговору Лариса Алексеевна уже не возвращалась, и вообще ни о чем серьезном мы в тот день не говорили — так, о погоде, о том, что нынче в театрах, как на даче и т. п. И оттого угрызения совести мучили меня еще сильнее. В нейтральности нашего разговора я все острее ощущал свой промах. Поезд, корил я себя, ушел.

Но оказалось, что я просто не до конца постиг логику поведения этой женщины, у которой даже перед лицом, быть может, и смерти для всего было свое время. Через несколько дней ей сделали операцию. Еще через несколько дней она позвонила и совершенно здоровым голосом сказала, что все, слава Богу, образовалось, ее даже хотят выпустить на несколько дней домой, на дачу, подышать воздухом, и она была бы рада видеть нас с женой у себя. Будет только Нина Павловна, вы помните, я вам говорила...

От Кати я уже знал: она безнадежна.

— Надеемся, она не догадывается. Ей сказали, что просто небольшая «подчистка», которая практически каждой женщине требуется в ее возрасте.

Катя была спокойна с виду, задумчива, разговаривала, чуть потупив глаза, а вся бездна отчаяния, о которой непосвященный и не догадался бы, — глубоко-глубоко внутри. Так в тяжелую минуту вели себя герои Симонова, так старался вести себя он, подавая пример близким.

Но каково нам было собираться в тот день в Красную Пахру, на дачу Симоновых... Как держаться? Грустить? Бестактно. Веселиться? Кощунственно, да и откуда его взять — веселья? Оставалось положиться, как говаривали наши деды,

на волю божью, на обстоятельства, на свою незаемную симпатию и сострадание.

Мы подъезжали на машине, и две женщины встречали нас далеко за воротами дома, на тенистой и зеленой, вся в траве-мураве, улице поселка, где в одну сторону глянешь — дача Твардовского, в другую — Юрия Трифонова, а в третью — Юлиана Семенова... Но мы не смотрели по сторонам. Мы смотрели на женщин, которые, чуть касаясь голыми локтями и плечами друг друга, как будто бы даже держась за руки, шли навстречу. Высокая, в светло-зеленом сарафане, похудевшая, загоревшая и помолодевшая — Лариса. Вторая, значительно старше возрастом, седая, но такая же прямая и тонкая, стройная, хоть и невысока ростом, и была Нина Павловна Гордон.

Уже то немногое, что я к тому времени узнал о ней, окружало ее неким ореолом. Была секретарем Михаила Кольцова и, быть может, последней, кто видел его перед арестом. В тот роковой день он подвез ее из «Жургаза» домой, а сам поехал в «Правду» к Мехлису, который его вызвал. Там его и забрали.

Сама жена зэка, а потом, после второго ареста, ссыльного, к которому, отпросившись у Симонова, уехала в Сибирь, где жила до полного его освобождения и реабилитации,

Конечно же, не сомневался я, она знает о положении Ларисы еще определеннее, чем мы. Быть может, они даже обо всем уже поговорили друг с другом, в том числе и о целях сегодняшней нашей встречи. Эти предположения бродили у меня в голове, пока мы шли длинной улицей писательского поселка, пока осматривались в осиротевшем доме, где, — говорили мы один другому, — а что можно было еще сказать? — все и так, и не так, как было при хозяине. О «нем», естественно, и был разговор весь вечер. Нет, не напрямую — и это опять было по-симоновски «найдено» женщинами дома — о сценарии, который мне предстояло писать. Что могло быть более естественной темой?

Лариса, обращаясь к Нине Павловне, становилась мягче лицом и голосом. Нина Павловна все больше заводила речь об архивах. Поначалу казалось, просто отвлекает внимание от собственной персоны. Потом подумалось — издержки профессии: столько лет имеет дело с набросками, надиктовками, рукописями, черновиками, вариантами, письмами... В ту пору мне понятнее стало пастернаковское «не надо заводить архивы».

Размышляя таким образом, я, тем не менее, с признательностью внимал рассказам Нины Павловны, чья разговорчивость в тот вечер была, конечно же, продиктована драматизмом ситуации, которого нельзя было и помыслить коснуться словом. Да. Страшная тайна, все не дававшая нам с женой обрести себя, была словно бы неведома нашим хозяйкам, как и третьей женщине, Марусе, давней домработнице Симоновых, которая хозяйничала энергично и с видимым удовольствием. Стол, когда мы только подошли к нему, уже был уставлен яствами, выбранными, это сразу чувствовалось, в соответствии со вкусами основателя дома. Кавказский акцент их заявлял о себе во всем. Ворoха восточной зелени, ослепительно белая брынза, темно-коричневое лобио, бокастые алые помидоры, цвета грецкого ореха сациви, пышные горячие хачапури... Одного этого хватило бы для десятка гостей на целую ночь! Но из кухни слышалось шипение, бульканье, потрескиванье и доносились запахи, которые помимо воли взбадривали дух, заставляли втягивать носом ароматы и, совсем по-кавказски, цокать языком, что вызывало заметное удовлетворение хозяек.

Нет, тщетно. Как ни стараюсь, не могу найти слов, которые передали бы наше тогдашнее состояние, всю многослойность атмосферы этой тайной вечери, участники которой чувствовали такое единение друг с другом и одновременно несли в себе столько тайн, поделиться которыми их не заставишь и под пытками.

Мы знали, что грядет, к чему приговорена Лариса... но что знала она сама об этом? И знала ли, что об этом знаю я, знает Нина Павловна? Она, конечно же, посвящена. Но кем? Ларисой или Катей? И если Катей, то знают ли они с Ларисой об этом порознь или вместе? Я не мог обо всем этом забыть, но и не мог не заставлять себя не думать об этом, а когда все-таки переставал помнить — под влиянием оживленного разговора и восклицаний по поводу очередного дымящегося и шипящего блюда, начинал корить себя. Оживленно и чуть форсированно, как всегда, звучит голос Ларисы. Четкий, интеллигентный, с картавинкой, под стать Симонову, говорок Нины Павловны, словно в тигле каком отливающей фразу за фразой. Вспоминает, как однажды заснула над тетрадкой под диктовку «шефа», стенографируя его четвертый час подряд. Ни он этого не заметил, ни она, пока не обнаружила себя пробуждающейся. Когда разобралась в своих записях, убедилась, что ничего не пропустила.

Смех — веселый и меланхоличный звучит в доме, примета той поры, когда боль утраты, уходя вглубь, как бы расстается со своей остротой, но не с силой. Как рана, которая затягивается, но не заживает.

И дом, переживший вместе с людьми их трагедию и еще переполненный незримым присутствием своего хозяина, прислушивается к этому смеху в предчувствии новых потерь.

Врачи и дальше, не говоря ей правду, удерживали Ларису в больнице, ссылаясь на необходимость наблюдения. Время от времени, как в тот вечер, они позволяли ей уезжать домой, на дачу или по делам.

Ждали ее в начале декабря 1981 года и в Доме литераторов, где друзья и почитатели Симонова собрались по случаю шестьдесят шестого дня его рождения. Но она не смогла приехать.

На вечере мы сидели рядом с Санькой, младшей дочерью К.М. и Ларисы. Показалось, что в этом сонмище людей она чувствовала себя одинокой. Само собой получилось, что по окончании вечера поехала к нам на дачу, с ночевкой, чтобы наутро, по дороге из Ильинского в Москву, отправиться прямо к матери на дежурство.

Сидели за столом долго, далеко за полночь. Саня весь вечер говорила о родителях, о деде с бабкой с материнской стороны. Была доверчива и откровенна. Рассказывала, как в одном платьишке убежала мама из дома, потому что дед, так звали в семье отца Ларисы генерала Жадова, — был почему-то против ее брака с поэтом Семеном Гудзенко. Он проклял ее, когда она его не послушалась. От нового брака — через несколько лет после смерти Семена Гудзенко — дед тоже не был в восторге. Но не проклинал уже дочь и в конце концов признал папу, который непривычно для подраставших детей Кати и ее, Саньки — слегка робел перед тестем-генералом. Саня вспоминала, что всегда, когда отец и дед встречались за столом и говорили о войне, у них возникали споры. Дед убеждал папу, что писать надо в основном о командном составе. Каково было слушать это папе, которого и так все упрекали, что у него «офицерская проза». У деда была привычка подкреплять свои доводы ударом кулака по столу. Даже не кулаком, а всей рукой. Даже папа не мог привыкнуть, вздрагивал.

Смешно выгнувшись, она прилегла правым боком на столешницу — и к-а-а-к грохнет! По-генеральски.

Слушая ее, я вспоминал и все никак не мог вспомнить, кто же из героев симоновской прозы вот так же «грохал» кулаком по столу?

Саня сказала, что к моменту второй выкачки одно легкое у отца было уже совсем отключено, как окаменело. А второе — частично. И вот, когда все это залило кровью...

Говорила со спокойствием человека, успевшего уже осознать, что в жизни бывают разные полосы.

У отца с рождения был отмечен слишком малый объем легких — несоразмерно с ростом, с другими параметрами. Он ведь был высокий.

И, конечно же, она все знала о положении матери. Только вот не уверена, сказали ли ей. Но она догадывается. Вчера пришла к ней, и ее сразу же позвали врачи.

— Вот сейчас сообщат тебе, что я безнадежна и меня надо забирать домой, — сказала она растерявшейся дочери. И когда та замешкалась, не зная от волнения, как быть, поторопила ее властным тоном: — Иди, иди, не заставляй людей ждать.

Успокаивать, утешать Саню не требовалось. Она была дочерью своих родителей. Желать Ларисе выздоровления показалось бы позой. Подняли тост «за чудо», имея в виду, что какая-то пусть слабая надежда все же остается.

Утром я довез Саню до больницы. Через несколько часов она позвонила и сказала, что мама ночью мгновенно умерла. От тромба в сердце. Добавила, что тетю Марусю, которая безотлучно находилась при маме в больнице, врачи провели по коридорам, и она слышала, как кричат от боли женщины. Вот от чего спас Ларису тромб. Чудо все же произошло.

Через несколько дней мы прощались с Ларисой в старом московском крематории. Она лежала в гробу, и в позе ее было что-то, не вязавшееся с обстановкой. Что — я понял лишь тогда, когда одна из ее подруг поправила ей голову, но голова Ларисы снова беспомощно склонилась, не по-похоронному уставу, на бок. Как у подстреленной птицы.

Я чувствовал себя покинутым.

Речей не произносили. Так, видимо, было условлено. Просто стояли, смотрели и молчали. Через некоторое время служащие крематория закрыли крышку гроба. Распоряжавшаяся ими женщина сноровистым движением сунула какую-то бумажку, видимо, квитанцию в невидимый кармашек розоватой, в фестончиках, обивки гроба...

Почти все, рассевшись по машинам, как правило, это были личные «Жигули» да «Москвичи», отправились на поминки в квартиру Симоновых. Квартира была на последнем этаже, лифт шумно вздрагивал на каждой лестничной клетке, словно норовистый конь от укусов оводов. Номер квартиры, двери которой, как в таких случаях полагается, оставались приоткрытыми, — был 113.

Сама же квартира, скорее всего из-за обилия народа, у крематория это многолюдство не было так заметно, казалась меньше, чем обычно, и не очень-то удобной для житья.

В глазах рябило от людей, столов с яствами и напитками. И то и другое — в изобилии.

Нина Павловна спросила, удалось ли мне более или менее разглядеть кабинет К.М., и согласно кивнула на мою реплику о том, что, увы, не самый сегодня подходящий день для такого занятия.

— А вы знаете что, если можете, то есть если хотите, конечно, приходите сюда завтра, нет, не завтра, мы завтра будем еще тут чистоту наводить, послезавтра, я с десяти до двух буду на работе... Вот тогда все и посмотрите.

Говоря о Ларисе, о К.М., Нина Павловна поневоле говорит и о себе. О своей работе с Кольцовым. И вообще — о «Жургазе», издательском объединении, куда входил тогда и «Огонек». Об Але — Ариадне Цветаевой, дочери поэтессы. Они познакомились перед войной, когда Аля вернулась из эмиграции. Познакомил их Юз, Иосиф Гордон, жених Нины Павловны, который перед этим десять лет провел в Париже. Алю и Юза арестовали почти одновременно, через четыре месяца после того, как Юз с Н.П. зарегистрировали брак, а потом они оба, Юз и Аля, после первой отсидки оказались на положении ссыльных под Рязанью, «за сто первым километром». Там же их, и тоже почти одновременно, арестовали по второму разу. Юза отправили в Красноярский край, куда за ним последовала Нина Павловна.

До смерти Сталина она ничего не записывала. Не могла забыть, как при аресте Юза 30 апреля тридцать седьмого года забрали у нее первые заметки о Кольцове, самые невинные. И даже детские ее дневники. После возвращения из Красноярска снова стала писать, стенозаписью, в свободные от диктовок, от разбора бумаг минуты. Постепенно это стало потребностью.

— К.М., надиктовавшись, уставал, уходил покурить, поговорить по телефону, а я пишу. Потом дома расшифровывала. Лариса о моих записках узнала только после его смерти. Когда стали создавать том воспоминаний. И никто раньше, кроме К.М., не знал. И не ожидал. Так, думали, сидит девочка, потом уже старушка у телефонов...

Лариса, когда прочитала ее заметки, несколько дней не возвращалась к этой теме. Потом позвонила по телефону.

— И посоветовала таким, знаете, ровным, какой у нее иногда бывал, холодным голосом сделать для книги сорок страниц. И только о работе. Я ее спрашиваю: «Лариса, вам хоть понравилось?» А она говорит: «Это выходит за рамки понравилось или не понравилось». Я говорю, а какие рамки вы имеете в виду? Она не ответила. Только попросила широко этого не показывать. Только — «узкому кругу». И включила в этот узкий круг вас с женой. Она мне еще сказала: «В случае чего Борису Дмитриевичу все можете показывать. Я думаю, он напишет художественную биографию».

— И еще она мне однажды сказала: «А о Вале вы хорошо пишете». Я говорю: как думаю, так и пишу.

Так, уже в день поминок мне выпало узнать, что отношения Нины Павловны и Ларисы отнюдь не были сплошной идиллией, как можно было предположить. Это, признаюсь, огорчило меня. Не так-то много мы находим в жизни воодушевляющих примеров. Словно прочитав на моем приунывшем лице эти чувства, Нина Павловна тихонько сказала: «У меня такое впечатление, что она, только когда он серьезно заболел, спохватилась, с каким человеком жила. И тем более, когда он умер. В ней очень большой переворот произошел. И ко мне она заметно переменилась. Мы могли с ней часами говорить. И когда встречались, и по телефону...»

До его смерти Лариса почти ничего не знала о его архиве. Иногда увидит, как мы с К.М. в поте лица своего готовили рукописи на хранение, бросит вскользь: «Да кому он нужен, ваш архив». А после смерти К.М. вошла, глубоко вошла во все, по-хорошему...

Прощаясь, уходил я с поминок чуть ли не последним, мы условились, что встретимся здесь же на днях, в часы ее работы.

По завещанию К.М. Нина Павловна оставалась его секретарем и после его смерти. Для стороннего уха, каким до поры было и мое, это звучало странновато и, пожалуй, даже жутковато. Для Нины Павловны, продолжавшей, несмотря на смерть шефа, патрона, как она его любила называть, жить в его мире, было естественно. Она получала ту же зарплату, что и при нем. Так же, как и при нем, приходила на работу, то есть на квартиру, в его рабочий, верхний кабинет или в «нижний» — однокомнатную квартирку на первом этаже в доме неподалеку.

Просто однокомнатная квартира в стандартном, шестидесятых годов постройки доме. Хрущоба, переоборудованная так, чтобы здесь можно было работать — то есть писать на машинке, диктовать Нине Павловне и на магнитофон, прохаживаясь и дымя трубкой, держать необходимые книги и папки с собственными архивами. В одну из первых наших встреч Нина Павловна показала мне письмо Симонова в Моссовет, в котором он «хлопотал» об этой «площади»:

«Живем втроем, жена, дочь и я в небольшой квартире в 59 метров. Считается четырехкомнатной, но на самом деле три небольших изолированных комнаты и проходной холл. Жена — искусствовед, кандидат наук, член Союза художников СССР, работает дома, имеет огромную библиотеку по специальности. Дочь — студентка второго курса истфака МГУ, ну и мне нужно рабочее место. В результате три комнаты из четырех стали, по сути, кабинетами, а четвертая проходная остается «на все про все», и практически у нас с женой нет спальни. С годами такие обстоятельства начинаешь ощущать острее, да и дочь повзрослела, с чем — хочешь, не хочешь — а приходится считаться».

Просьба маститого писателя была удовлетворена, но общей с женой спальни так и не появилось. Зато одним кабинетом, вернее, кабинетиком стало больше.

Третий кабинет Симонова был на даче. Но теперь «нижний» отходил по завещанию К.М. к ЦГАЛИ, а с дачи — для пользы дела все было перенесено на основную квартиру. Сюда и приходила, как на работу, то есть не как, а именно на работу, только так она это называла, Нина Павловна, три раза в неделю на три-четыре часа, и здесь она занималась тем, что уже много последних лет делала и при Симонове. На ее языке это называлось «готовить для сдачи в архив». Работы этой, начатой еще вместе с шефом, по подсчетам, было года на два — на три.

Она и боялась этой работы, особенно первое время, и радовалась ей. И с тяжестью в сердце уже думала о той поре, когда все будет сделано.

Странно и сладко было ей приходить по утрам в эту совсем уже опустевшую после вторых похорон, а некогда такую шумную, многолюдную и оттого-то и тесноватую квартиру и сидеть в кабинете, напротив большого снимка: шеф, невозмутимо попыхивающий трубкой.

Дома он тоже был рядом с ней. Тоже портретом. Только живописным. Сделан был чуть ли не тридцать лет назад армянским художником и подарен Нине Павловне за два года до смерти. К.М. сказал, даря, «пусть висит, неплохая картинка».

Нине Павловне нравится, что в «картинке» много света и тепла. Шеф ее сидит в синей рубашке в своем большом светлом кабинете, с трубкой в зубах, за письменным столом у самого окна, работает. В окно льется солнце, за окном — много зелени, на столе всякие знакомые ей вещички, знакомые цветы — и сам

он такой знакомый, молодой, красивый, какого уже многие-многие годы не видела она наяву. Портрет сделан в профиль, и это, думает Нина Павловна, не случайно, потому что еще никому не удавалось написать его глаза, так что лучше и не пытаться. Хотя в глазах вся сила.

Что же касается «верхнего», то есть главного кабинета в квартире по улице Черняховского, д. 64, в нем все пока сохранялось так, как было при шефе, во всяком случае в те часы, когда он, расхаживая, диктовал, а она со скоростью, за которой и он порой не мог угнаться, все это записывала.

Теперь не за кем было записывать. Но оставалось другое, та часть работы, которую она делала и раньше — и вместе с ним, и без него, когда он отдыхал или уезжал «в город», как они говорили, то есть куда-то по делам или вообще в командировку. Папки, альбомы, рукописи, копии, варианты. Вот они стоят — как солдаты, в строю.

С течением жизни я убедился, что у каждого человека, рано или поздно, появляется свой «пунктик». Симоновские архивы, эти бесконечные папки с тесемками и скоросшивателями — и есть «пунктик» Нины Павловны, решил я.

Живущие поневоле в мире единообразия, как легко мы принимаем все выходящее из ряда за «пунктик» и чудачество. А может быть, это так называемое чудачество и есть на самом деле норма?

Об этом архиве, его громадности и необозримости, разнообразии и бесчисленности она не могла говорить иначе как с упоением. Кажется, не сомневалась в том, что у слушателя поведанное ею не может вызвать ничего, кроме восторга и изумления.

— Архив Константина Михайловича огромен и по-своему сложен, — легко и непринужденно лилась ее речь. — Мало ему было собственных трудов. При его разнообразной и активной деятельности на его голову буквально сыпались в невероятном количестве письма, материалы, деловые бумаги, рукописи всех жанров — от маленьких рассказов и стихов, воспоминаний неизвестных ему людей и начинающих авторов до больших романов уже известных писателей. Он все читал, отвечал практически на все стоящие письма и на все присылаемые ему рукописи.

Иногда это были большие отзывы, иногда — несколько строк. Он никогда ничего не уничтожал, не рвал, не выкидывал. Если закончил работу с документом, то ставил галочку, и мы уж знали, что нужно убрать в архив и куда. Раскладывали всю отработанную им почту, материалы, рукописи по папкам.

Делалось это обычно в те немногие часы, когда его не было дома, а у нас, к счастью, не было срочных расшифровок или перепечаток. Чаще всего руки доходили до архива только тогда, когда он куда-нибудь уезжал.

Архив, то есть бесчисленное количество папок, коих только малая часть находилась сейчас здесь, в этом кабинете, начинал в моем воображении оживать, шевелиться и в конце концов стал напоминать гигантского спрута, который уже поглотил своего владельца и теперь с теми же намерениями подступает ко мне. Если он, архив, кого-нибудь и побаивался втайне, воображал я, то только эту маленькую бесстрашную женщину, которая со своей указкой-хлыстом в руках все дальше уводила меня в бесконечные дебри разделов, рубрик, папочек и рукописей.

— Но, как вы понимаете, — продолжала она, — его творческая работа прямого отношения к этим папкам не имела. Его творческий архив — это совершенно особое дело. Вот папки его стихов, вот переводы стихов других поэтов, кор-

респонденции, очерки, рассказы... На повести, романы, дневники заводили и по несколько папок с разными вариантами произведения, с рукописной и машинописной правкой, иногда с оттисками. На письма-отклики тоже заводили отдельные папки — по произведениям.

Как вытекало из рассказов моей собеседницы, и творческий архив — это еще не литературный. Литературный — это переписка и взаимосвязи с писателями, всякие общественные литературные дела.

Целый раздел архива — военные беседы. Это началось еще в пятидесятые годы — в работе над «Товарищами по оружию». С тех пор и до последних своих дней, — рассказывала мне Нина Павловна, — К.М. вел бесконечные беседы, бесконечнейшие, — она любила длинные слова, их легче было выделить интонацией. И она с удовольствием выпевала каждый слог: — бес-ко-неч-ней-шие беседы с военными всех рангов — от рядовых до маршалов. Сначала под стенограмму, потом — под диктофон.

Есть личный архив, перечисляла она, есть серия папок «тематическая подборка» — это тоже бес-ко-неч-ные организационно-литературные дела, которые он вел, — папки по Маяковскому, по Твардовскому, по Мандельштаму, Булгакову, ну, и так далее...

— И есть еще, — сказала она, победно глядя на меня, — есть еще папки-«звонки».

— По-моему, это было в конце шестидесятых, когда К.М. сказал мне и Дубинской, мы тогда работали с ней через день, чтобы мы, когда его нет, записывали все звонки к нему. Телефон включали только на один час — с двух до трех дня. Но этот час был, как обвал. Потом телефон снова выключали, иначе ничего бы не смогли дальше делать. Мы записывали звонки, перепечатывали зафиксированное в трех экземплярах — один оставляли в его «нижнем» кабинете, другой — заносили в его рабочий кабинет домой, третий — брали с собой.

К.М. или поздно вечером, или по утрам, если он спешил и не мог заглянуть в «нижний», звонил нам туда и говорил: «Берите звонки и отмечайте». И быстро, глядя в эти записи, которые мы держали перед носом, говорил, что делать — с кем будет встречаться, с кем — нет, кому надо позвонить от его имени и что-то передать или что-то сделать — в общем за десять-пятнадцать минут он расправлялся в первом чтении с очередной дневной порцией. И мы делали пометки.

А в два часа пополудни на следующий день мы снова включали телефон... Вот теперь по этим листкам, а их несколько папок, видно, чем и кем он только не занимался, по каким вопросам к нему только не обращались, с какими только просьбами...

Все это, спрессованное теперь в несколько страниц, Нина Павловна, конечно же, рассказала мне не сразу, не за одну нашу встречу.

— Представьте себе, — сказала она однажды как бы мимоходом, доставая какую-то понадобившуюся мне бумагу, — он ведь с шестнадцати лет хранил у себя все присылаемые ему письма и снимал для себя копии со своих.

Мне, признаюсь, представить это было нелегко. Трудно было и согласиться с тем, что это так уж необходимо.

— Нет-нет, — сказала она, словно угадав мои сомнения, — это совсем не то, что вы могли подумать.

— Я абсолютно убеждена и могу держать пари с кем угодно, что тут нет и толики самонадеянности, поверьте мне. Я вам даже больше скажу — я однажды сама его спросила об этом. И знаете, что он мне ответил? Но прежде чем рассказать вам об этом, я должна спросить вас, знаете ли вы, что это такое? — Сло-

во она произнесла так, как если бы каждая буква в нем была заглавною. Полководческим жестом изящной ручки она указала на длиннющий ряд одинаковых серо-зеленых папок на полке, занимавших целую стену.

В характере, в самой натуре ее был артистизм, а в манере беседовать — склонность к невинной театрализации.

— Это — «Все сделанное». Это — гениальное, ге-ниаль-ней-шее изобретение Константина Михайловича, и мы работали над ним под его руководством несколько лет, пока, уже перед самой его смертью, не привели все в порядок.

В словах «гениальное изобретение» была оценка, но еще не было сути. Одушевляемая моим любопытством и нетерпением, она взяла с полки первый по порядку том.

— Вот, видите — Год 1938, — она показала мне его издалека, как бы поддразнивая, и поставила на место. Я только успел заметить, что папка эта была заметно тоньше следующих за ней.

— А это, — ей пришлось сделать несколько небольших и быстрых шажков вдоль стены, чтобы взять в руки последний том. — А это — Год 1979. — Она бережно, как святыню, положила папку на стол. Развязала тесемки. Как можно было различить, в папке копии рукописей, различных документов, вырезки из газет и журналов.

— Вот это — последнее, что мы сюда положили, — она взяла бумажку, напоминающую телеграфный бланк, и прочитала: «Я уже ничего не могу доделать. Что сделано, то сделано, что задумано и недодумано — тоже не в моей власти. Я могу только, если потребуется, привести в порядок не приведенное в него».

— Не приведенное в него, — машинально повторила, прочитав вслух всю запись, Нина Павловна.

— Так вот, — продолжала она, усилием воли стряхнув, словно платок с плеч, набежавшее облачко грусти, — однажды, это было уже лет десять тому... наверное, добрых десяток лет назад, К.М. приехал из какой-то очередной командировки, собрал нас и сказал: пора начинать все приводить в порядок. Надо все разложить по годам. Начнем с 1938 года... Год жизни, год работы — папка, том. И с тех пор дело было так. Константин Михайлович работал вот за этим столом, который, кстати, был сделан по его проекту — видите, как здесь удобно и просторно, он ведь всегда одновременно имел дело с массой материалов. Он работал, сидел на этом вот стуле, а сзади него, вот здесь, на полке, лежала кожаная папка с застежками. И туда, в одном экземпляре, попадали копии всего, что он писал, диктовал, словом, над чем работал весь день. И так день за днем. Копии его литературных работ, заметки на память, письма его и к нему, просьбы, поручения нам, заявления, разные бюрократические бумаги — все, абсолютно все попадало в эту папку. И никому, включая самого Константина Михайловича, нельзя было взять отсюда ни листочка.

— Никому, — повторила она еще раз. — Год кончался, и содержимое папки шло в переплет, листок к листку — без комментариев, поправок и изъятий. За этим мне было положено следить.

— Так вот, — сказала она, возвращаясь к началу нашего разговора, — я однажды спросила его: К.М., а зачем это? И он, всерьез восприняв мои слова, сказал: «Знаете, Нина Павловна, раз уж судьба так распорядилась, раз уж поставила в центр потока жизни, наш долг бережно к этому отнестись».

— И ведь действительно так, — заторопилась она, словно опасаясь, что и эти слова ее шефа я могу поставить в строку. — Ведь, начиная с 1938 года, когда он

написал своего «Генерала», не было, наверное, в мире такого заметного события, которое так или иначе не прошло бы через этот стол, в общем — через него, не легло бы каким-то своим отражением в эти папки. Здесь, — не сдержав патетики, воскликнула она, — вся история нашей страны, начиная с тех лет. И здесь, — понизила она почти до шепота голос, — вся история его жизни. В общем, это как бы история страны, мира, пропущенная через одну жизнь. И какую жизнь...

Нечасто она давала волю чувствам, но тут ей понадобилось какое-то время, чтобы взять себя в руки.

— И вы знаете, Борис Дмитриевич, если вы захотите прочитать хотя бы один из этих томов, от корки до корки, а я считаю, что как автору сценария вам было бы очень полезно это сделать, конечно, это ваше дело, я не хочу и не имею права вам ничего подсказывать, но если вы прочитаете хотя бы один из этих томов, вы поймете, что Константин Михайлович был бесстрашным и безжалостным к себе человеком. Тут вы все увидите — не только победы и одоления. И слезы, и неудачи, и ошибки, и слабости, и угрызения совести, и раскаянье... Думаете, их не было?

Нет, я этого не думаю.

— И ни разу, я подчеркиваю, ни разу у него не дрогнула рука, когда надо было положить сюда какой-нибудь не так уж украшающий его документ. Ни разу не поддался он порыву что-то изъять, утаить от потомков... Да, от потомков!

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты» — нельзя было не вспомнить эту извечную мудрость, наблюдая за Ниной Павловной, в которой любовь к шефу, преклонение перед ним сочетались с беспристрастностью и прямотою взгляда. Все, что она делала, делала с какой-то подкупающей и заражающей собеседника истовостью. И чувствовалось, что часы работы в этой опустевшей, уставленной папками квартире составляли теперь смысл ее жизни.

— Идея со «Всем сделанным» пришла в голову К.М. в 65-м году, — не без облегчения повернула Нина Павловна разговор в привычное для нее деловое русло. — Так что с папками за 38–64-й годы мы работали, если так можно сказать, в обратном порядке. Мы «перелопатили», как К.М. это назвал, весь архив. Посмотрели бы вы, что тут у нас творилось. Просто ералаш... И это ведь не день, не месяц — годы, буквально годы, параллельно с основной работой.

Собеседница моя старалась как можно нагляднее изобразить сумятицу, которая царила в кабинете и во всей, видимо, квартире, которая ведь никакими семью запорами не была отделена от кабинета. И чем страшнее рисовала она словами эту картину, тем сильнее и ярче лучились ее глаза, звонче становился голос, выразительнее — жесты изящных, но сильных рук.

Ее волнение передалось мне. Оно возникло и не могло не возникнуть при виде этой так непринужденно представленной, нет, дарованной мне летописи того отрезка истории, в котором укладывалась и вся моя самостоятельная жизнь, считая ее началом — первый класс школы. Вот он у меня в руках — том первый «Год тридцать восьмой». Перелистывая жадно, встречая глазами знакомые с детства имена и названия, живо вспоминал себя в тот год, мальчишкой, первоклассником, далеко-далеко на Востоке, в Монголии!

От тридцать восьмого я потянулся к сорок первому, потом к сорок пятому, к сорок девятому, к пятьдесят третьему, пятьдесят шестому, шестьдесят четвертому... Сама эта возможность легким жестом руки вызвать дух любого из прожитых тобою лет кружила голову. Сознаюсь, я не меньше тогда думал о своей жизни, чем о симоновской.

Нина Павловна стояла рядом, и столько было всеведения в ее взгляде, непроизвольно отмечавшем направленность моего интереса. Кем она должна была себя чувствовать в эти минуты? Кем видела себя в этот момент, вбирая всем существом жадность моих рук и ненасытность взгляда, устремленного на «Все сделанное»? Богиней Клио, стенографистом истории, секретарем времени.

В рассказах Нины Павловны не было строгой последовательности. Порой, опасаясь, что может повториться, она замолкала и, обеспокоенная продолжительной паузой, теребила меня: «Спрашивайте же, Борис Дмитриевич, спрашивайте, я же не знаю, что вас конкретно интересует».

Она не раз замечала, что К.М. обычно составлял длин-ню-щие списки вопросов для тех, с кем планировал побеседовать под диктофон. В наших разговорах мы его ни разу не включили, и я почти никогда не вынимал при ней блокнот. Мне дорога была стихийность ее воспоминаний. В них угадывалась, быть может, и ею самой не осознаваемая логика.

Оглядываясь теперь назад, Нина Павловна сама с трудом может поверить, что этот марафон длился чуть ли не двадцать лет. Да и какой же это марафон? Пускаясь в путь, бегун знает, что ему предстоит, и заранее решает, как распределить свои силы. Здесь, как сформулировал это однажды сам К.М., — каждый новый день должен быть как последний.

— Надо больше работать, — мог упрямо сказать он в конце дня, когда оба они чуть не падали от изнеможения. — Надо больше работать, а то можно не успеть все сделать.

На ее возражения, что он и так работает на износ, упрямо повторял: «Я сейчас меньше работаю, чем раньше».

Иногда она начинала смешно и беспомощно злиться на него — сам себя доводит до изнеможения и не замечает, как те, кто рядом, почти замертво падают к концу дня. И тут же не без юмора возражала сама себе: «Нет, наверное, замечает, иначе работал бы круглосуточно».

Иногда становилось просто страшно за него — вдруг упадет... Однажды он сказал — это было в его кабинете, в половине первого ночи, и вид у него был хоть и усталый, замученный, но довольный: «Я хочу побольше сделать и упасть сразу».

— Упасть сразу, — возразила она нарочито сварливо. — Это все хотят. Но, может быть, лучше попозже.

Про себя же заметила, что слова эти не раз уже от него слышала. И всегда холодела. Зная, что зря он ничего не говорит, думала, что не к добру и эта спешка его, и эта тяга к архивам.

Заглядывая потом в свои записи, начав их расшифровывать, Нина Павловна сама дивилась обилию фраз, передававших эту гонку, повторявшихся в каком-то стихийно сложившемся ритме.

— Всех задергал и раньше всего — себя. Надеюсь, хоть в Сухуми немножко отойдет. Все-таки Лариса хоть как-то сдерживает его в работе.

— После восьми вечера приехал в Москву — и опять с утра до вечера, как в мясорубке.

— Позавчера передал мне архив матери... Также архив писем и документов отца... Плюс его личный архив... Составлю опись, и все сдадим в ЦГАЛИ на закрытое хранение... Лицо осунувшееся, глаза усталые — нелегкое это дело, личные архивы.

— Сегодня с одиннадцати утра работали у него дома — разбирали папки с прототипами. Потом я ушла домой, а он, немного передохнув, пошел в «нижний» кабинет работать над письмами к «Солдатским мемуарам». Все расчищает...

«Нижний» кабинет, «верхний» кабинет, дача, еще — Гульрипши, домик под Сухуми...

Кажется ей теперь, что за эти без малого двадцать лет, диктуя, сортируя, перечитывая и раскладывая, К.М. заново и мучительно пережил всю свою прошлую жизнь, пережил в каком-то таком порядке, чья скрытая логика была видна ему одному.

Иногда ей казалось, будто она вывела для себя своеобразный закон его восприятия мира. То, что для всех людей было самым страшным и тяжелым — война, голод, бомбежки, атаки, осады, ранения, смерть — он делил с другими легко и даже... радостно.

Вот и теперь, что касалось войны, утомляло физически, но и поддерживало. Груды документов, писем, черновиков, рукописей, вариантов — иногда это казалось ей конвейером с конечным продуктом в виде папок, обозначенных «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Разные дни войны», «Солдатские мемуары».

— Только перекреститесь, что не будете без меня перетаскивать папки, — сказал он как-то ей.

Когда разгибал натруженную поясницу, разминал плечи, словно после тяжелой физической работы, да так оно и было — приходилось и по полкам лазить, и переносить груды папок из одного кабинета в другой, казалось, это распрямляется сама его душа, хоть и ужаснувшись и побывав снова в том пекле, но и возликовавшая при виде сотворенного. То, что случалось в обыденной жизни, мучило до сих пор. Как-то протянул ей кассету для расшифровки:

— Об Эренбурге...

— Об Эренбурге? Для кого?

— Для архива. Как о маршале Жукове, о Фадееве.

Эта давняя история с юбилейным вечером Эренбурга разворачивалась на ее глазах с самого начала. А началось все в том же злополучном 49-м году, после его доклада о космополитах. Эренбург жаждал, добивался этого вечера по случаю того, что исполнялось сорок лет его творческой деятельности. По-моему, он сам эту дату и придумал, — не скрывала Нина Павловна. — Ведь его уже не печатали, ему уже не звонили. И если бы К.М. не взял на себя, рискуя головой, и разговор наверху об этом вечере, и организацию его, и доклад, никакого бы вечера и не было, и Эренбургу, возможно, было бы намного хуже.

Вскоре папка с названием «Илья Эренбург», которую Нина Павловна специально разыскала по моей просьбе, появилась на столе перед нами. Десяток пожелтевших машинописных страниц, лежавших сверху, был озаглавлен: «Выступление на вечере Ильи Эренбурга. 5.III.49 (в Доме литераторов)».

Дочитывая последние страницы, я жадно тянулся к следующей стопке листов. «Об Илье Григорьевиче Эренбурге» было написано на ней. И в скобках: «В связи с несколькими страницами из его книги “Люди, годы, жизнь”». Дата — 17 апреля 1976 года.

— Константин Михайлович был очень огорчен, что в своих воспоминаниях Эренбург даже не упомянул о вечере, — пояснила в задумчивости Нина Павловна, — и тут я с ним совершенно, со-вер-шенно согласна. Только не стоило это так переживать. Эренбург есть Эренбург.

Я, не поняв, посмотрел на нее. Секунду-вторую она молчала в нерешительности. Потом:

— Аля рассказывала мне, что, когда Марина после эмиграции постучалась к нему за помощью, он указал ей на дверь. А потом, видите ли, открыл ее для широкого читателя.

Заполучив в руки второй манускрипт, я понял, что это и была расшифровка тех кассет, которые шеф передал Нине Павловне.

Я читал и видел Симонова. Не того, в 49, а много позднее, в 76, шагающего, словно маятник, по своему кабинету и один на один беседующего с безгласным магнитофоном. Шагает и взвешивает на собственных весах содеянное — чаша добра и чаша зла. Какая из них перевесит?

Имя самой Нины Павловны то и дело появлялось на страницах «Всего сделанного», которое мы с ней для краткости называли В.С.

Как правило, это были копии различных документов-писем — его ей и от нее — ему: поручений, заявлений, характеристик работодателя — служащему, приказов о назначении на работу, обращений в различные адреса. Словом, преимущественно то, что в обиходе мы называем официальной перепиской.

Первый из таких документов относился к 1947 году. Письмо Симонова из Москвы в Рязань. В нарочитой, как мне показалось, казенности его таился какой-то подтекст, который мне еще предстояло расшифровать с помощью Нины Павловны.

«В связи с наконец состоявшимся расширением штата журнала “Новый мир” я имею возможность предложить Вам работать со мной в качестве секретаря-стенографистки».

Казенно? Для Нины Павловны каждое слово звучало тут райской музыкой.

— А что до слога, посмотрела бы я на вас в то время. Каким другим слогом вы написали бы письмо жене ссыльнопоселенца, которому не разрешалось приближаться к Москве ближе чем на 101 километр.

Рассказ Нины Павловны о ее первой встрече первою военной зимой с тогда еще знакомым ей только по имени и по прочитанному Симоновым кажется невольно раскавыченной цитатой из одного из симоновских же произведений той поры.

Она тогда работала в сценарной студии комитета по кино и сидела целыми днями вдвоем со своим начальником Алексеем Яковлевичем Каплером, сценаристом фильмов «Ленин в Октябре» и «Ленин в восемнадцатом году», в ледяном зале заседаний этого комитета по соседству с кабинетом тогдашнего его председателя Большакова, который редко бывал на месте. Студия «Мосфильм» эвакуировалась в Алма-Ату, и здесь, в Москве, только они вдвоем с Каплером и представляли ее интересы.

— Пропадем мы тут с вами, Ниночка, — бодро-весело говорил время от времени Каплер и, как только появлялся председатель, подхватив охапку бумаг, направлялся к нему в кабинет, где было чуточку теплей.

Однажды, когда она так сидела и зябла в одиночестве, зашел военный — высокий, подтянутый, молодой. Он спросил Каплера и, услышав, что тот у Большакова и скоро вернется, подошел к висевшей на стене географической карте, сплошь утыканной флажками, и углубился в ее изучение. Посмотрев на его спину, на его военную форму, она подумала, что ведь очень может быть, что он прямо с фронта, и решилась спросить об этом.

Он повернулся на ее голос, не спеша подошел к ее столу и ответил утвердительно. И тогда она спросила его о муже своей сестры. Такая уж тогда была манера — у того, кто вернулся с фронта, обязательно, в отчаянной, бесшабашной надежде осведомлялись о своих там, на фронте, словно это был какой-то такой особый край, где все друг друга и все друг о друге знали.

Сестра находилась с тремя детьми в эвакуации, а муж ее — в ополчении, на смоленском направлении, под Вязьмой. И письма от него, которые она поначалу исправно и с радостью переправляла сестре, вдруг прекратились.

— Просто не знаю, что сообщить сестре. Что там, вы не знаете? Как там?

Военный долго и пристально смотрел на нее, и она невольно залюбовалась его красивым лицом, большими блестящими карими глазами. Потом, не сказав ни единого слова, повернулся и вновь подошел к карте. Постоял так несколько минут, а потом, буркнув, что больше не может ждать, до свидания, — ушел.

Почти тут же вернулся Каплер и еще с порога задал вопрос, не приходил ли Симонов?

— Приходил какой-то военный, — пробормотала она, еще переживая такой обидный и непонятный для нее поворот дела, — постоял букой возле карты и ушел. Сказал, что больше не может ждать.

— Это и был Костя Симонов, — огорченно сказал Каплер.

Она, по ее словам, только позже поняла и оценила молчание этого Симонова. Он все знал. Был и в Смоленске, и в Вязьме, когда наступали немцы. Видел все своими глазами. И что он мог сказать с надеждой смотрящей на него женщине? Что там почти все погибли, что не надейтесь?

Рассказывая об этом, Нина Павловна, показалось мне, невольно сама заговорила симоновским слогом. В излюбленной его манере — с неоднократным повторением одних и тех же слов, а иногда и целых фраз:

— Очень не любил неправду, а говорить тяжкую, иногда смертельную правду избегал, пока была для этого хоть какая-нибудь возможность. Когда мог, вот так отмалчивался.

Как показал дальнейший ход событий, не только с ней о Симонове состоялся у Каплера разговор, но и с Симоновым о ней, она, правда, так и не узнала, по чьей инициативе.

Прослышав, что она владеет стенографией и машинописью, Симонов, всегда со ссылкой на согласие Каплера, стал подсылать ей тексты, в основном статей, интервью и других выступлений в прессе. Потом стал приглашать в «Новый мир», где диктовал кое-что из прозы. Ей нравилось почти все, что он писал, и она не находила нужным скрывать это. А ему, она чувствовала, нравилось диктовать ей.

Но когда он вскоре предложил ей перейти к нему на работу в качестве личного секретаря, она вспыхнула и ответила дерзко:

— Я никуда от своего шефа не уйду, — она имела в виду Каплера.

Симонов не обиделся, согласно кивнул и посмотрел на нее с симпатией. Может быть, именно потому у нее появилось желание как-то смягчить свою выходку, и она выложила ему все о муже.

На это Симонов тогда зябко передернул плечами. Ей показалось, кое-что из их с Юзом истории он уже знал раньше. Но все равно, пусть услышит, как все было, от нее. Тогда, может быть, не будет делать таких необдуманных предложений.

Сказала, что абсолютно, аб-со-лют-но убеждена в невиновности мужа. Вероятно, тогда, в 37-м году, на его судьбе мог сказаться тот факт, что она работала

с Кольцовым. Пусть знает и об этом. Правда, Юза арестовали раньше Кольцова, а тот еще выражал ей сочувствие. Сказал во всеуслышание: «Я Нинке верю, Нинку не трогайте!»

И на Кольцова Симонов откликнулся, как ей показалось, с молчаливым пониманием. Как будто и он отнюдь не был уверен, что его взяли за дело. Насчет Юза, поведя шеей в одну и в другую сторону, — почти автоматически, заметила Нина Павловна, движение всех, кто был так или иначе связан с местами присутственными, — высказал догадку: попал под ежовщину, потом начали разбираться, да, видно, остановились на полдороге, как это у нас часто бывает.

Предложил похлопотать, написать куда следует.

Она обрадовалась такому его суждению, но от помощи отказалась почти с такою же запальчивостью, как только что — уйти от шефа. Нервы, нервы... Не могла она позволить себе эксплуатировать его благородство. К тому же она не так хорошо еще его знала, чтобы быть уверенной, что он предложил это по здравому размышлению, а не под воздействием момента. Ей бы и Юз не простил такого легкомыслия. Они с ним еще раньше твердо решили «не высовываться» и терпеливо тянуть лямку. В конце концов, ссылка, да еще в Рязань, это уже не лагерь под Магаданом, где он был вначале.

Отказалась она уйти от Каплера, а тот сам ее покинул. Правда, не своей волей. Другими словами, угодил туда, откуда вернулся в Рязань Юз.

— По сталинской путевке, — с невеселой улыбкой пояснила мне Нина Павловна, догадываясь, конечно, что мне хорошо известна история с Люсей Каплером, который был наказан за свою любовь к Светлане Сталиной.

— Но тогда ни я, ни, по-моему, К.М. понятия не имели — почему.

— Вскоре после этого он снова предложил перейти к нему в «Новый мир», и я, конечно, согласилась. Через некоторое время продиктовал ей письмо Горшенину насчет Алексея Ильича — вы посмотрите, это тоже во «Всем сделанном», либо 48-й, либо 49-й год, — уточнила Нина Павловна.

В письме присутствовала вся необходимая атрибутика — и «глубокоуважаемый», и «не хотел бы вмешиваться, тем более ставить под сомнение... Но учитывая личность, просил бы еще раз...» И только в конце прорвалось, ломая устоявшийся синтаксис, — не может же такого быть, чтобы автор революционных фильмов «Ленин в Октябре» и «Ленин в восемнадцатом году»...

Нина Павловна на этот раз не возразила против письма. Но, стенографируя его под диктовку К.М., подивилась про себя его наивности.

— А теперь думаю, — сказала она мне, — может, это вовсе и не наивность была, а нажитой уже политический опыт? Он любил вспоминать слова Ленина из его письма, по-моему, пропагандисту Иванову: «Правильно ли вы боролись? По всем ли правилам военного искусства окружили противника?» Впрочем, вы уж судите сами. Ему тогда шел тридцать четвертый год. Он уже третий год редактировал «Новый мир» и был первым заместителем Фадеева по Союзу писателей.

«Тянуть лямку» в Рязани Юзу суждено было недолго. В конце 1951 года Нине Павловне позвонили и сказали, что надо срочно ехать в Рязань. Она поняла, что может случиться, если не случилось уже, несчастье. Она знала почерк людей «из этого учреждения». Ведь опять арестовали Алю Цветаеву. Теперь они старались брать свои жертвы не дома и не на работе, вообще не там, где их знают. Поводом для звонка Нине Павловне, как она потом узнала, было то, что Юзу вдруг выписали командировку почему-то в Саратов, где у него не было и не

могло быть никаких дел. И предложили выезжать не мешкая. Билет, мол, забронирован, возьмите его на вокзале, в окошечке у дежурного...

В тот момент, когда она подходила к «тамошнему учреждению», его тяжелые двустворчатые, сработанные, наверное, еще в начале нашего века двери отворились, и оттуда, словно стая борзых, выбежали несколько молодых людей в длинных плащах и шляпах с большими полями — как в американском кино, мелькнуло у нее. Поторапливая криками друг друга, они расселись по машинам — их было две, и те с ревом сорвались с места. Она так и не узнала никогда, относилось ли то, что она увидела, к Юзу, но его взяли в те же часы, по дороге на вокзал.

В окошечке областного управления МГБ ей сказали на следующий день, что первую передачу можно будет принести через две недели.

Набравшись духу, все рассказала шефу: «Константин Михайлович, может, лучше мне уйти?»

Он потемнел лицом, сжал челюсти, что с ним редко бывало:

— Нина Павловна, я прошу вас больше никогда к этой теме не возвращаться, никогда этого разговора не поднимать.

Стесненной душой она поняла, что разговор, ею затеянный, был для него почти оскорбителен, но и она не могла его не завести.

Когда же сообщила ему первому, что ей, кажется, разрешат поехать вслед за Юзом, он молча развел руками. Что было в этом жесте? Его бессилие вернуть Юза? Или — задержать ее?

Она уезжала ясным, продуваемым ветром апрельским деньком, который каким-то странным образом гармонировал с ее настроением. Юза на этот раз отправляли не в лагерь, а в ссылку. В сумочке она увозила письмо Константина Михайловича тогдашнему руководителю красноярской писательской организации Сартакову: «Это письмо передаст вам Нина Павловна Гордон... Нина Павловна проработала у меня четыре года литературным секретарем и проработала бы еще двадцать, если бы не семейные обстоятельства — то, что ей необходимо жить в одном городе с мужем, который находится сейчас в Красноярске...» Он еще подарил ей свою фотографию, сделанную в Армении, на фоне озера Севан: смотрит на остров, еле видный вдалеке. «Дорогой Нине Павловне от ее бывшего шефа, одинокого, как этот остров». Подпись: К.Симонов, 1942–1952 гг.

Как она добралась до Красноярска, «декабристка» середины двадцатого столетия, как отыскала Юза, как они там устроились, как жили, как узнали о смерти Сталина, как получили наконец весточку об освобождении Юза, еще до XX съезда, — это все особая статья, к которой еще предстоит вернуться.

Что же она все-таки значила для Константина Симонова — эта женщина, с которой я теперь по воле судеб регулярно встречаюсь то в «верхнем» его кабинете, то в «нижнем», то у нее дома, под подаренным им портретом?

Маленькая, хрупкая, седая, под мальчика подстриженная, со звонким не по возрасту голосом и пристальным взглядом больших, широко раскрытых на мир глаз.

Столько лет стоявшая на грани двух миров — его, до поры такого ясного и определенного, и того, другого, черного и невидимого, в который уходили без надежды вернуться, который был повсюду и нигде. Длинная, на годы растянувшаяся во времени цепочка фактов, слов, поступков, документов, покоящихся во «Всем сделанном», помогает искать ответ.

После скоропостижной смерти Юза она годы, буквально годы не могла придти в себя. Не жила. Вся семья К.М. к ней относилась тогда, как к тяжело боль-

ному ребенку. Ее спасала только работа. Что-то печатала с утра до вечера — расшифровывала пленки, стенограммы. Приходил К.М.: хватит работать, пойдем погуляем. Она кивала головой и продолжала работать.

Помнит еще, как однажды, через полтора месяца после смерти мужа, под самый май, перед отъездом Симоновых в Гульрипши, зашла к ним домой, наверх, занесла какую-то работу. Помнит, какая веселая суматоха царила в квартире: дети, Александра Леонидовна, мать Симонова, накрытый стол, веселье... Помнит, как, словно на чем-то нехорошем застигнутый, смутился он царящим праздником, беспомощно оглядывался, спеша увести ее куда-то в сторонку. Словно бы это он лично был виноват в ее потере. Словно не спасителем был ее, а палачом.

У каждого из них было то, чего не хватало другому. Ей — семьи, очага, обыкновенного житейского счастья. Ему — того внутреннего покоя, который он, вопреки всему, находил в ней, того покоя, что составляет порой единственную отраду человека, лишенного всего, но сознающего, что живет и поступает правильно — в силу того, что иначе жить просто не способен.

Иногда ей казалось, что он был бы рад поменяться с ней местами...

Подошел момент, когда я должен был, не мог уже дальше откладывать, заговорить с ней о Серовой. Я в ту пору как на работу ходил то на Центральную студию документальных фильмов, то в Останкино, на телевидение, запоем смотрел в маленьких демонстрационных залах фильмы по его сценариям — документальные и художественные. Дошло и до «Жди меня». Это было возвращение в мое незабытое военное детство. Два фильма готов я был тогда смотреть бессчетно в непривычно пустом, заросшем картофельными грядками Останкино: «Два бойца» и «Жди меня». И прежде всего, как я теперь понимаю, из-за песен, бернесовской «Темной ночи» и той, что в «Жди меня». «Темную ночь», не уча, запомнил наизусть. Слова второй были какими-то неподдающимися. Теперь, собираясь на встречу с фильмом после тридцатилетней разлуки с ним, запасся карандашом и бумагой, чтобы «списать слова»:

Сколько б ни было в жизни разлук
В этот дом я привык приходить.
Я теперь слишком старый твой друг,
Чтоб привычке своей изменить.

Нину Павловну спросил, публиковались ли слова этой песни, потому что я нигде кроме фильма, никогда их не встречал.

При следующей встрече она показала мне копии двух писем. В одном из них читательница задавала Симонову те же вопросы, что и я. Просила прислать стихи или сказать, где их можно прочитать. Во втором письме К.М. отвечал ей, что, к сожалению, помочь ничем не может. Песня — и слова и музыка делалась прямо к съемкам, текст потом отдельно не переиздавался и в архивах не сохранился.

— Редчайший случай, — прокомментировала Нина Павловна и заключила с ноткой внезапно нахлынувшей печали. — Осталось только то, что поет Валя в фильме.

Вот тут-то я и попросил ее рассказать поподробнее об их отношениях. После войны ведь все развивалось на ее глазах. Есть, наверное, какая-нибудь специальная папка? Она неодобрительно, даже с оттенком подозрительности, пос-

мотрела на меня: «Разве вы не читали, что К.М. в «Разных днях войны» сказал по этому поводу?»

Я, конечно, читал и помнил, поэтому и не решался до поры касаться этой материи. А сказано у него там следующее: «Все сколь-нибудь существенное, связанное с моей личной, в узком смысле этого слова, жизнью в те военные годы, сказано в тех из моих стихов этого времени и первых послевоенных лет, которые впоследствии соединились в цикл «С тобой и без тебя», в наиболее полном виде напечатанном в моей книге «Тридцать шестой — семьдесят первый». Желающих прочесть отсылаю к этой книге стихов, потому что ни дополнять их чем бы то ни было, ни комментировать их у меня давно уже нет ни причин, ни желания».

Сказано исчерпывающе, с типичной для Симонова обстоятельностью и дотошностью — даже отсыл к конкретному изданию книги.

Свое знакомство с этим текстом я, разумеется, не замедлил подтвердить Нине Павловне, и она, словно бы не удовлетворившись этим, добавила от себя: «Он тогда, диктуя эти строки, и мне сказал: Нина Павловна, кто хочет знать обо мне и о Вале, пусть читает мои стихи и смотрит даты».

— А папку, досье с ее письмами... — нет папки. Он сжег ее. Приехал на квартиру, взял папку, увез на дачу и все в камин. Это его собственные слова: «Все в камин!» Настолько он был ожесточен. Вот это самое правильное слово, — повторила она, словно вслушиваясь в самое себя: — Ожесточен.

И добавила:

— Он, правда, говорил: я не знаю, как она моими письмами распорядилась. Может быть, и будут еще всплывать. И вообще — он не любил эту свою пьесу «Жди меня» и еще меньше — фильм по ней.

— А я любил и люблю, — с нажимом произнес я.

— И я тоже, — сокрушенно развела она руками.

Книги Симонова стояли на полках в оставленных им навсегда кабинетах — «верхнем», «нижнем», в Пахре, в Гульрипши. Стояли у меня дома. Романы, томики стихов, издания пьес, киносценариев, публицистика, двухтомники военных дневников, расшифрованных и прокомментированных десятилетия спустя... Но такая была у меня фаза работы над сценарием, что я почти не снимал их с полок.

Меня тянуло к папкам «Всего сделанного», под сень опустевшего симоновского дома, где в бывшем симоновском кабинете меня встречала Нина Павловна.

Однажды с ее помощью я, показалось, нашел то, что искал интуитивно с самого начала. В томе «В.С.» за 1966 год. Ключ к сценарию, а может быть, и к роману. Им оказались заготовки к так и не написанной пьесе, о которой Симонов упоминал в столь давние уже дни наших прогулок по больничному двору. «О моих четырех Я» — назвал он ее в разговоре. И тут же с привычной уже для слушателя самоиронией уточнил:

— Не опасайтесь, никакого там расчетверения и даже раздвоения личности не происходит. Просто попытка дать развитие человека во времени, одушевить, вернее, олицетворить его представления о жизни и о самом себе на разных временных этапах и заставить эти фантомы вести перекличку, разговаривать друг с другом. «Я сегодняшний больше знаю о тех временах, но не все уже помню, — прочитал я теперь в его заготовках. — Я тех стародавних лет, не догадавшись о многом, что стало известно потом, но живущий в тех подробностях, которые

мною теперешним забыты. Пусть встретятся и поговорят, допросят друг друга... Алеша, Майор, Алексей Иванович, Рябинин — назовем хотя бы так.

Когда сотворю какой-то материал, — разговаривал он сам с собой в найденных мною с помощью Нины Павловны записях, — надо будет с театрами поговорить, подумать, как это может выглядеть на сцене».

Даты, с которыми сопрягалась зрелость четырех его героев, говорили сами за себя — Я в тридцать седьмом году, и Я — в 45-м. Я в послевоенные годы и Я — сегодня... Мне понятен был его замысел. Как пилигрим в Риме перед собором Святого Петра, внутри четырехрядной его колоннады, он искал на выложенном камнем пространстве ту точку, с которой контуры всех четырех колонн сливаются воедино. «Мои четыре Я».

И следующая мысль — как озарение. Кому же, как не мне, стать его «пятым Я»?! Набросками своей пьесы он словно протягивал мне руку, предлагал еще раз вместе пройтись его дорогами.

Еще в больнице, где, так угодно было судьбе, мы два года подряд оказывались с ним вместе, я спрашивал себя, что означает его разговорчивость, такая неожиданная для меня откровенность? Ведь он рассказывал и о таких страницах жизни, которые вовсе его не украшали. Не пытался припомаживать себя. Было ли это — лестное предположение — следствием завязавшейся каким-то образом симпатии? Или тут было что-то чисто профессиональное? Был нужен более-менее адекватный собеседник, принадлежащий следующему поколению, нужна была его реакция...

Мне теперь казалось, что его «Четыре Я» уже тогда, во время частых и долгих наших прогулок, говорили и спорили не только друг с другом, но и со мной. Не был ли я уже тогда Пятым? Ведь дни нашего рождения разделяли всего пятнадцать с половиной лет. Я был Алешей, когда он был Майором...

Судьбе было угодно, обнаруживал я, чтобы я в буквальном смысле прошел многими из тех дорог, что и мой герой. Кроме войны, потому что, когда она началась, я был десятилетним мальчишкой, и на мою долю достались лишь налеты гитлеровской авиации на Москву. Но и я слышал свист фугасок, видел рожденные ими пожарища и развалины, вместе со старшими сбрасывал с крыш двухэтажного барака в Останкино, где мы жили, «зажигалки».

Это началось еще раньше.

Под Халхин-Голом была его первая настоящая война. Мой отец по окончании Московского автодорожного института работал начальником автоколонны на строительстве дороги Улан-Удэ — Кяхта — Улан-Батор. Наши наспех сколоченные домики — тес да горбыль, да засыпки из песка и гравия — стояли вдоль строящегося шоссе.

Краснозвездные танки шли с грохотом по нему, вызывая мой пионерский восторг.

Слышали мы, конечно, и грозное уханье, которое доносилось с той стороны, куда танки уходили. Помню, словно брызги от попавшего в лужу камня, стремглав разбегались во все стороны и прятались в своих норах жирные монгольские сурки-тарпаганы, которых любили в спокойное время стравливать шоферы. Как испуганно прятал голову под крыло доверчивый журавленок, который повредил ненароком лапу и задержался около нас в крохотном озерке.

Студентом-журналистом я проходил после войны многомесячную практику в том самом Саратове, где Симонов с родителями прожил несколько лет в детстве.

Став журналистом «Комсомолки», кружил «ноленс-воленс» по тем же самым маршрутам, что и правдист Симонов: целина, Голодная степь в Узбекистане, Братская и Красноярская ГЭС, Газли и шахты-новостройки — тот самый джентльменский набор, который с одинаковой силой манил к себе и начинающих журналистов, и «классиков». Даже первая серьезная зарубежная моя командировка в 61-м году пролегла туда, где пятнадцатью годами раньше проходил обкатку международника К.М. — Соединенные Штаты.

Гораздо важнее, однако, для меня были совпадения другого рода. Те самые, что и побудили, очевидно, Ларису подтолкнуть меня на путь летописца восхождений, взлетов и падений писателя Константина Симонова, его единственной и неповторимой, как всякая, жизни. Его «второго дыхания», которое наступило тогда, когда легкие уже отказывались работать.

Снова вспомнился Пришвин: материалы мои были хорошо собраны, правильно расположены... «Не хватало момента творческой кристаллизации»? Вот он и явился — стопкою страниц недописанной пьесы.

У Симонова это были Алеша, Майор, Алексей Иванович, Рябинин. У меня будет Костя, дальше пусть будет Военкор, затем Константин Михайлович Симонов, а там и К. М., как его стали звать все близкие, когда перевалило за пятьдесят. А может быть, и Ветеран. Естественно, что границы между ними очень условные, зыбкие. Ясно, что Военкор не на второй день войны явился, чтобы сменить Костю, как не на второй и не на третий день после нее трансформировался в Константина Михайловича...

Видно, автор сценария уже столкнулся с романистом, которого столь неосторожно разбудила во мне Лариса.

...Без малого три года прошло уже со смерти К.М. Год с небольшим как печально отшумели в этих стенах поминки по Ларисе, и они были, увы, не последними в семье — несколько месяцев спустя хоронили ее мать, генеральшу Жадову.

Нина Павловна, добрый дух семьи и осиротевшего дома, все приходила и приходила сюда — три раза в неделю на три-четыре часа. Здесь мы ее и снимем для фильма. Так что расстающейся со своим памятным прошлым квартире по улице Черняховского еще предстояло ожить, наполниться шумом и гамом людским, услышать, словно в старые добрые дни, стрекотанье киноаппарата, засиять светом юпитеров и софитов. Потом сюда переедет, после основательного ремонта, разумеется, Катя с семьей.

Как-то Нина Павловна обронила, что с последней папкой, которая уйдет отсюда, завершится в общем-то и ее миссия в этом мире.

Подходил конец и моим благословенным бдениям здесь.

«Наверху», тогда это означало только ЦК КПСС, было положено отправить меня послом. Одно из тех хитроумных решений брежневских времен, о которых хочется сказать обидевшей Кюхельбекера шуткой Пушкина: и удивленные народы не знают, что им предпринять, ложиться спать или вставать.

Одних отправляли в тюрьмы, ссылки, в лагеря. Других отсылали на работу за рубеж. Они, видно, не так сильно провинились, но все равно мешали. Как Александр Николаевич Яковлев, угодивший со Старой площади в посольский особняк в Оттаве, как, еще ранее, мой первый главный редактор в «Комсомолке» Дмитрий Петрович Горюнов, проходивший у Брежнева и его компании за любимца Хрущева. Ему досталась Кения.

Когда я приехал послом в Стокгольм, где мне уже приходилось бывать по делам Агентства по авторским правам, в шведской прессе развернулась дискус-

сия — повышение это для Панкина или ссылка. Аргументы той и другой стороны звучали для стороннего уха одинаково убедительно...

Меня беспокоило одно — смогу ли в новой, неожиданно создавшейся ситуации продолжить работу над фильмом. Утешение черпал в предыдущем опыте — переход из «Комсомолки» в ВААП тоже ведь был видом ссылки. Но я выжил...

Перед самым отъездом успел-таки закончить сценарий, в первом приближении, и разослать его по всем надлежащим адресам, официальным и дружеским. В том числе, разумеется, Нине Павловне и режиссеру, Владлену Трошкину, который оставался теперь основным связующим звеном между мной и «материком».

К.М.

Его возвращение в Москву совпало с появлением на столах читателей голубой книжечки журнала «Новый мир» за июнь 1956 года. С его статьей о Фадееве. Он не верил в ясновидение, но каждый раз, как выходило в свет что-то из его работ, такое, чему он придавал особое значение, ему казалось, что он воочию видит, как в сотнях, тысячах кабинетов, квартир, читальных залов люди, среди которых очень много знакомых ему лично, открывают именно те страницы, которые занимает его статья «О Фадееве». Он как бы снова и снова «проходился» по ней то с Поликарповым из ЦК, то с Твардовским или Сурковым, то с самим Никитой Сергеевичем Хрущевым. И то, что казалось великолепным, когда он перечитывал статью, например, с Долматовским, вдруг начинало задним числом пугать или шокировать, когда он ощущал себя в компании с Поликарповым или, наоборот, с Кавериным, с Назымом Хикметом.

О Фадееве шел тогда особый разговор повсюду, и особые занимали людей думы.

Голубая новомировская тетрадка за июнь была нарасхват.

Статья его, первая попытка всерьез поговорить о Фадееве и о том, что с ним произошло, — у всех на устах. Слова одобрения перемежались в прессе и на бесчисленных совещаниях руганью и проклятьями.

В Москве, как раз к его приезду, выяснилось, что руководить союзом кроме него некому, хотя он уже и не занимал должность первого зама. Сурков заболел, один из его заместителей нацелился в творческий отпуск, другой был в зарубежной командировке. Деваться было некуда, и он снова нырнул в сумятицу и неразбериху союзписательских и новомировских дел.

Диктовать Нине Павловне роман успевал теперь только ранними утрами, а на ее замечания и сетования относительно замотанного вида отвечал, оправдываясь и успокаивая ее:

— Люблю власть для добрых дел.

Нужно было пробивать бумагу для сборников «Литературная Москва» и «Тарусские страницы». Писать и подписывать письма в верховные суды Союза и республик, в прокуратуры и прямо в «места не столь отдаленные» с ходатайствами, напоминаниями, а то и требованиями ускорить рассмотрение дел и реабилитацию, редко — при жизни, чаще — посмертно, того или иного замечательного и просто писателя.

Надо было встречать и привечать возвращавшихся «оттуда». Заставлять аппарат союза хлопотать для них о прописке и жилье, беседовать с ними часами в кабинете или в ресторане Дома литераторов. И горькую радость испытывал он от того, что в его власти было помочь не только возвращению людей и имен, но и их произведений.

Анне Берзинь, вдове Бруно Ясенского, чьим романом «Человек меняет кожу» он зачитывался в молодости, написал, что к ее возвращению из Польши, наверное, сможет вручить очередную тетрадку «Нового мира» с не публиковавшимся ранее романом Бруно. «Бойтесь равнодушных!» Призыв сгинувшего в бериевско-сталинских лагерях писателя будет в те дни у всех на слуху. И кто-то скажет, что сегодня это такой же пароль всех порядочных людей, как в войну слова «жди меня...».

Власть для добрых дел... В те же летне-осенние дни 56 года он — в письмах и хождениях в Моссовет и его управление внутренних дел — продолжал хлопоты о Нине Павловне и Юзе, которые по-прежнему не имели в Москве ни жилья, ни, соответственно, постоянной прописки. Какой-то заколдованный круг: не прописывают, потому что нет жилья, хотя ясно же, что оба — потомственные москвичи, и не от хорошей жизни сменила Нина Павловна свою московскую комнатушку на «хоромы» в Красноярске. О жилье же и не заикайся, пока не имеешь постоянного вида на жительство.

Много времени отняла история с публикацией пьесы Назыма Хикмета, который тоже ощущал себя теперь в положении реабилитированного.

После первых бурных манифестаций в его честь, громогласных, но холодных, как бенгальский огонь, Назым и сам, надо отдать ему должное, не искал ласки и расположения у Сталина и его окружения.

Естественное чувство самосохранения, воспитанное годами в турецких тюрьмах, побуждало держаться подальше и от барской любви, и от барского гнева.

Зато он одним из первых откликнулся на происходящие перемены. Написал всем на удивление сатирическую пьесу «Иван Иванович». И принес ее в «Новый мир».

А его зам возьми да и отправь ее в ЦК. Из-за этой оплошки Кривицкого приходилось вести утомительную переписку с Поликарповым, а заодно и с Назымом.

Сколько бы ни иронизировал он над своими «с одной стороны» и «с другой стороны», не мог не констатировать, что и та и другая с неизбежностью присутствовали в том, что составляло предмет его редакторских и гражданских забот.

«Я не считаю себя вправе умалчивать, — писал он Поликарпову — что, вернувшись в Советский Союз в 1951 году, такой человек, как Хикмет, во многих смыслах испытал чувство разочарования, очень часто у него возникало чувство, и не могло не возникнуть: за это ли я боролся, за это ли я сидел? И сейчас, после XX съезда, после того, как были вскрыты те чудовищные извращения, которые имели место после смерти Ленина, нам должно быть понятно это чувство, и мы не должны его игнорировать».

Он убеждал Поликарпова, что если в пьесе Хикмета и преподносятся нам горькие пилюли, то это лекарство, выписанное знающим, деятельным и дорожащим здоровьем пациента врачом. Он противопоставлял Хикмета, например, Андре Жиду, который говорил в избытке ласковые и слезливые слова, пока был у нас, а потом, издалека, поливал нас грязью. «Я гораздо больше верю тем, кто ругается, когда им хочется ругаться, если им что-то не нравится, чем тем, кто источает елей по всякому поводу».

Он защищал Хикмета даже от Суркова, который усмотрел в пьесе неблагоприятное влияние Эренбурга. «Эренбург — мелкобуржуазный интеллигент, ко-

торый иногда может попадать в точку, а Назым — коммунист, который может иногда заблуждаться».

Было бы полезно и даже необходимо поговорить с Хикметом в руководстве КПСС именно как с коммунистом. От него можно услышать много важных и нужных замечаний, и часть своих мыслей он как раз и изложил в художественной форме в пьесе.

Заклинал Поликарпова прислушаться к его, Симонова, словам: «Я тебя лично очень люблю и очень уважаю и считаю своим другом, и именно это не позволяет мне кривить душой перед тобой». Уверял его в том, что «Хикмет обязательно сделает и учтет все то, что он посоветовал ему, но после этого мы можем и должны напечатать пьесу».

Хикмету он не признался, что дополнительные замечания, которые он вынужден был сделать как бы от своего имени, подсказаны «сверху». Инстинкт бывалого уже редактора, который хочет не отфутболить под благовидным предлогом, а напечатать спорную вещь, подсказывал ему, что хотя бы из психологических соображений он должен взять это на себя: «Прежде всего сейчас, когда я прочел пьесу уже в верстке, мне кажется, что те некоторые дружеские советы, которые содержались в моем прошлом письме, были на пользу дела. Это во-первых. А во-вторых, внимательно прочитав пьесу, теперь уже в верстке, с карандашом в руках, хочу посоветовать тебе сделать некоторые сокращения. Кроме того, в ней есть места, на мой взгляд, художественно неудачные и два-три места, где стоит подумать над лучшим решением». Воспроизводя замечания «товарищей из ЦК», но выдавая их за свои, он предлагает Назыму, например, не смеяться над глупыми директорами московских магазинов, которые выставляют в витринах гусей и поросят из папье-маше: «К сожалению, у нас в Москве, а особенно за ее пределами, мы еще год или, может быть, два не сможем выставлять настоящих гусей и поросят — и не по глупости директоров магазинов, а потому что их пока нет и без крутого подъема животноводства пока некоторое время не будет. Так над чем же тут, в сущности, смеяться?»

Пока он вел эту переписку, правдами и неправдами проталкивая на страницы журнала пьесу Хикмета, в редакционном портфеле продолжали лежать рукописи романов Дудинцева и Пастернака.

Впрочем, дудинцевский не лежал, а двигался... Машинописная рукопись превратилась постепенно в корректуру, корректура в верстку, верстка в сверку. Роман был на выходе, и К.М. уже предвкушал сенсацию.

Он никому не показывал и никуда не посылал эту рукопись, ни с кем не обсуждал ее, кроме членов редколлегии. Не вмешался, слава богу, и Главлит, что дополнительно убеждало его в здоровом, партийном настрое произведения... Чем ближе подходил к своему появлению в свет «Не хлебом единым», тем яснее становилось ему, как поступить с «Доктором Живаго».

Он прекрасно представлял себе, какую бучу вызовет роман Дудинцева. Нет, не представлял, а предвкушал это, и уже видел себя и отвечающим по телефону, и пишущим письма, и дающим интервью, и выступающим на различных писательских форумах и читательских конференциях, где под аплодисменты большинства он будет отстаивать перед самыми «упертыми» справедливость и необходимость решения, принятого редколлегией «Нового мира».

Точно так же он ни минуты не колебался в своем отношении к «Доктору Живаго», когда перевернул последнюю страницу рукописи.

То, что славившийся болезненной ранимостью Пастернак прислал свой роман именно в «Новый мир», льстило редакторскому самолюбию К.М.

Дальше все было сложнее.

Природа рукописи, где действие поначалу развивалось так неторопливо, эпически, была такова, что даже профессиональному читателю нелегко с ходу войти в нее. Зато когда К.М. вошел, радость его быстро померкла. Сказать об этой вещи, что она непроходима, значило ничего не сказать. Непроходимо то, что ты как редактор хотел бы, да не можешь, не в силах напечатать, пробить. Такое чувство на какие-то мгновения появлялось у него с тем же «Иваном Ивановичем» Хикмета или со статьями молодого, дьявольски талантливого Марка Щеглова.

Тут же было совсем другое. Напечатать эту вещь — значит расписаться в том, что все, чему ты служил в жизни, — чушь, пустота, зловещая ошибка.

И в «Новом мире», и в «Литературной газете» он сознательно шел на то, чтобы печатать вещи, с которыми был не до конца согласен или вообще не принимал. Но чтоб такое, что идет вразрез с его, как писателя, как редактора, как гражданина, представлениями... Печатать такое он не способен. Против восставало все его существо, и это даже облегчало его задачу в объяснении с Пастернаком. Не надо даже в малом кривить душой, не надо будет, как в случае с Хикметом, выдавать, пусть и в благих целях, чужие мысли и замечания за свои. Притворяться идиотом, короче говоря...

Он не просто вернет рукопись автору... Не просто скажет, что она журналу не подходит. Он напишет Пастернаку письмо, где подробно и аргументированно изложит все, что думает о романе, прежде всего о его идейно-нравственной сущности. Сам прозаик, К.М. понимал, что такие вещи не переделываются и не исправляются после того, как они написаны. Их или печатают, или бросают в корзину. Пастернак, конечно, ничего бы и никогда не согласился переделывать в своем романе по его, Симонова, или чьей-либо еще подсказке. Но все-таки, все-таки, теплилась в нем надежда, если глубоко и искренне написать, он, быть может, хоть что-то поймет, и это, возможно, окажет определенное влияние на весь его дальнейший творческий путь. Как бы то ни было, но нельзя не отдать ему должное — поэт до мозга костей, а отгрохал на склоне лет эдакий романище. Это был творческий подвиг, но это была и трагедия. Трагедия человека, который лучшую часть своей жизни прожил в мире, в котором ничегошеньки не понял. Он перечитал давние, довоенные стихи Пастернака:

Но как мне быть с моей грудною клеткой
И тем, что всякой косности косней...

Вот эта вот живучая и ползучая косность и придавила поэта.

Утвердившись в своей мысли о письме Пастернаку, он решил, что садиться за него все же нельзя, не обсудив роман на редколлегии. Коли так, то и письмо автору должно пойти от редколлегии, по крайней мере, от некоторых, наиболее выдающихся ее членов. То, что его соратники по журналу разделят его оценки романа, у него не было сомнений. Не тот это случай, где можно ожидать кардинального расхождения во взглядах.

Он подготовил набросок письма. То есть он это так называл — набросок, когда поставил роман на обсуждение редколлегии. По существу же это был готовый документ, даже статья.

Написать эти страницы было все равно что — сходить на исповедь. Пастернак поставил своим романом под вопрос правомерность Великой Октябрьской революции. На чашу истории он бросил всю историю народившегося осенью семнадцатого года первого в мире социалистического государства. Его трактовке истории надо было противопоставить свою. Для этого хотя бы мысленно надо было заново пережить ее. Благо твое собственное появление на свет, по существу, совпало с Рождеством революции. Конечно, он был на целое поколение, если не на два, моложе Пастернака, четверть века разделяла их, но в этом, может быть, и его историческое преимущество. Старорежимное воспитание, меланхолические воспоминания о прошлом с его боннами и гувернантками не висели, как у Пастернака, гирями на его ногах. С другой стороны, никто не мог бы сказать, что он и его близкие, особенно старшее поколение, были баловнями строя.

Арест отчима, дворянское происхождение матери и судьба ее сестер, о чем приходилось упоминать при каждом заполнении анкет, — а это случалось чуть ли не каждый год — накладывало свой отпечаток и на его судьбу, давало обильную пищу для клеветы и наветов, в том числе и в последние годы жизни Сталина, когда многим он, должно быть, казался его любимчиком.

Перипетии личной судьбы никому, однако, не дают права только на основании их судить прошлое, героическую историю своей страны. Художник, если он действительно масштабен, не может жить и творить, выглядывая из-за частокола собственных обид и злоключений.

В таком русле текли его мысли, когда он готовился к заседанию редколлегии. Кое-что из этого, опуская, естественно, подробности своей биографии, он сказал вслух. В письме, подписать которое вместе с ним согласились Федин, Лавренев, Агапов и, конечно, Кривицкий, было: «Суть нашего спора с Вами не в эстетических препирательствах. Вы написали роман сугубо и, прежде всего, политический. Роман-проповедь. Дух Вашего романа — дух неприятия социалистической революции. Пафос его в том, что Октябрьская революция и гражданская война не принесли народу ничего, кроме страданий, а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально... Как люди, стоящие на позиции прямо противоположной Вашей, мы, естественно, считаем, что о публикации Вашего романа не может быть и речи».

Как ни уверен был Симонов с самого начала в справедливости своей позиции, поддержка редколлегии, в первую очередь Федина, окрылила его. С тем большей тщательностью он уже с пером в руке работал над стилем. Когда позиция выработана и утверждена, надо сугубо позаботиться о слоге, о том, чтобы бескомпромиссность выводов, формулировок нигде не отдавала бы грубостью, неуважением к автору, который при всех его глубочайших заблуждениях оставался одним из крупнейших русских поэтов.

Письмо не предназначалось для печати, но это обстоятельство нисколько не умаляло ответственности его авторов за каждое слово, за каждую букву в нем.

Свои небольшие поправки внесли и соавторы. Письмо было отослано поэту вместе с рукописью. Реакции не последовало. Только однажды всеведущий Кривицкий, таково уж было его амплуа в журнале, обмолвился, будто бы «Доктор Живаго» был предложен его автором в сборник «Литературная Москва» — Каверину, Алигер и другим, но и там его, естественно, не взяли, сославшись, правда, лишь на объем, не подходящий альманаху.

Время и мысли К.М. теперь были заняты другим. Октябрьской книжкой «Нового мира» завершена была публикация романа Дудинцева «Не хлебом единым».

На глазах К.М. разворачивалась ситуация, которую он про себя называл эффектом «Капитанской дочки». Это когда ямщик сказал Гриневу, кочевавшему по белоснежной, сверкающей под ослепительным солнцем оренбургской степи: «Барин, беда, буран». И указал кнутовищем на светлое облачко на краю неба, похожее на отдаленный холмик.

Гринев не поверил: «Ветер показался мне не силен».

Но уже через считанные минуты это облачко, к изумлению Гринева, «превратилось в громадную белую тучу, заслонившую небо. Вскоре стало совсем темно. Снег повалил хлопьями. Ветер завыл. Сделалась метель».

К.М. в этой начавшейся сумятице чувствовал себя одновременно и Гриневым, и ямщиком. Он и предвидел эту круговерть в печати и в общественных буднях, и дивился ей. До поры до времени знал, как и куда направлять кибитку.

Роман был необыкновенно острым. Иных читателей, особенно из числа сановитых, влиятельных, которые не стеснялись сердито и недоуменно звонить редактору по мере выхода новомировских тетрадок, он приводил в состояние шока. Посасывая с удовольствием чубук трубки и стараясь оставаться серьезным, К.М. в таких случаях рекомендовал перечитать закрытый доклад Хрущева, который у такого рода деятелей еще лежал красной книжицей в сейфах.

На редколлегиях, которые он тогда проводил чуть ли не раз в неделю — обозреть почту, взвесить коллективно читательскую реакцию, — он рассуждал, и Нина Павловна, ютившаяся, как всегда, незаметно в уголочке, записывала за ним:

— Интересный феномен. Если о зле и пороках общества нам говорят в партийном документе, мы воспринимаем это как должное. Засучиваем рукава и принимаемся выметать мусор... А если о том же самом говорит писатель, писатель-коммунист, действующий и творящий в духе того же самого документа, тут же начинают приклеивать всякие неизящные ярлыки, вроде очернительства, клеветы на действительность, политической слепоты и т.д.».

Почта журнала, о которой подробно докладывали на редколлегиях, частые встречи с читателями, в которых он теперь снова и с удовольствием принимал участие, показывали, что неразбериха царит в головах отнюдь не одного только начальства. Наряду с глубоко трогавшими его письмами, в которых люди буквально со слезами на глазах благодарили автора, редакцию и его, редактора, приходили, и во множестве, такие, от которых мороз по коже пробегал. Казалось, встреть такого оппонента где-нибудь один на один, он тебе перегрызет горло. У массы людей кумиром оставался Сталин.

Жаркое лето 1956 года. Москву знобило от этой жары. Когда-то, при Сталине, на знакомство с газетами уходило не более получаса. В них или было что-то, или не было ничего. Под «что-то» опытные читатели подразумевали нечто, связанное со Сталиным, как правило, не названным по имени. То есть его имя десятки раз упоминалось на каждой газетной или журнальной странице. Не увидеть его имени в какой-нибудь статье, тем более на целой газетной странице было все равно что обнаружить, что из текста исчезли знаки препинания. Но схватывалось не то, что говорилось о нем — тут всегда было примерно одно то же, а то, что исходило от него. Угаданное между строк моментально становилось злобой дня, как, скажем, упоминание о том, что нам нужны собственные Гоголи и Щедрины.

Теперь наоборот. Главным было именно то, что говорили и писали о нем, прямо или косвенно. Газеты и журналы, тонкие и толстые, были переполнены этим, и надо было все читать. В служебных кабинетах, в редакциях газет, в трамваях и такси, на улицах и пляжах, в домашнем кругу только и слышалось: «А вы читали?»

И в ответ сладострастное: «А как же?!» — что предвещало возбужденный, порою лихорадочный обмен мнениями. Преображалась на глазах пресса, рождались, как грибы, новые издания... Вышли «Тарусские страницы», подготовленные Паустовским. Вслед за ставшим сенсацией первым сборником «Литературная Москва» ожидался выход второго. Все говорили о Яшине, его «Рычагах», Тендрякове с его «Ухабами», о только что зазвучавших именах — Жестеве, Троепольском. На страницах «Нового мира» Гранин поднял общественную температуру своим «Собственным мнением». Начинался бум в театре и в кино. Зашевелились во глубине своих мастерских непризнанные художники и скульпторы. Но и в этом половодье истинных или поддельных сенсаций роман Дудинцева выделялся как дредноут среди канонерок, звучал контрабасом на фоне альтов и скрипок.

Неповторимая была пора. Дискуссии переполняли периодические издания. Гремели в аудиториях. Одинаково интересно было говорить как с теми, кто тебе аплодирует, так и с теми, кто не согласен. Исчез десятилетиями сопутствовавший разным публичным проявлениям душок проработки, который побуждал, слушая очередного оратора или вперяясь взглядом в газетную статью, лихорадочно соображать, а что же теперь будет с тем-то, тою-то или с тобою. Критические соображения, даже самые резкие, потеряли криминальный привкус. Шло невиданное по размаху, непривычное по тону и содержанию сопоставление мнений.

Для К.М. пиком этого процесса стала встреча с участниками межвузовской конференции преподавателей литературы в Москве. Вместе с ним в МГУ были Дудинцев, Каверин, Эренбург.

Переживший волны обожания, испытавший сразу после смерти Сталина холод и отчуждение части своих неисчислимых поклонников, он предвкушал удовольствие оказаться среди читателей-профессионалов, для которых изучение литературы — дело самой жизни, а общение с теми, кто ее творит сегодня, — явление рабочее.

Со словесниками можно говорить, как с самим собой. Он ощущал себя тяжелеющим, набухающим ливнем облаком, жаждущим излиться. И он излился.

Был рад нелицеприятности вопросов, без которых, наверно, не рискнул бы коснуться некоторых тем. Например, печально известного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Начал он с того, что заступился за западную, так называемую буржуазную литературу, в отношении которой в докладе Жданова прозвучало огульное отрицание, что в немалой степени способствовало потом разгулу обличений в период борьбы с выдуманным космополитизмом.

Говоря об этой кампании, которая особую силу набрала после появления известной редакционной статьи в «Правде», инспирированной непосредственно Сталиным, он напомнил, к каким тяжелым последствиям она привела, и признал, что тогдашние руководители Союза писателей, в том числе и он сам, Симонов, в докладе на Московском собрании драматургов, поплыли по течению. Стали не только отстаивать все сказанное в статье, но и усугубили ее вред сво-

ими собственными высказываниями, дополнительными примерами, грубыми, несправедливыми оценками деятельности многих театральных и литературных деятелей, которые потом все практически лишены были на длительные сроки возможности работать в литературе. Заявка на откровенность не осталась без ответа.

— Как известно, вы получили дюжину сталинских премий за культ личности, какое же у вас право выступать сегодня таким радикалом? Вы оглупляете высказывания Жданова и призываете под видом борьбы с лакировкой действительности к копанию в наших недостатках и просчетах. Скажите лучше о своих ошибках.

Он ждал такого поворота. Повторив вслед за автором записки строки из своей «Суровой годовщины»: «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?», он заявил, что не стыдится того чувства, которое у него было к Сталину в 1941 году, потому что это было честное чувство.

— Теперь же, после всего того, что я узнал о Сталине, после того, что я узнал много страшных вещей, связанных с его именем, такое, что невозможно ни забыть, ни простить, я не хочу больше ни перепечатывать это стихотворение, ни даже перечитывать его.

Тут он глянул в притихший, напряженный зал и, разряжая обстановку, добавил со своей миллионам знакомой, симоновской улыбкой:

— И сегодня я это делал последний раз.

Зал дружно выдохнул и разразился аплодисментами. Теперь можно было переходить в наступление. И не было благодатнее повода для этого, чем роман Дудинцева, автор которого сидел тут же, за столом президиума и, перечитывая десятки записок из зала, в числе которых было немало ругательски-ругательских, ждал, наверное, что скажет теперь редактор.

— Я считаю, что роман Дудинцева «Не хлебом единым» — смелое произведение, резко бичующее недостатки в жизни нашего общества и полное веры в наше светлое будущее, — рубанул К.М., специально выбрав для ответа такую записку, где вопрос о его отношении к роману «после критики его в партийной печати» был поставлен ребром.

— Если бы я был согласен с автором записки, я бы тем самым считал, что это роман антисоветский, и голосовал бы как редактор журнала «Новый мир» против его печатания. Однако я не считаю этот роман таковым, да и Дудинцев, каким я его знаю, не написал бы такого романа.

Получив потом от Нины Павловны стенограмму этого собрания, он засел в Красной Пахре на несколько дней и написал на ее основе статью «Литературные заметки». Там была исповедь в живой аудитории. Теперь его аудиторией станет вся читающая публика. Пройдет много лет, и, возвращаясь, тоже публично, к этой своей работе, он скажет, что если бы тогда, в 1956–1957 годах, он не сказал во всеуслышанье о своих и других руководителей Союза писателей ошибках, ему бы теперь было еще труднее стоять перед лицом своих читателей. Но до этого времени еще далеко, а до того, как в «Новом мире» будут опубликованы его заметки, — всего три месяца. Короткие и такие мучительные.

Пока писал их, жил впечатлениями того бурного вечера в МГУ. Снова и снова перебирал в памяти каждое слово, сказанное им самим, его оппонентами и теми, кто сидел с ним рядом в президиуме. Ощущение было такое, словно только что выскочил из санпропускника — с чистой, розовой, почти до дыр про-

тертой кожей на лице и теле — и теперь натягиваешь на себя выстиранное и выглаженное раскаленным утюгом до ожогов «бэу».

Пожалуй, он выглядел и «звучал» даже лучше Дудинцева, хотя тот, по идее, должен был стать героем дня — разговор крутился вокруг его романа. Симонов, в конце концов, был всего лишь редактором, рискнувшим напечатать эту вещь, наделавшую столько шума.

Наблюдением, что Дудинцев выглядел разочаровывающе бледно на этом диспуте, поделился с ним Каверин, который на встрече отчитывался за свои выпуски «Литературной Москвы». К.М. не стал комментировать. Его лично устраивала такая позиция — или поза? — Дудинцева. Предстояли еще, он чувствовал, новые, куда более ожесточенные схватки вокруг романа, и автору, уже сделавшему свое дело и к тому же весьма неопытному в литературных баталиях, правильнее было уйти в тень, чтобы не наговорить каких-либо благоглупостей. От Дудинцева он знал, что уже возникли какие-то препятствия с публикацией романа в издательстве «Молодая гвардия». Рукопись затребовали в ЦК. Симптом неприятный. Чего же требовать рукопись, когда вот они, одна к одной, лежат голубые тетрадки «Нового мира».

Выдержки и «смирения» Дудинцеву хватило ненадолго. Вскоре после межвузовского совещания состоялось обсуждение романа в Доме литераторов на улице Воровского. Устроителем был «Новый мир». Договорились давно, когда еще трудно было предполагать столь бурное развитие событий. Симонов решил на это обсуждение не ходить. Он сказал свое слово тем, что напечатал роман. Сказал он его и на встрече с учителями. Теперь надо было поберечь силы для кабинетной борьбы, которая того гляди начнется. Для назревавшей уже переписки с ЦК, в которой он в последнее время весьма поднаторел. Он писал в те дни Овечкину: «Мне иногда начинает казаться, что благодаря упорной и длительной работе над этим литературным жанром он, в конце концов, начинает у меня выходить лучше всего остального».

Это была ошибка, что он не пошел в ЦДЛ. Предоставленный самому себе, возбудившийся видом толпы, рвущейся в зал, и конной милиции, которая с трудом сдерживала натиск, наслушавшийся панегириков и анафем, вдохновляемый боевым азартом Паустовского, который председательствовал на встрече, Дудинцев бог знает что наговорил. Теперь предстояло это расхлебывать.

Между тем в Москву просочились слухи о «событиях» в Венгрии, после того как Эрне Гере сменил Матиаса Ракоши, который многие годы представлялся Симонову рыцарем без страха и упрека, одним из железной когорты революционеров-антифашистов.

Уход Ракоши с политической арены в московских кругах оценивался по-разному. Одни считали это победой реакционных сил, которые подняли и неизбежно должны были поднять голову в Венгрии да и других странах народной демократии после того, как с такой бесшабашностью полоснули по Сталину. Другие полагали вполне естественным, что вслед за Сталиным покидают сцену те деятели, которые стояли к нему особенно близко.

25 октября слухи обернулись официальным сообщением ТАСС: «Янош Кадар сменил Эрне Гере на посту первого секретаря, Политбюро назначило премьером Имре Надя». И еще одна фраза из тех, которые предназначаются для успокоения, а на самом деле лишь пробуждают беспокойство: «Порядок восстановлен. Жизнь постепенно входит в нормальную колею». Восстановлен. А кто, когда и почему его нарушал?

Еще через день или два газеты аршинными заголовками возвестили о новом повороте событий.

Наши танки вышли из Будапешта, наши танки вернулись туда снова... Янош Кадар сменил на посту премьер-министра слабохарактерного — или беспринципного? — Имре Надя, который сдавал контрреволюции позицию за позицией. В столице Венгрии было опубликовано Воззвание к венгерскому народу Революционного рабоче-крестьянского правительства.

Социализм оказался в опасности и в Польше. Однако контрреволюции не удалось достичь своих целей. Кризис в обеих странах, пусть и ценою пролития крови, был преодолен.

Чутье и опыт подсказывали К.М. с несомненностью, что все это так или иначе окажет свое влияние и на общую атмосферу в СССР. Не может не оказать. Ответственность коммуниста побуждала заново, с новых позиций осмыслить происшедшее, вглядеться в будущее более суровым и проницательным взглядом. Контрреволюция хорошо сумела сыграть на самокритике при социалистическом строе. Реакция, как он считал, поднимала голову повсюду.

События, разразившиеся вокруг Суэцкого канала, интервенция Израиля, Англии и Франции против Египта — с минимальным отрывом во времени от событий в Польше и Венгрии — были наглядным тому свидетельством.

К сожалению, размышлял он, не избежать здесь и шараханий из стороны в сторону. Перестраховщики, как это всегда бывает в экстремальных обстоятельствах, тоже зашевелятся. Постараются заново прочитать и услышать все, что было сказано и написано в последнее время. Будут искать «параллели».

Не случайно активизировались кочетовский «Октябрь», софроновский «Огонек». В этих условиях нужна особая осторожность. Не дать повода, не спровоцировать выступлений против «безответственной интеллигентской болтовни». Он опасался, что Дудинцев дал уже такой повод в Доме литераторов. К.М. почти ничего не изменил в верстке статьи для «Нового мира», разве смягчил категоричность формулировок относительно постановлений ЦК сорок шестого года. Из тактических соображений он сместил основную тяжесть удара с официальных документов на доклад Жданова. Закончив «Литературные заметки», он, слегка поколебавшись, послал их в ЦК, Поликарпову. Для сведения.

Предчувствия его между тем начинали, шаг за шагом, подтверждаться. Сообщения в прессе продолжали публиковаться тревожные. В Австрии прятался сбежавший от расплаты Имре Надь. В самом Будапеште, в американском посольстве скрывался, быть может, самый опасный враг, который и теперь не сложил оружия — кардинал Мидсенти. Под влиянием однобокой, а то и просто дезориентирующей информации, в силу собственного политического недомыслия, в общем-то естественного для интеллектуалов Запада, на Советский Союз ополчилось большое количество виднейших зарубежных деятелей науки, литературы, искусства. Читая приходивший к нему, как к редактору центрального журнала, «служебный ТАСС», сообщения советских послов, он был информирован больше, чем, скажем, основная масса писателей, те же Дудинцев, Каверин или Паустовский... Знакомился со всякого рода манифестами, протестами и «отречениями» вроде истеричного сартровского документа. Понимал, что все это, просачиваясь тем или иным способом в нашу страну, доходя нередко в искаженном, извращенном виде, не может не воздействовать на умонастроения людей, возбуждая и даже воспаляя одних, настораживая и озлобляя других.

Активизировалась в этих условиях, задвигалась, зашевелилась бюрократическая заседательская машина — в партийных органах, в писательских. Зазвучали ссылки на многочисленные письма и запросы трудящихся... Он получил приглашение на совещание в ЦК на 19 декабря. Алеша Сурков решил, что вслед за этим совещанием соберется на свое заседание секретариат Союза писателей, а там и пленум. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...».

Не нужно было обладать особым даром предвидения, чтобы предположить: «Новый мир» и его последние публикации станут одной из доминирующих тем на всех этих собраниях. В печати усиливалась и с каждым днем становилась все злее критическая метель вокруг романа Дудинцева. В «Огоньке» «незлым тихим» словом поминались блестящие статьи молодого новомировского критика Марка Щеглова, тем более, что в последнем номере «Нового мира» он разделал под орех всю драматургию Толи Софронова. На совесть, кстати говоря, разделал. На все лады, с туманными ссылками на гнев высшего начальства, склоняли в ежедневной прессе рассказ Гранина «Собственное мнение». Хороший, правильный рассказ кое-кому пришелся прямо-таки не в бровь, а в глаз... Доставалось и К.М. за его статью о Фадееве. Критиковали с обеих сторон — справа и слева. На выходе был двенадцатый номер «Нового мира» с его «Литературными заметками».

Состоялось, наконец, это растянувшееся на четыре дня совещание в ЦК. Гудящая, как растревоженный, лишившийся матки улей, редколлегия «Нового мира» в день окончания заседания решила ждать своего шефа хоть всю ночь напролет. Как ни уговаривал многоопытный Кривицкий «разойтись по домам», дать К.М. спокойно выспаться, принять душ, побриться, собраться с мыслями. Пришлось-таки прямо из ЦК ехать поздно вечером в редакцию и докладывать. Впрочем, может быть, это к лучшему. Иногда, чем больше готовишься, тем хуже получается.

Задача была — донести во всем объеме, ничего не скрывая, всю остроту критики, зачастую справедливой. Нельзя не признать, да-да, дорогие мои друзья, нельзя не признать, и давайте честно в этом сознаемся и не будем валять ваньку там, где это нам не пристало...

С другой стороны, сохранить лицо, не дать коллективу впасть в уныние, не посеять панику.

— Ну, попало, попало, — внешне спокойно, только голосу доверив усмешку, начал он. — Не так чтобы уж до смерти, но попало, преимущественно от нашего же брата писателя.

Литераторов на совещании в ЦК было больше, чем партийных работников, и вели они себя куда более активно.

По испытанной временем и литературными баталиями привычке начинать с самого плохого Симонов рассказал сослуживцам, что линию журнала характеризовали от неправильной до гнилой. Последний эпитет — изобретение Василия Смирнова. Кочетов пришел на последнее заседание, потрясая свежим номером «Нового мира» с его, Симонова, «Литзаметками». «Такой я ему сделал щедрый подарок!» Кочетов заявил, что автор, к тому же еще и редактор столь уважаемого издания, ревизует ни больше ни меньше — постановления ЦК. К нему, правда, в более галантной форме присоединились Сурков, Рюриков и Поликарпов.

Их эскапады, которые К.М. излагал дословно, были столь очевидно заушательскими, что небольшая аудитория, которая ловила в мертвой тишине каж-

дое его слово, встречала их даже не возмущением, а злым смехом, издевательскими репликами. Это была не совсем та реакция, на которую он рассчитывал. В конце концов, ему с этими же людьми продолжать делать журнал. Многое из того, что было сказано за эти долгие четыре дня, нельзя просто отмести с порога. Говорилось немало и справедливого. И он стал потихоньку, незаметно подводить своих слушателей к пониманию этого.

Начал с себя. Чушь, конечно, называть статью ревизией постановлений ЦК. Интересно, кстати, отметить, что сверхинформированный Кочетов цитировал даже те абзацы, которые в последний момент были сняты по требованию Главлита. Но нельзя не признать, что со своей критикой некоторых положений постановлений, то есть официальных партийных документов и доклада Жданова, он, Симонов, выступил перед беспартийной вузовской аудиторией. На это еще раньше обращалось его внимание, в связи с чем он даже посчитал нужным направить объяснительное письмо в ЦК. Статью в журнал, однако, он писал с учетом этого своего невольного промаха.

Далее. Ерунда, конечно, он и сегодня так считает, — называть роман Дудинцева или рассказ Гранина вредными. Он не согласился также с тем, что эти вещи противопоставлялись очеркам Овечкина и Тендрякова, кстати, напечатанным не где-нибудь еще, а в том же «Новом мире». Он так и сказал об этом с трибуны и повторил теперь:

— Эти разговоры о вредности романа уже и раньше раздували люди, которые хотели поживиться за счет скандала, использовать любой свисток, в который можно засвистеть, чтобы высказать свое недовольство происходящим. А чем они, собственно, недовольны? Художественной иллюстрацией нравов культа личности, о которых сказала партия?

— И роман Дудинцева, и рассказ Гранина, — продолжал он, — взятые сами по себе, — острые, но с партийных позиций написанные произведения. Хотя надо подумать, почему их так единодушно критиковали... Но что мы, наверное, действительно неправильно сделали, это то, что напечатали их рядом, подряд. А тут еще пьеса Хикмета. Получилось густовато. Если серьезно, мы не можем, конечно, не учитывать ситуацию в мире, которая возникла в связи с событиями в Венгрии и в Польше... Надо, видимо, жестче относиться к редактированию того, что публикуем. Серьезные писатели нам за это только спасибо скажут. Журнал не почтовый ящик. Что в него опустили, то и неси читателю. И надо резче откликаться на клеветнические статьи за рубежом. Мы говорим о наших бедах, потому что хотим изменения к лучшему. И надо показывать, как многое уже изменилось. Сколько восстановленных в правах, сколько реабилитированных людей. Идет восстановление самой законности. А еще в 52-м году людей хватали и сажали без суда и следствия. Будет неправильно, если мы не будем показывать всех этих изменений и не будем давать самый резкий отпор всем за рубежом, кто спекулирует на нашей откровенности. Иногда создается ощущение, что мы боимся, как бы вдруг там кого-нибудь не обидеть... А то, что нас обижают, это как будто бы и не страшно. Мы слишком большие, нас нельзя обидеть, мы великая держава...

С редколлегией, в конце концов, договориться было не так уж сложно. Здесь люди понимали друг друга с полуслова, и если кто и пофрондирует поначалу, так это только на пользу — для гимнастики ума и воображения.

Труднее ему пришлось через день на многолюдном собрании в союзе, где подводились итоги совещания в ЦК.

Суркова слушали с обостренным вниманием. Как только он закончил доклад, Симонов пошел к микрофону.

— По вопросу о журнале «Новый мир». Я не могу признать и не признаю, что линия журнала «Новый мир» была гнилой линией... Что касается романа Дудинцева «Не хлебом единым», я не считал и не считаю его антисоветским.

Гул в зале. К.М. вновь подумал об этой странной особенности литературных аудиторий, в которых прошла чуть ли не половина его сознательной жизни. Здесь всегда витийствует какая-нибудь одна сторона. Та, что чувствует, что сегодня на ее улице праздник. Где они были, эти вот, гудящие, когда здесь же, в Доме литераторов конная милиция с трудом сдерживала рвущихся в битком набитый зал поклонников и почитателей Дудинцева? И где теперь эти поклонники и почитатели, когда Дудинцева тут разделывают, как бог черепаху.

— Не могу не признать, — продолжал он между тем, — что мы, возможно, немного недоработали с автором, в частности, вокруг образа Галицкого, который мог бы быть противовесом Дроздову. Согласен, что и в целом в журнале, кроме, может быть, овечкинского Мартынова или Саши — Тендрякова — маловато положительных героев, за кем можно было бы пойти... За это нас справедливо критиковали. Мы на это мало обращали внимание, а это необходимо.

Закончил он совершенно искренним заверением:

— Могу сказать только одно — рисовать одной черной краской нашу жизнь мы не дадим. В этом мы вполне единодушны. Это безусловно для меня, как и для других моих товарищей по работе в «Новом мире».

Его лаконично, но весомо поддержал Корнейчук:

— Хорошо, что Симонов не бил себя в грудь, но сказал очень серьезно, что прислушается к критике, что хочет разобраться... А то раньше договорился до неверного положения насчет критики как рвотного...

Поддержка оказалась тем более приятной, что была неожиданной. Отношения с Корнейчуком после войны были натянутыми. Желая показать, что принимает протянутую ему руку, К.М. выкрикнул с места:

— Это просто было глупое выражение.

Слава богу, что на свете существуют заграничные командировки! Два месяца назад он с трудом дал себя уговорить полететь в Индию по линии советских организаций, борющихся за мир. Теперь эта поездка оказалась как нельзя кстати. Он надеялся, что повторится то, что бывало с ним и раньше. Дорога, словно могучий летний ливень, смоет в одночасье, унесет все одолевающие его проблемы.

В полной мере, увы, этого не произошло. То ли уже возраст сказывался, — где ты, моя былая бесшабашность? — то ли новые семейные обстоятельства — Лариса была на сносях, то ли сами проблемы таковы, что их уже не ливнями смывать, а каким-нибудь скребком сдирать и только вместе с кожей. И все же, все же — благословенны вы, пути-дороги.

Он многое, улетая, оставил незаконченным, но не испытывал по этому поводу угрызений совести. В конце концов, он не в Гульрипши укатил и не по собственной воле, а по прямому поручению ЦК. Он будет выступать, заседать, читать стихи, объясняться с индийским читателем, который, говорят, уже осведомлен о нем по выходившим не раз переводам стихов и прозы. Ну, а о чем он при этом будет думать, какие планы будет строить насчет своей дальнейшей жизни, до этого никому дела нет, тут он никому не обязан отчитываться.

Мудро кто-то заметил, что в многолюдье порой легче оказаться наедине с самим собою, чем когда ты в полном физическом одиночестве. Уж чего-чего, а людей в Индии хватало. В те немногие недели, которые провел он там, он сам себе напоминал индийского слона, нагруженного самым разнообразным скарбом. Спокойно и деловито, направляемый почти неощутимыми прикосновениями руки погонщика, движется гигант среди людского полноводья по улицам Дели или Калькутты, невозмутимо вышагивает вдоль бамбуковых посадок или пробирается непроходимыми с виду джунглями — вместе со всеми — и в полном одиночестве.

Ничто не мешало ему здесь размышлять вволю о дальнейшем.

Подсчитывая синяки и шишки последних месяцев, К.М. приходил к выводу, что жизнь все же не так плоха и безнадежна, если не опускаешь руки и продолжаешь управлять ею сам. Как бы ни повернулось дело с журналом, линия которого признана верхами, ну, если не гнилой, то все же и не самой благонадежной, свет клином на редакторстве не сошелся. Десять лет он уже варится в этой каше — журнал, газета и снова журнал. Настал, пожалуй, момент поставить точку. Если не навсегда, то, по крайней мере, на время.

Вот-вот должна была выйти книга прозы, в том числе доработанный «Дым отечества». Он был уверен, что повесть не пройдет незамеченной. Критики вспомнят, что это та самая повесть, на которую десять лет назад обрушилась печальной памяти «Культура и жизнь». Для кого-то, особенно из молодых, это, возможно, будет даже неожиданностью. Для тех, кто все еще пробавляется мифами о том, что в годы культа на него сыпались одни лишь награды да ласки.

В числе первых, кому он пошлет экземпляр книги с дарственной, будет Овечкин. Его радовало деловое, принципиальное сотрудничество, налаживавшееся у «Нового мира» с автором, у которого столь нелегкая, переменчивая судьба.

Валентин стал более критично относиться к Шолохову, прежде всего, конечно, к его публицистической деятельности, которая, увы, по-прежнему протекает под заметным влиянием всякого рода Шехмордановых... Взять хотя бы его выступление на XX съезде. Овечкин по этому поводу даже носился с идеей опубликовать в «Новом мире» некое «Открытое письмо» Шолохову, от чего К.М. его всячески отговаривал. Он и сам, после речи Михаила Александровича, посвященной, как всегда, избиению руководства писательского союза, сел за ответ ему, наполовину даже написал, потом бросил. Шолохов — это Шолохов. К нему надо просто относиться как к природной стихии, которую нельзя ни предвидеть, ни предотвратить.

Грел душу и предстоящий выход первой книги литературно-критических статей. Попытка собрать воедино все стоящее из написанного показалась ему вполне закономерной. Редактировать книгу он попросил Караганова, новообретенного, но надежного друга. Получился солидный том.

Готовя рукопись к печати, он и сам стремился, и Караганову наказывал — не приглаживать и не причесывать однажды написанное. Как что было сказано, так пусть и остается. Если что-то устарело безнадежно, лучше просто выбросить. Они этим делом с Карагановым занимались на всех стадиях работы. После первой сверки выбросили еще четыре статьи. Теперь кошки чуть-чуть скребли на душе — правильно ли сделал, что оставил статью об «Оттепели»? Бывает, напишется такая вещь, где все по сути верно и в точку, а по какому-то другому измерению выходит, хоть и верно, а не надо было об этом. Правильнее было бы просто промолчать. Как решил он, в конце концов, промолчать по поводу шолоховского выступления.

Как бы то ни было, уже и книга прозы, и книга критики — пусть и со статьей об «Оттепели» — дело сделанное. Остается получить авторские экземпляры, закупить еще по сотне-другой каждой — и только успевай надписывать.

Другое теперь — дальше больше — занимало его помыслы. Рукопись более тысячи страниц на машинке лежала на письменном столе в Красной Пахре и манила к себе. На славу или на погибель? Этого он не знал, и об этом старался не задумываться. Знал одно — если первоначально и можно было сооружать ее урывками, пусть даже иной раз это были и два, и три месяца непрерывной работы, заканчивать начисто ее можно, лишь открестившись от всего остального. В этом, благоприятном, случае на работу уйдет все равно не меньше года. Не случайно в своих «Литературных заметках» он обрушился на давнюю статью «Культуры и жизни» по поводу «Молодой гвардии» Фадеева, особенно на рассуждения насчет того, что, мол, «хотя и не все шло гладко» в июне 41-го года и последующие несколько месяцев, «война советского народа против фашистских захватчиков с первых дней приняла организованный характер».

Он издевался над этими измышлениями, думая не только о прошлом, но и о ближайшем будущем. Он прокладывал дорогу правде о войне, которой и будет посвящен его роман. Все, что он написал о войне до сих пор, базировалось на том, что он видел непосредственно как участник ее. Сначала — хаос, отступление, окружения, гибель и страдания людей, потом — собирание сил, сопротивление. Первая проба сил под Москвой, великое противостояние под Сталинградом, битва на Курской дуге, выход к границам, взятие Варшавы, Будапешта, Белграда, Берлина наконец... Шумное, с дьявольским треском и грохотом, падение самого этого адского монстра — гитлеровской Германии. И на этом событийном фоне — с первого дня до последнего — героизм, самоотверженность наших людей — воинов, рабочих, колхозников, сыновей, матерей, отцов, детишек.

Теперь перед ним распахивалось иное, каждый день приносил новые открытия. Героизм, самоотверженность, сам итог вселенской схватки — всемирно-историческая победа советского народа, — несомненны. Но какою ценой? Этот вопрос выходил теперь на первый план. Вот вопрос, отвечать на который — поколениям и поколениям писателей, историков, философов...

Никогда раньше не было, чтобы события текущей жизни так влияли на его собственное восприятие уже сделанного. То ему казалось, что рукопись надо брать в охапку и, не теряя ни дня, ни часа, бежать с нею в «Знамя». Однажды он поддался искушению и отнес, предупредив: «Это просто — почитать».

То он вдруг открывал для себя, что роман невозможно длинен, скучен, полон повторов, общих мест. В один из таких моментов он обнаружил в романе две совершенно самостоятельные повести — о Пантелееве и Левашове. Не колеблясь, К.М. вынул их оттуда, поскоблил, «зачистил концы» и тоже отправил в журнал. Это, по его мнению, можно было печатать хоть сейчас. По многим причинам ему хотелось, чтобы это произошло, и как можно раньше. Важно было показать — кому? — что он продолжает писать, работать и не только над докладами и статьями. Важно было услышать живое читательское мнение, уловить настрой, в соответствии с которым можно было бы скорректировать общую направленность вещи. Как моряк исправляет курс своего парусника, уловив направление господствующего ветра.

Объем работы, который предстояло еще проделать, казался порой необозримым. Это его не пугало. Вот уж, поистине, большому пирогу рот радуется.

Главное было, с маниакальной настойчивостью повторял он себе, найти время. Построить ближайшие годы своей жизни так, чтобы можно было сидеть над романом безотрывно.

Кажется, именно под палящим индийским небом, где он слушал гул толпы и вкушал пряные индийские блюда, у него впервые явилась мысль об Узбекистане, о Ташкенте. Сравнительно недавно он побывал там по делам союза.

Когда-то, в войну, Ташкент, ташкентец — были для него символом перестраховки, тыловой болезни. Теперь он именно там собирался выиграть свой главный бой.

Вернувшись, он заболел. Не минула его участь многих, кто возвращается из Индии. Потом захлестнули семейные события, радость пополам с суетой и хлопотами. Давно забытое, но милое, оказывается, состояние. Перебрался с Ларисой из Красной Пахры, где больше года провел безвылазно, отдав жилье по улице Горького Валентине, в новую московскую квартиру, кооперативный писательский дом в районе метро «Аэропорт». Родилась дочка, которую назвали Александрой, Сашенькой, Санькой. Тут уж было не до романа. Снова засосали гибельные литературные дебри. Не успел К.М. поздравить Володю Дудинцева с вышедшей книгой, как пришлось с ним же вступить в ожесточенную полемику на очередном собрании московских писателей. Не хотелось на это идти, но другого выхода не было. Володю снова занесло.

Психологически тут все было как на ладони. Дотравили-таки, завели человека. И слева, и справа постарались. С одной стороны, позорнейшая тяжба с изданием романа в «Молодой гвардии». Казалось бы, если подумать о всенародной, мировой, можно сказать, популярности романа, издательства московские с руками должны были бы отрывать друг у друга право на публикацию этой вещи. Помимо всего прочего, при нормально функционирующей экономике, это ведь еще и колоссальный доход... Выпусти сейчас роман миллионным тиражом, и то будут очереди стоять. Тетрадки «Нового мира» продавались на «черном рынке» по цене, которую даже страшно вслух произнести. Ан нет, заработала «спихотехника». К.М. предлагал, чтобы роман был напечатан в «Советском писателе». Цеховая гордость, в конце концов, должна быть у союза. Но там автору отказали. Не по своей воле, конечно. Не взяли и в «Роман-газете», самом дешевом и массовом издании. Дудинцев по своей инициативе пошел в «Молодую гвардию». Этот путь ему, в прошлом сотруднику «Комсомольской правды», был хорошо знаком, да и его в издательстве знали. Поначалу горячо взялись. Потом верстку затребовали в ЦК комсомола, и машина приостановилась.

Судили-рядили комсомольские секретари, но ни к какому берегу подгрести не могли. Никто не отваживался дать разрешение. С самого «верха» сигналы поступали весьма противоречивые. Там шла своя борьба, своя варилась обжигающая каша в кратере политического вулкана, и выплески огнедышащей лавы опаляли события литературной жизни, деформировали и без того неспокойное ее течение.

Для отделов ЦК партии, для руководителей комсомола и писательских организаций указанием служили как звонок Молотова или Маленкова, так и противоречащие им запальчивые тирады Хрущева. В конечном счете приняли соломоново решение. Конечно, мол, лучше было бы не издавать такой скандальный роман в молодежном издательстве, но раз уж работа над ним зашла так далеко и такие деньги потрачены, то пусть «Молодая гвардия» доводит дело до ума, а

марка пусть стоит профессионального писательского издательства. Тираж решено было дать по стандартам «Советского писателя» — минимальный.

Книга была все еще на выходе, а на нее обрушился уже новый шквал разносов. Московские писатели решили собраться и заступиться за коллегу.

Дудинцев не защищался. Он нападал на всю систему руководства литературой, не отличая особенно прошлого от настоящего.

К.М. должен был снова вызвать огонь на себя. Сказав жесткие, но, ей-богу же, справедливые слова, чтобы предотвратить политическое аутодафе. Саркастические выпады Дудинцева, которым софроновы-падерины без особого труда могли придать политическую окраску, К.М. постарался перевести в психологическую плоскость. Он как бы предлагал войти в положение писателя, переживающего в далеко не детском уже возрасте — фронтовик, ветеран молодежной журналистики — первый свой крупный успех. Тут и у более искушенных в литературных баталиях мушкетеров голова бы закружилась.

Серьезно ли, судите сами, что он предлагает нам рассматривать свой роман не как первую свою удачу, не как просто книжку писателя Дудинцева, а как некий программный документ эпохи?! Тут невольно возникает вопрос — как это додумался писатель Дудинцев до такой ахинеи? Или, может, кто-то надоумил его? Кстати, прямо надо признать, нам в журнале это особенно хорошо видно: иудиных поцелуев расточается для Дудинцева сейчас тьма-тьмущая — и нашим, отечественным мещанином, и зарубежными доброхотами. Полагаю, что когда это превращается в сплошной поцелуйный обряд, советский писатель должен задуматься.

Он видел, какими глазами смотрит на него Дудинцев из зала, но продолжал:

— Зачем жаловаться, задним числом, на какие-то трудности с изданием романа? Меня как редактора журнала, который опубликовал роман громадным тиражом, это лично задевает. Теперь вот вещь выходит отдельным изданием. И, несмотря на все треволнения, в довольно короткие сроки.

Специально застолбил это, чтобы уже не было с книгой хода назад.

Хотел тут было упомянуть, что его собственная, например, повесть «Дым отечества» ждала первого книжного издания десять лет после того, как в 1947 году была зверски разругана пресловутой «Культурой и жизнью». Но в последнюю минуту удержался от соблазна.

А это, уж извините, совсем из репертуара конферансье — о некоем ремешке, на котором, мол, у нас писателей водят, как в Англии малых детей... Не партийное ли руководство вы под этим понимаете, если отбросить метафору?

— Мне кажется, что Дудинцев до конца глубоко не задумался, что к полному коммунизму есть только один путь — через диктатуру пролетариата со всеми вытекающими отсюда последствиями, о которых нам нет причин умалчивать. Писатель социалистического общества не тяготится, а гордится тем, что он работает под руководством коммунистической партии.

Дудинцева несколько раз прерывали овациями.

К.М. вежливо похлопали только в конце.

Дудинцев, уходя с собрания, демонстративно не ответил на его прощальный кивок, чем доставил немалое удовольствие каким-то неряшливым молодым людям обоего пола, которые окружали его тесным кольцом.

Дома К.М., соблюдая железный рабочий распорядок независимо от всякого рода передряг и треволнений, сел за рабочий стол, чтобы ответить на несколько писем. Нины Павловны, естественно, уже не было в это позднее время, и он

писал от руки. В письме Овечкину, который во всей этой истории с Дудинцевым был всегда на его, К.М., стороне, отвел душу: «Дудинцев, который, как ты и боялся тогда, не вынес-таки груза славы и в известной мере повторил сейчас на новом этапе выступление Паустовского».

Скверно, неуютно было на душе. Он любил роман Дудинцева. Публикация его была поступком. Он, не скрывая, гордился им. Почему же, по какой такой проклятой закономерности он теперь оказался с ним чуть ли не по разные стороны баррикад? Кто из них больше виноват в этом? К.М. было знакомо то состояние заноса, в котором, видимо, находился Дудинцев. Он не мог винить его, но и не мог с ним согласиться, хоть ты тут разбейся. В литературных баталиях он был искушеннее и мудрее Дудинцева.

Черт бы ее побрал, эту искушенность. Она начинала сильно отягощать его жизнь. Как-то еще будет выглядеть стенограмма его выступления в «Литературке». Надо будет потребовать верстку до публикации. За Кочетовым нужен глаз да глаз. Снова мелькнула мысль о Ташкенте.

Наутро он диктовал Нине Павловне свою часть доклада секретариата Союза писателей на пленуме, который должен был собраться то ли в апреле, то ли в мае. О социалистическом реализме. Нина Павловна без энтузиазма записывала его рассуждения. Ей, догадывался он, было жаль времени, которое он убивал на работу, доступную завалящему кандидату наук. Лучше бы занимался романом... К.М. угадывал ее мысли, и они ему импонировали. Он не мог бросить диктовку, но на душе становилось спокойнее. Голос звучал увереннее и веселей, хотя слова произносились самые серьезные.

Безостановочное колебание качелей продолжалось. Взмыв в 1956 году вверх, они начинали опускаться вниз.

Хирургическая операция, проведенная в ноябре 1956 года над Венгрией, не принесла ожидаемых результатов. Зловещие признаки метастазов давали о себе знать повсюду. Люди, партии, целые страны вели себя так, будто бы больным был не пациент, а врач. Отступничество, ренегатство на Западе стало массовым явлением. Что там говорить о средних слоях. Растерялись, отвернулись, повернули вспять такие испытанные, казалось бы, в самых критических ситуациях столпы, как Ненни, Д'Астье, Сартр, Веркор, Мориак. Говард Фаст, Ив Монтан, Радж Капур... Кажется, дрогнул Фредерик Жолио-Кюри, стоявший бессменно во главе Всемирного Совета Мира, а Совет в ту пору объединял в своих рядах цвет, гордость человечества.

То же самое — дома.

Партия сказала правду о Сталине, о культе личности, и первой, у кого закружилась голова, словно от избытка озона в воздухе, оказалась интеллигенция. Естественно, это не осталось незамеченным партийной бюрократией. И коль в Будапеште все зло пошло от «кружка Петефи», то и в Москве и в других социалистических столицах стали присматриваться к тому, что там такое происходит в редакциях различных журналов, в писательских клубах, на вернисажах и в «частных салонах», то есть на дачах, на квартирах... Начавшаяся в 54-м году и получившая импульс огромной силы в 1956 году оттепель, как назвал это Эренбург, в мгновение ока обернулась заморозками. При лесном пожаре один вал огня глушат, пуская ему навстречу другой. Волне вольномыслия, набравшей в невиданно короткие сроки немыслимую скорость, преградила путь с такой же быстротой возродившаяся струя бдительности.

К.М. чувствовал себя между молотом и наковальней. Он искал истину и не находил ее. Драма усугублялась тем, что поиск происходил не в тиши академических аудиторий, не в пещере отрешившегося от мирской суеты и питающегося акридами отшельника.

Кампания заседаний, обсуждений, пленумов, речей, заклинаний и анафем была уже запущена на полный ход. От нее деваться было некуда.

К.М. не в диковинку было схватываться с Леонидом Соболевым или Всеволодом Кочетовым, с Грибачевым, с Михаилом Алексеевым, пусть даже их поддержал Хрущев, удостоив «звания» — «автоматчиков» партии. Но на этот раз «автоматчикам» трудно было что-то противопоставить. Кровь защитников социализма на улицах Будапешта была реальностью.

Кто-то должен был остановить вакханалию слов, преградить дорогу разбуженным инстинктам, жажде реванша, зоологической ненависти к социализму.

К.М. выступал и выступал. И, естественно, не мог обойти очевидных теперь ошибок журнала «Новый мир», своих собственных ошибок, которые, по совести говоря, он мог бы осознать и раньше:

— Я считаю своим долгом сказать здесь, на писательском пленуме о том, что мне особенно ясно стало в ходе совещания в ЦК КПСС... О том,что я был неправ или однобок в ряде своих высказываний и ряде своих оценок, вернее, недооценок грозной опасности, прикрывающейся фиговым листком свободы творчества... И все это в определенной мере отразилось на том, как велся мною журнал «Новый мир»...

Я, мною... «Якал» он намеренно, желая взять на себя одного всю ответственность за ошибки журнала. На писательском пленуме по рукам ходило стихотворение, авторство которого приписывали Евтушенко, а героем называли его, Симонова: «Опять вы предали, опять не удержались...». Один экземпляр оказался и в его руках. Друг ли хотел по-товарищески предостеречь, враг ли — позлорадствовать, выбить из колеи... Кто-то с ухмылкой указал даже на портретное сходство — «располневший, но еще красивый...». Так уж повелось, что красивыми в писательской среде никого, кроме Фадеева и Симонова, не называли. Фадеева нет... Припомнилось — вот она, ирония судьбы, — на днях отправил письмо Полевому, в котором хвастал, что каждый день играет по часу в теннис и чувствует себя так хорошо, как только может чувствовать располневший человек, начавший худеть.

Бывали вы талантливо трусливы,
Вы сами вдохновлялись ложью фраз,
И, располневший, но еще красивый,
С достоинством обманывали нас.

С грустной иронией К.М. подумал о том, что совсем недавно послал в «Совпис» письмо, в котором яростно отстаивал рукопись Евтушенко от нападок в старорежимном духе, доказывал, что острота восприятия действительности у него — от преданности революции, от тоски по чистоте идеалов.

Теперь его молодой коллега, увы, подыграл дешевым страстишкам. Его, К.М., или нет имел он в виду — это, в конце концов, дело второстепенное. Главное — что его словами, если это, конечно, Евтушенко, выразила себя эта окололитературная накипь. К ней сам Женя отнюдь не принадлежит, но почему-то захотел понравиться. Просто не закален еще, не искушен в литературной борь-

бе, под которой окололитературная публика понимает пустопорожнюю игру мелких самолюбий, страстишек, фабрику по производству сплетен...

Он не мог не ответить этой шушере, которая комариным облаком лезет всем в рот, нос, уши, выступая с трибуны пленума. Не с Евтушенко он, естественно, воевал и не его имел в виду. Он говорил о рабской, идиотской тенденции — чуть ли не всякого человека, в чем-либо честно ошибавшегося, также честно потом передумавшего свои шаги и взгляды, пересмотревшего то, в чем ошибался, изображать то ли жертвой собственной натуры, то ли жалким трусом. Им наплевать на писателя, будь то Дудинцев или Симонов. Им нужен скандал, который удалось поднять вокруг чьего-то имени.

— Так вот, я вполне сознательно хочу доставить этой своей речью неудовольствие всем дешевым любителям скандалов, которые хотели бы получить от них удовольствие. И добавлю, что доставляю им это неудовольствие с удовольствием.

— Не сомневаюсь, что эти люди, эти литературные обыватели сегодня же будут знать все, что говорится на пленуме. Они всегда все знают, это их вторая, если не первая, профессия. Эти люди, с их визгами и истериками, которые они выдают за смелость, с их смакованием всего того, что у нас болит на душе.

Когда он произносил все это, спонтанно, не по бумажке, ему нравилось то, что он говорил, казалось, что вот он, наконец, настиг своего неуловимого противника, этого видимого невидимку, который преследует его столько лет, пригвоздил его к столбу позора! Во всяком случае, сказал о нем все, что думал. Уже через несколько часов судил себя.

— Не надо было, нельзя было до этого опускаться. Какой смысл сражаться с тенью?.. Нет, все, что следовало сказать, помимо неизбежной оценки собственных ошибок, ошибок журнала, — это о своем намерении покончить с литературной и окололитературной суетой, вырваться из ее тенет и заняться главным.

— Главное в нашей писательской жизни — это книги, — говорил он в следующем выступлении. — И мне кажется, что пора это отнести и к самому себе. Я бы даже сказал, давно пора.

Через несколько дней был прием за городом, на правительственной даче. Для творческой интеллигенции. Погода с утра была хорошая, и сначала все бродили по аллеям парка, вдоль пруда живописными группами. В каждой один-два высших руководителя партии и десяток писателей, деятелей искусств.

Ближе к обеду стали подтягиваться к длинным, заблаговременно накрытым столам, предусмотрительно защищенным брезентовыми навесами — на случай дождя, который все время бродил где-то рядом.

Гроза и ливень разразились как раз в тот момент, когда под звуки оркестра и пение солистов с характерным украинским тембром, так любимым Хрущевым, подали закуски и Никита Сергеевич взял слово.

Он начал говорить, и всем стало уже не до закусок, не до заливного зеркального карпа, выловленного, как говорили, в здешнем же пруду, не до черной и красной икры в хрустальных судках со льдом. Природа, то ли одушевляя, то ли пародируя оратора, сопровождала каждую его тираду вспышкой молнии, ударом грома, порывом ветра со струями дождя, который стал просачиваться и сквозь брезент.

Хрущев не замечал ничего этого, увлеченный страстным накалом собственной речи.

К.М. досталось, пожалуй, даже больше других. Ему и Алигер. Да еще Мариэтте Шагинян, которая так порывисто выставляла навстречу оратору свой мик-

рофончик, что, казалось, боксирует с хозяином. Кое-кто улыбался, видя это. Улыбки сменились онемением, когда Мариэтта Сергеевна вдруг резко повернулась и, запихивая в сумку свой микрофончик, пошла прочь, к видневшейся вдалеке стоянке машин.

Кажется, только один оратор в запале не заметил ее ухода. Или не подал вида? Во всяком случае, накал речи Хрущева стал понемногу стихать, и от критики писательских и вообще интеллигентских ошибок он перешел к задачам, стал говорить о тех экономических преобразованиях, которые наметила партия, о планах реорганизации управления промышленностью, которые должны были дать незамедлительный и ощутимый эффект.

На этом приеме, когда уже настала возбужденным гостям пора расходиться, к К.М. подошел Твардовский и, покашляв, похекав в кулак, спросил, правда ли говорят, что он, Костя, собирается уехать, что-то вроде бессрочного отпуска взять для завершения какого-то романа. К.М. молча кивнул. Твардовский, продолжая покашливать, напомнил о том давнем их разговоре, тоже по его инициативе состоявшемся, когда он предложил Косте не стесняться и брать, если предлагают, «Новый мир». Так вот теперь он готов, если в этом есть нужда, оказать Косте такую же услугу и прибрать к рукам их общее любимое дитятко, не дав ему оказаться без хозяйского глазу.

— Разумеется, это все имеет значение только в том случае, если у тебя действительно такие планы, — добавил Трифонович, дабы исключить малейшую недомолвку.

Они взглянули друг другу в глаза. К.М. молча пожал Твардовскому руку.

Встреча Никиты Сергеевича с творческой интеллигенцией не убавила сумятицы в голове, хотя и на заседании редколлегии, и на разного рода сидениях в Союзе писателей К.М. привычно распространялся о «том дружеском и сердечном, полном глубокой веры в силы нашей народной интеллигенции приеме, на котором мы недавно были».

Через месяц после этих встреч состоялся пленум ЦК партии, который объявил о наличии в рядах президиума ЦК партии антипартийной группы, всячески тормозящей выполнение решений XX съезда КПСС, искоренение явлений, порожденных культом личности. Из состава ЦК были выведены Молотов, Маленков, Каганович, а вместе с ними и Шепилов, который в пору борьбы с космополитизмом пытался ослабить силу удара. Снова люди, чьи имена, особенно первых трех, стали почти тождественны слову партия, оказались ее врагами. Повторение прошлого? Нет, шаг вперед! Вместе с культом личности, культом Сталина, рухнула сама презумпция непогрешимости первого руководителя и следом — всего ареопага, стоящего во главе партии, народа и государства. Двадцатый съезд был для них первым шагом вниз с лучезарного Олимпа, пленум об антипартийной группе — вторым. Они — такие же простые, грешные, как все мы, люди, которые могут и должны быть судимы людским судом по тем же самым законам справедливости, что и все на земле. Если и есть тут разница, то она лишь в том, что чем выше ты поднялся, тем больнее тебе падать, тем слышнее грохот падения.

Хрущев, стянув с заоблачных высот сначала Сталина, а потом ближайших и старейших его соратников, и сам вынужден был спуститься вместе с ними — хотел он этого или, может быть, и не хотел. Законы людские, которые с его благословения были распространены на небожителей, оказались властными и над ним тоже.

С каким-то новым чувством раскрепощенности К.М. внимал тому, что происходило и звучало вокруг.

Обвиненный в свое время Хрущевым за злосчастную передовую в «Литературке» в приверженности культу личности, К.М. с недоумением и растущим сопротивлением размышлял над тем, что теперь сам Хрущев говорил о Сталине.

Он вдруг начал славословить его — это после июньского-то пленума, где жестокий, но справедливый урок был преподнесен тем, кто вольно или невольно восставал против идей XX съезда партии. Ну, хорошо, когда Никита Сергеевич выступал на торжественной сессии Верховного Совета по случаю сороковой годовщины Октября, причиною его дифирамбов мог быть сам повод, по которому собрались, — по праздникам не очень-то хочется вспоминать лишний раз дурное. Может, присутствие загадочного и неподвижного, как Будда, вождя китайской революции сыграло свою роль: «Как преданный марксист-ленинец, стойкий революционер Сталин займет должное место в истории».

Однако еще раньше, в августе, когда было опубликовано с большим опозданием сильно доработанное изложение выступлений Хрущева перед интеллигенцией, тоже вытекало, что Сталин все же в основном делал полезное дело, и это нельзя вычеркивать из истории борьбы рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, из истории советского государства.

Некоторое время назад он, К.М., быть может, и приветствовал бы такой подход. Фигура Сталина, что там ни говори, слишком крупна и сложна, чтобы ее оценивать без щепотки диалектики. Теперь он видел, как за эти тактические маневры Никиты Сергеевича ухватились наши доморощенные ястребы.

Их мишенью сразу же стал он, Симонов. Вернее, две его повестухи, которые он сделал из больших кусков романного текста, оказавшихся как бы лишними в нем, — «Пантелеев» и «Еще один день». Они были опубликованы в апрельском и июньском номерах «Москвы» за 57-й год, у Евгения Поповкина. В июле в редактируемой Кочетовым «Литературке» появилась издевательская рецензия Ильи Кремлева. Как в только что проявленной фотопленке, с которой еще не сделано ни одного отпечатка, в этой заметке лишь смутно просматривались те обвинения, которые «проступят» позднее...

В августе в «Литературке» напечатали статью Ивана Стаднюка. В ней черным по белому было написано, что в повестях Симонова перед читателем предстает и идеализируется «целая галерея идиотов и трусов, носящих различные воинские звания».

Пришлось самому браться за перо, писать письма и в «Литературку», и в «Москву», а также и «по другому адресу». Он посетовал в письме Борису Полевому: «Пока мы тут с тобой переписывались, в «Литературке» меня еще раз огрели оглоблей, предварительно вымазав ее в г..., как будто бы одной оглобли было недостаточно».

Написав в «другой адрес», то есть Хрущеву, он тут же пожалел об этом. Это была дань прежним традициям. Но поправить дело уже невозможно было, так что он постарался забыть об этом письме. Съездив в две-три зарубежные командировки, погрузился в подготовку к печати третьей повести — «Левашов», которая тоже предназначалась для «Москвы» и тоже должна была послужить ответом на подлые инсинуации.

Когда ему позвонили и сказали, что Хрущев готов его принять, он не сразу понял, что это — в связи и по следам его письма. Сообразив же, сказал себе, что это — перст судьбы и что говорить он будет, конечно же, не о критических

нападках на него, а о своем желании оставить Москву и уехать в Узбекистан — прикоснуться к жизни, набраться новых впечатлений, вспомнить свою журналистскую профессию, которой он никогда не изменял. Например, поработать специальным корреспондентом «Правды». Главное — завершить наконец роман, вернее, первую часть новой трилогии о войне, которая сама в то же время явится как бы продолжением его «Товарищей по оружию». Если будет возможность, спросить Никиту Сергеевича, что же он все-таки окончательно думает о Сталине? И как быть с этой «фигурой» тем, кто собирается обратиться к ней в художественных произведениях?

Он шел на встречу в приподнятом настроении. Возвращался, хотя и добился главной своей цели, в смутном.

Хрущев принял его не в Кремле, не в знакомом по встречам со Сталиным кабинете, а в ЦК. Беседа была короче, чем К.М. мог предположить. Никита Сергеевич, в украинской косоворотке, указал мясистой рукой на стул перед большим письменным столом. Стол был завален бумагами, а также пучками колосьев, пробирками с чем-то темным и сыпучим. Откинувшись в кресле слегка назад и вбок, Хрущев стал молча и выжидающе смотреть на К.М. Он заговорил о журнале, о Ташкенте, и Хрущев, словно бы он именно этого и ожидал, ободряюще кивнул. Тут же спросил, кого К.М. предлагает на свое место, и, услышав, что Твардовского, снова согласно кивнул, как показалось Симонову, с облегчением. Поднимать другие вопросы в такой обстановке было бы неуместно. К.М. поблагодарил и стал прощаться. Хозяин, словно спохватившись, пожелал ему вдогонку успехов в творчестве. Это было на полудороге к двери. Когда К.М. закрывал за собой дверь, он увидел, что Хрущев уже потянулся к телефонной трубке.

Шагая к машине, которая ожидала его на площади Ногина, у наркомата угля — у первого подъезда ЦК стоянка не разрешалась, — он не знал, радоваться ему, горевать или смеяться. Шел и невольно сравнивал Хрущева со Сталиным. Приглашение к Сталину и встреча с ним — это было настоящее священнодействие, со своим ритуалом, своими жрецами, которые, начиная еще со Спасских ворот, куда ты входил под испуганными вопрошающими взглядами случайных прохожих на Красной площади, передавали тебя, что называется, из рук в руки, пока ты не оказывался в компании с неизменным Поскребышевым и теми своими немногими коллегами, которые тоже были приглашены, перед той самой дверью... Ну, а уж за нею начиналось такое, что можно было сравнить только с явлением Христа народу, как с легкой иронией, народившейся в последние годы, вспоминал он теперь. Каждое слово, каждый жест, каждое дуновение сквознячка, пробивавшегося сквозь фрамуги, движение каждого завитка дыма, исходившего из трубки единственного курившего в зале Сталина, было преисполнено особого значения, сразу же на каких-то невидимых скрижалях вписывалось в историю. В практическом плане слова вождя уже на следующий день, если не раньше, преломлялись в делах и судьбах книг, людей, целых народов.

С Хрущевым... Словно он не у главы государства и партии побывал только что, одержавшего гигантскую политическую победу, а у председателя какого-нибудь не первой руки облисполкома, в лучшем случае секретаря обкома — с его переполненной приемной, не умолкающими телефонами, затурканностью.

Визит Симонова к Хрущеву не остался в секрете.

Вскоре на дачу в Красную Пахру заглянул, вроде бы ненароком, Твардовский и поведал, что ему официально предложили журнал. О подробностях разгово-

ра К.М. с Никитой, как теперь все чаще называли Хрущева, он, человек деликатный, не расспрашивал.

Все было улажено, но именно теперь-то К.М. решил не торопиться, подготовиться основательно. Хорошее состояние духа, которое всегда приходило вслед за ясностью в важных вопросах, вернулось к нему.

Пришло давненько уже не посещавшее его ощущение согласия с самим собой, при котором ему и море по колено.

На различных более или менее широких писательских и иных форумах он теперь без устали повторял, что главное дело писателя — писать. Да, писать.

— Мы, писатели, недостаточно хорошо знаем жизнь, но относим это ко всем другим, кроме себя. Мне лично, например, в последние годы, чем дальше, тем больше, кажется, что мне не хватает глубокого знания жизни, что я как писатель живу за счет старых запасов, накопленных в те годы, когда я был военным журналистом, много ездил и много видел. Мне хочется, и я надеюсь, не откладывая в долгий ящик, выполнить свое желание, снова, не на месяц, не на два, а на более серьезный срок вновь сделаться газетчиком, оказаться в качестве газетчика таким же участником мирного сражения за коммунизм, какими многие из нас с пользой для литературы были в отгремевшем великом сражении с фашизмом.

Слетав в Ташкент — разведка боем, он вернулся оттуда еще более воодушевленным. В писательской среде, да и везде в республике, его приезду, он почувствовал, радовались, его ждали... За считанные дни он умудрился там впрячься сразу в несколько возов — взялся переводить новую повесть Абдуллы Кахара, обещал прочитать лекцию в военном гарнизоне, провести семинар для молодых журналистов в республиканской газете, отправиться по заданию «Правды» на строительство газопровода «Бухара–Газли».

Дома тоже царило воодушевление. Лариса радовалась отъезду, понимала: он поможет мужу сразу порвать со многим, что отягощало жизнь, тянуло в прошлое. Шурка росла не по дням, а по часам и уже ходила, держась за палец. Катька бойко зубрила гаммы и французский. Старики и с той, и с другой стороны стали чаще навещать «молодых» перед предстоящей разлукой.

Только Нина Павловна грустила, и ему дорога была ее печаль. Они впервые разлучались так надолго после ее отъезда в 1950 году в Красноярск к ссыльному мужу.

Жилья в Москве Нина Павловна с Юзом по-прежнему не имели. За четыре года, прошедшие со дня возвращения из Красноярска, сменили восемь адресов. Одно из последних писем, написанных им перед отъездом в Ташкент, было по этому поводу. Начальнику московской милиции. Описав нарочито казенным языком историю злоключений Юза и Нины Павловны и сделав особый акцент на том, что, отправляясь к мужу в ссылку в Красноярск, она «обменяла принадлежавшую ей комнату в Москве на площадь в Красноярске», он затем дал волю эмоциям, рассказав, «как они мыкаются теперь в Москве, не имея ни кола ни двора». «Какая у меня к Вам просьба. Есть двое людей, хорошо и честно работающих, уже немолодых и проживших большую часть своей жизни в горькой и незаслуженной ими разлуке. Теперь они наконец вместе, у них обоих есть работа, но им негде жить. Нельзя ли, учитывая, как сложилась у них жизнь и сколько они хлебнули горя, пойти им навстречу решительно и устроить их так, чтобы они уже не думали на эту тему до старости лет, то есть, попросту говоря, дать на этих двух хорошо работающих людей скромную однокомнатную квартиру.

Если это можно будет сделать, они будут счастливы, а они, по-моему, это заслужили».

Нет повести печальнее на свете... Сколько уж лет он пишет эти письма в разные инстанции и словно бы прикасается, опять и опять, обнаженным сердцем к страданиям двух дорогих ему людей.

С другим настроением сочинял депешу в Абхазию старому другу, поэту Ивану Тарбе. Посетовав на то, что по непонятным причинам в Москве отсутствуют остродефицитные подушки (тот самый ширпотреб, грядущее изобилие которого он недавно предрекал Назыму Хикмету), а в Ташкенте нужда в них, по-видимому, возникнет, он в связи с этим «загадочным обстоятельством» просит обязать кого-нибудь в Гульрипши запаковать имеющиеся на месте и направить из одного южного уголка в другой почтовой посылкой. Послание свое, не преодолев соблазна, завершил советом поменьше обитать в недрах Союза писателей, а побольше сидеть в Гульришпи и увязывать, согласовывать, в основном, не казенные дела, а рифмы с рифмами: «Главное счастье, видимо, в этом!»

Еще одно письмо было — в управление по охране авторских прав — кому, куда и сколько переводить из поступающих гонораров. Среди реципиентов, наряду, естественно, с матерью и отчимом, с сыном Алексеем, которому стукнуло уже к тому времени восемнадцать, с дочерью Машей, которая была двумя-тремя годами его моложе, в этом списке была единственная уцелевшая после тюрем и ссылок его тетка Людмила Леонидовна Телеман-Оболенская, а также мать Валентины, бывшая его теща, актриса Клавдия Михайловна Половикова.

1450 рублей ежемесячно он поручил платить Нине Павловне, которая вместе с ним ушла из «Нового мира» и теперь назначалась его личным секретарем.

— Раньше вы были моим секретарем в изгнании, теперь я буду вашим боссом в таком же положении, — пошутил он, и она почувствовала, что в этой шутке есть для него немалая доля правды.

Передавая смущенной его заботами Нине Павловне письмо для отправки в Моссовет, он попросил ее до их возвращения из Узбекистана «или хотя бы до тех пор, пока эти письма, наконец, сработают», жить с Юзом в его квартире, в кооперативном писательском доме.

— За квартирой, знаете ли, глаз нужен, — объяснял он с серьезным видом, не допускающим ни отказов, ни благодарностей, но со смешинкой в голосе.

В самый канун отъезда, дома, перед прощальным ужином, на который были приглашены самые близкие люди, он взял экземпляр верстки «Избранные стихи» и написал на титульном листе: «Дорогой Нине Павловне в последний день десятилетней совместной работы, эту последнюю, еще не вышедшую книжку, с дружбой (старой) и верой в совместную деятельность (новую)».

Прощай, Москва! Прощай, «Новый мир»! Прощайте все, близкие и далекие. Здравствуй, новая жизнь.

Багаж отправили по частям раньше, он, наверное, уже там, по новому адресу: Ташкент, улица Алишера Навои, общежитие Совета Министров Узбекистана. Там уже хлопочет Маруся.

Предвидя, что всякого рода организационные хлопоты ждут его на первых порах и в Ташкенте, он решил вылететь сначала один. Лариса с дочками могут прибыть позднее. Лариса, правда, бурно протестовала против такого решения, но он настоял на своем.

Было у него испытанное средство справляться с бытовыми передрягами: никогда не откладывать ради них настоящие дела. Встреченный в аэропорту

Ташкента собкором «Литературки» Хамидом Гулямом, он выгрузил с его помощью из самолета многочисленные корзинки, картонки и чемоданы, которыми наградила его Лариса, доставил их в дребезжащей «Победе» Хамида на улицу Алишера Навои, 14, где в общежитии Совета Министров ему предстояло обосноваться на первое время, и утром следующего дня отправился в сопровождении того же Хамида Гуляма, на той же его таратайке в Голодную степь. Пусть никто не усомнится, что звание спецкора «Правды» он возложил на себя не ради красного словца и полагающиеся ему в этой роли зарплату и командировочные намерен отрабатывать честно.

Он еще вчера не верил до конца, что улетит в Ташкент, до последней минуты боялся — или надеялся? — что вот-вот стрясется что-нибудь такое, что задержит его: то ли посланец от Хрущева объявится, то ли из ЦК или из Союза позвонят и скажут: «Надо ехать, больше некому» — в какую-нибудь Боливию или в Египет, на очередную встречу борцов за мир. Теперь на какое-то время он был вне досягаемости. «Победа» Гуляма, мобилизовав все свои силенки, бодро бежала по начинавшей уже пылить дороге. Вокруг расстилались такие милые его сердцу, такие пронзительно знакомые еще с первого его приезда сюда в конце 1942 года места, которые даже не знаешь, как и назвать, если мерить российскими мерками, — поля, степи, пустыни... Нескончаемые квадраты черной, еще голой, с осени не вспаханной земли — хлопковые карты, обрамленные поясочками едва зазеленевшего тутовника, журчащие у корней деревьев арыки. В поселках — непрерывные глинобитные дувалы, за которыми — загадочная, недоступная пониманию европейца, сколько ни пытайся проникнуть в глубь ее, жизнь. Врывающиеся в машину звуки — блеяние овец, воркование голубок, запахи — то дымком саксаула, то вызывающим слюнку плавящимся бараньим салом.

— Свобода, свобода! — беззвучным криком звучало в груди.

Душу грела мысль о заботливо припасенном НЗ, лежащем в багажнике. Единственный, кроме трех экземпляров рукописи «Живых и мертвых», багаж, с которого ни в самолете, ни по прилете, на улице Алишера Навои, не спускал он глаз. Гостеприимством узбеки славились. Но по старой фронтовой привычке он всегда предпочитал прибывать на место событий, будь то осажденный врагом Сталинград, или только что взятая Варшава, или сам господин Берлин, со своим горючим в неизменной фляге приличной емкости и харчем, обязательно не совпадающим с тем, что ему могут предложить.

По мере приближения к столице Голодной степи ландшафт незаметно менялся. Просторы вокруг становились все пустыннее, земля — голой, белесой. Страна жила в те годы подъемом целины. Эпицентр событий был, разумеется, в Казахстане, на Алтае, но и здесь супеси и солончаки Голодной степи решено было распахать под хлопок.

Внезапно появившийся перед ними Янгиер ничем не напоминал привычные узбекские поселения. Ни дувалов, ни садов, ни арыков, ни собачьих мохнатых стай, клубком катящихся за машиной.

Посреди и вокруг этой несколько обескураживающей неустроенности бросалось в глаза обилие недавно высаженных деревьев. Он легко узнавал, хотя никогда не считал себя знатоком природы, тополя, ели, сосны... Названия других заботливо подсказывал всезнающий Хамид: чинара, карагач, туя...

Землянки, вагончики были неизбежной и естественной приметой освоения новых мест, новых земель. То, что строители с самого начала позаботились о том, чтобы посадить деревья, привлекло внимание особо.

— Там, где растет дерево, будет жизнь, — сказал он часом спустя в кабинете главного хозяина этих мест, начальника организации с причудливым, с ходу просящимся в очерк названием «Главголодностепстрой», Акопа Саркисова, который возгласами и объятиями приветствовал гостя.

Хамид Гулям на следующий день уехал — дела, задания «Литературки». Он остался, поселился в щедро выделенной ему землянке и с удовольствием повел забытую жизнь спецкора. В кирзовых сапогах, в брезентовой спецовке, в каком-то немыслимом картузе, предложенном ему Саркисовым, его, как принято было писать в производственных романах, можно было увидеть и в ключевых, и в самых неожиданных пунктах гигантски размахнувшейся стройки. Приходили на помощь старые навыки, восстанавливались, казалось бы, утраченные и забытые навсегда рефлексы. Душа вела себя, как мышцы некогда тренированного, а потом начисто забросившего физические упражнения человека, — она побаливала, поламывала, отходя и оживая вместе с воспоминаниями. Сама эта боль, как здоровая физическая усталость, была и отдохновением, и радостью. Приходили в голову несвязные, тоже уже полузабытые обрывки собственных стихов предвоенной и военной поры.

Он, мельком оглядев свою каморку,
Создаст командировочный уют.
На стол положит старую «Вечерку»,
На ней и чай, а то и водку пьют.

Сколько же лет тому, дай бог памяти, были написаны эти строки? Никак не меньше двадцати. Куда была та командировка — уже и вовсе не припомнить — в Среднюю Азию, на Магнитку, на Кавказ?

Мужчине — на кой ему черт порошки...

И все-таки, все-таки верно сказано, что в одну воду дважды не войдешь. Сколько ни таись, сколько ни притворяйся рядовым московским корреспондентом, все равно тебя узнают, достанут, пригласят в гости, устроят читательскую конференцию, заставят читать стихи и в первую очередь, конечно же, «Жди меня», и «Ты помнишь, Алеша...», и «Если бог нас своим могуществом...».

Его на все хватало в недели, проведенные в Голодной степи, в гостях у матерого строителя Саркисова. Как бы ни затягивалась иной раз читательская конференция, он ни разу не позволил себе отказаться от непременно следовавшего за ней угощенья. И поскольку в самой столице целинной «посидеть» в сущности было негде, выезжали на машинах поближе к старым, давно обжитым местам. Хмурые, неприступные дувалы оказывались не такими уж хмурыми и неприступными. За открывавшимися радушно воротами оказывались уютные, засаженные вишней, черешней, грушей, карагачем дворики с тандырами, узбекскими печками для выпечки лепешек, с топчанами-караватами, устланными пестрыми стегаными одеялами. Они стояли либо у небольшого бассейна, хауса, либо оседлывали весело журчащий арычок, в котором так удобно было охлаждать «Столичную». Расходились после неторопливых, полных скрытого значения бесед, порой за полночь. Но рано утром, в положенный час, он направлялся по заранее намеченному адресу пешком или на машине — в аккуратной спецовке, с неизменным блокнотом, которого, как правило, хватало на один день. Взял себе за правило сразу же — по мере созревания замысла и накопления материала — отписываться. Передавал материалы в «Правду» по телефо-

ну, терпеливо, по буквам, как в незабвенные фронтовые времена, повторяя по требованию редакционной стенографистки узбекские имена и названия, либо с оказией, через Гуляма.

Очерки К.М. публиковались в «Правде» под рубрикой «Что такое Голодная степь». Когда в Янги-Ер пришел номер газеты с первым его очерком, он радовался, как новичок. Опасался рекламаций, но слышал вокруг себя одни восторги, которые предпочитал относить не столько на счет истинных достоинств своей публицистики, сколько на счет общего своего реноме.

Ни разу не пожалел, что не тотчас же уселся за роман, а приехал поначалу в Голодную степь. Сейчас ему не нужно было для работы над романом ни рукописи, ни даже стопки чистой бумаги. Беседы с целинниками, сидение над очерками о Голодной степи не могли ни приостановить, ни замедлить непрерывной работы, которая шла в нем. Он знал, что он вычеркнет по возвращении в Ташкент, что переставит местами. Он мог бы с ходу, в любое время дня и ночи продиктовать Нине Павловне новые мысленно написанные им главы. У него не было опасений относительно того, что он может что-то забыть или спутать. Таким было его состояние в те три без малого месяца в Голодной степи. Он купался в нем и, боясь неосторожно прервать его, не торопился в Ташкент.

Все хорошее в нашей жизни, так же как, к счастью, и плохое, рано или поздно кончается. Должна была приехать Лариса с девочками. Из Ташкента сообщали, что местные власти подобрали ему квартиру, куда можно переезжать из совминовского общежития. По словам Маруси, с которой он поговорил по телефону, квартира была ничего себе, но она категорически отказалась туда перебираться, пока он не посмотрит ее своими глазами.

Через несколько дней после звонка Маруси он уже трясся на той же неувядаемой Хамидовой «Победе» в Ташкент. Он ехал, вспоминал дорогой теплые — с обязательными шашлыками, мантами, пловом — проводы, которые ему устроили строители, и думал о том, что такой поры у него уже больше не будет.

Домик на Полиграфической улице, предоставленный любезно в его распоряжение по указанию первого секретаря ЦК партии республики Мухитдинова, был невелик для его разросшейся семьи. К тому же Лариса тоже настроилась на работу, твердо решила закончить здесь большой искусствоведческий труд, что никак не удавалось ей в Москве. Она привезла с собой немалый архив и нуждалась хоть в небольшом, да кабинете. Пришлось уступить ей комнату, которую он примерял для себя.

Выручило то, что в доме было большое и сухое подвальное помещение, По сорокаградусной жаре, которая установилась в Ташкенте с конца мая, прохладный этот подземный чертог, как называл его К.М., был просто спасением. Преобразовать его в рабочий кабинет, то есть побелить, снабдить самым необходимым из мебели — стол, стулья, кресло для отдыха, маленький столик для магнитофона — было уже делом несложным. Здесь, в этой почти монашеской келье, без телефона и радио, изолированный от всех шумов и сигналов мира, он проводил ежедневно, если не выезжал в командировки, по несколько часов.

Остальные радости и горести земные, выпадавшие и здесь на его долю, были лишь приложением к этим часам. Удалось наладить тот идеальный в его представлении ритм жизни, к которому он всегда стремился, но который так редко удавалось осуществлять. Заботы о чадах и домочадцах, игры с девочками, продолжительные собеседования с Ларисой по поводу ее труда, который по-

прежнему шел у нее туго, — это тоже свободно и естественно укладывалось в распорядок жизни, не усложняя, а дополняя, гармонизируя ее.

— Хоть пиши обо всем этом отдельный роман а-ля Кочетов, — пошутил он однажды, выходя с женою и дочерьми на ташкентские бродвеи, наполненные яркими красками цветов, фруктов, пестрых женских платьев, гулом разноязыкой, на высоких тонах речи.

Каждый узнавал его, но, о прирожденный такт Востока, люди старались не дать ему это заметить, не отвлечь уважаемого гостя от его высоких дум.

Первым и ощутимым толчком, в результате которого столь надежно, казалось бы, выстроенное здание новой жизни дало трещину, были завезенные каким-то московским литератором вести — или слухи? — из Москвы. Роман Пастернака «Доктор Живаго», отвергнутый два года назад редколлегией «Нового мира», его «Нового мира», и столь жестко отрецензированный им, Симоновым, и его соратниками в форме открытого письма автору, будет печататься или уже напечатан в каком-то итальянском издательстве, кажется, Фильтринелли, куда он попал незаконно, но с ведома автора.

Сколько ни прислушивался К.М. к себе, сколько ни размышлял, никак не мог понять, почему эта весть так задела его. И только когда через некоторое время, ближе к осени последовал по этому поводу звонок из Москвы, он понял, что же его так тревожило и тяготило. «Старое начинается сызнова», — подумал он словами шолоховского Якова Лукича. Из Москвы запрашивали его согласия на публикацию в журнале этого самого письма Пастернаку. Сказали, что все остальные авторы — Федин, Лавренев, Агапов — согласие уже дали.

Его отношение к роману за два года не изменилось да и вряд ли изменится. Поступок Пастернака, а из Москвы подтвердили, что все было именно так, как ему раньше рассказывали, только усугубил положение. Так что у него нет возражений. Решать это не ему, решать это самому «Новому миру», в котором теперь Саша Твардовский. Где сам Саша, почему он не позвонил? Он, — ответила Москва, — в заграничной командировке. Но он в курсе.

К.М. положил трубку на рычаг и постарался позабыть о разговоре. Это оказалось не так-то легко. Из Москвы продолжало погромыхивать. Настоящая гроза, он чувствовал это нутром, еще впереди. Он поймал себя на том, что уже без прежнего нетерпения и удовольствия ожидает почту из Москвы. Как ни велика была в нем, говоря ленинскими словами, благородная страсть печататься, он знал, что грядущая публикация радости ему не принесет.

Когда же поступил в Ташкент номер «Нового мира» с полузабытым уже текстом коллективного письма Пастернаку, те же противоречивые чувства охватили его, что и год назад, когда кто-то положил перед ним на стол листок со стихами Евтушенко. Он запоздало подумал, что следовало бы посоветоваться с Ларисой, прежде чем давать согласие на публикацию документа. Так сложилось, что он никогда не советовался с Валентиной о своих литературных делах. С Ларисой — другая ситуация, но былые рефлексы все же срабатывали. Чутье подсказывало ему, что она была бы против, как, наверное, воспротивилась бы и тому, чтобы вообще писать подобное письмо. Если бы она была рядом... Но тогда ее еще рядом не было.

Правда, несогласие ее только бы усложнило ситуацию. Хорош бы он был в глазах соавторов, да и в своих тоже, если бы отказался теперь печатать письмо! В критический момент, когда на Западе и у нас вокруг Пастернака началось политическое кликушество, никакого отношения к литературе не имевшее! Их письмо

было серьезным разговором писателей с писателем, по большому счету — о жизни, о революции, о судьбах родины, о прошлом и будущем народа. Разговор мужской, лишенный оттенка какого бы то ни было обличительства. Автор прислал в редакцию свое детище на суд, редакция дала свою оценку — спокойную и нелицеприятную. Просто сказали, что нам это не подходит, и объяснили почему. В отношениях между редакцией и автором есть — никуда от этого не денешься — деловая сторона, фактор купли-продажи. Он предлагает, она берет или не берет, мотивируя, естественно, свое решение. Чем больше ясности в таких делах, тем лучше.

Ну, а когда автор сделал новый шаг, прямо скажем, необычный, некорректный шаг, — отдав роман за рубеж, когда там, на Западе, стали писать и говорить, что в СССР, мол, было отвергнуто гениальное произведение, надо было, хочешь не хочешь, и редакции прояснить свою позицию, что она и сделала.

Тот факт, что письмо было опубликовано нынешней редколлегией «Нового мира», лишь укрепляло авторитет документа. Теперь уже и новая редколлегия во главе с Твардовским как бы поставила под ним подпись.

К.М. бросил журнал на письменный стол в рабочем кабинете. Решил, что сам заговаривать на эту тему с Ларисой не будет. Хотел ли он, чтобы она проявила инициативу? Пожалуй, хотел. Весь этот внутренний монолог, в конце концов, был предназначен ей и прежде всего ей. Она молчала, хотя наверняка заглянула в журнал, и ее молчание, дальше больше, становилось красноречивее слов. Ход событий осенью 58-го года приносил из Москвы чуть ли не ежедневно такие вести, создавал здесь, в Ташкенте, такие ситуации, в которых не заговорить о Пастернаке казалось просто физически невозможно.

Она молчала.

В октябре стало известно о присуждении Пастернаку Нобелевской премии. Роман оказался просто-напросто игрушкой в руках чуждых сил. Это настолько очевидно, что всякие сомнения насчет правомерности публикации письма сами собой рассеивались. Действие не могло не родить противодействия.

Облегчение от этой мысли, однако, было сиюминутным. В Лужниках выступил комсомольский вождь Семичастный. В присутствии Хрущева. На торжественном собрании, посвященном сорокалетию комсомола. Бог мой, что было общего у двух событий? Разве площадная брань, которую К.М. собственными ушами слышал по радио, имела хоть какое-то отношение к юбилею комсомола? Отвратительный рецидив, казалось, канувших в Лету заклинаний 37–38-го годов. Самым ужасным было то, что молодежь самозабвенно аплодировала оратору, самым беспардонным его перлам: «Свинья не сделает того, что он сделал... Он нагадил там, где он ел...»

Собрание московских писателей, состоявшееся следом, 31 октября, не транслировалось ни по радио, ни по телевидению. Но те же телефонные звонки моментально донесли до К.М. все в подробностях. Писатели в красноречии не уступали бюрократу. Первого ноября резолюцию писательского заседания опубликовала «Литературка», где теперь командовал Кочетов. В резолюции были такие, например, места: «Давно оторвавшийся от жизни и от народа, самовлюбленный эстет и декадент Б.Пастернак сейчас окончательно разоблачил себя как враг самого святого для нас — советских людей...» Или вот, о Нобелевской премии: «Окончательно став отщепенцем и изменником, Б.Пастернак протянул руку к тридцати сребреникам».

Счастье еще, что в резолюции не было ссылок на новомировское письмо. Хотя ему говорили, что ораторы на этом собрании на него прилежно ссыла-

лись. И он не удивлялся этому. Хорошо изучил психологию толпы, даже если она состоит из литературных светил первой величины.

То, что должно было служить одной лишь цели — убедить Пастернака в его роковой исторической неправоте, — респектабельность подписей, взвешенность и глубина аргументов, — теперь служило прямо противоположному.

Нервы у него не выдержали. Улучив вечером момент, когда Лариса была в своем кабинете «наверху» одна, он вошел к ней и плотно закрыл за собой дверь. Он откровенно признался, что боится... Боится того, что Пастернака могут арестовать. Но еще больше он боялся, что того же самого боится Пастернак, который, не выдержав напряжения, может наложить на себя руки. Имена Дантеса и Мартынова не назывались в том их затянувшемся разговоре, но дух их витал в тесной комнате. Ему стало легче, когда разговор перешел в практическую плоскость, и они решили, что завтра, вернее, уже сегодня утром он пойдет на телеграф и пошлет в Москву телеграмму. Они все не могли договориться, по какому адресу — К.М. склонялся к Старой площади, а Лариса — к улице Воровского, — с протестом против безобразной вакханалии. После чего надо будет попросить у здешнего Первого секретаря разрешения поговорить по «вертушке» с ЦК — на как можно более высоком уровне.

Спать они в ту ночь легли на рассвете. Утром услышали, что по радио передают напечатанное в «Правде» письмо Пастернака. Внимая словам диктора, он, наверное, выглядел как заблудившийся в песках Сахары путник, который набрел на последнем издыхании на оазис.

Пастернак не отказывался от своего романа, и нелепо было бы ожидать этого. Он отказывался от премии, говорил, что не хочет далее быть поводом и предлогом для нападок и инсинуаций на его народ, на его Родину, ее прошлое, славное настоящее и будущее.

Совершенно нежданным было его обращение к их письму: «Редакция «Нового мира» предупредила меня о том, что роман может быть понят читателями, как произведение, направленное против Октябрьской революции и основ советского строя. Я этого не осознавал, о чем сейчас сожалею».

Сколько камней с души может упасть в течение каких-нибудь нескольких минут?! Письмо Пастернака в «Правду» возвращало все на круги своя. На какое-то мгновение показалось, что его строками воссоздан тот идеал отношений в литературе, о котором он всегда мечтал. Когда полемика — это соревнование интеллектов, сопоставление взглядов, вкусов — и ничего более. Пастернак как бы отодвинул одним брезгливым жестом руки все наносное, всю эту грязную пену, взбитую корыстной и ничтожной суетой и там, и здесь, у нас. Признав, что не только романом, но и поведением своим подал-таки повод для всей этой свистопляски, явил то мужество, которое он, К.М., больше всего ценил в мужчинах.

Внимательный, таящий в себе загадку взгляд Ларисы, которая после того, как умолк голос диктора, не произнесла ни слова, вернул его с небес на землю.

Какой там чистый спор, какая схватка интеллектов, какое мужество! Пастернака просто заставили написать все это, покаяться... И он не нашел в себе сил устоять против этого... Положил голову на плаху.

Нет, она не осуждает Пастернака. Но и восторгаться его вынужденным и вымученным покаянием не собирается. Ей теперь ясно — писать и обращаться к кому бы то ни было уже поздно. Пастернака не тронут после его письма. В остальном ему уже никто помочь не в состоянии. Он и не принял бы такую

помощь. Тем более от него, от Симонова. Ни Лариса, ни он не произнесли этих последних слов, но когда они грустно, с горечью посмотрели друг на друга, эти слова стояли между ними.

Он во всем — почти во всем — был согласен с Ларисой. Но никто не мог лишить его права доспорить с Пастернаком строкою прозы.

Когда вез с собой в Ташкент рукопись будущего романа, он полагал, что главная его задача теперь — убрать длинноты, избавиться от второстепенных линий, поставить акценты на ключевых фигурах. Он тешил себя мыслью, что сделать это будет не так уж трудно. Проштудировав основательно текст, он с удивлением обнаружил в нем сразу три начала. И, собственно говоря, ничего больше. Действие крутилось вокруг первых месяцев войны, вокруг старых его и читателя знакомых — Синцова, Полынина, Артемьева. Они поочередно входили в войну на разных ее направлениях, попадая в сходные, иначе и не могло быть, перипетии, испытывая во многом похожие, и это тоже было естественно, чувства — растерянности, горечи, гнева, озлобления. Герои поочередно прощались с близкими, отправлялись на фронт, по дороге попадали под бомбежку или оказывались в окружении, в рядах отступающих войск. Судьба военная, по воле автора, то и дело сталкивала их друг с другом, они размышляли и говорили о происшедшем, но ничего особенно путного из их разговоров не вырастало.

В чем же дело? К.М. стало ясно: напрасно он столь ревностно придерживался тезиса о том, что новая вещь — продолжение его предыдущего романа «Товарищи по оружию». Понапрасну связал себя со всеми героями той вещи, многие из которых хотя и остались живы после войны на Халхин-Голе, психологически исчерпали себя полностью.

Другая ошибка: слишком широкой оказалась география романа. Воображая себя эпиком, он просто не поборол соблазна пройтись еще раз по всем местам, где однажды побывал. Трассы его героев пролегали по тем самым фронтам и направлениям, по которым он сам прошел в первые месяцы войны и о чем тогда же написал — сначала серию газетных очерков, потом публицистическую книгу «От Черного до Баренцева моря (записки военного корреспондента)». Вот она, Золушка, лежит перед ним в спартанском издании 1943 года.

Третий просчет был, пожалуй, самый обидный. Задумав ни много ни мало эпос о Второй мировой войне, он самонадеянно положился только на личные впечатления, личные записи. С одной стороны, они уже были основательно пущены в оборот, а с другой — были мелковаты, во всяком случае, недостаточны. Солидная временная дистанция пролегла между той порой и сегодняшним днем. И не только временная.

Строго говоря, писатель не должен полагаться целиком и полностью на чужие мнения даже самых близких ему по духу людей. В конце концов, если бы кто-то из них в точности знал, что хорошо, что плохо, что нужно, что нет, мог бы сам сесть и написать твой роман.

Твое собственное представление о вещи тоже может быть обманчиво. Тебя бросает из одной крайности в другую. И то, что сегодня кажется совершенно законченным, имеющим самостоятельную ценность произведением, завтра представится лишь ворохом мало связанных друг с другом эпизодов.

Правильно он сделал, что «вынул» из рукописи, доделал и напечатал как повесть «Левашова» и другие куски, что бы ни говорили по этому поводу кочетовские прихлебатели. Начатая «автоматчиками» травля, а иначе это не назовешь, возродила к нему симпатии массового читателя. Народ любит гонимых.

Во многих письмах обвинения в очернительстве ему предлагали воспринимать как награду. До каких пор вместо правдивых характеров в реальных обстоятельствах от писателя будут требовать манекенов? Побуждать его приукрашивать ход войны, особенно ее начало, предлагать восхищаться полководческими деяниями генералиссимуса, который, обагрив свои руки в крови, выбил перед самой войной три четверти командного и комиссарского состава армии! До каких пор? Таков примерно был лейтмотив читательской почты, среди которой были, однако, и письма в духе Стаднюка и Кремлева.

Его размышления над этими письмами, заметками в печати, устными откликами тоже были работой над романом.

Он сам рвался к этому — познавать и писать правду о войне. Но он и представить не мог раньше, как велика жажда истины, неприукрашенной правды у читателей, у всех — у молодежи теперешней, которая лишь краешком, лишь ранним детством зацепила войну, у ветеранов, у тех бывших пехотинцев, моряков, летчиков, штабистов, с которыми он беседовал в Москве под стенограмму и магнитофонную запись.

Правды, той самой правды, которой проблеск его читатели заметили в «Левашове», все еще не хватало его детищу. С короткого эпизода войны — один спрос, с эпопеи — другой. Он уяснил простую истину — до нее каждый художник дозревает в одиночку, — что эпичность повествования — это не панорамность событий и не «многолюдье». Это — мера проникновения в глубь событий, характеров, судеб, самой истории.

И тогда-то, уже в Ташкенте, полетели из его гигантской рукописи, которую он про себя называл Голиафом, не только лишние два начала, но и многое другое. На первый план вышел один герой — Синцов, который в силу трагических и одновременно обыденных для начала войны обстоятельств: окружения, ранения, гибели целых частей — сменил авторучку сначала на трехлинейку, а потом на автомат. Герой, воюющий лишь «с лейкой и блокнотом», сужал возможности. Автору нужен был взгляд не со стороны, пусть он и сам прошел всю войну именно таким образом, а изнутри. Так, неожиданно для него самого, роман «Живые и мертвые», который раньше назывался «Зимой 1941 года», из панорамы трагических событий начала войны стал зеркалом всего нескольких судеб — Синцова и тех, с кем свела его война.

Первым и самым крупным среди них станет комбриг Серпилин — тот самый полковник Кутепов, с которым он встретился в июле 1941 года под Могилевом и в котором увидел прообраз той силы, что, невзирая на все, сомнет и уничтожит фашизм. Синцов прошагает рядом с Серпилиным без малого всю войну. Кое-что он изменит по сравнению с Кутеповым и в биографии Серпилина. Введет сталинский лагерь, из которого героя «выручит» востребовавшая его война. Так было со многими военоначальниками, самым ярким представителем которых был, конечно же, Рокоссовский.

К.М. обнаружил, что, сидя над рукописью, он постоянно сравнивает себя сегодняшнего с тогдашним, вернее, тогдашними — Костей и Военкором. Они ожесточенно спорили друг с другом. Константин Михайлович, который в равной степени принадлежал и тому, и этому времени, пытался стать судьей, посредником в споре. Но хладнокровия ему недоставало...

Так что верх как будто бы брал К.М. Ему, современнику двадцатого съезда, о минувшей войне, ее тайных и явных пружинах было известно несравнимо больше, чем очевидцу войны. Повзрослевший физически всего на каких-ни-

будь тринадцать–восемнадцать лет, а духовно — на целую эпоху, он дивился и становился в тупик перед наивностью и легковерием Кости и Военкора. Странно, что тогда они ничему не удивлялись, даже самому невероятному. И за некую доблесть полагали способность принимать все происходящее, как бы оно ни было ужасно, за должное, за реальность — как подобает мужчине, солдату, коммунисту: мерехлюндии оставим для хлюпиков, баб и штафирок.

Когда там было размышлять и рефлектировать, парировали Костя и Военкор, враг лютый за считанные недели докатился до пригородов Москвы, и долг был в одном — трубить о смертельной опасности, звать на последний смертный бой, повторять бесчисленное количество раз, на все лады: УБЕЙ немца.

Сколько раз увидишь его,
Столько раз и убей!

Нет, ни тот, ни другой Симонов отнюдь не спешили поднимать руки вверх перед ним нынешним — К.М., чья мудрость задним числом порою представлялась им лицемерной. Было в этой мудрости и в этом всезнании что-то оскорбительное для великого подвига и великих страданий народа. Бунтовал в Косте и Военкоре не только человек, но и поэт, творец, чей голос был услышан народом, страной. Это тоже была реальность, которую ничем не дано заслонить. То есть на какой-то короткий срок такое может случиться. Но — слово твое жило годы, его находили в мятых, залитых кровью солдатских треугольниках, его, как молитву, твердили в окопе на передовой, в партизанской землянке, в лагере смерти. Строки твои и сегодня повторяют влюбленные. Для этого нужен чистый замес и дрожжи, которые, быть может, упали с неба.

О чем шел спор? О том, что помимо главной, очевидной, безмерно страшной, но всем понятной и объяснимой беды, которая обрушилась на страну в июне сорок первого, с ней-то и схватились Костя и Военкор, помимо этой смертельной опасности существовала другая, дьявольская напасть, невидимая и вездесущая. Еще до того, как пришла явная и объяснимая драма, она высасывала из страны живительные соки, уносила, словно тать в нощи, людей, обезлюживала города и веси, иссушала плодородные нивы и напускала такого дурмана, что лютый враг казался людям самым дорогим и великим другом, а друзья — врагами народа. Ты — во всех твоих ранних ипостасях, ничего этого не видел и не замечал? Убаюканный собственной песнью? Чем же она в таком случае была лучше того самого дурмана?

Не замечал, не знал или не хотел замечать и видеть? — вот к чему все в конце концов сводилось. К.М. отдавал себе отчет, что именно на этот вопрос он обязан прежде всего ответить — и себе, и читателям.

Ответа, который был бы убедителен, все не приходило. Может, его вообще не существует в природе? Правдой было и признание своей слепоты, и ее отрицание. Потому что и в жизни в слиянии пребывало зло и добро, высоты духа и бездна падения, верность и коварство, величальная человеку и неслыханное издевательство над ним. Можно без конца продолжать эти пары. Приказ № 227 «Ни шагу назад!» воззвал к святая святых в человеке и тут же поставил за рядами наступающих шеренги заградотрядов, чтобы стреляли в затылок тем, кто при броске в атаку замешкается хоть на мгновение.

Высокое и низкое, прекрасное и отвратительное — они всегда были вместе на земле, но никогда еще, ни в одной стране, ни в одну эпоху не вступали в такое

немыслимое, сатанинское переплетение. Поистине, только бес мог такое придумать на погибель людям — и правым и виноватым. Пробегала кощунственная мысль — даже в гитлеровской Германии было проще — там, по крайней мере, любое дело не расходилось с мерзким словом. Там евреев истребляли, объявив их во всеуслышание низшей расой. Да и русских, всех славян отнесли, не стесняясь, к недочеловекам.

Здесь же воспевали — и в речах, и в поэтических гимнах равноправие, единство и дружбу, «союз нерушимый республик свободных», а целые народы срывали с родной земли, гнали, как скот, на чужбину, истребляли на месте. Под ликующие звуки Победы возвращались недавние узники фашистских концлагерей, и тут же под самыми изощренными предлогами, чуть ли не походным строем их отправляли в лагеря, за колючую проволоку.

Хотелось теперь все это выкрикнуть разом. Крик застревал в горле. Так появилась и окрепла мысль, что роман должен быть не итогом, а процессом познания, этапом на пути к истине. За первым будет второй, а может быть, и третий... Первый роман — как первый круг ада. Настанет время — и Синцову, и Серпилину — остановиться, онемев над бездной, поразмыслить над лицом и изнанкой жизни. Но сегодня они воюют и почитают за честь, что есть у них это право воевать. И недосуг им, сгибаясь под ратной ношей, рассуждать о силе, которая чуть было не лишила их этого права — один пришел на войну из сибирских лагерей, другой вернулся на нее, выйдя из окружения, что повлекло за собой унизительное расследование и исключение из партии.

Война, распадающаяся на десятки и сотни малых и больших сражений и схваток, всегда кровавых, всегда беременных смертью и то и дело разрешающихся ею, составляла и содержание и образ жизни его героев, входила в повествование, чтобы до конца остаться в нем главным действующим лицом. Одна на всех, она заслоняла собой всяческого рода индивидуальные подробности: зоны за колючей проволокой, военные трибуналы, загранотряды и пыточные. Но только до поры. Потому что эти так называемые подробности, эти ужасы и мерзости, ничего общего не имеющие с лишениями и страданиями самой войны, не канули бесследно. Они живут в человеке и неотвязно, словно ржавым гвоздем, колют его душу и сердце, которые, оттаивая постепенно в «нормальных» фронтовых обстоятельствах, становятся все чувствительнее к этой боли.

Герои его прежней военной прозы отличались от нынешних тем, что у них как бы не было биографии и вся их жизнь состояла из двух этапов: сегодняшнего — война, и вчерашнего — подготовка к войне.

Там тоже были люди разные — честные и криводушные, сильные и слабые, храбрые и не очень. Но все эти качества существовали как бы сами по себе, как нечто изначально данное. Там если награждали, то всегда достойного, если отдавали под трибунал — то труса или негодяя. Если и хорошего человека наказывали, то за дело, как Сергея, например: не прыгай через реку на танке!

Здесь жестко спать, здесь трудно жить,
Здесь можно голову сложить.
Здесь, приступив к любым делам,
Мы мир делили пополам.

Милый, милый, такой правильный, такой понятный, но, увы, без остатка растаявший мир.

И непонятно задумавшимся над ним Косте, Военкору, Константину Михайловичу и К.М., жалеть ли об этом или радоваться. Всякий со своей правдой в голове, каждый тянет в свою сторону.

Как ни очевидна была теперь для К.М. пагубность сталинского всевластия и подозрительности, не мог он позволить себе приписать это всезнание своим героям, свести все страдания и тяготы военного лихолетья к этому одному обстоятельству, как бы страшно оно само по себе ни было. Было что-то возникавшее независимо от его воли и сознания, что удерживало его от нагромождения ужасов такого рода. Если солдаты и шли в бой с возгласом «За Сталина!», то сражались и погибали-то они за народ свой, за Родину, за близких, за отчий дом, за дым отечества... И если и маячил перед тем же Серпилиным отвратный лик Бастрюкова или какого-нибудь другого уполномоченного СМЕРШа или особиста, все же главную опасность в его глазах представляли тогда не они, а те ефрейторы, обер-лейтенанты, генералы, от которых мы драпали в первые месяцы войны и которых потом выкуривали, как крыс, из блиндажей и землянок под Сталинградом.

Его героем, он снова и снова повторял себе это, будет обыкновенный человек на войне, а сама война будет показана, как она есть, без всяких прикрас и оглядок на соображения идейного плана, с какой бы стороны они ни исходили. Правда — вот высшая идейность. И во имя нее он не давал себе воли, когда так или иначе подходило к тому, чтобы живописать мерзости сталинского произвола и лишения его жертв. Он не мог, не имел права сказать больше того, что способны были подумать и сказать тогда его герои.

Подобное воздержание — автора и его героев — представлялось К.М. своеобразным актом мужества. Уж так много развелось сейчас в среде пишущей братии любителей, говоря о минувшей страшной войне, разменять ее истинную трагедию и величие, сам подвиг солдатский на ужасы сталинско-бериевских застенков.

Так это все ему представлялось, когда он заканчивал «Живых и мертвых», сидя по утрам в полуподвальном, свежевыбеленном кабинете на тихой ташкентской улице.

В этот же период с рукописью в чемодане он ненадолго съездил в Москву, на III съезд писателей. Его впервые за много-много лет не избрали секретарем союза. Он сам удивлялся, как мало это обстоятельство оказалось способным испортить ему настроение. Тем более, что в эти же дни ему сообщили в «Знамени», что роман начинают печатать в ближайших же номерах. Впрочем, он и к этому сообщению отнесся с философским спокойствием. Отдав наконец рукопись в журнал, он порешил свое дело законченным.

Время сеять и время убирать. В жизни его теперь начиналась знакомая, но каждый раз пьянящая пора. Частые звонки из редакции, дискуссии по телефону о том или ином абзаце. Пакеты самолетом из Москвы в Ташкент, из Ташкента в Москву — сначала с версткой, потом сверкой. Иногда с очередной порцией рассыпающихся, пахнущих еще типографской краской листов прибывал кто-нибудь из редакционных мужей или дам. И тогда — застолье чуть ли не до утра — за шашлыками, им собственноручно изготовленными, с выбором и разрезанием яично-желтой, каждый раз с особым ароматом дыни, специальный ритуал, который он тут досконально освоил. Ну и, конечно, она, родимая, те самые боевые сто граммов, чарка за чаркой, с лукавой оглядкой на Ларису, которая сухого закона не соблюдала, но и к излишествам относилась нетерпимо.

Конвейер работал четко и споро. За первой журнальной тетрадкой, в апреле 1959 года, последовала вторая, потом третья. «Роман-газета» попросила разрешение напечатать «Живых и мертвых» полностью, а это означало чуть ли не миллионный тираж. Из «Международной книги» сообщили, что поступают заявки на издание романа за рубежом, в частности в Англии. Это был пока лишь первый, из девяти возможных, вал внимания, но в его поступи он уже слышал гул следующих.

И любо ему было по горячим следам, не откладывая, отвечать своим корреспондентам, откликаться на упоминания романа в периодике, а они становились все чаще.

«Дорогой Боря, — написал он, расчувствовавшись, Полевому, — был рад услышать в «Комсомолке» твой голос о «Живых и мертвых» и рад еще тому вдвойне, что это первое, что я услышал в печати. Сейчас все ладно и складно». Он уж забыл, когда у него что-нибудь подобное вырывалось. — «...Теперь отдыхаю немножко, остальное время сижу на заводе «Ташсельмаш». Там есть интересные люди, думаю посидеть месяца полтора».

Он чуть-чуть бахвалится своим ничегонеделанием. Приятное занятие для человека, который дня без работы не может прожить: «Сейчас я выдоен военным романом и только еще месяца через два начну прочухиваться». А второй из пресловутых девяти валов внимания уже накрывает его с головой. Письма читательские. Нина Павловна шлет их из Москвы пачку за пачкой. Он с одинаковым рвением прочитывает и целые школьные тетрадки пожилых любителей «разобрать» прочитанное по косточкам, и короткие, наспех составленные записки с изъявлением как восторгов, так и негодования.

Поток советов, вопросов о прототипах. Почти в каждом письме — о Сталине. Он буквально заболевал от иных, пугая Ларису и друзей отрешенностью, упадком сил.

«Ваши герои гадают, доложили Сталину или не доложили, знал товарищ Сталин или не знал... Мне неясно другое — почему Вы, большой писатель, говорите о Сталине в каком-то прощупывающем аспекте... Мне кажется, что Вы еще не свободны от того угара «всенародной любви», который витал над нашей страной целые десятилетия. Но Вы ведь лучше нас должны были бы знать, что любовь эта — плод обмана и воображения журналистов и писателей, результат манипуляций деятелей из ближайшего его окружения, вроде Маленкова, Молотова или Кагановича... Еще задолго до войны погибли лучшие наши военачальники, хозяйственники и наиболее способные государственные и политические деятели. Об их гибели он знал. Он санкционировал их гибель. Он оставил армию с одними Барановыми и Куликами. Вот почему немец оказался под Москвой...»

Или еще другое письмо: «Простите, что буду писать Вам неприятные вещи, моему любимому писателю. Не для того, чтобы испакостить Вам настроение, а потому что не могу молчать. Ваш Сабуров, слушая речь Сталина в начале войны, думал о том, что он без раздумья пошел бы на смерть чуть ли не за одно дыхание Сталина. Сабуров мой сверстник. Я простила ему (не ему, Вам) эту чудовищную мысль по вполне понятным обстоятельствам. Попробовали бы Вы не написать такую вещь тогда, в 43-м или в 44-м. Ого! Найдись такой, — сказал Твардовский. Но вот прошло шестнадцать лет. Хрущев сделал свой доклад на съезде партии о культе личности... Правда страшная. Полетели под ноги в клочья разорванные портреты и черепки разбитых статуй... Чем же Вы объясните, что Синцов си-

дит и повторяет те же слова, что говорил Сабуров? Синцов — тоже мой ровесник. Я могу представить, о чем мыслят мои современники... Почему ни у меня, ни у моих друзей и знакомых не было этого идиотского желания отдать свою жизнь за одно дыхание... А у Синцова оно — чуть ли не главный жизненный двигатель. Отнимите у него эту молитву — и он заблудится... А ведь он — журналист, писатель!» Ясно, что женщина — автор письма, хоть она и объяснялась в начале в любви, метила не в героя, а в автора.

«Он должен был много ездить, много видеть и, следовательно, много думать. Иначе какой же он писатель? А он даже собственное свое несчастье не мог осмыслить. Не смел подумать даже наедине с собой об истинном виновнике народных бедствий. И за это я, его современница, его презираю. Ну, да бог с ним, с Синцовым. В конце концов, это лишь образ, выдумка. Но Вы-то, Вы-то, с первого до последнего выстрела находившийся среди солдат, как Вы-то не поняли этого?»

Его корреспонденты обычно мало сообщали о себе. У этой вот мелькнуло, что учительница. О других и того не узнаешь порой. Но адреса, адреса!.. Петропавловск, Казахской ССР, поселок Майский в Кабардино-Балкарии... Из какой глухомани пишут люди! Может, из глухомани-то оно виднее?

Читая подобные письма, он доходил порой до того, что впору было рассылать письма по издательствам и требовать остановить стук многочисленных типографских машин, печатающих по всей стране, на разных уже языках, его роман «Живые и мертвые». Он готов был поручить своим секретарям в Москве звонить по книжным магазинам и киоскам с тем, чтобы прекратили продажу книги.

Но та же почта приносила и другие письма, и их было неизмеримо больше. «Я, как и все советские люди, радовалась нашим успехам и достижениям, гордилась, что наша страна выстояла и победила мрачные фашистские орды. Вместе со всем народом я, маленькая песчинка в огромном океане, плакала у репродуктора, потрясенная смертью Сталина. А потом состоялся XX съезд. Я не могла ни понять, ни принять его. Так нас воспитали. Любовь к этому человеку, которого я никогда не видела, вера в него, гордость за него настолько прочно вошли в каждую клеточку нашей души и сердца, что вырвать ее было равносильно смерти. А нужно было жить. Долго я не хотела верить фактам, не хотела читать газет. А потом появилась Ваша книга «Живые и мертвые». Я впитала в себя каждую строчку этого замечательного произведения. Я полюбила его мужественных героев... Я плакала. И я выздоравливала. Ваша книга была тем лекарством, которое так необходимо было моей душе... Осколок вынут, и рана, хотя еще кровоточит, но уже не смертельна».

Взглянул на адрес — Эстонская ССР, город Валга.

Он вдруг подумал, держа в руках два этих письма, учительницы из Казахстана и этой женщины из Эстонии: его роман нужен, нужен как анестезия, которую делают больному перед операцией. Второй роман будет этой операцией. Его первый роман для таких, как эта женщина из Эстонии. Второй будет для всех.

То, что осенило его и уложилось в короткую, из двух предложений формулу, не раз в те дни ложилось на бумагу в самых различных вариантах. Он без устали, и еще в Ташкенте, и позднее, в Москве, в этом духе отвечал своим корреспондентам и все определеннее отдавал себе отчет, что уже началась работа над продолжением «Живых и мертвых».

«Да, правда о Сталине — это правда сложная, в ней много сторон и ее в двух словах не скажешь. Ее и надо писать и объяснять как сложную правду, только тогда она будет подлинной правдой».

«Я считаю, что наше отношение к Сталину в прошлые годы, наше преклонение перед ним в годы войны, а оно было, наверное, примерно одинаковым и у Вас, и у меня, что это преклонение в прошлом не дает нам права не считаться с тем, что мы знаем теперь, не считаться с фактами...» Это он уже отвечает своему критику с другой стороны, ветерану войны, который упрекает его в том, что, написав в страшном сорок первом «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?», он теперь «поливает его грязью».

Он сочинял и диктовал письма, давал интервью, но про себя понимал, что и в них, увы, тоже нет еще всей правды. Где она, в чем она? Он надеялся найти ее в работе над вторым романом, который будет называться «Солдатами не рождаются».

Пружиной его будут не внешние события, но духовная эволюция главных героев. Отстоявшим Сталинград, окружившим и уничтожившим группу армий Паулюса, им будет легче подойти к пониманию противоестественности той второй войны, которую Сталин вел против своего народа, то есть против каждого из них.

Сам же он теперь начинал осознавать, что и в ту пору, перед Сталинградом, и гораздо раньше его были люди, которые отдавали себе отчет в происходящем. Была ли слепота и глухота, поразившая и его вместе с другими, невольной или добровольной — вот на что он должен будет теперь ответить своим следующим романом. И прежде всего самому себе.

Ощущение, что ташкентское его сидение логически подходит к завершению, становилось все острее. В Москве Столпер затевал фильм по роману — требуется его присутствие. На выходе несколько книг из старого и из нового — сборник очерков о Голодной степи. Зовут дела в комиссии по литературному наследию Булгакова, в которые он как следует влез только здесь, в Ташкенте. Ларису с ее рукописью ждут в издательстве «Искусство».

В Москву, в Москву...

Приятно было вновь убедиться в своей популярности, привлекать всеобщее внимание. Куда ни появись — всюду вокруг тебя людские круговороты. Он не был обременен никакими казенными обязанностями, должностями, присутствиями и т.д. Существовали только обязанности долга, чести — с помощью Нины Павловны отвечал на письма, охотно выступал на читательских конференциях, хлопотал за давних и новых, дальних и близких друзей, рекомендовал и проталкивал в многочисленные редакции рукописи о войне. В своих «внутренних» и для печати рецензиях предрекал наступление новой волны мемуарной литературы, которая ничего общего не будет иметь с полулубочными сочинениями, что появились сразу после войны.

Одна за другой «набегали» заграничные командировки. То в Болгарию, то в Грецию, то в ГДР, то в Соединенные Штаты — столько-то лет спустя.

Том «Живых и мертвых» — очередное издание — неизменно лежал на его письменном столе, как псалтырь перед священником. Всегда можно с ощущением счастья прикоснуться к нему рукой — словно бы и не было ничего до этой книги.

Гаррисон Солсбери, знакомый по первой поездке в США, откликнулся на выход «Живых и мертвых» в нью-йоркском издательстве «Даблдей». Статья его

в приложении к «Нью-Йорк Тайме» называлась «Народ все вынес», и многое К.М. в ней импонировало. Приятно, что это именно Солсбери. Небезразлично, что о нем, Симонове, вновь заговорили в Штатах, где после войны его книги со стихами, пьесами, прозой были бестселлерами. Когда-то Гаррисон называл его «русским Хемингуэем».

Подошел XXII съезд. К.М. на нем не присутствовал, но отчеты публиковались широко, да и было кого расспросить. Казалось бы, еще раз, и теперь уж навсегда, внесена ясность в заклятый вопрос о культе. Ясность эта нравилась ему. Новые и новые факты о злодеяниях Сталина, в том числе в отношении кадров военачальников, офицеров, выплескивавшиеся в речах, а затем и на страницы газет, лишь укрепляли в том, что он намеревался сказать своим вторым романом. Но сразу же за съездом последовали встречи с интеллигенцией, которые оставляли двойственное впечатление. Опять получалось: что позволено политикам, негоже художникам.

Из уст в уста передавалось: вскоре после того, как Василий Гроссман отправил рукопись своего нового романа в «Знамя», у него дома учинили обыск. Явились двое — нам поручено изъять роман. Забрали оригинал вместе с блокнотами, черновиками.

В КГБ вызвали машинистку: сколько экземпляров напечатали, кто еще работал? Конфисковали все 17 копий — вплоть до лент с пишущих машинок.

Испарился и тот экземпляр, который был в журнале. Кожевников хранил по поводу этого мрачное молчание.

Василий Петрович Гроссман. Вася Гроссман — его коллега по «Красной звезде» военных лет. Мешковатый, среднего роста человек, всегда, кажется, только тем и занят, что протиранием толстенных стекол своих очков в простецкой оправе, какие носят старики — мастера на заводах. Застенчивый, непритязательный, всегда будто сконфужен чем-то. До застенчивости скромен, до умопомрачения упорен, как говаривал о нем Давид Ортенберг.

У Гроссмана все, что ни рождалось, пробивало себе дорогу со скрипом. Очерки, опубликованные в «Красной звезде», ему не всегда удавалось собрать в книгу. Книжка, если появлялась, вызывала кисло-сладкие рецензии, а то и разнос. Между тем очеркист он был, положа руку на сердце, от бога. Первую крупную повесть о войне написал именно он. «Народ бессмертен» — хорошая повесть.

Начались его неурядицы еще раньше, со «Степана Кольчугина». Роман был выдвинут на Сталинскую премию, как только они были учреждены, в начале сорок первого. К.М. еще не был лично знаком с Гроссманом, и вся эта история прошла мимо его внимания. Потом, в «Звездочке», во время ночного бдения в редакции, Гроссман поведал ему, уже дважды лауреату, трагикомическую, по Васиным словам, эпопею с несостоявшимся увенчанием. Гроссману четко сообщили, что он прошел все круги утверждения и стоит в списках, которые видел Сам. Вечером, накануне ожидаемого объявления в печати, была масса звонков, поздравлений. Корреспонденты, ссылаясь на имеющиеся у них поручения редакций и ТАСС, приезжали фотографировать и расспрашивать о подробностях биографии. Он на радостях заказал... нет, не банкет, дороги в ресторан он просто не знал, а билеты в театр Революции, что на улице Герцена, для огромного числа близких ему людей. А наутро имени его в газетах не появилось.

— Оказался я, знаете ли, вроде того... с вымытой шеей, — все еще, видимо, страдая от неловкости происшедшего, смущенно развел руками Гроссман. К.М. помнит, что испытал неловкость за две свои лауреатские медали.

В театр несостоявшийся лауреат все же вынужден был пойти — билеты-то все были у него. Стоял у входа и раздавал их друзьям, которые, он с благодарностью это ощущал, чувствовали себя еще более сконфуженно, чем он.

Гадать, почему так случилось, не приходилось. Право изменить все в последнюю минуту — в худшую или лучшую сторону — было лишь у одного человека, имя которого не было в той ночной беседе в «Красной звезде» названо вслух.

Тень того же неприятия гналась за Гроссманом с тех пор по всем дорогам, военным и мирным. В 52-м году в «Новом мире» Твардовского был напечатан роман «За правое дело». Еще до публикации пришлось изменить его название. Гроссман хотел назвать его «Жизнь и судьба», как и этот, теперешний, конфискованный. Не дали. Не пришлось выбирать — роман или заголовок.

Тетива была оттянута, и первая стрела полетела тут же, в феврале 53-го года — разгромная статья Бубеннова. Импульс, заданный все тем же Лицом, был так силен, что и после его смерти стрелы продолжали сыпаться. Самым большим сюрпризом для автора была статья Фадеева в апреле. Он, К.М., тогда еще Константин Михайлович, пытался отговорить Сашу, тот не послушался, как всегда, и потом каялся с трибуны второго съезда писателей. В 1954 году. Человек действий, тут же постарался хотя бы отчасти исправить нанесенный им ущерб. По письму Фадеева в Воениздат роман довольно быстро вышел отдельной книгой.

Позднее К.М. редко встречался с Гроссманом. Знал, что тот продолжает работать над вторым томом эпопеи и что в основе его лежат события Сталинградской битвы, то есть тот же, в сущности, материал, что и у него.

Иногда беспокоило, а вдруг роман Гроссмана появится раньше? Однако даже в самом кошмарном сне не могло ему присниться, что их невольное соревнование окончится так ужасно.

Он ломал голову: что же, собственно, могло так напугать «заинтересованные организации» в рукописи Гроссмана?

Нелепый контраст: «Живые и мертвые» совершали свое победное шествие по стране и миру, а детище его коллеги стало жертвою акции в духе заклейменных сталинских времен.

Что могло быть в его рукописи такого, чего не было у него, Симонова, в «Живых и мертвых»? Не советскую же власть он призывает там свергать?

Он не знал, почему и за что так обошлись с Гроссманом. Не ведал и мог только гадать, какой силы был этот разлученный с его создателем роман. Клялся себе, что какая бы судьба ни постигла его собственное произведение, он будет стремиться лишь к одному — не лукавя, сказать о войне ВСЮ ПРАВДУ, без прикрас и без утаек. Без оглядок. Уж кто-кто, а он-то знает цену этим оглядкам. И не только на «верхи».

Всю правду... Нет, всю правду о войне может сказать только народ. Одному художнику, даже самому великому, будь то хоть Лев Толстой, дано сказать лишь малую толику ее. Была бы толика эта своей, незаемной, незамутненной.

Он перелистывал страницы своего большого интервью «Перед новой работой» журналу «Вопросы литературы». Заманчивой показалась возможность «остановиться, оглянуться» между двух больших работ.

Рассуждения о поиске композиции, о трех началах, о типе современного романа. Роман семьи, роман судьбы, роман события. О том, что будто бы от правильного выбора типа романа и зависит его успех.

Так ли это? — спрашивал он теперь себя.

Есть лишь два типа романа. Роман-правда и роман-неправда. Все остальные различия имеют значение лишь для преподавателей литературы да педантов-критиков.

С мыслью о правде он писал «Живых и мертвых». Но многого, что знает сегодня, после XXII съезда партии, он не знал еще и тогда, хотя позади уже был судьбоносный двадцатый. Знал, не знал — это даже не то слово. Просто не представлял себе, не имел инструмента, которым можно было бы измерить всю глубину той пропасти, к которой Сталин подвел страну и народ перед самой войной. Не заглянув в нее, не охватишь и величия подвига народного.

Может быть, Гроссман заглянул?

Говорили, что он написал письмо Хрущеву. Это было логично. Что, в конце концов, могло быть в романе такого, что не разоблачено с трибуны съезда?

Позднее стало известно, что по поручению Первого секретаря писателя пригласил к себе Суслов. Попоил чайком, сказал: такую книгу только лет через триста можно будет издать.

К.М. сам недавно продиктовал в письме адмиралу Исакову, над мемуарами которого шефствовал: «Все еще неизвестно, как об этом писать. Я тоже не знаю и не уверен бываю, когда думаю об этом, до чего можно дотрагиваться, а до чего еще невозможно, учитывая все, что происходит в мире...»

Перечитал письмо, прежде чем отдать Нине Павловне для отправки, и задумался. Кажется, нечто подобное уже приходило ему в голову, нет, не ему, К.М., — Военкору, без малого два десятка лет назад, когда в 43-м он взял и вынул в последнюю минуту из «Дней и ночей» главу с воспоминаниями капитана Сабурова о его друге Соломине, сгинувшем в 1938 году. Нина Павловна по его просьбе разыскала этот заботливо спрятанный в свое время кусок рукописи. Без всякой правки он дал его перепечатать. Готовился к выходу 27-й том «Литературного наследства», посвященный советской литературе в период Великой Отечественной войны, и он решил послать отрывок туда со своими комментариями.

Впился в эти страницы, глазам своим не верил. Если бы не лежащий рядом оригинал, он бы и сам, пожалуй, усомнился, что они были написаны в 1943 году, что они вообще могли быть написаны. Именно им, тогдашним.

Его Соломин рассуждал не про себя, вслух: «Оказалось, много гадов кругом, но не вышибить у меня из сердца того, что под эту гребенку сейчас еще больше хороших людей чешут. Есть гады, но почему за это должен садиться сосед по квартире, я этого не понимаю и не пойму...»

Соломин рассказывает Сабурову — одна история за другой, — как исключают из партии и сажают ни в чем не повинных людей, среди которых и близкие ему люди. «И вот его исключили, идет собрание, а я не могу в его защиту слова сказать, потому что если скажу, за это меня самого исключат...»

Однажды попробовал и ходит теперь со строгим партийным выговором.

Но и строгачом дело не кончилось. «Когда однажды Соломин не вернулся домой (его арестовали по дороге с работы) и на следующий день было собрание партийное... Сабурова спросили, он ответил, что не понимает, почему мог быть арестован Соломин... И на вопрос председателя, желавшего дать ему выпутаться, что он подразумевает под своими словами, он, Сабуров, повторил слово в слово только что сказанное...»

Не без горькой иронии подумал, что будь на месте Сабурова живой человек, реальная личность, он, несомненно, угодил бы туда же, куда исчез и Соломин. Сабурову было легче. Он был всего лишь литературным героем. И он был ну-

жен ему, Симонову, живым и свободным, иначе не было бы и повести «Дни и ночи». В той неопубликованной главе его лишь переводят на другое место работы. Сплавляют, проще говоря. Вскоре он даже встречается с освобожденным Соломиным, который, как подтвердилось, был арестован по недоразумению.

Концовка — сугубо облегченная, размышлял он теперь. Явное свидетельство того, что он подумывал все-таки тогда включить этот кусок в общее повествование. Почему же не включил?

«Почему же я тогда не включил этот кусок в «Дни и ночи»? Для этого было много причин...» Перечисляя их в диктофон — спешка, размеры повести и без того уж непомерные — истинную причину он все-таки не назвал. Она самая простая. Он побоялся. И не в том даже дело, что побоялся. Просто понимал всю невозможность предложить это для печати. Всю бессмысленность такого, гипотетически представимого все-таки, поступка. Видел его необратимые последствия. Он-то как раз, в отличие от Сабурова, был не вымышленным персонажем, а реальным человеком, и для него история вряд ли заготовила бы счастливый конец.

Опасался последствий, и обоснованно. Считал нереальным предлагать, вот и не предложил. Не положил голову на плаху.

К.М. взял томик с повестью в руки. Его первая повесть. И поныне — его любимая вещь. Как бы она выиграла, в случае...

По английскому законодательству, человек, свидетельствуя в суде, клянется на библии, что будет говорить правду, только правду, всю правду.

Отстукивая на машинке в том страшном и славном сорок третьем «Дни и ночи», он писал правду и только правду. Он и сегодня мог смело взглянуть ей в глаза. Все, о чем рассказано, что случилось с капитаном Сабуровым, с медсестрою Аней — все так и было. Боль, подвиг, страдания, отчаяние, любовь, смерть, самоотвержение и трусость... Ему и сегодня не казалось вычурным или претенциозным посвящение: «Памяти погибших за Сталинград».

Два из трех обязательных условий были им соблюдены. Третье — нет. Вот оно, третье условие, лежит в запечатанном, но не отправленном еще конверте. В необычайной, пронзительной простоте встал перед ним вопрос: можно ли правду резать на куски, как колбасу, например? От колбасы сколько ни отрезай, оставшаяся часть будет того же вкуса и запаха, что весь кусок. А правда? Вот этот отрывок. Всего-то десяток-другой страниц. Двадцатая, если не тридцатая, часть повести. Какая это часть правды? И каковы они сегодня, без этой одной двадцатой или одной тридцатой, вкус и запах всего куска?

У него были и другие поводы рассуждать об этом. Один из них, в виде письма Василия Ажаева, лежал сейчас перед ним.

Готовился к переизданию роман «Далеко от Москвы», и Василий Николаевич просил о предисловии. Естественная, логичная просьба, тем более, что в письме он возвращался к памятной им обоим полосе работы над рукописью романа, пришедшей в «Новый мир» от никому тогда не известного автора с Дальнего Востока. В 1948 году. Ажаев прислал ее в «Новый мир», упомянув, что роман уже был однажды опубликован. В журнале «Дальний Восток», который выходил так редко и столь крошечным тиражом, что его можно было не брать в расчет. Над вещью, если ее публиковать, надо было, по дружному убеждению всей редколлегии, еще много работать. Работать хотелось. У К.М. у самого чесались руки. Уж больно свежо, непривычно, ярко все написано. И как раз то, что нужно. Героический труд советских людей в самую первую и самую лихую

годину войны. Подвиг в тылу, на трудовом фронте — это, как справедливо отмечалось и во многих партийных документах, была та страница великой битвы с фашизмом, которая еще не развернута с необходимой силой в литературе.

Вопрос был не в том, согласится ли автор на доработку — легко можно было предположить, что согласится: «Новый мир» все-таки... Но потянет ли? Не переписывать же за него.

Вызвали Ажаева с Дальнего Востока. Он сразу же рассеял все сомнения. Умный, твердый, интеллигентный человек, явно изголодавшийся по общению с людьми того цеха, к которому только теперь, на четвертом десятке, сподобило его приобщиться... Замечания схватывал на лету, впитывал их как губка и работал над рукописью с веселым остервенением. Шел, верный признак творческой личности, гораздо дальше того, на что ему указывали. Не мелочился, вымарывал огромные куски, писал новые главы, в которых даже самым занозистым словоманам не к чему было придраться. Словом, к породе тех ильфо-петровских героев, которые все время кричат — курсив мой, курсив мой, его не отнесешь. Он мог и упереться, и тогда уж его с места не сдвинешь, что не убавляло, а наоборот, лишь прибавляло к нему уважения.

И ни с чем другим не сравнимым удовольствием для Константина Михайловича было лицезреть, как буквально в одночасье, в одно прекрасное утро родилась знаменитость. Просто-таки как в сказке, по щучьему веленью, по моему хотенью...

Трудно назвать что-то из появившегося тогда в литературе, что могло тягаться по популярности с «Далеко от Москвы». Даже «Кавалеру Золотой звезды» Бабаевскому это было не под силу.

Константин Михайлович с добродушной улыбкой мастера-наставника наблюдал, как рожденный его журналом автор управлялся с нахлынувшей на него славой. Справлялся, надо заметить, весьма достойно.

Всеобщее ликование царило и в журнале. Теперь уж и не вспомнить, возникла или не возникала тогда мысль об истинных прототипах ажаевских героев.

Всем была известна судьба самого Ажаева, его прошлое. Мысль о том, что публикация романа в «Новом мире» будет хоть и частичной, но компенсацией тех горестей, которые выпали на его, лагерника, долю явно вследствие роковой ошибки органов, витала в редакции. Разговора напрямую об этом тогда не заходило и не могло зайти. Догадок о том, что за картиной, нарисованной обаятельным автором, может стоять какая-то другая действительность, не возникало. Хотя о том, что на Дальнем Востоке имеются лагеря, и в немалом количестве, было, ясное дело, известно. Дальстрой. Он видел, кстати говоря, такие лагеря и в Монголии еще в пору Халхин-Гола. Однако, как представлялось ему тогда, лагеря — это одно, а нормальная жизнь нормальных людей — это другое.

Лавина откровений после двадцатого съезда многое расставила на свои места. Но с романом Ажаева все это как-то специально не связывалось. Возможно, потому, что он давно вышел из поля его зрения.

После «Далеко от Москвы» Ажаев практически ничего серьезного не опубликовал, так, несколько рассказов, но имя его продолжало фигурировать во всех литературных обоймах, докладах и обзорных статьях. В раннюю послевоенную пору именитый, увенчанный званием лауреата автор одного произведения был довольно распространенной фигурой.

К тому же Ажаев, как и многие подобные авторы, активно включился в организационные заботы писательского Союза. В отличие от иных коллег был

доброжелателен, независтлив, эффективен, в результате чего на каком-то этапе, не без его, Симонова, руки стал рабочим секретарем союза. У К.М. не раз появлялась мысль, что на этом посту Василий Николаевич ведет дело так, как вел его он сам, когда еще находился «у руля».

Теперь, получив письмо, К.М. поинтересовался у друзей, чем занимается сейчас Ажаев. Как сформулировал всегда щеголявший едкими афоризмами Саша Кривицкий, Вася просто переписывает свой роман заново, переводит его, так сказать, из позитива в негатив.

На поверку оказалось не совсем так. Новый герой Ажаева девятнадцатилетний Митя Промыслов, оказавшийся еще в 1934 году в Бутырке, а потом в «вагонзаке», т.е. в двигающемся на восток эшелоне для заключенных, к концу этого кошмарного, апокалипсического путешествия, как и к концу романа, лишь добирается до тех самых мест, где его героические современники, если верить «Далеко от Москвы», с таким энтузиазмом будут строить в войну стратегически важный нефтепровод. Но становится ясно, что эти героические современники, эти самоотверженные советские люди прибыли на Дальний Восток тем же эшелоном, а многие, быть может, и тем же вагоном, что Митя. Вот такое дело...

Как к этому относиться? Странно было бы делать вид, что это для тебя полный сюрприз. Кто поверит, что в свое время ты не то чтобы не подозревал, но просто не задумывался о существовании второго, страшного фона, который теперь-то и выходит на первый план. Ему, Симонову, теперь в самую пору было бы не предисловия писать, а обвинения предъявлять Ажаеву в том, что он ввел в ужасное заблуждение и его, и редакцию, и своих многомиллионных читателей. Многие, в том числе и знакомые ему люди, даже близкие, именно так на его месте и поступили бы. А кое-кто уже и поступил, — пока, правда, не публично, а методом недомолвок и перешептываний, которые и до него, и до Ажаева наверняка уже дошли.

Нет, для него Василий Ажаев теперь стал еще дороже, ближе и понятнее. И все же... Все же было бы нелепо, неприлично писать предисловие или послесловие к «Далеко от Москвы» так, как будто ты не ведаешь о существовании «Вагона» и этой стыдной связи между ними. Конечно, «Вагон» еще не опубликован, и бог весть когда будет опубликован, так что говорить о неизвестном пока читателю романе тоже, согласитесь, абсурдно. Он уже диктовал на пленку ответ Ажаеву. Признался, нимало не кривя душой, что по-прежнему любит его первый и пока единственно известный читателю роман, «но вот сегодня целый день бился над этим послесловием и так и не написал его, и в конце концов понял, что написать его не смогу. Причина — Ваш «Вагон». ...Если понадобится написать послесловие или предисловие к «Вагону», я непременно скажу и о «Далеко от Москвы», и скажу с глубоким уважением к Вам, как к писателю и человеку, вопреки всем и всяческим появившимся уже суждениям... Я знаю, что сказать о «Далеко от Москвы» в связи с Вашим новым романом и в какую связь поставить обе эти вещи, которые обе считаю двумя главными поступками Вашей писательской жизни...».

Человек слова, когда подошло время, он сел и написал предисловие к «Вагону». Рассказав об истории появления «Далеко от Москвы» в «Новом мире», как и обещал, подробно расшифровал фразу из собственного письма: «Я знаю, в какую связь поставить обе эти вещи...»

Трудно было найти оправдание Ажаеву, даже принимая во внимание весь его мученический путь из студентов в зэки, из зэков в литературу. Но К.М. был абсолютно искренен в своих поисках. Нашел.

Залогом его искренности был его собственный, прожитый литературный и человеческий путь. Верный принципу «Иду на вы», он сформулировал в предисловии вопросы, на которые ему предстояло ответить: как же это так можно было написать о лагерном строительстве времен войны, изобразив его как нелагерное?.. А коль скоро это так, коль строительство было действительно лагерное, «может возникнуть вопрос, почему в романе не было рассказано всей правды о характере строительства?»

Коротко ответил: у всякого человека, который помнит те времена, просто не может возникнуть такой вопрос. Не мог — и в этом суть.

Возникал, однако, и другой вопрос, который тоже вправе задать читатель: зачем, зная, что ему не удастся рассказать всю правду об обстановке и характере строительства, Ажаев все-таки написал свой роман? На это ответить было всего труднее. Мысль о том, что его можно было бы отнести и к его творчеству тоже, доставила ему боль. Неумолимый закон самопознания.

Вслед за Ажаевым подумалось о Казакевиче.

Сталин при обсуждении в Кремле «Весны на Одере» удивленно спросил, а почему, мол, «нет в романе маршала Жукова, почему не видно командующего фронтом? Показан Рокоссовский, показан Конев, но главным фронтом на Одере командовал Жуков. Есть в романе член военного совета Сизокрылов, который делает то, что должен делать командующий, заменяет его по всем вопросам. И получается пропуск, нет Жукова, как будто его и не было. Это неправильно».

В фадеевском кабинете, где Симонов разговаривал на эту тему с Казакевичем — почему-то Сталин именно ему это поручил, — тот скрипел зубами, охал и матерился. Вспоминая вслух эпизоды так называемой редакционной работы над романом, рассказывал, как его мытарили, заставляли убрать не только фамилию Жукова, но и должность командующего... К.М. искренне сочувствовал, не зная, как помочь Казакевичу — роман-то уже вышел в журнале и в издательствах. Как и автор, злился на редакторов, на чертей-главпуровцев, но не подумал тогда о вине самого Казакевича, о том, что ведь если нельзя настоять на своем, можно просто не отдавать вещь в печать. На одной чаше весов лежал риск не получить еще одну Сталинскую премию — теперь он ее все же получил, на другой — репутация такого человека, как Жуков. Его, автора «Звезды», репутация.

А собственная, пресловутая «Чужая тень», сляпанная на основе нескольких листочков, которые Сталин держал в руках во время очередной встречи с писательской верхушкой? «Добирая материал для пьесы», он и не подумал перепроверить обвинения в адрес ученых, лишь постарался «вжиться в тему», освоиться с незнакомой ему терминологией. Даже выехал «на натуру», в родной свой Саратов. Позорище!..

...В годы моего студенчества существовал такой журнал — «Молодой большевик», и почему-то напечататься в нем было заветной мечтой каждого из нас на факультете журналистики МГУ. Удалось это первому мне. И начиналось все прекрасно. Журнал — это тебе не газета, рассуждал один мой приятель-сокурсник. В газете напишут твою фамилию один раз, да еще внизу, и вместо полного имени — инициал, и привет. А в журнале сверху, полностью и несколько раз. Перелистнул страницу: слева — название, справа — имя. Глазки — лапки. Перевернул еще раз — снова глазки — лапки...

Командировочное удостоверение — на Кубань, в Курганинский район, было напечатано на твердой атласной бумаге. Название журнала выведено на нем ве-

селящим душу красным цветом, перед которым, как я скоро убедился, не могли устоять ни кассирши железнодорожных вокзалов, ни администраторши в гостиницах.

Героя моего ожидаемого очерка мне назвали в редакции — Михаил Салмин, секретарь комсомольской организации колхоза. Передового. О других очерков тогда не писали. С Михаилом мы провели той весной несколько чудесных дней, разъезжая по бескрайним кубанским полям и весям, сначала на санях, а потом, когда вдруг резко потеплело, на его «бедарке». Мокли вместе, мерзли вместе и согревались вместе чем придется, в основном самогоном. Ночевали, где выпадет.

Расстались мы с ним просто братьями, но когда я вернулся в Москву, заведующий отделом, который посылал меня, сказал, отводя мою руку со стопкой листков, что о Михаиле писать нельзя.

Я просто остолбенел:

— Но вы же сами мне назвали адрес и фамилию. И еще говорили, что по согласованию.

— Вот именно там, где мы согласовывали, нам теперь и сказали, что нельзя, — ответствовал журнальный босс, словно дивясь моему непониманию. — Родственника у него забрали, — добавил он нехотя. — То ли проворовался, то ли брякнул что-то не то...

И замолчал, словно спохватившись, что и так сказал лишнего.

— И о колхозе нельзя? — задал я вопрос, за который и по сей день корю себя.

— Почему нельзя? — оживился зав. — Про колхоз можно. Он на всю страну знаменитый. Ты же не с одним Салминым там виделся.

Короче говоря, написал я новый очерк. Да если бы новый. Просто отнес все, что касалось колхозного комсорга, к бригадному, у которого мы провели два дня «на бригаде». Благо он тоже мне показался.

Очерк в журнале понравился. Заведующий, когда я снова явился к нему, одобрил его с таким видом, словно того разговора вовсе и не было.

Пока очерк «шел», главное было в том, чтобы он появился. Весь мир, вся жизнь казались мне тогда поделенными на две части — до появления очерка и после.

А когда экземпляр журнала в одно прекрасное время оказался у меня в руках, тонкая тетрадочка в шершавой желтой обложечке, я обнаружил, что никакой радости не испытываю. Меня поздравляли, я благодарил, смущался, а про себя, холодея животом, все отсчитывал дни, когда журнал дойдет до Краснодара, а там и до станицы Курганинской. Сначала был страх. Вот-вот придет в журнал письмо от Михаила. Потом все сильнее заговорила совесть. Я уже хотел, чтобы письмо пришло и дало бы мне возможность покаяться, излить душу. Но письма не было. А когда несколькими годами позже я уже корреспондентом «Комсомольской правда» наведался в станицу, Михаил, к тому времени уже бригадир, сначала попробовал вообще отказаться от встречи, а когда это ему не удалось, категорически дал понять, что не намерен обсуждать мои душевные муки. Так я и остался не прощенным. И поделом.

Несопоставимо по масштабам? Но я не мог не маяться моей собственной виной, перелистывая страницы «Всего сделанного», посвященные драме Ажаева, Казакевича и самого К.М.

А Фадеев? — продолжал размышлять он. — Сначала написал одну «Молодую гвардию», потом другую... Какая же из них была правдой? Существовало пар-

тийное руководство комсомольской подпольной организацией или его все же не было? И оно было сначала придумано Сталиным как долженствующее быть, а потом это «должное» было талантливо воплощено Фадеевым. Так талантливо, что Симонов первым в «Правде» поздравил Сашу с творческой победой... Справедливости ради, надо признать, что во второй раз подобный номер с Сашей не прошел. Когда он понял, что подброшенная ему история с «историческим» открытием в области металлургии — липа, он бросил на полудороге новый роман, которому уже сулили великое будущее.

Как же все-таки ответить на этот проклятый вопрос: зная, что не можешь сказать правду, всей правды, зачем ты все-таки пишешь и зачем отдаешь печатать?

С ним такого уже не будет никогда! Но в Ажаева он не мог бросить камень. Не ему, «счастливчику», кидать камень в бывшего зэка. Он позвал Нину Павловну, продиктовал: «Видимо, тут могут родиться разные ответы, но если бы этот вопрос задали мне, я бы ответил на него, по своему разумению, так: «Очевидно, Ажаев испытывал глубокую внутреннюю потребность в той или иной форме все-таки написать о том, чему он был участником и свидетелем, о людях, которые тогда, в военные годы, построив нефтепровод, совершили, казалось бы, невозможное. В этой книге он и о заключенных сказал как о свободных людях, как о советских гражданах, которые в нечеловеческих условиях внесли свой собственный вклад в победу над фашизмом. И сделал это... желая своим романом поставить памятник их усилиям, их мужеству, их преданности Родине».

Вот как получается: он только что поклялся никогда больше не кривить душой и опять слукавил. Неправда заключалась не в том, что он приписывал Ажаеву иные, чем им двигали, мотивы... Лукавство состояло в том, будто бы сегодня это можно как-то оправдать. В глубине души он не оправдывал ни Ажаева, ни Казакевича, ни Фадеева, ни самого себя. Но если это и была ложь — только что продиктованное им, — то ложь во спасение, во спасение человека, у которого ничего другого не оставалось в жизни, кроме тюрьмы, лагеря, ссылки и этих двух романов.

По злой иронии судьбы Василий Ажаев целые десятилетия оставался в представлении читателя автором одного романа, того, что принес ему сначала славу и почет, а потом презрение окружающих и угрызения совести, от чего он, наверное, и умер так рано... Второму его роману, открывшему правду, суждено было пролежать вместе с предисловием Константина Симонова в журнале «Дружба народов» четверть века — не по вине редколлегии, конечно.

Они были опубликованы в 1988 году — роман и предисловие к нему, когда обоих авторов уже не было в живых. И промелькнули незаметно на фоне слепящей правды, той, что уже поведали нам Василий Гроссман, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Лидия Чуковская, Евгений Гинзбург, которые никогда не были лжесвидетелями.

Можно ли наказать писателя больше, чем наказан за свой грех Василий Ажаев? Он при жизни искупил вину, но ему не позволили поведать об этом людям.

...Его роман «Солдатами не рождаются» появился на сломе времен. Первая часть — в последних номерах «Знамени» за 1963 год. Вторая — в конце 1964-м. Публикация завершалась в новую эру — после октябрьского 1964 года пленума ЦК КПСС.

Еще ничего нигде не говорилось больше того, что можно было прочитать в сообщении о пленуме. Еще никто не рисковал публично расшифровывать фор-

мулу «в связи с уходом на пенсию по состоянию здоровья», хотя никто в нее не верил. Каждый расшифровывал ее наедине с собой. Задачка не из легких. Не хотелось бросать задним числом камень в старого человека, у которого столько поистине исторических заслуг перед страною и народом. Но и того нельзя не признать, что последние годы груз ошибок и промахов того же самого свойства, против которых Хрущев и поднял меч в начале своего «великого десятилетия», все более тянул чашу весов вниз. Подумалось о написанном и отправленном в издательство за три месяца до случившегося — в июле того же года письме. Это была «внутренняя рецензия» на коллективный труд — мемуары группы авторов, ветеранов войны, бывших командиров и рядовых Юго-Западного фронта, членом военного совета которого был Хрущев. К.М. отдал должное заслугам Никиты Сергеевича, подтвердил, что его знали и даже любили в войсках, но в то же время предостерег от преувеличения его роли в Великой Отечественной войне, тем более, что в этом нет никакой необходимости: заслуги Хрущева на войне, истинные, а не мнимые, хорошо известны. «Производит только неприятное впечатление навязчивое стремление упомянуть о Хрущеве к месту и не к месту. Мне кажется, что авторы в данном случае делают одному из героев своих воспоминаний медвежью услугу».

Был, был у него и личный счет к Н.С.! Прежде он не давал себе воли подумать об этом. Нахлынуло, выплеснулось то, что лишало покоя все эти годы.

Обидно и больно, что в глазах Хрущева он с самого начала стоял как бы по другую сторону баррикад. Тот считал его человеком из стана процветавших при Сталине и «кадивших». А позднее — перекрасившихся.

Во времена Сталина человека преследовал страх. При Хрущеве страх исчез. Тем нестерпимее жгло чувство одиночества, отъединенности от главного и светлого, что происходило в стране... Не потому ли, когда начал Никита спотыкаться, давать сбои, появлялось, помимо воли, злорадство. К.М. ловил себя на том, что не будь этого личного мотива, он судил бы о причудах Никиты добрее, объективнее, с большим пониманием и сочувствием. Но Хрущев находился высоко и далеко, у него свои советчики, фавориты, сонм подлипал, которые подхватывали любое шевеление его руководящего перста. К.М., положа руку на сердце, не видел особых причин сочувствовать зарвавшемуся лидеру.

Другое дело теперь. Теперь речь шла уже не о личностях и не о личном. Хорош ли, плох ли Хрущев, велик он или смешон, но это именно ему и никому больше было уготовано историей совершить сравнимый, быть может, только с самой Октябрьской революцией поворот в политике партии и государства, а вместе с тем и в наших умах и душах. Теперь он ушел, точнее его ушли, и треба разжуваты, какая же все-таки во всем этом собака зарыта. И, пожалуй, не стоит спешить с выводами. Вот когда К.М. вновь ощутил преимущества своего бесхозного положения, о которых столько уже лет распространялся вслух и письменно. Ему не надо было теперь ничего организовывать, ничего одобрять, принимать, никого ни в чем заверять. Существовала опасность, что попросят откликнуться в «Литературке», а то и в «Правде», где он по возвращении из Узбекистана все еще числился спецкором. Не откладывая в долгий ящик, он написал в «Правду» письмо с просьбой снять его с «вещевого довольствия», поскольку каждодневной отдачи, как в Средней Азии, от него теперь уже нет и не может быть... Одновременно дал распоряжение Нине Павловне и своему секретарю по юридическим вопросам Келлерману и всем близким на все «подозрительные» звонки отвечать, что его нету. Нету и все. На отдыхе, в «подполье»

за работой над следующим романом, где угодно, но вне пределов досягаемости. Хватит, наотвечался...

Он сидел на даче в Красной Пахре, один — всех близких отослал в Москву — и думал. К себе допускал только Нину Павловну и то в качестве курьера: она привозила из Москвы почту. Он с жадностью набрасывался на газеты.

Первое побуждение, давний, сидящий уже, кажется, в крови рефлекс — принять всерьез, поверить. Не тому, что старый джентльмен сам попросился на пенсию по состоянию здоровья. Те, кто сочинял этот «некролог», то бишь сообщение о пленуме, вряд ли рассчитывали на то, что им кто-нибудь поверит. Наоборот, на то как раз и рассчитывали, что именно не поверят.

Поверить хотелось в другое. В то, что речь идет лишь о выправлении курса, заявленного XX съездом, об очищении его от всего наносного, от волюнтаризма — удачное слово! — который действительно вставал уже на пути развития страны. Хотелось поверить, что возобладает надежный, основательный, не зависящий от одной чьей-то воли, от беспрерывных колебаний и зигзагов курс. Люди устали от шараханий, от упований на какое-то очередное сверхчудесное средство, будь то кукуруза, торфоперегнойные горшочки, органическая химия или даже целина.

В какой-то момент К.М. поймал себя на том, что вроде бы уже и поверил. Усилием воли и разума прервал поток рассуждений, которые уже начинали складываться во что-то подобное первому отклику, тому, от чего он и удрал на дачу в осеннее, шумящее желтеющей и опадающей листвой одиночество. Он сказал «стоп», запретил себе делать какие-то, пусть и первоначальные, наброски.

Газеты приносили, на первый взгляд, неплохие новости. Новое руководство — Брежнев, Косыгин, — судя по скупым официальным сообщениям, действовало неторопливо, но уверенно. Отменили нелепое деление партии, вернее, ее комитетов на городские и сельские. Абсурднее этого трудно было что-нибудь вообразить! Люди насочиняли массу анекдотов по этому поводу. Ну, например: обнаружили в областном центре труп мужчины. Убийство. Проломлен череп. Заявили в милицию. Там спрашивают: «Чем убили? Если молотком — к нам относится. Если косою или серпом — идите в милицию сельского облисполкома».

Логична отмена совнархозов, особенно в национальных республиках. Вспомнилось, как прохаживался насчет Средазсовнархоза, Средазбюро и т.п. со столицей в Ташкенте обычно осторожный таджик Мирзо Турсун-заде: «Есть у нас старший брат — русский народ, хорошо. Но зачем нам еще средний брат — узбек?»

Из прессы ушло славословие. Сколько издевок на этот счет, сколько мучений, он знал, было у редакторов газет, фотокорреспондентов. Фотогеничным Никиту никак не назовешь — приходилось почем зря заниматься ретушью. Ретушь — это почти всегда накладки. То что-нибудь лишнее пририсуют, то забудут что-то затушевать. Однажды в «Советской России» Хрущев появился о двух шляпах — одна в руке, другая на голове. Суслов — и при Хрущеве высший шеф всей идеологии — созвал редакторов, тряс перед их лицами газетой и грозно вопрошал своим скрипучим голосом: «Это что у вас? Первый секретарь или шут гороховый?»

Те потом расходились и качали головами: не попало бы за такие гипотезы и самому оратору.

Брежнев на первых порах выступал редко. Если и выступал, то, как правило, на всякого рода закрытых совещаниях в ЦК, о чем в прессу попадали лишь упо-

минания. В тех редких случаях, когда Брежнева показывали по телевидению, сразу бросалось в глаза, насколько его манера произносить речи отличается от хрущевской. Он, нимало не стесняясь, не отрывался от текста, читал неторопливо и размеренно.

В хрущевские еще времена Сурков, выступая в Кремле на очередном идеологическом совещании, живописно обрисовал два типа ораторов. Первого уподобил петуху: клюнет зерно, поднимет голову, проглотит, опять клюнет... Второй тип, по его словам, подобен лошади: как сунет морду в кормушку, так и не выглядывает оттуда, пока все начисто не сжует... Зал покатывался со смеху, когда следующий за Сурковым оратор, привыкший читать, что ему напишут, то пытался оторваться от текста, то снова нырял в него, в результате чего получалось что-то среднее между петухом и лошадью. Даже председательствовавшему секретарю ЦК Ильичеву, с его автократической манерой ведения собраний, нелегко удавалось восстановить порядок в аудитории.

Что касается манеры Брежнева, то К.М. не спешил делать по этому поводу какие-либо выводы. Можно было объяснить его строгую и несколько бесцветную манеру говорить чувством ответственности, желанием любым способом подчеркнуть вновь подтвержденный пленумом принцип коллективности руководства. Может, сказывалась еще неопытность — как ни высоки были все предыдущие посты, Первый секретарь, «номер один» в СССР — это гигантский качественный скачок. Может, все проще — ординарная личность? Недаром шла молва: Брежнев — фигура проходная, временная, и скоро его заменит Шелепин.

Кроме двух-трех дежурных встреч в Казахстане, на целине, Симонову не приходилось вплотную сталкиваться с Брежневым. У него раньше не было повода, да, собственно, и потребности разобраться, что скрывается за явной неброскостью нового руководителя партии.

Он не раз размышлял над таким парадоксом: при Сталине и после войны головы летели и с секретарей ЦК, и с членов политбюро — вспомнить хотя бы Вознесенского или Кузнецова. Тем не менее фигуры, окружавшие «отца родного», пользовались немалой популярностью, имели биографию, даже имидж — те же Молотов, Каганович, Ворошилов, Буденный. При Хрущеве, особенно после разгона антипартийной группировки, все вокруг, кроме разве вечного Микояна, стали выглядеть статистами. Появлялись на миг на авансцене истории и уходили в небытие какие-то Кириченки, Сабуровы, Первухины, Поляковы, Беляевы, Титовы и иже с ними. Брежнев представлялся ему одним из них. Тогда. А теперь?

Безусловно, импонировало К.М. в новых руководителях их демонстративное, подчеркнутое уважение к ветеранам, к памяти героев и жертв Великой Отечественной. Было объявлено о подготовке к празднованию двадцатилетия Победы.

Странно, но Хрущев, который сам отстоял вахту войны от звонка до звонка, последние годы стал относиться к ее событиям и участникам, живым и мертвым, с каким-то нарочитым и от того еще более обидным пренебрежением. Может, борьба за мир и разоружение не укладывались в его сознании с воспоминаниями о великих битвах, прославлением победителей? То ли причиной тут — его отношение к Жукову, которого, как раньше Сталин, Хрущев неожиданно для всех отправил в почетную ссылку, посадил, по существу, под домашний арест. Говорить о войне — значит говорить о Жукове... О нем да еще о Сталине, тут уж никуда не денешься...

В «Литературке» появилась статья Сергея Сергеевича Смирнова, где он открыто выложил все, что наболело у миллионов: о бедственном положении большинства ветеранов и инвалидов, о нищенских их пенсиях. О том, что перестало быть праздником и просто выходным днем Девятое мая, что запущена работа по розыску без вести пропавших. Что само это выражение «без вести пропавший» до сих пор — источник унижений, бедствий духовных и материальных для десятков и сотен тысяч людей. Написал Смирнов о пренебрежении к памятникам погибшим. К.М. в свое время тоже приходилось говорить и писать об этом — бессчетное число раз. Все как в прорву.

Статья Смирнова оказалась, как яичко к Христову дню. Она родила целое народное движение, и К.М. включился в него от всей души. Посыпались заявки на выступления устные и письменные, участились телефонные звонки, в том числе и сверху, оградить от которых его не могла даже Нина Павловна. Очередной раз его отшельничество как-то само собой сошло на нет, и он уже не сожалел об этом.

Апрель–май прошли, как во сне. Волнующие, неповторимые события и встречи, речи, письма, манифестации... Самым знаменательным было появление маршала Жукова во всем блеске звезд, лент и орденов в Кремлевском дворце съездов, в президиуме торжественного заседания, посвященного двадцатилетию великой Победы. Как встал тогда зал в едином порыве, как аплодировал! Это транслировалось напрямую на всю страну, на весь мир. Славя своего маршала, поклонившись своему герою, люди раскрывались навстречу лучшему, что целомудренно хранили в себе, укрывая от недобрых глаз.

В докладе Брежнев упомянул Сталина, и правильно, что упомянул. Это было бы неправдой обойти его несомненные заслуги в годы Отечественной. Но аплодисменты — не такая, конечно, лавина, как в честь Жукова, но все же заметные, даже вызывающие, — встревожили.

Вскоре он получил возможность убедиться, что аплодисменты услышаны не только в залах Кремлевского дворца съездов. В «Совписе» шло первое книжное, после журнального, издание его «Солдатами не рождаются».

В этом издательстве все — от вахтера до главного редактора — его старые знакомые. Здесь помнили еще те времена, когда он был «большим начальником» в Союзе писателей. Здесь не кривили перед ним душой. Если и «придирались», то всегда давали понять, что это не от себя, прозрачно намекали, откуда что идет. Правда, когда здесь выходили первым изданием «Живые и мертвые», редактора иногда «вопросили» текст по собственному разумению. И ему приходилось всерьез доказывать, что нельзя, как они того хотели бы, вообще выбросить имя Сталина из книги, обойтись без него. И Синцова или Серпилина нельзя заставить думать о Сталине так, как мы теперь с вами думаем. Вот погодите, принесу вам следующую часть трилогии, дойдет дело до сорок третьего, сорок четвертого года.

Время пришло. Он принес им «Солдатами не рождаются». И опять рядом с каждым упоминанием о Сталине — вопрос, только теперь уж совсем с другим, противоположным значением. И лица у редакторш, умных, толковых, все понимающих теток, совсем другие. Потупленные или, наоборот, возведенные горе очи, пожимание плечами, разведение рук — давно знакомый и безошибочно прочитываемый язык жестов. Мол, не от нас зависит, не нами придумано. А кем же? Зав. отделом? Снисходительные улыбки. Главный редактор, директор издательства? Задумчивое покачивание головами, что означает — бери выше.

Возник разговор вокруг того куска, который ему дороже всего в романе. Вызов Серпилина в Москву, к Сталину, их беседа о репрессированном Гриньке, недовольство Сталина и смятение Серпилина. Тяжкие откровения Ивана Алексеевича. Этими страницами он отвечал на вопросы своих читателей. И хотя оппонентов у него после журнальной публикации романа не поубавилось, он чувствовал, что попал в точку. Он был искренен, когда писал эти строки, и люди поверили в его искренность — независимо от того, согласны они с ним или нет.

Нет, теперь он не поправит здесь ни строки, не тронет ни одной запятой, пусть даже придется для этого дойти до самого верха. В конце концов, он еще не забыл дорогу туда, и путь ему туда не заказан.

Так и сказал в издательстве — без моего согласия не менять ни слова. Хотите — печатайте так, не хотите — останавливайте производство, несите убытки. Только уж расплачивается за них пусть тот, кто даст такое указание. Он лично не намерен платить за чужие страхи и благоглупости.

Его твердость принесла плоды. Ему позвонили из издательства и сказали, что замечания снимаются. Попросили зайти и подписать верстку в печать. При встрече редакторши туманно, не без торжества, намекали, что, мол, вопрос решался «на самом верху». К.М. заговорщически ухмыльнулся. Вслух сказал, что его это не касается. Ему важно, чтобы книга вышла в его, а не в чьем-то еще варианте. До остального ему дела нет.

На самом деле ему было небезразлично, при чьем непосредственном участии решался этот частный, но весьма принципиальный вопрос.

Случившееся настраивало на оптимистический лад. Захотелось подумать об этом вслух. В его кабинете на даче вновь появилась со своей тетрадкой Нина Павловна. Заметки он назвал просто «Год нынешний и год минувший».

«Мне кажется, что самое главное и самое важное — это решительное всеобщее желание, подкрепленное решительными действиями, изменить тот нездоровый климат, в котором не только гнили на корню хлеба, но все чаще начинали подгнивать души. Ибо атмосфера, в которой желаемое все чаще начинает выдаваться за действительное, есть атмосфера, способствующая загниванию душ — в той же мере, как накопление застойных явлений в хозяйстве...»

Нина Павловна по его просьбе перечитала абзац вслух. Сказано правильно. Но это, по существу, переложение на более публицистический лад того, что прозвучало уже в официальных документах и в передовых. Если уж начал, договаривай до конца.

«Я не хочу задним числом бросать камень в старого, имеющего в прошлом немалые заслуги перед страной человека, но в то же время, вспоминая недавние годы, я не могу не сказать, что человек, главным пафосом деятельности которого стало постепенно стремление выдавать желаемое за действительное, не мог оставаться у руководства страной, которая может и хочет идти вперед, не закрывая глаза на правду, в том числе и горькую...»

Развивая эти мысли, он порадовался тем первым новациям, которые уже произошли и еще произойдут в жизни страны. Особый акцент сделал на переменах в настроении людей, в духовной атмосфере общества. Тому свидетельство — печать. Газетчики стали резче, бескомпромиссней критиковать недостатки, слабости, изъяны нашей жизни. Взять хотя бы нашумевшую статью Аркадия Сахнина в «Комсомолке» о Солянике. Ужасные факты. На поверхности — славная флотилия и человек — Герой Труда во главе ее. На деле — чуть ли не неволь-

ничьи корабли. Плавучие тюрьмы. Издевательство над людьми, хищническое истребление ценнейших животных. Обман государства. Соляник — человек, в какой-то мере соединивший в себе черты Сталина и Хрущева: деспот и демагог. Тиран и рубаха-парень. Не культ, а культик, культяпка личности... Хорошо показана механика формирования такого рода деятелей.

Перечитал отпечатанный Ниной Павловной текст. Все правильно. Но зачем все это? И для кого? Нет, не в смысле органа печати — тут проблем бы не возникло. Для какого читателя? Не для руководящего ли? Того, от которого зависит, например, дать ему, Симонову, журнал или какое-нибудь другое дело, которое из кустаря-одиночки — как любит выражаться рвущийся к власти в Союзе писателей Георгий Марков, Макеич — превратило бы его опять в организатора, горлана-главаря. Что греха таить, он уже скучал по такому делу. При Хрущеве, особенно Хрущеве последних лет, он не стал бы об этом и заикаться. Теперь, кажется, наступала пора, когда требуется послужить отечеству и на литературно-организационной ниве.

Признавшись себе в этом, он тут же ужаснулся. Что же это за сила в нем сидит, которая снова и снова втягивает его в ту же воронку? И как он будет выглядеть, если отдаст все это в печать? Судить можно по Нине Павловне. Она ни слова не сказала, пока он диктовал ей текст, тем не менее на протяжении всей диктовки каким-то одним ей свойственным способом умудрялась давать понять свое отношение.

Этот абзац о Хрущеве, о старом человеке, который в прошлом имел немалые заслуги. Начнем с того, что именно этот-то абзац непременно вычеркнут. И тут уж никакое вмешательство верха не поможет. Парадоксальная ситуация! С одной стороны, он сказал нечто такое, за что должны были бы ухватиться верхи, произнес вслух то, на что там не решались. Тайное сделал явным: не в пенсии тут дело и не в состоянии здоровья. С другой стороны, он напомнил о былых и неотъемлемых заслугах этого человека, а об этом тоже ничего не было сказано — ни в информационном сообщении о пленуме, ни позднее. Имя Хрущева начисто исчезло со страниц всех газет — консервативных, вроде той же «Савраски» или «Красной звезды», и прогрессивных, вроде «Комсомолки». В «Новом мире» Твардовского этого имени тоже не встретишь: законы Главлита для всех одни.

Так вот какие времена настают! Времена недомолвок, умолчаний, анонимности.

Оставалось подивиться тому, к каким выводам он пришел: начал за здравие, кончил за упокой.

Нина Павловна откровенно ликовала, когда он предложил ей отправить этот текст прямиком во «Все сделанное за 1965» — минуя стадию публикации.

Он вглядывался в себя, сравнивал. Раньше он ощущал какой-то дискомфорт душевный, когда обнаруживал себя в разладе с властью, в ком бы она в данный момент ни персонифицировалась. При Сталине это мог быть даже инструктор отдела пропаганды ЦК, вроде того же Маслина. Тогда никто никогда не говорил от себя. Не важно, кто передал тебе указание или замечание, кто подписал статью в «Культуре и жизни», важно, что и кто за этим стоит. Всегда и за всем в конечном счете стоял один человек. Хозяин.

При Хрущеве все сильно изменилось. У этого все на виду. Торопыга, он просто не успевал передоверить кому-то свои мысли. Чаще всего они слетали с его языка еще до того, как он их сам-то хорошенечко обдумает.

Сталин предпочитал доводить свои установки, особенно в области литературы, через ближайшее окружение. При Хрущеве окружение стремилось использовать шефа в качестве рупора собственных вкусов. Благо круг общения у него был значительно шире, чем у Сталина, он не любил уходить в тень и лаконизмом не отличался. У Сталина было — сказал, как отрезал. При Никите истина в последней инстанции становилась очевидной не сразу, к ней вели зигзаги, дорога петляла, взмывала резко в гору, стремглав уносилась вниз.

К.М. при этом нередко заносило, а то и выбрасывало в кювет. Были случаи, когда он искренне, хоть и ненадолго, верил, что вся рота идет не в ногу. Потом приходило отрезвление, осознание собственных ошибок, и в таких случаях он не скупился на покаяния, не исключая и публичные.

Его швырнуло было опять на амбразуру, да вовремя спохватился. В нем все еще сидело то, чем Пастернак отмаялся в тридцатые годы:

Хотеть в отличье от хлыща
В его существованьи кратком
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.

И заодно с правопорядком... Похоже, Пастернаку так и не удалось решить эту задачку, что-то вроде квадратуры круга. Ему, Симонову, тут повезло, кажется, больше. Ну, и кто же в конечном счете в выигрыше?

Впервые после 1956 года, когда они с Фединым, Кривицким и другими писали Пастернаку письмо и отослали ему его вместе с рукописью романа, у него шевельнулось желание перечитать «Доктора Живаго». В одной из зарубежных командировок, кажется, в США, он посмотрел фильм. Неплохой фильм. Только в нем мало что осталось от романа, кроме имен и общего антуража. Но прекрасна музыка в фильме! Он часто, без тени неловкости, признавался, что ничего не понимает в музыке. Эту не понять невозможно. Это даже и не музыка, а экстракт настроений, ностальгических движений души. Лежать на спине и, глядя широко открытыми глазами в бесконечность над тобой, плыть в прошлое. Не во вчерашнее и не в позавчерашнее, а в то, которое существовало еще до тебя и живет в тебе неслышным дыханием генов. Это прошлое было его родным отцом, российским офицером, которого он никогда не видел, потому что тот пропал без вести на германской, когда сыну не было еще и года. Прошлое было его тетками, княжнами Оболенскими, которые со своими чадами и домочадцами были сосланы в 1935 году, после убийства Кирова, из Петербурга в оренбургские степи, а потом сгинули там почти все, одна за другой. Три Леонидовны. Леониды по-гречески — поток падающих звезд, наблюдаемых осенью в созвездии Льва. Так что не роман, а фильм по нему, а главное — музыка помогли ему увидеть почти сюжетное совпадение того, что случилось с сестрами матери, с некоторыми событиями в романе. Каждая из них, особенно старшая, Людмила Леонидовна, самая красивая, могла оказаться Ларой. Не тогда ли, когда К.М. посмотрел далеко-далеко от родных краев этот фильм, в нем впервые шевельнулось что-то похожее на раскаяние?

Физически он уже вышел из анабиозного состояния, давно покинул свою комфортабельную отшельническую келью о двух этажах в Красной Пахре. Но продолжал оставаться наедине со своими думами.

Что-то мешало ему вплотную засесть за третий роман трилогии, которую он всю теперь называл «Живые и мертвые».

С Серпилиным, Синцовым, с Таней Овсянниковой он расстался во втором томе в разрушенном, но победном Сталинграде. Впереди еще была целая война. Но казалось порой, что ему уже нечего сказать об этом времени. В конце концов, кому какое дело, как сложатся судьбы его героев, если главное — исход самой войны уже предрешен.

Быть может, на это настраивали его письма читателей, приток которых с появлением новых и новых изданий «Солдатами не рождаются» снова увеличился. Он все чаще ловил себя на том, что восторги и похвалы почти не трогают, не проникают глубоко в душу, так же как комплименты в прессе. Каждый же упрек, просто неудовлетворенность глубоко ранят. Особенно если это письма фронтовиков. С разочарованием он убеждался, что описания встречи Серпилина со Сталиным, а потом разговор о ней с Иваном Алексеевичем, генштабистом, который вплоть до сталинградской катастрофы гитлеровцев встречался по службе со Сталиным чуть ли не каждый день, эти страницы, которые, по его замыслу, должны были стать нервным центром всего романа, не произвели того впечатления, на которое он рассчитывал.

Обижаться на читателей? Дуться, даже злиться можно на критику, благо она таких поводов предоставляет сколько угодно. А на читателя пенять нечего.

Выход в том, чтобы снова обратиться к прошлому, к первым дням войны и всему, что ей предшествовало. «Пройти» эти годы еще раз, если не для читателя, то для себя.

Такую возможность сулила работа, связанная с расшифровкой военных дневников. Эта мысль засела в голове в конце 1965 года, после того, как он намыкался по журналам и по издательствам со своим докладом, сделанным в канун двадцатилетия Победы. Слушали, аплодировали, восторгались, жали руку, обнимали, печатать же не дают. А это, может быть, и есть то, чего не хватает читателю в его романах. Та страшная правда, которую ему удалось, кажется, выразить в публицистической форме, но которая еще не дается ему в руки в романной. Значит, надо подождать. Дать заговорить документам.

Чертыхнувшись после очередной и окончательной неудачи с публикацией доклада, он сказал себе весело и зло: не хотят печатать двадцать пять страниц, будут иметь дело с пятьюдесятью печатными листами дневников.

Когда он извлек из архивной пыли первые свои блокноты и тетради, прочитал их и продиктовал заново Нине Павловне, прокомментировал и отнес в «Новый мир», история повторилась. Только теперь вместе с ним чертыхаться пришлось и Твардовскому. Его, К.М. «Ста дням», посвященным первым, самым страшным месяцам войны, суждено было пролежать в редакционном портфеле журнала по крайней мере десять раз по сто дней. Были гранки, была верстка, были письменные и устные рецензии историков, ветеранов войны, полководцев, не хватало пустяка — визы Главлита. Тихий, скромный, интеллигентный человек, который сидел в таком же скромном и тихом кабинете в «Новом мире» — уполномоченный этого самого Главлита, разводил руками и отсылал в Китайский проезд, штаб-квартиру, где восседала уже целая гирлянда таких человеков, которые сами тоже ничего не решали и все кивали куда-то наверх. Наверху, то есть в самом главном кабинете этого учреждения, призванного хранить государственные и иные тайны от их проникновения в печать, царил Романов Павел Константинович. Паша, как позволяли себе называть его старые

друзья, среди которых сам главный цензор, как ни странно, числил и его, Симонова. При встречах всегда называл Костей, крепко обнимал и целовал взасос. К чести Паши, обладавшего прямоугольной, в виде параллелепипеда, головой с короткой в тугих кольцах стрижкой римского императора, глазами навыкат и громоподобным голосом, было то, что он никогда никого никуда не отсылал, а все решал сам, т.е. убеждал, что надо подождать, уверял, что сейчас не время и что вообще-то, честно говоря, не то ты, Костя, задумал, не то сейчас нужно...

В эту же пору и, по иронии судьбы, тоже с Романовым, только на этот раз сидящим в Госкино, завязался другой узелок — с фильмом, который он, К.М., затеял вместе с режиссером Ордынским и старым, по фронтовой корреспондентской жизни, знакомцем — журналистом и прозаиком Евгением Воробьевым.

Снимали ленту о битве под Москвой, по сути о тех же событиях, что и его «Сто дней». Замысел настоян был, естественно, на тех же его идеях и представлениях, которые Ордынский и Воробьев полностью разделяли. Сделали фильм как полудокументальный, полуигровой и посвятили приближавшемуся двадцатипятилетию великой битвы, что, по соображениям авторов, могло бы служить ему чем-то вроде пропуска на экран. Не тут-то было. На пути фильма возникли те же препятствия, что и с дневниками.

Все яснее становился почерк нового времени. Ему лично никто ни в чем не отказывал. Не было такого кабинета — в Главлите, в Главпуре, в Госкино, даже в ЦК, где его не приняли бы, как говорится, с первого предъявления, не напоили бы чаем с лимоном и сушками, не отдали бы должное его заслугам и «необыкновенной популярности», не пообещали бы рассмотреть, вернуться еще раз, снова встретиться, если потребуется. Он рвался в бой. Как стрелы, оттачивал аргументы, облекался в кольчугу источников, свидетельств и документов, выстраивал, как опытнейший тактик, запасные позиции, на которые в крайнем случае можно было бы отступить, а его встречали комплиментами и чуть ли не объятьями, лили елей и заверяли, что никаких проблем не будет.

Правда, у Романова из Госкино стиль все же иной, чем у его однофамильца из Главлита. Он никогда не слышал, чтобы киношного Романова кто-нибудь даже заочно называл просто Лешей, но обязательно по отчеству — Алексей Владимирович. Манеры у него были вальяжными, голос, хоть и баритон, но не рыкающий, а скорее медоточивый, аргументы свои он черпал, как правило, в публикациях «Правды» и «Коммуниста».

Собрав и сопоставив однажды вечером, сидя в одиночестве на даче в Красной Пахре, услышанное от того и другого Романова, Симонов пришел в ужас. Шла, по сути дела, ревизия всего, что было сказано на XX съезде и в постановлении 1956 года «О культе личности». Если свести все к одному знаменателю, то ему, Симонову, повторяли, правда без прямых ссылок, то, что было сказано Сталиным, а потом написано в приснопамятной статье «Культуры и жизни» относительно фильма «Молодая гвардия». Никакого беспорядочного отступления в первые дни и месяцы войны не было, не было окружений, не было растерянности, неподготовленности, не было и жутких неправдоподобных потерь. Короче, ничего такого, о чем Фадеев, пусть и в смягченной форме, написал в самом конце войны, о чем К.М. теперь, опираясь на факты, исследования, собственные дневники и свидетельства сотен участников войны, им лично опрошенных, от рядового до маршалов, пытается рассказать — спустя двадцать с лишним лет после победоносного окончания войны, в канун четвертьвекового юбилея московского сражения, десять лет спустя после XX съезда, через пять

лет после XXII. Что же это такое делается? Что они творят? И догадывается ли об этом новое руководство?

Вопросы, которые он задавал себе по поводу художеств одного и другого Романова, отнюдь не были риторическими. Кого они представляют и олицетворяют? Кто они, собственно, такие? Аппаратчики, начавшие формироваться еще при Сталине и достигшие степеней известных уже при Никите. Поддакивали его, как это теперь называют, волюнтаризму, а втихомолку зубоскалили, копили зло, как это умеют делать только придавленные и вынужденные терпеть свою придавленность люди. И вот воспрянули духом, полагая, что уже одна их зоологическая неприязнь к Хрущеву — проходной балл. Из аппарата их, как и многих других, видно, в благодарность за какие-то невидимые глазу услуги, которые только и могут оказать такие незаметные с виду аппаратчики, двинули теперь на самостоятельные участки, и они там вполне самостоятельно, благо, что у нас теперь провозглашено уважительное отношение к кадрам, стали душить именно то, что следовало бы сохранить от эпохи Хрущева. Медвежью услугу оказывают и делу, и новому руководству.

У него впервые появилась мысль написать письмо и попроситься на прием к Брежневу.

Задумано — сделано. Письмо продиктовано Нине Павловне, тщательно отредактировано — здесь и общие вопросы, и его личные боли и недоумения. Все как будто уравновешено. Он пока еще мало представлял себе внутренний мир, наклонности, пристрастия адресата и потому особенно старался быть деловитым и убедительным. Опасности возрождения культа личности Сталина было уделено особое внимание. Там, наверху, должны, не могут не понять, что все эти слухи и недомолвки, бесчинства аппаратчиков бросают тень на импонировавшую всем объективность, беспристрастность, с которой на торжественном заседании в Кремле 9 мая 1965 года было названо имя Сталина. Письмо решил отправить самым ординарным способом: вышел из дома и бросил его в почтовый ящик. На ожидание ответа положил не менее трех недель. Пока дойдет до ЦК, пока пропутешествует через все инстанции в секретариат Первого, пока там ему доложат. Если доложат...

Через неделю раздался телефонный звонок, и человек, назвавший себя странным именем Александрова-Агентова «из секретариата Леонида Ильича», спросил его вежливым, но напористым говорком, сможет ли он придти в ЦК — «это по поводу вашего письма Леониду Ильичу». Когда? «Ну, например, ну, например, завтра, во второй половине дня, часика эдак в три?»

Может ли он? Еще бы он не мог. Расспросил — какой подъезд и на какой этаж. Все оказалось ему знакомым, Брежнев сидел в том же кабинете, что и Хрущев, когда он находился на Старой площади, а не в Кремле. Тот же, соответственно, первый подъезд и пятый этаж.

Спеша на следующий день на машине в центр, Симонов не рассчитывал на встречу с Брежневым. Скорее всего, этот Александров-Агентов, он еще раз отметил про себя непривычность фамилии, хочет побеседовать с ним предварительно, прощупать, прежде чем отважиться на доклад и рекомендации шефу.

Все произошло гораздо проще. Из маленького, заваленного ворохами «белого ТАССа» кабинета хозяин его, небольшого роста, весь из быстрых нервических движений и коротких, скороговоркой произносимых фраз, человечек повел Симонова прямо в приемную шефа, где уже ожидало в нарочито непринужденных позах несколько персон. Перекинувшись парой коротких

быстрых фраз с секретарем, Александров-Агентов, как бы извиняясь, попросил Симонова несколько минут подождать и бросил успокаивающий быстрый взгляд на остальных в приемной. Дверь в кабинет скоро отворилась, выпуская посетителя, который, как успел Симонов подметить, чем-то неуловимо напоминал всех остальных ожидающих, словно они были сделаны по одной колодке. Секретарь пристально взглянул на шеренгу телефонных аппаратов, выстроившихся перед ним на столе. По какому-то одному ему ведомому признаку определил, что хозяин кабинета сейчас ни с кем не разговаривает, и кивнул Александрову. Тот буквально подтолкнул К.М. к двери: «Идите!» Единственное, что он успел в этой суматохе уловить, было: «Письмо ваше Леонид Ильич читал, вы можете быть с ним совершенно откровенны».

Вот и Брежнев. Солидного роста, с широко, по-гвардейски развернутыми плечами, с густыми бровями, которые тогда еще не стали, но скоро станут как бы эмблемой, фирменным знаком лидера. Движения спокойные, шаг, которым он, встав из-за стола, двинулся навстречу гостю через длинный свой кабинет, неспешный, уверенный. Голос низковат, чуть-чуть как бы даже в нос, но произношение отчетливое.

Хозяин крепко пожал гостю руку, а потом как бы даже приобняв его, подтолкнул к длинному заседательскому столу со стаканами с чаем и тарелочками с сушками и кружками лимона. Сели, и Брежнев вдруг без всякого предисловия стал рассказывать своим низким, слегка гудящим голосом, как он не то в конце сорок второго, не то в конце сорок третьего года, в Крыму, жалел, что не смог увидеть Симонова, который находился тогда в войсках 18-й армии. К.М. в войну не был в расположении этой армии, не подозревал тогда о существовании Брежнева, начальника политотдела армии, генерал-лейтенанта, но сказал, что ему тоже очень жаль. Брежнев продолжал в том же духе. Упомянул, конечно, о том, как они, политработники, использовали в войну его стихи, особенно «Жди меня» и «Убей немца». На мгновение что-то сместилось в сознании К.М. Показалось, что это не он, писатель, пришел по важному государственному делу к первому в стране человеку, а его, писателя, поэта, «прихватил» со своими восторгами случайный читатель, из ветеранов войны, и вот-вот попросит автограф.

Улучив паузу в этом неторопливом потоке воспоминаний, он выразил удовольствие, что Леонид Ильич, несмотря на всю понятную занятость, смог познакомиться с его письмом, да еще так быстро.

Брежнев, кажется, нисколько не обиделся, что его прервали. Посерьезнел, даже посуровел лицом, встал из-за стола. Прошелся взад-вперед по ковровой дорожке, положил успокаивающе руку на плечо попытавшемуся было встать гостю. Сказал спокойно и с силой, без всяких предисловий, словно бы только об этом и шла у них речь все двадцать–тридцать минут:

— Пока я жив, — он тут же неспешно и с достоинством поправился, — пока я в этом кабинете, крови не будет.

Он еще раз прошелся по ковровой дорожке в ту и другую сторону, замедлив свое мерное движение около двери. Но К.М. и без этого, весьма деликатного, отметил он про себя, намека, понял, что разговор окончен. Он встал со стула, теперь уже безо всякого возражения со стороны хозяина кабинета, и, двигаясь тоже по направлению к двери, стал, как водится, извиняться, что побеспокоил, благодарить. Брежнев крепко пожал ему руку, на какой-то момент даже задержав ее в своей большой, мягкой руке. Он ни слова не добавил к сказанной

фразе, точно, произнеся ее, исчерпал себя до дна. Только кивал и теснил гостя к двери, за которой его поджидал Александров-Агентов.

Ни о чем не расспрашивая, так уж, видимо, было здесь заведено, помощник Первого секретаря проводил его до постового, который, не спрашивая ни документов, ни фамилии, кивнул приветственно и снял со стоявшего перед ним, как мачта под парусами, гвоздя белую бумажку и кинул, надорвав, в небольшую коробку рядом.

— Вы удовлетворены? — бросил все же на прощанье Александров, и это было вопросом и утверждением одновременно.

— Вполне, — ответил он и в ту минуту был абсолютно искренен. Сидя в машине, рядом с неизменным Толей, который в отличие от тактичного Александрова-Агентова засыпал его вопросами, сообразил, что о главном-то, о судьбе его вещей, о чем он тоже упоминал в письме к Брежневу, не было сказано ни слова.

Позднее, когда он убедился, к собственному изумлению, что в темпах прохождения их через цензурные рогатки ничего не изменилось, у него было время подумать, почему, собственно, все так произошло. И думал, и анализировал он не столько поведение Брежнева, сколько свое собственное. Это был третий лидер партии и страны, с которым ему выпало непосредственно общаться. Вроде бы не в диковинку ему встречи с сильными мира сего. В чем же дело, почему он ушел, не только ничего не добившись, но и не получив никакой дополнительной ясности.

«Все дело в этой брежневской фразе», — говорил он себе. Человек до болезненного объективный, он и много лет спустя, когда у него уже не оставалось никаких иллюзий в отношении Брежнева, признавал, что эта его фраза: «Пока я в этом кабинете, крови не будет», достойна лидера. Такие фразы входят в историю, и даже нет необходимости заносить ее в какие-либо дневники.

«Услышав такое, — продолжал он размышлять, — нелепо, бестактно заводить речь о своих проблемах, как бы они ни были важны. Эта фраза была ответом на главную боль, с которой он обратился к первому в стране человеку. И коль эта боль снята, все остальное, подразумевалось, должно решаться уже само собой. Ведь ясно же, что именно тому, чтобы не повторилось страшное прошлое, и служили его, симоновские, вещи, о которых он написал и вот пришел поговорить с Брежневым».

Он допускал и другое объяснение. На него снова, в который уже раз, гипнотически подействовала вся эта обстановка, окружающая власть, это странное, неповторимое чувство, которое охватывает человека, когда он вдруг оказывается лицом к лицу с тем, кто ее олицетворяет. О великая и коварная магия приобщения! Даже такому человеку, как он, который сам вызывал похожие чувства и метаморфозы у миллионов своих поклонников, трудно было противостоять ей.

То, что не воспоследовало каких-то конструктивных указаний сразу после визита, еще можно объяснить. В конце концов, он сам виноват. Не заикнулся о своих вещах Первому, не задержался после беседы у Александрова, не поделился с ним. Трудно было понять и объяснить глухое молчание потом, когда, потеряв терпение, он снова обратился с письмом к Брежневу, а потом еще и еще раз.

Нина Павловна с унылым видом записывала их под его диктовку, расшифровывала и отправляла вторые экземпляры в очередную папку «Всего сделанного» сначала за 1966, потом — за 1967, 68-й годы. Если и был, по ее мнению,

какой-то смысл в этих обращениях, то именно в том, чтобы сохранить для истории свидетельства их полной бесперспективности. Когда дело дошло уже до телеграмм — одна из них касалась фильма «Если дорог тебе твой дом», — она почти уже с мазохистским удовольствием вместе с экземпляром текста вложила во «Все сделанное» и квитанцию об ее отправке. Текст был голосом вопиющего в пустыне: «Очень прошу Вас лично помочь решению вопроса с выпуском нашего фильма на экран. Без решения этого вопроса стало невыносимо жить и работать...»

Ответа не было, как не было его и от Александрова-Агентова, которому он послал, в расчете на передачу или, по крайней мере, для доклада Брежневу, новомировскую верстку «Ста дней». В очередной раз задержанную Романовым из Главлита уже после нескольких редактур, которые они со скрежетом зубовным учиняли вместе с Твардовским.

«Оттуда» поступали сигналы другого рода. Он, например, никак не мог не увязать со своим походом к Брежневу то, что на IV съезде Союза писателей, в мае 1967 года, как раз в разгар всех его мытарств с фильмами и дневниками, он был избран в правление союза, а потом, на пленуме, и секретарем правления ССП, пусть и среди сорока двух или сорока четырех. И чем больше глубокомысленного тумана напускал в предварительных беседах с ним Георгий Марков, уже почти единолично правивший союзом при больном Федине, тем яснее К.М. становилось, что без «пятого этажа» тут не обошлось. И это при том, что на этом съезде он, Симонов, вслед за Олесем Гончаром с открытым забралом выступил против цензуры, против «невидимок с красным карандашом», как их убийственно, надо отдать ему должное, припечатал Олесь Терентьевич.

Говорил К.М. на съезде следующее: «Если мы не будем писать полной правды о прошлом, мы никогда не завоюем полного доверия молодежи. Но порою на этом пути правды истории у нас возникают помехи, иногда серьезные, иногда анекдотические». Под смех и бурные аплодисменты съезда он в лицах рассказал, как в 1963 году у него из романа вычеркивали слово Сталинград, хотя речь-то в романе шла как раз о Сталинградской битве, не Волгоградской же ее называть. А теперь из дневников, все еще не опубликованных, во фразе о том, как «корреспонденты встретились в подземном сталинградском штабе с командующим фронтом Еременко и членом военного совета Хрущевым» вычеркивают совсем наоборот. Снова — смех в зале.

До каких пор это будет делаться? Когда мы, наконец, научимся относиться к истории серьезно и ответственно, не шарахаясь из стороны в сторону? В паруса истории должен дуть только один ветер, ветер правды, другого ветра у истории нет и не будет, а все остальное — это не ветра истории, это сквозняки конъюнктуры.

Перечитывая и правя потом стенограмму, он подумал, правда, что этих фраз можно бы избежать: отдают высокопарностью, маслом масляным, можно бы закончить там, где раздался смех. Но сказанное есть сказанное. Вычеркни теперь — скажут, убоялся.

Что же до избрания секретарем союза, то, хотя в письме Овечкину он и пошучивал относительно сорока двух богатырей, вся эта ностальгически знакомая процедура не осталась ему безразличной. Приятно убедиться, что в правление он тайным голосованием избран почти единогласно, увидеть потом на состоявшемся тут же первом заседании правления лес рук, поднятых за него при выборах секретарей.

В отличие от многих других писатели на своих форумах, как и академики, даже в сталинские времена никогда не церемонились и заваливали посредством тайного голосования, бывало, даже официальных фаворитов.

Самое же главное в его новом, вернее, частично вернувшемся старом положении было то, что возможности как-то влиять на литературный процесс, который начинал помаленьку принимать довольно странное направление, увеличивались. Что ни говори, а бланк секретаря Союза писателей прибавлял веса его многочисленным обращениям.

Госкино после еще нескольких месяцев волокиты разрешило-таки премьеру фильма «Если дорог тебе твой дом» и согласилось затем пустить его в прокат, хотя и не первым экраном. Чуда тут не было.

Спасибо «Комсомолке» — устроили у себя просмотр и обсуждение на традиционном «четверге», никого не спрашивая. Благодаря заметке об этом «четверге», которую прочитали даже на пятом этаже Старой площади, дело и двинулось вперед. Фильм выразили желание посмотреть несколько членов Политбюро. Смотрели у себя на дачах, отзывы, даже по признанию киноглавка, были благожелательные. С большинством поправок Симонов с Ордынским решили согласиться. Например, добавили парад Победы. Чтобы не слишком приуныл, значит, наш зритель при виде потерь, которые несли советские войска под Москвой в 1941 году, не ударился бы в панику, пессимизм. Показывать поражения, оказывается, можно, но так, чтобы одновременно не забыть и о счастливом конце. Ладно, пошли на это, хотя в фильме теперь стало четыре парада — два предвоенных, ноябрьский сорок первого и парад Победы.

После этого премьеру все равно дважды откладывали, хотя, ко всему прочему, появилась положительная статья в «Правде». Как скала встал Епишев, начальник Главпура. Потребовал убрать кадры об уничтожении высшего командного состава перед войной. Не постеснялся даже, говорят, сходить по этому поводу к Брежневу. Во всяком случае, с пятого этажа последовал звонок с добрым советом «пойти навстречу». Пришлось пойти, хотя, может быть, правильнее было проявить характер, наложить вето на выход фильма. Но жалко того, что в нем все-таки осталось — с такой беспощадностью о катастрофе первых месяцев войны в кино еще никто не говорил. После фильма, может быть, и «Сто дней» покажутся не такими уж страшными.

Да и как воспротивиться выходу фильма? Фильм ведь не книга. Его делают десятки людей. Как лишить их результатов труда? Дополнительной доли заработка? Се ля ви...

Знать бы К.М., что двадцать лет спустя, через семь лет после его смерти, на старте очередного политического катаклизма, названного на этот раз перестройкой, так же будут мыкаться со своим фильмом о нем сын его фронтового спутника Павла Трошкина и обретенный на склоне жизни друг. И так же уступят, по тем же, в сущности, причинам, чуть ли не тем же персонажам. Тому же Паше Романову, и тому же Георгию Мокеичу, и тому же боссу телевидения Лапину, основные схватки с которым у К.М. еще впереди. Только второго Романова не будет. Он оставит свое место Ермашу, который достойно разовьет традиции предшественника.

С одним куском К.М. расставаться было особенно невмоготу. Гениальная режиссерская придумка: из кадра, выполненного на манер коллективного портрета — так тогда любили сниматься после окончания военной академии, училища или после какого-нибудь крупного мероприятия, исчезали лица, словно бы

растворялись в наплывающем тумане — лица комкоров, командармов второго ранга, первого, лица маршалов... Из этих пяти исчезали трое — Тухачевский, Егоров, Блюхер. Оставались двое — Ворошилов и Буденный.

В таком, кастрированном виде и вышел фильм на экраны. И все же что-то полезное К.М. извлек из всей этой катавасии: еще более укрепился в мысли о том, что бороться можно и нужно. Вцепляться и руками, и зубами...

На премьере вокруг Дома кино на Васильевской, недалеко от Белорусского вокзала, толпы людей выспрашивали лишний билетик. Он сам с трудом прорвался сквозь кордоны. Порадовала публика. Нормальный, интеллигентный народ — из кинематографической, из литературной среды, много студентов, возможно, даже вечерников, ветераны войны, специально приглашенные им, Воробьевым и Ордынским.

Когда он третьим, вслед за своими соавторами, поднялся при представлении творческого коллектива на сцену, аплодисменты явно усилились. Вообще все, что здесь происходило, отдавало демонстрацией, и он ловил себя на том, что в отличие от прошлых лет не чурался, а радовался.

К тому времени он проник уже в таинства механизма, заработавшего после октябрьского пленума ЦК КПСС в идеологической сфере. На первый взгляд, вообще никакой специальной политики в области науки и культуры не было. Главные люди, включая и самого Брежнева, избегали высказываться конкретно, с употреблением тех или иных имен и названий, как бы предоставляя событиям развиваться имманентно, а людям и институциям поступать так, как они сами считают нужным. Писатель пусть пишет и предлагает, что хочет, но и цензор пусть действует на свое усмотрение. Рассказывали даже, что вновь назначенный заведующий отделом культуры ЦК, бывший партизан Шауро к вящему изумлению своих подчиненных запрещал им ходить на премьеры спектаклей и фильмов, на вернисажи, не рекомендовал высказываться по тем или иным спорным вещам, дабы отделу всегда было обеспечено своеобразное алиби на случай возникновения серьезных коллизий.

Завзятые остряки при упоминании об этом отделеи его руководителе принимались напевать куплет популярной песенки из репертуара входившей в моду Эдиты Пьехи: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».

Словом, образовался — трудно было пока сказать, по каким причинам — своеобразный вакуум, который первыми, увы, поспешили заполнить, весьма преуспев в этом, чиновники типа тех же двух Романовых. И они, за редкими исключениями, тяготели, разумеется, к запретам. Философски это можно объяснить. Запрет — такая же обязательная и неотъемлемая часть снаряжения бюрократа, администратора, как кортик — униформы морского офицера. Искусно орудуя им — тут как в каратэ, вовсе не обязательно наносить удары физически — бюрократ добивается расположения в верхах и утяжеляет свой вес в глазах творческого люда, который, увы, с пиететом относится только к откровенным проявлениям силы. Оставалось диву даваться, как споро формировалось это новое поколение бюрократ-чиновников, как быстро тут люди разных возрастов находили друг друга и, взявшись, образно говоря, за руки, создавали новые и новые заслоны.

Премьера их с Воробьевым и Ордынским фильма оказалась ласточкой, которая не сделала весны. Столпер, снявший второй фильм по его романам, подвергался моральным истязаниям в различного рода управлениях, комиссиях и коллегиях Госкино. Верстка «Ста дней» неподвижно лежала в Главлите, Глав-

пуре и у Александрова-Агентова, а соответственно у Твардовского. Поставь он дневники без спроса в номер, уполномоченный Главлита не подпишет сигнал к печати.

«Я уже просто перестаю понимать, — вырвалось у него в письме вдове Казакевича, которая пожаловалась ему на безобразия, которые чинятся при публикации дневников ее покойного мужа, — я уже перестаю понимать, что у нас может быть напечатано, а что не может, что пропустит цензура и чего она не пропустит, да и вряд ли вообще кто-нибудь сейчас в состоянии понять, что у нас в этом смысле делается».

Оставалось развести руками, на что и уповали многочисленные его оппоненты во всех тех учреждениях, где полеживали его вещи, дожидаясь, по словам тех же оппонентов, своего часа. Мол, дайте срок, не горячитесь, все уляжется, все станет на свои места, и тогда все разрешится благополучно. Об этом же можно было услышать и от иных друзей, которые при удобном случае укоряли его, что он никак не может заставить себя сесть за роман. В комитете по госпремиям, мол, ждут не дождутся, когда он, наконец, закончит свою трилогию, чтобы увенчать его Ленинской премией. Пора, давно пора.

“Если дорог тебе твой дом” наконец на экране, — отвечал он завзятым болельщикам своей прозы, — а два фильма и дневники все еще в воздухе, и пока с ними не решилось, засесть за роман не хватает сил».

Нина Павловна, через которую, как всегда, шла вся его переписка и с властями предержащими, и с редакциями, и с читателями, одобряла, как он догадывался, его линию.

— Счастливая у вас, К.М., натура, — как-то вырвалось у нее. — Если уж вы за что-то беретесь, то обязательно доводите до конца.

Достаточно изучили они друг друга за все годы, чтобы понять: это не только одобрение, но и совет. Он действительно любит доводить каждое дело до конца и находит в этом особое, быть может, даже не всем и доступное удовольствие. Препятствия только раззадоривают его, прибавляют сил. Со злым азартом распутывает и предугадывает он ходы противника, обмозговывает и наносит ответные, а то и превентивные удары. Схватки за фильм об обороне Москвы, увенчавшиеся наконец успехом, стали для него хорошей школой. Противник не стесняется в методах, спешит укрепить свои позиции. Значит, и нам надо не теряться и действовать теми же средствами, благо цель у нас, в отличие от них, благородная.

Нам — а кому, собственно, нам? — задает он себе вопрос. И, задумавшись, обнаруживает с некоторой неожиданностью, что последние годы — да, начиная, наверное, с отъезда в Ташкент — действовал скорее как одиночка, чем представитель какой-то группы, организации или хотя бы течения. После того, как столько лет он ощущал себя частью литературной машины, пусть и весьма существенной, ему был в охотку этот вольный поиск. Чем-то он напоминал сам себе характерного для любимой им американской литературы героя, который всего на свете добивается исключительно собственными усилиями, вопреки всем обстоятельствам. И либо приходит к победе, либо терпит крах, за который ему тоже некого винить. В первую очередь он имел в виду, конечно же, героев старины Хэма, но такие же типы встретишь и у Фолкнера, и у Апдайка, и у Артура Миллера или Теннесси Вильямса, и у Роберта Пенна Уоррена... Собственно, это даже не литературная традиция, а склад национального характера, отражение самой судьбы уникальной нации в ее литературе.

В конце концов, эту традицию можно вывести еще из Фенимора Купера и его «Зверобоя». Все эти годы он и чувствовал себя эдаким Зверобоем или Звероловом, Следопытом, прокладывающим свою рискованную тропу в джунглях и прериях человеческого общежития.

Теперь настала пора оглянуться вокруг. Поискать, нет ли поблизости других таких, как ты, протянуть им руку... Предложить пойти вместе.

Смолоду жизнь складывалась так, что вокруг него было много друзей. Ему ли, кто тем и популярен, что воспел и создал культ мужской дружбы, не иметь вокруг себя соратников. Но жизнь не стояла на месте, а время не уставало собирать свою жатву, редактировало страницы его телефонных книжек. Ушел Фадеев. Еще раньше — Горбатов. Федин одряхлел и уединился у себя на даче в Переделкине, как в башне из слоновой кости. Давид Ортенберг, честно скажем, уже не тот... К.М. отдалился от Суркова и Кривицкого. Не без удивления он открывал, что рядом не оставалось уже людей, которые были бы старше его. Нет, не по возрасту только. По масштабу, по авторитету, по влиянию... В том не было, он уверен, высокомерия, что именно так он думал о многочисленных своих близких друзьях, с которыми не один пуд соли съеден вместе. Так уж получилось, что все, кого литературная, вернее, окололитературная молва причисляет сейчас к симоновскому клану, иногда употребляют выраженьице и похлеще — мафия, все пришли и задержались около него в результате каких-нибудь литературных и житейских передряг, в которых ему довелось помочь им. Те же Лазарь Шиндель-Лазарев или Саша Караганов, Шура Борщаговский или Женя Воробьев... Не говоря уж о тех, кто много моложе: Юлиан Семенов, Борис Панкин — с недавних пор редактор «Комсомолки»... Тут, естественно, и друзья-сотрудники — Нина Павловна с Юзом, Марк Келлерман, совершенно незаменимый человек в кляузных юридических делах.

Его потянуло к тем, чье превосходство над собой он признавал свободно, непринужденно, без каких-либо комплексов. К Твардовскому, к Овечкину, которые друг с другом были, пожалуй, даже ближе, чем каждый из них с ним. Это он тоже признавал и тоже без какой-то горечи в душе. Значит, так уж надо, так уж получилось.

С Твардовским историю отношений он вел от давнего, в разгаре войны, письма своего по поводу «Теркина», хотя хорошо знакомы они были и раньше. Ответ Твардовского, немного как будто менторский, с ноткой покровительственного удивления по поводу его, симоновских, излияний, при первом чтении вроде бы и покоробил. Но только при первом чтении... Тогда литературные да и прочие дела Военкора были на таком взлете, что, честно говоря, мало что могло серьезно задеть.

Ниточка, которая в ту пору протянулась между ними, никогда уже не порывалась. В послевоенный период в литературных да и иных кругах немало судачили по поводу того, как и почему они не однажды сменяли друг друга на посту главного редактора «Нового мира». Не обошлось, конечно, и без попыток позлословить, к чему прикладывали руку и поочередно сменявшие друг друга редакционные команды. На их отношения это не влияло. Они-то двое знали, при каждой перемене, где собака зарыта.

Теперь вахту несет Саша. Без малого десятый год уже несет. С той самой поры, как, сдав ему журнал, он уехал в Ташкент. Разговоры о том, что, мол, «чендж» состоялся не без влияния Хрущева, не укрепляли, конечно, Сашиных тылов после падения Никиты, тем более и линию он продолжал гнуть такую,

которая у тех же романовых и иже с ними, этих самозваных ревнителей культовых традиций, поборников реставрации, восторга не вызывала.

Приближавшееся сорокалетие «Нового мира» было как нельзя более удобным поводом — без декларации, без театральных жестов — ненарочито выразить свою солидарность. Подумав хорошенько, он решил к «красному дню» приурочить два послания. Одно, чуточку построже, поофициальнее, такое, что, в случае чего, годится и для печати, — адресовать редколлегии журнала. Второе, сугубо личное — Саше!

«Дорогой Саша... Ты поддержал честь и достоинство нашей литературы своей речью на съезде партии (это еще раз и не случайно о XXII съезде КПСС), а теперь вновь сказал о том, чем должна и чем не имеет права не быть наша литература. И право так говорить тебе дала не только твоя собственная литературная работа, но и то, как ты на протяжении долгих и трудных лет ведешь "Новый мир"».

Сам он надежнее и увереннее себя чувствовал оттого, что если уж суждено его «Стадиям» отлеживаться в запасниках редакционных, то лежат они, худа без добра не бывает, именно в «Новом мире», и брешь они в главлитовской «линии Мажино» пробивают с Сашей двойною тягой.

Прочитав его рукопись впервые, Твардовский только сказал «берем», считая, видимо, излишним распространяться о ее достоинствах. В разгаре же их мытарств по пробиванию дневников в печать бросил Жене Воробьеву, что «Сто дней», быть может, самое лучшее из того, что написал Симонов.

Как К.М. понял, такая похвала Воробьеву показалась сомнительной, и он не сразу рискнул пересказать ему свой разговор с Твардовским. Желая, видимо, подсластить то, что представлялось ему горькой пилюлей, стал даже приводить свои возражения Твардовскому, который, тем не менее, вынужден был констатировать... Женя стоял на своем: очень может быть, что дневники окажутся долговечнее романов.

Вот так с Твардовским всегда — то ли радоваться его похвалам, то ли досадовать. Никогда не знаешь, чего от него ждать. Он решил, однако, успокоить своего разволновавшегося не в меру соавтора по фильму:

— Не зря ты обиделся? Вдруг Александр Трифонович прав?

В конце концов, то, что напечатано, — уже прошлое. Дневники — будущее. То, что лежит в «Новом мире», — только начало. То, что он успел расшифровать и прокомментировать. Будет не сто, а тысяча с лишним дней. Столько, сколько была война.

Вскоре это и у него самого прорвалось — в письме к Овечкину: «Два с половиною года я работал над книгою, которую считаю лучшим из всего написанного мною...»

Послал это письмо по тяжелому поводу. Последние годы складывались у Овечкина особенно грустно. Что-то не шло в печать по цензурным соображениям. Что-то просто не получалось, на что ему, автору и члену редколлегии «Нового мира», Твардовский вынужден был указывать нелицеприятно. Он сердился, жаловался К.М., становился все более нелюдимым. И в одну далеко не прекрасную минуту взял и выстрелил себе в висок из старого охотничьего ружья. Выстрел оказался не смертельным, и, чуть поправившись, Овечкин, рассорившийся в пух и прах с местным партийным начальством, двинулся в Ташкент, в немалой степени под влиянием его, К.М., писем и рассказов об этом «городе хлебном».

Фраза о «Дневниках» в письме Овечкину заканчивалась следующими словами, ради которых и была начата: «...Теперь эта книга полтора года лежит в цензуре и неизвестно, через сколько месяцев или лет она появится в печати...»

Для К.М., который вечно изводил себя самопопреками, непрестанно искал и находил в себе душевные изъяны, словно власяницу носил на себе репутацию счастливчика и баловня судьбы, Овечкин, известный всерьез одними только «Районными буднями», — но зато как известный! — служил олицетворением совести писательской. Импонировала его колючесть, бескомпромиссность, весь его облик трудяги-бессребреника, на которого, как на бедного Иова, сыпалась одна беда за другой.

Отвечая Овечкину на его письмо-поздравление по случаю отпразднованного в ноябре 1965 года пятидесятилетия, он в шутливой форме рассказал, как прошли все эти мероприятия.

Тот душевный порыв, который продиктовало ему поразившее многих юбилейное слово, то самое, что сам он не раз называл потом исповедью и программой своей на вторую половину жизни, не мог быть исчерпан одной речью и теперь выплеснулся на страницы письма Овечкину: «Недавно, разбирая по случаю предъюбилейной ностальгии архив, нашел в нем копию твоей большой статьи в "Правду", которую ты, когда-то написав, прислал мне в копии почитать. Прочитал ее снова и снова подумал, какой же ты мужественный, хороший, настоящий человек. Человек, которому большинству из нас, я бы добавил, почти всем, есть чему поучиться».

Рассказывая другу о ходе четвертого съезда писателей, объясняя, почему при общей у них теперь с Овечкиным аллергии к «окололитературной суете» он согласился все-таки, чтобы его избрали секретарем союза, он по сути дела излагает свою нынешнюю стратегию и тактику — борьба одиночки, который должен полагаться прежде всего на себя. Словно бы предчувствуя, что жить Овечкину оставалось недолго, К.М. не скупился на добрые слова и как бы вскользь, но со значением упоминал, что и с трибуны съезда, и в кулуарах многие снова и снова вспоминали автора «Районных будней», как пример стойкости и мужества.

Что касается литературных своих перипетий, то писал о них вскользь, как бы не желая огорчать Овечкина мелкими, преходящими передрягами: происходят, мол, разные схватки, возня и метания то туда, то обратно, но где-то под этим есть чувство, что все эти туда-обратные движения происходят все-таки на конвейере, который движется хоть и медленнее, чем хотелось бы, но все-таки в одну и при этом в правильную сторону.

На самом деле время и события постепенно убавляли его оптимизм. «Ни один человек, — сообщал он ташкентскому затворнику, вовлекая его исподволь в орбиту своих забот, — который воевал и пережил всей душой 41-й год, не станет, конечно, смаковать все ужасы этого периода, это ему не доставит удовольствия. Скорее наоборот, об этом тяжело вспоминать, но вспоминать об этом нужно...»

Говорил, что не видит опасности в том, чтобы отдать должное Сталину там, где он действительно заслуживает этого, а это касается и обороны Москвы. Гораздо опаснее тенденция замалчивать все отрицательное, что связывается с этим именем. И вот с этой тенденцией он будет бороться, сколько хватит сил. Был бы очень самоуверенным тот человек, который сегодня заявил бы, что знает всю правду о Сталине, но, с другой стороны, немыслимо ждать, когда вся эта правда будет известна, а до тех пор молчать.

Куда плодотворнее, — убежден он, — позиция, согласно которой писатель старается, во-первых, узнать как можно больше, а во-вторых, рассказать об этом в меру его способности и порядочности...

Пробивая «Сто дней» вместе с Трифоновичем, о котором расспрашивал в письмах Овечкин, упоминал, что «состояние духа у него бывает разное, иногда неплохое, иногда трудное, со всеми вытекающими отсюда последствиями, дискуссии у нас теперь ведутся не после, а до публикации книги или выхода фильма на экран, такие дискуссии, что один стоит, словно с кляпом во рту, а другой разглагольствует и размахивает руками. Если бы только размахивал. Он еще и шурует этими самыми руками, так что каждая новая встреча с твоими собственными произведениями — как свидание с неожиданностью.

Протестуешь — не слушают. Грозишь снять свою фамилию из титров фильма — никого это не трогает».

Тут еще из «Детгиза» прислали верстку книги стихов Маргариты Алигер. С его предисловием. Прочитал и ахнул. Поэма Риты «Зоя» на месте, в том числе и строки о Сталине: «Где сейчас находится Сталин? Сталин на посту», а двух страниц в его предисловии относительно нынешнего отношения к Сталину и автора книги, и его, Симонова, как не бывало. Из издательства торопят: типография ждать не может. Да и он понимает — не от издательства идет это самоуправство. Решил не мучить ни их, ни себя. Отправил в дирекцию письмо с просьбой снять вообще его предисловие. Если кто-то считает, что решения XX съезда отменены, это его дело. Он с этим согласиться не может и никогда не согласится. Другое письмо продиктовал Нине Павловне для Риты. Просил Алигер понять его и не жалеть о предисловии — бог даст, мы еще напечатаем его как рецензию. Без вивисекций. Рекомендовал не принимать в качестве предисловия ничего, что предложит издательство. «В конце концов, твои стихи сами за себя говорят».

Закончив диктовать, победно посмотрел на Нину Павловну. Она ответила ему взглядом, исполненным понимания. Сколько лет уж, подумал, этот взгляд для него — высшая награда. Не так уж часто он его удостаивается. Последние годы — чаще. Никому бы не поверил, если бы ему сказали раньше, что можно вот так, платонически, бескорыстно, дружить с женщиной. Еще несколько лет назад что-то сдерживало, сковывало его. Скорее всего — разница их судеб. Думая об этом, он часто спрашивал себя, можно ли, есть ли право быть счастливым, когда другие несчастны? Впрочем, не о счастье он... Счастливым он, если по правде, никогда не был. Всегда, даже в лучшие годы, находилось что-то, что точило душу. Но преуспевающим... Да! Черт его знает, как и когда оно пришло — это преуспеяние. Он, во всяком случае, никогда и ничего специально для этого преуспеяния не делал. Деньги были просто производным от его каторжного труда, которому самым близким свидетелем была как раз Нина Павловна. Его забота была — распорядиться ими по-человечески. И видит бог, ни о чем кроме сносных условий для этого самого каторжного труда он при этом не думал. Что поделаешь, если для этого ему нужно больше, чем другому, кто просто ходит на работу и с работы. Книги, рукописи, архивы, письма. Сколько ни расширяйся, а пространства для них все равно не хватает. Домик в Гульрипши — один сплошной кабинет. Жить там можно только тогда, когда его, хозяина, там нет. Дача в Красной Пахре — ничего не скажешь, большая, удобная, вся почти собственными руками сделанная — тоже лишь приложение к рабочему кабинету. Ну, а «верхний» кабинет в квартире превратился просто в верстак после того, как он

установил здесь письменный стол, изготовленный по его собственным чертежам, придал ему форму лекала. Так называемый «нижний» кабинет, в доме по соседству, на первом этаже кооперативного писательского дома — ему позволили приобрести его — по существу его приемная и одновременно — рабочая комната для Нины Павловны, когда она не сидит в «верхнем» кабинете, для машинистки Татьяны Владимировны, для Марка Александровича.

В его четырехкомнатной кооперативной квартире у них с Ларисой даже спальни собственной не было, пока Катя не вышла замуж и не переехала к мужу.

Так это видится ему. И так оно и есть на самом деле. А как все видится окружающим? Он не Нину Павловну, конечно, имеет в виду. Она-то все прекрасно понимает. Задумавшись однажды, он взял попавшую ему под руки при разборах архива собственную фотографию времен начала войны — лихой интендант в военной фуражке — и написал на ней: «Такой шпаной я был буквально накануне нашего с Вами знакомства. А каким потом приличным человеком стал — только подумать!». Подумал и добавил, словно бы оправдываясь: «А все — Вы! 1 ноября 1966 года».

Фотография была сделана Павлом Трошкиным. Не о ней ли когда-то с нежной иронией писала ему мать из эвакуации? Двадцать пять лет назад. И двадцать один год уже как Павла, его фронтового друга, нет на свете. Зато ходит по земле его сын, как две капли воды похожий на отца. И занимается почти тем же, что и отец. Снимает. Только в кино.

Но, положа руку на сердце, больше всего его занимал сейчас тот парень, фотографию которого он подарил только что Нине Павловне. Кто он, какой он был? Хорошо бы с ним познакомиться. Дикая мысль — познакомиться с самим собой? Не такая уж дикая — на поверку. Вспоминая себя в прошлом, он порою действительно не узнавал себя.

Рядом с той, двадцатипятилетней давности фотографией положил нынешнюю, сделанную недавно Халдеем, вспомнились стихи Ходасевича. «Перед зеркалом»:

Я. Я. Я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого,
И всезнающего, как змея?

Он снова взглянул на свои портреты. Нет, мама, наверное, все же любила больше того, в фуражке, а не этого — желто-серого, полуседого. А вообще — внешнее сходство есть. Насчет внутреннего — утверждать затруднительнее. Никогда он не мог сказать о себе — всезнающий. Наоборот, мучило незнание... Вернее, осознание его, всегда приходившее позже... Когда что-то делал, что-то писал, воевал с трибуны — всегда был уверен в правоте. И говорил только о том, что, казалось, изучил до основания. Время проходило, и наступала пора дивиться собственной наивности, неосведомленности, доверчивости. Опять-таки почтило Ходасевичу:

От ничтожной причины — к причине,
А глядишь — заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.

Стремление разобраться в себе становилось навязчивой идеей. Может быть, это еще и дневники виноваты, разбирать которые, невзирая на затор с первой порцией, он продолжал. Они возвращали его к самому себе, тогдашнему, пожалуй, даже с большей достоверностью, чем вот это, принадлежащее уже Нине Павловне фото.

Он замечал, что с трудом заставляет себя садиться за роман, над которым начал-таки помаленьку работать. Зато мог часами, забыв о времени, об усталости, о том, что уже в мыле две сменяющие друг друга стенографистки, вглядываться и вчитываться в свои побуревшие тетради в дерматиновых и клеенчатых обложках. Здесь каждое пятно — то след земляночной сырости, капель дождя, сохранившийся, как цветок в гербарии, то круг от поставленного неаккуратно в ходе дружеской пирушки стакана. Каждый вычерк, каждая складка или вмятина на листе были напоминанием о событиях такой давней жизни.

Он передиктовывал эти записи, строго следуя принципу — ничего не изменять в них. И тут же вслух, тоже для стенографистки, комментировал, прокладывая мостик между теми временами и этими, а внутри — неподвластный его воле и невидимый даже для Нины Павловны шел другой процесс — строились и тут же разрушались, как карточный домик, мостики между ним тогдашним и теперешним. Часто концы никак не сходились с концами. Рождался замысел пьесы — быть может, это будет просто серия монологов одного лица — я нынешний, вчерашний, позавчерашний... Постепенно определились первые вехи — 1937 год, 1947, 57-й, 67-й... Он и сам удивился, расставив эти даты: как РИТМИЧНО работает история, как ровно расставляет вехи. Можно, впрочем, и сдвинуть пограничные столбы на год — 36, 46, 56, 66-й... Получишь тот же, а быть может, и еще более разительный результат. Конец 36-го — это уже первый из «больших» процессов — над Каменевым и Зиновьевым... 46-й год — постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». 56-й год — XX съезд партии...

Как странно, возникла и задержалась мысль, что, думая о своем прошлом, он меряет его событиями политической жизни страны. Украшает ли его это? Какое-то время назад он, пожалуй, не задумываясь, ответил бы — да. И может быть, даже написал бы по этому поводу стихотворение. Покопаться в памяти — не было ли и написано такое. Сейчас он колебался в выводах.

Странно или, наоборот, естественно, — продолжал он диалог с собой, — что человек может так меняться. И неужели еще через десять лет, где-нибудь в 76-м, он снова не узнает себя — нынешнего?

Впрочем — что десять лет? Время, он чувствовал, уже наваливалось на него, как медведь, с новыми испытаниями. Шла весна 1968 года. Вести из Чехословакии — один партийный пленум за другим, ратующие за научный подход, демократизацию, свободу критики, стали сменяться тревожными — там начали поднимать голову националисты, сепаратисты, ревизионисты всех мастей. Трудно было уловить, в какой же именно момент сменились ветры.

Наиболее голосистыми, как можно было судить по нашей прессе, по впечатлениям побывавших в Чехословакии, оказались, конечно, писатели. Как, впрочем, и в Польше, где тоже неспокойно. В ответ зашевелились, заклекотали ястребы в наших литературных рядах. Соглашаться с ними не хотелось, но и возражать было трудно — без опоры на собственные наблюдения. Самый верный способ — поехать и взглянуть на все своими глазами. Ведь это — Чехословакия, его Прага, Злата Прага.

В апреле 68-го года в секретариате Союза писателей, со ссылками на ЦК, ему и предложили поехать вместе с Борисом Полевым и несколькими другими литераторами в Прагу и Братиславу. Он охотно согласился. Даже тем, что в делегацию был включен в числе прочих Грибачев, которого Хрущев когда-то поименовал автоматчиком, не озаботился. В конце концов, будет с кем схватиться. Истина, как известно, приходит в спорах.

Апрель 1968 года в Чехословакии. Чем-то он сразу напомнил ему другую, двенадцатилетней давности, весну в Москве. Прага превратилась в один сплошной дискуссионный клуб. Спорили и митинговали в союзе писателей, в ресторанах и пивных, на бесчисленных встречах с читателями и прямо на площадях и улицах. Было ли в этом что-либо угрожающее? Он не находил. Парадоксально, но факт — к ним, советским людям, советским писателям спорщики, будь то знакомые или незнакомые люди, относились, казалось, с еще большей нежностью, чем раньше. Словно ты приехал в дом друзей в ту пору, когда там разгорается ссора — беспричинная, на первый взгляд, как большинство семейных ссор. Стороны одинаково милы тебе, невзирая на жуткие разногласия между ними, а ты одинаково мил им, и оттого еще труднее взять чью-либо сторону. Говоришь с одними — они правы. Другие с такой же проникающей пылкостью тут же убедят тебя, что нет, правда на их стороне... Попробуй разберись во всем этом в клубах табачного дыма, под звон стеклянных и керамических кружек, которые прямо дюжинами тащит и с грохотом обрушивает на стол расторопный официант где-нибудь «У чаши», под портретом императора Франца-Иосифа, засиженным всемирно известными мухами. Или «У Томашека» с его черным хмельным пивом, или «У Флека» со знаменитыми топинками — ломтями серого хлеба, поджаренными с чесноком.

Поначалу, с его точки зрения, все это ничуть не отличалось от бесконечных споров, которые идут сейчас, да и всегда шли, по крайней мере с 1956 года, в Москве — по творческим клубам, а больше по квартирам, на кухнях — только не под пиво, а под водочку, а значит — еще ожесточеннее и непримиримее.

Проблематика та же. Сталин, Готвальд, Бенеш, Хрущев, Масарик, Мюнхенский сговор, советско-германский пакт, февраль сорок восьмого, XX съезд, венгерские события. Оценки расходились порой на сто восемьдесят градусов, а то, что об этом до поры до времени не разрешали говорить вслух и писать, еще больше разжигало страсти. Особенность и привлекательность момента, с точки зрения К.М., была в том, что новое руководство во главе с Александром Дубчеком постепенно снимало эти запреты — то ли по собственному разумению, то ли под растущим давлением партийных и беспартийных масс.

Постепенно эта терпимость сама стала поводом для дискуссий — в том числе и в рядах небольшой делегации советских писателей. К.М., поддержанный Полевым, заявлял, что это как раз то, чего нам самим не хватает. Смотрите, о чем здесь говорят открыто, и что страшного? А я через Романова не могу пробить «Дневники» с правдой о сорок первом годе, о которой давно уже все всё знают или догадываются.

Бессмысленные запреты как раз и создают избыток напряжения. Свобода слова его снимает.

И у него, лично, нет оснований сомневаться, что руководство КПЧ Держит обстановку под контролем, разумно регулирует весь процесс.

У Грибачева при звуках этих речей наливались кровью, становясь похожими цветом на раскаленную плиту, шея и затылок. Затылка, собственно, просто не

было. Столб шеи — длинный и цилиндрически правильный — переходил прямо в черепное покрытие. Разрубая ритмично движущейся рукой воздух, кивая в такт этому движению головой, Грибачев убежденно квалифицировал аргументы собеседников как проявления обычной интеллигентской расслабленности и близорукости. Сколько, скажите, надо вам еще примеров? И неужели история ничему не учит? Смута и контрреволюция всегда начинались с такой вот либеральной болтовни, интеллигентской дрисни, извините за выражение, которой переполнены клубы и пивные Праги. Фашизм, в конце концов, тоже зародился на пивных дрожжах в Мюнхене. Ах, преувеличение?! Ах, вас такое сравнение шокирует? Тогда вспомните Будапешт 56-го года, вспомните «кружок Петефи». Разве здешние «клубы 66» и тому подобная дребедень, призванная бить на чувства, не то же самое? Безответственные эстетствующие болтуны, все эти Пеликаны, Когоуты, Гольдштюкеры возбуждают народ, а потом прячутся в кусты или, того хуже, бегут за кордон, к своим покровителям. Грибачева особенно бесило то обстоятельство, что среди самых отъявленных радикалов было немало таких деятелей, которые ранее, по его словам, отличались особой силы ортодоксальностью. Весьма типичная ситуация, — почти хрипя, заканчивал он свои филиппики и кидал мрачные взгляды на К.М. Нынешней новомировской редколлегии, этим молодцам вроде Виноградова, Лакшина или Лебедева, которые, Матвеевич убежден был в этом, заморочили голову Твардовскому, доставалось от Грибача на полную катушку. Благодаря им Солженицын в последние годы Никиты чуть было не получил Ленинскую премию за свои, за свои... Он даже не находил слов, чтобы охарактеризовать писания Александра Исаича, при одном воспоминании о которых «автоматчика» отнюдь не фигурально бросало в дрожь.

Он пугает, а мне не страшно, — толстовскими словами думал К.М. о беснующемся у него на глазах человеке, но невольно поеживался. Какой-то след убежденность Грибачева все-таки оставляла.

Теоретически правда была на его, Симонова, стороне. Ну, какие они враги, какие контрреволюционеры — все его давние друзья-писатели?! Многих он знает еще с военных лет, с тех пор, когда формировался корпус Людвига Свободы. Да и сам Свобода — его старый и добрый знакомый. Все эти годы, приезжая в Прагу, он встречался с ним. Выпивали добрую чарочку в память погибших, во славу живых. Какое-то время назад Людвиг стал киснуть. Особенно когда его, министра обороны, назначили заместителем председателя правительства. «Меня повысили вниз», — парировал он с грустной усмешкой поздравления К.М.

Действительно, он как в воду глядел. Его скоро освободили от обязанностей министра обороны, и зампредство его превратилось в чистую фикцию.

В этот раз они тоже повидались, правда, накоротке, но Симонов успел почувствовать, что настроение Свободы изменилось в лучшую сторону. Бодрый голос, живые глаза. И главное — дел по горло. Это тоже настраивало на оптимистический лад.

Говоря о радикальных переменах, которые происходили у них в стране, старые друзья пылко, пожалуй, еще более пылко, чем раньше, объяснялись в любви к Советскому Союзу, к коммунистической партии, к своим товарищам по перу и по оружию... Воспоминания о вместе пережитом лились рекой. Нет, нет и нет! Все, что происходит в Праге, никак не направлено против Советского Союза, против социализма, боевого братства социалистических стран.

Наоборот, речь идет об укреплении этого братства, но на настоящей, здоровой основе, об очищении идеалов социализма, который у них в стране болен бюрократизмом, покрывается догматической коростой. Надо убрать все наносное, сбросить с пьедесталов ложные кумиры, восстановить имена настоящих патриотов, интернационалистов. Надо убрать из отношений между нашими странами остатки неравноправия, эти рецидивы сталинских времен. Реформы в политической жизни, несомненно, повлекут за собой подъем в экономике, которая буквально задыхается в тисках предписаний и всякого рода перестраховочных регламентации. А сильная экономика — это здоровье народа. Если решить эти задачи — еще сильнее засияет солнце нашей дружбы.

Для Симонова это звучало логично и искренне. Не беда, что, желая сильнее подчеркнуть свои чувства к нам, друзья порой невольно впадали в риторику. Тут еще надо делать поправки на язык. Славянам редко удается достичь в русском совершенства. Туг именно близость, сходство мешает.

Для Грибачева эти речи отдавали лицемерием, политиканством. Он призывал судить не по речам, а по поступкам, следить за ходом событий.

События эти, черт бы их побрал, как будто бы сговорились подтверждать прогнозы Грибачева. Это стало особенно заметно после того, как они вернулись в Москву. За короткий период, пока он готовил свой отчет о поездке, многое изменилось. И в речах его пражских друзей, если верить чехословацкой прессе, вернее, переложениям ее статей в наших газетах, прозвучали такие пассажи, которых он не слышал, пока сам был в Праге. Так что в своем письменном отчете он был вынужден признать завихрения, туман в голове у многих его коллег в Чехословакии.

И все же главного вывода Грибачева он не мог, не желал принять — того, что вся эта заваруха родилась в злокозненных головах интеллигенции, которая морочит голову рабочему классу, пытается и, кажется, уже не без успеха сбить его с толку.

Так в жизни не бывает, пора нам уже научиться это понимать. Если такие массы народа пришли в движение, значит, что-то все-таки за этим стоит, и неуклюжая защита основ социализма, которой занимаются в Праге чехословацкие Грибачевы, только подливает масла в огонь. Но в любом случае, если кто-то там из наших друзей и ошибается, пусть даже серьезно, — их ни в коем случае нельзя отталкивать, нельзя изолироваться от них. Надо на все смотреть открытыми и ясными глазами, ни в коем случае не валить всех в одну кучу, не расширять круг людей, с которыми мы не хотим иметь ничего общего.

Это он уже вслух, на заседании секретариата, при их отчете, говорил, возражая Грибачеву, который заявил, что, мол, не о чем спорить с бронированными головами. Не странно ли, подумал про себя К.М., услышать такое выраженьице именно от Грибача.

Теперь, после его отчета в союзе и схватки на заседании с Грибачевым, следить за событиями в Чехословакии оставалось только по газетам. Слушать «голоса» он как-то не приучился, да и хлопотно было, жаль времени вертеть ручки радиоприемника в тщетном стремлении отделить отвратительные звуки глушилки от человеческой речи. Поездки из Москвы в Прагу и из Праги в Москву резко сократились, да и от тех, кто там побывал, добиться чего-нибудь путного было почти невозможно.

От чтения газет становилось все тревожнее. Наибольшее беспокойство вызывали те периоды, когда на два-три дня на неделю они вообще не писали о

Чехословакии. Он хорошо знал этот десятилетиями отточенный принцип — о братских странах или хорошо, или ничего. Молчание — уже само по себе плохо. Даже легкие уколы по поводу тех или иных событий или лиц в братской стране — это уже предвестники серьезных событий. Так было с Венгрией, так потом стало с Китаем, с Албанией.

Каждая очередная пауза обрывалась все более шумным и тревожным потоком сообщений, из которых явствовало, что в Чехословакии все заметнее поднимают голову антисоциалистические силы. И кое-кто из тех, кого он, можно сказать, защищал на том совещании в союзе и потом в ЦК — Гольдштюкер, Павел Когоут, Циссарж, Сморковский, оказывались чуть ли не в первых рядах возмутителей спокойствия. Грибачев при редких их встречах в Доме литераторов посматривал на него победно и саркастически.

Сам он часами сидел над сообщениями газет и, когда уж совсем было невмоготу, звонил и отправлялся к кому-нибудь из знакомых редакторов читать «белый ТАСС», сообщения зарубежной прессы.

От «Нового мира» в эти дни инстинктивно старался держаться подальше. Атмосфера там, как можно было судить по редким в эту пору разговорам с Твардовским, соседом по даче в Красной Пахре, все более сгущалась, и накалял ее Александр Исаевич Солженицын. Он безоговорочно взял сторону самых крайних экстремистов.

События в Праге между тем все больше развивались по сценарию, предсказанному Грибачевым. От слов крайние силы перешли к делу. Из залов и кабинетов дискуссии выплеснулись на заводы, а там уже и на улицы. Беспрерывно бурлило Вацлавское наместье, круглосуточные сходки у Прашной браны — Пороховой башни, у памятника Яну Гусу — все знакомые места... Трудно, невозможно было поверить, что люди, которых он так хорошо знал, со многими дружил, могут выступать против принципов социализма, за реставрацию масариковской республики, за смычку с правыми силами в ФРГ. Между тем дело, хочешь верь, хочешь не верь, шло как будто бы к этому. И самое страшное, партия, руководство партии, Дубчек и другие утрачивали власть над событиями. Естественно, что наше руководство не могло смотреть на это равнодушно. Одна за другой последовали встречи партийно-государственных руководителей стран Варшавского договора. На них присутствовали и новые чехословацкие лидеры. Там люди как будто понимали друг друга, принимали согласованные коммюнике, а разъезжались по своим столицам — и события продолжали развиваться своей угрожающей чередой. Витали в воздухе, неслышно и незримо, предположения о возможности ввода войск.

К.М. предлагали откликнуться на происходящее в Чехословакии, осудить ренегатов. Он уклонялся. Бросать в воздух голые призывы — он уже вышел из того возраста. Говорить и осуждать конкретно кого-либо из деятелей — у него недостаточно для этого материала. У него твердый принцип — досконально знать то, о чем говоришь. Хватит с него Югославии — этого, впрочем, он гостям не сказал, просто подумал про себя.

Еще круче обошелся он с явившимся к нему домой вообще без предварительного уведомления генералом Григоренко. Тот пришел чуть ли не на следующий день после ходоков из Союза писателей, попал, что называется, под горячую руку. Предложил подписать коллективное письмо в защиту «Пражской весны» — обращение к нашему правительству проявлять сдержанность и хладнокровие, не позволить втянуть себя в опасные акции, не дать пролиться крови.

Под письмом уже стояли подписи многих видных деятелей науки, искусства, литературы... Была там, он сразу это отметил, подпись Твардовского... Была и Солженицына.

К.М. не стал спорить с аргументацией, тем более, что она совпадала с ходом его собственных мыслей.

— Не имею обыкновения, — сказал он, — подписываться под коллективными письмами. Чувствуешь себя так, знаете ли, словно ты присвоил чьи-то чужие мысли. Или тебе их приписали. Обо всем, что меня волнует, предпочитаю высказываться сам.

Григоренко ехидно усмехнулся. Забрал со стола коллективку, принялся шумно, с хрустом, сворачивать ее, прятать в карман потертого, уж не со времен ли войны сохранившегося кителя.

К.М., терпеливо поджидая, когда он закончит эту процедуру, вспоминал тем временем все немногое, что ему было известно об этом человеке. Во время войны — генерал и, говорят, боевой, отчаянный. Дальнейшая его судьба была мало примечательна — служил в разных округах, потом ушел в отставку. Вновь фамилия его всплыла и сразу зазвучала, главным образом, в различных кулуарах как раз в связи с развитием событий в Чехословакии. Он писал письма в ЦК, в творческие союзы, потом размножал их под копирку и рассылал по личным адресам, объясняя такую активность тем, что не получает от инстанций никакого ответа. Странно было наблюдать генерала в роли диссидента — новое словечко, которое начало входить в моду, кажется, после суда над Синявским и Даниэлем, но и причислить его к забубённым антисоветчикам что-то мешало. Поколебавшись, К.М. бросил уже вслед незваному гостю:

— Быть может, вам это безразлично, но, между прочим, такой же ответ я дал и ходокам из Союза писателей, которые готовят коллективное письмо для «Правды». Как вы понимаете, совсем другой направленности, — закончил он не без иронии.

Сказал и тут же пожалел о сказанном, ирония до собеседника явно не дошла. Григоренко лишь на мгновение замедлил шаг и, повернувшись, бросил на К.М. странный взгляд, в котором ему почудились и издевка, и снисхождение.

Получилось, что он как бы оправдаться перед этим Григоренко попытался, задобрить.

Когда та, «правильная» коллективка поступила в «Правду», его пригласил к себе Зимянин, новый главный редактор ЦО. Уговаривал подписаться. Говорил с ним как «фронтовик с фронтовиком», как «давний поклонник его таланта», бывший посол в Праге, который прекрасно знает подоплеку этого так называемого обновления...

Письмо за это время претерпело изменения. Точнее, все, что от первоначального текста осталось, были подписи, среди которых, однако, по-прежнему не было его. Непоправимое к тому времени совершилось, войска стран Варшавского договора вошли в Прагу, и авторы письма призывали своих коллег из братской страны оказать поддержку вновь сформированному руководству, поддержать здоровые силы.

У К.М. просто голова шла кругом. Он внутренне признавался себе, что не знает, ну просто не знает и все тут — что верно, что нет. И как надо было бы поступить по-другому, чтобы не дать разгулявшимся антисоциалистическим силам, сумевшим, видно, оболванить немалую часть населения, в первую очередь молодежь и интеллигенцию, одержать верх в Чехословакии.

Разбирая потом скрупулезно, один за другим мотивы, которые побудили его ответить отказом на уговоры Зимянина, он не без удивления обнаружил среди них и воспоминание о визите Григоренко. Сработала, видно, и горькая пилюля, которую пришлось недавно проглотить в связи с недавним «делом Синявского и Даниэля».

Вот он работает над пьесой «Мои четыре Я». У него там разделенные десятками лет спорят Алеша с Майором, Майор с Рябининым и так далее. А он, К.М. сегодняшний, не может понять и простить себя же двухлетней давности.

Он роется, роется в памяти и не может найти в себе тогдашнем хоть каплю сомнений в виновности двух этих молодчиков, как он их тогда называл, Синявского и Даниэля — Абрама Терца и Николая Аржака. Ему в одном только важно было удостовериться — в том, что все эти писания, которые ему дали прочитать в ЦК, действительно принадлежат им, Синявскому и Даниэлю, особенно то, что у Терца — Синявского — о Ленине. Даниэля он не знал, а с Синявским, столь почтенно и благообразно выглядящим литературоведом, приходилось встречаться. С особым интересом, хотя и не во всем соглашаясь, прочитал его статью о поэзии Пастернака — предисловие к однотомнику в Большой серии Библиотеки поэта. Живо представил себе, как этот импозантный человек разгуливает по редакциям, заседает в различного рода ученых советах, говорит и пишет правильные, весьма убедительные слова о долге художника перед народом, а потом, где-то у себя дома или в каком-нибудь потайном месте, воровато прислушиваясь к голосам и скрипам снаружи, строчит свои пасквили на Ленина на советскую власть, на всю нашу жизнь... И идет, так же воровато озираясь, с кем-то передать всю эту пачкотню за кордон.

Лариса была первой, с кем он поделился своим возмущением. Она, однако, как с ней и раньше не раз бывало, отнеслась к его излияниям весьма сдержанно, добавив, что не худо бы дать ей самой почитать эти вещи, коль скоро ему интересно узнать ее реакцию. Прочитав, сказала, что, собственно говоря, не видит здесь ничего такого уж страшного. Что же делать, в конце концов, если люди так считают. И уж во всяком случае тут не за что судить. Дико в наши дни судить за мысли, за слова.

— Если бы не было этих добропорядочных статей и книг Синявского, — гнул он свое.

— Ну, это уж, извини меня, — дело их совести, а не забот прокурора, — заметила Лариса.

По-прежнему не соглашаясь с ней, он не мог не залюбоваться ею в ту минуту. Говорит и держится спокойно, а сама заалелась, голову вскинула, словно бы перед каким-то высшим судом ответ держит. Прямая, высокая... «Коня на скаку остановит», — подумалось о ней словами Некрасова, ибо не раз уж так бывало, что одной-двумя репликами она замедляла ход его мыслей, а то и вообще рушила, словно это здание из кубиков, заботливо выстроенную им пирамиду рассуждений.

В одном он уже тогда должен был с ней согласиться — нельзя, глупо их судить. Дальше пошли собственные мысли: должно же у нас хватать ума не делать из этих двурушников мучеников. Создавать им ореол борцов за идею.

В «Комсомолке» в те дни появилась статья Аркадия Сахнина о некоем Тарсисе. Тоже литератор и даже член Союза писателей, возомнивший себя на склоне лет правдолюбцем и забросавший зарубежные издательства своими, на грани

шизофрении, рассказиками, по сравнению с которыми писания Терца и Аржака — просто шедевры.

Так вот нашел же Сахнин вместе с редакцией выход — предлагает не судить этого слабоумного, а просто взять и выслать его за границу, туда, где его согласятся принять... К.М. даже черкнул Сахнину несколько строк: «Вы написали в "Комсомолке" отличную, умную и верную статью. В самом деле — пусть едет...»

Через несколько дней в газете появилось сообщение, что Тарсис выслан в Грецию. Эта заметка окончательно определила позицию К.М. по отношению к Синявскому и Даниэлю, и это принесло ему чувство облегчения, потому что со всех сторон уже напирали на него, ждали, как он поступит. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Увы, он каждый день убеждался в неодолимой справедливости этого афоризма. Теперь он, по крайней мере, не кривя душой, мог сказать то, что думал — и о Синявском с Даниэлем. Он согласился выступить по этому поводу на московском собрании писателей, которое проходило накануне уже объявленного суда. К.М. здесь не жалел слов осуждения по адресу двух злополучных сочинителей. Тем больше оснований у него было возражать против суда над ними: надо просто-напросто выпроводить их из страны, как Тарсиса, из общества людей, которое они не уважают и мелко ненавидят. По сути они с Тарсисом — три сапога пара, оттенки только в литературной квалификации.

Многие ему аплодировали. На фоне сурового тюремного заключения, которое грозило обвиняемым, предложение казалось и обоснованным, и гуманным.

Когда суд все-таки состоялся и закончился суровым приговором, он направил письмо в секретариат ССП, Маркову. Напомнив о своем выступлении перед московскими писателями, а также о том, что он, разумеется, подал там голос за исключение Синявского из ССП, он предложил, чтобы правление писательского союза «ходатайствовало о замене вынесенного судом приговора на иной, более соответствующий характеру и тяжести совершенных деяний».

Свое предложение «не сажать, а выслать», изложенное в документе, предназначенном для сугубо внутреннего пользования, он тут же подкрепил интервью для АПН: «Я придерживался этого взгляда до суда над ними и продолжаю придерживаться его и сейчас». Посылая текст в АПН, сопроводил его письмом председателю агентства, редактору «Комсомолки» военных лет Борису Буркову: «Все, что я сказал, несколько раз тщательно обдумано мною и способно принести пользу именно в этом виде, без всяких вариаций или, наоборот, смягчений». Поставил для верности дату — 26 февраля 1966.

Что говорить, он тогда чувствовал себя чуть ли не героем. Пошел против течения. Ему не приходило в голову тогда, как видно, и «Комсомолке», что высылка из страны, тем более лишение гражданства — наказание ничуть не менее страшное, чем тюрьма, лагерь. Он впервые услышит об этом от Ларисы, к которой явится с отчетом о своих деяниях и тайной надеждой заслужить по хвалу. То же самое, будто сговорившись, скажет ему потом и Нина Павловна в ответ на его сакраментальный вопрос: «Ну, что я еще плохого сделал?»

Когда он задавал этот вопрос, все вокруг, все его «боярско-еврейское подворье», как он в шутку называл своих друзей и близких, знали: К.М. дошел до ручки.

Так оно и было. Вместо ожидаемого одобрения он услышал от Ларисы нечто прямо противоположное. Слова были те же по сути, что во время их первого разговора по этому поводу.

Что же касается сакраментального его вопроса, то на него, по бытовавшему среди его окружения поверью, ответить, не отводя глаз, могла только одна Нина Павловна. И она ответила.

Нет, это не был монолог. Он мог, конечно, представить себе Нину Павловну произносящей монологи. Да еще какие! Темперамента ей было не занимать. На этот раз она обошлась несколькими фразами, к тому же не кряду сказанными. Но каждая отдавалась в нем так, словно это удар молотка по гвоздю, вбиваемому в тело. Но не был он Христом, скорее уж благочестивым разбойником рядом с ним, вдруг прозревшим всю бездну своих прегрешений.

Нина Павловна всегда была для него глазком, стеклышком, сквозь которое прозревал он существование другого, почти невообразимого, но еще недавно до жути реального мира, в котором она провела недобрую треть своей жизни.

Ей рассказывали, что суд превратился в своеобразную словесную дуэль. Это был диспут профессионалов-филологов с юристами, которые в этой сфере чувствовали себя, как коровы на льду. Им не в чем было уличать подсудимых — ведь они подтвердили, что эти книги действительно написаны ими. Только не признавали в этом никакого преступления.

— К.М., — вдруг взорвалась Нина Павловна, — но разве это не фантастика! Ведь вам же тоже не дают напечатать ваши «Сто дней». Что говорят, как мордуют вас. И еще неизвестно, сколько будут мордовать. Вас, с вашими регалиями, вашим именем и репутацией! Вы говорите, что это во славу подвига народного, а они, — тут она показала движением головы куда-то вбок и наверх, — твердят, что это — поношение. Выходит, они считают, что и вы против советской власти, что ли?

— Говорят, и Синявский заявил судье, что у него с советской властью чисто стилистические разногласия, — заключила, словно извиняясь этой шуткой за свою вспышку. — А судья ему в ответ: «Может быть, через двадцать лет так оно и окажется, а сейчас вы — преступник, и мы вас будем судить...»

— Вы откиньте-ка, К.М., двадцать лет. Что мы получим?

Он откинул. Он откинул их даже не от сегодняшнего дня, а от 1956 года, года XX съезда. Получился 1936 страшный год.

Судья, наверное, и сам не представлял, какой приговор он произнес этим своим доводом. И кому — себе!..

Тридцать шестой, пятьдесят шестой — годы действий двух его Я из не написанной еще пьесы. Между ними лежала пропасть. Он не мог не задумываться о том, каким будет его следующее Я в году, скажем, 1976. И как будут люди судить о человеке, который осуждает тех, кто в сущности делает то же самое, что и он.

Уйдя глубоко в себя, он уже не знал, кто это сказал — он сам или Нина Павловна. Очнулся, встряхнул головой, чтобы отогнать наваждение. Да нет, как можно сравнивать. Он выступает с открытым забралом, «иду на вы», он готов перед любым судом, вплоть до божьего, отстаивать каждое свое слово. А эти встают в позу, потому что их поймали за руку. Он публично ведет серьезный разговор о больных вещах, а они компрометируют саму возможность этого своим фиглярством, ерничаньем. Это все он тоже, естественно, сказал про себя, и ввиду того, что уже ни помочь, ни изменить случившееся ни в ту, ни в иную сторону уже было невозможно, просто похоронил в душе, — надеясь, что навсегда, — само воспоминание об этом эпизоде.

Теперь на фоне драматических чехословацких событий все возникло вновь.

В разговоре с Зимяниным в «Правде», когда он уже почти готов был пойти на уступки, он вдруг понял, что мешало ему всю жизнь. Почему-то последнюю границу между добром и злом он всегда позволял проводить за себя кому-то свыше. Словно бы какую-то кнопку в нем нажимали в нужный момент. И тогда — конец колебаниям, раздумьям, все решается само собой и остается только идти, по возможности, быстрее и тверже по указанному пути. Так было с космополитами и с «Чужой тенью», так было потом, совсем уж в другую эру, в разгар венгерских событий... Так случилось, черт побери, и с Синявским и Даниэлем... На грани этого он оказался и теперь...

Почувствовав бесполезность дальнейшего разговора, Зимянин, маленький, взъерошенный, нахохлившийся, как воробей, вдруг спросил сердито:

— С женой, небось, посоветовался?

— И с женой, — упрямо качнул головой К.М., подумав про себя, что с женой советоваться, пожалуй, все-таки правильнее, чем с казенным дядей.

Впервые в его жизни между его позицией и позицией партии — именно от ее имени говорил с ним Зимянин, а уж он-то умел, как никто другой, придать своим утверждениям необходимую словесную экипировку — возник некий зазор по его, К.М. вине, вернее, инициативе. И оттого набегало, вновь и вновь, непрошеное и гонимое прочь чувство одиночества, неприкаянности, какого-то сиротства. Еще не поздно сказать шоферу, чтобы развернулся у Белорусского и остановил машину у подъезда «Правды». Подняться на пятый этаж и подписать у Зимянина это самое письмо. Облегчить душу. Снять камень с души.

Тяжелый, ничего не скажешь, был разговор у Зимянина. Но сколько их было у него в жизни! И каждый раз в конце становилось ясно и очевидно, как божий день, что другого решения, другого пути, другой истины, чем та, на которую тебе указывают в очередном высоком кабинете, существовать просто не может. И если ты еще час или минуту назад возражал, спорил, что-то чему-то противопоставлял, то только потому, что до этой самой минуты чего-то не понимал, не знал каких-то фактов и обстоятельств, которые как раз и играют решающую роль. И тогда тебе только и оставалось, что взять, образно говоря, под козырек, повернуться на сто восемьдесят градусов и четким военным шагом идти и исполнять. Нет, не из-под палки, не под нажимом, а добровольно и сознательно, со вкусом и со всем присущим тебе мастерством. Не на этом ликите и стоит все твое творчество?! — разгулялась было вырвавшаяся из-под контроля мысль, влетела с разбегу в запретное и отпрянула.

Он умел взять себя в руки. Сейчас надо было думать не о прошлом, а о будущем. Его будущее — это «Сто первых дней», которые под его рукой превращались в тысячу...

Отныне — делать и писать только то, в чем ты абсолютно, на сто процентов уверен! Работа над дневниками давала такую уверенность. Он имел тут дело с тем, что видел и пережил сам. И он мог прокомментировать теперь увиденное четверть века назад с точки зрения своего сегодняшнего видения. Это было увлекательнейшее, ни с чем не сравнимое занятие. Пока пьеса «Мои четыре Я» варится в твоем воображении, ты сопрягаешь времена, сидя над этими видавшими виды тетрадками и блокнотами.

Здесь его кредо, здесь его ответ. И Григоренко, и Зимянину.

Первое, что он сделает, вернувшись домой из «Правды», — сядет за очередное письмо Брежневу. В нем еще раз напомнит Генеральному секретарю злополучную историю своей рукописи. Как в октябре 1966 года он впервые обратил-

ся в ЦК КПСС, лично к нему в связи с произволом Главлита, который запретил печатать «Сто первых дней» и остановил производство почти готового к печати номера «Нового мира». Как потом секретарь ЦК КПСС Демичев, после его, Симонова, встречи с Брежневым, в ходе которой, правда, прямо не упоминалось о рукописи, обнадежил его, сказав, что он не должен считать свою работу запрещенной и что речь идет просто о внесении некоторых корректив, о которых надо поговорить.

В ожидании этого разговора прошло десять месяцев. За это время он дважды перечел свою собственную работу и даже сделал, идя навстречу возможным замечаниям, некоторые купюры.

Он упомянет об этих поправках Демичеву, после чего пройдет еще пять месяцев — и опять полное молчание.

Пришлось, — писал он теперь Генсеку, — снова обратиться в высшую инстанцию. И в этом обращении были, между прочим, такие слова: «Мне с каждым днем все тяжелее жить и работать. Я не могу понять, кому и зачем нужно ставить советского писателя во все более безвыходное положение и делать при этом вид, что ничего особенного не происходит».

«Не скрою, я не ожидал скорого ответа на этот мой вопль души, но дал себе слово, что в любом случае не напомню Вам о себе раньше чем через год, и вот этот год прошел... — диктовал он Нине Павловне. — Мне передавали, что Вы обещали решить затянувшийся вопрос с книгой, лично прочитав ее, и я отправил Вам через товарища Александрова-Агентова экземпляр верстки вместе со вступлением к вещи и списком использованных в ней материалов и архивных документов...

Со времени моего первого обращения к Вам пошел третий год. Я хорошо понимаю всю меру Вашей занятости, но как же мне быть, если без Вас этого вопроса никто решить не может и не хочет?..»

Программа-минимум была — выбить все-таки разрешение на публикацию «Ста дней», без чего он просто не мог, несмотря на всю хваленую силу воли, заниматься чем-либо другим. Программа-максимум — быть еще раз принятым Генсеком и поговорить о Чехословакии. Напомнить ему его слова о крови...

Иногда казалось — скажи ему кто-нибудь наверняка, так, чтобы он свято поверил, что надо делать, и он будет это делать, чего бы ему ни стоило. Оставит дом свой и семью свою, если надо. Отречется от всего, что делал до сих пор, и все будет делать наоборот, по-другому, по-новому, если надо. Изменит свои привычки, будет ходить в рубище, будет сидеть на воде и хлебе, если надо.

Со стороны глядя, казалось, чего, собственно, ему не хватает для того, чтобы жить в комфорте, проще говоря, кататься как сыр в масле до конца дней своих, долгими они будут или короткими. Денег не занимать. Если предположить, что с сего дня он больше ни слова не напишет или, что более правдоподобно, напишет, но не сможет напечатать, то и тогда одними переизданиями, ну и тем, что на счету, он сможет содержать себя, семью, всех своих близких и даже не очень близких, но зависящих от него, до скончания века... Нет, ему и тогда, когда он начинал, не надо было, как Булгакову или Мандельштаму, одалживаться у знакомых, просить о какой-нибудь должности, пусть самой скромной, лишь бы оплачиваемой... Тем более теперь. Есть, кажется, все. Есть люди, которые за зарплату не скромнее той, что они получали бы от государства, с удовольствием помогают ему в его делах и работе, и в хлопотах по дому, и в разъездах по стране. В качестве секретарей, стенографисток, юридических консультантов. Рас-

ставшись понемногу со всеми казенными, то есть оплачиваемыми службами, он, не заметив того, сам стал учреждением. Недаром близкие любят повторять: К.М. — это не человек, это институт. Пожалуй, английское «институшн» даже точнее передает, во что он превратился.

Так вот, если бы было надо, если бы кто-либо уверил его сегодня, что это правильно, он порвал бы со всем этим и повел бы совсем другую жизнь. Но получалось, что она-то, жизнь, как раз и убеждала его — каждый день заново, — что вести ее внешне надо так же, как он и ведет. Только чтобы все это — его силы, его средства, его опыт, его положение и авторитет — служили одному — искать и писать правду и творить добро. Довольно дорогое занятие, так что все, что у него есть, ему отнюдь не мешает.

Прометей был прикован к скале. К.М. же чувствовал себя так, словно его нанизали на струну времени. Туго натянутая, словно парусный фал на ветру, она, как и он, колеблется и дрожит от каждого порыва и дуновения, сотрясая все его существо и существование.

Обнаружив себя автором сразу нескольких лежащих «на полке» писаний, он стал лучше понимать состояние тех его великих предшественников, наследие которых взялся опекать. То состояние, в котором он оказался на шестом уже десятке лет, а они обретали, в сущности, всю свою жизнь.

Булгаков... Ему теперь уже невозможно было дать себе отчет, как случилось, что именно он много-много лет назад оказался председателем комиссии по литературному наследию Мастера.

Нина Павловна, по его просьбе, повозившись в архивах, положила перед ним толстую папку с надписью «В.С.» за 1961 год с закладкой на странице 143. Здесь копия его письма в секретариат Союза писателей. Тогда как раз застопорилось в очередной раз издание однотомника Булгакова, и Симонов, пробивая это дело, счел необходимым напомнить историю своих взаимоотношений с Булгаковым: «Я никогда не был лично знаком, и по характеру моей собственной работы в литературе Булгаков был мне достаточно далек, но когда мне предложили стать председателем этой комиссии, я согласился, потому что независимо от моих литературных симпатий и пристрастий существует творчество Михаила Булгакова как объективная и достаточно большая литературная ценность...» Тогда ему казалось, что эдакое своеобразное алиби сделает убедительнее его возмущение по поводу проволочек: «Если секретариат решит не издавать этот однотомник, давайте считать тогда комиссию по литературному наследию Булгакова распущенной».

Резкость помогла. Но перечитывая теперь письмо, он с грустью обнаруживал, что помимо таких строк, которыми можно было только гордиться, в письме были и другие. Подумать только, помогая изданию однотомника Булгакова — грех было бы упустить такой повод, как семидесятилетие писателя, — он предлагал включить в него «Дни Турбиных», «Бег», «Последние дни господина де Мольера», «Записки юного врача», но в то же время считал нецелесообразным издавать роман «Белая гвардия».

Пяти лет не прошло, к счастью, как вышел второй однотомник с «Театральным романом» и «Белой гвардией» под его, К.М., редакцией и с его предисловием.

Да, роман вышел, а письмо останется в этой папке навсегда. Увы, из письма, как из песни, слова не выкинешь.

Что же, пусть тогда потомки прочитают и другое письмо — Семену Ляндресу, отцу Юлиана Семенова, который и познакомил его со своим родителем, не-

когда помощником Бухарина, только после двадцатого съезда вернувшимся в Москву из мест не столь отдаленных. За этим письмом далеко в архивы лезть не надо. Оно было написано и отправлено с год назад и потому не успело еще попасть в надежно переплетенные фолианты «Всего сделанного». Вот оно, это письмо, и вот они, те строки, которые он имеет в виду: «Надо рано или поздно напечатать все, что вышло из-под пера Булгакова, чтобы была ясна полная картина его творчества, его взглядов, и никакая избирательность ни в какую сторону тут не полезна. Она может быть полезна только для конъюнктурщиков — сегодня для одного, завтра — для другого».

Хорошо сказано. Жаль только — будем откровенны с самими собой, — что весь этот пыл — по поводу булгаковского «Батума», пьесы о молодом Сталине, которая, по мнению некоторых ханжей-чистоплюев, выставляет Мастера якобы в неправильном свете. Но тут, наверное, снова уместно вспомнить: из песни слова не выкинешь. И вообще, если уж всерьез говорить и писать о Булгакове, темы «Сталин в жизни Булгакова, в его судьбе» никак не минешь.

Он отогнал от себя дразнящую мысль, что, может, эта тема и была когда-то той, что особенно потянула его к Булгакову. Потом пропала, но вернулась вновь. Нет, никуда, видно, не уйдешь от признания: окружающий нас мир — лишь зеркало, в котором мы все время видим себя.

Судьба Булгакова пугающе притягивала его непохожестью на его собственную. Хотя они оба были из дворянского племени, голубой, или гнилой, как любила называть Лариса, крови. К.М. пытался вспомнить, что же он в молодости знал о Булгакове и как к нему относился. Всплывало в памяти само это словосочетание «Дни Турбиных», почти сливаясь с другим — Художественный театр. И еще — неумение примирить два, казалось бы, полностью исключающие друг друга обстоятельства — уничтожающую брань по адресу Булгакова в прессе и перманентное присутствие его пьесы в репертуаре «главного театра» страны.

Так что председательствовать в комиссии по литературному наследию Булгакова он в 1956 году согласился скорее по инерции, в силу безотказности своей. Привлекали его по-читательски прежде всего те вещи, которые и с точки зрения цензуры были проходимее. Такие же его рассказы, как, к примеру, «Собачье сердце», или «Зойкина квартира», или «Роковые яйца», казались какой-то досадной гримасой в его творчестве. Ему, кто всегда шел по гребню событий, торопился первым откликнуться на самую что ни на есть злобу дня, хотелось угадать, что же побуждало Булгакова выбирать, одну вслед за другой, такие далекие от реального хода вещей темы, к тому же заведомо непроходимые.

Настоящее же «включение» произошло лишь тогда, когда Елена Сергеевна, Маргарита, познакомила его с булгаковским «письмом правительству», помеченным началом апреля 1930 года. Пожалуй, даже и не само письмо, а состоявшийся вскоре после его отправки в Кремль телефонный разговор Булгакова со Сталиным тут виною. Все, что было связано со Сталиным, обладало для Симонова своего рода отрицательным обаянием. Притягивало даже своей отталкивающей стороной.

Что-то наконец приоткрылось для него в Булгакове, показалось близким, когда он слушал рассказ Елены Сергеевны, внимал ее не притупленному временем волнению. Само это волнение подстегивало его интерес. Складывалось впечатление, что вдова художника, всю жизнь страдавшего от того отношения к искусству, которое насаждалось в сталинские времена, не склонна винить во всем только Сталина. Была скорее благодарна ему за то, что Мише после это-

го звонка дали все-таки работу, он мог продолжать писать. И если результаты этого разговора с вождем были тем не менее столь скромны, больше виноват был, может быть, даже сам Миша, который растерялся и не смог сказать всего, что надо было, что его мучило. По свидетельству Елены Сергеевны, он этой-то своей растерянностью и казнился больше всего. Она била по его самолюбию, которого Михаилу Афанасьевичу было не занимать. Елена Сергеевна, волнуясь, рассказывала, К.М., сопереживая ей, слушал. Но каждому в этой истории слышалось свое.

В пору, когда состоялся разговор Сталина с Булгаковым, его, Симонова, Я, можно сказать, еще не существовало. Не случайно, раздумывая над своей будущей пьесой о четырех Я, он в качестве первой точки отсчета взял 1936 год. А что — 1930? Долговязый пятнадцатилетний подросток, сочиняющий в ФЗУ, куда он ушел из средней школы, первые беспомощные стихи — подражание то Некрасову, то Киплингу.

За десять лет, которые отделяли этот разговор от смерти Мастера в 1940 году, были написаны три его романа из четырех. Сам Костя за эти же годы превратился из гадкого утенка во что-то вроде молодого лебедя. «Генерал», «Парень из нашего города», очерки, репортажи и стихи из Монголии, Халхин-Гол.

Боже мой, какие же разные они были, эти десять лет, у него и у Булгакова! Какие непохожие друг на друга миры и какое разное восприятие их. А между тем это была та же самая Москва, та же самая страна, да и сфера обитания та же самая — московские литературные круги... Как будто бы стояли в одной и той же зеркальной зале, смотрели в одни и те же зеркала, а видели разное. Булгаковские зеркала — из комнаты смеха. Это совершенно ясно, это — так задумано. Беседуя с Еленой Сергеевной, он понимал, что Мастер просто не мог воспринимать и отражать жизнь иначе, чем гротесково. Точно так же, как он сам не мог видеть и писать ее иначе, чем романтически. Соблазнительно было утвердиться в выводе, что все дело в этой манере видения, в том, как поставлен у тебя хрусталик в глазу. Быстро входивший в моду глазной хирург Слава Федоров не раз разъяснял ему физическую природу тех аномалий, в результате которых человек иной раз видит все окружающее вкривь и вкось.

Увы, в их с Булгаковым случае было нечто другое. Упрямо напрашивался вывод, что кто-то из них двоих был попросту слеп. Добросовестность, сидевшая у него в крови, требовала признать, что этим слепцом был он сам. Добро бы — только в это, последнее в жизни Булгакова, десятилетие, когда он, Симонов, был, в сущности, еще несмышленышем.

В «Мастере и Маргарите» его больше всего привлекали сцены бесчинств Маргариты в квартире критика Латунского.

Боже мой, сколько же натерпелась от этой «критической» нечисти наша литература и вся культура! Сколько баталий с ней имел и он, Симонов, на протяжении последовавших за смертью Булгакова десятилетий. И сколько раз он вольно, а чаще невольно, по недоразумению, недомыслию подыгрывал ей. И все годы в скромной квартире, под опекой этой все еще неотразимой женщины, красавицы, если вспомнить любимое слово Булгакова, хранилось такое, что одним махом давало ответы на прошлые и будущие вопросы.

Да, да, этой книгой все было предсказано на многие годы вперед, на десятилетия. Созывались съезды, пленумы, читательские конференции, совещания то по одному, то по другому ужасно новому и актуальному вопросу; устраивались проработки «в закрытом кругу». Сколько раз он сам на них ораторствовал со

святою уверенностью, что являет миру некое новое слово. Тут уже заранее и наперед была припечатана изначальная абсурдность и бесчеловечность всех этих людоедских «идеологических битв», которые начинались с призывов «ударить и крепко ударить» по очередной «пилатчине», по «воинствующим старообрядцам», которые «протаскивают» ее в печать, а заканчивались «стуком в окно».

Перечитывая рукопись, К.М. представлял себе, с каким, должно быть, мстительным наслаждением выписывал уже смертельно больной Булгаков сцены расправ и возмездий, учиненных голой, намазанной какой-то колдовской мазью Маргаритой сначала в квартире пресловутого Латунского, у которого, конечно же, имелся прототип в жизни, а затем во всем доме Драмлита, начиненном бесчисленными, как крысиное племя, латунскими из так называемого Массолита, то есть «одной из крупнейших московских литературных ассоциаций» — Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников... Маргарита с жадностью читала на дверях квартир таблички с именами и под свои собственные хищные задушенные вопли, с трясущимися от нетерпения руками, нагая и невидимая, крушила с обретенной по волшебству сатанинской силой все, что ни попадалось ей под руку: рояль так рояль, который истошно выл под ударами молотка; зеркальный шкаф так шкаф, который она вместе со всем гардеробом ненавистного критика залила густою струей чернил. И все ей казалось, что мало, что результаты получаются какие-то мизерные.

Он, К.М., испытывал то же жгучее наслаждение, что и Маргарита, видя, как она бьет застекленные фотографии, кухонным ножом режет простыни и, открыв на кухне и в ванной все краны, учиняет в доме вселенский потоп, а потом и один из знаменитых булгаковских пожаров. Когда зараженные ее примером Коровьев, Кот и Азазелло нечто подобное стали творить в ресторане писательского клуба, известного как дом тетки Грибоедова, К.М. ощущал себя одним из рыцарей этого неописуемого воинства Воланда. Ликовал, когда из расстрелянного милиционерами примуса Бегемота ударил столб огня и, гудя, как будто его кто-то раздувал, пошел внутрь дома.

Порою всерьез подумывалось, что, будь этот последний и самый главный роман Булгакова напечатан при своем рождении, многое страшное из того, что им предсказано миру культуры, могло бы не случиться. Когда он поделился этими мыслями с Еленой Сергеевной, живой булгаковской Маргаритой, она зарделась и не сказала ни слова. Когда он о том же самом поведал Ларисе и Нине Павловне, они только что не подняли его на смех. Лариса откровенно, Нина Павловна, естественно, деликатнее. Это была пора, когда его, как председателя комиссии по литературному наследию Булгакова, стараниями подошла наконец очередь напечатать в СССР и этот роман, давно уже изданный на Западе. И боже мой, что же вытворяли с рукописью в журнале «Москва»! Нет, не Поповкин, конечно, и сотоварищи, а там, «наверху», в кащеевом романовском царстве, где он, К.М., не первый уже год безуспешно сражался за свои дневники.

Кое-чем он уже поступился, например, наотмашь отрицательной трактовкой молотовско-риббентроповского пакта 1939 года. С документами в руках, бог ведает их достоверность, латунские из историко-архивного управления МИД убедили-таки его, что, мол, тут он хватил через край. Своим распоряжаться проще, потому что это свое, тут достаточно посоветоваться с самим собой. Но как быть с этой булгаковской вещью, которой впервые предстояло явиться очам советских читателей. Стоять насмерть и, быть может, еще на неизвестное число лет отложить свидание рукописи с читателем? Или все же пойти на кое-

какие уступки? Постоянно приходилось держать совет с Еленой Сергеевной. И неистовая Маргарита, которая с такой силой презрения крушила в романе фантасмагорические миры латунских, тут поникала своей все еще пышной, все еще золотистой главой и шептала: «Купюры — это еще не так страшно, потом можно будет все восстановить, главное, чтобы не было искажений, вписываний».

Условились, что роману будет предпослана рубрика: журнальный вариант. Как бы странно это ни звучало — с опозданием более чем в четверть века — и журнальный вариант!

И это еще не все. Получалось так, что в предисловии к роману, которое Елена Сергеевна попросила написать Симонова, надо было обязательно как-то оговорить, почему, мол, в Москве конца двадцатых годов, «когда уже и первая пятилетка, и коллективизация, и борьба с уклонами», Булгаков не смог увидеть ничего, кроме воландовской шайки, писательских свар, обывательских предрассудков рядовой публики. К.М. надо было как-то объяснить это и для себя. Ведь именно в ту пору, когда Булгаков работал над своим «Мастером», появились его, симоновские, «Генерал», «Северная песня» — «Мужчине — на кой ему черт порошки», «Парень из нашего города». Так что когда он писал, что «это — один из примеров, говорящих об ограниченности взглядов писателя на современность», он сам не мог себе дать отчет, что значат его строки — своеобразный «пароль», без которого роману невозможно будет пройти в зону публикаций, или — искреннее отражение его размышлений по этому поводу. Подумав, дописал: «Мы иногда колеблемся произнести слова «ограниченность взгляда», говоря о большом таланте. И напрасно. Ибо они, не умаляя таланта, отражают реальность, помогают понять действительное место писателя в истории литературы».

Львиную долю своего сравнительно короткого вступления к роману он отдал... образу Понтия Пилата. Роман в романе, «беспощадно точный рассказ об одном дне римского прокуратора Иудеи». Ничтожное, с точки зрения масштабов его императорской ответственности, событие — встреча с нищим проповедником Иешуа и приговор ему — становится провиденциальной вехой в жизни и судьбе всесильного наместника Рима. Оказывается, впрочем, что он не так уж и всесилен. В душе ведь Понтий Пилат симпатизирует Иешуа и его наивной вере в силу доброго людского начала, убежден в его невиновности и хотел бы спасти оклеветанного доносчиками странника. Но не осмеливается это сделать, ибо Иешуа обвинен фарисеями и начетчиками в оскорблении императорской власти, а потворство такому преступлению может стоить, как минимум, карьеры самому прокуратору. Злоба дня здесь сталкивается с предчувствиями трансцендентальных последствий. Сиюминутное, суетное стоит на пути у вечного блаженства и... побеждает.

«Нравственная дилемма, — пишет К.М., — заставляющая читателя думать над собой и собственной жизнью, думать о том, что такое, с точки зрения высших нравственных критериев, мужество и трусость и где и как определяется в нашей жизни мера того и другого».

Перечитав эти строки, К.М. подумал было, что у него они звучат, пожалуй, слишком пылко и оттого наивно. Но не стал их вычеркивать. С некоторых пор начал приучать себя не бояться и не стыдиться исповедальности. Так, видно, было ему на роду написано, чтобы по его писаниям и... деяниям люди и в будущем могли судить о времени, которое он прожил и о нем самом заодно. Не будем же ничего таить от них.

Брошенные как бы вскользь блаженным проповедником Понтию Пилату слова о трусости — одном из самых главных человеческих пороков — задели его не меньше, чем булгаковского Пилата, у которого они всплывали потом в памяти с маниакальной навязчивостью.

О чем думал Понтий Пилат при этом? О чем думал он, К.М.? И о чем, вернее, о ком думал Булгаков? Почему, собственно, привлекла внимание Булгакова фигура полумифического Понтия Пилата, коль скоро в жизни он был так занят Сталиным? Уж что-что, а угрызения совести были присущи Сталину меньше, чем кому бы то ни было. Вернее, вообще не были ему присуши. При мысли о Сталине в воображении Булгакова должны были возникать совсем другие видения: Чингиз-хана, например, или Тамерлана.

Как раз в это время К.М. одолевал «Историю государства Российского» Карамзина. В пятом томе, в главе, посвященной хромому Тимуру, наткнулся на такие строки: «Он в первом цвете юности замыслил... избавить отечество от неволи — восстановить величие оного, наконец, покорить вселенную и громом славы жить в памяти веков. Вздумал и совершил. Явление сих исполинов мира, безжалостно убивающих миллионы, ненасытимых истреблением и разрушающих здания гражданских обществ для основания новых, ничем не лучших, есть тайна провидения. Движимые внутренним беспокойством духа, они стремятся от трудного к труднейшему, губят людей и в награду от них требуют себе названия великих».

Напав на эти строки, он почувствовал, как у него зашевелились волосы на голове, — такое немыслимое предвидение! — и окончательно утвердился в своем представлении о Сталине, как о великом, но страшном. Он потом не раз вкладывал эту фразу в уста своих героев, повторял ее в письмах и выступлениях. Логично было бы и у Булгакова, испившего свою чашу в пору пышного цветения культа личности, встретить такое отношение. С тем большим недоумением погружался он, благодаря рассказам Елены Сергеевны, благодаря массе архивных материалов, в историю работы Мастера над пьесой о Сталине, которая шла практически в ту же пору, когда он создавал самое дорогое для него, да и для всех его читателей творение — роман «Мастер и Маргарита».

По мере того как К.М. переваривал все эти материалы, среди которых была и сама пьеса «Батум» о молодости Сталина, чувство недоумения сменялось своеобразным облегчением. Как и всегда, разбираясь в других, он начинал больше понимать самого себя. Сегодняшний Симонов, К.М., вглядывался не только в медленно уходящего Булгакова, — в Костю, в Военкора.

В самом деле, сколько пришлось ему за последние полтора десятка лет услышать тайных и явных издевок и оскорблений, наветов по поводу небескорыстного, мол, увлечения Сталиным, которое-де потом подозрительно быстро сменилось безоговорочным его осуждением. Легко, дескать, да и безопасно пинать мертвого льва. Объективно говоря, канва его биографии дает основания для таких обвинений. Если, конечно, скользить по касательной, не делая попыток заглянуть вовнутрь. Но кому сейчас досуг заглядывать вовнутрь? Он замечал, что многие, будь то справа, будь то слева, все более приучались следовать первому впечатлению, не давая себе труда углубляться в «за» и «против». Литература, например, как и в прежние, сталинские или хрущевские времена, была полна манекенов. Только те, что раньше разгуливали со знаком плюс, теперь были заклеймены минусом. И наоборот. Это в равной мере относилось к персонажам тех или иных художественных произведений и к их авторам. У него, Симонова,

были ярые апологеты, которые вопреки даже его настояниям каждый раз поднимали в прессе бучу, если кто-то пытался покуситься на их кумира. Но были и зоилы, тоже, кстати, справа и слева, которые пользовались каждой возможностью, чтобы облить его грязью. Порою ему казалось, что стихотворение «Если родилась красивой, значит, будешь век счастливой» он написал не о Серовой, а о самом себе: «Если напоказ им не рыдала, даже не заметят, как страдала». Говорил же Флобер: Эмма — это я.

Что ж, пускай. Но вот Булгаков. Для него пришла уже пора явиться на суд потомков. В том числе и за «Батум». Те, кто возражает против обнародования пьесы Булгакова о юности Сталина, видят в ней, видимо, что-то зазорное, что-то компрометирующее неподкупного Мастера. Старая игра в плюсы и минусы, эффект черно-белого телевизора. Вольно или невольно, но они хотят к Булгакову приложить ту же мерку, какой иные доброхоты давно уже измерили его, Симонова — мол, как и все в ту пору, Булгаков писал о Сталине и с совершенно определенными целями.

Как тогда быть с тем, что Елена Сергеевна и сегодня, не без вызова в голосе, заявляет, что страшно любит эту пьесу Булгакова, жалеет, что она не была напечатана, как только написалась?

Пьеса не произвела на К.М. особого впечатления. Не тот это случай, когда Булгакова можно узнать по любой строке. Главное тут было в самом факте, в том, что такая пьеса была написана. И почему написана. По словам Елены Сергеевны, первая мысль о ней появилась у Булгакова еще в 1936 году. С момента первого и последнего телефонного разговора Булгакова со Сталиным прошло тогда уже более пяти лет, а воспоминания были живы в сознании Мастера. В том, что из разговора этого не воспоследовало особых результатов, он склонен был скорее упрекать себя. Слишком уж неожидан был этот разговор, и голос Сталина в трубке звучал почти неправдоподобно знакомым. Приходилось все время делать над собой усилие, чтобы продолжать верить, что это никакой не розыгрыш, а именно со Сталиным разговор.

Сталин все понимал, хотел и мог бы помочь. Но он не знал да и не мог знать всех интриг, тонкостей и хитросплетений.

На ту же волну, по рассказам Елены Сергеевны, настраивал Булгакова и другой опыт общения со Сталиным — правда, косвенный. В одну страшную минуту, в 1935 году к ним пришла Ахматова и сказала, что у нее ночью арестовали мужа и сына. Сели за машинку писать письмо Сталину. Написал его, по существу, Булгаков: Анна Андреевна была не в себе. Она потом только перебелила письмо от руки. Скорый и основательный успех письма — и Пунин, и Лев Гумилев были выпущены на свободу — порадовал сам по себе. Но он еще и укрепил в Булгакове уверенность, что он и Сталин способны понять друг друга.

Дела у Михаила Афанасьевича тогда вообще шли так, что они могли не представляться ему безусловно ужасными, как нам теперь. Да, в театрах по-прежнему шли только «Дни Турбиных». Булгакову по-прежнему не удавалось ни строчки напечатать. Но многое было на мази. И Михаил Афанасьевич, по словам Елены Сергеевны, иногда сам себе напоминал тучу, которая вот-вот прольется благодатным дождем, разразится буйною и озорной грозой с молниями и громом. Что же касается тех громов и молний, которые в эту пору бушевали на страницах печати, получалось, что они-то как раз били по врагам Булгакова. И то сказать, ненавистников в мире искусства и литературы у него было столько, что в кого ни попади удар, направляемый сверху, все будет его враг. К.М. читал

в дневниках Елены Сергеевны, которые она великодушно предоставила в его распоряжение: «В “Правде” одна статья за другой, в которых вверх тормашками летят один за другим. ...Да, пришло возмездие. В газетах очень дурно о Киршоне и об Афиногенове... Тренев рассказал, что на собрании драматургов вытащили к ответу Литовского...» Не прототип ли пресловутого Латунского? Ведь занятия романом и пьесой «Батум» шли параллельно. Все эти люди, — и сейчас еще волновалась Елена Сергеевна, — они же травили Мишу. Он открывал газету и с торжеством находил там имена своих врагов среди избиваемых.

К.М. осенило. Постойте, сказал он себе, да ведь образ Сталина, каким он Булгакову представлялся, и надо искать в романе! В романе, а совсем не в пьесе, которая задумывалась в одну пору, писалась в другую, а заканчивалась в третью, всего за полгода до смерти Мастера. От такой догадки кровь ударила в лицо. Дело было на даче в Красной Пахре. Он вышел на волю. Стояла зима. Лютовал мороз. От прерывистого дыхания мгновенно заиндевело все: ворс на его старой меховой ушанке, выбившиеся из-под нее короткие волосы, усы. Ресницы, превратившиеся в крохотные сосульки, тянули веки вниз. Казалось, перед ним — сплошное, подернутое морозом стекло. Мысли же его и воображение, продолжавшие лихорадочно работать под воздействием счастливой догадки, были глазком в стекле, проделанным дыханием, сквозь который ему вдруг стало видно далеко-далеко.

Быть может, впервые что-то похожее на симпатию к Сталину Булгаков испытал тогда, когда тот обрушился на Троцкого. С Троцким у Михаила Афанасьевича были связаны самые мрачные ассоциации. В ранние послеоктябрьские годы он не раз выступал против Троцкого публично. Ненавидел его и пользовался, очевидно, взаимностью. Собственно говоря, все то, что пугало его в революции, связывалось именно с Троцким — такому дай волю, он всю страну превратит в сплошную казарму по-аракчеевски, нары заселит представителями духа, а останутся места — теми, кто еще не разучился или хотя бы мало-мальски научился думать. В надсмотрщики, в фельдфебели даст им шариковых. О Троцком он думал, когда писал «Собачье сердце» и «Багровый остров». Его же он поместил и в «Белой гвардии».

Выступить против Троцкого, когда его портретов и изваяний было едва ли не больше, чем ленинских, мог только недюжинной воли и смелости человек. В чем-то при этом он сам должен быть сродни этому бесу революции — иначе не хватит куража вступить с ним в смертельную схватку. Вся история восхождения Сталина для Булгакова была историей его борьбы с Троцким. Только если Сталин думал, что, отправив Троцкого в ссылку, а потом выслав его за границу, он его одолел, он ошибался. Но и то, что он способен был таким образом ошибаться, лишь увеличивало к нему симпатии. Жизнь от этого, увы, не делалась проще. Все, кто травил Булгакова, все так или иначе были троцкистами. Авербах, Литовцев, Керженцев и иже с ними. Вурдалаки, которым только бы напиться крови человека из чуждого им политического клана. Можно было только удивляться их приспособляемости и живучести. Их кумир повергнут, а они процветают да еще и топят в чернилах всех, кто не похож на них. Удивляться ли тому, что начавшаяся на стыке двадцатых и тридцатых годов физическая расправа Сталина над ними рождала, по воинственному и сегодня свидетельству Елены Сергеевны, что-то вроде торжества. Словом, у него, Булгакова, со Сталиным — общие враги. Но у Сталина есть средства с ними бороться, а у Булгакова нет. И остается — выводить их в книге да апеллировать к Самому. Но у того, в его

титанической работе, в этих бесконечных схватках с бесчисленным племенем пигмеев, своекорыстно вызванных Троцким к жизни, до него, Булгакова, просто не доходят руки. Хотя он, как и Булгаков, чувствует, постоянно ощущает невидимую нить, которая их связывает. Неслучайно он так часто бывает на «Днях Турбиных», не случайно сказал Ливанову, как ему нравится в его исполнении Алексей Турбин — «даже во сне снятся ваши коротко подстриженные усики».

Трудно утверждать, — продолжал фантазировать Симонов, — есть ли в романе Троцкий. Скорее всего нет. В ту пору, к которой относится действие в романе, тот уже сошел с открытой политической арены. Но повествование кишмя кишит его последышами и духовными детьми — эти латунские, степы лиходеевы, римские, сеплеяровы, алоизии могаровичи. Куда ни обрати свой взор, они всюду — в конторах, главках, киностудиях, домоуправлениях, партийных комитетах, театрах, проектных организациях. Они, быть может, даже и не подозревают о своем родстве с Троцким, но они — плоть от плоти, кровь от крови его, вызванное им к жизни племя — без глаз, без ушей, без обоняния, одни лишь рты да запах.

Если человек, тем более с таким могучим воображением, как у Булгакова, ненавидит что-то, он должен персонифицировать объект своей ненависти. Если он еще на что-то надеется, он ищет, с кем бы связать свою веру. Булгаков — и тут он был, увы, не единственный — связал ее, по крайней мере, на какое-то время со Сталиным. Трагический парадокс — или фарс? Получалось, что акции возмездия в отношении общих со Сталиным врагов совершались на фоне других событий, которые измученным воображением Мастера невольно воспринимались как знаки надежды. В сентябре 1935 года в армии были восстановлены чины. Дорогое Булгакову слово «офицер» вернулось в обиход, а такие слова, как, например, «капитан» или «полковник», слышались теперь не только со сцены, когда там шли «Дни Турбиных», но и в повседневном общении. Через год была «разрешена» милая его сердцу еще с детских киевских лет новогодняя елка, которая на протяжении семи предыдущих находилась, можно сказать, под арестом.

Это хорошо помнил и Симонов. Это все производило впечатление и на Костю, хотя чуждый, несмотря на свое дворянское происхождение, предрассудков прошлого, он больше ценил отмену карточек, чем появление новых офицерских чинов. Но общее ощущение подъема было — бог ты мой! — папанинцы, челюскинцы, метро в Москве, Турксиб, Магнитогорск, республика в Испании, защищать которую Костя-Алеша рвался всей душой. А тут какие-то последыши, двурушники, троцкисты. Всякие Зиновьевы и Радеки тянут в прошлое, ставят подножку шагающему вперед гиганту.

Умел, умел «вождь всех народов» спекулировать на естественной и необоримой тяге людей к созиданию, гуманизму, просвещению

Кто там шагает правой?
Левой! Левой! Левой!

Как тут не восславить, не обратить взоры к Сталину, который всегда впереди — и там, где стройка, и там, где схватка за воспетый в Интернационале «новый мир», не на жизнь, а на смерть... Смерть троцкистско-зиновьевско-бухаринским выродкам!!!

Теперешний Симонов не мог бы поручиться, что Костя ни разу не выкрикнул в какой-нибудь хорошо организованной толпе такой или подобной фразы.

Быть может, даже и голосовал раз, другой за исключение из комсомола детей очередного разоблаченного врага народа. Нелепо было бы, конечно, предположить нечто подобное относительно Булгакова. И все же какое-то время — Елена Сергеевна тому живой и беспристрастный свидетель — и он был на стороне карающей длани. И у него рождали оторопь и неприятие стихи Мандельштама:

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усищи,
И сияют его голенища.

— Он же написал такое ужасное стихотворение, — с почти не остывшим негодованием восклицала Елена Сергеевна.

Ссылка за такое воспринималась чуть ли не как акт справедливости. А последовавшее затем временное смягчение участи Мандельштама — как акт гуманности, милосердия.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

Сколько раз К.М. перечитывал это стихотворение с тех пор, как оно впервые попало ему в руки. И только сейчас пришло в голову — а не явилась ли вся линия Воланда и его свиты в романе своеобразным переосмыслением мандельштамовских строк? Даже спором с ними? Там, где поэт видел лишь злую прозу жизни, прозаику и драматургу виделось что-то сатанински-великое.

Нет, Сталин отнюдь не был в глазах Мастера этаким жрецом справедливости. Он был из того же племени, той же веры, что и его враги, но ему дано было возвыситься волей и духом над этой страшной стаей, которая все время пыталась уравнять его с собой. И он бился с тем самым злом, из которого вышел, в котором родился. Такие битвы бывают по-особому люты и непримиримы. В таких битвах не разбирают, куда ударить. Тут бывает просто невозможно отличить правого от виноватого, своего от чужого. Нет, Сталин не был в воображении Булгакова ангелом. Но не был им и Воланд. Он был сатаной. Сатана — это все же поэтичнее и возвышеннее, чем нетопырь или вурдалак. И свистящая, мяукающая, хнычащая свита его тоже не ангелы — полулюди, полубесы, полуживотные. И отнюдь не одни только добрые дела, если разобраться, творят они в лежащей у их ног Москве — все зависит от того, что прикажет Мессир. Отнюдь не ради помощи Мастеру и Маргарите они к нам прибыли, а просто провести в урочную пору ритуальный бал и найти для этого бала царицу, которая обязательно должна называться Маргаритой. Только познакомившись поближе с Мастером и его возлюбленной, они ненароком вступили на стезю справедливости, воздавая по заслугам и правым, и виноватым. Само это слово «Мастер» не из разговора ли Сталина с Пастернаком пришло, когда тот переспрашивал поэта по телефону об арестованном уже Мандельштаме: «Ведь он — мастер, мастер?»

В Булгакове, видно, жила, как и в каждом художнике, неизбывная вера в союз поэта и государя, заключаемый, как и счастливый брак, на небесах волею свыше. Вера, которой отдал дань Пушкин. А в наши дни, то есть в булгаковскую

пору — и Пастернак, да и тот же Мандельштам, да, да, Мандельштам с его попыткой оды о Сталине.

Глядя на те времена сквозь свой счастливо обретенный «магический кристалл», К.М. все больше постигал теперь тот дьявольский механизм, с помощью которого можно было мистифицировать не только такого несмышленыша, каким был в свои двадцать три-двадцать четыре года Костя, но и такого мудреца, как Михаил Афанасьевич Булгаков.

О, эти сталинские звонки и письма! Сталин позвонил Пастернаку и спросил его, Мастер ли Мандельштам. Пастернак тут же рассказал окружающим об этом разговоре. Он был единственным источником информации, говоря по-нынешнему, и молва осудила не Сталина, который стер с лица земли поэта-дитя, а его, Пастернака, за им же процитированную собственную фразу, «что хотел бы говорить о другом». Пастернак и произнес-то ее единственно потому, что уверен был: с Мандельштамом теперь все в порядке, коль скоро сам Сталин звонит и спрашивает о нем. И тот постарался утвердить молву в этом: перевел Мандельштама из Чердыни в Воронеж, а затем даже отпустил его в Москву. Чтобы там неожиданно арестовать снова и уже навсегда.

А его слова о Маяковском, после которых великого поэта, как кукурузу при Хрущеве, стали насаждать с такою же истовостью, с какою прежде изгоняли? К.М. совсем недавно, от Лили Брик, с которой сблизился по тем же причинам, что и с Еленой Сергеевной, с превеликим изумлением услышал, а потом и увидел, что эти слова — «лучший, талантливейший...» были начертаны в виде резолюции Ягоде на ее письме Сталину.

А резолюция Сталина на письме Иосифа Абгаровича Орбели, будущего директора Эрмитажа, а тогда хранителя его восточного отдела? Академик обращался к тому, по чьей воле с прилежностью гильотины работали во всей Западной Европе аукционы с шедеврами величайшего национального хранилища России. По чьей воле любой толстосум из Америки мог придти прямо в музей и, указав пальцем на показавшуюся ему вещь, буркнуть, как чеховский Ионыч:

— Заверните!

Сталин милостиво разрешил не трогать сокровища Востока, и та же небрезгливая молва тут же нарекла его спасителем национальной святыни, хотя освященные его именем бесчинства продолжались. Елена Сергеевна не помнила этого эпизода, но вполне возможно, что Булгаков слышал о нем. И поверил молве, не в силах преодолеть колдовство им же очерченного вокруг себя магического круга.

Сталин виделся Булгакову не творцом и вдохновителем травившей его саранчи, кем он на самом деле был, а сокрушителем ее, как Воланд. И как Воланд, закономерно презирая тысячи, он мог возлюбить одного! Много званых, но мало избранных. Однако мог и не найти, не узнать того избранного...

Булгаков надеялся и верил, что рано или поздно искра пробежит между ними, от художника к самодержцу и обратно, и соединит их, подобно вольтовой дуге. И то, что заставляло себя ждать в реальной жизни, он воплотил в воображении, в романе. Не случайно в его разговорах с Еленой Сергеевной, Люсенькой, все время фигурировало выражение «представить роман». Пока надежда на вольтову дугу теплилась, он не мыслил себе первым своим читателем никого, кроме Сталина.

Пьеса? Пьеса была попыткой выразить то же самое, только на другом языке, на языке политической публицистики, который был абсолютно противопока-

зан Мастеру. И она не удалась, что бы там ни говорила Елена Сергеевна — милая, трогательная, обаятельная, но увы, пристрастная, как все любящие женщины.

Аналогии, которые К.М. проводил между своим восприятием Сталина и булгаковским, если и помогали ему понять свое собственное отношение к «вождю и учителю», то странным и неожиданным образом. Он всерьез начинал думать, что, может быть, у Сталина действительно была какая-то сверхъестественная сила, которая действовала на людей. Что тут невероятного? Существуют же на свете гипнотизеры, фокусники, экстрасенсы всякие. Пусть природа их силы остается неразгаданной. Но то, что она присуща иным, что она существует в природе, это же несомненно, это мало кем отрицается. Кстати, и ему недавно советовали показаться одному такому экстрасенсу в связи с усилившимся нездоровьем легких. Он все чаще простужался, все быстрее уставал, то и дело без особого на то повода покрывался предательской испариной.

Если вернуться к Сталину, то почему не представить себе, что человек со свойствами экстрасенса приобретает политическую власть над людьми. Сам он о своей сверхъестественной силе или не догадывается, или скрывает ее. Окружающим это тем более в голову не приходит. Подчиняясь кто магии внушения, кто обаянию этой силы, кто просто грубому насилию, они приписывают все характеру, личности.

Не в этом ли разгадка? Сверхъестественная сила, которая, поколебавшись, как стрелка весов, в конце концов указала в сторону зла. Наверное, действительно это случилось не сразу. И не было фатально предопределено. Кто знает, быть может, до самого конца крупицы добра и попадали каким-то неведомым образом в этот сосуд зла и растворялись в нем, придавая ему особый, коварный и гибельный аромат?

Его самого и теперь, когда он говорит или пишет о Сталине, все тянет сохранять пресловутую объективность.

«Последнее лето». Последний из его трилогии роман, работа над которым подходила к концу. К.М. не без удивления обнаруживал, что Сталин занимает в нем не меньше места, чем раньше, хотя непосредственно, в качестве персонажа, он здесь не появляется.

Ну, а как же тут быть, рассуждал про себя К.М., если Сталин такую роль играл в судьбе Серпилина, считай, на всем протяжении его жизни? Да и после смерти. Сталин перед самой войной, по ходатайству нескольких друзей Серпилина, дал команду отыскать его там, где он тогда находился, то есть в лагерях, и вернул его в армию.

Осенью сорок первого, получив письмо от Серпилина из госпиталя, Сталин, следуя его просьбе, приказал не посылать его после ранения на подготовку резервов, а дать дивизию и отправить на фронт. Сталин же вызвал его к себе, по письму о комкоре Гринько — понравилась, видно, смелость Серпилина, можно ведь было и самому оказаться там, где Гринько, — и поставил на армию.

На кляузы Львова, читай Мехлиса, не обратил Сталин внимания... А когда погиб Серпилин, именно он, Сталин, распорядился похоронить его не в Могилеве, как предлагал недолюбливавший командарма Львов, и не в Минске, по предложению близких Серпилину людей, а в Москве, на Новодевичьем.

Это же факт, это же было, говорил про себя К.М., а вернее — Константин Михайлович, не замечая, что уже диктует эти строки, как частицу эпилога, Нине Павловне. Словно бы это не он сам придумал Серпилина. И не по его воле отношения между ним и Сталиным складывались именно так, а не иначе.

Память о том, что случилось с Серпилиным за четыре года до того, как Сталин нашел его и вернул в армию, не могла, не должна была, конечно, уйти из романа, из размышлений ближайших сослуживцев Серпилина, — это уже воля К.М. То, что случилось с Серпилиным в тридцать седьмом, гибель комкора Гринько в мыслях соратников Серпилина тоже имели отношение к Сталину, были связаны с ним и мешали им думать об одном только хорошем. «И если бы Захаров (член военного совета армии, которой командовал Серпилин) знал больше, чем он знал, и мог бы поглубже задуматься... мысль его, наверное, потеряла бы свою спасительную прямоту и ясность. Но он не задумался, а только на минуту приостановился перед чем-то невидимым и непонятным. И мысль его осталась такою, какой и была первоначально, — мыслью о том, что Сталин делал Серпилину в его жизни одно только хорошее».

Колдовство, колдовство да и только, говорил себе К.М., перечитывая и подправляя косметически на заключительных страницах романа «Последнее лето» все то, что думал Захаров о Серпилине и той невидимой простым взглядом нити, которая связывала командарма — «так уж случилось» — со Сталиным. Не та ли самая волшебная нить, которую так и не удалось протянуть Булгакову между собой и Им.

На столе у Симонова лежало его годичной уже давности предисловие к журнальному изданию «Мастера и Маргариты», вышедшему в Москве в 1969 году. Теперь неустанными трудами Елены Сергеевны и его пробивною силою готовился к изданию уже более полный, почти идентичный оригиналу текст романа, который должен был выйти одной книгой с «Белой гвардией» и «Театральным романом». Охотников написать вступление к такой знаменательной книге — пруд пруди, но Елене Сергеевне хотелось, чтобы это был снова он. Вот и решил, прежде чем сесть у диктофона, перелистать свое прежнее предисловие, которое называлось «Последняя книга Булгакова».

Глаз задержался на строчках о Понтии Пилате: «...той высшей решимости, которая нужна для того, чтобы, спасая жизнь другого человека, поставить на карту свою собственную, в Пилате нет. И он понимает это... у него недостаточно власти над самим собой для того, чтобы бесстрашно пойти навстречу возможным последствиям этого решения». Он не мог бы поручиться, что сознавал это, когда писал, но теперь исповедальность строк резанула его. С ним это случалось и раньше — приходила мысль и поражала в самое сердце. Тогда все вокруг начинало светиться недобрым светом. Жизнь виделась прожитой напрасно, все сделанное — горою мусора. Когда впервые читал в рукописи «Мастера и Маргариту» и дошел до сеанса черной магии в Варьете Варенухи и Степы Лиходеева, до того места, когда бумажки и игральные карты начали превращаться в настоящие червонцы с самыми верными и праведными водяными знаками на них, а потом наоборот — в наклейки с нарзанных бутылок, померещилось: не про него ли?

Нельзя застраховать себя от безжалостных озарений. Поистине, они приходят, не ожидая зова. Но есть средства оградить себя от их дальнейшего воздействия. Сесть за новую работу или укатить куда-нибудь в командировку. Позвать друзей и закатить пир. Поджарить на углях шашлыки. Наконец, просто выдуть стакан водки наедине с собою.

Помогало. Возвращаясь к повседневной жизни, он снова видел все в нормальном свете, а не в мертвенно-сером, словно бы потустороннем сиянии.

С недавних пор перестало помогать. Вернее, он просто не гнал теперь от себя страшные мысли. Раз уж нельзя от них избавиться насовсем, лучше при-

глядеться к ним поближе. Он писал однажды сыну, Алеше, теперь уже чуть ли не пятнадцать лет назад: «Если ты имеешь ныне удовольствие иметь живого и здорового отца, а не могилку и воспоминания, то помимо воли случая это потому, что я никогда не рисковал сдуру... когда была реальная опасность, хотя и не бегал от нее».

Пекло, в которое он теперь, помимо своей воли, все глубже погружался, казалось жутче военного. Вся его работа над пьесой «Мои четыре Я», которая шла лишь в голове, была сплошным перебиранием и обсасыванием тех самых мыслей и ощущений, которых он раньше чурался.

Он снова глянул на странички своего первого предисловия к «Мастеру и Маргарите». Прямолинейными, чужими показались строки об «ограниченности взгляда писателя на современность» со ссылкой на то, что, мол, главным полем для сатирических наблюдений Булгакова послужила московская обывательская, особенно окололитературная и околотеатральная среда конца двадцатых годов. И что более широкого поля для наблюдений в романе почти не чувствуется. Хорошо, если это писалось ради проходимости романа, подумал он неожиданно и постарался вспомнить, а как он тогда действительно считал.

Он не знал, радоваться ли тому, что за год пройден такой путь, или досадовать, что как ни выдавливаешь по капле собственную ограниченность, убеждаешься, что все еще немало в тебе от генерала Захарова. И от Военкора, и от Константина Михайловича. Конечно, интересно оглянуться и сравнить свои сегодняшние чувствования и воззрения с их внутренним миром. Но, кажется, пристальнее всего К.М. следует присмотреться к себе самому, то бишь к сегодняшнему Симонову, ветерану.

Строки о Понтии Пилате возвращали к давнему разговору с Ларисой, в котором, так случилось, участвовала и Нина Павловна. Надо или не надо было «положить голову на плаху», другими словами, делать или не делать этот проклятый доклад о космополитах. «Надо было», — изрекла, как отрубила, Лариса. Имея в виду голову. «Но ведь можно было и потерять ее», — вступила в разговор Нина Павловна после нескольких минут тягостного молчания.

Что сделано, того уже не переделаешь. Сколько раз устами своих героев он убеждал читателей, что никогда не надо оглядываться, надо всегда смотреть вперед. А вот его собственные думы вертятся как заколдованные все вокруг давнего. Покаяние не меняет однажды уже содеянного, но оно очищает душу, предостерегает против новых ошибок. Сколько их еще было после того злополучного доклада.

Его мучила мысль о природе этих ошибок. Тезис «знал, не знал» все больше терял в его глазах былую убедительность. Сколько можно кивать на это? — говорил он себе, хотя в ответе на иное читательское письмо и трудно оказывалось назвать иную причину рождения тех или иных его строк.

При мысли о трусости все в нем восставало, как у булгаковского Игемона, когда тот разговаривал со своим осведомителем, пересказавшим ему последние слова Распятого. Ради того, в чем он убежден, в чем уверен, он пошел бы и на крест, и на плаху. Да, да, и на плаху... Если бы поволокли... Красивые и вызывающие жесты претили ему.

Напрашивался еще один, пожалуй, самый тягостный и обидный вывод — он всегда чего-то не понимал в окружавшем его мире. Что-то и, похоже, очень важное всегда ускользало от него. Но что? Он пытался разгадать эту загадку, все дотошнее приглядываясь к тому, что делает Лариса. Вместе с ней в его жизнь

ворвалось и прочно обосновалось в ней нечто такое, что заставило на многое вокруг взглянуть по-иному. Не потому ли, шутил он наедине с собой, что она искусствовед, к тому же еще занимающийся авангардом, ее рассказы и объяснения просто перевооружили мой глаз?

Сколько раз он, бывало, ничтоже сумняшеся и письменно, и устно признавался в полном своем невежестве относительно музыки — слон, мол, на ухо наступил, относительно живописи, а как-то в разговоре с Евгением Воробьевым даже относительно природы.

Ехали через лес на машине, К.М. на заднем сиденье, обложенный, как всегда, рукописями и гранками. Женя, сидя за баранкой, беспрерывно восторгался открывающимися видами и дивился безразличию спутника. К.М. отшучивался:

— Я после войны специально права потерял, чтобы за рулем не сидеть и смотреть не по сторонам, а в рукопись.

Давно, когда они еще только «женихались» с Ларисой втайне от ее родителей, он у нее на туалетном столике увидел керамическую фигурку — женскую головку с вдохновенным профилем и словно бы срезанным сзади затылком.

— Что это? — спросил он, взяв статуэтку в руки, и, услышав сердитый, как ему показалось, ответ Ларисы «не вертите», поспешно поставил вещицу на место.

Как ему было нехорошо потом, когда, догадавшись о своей ошибке, такой предательской, если верить Фрейду, он рылся в учебниках и энциклопедиях, чтобы узнать все о прекрасной египетской царице.

Всю жизнь читаешь, смотришь, познаешь и вот на тебе, то и дело обнаруживаешь такие белые пятна в своем образовании, что только диву приходится даваться.

Круг интересов и занятий Ларисы, который он сначала с любопытством, потом с неподдельным интересом, а там и с оттенком почтения стал постигать, неумолимо втягивал его в свою воронку. Знала она удивительно много, особенно, конечно, в своей сфере, в области изобразительных искусств. Писала, на его вкус, плохо, вяло, с массой не столь обязательных терминов и неуклюжих наукообразных оборотов. В Ташкенте, где она, как и он, часами сидела, согнувшись над машинкой в своем кабинете, ему приходилось, по существу, переписывать все, что она успевала «натюкать», как выражалась Нина Павловна. Поначалу она не хотела ему давать свои листочки. К замечаниям, весьма тактичным, относилась, пожалуй, даже с враждебностью. Ей казалось, что они продиктованы просто его незнанием предмета. Но так как он, прежде чем побеседовать с нею, старался прочитать, что было под рукой на соответствующую тему, постепенно стала относиться к его замечаниям внимательнее. А там и вообще поняла, что профессионализм литератора — такая же объективная реальность, как методика исследований для ученого. Благодаря своему ремеслу профессиональный литератор может грамотно и увлекательно написать практически на любую тему. Она училась у него литературному письму и была способной ученицей, а он все с большим рвением вникал в перипетии ранее безразличных ему пластических искусств.

Он не заметил, как и когда это случилось, что мир ее интересов стал неотъемлемой частью его существования. Предметы, люди, страсти этого мира. Явное и невидимое. Всевозможные рифы и подводные камни.

Оказалось, и в этом мире есть свой «гамбургский счет», тот самый, что ввел в обиход Виктор Шкловский, и на который он, Симонов, некогда издевательски обрушился.

Он недоумевал, видя, как пофыркивает пренебрежительно Лариса, когда разговор между ними заходил, например, о передвижниках. Для него-то было как дважды два, что они — вершина русского изобразительного искусства. Он, может быть, и затруднился бы перечислить с ходу, что они там написали, — Маковский, Поленов, Шишкин, Саврасов, Перов, но уже само звучание их имен отдавало для него чем-то классическим, непререкаемым. Для Ларисы все это отдавало обыкновенным «писанизмом». Словечно, которого он раньше не слышал. У нее был совсем другой отсчет. В прошлом для нее на Западе существовали одни импрессионисты, все эти Мане, Моне, Гогены, Ван Гоги... В русской живописи и скульптуре все начиналось с Врубеля и полузабытого Антокольского. Потом шли Бенуа, Лансере, Добужинский, Серебрякова, Гончарова и Ларионов, Кандинский и Малевич...

Он, конечно же, добросовестным образом перечитал то, что ему рекомендовала Лариса, и о Кандинском, и о «черном квадрате» Малевича, и о Фернане Леже, и о Шагале, и о Пикассо, которого он знал лично.

Когда в дом приходили друзья и единомышленники Ларисы, он старался не обременять их своим присутствием. Так он им и заявлял, вызывая этим бурные, но не очень настойчивые протесты. Присесть где-нибудь сбоку на десяток минут, повозиться с трубкой, отпустить пару-другую реплик в привычной полушутливой манере — и по своим делам. Коротких этих минут Ларисе и ее компании хватало однако, чтобы загрузить его массою просьб-поручений. Получалось, что в их мире бедолаг, непризнанных гениев, всякого рода неприкаянных бунтарей было еще больше, чем в досконально известном ему мире словесников. Он хлопотал и за живых, и за мертвых, писал в Моссовет и министерство культуры, в различные музеи, архивы, редакции газет. Многих из тех, за кого приходилось ходатайствовать, узнавал сначала по именам, по перипетиям их многострадальной, часто уже свершившейся жизни, а потом уж по их картинам, скульптурам и другим творениям. Так было с грузином Пиросмани, с москвичом Татлиным.

На выставку в Манеже в 1962 году, в подготовке которой активно участвовал весь Ларисин круг, он попал вместе с ней еще до официального открытия и, соответственно, до сенсационного появления там Хрущева.

Явился туда, имея в кармане заказ «Известий», где недавно выступил, первым в советской печати, с рецензией на «Один день Ивана Денисовича». Аджубея, который теперь попросил его рассказать о выставке, он по обычаю предупредил, что ничего в изобразительном искусстве, тем более авангардистском, не понимает. Аджубей в свойственной ему наступательно-эмоциональной манере заявил, что им, мол, и не нужен узкий специалист, который, как известно, подобен флюсу. Пусть они пишут себе в «Декоративное искусство» или еще куда-нибудь. Для «Известий» нужен именно такой вот якобы дилетант, знаменитый писатель, который мог бы схватить идеологию события, его политическую суть. Ведь все это десятилетиями лежало под спудом, запрещалось. Напор Алексея Ивановича был мощен и не лишен очарования.

Выставка ошеломила его. Всего было так много и все было настолько неожиданным, что без Ларисы он, пожалуй, просто потерялся бы в этой карусели картин, скульптур, чертежей, макетов, схем, каких-то диковинных, вообще ни на что не похожих предметов. Спокойные, лаконичные объяснения Ларисы, которая с удовольствием играла роль гида, в то время как он с таким же увлечением изображал из себя экскурсанта — так было надежнее, словно бы упорядочивали кипение форм и красок, придавали им стройность и гармонию.

Он так и решил назвать свои заметки «С позиции писателя». В каком-то смысле это будет продолжением его размышлений о повести Солженицына. Скажет о чувстве радости, которое нельзя не испытывать при виде всего того, что выставлено в Манеже, при осознании того, что стало возможным вытащить все это из запасников, а то и вовсе с чердаков и из чуланов, где, погибая, ждали своего часа эти неувядающие свидетельства могучих художественных потенций нашего народа... А потом скажет и о чувстве обиды и горечи по поводу того, что так много лет все это обреталось втуне, в то время как перед глазами маячило поверхностное, конфеточное, «правильное»... Скажет с искреннею болью человека, который как раз не был обойден вниманием в те годы, был много и порой даже незаслуженно хвалим, в результате чего возымел сильно преувеличенное представление о собственном месте в художественной жизни общества. К.М. полагал необходимым упомянуть об этом. Каждый раз, когда он так делал, наступало какое-то, пусть и кратковременное, облегчение душе. У него было ощущение, что этими признаниями он зарабатывает себе право говорить о своих сегодняшних представлениях о мире, о роли творческого деятеля без оглядки, без комплексов.

Теперь этим так и не появившимся в «Известиях» размышлениям о выставке работ московских художников в Манеже уже более семи лет. Когда статья была почти готова, на выставке побывал Хрущев. К.М. при этом не присутствовал, а Аджубей, естественно, был. И позвонил ему, помнится, сразу же после просмотра, еще до того, как в печати появились какие-либо упоминания об этом походе. Поход... Это сейчас ему на ум приходит сие иронично звучащее словцо. Тогда думалось совсем о другом. О посещении выставки руководителями партии и правительства. Он жадно слушал рассказ Аджубея, желая проверить свои впечатления и размышления тем, что было сказано при обходе. Чувствовалось, что Аджубей не договаривает, дипломатничает, и все же, догадываясь, видимо, о направленности статьи К.М., определенно дает ему понять, что выставка Никите Сергеевичу не понравилась. Странно, это сообщение не огорчило его тогда. Слушая Аджубея, читая потом официальные сообщения, появившиеся вслед за этим статьи художников, он начинал понимать, что, конечно, переусердствовал в своих восторгах по поводу выставки, опять подвела его пресловутая добросовестность. Хотелось-то что? Хотелось восславить сам факт появления этой выставки, выхода на свет божий всего того, что десятилетиями было скрыто от глаз людей. Казалось, что о художественных достоинствах произведений, о творческом пути художников, как бы возвратившихся из небытия, как тот же Фальк, чьи толстые голые женщины отнюдь не приводили его, К.М., в восторг — можно и нужно будет толковать и спорить потом, когда мы попривыкнем к ним, когда они перестанут быть сенсацией. Тогда и нужно будет сказать трезвое, взвешенное, профессиональное слово. Хрущев решил перешагнуть этот этап, и, наверное, на то у него были свои основания. Как главе государства и партии, ему положено видеть дальше и лучше. Он сразу же и высказался, естественно, в свойственной ему манере: с шуточками, поговорками, с солью и перцем. Что греха таить, он, К.М., чуть было не сыграл в поддавки. Кому охота слыть сейчас этаким брюзгою? Уж лучше перехвалить, чем недохвалить, коль скоро речь идет о проявлениях новаторства, пусть даже некоторым из открытий уже полвека. Политический же руководитель должен уметь возвыситься над привходящими обстоятельствами. Ему в каком-то смысле и труднее, и легче. До него не доходит, а если доходит, то отраженно, весь тот гул и рокот,

который Писарев назвал когда-то общественным мнением, а теперь зовут литературною молвой. Он свободен от него, оттого и смотрит в корень.

Аджубей, когда звонил, не отменил заказа на статью, он только попросил повременить с нею, «вслушаться в звучание дней», то есть дать страстям улечься. Когда энное время миновало, родилась продиктованная Нине Павловне первая фраза статьи, которую он со второго захода решил назвать «Явления и люди»: «Я много думал об этом, много спорил и с другими, и с самим собой, и, видимо, на эту тему надо высказаться откровенно и вслух, без недомолвок».

Конечно же, было сказано, вернее, повторено о значимости самого события, факта появления такой выставки. Он крепко ударил по статьям Александра Герасимова и Лактионова, которые решили воспользоваться обстановкой и попытаться вернуть себе, казалось бы, навсегда утраченное монопольное положение в искусстве.

Теперь о другом. О том, что ему, возможно, претит не меньше, чем Герасимову или Лактионову, хотя он и предлагает подойти к этому совсем с другого бока. Об абстракционизме, о том, что он был всегда глубоко чужд ему, всегда — не по нутру в любом виде искусства, так же, впрочем, как и натурализм.

«...Когда меня пытаются убедить, что та или иная комбинация красочных пятен означает мысль, или любовь, или ненависть, или что-нибудь еще, то я не желаю, чтобы при помощи этого шаманства меня пытались увести от действительной любви и ненависти, от действительных проблем в действительном мире».

Он признавал, что в этой сфере трудятся и талантливые люди, и халтурщики. Одни в своих поисках заблуждаются, другие — просто обманывают. Увы, именно талантливые люди своими принципиальными ошибками создают питательную среду для шарлатанов. «Если говорить о наших доморощенных абстракционистах, то большинство того, что я видел лично, по-моему, просто подражательная и неталантливая или малоталантливая мазня. Тревожит, конечно, количественный размах этой мазни, но куда больше волнует тот принципиально неверный, чуждый реализму путь, по которому тронулся было и довольно далеко зашел, например, такой талантливый человек, как Эрнст Неизвестный...»

Совсем недавно — с помощью Нины Павловны он формировал очередной том «В.С.» за 1962 год — К.М. наткнулся в бумагах на эти строки. Какое счастье, что они так и остались в виде страниц на машинке. Спасибо случаю. Нечаянно — а может, по подсказке Нины Павловны? — они попались на глаза Ларисе. Он вспоминает теперь, что она чуть ли не на колени тогда перед ним встала: «Не надо, не посылай, прошу тебя! Это будет ужасная ошибка. Ты будешь жалеть».

Поначалу он вовсе не склонен был с нею соглашаться. Не будь это Лариса, его жена, он после такого взрыва эмоций, пожалуй, лишь сел бы и дописал еще несколько абзацев. Охарактеризовал бы этот феномен восприятия, на который он ополчался всю свою сознательную жизнь. Почему люди могут быть так односторонни? Даже такие вот умные, эрудированные, глубоко мыслящие, как Лариса? Почему не видеть всю правду? Все ее грани? Ларису возмущают нападки на выставку как таковую, которые посыпались сразу же после того, как на ней побывал Хрущев. Действительно, газеты словно соревнуются между собой, кто больнее укусит. Но разве из его, К.М., опуса не вытекает ясно, что он против такого подхода? Против необоснованных запретов, против ведомственных амбиций? И разве это не дает ему право, не обязывает сказать и о другой сторо-

не — что не все, что запрещалось, непременно хорошо. И теперь, будучи разрешенным, не может оставаться вне критики.

— Почему именно ты должен это говорить? — упорно твердила Лариса, и он поначалу видел в ее словах лишь стремление оберечь его самого от подкалываний и усмешек ее друзей.

— Но не сказав этого, я не смогу сказать и другого, высказаться, например, против запретов. И пойми, кроме меня уж никто этого не скажет.

— Ну и не надо, — упорствовала Лариса. — Никому и ничему это сейчас не поможет. А время все расставит по своим местам.

Он тогда согласился, вернее, покорился ее воле. Благо, что и Аджубей не особенно настаивал. «Известия» к тому времени уже напечатали пару откликов, которые были вполне в духе общей кампании. И возможно, Алеша предвидел, что с симоновской статьей у него могут возникнуть проблемы.

Так бы оно, наверное, и случилось. По сравнению с тем, что тогда выплескивалось и в печати, и на различных собраниях, его статья прозвучала бы просто вызовом официальной точке зрения. Так что расскажи он тогда кому-нибудь из друзей эту историю с несостоявшейся публикацией, наверняка заслужил бы от них упрек в трусости. Он, кстати, приводил и этот довод Ларисе. Но она была непоколебима. Чисто по-женски, естественно. Образно говоря, продолжала стоять передним на коленях до тех пор, пока он напрочь не отказался от этой затеи, как она это называла.

В пору открытия выставки и визита Хрущева в Манеж родилась злая байка, которая живописала «расхождения» между убежденным соцреалистом Александром Герасимовым и такими авангардистами «хормалистами», как Борис Жутовский или Павел Бунин. Стою я, — рассказывает якобы Герасимов, — в Третьяковской галерее, в зале Виктора Михайловича Васнецова и любуюсь его бессмертным шедевром — картиной «Богатыри». И вижу, идут хормалисты. Чего, говорят, ты, Сашка, ею любуешься, ведь в ей воздуху мало, пленеру, по-нашему. Эх, говорю, господа хормалисты, а ведь если бы в ней было больше пленеру, воздуха, по-нашему, в ей было бы меньше богатырей».

Смешно и грустно! Тем более, как выяснилось, нечто подобное, согласно рассказу очевидца, которому К.М. доверял на сто пятьдесят процентов, произошло действительно на самой выставке. Никита Сергеевич, и вся процессия вместе с ним, остановился у картины Жутовского. Понять, что было на ней изображено, ему было трудно. На помощь пришел автор, маленький, смуглый, подвижный. Он просто прочитал название картины: «Речной порт в Горьком». Никита Сергеевич вытаращил глаза. Обернулся к сопровождавшему его зампреду Совета Министров РСФСР Михаилу Тимофеевичу Ефремову, который еще недавно работал в Горьком первым секретарем обкома: «Михаил Тимофеевич, у тебя там разве такой порт?»

— Да что вы, Никита Сергеевич! Как можно. Это ж сплошное издевательство. У нас современное, высокомеханизированное предприятие. Мы краны портовые закупили за границей, с вашей помощью валюту получили.

Н.С., не дослушав его, повернулся к художнику: «Ты что, педераст?»

А как он потом в Кремле, тут уж К.М. сам был свидетелем, орал на Вознесенского?! Того, бедный парень, словно ураганным шквалом бросало от одного края трибуны к другому.

Нет уж, минуй нас пуще всех печалей... И все же постепенно приходило понимание: Никитины времена, когда, как в романе американца Митчелла

Уилсона, жили с молнией, были раем для художника по сравнению с тем, что происходило нынче. Особенно после чехословацких событий, с постоянными ссылками на них.

При Никите молния отсверкает, гром отгремит, смотришь и солнышко выглянет, свежим ветром повеет, обдаст весенним теплом и влагой. А тут словно бы туман какой, вязкий, серый, окутал небо и землю, стоит, не колышется. То ли замереть и ждать, когда он рассеется, то ли двигаться. Но если двигаться, то куда? Когда сам черт не разберет, где тут фронт, где тыл, где фланги...

В таком-то душевном состоянии ему довелось посмотреть во второй раз «Обыкновенный фашизм» Ромма. То есть, что значит — довелось? Импульс был самый определенный и, увы, горький — смерть Михаила Ильича. На К.М. все тяжелее стали влиять уходы людей, которые подобно Твардовскому уносили с собой в могилу целые пласты жизни. Роммовские «Девять дней одного года» были для него своеобразной визитной карточкой просыпающегося времени. В его Гусеве он угадал что-то от своего Сергея Луконина. Та же цельность, несгибаемость, фанатическая отданность идее. Такой же однолюб. А ведь эпоха совсем другая. Он только покачивал иронически головой, когда ему пытались доказывать, что знамением времени является герой Смоктуновского. Кстати, и Баталов импонировал ему больше, чем Смоктуновский. Он хотел бы увидеть Алешу в одном из своих фильмов.

Посмотрев «Обыкновенный фашизм» первый раз, шесть лет тому назад, он и тогда сказал себе, что это — самый важный фильм о войне. Он так и написал об этом в своих заметках, которые назывались «Без иллюзий».

Теперь, когда Ромма не стало, фильм смотрелся по-особому. Ведь после него Михаил Ильич ничего уже не снял. Последние годы, К.М. догадывался, были для него тяжкими. С одной стороны, фимиам без меры от радикальной киношной и околокиношной публики. С другой — открытые письма Каплера, что Ромм убрал из титров «Ленин в Октябре» и «Ленин в восемнадцатом году» его имя, когда его посадили за роман со Светланой Сталиной. Ну, и беспардонная травля со стороны юдофобствующих, которые после смерти Эренбурга в Ромме видели почему-то главного сиониста.

Сидя в маленьком просмотровом зале студии документальных фильмов, где К.М. попросил прокрутить ему «Обыкновенный фашизм», он ясно видел, вовсе не о Гитлере, во всяком случае не только о Гитлере, этот фильм. И не в сионизме или антисемитизме тут дело. В атрибутике нацистской Германии виделись и приметы окружавшей Сталина жизни. Предвидел ли сам Ромм такой эффект? Добивался ли он его сознательно или так вышло? Эти марши, эти духовые оркестры. Залы, переполненные восторженной, обожающей фюрера публикой. Истерика оваций. Грандиозные «народные торжества», парады физкультурников, когда сотни, тысячи, десятки тысяч людей одновременно, по команде делают одни и те же упражнения, восторженно глядя при этом на вождя. Невыносимо было смотреть встречи Гитлера и Геббельса с интеллигенцией, писателями, художниками. Видеть счастливые, верноподданнические лица облагодетельствованных им творцов. Выставки живописи и скульптуры, где, как и в киносъемках, доминировали изображения сильных, красивых, исполненных мощи людей, которые либо маршируют, либо делают гимнастику, либо неистово, со светящимися глазами аплодируют фюреру и его окружению. И Гитлер, Гитлер, Гитлер. В масле, мраморе, гипсе. На трибуне, в цехе, на фоне колышущихся злаков. «Утро Родины»?

Творцы этих шедевров, с упоением ожидающие суждения Самого. Журналисты с блокнотами в руках, готовые занести на скрижали каждое междометие фюрера. И его то ласковый, то суровый взгляд, мгновенно, на глазах у зрителя переходящий от благодушия к гневу.

Был, оказывается, такой узаконенный термин — искусство фашизма. Были сгинувшие без следа его творцы. Все сразу, без разбора. Со своими монументальными скульптурными группами, олицетворяющими незыблемость рейха, со своими жизнерадостными, брызжущими половодьем красок полотнами, со своими, в твердых обложках, фолиантами, наверняка оптимистического, жизнерадостного звучания. А тоже ведь, наверное, делились на разные школы и группы, вели между собою полемику. Кто-то слыл либералом, кто-то консерватором. Кого-то увешивали наградами, кого-то поливали грязью в газетах. И если сегодня одни были наверху, то завтра — другие, а послезавтра, смотришь, снова поменялись местами.

Сгинули без следа все до единого — со всеми своими различиями, оттенками, наградами, премиями и выговорами, со своим восторженным или сдержанным, просвещенно скептическим отношением к рейху. Никаких этих оттенков не сохранила историческая память. Звучат и помнятся, живут и поныне в сознании потомков лишь те, кто отринул всякую связь с рейхом. Бежал как от чумы от свастик, марширующих болванов, карающих и осчастливливающих фюреров, пропагандистских лакеев геббельсовской своры, от сладкой отравы их писаний в прессе. Или ушел в подполье, присоединился к немногочисленному, но все время существовавшему невидимому фронту, солдаты которого, обливаясь кровью, погибая в застенках, вели свой счет фашизму и получали с него. Генрих и Томас Манн, Вилли Бредель, Анна Зегерс, Эрнст Буш...

Часто бывая после войны в Германиях, как в одной, так и в другой, он понемногу изучил историю антифашистского движения и особенно то, что касалось художественной интеллигенции. Со многими участниками Сопротивления был знаком лично, вел переписку с давних, на грани войны и мира лет. Лишь сейчас, после «Обыкновенного фашизма», увиденного как бы новыми глазами, вдруг подумал: при всей, с нашей точки зрения, изначальной очевидности звероподобия Гитлера и его камарильи, не каждый из тех гигантов, имена которых он теперь перебирал в памяти, отвернулся от этой клики сразу и безоговорочно. Сколько раз приводил он в своих статьях, декламировал вслух при встречах на немецкой земле слова Томаса Манна: «Если бы немецкая интеллигенция, если бы все люди с именами и мировыми именами... единодушно выступили тогда против этого позора... многое произошло бы не так, как произошло».

Это ведь касается не только немецкой интеллигенции и не только Гитлера.

Растревоженное фильмом сознание воспроизводило, словно на экране, имя за именем. Готфрид Бенн, Мартин Хайдеггер, один из отцов экзистенциализма, Эмиль Нольде... Увы, как бы ни отвратителен был деятель типа Гитлера, всегда найдется в нем нечто, что, смотришь, и привлечет к нему людей поистине незаурядных. Кощунственное сравнение, но в упоении, с которым эти трое славили приход «новых варваров» и призывали растворить «постыдное», индивидуалистское Я в «тотальном, в государстве, в расе», почудилось ему что-то от блоковского воспевания скифов. Что же это за рок такой тяготеет над мудрейшими из мудрейших, проницательнейшими из проницательнейших, что они снова и снова, на каждом новом историческом витке блуждают между трех сосен и не могут распознать того, что с первого взгляда очевидно для простого смертного.

Тот же Готфрид Бенн вступил в ожесточенную полемику со многими из своих друзей и почитателей, бежавшими из Германии «куда глаза глядят» при первых же звуках фашистского Хорста Весселя.

Интересно, был ли искренен Готфрид Бенн тогда. Позднее пришлось ему со ссылками на архивы в Германии и Англии доказывать свое чистопородное арийское происхождение, доброкачественность своей «наследственной массы». «Новым варварам» все-таки не по душе было с ходу признать за своего интеллектуала, поэта-экспрессиониста. Но когда все начиналось? Взять полемику Томаса Манна и Эрнста Бертрама, поэта и филолога, некогда бывших друзьями. Бертрам призывал Манна вернуться домой, чтобы принять участие в строительстве «новой Германии», признать величие Гитлера, ведущего народ к национальному возрождению. И что ему отвечал Манн? «Что Вы способны принимать мерзейшего в мировой истории шута за «спасителя» — это для меня постоянное горе... Начали ли Вы видеть? Нет, ибо кровавыми руками Вам закрывают глаза, а Вы куда как довольны такою защитой...»

Поистине, Ромм околдовал его, К.М., и он теперь, куда ни глянь, видел в событиях и понятиях их другой, потайной смысл.

О том же Бертраме, быть может, только потому и вспоминают сейчас, что в его биографии была дружба с Томасом Манном и полемика с ним... Что же говорить о деятелях пониже рангом? Таких, какими полны страницы романов Фейхтвангера «Успех» и «Изгнание»?

Фейхтвангер, его книжка «Москва 1937». Это воспоминание придало размышлениям К.М. новую направленность. Костя впервые прочитал ее в том году, когда она вышла, моментально став сенсацией. Если у него, тогда двадцатидвухлетнего бурно начинающего поэта, и могли бы возникнуть какие-либо подозрения относительно происходящего вокруг, по поводу исчезновения, например, людей, которые еще вчера казались ему идеалом гражданина и революционера, то тут они развеялись бы как дым. Книга Фейхтвангера стала манифестом, евангелием в его кругу. С Фейхтвангером в руке сокрушали нытиков и маловеров. Страстный антифашист, утонченнейший писатель, философ-романист пропел осанну стране Советов и ее вождю. Чем откровеннее говорил писатель о своих первоначальных сомнениях, чем искреннее сокрушался всеми тяготами, которые вынужден был преодолевать народ, тем убедительнее звучала его здравица. Даже беглое упоминание о странной улыбке Радека, которой тот, приговоренный к пожизненному заключению, проводил своих друзей, осужденных на очередном процессе на смерть. Призванная как будто бы посеять сомнение в справедливости приговора, она, эта деталь, на самом деле лишь еще больше утверждала правомерность происходящего.

Можно рассуждать об искренности Готфрида Бенна, но как, даже и теперь, усомниться в искренности Фейхтвангера? Ведь он-то уж совсем не зависел от Сталина. Наоборот, зная, что многие с ним не согласятся, а другие, быть может, и отвернутся от него, положил на весы свой авторитет, свое славное и незапятнанное имя.

Чем больше думал К.М. о роковой ошибке истинного гуманиста, тем меньше отдавал себе отчет, обескураживает она его или подбадривает. Сама возможность такой ошибки в самый трагический год, убеждал Костя, говорит, что не все просто и однозначно было и тогда в нашей жизни. Эти доводы Кости мешали целиком согласиться теперь с Роммом, поставить на одну доску Гитлера и Сталина. Сам он, К.М., столько раз ошибался в одном

направлении, что было бы теперь просто идиотством шарахнуться очертя голову в другом.

Явилась на мгновение, но успела проникнуть глубоко-глубоко мысль — ну, а что было бы, если бы победил Гитлер, завоевал нашу одну шестую и помирился бы со всем остальным миром? Что ж, тогда бы, наверное, эти суетящиеся на экране «творцы» ездили бы по миру вместо нас, вели бы возвышенные споры, собирали бы съезды и конференции, увенчивали друг друга орденами, премиями, званиями, раздавали собрания сочинений, однотомники и двухтомники, принимали бы гостей, присутствовали бы при встречах властей предержащих. И никому бы из них, здравствующих и процветающих, и в голову не пришло, что они в сущности мертвецы. Живые, ходящие, суетящиеся мертвецы.

Метафора, предложенная режиссером, продолжала жить. Ну, а если бы и у нас, как в Германии, Сталин ушел не естественным, биологическим путем, а в результате какого-то катаклизма, внутреннего или внешнего? Что тогда случилось бы со всем созданным и рожденным при нем?

Если бы Сталина и весь так называемый сталинизм смело или еще сметет единым порывом, ураганом, что останется? Не смоет ли и нас всех одним потоком, в одну и ту же яму небытия — со всеми нашими оттенками и различиями, которые сегодня кажутся такими явными? И кто тогда отличит Симонова от Софронова, Александра Герасимова в живописи от Сергея Герасимова в кино? А кого же запомнят? Кто останется, подобно тому, как и сейчас живут Брехт и Томас Манн, Герман Гессе, Ремарк... Кто? Один Солженицын?

Одна закономерность тем не менее была очевидной: художника в человеке оставалось тем больше, чем последовательнее он противостоял попыткам превратить его в «подручного», как выражался Хрущев о журналистах. Ромм останется. Во всяком случае «Обыкновенный фашизм». Невзирая на «Убийство на улице Данте» и вымаранное из титров его ленинских фильмов имя Каплера. Покаяние — вот что такое этот фильм Михаила Ильича Ромма. Если К.М. память не изменяет, Ромм родился в 1900 или в 1901 году. Ровесник века. А фильм этот, последний свой фильм, сделал в 1965 году. Прикинул по-мальчишески свой возраст. Ему сейчас ровно на десять лет меньше, чем было тогда Ромму. Значит, не все еще потеряно. Он вымученно улыбнулся: не все еще потеряно.

Так, в какой-то степени неожиданно, а в какой-то и подготовленно, этот сеанс для одного зрителя в маленьком, душном просмотровом зале ЦДФ, где он столько часов провел, экзаменуя собственные фильмы, стал вехой в жизни. Событием, от которого он повел особый отсчет своим дням.

По привычке не откладывать задуманное К.М. произвел своеобразную ревизию всему тому, что было сделано за последнее время и что предстояло еще сделать. Инстинктивно искал в своих планах такое, что по духу и по значимости, по назначению своему могло бы сравниться с фильмом Ромма. Дело было не в том, чтобы просто повторить Ромма средствами литературы. Суть в том, чтобы так же сполна, чтобы ничего не оставалось в загашнике, высказаться о жизни, которой ты жил и которую, в сущности, уже прожил. Прожил? Снова вспомнились подсчеты, которыми он не раз и не два занимался то с Ларисой, то с Ниной Павловной, доказывая им, что на самом-то деле ему вовсе не пятьдесят пять сейчас, а считай, за семьдесят, потому что многие годы его жизни надо принимать по меньшей мере за два. Та же война.

Говорил это не рисовки ради, а в объяснение, почему он так торопится, почему работает, как они утверждают, на износ. Надо спешить, надо торопиться.

И непременно — видеть себя со стороны. Внешнему миру был явлен без всяких его специальных усилий на то облик Мастера, живого классика, купающегося в любви и приязни — редчайший случай! — верхов и низов, начальства и читателей, дома и за рубежом. Мало кто, кроме самых близких ему людей, мог видеть его расстроенным, растерянным, мятущимся. Неторопливая речь, спокойная, чуть ироническая улыбка, размеренные жесты. И непритворное внимание каждому, кто к нему обратился. Вспомнилось, как возмущалась, как только она умеет, Нина Павловна, когда однажды, вернувшись из ФРГ, он попросил ее, откликаясь на просьбу помогавшего ему там советского дипломата, заказать в Книжной лавке писателя несколько, как он выразился, изданий. Это «несколько» обернулось на поверку «посылочкой» в три десятка томов, которые пришлось к тому же разыскивать по всем книжным складам и магазинам, в том числе и букинистическим, Москвы.

Его переписка с сотнями и сотнями, если не тысячами адресатов — эта его «невозможная привычка» (тут он посмотрел на себя глазами Нины Павловны) отвечать на каждое письмо. Не всегда, правда, удавалось это делать вовремя. Но рано или поздно он прочно усаживался вместе с нею или Татьяной Владимировной, вторым его секретарем, за свой необъятный письменный стол в «верхнем» кабинете и, беря в руки из груды, лежащей перед ними, письмо за письмом, диктовал, диктовал, диктовал, почти каждый ответ начиная с извинений за задержку. Ну, например: «Прошу извинить, что с опозданием отвечаю на Ваши вопросы, но я был в долгом отсутствии. На все вопросы я ответить не готов, надо перечитать Лескова, а по пятому вопросу надо перечитать и много другой литературы — я сейчас не могу это сделать. Поэтому позвольте ответить на первый, второй и четвертый вопросы». Июнь 1971 года, Москва, директору Орловского государственного музея имени Тургенева...

— Это уж слишком, — всем своим видом показывала Нина Павловна.

Ему доставляли своеобразное удовольствие и эта диктовка, и ее негодование. Он испытывал наслаждение при виде того, как от письма к письму тает лежащая перед ним гора конвертов.

Вчуже оглядывая круг своих забот, не без доли самолюбования, он отдавал себе отчет, что со стороны может показаться невероятным, что со всем этим способен управляться один человек. Беседуя с коллегами-журналистами на гостелерадио, рассказывал: «Часиков эдак в шесть, а когда припечет, то и пораньше, встаю, занимаюсь гимнастикой, пью чашечку кофе, ем овсяную кашу, а потом сажусь работать часов до четырех дня: первый присест часа четыре, не меньше. Потом перекусываю слегка и работаю часов до семи, до половины восьмого. Потом — рюмка водки. Ужинаю легко, если без гостей, потяжелее, если с гостями. Хозяин должен подавать пример. Иначе гости обидятся. Если без гостей, после ужина смотрю вашу программу «Время» (оживление, естественно, в зале), потом, когда в большом запале, снова немного работаю...»

Хоть он и не занимал никакой должности и казенного стула нигде не имел, пришлось в конце концов и прием посетителей поставить на регулярную основу. Нина Павловна с Татьяной Владимировной Дубинской принимают, так сказать, заявки главным образом по телефону, потом показывают ему свои записи. А тут еще и прямые обращения к нему, Ларисина клиентура, депутатские обязательства. Словом, к нему всегда очередь. Еще поездки по стране и за рубеж. Как-

то подсчитал: по-прежнему примерно треть жизни проводит в дороге. Так что порой всерьез удивляешься — как это еще удается тянуть одновременно столько нитей. И в литературе, и в кино, и в публицистике.

Слава богу, закончено с «Живыми и мертвыми». Три тома. Чуть ли не сто печатных листов. Несколько папок с рецензиями. Вороха читательских писем. Тома переписки с ними. Первая книга появилась в «Знамени» в 1959 году, последняя в том же «Знамени» в 70–71-м годах. Пятнадцать лет ушло на это. Строго говоря — главный труд жизни. Недавно был удостоен за нее Ленинской премии: что скрывать, приятно! Снова пролился дождь поздравлений. Такие слова о себе довелось прочитать, что хоть носом хлюпай. Будь он немного сентиментальнее, так, наверное, и хлюпал бы...

Тогда в просмотровом зале подумал: нет у него своего «Обыкновенного фашизма». Как ни старался, а все же не с самого еще донышка зачерпнул правды. Не удалось. Сам понимает, да и в письмах-откликах нет-нет да прозвучит это надорванной струной.

Почему? На потом откладывал? Или мастерства не хватило? Может, потому, что романы снова получились не о солдатах, не о народе, а об офицерстве? Впрочем, что такое народ? Почему офицеры не народ? Он сам, Симонов, не народ? Как-то, философствуя вслух на читательской конференции в Минске, он сказал по поводу своих только начинавшихся тогда телебесед с военачальниками: «Я, как видите, не противник того, чтобы мы расспрашивали о войне руководителей ее, полководцев, — это тоже важно и нужно, но это только часть дела, а про всю войну может рассказать только весь народ, и его и надо расспрашивать о войне...»

Сказалось — и забылось, фразу между тем подхватили. Называют ее крылатой. Всю правду о войне может знать только народ...

Он и задумал теперь расспросить его. Но всех солдат не расспросишь. Кого выбрать? Мелькнула счастливая мысль — расспросить кавалеров орденов Славы. Это тоже не под силу. Тогда обладателей всех трех степеней. Как известно, молва приравнивала в войну три ордена Славы к Звезде Героя. Но звезду мог получить каждый — от генералиссимуса до солдата. А орден Славы — только солдат. Вот его и расспросим. Заявка на серию фильмов, которые будут состоять из таких интервью, уже лежит в Центральной студии документальных фильмов. Дело движется к очередному юбилею Победы. Так что отказать ему в этом никто не решится, и он уже исподволь раскручивал маховик предстоящих хлопот. По принципу — глаза боятся, а руки делают.

Мысль об этой работе и пугала, и радовала. Страшила необъятность трудов. Ведь задуманное — целое предприятие. Предстоит отыскать по всей стране, вытянуть в Москву героев-солдат, побеседовать, записав на пленку, с десятками, какое там десятками — с сотнями людей. И это только часть дела. Дальше — работа собственно над фильмами.

Радовался же тому, как ни странно, что работа предстояла в известной степени механическая. Ну, может быть, это и не самое подходящее определение, но все же. Ему порой начинала казаться тягостной необходимость все время думать. Думать, осмысливать, анализировать, пытаться, часто тщетно, отыскать подноготную явлений. Слишком многое вокруг — и сегодня, и в прошлом — имело, как обнаруживалось, второе дно. Чего ни коснись. Слишком часто, хоть в этом была не вина, а беда его, изнанка событий являлась ему не с первого, а то и не со второго даже предъявления. Все чаще приходила мысль, что его дело, его

теперь миссия — не вещать, не проповедовать, не учить, а свидетельствовать. «Сделай, что можешь, большего никому не дано...»

Что может быть беспристрастнее, очевиднее, чем рассказы бывших солдат, записанные на кинопленку. Важно только разговорить их, чтобы чувствовали себя не на сцене, а в кругу своих, среди «корешей» погодков, однополчан. Он почувствовал, что это ему удается, когда один из них далеко уже не первый, сказал, как бы извиняясь и перед ним, Симоновым:

— Днем и ночью живешь на фронте. Надо человеку жить там. Вот иногда я вспоминаю, к нам приезжали артисты. И эти артисты приходили на самую что ни на есть передовую и давали концерты. Это нас очень воодушевляло. Теперь вот тоже смотрю телевидение, по радио слышу выступления артистов. С такой гордостью они говорят, что они были на передовой. Они были, а солдату надо было жить там... Война-то была четыре года. За четыре года в мирное время вуз кончали.

Военные дневники, над обработкой которых он продолжал корпеть, должны были, по его мысли, служить тому же делу — свидетельствовать. «Разные дни войны» — одних только надиктовок, сделанных в промежутках между командировками на фронт, набиралось более тысячи страниц. Да фронтовых блокнотов, которые он стал разбирать и отдавать на машинку, — страниц на пятьсот.

Читатели его третьего романа одолевали меж тем письмами. Ждали продолжения. Протестовали против того, что похоронил своего Серпилина в зените войны, когда войска наши, включая и серпилинскую армию, только-только выходили к государственной границе. А ведь обещал, сетовали, довести его до Берлина...

Действительно, обещал. Но вот не сделал. Позволил шальному осколку сразить командарма в самый канун перехода его войск в наступление, которое было так добросовестно и с таким блеском им подготовлено. Кручинились не только читатели, но и зрители. Еще с первого столперовского фильма полюбился им сыгранный Папановым Серпилин. Да он и сам, честно говоря, когда писал «Последнее лето», все время видел перед собой Папанова. В чем не раз признавался — и ему самому при редких встречах, и публично — читателям и почитателям своих трудов, все еще весьма многочисленным. Если из солдат самый любимый, безусловно, Теркин, то из генералов, пожалуй, все же Серпилин. Верный принципу «не задирать нос», он тут же относил этот успех на счет Столпера и Папанова. Делил его с ними.

Но что же все-таки побудило его «завязать»? Читателям это объяснить было, пожалуй, все же легче, чем самому себе. Он довольно бодро диктовал Нине Павловне: «Серпилин погиб у меня в романе не только потому, что так случилось, что примерно так погибли другие люди, ну, скажем, к примеру, командующий 3-м Белорусским фронтом Черняховский погиб в расцвете сил и таланта, когда уж совсем близкой казалась окончательная победа. Серпилин погиб не только потому, что так бывало, что это правда. Он погиб у меня в романе еще по одной причине. Дело в том, что война до последнего дня была трагедией. И тогда, когда мы стали побеждать немцев, громить, окружать. И вот для того, чтобы это показать, чтобы читатели это почувствовали, мне пришлось расстаться на поле боя с самым дорогим для меня в романе человеком».

Он не кривил душой, когда так или примерно так отвечал своим корреспондентам — и в 1971 году, сразу после выхода «Последнего лета» отдельной книгой, и в 1972 году, и позже. Но со временем, тем не менее, все более отдавал

себе отчет: это еще не вся правда. Он все острее ощущал, что писать о войне, которая вышла за пределы страны, шагнула за рубеж, подняв и подновив столбы на государственной границе, он не готов. Слишком многое пришлось бы передумать, переосмыслить. Для этого не хватало уже ни физических, ни душевных сил. Кому-то из досаждавших ему на этот счет друзей он в сердцах ответил однажды совсем коротко:

— Это уже совсем другая война. Это не моя война. И не мне о ней писать. — Сказал и самому понравилось. Сказанное было чистой правдой.

Насовсем порвать с прозой было ему все же не под силу. Он потом и сам не мог себе объяснить, как это у него началось — с «Двадцатью днями без войны». С ним бывало такое — так глубоко задумается, так прочно уйдет в себя, что, очнувшись, никак не может понять, как это он попал сюда, какими путями ехал или шел. Не успев задуматься как следует над тем, что должна представлять из себя его новая повесть, он обнаружил, что уже сидит и пишет ее.

Дневники возвращали его к прошлому головой, мыслью, но была, видимо, потребность обратиться к нему и душой. И некоторые реальные события «так называемой личной жизни» поспособствовали этому.

Все ощутимее давало о себе знать нездоровье. То сердце прихватит. То головные боли. Спазмы сосудов. Замучили гриппы и ангины. Старость? Иногда ему казалось, что он стал чаще думать о ней под влиянием... Маяковского. Поэт был сейчас на первом плане в его заботах. Выступил в «Комсомолке», поддержал идею проведения Дней поэзии Маяковского, подобно тому, как проводятся Пушкинские дни в Михайловском или Некрасовские в Карабихе. Взялся восстановить выставку «Двадцать лет работы» и показать ее в Доме литераторов, где она собственно и находилась в тридцатом году. Ввязался — тут не обошлось без Ларисы, которая познакомила его с Лилией Юрьевной Брик, — в тяжбу относительно музея Маяковского. Выступил вместе с Сурковым против попыток прикрыть музей в Гендриковом, на Таганке, там, где Маяковский жил много лет в одной квартире с Бриками (это-то и пугало новоявленных пурристов), регулярно встречался с самой Лилией Юрьевной, с ее мужем Катаняном, которого он когда-то довольно крепко обложил в «Литературке». Познакомился с ней в Париже, когда был там с Эренбургом. Лилия Юрьевна часто рассказывала о том, как Маяковский боялся старости. Начал ее бояться еще в конце двадцатых годов, в тридцать с небольшим лет! Об этой его боязни-болезни, иначе ее и не назовешь, Лилия Юрьевна подробно писала в своих воспоминаниях, которые давала ему читать. В надежде, кто знает, что он поможет их редактировать и вообще — продвинуть в печать. Придется, видно, и этим заняться.

Странные психологические ситуации возникали теперь то и дело в его жизни. Стоит один раз помочь человеку, пойти ему навстречу, как и он, да и ты сам начинаешь чувствовать себя обязанным продолжать дело. Так было да, собственно, так и есть со вдовой Булгакова, со вдовой Каххара, теперь вот с Лилей Брик. На вдов ему особенно везло. Так вот Лилия Юрьевна убеждена, что именно боязнь старости толкнула Маяковского на самоубийство. И развивала эту мысль весьма убедительно.

— У вас, К.М., — в сердцах вырвалось как-то у Нины Павловны, — та же мания. И вы делаете то же самое. Убиваете себя работой.

Нина Павловна была права.

Только это было лекарство не от старости. Он даже про себя не хотел выговаривать, от чего. Но и он, и Нина Павловна знали, от чего. Однажды только,

когда они разбирали архивы пятидесятых годов, она воскликнула, как всегда темпераментно:

— Вас душит этот доклад. Он душит вас, К.М.

Сама испугалась своих слов. Замерла и смотрит на него большими, не подвластными фальши глазами. Эх, Нина Павловна, Нина Павловна, а сама-то ты что думаешь об этом докладе? На «ты» он называл ее только мысленно. Да разве только в докладе дело!

В 1973 году, в июле, провожая К.М. в больницу, в Кунцево, куда его забрали чуть ли не сразу после открытия выставки Маяковского, где он был и швец, и жнец, и на дуде игрец, Нина Павловна воскликнула:

— За тридцать лет нашей с вами работы первый раз, К.М.! — И отвела глаза, будто боясь, что он прочитает в них что-то не очень обнадеживающее.

Он не в глаза ее, а в зеркало на стене посмотрел. Ну и видик. Глаз затек, лицо какое-то темное, опухшее, словно он не с официального торжества вернулся, а с попойки по-черному... Ну да ладно.

Год с небольшим прошло, и его снова уложили в больницу. На этот раз дело было серьезнее — воспаление легких. А то, что послужило причиной этой болезни, было еще тяжелее, несоизмеримо даже — смерть матери. Недавно ушел отчим, а теперь вот и мать, оставив его следующим в очереди. На похоронах матери, вернее, на процедуре кремирования — ждали у морга, потом у дверей крематория, он и простудился. Вернулись с похорон, выпили дома по рюмке. Погрустили. Тут его и разобрало. Поднялась температура. Бил кашель. Приехали врачи: банки, уколы. Особенно запомнились переживания Нины Павловны. Александра Леонидовна в ее судьбе была особым человеком. На поминках она эмоционально, как это у нее всегда получается, в красках рассказала, как мать прислала ей букет цветов сразу после того, как Юза арестовали вторично и отправили в Красноярск. А дело было как раз 28 ноября, в его, К.М., день рождения и ее с Юзом день свадьбы. Такое совпадение. Букет с запиской и такими словами: «Вместо того, кто силою обстоятельств не может сегодня это сделать».

Через год и Валя ушла в мир иной. С ней, чем ближе было к концу, все тяжелее было, все страшнее. И хотя с тех пор, как в 1956 году расстались с ней в одночасье, и почти не встречался, все о ней знал, тянул ее, ее сына от Серова, Толю, ее мать, актрису в прошлом. Растил дочь Машу. Девочке было нелегко с такой матерью, и все же она беспокоила его, пожалуй, меньше других детей. Спокойная, уважительная, какая-то по-особому собранная, с повышенным чувством ответственности за все окружающее. С детьми, которые растут в таких ненормальных условиях, как Маша, — с одной стороны, дом полная чаша, ни в чем нет отказа, к ее услугам — домработница, шофер, любящая ее до безумия бабушка — мать В.В., тоже известная актриса, с другой стороны, вечный ералаш в доме, гости отца, гости матери, постоянные объяснения, а то и ссоры родителей, потом полный разрыв — случается по-разному. Иногда вырастают дремучие эгоисты, маленькие садисты, терроризирующие все и вся вокруг, в конечном счете сбивающиеся с пути. Или, наоборот, получаются такие вот человечки, как Маша — иногда даже хочется пожелать ей чуть больше легкости, беззаботности, раскованности в отношениях с окружающими.

Не было особых хлопот с первенцем, родившимся до войны, Алешей, сыном от первого брака. Мальчику никто ничего специально не разъяснял, и он, спасибо его матери, жил с ощущением, что ничего необычного в образе жизни его семьи нет. Что это так и надо, что его отец, писатель и вообще — знамени-

тый человек, как он начал осознавать с годами, постоянно в разъездах, странствует и потому живет вдали от дома и появляется на глаза лишь изредка. Зато уж каждое появление — праздник, которым не только наслаждаешься сам, но и гордишься перед друзьями.

К.М. угадывал этот настрой сына, понимал его и не упускал случая как бы подыграть ему. Дарил книги со своими автографами и посвящениями классу и школе, где учился Алеша, любил иногда и подкатить к школе или к дому на Сивцевом Вражке, где сын жил с матерью, на машине так, чтобы побольше детского народцу было тому свидетелем...

С той поры, как Алеша пошел в школу, между ними завязалась переписка, и К.М. поговаривал иногда, сам не зная, шутя или всерьез, что если бы их переписку издать, получилось бы что-то вроде современного «юности честного зерцала».

Впрочем, последний раз такое настроение и даже охота шутить по этому поводу появились у него довольно давно. Теперь же, перечитывая иные свои письма сыну, — он и в этом случае, как и в других, всегда оставлял у себя копию — испытывал даже что-то вроде неловкости. От этих, например, строк 1953 года. «Проезжая дважды в неделю мимо нового здания университета, я всегда думаю о том, что придет время, и ты будешь учиться в нем с тем, чтобы потом начать трудовую жизнь — поехать туда, куда тебя пошлет государство. Радостно думать об этом, дорогой, и радостно работать для этого — для того, чтобы такая судьба ждала и тебя, и миллионы таких ребят, как ты...»

Так и случилось. Сын вырос, окончил успешно школу, пошел, правда, не в университет, а во ВГИК, окончил его, стал режиссером. Словом, в какой-то мере пошел по стопам отца, как и Маша, которую после института потянуло в газету.

Когда встречались, а теперь это происходило даже чаще, чем прежде, им не приходилось предпринимать каких-то особых усилий, чтобы возникла непринужденная обстановка. Напрочь вышел из обихода тот несуразный язык, которым было написано то, да и не одно оно, письмо сыну.

Хорошо складывалось и с Катей, дочерью Ларисы и рано умершего Семена Гудзенко, К.М. удочерил ее официально сразу после того, как они с Ларисой поженились. У девочки рано прорезалась страсть к наукам, был талант к языкам — единственное, чему он завидовал в жизни. Всем было ясно, что по окончании университета ее ждет аспирантура, а там и карьера ученого-лингвиста, филолога, специалиста по Японии — не посторонней для него стране.

Проблемы назревали с младшей, с самой любимой, как водится, с той, которая была единственной из его чад, кто с самого рождения жил и воспитывался в атмосфере нормальной, благополучной, тьфу, тьфу, семьи — с отцом, матерью и, до поры, бабушками и дедушками с обеих сторон. Девчонке пошел всего-то четырнадцатый или пятнадцатый год, когда у нее завелись дружки какого-то балаганного, богемного плана, а также появилась, явно связанная с этим, независимость, вернее, бесшабашность — в манерах, а главное — в суждениях. Из них вытекало, что чуть ли не все из того, что для него, К.М., было при всех великих перетрясках последних лет свято, для нее оборачивалось пустяком, ничем. Поначалу это не очень его беспокоило, иногда даже забавляло. Радикализм ее высказываний он относил за счет естественных поветрий возраста, полагая, что достаточно его вполушутку-вполусерьез комментариев, чтобы выветрить дурь из головы. Дурь, однако же, не проходила, а укоренялась с годами. Роди-

тельские, вполне тактичные, проникнутые любовью и заботой замечания все чаще встречались в штыки, а скептицизм в отношении ценностей того мира, в котором она жила и росла, все больше распространялся на то, что сделал и продолжал делать он.

Когда К.М. впервые отдал себе ясный отчет в этом, ощущение было такое, словно в сердце его ввели тонкую стальную иглу и оставили там. Нельзя шелохнуться — такая боль. Так он впервые в жизни убедился, что боль физическая и душевная могут быть одним и тем же. Боль физическая, однако, со временем проходит. Душевная поселяется в тебя навсегда. Это — медленная пытка.

Если бы эта пресловутая богемность выявляла себя лишь в каких-то внешних выходках — всякие там рок-н-роллы, экстравагантные моды, даже выпивки, чем черт не шутит, даже чрезмерный интерес к вопросам пола. Если бы это была какая-нибудь «золотая молодежь», стиляги, хиппи, он бы знал, что делать. Это бы его не убило и не обезоружило. Но нет, на этих сборищах, часто они проходили и у него дома — в Москве или на даче, они не столько пили и танцевали, сколько рассуждали и, видно, в этих рассуждениях доходили до геркулесовых столбов. Молодцы и девицы, дети людей того же примерно круга, что и он. Один — сын дипломата, другой — физика, третья — художника и т.д. Можно было себе представить, какие шпильки они отпускали по его поводу. Прозевав беду, он пытался все же, когда она пришла, говорить с Саней всерьез. Натыкался на стену. Его всегда бесила в людях предвзятость, эдакая запрограммированность, когда заранее все знают, не хотят слышать никаких аргументов, когда одни, априори, всегда и во всем правы, а другие — точно так же нет. Он всю жизнь, не щадя живота своего, сражался с людской безапелляционностью, в какие бы тона она ни окрашивалась. Оказывается, больнее всего встретиться с этим в родной дочери. То, что Санька — его любимица, ни для кого не было секретом, в том числе и для старших его детей. Они знали, что он любил их всех, но Саньку — обожал.

Нина Павловна и эту драму шефа переживала как свою. Убеждала его при всяком удобном случае: не надо было без конца таскать девчонку по заграницам. Ломается ритм жизни, распорядок учебы, она видит все происходящее там только с праздничной, туристической стороны. Грешила она больше на Ларису, потому что именно она, как правило, была инициатором всех семейных поездок по миру, они иногда длились неделями, а то и месяцами. Существо Санькиных радикальных воззрений Нину Павловну не пугало. Ей ли, прошедшей с мужем круги сотворенного Сталиным ада, заботиться о сохранении декора и переживать по поводу того, что у молодых спадает с глаз пелена? Задевало — и это как раз и было в ее глазах следствием молодости и неустойчивости суждений, — что свое неприятие казенных ценностей дочь переносила на отца, как губка впитывала в себя все то, что слышала в своих высокоумных компаниях. Когда могла, она пыталась втолковать все это Саньке, с которой была очень дружна. Порою вроде бы это удавалось. Жалко, что нельзя поделиться своими наблюдениями с К.М., с которым никто по этому поводу не осмеливался заговаривать. Санькина неуправляемость была, конечно, предметом обсуждений в доме, но никогда не упоминалась при этом самая чувствительная нотка.

Дети К.М. часто встречались и как будто бы вполне ладили друг с другом. Разговора об отце и матерях предпочитали вовсе не заводить. Смерть Вали отпустила что-то в его душе. Странно, чужой уже в сущности человек, совсем-совсем забытый, а ушла — и словно закрыла за собой дверь из одной половины жизни в другую, и оттого та, первая, почти уж нереальная, вдруг потянула к

себе. Он окончательно понял, что допишет две повести, которые одновременно просились на свет божий. Собственно, вместе с кое-чем написанным ранее это будет роман в повестях. И назовет он его в соответствии со своими нынешними настроениями «Так называемая личная жизнь».

Нина Павловна могла быть довольна. Шеф опять начал диктовать. И слава богу, не справки какие-то, не объяснения, не доклады на разных литературных форумах, даже не сценарии бесконечных фильмов о кавалерах орденов Славы, а снова — прозу. Она ревновала его к кино, хотя сама-то пришла к нему некогда работать как раз из кино. И Юз всю свою сознательную, вернее, всю свою вольную жизнь работал в кино. И дело К.М. делает благородное. Этого она не могла отрицать. Вот уж действительно — оставить для потомства зримую летопись войны, от ее первого дня до последнего. Даже ее сомнения насчет того, будет ли это интересно телезрителю, были благополучно посрамлены. Люди смотрели и первую, и вторую, и четвертую, и седьмую картину. Смотрели и старые, и малые. Писали и звонили те, кто имел к этому самое прямое отношение — ветераны Великой Отечественной, родственники, знакомые кавалеров, киношники, журналисты. Из-за рубежа письма идут навалом, от наших и иностранцев, чего давно уже не было. Нет, К.М., как всегда, оказался прав. И его поистине лошадиное упорство, все эти гигантские усилия, которые он затратил, не прошли даром. Дали свои плоды и еще какие! Его рукой, его волею еще одна из страниц истории заполнена.

И все-таки, все-таки его дело — не фильмы снимать, а писать. И не очерки, не мемуары только, а прозу.

К.М. угадывал настроения Нины Павловны. Нет, живому человеку, да еще и одному из самых близких, диктовать сокровенное — это совсем не то, что остаться наедине с чуркой-магнитофоном. Тот более пригоден для предварительных набросков, для документальной прозы. Приступая к первой части своего романа, которую он назвал «Двадцать дней без войны», он с самого начала нуждался в чутком, благодарном, понимающем и переживающем все, быть может, больше, чем он сам, читателе. Та жизнь, в которую он теперь был намерен вернуться, была и ее жизнью.

С тех пор, как он впервые уловил больно задевшие его настроения дочери, стремление «глубже копнуть самого себя» становилось все сильнее, грозило превратиться в манию. Ради этой, скорее всего, последней в его жизни прозы, он даже отложил работу над пьесой «О моих четырех Я». Не думать отложил, а писать. Думать себе не запретишь. Просто пьеса — дело еще более высокого пилотажа. Две задуманные им повести, которые он решил наконец-то довести до ума, виделись своеобразным прологом к пьесе. Главным действующим лицом тут будет журналист и писатель, военный корреспондент некоей военной центральной газеты, в которой читатели, кому досуг, конечно же, узнают «Красную звезду». Фамилия корреспондента будет Лопатин. Она уже знакома читателю. Это будет попытка не просто пережить, но прожить еще раз однажды уже прожитое. Войти второй раз в ту же воду. Лопатина он и сделал чуть ли не вдвое старше, чем он сам был в ту военную пору. Это будет Майор и Алексей Иванович сразу.

Вещь писалась, вернее, диктовалась споро и сложилась сравнительно легко. И быстро привлекла к себе внимание читателей, которые тут же завалили его письмами: кто тот, а кто этот? А правда ли, что Лопатин это... А генерал Ефимов...

Из Грузии спрашивали — ну, Виссарион, это ясно — Ираклий Абашидзе. А кто Варлаам?

Галя Волчек, сменившая в «Современнике» Олега Ефремова, который ушел во МХАТ, закинула удочку насчет пьесы по повести. И пьеса эта скоро получилась у него.

Настоящим праздником стала премьера. Галя Волчек затянула с работой, но уж все сделала на славу. Хорош был долговязый Гафт в роли Лопатина. С ним, подумалось тогда, попадание, прямо как с папановским Серпилиным. Сплав иронии и лирики — тот эффект, к которому он всегда стремился и что не всегда получалось. Ника Марины Нееловой — «само олицетворение любви, чистоты», — воскликнула прямо в театре Нина Павловна. Ну и, конечно, Добржанская, взятая Райхельгаузом «напрокат» в театре Советской армии, замечательна в роли Зинаиды Антоновны. В зале, он чувствовал, продолжался спор, начатый еще при появлении в печати самой повести — то ли Раневскую имел в виду автор, то ли Серафиму Бирман.

В Лопатине все, конечно, узнавали его, Симонова, в «бывшей жене» его бывшую жену, кого ж еще. Ну, а вот с Никой в воображении зрителей происходила, видимо, заминка. В антракте, когда они с Ларисой степенно прогуливались в фойе, люди, он видел это, останавливали взоры на ней с немым вопросом и, судя по тому, как отводили глаза, не находили ответа. Замечал это не он один. Замечала Лариса. И замечали девчонки, Катя с Санькой, которые в конце концов отбили у него мать и, взяв ее с двух сторон под руки, водили по фойе с таким видом, как будто бы кроме них троих на этом свете вообще никого не существовало.

Эх, Лариса, Лариса, и любил он ее, и ценил. И покорился ей так, как никому еще не покорялся в своей жизни. Но в стихах ее не было, и в прозе вот тоже не вышло. Было, правда, одно стихотворение, положенное на музыку Модестом Табачниковым и исполненное на пятидесятилетнем юбилее, теперь уж почти десять лет назад:

Там, где старые пожарища,
Видно, счастью не бывать,
Как звала тебя товарищем,
Так и дальше буду звать...

И на сцене, и в зрительном зале, и потом в ЦДЛ, на банкете, где за стол приглашены были помимо родни и актеров все, кто задержался в те поздние часы в Доме литераторов, какая-то особая, полузабытая атмосфера воцарилась. Банкет, где они с Гафтом, так до утра и не вышедшим из роли, сидели во главе стола, казался продолжением спектакля, а сам спектакль — ожившим вдруг прошлым, которое всегда так прекрасно и элегично, когда на него смотришь издалека.

Ему запомнилось восклицание Нины Павловны. Как странно, писал Нику он, а угадала и, если хотите, подсказала ему ее истинную суть Нина Павловна. Да, в какой уже раз, скорее всего, уже в последний, он попытался воплотить свою мечту о любви. Все прочие попытки были в стихах. Он знал, что цикл «С тобой и без тебя» живет в людской памяти. Но там — непрерывное столкновение, борьба и в конечном счете — неразделенное, горечь любви:

Видно, та, что звал любимою,
Не женой — бедой была.

Теперь этой своей новой вещью он сжег, чему поклонялся. Но нет, не поклонился тому, что сжигал. Поклонился своему идеалу, который так и остался мечтой. Все его стихи — о противоборстве в любви, о муках ее, сводящих с ума, доводящих до исступления. Идеал — это гармония, самопожертвование с обеих сторон, и если борьба, то борьба благородств, соревнование в высоте чувств.

Именно этим объясняется многое и в Лопатине. Кое-кто умудрился в этом образе обнаружить попытку самоидеализации. Видит бог, как он далек от этого!

Знаю, жизнь недаром прожита,
Всем смертям в глаза глядел.
Ну, а все же, что же, что же ты
Так безбожно поседел.

Чем ему и дорог образ, созданный Гафтом. Симоновский Лопатин — немного резонер, чересчур уж, пожалуй, правилен, отчего временами скучноват — и для окружающих его, и, возможно, для читателей. Гафт добавил как раз то, чего ему и не хватало, поставил последнюю точку в глазу портрета. Гафт прибавил своему Лопатину то, от чего хотел уйти он, Симонов, и, видно, зря — малую, самую малую толику любования собой. Даже не собой, а своим местом на войне, своей погруженностью в нее, что заставляет и других — спутников и собеседников в эти двадцать дней без войны — признавать его необидное превосходство. Короче говоря, он увидел в Лопатине то, что действительно жило, как ни прячь, и живет в нем самом, Симонове, что, должно быть, и составляет и силу, а может быть, и слабость его. Гафтовскому Лопатину угаданное актером придало, кажется, то очарование, которого не хватало персонажу из повести. Но не убавило ли глубины?

С тем большим интересом, даже волнением откликнулся он на предложение Алексея Германа, который вскоре после премьеры в «Современнике» выложил идею делать фильм по «Двадцати дням». Итак, вслед за модным «Современником» — модерный кинорежиссер. Невольно он усмехнулся тому, как со временем все меняется на этом свете. Давно ли, кажется, — увы, все-таки давно — корифеи театра и кино гонялись за ним, восходящей звездой, считали за честь и великую удачу для себя заполучить право на работу с той или иной его вещью. Вспомнить Пудовкина, Серафиму Бирман, самого Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Теперь его сердечко екает оттого, что, видишь ли, сразу два представителя «новой волны» в искусстве взглянули благосклонно в его сторону... В долгом разговоре с Германом дотошно и придирчиво выяснял, а что же, собственно, привлекло его в повести, какие истины он намерен выразить своим фильмом.

Герман в разговоре не выявил признаков какой-либо застенчивости, но и открытостью не отличился. Просто говорил, что он давно присматривал такой материал, который дал бы возможность ему, человеку, не воевавшему в силу возраста, рассказать о войне. И самое для него естественное было бы, он сразу понял это, прочитав повесть, именно показать войну не на войне и даже не глазами человека, который воевал, как Лопатин, а такого, как ваша эта Зинаида Антоновна.

— В какой-то мере, — сказал Герман и, кажется, впервые улыбнулся, раздвинув мясистые щеки, — в какой-то мере мы с вашей героиней в одном положе-

нии. Не имея, по возрасту, шансов участвовать в войне, — не в силах от нее глаз отвести.

К.М. понял, что если фильм у Алеши получится таким, каким он его сейчас видит, то это именно будет война глазами Зинаиды Антоновны. Забавно, забавно... Но уж совсем не забавной показалась ему сообщенная Германом напоследок затея позвать на роль Лопатина Юрия Никулина. Настоящий артист! Но амплуа? Клоун из цирка, кинодурачок из гайдаевских комедий. Герман напомнил ему, правда, что Никулин играл еще и в лирико-меланхолическом фильме «Когда деревья были большими» одного исправляющегося алкоголика и блудного отца. Да, фильм был классный, К.М. согласился с определением Германа. Работа Никулина была хорошей. Но уж больно далек фактурой от того образа, каким он видел Лопатина. Тут Герман возразил ему и резонно, что ведь, как можно понять из его же, симоновских, публикаций, ему и Папанов на роль Серпилина тоже казался поначалу — ни в какие ворота. Что верно, то верно, тут возразить трудно. И вообще, этот настырный вьюноша, видно, твердый орешек. В этом надо было отдать себе с самого начала ясный отчет. Впрочем, и с ним, Симоновым, этому доброму молодцу тоже будет не так-то легко. Что ж, может, из их ошибок и сколотится что-то новенькое. Но путное ли?

Он недавно смотрел «Первого учителя» Андрона Михалкова-Кончаловского по повести Айтматова. Повесть эту К.М. любил. С самого начала разгадал зашифрованную судьбу ее героя, Дюйшена. Очень тонко, однако, поступил Айтматов, лишь намекнув на трагическое в его судьбе. Оттого и вьется этот горьковатый дымок грусти над каждою строкой повести, оттого и подкатывает ком к горлу, когда лишь тень бывшего Дюйшена скользит за окнами богатого большого дома, где чествуют его бывшую ученицу, ныне академика Алтынай, приехавшую на открытие новой школы. Ключом к повести для него были брошенные вслед старику с издевкой слова: «Чего только не затевал тогда Дюйшен. А мы-то всерьез считали его учителем».

Из фильма Кончаловского все это ушло. На экране неистовствовал, бушевал, насильно загоняя людей в колесницу счастья, молодой фанатик с выпученными глазами и визгливым голосом. Персонаж, к которому, чувствовалось, ни режиссер, ни актер ни на йоту не испытывали ни симпатий, ни сочувствия.

Он готов был при всей своей сдержанности чуть ли не с кулаками наброситься на режиссера, удержало только показавшееся совсем необычным спокойствие, даже благость какая-то Чингиза Айтматова, который казался совершенно довольным лентой. Его, Симонова, эмоции были бы тут просто неуместными. Он в сдержанных словах поздравил авторов и постарался поскорее покинуть зал.

Ему была хорошо знакома и всегда претила эта манера молодых, а иногда и не очень молодых, так вот брать и наизнанку выворачивать произведение в угоду каким-то собственным, с первоисточником никак не связанными концепциям. Сколько за последнее время было произведено экзекуций и над классикой, и над современными вещами и в театре, и в кино! Что-то подсказывало: Герман из таких же вивисекторов. К.М. писал жизнь и людей, какими их видел. И если критика находила, что героям его свойственна эдакая приподнятость духа, одержимость высокими моральными устремлениями, принципами, о которых они считают неловким рассуждать вслух, — что ж, это не выдумка, это правда.

Везло ли ему в жизни на таких людей, видел ли он то, что от других сокрыто? Или просто домысливал в угоду своему идеалу? Страсти к настоящему?

Потому-то и война была и остается главной героиней всех его писаний, что на войне все обнажается. И противостояние добра и зла очевиднее и драматичнее, чем в обыкновенной мирной жизни. В отличие, скажем, от Василия Быкова его всегда больше влекло рассказать об этой борьбе, когда она идет между своими и чужими, чем когда среди своих. Хотя образов трусов, предателей, перестраховщиков, просто идиотов и эгоистов было и в его прозе предостаточно. И все-таки это только фон.

У этих же новых, к которым он невольно причислял и Германа, какое-то особое, не вызывающее, честно говоря, зависти зрение. Словно бы они жизнь, людей, предметы, природу видят всегда такими, какими они выглядят либо в ранние сумерки, или, наоборот, перед самым рассветом. Все вокруг какое-то серое, дымчатое, плоское, лишенное красок и жизни. Невелика будет радость, если вот так же, волею этого начинающего гения, будет обессочен, обесцвечен облик его героев.

Когда начались первые пробы, первые прикидки, а там дошло и до первого просмотра более или менее скомпонованного материала, он испытал тот же шок, что и с «Первым учителем». Но там была чужая вещь. А тут — своя. И ощущение такое, словно тебя остановили посреди улицы, попросив прикурить, и обчистили как липку. Обобрали и не признаются. Именно так себя и вел Герман на первых обсуждениях — со скучающим, отсутствующим видом слушал его, К.М., возражения, всем своим видом показывал, что они его нимало не интересуют. Тем более, что уже с самого начала стали раздаваться восторги, истерические ахи и охи, которые с некоторых пор усердно культивируют модные критики и критикессы. Самое обидное, что такие восторги, порой даже вызывающие, слышал он и от Саньки, да и от Ларисы. Он не постеснялся выразить свой скепсис, но остался в сокрушительном меньшинстве, если не сказать — в единственном числе. Пришлось кое в чем уступить, кое с чем согласиться. А когда выяснилось, что цензура, которая на удивление спокойно приняла к печати его повесть, тут словно бы взбеленилась, вся цензура — и ведомственная, в виде худсовета студии, и универсальная, что в Китайском проезде, — тут уж вообще пришлось поворачивать пушки на все сто восемьдесят градусов. В боях с цензурой они с Германом оказались единомышленниками, и это примирило их в работе над фильмом. Премьера наконец состоялась, и овации, которыми встретила публика и режиссера, и писателя, довершили дело.

Явилась идея еще одной повести, последней в цикле, которую по завершении он назвал «Мы не увидимся с тобой». Само уже название, по его мысли, должно было стать вызовом нарочито приземленному, прозаизированному отношению к жизни, из которого молодежь, а порой и пожилая молодежь, пытаются сотворить себе кумира.

Итак, снова Лопатин, снова бывшая жена, Ксения, снова Ника, Гурский, Редактор, но уже совсем в других ипостасях. Двадцать дней без войны кончились. Война, вышедшая уже на границы Родины, поставившая на свое место сваленные, а то и взорванные пограничные столбы, продолжается.

Он начинал эту повесть, никак не предполагая, что работа над нею растянется почти на пять лет, в таком полемическом запале он за нее принялся. Все время что-то отвлекало. Очень трудно было найти для этой вещи временную нишу. Ведь шутка сказать, сколько в те годы опять шло всего сразу. В апрельской книжке «Дружбы народов» за 1974 год вышла первая порция «Разных дней войны».

Правда, это пока не то, вокруг чего сыр-бор полыхал несколько лет подряд, не «Сто суток», но — лиха беда начало. Он чувствовал, что недалек тот день, когда поступит разрешение и на первую, самую принципиальную и самую дорогую для него часть. В этой связи решил наконец забрать верстку из «Нового мира».

Косолапову, преемнику Твардовского, подсластил пилюлю, упомянув, что лежащие в «Новом мире» пятнадцать глав, посвященные сорок первому году, сделаны теперь во многом по-новому. На самом деле он не столько переделывал эти главы, сколько отсекал все, связанное с предвоенным периодом, с пактом о ненападении.

Это было соломоново решение. Его новая книга — о разных днях войны. А пакт и прочее — это предвоенный период. Это будет уступка не цензорам, а логике, если всю предвоенную часть он уберет. До лучших дней, до той поры, когда удастся вновь вернуться к архивам и изучить этот период досконально.

Подпирали его теле- и киноинтервью с кавалерами ордена Славы. Тут, чем больше делалось, тем больше оставалось, но уже ни бросить, ни ограничиться какой-то частью было невозможно.

Продвигалась и другая серия — цикл интервью с полководцами Великой Отечественной, с теми, кто оставался еще в живых. В первую очередь, конечно, с Георгием Константиновичем Жуковым. Его тянуло защитить тех, живых и мертвых, кто был обижен, недооценен, претерпел опалу. Все больше одолевала мысль, что это — его долг, может быть, последний долг — как можно больше добыть таких свидетельств и оставить потомкам.

Так каждый раз он успокаивал себя, когда неделями, а то и месяцами не мог улучить время для повести.

Он все больше сомневался в том, что она у него напишется. Все меньше был уверен, что и предыдущая-то получилась, что удалось в ней сказать именно то, что хотелось сказать, что надо было сказать. Хотя она по-прежнему нарасхват. И у читателей, и в театре, и в кино. Недавно, хочешь смейся, хочешь плачь, из ГДР даже запрос на либретто для оперы поступил. Он писать отказался наотрез. Увольте. Чего не умею, того не умею. И учиться не собираюсь. Тем более — медведь на ухо наступил.

Как ни сопротивлялся, ни воевал сам с собой, а на первый план в его новой повести все время выходила Ксения, Жена. И поскольку ни у кого не было ни малейших сомнений в том, кто же реально стоит за этим образом, то получалось, что он вроде бы сводит теперь счеты за прошлое: фигура возникала не очень-то привлекательная.

Он перестал диктовать повесть Нине Павловне. Не доверял вполне даже диктофону. Много писал от руки, чего давно уж не делал. Но и рука останавливалась, когда осеняла очевидная мысль, что коль скоро он сидит над этим, то рано или поздно ведь и закончит. А раз закончит, то и напечатает. Как тогда все это будет воспринято? По-мужски ли все то, что он делает? Пока пишешь, не оглядываешься — главное выложить все, что у тебя на душе так, как оно есть. Потом еще будет время подумать и взвесить. Когда же написано, отдаешь в печать, мол, раз уж написано, негоже исправлять в угоду рассудку и осмотрительности.

Был, конечно, выход — событийно уйти от навязчивой идеи, занять Лопатина чем-то другим, более важным, чем «так называемая личная жизнь». Пожертвовать Гурским, хотя прототип его — всем хорошо известный Саша Кривицкий, был живехонек и исправно посещал все премьеры в театре и все читательские

и зрительские конференции. «Расправа» с Гурским убивала сразу двух зайцев. Во-первых, лишала Кривицкого возможностей красоваться. С ним в последнее время отношения испортились. Порою приходило в голову, уж действительно не получал ли он некогда заданий в отношении его, как намекали ему. «Если и так, — отшучивался он, — то всегда лучше знать, кто на тебя стучит». С другой стороны, его «исчезновение» из повести позволяло вывести на авансцену еще один персонаж, еще один женский образ создать — матери Гурского, чудесной, доброй, старой еврейки, истинной патриотки советской Родины. Сколько он таких женщин в своей жизни встречал, и всегда в нем жило чувство неисполненного перед ними долга. Этот образ ему удался. Но не он, естественно, не этот образ был главным. Куда бы по его, автора, воле ни забрасывала судьба Лопатина, Ксения, словно тень, следовала за ним. То звонком из Ташкента, то письмом, то рассказом Гурского или редактора, то собственной персоной, наконец.

То, что думал о себе, отдавал Лопатину: «Чем беспощаднее он думал сейчас о своей жизни с Ксенией, тем яснее ощущал, что одно из двух — или безнравственно вспоминать так о женщине, с которой прожил пятнадцать лет, или, раз не можешь вспоминать о ней по-другому, значит, безнравственно было жить с ней — если не с самого начала, то с какого-то дня и часа».

И ни автор, ни герой его не могли разрешить для себя эту дилемму. И оба признавались: «Есть что-то непростительно рабское в многолетней власти чужого тела над твоей, чужой этому телу, жизнью».

Лопатину еще было легче. Былое господство Ксении над ним было действительно господством только тела. Он не писал и не посвящал ей стихов, и ему не приходилось поэтому ежедневно и ежечасно видеть эти книжки со стихами у себя под носом или слышать, как они звучат по радио — часто его, Симонова, голосом, как исполняют песни, написанные на эти стихи. У его Лопатина не было соблазна после долгого-долгого, чуть ли не двадцатилетнего перерыва вдруг прочитать «Жди меня» в огромном зале на телестудии «Останкино», где записывали его творческий вечер. Он, К.М. читал, волновался, даже губы, черт возьми, дрогнули, на виду и на слуху у всех, в том числе Ларисы и Саньки.

Когда поставил последнюю точку, вернее, многоточие в финале повести и написал вслед за этим «конец», задумавшись на минуту, проставил и даты 1956—1978. Да, именно этим годом, 1956-м, годом его ухода от Вали, неожиданного для нее, но окончательного, он пометил начало работы над повестью.

Лариса своего отношения к этой работе, как и к предыдущим из того же цикла, не выразила. Он на это и не рассчитывал. Нине Павловне составленный из повестей роман нравился. Именно тем, быть может, что многое было щемяще знакомо. Столько всего, что было отнесено К.М. к военному времени, произошло уже при ней, после войны. Она ловила себя на том, что в разговорах с ним нередко называла его героев: Кривицкий, Ортенберг, Вы — вместо Лопатин ну и так далее. И не было случая, повторяла она мне, чтобы он ее не поправил. Терпеливо, спокойно, но твердо. Хотя чертики в глазах при этом прыгали. Только Ксению она Валей ни разу не назвала. И он это тоже заметил.

...После смерти Твардовского К.М. оказался во главе комиссии по его литературному наследию. Он мог бы, конечно, напомнить, что и так уже заведует чуть ли не десятком комиссий этого профиля — Мандельштам, Горбатов, Булгаков, Фадеев... Но ему даже в голову не пришло на это сослаться. Тут был долг

совести. Он так и сказал Марии Илларионовне, которая первой обратилась к нему. Потом уж потянулись Марков, Верченко, Беляев...

Интересно, а кого они назначат ведать его комиссией? От этой мысли ему тут же стало не по себе. Слишком уж натурально, по-рабочему она ему явилась. Нашел о чем заботиться. Надо думать о Трифоновиче, распутывать все, что по злой, а то и доброй воле было сплетено вокруг его имени. Начиная от пресловутых «одиннадцати» в «Огоньке» во главе с Михаилом Алексеевым и кончая Солженицыном. Был тут еще один неожиданный казус. Из журнала «Коммунист» ему как председателю комиссии переслали на консультацию статью некоего Сиводедова. Одна фамилия чего стоит, особенно в сочетании с приставками доцент, кандидат исторических наук. Щедрин да и только.

Сиводедов назвал себя близким другом Твардовского и, судя по некоторым фактическим данным, приведенным в статье, а потом в письме, которое он прислал К.М., был вправе претендовать на это. С Сашей он был знаком с 1923 года — вместе учились в школе второй ступени, которая находилась в нескольких десятках километров от Загорья, родного села Твардовского, и даже жили, пишет, вместе, в одной комнате захудалого общежития. Вместе с Твардовским приезжал он в ту пору не раз в Загорье, познакомился с матерью, братьями и, конечно, отцом Трифоновича, о котором и речь в письме. Потом, как уверяет, до самой смерти Твардовского вел с ним переписку. Хранит у себя его письма, накатал триста страниц воспоминаний.

Речь в статье шла об отношениях молодого Твардовского с отцом, который был раскулачен и сослан в первые месяцы коллективизации. Движимый, по его заявлению, благородным стремлением восстановить истину, Сиводедов вступает в полемику с критиками, которые, по убеждению Сиводедова, фальсифицируют характер отношений Твардовского с отцом, изображают их неправдоподобно идиллическими, в то время как сын порвал с отцом по принципиальным соображениям.

История этих взаимоотношений была К.М. хорошо известна. Это было больное, чувствительное место для Твардовского. К.М. этой темы в разговорах с ним никогда не касался. Хотя случаи для этого были. Они как-то оказались в одной больнице, было это уже незадолго перед уходом Твардовского из «Нового мира». Саша предложил, что зайдет к нему, К.М., в палату и почитает... новую поэму. Несколько главок из нее были напечатаны в «Новом мире». Теперь Трифонович объявил вещь законченной.

Заявившись к нему в палату, Саша известил, что еще вчера вечером пригласил и Мирзо Турсун-заде, их давнего общего друга, и он вот-вот подойдет. Ждали-ждали, нет Мирзо. Решили, что, видно, врачи неожиданно смешали его планы, и Трифонович, поколебавшись, предложил все-таки отложить чтение. К.М. оставалось только согласиться. Мирзо подтвердил вечером, что попал в медицинскую облаву. Когда же эта ситуация повторилась, один к одному, через день, они печально посмотрели друг на друга и больше не стали откладывать то, ради чего встретились.

Поначалу, пока шли строки и строфы, уже знакомые К.М. по публикациям, он не столько слушал, сколько потешался внутренне над той картиной, которую они сейчас собой являли для постороннего взгляда. Благо, никто их кроме время от времени заглядывающих сестер и нянечек не видит. В бурых пижамах, в халатах такого же приблизительно цвета, седые, лохматые, как два понурых дрозда на жердочках. Между тем, черт побери, по общему признанию — два

классика современной советской литературы, два широко известных в мире деятеля.

Твардовский читал, то и дело поправляя полы расходившейся на голой волосатой груди пижамы, и явно нимало не заботился о том, как это смотрится.

Глуховатый, чуть окающий говорок Трифоновича. К.М. с жадностью схватывал и смаковал каждую строку, торопясь насладиться ее звуком и вкусом, прежде чем придет ей на смену следующая.

Дивился знакомому чуду — превращению у тебя на глазах самой обыкновенной человеческой речи на самые обыденные, житейские темы в чистое золото поэзии. Оттого-то, может, и думали непосвященные, что так писать, как пишет Твардовский, — легко. Оттого-то, видно, было у него столько подражателей, прямых имитаторов. Сколько «Василиев Теркиных» наряду с единственным блуждало в военные годы по свету!

Читал Саша по верстке, присланной ему из редакции, и К.М. подумал, что обязательно попросит ее на память, с автографом. Мало на свете людей, у которых пришло бы ему в голову просить автограф. Ему, который сам дал их тысячи.

Что-то стало его задевать, тревожить в продолжавших мерно звучать строках. Он до сих пор так до конца и не уяснил себе, что же такое она была — коллективизация. То, что допущена тьма перегибов, то, что людей «раскулачивали», т.е. разоряли и ссылали ни за что ни про что, за лишнюю коровенку, за какого-нибудь сезонного помощника, — это ясно. Но чтобы коллективизация сама по себе, изначально была ошибкой, такого ему в голову не приходило. Когда доводилось читать подобные суждения в зарубежной и эмигрантской прессе, привычно относил их к антисоветской риторике. Теперь слышал это от Саши.

Не в горячечной, при легком подпитии беседе звучало, а в чеканную поэтическую строку было отлито, составляло самую суть поэмы. Он в который раз уже подивился редкому дару Твардовского — его безрассудности, которая побуждает писать и действовать, абсолютно не задумываясь о проходимости и приемлемости твоих строк, их суразности что ли, с точки зрения господствующих представлений... Поэма двигалась дальше, словно Микула Селянинович шел за плугом, подбадривая ретивого коня и взрезая острым лемехом набухшую соками землю. Подошли строки, от которых и у него, прожженного письменника, всеми ветрами веянного, всеми дождями мытого, ком вставал в горле. Это было и про него, про то, чем он жил и мучился все последние годы.

Втолкуй, зачем и чья опека
К статье закрытой отнесла
Неназываемого века
Зловещей памяти дела.
Иль о минувшем вслух поведав,
Мы лишь порадуем врага.
И кто сказал, что взрослым людям
Страниц иных нельзя прочесть?
Иль нашей доблести убудет
И на миру померкнет честь?

Отзвучали последние строки. К.М. бросился обнимать Сашу. Сердце, однако, подсказывало ему, что долго-долго еще всему, что он только что услышал, не видать белого света.

Какой в порядок не внесенный,
Решил за нас особый съезд
На этой памяти бессонной
На ней как раз поставить крест?

Верстку Твардовский ему пожаловал. На первой странице начертал: «К.М. и Л.А.Симоновым — А.Т.Твардовский. 30 июня 69 года». Коротко и ясно. Между ними издавна повелось — без излияний. Если кто и способен был согрешить на этот счет, то скорее он, Симонов. Твардовский, тот нет, кремень-мужик.

Ощущение растущей близости прибавило и особой ответственности за судьбу Саши.

Дали бы ему, Симонову, сейчас журнал, действовал бы он так, как Трифонович? Что гадать, коли журнала все равно нет. Но есть голова, есть руки, есть совесть и злость, и все это он готов был отдать на алтарь того дела, которое делал Твардовский.

Перипетии с поэмой и его «Ста днями», которые все еще лежали в «Новом мире», как бы заново сдружили их.

Когда сходились на дачных дорожках, было о чем поговорить. Дорого было ему причаститься снова к турбулентной новомировской кухне, которой столько было обоими отдано.

В одной из таких прогулок он узнал, что где-то в недрах ЦК, в дружном взаимодействии с верхушкой Союза писателей, идет деятельная подготовка к изменениям в составе редакции и редколлегии журнала. По-своему, это был хитрый тактический шаг — коль скоро нельзя убрать самого Твардовского, почистим его окружение, а там, глядишь, и он, гордый человек, взбунтуется и уйдет.

Началась атака с коллективки в «Огоньке», которую скоро стали называть «письмом одиннадцати». Знакомые все лица: Михаил Алексеев, Викулов, Анатолий Иванов, Проскурин... Вся далеко не джентльменская обойма. И письмо — не полемика, а оглобля. Концепция тоже хорошо была знакома — борьба с неким тлетворным западничеством, которое на страницах «Нового мира» покушается на исконно русское начало.

К.М. немедленно продиктовал Нине Павловне письмо Твардовскому. Отправив его, понял, что остановиться на этом нельзя. Написал открытое письмо в «Литературку». Звонивших ему в те дни Исаковского, Суркова, Тендрякова, Сергея Сергеевича Смирнова, Сергея Антонова и других увлек присоединиться к его протесту: тех-то, как ни говори, одиннадцать. Увы, «письмо семи» вызывало «в верхах», видимо, меньше энтузиазма, чем «письмо одиннадцати». Чаковский — старый друг называется, пробы негде ставить! — не спешил его печатать. Видно, команды не получил. Или, наоборот, получил, но противоположную. Как тут не вспомнить характеристику, которую дал Чаковскому в общем-то нелюбимый Симоновым Катаев: «Всегда держит во рту вонючую сигару и любит шиться в сферах».

Не получив от всеопытнейшего Александра Борисовича вразумительного ответа, К.М. написал Маркову. Знал по опыту: если разговариваешь с ним, значит и с «верхами». Тут очень к месту было напомнить и о своем собственном официальном положении. Как-никак, а снова — секретарь союза. «На каком основании, — грозно вопрошал он, — не печатается «письмо семи»? Является ли «письмо одиннадцати» официальной точкой зрения, и если да, то кто ее вырабатывал? А если не является, то почему одиннадцати литераторам можно было выразить свою

личную точку зрения, а семерым другим своей точки зрения выразить нельзя? Следует ли считать журнал «Огонек» директивным органом, которому поручено осуществлять партийное руководство литературой и искусством?»

По тому, что и Марков хранил молчание, К.М. понял: дело совсем худо. И не ошибся: вслед за «письмом одиннадцати» появилось совсем уж хулиганское «открытое письмо» некоего рабочего, явно не им написанное, в котором тот, обращаясь уже прямо к Твардовскому, обзывал его чуть ли не предателем Родины.

За словом последовало и дело.

12 февраля 1970 года К.М. узнал, что решением секретариата ССП произведены сокрушительные изменения в редколлегии «Нового мира». Из нее, вопреки категорическому несогласию Трифоновича, были выведены четверо его сподвижников, а с другой стороны, было введено пять новых членов редколлегии, в том числе два заместителя главного редактора, которых Твардовский не знал и знать, естественно, не желал. И весь этот абсурд освящен волей секретариата ССП, членом которого были К.М.

Опыт «старого бюрократа» подсказал ему, что врага надо бить его же оружием. Разговор, по существу, бессмыслен. Он двинулся по процедурной колее. Снова и снова возмущался тем, что его, секретаря союза, отстранили от решения такого важного вопроса, который, в сущности, предопределяет уход из журнала Твардовского. Он вдоволь поиздевался над данным ему устно разъяснением, что вопрос, мол, решался не секретариатом, а бюро секретариата: он туда не входит, вот и не позвали. Но кто позволил бюро из шести человек, созданному для текучки, определять принципиальную политику, подменяя секретариат? Хорошо памятные приемчики... Тут и пленум правления был бы не лишним, если уж на то пошло.

Адресовав письмо официально «рабочему секретарю» Воронкову, он тут же дал команду Нине Павловне размножить его и разослать каждому из 42 секретарей союза. Вот когда пригодилась методика Солженицына, пошутил он, подписывая последнюю копию. Почти каждую из них он сопроводил индивидуальной припиской. И самой горькой была та, что адресовал Федину. Вспомнилось ходившее в писательских кругах выражение, что они с Твардовским, словно древние иранские шахи, попеременно водружали на себя корону «Нового мира»: «Эх, Константин Александрович, ведь я когда-то был редактором “Нового мира”... и притом в нелегкие времена. Неужели у Вас даже не шевельнулось желания поговорить со мной обо всем этом?»

Он писал так, хотя и догадывался, что старого и больного председателя союза и самого-то не поставили в известность о том, что он, якобы, решил. Что ж, пусть почитает, по крайней мере, будет знать, что вытворяют за его спиной.

Ему не терпелось продиктовать, подписать и отправить письмо. А московским адресатам так просто развезти его на машине. Поздно вечером, когда «это безумие», по выражению Нины Павловны, закончилось, на нем лица не было. Он надрывно кашлял, зяб, у него трещала голова. Но настроение было самое воинственное, и это давало силы. Даже Нина Павловна, которая все чаще и недвусмысленнее выражала свое неудовольствие, когда т.н. организационные дела отвлекали его от главного, на этот раз не возразила, лишь поторапливала окружающих, и это было для К.М. верной приметой того, что он делает праведное дело.

Через два дня, встретившись с Твардовским на заметенных снегом дорожках Красной Пахры, он узнал от него, что тот уже подал заявление об отставкой,

что решение его бесповоротно. К.М., который собирался было поведать Саше, чтобы хоть как-то приободрить его, о своей эпистолярной деятельности, остановился на полуслове. Придет время, узнает об этом и без него.

Еще через несколько месяцев, в июле того же, семидесятого года, он написал Твардовскому, поздравляя его с шестидесятилетием: «Значение того, что ты сделал в «Новом мире», не может быть отменено тем, что ты его больше не редактируешь, как значение того, что сказал «Теркиным на том свете», не может быть снято снятием спектакля в Театре Сатиры. И никуда этого не деть и не переложить, кто бы и какую ловкость рук для этого ни употреблял...».

Он знал — не только вокруг, но и в самом «Новом мире» были люди, в том числе близкие Твардовскому, которые рады были бы их поссорить, ткнуть лишний раз тому в глаза его, К.М., былые ошибки, просчеты, колебания. Твардовский упомянул как-то, что самые крайние позиции тут занимал Солженицын. В его представлении Симонов — эдакий нувориш, пролаза, который-де хочет служить одновременно и богу, и кесарю. К.М. напряженно вслушивался в короткие отрывистые фразы, которые как бы с трудом рожал собеседник. Ждал, не скажет ли, как он сам-то — возразил ли своему автору? Напомнил ли, например, о том, что именно он, Симонов, первым выступил в «Известиях» у Аджубея, теперь тоже опального, в поддержку «Ивана Денисовича».

Нет, ничего такого в беседе не промолвил Твардовский. И Симонов ни о чем его не спросил. Будем считать, подумал про себя, что им с Сашей без слов очевидна вся пристрастность рассуждений Солженицына.

Он давно заметил — слава, если она приходит вовремя, делает человека добрее, великодушнее, расположеннее к окружающим. Если запаздывает — озлобляет. К.М. принуждал себя не серчать на Солженицына. Не в его это было правилах — судить о человеке по тому, как он к тебе относится. Что настораживало и огорчало, так это то, что Саша, всегда величественный и чуть-чуть вельможный, у которого в крови, кажется, было либо покровительствовать окружающим, либо являть им свое откровенное презрение, небрежение, когда заходил разговор о Солженицыне, терял привычную уверенность слов и жестов, становился задумчивым, рассеянным.

В день похорон Твардовского Симонов видел Солженицына в последний раз.

Он сидел на гражданской панихиде в Доме литераторов в первом ряду. Внезапно поднялся, перепугав организаторов церемонии, подошел к гробу, склонился над ним в молчании, перекрестил и поцеловал ритуально Александра Трифоновича в холодный бледный лоб. Что можно было возразить против всего этого?.. К.М. не оставляло ощущение какой-то преувеличенной картинности жестов и движений Солженицына. Работа на публику, на историю, на вечность? А может быть, просто усилившаяся в этот момент стрекотня фотографических затворов, участившиеся вспышки блицев навели его на такие суетные мысли?

Он вернулся к ним поневоле, когда в руки ему попали чьим-то радением главы из солженицынского «Бодался теленок с дубом». То, что, рассказывая о своих столкновениях с литературной элитой 60-х годов, автор сих мемуаров прошелся, словно утюгом, по нему, можно было оставить без внимания. Беседы с Сашей морально подготовили его к этому. И в «Круге первом», который «Новому миру» совершенно напрасно не дали напечатать, один из непривлекательных персонажей явно был выписан с намеком на него, К.М.

Он давно уже приучил себя спокойно относиться к подобным экзерсисам. Нет в мире человека, который судил бы его строже, чем он сам, чем его Вете-

ран, персонаж все еще не дописанной пьесы. Но эта книга, судя по тем кускам, которые ему удалось достать и прочитать, метила и в Твардовского. И прием, невольно или сознательно, был выбран самый оскорбительный — ирония, да не злая, не колючая, а добродушная, свысока. Этакое похлопывание по плечу, что для Саши, будь он жив, было бы горше самой лютой брани.

И у Марии Илларионовны сложилось такое же обидное донельзя впечатление. И у Владимира Яковлевича Лакшина, который выглядел в книге неким злым духом редактора «Нового мира».

Иного от Солженицына и ожидать было бы трудно, умалял собственный пыл К.М. Он был даже убежден — дело тут не только во взглядах. В душевной конституции. Солженицын был из неистовых, как Белинский, хотя он и его не жалует. Из пассионариев, если пользоваться термином, запущенным в интеллектуальный обиход Москвы Львом Гумилевым, сыном расстрелянного после революции Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Чтобы вести себя так, как Александр Исаевич, надо истово уверовать, что ты избранник провидения, мессия, призванный вывести человечество на правильную дорогу. Человек с таким характером обречен идти до конца в том, что выбрал. Он лбом любую стену прошибет. И ни перед чем и ни перед кем не остановится. К.М. одобрил намерение Лакшина высказаться публично. По этому же поводу пришли к К.М. посоветоваться Мария Илларионовна с дочкой Олей, художницей. Они написали письма, которые были опубликованы дома и за рубежом. У Лакшина получилась небольшая книга. Все это дошло, естественно, до Солженицына, и он не заставил ждать ответ.

К.М. крепился, сам инициативы не проявлял и от предложений поступавших уклонялся. Уж больно неприглядного сорта они были. То коллективку подпиши, то дай интервью для АПН.

Цековцы устроили настоящую охоту за автографами видных деятелей. Москвичей отлавливали на службе или в домах творчества. Альберт Беляев из отдела культуры устраивал набеги на гостиницу «Москва», где обычно останавливались по приезде в столицу видные писатели. Выпивка и закуска за счет настигаемых, естественно.

К.М., отбиваясь, объяснял, что ввиду повышенного внимания Солженицына к его собственной персоне он, К.М., может быть заподозрен в небеспристрастности.

Напрасно, однако, он думал, что «там» не понимают его тактики. Однажды пришел к нему в «нижний» кабинет Вася, муж Кати, военный, в чинах уже, а с виду щенок дога — долговязый, неуклюжий, стеснительный. На этот раз он был в непривычном для него возбуждении, которое с трудом подавлял, пока «нижний» покидали один за другим немногочисленные сотрудники К.М. Когда они остались вдвоем, тот поведал, бросая взгляды то на потолок, то на телефонный аппарат, что его вызывали «туда». Куда «туда» — было ясно без слов.

— И что хотели?

— Спрашивали, К.М., как вы относитесь к Солженицыну...

— И что же ты сказал?

Тут во взоре простодушного Васи плеснулось злое лукавство:

— Я, К.М., сказал, что вы его терпеть не можете за то, что он довел до смерти Твардовского...

К.М. с любопытством посмотрел на Васю. Он не думал, что его простодушный зять может быть столь проницательным и находчивым одновременно. Он

взял его за руку и повел, удивленного, в ванную. Здесь, пустив на полную мощь воду, шепнул:

— Будут еще... вызывать, говори, что хочешь, только ничего не подписывай.

Через день он послал в «Правду» письмо. Оно называлось «В защиту доброго имени Твардовского».

Сидя теперь над иезуитским письмом кандидата наук Сиводедова, К.М. глубже начинал понимать, почему столь необычным было отношение Твардовского к Солженицыну. Была, была у Саши своя вина перед прошлым, своя боль. И бывший зэк — живое, непрерывное напоминание о ней.

В статье Сиводедова прошлое Трифоновича было расписано с дотошностью человека, который, творя зло, искренне убежден, что делает доброе дело.

Обрушившись на литературную критику, которая «из кожи лезет вон», чтобы доказать, что все лучшие человеческие качества да и творческий заряд Александр Твардовский получил от деда Гордея и отца Трифона Гордеевича, Сиводедов восклицал, что этого не могло случиться, потому что и дед, и особенно отец поэта были отнюдь не скромными и безответными тружениками сельскими, как их изображают критики, а кулаками и стяжателями. Слово кулак Сиводедов отнюдь не ставил в кавычки, а мытарства, выпавшие на долю семьи Твардовских в пору коллективизации, без тени сомнения характеризовал как справедливое возмездие мироеду за эксплуататорские замашки. В свидетели своей правоты призывал не кого-нибудь, а самого Александра Твардовского, второго по старшинству сына Трифона Гордеевича, который еще в середине двадцатых годов сбежал первый раз из дома, не желая мириться с образом жизни отца.

При этом Сиводедов основательно покопался не только в собственной памяти, но и в архивах, в подшивках областных газет той поры.

Например, стихотворение семнадцатилетнего поэта, опубликованное в смоленской газете «Юный товарищ» 16 марта 1927 года, так и называлось «Отцу-богатею».

У тебя в дому во всем достаток,
Ты богат — и это знаю я,
У тебя среди крестьянских хаток
Пятистенка лучшая — твоя.

Были ли перегибы на Смоленщине в период коллективизации и ликвидации кулачества как класса? — риторически вопрошал Сиводедов и отвечал сам себе: — Да, были. Но данный случай никакого отношения к перегибам не имеет. — И снова ссылается на Твардовского, на его теперь уже совсем забытую поэму «Вступление». Поэт рассказывает в ней о «кузнеце Гордеиче», то есть о Трифоне Гордеевиче и о его знаменитой, по-своему, загорьевской кузнице:

Вскоре кузнец
Говорит с зевотой:
Что мне Сухотов,
Я сам Сухотов...
Заказчиков невпроворот.
Коровы не пожалею,
Сведу со двора коня,

Открою свою бакалею,
Мой покупатель у меня.

Далее Сиводедов пускался в рассуждения о том, что, мол, в русском давнишнем быту кузнецом было принято называть, например, и рабочего тульского оружейного завода, и владельца мелкого предприятия–кузницы, с помощью которой кузнец эксплуатирует окружающее население, что наглядно и убедительно показано было тогда же младшим Твардовским. Так что не приходится удивляться тому, что собрание бедноты единогласно постановило раскулачить и выслать Трифона Гордеевича из Загорья вместе со всей его семьей. Не о чем тут, — продолжал Сиводедов, — и сожалеть, как и не сожалел ни о чем младший Твардовский, единственный в семье, кто избежал участи ссыльного:

Старик в бараке охал и мычал,
Молился богу от тоски и злобы
С открытыми глазами по ночам,
Худой и страшный, он лежал бок о бок.

— Это, — фарисейски напоминал Сиводедов, — уже не двадцать седьмой год, это — год 1954, Гослитиздат, «Стихотворения и поэмы в двух томах. Издание 2-е». Цитирую, — добавлял он, — по этому изданию, потому что в последовавших четырехтомнике и пятитомнике последние четыре строки опущены.

Вот такой подарочек в один прекрасный день получил К.М.! То, что есть на свете такая вещь, как эволюция взглядов, трансформация не только мыслей, но и чувств, что может произойти переворот в душе человека, этого таким троглодитам, как Сиводедов, до сих пор тоскующим по великому вождю и учителю, не понять. Для них любое колебание, любое отступление человека от давних слов или поступков — измена, соглашательство, продажность.

Впрочем, что ему, К.М., до воззрений Сиводедова. Не ради же ответа ему он сидит сейчас и ломает голову над этим десятком страниц. Свойственная каждому поэту привычка думать стихами — своими или чужими — снова вызвала в памяти строки Твардовского.

Когда серьезные причины
Для речи вызрели в груди,
Обычной жалобы зачина,
Мол, нету слов, не заводи.
Все есть слова, для каждой сути...

Для каждой сути. Для каждой боли. Нет, видно, для этой боли слова у Саши так и не вызрели. До самой смерти. Может, они-то, невыпевшиеся, и унесли его в могилу?

Вот она перед ним, подаренная Твардовским верстка его неопубликованной поэмы «По праву памяти». Со всеми сталинскими злодеяниями самой отборной монетой рассчитался в ней Александр Трифонович. Целая глава, собственно сердцевина поэмы — «Сын за отца не отвечает».

Сын за отца не отвечает, —
Пять слов по счету, ровно пять,

Но что они в себя вмещают,
Вам, молодым, не вдруг обнять.

Сколько еще раз, словно загипнотизированный их звуком и смыслом, повторит Саша эти слова в различных комбинациях на протяжении всего лишь пяти страниц журнального текста.

Он говорил: иди за мною.
Оставь отца и мать свою.
Все мимолетное, земное
Оставь и будешь ты в раю.

Не рай, а ад — физический и душевный уготовили поколению сыновей эти слова:

И душу чувствами иными
Не отягчай, себя щадя.
И лжесвидетельствуй во имя.
И зверствуй именем вождя.

По правую сторону от диктофона, за которым он сейчас сидел, — верстка поэмы, по левую, на машинке, — статья Сиводедова, тоже переполненная строками Твардовского. Он не мог, не получалось, запретить себе их сравнивать.

У Твардовского в поэме «По праву памяти»:

Те руки, что своею волей —
Ни разогнуть, ни сжать в кулак:
Отдельных не было мозолей —
Сплошная.
Подлинно — кулак.

У Сиводедова, со ссылкой на газету «Юный товарищ» от 16 марта 1927 года, стихотворение Саши «Отцу-богатею»:

Нам теперь с тобой не поравняться,
Я для дум и слов твоих чужой.
Береги один свое богатство
За враждебною межой.

Куда-то далеко, далеко ушел, исчез из глаз Сиводедов с его жалкой попыткой восславить раннего Твардовского и доказать, вопреки всякой логике, что он, мол, каким был, таким и остался, и тем хорош и славен. Жгли душу строки самого Твардовского. К.М. хорошо была ведома эта страшная, убивающая сила сопоставлений — строк давних и нынешних. Он не раз сам мазохистски производил эту церемонию над собой.

Давние строки... Саша, видно, не мог ни забыть их, ни вернуться к ним, чтобы, покаявшись, растворить их в своем сознании, как растворяются, бывает, почечные камни в пошедшем на поправку организме. По христианскому поверью душа отлетает в то мгновенье, когда умирает тело. Вспоминая теперь Сашу

в последние дни и недели его короткой болезни, он думал о том, что душа поторопилась, оставив тяжелое и беспомощное, но живущее еще тело блекнуть, терять одну живую краску за другой, обугливаться и усыхать. А может быть, может быть — наоборот? И она, душа, ушла в такие глубины, глубины чего — сознания, подсознания? — что ей, смотрящей на мир Сашиными небесной лазури глазами и не видящей его, дела нет до ненужного и брошенного ею тела.

И вот — облысевшая почти начисто голова, высохшее лицо, истонченные, белые, словно на китайских лаковых миниатюрах руки.

Ставший совсем маленьким рот, к которому Саша беспрерывно, в очередь с сигаретой, подносит рукой какую-то баночку, сплюнуть. Тогда К.М. еще не ведал, что такая баночка — для собирания мокрот ожидает и его.

А давно ли Женя Халдей запечатлел их в Красной Пахре поутру у колодца, брызжущих друг на друга ледяной водицей и беззаботно хохочущих.

Все происходившее с Твардовским в последние месяцы жизни, его смерть, это надгробное целование Солженицына и его же потом полемика публичная с родными и близкими Саши — все это было словно не из жизни, а из жития, некий знак, ноумен, истинное значение которого он силился и не мог разгадать.

Все, что случилось с Твардовским, он даже не называл это про себя смертью, принимал как часть собственной своей судьбы, жизни, которой, что-то подсказывало ему, тоже оставалось не так-то много.

Нет, не Сиводедову рассуждать о Твардовском, не ему быть его судьей или адвокатом. Тут — никаких колебаний.

Не показать письмо Сиводедова Марии Илларионовне было, однако, нельзя. И он послал ей копию, хотя и представлял себе, как тяжело будет ей все это читать. Послал со своими соображениями, вернее, возражениями против публикации, которые он намерен был довести и до сведения «Коммуниста». Мария Илларионовна согласилась с ним, а что касается Сиводедова, то решила сама, мужественнейшая женщина, ответить ему. Симонова попросила лишь переправить ее письмо. К.М. так и сделал и вскоре получил ответ от Сиводедова, который, как и следовало ожидать, обрушивался с нападками на Марию Илларионовну — не хочет считаться с правдой, приспосабливает мужа к своим собственным воззрениям. И, конечно, на него, К.М.: ушел, мол, в кусты, выставил вперед слабый пол.

В этом втором письме концепция выкристаллизовалась особенно четко. Критики, мол, из кожи вон лезут, чтобы доказать, что выдающийся советский поэт А.Т.Твардовский получил свои лучшие человеческие качества от деда Гордея Васильевича и особенно от отца Трифона Гордеевича. А этого, мол, никак не могло быть, потому что какие же могут быть у кулака, произошедшего тоже от кулака, лучшие качества. Если позднее под влиянием конъюнктуры А.Т.Твардовский и изменил, мол, свое отношение к отцу, хотя ему, Сиводедову, об этом ничего не известно, то это, как все знают, не пошло ему на пользу. Вот так, черным по белому. Отказ, отречение от отца — благо, добродетель, а то, что он к отцу вернулся — чуть ли не предательство всех святых идеалов коммунизма.

К.М. содрогнулся.

Ну, бог ему судья, а статья в «Коммунисте» все-таки не будет опубликована. Редакция согласилась с ним и с Марией Илларионовной.

В ту же пору он узнал, что есть у Твардовского другой судия — его собственный брат Иван. На четыре года моложе Александра. В свое время сполна испил вместе с отцом, матерью, с братьями и сестрами чашу страданий. Сполна.

Услышал он о нем от Лакшина, который был секретарем комиссии по литнаследию. Тот — от Буртина, тоже работавшего у Твардовского в «Новом мире». Иван Трифонович писал и посылал куски своих воспоминаний Буртину, он показывал их Лакшину.

Картина страданий семьи Твардовского, нарисованная в воспоминаниях ясно и ярко, сродни «Вагону» Ажаева. Хотя все происходило значительно раньше. В какой-то степени, с иронией подумывал К.М., можно это рассматривать и как своеобразное продолжение «Поднятой целины». Судьба Титка и других, кого в один не прекрасный день сгребли со всеми пожитками, что удалось собрать за два-три часа, погрузили на подводы — тут с ними и расстались читатели Шолохова — и повезли сначала в райцентр, в тамошнюю каталажку, а потом на станцию, в эшелон. Те же страдания несказанные в товарняке — с муками голода и стыдобою естественных отправлений в дырку в полу, прорезанную Трифоном Гордеевичем. Такая же выгрузка после многодневных мук на мокрый и грязный от мазута снег, только не на Дальнем Востоке, а на Северном Урале. Такая же жизнь, ничем не похожая на человеческую, на лесной окраине в бараке, душном и прогорклом летом, промерзающем зимой, где каждая семья, располагаясь табором, ничего не имела в своем обзаведении, кроме куска пола. Лошадиная работа на лесоповале. Попытки бегства, возвращения по своей воле или под конвоем и снова побег, вернее, уход, только теперь уже всей семьей — и старые, и малые. Детей было, сынов и дочерей, семеро в семье Трифона Гордеевича, и все, кроме Александра, были тогда при нем.

Все сильно, жестко описано, но самое тяжкое было в той обиде, которую питал Иван Трифонович к старшему брату. Обида эта, видно, не становилась мягче с годами: вся семья, отнесенная к кулацкому сословию, маялась, и только один Александр жил себе «припеваючи» в Смоленске да еще и слагал вирши о торжестве коллективизации.

Был в воспоминаниях рассказ о встрече с Трифоном Гордеичем, обретавшимся тогда вместе с младшеньким своим, Павликом, в «бегах». Александр якобы не только отказался помочь, но и пригрозил еще и силой отправить обратно, если отец с братом не возвратятся добровольно.

В фактической стороне не усомнишься.

Убежденность в правоте и неизбежности происходящего, как бы порой жестоко и даже бесчеловечно оно ни было, ему знакома. Вспомнился лозунг, цитата, кажется, из Хрущева, который был развешан одно время в Москве и почему-то в основном перед въездами в туннели на автодорогах, «Победа коммунизма неизбежна». Коммунизм представлялся чем-то сказочным и сверкающим, но дорога к нему, как и ко всякой радости, была тяжкой, исполненной препятствий и испытаний — это тоже казалось естественным. Не такова ли и дорога в рай для тех, кто верит? К.М. тоже приходилось отрекаться от вчерашних единомышленников своих, предавать их публичной анафеме в полной убежденности, что так нужно для общего дела и что иначе просто нельзя, как нельзя заставить землю вращаться в обратном направлении.

Подумалось по обыкновению о Шуре Борщаговском, которого он уволил с работы после той статьи о космополитах в «Правде», но которому тайно помогал в то же самое время как мог: и материально, деньгами, которые тот, чудак, все отказывался брать, и советом, протекцией с изданием романа.

Вот и Саша все же приехал в маленький городок на Вятке, куда после многолетних мытарств перебралась с Северного Урала его семья, и в конце концов

вывез их всех в Смоленск. В тридцать седьмом году! Да-да, в том самом. Самом гибельном, кажется, в нашей истории. До 53-го, до 56-го года еще ой-ой сколько... И тем не менее и сегодня, в семидесятые, не зажила в груди у Ивана Трифоновича свербящая боль. Не она ли, который уж раз подумалось, и брата его, хоть и примирился с отцом, и обогрел его старость, свела преждевременно в могилу?

Разве только отцовская судьба не давала покоя позднему Твардовскому? Весь его многолетний, ежедневно и ежечасно исполняемый подвиг в «Новом мире» — не есть ли подвиг покаяния!

Благодарение господу, ему, К.М., жизнь не представила такого выбора, как Саше. Когда арестовали отчима, он, пятнадцатилетний подросток, только о том и думал, как облегчить страдания матери. Иного от него никто не ждал и не требовал. В ФЗУ, где он учился и куда немедленно, по слову матери, сообщил о случившемся, к нему как относились раньше, так и продолжали относиться. Только отложили на время прием в комсомол. Когда случилась беда с сестрами матери, они с отчимом тоже, не раздумывая, создали семейный фонд, посылали посылки, дважды снаряжали Александру Леонидовну на Оренбургщину. Было это в том же самом треклятом 37-м году, когда Твардовский вызволял своих из Вятки в Смоленск. Вот как все переплелось и перепуталось. И ему оставалось теперь честно, только честно ответить на последний вопрос: «Ну, а как бы ты повел себя, если бы все это случилось с твоей матерью или с отчимом, только не так, как было — отпустили и извинились, а всерьез?» И, как от миллионов других, потребовали бы «дать оценку» случившемуся, признать отца и мать врагами народа? Ему было неловко, мучительно неловко перед Сашей, перед его памятью, но он твердо знал — тут бы через себя не перешагнул. Это было бы сильнее его, его сознательности, его святой — или слепой? — веры в торжество коммунизма. Тут-то бы он положил голову на плаху. Тогда, с докладом о космополитизме, не положил, а тут бы положил. В противном случае она была просто ни к чему ему, его голова. Он не смог бы жить.

Тут же повторил себе еще раз, что это совершенно не относится к Твардовскому, потому что у него были совсем иные обстоятельства. Но и другое подумал — это мы, его друзья, так судим, это мы его не виним. А он себя?

С ожесточением продолжая двигать Сашины посмертные литературные дела, он словно бы себе самому старался что-то доказать. Или продолжал полемику с Солженицыным? Даже добрые намерения никогда не бывают в один слой.

Со смертью Твардовского в прессе — каскад статей, воспоминаний о нем, рецензий. Все, естественно, в самой превосходной степени. Писали все, кому не лень, и больше всего — вчерашние его гонители, то ли замаливая свои грехи перед ним, то ли заметая следы. И все, конечно, не о Твардовском-редакторе, а о Твардовском-поэте. Редактора как будто и не существовало. Так было принято. И тут все — о «Стране Муравия» да о «Василии Теркине», произведении действительно гениальном. Но зачем же делать вид, что кроме этих двух поэм Твардовский ничего больше не написал. «Василия Теркина на том свете» вообще не упоминали.

«Вынули из текущего плана и перевели в резерв собрание сочинений Твардовского, — вырвалось у него в письме в издательство «Художественная литература»,— с чем я не могу примириться и не примирюсь, и мне придется этим заниматься, и заниматься много. А голова одна, времени 24 часа в сутки и на все не хватает». Это он извинялся, что затянул с редактурой собственной книги.

Жалоба была на Госкомиздат, всесильную верхушку издательской империи, где было совершено это надругательство, правда, пока на уровне одного из главков, которых в этом надкнижном царстве-государстве было видимо-невидимо.

Понятно, почему заело с собранием сочинений: хочешь не хочешь, надо будет печатать и «Теркина на том свете», а там, глядишь, вопрос и о новой поэме возникнет, которая до сих пор не опубликована. К.М. написал письмо новому председателю Госкомиздата Стукалину. Он знал, что тот ждет его письмо. И почти наверняка пойдет ему навстречу, хотя сам же, небось, и давал указание о переводе «в резерв». Тишайший, как называли Бориса Ивановича в литературных и партийных кругах, не поторопится содеять что-то хорошее по своей инициативе. Но уж если другого выхода нет, обязательно повернет так, чтобы это доброе было приписано ему. Таковы были правила в этом мире, который он, познакомившись недавно с «Процессом» и «Превращением», иначе как кафкианским теперь не называл.

После двух или трех недель размышлений — наверняка не обошлось без хождений «на самый верх», уж по крайней мере к Суслову — Стукалин дал команду вернуть все на свои места. Что ж, теперь, по правилам игры, надо поблагодарить его, выразить надежду на поддержку и в будущем. Нина Павловна пишет под его диктовку: «Спасибо за Ваше письмо и за Вашу помощь. Поэтому именно Вам и писал, что именно от Вас и ждал. Крепко жму руку».

Повода для новых обращений ждать особенно долго не пришлось. Конечно же, «Василий Теркин на том свете». Когда дошло до него, очередной том застопорился. На этот раз даже его изощренному чутью не угадать было, откуда пришла опасность и где она таилась. Впору было искать ответы на эти вопросы в самой поэме:

Кадры наши, не забудь,
Хоть они лишь тени,
Кадры заняты отнюдь
Не в одной системе.

Стукалин при встрече лишь провел ладонью над своей пышной еще прической — дескать, выше головы не прыгнешь.

Самое обидное, что из-за этого несколько обострились отношения с Марией Илларионовной. Серьезная дама, ничего не скажешь. В какой-то степени она переняла от мужа ту неуловимо покровительственную нотку, которая всегда звучала при встречах с К.М. О женщины! Даже самые серьезные и яркие из них, в конечном-то счете, лишь эхо собственного супруга.

К.М. никогда не оставляли воспоминания о том, что он был однажды против публикации «Василия Теркина на том свете». Черт его теперь знает почему, но было. Случилось даже так, что сначала, слушая поэму в отрывках, хвалил ее, а когда Твардовский завершил и встал вопрос о том, чтобы ее печатать, высказался против.

И конечно, понимал, что не он один помнил и помнит об этом. Несколько лет стояло это между ним и Сашей, и теперь вот Мария Илларионовна, судя по некоторым ее намекам, подозревает, кажется, что он не все возможное делает, недостаточно настойчив в «пробивании» поэмы. А уж он, быть может, именно из-за этого «пятна единого» чего только не предпринимал! Еще до собрания сочинений поэма должна была пойти в однотомнике «Библиотеки поэта».

Таково было одно из немногих предсмертных пожеланий Твардовского. К.М. писал директору «Советского писателя». Писал редактору серии. Возмущался тем, что как председатель комиссии не может добиться, чтобы ему показали состав сборника, дали бы познакомиться с предисловием и комментариями. Все как в бочку бездонную. Письма ответные приходили, но ответа в них не было. Он исправно отсылал их Марии Илларионовне. Выдрав наконец из кого следует — этот самый «предварительный состав» тома, он, как и ожидал, «Теркина на том свете» там не нашел. Тут уж он взорвался и разослал, опять методика Александра Исаича сгодилась, письма всем членам редколлегии «Библиотеки поэта», а в нее входили Ираклий Абашидзе, Петрусь Бровка, Кайсын Кулиев, Михаил Луконин, Мирзо Турсун-заде, Николай Тихонов. Ну к кому, скажите, еще апеллировать?

Многие из его адресатов не торопились с ответом. А иные ответы, хоть и пришли вовремя, были неутешительными. Против публикации решительно выступил Грибачев. Ну что ж, от этого странно было бы ожидать иного. Но вот и Луконин написал что-то такое несусветное!

Кое к кому, в том числе к Ираклию, к Кайсыну пришлось обратиться по второму разу. В их позиции он не сомневался, но раскачать их было не так-то просто. Ответы начали поступать дружнее, и он мог порадовать Марию Илларионовну довольно уверенной поддержкой «потустороннему» Василию Теркину.

Она восприняла его сообщение как должное. Словно бы иначе и быть не могло, коль речь идет о Твардовском, а чрезмерное беспокойство, она не произнесла слова «суета», вроде бы способно лишь заронить ненужные сомнения. Вот тебе и на! И как будто бы ей неведомо, какой мощный заслон поставлен перед поэмой, какая глубокоэшелонированная оборона выставлена.

Но можно и понять настроение Марии Илларионовны. С тех пор как зазвучали в эфире «голоса» с откровениями Солженицына, и ей пришлось заняться полемикой с ним, она стала нервознее и, как часто это бывает, в смятении била по своим.

Когда К.М. узнал, что назначена дата сбора редколлегии однотомника, он немедленно обратился к директору издательства Лесючевскому с требованием разрешить ему присутствовать на этом заседании.

Не подвели, как он и надеялся, Ираклий Абашидзе, Кайсын Кулиев, Эдуардас Межелайтис, Микола Бажан. Но большинство все же выступило против публикации поэмы. Многие изменили в этом духе первоначальную точку зрения. И кто? Тихонов, Сурков, Бровка...

На дворе стоял 76-й год. Не 46-й, не 49-й, не 53-й, не 57-й или 68-й, наконец. Никаких особых внешних обстоятельств, которые бы давили на людей, не существовало. Давненько уж не слышно было каких-нибудь проработочных кампаний. Год с небольшим тому назад страна отпраздновала сорокалетие со дня первого, горьковского съезда писателей. Десять самых выдающихся, как писала пресса, мастеров пера были удостоены звания Героев. По принципу: всем сестрам по серьгам. Был среди удостоенных Грибачев, но был и К.М., были те же Сурков и Чаковский... Орден Ленина, естественно, получило еще больше народу. Ну а уж другие знаки отличия — чуть ли не бывшие диссиденты их удостоились.

И вдруг такой афронт! С тяжелым сердцем собрался К.М. звонить Марии Илларионовне. Она, конечно, была расстроена, поражена, подавлена и все твердила, что можно же было что-то сделать. Она уверена в этом, поверить не

может, что нельзя было... К.М., объясняя, старался не терять хладнокровия, попробовал даже пошутить, что, мол, ситуация с «Теркиным на том свете» действительно какая-то сверхъестественная. Но она не приняла шутки. Выслушивая ее рацеи, К.М. нечаянно бросил взгляд на Нину Павловну, которая присутствовала при разговоре. У нее губы вытянулись в ниточку, скулы обтянуты, лицо словно каменное. Негодует и переживает за своего шефа.

К.М. повесил трубку и вытер вспотевшее лицо платком. На Нину Павловну старался не смотреть. Только попросил ее взять блокнот и карандаш. Продиктовал письмо Марии Илларионовне. Снова рассказал, с самого начала, как все было. Не оправданий, а истории ради. Закончил твердыми словами, при которых несколько смягчилось выражение лица суровой Нины Павловны: «Голосование было демократичным. Правила не были нарушены. Поэтому возражать очень трудно. Я, впрочем, остался при своем твердом мнении. Теперь дело за Вами, как за наследницей, — разрешить публиковать том в том составе, как его утвердила большинством голосов редколлегия, или вообще запретить его издание».

— Вот пусть и решает, — злорадно, непохожим на нее голосом сказала Нина Павловна, которая тут же уселась за машинку расшифровывать надиктованное.

Он догадывался, о чем она думает. Она не раз уж заводила разговор о том, что нельзя так все же... Вы ведь не мальчик и не обслуживающий персонал, К.М. Твардовский — да, Твардовский — огромная величина, но кто же еще сделал для его памяти столько, сколько вы? А если дать оседлать себя, то можно и собственное достоинство уронить, а ведь вы — Симонов, Константин Симонов!

Хлопоча об однотомнике стихов Твардовского и о его собрании сочинений, подгоняя себя с воспоминаниями о нем в готовящийся сборник, он еще работал и над фильмом о Твардовском и уж тут отдыхал душой. Перед тем как взяться за это, написал большое письмо Лапину в Гостелерадио, в котором изложил программу целой серии фильмов под рубрикой «Литературное наследие». Обосновал, почему именно с Твардовского он хотел бы начать ее, не утаил, что намерен сказать и о его редакторской деятельности. Возражений не последовало. Договор с ним на студии документальных фильмов подписали без проволочек, даже текста сценария от него не потребовали, согласились с тем, что он напишет его, когда фильм будет снят. Михаила Александровича Ульянова он позвал почитать стихи Твардовского, и когда тот с готовностью согласился, предложил, чтобы он сам выбрал, какие именно. «Сам, сам, — подтвердил он со своею, «симоновскою» улыбкой, которую узнавал и любил в себе, потому что она приходила к нему только в немногие хорошие минуты суетного существования. — А ничего, что не знаком со сценарием. Я сам с ним не знаком по той простой причине, что его не существует пока в природе», — тут снова не мог сдержать той же улыбки и, чтобы скрыть сантименты, с превеликой сосредоточенностью затянулся трубкой. Врачи уже запрещали курить, но он все же нарушал их указания: «Мужчине — на кой ему чёрт порошки...»

— Выберите, и мы обсудим. Смотришь, и фильм с этого начнем.

Я сам большой,
Я сам дойду до всех моих ошибок.
Не стойте только над душой,
Над ухом не дышите!

Когда Ульянов прочитал эти стихи, К.М. понял, что отныне у фильма будут два автора. И это будет не монолог, а диалог. Просто они будут вдвоем беседовать. Читать время от времени Сашины стихи. Ему, Ульянову, понял К.М., ему, а не камере, он может сказать все самое сокровенное, все-все, что давно просится наружу. Он просто расскажет Ульянову историю их отношений, в которых как в зеркале отразилась добрая четверть века литературы да и вообще жизни.

Когда же, предваряя «Слово о словах» в исполнении Ульянова, сам заговорил о поздней лирике Твардовского, о тех стихах, которые после смерти его были впервые опубликованы Борисом Панкиным в «Комсомолке», испытал что-то вроде катарсиса, если он правильно понимал, что имели в виду древние греки:

— Его лирика последних лет — это, я думаю, безо всяких преувеличений можно сказать, одна из вершин русской лирики во все времена. И как в них продумано о жизни, как прочувствована эта жизнь, с какой силой заданы вопросы человеку, читающему эти стихи. Как ты живешь?

Я вот с таким потрясением читал, когда был молодой, первые главы Теркина. И вот в гораздо более заскорузлом возрасте, вот уже в эти годы, читал с таким же потрясением стихи последних лет. И думал, что же, как жить?

Произнося эти строки перед камерой, он знал о себе, что был предельно искренен. Но как это получится? Поверит ли зритель? Не улыбнется ли скептически, поздновато, мол, тебе, дедушка Симонов, на исповедь-то да еще при всем честном народе. Раньше, мол, надо было бы...

Вспомнились слова какого-то мальчишки, где он их слышал — в жизни, в кино? Вычитал в какой-нибудь книге? «Когда правда, у меня как бы жар в голове». Теперь была правда, и у него был жар в голове.

— Как жить? Как работать? Что Я? Как Я? Так же думает, наверное, каждый читатель, слушая эти стихи. Как Я? Какова цена моих дел? Моих слов перед лицом этой лирики?

Он был уверен, что и Ульянов, слушая его, а потом читая стихи, думал не только о Твардовском, но и о нем.

Он захватил Нину Павловну с собой на телевидение, когда настал час первого, в узком кругу создателей и советчиков, просмотра фильма о Твардовском. Он без слов понял, что фильм ей понравился. По дороге из Останкино она все порывалась выразить свои чувства. Большего бескорыстия двух больших людей в отношении третьего, кого они не колеблясь признают крупнее себя, невозможно ни представить себе, ни передать. Это, в свою очередь, ставит их обоих на уровень того, о ком они говорят, а может быть, и выше. Вот так, если суммировать, Нина Павловна выразилась, и ему потом долго еще было немного совестно вспоминать о том, что он растерялся и не прервал ее.

Постарался перевести разговор на деловую ноту. Хорошо, что фильм закончен. Будут, конечно, еще мытарства с приемкой, будут заставлять что-то переделывать, доделывать. Но главное ощущение — фильм есть. Теперь можно заняться другими обязательствами.

С ноября 75-го года начнет отсчитывать свой срок седьмой десяток его жизни. Черт бы побрал эти юбилеи. Сколько времени, сколько сил они отбирают. А в осадок что выпадает?

Вспомнилось прошлое. Ноябрь 65 года. Время было особое, переломное. Невозможно было еще разобраться, какие силы взяли верх, какие пошли на дно. К добру или во зло устранение Хрущева. Ясно было одно — настали пере-

мены, грядут события, в которых ты не можешь, не имеешь права ощущать себя пешкой. Что бы ни случилось, куда бы ни повернуло колесо. С этим ощущением он слушал все, что говорилось на его пятидесятилетии, с этим ощущением выступал сам. Получилось что-то вроде исповеди и клятвы одновременно. Так это все присутствующие и восприняли. Текст его речи, записанной кем-то на магнитную пленку, долго еще гулял по стране.

Итак, что же последовало за великим десятилетием Хрущева? Втайне К.М. надеялся, что именно об этом может зайти речь на нынешнем юбилейном действе. Потом осталось только издеваться над собой, над своей неубывающей наивностью. Вечер прошел по принципу — два притопа, три прихлопа. С легкой, вернее, тяжелой руки Альберта Беляева, который, видимо, имел указание вести его так. Имел, имел — по меньшей мере от Зимянина. Старого воробья на мякине не проведешь. Нельзя сказать, что в зале и на сцене не было уважаемых и уважающих его, юбиляра, людей. Были, все были — и коллеги-письменники, и друзья-однополчане, и кавалеры солдатского ордена Славы, и академики, и литературные критики, литературоведы, симоноведы... Вспоминали минувшие дни, пели песни на его, К.М., слова, скандировали хором — «От Москвы до Бреста...», разыгрывали сценки из спектаклей по его пьесам и пародии на них. Вешали на него лавровые венки из синтетики, надевали таджикские халаты, преподносили тюбетейки и узбекские керамические вазы с его портретами. Было, все было...

Только субстанции во всем этом не было, и душа события как будто бы отлетела. Одна дряблая оболочка трепыхалась в душной, разреженной атмосфере. Печать времени. Печать минувшего десятилетия. Панкин попытался сказать что-то, да и того Беляев, увидев в его руках стопку листов, предупредил, вроде в шутку, но строго: ты давай покороче, не разводи.

Президиум собрания в Доме литераторов, демонстрируя отказ от казенщины, на этот раз восседал не за обычным длинным столом, покрытым, как водится, красным или зеленым сукном, а в низких креслах, вокруг небольшого журнального столика. Он, К.М., естественно, находился в центре дуги, и ему хорошо было видно, как маялся со своими листками, готовясь к выступлению, Панкин. Почувствовав, что выпадает из тона, он все же не хотел да и не мог уже расстаться с написанным, но в то же время опасался, видимо, как бы не оказаться тем прапорщиком, который один шагает в ногу. Похохмить на околосерьезные темы, непревзойденным мастером чего является, конечно, Сережа Михалков, — самое разлюбезное дело.

С бумажкой теперь все больше выходят на сцену авторы сатирических текстов, Жванецкий, например, или Александр Иванов со своими пародиями. От Панкина пародий не ждали, и зал, увидев в его руках листки, отрешенно загудел. Оратор, почувствовав настроение аудитории, заторопился. Однако уловив его, К.М., пристальное внимание, приободрился. Он как раз говорил о своей и своих сверстников, мальчишек военной поры, влюбленности в его, К.М., раннюю, предвоенную и военную лирику, продекламировал полузабытые автором строки:

Я бы взял с собой расстояния,
Чтобы мучиться от разлук...

Потом, почувствовав нарастающее внимание зала, увереннее подошел к нашим временам.

«Все главные герои Симонова, — читал Панкин, — в чем-то главном похожи друг на друга, а в целом — на него самого, вернее, на того идеального человека, рыцаря без страха и упрека, каким он, несомненно, хотел всегда и хочет быть сегодня. И то, что не стал таким, — тут зал замер, — то, что не всегда хватало сил и мужества следовать идеалу, — почувствовав, что оратор нажал слегка на тормоза, зал разочарованно гуднул, — было и остается его драмой. — Опять тишина в зале. — Но в том, что эта драма есть, то, что он способен на нее, — в этом источник и сила его творчества, которое одно лишь способно искупить если не все, то хотя бы малую толику наших вин и бед».

На этом Панкин закончил и направился на свое место в президиуме под аплодисменты, которые были и громче, и выразительнее, чем те, которыми его встретили. Когда он сел и рассеянно бросил на столик, весь еще во власти столь знакомых К.М. ораторских страстей, листки своего выступления, Симонов увидел, как много там зачеркнутых мест. И протянул за ними руку. Панкин подвинул листки в его сторону.

Вечер между тем, сделав этот непредвиденный зигзаг, покатился бодро-весело дальше по испытанной, наезженной колее.

Сам он, увы, тоже не удосужился сказать ничего знаменательного.

После вечера был, естественно, банкет, стоячий, персон эдак на пятьсот. Единственной изюминкой его было приглашение, написанное им от руки и размноженное на ксероксе. Эта техника тогда только входила в обиход, и не всем секрет ее был известен. Зато каждому, он знал, будет приятно похвастать личным обращением юбиляра.

Колготились чуть ли не до утра. К каждому надо было подойти, с каждым перекинуться парой слов, хлопнуть по плечу, отдать дань воспоминаниям. Совсем уж собрались уходить, как явились два дагестанца, прямо с самолета, с огромной черной лохматой буркой от Расула Гамзатова. Снова коньяк, снова речи и восклицания.

На следующий день к вечеру, накануне отъезда в Испанию, собрались у него дома в узком кругу. Были только, как любил выражаться Марк Александрович, «свои». Вот теперь-то, как он же и провозгласил, и начинается настоящий день рождения. Не юбилей, а день рождения.

Выпьем, выпьем, пока тут,
На том свете не дадут.
Ну, а если и дадут,
Выпьем там, и выпьем тут.

Как ни была тепла и непритязательна атмосфера этого второго, келейного застолья, той пустоты в душе, которая поселилась после вчерашнего вечера, она не могла заполнить.

Неладно что-то было в датском королевстве, то бишь в Союзе Советских Социалистических Республик. И если и был какой-то смысл во всей этой суматохе, связанной с его шестидесятилетием, то только тот, что он лишний раз и крепко над этим задумался.

Круглая дата поневоле настраивала на философский лад. Десятилетие, предшествовавшее его полувековой отметке, верный приспешник Хрущева Ильичев назвал великим. Как назвать истекшее?

Он бы назвал его странным. Потому что странные, противоречивые вещи случались в течение этого десятилетия. И, судя по всему, будут еще случаться.

Хрущевская пора воспринималась теперь под знаком волюнтаризма.

Как только старый джентльмен избавился от тех, кто вставлял ему палки в колеса, так и начал спотыкаться. Что там его, симоновское, боярско-еврейское подворье! Вот где настоящая дворня образовалась.

Так называемая пресс-группа, консультанты, помощники. Малый совнарком, который творил что хотел. Если культ личности был оригиналом, волюнтаризм — пародией на него.

На долю Хрущева выпало грандиозное, ни с чем не сравнимое. Он поднял руку на божество, назвав его дьяволом. И его не испепелило, земля под ним не разверзлась, геенна огненная не поглотила. Он рисковал всем. Не только жизнью и свободой, но именем, честью, будущим своей многочисленной семьи, которую так любил. Вот уж кто действительно положил голову на плаху. Что им двигало, чем он руководствовался? Это — целый роман, который не ему уж суждено написать. Когда Хрущев умер, К.М. счел своим долгом послать письмо Раде Никитичне, дочке Хрущева, с которой отношения были ближе и надежнее, чем с ее мужем. В письме он сказал о том великом, что совершил ее отец. Не сказал другого, и это было естественно в той ситуации, о том, что Никита Сергеевич не раньше времени ушел, а дольше, чем нужно, задержался на своем посту. Разоблачение Сталина и было его миссией на земле.

Казалось, что и у Брежнева есть своя миссия. По-своему не менее рискованная. Он пришел, как понимал это вначале К.М., чтобы очистить от наслоений то дело, которое начал Хрущев. Пусть даже ценою избавления от него самого. Бывает и так на крутых поворотах истории.

Но ему, кажется, дано было исполнить лишь часть миссии.

Странная вещь — жизнь. Казалось бы, вот она — рядом с тобой, простая, естественная, понятная. Ее можно потрогать, попробовать на вкус, понюхать. Можно угадать и предвосхитить ее ток и направление.

Она как река, банальное, но вечно правильное сравнение: крохотный, едва заметный ручеек у истоков; набирающее силу, поражающее прихотливостью своих петель и зигзагов русло; кажущееся безбрежным устье. И как эта река, она то до удивления проста и понятна, то загадочна и неуловима. Вернее, так: только что она казалась тебе простой и понятной и вдруг обернулась загадкой, тайной, болотным маревом каким-то. Только что была рядом — пологий речной берег, такой уютный, домашний, — и вдруг капризное речное русло вильнуло и удалилось в неизвестном направлении. Так с жизнью, так и с истиной о ней.

Он, например, не считал себя и не был знатоком производства, сельского хозяйства, вообще экономики. Как ему сказал однажды кто-то из очеркистов «Правды», где он долго состоял в штате, хотя и без зарплаты: «Хуже всего, когда хорошо делается то, что вообще не надо было бы делать». Черт бы ее побрал, эту формулу! После того как он услышал ее да призадумался над ней, ему повсюду мерещилось ее торжество.

Получалось, что с самого начала, с того самого времени, когда он возомнил себя летописцем современности, происходило что-то такое, что вначале всячески и повсеместно прославлялось, а затем, подобно забракованному очерку, летело в корзину. Взять хотя бы тот же самый Беломорско-Балтийский канал. Или те же гигантские электростанции на Волге и Волго-Донской канал после войны. Как могла появиться хотя бы тень сомнения в их необходимости и бла-

годетельности? Целина, Голодная степь. Это потом уже появились разговоры и публикации о пыльных бурях, о монокультуре, об истощении земель, о том, что первоначальный, очевидный и видимый выигрыш обернулся гигантскими потерями, объемы и последствия которых даже трудно измерить. Прилив людских масс, прежде всего молодежи, в эти края сменился оттоком, энтузиазм — унынием.

И в почтенном возрасте К.М., словно новобранец любезной его сердцу газетной рати, устремлялся на зов трубы то в Красноярск, то на Дальний Восток, то в дремучие глубины мещерских лесов. То туда, где пуск, то туда, где закладка... Писал для «Правды» и «Литературки» очерки, которые издавал потом сборниками. Славил новое, ополчался на всяческие недостатки, рассказывал о чудесных людях, встречавшихся ему на пути, их судьбах, радостях, одолениях и потерях. А спустя какое-то время, взяв в руки опус какого-нибудь публициста «из новых», вроде Черниченко, или Лисичкина, или Толи Аграновского, обнаруживал, что все было, оказывается, не так в тех местах, где и он в свое время побывал. Многого он не понял, а то и просто не углядел.

Что ни говори, а его пресловутая известность и популярность были не только удовольствием, но и бременем. Трудно, почти невозможно было ему, приехав в Усть-Илимск, к первостроителям БАМа, вести ту самую жизнь рядового корреспондента, о которой он всякий раз мечтал, собираясь в дорогу. Торжественная встреча, торжественные проводы с неизбежными возлияниями в промежутке — посещение первого лица, и всюду, куда ни направишься — за тобой свита из обкома, из горкома, начальство местного объекта да еще кто-нибудь из братьев-писателей, журналистов. Вытаскивать в таких условиях блокнот и авторучку, пытаться вести разговоры по душам или дотошно расспрашивать — выглядело бы просто, по его ощущению, позерством. Получалось, как некогда на фронте, что все основные беседы — с начальством разных масштабов: мысли, впечатления — о них же... Докопаться до сути можно, в конце концов, в каждом деле, убеждал он себя в этой, не ахти какой хитрой истине. А пока не докопался, не спеши слово молвить. Тем более, если к тебе прислушиваются.

Он снова и снова, становясь то Алешей, то Майором, то Алексеем Ивановичем или Ветераном образца семидесятых годов перебирал натруженной памятью все свои явные и не такие уж явные ошибки и заблуждения, пытался добраться до пружин, которые заставляли его вольно и невольно грешить против истины. То, что персонифицировалось для него сначала в Сталине, потом, но не в такой уже мере, Хрущеве, а теперь, совсем слабо, Брежневе, было на самом деле преклонением не перед личностями, как бы ни велико было исходящее от них притяжение властью, а перед идеей.

Да, вот чем это было. Пока жил Сталин, идея и личность были слиты воедино. С появлением Хрущева изображения стали расходиться, как в плохо наведенном фотообъективе. Ну и так далее...

Назвать идею просто коммунистической было бы неполно.

Твардовский любил слово державный. Державность. Признавался, что позаимствовал эту приверженность у Пушкина. Перечитай, говорил, «Медный всадник». Блок тоже отдавал дань этому понятию.

Державность! Тут даже не знаешь, с чего начать. С того, что это порог, через который нельзя, невозможно переступить? То есть, конечно же, есть люди, которые через него переступают. Иногда даже с легкостью необыкновенной.

Иногда просто по неведению. Страшнее всего, когда человек переступает его сознательно и цинично. Это — ужаснее, чем отречься от родного отца.

Саша поступился родным домом ради идеи. Тем сильнее был удар, невыносимее боль, когда понял, что императив выбора был порочным. Нелегко было это понять. А каково пережить?

Жить по своей правде. Ни на кого не равняясь и не оглядываясь.

Хоть бы на исходе жизни научиться не делать ничего ненужного, тем более вредного. Он сказал себе, что не будет писать о том, в чем до конца не уверен. Он будет писать о войне. Писать, говорить, снимать. Нет, не прозу, нет. Когда он подарил Борису Панкину свой том «Так называемой личной жизни» и попросил его прочитать и сказать, стоит ли ему еще писать прозу, он уже знал ответ. Свой собственный: «Не стоит!»

Когда-то, лет двадцать назад, колокол звонил по его стихам. Теперь пора расстаться и с прозой. Такой, как этот пухлый роман, состоящий из четырех повестей. Прозой с сюжетом, завязкой и развязкой, с восходами и заходами, всякими там вздохами и пейзажами. Для этого тоже есть другие. Например, Василь Быков. Или Виктор Астафьев. После недавней встречи с ним у себя дома он по-настоящему поверил в него. Было время, когда относился к нему с предубеждением. То есть его художественный дар всегда был для него вне сомнения. Выстраданное знание жизни, помноженное на талант художника. С сюжетом, может быть, и не всегда он в ладах, но краски, характеры, типажи... И язык — какое разнотравье! И лепка фразы, и интонация! Ну а уж лексика, половодье народной речи...

Но получалось так, что вещи Астафьева — как бы сами по себе, а он, как человек, — сам по себе. К.М. долго воспринимал его скорее не как отдельно взятую личность, а как представителя некоей группы, весьма ему несимпатичной. Что-то вроде тех самых «одиннадцати», что подписали письмо против Твардовского. Они задавали общий тон, придавали особый аромат этой группе. С ее антисемитским душком, который совершенно понапрасну называют русофильским, славянофильским. Для него не было тайной, что ребята эти лихие его не любят. И даже подозревают в принадлежности к пресловутому жидомасонскому сообществу, которое для них причина всех зол в мире. Может быть, былая смуглость его тому причиной, может быть, нос с горбинкой или то, что в свое время, о чем уж почти никто и не помнит, он тоже прибег к псевдониму, вместо Кирилла стал называться и подписываться Константином, к вящему неудовольствию матери. Может быть, сработало то, что всем был известен его отчим, а об отце, погибшем в Первую мировую, никто не знал и подозревать можно было что угодно. Может быть, и оттого, что среди его друзей и близких действительно было много евреев. И жена у него была еврейка, и сын его, первенец, Алеша, таким образом, наполовину еврей.

Письмо, полученное несколько лет назад от Астафьева, его заинтриговало. Вместе с этим письмом Астафьев прислал рукопись новой книги, своеобразного документально-художественного повествования. Об Александре Макарове. Совершенно непредставимое сочетание. Поддержал когда-то старый циник Макаров молодого волчонка Астафьева, вот и подружились, и поддерживали эту дружбу до самых последних Сашиных дней. И об этом Астафьев необыкновенно трогательно, пронзительно написал. И захотел узнать его, К.М., мнение перед тем, как отдавать рукопись в издательство. Почему? Может быть, потому, что они с Макаровым тоже были когда-то до известной степени близки?

Как только он прочитал «Зрячий посох», который ему действительно понравился, написал Астафьеву, похвалил, не скупясь, предложил встретиться, не откладывая, поговорить о самом главном, о войне, о том, как о ней пишется. Были потом еще письма от Астафьева, была встреча.

Он, К.М., все больше о его, астафьевской, прозе говорил тогда, о том, что за той, за солдатской прозой будущее, а тот — о недавно виденном по телевидению фильме «Шел солдат», о том, что хотел бы свою прозу писать на таком же вот честном, простом и доходчивом уровне. После этой встречи он с еще большим рвением занялся съемками фильмов о кавалерах солдатского ордена Славы. Изнурительная работа, а без нее тем не менее он теперь просто бы не мог жить. Иногда трудно было даже самому себе объяснить, в чем тут, собственно, дело. Встретиться, познакомиться, разговорить и тогда — снимать... И так — десятки и десятки людей. Кто-то заболел, кто-то закапризничал. Иной, хоть режь его, не способен выдавить из себя ни слова перед оком киноаппарата. А кто-то, еще хуже, как только зажигаются лампионы, начинает нести такую высокопарную, трескучую чушь, что просто перед молоденькими ребятами и девчатами из киношной команды совестно. А ведь только что говорили по-человечески. И вздыхали, и страшное, и смешное, и жалостливое вспоминали. И всплакнули, и насмеялись вдоволь. Ну, попробуем еще раз.

Он замечал, что даже бывалые люди, те же военные фотокоры, вроде Халдея или Халипа, или бывшие фронтовые операторы, которые, прослышав, заглядывали на съемки, и те удивлялись ему. Быть может, даже и задавались про себя вопросом — не заклинился ли случаем Костя, не произошло ли у него какого сдвига? О Нине Павловне нечего было и говорить. Она всем своим видом показывала, что не этим, не этим бы ему теперь заниматься! А чем? Нина Павловна, чем? — невысказанный вопрос.

Нет, только сидя рядом с очередным ветераном, он и мог чувствовать себя самим собой. Только такая беседа, только такой кадр, такая запись и способны дать тебе чувство уверенности, необходимости, несомненности, правоты того, что ты делаешь. Не случайно так оценил это Астафьев. Как он себя назвал? Да, «окопная землеройка».

— Товарищи солдаты, товарищи кавалеры солдатского ордена Славы трех степеней, вспомните, что для каждого из вас было самое трудное на войне.

И идет, тянется цепочка ответов, безыскуснее, правдивее и художественнее которых ничего нет на свете.

— Самое трудное? Как перенести всю тяжесть этой войны. Самое трудное — это, конечно, в пехоте. Крыши над головой никогда не бывало — ни зимой, ни летом. Пришли уставшие, так что когда легли — так и не почувствовали, как примерзли до окопа.

— Но война была не только трудная, а еще и страшная. Что же все-таки для вас лично было самым страшным на войне?

— С первых дней войны все было страшно.

— Страшно было на Курской дуге. И в Сталинграде страшно было.

— На фронте, конечно, все страшно было. Но я, вот лично сам, страшнее всего я боялся, чтобы не попасть в руки немцам живым.

— Шел и вижу, что села уже нету, страшно, конечно. Вижу, расстреливают за селом скот: коров, лошадей, овец — страшно. Все лежат свеженькие — страшно.

— Две, по-моему, я помню две виселицы человек по десять — как шли мы колонной — висит наш русский человек. Страшно.

— Самое страшное было, когда прицеливаешься и убиваешь живого человека.

— Самое страшное — подняться в атаку, выйти из окопов.

— Самое страшное, знаешь, это, ну, рукопашный бой.

КПД — сто процентов, выход — чистое золото, смотрите, слушайте, внимайте, впитывайте в себя истинную, не приукрашенную и не разбавленную никакими умствованиями и оглядками правду о великой войне, товарищи зрители, сегодняшние и завтрашние, послепослезавтрашние. Позаботьтесь о сохранности отснятой пленки, товарищи киношники, а истина и здравый смысл, мудрость — и житейская, и философская, впряженные в эти кадры, будут живы вечно.

Позаботьтесь, товарищи киношники. Долголетний опыт сотрудничества с ними побуждал принять и собственные меры. Слишком уж беззаботная, безалаберная публика. С начальством их, что в Госкино, что на телевидении, пуды бумаги, водопады слов истратишь, пока о чем-то договоришься, что-то запустишь в производство. Снимающая братия горазда делать, работать. Но судьба ленты волнует их лишь до тех пор, пока фильм не вышел, пока его не показали пару раз на телевидении. А там — хоть трава не расти. За одно он может ручаться — за сохранность текстов. Их — собрать, отсортировать, проклассифицировать, отмаркировать, и в ЦГАЛИ. Он представил себе, как ахнет Нина Павловна, прикинув объем предстоящей работы. Но делать нечего. Придется делать. В конце концов, это — лишь часть забот по подготовке и сдаче архива.

Охо-хо, вот она, эта работа... Полнометражный документальный фильм «Шел солдат». Шесть таких же телевизионных фильмов под общим заголовком «Солдатские мемуары». Да еще две больших телевизионных передачи «Солдатские мемуары—письма». Конечно, главное, чтобы в госкиноархивах сохранились ленты. Но сценарий и синхронная запись на бумаге всей звуковой дорожки фильма — это тоже документ, с которым и будут в основном работать будущие военные историки и Львы Толстые.

Рядом с его кавалерами ордена Славы, вечными рядовыми великой войны по улицам городов страны еще ходили ее полководцы, маршалы и генералы, командующие армиями, фронтами, дивизиями. Кто все еще в мундирах с блестящими золотом погонами, кто — в скромных костюмах, габардиновых или нейлоновых плащах. Кто-то вчистую уже ушел со службы, кто-то числился в так называемой «райской группе» министерства обороны. Увы, время так же беспощадно к ним, как и к другим. Как пуля или осколок снаряда, оно не разбирает, где маршал, а где ефрейтор.

Он встречал их больше по праздникам, в президиуме какого-нибудь торжественного заседания по случаю Дня Победы или очередной годовщины Советской Армии, на премьерах своих фильмов и спектаклей, иногда — на читательских конференциях. Встретишься, обрадуешься, перекинешься словцом-другим о Первом украинском или Втором белорусском, о форсировании Днепра или танковом побоище под Прохоровкой, договоришься непременно видеться чаще, а там, смотришь, и черная рамочка в газете очередная...

А к мертвым выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет...

Когда беседуешь с солдатами, войну видишь, что называется, перед носом. Словно через увеличительное стекло. Пространство в поле зрения — крошечное, но все предметы в нем кажутся крупнее, чем на самом деле. Нет, пожалуй, наоборот. Просто убеждаешься в том, что казавшееся тебе малым на самом деле велико. Беседы с маршалом — взгляд с высоты птичьего полета. Поразительно, как далеко и как много можно увидеть таким образом. Необъятные дали открываются — леса, горы и долы, окутанные дымом пожарищ. Багровые, черные облака взрывов. Бесконечные, уходящие и в глубину, и в ширину полосы заграждения. Рвы, надолбы, валы, землянки, бункеры. Скопления людей и техники, словно туманности Млечного пути. Разглядит ли с такой-то дистанции орел тот крошечный плацдарм, о котором только что поведал перед микрофоном сержант или ефрейтор, «окопная землеройка».

Словом, не жизнь у него теперь была, а сплошное кино. Растянувшееся на дни, ночи, недели, месяцы, годы.

К каждой съемке с Жуковым готовились, как к празднику, на дачу к нему ехали, как в церковь в светлое Христово воскресенье.

Он для всех — святыня, икона. Маршал, правда, и сам ничего не предпринимал, чтобы как-то сократить дистанцию между собой и окружающими. А может быть, просто не замечал ее? Или считал естественным, что малые небесные тела, спутники, планеты вращаются вокруг большого светила на заданных раз и навсегда орбитах? Может быть, в этом одна из тайн его полководческого гения?

Полководцу необходим характер. Если уж в писательском деле характер — это половина дела, то какую же часть составляет он в полководческом гении?! Особенно если последнее слово, как это и было всю войну, все-таки не за тобой. Какой нечеловеческой волей и верой в себя нужно обладать, чтобы держать в струне тысячи, десятки, а то и сотни тысяч людей и мановением руки посылать их в огонь, в топи на заведомую, неизбежную смерть. Сколько раз уже и в этих их беседах, спустя годы и годы после отгремевших сражений, маршал как о чем-то естественном, как о рабочем моменте упоминал о необходимости дать противнику сегодня перемолоть одни твои части, чтобы другими, свежими, раздавить его завтра, измотанного в предыдущих боях.

Кажется, еще труднее было ему скрещивать свою волю с волей того одного, который стоял над ним и назывался Верховным Главнокомандующим и в качестве такового вообще вел счет не на живые души, а на боевые единицы, начиная, в лучшем случае, с дивизий и корпусов. Потери, тем более в живой силе, для Сталина вообще ничего не значили. Жуков тоже, видимо, не считался с ними, когда был уверен, что действия командования целесообразны и необходимы. Для Сталина же эта целесообразность и необходимость всегда состояла в одном — ни пяди не отдавать, никогда не отступать, двигаться только вперед, чего бы это ни стоило. В этом — одна из причин того, что мы столько потеряли и столько отдали в первые же дни и месяцы противоборства. По этой линии у них и возникали стычки, когда выход у Жукова был один — либо беречь себя и поддакивать Сталину, как это делали всегда сидевшие рядом с ним «тонкошеие вожди», либо, рискуя тем, что завтра «поедешь пить кофе к Берии», стоять на своем. Не оттого стоишь на своем, что ты такой уж гуманист, а оттого, что элементарный здравый смысл — тоже совершенно необходимое качество для полководца — не велит тебе бросить под огонь тысячи людей, которым по твоему замыслу уготовано погибнуть совсем в другом месте и с совсем другим коэффициентом полезного действия.

— По своему характеру я в некоторых случаях не лез за словом в карман, — рассказывал теперь Жуков. — Случалось даже, что резко отвечал на его грубости, потому что надо было спорить, иначе я не смог бы выполнить свой долг.

Другому, услышав такое, К.М. бы не поверил. Решил бы — рисуется. Все сказанное Жуковым — без позы, без нажима — принимал один к одному. Надо было понять, пережить, как это — возражать Сталину! Главное — дорасти до понимания того, что и Сталин может быть неправым. Ему самому это при жизни вождя не удавалось.

С тем большим рвением он «разговаривал» своего собеседника в этом направлении. Легко ли, например, было, спрашивал, собраться с духом и намекнуть Сталину, что многие беды и как раз в самые первые трудные дни происходили из-за того нелепого распорядка дня, которому вождь следовал уже много лет, по крайней мере, с тех пор, как стал Сталиным. Ложится чуть ли не под утро, встает к двенадцати дня. А не доложив ему обстановки и не высказав своих предложений, нельзя принять решение. Когда же утвердишь его, с утра — у наркома Тимошенко, днем — у Сталина, поезд уже ушел. К тому же весь ареопаг не мог позволить себе покинуть служебные кабинеты прежде, чем Сталин уляжется спать, то есть далеко за полночь. Вставать же в отличие от него приходилось ранним утром. В конце концов люди вообще переставали спать и соображать что-либо.

Да, подтвердил Жуков, ему пришлось говорить на эту тему с «самим». И что же? Тот удивился или сделал вид, что удивился, но в конце концов вынужден был на кое-какие коррективы пойти. Правда, были они вполне в его, сталинском, духе. Он, конечно, не изменил свой распорядок, но ни разу с тех пор за всю войну не позвонил Жукову после двенадцати ночи. И отменил двуступенчатость в докладах начальника Генштаба: наркома Тимошенко послал командовать одним из фронтов, а себя назначил и наркомом, и Верховным Главнокомандующим.

Обманываться насчет уступчивости Сталина не приходилось. Если он и уступал, то только очевидной необходимости, только непреодолимым в данный момент обстоятельствам. И не жаловал тех, кому был этим обязан. События послевоенных лет, угроза, висевшая над Жуковым до самых последних дней жизни Сталина, показали, что тот хорошо запомнил все, что ему пришлось выслушать от своего заместителя в дни войны. Не мог не знать и не подогревать эти настроения Берия. Так что легко представить себе, Жуков рассказывал ему об этом, с каким удовольствием взял за шкирку Лаврентия Павловича на историческом заседании президиума ЦК.

В 1965 году, в ноябре, Жуков поздравил К.М. с пятидесятилетием. Прислал письмо, в котором были строки, тронувшие до слез. Закончил его такими словами: «Желаю Вам, дорогой Костя, крепкого здоровья, многих лет жизни и успехов в Вашей творческой деятельности». Дорогой Костя... Что это? Проявление отцовского чувства или деликатное приглашение окончательно перейти на дружескую ногу? Во всяком случае, когда он писал маршалу ответное письмо, ему и в голову не пришло обратиться к нему просто по имени. Он ответил просто: «Я горжусь той оценкой моей писательской работы, которую Вы дали в своем письме. Поверьте мне, что я сделаю буквально все, что в моих силах...»

Размышляя над темой «Жуков и Сталин», К.М. ловил себя на мысли, что существует и другая тема — «Жуков и Симонов». Наверняка это ухватил уже кто-то из киношников, ведущих съемки. Может и книга появиться. Со временем. Интересно было бы прочитать такую книгу. Что неугаданный им пока автор на-

пишет о Жукове и что о нем. Этот маршал-солдат, при всей его видимой монолитности, куда более загадочен, чем иной раз раздвоенный интеллектуал вроде него. И поводов для размышлений насчет плахи — положить голову или нет — у него было предостаточно. Каждая встреча со Сталиным, а они виделись или говорили по телефону практически каждый день во время войны, была таким поводом.

В конце июля сорок первого один такой «бунт» стоил ему поста начальника Генерального штаба.

Речь шла ни много ни мало... о судьбе окруженного и обреченного, по убеждению Жукова, Киева. Он предлагал по этой причине оставить город с тем, чтобы, не расходуя понапрасну людские резервы и боевую технику, своевременно занять более удобный для обороны плацдарм.

Отступить, оставить — сколько времени прошло, пока Сталин не понял наконец, что эти слова вовсе не всегда обозначают бегство, трусость и предательство. Киевский урок, когда все равно пришлось и город сдать, и целые армии оставить в окружении, не пошел ему впрок. Вскоре он с бранью обрушился на Конева, решив заменить его под Москвой Жуковым. Пришлось снова объяснять ему, что такими действиями ничего не исправишь и никого не оживишь. За Киев расстреляли генерала Павлова, а что толку? Он не справился с тем, с чем и не мог справиться.

Со стороны глядя — в армии просто. Командуй теми, кто ниже тебя, и подчиняйся тем, кто выше. Выше Жукова был только Сталин, ниже — все остальные. Казалось бы, в высшей степени удобное, привилегированное положение. Исполнение его приказов срабатывает автоматически. Рассуждать — это для штатских. Но вот Молотов — по штатской линии он для Сталина был вроде бы то же, что Жуков по военной. Уж он-то как раз Сталину никогда не противоречил, только поддакивал и укреплял того в его намерениях и суждениях, какими бы чудовищными они ни были.

Жуков должен был в итоге подчиниться тому или иному неправильному с его точки зрения указанию, но только исчерпав предварительно весь заряд доводов. И все взлеты и падения, все зигзаги в его жизни зависели не от его поведения — оно всегда было одним и тем же, а от отношения к нему.

К.М. не так часто встречался со Сталиным, но тоже был небезразличен ему, и, видимо, играл в его замыслах определенную роль. Встречи в Кремле у Сталина, его собеседования с деятелями литературы и искусства, чаще всего в связи с процедурой присуждения Сталинских премий, можно было бы сравнить с теми совещаниями Ставки, которые Сталин проводил во время войны в Кремле или на Ближней даче, в Волынском. Как бы ни был всесилен Сталин, он не мог планировать, разрабатывать и тем более осуществлять свои операции в одиночку. В войну ему для этого были нужны маршалы, генералы, офицеры. В своих маневрах на духовном, так сказать, фронте он тоже нуждался и в генералах, и в маршалах, только уже от литературы, от искусства. Вот он, Симонов, и стал по его воле одним из маршалов. Да, маршалом, не меньше. Ну, может, и не Жуков, эта роль была отведена, по-видимому, Фадееву, но не меньше, чем Рокоссовский.

Жуков между тем продолжал рассказывать о том, как Сталин попытался однажды заставить его признать не совершенную им ошибку. Подводя в присутствии ряда членов политбюро и высших военачальников победные итоги грандиозной Белорусской операции, когда Жуков и Рокоссовский настояли на

своем, не совпадающем со сталинским планом ее проведения, Верховный вдруг сказал:

— Вот видите, вы предлагали вначале, чтобы фронты наступали в иной последовательности, я с вами тогда не согласился, и был прав...

Жуков — нет чтобы — смолчать, возразил, что он этого не предлагал, можно по директивам проверить. Сталин достал из стола директивы, дал их читать Жукову, и тот прочитал как раз то место, которое подтверждало его правоту. Сталин вырвал у него из рук бумагу и заставил читать ее сначала Маленкова, потом Берию, но и эти подхалимы при всем своем рвении не могли вычитать в директивах того, чего в них не было. Зато Георгия Константиновича можно было поздравить — одним махом нажил себе сразу трех могущественных недоброжелателей.

Нет, в писательских встречах со Сталиным ничего подобного не случалось. Фадеев как-то заспорил о художественных достоинствах бесконечного романа Коптяевой об Иване Ивановиче, который почему-то нравился Иосифу Виссарионовичу, да и то в конце концов развел руками:

— Воля ваша, товарищ Сталин...

Нередко именно на его, Симонова, долю падало выполнять эту самую волю и нередко по собственной инициативе. Как это было с повестью Казакевича «Весна на Одере».

К.М. открыл Георгию Константиновичу «тайну» сначала исчезновения, а потом появления его, Жукова, среди персонажей «Весны», когда они оказались рядом на обеде в Кремле. Обед был в честь нового Центрального Комитета, выбранного девятнадцатым съездом партии.

Оказался в его составе и Симонов. Попал туда неожиданно для всех и Жуков, линию на реабилитацию которого Сталин продолжал проводить по какой-то одному ему ведомой логике. Жуков с превеликим интересом слушал рассказ К.М. и вдруг прервал его репликой:

— Живые ладно, так и быть, но мертвых-то за что... — Из дальнейших его слов стало ясно, что маршал ведет речь уже не о Казакевиче, а о его «Товарищах по оружию». — Почему не назвали своим именем хотя бы такого героя Баин-Цагана, как комбриг Яковлев, и заменили его каким-то Сарычевым или почему не вывели покойного Ремизова?

Он смущенно пробубнил что-то относительно законов художественной прозы, о том, что назвать героя реальным историческим именем — значит связать себя по рукам и ногам.

Жуков слушал и вежливо кивал, может быть, даже соглашался. Но настроение у Константина Михайловича было испорчено надолго.

Теперь уже не выдуманными персонажами — образами реальных лиц переполнено его сознание. Их данником он себя чувствует. Странный, причудливый хоровод. Маяковский и Мандельштам, Кафка, Татлин, Лилия Юрьевна Брик, Малевич, Сергей Сергеевич Смирнов с его «Брестской крепостью» и ее невыдуманными героями, которых тот, уходя, оставил на его, К.М., попечение. В этой веренице нет ни одной благополучной судьбы.

Только напрасно представлять себе, что это — мир теней. Как быстро, словно на гоголевской тройке, несется время, как плотно все спрессовано в этой жизни! Маяковский, Булгаков — казалось бы, это уже не люди, не имена — медальоны, выбитые на бронзе вечности. Но только вчера он встречался со следователем, который в роковое апрельское утро 1930 года первым по вызову оказал-

ся у тела Маяковского. Первым из «казенных лиц» взял в руки лежавшие рядом листки и прочитал: «Товарищ правительство...»

И Лилю Брик, увековеченную в этом посмертном послании «векам и мирозданию», совсем-совсем недавно свезли в крематорий. И дико было слышать, как служащая этого жутковатого для живого человека учреждения сказала, стараясь, видимо, тоже быть «на уровне современных требований»: от имени покойной разрешите поблагодарить всех, кто пришел с ней проститься...

Он стоял и смотрел, как, покорные включению каких-то кнопок, под звуки похоронного марша Шопена — как назло лезли в голову привязавшиеся с детства слова «умер мой дядя...» — сдвинулись с места и сомкнулись над крышкой гроба черные металлические створки... Чего? Даже не знаешь, как назвать это устройство, скрывшее от глаз людских то, что было некогда Лилией Юрьевной Брик. Стоявшие вокруг стали потихоньку расходиться. Кто-то — Лариса, Нина Павловна? — тронул и его за локоть, а он все не мог оторвать глаз от этих черных створок, под которыми началось какое-то новое движение. И он представил себе: недлинная рельсовая дорога, по которой обшитый крепом продолговатый деревянный ящик приближался... к геенне огненной. Ему показалось, что он уже слышит, как рвется и бьется пламя, поглощая останки существа, с которым еще совсем недавно разбирали письма, фотографии, желтые, трухлявые листы рукописей В. В.

Выйдя на улицу, он поискал взглядом крематорскую трубу, ожидая увидеть смолисто-серый столб дыма. Но его не было, и кто-то рядом, нет, не из близких, деловито пояснил, что старый московский крематорий, собственно, не функционирует, что здесь только имитируют похоронную церемонию, а потом гроб везут за город, где и сжигают в топке нового крематория и выдают родственникам урну в соответствии с квитанцией. От этого объяснения все только что происшедшее показалось еще более абсурдным и ирреалистическим. Нет уж, меня извольте сразу за город, — вырвалась оттуда, из подкорки непослушная мысль. А то еще и пепел перепутают.

Не тогда ли пришло на ум Буйничское поле? Да, решено. Он завещает, чтобы его прах сожгли и увезли в Белоруссию и там, под Могилевом, на Буйничском поле, где он встретил свой первый бой, развеяли. Кто? Ну, об этом еще будет время подумать. А что, собственно, думать? Конечно же, Лариса, дети — Алеша, Маша, Санька, Катя, другие близкие люди — Нина Павловна, Лазарь, Марк Александрович. Доберутся туда машинами. Даст бог, погода будет хорошая... Дорога тоже вроде ничего по Минскому шоссе. Ну а остановиться найдут где, белорусские письменники приютят. Жаль только, что его не будет вместе с ними, и чарку белорусской водки не доведется выпить за упокой своей души. Зубровки, которую он так любил, пока врачи не запретили ему ее начисто. Он тряхнул головой, дивясь принявшим такое причудливое практическое направление мыслям. Увы, подобное с ним случалось все чаще и чаще. Недавно вырвалось в присутствии Нины Павловны, когда они вдвоем дружно переводили дух в ЦДЛ после очередной баталии по поводу музея Маяковского. Взглянул на длинный, покрытый белесой скатертью стол в зале заседаний секретариата и сказал: «Вот уже и хочется полежать!» Бедная Нина Павловна, что с нею было...

У него мысль о смерти не вызывала привычной боли. Как будто речь о предстоящем отпуске. Страданием была сама болезнь — прилипчивая, ползучая, неотвязчивая. Она стояла теперь на пороге всех его пока не осуществленных замыслов. Сколько их еще — боже мой! Не только написать, но и сделать, за-

ступиться, пробить, доспорить. Превратился в какую-то всесоюзную, если не брать шире, скорую помощь на дому. Если набраться духу и посчитать с помощью Нины Павловны, сколько же на нем висит сейчас добровольно взятых на себя обязательств, но истово тем не менее исполняемых! От одного этого — упадешь. Может, он потому только и не падает, потому и держится, что не подсчитывает, а делает. Глаза боятся...

Недавно ворвалась Лариса в его «нижний» кабинет. Трясете руках газету: «Полюбуйся, какая чушь! Малевича, Казимира Севериновича, обозвали эмигрантом, утверждают, что он умер-де на чужбине. А он всю свою послереволюционную жизнь провел в Ленинграде. Если и покидал его, то только ради Москвы, вернее Подмосковья, Немчиновки, где каждое лето до самой смерти косил летом сено да писал пейзажи. Видно, кому-то до сих пор не дает покоя его «Черный квадрат». Идиоты!!!»

У Ларисы это очень выразительно получалось: «Идди-оты!»

Малевич... Помнится, еще в первую его поездку в Штаты ему там задавали вопросы о Малевиче и Кандинском. С тех пор они так и стоят в его сознании рядом, эти два имени. Как и Ильф и Петров. Представление об этих художниках у него тогда было очень смутное. Спасибо, рядом был Илья Эренбург. Он выручил. По нему получалось, что это — талантливые, но, увы, недооцененные, незаслуженно забытые в нашей стране мастера. Зная за мэтром эту особенность — щегольнуть при случае своим особым мнением, К.М. там, в США, помалкивал, а когда вернулся домой, постарался найти все, что можно было об этих художниках почитать. Улов был небогатый. Посмотреть, вообще ничего не удалось. Все лежало за семью печатями в запасниках, и добиваться туда пропуска было недосуг.

Разразившиеся вскоре обличительные кампании прочно зачислили эти имена в черный список формалистов, абстракционистов, рабски преклонявшихся перед западными образцами.

Благодаря Ларисе, особенно в пору подготовки выставки в Манеже, он разобрался, что не Кандинский, Малевич, Татлин, Фальк подражали Западу, а оказывается, Запад у них подхватил все эти измы. Сдается, что не Малевич, к примеру, вышел из Пикассо, а Пикассо и Фернан Леже, чья русская жена Надя была ученицей Малевича, вышли из Кандинского и Малевича.

По иронии судьбы в глазах претендующей на новаторство советской власти они оказались реакционерами, проповедниками упадничества, а для «загнивающего Запада» стали синонимами революции в искусстве. И теперь вот в газете эта заметка, которой Лариса потрясает перед его лицом, словно это он, К.М., написал ее. Да, одним сочувствием тут не отделаешься. Пришлось обложиться книгами, репродукциями и написать. О том, как, например, автор нашумевшего до революции «Черного квадрата», который его, К.М., и сегодня повергал в недоумение, после революции делал декорации и костюмы к «Мистерии-буфф» Маяковского в постановке Мейерхольда. Вот уж поистине триада революционеров в искусстве! Придумавший натужный, искусственный, казалось бы, термин «супрематизм» Малевич предсказал вторжение человека в космос «через кольцеобразное движение промежуточных супрематических спутников».

Когда он умер, в 1935 году, даже в те тяжкие времена художники похоронили его с почетом, а в некрологе написали о «заслугах умершего художника Малевича К. С. перед советским изобразительным искусством».

Подходящий случай сказать о художнике, а заодно хлестнуть как следует по крохоборам и невеждам, злоумышленникам от искусства.

Говорят, в архивах Горького после его смерти нашли фразу: «Тысячекратно увеличенная блоха была бы самым ужасным и непобедимым существом на свете». Ягода дико матерился, но мертвый Буревестник был уже ему не подотчетен.

Еще одним его героем, и тут тоже не обошлось без Ларисы, стал Татлин.

Создатель «Башни III Интернационала», апофеоза нарождавшегося, невиданного ранее общества, этим же самым обществом, его руководящими силами был предан остракизму, оттеснен куда-то на задворки. Доживал свои последние дни забытый всеми, в полном одиночестве. Снова и снова К.М. пытался разгадать тайну этого одиночества — добровольное оно или вынужденное? Был обречен на непонимание или сам себя на него обрек? Не смог из этого состояния выйти или не захотел? Внутренний эмигрант, как его пытались изобразить, или..?

Когда он думал о Татлине, возникал перед ним его идеал — человек, согласный с самим собой. Когда-то он таковым считал себя. Теперь уловил разницу... Татлин верил и следовал чему-то главному в себе. Он, К.М., — чему-то тоже важному, но помимо себя.

Одной заметкой о Татлине не обошлось. Сделал о нем документальный фильм и принимал деятельное участие в организации его выставки в ЦДЛ в феврале 1977 года.

После открытия выставки организовал для ее устроителей банкет. Лариса не смогла быть ни на открытии, ни на банкете. Столько усилий приложила, так ждала этого дня, а накануне свалилась с дикой простудой.

Когда поправилась, поехали с ней в Ленинград. На очереди был — Блок. В союзе предложили возглавить комиссию по проведению столетия Блока. Он не отказался. Теперь надо было посмотреть, что стало с квартирой, где последние годы жил и где умер поэт в голоде и холоде. Посмотреть, можно ли будет превратить эту квартиру в музей. Тут его ревностным и неистовым сторонником была Мариэтта Сергеевна Шагинян. Сколько она ему рассказывала о Блоке, о своей переписке с ним, о том, как в этой самой квартире, когда он умер, читала ночь напролет над телом, с разрешения Любови Дмитриевны, акафист.

Узнав, что его назначили председателем комиссии, Мариэтта Сергеевна теперь при каждой встрече заводила разговор о Блоке:

— Блок, он еще в тринадцатом году чувствовал, кто идет рядом с Христом — грубые люди, которые разорят усадьбу, сожгут библиотеку... Его это не страшило. Пока он верил... Что его пугало — одиночество. Разрыв с теми, кто ему был раньше близок, кто не верил, ненавидел... Хотелось всех взять с собой, повести...

Женщина, безумная гордячка!
Мне понятен каждый Ваш намек...

Это — о Зиночке Гиппиус, у которой дома я столько вечеров провела. Мы были подругами. Чудеснейшая женщина. И поэтесса! Вы читали мои воспоминания? Но что поделаешь, революцию она ненавидела, Блока, бывшего своего идола, когда он пошел в «услужение революции», — вдвойне. Для вас это история, легенда, а я-то помню хорошо, как все это было. Как-то увидели друг друга издалека в Петрограде на улице, и она перешла на другую сторону. А он вернулся домой и написал:

Все слова — как ненависти жала,
Все слова — как колющая сталь.

Его это огорчало, но не оскорбляло, не угнетало, пока он верил в свою правоту.

Но вдали я вижу — море, море,
Исполинский очерк новых стран,
Голос ваш не слышу в грозном хоре,
Где гудит и воет ураган!

Вот как он верил. В ураган этот верил, в то, что вместе с господскими усадьбами, на крови людской поставленными, вместе с садами, парками, лирическими воздыханиями праздных людей сметет и смоет он всю несправедливость на земле, за все слезы, за все страдания людей воздаст:

Высоко — над нами, — над волнами, —
Как заря над черными скалами —
Веет знамя — Интернационал!

Брут писал Кассию: «Мы слишком уж боимся бедности, изгнания, смерти». Блок свои «Двенадцать» закончил через три месяца после Октябрьской революции. Он не боялся ни бедности, ни изгнания, ни разорения. Пока верил. Когда решил, что ошибся, заблудился, не с теми пошел, — сломался. Сейчас ведь все врут. Простить не могу Наровчатову. Делал доклад о Блоке. Блок у него прямо-таки живой большевик. Никогда он не был большевиком! Его величие в другом. Он жить был способен только в согласии с собой. А как этого не стало, и уж невозможно было, как ему казалось, восстановить, он начал умирать. Если хотите, то главное в Блоке — это его смерть.

Разволновалась Мариэтта Сергеевна так, что даже слюна белыми комочками пены выступила контрастно на темных как мощи губах. Вынула платок, заботливо обтерла их, спросила простодушно: «Я не плюю? Рот-то старческий...» А он уж почти и не слышал ее, не видел ее самое. Таково было возбуждение от последних ее слов. Смерть — как искупление всех грехов, отмщение, нет, прощение всех обид. Смерть Маяковского, смерть Фадеева, смерть Блока...

Мариэтта Сергеевна, он понимал, вовсе не хотела сказать, что Блок — тоже самоубийца. Просто он не сопротивлялся смерти, потому что незачем стало жить. Незачем жить? Все восставало в нем против этого утверждения. Незачем жить человеку, написавшему в последние дни своей жизни такие строки?

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

А Маяковский? Разве не перед выстрелом написал он самые чудодейственные строки в своей жизни?

Фадеев — особая статья.

Он, Симонов, — тоже особая статья? И снова поймал себя на том, что подумал о себе, как об ушедшем. И в какой ряд себя поставил. Самобичевание или гордыня?

Все как будто есть: книги, фильмы, спектакли, не только его книги, но и целая библиотека книг о нем, недавно по его заказу исполнена библиография. Деньги, дом, дача — со стороны посмотреть, прямо как там, у них, «за бугром», — одна под Москвою, другая — на юге, на берегу моря, в Гульрипши... Потомства две ступени — уже у Кати с Васей дочка Дашка родилась. А он сидит вот в «нижнем» своем кабинете, в крохотной однокомнатной квартирке, куда, если верить злым языкам, сплавила его Лариса вместе со всеми его шумными друзьями и делами. Сидит и пытается, не без умысла, проникнуть в тайну смерти двух великих поэтов. И кажется, это ему удается наконец.

Несомненно, в смерти Маяковского и Блока есть общее. У людей такого масштаба, уже при жизни осознавших весомость своего имени в истории, есть интуиция, которая с определенного часа повелевает им жить уже не сегодняшним днем, а завтрашним. Их символическое, неподвластное тлену существование, представляется им истинно реальным, а реальное, житейское — призрачным, ненастоящим.

Маяковский перед смертью показал остающимся язык: «И не сплетничайте обо мне, покойник этого не любил». Написав такое, он еще два или три дня, как свидетельствуют попавшие К.М. в руки документы, жил нормальной, на взгляд окружавших его людей, жизнью, навещал друзей, флиртовал с Полонской, которую уже записал в число своих наследниц, состязался в остроумии с Валюном — Валентином Петровичем Катаевым...

Блок — другое. Своим завещанием он сделал последнее свое стихотворение — «Пушкинскому дому».

Вот зачем в часы заката,
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.

Ему — Пушкину, Пушкинскому дому, Петербургу, звонам ледохода, перекличкам пароходов...

Маяковскому в апреле тридцатого стало вдруг ясно видно, какой выбор ему предстоит. Пожертвовать либо именем, репутацией своей, либо свободой, а вместе с нею и всем созданным.

Он выбрал третье — расплатился жизнью. Если это и малодушие, как принято говорить о самоубийцах, то — особого рода.

Блока убило видение пропасти, разверзшейся перед ним. Смерть была избавлением и преодолением бездны.

Вот так бы и ему, Константину Симонову, перескочить одним махом через пропасть ошибок и глупостей, сотворенных за свою жизнь.

Одним махом. Но таким, чтобы «штаны трещали в шагу». У него оставался еще один способ рассчитаться с прошлым — снова писать о нем. Как сказано в Евангелии: «Доселе я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу...»

Просто рассказать, как все это было. Вернее, как он все понимал.

И как не понимал. Что видел. И что не видел. И почему.

Он вот сядет сейчас перед диктофоном, вставит чистенькую кассету, нажмет на нужные кнопки и начнет: «Я буду писать о Сталине, как человек своего поколения, поколения людей, которым ко времени XVI съезда, когда Сталин ясно и непоколебимо определился для каждого из нас как первое лицо в стране и во всем коммунистическом движении, было пятнадцать лет. Говоря о своем поколении, я говорю таким образом о людях, доживших сегодня до шестидесяти четырех лет... Репрессии тридцать седьмого — тридцать восьмого годов сделали в нашем поколении намного меньше необратимых вычерков из жизни, чем в поколениях, предшествовавших нам. Зато война вычеркивала нас через одного, если еще не чаще...»

Прокрутил ленту назад. Послушал записанное. Он отдавал себе отчет: то, что он сейчас собирается диктовать, не будет опубликовано при его жизни. Сколь бы долго или коротко она еще ни продолжалась. Это диктуется, во-первых, для себя, во-вторых, для будущих поколений, для будущих историков... Опять Маяковский: в такую ночь встаешь и говоришь — векам, истории и мирозданию. Покосился на диктофон — слава богу, не включен. Ему всегда казалось нелепым и нескромным сравнивать себя с великими, но бывало, что нелепой представлялась сама эта скромность. Так ли уж понапрасну жизнь вынесла его на гребень?! Как бы то ни было, теперь ему впервые, да, скорее всего, и в последний раз предстояла работа «в стол», есть такое устоявшееся, но не очень-то признаваемое им выражение. Впервые в стол, впервые для каких-то неведомых ему читателей будущего. О прошлом для будущего. Не назвать ли так будущие записки? Нет, назовем их проще: «Глазами человека моего поколения».

Нажал на кнопку. Продиктовал название. Потом дату, когда начал, — 23 февраля 1979 года. И снова задумался надолго. Некое суеверное чувство подсказывало, что приступить вплотную — все равно что кораблю колумбовских времен отойти от знакомого берега в поисках неведомых стран, без всякой надежды на возвращение.

Погрузившись в это всерьез, он уже ничем не сможет больше заниматься. А у него еще столько долгов. Пьеса «Мои четыре Я». Последняя попытка рассказать о прошлом «художественно». Вот они лежат перед ним, расшифрованные Ниной Павловной шестьдесят с лишним страниц машинописного текста. Первые надиктовки сделаны еще в семидесятом году. С тех пор работа стоит на месте.

Как-то недавно в одном, тысяча первом, наверное, в его жизни интервью он сказал в запальчивости, верный своей самоедской линии, что никакой-такой особой симоновской драматургии не существует. И что понятие «драматургия Симонова», таким образом, неправомерно. Приятно, конечно, было, что собеседница — это была известная писательница из ГДР — возражала ему, но он твердо стоял на своем, и так это в интервью в «Вопросах литературы» и появилось. Теперь вот листает страницы далеко еще не оконченной пьесы и думает: еще наброски, а уже есть настроение. Значит, существует все же особая, его, симоновская, драматургия?

Из чего оно возникает — настроение? Быть может, из того, что неотрывно присутствует время? Встретиться наяву с самим собой двадцатилетним, тридцатилетним, сорокалетним... Возвращение к себе самому, давнему всегда волнует, всегда окутано дымкой грусти. В груди — что-то вроде сбивчивого вздоха или взрыда. Это самое, видимо, и есть настроение.

Майор (тридцатилетний) Алексею Ивановичу (ему же, сорокалетнему):

— Ты все-таки разошелся с ней?

Алексей Иванович:

— Разошелся. Ты же этого не сделал вовремя, пришлось мне. И гораздо позже.

Рябинин (они же оба — в пятьдесят):

— Оставим это.

Алеша (двадцатилетний, потому самый рассудительный):

— В самом деле, неумно при девке.

Тоня (дочь всех четырех):

— Отец мне рассказывал.

Майор:

— Что он мог тебе рассказывать?

Рябинин:

— Я рассказал ей все, и оставим это...

Вот и фрагмент из этого рассказа Рябинина:

— Завидую людям, которые умеют ссориться, а потом мириться. Не умею. Двадцать лет назад так же, вдруг, расстался с женщиной — мне уж как-то пришлось объяснять тебе, как это было: поднялся со стула, пошел и больше никогда не видел.

Тоня:

— А в суде, когда вы разводились?

Рябинин:

— В суде уже были не мы, не она и не я, а совершенно другие люди.

Потерпевшая и ответчик.

Его герои всегда недовольны собой, а на поверку оказываются лучше всех других — прямее, совестливее, самоотверженнее. Чем жестче, нелицеприятнее судит о себе герой, тем дороже он читателям и зрителям.

— Ну, а как ты поступал, когда кто-то из тех, кого ты знал, оказывался там и надо было ему помочь?

— По-разному: бывало, что и звонил, и писал, и просил.

— А как просил?

— По-разному. Иногда просил войти в положение человека, облегчить его судьбу... Иногда было и так, что писал, что не верю, что не может быть...

— Были такие случаи?

— Да, был один такой случай. Именно так написал. А больше писал, что, конечно, мол, не вмешиваюсь, не могу судить, но прошу проверить... А дальше старался побольше написать всего хорошего, что знал о человеке...

— А еще как?

— А еще как? Ну, бывало, что не отвечал на письма. Два раза не отвечал на письма одному человеку. Поверил обвинениям. Он мне написал, а я не ответил. Он снова написал, я снова не ответил, не знал, что писать, колебался. Не мог. Потом, когда он вернулся, было стыдно...

Не заметил, как изменилось настроение. Когда диктовал это? Лет тому восемь назад. Каким обнаженным, бескомпромиссным казалось откровение героя. Сейчас перечитывает, и просится на язык другое слово — самолюбование.

Он — это был Рудольф Бершадский, зав. отделом фельетонов «Литературной газеты» в ранние 50-е годы, которую тогда редактировал Симонов. Рябинин в пьесе не назвал это имя, но автор так и не состоявшейся пьесы не забудет его до конца дней.

На Бершадского донесли, его посадили за то, что он не дал ходу двум фельетонам, проклинающим врачей-убийц, которых освободили сразу же после смерти Сталина. Еще через полгода вышел на свободу и Бершадский.

Так случилось, что в дубовый зал писательского клуба на улице Герцена он пришел в тот день и час, когда Константин Михайлович, Алексей Иванович в пьесе о четырех Я, выступал перед читателями. Пришел и сел в первом, как всегда в таких случаях, не занятом ряду...

Вот страничка о том, что Рябинину из пьесы, Четвертому, идет много писем из лагерей. Третий, то есть Алексей Иванович, спрашивает Четвертого:

— Что это они тебе вдруг стали писать?

Вопрос, конечно, с подковыркой. Эти четверо не церемонятся друг с другом. Странное это было ощущение — разгадывать свой собственный подтекст.

Четвертый:

— Так вышло.

Если отважиться и перелистать сейчас собственные труды, сколько этих «так вышло» попадется на глаза. «Так вышло, что именно мне письма. Быть может, потому, что именно я написал первым рецензию для одной очень популярной тогда газеты об одной повести о лагерях. Повесть написал человек очень талантливый и очень пристрастный...»

— Видно, придется оставить до лучших времен.

Настанут ли они? Закончит ли этот невезучий труд, над которым бился без малого десяток лет?

Кажется, всего одна возможность осталась у него объясниться с временем — и со Сталиным, и с Солженицыным, — это исповедь без всяких там художественных прикрас.

«Прежде всего следует сказать, что рукопись, к работе над которой я сейчас приступаю, в ее полном виде не предназначается мною для печати...»

Подумал и добавил: «Во всяком случае, в ближайшем обозримом будущем». Ключевой, заявочной была и следующая фраза: «В прошлом году минуло четверть века со дня смерти Сталина, а между тем мне трудно вспомнить за все эти двадцать шесть лет сколько-нибудь длительный отрезок времени, когда бы проблема оценки его личности и деятельности так или иначе не занимала бы меня...»

Прежде чем сесть за диктофон, он, как обычно, проделал немалую предварительную работу. С помощью Нины Павловны разыскал в дебрях архива записи всех бесед в Кремле у Сталина. Как с ними работать? Был соблазн все это, перечитанное, подправленное стилистически, отдать на машинку. А там уж, держа перед глазами текст, комментировать его. Так он работал со своими военными дневниками. Но что-то подсказывало ему, что теперь такой путь не годится. Он боялся, что ему просто не хватит времени.

Врачи явно не говорили ему всей правды, но он сам, как никакой врач, знал, что состояние его тяжелое. Знал и тщательно скрывал от окружающих это знание. Толком помочь все равно никто не сможет, а от охов-ахов никому еще легче не становилось. Только наедине с Ниной Павловной, с которой по рабочей необходимости проводил времени вместе больше, чем с кем-нибудь другим, вырывалось что-нибудь рискованное. Не в обиду будь Ларисе, детям, она лучше других понимает его состояние. Пугается его и, чувствуя, что не в силах помочь, буквально трепещет вся при каждом новом ухудшении. Еще недавно сопротивлялась яростно, изо всех своих небольших силенок тому, чтобы он, на-

пример, работал с температурой, вставал раньше времени с кашлем и хрипами с постели, преждевременно выписывался из больницы, которая за последнее время, увы, стала почти вторым домом. Благо, в этой новой больнице на Мичуринском проспекте, куда его прикрепили с Ларисой как члена ревизионной комиссии КПСС, палаты как номера люкс в иной гостинице, и здесь вполне можно работать. Даже спокойнее, чем дома или на даче, до тех пор, пока твой очередной телефонный номер не доступен алчущим и жаждущим тебя. Как-то перебирали накопившуюся почту. Он с трудом поднялся.

— Что, К.М., ноги болят? Опять заболели колени?

— Все болит, Нина Павловна, все...

Для бодрости духа хлебнул — нет, не из фляги, прошли те времена — из термоса. Гадость жуткая. Он пьет, а у Нины Павловны, чувствуется, скулы сводит. Но вроде помогает. У него стало правилом считать, что все, что врачи предлагают, полезно. До тех пор, по крайней мере, пока бесполезность не станет совершенно очевидной и не начнет вредить. Как он сказал недавно Нине Павловне:

— Из больницы я каждый раз выхожу поздоровевшим, но мне становится все хуже.

Когда это началось? Формально, вероятно, в 1973 году. Он тогда серьезно слег, а там и угодил в больницу после хлопот с выставкой Маяковского. Открылся сильный кашель. Думали — простудился, надорвался немного с этой выставкой. Оказалось, хуже. Воспаление легких, и сильное. Вот тогда-то при исследованиях врачи и поделились с ним своим странным открытием. Они об этом сказали, как о чем-то ординарном — просто рабочий момент истории болезни. А его их сообщение поразило. Оказывается, его легкие непропорционально малы по отношению к габаритам его уважаемого туловища. Другими словами, их объема недостаточно, чтобы нормально, без натуги обслуживать естественные потребности организма. Так как аппетиты у него, у организма, немалые — это он уже сам себе домысливал, — то бедные его легкие все время работают как бы на сверхрежиме. Он всю жизнь, оказывается, стремился хлебнуть этого самого воздуха больше, чем вмещает грудь, больше, чем способен освоить. Отсюда и его предрасположенность к воспалениям легких, которые как раз после его первого свидания с больницей и пошли, одно за другим.

Но даже не это, не физическая сторона диагноза его озадачила, а то символическое, что послышалось ему в откровениях медиков.

Явившись однажды, мысль эта уже его не оставляла. За минувшие шесть лет и так ее переворачивал и эдак. Каков же итог?..

Все, что у него есть, добыто этими вот руками. Ну, и головой, соответственно. И легкими, если на то пошло. За все платил сам... Изнурительным трудом, к которому сам себя и приковал. За все, что было сделано в войну, и сейчас готов отчитаться. Как поется в его собственной песне: «С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом сквозь ветра и стужу мы прошли». Но приходит понимание, что, может быть, действительно только его поэзия военных лет и останется. Да еще военные дневники. Не драматургия, нет, и, увы, кажется, не проза... Бессмысленно было бы, конечно, даже самоубийственно предлагать в сорок третьем ту главу — из «Дней и ночей» для печати. Только шестнадцать лет спустя опубликовал ее в томах «Литературного наследства». Отпраздновал труса?

Но можно ли назвать трусостью, когда человек стоит на крутой скале, над бездной. Внизу бушующее море. И его тянет прыгнуть вниз. Всего-то качнуться вперед... Кому не известна эта тяга?

И он писал тогда эту главу с ощущением такой тяги, сладостного головокружения, которое делает человека способным на все. Может, в этом кружении и есть тайна творчества? Ну, а когда пришла пора решать, разум, естественно, сказал свое слово. Он не сжег и не разорвал главу, а отложил, хранил ее все сталинские годы.

Когда-то он прочитал: в одной из то ли африканских, то ли южноамериканских стран в деревнях поныне сохранился обычай: каждый юноша должен хотя бы раз взобраться на скалу над морем и броситься в кипящие волны. Императив, естественно, не юридический, а моральный. В конце концов, можно и не подниматься на эту скалу, тем более, что далеко не каждому, кто с нее прыгал, удавалось остаться целым и невредимым.

Он взобрался на скалу. Но не прыгнул...

Гроссман прыгнул. За время, которое минуло с той поры, когда зловещим способом конфисковали его рукопись, выяснилось, что уничтожить все экземпляры не удалось. Прав Булгаков, рукописи не горят. Роман уже после смерти Гроссмана напечатали где-то за рубежом. Он сам купил его, кажется, в ФРГ и прочитал. Поступком было написать такую вещь, хотя со многим он сейчас никак бы не мог согласиться. Поступком было то, что он не положил рукопись в стол, а отдал ее в печать. Взял и отнес, как ни в чем не бывало, в «Знамя». Не мог же он, действительно, не понимать, какую бурю вызовет его рукопись. Что если уж каким-то чудом и рискнет Кожевников поставить роман в номер, а это было практически исключено, то цензура, Романов не преминет устроить из этого скандал, нажить себе кругленький политический капиталец.

К.М. прокрутил пленку назад, прослушал, что получается. Спросил себя, а почему, собственно, это предназначается для каких-то будущих поколений? Почему он намерен послать это не в какой-нибудь журнал, например, в ту же «Дружбу народов», где Баруздин так ревностно сражался за публикацию его военных дневников, а в ЦГАЛИ — на государственное хранение? Он нажал на кнопку и продиктовал еще несколько уточняющих замысел фраз: «Что же касается тех или иных частей этой будущей рукописи, я заранее не исключаю того, что у меня может появиться и желание, и возможность самому увидеть их опубликованными».

За немногие оставшиеся ему месяцы жизни он возвращался мысленно к этим строкам и сардонически усмехался. Все учел, все рассчитал, кроме самого малого — здоровья.

Так с ним всегда. Чуть отпустит, чуть отступит болезнь, и кажется, уж навсегда. С этим ощущением он и диктовал первые страницы своих размышлений о Сталине. Начинал их в темпе бегуна на длинные дистанции. Неторопливо, но уверенно. Вступление, пролог, экспозиция. Несколько страниц о замысле, о сверхзадаче. Потом — о детстве, о юности. С одной стороны, это как бы лишь подход к теме, увертюра. С другой стороны, это твоя жизнь, может быть, самые чистые, светлые ее страницы. Тут не мысль, а чувство увлекает тебя вперед.

А чувство, как известно, стихия неуправляемая. Там, где нужно спешить, оно побуждает задержаться, где надо бы, наоборот, помедлить, не дает остановиться. Это всегда рядом, всегда с тобой — рязанские и саратовские мальчишеские будни, друзья и подруги тех давно канувших в Лету дней. Машинально перебирал в руках специально отложенные фотографии той поры. Их немного по сравнению с более поздними временами. Здесь, рядом с его родителями и собственной матерью, — его первая, вернее, намек на его первую любовь. Пройдет

несколько месяцев, и они расстанутся надолго, а тогда, когда он, невзирая на недавнюю ссору, пришел к ней прощаться, думалось и вообще — навсегда. В 1955 году они встретились. Вспоминали, как в ту пору повального увлечения самодеятельными спектаклями играли в пьесе об американских неграх, он — легендарного вождя угнетенных Джона Брауна, она — его невесту. Пришли к выводу, что именно такое распределение ролей и предопределило их взаимную влюбленность, которая в таких случаях завязывается как бы самопроизвольно. Обсуждали они эту тему, увы, без малейшего намека на смущение или волнение.

За несколько недель до того, как был сделан этот снимок, произошло то, что имело прямое отношение к теме его нынешних размышлений о Сталине. Вместе с матерью он поехал погостить к двоюродной сестре отчима в небольшую деревушку под Кременчугом и здесь оказался нечаянным свидетелем обыска в доме тети Жени, которая была замужем за бывшим генерал-лейтенантом царской армии, давным-давно уже безнадежно больным, в параличе, человеком.

«Не могу вспомнить, что же я думал тогда, как рассуждал, как объяснял себе все происшедшее, — исповедовался он безразличному ко всему диктофону. — Лес рубят — щепки летят, — так, что ли? Может быть, было отчасти что-то похожее на это самоуспокоение, сейчас кажущееся более циническим, чем оно ощущалось тогда, когда революция, переворот всей жизни общества был еще не так далеко в памяти».

Хорошее состояние духа и тела, с которым он начал диктовать свои мемуары, довольно быстро улетучилось. Появлялась, исчезала и снова появлялась температура. Опять начал мучить кашель. Болело в груди, в боку, ныла поясница. Он пытался просто не замечать этого. Но наступали минуты, когда продолжать манкировать болезнью, названия которой он так и не мог добиться у многочисленных своих эскулапов, уже было невозможно. Видела его состояние добрейшая Маруся, которая одна в эти дни на даче помогала ему по хозяйству. Несмотря на строжайшие запреты со стороны хозяина, она, конечно, известила Ларису, и та прибыла с категоричнейшим требованием вызвать врача, поехать в поликлинику или вообще лечь, хотя бы ненадолго, в больницу. Он-то прекрасно знал, как, впрочем, и она, что означает это — ненадолго. Сошлись на том, что он будет исправно выполнять все предписания, которые были сделаны ему раньше, — ведь ничего нового в его болезни нет. Потянулись дни, которые он делил между диктофоном, градусником, термосом с гадостью, настоянной на травах, и прочими снадобьями, совершенно бесполезными, как он все больше убеждался. Регулярность, с которой надо было принимать все эти лекарства, необходимость постоянно помнить то о пилюлях, то о каплях, то о полосканиях — все это выводило его из себя. Тем более, что, когда он забывал или делал вид, что позабыл об очередном сеансе, ему со свойственной ей железной методичностью напоминала Лариса. Логика ее была проста и непоколебима: если уж взялся лечиться сам, надо лечиться. В противном случае следует лечь в больницу.

Когда в диктовках дошло до сути, до первой его встречи с «живым» Сталиным, он находился в особенно раздрызганном состоянии. Слава богу, что уже была проделана необходимая предварительная работа: он восстановил фамилии, которые в ту пору обозначал лишь инициалами, воспроизвел по памяти те места в беседах, которые в записях 47–52-го годов были до смешного прозрачно зашифрованы.

Задача, на первый взгляд, была простая: внести, «вмонтировать» в общее повествование текст этих бесед. Но вначале — просто перечитать все залпом, по возможности сторонним взглядом. Представить себе, какое впечатление все это произведет на читателя сегодняшних, вернее, завтрашних дней... Задача оказалась ему не по силам. Дойдя до того места, где Сталин спрашивает попросившихся к нему на встречу Фадеева, Симонова и Горбатова: «Ну, у вас, кажется, все?» — он обнаружил, со смущением и тревогой, что испытывает сейчас абсолютно то же самое чувство, которое владело им тогда, 13 мая 1947 года, и которое он запечатлел в записях сразу же после того, как привел сталинский вопрос: «До этого момента наша встреча со Сталиным длилась так недолго, что мне вдруг стало страшно: вот сейчас все это оборвется, кончится, да, собственно говоря, уже и кончилось».

Хотелось сидеть и сидеть рядом с Ним, в светлом большом кабинете, известном всему миру, смотреть и смотреть на Него, слушать Его и слушать. Теперь подмывало читать и перечитывать собственные строки о тех сидениях.

Но надо было и решать, как быть. Оставить ли все так, как было записано тридцать с лишним лет назад, снабдив, естественно, сегодняшними комментариями? Или вычеркнуть кое-какие, не идущие к сути дела подробности, сократить тексты записей, вообще дать их в пересказе?

Диктовать сейчас все как есть? Еще будет время и додумать, и дописать. Ой, будет ли? Попытаться совладать с материалом, организовать его с самого начала? Ощущение было такое, будто он снова стоит на крутой скале, у подножия которой бушует море. И снова кружится голова, и снова предательски манит к себе белая, пенящая гряда...

Ему предстояло вернуться к шести-семи самым тяжелым и неприглядным годам своей жизни, как это он понимает сейчас.

Радостным, деятельным, наполненным вдохновенным трудом, пусть и изнурительным, как ему все это представлялось, когда он их проживал, эти годы.

Вихрь событий, непрекращающееся пиршество поступков, замыслов, духовного возбуждения, Пора, когда он сделал свои самые страшные ошибки. Творил, ничтоже сумняшеся, то, что потом на всю жизнь лишило его душевного покоя, стало источником никогда не ослабевавшей тяжести на сердце, тоски в глазах, которую не утаить было ни буйными застольями, ни ночными редакционными бдениями, ни речами, ни миссиями за рубеж или поездками в братские советские республики.

А все началось, он теперь ясно видел, с той первой, проклятой, а тогда казавшейся благословенной встречи у Сталина в Кремле. Существо его по мере того, как он читал и перечитывал записи, и теперь раздваивалось. Разумом он был сегодняшний, Ветеран, даже завтрашний, с теми, для кого он все это пишет и кто прочитает все это лишь через много-много лет, душою — в том времени. И даже с тем временем. Алеша, Майор...

Как быть? В его работе немало еще будет, пожалуй, таких мест, где он, отдавая дань то ли ностальгии, то ли собственному упрямству, наверное, не сможет с ходу выразить так свою мысль, как бы это хотелось, чтобы она передала все оттенки его отношения к тому или иному событию или лицу. Невозможно, понимал он, в теперешнем его состоянии — сказать обо всем сразу и точно. А переделать — у него уже не будет времени...

Опять он одинаково деловито думает и о прошлом, и о будущем! О том будущем, в котором его-то уже не будет. Так какое ему дело до всего этого? И чего

ради он убивает последнее свое здоровье, мучаясь над проклятущими страницами своей жизни, в который раз переживая их заново. Словно библейский пес, который возвращается на свою...

Но — странно устроен все-таки человек! — думая обо всем этом то вслух, для магнитофона, то про себя, он, упорно превозмогая застарелую, привычную уже усталость и многочисленные боли, продолжал диктовать. И втайне, где-то в глубинах своей души даже гордился собой. Потому что знал — уж на этот-то раз нет в его сомнениях и терзаниях ничего преувеличенного, показного, никакой даже перед самим собой рисовки. Все это — настоящее, такое настоящее, какого еще не было у него в жизни. И то, что происходило сейчас в нем, представлялось ему неизмеримо более важным, чем все, что он написал и еще напишет и продиктует.

Он попытался представить себе, а не могло ли случиться так, что он уже тогда отнесся бы критически ко всему, что говорил Сталин? Тут самый верный способ — попытаться вспомнить тех, кто тогда уже все понимал. Почему они, а не ты? Да и были ли такие? Пожалуй, с уверенностью можно говорить только о Мандельштаме. «А вокруг его сброд тонкошеих вождей...», 1933 год. Солженицын? Но когда его арестовали за переписку с другом, он и сам был удивлен: за что? То есть не видел греха в своем поведении. А там уж пошли особые университеты, лагерные. И там еще он долго был против Сталина, но за Ленина.

В конце концов, вполне могли арестовать и его, К.М., если бы нашли у него эти записи бесед в Кремле. Или даже гораздо раньше, до войны, когда незадолго до процессов мать оставила ему записочку — тебе звонили из «Известий» от Бухарина... Он догадался, что это о стихах, которые он послал, и долго всем показывал эту записку. Гордился. Пока... не грянул гром. Произойди с ним что-то вроде того страшного, что случилось с Мандешьштамом и Солженицыным, наверное, и он относился бы ко всему по-другому. Если бы, конечно, ему, как Солженицыну, оставлена была такая физическая возможность.

А Пастернак? Ведь решение развернуть роман так, как это у него в конце концов получилось, пришло к нему не сразу. Скорее всего, после смерти Сталина. Он тоже весьма сурово относился к своему отцу, который был, по существу, эмигрантом. И когда выехал с делегацией на Запад, не захотел с ним встретиться. Трусость? Осторожность? Такой вывод сделать легче всего. На него сбиваются даже поклонники Пастернака.

Он будет, будет расшифровывать записи и диктовать свои воспоминания! Пусть даже и не успеет сказать все до конца. Даже с риском быть понятым превратно. Провести грань между страхом, подлостью, приспособленчеством и искренним заблуждением — мучительными поисками истины — вот в чем сверхзадача.

Почему это важно? Для кого это нужно? Да, для будущих поколений. Вернее, для тех, кто начинает жить сегодня и будет жить завтра. Для Кати важно. И ее Дашки. Для Саньки. Для нее особенно. Когда тебя не понимают — это всегда больно. Если не понимают враги — в конце концов, это их проблема. Если не понимают друзья — это ранит. Если не понимает самое близкое существо, родная дочь — это нестерпимо. С чем это сравнить? Только с кошмарным сном. Но сон рано или поздно кончается. Это же — ужас, который всегда с тобой.

Знакомые у Саньки все какие-то волосатые, расхристанные, как водится теперь у молодых гениев. Всех их просто хочется взять и отмыть. А между тем гонору, самомнения — хоть отбавляй. И разговоры всегда не о ком ином, как о

Хайдеггере, Ницше, Маркузе, Гароди, а если из наших, то, конечно же, о Солженицыне, Зиновьеве, Цветаевой, Мандельштаме... И так о них рассуждают, словно это их близкие родственники, а ты, роющий землю носом из-за издания того же Мандельштама или Булгакова, вроде бы даже и не имеешь права к именам-то их прикасаться. Быть может, он преувеличивал. Лариса и Нина Павловна вообще называли все это фантазиями перегруженного воображения. Но он явно ощущал, что дочь отдаляется, уходит, а в кругу своих новых друзей, большинство из них — авторы пресловутого «Метрополя», даже как бы стесняется его.

Тут уж и чувство собственника, феодала начинало в нем пробуждаться. Жить, видите ли, на его счет не стесняется, по заграницам да по курортам с отцом и матерью шастать с отрывом, естественно, от учебы — не колеблется. Отсюда уж недалеко было и от упреков Ларисе. Права Нина Павловна — она всегда уступала просьбам дочери, а то и сама ее соблазняла поездками и покупками. И себя винил — поторопился выделить дочь, купил ей однокомнатную кооперативную квартиру, которую она теперь превратила то ли в салон, то ли в явку для таких же «младотурок», как сама. Младозасранцы — как любил называть такого рода публику Борис Полевой, которому за каждый номер «Юности» голову мылили то в «верхах» за ревизионизм и ересь, то в редакции, на летучках — за беззубость и конформизм.

Когда диктовал, сидя в Красной Пахре, последние фразы «Глазами человека...», физически чувствовал себя хуже некуда. Даже осознание того, что работа, такая важная для него работа, вчерне закончена, не придавало сил. Душил кашель. Выводила из себя мокрота, которую он теперь, по указанию врачей, обязан был сплевывать в специальную, в чехле, бутылочку. Как Твардовский.

Лариса, не в силах видеть такое его состояние, не спрашивая согласия, договорилась с врачами, что его кладут на Мичуринку. Ему объявила об этом как о состоявшемся решении. Ему сразу же почему-то полегчало. Прослышав об этом, потянулась на дачу молодежь. И Катя, и Алеша — совсем редкий гость. И даже Санька, что уж совсем подняло его настроение. Хоть отменяй больницу.

Сговорились провести вечерок в старом добром духе.

Лариса с девочками взяла все домашние хлопоты на себя. Все шло как надо. Радовались, что собрались. О больнице и не вспоминали. Наслаждались теплом, уютом, обществом друг друга. К.М. заставили «сделать мясо» на каминном огне, его «коронное», в лучших традициях. Была картошечка с селедочкой, с грибками, здесь же, вокруг Пахры собранными, под его руководством посоленными. Мясо, как водится в лучших домах Филадельфии, — от старших перекочевало это выраженьице к младшим — запивали красным грузинским, не имеющим, как и подобает настоящему вину, даже названия. Из Кахетии. Друзья прислали. Грузины плохого не пришлют. Ничего общего с тем, что в продаже. Он тоже себе и рюмку, и бокал поставил и даже делал вид, что пригубливает со всеми.

Словом, все шло как нельзя лучше, пока... Пока почему-то не заговорили... о Ницше. Санька, которая с малых лет привыкла читать больше того, что задавалось, наткнулась где-то у подруг на его «Автобиографию», проштудировала ее основательно и привезла с собой на дачу. Спросила его мнение. В вопросе ему послышался вызов. То ли она была не уверена, читал ли он, слышал ли вообще об этом творении Ницше, то ли, наоборот, была уверена в том, что если уж и читал, то наверняка осуждает. Наудачу он прочитал недавно эту вещь. Может быть, даже тот самый экземпляр. Так уж сложилось — книжных долгов у людей

его поколения и его круга за жизнь накопилось немало. Теперь бушевала запоздалая страсть ликвидировать их. И когда что-нибудь из забытого, а главным образом — незнаемого попадало в оборот, прежде всего благодаря молодежи, то переходило в писательских «деревнях» из рук в руки. Словом, он был хорошо вооружен. Не только для того, чтобы поддержать разговор, но и чтобы ненароком дать Саньке по носу. Пусть не зарывается. Все как будто бы благоприятствовало такому эксперименту. Он сказал, что в этой работе великого немца много сильных мест, даже откровений, никак, правда, не связанных с основными постулатами его учения. Ну вот, например, прекрасное место о вдохновении, о его природе, о физическом состоянии человека, охваченного им. Но к чему — заключение: «Таков мой опыт в области вдохновения, и я не сомневаюсь, что должны пройти тысячелетия, чтобы кто-нибудь имел право сказать мне — это и мой также опыт».

Лариса, пока он цитировал Ницше, была на кухне. Дети встретили сказанное им вежливым молчанием: Алеше, возможно, это было просто не интересно, девочки, видимо, собирались с мыслями.

— Многое можно себе вообразить, читая эти строки, — продолжал он. — Одного не пойму — всерьез это сказано или с юмором. Хотя юмор, кажется, никогда не был сильной стороной Ницше. Хорошо, если просто с желанием эпатировать читателя. А может, это параноическая уверенность в себе человека, больного телом и духом?

— А зачем воображать, — с неуловимой гримасой превосходства подала реплику Санька, — когда существует по этому поводу огромная и исчерпывающая литература, и все это можно прочитать.

«И ты, конечно, уверена, что я ничего этого не читал?» — чуть было не сорвалось у него с языка, но вовремя спохватился. Во-первых, он действительно по этому именно поводу ничего не читал. А во-вторых, как-то нелепо было втягиваться в вечные пререкания.

— А зачем мне, собственно говоря, все это читать? — продолжал он со смешком, стараясь оставаться как можно спокойнее. — Я же ведь не собираюсь становиться специалистом по Ницше. Вспомни Цветаеву: «Мудрец, пойми, певцом во сне открыты Закон звезды и формула цветка». Гипотеза «певца» может оказаться и глубже, и озареннее, если хочешь, ученых выводов всех специалистов по Ницше, этих «мудрецов», как он их сам называл, презирая.

Она сидела насупившись. Знакомая мина человека, которая как бы предупреждает: ты мне тут что хочешь говори, я с тобой все равно не соглашусь. Вся в мать.

Или это его фантазии? Мнительность? Надо постараться повернуть все на шутку. Не пропадать же последнему вечеру перед больницей.

— Словом, шагайте-ка на кухню и принимайтесь за посуду, — примирительно буркнул он, — не ждите, когда мать сделает все за вас.

Это был выход из положения, который они все охотно приняли и радостно сорвались с места. У него остался в душе осадок. Он не покидал его во сне и возник снова, когда собрались рано утром, перед отъездом— на завтрак. Все какие-то хмурые, раздражительные, взъерошенные. Торопливые, словно бы главное в жизни — выпить по глотку на скорую руку сваренного Ларисой кофе и погрузиться в машину. Толя приехал чуть свет и уложил в багажник весь его больничный НЗ, большую часть которого составляли машинка, диктофон и несколько завязанных тесемками папок с рукописями из архива.

Первые минуты, когда машина тронулась, молчали. И чтобы молчание это, которое К.М. все связывал со вчерашним разговором, не было столь заметным и тягостным, он попросил Толю включить приемник.

По радио Алексей Баталов читал «Войну и мир». «Когда человек видит умирающее животное, ужас охватывает его... Но когда умирающее есть человек, и человек любимый — ощущаемый, тогда, кроме ужаса перед уничтожением жизни, чувствуется разрыв и духовная рана, которая, так же как и рана физическая, иногда убивает, иногда залечивается, но всегда болит и боится внешнего раздражающего прикосновения».

«Войну и мир» он знал чуть ли не наизусть. Сейчас пойдет о гибели Пети. Что-то тревожное, предупреждающее послышалось ему в голосе Баталова. В самом этом совпадении... Чего, собственно, с чем? Он не мог бы выразить этого словами, но в том, что совпадение не случайное, для него не было сомнения. Он осторожно повел глазами вокруг себя. К счастью, никто, кажется, — каждый занят своими мыслями, — не услышал Баталова.

«После смерти князя Андрея Наташа и княжна Марья одинаково чувствовали это. Они, нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни. Они осторожно берегли свои открытые раны от оскорбительных, болезненных прикосновений».

— При мне ему операцию делали — по поводу саркомы, — это подал голос шофер Толя. Все в машине встрепенулись, сразу стало ясно, что не один К.М. слушает радио.

— Он почти два года в больнице лежал.

Все в семье знали, что под словом «он» Толя, Анатолий Георгиевич, всегда имел в виду одного и того же человека — Семена Гудзенко, Ларисиного первого мужа, Катиного отца.

— Ему потом еще две такие операции делали на мозге. Под местным наркозом.

Можно было подумать, что в семье не знали этой истории. Что Толя не рассказывал уже ее бессчетное количество раз.

— Он говорит: «Доктор, кончайте демонтаж. Займитесь монтажом. А то вы мне все мозги вытряхнете».

«Княжна Марья... первая была вызвана жизнью из того мира печали, в котором она жила...»

Характер у Саньки был такой, что, если она чувствовала себя правой, она уже не в силах была никогда, никому и ни в чем уступить...

«В конце декабря, в черном шерстяном платье, с небрежно связанной пучком косой, худая и бледная, Наташа сидела с ногами в углу дивана... и смотрела на угол двери».

Сын, Алеша, наоборот, был способен понять правду каждого и интегрировать ее с правдами других. И страдал оттого, что столь очевидное для него ощущение совместимости представлений не мог передать другим. Оттого бывал иногда груб и резок.

«Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что-то отрывается в ней и что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней».

Разуму было понятно, что вот артист Баталов своим голосом, словно бы созданным для толстовского слога, читает по радио страницы «Войны и мира».

О том, как Наташа и княжна Марья, каждая по-своему, страдают и скорбят безутешно о гибели князя Андрея. Приходит весть — о смерти Пети.

«Графиня лежала на кресле, странно-неловко вытягиваясь, и билась головой об стену...»

Душой же, внутренним слухом воспринималось совершенно иное. Просто кто-то мудрый и всевидящий рассказывает тебе о состоянии твоей души.

«Наташа стала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее, с неожиданной силой подняла...»

Звуки баталовского голоса набегали волнами со скоростью и ритмом бетховенских аккордов из «Лунной», которую он так любил. Странным и нелепым начинало казаться, как это можно было вчера, да еще и сегодня с утра, придавать значение всяким пустякам, когда есть настоящая боль, когда грядет, быть может, самое страшное и к этому страшному надо подготовить и себя и близких.

Он, возможно, впервые в жизни ощутил настоящую, без подмесов, острую как игла жалость к себе. И к ним ко всем, сидящим в этой машине. Вдруг понял и испугался того, что понял: что все они тоже слушают сейчас Льва Толстого в исполнении Баталова и думают, должно быть, о том же, что и он.

Машина меж тем, минуя деревушки, милицейские будки, дубравы и березовые рощицы, все приближалась и приближалась к Москве и наконец остановилась у проходной больницы. Здесь детям предстояло выйти из машины и подождать, а ему с Ларисой въехать во двор, чтобы отдаться в руки чазовским эскулапам.

Снова больница. Та же палата на том же этаже. Легкий и удобный стол, на который он сразу же водрузил диктофон и папки с бумагами. Телевизор в углу. Но это только вечером. Днем у него на телевизор времени не будет. Врачи задушат процедурами и исследованиями. И работать надо. Под укоризненным взглядом Ларисы, которая помогала ему, облаченному уже в толстую больничную пижаму, устраиваться, он дотронулся до диктофона.

Вот и все. Можно прощаться. Пойти проводить Ларису до проходной. Помахать рукой девчонкам и Алеше.

Он любил оказываться снова в тех местах, где уже побывал однажды. Дико, нелепо, но склонность эта распространилась и на больницу. Вмиг переходишь из одного мира в другой. Полностью изолированный от первого. Потом — кому-то понадобишься ты, кто-то понадобится тебе. Начнутся звонки, визиты. Застучит машинка, закрутятся диски магнитофона. Но это — потом. А пока... Телефон молчит. Нянечки и сестры, неслышно проникающие в палату и так же незаметно исчезающие из нее — словно белые ангелы, навевающие покой и дрему. Ты один. Наедине с собой. Можно предаться мыслям и воспоминаниям. На счастье они далеки пока от всего того, что оставил он за порогом этой обители.

Вот, впрочем, и доктор. Старый знакомый. Невозможно сдержать улыбку. У этого долговязого, чуть ли не в два метра ростом детины прозвище — Малютка. Изобретение молоденьких сестер. Каждую беседу с пациентом Малютка неизменно начинает вопросами: «Ходите нормально? Мочиться не больно?»

Бог его знает, почему именно это так важно для него, но, получив утвердительный ответ, он радуется как ребенок. Право, невозможно пожаловаться ему на что-то — так огорчает его твое недомоганье.

Врач сказал, что сегодня же придет массажистка: начнем с первого же дня. Интересно, кто? О, смотрите-ка, та же самая, вот беда, забыл ее имя —

круглая, румяная коротышка, вызывающая представление о надувном спасательном круге. Вместе с нею — смех, напоминающая о зубной пасте свежесть и прохлада молодого женского тела — давно забытое воспоминание, — облаченного в один лишь просторный, круто накрахмаленный халат. Руки у нее не по-женски сильные — массажистка, но мягкие, женские. И главное — речь, которая никогда не перестает литься. Певучий московский говорок, которым она за сеанс успевает поведать ему десятки различных историй, сообщить массу совершенно необходимых сведений. Ей приятно было, что ее слушают, не перебивая. Быть может, усмехался он про себя, она и профессию-то себе такую выбрала, что у партнера, то бишь пациента, нет другого выхода, как слушать. Уж слишком большим надо быть грубияном, чтобы попросить ее помолчать.

Она тем временем перешла к рассказу о муже. Поехал с дружком за город на «Жигулях». Колесо по дороге спустило. Надо менять. Дело позднее. Электровешки расставили, да не заметили, что фонарики не загорелись. Рефрижератор как ахнул — дружку голову как пилой. У мужа, он как раз в кабину сунулся, — перелом спины. «Я его через два дня только в Склифосовском нашла».

Неизвестно было, преследовала ли его старая знакомая своими рассказами какую-либо специальную цель, например, отвлечь пациента от мысли о его собственных болячках, но даже если и нет, ей это удавалось. Так уж он, К.М., устроен: давно утвердил себя в мысли, что его злоключения и проблемы — всегда пустяк по сравнению с тем, что происходит с другими.

— В Склифосовском палаты, боже мой, — рассказчица загадочно хмыкает, — не то что здесь, у нас. У вас, — поправилась она тут же. — Кто стонет, кто на судне сидит, кто богу душу отдает. Одному сломанную ногу положили в сырой гипс. Гипс начал сохнуть и давить. Он терпел, стеснительный был. Когда сняли — гангрена. Отрезали. Муж после аварии жизни не рад стал. Меня к себе две недели не допускал. Наложить руки на себя хотел. Кому, говорит, я такой калека нужен. Ничего, говорю, я тебе вне очереди массаж делать буду. Хоть три раза в день. Что ж вы думаете? Поставила на ноги за полгода. Из гаража, правда, ушел, в конторе работает. Нельзя ему тяжелое.

Невольно пришла на память доктор Вера. Героиня его военных романов и повестей. Доктор Овсянникова. Такая же была маленькая, только посубтильнее. Эта войны и не нюхала. Родилась, небось, лет десять после того, как она закончилась. А разве ее жизнь легче? Доктор Вера сражалась, как могла, за счастливое будущее. А такие вот, как эта молодая женщина, почти девчушка, в этом будущем живут. Ты тут лежишь «в сухоте, лепоте», как Маруся говорит, и думаешь, что так везде. Или не думаешь, а просто не вспоминаешь, что в других местах — по-другому. Нет, не зря она поправилась: не «у нас», а «у вас». Тема эта и у Малютки всегда на языке. Субъективно ему, как и массажистке Люсе, приятно было, конечно, работать в Мичуринке. Но чувствовалось, претило то, что создавало этой больнице нелестную репутацию в глазах широкой публики. Он с пламенем в глазах осуждал «еще бытующую тенденцию сбрасывать тяжелобольных — как правило, это престарелые родители ответственных работников — на сторону», т. е. в спецбольницы. И наоборот, с неожиданным юмором рассказывал о массовых заболеваниях жен тех же самых ответственных работников остеохондрозом. Как их словно ветром сдувало, когда им предлагали «для установления окончательного диагноза» — тут Малютка начинал давиться смехом — сделать пункцию спинного мозга.

Мичуринка существует всего два года. До этого была Кунцевская. А еще раньше — спецкорпус в Боткинской, куда его устраивал литфонд. Там все было неизмеримо скромнее. Случалось, что и по два, и по три соседа бывало у него в палате. Вспомнился молодой электротехник. Строго говоря, парню «не положено» было лежать в такой «высокопоставленной» больнице, но он был «из этой системы», и, когда заболел, его по-свойски положили именно сюда. Оказался он «тоже поэтом», и соседство профессионального литератора, которое обычно сковывает начинающих, его, наоборот, только воодушевляло. В своих стихах, которые он писал беспрерывно, главным образом выражал благодарность врачам и сестрам за заботу и внимание к нему, «человеку из народа». Когда его приглашали на укол, он напевал: «Эх, блокадушка, блокада, нам тебя побольше надо». Вновь поступавших встречал приветствием: «Спондилезом страдал один, ребра сломал другой». Себя аттестовал так:

Натурой буйный я бунтарь,
С душою чистой как янтарь
И с головою мудреца,
А с виду — смирная овца.

Тексты свои он прилежно переносил на бумагу, иногда с помощью машинистки из маленькой канцелярии отделения, а потом великодушно дарил тому, кому очередное четверостишие было посвящено. К.М. поразило, что его добродушная попытка подшутить, пройтись по поводу неутомимого версификатора, когда у него спросили его мнение о стихах, не встретила поддержки, наоборот, вызвала даже что-то вроде охлаждения со стороны сестер, нянечек и вообще всей медбратии. Им импонировало, что стихи пишет «свой», из их среды человек, а то, что вирши были пересыпаны благодарностями людям за труд, воспринималось со всей серьезностью. Неудавшаяся шутка К.М. была воспринята как покушение на некий, дорогой для этих людей мир, в который, он понял, ему не было хода.

Еще раз обострилось чувство неловкости за свое обособление от тех людей, ради которых он и трудился до крови и пота всю жизнь, до экземы нервной на руках, до этих зловещих хрипов в легких... Конечно, Боткинская и ЦКБ в Кунцеве — не «спецбольница с поликлиникой», как называют это циклопическое сооружение на Мичуринском проспекте, где он теперь находится. Но все же и они — «спец». И сколько в его жизни было этого спец, черт его побери. Вот бывшие спецпоселенцы, жертвы Сталина, проведшие года, а то и десятилетия в местах не столь отдаленных, гордятся теперь своим спецпрошлым. А ему и его коллегам по этим спецбольницам, поликлиникам, ателье, магазинам, санаториям гордиться, увы, не приходится. И не утешает, не успокаивает, что, собственно, все это было ему нужно для одной только цели — писать.

И как это получилось, что из обтрепанного, голоштанного субъекта — как они с Маргаритой Алигер покупали ему первый приличный костюм из первого гонорара! — из счастливого обладателя пятиугольной крошечной комнаты с покатым полом в довоенной Москве он превратился в некоего спецпотребителя всяческих спецблаг?!

Созерцательное, какое-то отрешенное, быть может, и под влиянием уколов, настроение первых дней в больнице постепенно стало улетучиваться. Как всегда, обнаруживалось, что от хлопот и передряг житейских, от забот его литера-

турных, а главное, от прогрессирующего нездоровья никуда не уйдешь. Надо жить с этим. Жить или умирать? Поживем — увидим!

Потекли дни за днями. Когда болезнь схватывала за горло — и это, увы, был не образ, а мрачная реальность, — усиливался ток мокрот, прогрессировала одышка, становилось нечем дышать, он думал о неминуемой и скорой смерти. Когда болезнь чуть-чуть отпускала, старался заняться делом. Прикинуть хотя бы, что горит. Горели давно обещанные статьи, интервью. Но ничто не шло к рукам.

В одно из своих посещений Лариса обмолвилась о Гурзуфе. И правда, как он мог забыть? Они же должны были ехать туда отдыхать. В санаторий имени Пушкина. Санаторий теперь принадлежит военным, и они всегда приглашают его к себе. Потихоньку от главпура. Епишев не мог простить ему страниц о сорок первом. Да и многое другое.

На дворе — начало апреля. В Москве еще холодно и слякотно, хотя влажные порывы ветра и почки на деревьях в больничном саду уже напоминают о весне. Ну, а там, в Крыму, наверное, уже настоящая благодать. Врачи не возражали, а может быть, уже рукой на него махнули? Если чувствуете в себе силы... Морской весенний воздух вам только на пользу.

Словом, решили и поехали. Все хлопоты насчет путевок, курортной карты, билетов на поезд Лариса взяла на себя. Стоя у окна в купе, он помахивал рукой пришедшим проводить их Нине Павловне, Саньке, Кате, Марку Александровичу. Едет к морю. Отдыхать, набираться сил. На дворе уже вторая половина апреля...

Почти всю дорогу простоял у окна. Словно чувствовал, что на обратном пути будет валяться с температурой на полке. Навстречу бежали пустынные пока подмосковные дачные поселки, синеватые, как весенний снег по утрам под ранним солнцем. Тоже синеватые, но чем-то напоминающие украинские, хатки под Курском. Ничего уже нет, что бы напоминало о невиданных в истории сражениях, разразившихся здесь тридцать пять лет назад. Впереди, все ближе и ближе — Крым, Керченский полуостров, наизусть знакомые места былых боев и походов. Вот наконец и Симферополь, тоже насквозь исхоженный, сильно изменившийся. Не сказать, чтобы к лучшему, всюду эти — стекло и бетон — коробки в восемь, десять, четырнадцать этажей, испещренные рядами одинаковых окон. Единственная дань климату — вместо балконов лоджии, террасы, увитые уже начавшими зеленеть ветвями плюща и дикого винограда. Отсюда на машине — обком прислал — в Гурзуф. Санаторий имени Пушкина, знаменитый своим парком и кипарисом, которым любовался еще Пушкин. Знатоки уверяют, что тот самый. Кипарисы живут дольше, чем люди. Подумать только, что ствола этого могучего красавца касался Пушкин, в ту пору совсем еще мальчик, особенно по нашим нынешним представлениям. Сколько же лет прошло с тех пор, как К.М. побывал здесь впервые? В кипарисе не заметишь невооруженным глазом никаких перемен. Что ему десяток, другой лет! Заметил ли кипарис, во что превратился привязавшийся к нему похожим на дружество, по слову Пушкина, чувством частый его гость?

Добраться бы еще раз до Бахчисарая.

«Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы...»

Так было сказано в стихах. А в прозе, то бишь в «отрывке из письма Д.» все выглядело совсем по-другому: «Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан: из заржавой трубки по каплям падала вода».

То, что увидел К.М., побывав здесь впервые, было что-то среднее между пушкинскими описаниями в стихах и прозе. Хотели сделать эти места достойными поэтических восторгов гения, да до конца дело не довели. Лучше бы было, как при Пушкине.

Воспоминание о фонтане явилось теперь притчей, повествующей о таинствах поэтического восприятия, о праве художника на свое видение жизни. В своих трудах он всегда стремился к тому, чтобы жизнь была «фонтаном живым», а не «заржавой трубкой». Такой он ее видел. Что хотят, пусть то и делают с ним теперь резвые критики. Сегодня и в будущем...

Первые дни, когда самочувствие его, всегда благодарно реагировавшее на перемену мест, было получше, пролетели быстро. Ему опять стало худо. Может быть, оттого, что уехала Лариса. Ей надо было в Веймар на конференцию по Баухаузу. Она, правда, опасаясь за него, хотела было отложить поездку, но он знал, что такое для нее этот Баухауз и коллоквиум по нему, где ей предстояло выступить с докладом, категорически осудил ее капитулянтские настроения и почти силком усадил в машину.

Если говорить откровенно, была еще одна причина, побуждавшая его подталкивать Ларису к отъезду. Надеялся, что оставшись один, сможет и сам приняться за дело. Раньше у него не было такой проблемы. Мотор заводился с полуоборота. Теперь ему приходилось понуждать себя. И тлела надежда на перемену обстановки, окружения. Но вот Лариса уехала, а у него ничего не изменилось.

Время от времени звонила Нина Павловна. Спрашивала все больше о том, как гуляется да какая погода. Он с ней был откровенен:

— Задыхаюсь, ноги болят... И не работается...

— Ну, не насилуйте себя, придет желание...

— Вы думаете, еще придет?

Не надо бы такое, особенно на расстоянии. Знает же, что Нина Павловна все его болести переживает куда острее, чем он сам. И утешить ее некому. Некому предложить пропустить по рюмке водки.

Нет, работать он не мог. Мог только думать, чем и занимался, прогуливаясь в одиночестве по парку, по берегу моря. Мысль как белка в колесе крутилась вокруг оставленной в Москве надиктовки. Мучило, что он никак не мог воспроизвести в памяти собственные рассуждения. Сцены встреч со Сталиным, перенесенные в рукопись почти один к одному, стояли ярко. Наверное, потому все-таки, что он драматург, а не философ. Но ведь то, что он пишет, не роман.

Жалко было, когда диктовал, упустить что-то из деталей. Почему они ему представляются такими важными, эти детали? Большой человек, вот и кажется, что всякая замеченная мелочь о нем важна и драгоценна. Он и сейчас считает его великим. Великим и страшным.

Снова и снова перебирал в уме монологи и диалоги, которые, особенно после диктовок, помнил, казалось, наизусть. Диалогов, впрочем, не было. Самое большее, что они могли позволить себе тогда, — это ответ на вопрос Сталина. Как правило, очень лаконичный, часто, от волнения, сбивчивый.

Он считал, что эту атмосферу, как к ней ни относились, он должен передать. Это и есть то, что называют историей. Задача, однако, состояла в том, чтобы передать эту атмосферу и, одновременно, высказать свое сегодняшнее отношение к ней. Апатия, просто-таки аллергия на работу, его угнетала больше, чем все усиливающееся физическое нездоровье. Быть может, это — воздействие материала? Сопротивление его? Обычно он не испытывал страха перед листом бумаги.

Только приняться за дело. То, что не удавалось с первого раза, с первой диктовки, словечко это он все чаще употреблял вместо слова писать, то непременно получалось уже со второго, когда он, бывало, усаживался с текстом в удобном кресле, с трубкой или сигаретой во рту. Пока же получился пересказ событий, прямым или косвенным участником которых он был.

Жаль, нет под рукой текста — проверить себя. Нет, хорошо, что нет. Он все-таки правильно сделал, что не взял его. Иначе опять втянулся бы в его воронку. Никак не предполагал, что то время еще столько власти имеет над ним. Теперь, когда столько пут разорвано, столько слоев пелены сорвано с глаз. Ностальгия? Но можно ли тосковать по страху? Сожалеть о сломанной клетке? Лить слезы по духовным кандалам, которые столько лет срывал, срывал и все не мог сорвать с себя.

Пусть, пусть читают и видят, какими слепцами мы в ту пору были. По крайней мере, меньше будет желающих повторить наши ошибки.

Состояние его, и физическое, и душевное, не становилось лучше. Не радовало прочно установившееся жаркое крымское лето, мерный шум прибоя за окном его просторной палаты, даже старый друг, пушкинский кипарис, все с большей укоризною взирал на него, вопрошая: «А что это ты тут делаешь?»

При очередном звонке Нины Павловны он сказал, что отказался от каких-либо продлений путевки и собирается выезжать в Москву. Уже через день к нему прилетела Санька. Он обрадовался ей, но подумал, что, видно, не он один смотрит так серьезно на свое положение, коль близкие считают, что нужен провожатый в дороге. Решил все же пожить еще в Гурзуфе недельку, чтобы дать Саньке возможность порезвиться в море и на солнышке.

В начале июля были уже в Москве, а дней через десять после возвращения снова угодил на Мичуринский проспект. Что-то ему говорило, что живым отсюда уже не выйти. Нине Павловне сказал бодрым голосом, возвращая ни разу не раскрытые в Крыму папки:

— Вы подождите, Нина Павловна, их раскладывать, они мне после больницы будут нужны. Буду над ними работать.

В больнице в первые дни, как всегда, тишина и покой. По медицинской части — пока лишь анализы, в основном безболезненные и необременительные. Кровь из пальца, кровь из вены. В ванной — стеклянный флакон и горшок. Тоже дело известное и привычное. Кардиограмма, давление каждые три часа и так далее. Продолжительные, но мирные собеседования с врачом. Как обычно с ним бывает на новом месте — ему чуть лучше.

Но он не обманывает себя. Он знает, скоро рекогносцировка врачей сменится тотальным наступлением. Где-то, то ли у Фрейда, то ли у кого-то из его последователей он наткнулся на такое выражение — сублимация. Не находя удовлетворения на главном, избранном им направлении — в работе, в образе жизни, человек ищет компенсации на боковых путях. В работе это может быть хобби, в быту — любовница... У его эскулапов с ним — что-то подобное. Ему нечем дышать. Он беспрерывно надрывно кашляет. Постоянно набегает мокрота, которую он сплевывает в осточертевшую флягу. Казалось бы, ясно. Легкие. Ищите в легких, лечите легкие, дыхательные пути — если можете. А не можете, оставьте в покое. Так нет, они щупают ему печень, интересуются состоянием почек, какими-то длинными резиновыми трубами собираются лезть в прямую кишку. Колоноскопия называется. Назначили на послезавтра. А перед этим, в качестве подготовки — клизмы, бесшлаковая диета. Да, затишью на медицинском фронте приходит конец...

Телефон молчал два дня. Блаженная пора. Потом зазвонил. Не брать, отключить? А вдруг это Лариса — вернулась со своего коллоквиума из Веймара? Или Нина Павловна? Она собиралась поехать в отпуск, захочет, наверное, попрощаться. Не вытерпел, взял трубку. Вот черт, никакая это не Лариса, не Нина Павловна, не Санька. Наум Марр из «Литературки». Вездесущий и всепроникающий. У него задание Чаковского. Хочет напомнить, что приближается юбилей Халхин-Гола. Предполагается, что он, К.М., как и раньше, полетит в Улан-Батор, в редакцию уже поступило приглашение ему от Цеденбала. Так вот, хорошо бы перед отлетом — интервью! «Прилетишь с газетой в руках».

Молодец Наум, что позвонил. Напомнил. А то просто было бы неудобно. Дата-то ведь круглая. Сорок лет. Нет уж, полететь он, видит бог, никуда не полетит. Но интервью надо будет ему дать. Только вот выдержать Марра в течение часа, другого и в хорошую-то пору бывало невмоготу. Взгляд привычно устремляется на диктофон. Пора, пора уж его распаковывать. Ты вот что, Наум, ты сочини и пришли ко мне вопросы сюда, а я... Впрочем, нет. Сделаем проще. Будем считать, что вопросики свои ты уже задал. Не так уж и трудно вообразить себе, о чем ты собираешься спросить.

Давно забытая улыбка промелькнула под усами. На том конце провода тоже, судя по всему, обозначилась довольная ухмылка.

— Словом, я все это надиктую на машину. Пошлю тебе. Ты послушаешь. Если не хватит, заедешь — доспросишь.

Марр доволен. Он, конечно, огорчен, что К.М. не удастся принять участие в поездке в Монголию — теплая, между прочим, компания собирается, но он рад, что все так хорошо решилось с интервью.

— Будь здоров, старик (у Марра все «старики»), выздоравливай. Буду, постараюсь! У него на всю жизнь эта слабость к газетчикам.

Через некоторое время снова звонок. После минутного колебания берет трубку. Слава богу, это Лариса. Вернулась-таки со своего Баухауза. Да-да, там все в порядке. Доклад? Прошел с огромным успехом. Как у тебя? Я сегодня распаковываюсь, привожу себя в порядок. Завтра буду. Пропуск? Да не надо мне никакого пропуска. У меня же постоянный. Ты что, забыл? Да, забыл, грешным делом.

Назавтра приехали вместе с Ларисой Нина Павловна, Марина Бабак и Марк Александрович. Если честно, двух последних он сам пригласил. Были вопросы в связи с фильмом, который они делали о Халхин-Голе. Нина Павловна приехала попрощаться — отправляется в отпуск. В Репино. Счастливые денечки мы там с вами когда-то провели, К.М. Помните? Шутливо нахмурился, покосился на Марину, на Марка Александровича: «Вы хоть не все наши секреты-то выдавайте, Нина Павловна». Все обрадованно засмеялись: шеф шутит, значит, дела не так уж плохи.

От Марка Александровича узнал, что в травматологическом лежит Панкин. Привезли, вот ужас-то, с переломом позвоночника. Оказывается, гонял на лошади где-то на даче у Славы Федорова, глазной знаменитости. И сверзился.

Положил на завтра зайти к нему.

Странное это получилось свидание. Пришел навестить попавшего в беду товарища, а в глазах у него прочитал сочувствие себе. Невольно бросил взгляд в зеркало. Ах, вот оно что. Они довольно давно не виделись. Бог ты мой! Землистый цвет кожи на провалившихся щеках. Обтянутые скулы. Запавшие, словно бы исплаканные глаза — похож на больную птицу.

— Почему у вас сегодня глаза печальные? — спрашивала часто Нина Павловна.

— А они у меня всегда печальные, разве вы не замечали? — отвечал обычно он.

Что-то толкнуло его почти на пороге палаты поделиться с Панкиным планами своего излечения. Сказал, что настаивает на так называемой выкачке. Ему порекомендовал сделать ее знакомый специалист из Швейцарии. Выкачка — это когда специальным зондом прямо сквозь ребра проникают тебе в легкие и выкачивают оттуда всю эту гадость.

Заметно было, как Панкин, сам только что перенесший вторжение в спинной мозг, напрягся.

— Надо попробовать, — закончил К.М., — надо попробовать. Иначе нет никакого смысла.

Спроси его в ту минуту кто-нибудь, что, собственно, он имеет в виду под этим, затруднился бы ответить: то ли дальнейшее пребывание в больнице, то ли саму жизнь.

Есть нечто завораживающее, притягивающее и пугающее одновременно в подготовке больного к операции. Его предупредили о ней накануне, а на следующий день с самого утра в палату стали входить и выходить люди в белых и зеленых, цвет хирургии, халатах. Взяли кровь, измерили давление, сняли кардиограмму. Он с тревогой ожидал показаний: любое отклонение от нормы может побудить врачей отложить операцию. Сообщают наконец, что никаких противопоказаний нет и операция состоится сегодня, скорее всего, часа через полтора-два. Там, в операционной ему сделают полный наркоз, а пока дают какую-то таблетку — рассеяться, забыться в мыслях, как определила мелькнувшая на минутку вездесущая массажистка Люся. Он быстро впал в странную — полуявь-полусказка — дрему. Через короткий промежуток дали вторую таблетку — оказалось, что операционная освободится чуть позднее, чем вначале предполагалось. Сладостное состояние усилилось. Таблетки, по-видимому, обладали каким-то воодушевляющим воздействием. Он просто-таки видел, как по-молодому заблестели у него глаза, разрумянились, не лихорадочным, нет, нормальным, молодым, румянцем щеки, углубилось, стало легким дыхание... В голове появились высокие, смелые, стремительные мысли. Одна умнее и бескрайней другой. Он тут же пожалел, что не может их записать. Потом ведь забудет. И чуть было уже не сорвалась с его губ просьба о ручке и блокноте. Но поняв, насколько нелепо она прозвучала бы, только улыбнулся. Никто из окружающих даже не спросил, чему это он радуется в такой неподходящий момент. А мысли его продолжали лететь, кружиться, устремляясь, словно жаворонки в весеннем небе, все выше и выше. Самое большое, что он может сейчас сделать, чтобы не утерять их, сосредоточиться на главном, что его сейчас волнует. А что его волнует больше всего? Конечно, «Глазами человека моего поколения». Вот и надо думать об этой работе. Если думать очень настойчиво, главное обязательно останется в памяти, невзирая ни на какой ожидающий его наркоз. Мысли, словно бы обрадовавшись, что им найдено правильное применение, с еще большей силой взмыли вверх. Чем-то все происходившее с ним напоминало полет булгаковских Маргариты и Наташи. Только у тех было желание озоровать, хулиганить, а у него — смотреть и думать. Вся земля, словно гигантская географическая карта, раскинулась теперь под ним, и вся его жизнь была ему видна от начала и до конца. И об этом подумалось без всякой горечи, потому что, в сущности, он уже выполнил свою

миссию на земле, плохо ли, хорошо ли, но выполнил. А главное, он теперь знал, каким должно быть его последнее творение. Вот сделают ему сейчас эту операцию, он получит передышку и с чистыми легкими сядет и напишет или продиктует все, что теперь в такой стремительной, но строгой и ясной последовательности приходит ему в голову.

Бог ты мой, как же это было глупо — посвятить свои воспоминания Сталину, вернее, вот так выдвинуть его на первый план. Значит, он до сих пор не освободился от злых его чар, от этого злого магнетизма, который преследовал его всю жизнь. Чепуху говорят те, кто утверждает, что раскусить, мол, Сталина не составляло большого труда, и поклоняться ему, кадить, лить елей, как в таких случаях выражаются, можно исключительно из карьеризма или из жалкого и ничтожного чувства самосохранения. Зачем же тогда он, К.М., написал ту передовую в «Литературке» уже после смерти Сталина, где призвал, он и сейчас это помнит наизусть: «во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех народов»? Зачем он взял из редакции и повесил у себя дома его портрет? Ведь тогда уже ясно становилось, что роза ветров изменилась, что никому он не угождает, а идет явно против течения. Не случайно, когда Хрущев потребовал было немедленно убрать его, К.М., из «Литературки», он, начав уже собирать в кабинете бумаги, чувствовал себя страдальцем за правое дело. Все это были те самые злые чары, то самое колдовство. Как же он счастлив сейчас, когда пелена спала с его глаз, путы, сковывавшие разум, словно железный обруч — голову, ослабли и распались. Он теперь все видит, все понимает. Успеть бы только это понимание донести до чистой страницы.

Он не заметил, как очередная стайка белых и голубых халатов оккупировала палату. Привезли каталку, на которую помогли ему перебраться, хотя он вполне мог бы сделать это сам, без всякой посторонней помощи. Теперь поехали, головой вперед. Миг — и пересечена граница между палатой и коридором. Для сестер, этих вот смешливых девиц, которые везут его и судачат дорогой о кофточках, сумочках и прочих безделушках, происходящее — рутина, для него — бенефис. Он направляется на операцию, которая возвратит ему силы, и тогда выплеснется все то, что сейчас у него в голове и на сердце.

Путь каталки не далек. Первая остановка — лифт. Здесь — на два этажа вверх и через лестничную клетку снова — в коридор. Когда-нибудь, может, понадобится все это описать, поэтому взгляд сосредоточен, память начеку. Справа — окна, слева — череда дверей... Впрочем, нет, нельзя отвлекаться от главного. Главное в том, что он только что открыл. Что же он открыл? Да то, что жить надо было совсем по-другому. Надо было всегда слушаться первого зова души, первого чувства. Оно у него всегда было правильным. Потом уже начиналась интенсивная обработка этой первой реакции. Когда приехал на Беломорканал, он содрогнулся, осознав, что за колючей проволокой здесь находятся совершенно нормальные, порядочные люди, которые не нуждаются ни в каком перевоспитании. Они сами кого хочешь могут воспитать. Вот бы и послушаться тогда этого своего ощущения, ужаснуться и об этом ужасе написать. А когда арестовали его теток, маминых сестер и еще многих из родни? Тут-то что было неясно? Кому не верить? Кого подозревать? Мать, которая рвалась к сестрам в Сибирь и укоряла себя, что не с ними? Как буд-

то бы она была виновата в том, что ее не арестовали — жила в эту пору не в Ленинграде, а в Москве.

Роковой клубок, за один конец которого он ухватился, продолжал разматываться в сторону истины.

Дальше, дальше... К сегодняшним дням скользит разогнавшаяся мысль, выстраивая цепочку бесчисленных фактов и случаев, и каждый вопиет о том же. Догадывался, не мог не догадываться. Видел, знал... Ходил по краю пропасти с пеленой на глазах. Отводил их. Зажмуривался.

Мысли одна отчаяннее другой приходили ему в голову, но ни одна уж, не в пример прошлому, не способна была его напугать. Вот оно. Он и раньше боялся не фактов, не свидетельств, боялся собственной мысли. Даже наедине с собой не отваживался посягнуть на идею. Идеей была революция, новая жизнь, торжество социализма в мире, и Сталин был олицетворением всех этих понятий. Горький сказал, что идея тогда только дорога, когда превращается в чувство. А чувство — это уже реальность, физика. Это боль, наслаждение, тепло, холод. Слезы, биение сердца, давление в сосудах, частота дыхания. Было так: расстаться со Сталиным — расстаться с идеей. Расстаться с идеей — расстаться с самим собой, зачеркнуть все тобою прожитое и сотворенное. Вот оно! Вот на что у него никогда не хватило сил посягнуть, пока он жив. Был жив...

Он потянулся было рукой к диктофону — нажать на кнопку и продиктовать, но рука лежала бессильная. Он, словно во сне, не мог пошевелить и пальцем.

Это и было во сне, только в искусственном. В ту минуту он только-только начал приходить в себя после наркоза. А как доехал на каталке до операционной, как вводили в него этот самый наркоз, и не уловил. Не уловил грани между явью и сном. Казалось, продолжал бодрствовать и мыслить, одновременно легко и лихорадочно, до того самого момента, когда ему сказали: «Ну, теперь попробуйте встать. Голова не кружится?» Теперь явь казалась продолжением сна. Было кружение головы, но он не признался. Своими ногами, с согласия врачей и под их надзором, отправился в палату.

Внутренний заряд оказался сильнее наркоза. То, что накапливалось, собиралось годами, открылось. Прорвало, как плотину или природную запруду в горах.

Он был оживлен и жизнерадостен, прогуливаясь на следующий день по дорожкам больничного парка в компании Саньки, Тимура Гайдара и Панкина, которому разрешили первый раз выйти на прогулку.

— Дышу свободно, знаете ли, а это не последнее дело в жизни! — повторил он со вздохом облегчения.

Жаль, что Лариса, которая тоже на днях попала на Мичуринский, не могла к ним присоединиться: врачи заподозрили у нее микроинфаркт. Когда проходили мимо ее окон, помахал рукой. Мелькнул бледный, размытый стеклами абрис лица. Он шутливо выпятил грудь — увидит, какой он бравый, и полегчает.

Он никому, даже Ларисе не сказал, что следующая выкачка назначена на послезавтра, на пятницу. То есть будет не через неделю после первой, как вначале предполагалось и как все думали, а через два дня. Он сам на этом настоял. Зачем терять время, если подействовало так хорошо? Столько дел впереди.

И снова была палата. Подготовка. Уколы, каталка, щебечущие, как птицы в лесу, сестры... Снова — наплыв, половодье мыслей, одна грандиознее другой. И

провал. Из которого он выходил, но так и не вышел. Началась агония, которая длилась две недели...

Когда смерть наконец явилась как избавление от мук физических и душевных, он взглянул ясно и безбоязненно. Ни с чем не сравнимое чувство. Но о нем никому уже не поведаешь — ни Ларисе, ни Нине Павловне, ни диктофону.

Не испытав, мы можем о нем догадываться. А испытав, никому уже не можем рассказать.

Эпилог

Чуть свет я включил радио. Траурное сообщение прозвучало ближе к полудню: после тяжелой и продолжительной... видный и выдающийся... лауреат Ленинской и Государственных премий... Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище...

Что было потом, Лариса записала в дневнике: «Девятый день — у нас дома. Урна с прахом стояла в шкафу у него в кабинете, в той же комнате, где мы его поминали.

На десятый взяли ее, сели в машину и поехали завещанным путем — из Москвы через Малый Ярославец, Медынь, Рославль, Кричев... По Могилевскому шоссе, в Могилев, на то поле в Буйниче, где дрался Кутеповский полк, в шести километрах от города. Там на закате солнца, в восьмом часу вечера мы открыли урну, и лично Алеша это сделал, и, взявшись за руки, прошли по полю и развеяли его прах: я, Алеша, Катя, Саня, Вася, Маша, Нина Павловна...»

Было, оказывается, завещание 76-го года, потом января 79-го, потом апреля 79-го... Письмо в Союз писателей несколько раз переделывалось и так осталось недописанным. Пожелание, вернее, воля, чтобы тело было кремировано и прах развеян по ветру в Могилевской области, созрело уже давно и было хорошо известно близким его. Для официальных лиц это оказалось неожиданностью — Лариса не рискнула сказать об этом в Союзе, потому что много было случаев, когда последняя воля нарушалась властями.

Они поехали и развеяли. Когда вернулись, пошла к Зимянину. Кинулась в ножки. Он сам белорус, воевал в партизанах. Хоть и секретарь ЦК, но все понял. В Союзе писателей узнали, когда все уже было сделано. Кто-то ей сказал: «Вы нас обманули».

В год его смерти не было, кажется, человека, который, узнав о ней, не погрустил бы. Весь народ вздрогнул. Прощались со спутником жизни не одного поколения. Многие думали, что он был старше, чем на самом деле. Скорбь была не та, с которой провожали в последний путь Шукшина, а потом Высоцкого — без надрыва и отчаяния. Ровнее, философичнее. «Все трещины социализма прошли через сердце поэта» — на свой лад сформулировал это Женя Евтушенко на страницах «Огонька», где в пределах одного столбца перебрал все взлеты и падения Симонова. Сказанное в прозе он тут же перелил в стихи:

Ко всему, что оплакал и не оплакал,
Возвращался поэт благодарно развеянным прахом.
Ну, а если поэт и виновен был в чем-то когда-то,
То пред всеми людьми дал развеять себя виновато.

У Андрея Вознесенского тот же мотив прозвучал неожиданно в поэме... о Поле Куликовом:

Так русский поэт полтыщи лет
После,
Всей грязи назло —
Попросит развеять его в чистом поле
За то, что его в сорок первом спасло.

Постепенно, и все настойчивее, это уже с началом перестройки, зазвучали другие ноты. Вот Даниил Гранин вспоминает, как уже после смерти Сталина в Ленинграде устроили еще одно судилище над Зощенко, который рискнул опровергнуть десятилетней давности обвинения, и Москва посылает в Питер навести порядок Симонова. Наш брат-фронтовик, — размышляет Гранин, — любимый поэт нашей окопной жизни. Мог похерить эту возню, а он...

Первую любовь не забываешь. Первое разочарование тоже. Вот Владимир Дудинцев снова, как и в пору «оттепели», одаривший нас на старте перестройки бунтарским романом, рассказывает в интервью, как Симонов печатал в «Новом мире» его «Не хлебом единым», каким смелым редактором и блестящим тактиком он себя показал.

Одно интервью автора «Не хлебом единым» и второго, только что опубликованного романа «Белые одежды», другое, третье... Акценты незаметно, как стрелка на часах, смещаются, и вот уже вместо храброго редактора перед нами перестраховщик: роман крамольный напечатал, а автора его за непричесанное выступление раздолбал.

Если уж такой кремень, как Дудинцев, дрогнул... Наши поневоле редкие встречи с Ниной Павловной между тем продолжались. Теперь уже, как правило, у нее дома. Маленькая однокомнатная квартирка в писательском кооперативе, которую для нее с Юзом выбил у Моссовета К.М.

Так она и жила одна, под двумя портретами — один К.М., другой — Юза.

Еще в Красноярске, когда освободили, муж подарил его с надписью: «Моей Маше, почти Волконской от ее реабилитированного мужа». Всю жизнь, с самой свадьбы звал он ее Машей.

Как-то, когда она еще ходила, как на службу, в «верхний» кабинет, она призналась мне, каких ей это душевных усилий стоит — сидеть в полном одиночестве, слушать звенящую тишину.

Последние дни работы находиться в квартире было особенно тяжело. С ночи не находила себе места, когда надо было отправляться туда. Шла уже подготовка к переселению Катиной семьи. Она чувствовала себя, как на крохотном острове весной, в половодье. Словно некрасовский заяц.

— Скоро заканчиваю, — сказала она как-то Васе.

— Давно пора, — подбодрил он ее молодецким полковничьим баритоном.

И понимала, что жизнь она и есть жизнь, и свое берет по праву, и больно было видеть, как исчезают последние следы былого быта.

— Лариса, когда завещала все Кате, была уверена, что кабинет сохранится в неприкосновенности. А там теперь будет комната Даши. Стола уже нет. Стол отправили в Литературный музей. Тумбы оставили, а полотно отправили. Когда стол выносили, у меня было такое чувство, словно второй раз хоронят Константина Михайловича.

Теперь уже каждый наш разговор с Ниной Павловной, по моем приезде из Стокгольма, где я нес службу посла, начинался с ее вопроса, звучавшего почти словами классического романса: читали ль вы?

— Как не читали? Я «Новый мир» не смогла выписать. Мне вчера позвонили и прислали. Золотусский. Это ужасно, просто ужасно, что он пишет...

А он пишет, что «К.Симонов, думая закончить цикл романов о Серпилине битвой за Берлин и намереваясь показать трагедию этого события (так он мне говорил в 1966 году), завершил их случайной смертью своего героя, которому в условиях уже нового исторического этапа (хрущевские свободы кончились) не следовало чересчур много знать и слишком о многом думать».

Мы сидим и разгадываем этот ребус. И я пытаюсь успокоить Нину Павловну рассуждениями о том, что это же нонсенс — критиковать писателя не за то, что он написал, а за то, что он не написал.

— Можно, — говорю я Нине Павловне, — спорить или соглашаться с писателем, рассуждать о его пристрастии к тем или иным темам, но смешно видеть здесь какой-то криминал, хотя бы и морально-литературный. Это уже отдает тем, с чем Золотусский сам борется.

— Вы правы, — говорит слегка успокоенная Нина Павловна. — Но ведь Золотусский не только об этом пишет. Вы все читали? Вы внимательно читали? Он возмущен тем, что романы Симонова, видите ли, стоят в представлении читателя «на одной доске с Гроссманом», Виктором Некрасовым, Василем Быковым...

Я все, конечно, читал, и внимательно. Но просто не хотелось лишний раз расстраивать Нину Павловну. В утешение я показываю ей напечатанное в «Литературке» выступление Евтушенко на съезде народных депутатов, где он в пух и прах разносит «идеологических пожарных», которые «из всех шлангов поливают лучшие книги о войне: «В окопах Сталинграда» Некрасова, «За правое дело» Гроссмана, «Мертвым не больно» Быкова, военные дневники Симонова».

Нина Павловна не видела еще этот номер газеты, что-то слышала по телевидению, и теперь жадно впивается глазами в нонпарельные строчки.

Следующий раз мы с ней вместе читаем интервью Юрия Любимова в «Известиях» о том, как рождался Театр на Таганке и как уже после первого спектакля его попытались закрыть. «Спасла статья Константина Симонова о “Добром человеке из Сезуана”. Спасли рабочие двух заводов — “Станколита” и “Борца”. Их наши доброхоты позвали на спектакль, чтобы они от имени всего пролетариата, так сказать, заявили, что такое искусство народу не нужно, а они посмотрели и говорят: “Спасибо, нельзя ли это к нам на заводы привезти?”»

Юрий Петрович Любимов, только что вернувшийся из вынужденной эмиграции. Авторитетнее и неподкупнее свидетеля сейчас, пожалуй, не сыщешь, соглашается Нина Павловна. Он не ожидал перестройки, чтобы начать делать и говорить, что думал. Нина Павловна вспоминает, что К.М., по крайней мере, дважды выступал на прогонах можаевского «Кузькина», возмущался тем, что зажимают такую прекрасную смелую вещь, писал письма в инстанции.

Я охотно киваю головой и про себя думаю, что это замечание мэтра тем ценнее, что именно от него в пору «Кузькина», «Мастера и Маргариты», «Дома на набережной» я слышал выражение: «Костю стошнило на финише». Как говорится, ради красного словца... Но этим воспоминанием я с Ниной Павловной

не делюсь. Наоборот. Разворачиваю перед ней главу из мемуаров Алексея Аджубея в «Знамени». Ссылаясь на рассказ Микояна, он пишет о послевоенной симоновской «Литературке»: «Острая газета нравилась товарищу Сталину какое-то время, а потом стала его раздражать. Думаю, главного редактора Симонова могли ожидать большие неприятности, если бы Сталин не умер раньше, чем успел дать распоряжение разобраться с газетой...»

Аджубею, как никому, понятна была реплика Микояна, потому что с ним-то успели разобраться после смещения Хрущева. И именно в ту пору Рада Никитична получила письмо от К.М.

Правильно говорят, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

В недрах симоновского клана явилась мысль опубликовать рукопись К.М. «Глазами поколения». Тоже, наверное, атмосфера повлияла. Столько каждый день, куда ни глянь, в журналах, в газетах появляется забытого, неизданного, такого, что иной раз, словно по волшебству, меняет представление о писателе или ученом. И все, главным образом, связано с культом. А тут лежит никому не ведомая вещь с подзаголовком «Размышления о Сталине». Когда дошло до Нины Павловны, она бурно запротестовала. Это будет нарушением воли покойного. Ведь вещь так и начинается: рукопись, к работе над которой я сейчас приступаю, не предназначается для печати...

Ей возразили: но ведь К.М. сделал, по крайней мере, две оговорки. Он сказал, что рукопись не предназначается для печати в полном виде. И — в ближайшем обозримом будущем. Но со времени его смерти минуло уже восемь лет. И каких лет! Тут за месяц происходит такое, чего раньше не случалось десятилетиями. Даже К.М. не мог предвидеть такого.

Нина Павловна твердо стояла на своем: он не мог предвидеть и другого, когда он начал диктовать ей в феврале 1979 года, — что он не успеет уже вернуться к рукописи второй раз. Ведь он просто выложил все, что помнил. И даже не ставил себе задачу как-то осмыслить всю эту фактуру.

Ко мне как к члену комиссии по литературному наследию тоже обратились за советом. Я был согласен с Ниной Павловной.

Публикация станет желанной добычей для охотников за черепами. Их всегда в избытке. Им не до истины. Была бы сенсация.

Когда нас не послушали, я поделился своими соображениями в печати. И как в воду глядел.

«Возьмите записки К.Симонова о Сталине, опубликованные в «Знамени», — писал «Новый мир», — и в «стол» К.Симонов не способен писать все. Боится признать ужас ужасом, боится себя.

Больше всего поразили автора «Нового мира» сцены в Кремле, когда Симонов, Фадеев и другие вместе со Сталиным и его присными обсуждают кандидатуры на присуждение Сталинских премий: «Он пишет без всякого осуждения себя и тех...»

И это было еще самое мягкое из того, что довелось нам с Ниной Павловной прочитать.

Если стихию разыгравшейся гласности сравнить с морем, имя Симонова — что лодочка на морской волне, когда барометр показывает бурю. Но как бы ни разгулялось море, челн все перед глазами: то проваливается стремглав вместе с одной волной в пучину, то взмывает на гребень другой.

Вот и еще один звонок от Нины Павловны, благо я нахожусь в Москве, в отпуске: «Вы читали?»

На этот раз «Московские новости». Альберт Плутник: «О повести И.Эренбурга “Оттепель” и не только о ней». Да, не только и не столько о ней, сколько о статье Симонова о ней и его содокладе на 2 съезде писателей.

Мы с Ниной Павловной хорошо помним и тот и другой документ.

Их копии лежат во «Всем сделанном» за 1954 год.

Там же, только в другом томе, лежит поздняя надиктовка, в которой он, К.М., попытался рассказать, как и почему разошлись его и Эренбурга дороги. Он там прямо говорит, что жалеет, что написал эту статью.

— Но об этом никто не знает, — горестно вздыхает Нина Павловна. — И о том, что он устроил Эренбургу юбилей, когда того ждал арест. И если бы не устроил, его, может быть, действительно арестовали бы.

Нина Павловна резюмирует, что дело не в отдельных эпизодах или упоминаниях о них. Положительных и отрицательных. Нужна какая-то нить, которая связала бы воедино десятки, если не сотни таких эпизодов и эпизодиков. Дала бы цельный образ.

Вот и парижская «Русская мысль» пишет: «Вероятно, история когда-либо взвесит, чего было больше у Симонова: добрых или черных дел».

Эта жесткая формулировка заставляет Нину Павловну вздрогнуть.

Подумав, она истолковывает ее по-своему:

— Объяснить Симонова — объяснить наше время.

— Ну, — говорю я, — Нина Павловна — это прямо вариант эпиграфа к роману.

— Ох, — вздыхает она. — Когда-то вы еще его закончите.

Москва – Стокгольм – Прага – Москва – Лондон – Стокгольм
1985–1997

Глава третья

Сто оборванных дней

Вместо предисловия

ИЗ ПИСЬМА АЖАР ИЛЬЯСОВОЙ, ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, СУПРУГИ АКСАКАЛА КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АБДИЖАМИЛА НУРПЕИСОВА. г. АЛМА-АТА

С большим удовольствием спешу поделиться своим впечатлением от Вашей замечательной книги. Признаюсь, даже не предполагала, что читать о политике так может быть увлекательно для дилетанта вроде меня. Но прочитала одним духом. А фактический материал ведь огромный, но какой сложный, разносторонний, интересный. Фактически, здесь не просто сто дней проходит, а целая эпоха. Я впервые поняла, кто такой дипломат-международник, как взаимодействуют государства, тем более расположенные на разных континентах. Целые пласты жизни подняты, взаимоотношения стран, людей. Вдруг на глазах люди и страны находят друг в друге что-то интересное, обнадеживающее, вступают в диалог друг с другом. И начинают сообща решать общечеловеческие проблемы. И все это излагается искренне и увлеченно. Когда Вы лично принимали участие в обсуждении каких-то важных проблем, в правильных их решениях, мне каждый раз казалось, при этом присутствует не только логика, но в особенности Ваше доброе сердце. Надо бы, чтобы в переговорных вопросах всегда были добрые и чистые сердцем люди. Было бы на земле тогда меньше зла. В наше время так хочется услышать вселяющие надежду слова. Ваша книга относится именно к такой литературе. Вот такие мысли приходят на ум при чтении «Ста дней». Для меня и для таких, как я, перестройка произошла совершенно незаметно и потому необъяснимо. Вдруг начали происходить события, сути, причины которых я понять не могла. Можно сказать, мы в Казахстане проморгали этот период. После прочтения Вашей книги захотелось мысленно вернуться к этим событиям и вглядеться в них заново. Помимо событий, которых Вы касаетесь, было очень увлекательно познакомиться подробнее с людьми, их действиями, их психологией. Хотя бы с личностью того же М.С.Горбачева. Я как будто увидела его вблизи, не генсеком, а живым человеком во всем богатстве психологических нюансов. И кроме того, все это написано прекрасным легким языком мастера. После прочтения «Ста дней» я обратилась к своим знакомым, как вообще возникла идея перестройки, с чего все началось. Я стала замечать, как на разных посиделках люди оживленно обсуждают и анализируют произошедшие процессы, выявляют их плюсы и минусы, что было приобретено и что потеряно. А хороша ли рыночная экономика в целом как таковая? Как она отражается на духовном состоянии общества? Не через рыночное ли взаимоотношение идет поляризация общества, безудержное разворовывание ресурсов и бесконтрольный вывоз капитала? В результате всего этого мы теперь живем в эпоху бесчеловечного глобализма. Видите, какое далеко идущее направление приняли мои мысли после прочтения Вас? Других Ваших книг я еще не читала. Абе мне рекомендует теперь прочитать книгу о Константине Симонове. Один наш казахский поэт увидел на столе у меня «Сто дней» и сказал: «О, Панкина читаете? Интересный писатель, интеллектуал». Дорогой Борис Дмитриевич! Очень хотелось поделиться своими впечатлениями. Книга действительно что-то в моей душе затронула, за что Вам сердечное спасибо.

ОЛЬГА ТРИФОНОВА, ПРОЗАИК, ВДОВА ЮРИЯ ТРИФОНОВА

…Скажу сумбурно, но искренне прямо сейчас.

«Сто оборванных дней» (название не очень удачное из-за слова оборванный), но не в этом суть, а в том, что прочла как детектив на одном дыхании. Я была в те времена так замордована жизнью, что мало что понимала, да и трудно было понять что к чему. Ваш спокойный, но со скрытой страстью, рассказ открыл для меня невнятную мне доселе эпоху.

Он (рассказ) захватывает, но самым интересным в нём был для меня образ рассказчика. Да и для всех читателей, уверена.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ШВЕДСКОГО ДИПЛОМАТА ГУННАРА ЯРРИНГА К ШВЕДСКОМУ ИЗДАНИЮ «СТА ДНЕЙ»

Для меня, прослужившего десять лет послом Швеции в Советском Союзе, задолго до гласности и перестройки, книга Панкина представляет особый интерес. Не только тем, как он рассказывает о бурных и неповторимых ста днях, отделивших августовский путч партократов от встречи в Беловежской Пуще. Но и глубокими, откровенными и часто неожиданными размышлениями о последних годах существования советского строя и его дипломатии.

Когда Панкин покидал Швецию, чтобы направиться в Прагу, после восьмилетней работы здесь послом Советского Союза, он был оценен как наиболее яркая фигура из тех, кого Москва посылала возглавлять дипломатическую миссию в Стокгольме. Александра Коллонтай не была при этом забыта.

Он с симпатией изучал Швецию и научился понимать нас, шведов. Не удивительно, что в атмосфере гласности и перестройки он искренне увлекся «шведской моделью». Более важно то, что соответствующую главу книги он назвал "Шведская модель" без социал-демократов». Эту главу должен прочитать каждый швед, кто всерьез интересуется сегодня событиями внешнего и внутреннего мира.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ

Экстраординарные мемуары, продиктованные свежим взглядом и проливающие новый свет на события политической и дипломатической жизни в Советском Союзе в последние три месяца его существования, когда мир менялся с невиданной стремительностью. Как главе дипломатической службы своей страны, руководившему ее внешней политикой, Панкину выпало представлять лицо посттоталитарного Советского Союза и в то же время присутствовать при его крушении.

ИЗ СТАТЬИ ПИСАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА КОНОВАЛОВА В «НОВОЙ БИРЖЕВОЙ ГАЗЕТЕ», г. ПЕНЗА

Скудость госдотаций киношники возводят в первопричину серости их лент. Даже десятилетие ГКЧП не освежило их мозги. Увы!

В книге последнего министра иностранных дел СССР Бориса Панкина «Сто оборванных дней» — сюжеты, за которые много бы отдал автор «Графа Монте-Кристо».

В ближневосточном котле

Уже в Нью-Йорке стало ясно, что следующим моим маршрутом будет Ближний Восток. Никто не спрашивал меня, полечу ли я туда, все спрашивали — когда: израильтяне, арабы, палестинцы, представители американской администрации.

Совместная, как ее скоро стали называть, инициатива Буша и Горбачева в области ядерного разоружения — великое дело. И все же прежде всего она касается ядерного клуба — пяти великих держав. Все — постоянные члены Совета Безопасности. Нашего, вместе с американцами, участия в запуске мирного процесса на Ближнем Востоке ждали десятки государств по обе стороны реки Иордан: каждое со своими интересами и своим представлением о нашей роли. Лейтмотивом звучало: мир не может и не хочет оставаться без второй сверхдержавы.

По мнению министра иностранных дел Израиля, восстановление наших дипломатических отношений было бы долгожданным отходом Советского Союза от его многолетних заблуждений. По мнению министра иностранных дел Сирии Шараа — с ним мы тоже познакомились в Нью-Йорке,— моя поездка в регион, наоборот, удержала бы нас от «усугубления ошибки», которую уже, по сути дела, мы, то есть СССР, совершили, подписав год назад консульское соглашение.

Прислушиваясь к тону нашей послепутчевой дипломатии, прощупывая ее пульс, и та и другая сторона улавливали, что роль так называемого субъективного фактора в определении внешней политики возросла. Уже в первые дни после моего назначения министром иностранных дел СССР, последовавшим сразу после разгрома августовского (1991) путча, в западной прессе замелькали сообщения, что, мол, одним из первых шагов нового министра будет восстановление дипломатических отношений с Израилем, поскольку, в отличие от главного советника Горбачева по проблемам Ближнего Востока Примакова, он настроен скорее произраильски. Вопросы на этот счет неизменно звучали и на пресс-конференциях как в Москве, так и в Нью-Йорке. И это еще до того, как я выступил в ООН.

Я пытался понять, чем, собственно, вызваны такого рода предположения?

Думаю, что причиной тут была общая направленность нашей послепутчевой дипломатии. О ней судили по моим заявлениям и по конкретным акциям, которых немало было уже осуществлено к тому времени, когда поездка на Ближний Восток встала твердо в повестку дня. Завершался демонтаж идеологических доспехов нашей внешней политики, который был начат с перестройкой и оказался несколько приторможенным после отставки Шеварднадзе. Перспектива восстановления дипломатических отношений с Израилем в

представлении политических наблюдателей резонно вставала в один ряд с решением о прекращении военных поставок Афганистану, с выводом военно-учебной бригады с Кубы, с решениями Московской гуманитарной конференции...

Не исключено, что на память прессе приходили и некоторые конкретные штрихи моей дипломатической деятельности в недалеком прошлом.

Еще в Стокгольме, где моя посольская служба началась в 1982 году, у меня установились хорошие отношения с Фрицем Холландером, крупным предпринимателем в области кожевенной промышленности, который активно вел дела в этой сфере с советскими партнерами. Познакомил меня с ним наш торгпред, и при первой же встрече, которая по просьбе Холландера проходила с глазу на глаз, он представился президентом Европейского совета содействия еврейским общинам, ставившего задачей оказывать своим соплеменникам в разных странах содействие в поддержании культурных и бытовых традиций предков. Просьба, с которой он, как он сам выразился, рискнул ко мне обратиться, была достаточно тривиальна, с моей точки зрения. Просто надо было помочь ему в официальном порядке установить контакты с нарождавшимися под влиянием перестройки культурными еврейскими организациями в нашей стране. Говорил он об этом, однако, полушепотом, беспрерывно оглядываясь по сторонам, словно опасался, что вот я сейчас вскочу со стула и гневно укажу ему на дверь.

Но поскольку ничего подобного не случилось, разговор постепенно принял спокойный, плавный характер. Холландер предвидел, что по мере ослабления системы всяческих запретов в СССР число евреев, желающих выехать в Израиль, будет быстро увеличиваться. Это его, к моему удивлению, беспокоило. Он видел в этом дань безрассудной моде, стихии. Люди порой по инерции, просто из подражания друг другу ищут вдалеке то, что могут иметь дома. Задача нашего Совета — помочь им обрести это.

С легким сердцем я взялся помочь ему. Жизнь, однако, показала, что это не так-то легко. К моим телеграммам в Москве относились настороженно, а я был достаточно опытным человеком, чтобы понимать, в чем тут дело.

Посол посылает свои депеши в МИД, там же, как правило, на уровне замминистра, ведающего твоим регионом, их «расписывают» по всем «заинтересованным» организациям. Такой порядок был заведен с незапамятных, я думаю, с ленинских еще времен, и на практике КГБ, как бы он ни назывался на протяжении нашей истории, оказывался той организацией, которая была «заинтересована» по крайней мере в 90 процентах всего того, о чем сообщали посольства. В стране тогда, несмотря на ветры перестройки, бушевали силы, которые во всем, что происходит, видели козни «жидомасонов», их тайным лидером называли А.Н.Яковлева, и «происки» Холландера, который недаром-таки оглядывался по сторонам, оказались весьма кстати, чтобы подтвердить опасения наших «красных патриотов» и насчет меня.

Особенность момента между тем была в том, что на открытое сопротивление расширению связей и контактов гуманитарного характера не могли решиться уже и в КГБ. В ход был пущен испытанный метод — затянуть решение этого простого вопроса, которому я, со своей стороны, противопоставил столь же испытанный способ — надавить. Эффект дятла, как я это называл. Телеграммы шли одна за другой, и в конце концов в Стокгольм пустили-таки президента одной из нарождавшихся тогда у нас организаций — еврейского культурного

центра имени Михоэлса, а вскоре и Холландер отправился в Москву по его приглашению.

В Праге, вскоре после прибытия туда в качестве посла, я получил приглашение на прием по случаю заседания, по инициативе местной еврейской общины, американо-израильской внешнеполитической ассоциации.

Приглашали всех послов, а пришло лишь несколько человек. Тем больше внимания было нам со стороны хозяев. В разговоре за кошерным обедом выяснилось, что мои собеседники кое-что слышали обо мне от Фрица Холландера. Как я убедился, вести о контактах такого рода распространяются в этой среде довольно интенсивно. Кто-то из наших антисемитов найдет в этом еще одно подтверждение существованию пресловутого жидо-масонского заговора. Я же увидел лишь естественную человеческую отзывчивость на знаки тоже обычного в моем представлении внимания, которым, однако, никогда не баловали наши официальные лица ни отечественное, ни зарубежное еврейство.

В мае 1991 года, в канун праздника Победы, та же пражская община пригласила меня в «новую синагогу», которой было уже несколько столетий, на церемонию в память погибших в годы гитлеровской оккупации. На этот раз, кроме меня, там был только посол Германии.

Не потому ли неожиданно популярной оказалась в Иерусалиме, к моменту моего появления там, скромная публикация не ахти какого влиятельного издания на русском языке «Круг» — «Неизвестный Панкин?». Мне этот номер журнала показали еще в Москве, а в Иерусалиме я видел его в руках у многих людей, которые на улицах просто подходили к нам поговорить. По форме это было интервью с репатриантом из Советского Союза Михаилом Шульманом, когда-то работавшим у меня в Москве во Всесоюзном агентстве по авторским правам в качестве исполняющего обязанности начальника управления. Обратите внимание на «исполняющий обязанности», к этому еще предстоит вернуться. Видимо, то обстоятельство, что новый гражданин Израиля работал с нынешним министром, и побудило редактора журнала обратиться к Шульману.

Признаюсь, мне приятно было читать эту публикацию и не потому, разумеется, что на мою долю там выпала изрядная доля комплиментов. Важнее было другое — устами специалиста сказано справедливое слово об авторском агентстве, которому в силу путаницы и неразберихи, долгие годы царивших в нашем общественном сознании, сильно не повезло в «паблик релэйшенз». Сначала, когда меня назначили председателем Всесоюзного агенства по авторским правам, тогдашний редактор «Литературной газеты», любивший щегольнуть вольнодумием, пустил обоюдоострую фразу: «Современного Белинского назначили Бенкендорфом, посмотрим, что из этого выйдет». Потом Владимир Войнович обратился ко мне с «открытым письмом», а за ним и сам Александр Исаевич Солженицын в своем «Бодался теленок с дубом» назвал агентство «вертухайским ваапом». Стоило ли обижаться? У Войновича и Солженицына мало было оснований доверять инициативам советского руководства, тем более трудно было предположить, что кто-то способен будет из «порося» сделать «карася», по старой русской поговорке. Между тем именно так и получилось. Не «третьим отделением», вопреки опасениям одних и ожиданием других, стал ВААП, а «детищем разрядки», «коллективным диссидентом». И вот теперь об этом говорил человек, объективности которого, в силу некоторых деталей его биографии, трудно было не поверить.

ВААП, рассказывает Шульман, родился в результате того, что СССР присоединился к Женевской конвенции по авторскому праву. Само же это присоединение произошло под сильным давлением Запада, где, особенно США, считали эту меру необходимой в свете завершавшейся подготовки к знаменитому Хельсинкскому совещанию 1975 года. Уступив в одном, партийные власти были уверены, что отыграются на другом. Им это было не впервой. Если уж признали де-юре верховенство международного права над национальным, превратим это на практике в свою противоположность. «Условия игры» для ВААПа действительно создавались такими, чтобы оно могло выполнить роль «охранки». Даже кандидатура на пост председателя была на первых порах предложена соответствующая — заместитель председателя комитета по цензуре (Главлит). Тут, правда, хватило у кого-то (говорят, у Суслова) ума сообразить, что это уж слишком. Так ведь можно потерять все преимущества, выторгованные у американцев благодаря присоединению к Конвенции. А тут еще шеф комсомола Тяжельников каждый день приходит и жалуется на вольнодумство главного редактора «Комсомолки». Вот «посадим его на ВААП», сами обстоятельства отучат его вольнодумствовать. История партийного руководства культурой и искусством изобилует такими ходами со стороны ЦК. «Но не всегда они давали желанные результаты,— свидетельствует эмигрировавший в Израиль Шульман.— Вот и в этом случае, завязав энергично контакты с огромным числом авторско-правовых организаций и издательств на Западе, опираясь на букву международного права, которое, говорили властям, никак нельзя обойти, если не хочешь нарваться на скандал, ВААП занялся продвижением за рубеж как раз той литературы, музыки, произведений живописи, театра, которые едва были терпимы или отвергались в своей стране. «Ничего не поделаешь,— разводили руками эксперты и консультанты ВААПа,— другого на Западе не берут и денег за другое не платят. А мы ведь существуем за счет отчислений от авторских гонораров».

Игра эта, где на одной стороне ВААП, да и то лишь в лице сравнительно немногочисленной команды профессионалов, беззаветно преданных своему делу, а на другой — два отдела ЦК, идеологический и международный, и тринадцать организаций-учредителей, вроде почившего в бозе Госкомиздата, хренниковского Союза композиторов и марковского Союза писателей, с переменным успехом продолжалась девять лет. И за это время советская авторско-правовая служба прочно вросла в международную систему и весьма широкий круг авторов, не очень-то угодных режиму, получил широкое признание за рубежом. А охрана авторских прав, как известно, это не только моральная, но и материальная поддержка, какими бы грабительскими ни были налоги.

— Вот уже несколько дней в мире говорят о новом министре и не упоминают о его работе в ВААПе, — подает Шульману реплику журналист.

— Честно говоря, меня это удивляет, задевает за живое.

— Но вы же так и остались «исполняющим обязанности»...

— У меня сохранилось представление председателя о моем назначении начальником управления, обязанности которого я несколько лет исполнял. ЦК, который решал все эти вопросы, меня не утвердил — еврей!

Я предполагаю, что эта публикация, став известной общеполитической прессе, тоже сыграла свою роль в создании той атмосферы, которая меня ожидала в ходе предстоявшего визита.

Надо ли говорить, что перспектива побывать в Израиле, в Иерусалиме привлекала меня не одной только важностью и сложностью внешнеполитических проблем.

Приглашения, полученные от моих коллег из Сирии, Иордании, Египта, да и других арабских стран (к сожалению, не все удалось тогда посетить), давали возможность выслушать обе стороны, познакомиться с целым спектром точек зрения.

Начать поездку решено было с Иерусалима. Туда в это время собирался и Джеймс Бейкер, с которым, в случае успеха переговоров, нам предстояло стать сопредседателями мирной конференции по Ближнему Востоку. В Иерусалиме можно было вести переговоры одновременно с Израилем и палестинцами. Ну и, наконец, есть ли в многострадальном арабо-израильском регионе другое место, где можно было бы одним движением груди вдохнуть аромат веков, услышать голос трех религий, ощутить всю остроту и противоречивость интересов, раздирающих на клочки эту загадочную и притягательную для каждого, наверное, человека землю.

Итак, через двенадцать дней после возвращения из Праги снова Внуково-2, снова спецрейс, снова группа экспертов и журналистская команда. Через четыре часа — под ногами древняя, священная библейская земля. Прямо из аэропорта Бен-Гуриона, на берегу Средиземного моря, растянувшийся чуть ли не на полкилометра кортеж направляется в Иерусалим. Отель «Кинг Дэвид» — «Царь Давид».

Взял сейчас в руки программу этого визита: тоненькая на мелованной бумаге книжечка — и собственным глазам не поверил. Весь визит продлился немногим больше суток. В час дня 17 октября прилетели, в 6 вечера на следующий день вылетели — да и то еще с двухчасовым опозданием по сравнению с намеченным сроком — в Дамаск, где в аэропорту ждал меня министр Шараа.

Трудно теперь представить, как могло в столь короткий срок произойти столько драматических событий, состояться столько поистине судьбоносных решений. А все дело в том, что слишком многое сошлось именно в те дни и часы в Иерусалиме — обстоятельства, случайности, исторические императивы, скрещение событий и судеб, личных и государственных. Предыстория и основные события того решающего этапа процесса урегулирования на Ближнем Востоке, который начался в субботу 18 октября 1991 года, хорошо известна. Следуя логике своего повествования, я намерен говорить лишь о том, что происходило в те памятные два дня.

И все же...

Незадолго до отлета в Иерусалим я побывал у Михаила Сергеевича. На столе у него уже лежала моя записка, посвященная ближневосточной проблематике. В ней говорилось, что мир, ближневосточный регион ждут, торопят нас с активным включением в подготовку мирной конференции, нынешняя формула которой, впрочем, далеко еще не завершенная, вчерне была намечена в беседах президентов СССР и США в Хельсинки и затем в Москве, буквально за месяц до путча. Поскольку Израиль категорически отказывается от конференции под эгидой ООН по типу той, что происходила в 1973 году, возникла идея своеобразной комбинации двусторонних переговоров Израиля с его соседями с многосторонними при сопредседательстве двух великих держав. Поскольку ни Израиль, ни арабы не отвергли эту инициативу с порога, завязалась дипломатическая активность. Вклад двух держав был, однако, не равен. Бейкер за

сравнительно короткое время побывал в регионе уже восемь раз, в то время как мой предшественник Бессмертных, в силу целого ряда обстоятельств объективного и субъективного характера, только один раз. Обстановка убеждала, что получившая в принципе поддержку модель может быть реализована лишь при том условии, что сохранится и будет работать принцип сопредседательства. И отнюдь не одна любовь к симметрии движет теми, кто заинтересован в нашей активности. Слишком сложна и глубока история наших отношений с этим регионом, слишком переплетены интересы расположенных здесь стран с нашими, чтобы мы могли себе позволить выйти из игры.

Даже с чисто утилитарной, прагматической точки зрения — положение в регионе во многом зависит и от ситуации в нашей стране. В Израиле проживает более полумиллиона наших соотечественников, которые ожидают, что в решении их судеб будут расставлены, наконец, все точки над «i» — с позиции того самого нового мышления, которое в результате разгрома путча получило, как справедливо считают во всем мире, мощный дополнительный импульс.

Так или примерно так все это было в моей записке. Согласно установленному порядку, я ставил перед Президентом вопрос о необходимости поездки в регион, перечислял страны, которые предполагал посетить.

Впрочем, значение проблемы ему не надо было объяснять. Понимал он и то, что выдержать этот экзамен на звание великой державы нам было важно и с точки зрения положения внутри страны.

Самый щепетильный вопрос по-прежнему — восстановление дипломатических отношений с Израилем. На конференцию он идет с большой неохотой, выставляет одно предварительное условие за другим, которые, естественно, не по душе другим эвентуальным участникам конференции. Сейчас камнем преткновения является формула участия палестинцев. И тут приходится «работать» как с израильтянами, так и с представителями арабских государств. Роль спонсоров в том и заключается, чтобы усадить противников, а в дальнейшем, будем надеяться, партнеров за стол переговоров, а там уж пусть договариваются, как считают нужным. У нас, как и у американцев, есть, естественно, свой взгляд на каждое из противоречий, раздирающих регион, как и на всю ситуацию в целом. Основа тут для нас — необходимость выполнения резолюций 242 и 338 Совета Безопасности.

Израиль надо было убедить в том, что он должен-таки сесть за стол переговоров, а арабов заставить понять, что это его ожидаемое согласие — уже счет в их пользу. Раньше Израиль вообще отказывался признать, что для обсуждения есть какая-то материя. Ведь ставка на переговорах — территории, которые он должен отдать. «Мир в обмен на землю». Земля — это нечто осязаемое, а мир... Это понятие еще нужно наполнить содержанием. Словом, чтобы конференция могла все же открыться, надо не только каждой стороне — арабской и израильской,— но и каждому участнику чем-то пожертвовать. И с точки зрения давления на Израиль, у американцев одни рычаги, у нас другие. У них — таска, у нас — ласка... Та самая старая русская мудрость. Американцы уже предложили конгрессу отложить на энный период предоставление государственных гарантий под 10-миллиардный кредит для обустройства поселенцев, в основном, кстати, из Советского Союза. Наше «оружие мира» — дипломатические отношения. Пикантность же ситуации заключается в том, что нам эти отношения нужны, пожалуй, не меньше, чем Израилю, так что использовать это как рычаг тоже будет не просто...

— Словом, — заключил нашу беседу Горбачев, — поступай, как написано (моя бумага была у него перед глазами). Объявим о восстановлении отношений за пару-тройку дней до начала конференции, если только вы о ней договоритесь, а чтобы время занять — обсуждай с Леви текст письма по этому поводу. Да подольше. Пока! — он энергично, как всегда, потряс мне руку. Я уже прошел в направлении двери половину его длинного кабинета, когда он окликнул меня снова: — Слушай, Борис Дмитриевич, ты ведь через три дня летишь? Так, может, разошлем эту твою бумагу по членам Госсовета? Для верности? А? И тебе спокойнее будет.

Пугающая методика согласований была мне знакома еще с застойных времен. Кому-то покажется, что запятая не на месте, и дело застопорилось.

— Михаил Сергеевич! — взмолился я.— А может, не надо? Рискнем? Я беру все на себя. Ведь я докладывал Госсовету о результатах работы на сессии ООН, в том числе и о беседе с Леви. Возражений не было. Восстановление отношений — вопрос, в сущности, предрешенный.

В его взгляде скользнуло нескрываемое облегчение. Так уже не раз бывало, когда он предлагал сделать то, что на самом деле его не устраивало. И радовался, когда его же вроде бы предложение «не проходило».

— Да нет,— вырвалось у него,— я-то не боюсь... мне-то... Давай, ладно, поезжай, приветы там передавай, кто заслуживает,— заторопился он, словно опасаясь, что новый виток разговора может привести нас к нежелательным осложнениям.

Я еще раз убедился, как прочно сидели в нем иные предрассудки и как трудно ему было переламывать их в себе. Нет, не только «особое мнение» какого-нибудь члена Госсовета его сейчас беспокоило. Иногда мне казалось, что перед его мысленным взором все время маячит некий указующий перст из будущего, и он, помимо воли своей, непрерывно примеривает, а что же будет сказано или написано о том или ином его поступке и решении. О том, что было и чего не было при нем.

Кажется, что Ельцин ведет себя на этот счет гораздо решительнее, если не сказать — безогляднее. Репутация человека, завершившего процесс распада Советского Союза, судя по всему, мало его смущает.

Не надо быть провидцем, чтобы предположить, что Дэвид Леви с первых же минут визита, как и в Нью-Йорке, возобновит свой натиск. Что я ему скажу? Предложу обсудить письмо... Вот его проект. «Союз Советских Социалистических Республик и Государство Израиль, руководствуясь стремлением к сотрудничеству и взаимопониманию в интересах народов обеих стран, решили восстановить дипломатические отношения, начиная с даты опубликования настоящего совместного Заявления, и обменяться дипломатическими представительствами на уровне посольств.

Обе стороны заявляют о своей готовности строить двусторонние отношения в соответствии с Уставом ООН, нормами международного права и на основе принципов равноправия, взаимного уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Стороны выражают уверенность в том, что восстановление в полном объеме дипломатических отношений между СССР и Государством Израиль всецело отвечает задаче всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке, установления прочного мира и стабильности в этом регионе, развития и укрепления международного сотрудничества».

Ничего не скажешь, хороший документ. Хоть сейчас подписывай. Именно так наверняка, если только не смутит его последний абзац, заявит и Леви? И что тогда?

Пространство для маневра было у меня небольшое. Но и жаловаться не на кого — сам себе его очертил. Как плату за возможность решения, с которым мы и так безбожно запаздывали.

Мы расстаемся с Леви сразу после короткой встречи в аэропорту Бен-Гуриона, чтобы после нашего размещения в лучшем, самом знаменитом отеле Иерусалима «Царь Давид» встретиться на переговорах в МИДе, который, как мне кто-то сказал, расположен в бывшей военной казарме. Отель же вошел в историю взрывом, который был совершен в 1946 году боевиками экстремистской еврейской организации «Иргун цвей леуми» и унес огромное число жизней. Увы, это был не первый и не последний взрыв. Кровь льется в этих местах не переставая. Вот и в эти дни, как мне объясняют, в связи с визитом Бейкера и моим приездом в Иерусалиме объявлено, по существу, чрезвычайное положение. Полицейских, солдат, джипов, мотоциклов на земле, вертолетов в небе столько, что даже нашему кортежу, ради которого все и затеяно, трудно пробиваться сквозь эту кашу людей, машин и оружия.

Наш номер, вернее, резиденция в «Царе Давиде» — на трех уровнях. На первом этаже — холл и гостиная, ниже — ванная и даже маленький бассейн, на самом верху — спальня. Говорят, это самый большой апартамент в отеле, чуть ли не больше того, в котором разместился Бейкер. Честь большая, но жить неудобно. В этом убеждаешься с первых же минут. Тут повесил пиджак, там оставил галстук... Вот и носись беспрерывно с этажа на этаж. Можно было бы воспользоваться лифтом, но это совсем уж смешно. Невольно успокаиваешь себя тем, что жить в этой роскоши предстоит всего сутки, а находиться в номере — лишь несколько часов. Вот и сейчас пора уже выйти к машинам. Коридор забит охраной, нашей и израильской, обслуживающим персоналом. К этому начинаешь понемногу привыкать. После Америки вообще уже ничему не удивляешься.

Выясняется, что планы наши несколько меняются. Только что началось непредвиденное заседание кабинета министров, и Леви, естественно, там, тем более что и заседают-то, вполне очевидно, как раз по нашему поводу.

Что ж, нет худа без добра, открывается возможность, которой мы прежде, ввиду кратковременности визита, были лишены — хоть что-то посмотреть на улицах города. Хороши бы мы были в ином случае. Садимся по машинам. Прилежно крутим головами. Все в «святом городе» кажется на редкость знакомым. Столько о нем и его истории прочитано, столько видено в кинофильмах. Хрестоматия, задерживаться на которой — обижать читателя. Что по-настоящему удивило: выйдешь из машины — русская речь вокруг. Сбывается анекдот, который успел мне рассказать, ссылаясь на иерусалимский фольклор, корреспондент «Комсомолки» Саша Афанасьев, путешествующий с нами: «Какой язык, кроме иврита, станет в Израиле государственным? Угадали — русский».

Предположить, что эти толпы, которые собираются вокруг нас, стоит только выйти из машины, «организованы», трудно — ведь наша прогулка не была предусмотрена программой. Охрана с обеих сторон старается вовсю — и ее понять можно, ее задача — предотвратить непредвиденные и опасные контакты. Но отовсюду протянутые руки, возгласы на русском: «Добро пожаловать!», «Когда будут установлены дипломатические отношения?», «Господин Панкин, верните нам Родину!»

«Комсомолка» напишет, не без капельки соляной кислоты, разумеется, без чего сейчас не обходится в нашей прессе ни одно сообщение: «Когда новый министр иностранных дел, укрепляя традиции последних советских руководителей, вышел пообщаться с народом в старом Иерусалиме, у стены Плача его приветствовали сотни людей, выкрикивая на русском языке: «Удачи вам!»

До невозможности коротки эти встречи, мимолетен обмен репликами, но и этого достаточно, чтобы осознать — ведь у нас здесь, действительно, более полумиллиона соотечественников. А у них по крайней мере миллиона три-четыре родственников и близких по городам и весям все еще необъятной нашей страны. Это для тех, кто сочинял и столько лет прилежно руководствовался законом о лишении гражданства в связи с выездом в Израиль, все они — отрезанный ломоть. Для них же самих, чувствую, во всяком случае для многих, покинутая страна до сих пор остается Родиной... Они живут ее интересами, болеют всеми нашими болями и комплексами, и кое-кто не без юмора замечает, что коль скоро СССР переходит, наконец, к рыночной экономике, опыт евреев, прошедших школу Израиля, просто неоценим. Тем более что и язык учить не надо — ни там, ни тут. Вопрос об установлении дипломатических отношений из проблемы чисто внешнеполитической оборачивается своей бытовой, житейской стороной.

Это чувство возрастающей близости обостряется после посещения самого, должно быть, страшного в Иерусалиме места. Это мемориальный институт Яд Вашем. Памятник 6 миллионам евреев, уничтоженных Гитлером за годы его правления в Германии. Свидетельство расистского геноцида, холокоста.

Фотографии, реконструкция газовых печей, страшные вещественные доказательства, душегубки, ветхие одежды с нашитыми сверху огромными шестиконечными звездами, пепел в мешочках, остатки костей, золото зубных протезов — вся эта уже полузабытая жуть, которая вошла в сознание моего поколения в поздние сороковые годы. И цифры, цифры, цифры — число плененных, повешенных, застреленных, сожженных, умерших от голода — по странам. Самые большие потери, конечно же, у нас, в СССР, и в Польше.

Вот уже возложен при звуках иудейской молитвы венок к вечному огню, оставлена при выходе ермолка, которую полагалось, как и в синагоге, возложить на голову. Угомонилась без конца щелкающая затворами фотоаппаратов пресса. Застывшая в камне женская фигура «Немой крик» взыскующе смотрит нам вслед.

Только теперь вспоминаю, что предложение посетить Яд Вашем было сделано мне сопровождавшими меня хозяевами с какой-то робостью, неуверенностью. Почему? Отвечают, что, во-первых, этого не было в первоначальной программе, во-вторых, никто из официальных лиц нашей страны раньше прийти сюда не соглашался... Почему? Ведь в конце концов чуть ли не половина погибших, чьей памяти посвящен этот мемориал, были нашими согражданами... Да и спроектирована экспозиция (уж не знаю, комплимент это или нет) по образцу тех памятных, поминальных мест, которыми покрыта многострадальная земля наша... Пожимают плечами... Что было, то было. Еще одна разительная примета разделявших нас предубеждений.

Между тем мы уже опаздываем в МИД. Он и впрямь расположен в невысоких одноэтажных павильонах, сильно напоминающих казармы. Дэвид Леви только что вернулся с заседания министров. Широко улыбается, простирает для объятий руки, но в глазах еще всполохи только что отшумевших дискуссий. Как я и

предполагал, речь на заседании шла о мирной конференции, ну и, естественно, о визите «высокого советского гостя» и предстоящих переговорах с ним.

Расстановка сил примерно такова — он, Леви, пожалуй, самый очевидный сторонник участия Израиля в конференции; Шамир скептически относится к ее возможным результатам, но считает, что надо попробовать. И есть крайне правые, небольшие, но влиятельные партии, которые категорически против всяких конференций и переговоров. Голосов у них в кнессете мало, министров — раз-два и обчелся, но ведь и большинство-то у «Ликуд» очень хрупкое. Правые партии угрожают выходом из коалиции, а это значит — отставка всего правительства и, возможно, досрочные выборы. Один из аргументов в устах противников конференции — отсутствие дипломатических отношений в СССР. Как это понять: Израиль — сторона в переговорах, Советский Союз — сопредседатель, а отношений между двумя странами нет. Это не просто неудобно практически, это оскорбительно!

Министр как будто бы просто пересказывает позиции безымянных противников конференции, но слышится в его голосе, пусть и не в словах, он в чем-то с ними согласен, по крайней мере в необходимости безотлагательного, прямо сейчас, восстановления дипломатических отношений.

Кто-то из моих экспертов бросает спасительную реплику: в 1973 году мы тоже были сопредседателями конференции, а дипотношений у нас и тогда не было.

Леви оживляется. По его мнению, этот довод работает в пользу Израиля: может быть, поэтому конференция и не дала результатов.

Достаю проект подготовленного нами письма. Предлагаю обсудить. Леви прямо набрасывается на документ. Эффект тот самый, которого я и ожидал: у него нет никаких замечаний к письму, оно ему нравится, и он готов тут же его подписать.

Пауза. Мои эксперты, выручая своего шефа, начинают вносить редакционные поправки в нами же предложенный текст. Израильская сторона с ними охотно соглашается. Ход снова за нами. Создается положение, которое в шахматах называют цугцванг.

Предлагаю перейти к обсуждению положения дел с подготовкой к конференции. Излагаю нашу позицию. Леви излагает свою.

К счастью, время, отведенное на переговоры, истекает. Следующая встреча — вечером, в том же «Царе Давиде», где министр иностранных дел Израиля дает обед в честь нашей делегации.

До этого у меня — встреча с палестинцами. Но это уже израильской стороны не касается. Они эту встречу даже в программе визита, розданной нам, не указали, хотя, разумеется, знают о ней.

Предвижу, что переговоры с палестинцами будут не легче, чем с израильтянами. Об этом можно судить и по тем контактам, которые состоялись у нас с ними в последние недели. С тех пор решено было максимально активизировать наши усилия по подготовке к конференции. У себя на Смоленской я принимал одного из ближайших соратников Ясира Арафата, правда, из числа умеренных. После этого нашему послу в Тунисе пошло поручение передать лидеру ООП послание Горбачева. Я тоже вступил с ним в переписку. Речь шла о формуле участия палестинцев в конференции. Тут Израиль выставил жесткие условия. Первое — на конференции палестинцы выступают не отдельной, самостоятельной делегацией, а вместе с Иорданией. Второе условие — Орга-

низация освобождения Палестины, которую Израиль рассматривает как террористическую организацию, не признающую права еврейского государства на существование, официально в состав делегации не входит. Палестинская часть иордано-палестинской делегации состоит из палестинцев, проживающих постоянно на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Участие палестинцев из так называемой диаспоры, а также из Восточного Иерусалима, где нам как раз и предстояло с ними теперь встретиться, тоже нежелательно.

В общем-то несправедливые требования, с которыми тем не менее приходится считаться, если хочешь заполучить Израиль за столом переговоров. А это важно хотя бы потому, что его согласие на конференцию означало бы и признание того, что проблема оккупированных территорий существует, как раз то, о чем крайне правые в Израиле и слышать не хотят.

Словом, как и всегда при стремлении к компромиссу, даже посредникам, нам и США, порой трудно определить, где тут и с чьей стороны уступка, а с чьей — неоправданно большой запрос. Сами же «стороны» из тактических соображений стремятся, особенно в глазах посредников, свое положение обрисовать в самом мрачном свете, а преимущества противника — в самом радужном. Парадоксально и в то же время логично, что американцам при этом больше доставалось от Израиля, который привык рассматривать их в качестве «естественных союзников», а нам по тем же соображениям — от арабских государств и палестинцев.

Моя задача в переговорах в отеле «Нэшнл Пэлэс» в Восточном Иерусалиме, как я ее сам определял для себя, была двойная — постараться максимально сблизить подходы участников планируемой конференции и сопредседателей к формуле относительно представительства палестинцев и прощупать их реакцию на предполагаемое установление дипломатических отношений с Израилем. Эксперты рекомендовали мне набраться терпения и не терять присутствия духа, особенно в первые полчаса. Потом все пойдет лучше.

Началось с того, что народу пришло больше, чем мы предполагали, кое-кто подтягивался по ходу беседы — это тоже принято на Востоке,— и приходилось снова и снова возвращаться к истокам, тем более что каждый из собеседников был представителем какой-либо организации и рассматривал себя не как члена делегации, а как совершенно независимого участника переговоров, и потому требовал отдельного к себе внимания. Это — по форме. По содержанию же наши партнеры тоже постарались начать все с «азов», как будто и не было позади многочасовых переговоров с нами и американцами на самых разных уровнях, как будто бы и не было переписки Горбачева и моей с Ясиром Арафатом. Я понимал — для них это была на редкость благоприятная в психологическом плане возможность выложить все свои боли и обиды, накопившиеся за долгие минувшие годы, поделиться надеждами и чаяниями с полномочным представителем страны, которую они привыкли рассматривать своим естественным, без оговорок, союзником. И я посчитал необходимым начать именно с этого — подтвердить, что так оно и есть на самом деле. За вздохом облегчения последовало недоумение — почему же, дескать, тогда вы?!. И возвращение ко всему тому, что мы считали уже пройденным этапом. Пришлось объяснять снова — подробно и терпеливо.

— Почему мы должны будем делать вид, что наше руководство, ООП не участвует в работе конференции?

— По той же самой причине,— растолковывал я,— по какой и Израиль вынужден делать вид, что ООП не представлен в делегации, хотя для всего мира разрабатываемая нами формула — всего-навсего фиговый листок.

Постепенно, один за другим, благо никто никого не прерывает — хотя я уже безбожно опаздываю на торжественный обед от имени Дэвида Леви,— участники встречи излагают свои точки зрения, и страсти успокаиваются. Диалог с нами, практичный, деловой, продолжают те, кому, как покажет время, предстоит еще долгий путь дискуссий, переговоров, ультиматумов и соглашений. И среди них — пожилой врач, один из основателей Национального совета Палестины Хейдар Абдель Шафи, который через несколько дней будет назначен Арафатом руководителем палестинской части иордано-палестинской делегации. Мне предстоит не раз еще встретиться с ним в Мадриде. Деятель, известный трезвостью и взвешенностью своей позиции. Вместе с ним — Ханан Ашрауи и Фейсал Хуссейни. Конечно, дают они понять, им предстоит доложить об итогах нашей сегодняшней беседы в Тунис — там ждут звонка, но у них есть такое чувство, что консенсус будет достигнут и конференция сможет-таки начать свою работу. Другое дело — ее результаты. Палестинцы готовы пойти на какие-то уступки в тактическом плане, но по существу дела будут стоять твердо и до конца. Право палестинского народа на самоопределение должно быть реализовано, и его представители твердо верят, что могут положиться на нашу поддержку. Восстановление дипломатических отношений СССР с Израилем? Почему бы и нет, если это поможет главному...

В отеле «Царь Давид», где коктейль в ожидании гостя длится уже второй час, журналисты расспрашивают меня о результатах переговоров с Леви. Из нашего совместного коммюнике, опубликованного по результатам переговоров, им известно, что «стороны в конструктивном духе обсудили вопросы двусторонних отношений и намерены это обсуждение продолжить». Леви уже разъяснил, что советская делегация привезла с собой проект совместного заявления о давно ожидающемся шаге. Ну что ж, секрета из этого я и не собираюсь делать. Я все еще под впечатлением на сердечной ноте окончившихся переговоров с палестинцами. Мои помощники были того мнения, что тут, возможно, сыграло свою роль то обстоятельство, что, не будучи экспертом в ближневосточных вопросах, я разговаривал с партнерами нормальным человеческим языком, избегая сложившихся уже клише. Которые, действительно, не пристали еще, слава Богу, к языку,— думаю я про себя. Отвечая теперь журналистам, я к нашему с Леви коммюнике добавляю только несколько слов — если переговоры будут продолжены в том же духе, в каком проходили, они, возможно, будут и завершены.

В своем тосте я, в избытке чувств, говорю: — Когда я был послом в Швеции, я полюбил шведов. Когда, совсем недавно, работал в том же качестве в Чехословакии, полюбил чехов и словаков. Теперь, в роли министра иностранных дел, мне, видимо, предстоит полюбить весь мир.

Кто-то из официальных лиц в избытке чувств аплодирует, журналисты бегут в операторский зал — передавать новость в свои редакции.

Утром чуть свет звонок из МИДа Израиля: не будет ли советская сторона возражать, если на нашу сегодняшнюю встречу с Леви будет приглашена пресса? Вчера мы вели переговоры за закрытыми дверями. Значит, израильтяне истолковали мой сигнал совершенно определенным образом. Отступать некуда,

да и незачем. Я твердо в этом убежден, особенно после вчерашней встречи с палестинцами.

Беседа с Бейкером только укрепляет мою уверенность. Мы с ним не виделись с Нью-Йорка. Он прилетел сюда за день до меня. И его кортеж, еще более громоздкий, чем мой, третьи сутки без устали снует по запруженным улицам Иерусалима. Газеты гадают, когда же министры спят? Город полон ожиданий, и это действует на всех — на участников переговоров, на наблюдателей и просто на обывателей.

До встречи со мной Бейкер успел уже, чуть свет, повидаться с моими вчерашними собеседниками — палестинцами. Он тоже констатирует, что их позиция смягчилась. Осталось несколько, скорее, формальных моментов, касающихся чисто американо-палестинских отношений. Его люди сидят с Шафи и с Ханан Ашрауи и утрясают эти вопросы. Он рассчитывает, что уже через пару часов сможет позвонить Шамиру и сказать, что палестинская часть делегации сформирована в соответствии с договоренностью.

Газеты, правда, утверждают, что он намерен послать израильскому премьеру Шамиру список, но это не так,— уверяет меня госсекретарь. Это — неправда. Есть понимание, об этом хорошо известно и палестинцам, что он просто позвонит Шамиру по телефону.

В тех узорах, которые мы тут вместе с ним вышиваем, нет мелочей. Пренебречь хотя бы одной, даже малозначительной деталью, значит поставить под вопрос все уже достигнутое.

Бейкер говорит далее, что, по его информации, на израильтян произвело впечатление мое вчерашнее вечернее интервью прессе. Так что если сегодня действительно будет объявлено о восстановлении дипломатических отношений — вопросительный взгляд в мою сторону, — это выбьет окончательно козыри у правых, да и Шамиру, — Бейкер хитро посматривает на меня, — после этого деваться будет некуда. Мы заговорщически потираем руки и садимся редактировать официальный текст приглашения на конференцию, который, если все пойдет так, как нам сейчас это представляется, будет оглашен сегодня же, во второй половине дня на нашей совместной пресс-конференции, а затем разослан от имени Горбачева и Бейкера главам государств-участников, то есть королю Иордании Хусейну, президентам Асаду, Мубараку, лидерам Ливана и Израиля. Это — основные участники, те, кто сядет за стол двусторонних переговоров сразу после завершения пленарной части конференции.

Тут Бейкер просит меня остаться с ним один на один. Говорит приглушенным голосом, что переговоры о месте конференции, которые он вел от имени двух наших стран, показывают, что наиболее подходящим местом для этого будет Мадрид. В его пользу говорит предварительный зондаж, проведенный среди основных эвентуальных участников конференции, а руководство страны готово нести расходы. Мадрид так Мадрид. У меня на этот счет нет особых преференций. Я, правда, слегка лоббировал Прагу, которая тоже подавала заявку, но ей пока трудновато все же соревноваться с Мадридом.

Словом, все вроде бы идет как надо. Еще и еще раз убеждаю себя, что не нарушу полученных мною от президента инструкций, подписав сегодня с Леви заявление. Ведь главное тут — не в дате, в уверенности, что это действительно будет способствовать созыву конференции, а теперь сомнений в этом нет.

И вот только я успел об этом подумать, как наше с Бейкером уединение прерывают его ближайшие помощники, кажется, это были Дэнис Росс и Маргарет

Татуайлер. Извинившись, они что-то сообщают Бейкеру в конфиденциальном порядке. Возвращаются мои главные эксперты — Колотуша и Дерковский. С помрачневшим лицом Бейкер говорит, в чем дело. Те «технические» вопросы с палестинцами, которые, по его убеждению, носят чисто двусторонний характер, урегулировать до конца не удалось. И он не может сделать тот звонок Шамиру, без которого, как он договорился с Бушем, американская сторона не может пойти на объявление о созыве конференции...

Вот так, в одну минуту рушится с таким трудом построенный воздушный замок.

Но и это, увы, не все. У моих помощников «подарок» и для меня. Один из них протягивает мне свежий номер израильской газеты «День» на русском языке. 18 октября 1991 года. Крупно — заголовок «Перес в Москве». Сообщается о том, что лидер оппозиции Шимон Перес имел в Москве двухчасовую встречу с Горбачевым. «На этой встрече, — писала газета, — Горбачев сообщил гостю, что дипломатические отношения будут установлены, когда станет известна дата созыва региональной конференции по Ближнему Востоку».

Вот так!

Еще десять минут назад эта заметка только бы обрадовала меня. Ведь Горбачев, по существу, сделал шаг вперед по сравнению с тем, о чем мы с ним говорили в Кремле перед моим отлетом в Израиль. Не за день или два до начала конференции, а в день, когда о ней будет объявлено. Это как раз совпадало с моими нынешними намерениями и «снимало» то мое легкое своеволие, на которое я намеревался «в здравом уме и твердой памяти» пойти.

Я перевел с листа заметку Бейкеру. Он, разумеется, все понял без слов. Спросил меня, как же намереваюсь теперь поступить? Я неопределенно сказал, что в любом случае поеду сейчас на переговоры, которые начинаются через полчаса. Несколько минут мы сидим с Бейкером молча. Мрачные, в раздумье. Каждый о своем.Тут еще приближается священная для евреев суббота — и уже в пятницу с заходом солнца прекращается любой вид активности.

Вот и снова на моем пути ситуация, из которой, как ни старайся, формально безукоризненного выхода не найдешь.

Как-то в Праге мне попала в руки малоизвестная статья бывшего чехословацкого президента Эдуарда Бенеша, который пришел к власти сразу после Второй мировой войны и ушел в отставку и вскоре умер после «тихого» бескровного коммунистического переворота в феврале 1948 года. Статья называлась «Демократия и дипломатия», и автор рассуждал там о двух типах политика — дипломате-художнике, у которого верх берут чувства и интуиция, что отдает авантюризмом, и ученом, который делает акцент, порой преувеличенный, на фактах и их скрупулезном анализе, в результате чего оказывается нередко просто неспособным принять решение. Боюсь, что в те минуты пришлось призвать на помощь все доступные мне эмоции и все потенциальные способности к размышлению.

Поступить надо так, как велит тебе твоя совесть, долг. Твой внутренний голос, как любят говорить юмористы. И я решаю, что обязательно подпишу с Леви письмо. У меня нет сомнения, что это будет только на пользу делу, ради которого я сюда приехал. А там — пусть хоть голова с плеч...

Я сажусь в машину. Эскорт трогается, полицейские сирены заводят свою, уже привычную песню. Едем в израильский МИД.

А там все идет как по-писаному. Мы подтверждаем друг другу, что текст заявления о восстановлении дипломатических отношений нас устраивает, что каж-

дый из нас готов его подписать, потом садимся за один стол и подписываем. Под лучами юпитеров и вспышек несколько раз жмем друг другу руки. И только выражение лица у меня, боюсь, несмотря на все мои старания, не адекватно праздничности момента, хотя в глубине души я радуюсь совершаемому ничуть не меньше, чем мой коллега, министр Леви, и все окружающие. Может быть, это был первый в моей жизни момент, когда, подобно Горбачеву, я подумал об истории и о том, что как бы дело ни пошло дальше, под этим документом всегда будет стоять моя подпись.

И вот когда, подписав документ, мы снова рассаживаемся по своим местам и заводим разговор о практическом исполнении того, под чем мы только что подписались, мне на стол текстом вниз кладут записку. Я переворачиваю и читаю. Дружище Бейкер! Он-таки решился, если у меня не будет возражений, объявить сегодня вместе со мной о созыве конференции. В конце концов детали, которые остались еще нерешенными, носят действительно технический характер. Пресса сидит и ждет. Но надо поторопиться, напоминает он, потому что сегодня пятница, канун субботы, и все спешат попасть домой до установленного законом часа.

Надо ли говорить, какой камень упал у меня с души и с каким лицом шагнул я вместе с Леви из дверей израильского МИДа на встречу с журналистами. А они-то еще не знали, что впереди у них еще одна сенсация.

Беседуя с премьер-министром Шамиром — а встреча с ним последовала сразу же после обнародования нашего с Дэвидом Леви Заявления,— я весь был уже там, в отеле «Царь Давид». Вот и его огромный холл. Улыбающийся и нетерпеливый Бейкер. Он показывает завершенный за время моего отсутствия проект нашего совместного заявления о рассылке приглашений на конференцию в Мадрид. То, что она начнется 30 октября, у нас давно было обусловлено. Соответствующим образом спланировали свое время и президенты двух стран, которым предстояло выступить при открытии. Когда мы уже усаживаемся за стол перед несметной толпой журналистов — это вторая моя пресс-конференция за последний час, — я в шутку говорю Джеймсу, чтобы он не забыл упомянуть о том, что в руках у него наше совместное заявление. Потом мы вместе отвечаем на вопросы. Их, впрочем, немного. Журналисты узнали главное и торопятся вступить в контакт со своими редакциями, сообщить новость, которую ждали столько времени и в которую уже почти перестали верить.

Я, однако, успеваю добавить одну, очень важную, на мой взгляд, вещь: договоренности о созыве конференции удалось достигнуть благодаря тому, что все ее будущие участники оказались способными на компромиссы. Изменились и подходы стран-сопредседателей. Сломан тот стереотип, в соответствии с которым предполагалось, что СССР априори настроен антиизраильски, а США — антиарабски.

Пресса и в тот день, и на следующий цитировала мое замечание. Но один журналист, кажется, это был Фридман из «Нью-Йорк Тайме», ухватился и за другое.

Чуткие современные микрофоны уловили фразу, брошенную мною Бейкеру в начале пресс-конференции, насчет авторства заявления, которое он зачитывал, и это дало повод Фридману порассуждать относительно «подчиненной роли» советской дипломатии — у советского министра даже бумажки в руках не было. Я не оставил его реплику без внимания и отреагировал на нее в Мадриде. Там, когда мы с Бейкером давали пресс-конференцию по итогам Мадридской

встречи, мы, по доброму согласию, поменялись ролями. Я зачитывал наше совместное заявление, он комментировал его устно. Я обратил на это внимание прессы, и дружным смехом журналисты оценили этот ход.

Ну а в Дамаске, куда мы прибыли через два часа после пресс-конференции в отеле «Царь Давид», меня ждали неприятности посерьезнее.

Но я об этом пока не знаю, и в салоне самолета все мы живем еще тем, с чем только что расстались в Иерусалиме. Если бывают часы и минуты, когда энтузиазм и воодушевление господствуют безраздельно, и те, кто вчера еще чуть ли не по разные стороны баррикад стоял, чувствуют себя заодно, то эти полтора часа, что провели мы в самолете по дороге из Иерусалима в Дамаск, были как раз такими. Журналисты выпытывают какие-то недостающие им детали у мидовцев. Те, по традиции, весьма скупые на слово, сейчас неузнаваемо красноречивы. Дух успеха царит в салоне.

— Какой бы высокой ни была активность американской дипломатии, без нас посадить участников конференции за стол переговоров никому бы не удалось, — вещает наш главный эксперт по Ближнему Востоку, благо журналистская аудитория как никогда настроена его слушать.

Кто-то торопится сказать, что коль скоро СССР и США так эффективно задействовали свой дипломатический арсенал, чтобы вырвать у противоборствующих сторон согласие на конференцию, она станет еще одной вехой в создании совершенно нового качества самих советско-американских отношений.

Особенно много толков, разумеется, вокруг дипломатических отношений с Израилем. Скептиков нет. По крайней мере здесь и сейчас. Образно говоря, они остались в Иерусалиме или еще ждут по ходу маршрута. Один из них — корреспондент «Правды» в Каире — еще во вчерашнем номере предостерегал относительно этого шага. Даже заголовок такой дал «Поберечь бы козыри».

Кто-то принимается рассуждать, какую глупость сделали мы в 1967 году, когда разорвали отношения с Израилем, уже в третий раз за каких-нибудь двенадцать лет. А в 1947-м и в 1948 годах даже у Сталина, при всем его оголтелом антисемитизме, хватило ума и проголосовать сразу за еврейское и палестинское государство и установить с Израилем дипотношения чуть ли не первым... Разорвав же их, мы фактически выпали из процесса, все эти годы были, что ни говори, сбоку припека...

Кто-то вспоминает, что Израиль, пожалуй, вторая страна после нашей, где так чтут 9 мая — День Победы. И кто-то замечает, что, мол, не надо обольщаться — отнюдь не все наши бывшие граждане в Израиле будут приветствовать установление отношений: решат, что у нас теперь больше рычагов нажима на Израиль. Ему возражают: вспомни эти возгласы — будем всю жизнь молить за вас Бога.

Своеобразный итог подводит наш шеф по связям с прессой, Виталий Чуркин, который привык на своих брифингах в МИДе говорить отточенными формулами. Теперь он как бы проверяет на нас свою следующую встречу с прессой: мало найдется в истории дипломатии двух таких дней подряд, какими были эти — 17 и 18 октября 1991 года.

Желая несколько приглушить патетику, напоминаю слова Бейкера, тоже на пресс-конференции: впереди еще долгий путь, подозрительность в одночасье не исчезнет. Ну и как в воду глядел. Пока мы с Шараа приветствовали друг друга у трапа самолета, пока сидели в ВИПе на софе и отвечали на вопросы журналистов, мой сирийский коллега, с которым мы познакомились еще

в Нью-Йорке, как-то еще «держал лицо», но стоило нам сесть в машину, длинный представительский «мерседес», как он буквально набросился на меня: как вы могли в такой момент установить отношения с Израилем, почему вы не посоветовались с нами? Неужели нельзя было это отложить? Я не знаю, что завтра будет в прессе.

Поток этих восклицаний и риторических вопросов, к тому же в тональности, совершенно несвойственной дипломатическому языку, тем более стилю восточной дипломатии, продолжался до тех пор, пока я не был вынужден в шутливой, правда, манере предложить коллеге вернуться в аэропорт. Только тут он понял, что перехватил, и притих. Через несколько минут мы заговорили о программе визита. И снова что-то не то. Еще вчера утром мой помощник сказал мне, что окончательно утряс все детали по телефону с сирийским МИДом, а теперь выяснилось, что график визита состоял в основном не из мероприятий, а из вопросительных знаков. Правда, все изменения шли со ссылкой на наше двухчасовое опоздание.

— Планировали официальный ужин, но теперь его пришлось отменить. Для переговоров тоже времени не осталось, так что придется начать их завтра утром, и визит к президенту состоится поэтому позднее...

Мне было все ясно. Вести из Иерусалима застали хозяев врасплох. Им нужно время, чтобы собраться с мыслями. Утром наши предположения подтвердились. Когда, позавтракав в номерах, мы в 9.45 готовы уже были садиться по машинам, взволнованный шеф протокола сирийского МИДа попросил нас немного подождать. Министр задерживается в правительстве. Около часа мы чинно, парами, все в черных костюмах из уважения к хозяевам, прогуливались вокруг отеля, любовались окружающими его горами. Кто-то из сопровождающих показал на большую ярко-зеленую рощу на склоне одной из гор. Новая резиденция президента. Он принимает там только глав правительств и государств.

Интересно, где он примет нас? И примет ли?

Минуты тянулись мучительно медленно. Тревожные мысли теснились в голове. Но паники не было. Ни у меня, ни у моих помощников. Зато было время поразмыслить над происходящим, вчерашняя встреча в аэропорту и нынешнее утро давали для этого достаточно повода. Я теперь мог воочию убедиться в том, о чем мне рассказывали в ходе подготовки к этой поездке специалисты по Ближнему Востоку. Да и раньше приходилось слышать об этом не раз. С какой бесцеремонностью могут обходиться с нами, даже на таком уровне, наши, казалось бы, лучшие друзья. Можно подумать, что это не мы им, а они нам помогают, снабжают оружием, выделяют безвозмездные, по существу, кредиты. Делятся ноу-хау, посылают специалистов и советников. Как будто не они нам, а мы им должны... А кто виноват? Мы сами и виноваты. Так повелось еще с Хрущева. Достаточно тому или иному лидеру, тому или иному режиму — и не только на Ближнем Востоке, возьмите Кубу или Афганистан, Эфиопию или Анголу — вставить слово «социалистический» в название страны или в собственный титул, и пожалуйста — он наш лучший друг. Мы за него и в ООН горой, и пышнейшими визитами обмениваемся, фестивали на вес золота устраиваем, кучу долларов вбиваем, смотрим сквозь пальцы, а то еще и поощряем самые различные художества по части прав человека... Ведь кто такой был, например, Менгисту Хайле Мариам? Самый настоящий бандит, палач собственного народа — а у нас он проходил как истинный революционер, чуть ли не марксист-ленинец...

И так до самого последнего времени. Года три назад, приехав в командировку из Стокгольма, я был у Шеварднадзе. Заговорились. Ему позвонили по внутреннему телефону. Он озабоченно взглянул на часы:

— Надо ехать в аэропорт встречать Менгисту. Попросил вчера Михаила Сергеевича об экстренном визите. Без огласки.

— А не пора ли нам с этим Менгисту?..

— Нет, нет, нельзя, — как взрослый на подростка посмотрел на меня Эдуард Амвросиевич. — Это наш друг.

...А время между тем идет. Наш посол в Сирии приносит еще одну беспокоящую весть. Дело в том, что согласно поневоле сложному регламенту, который разработан для созыва конференции, послы СССР и США в каждой из стран, которым мы вчера с Бейкером разослали от имени президентов приглашения, должны вдвоем — «совместный демарш» — посетить министра иностранных дел «или лицо, которое он назовет», и передать это приглашение. И получить ответ, предположительно позитивный. Так вот Эль Шараа и сам не нашел пока времени принять послов, что еще можно объяснить в этой ситуации, и лица, которое это могло бы сделать по его поручению, не назвал. А это уже тревожнее. Наконец часа через полтора — мы уже успели и погулять, и вернуться в номера, и снова выйти подышать свежим воздухом — прибежал взволнованный шеф протокола: сейчас появится министр, и надо будет сразу ехать к президенту.

Вздохнул с облегчением, но виду не подаю.

— А разве переговоров с министром перед встречей не будет? — спрашиваю как ни в чем не бывало. «Протокол» разводит руками: я, мол, ничего уже не понимаю. Но по настроению его угадываю все же, что дела наши пошли на поправку.

Вот наконец появляется и Эль Шараа. Вчерашнего раздражения будто и не бывало. Подтверждает тоном человека, с удовольствием делающего вам большой подарок, что через двадцать минут нас в своей новой резиденции — той самой, мелькает у меня,— ждет президент. Так что, если мы готовы и если у нас нет других планов — вот это уже начинаются чисто восточные церемонии,— мы можем прямо сейчас поехать. Резиденция высоко в горах — министр показывает в сторону уже знакомой мне купы деревьев,— так что времени у нас в обрез.

Хорошо, что мы все в сборе, что папки с бумагами в руках у экспертов, традиционные подарки — альбомы, хрусталь — в багажниках машин. Поехали!

Из отеля виделось, резиденция прямо нависает над нами, но оказалось, чтобы только к подножию горы попасть, на которой она построена, надо миновать полгорода. Позднее, во второй половине дня у нас еще будет время побродить по старому Дамаску, городу с многотысячелетней историей, городу-сказке, но кварталы и улицы, которыми мы сейчас проезжаем, неприятно поражают своим сходством с нашими Черемушками, Мневниками и иже с ними. Чувствуется знакомый почерк наших архитекторов и строителей, которые считают своим долгом, а вернее, по подсказке своих ведомств, под всеми широтами возводить совершенно одинаковые, похожие друг на друга унылые гиганты из стекла, железа и бетона. Только в очертаниях балконов и окон слегка просматривается лицемерная дань климату и традициям.

Но вот мы миновали наконец город, начинается наше восхождение — иного слова не подберешь — к резиденции.

От массивных ворот — длинный путь, все вверх, вверх, к главному подъезду. От него широким торжественным холлом — под ногами роскошный ковер,

стены из стекла — в огромную залу. При входе в нее нас приветствует, просто и непринужденно, президент.

Садимся в кресла, заботливо предложенные хозяином. Чай, кофе? Фрукты? Короткий рассказ о месте, где мы находимся. Извинения, с добродушной улыбкой, за некоторые изменения расписания. Как провели первую ночь в Дамаске? Впервые на Ближнем Востоке? Какие впечатления от Иерусалима? Постепенно подходим к тому, что, собственно, меня и привело в Сирию (и другие страны региона).

В годы работы главным редактором «Комсомольской правды», а потом и в ВААПе, я частенько бывал в наших среднеазиатских республиках, доводилось встречаться с их лидерами, в том числе и с покончившим с собой Рашидовым. В форме общения с гостем нахожу что-то общее. Восточные традиции.

Я знаю, что Асаду немалых усилий над собой стоило — в беседах с Бейкером, а потом и с нашими представителями — дать в принципе согласие на конференцию. Это согласие обставлялось столькими условиями, оговорками, что порой — как жаловался мне Бейкер еще в Москве, а потом не раз и по телефону — и сам не знаешь, есть оно или его нет. Только накануне моего отлета в регион после обращения Горбачева и последней, буквально два дня назад, встречи с Бейкером Асад подтвердил свое согласие на... «рассылку приглашений». Сообщения о том, что оно принято, мы до сих пор не получили. Однако теплые приветствия президента обнадеживают.

Коль дело сделано, хорошая мина только украшает деятеля такого масштаба,— пытаюсь думать за президента.

Как бы скептически ни относился он сам на ранних этапах к перспективе созыва конференции, в стране есть — он сейчас не говорит, но это хорошо известно — силы и весьма влиятельные, которые настроены еще более негативно и в позиции президента видят недостаток твердости, решимости противостоять натиску Запада и Израиля. И Асад не может их игнорировать. Сам же он понимает,— продолжаю я строить свою рабочую гипотезу,— что ему пора, пока еще не поздно, менять имидж диктатора, ястреба, благо дело еще не зашло так далеко, как у Кастро или — еще более впечатляющий пример — у Саддама Хусейна. Он не хочет, чтобы в мире его ставили на одну доску с ними.

Конференция — хороший способ расставить все по своим местам. На нее следовало пойти, что бы там ни говорили экстремисты, чтобы показать, что и он, Асад, готов к разумным, взвешенным шагам в духе времени. Но уж в ходе самой конференции стоять твердо, ни уступая ни на йоту. И это будет хорошим уроком всем скептикам и маловерам внутри страны. А то, что СССР — наш старый, верный и надежный друг,— как будет сказано в коммюнике с сирийской стороны об этой встрече с советским министром,— выступает сопредседателем этой конференции, лишний раз свидетельствует, что мы на правильном пути. Ну а как можно выступать ко-спонсором, не имея отношений с одной из спорящих сторон? Так что акт, совершенный новым министром иностранных дел в Иерусалиме, вполне вписывается в общий ход подготовки конференции. И Советский Союз можно только поздравить с таким удачным ходом.

Последние фразы — это то, что президент произносит вслух. И я в этот момент не могу краем глаза не глянуть в сторону своего коллеги — министра Эль Шараа. Не было в тот момент человека, который был бы более согласен со своим президентом.

— Да, — говорит он, окидывая нас с президентом лучезарным взором, — отклики на ваш визит в Израиль хорошие. Наша пресса сегодня об этом много пишет.

Я в ответ подробно и откровенно — не было никакой нужды что-то скрывать или хитрить — излагаю нашу позицию, которая уж известна читателю.

Встреча с Асадом имела решающее значение. В беседе с советским министром иностранных дел свое твердое «да» конференции сказал лидер страны, у которого больше других было сомнений в целесообразности такого форума. В тот же день Эль Шараа принял советского и американского послов и заявил, что приглашение в Мадрид принимается. Об этом было заявлено и в коммюнике сирийцев по итогам моего визита.

Через час после встречи со мной Асад принял Ясира Арафата и в беседе с ним подтвердил свою позицию. Это была их первая встреча после многолетнего перерыва, что тоже служило хорошим знаком.

После трех критических дней в Иерусалиме и Дамаске, визиты в Амман и в Каир, при всей их насыщенности, при вечном дефиците времени, когда спать приходилось не более четырех-пяти часов в сутки, вспоминаются скорее, как прогулки, где полезное гармонично сливалось с приятным. Продолжительные встречи с королем Хусейном, президентом Мубараком, их премьер-министрами и моими коллегами — министрами. Пирамиды, сфинксы, музеи, мумии Тутанхамона и Рамзеса. Мертвое море, в водах которого можно сидеть и читать книгу; библейские берега реки Иордан, мечети, храмы, базары...

Но вот просматриваешь газеты тех дней, альбомы с фотографиями, которые прислали в Москву гостеприимные хозяева, собственные записи, официальные документы и публикации и диву даешься, как много и в эти дни между Дамаском и Парижем было сделано для подготовки конференции. Из туманной, почти недостижимой мечты, какой она представлялась еще при отлете из Москвы, она на глазах вырастала в реальность, к которой было приковано внимание всего мира.

Пресса — и местная, и советская, и международная — исправно публиковала отчеты о моих встречах с лидерами ближневосточных стран, в ходе которых каждый из них давал свою трактовку предстоящего форума. На виду у всех вышивалась канва ожиданий, надежд, запросов, предупреждений. Конфронтация переливалась в хрупкое согласие, согласие пестрело узорами особых мнений.

Одна за другой арабские страны, будущие участники конференции, сообщают в официальной форме о принятии приглашения сопредседателей.

В Аммане мы обсуждаем с моим коллегой министром Абу Джабером ход дискуссии по этому вопросу в израильском правительстве. Советско-израильское заявление, как и ожидалось, укрепило позиции Шамира. Кабинет шестнадцатью голосами против трех принимает решение об участии в конференции.

Экстремисты в том и другом лагере негодуют. В ход пускаются не только слова и декларации, но и оружие. На оккупированных территориях двадцать два палестинца получили ранения в схватках с израильскими солдатами. «Братья-мусульмане» организуют «масштабный митинг протеста против концепции конференции» и призывают к джихаду — священной войне. Позже, когда конференция уже начнется, они объявят, что все ее участники приговорены к смертной казни.

...Президент Мубарак рассказывает мне, что достигнуто согласие о той встрече лидеров заинтересованных арабских стран, о которой тремя днями

раньше упоминал и Асад. Конференция буквально на днях — время на вес золота — состоится в Дамаске. Из Тегерана приходит сообщение, что там началась четырехдневная конференция «В поддержку исламской революции народа Палестины», и принимающий в ней участие генсек радикальной организации «Хезболлах» уже при открытии заявил, что будет сделано все возможное, чтобы не допустить конференции в Мадриде. Несогласные с решением израильского кабинета министров члены правительства грозят своим выходом из него. Примерно в том же духе высказываются несколько экстремистских палестинских организаций, входящих в ООП.

Мадридская конференция по Ближнему Востоку — еще пять дней назад это название ничего не говорило миру, а сейчас его повторяют все.

Газетчики наперебой спешат разгадать еще одну загадку, сопутствующую подготовке к Мадриду. Дело в том, что в те же дни по тому же маршруту, что и я, совершал поездку Ясир Арафат. Его компактный самолет, тот самый, на котором он несколькими месяцами позже совершит вынужденную посадку в Сахаре, приземляется и взлетает с аэродромов в Дамаске, Аммане и Египте то часом позже, то часом раньше нашего. И каждый день пресса предрекает, что вот уж сегодня-то в Аммане, нет, теперь в Каире, состоится встреча Арафата и Панкина. Не было секрета в том, что Арафат попросил о такой встрече еще до моего вылета в Иерусалим. Я, естественно, немедленно ответил согласием и готов был побеседовать с ним в любой из столиц, которые в те достопамятные дни посетил. Но он все откладывал и откладывал встречу и, наконец, назвал Париж, куда направлялся из Каира, чтобы принять участие в Международной конференции по Камбодже.

В Париже, по приезде в резиденцию посла на улице Гренель, я узнаю, что Ясир Арафат уже ждет меня.

Мы вспоминаем, что впервые встретились еще в 1983 году, когда он побывал в Стокгольме по приглашению Улофа Пальме. Арафат говорит — о благословенный восточный политес, — что слышал много хорошего обо мне от своих представителей в Стокгольме и Праге, гордится советско-палестинскими связями и по-прежнему надеется на твердую поддержку Советским Союзом справедливого дела палестинского народа.

О его заявлениях в связи с путчем, да и ранее, в связи с агрессией Ирака против Кувейта я не упоминаю, он, чувствую, признателен за это. Сдержанность приносит плоды. Арафат сообщает, что решение об участии палестинцев в конференции принято. Формула, пусть и несправедливая, навязанная, будет тем не менее соблюдаться. Мы расстаемся друг с другом у порога резиденции, на глазах у многочисленной прессы, для которой мой гость делает заявление.

В изложении «Известий» оно выглядит так: «Мы высоко оцениваем усилия СССР и Соединенных Штатов, направленные на созыв конференции в Мадриде. Эта очень важная конференция, без сомнения, состоится в конце месяца и, как мы рассчитываем, поможет мирному урегулированию в регионе на основе международной законности».

Я думаю о том, что эти слова, несомненно, и Бейкеру облегчат согласование с палестинцами тех самых «последних технических деталей», которые еще его беспокоили, когда мы прощались в Иерусалиме.

Так в Париже звучит заключительный аккорд моего путешествия по четырем странам Ближнего Востока, в ходе которого восстановлены отношения с Израилем и объявлено о созыве 30 октября, то есть буквально уже

через неделю, Мадридской конференции. Тогда же было условлено, что открытию ее будет предшествовать, там же, в Мадриде, событие, которое само по себе выглядит в глазах мирового сообщества историческим — саммит, встреча на высшем уровне президентов СССР и США. На этот раз ей придается особое значение, поскольку, как все знают, это еще будет и первый выезд Горбачева после разгрома августовского путча за пределы Советского Союза.

Никто тогда не предполагал, в том числе и я, и он сам, что это будет и последний его выезд в качестве главы государства, что и само государство перестанет существовать ровно через два месяца.

Мадрид — начало арабо-израильского диалога

Поздняя осень, последние дни октября. Бабье, или, как его здесь называют на английский манер, индейское лето. Мадрид празднично оживлен, Мадрид встречает высоких гостей со всех сторон света. В торжественном убранстве резиденция королей — дворец «Ориенте», где 30 октября в 10 часов утра по среднеевропейскому времени откроется Мадридская конференция по Ближнему Востоку.

А в рядах нашей делегации, начиная с ее главы, Президента Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачева, настроение элегическое. Двойственное, противоречивое чувство не оставляет меня и сейчас, когда, вспоминая о тех поистине исторических днях, я пишу эти строки.

Было чему радоваться, было от чего торжествовать. С того самого, совсем еще недалекого дня, когда в Иерусалиме мы с Бейкером объявили о дне и месте конференции, тема эта доминировала в средствах массовой информации всего мира. И если бы кому-то пришла в голову мысль собрать воедино все, что тогда было сказано и написано об извечном, начавшемся еще с Сима, Хама и Яфета противоборстве в этих загадочных и манящих к себе краях, называемых недаром родиной человечества, получилась бы великолепная хрестоматия — благородства и подлости, верности и коварства, невиданной жестокости и неслыханного самопожертвования. Знаменательные вехи этой уходящей в глубь тысячелетий истории то отделены столетиями, то непрерывно следуют друг за другом. Только почти полвека советско-израильских отношений, когда их курс менялся чуть ли не ежегодно, чего стоят.

Века, отмеченные враждой, нетерпимостью, и вдруг — впервые за исторически обозримое время — луч надежды. Кровные враги собирались сесть за один стол, который даже смакетирован был таким образом, чтобы те, кто отдален больше всех, оказались бы и ближе всех друг к другу — палестинцы и израильтяне.

И до последнего часа, до последней минуты, до того самого мига, когда мне суждено было ударить молотком по столу и объявить конференцию открытой, в воздухе висела, страницы газет пропитывала тревога, что все еще может сорваться, рухнуть, подобно вавилонской башне, в очередной раз в пропасть предрассудков и гордыни. Опасаясь этого, даже завзятые пессимисты и скептики в прессе макали в те дни свои перья не в желчь, а в нектар.

Находили, например, особый смысл в том, что конференция собралась именно в Мадриде, давшем миру образ Дон-Кихота, символ благородства и безрассудной самоотверженности; в Мадриде, где, как и на Ближнем Востоке, соседствуют, только давно уже мирно, три великие религии — христианская, мусульманская и иудейская.

Сопредседательство двух великих держав, чье былое ожесточенное соперничество в регионе только подливало масла в огонь, называли залогом грядущего успеха: они помогут региону, и это сблизит их самих.

Никто не ждал немедленных результатов, тем более решающих, но историческим называли, во-первых, сам тот факт, что конференция все-таки собралась, и, во-вторых, то обстоятельство, что за время ее пленарных заседаний, как показал ход событий, никто не рискнул встать и покинуть стол переговоров. Как бы порой ни силен был инстинкт сделать это.

То, о чем раньше и заикнуться было невозможно, теперь обсуждалось публично, по крайней мере в прессе: самые различные варианты решения самых неразрешимых, казалось бы, проблем. Демилитаризация Голанских высот, переходное правительство на оккупированных землях Западного берега и сектора Газа, Восточный Иерусалим — столица палестинской автономии, уход Израиля из Южного Ливана — слухи, предположения, «утечка» информации...

Все казалось возможным в те дни. И всматриваясь в лица арабов и евреев, которых «наконец-то удалось посадить за один стол», люди вспоминали, что палестинцы по крови-то вовсе не враги евреям, а скорее, двоюродные братья, может быть, те самые «исчезнувшие двенадцать колен Израиля», которые доставляют историкам столько хлопот.

Вспоминали о том, что в промежутке между объявлением о созыве конференции, прозвучавшим в Иерусалиме, и ее началом в Мадриде состоялось заключительное заседание конференции по Камбодже в Париже. Потрясало, с одной стороны, что за тем же самым столом сидели, по существу, палачи и жертвы, но и обнадеживало — еще одно свидетельство, что нет другого способа восстановить мир, как переговоры, мирный процесс, поиск компромисса.

Незамеченным осталось и то, что сопредседатели той, Парижской конференции — министр иностранных дел Франции и его индонезийский коллега передали эстафету успеха американскому и советскому министрам, которые вместе с ними подписывали документы по Камбодже. Лишь бы не останавливались часы!

Вспоминаю, что слова французского министра, прозвучавшие через два дня после завершения поездки на Ближний Восток, не на шутку растрогали меня, обострили чувство ответственности, осознание «миссии», без чего, наверное, нельзя всерьез рассчитывать на успех в любом благородном деле. Хотя, естественно, само по себе это ощущение — еще не гарант успеха. Я был совершенно искренен, когда в интервью иерусалимской газете «День», данном уже в Москве по возвращении из Мадрида, говорил, что верю — впрочем, я и сейчас в это верю — в некую самодовлеющую силу процесса переговоров, лишь бы они начались. Что есть какая-то магическая сила в самом механизме мирного урегулирования и есть уже определенный эталон такого механизма, которого можно, с определенными поправками, придерживаться в разных ситуациях в различных регионах... Может, и оттого еще я чувствовал себя в те дни в Мадриде оптимистом, что не было в прессе недостатка в указаниях на роль сопредседательниц. И если раньше доминировала мысль о том, что Советский Союз в силу целого ряда обстоятельств, связанных с его внутренним развитием, вынужден работать чуть ли не на подхвате у дяди Сэма, то теперь, словно компенсируя недоданное, политические наблюдатели делали акцент именно на нашем участии. Своеобразный итог всему сказанному подвела «Нью-Йорк Таймс»: «Наиболее важный советский вклад в конференцию состоит не в вы-

кручивании рук своим прежним союзникам, а в предоставлении арабам того, в чем они более всего нуждаются,— символического прикрытия. Арабы никогда не восприняли бы положительно дипломатическую инициативу, на которой увидели бы единственное клеймо: «Сделано в США»,— поскольку Вашингтон всегда занимал произраильскую позицию, на чисто американское шоу арабы не пошли бы. Советский Союз поддержал их и таким образом дал возможность согласиться на переговоры».

Снова мысль о том, что мир захромает, если из игры выйдет одна из сверхдержав. Пресса, какой бы независимой она себя ни полагала, не может существовать, успешно функционировать, не улавливая направления доминирующих политических настроений. Даже ослабление нашей страны, как предполагалось временное, оборачивалось в рассуждениях политических наблюдателей силой. Советский Союз, перестав безоговорочно поддерживать все требования арабов, следует в кильватере у США? Но ведь и США перестали безоговорочно поддакивать и потакать Израилю! Идеологические шоры сброшены обеими сторонами. Государства, как и люди, не могут жить одним лишь прошлым.

В те дни в Мадриде дули ветры сотрудничества, компромисса, примирения. Несомненно, этому способствовало и то, что уникальному международному форуму сопутствовала встреча на высшем уровне. Горбачев прилетел в Мадрид вечером 28 октября, буквально из-за стола переговоров с президентом Кипра Георге Василиу. Буш появился в испанской столице ранним утром следующего дня. Через несколько часов после этого они встретились в советском посольстве, провели переговоры и позавтракали. С участием министров и других высоких сопровождающих лиц. Вечером президентов принимал король Хуан Карлос. На этой встрече этой высокой тройки даже присутствие премьер-министра Фелипе Гонсалеса было неожиданным, потому что не предусматривалось заранее. Горбачев вернулся в посольство, где все мы остановились, поздно вечером, приказал разыскать — собственно уже поднять с постели — меня, двух своих помощников и с помощью переводчика, то есть апеллируя к его записям, стал возбужденно пересказывать долгий и важный разговор в загородной резиденции короля. Но об этом чуть позже.

Что же касается самой конференции, то ее ход и результаты известны до мельчайших деталей. Си-Эн-Эн транслировала ее от первой до последней минуты. Сотни корреспондентов расписывали, как водится, каждое слово, каждый поворот головы основных ее участников. Упомяну лишь о некоторых, маргинальных подробностях, которые именно в силу второстепенности своей нагляднее передают нешуточное напряжение, господствовавшее в пышных королевских покоях.

В те вечерние часы, которые Горбачев и Буш провели в гостях у короля Хуана Карлоса в его загородном доме, я побывал во дворце «Ориенте», гостеприимно предоставленном для работы конференции. Перед этим у нас в посольстве шефы протокола, наш и испанский, так долго и скрупулезно объясняли мне — человеку, которому завтра ударом деревянного молотка предстояло открыть конференцию,— порядок сбора, появления и рассадки высочайших и высоких гостей, то есть президентов и министров, что я совершенно запутался и попросил все это показать на месте.

Ну вот теперь все явно. Король, премьер-министр и министр иностранных дел Испании ожидают главных гостей в тронном зале, в двух переходах от того, в котором будут проходить пленарные заседания. Первыми, как расписано, по-

являются Буш с Бейкером. Испанцы их приветствуют и вместе с ними ждут нас. Через четыре минуты появляемся мы с Горбачевым. Приветствия, знакомства. Затем три министра иностранных дел покидают короля, премьера и президентов и направляются в зал заседаний, где занимают свои места в президиуме — по правую сторону от трибуны. Через пять минут в зал направляются высочайшие персоны. Когда и они займут свои места, по левую сторону от трибуны, я стукну по столу молотком со словами: «Конференция... открыта».

И вот утро. Мы с Горбачевым в сопровождении тучи протоколистов поднимаемся пролетами торжественной лестницы, направляясь в тронный зал. Портретами королевских предков смотрит на нас история Испании. Я рассказываю Горбачеву то, что описал выше, не преминув заметить, что этим порядком нам оказана особая честь — американцев ждут только испанцы, а нас — испанцы и американцы.

— Американцам они это совсем наоборот, наверное, объясняли,— усмехается Горбачев. И с этими его словами мы входим в Тронный зал, где, к моему величайшему удивлению, я обнаруживаю только хозяев. Американцев нет. Значит, поменяли нас местами в последнюю минуту, думаю я, со смущением вспоминая свои объяснения Президенту. Приветствия, рукопожатия, даже объятия. Это я с королем и Гонсалесом встречаюсь впервые, а с Горбачевым они — старые друзья. Треск затворов, вспышки фотокамер, стволы телекамер... Американцев все нет, а нам с Горбачевым уже предлагают пройти в зал. Опять все не так, как мне вчера рассказывали. Спросить не у кого. Протокол в этот зал не допущен. Входим, торжественно эскортируемые, в зал заседаний и обнаруживаем — вернее, я обнаруживаю, потому что Горбачева это мало волнует,— что и здесь Буша и Бейкера на отведенных им местах нет. В зале же при нашем появлении — легкое и веселое оживление. Мы достигаем предназначенных нам мест, оживление усиливается, и нас вдруг «заворачивают» обратно. Мы возвращаемся в тронный зал и видим здесь всю большую пятерку — король, премьер, Ордоньес и Буш с Бейкером. Оказывается, Президент и госсекретарь, покинув Тронный зал преждевременно, тоже побывали уже в зале заседаний и, обнаружив свою, вернее, испанского протокола, ошибку, пошли нам навстречу — и мы разошлись. Как бы то ни было, мы наконец все вместе. И теперь уже в точном соответствии с первоначальными указаниями перестаравшегося протокола направляемся поочередно — сначала министры, потом король и президенты — в зал заседаний. Все это на виду у всей Испании да и у всего мира — Си-Эн-Эн ведет прямую, живую передачу.

Молотком я ударяю по столу тем не менее в точно назначенное время. На трибуну поднимается Фелипе Гонсалес, потом — Буш и Горбачев... Начали!

На следующий день напряженное, но, слава Богу, ровное течение конференции чуть было не обрывается из-за словесной дуэли премьер-министра Шамира, который, оставив дома Дэвида Леви, сам возглавил делегацию, и министра иностранных дел Сирии Фарука Эль Шараа.

Стороны выступают по второму разу. Есть возможность ответить на критику. Шамир говорит, что в Сирии «один из самых репрессивных террористических режимов в мире». Может ли Эль Шараа остаться в долгу? Он предъявляет собравшимся плакат времен британского мандата в Палестине, которым объявлен полицейский розыск Шамира за участие в террористических акциях. Зачитывает «приметы преступника»: рост 165 сантиметров, большие уши, неопрятная внешность... Слов нет, Шамир сам напросился на ответный удар, но он,

что называется, ниже пояса. И все это — под моим председательством. И мне как председателю вмешиваться в ход прений, тем более брать чью-то сторону, не положено.

Не исключено, что Шамир своей непростительной резкостью хотел подтолкнуть сирийцев, самых трудных своих «партнеров» по переговорам, к уходу с конференции. Шараа ответил ему тем же, да еще перешел на личности. Что будет дальше?

Положение спасают жесткие, но выдержанные по тону выступления ливанца, иорданца и палестинца. И все же перерыв, объявленный мною на двадцать минут, продолжается больше двух часов. Бейкер беседует с сирийским министром, я — с израильской делегацией. Потом мы меняемся партнерами.

Наши с Бейкером выступления в завершение заседаний вносят, кажется, дополнительное успокоение.

Наступает пора — это опять выпадает на мою долю — стукнуть молотком: «Пленарное заседание объявляю закрытым». Все поднимаются с мест, но тут Эль Шараа неожиданно просит слова. «Конференция не завершена, она лишь прервана и может быть возобновлена в любой момент с согласия сторон»,— говорит он. Реплика сирийского министра отражает различные толкования статуса двусторонних переговоров, которые должны начаться на днях. Арабы рассматривают их как органичное продолжение конференции, Израиль толкует как совершенно самостоятельное мероприятие, которое вовсе не обязательно должно начаться сразу же после пленарной сессии. Моя формула, тщательно «обкатанная» сопредседателями, скрупулезно точно отражает суть дела. И Шараа это прекрасно понимает, конечно. Но такова уж логика полемики. «Именно это я и сказал, — я примиряюще повторяю,— закрыто лишь пленарное заседание. И оно, я согласен с уважаемым оратором, может быть возобновлено в любое время с согласия сторон».

Дальнейшее развитие событий тоже известно. После двух дней консультаций двусторонние переговоры состоялись-таки, и именно в Мадриде, как того хотели арабы, да и сопредседатели. Расставаясь в испанской столице, мы с Бейкером условились предложить следующий тур двусторонних переговоров провести в Вашингтоне, а многосторонние начать в Москве. Горбачев, который был уже дома, как всегда, не сразу, но согласился с идеей пригласить всех участников в Москву. Но собрались они в нашей златоглавой, когда он уже не был Президентом СССР, да и сам Советский Союз перестал существовать.

Сегодня, когда отчетливо видны все ожидавшиеся и непредвиденные сложности и завалы, которые возникли на пути миротворческого процесса на Ближнем Востоке, я все еще остаюсь оптимистом, все еще смотрю на светлую сторону... Все в мире изменилось, всюду рождается новая политика — и в России, которая стала преемницей Советского Союза, и в СНГ, и в Южной Африке, и в Албании, и в Афганистане...

И никто уже на Ближнем Востоке не может позволить вести себя так, словно Берлинская стена все еще на месте, а конференции в Мадриде никогда не было. Выражение «Мадридский процесс» прочно вошло в политический, да и в повседневный лексикон мирового общения.

Мадрид — последний саммит Горбачева

...Но в те дни в Мадриде разыгрывалась и другая драма, что и настраивало членов советской делегации и ее главу на элегический лад.

Все было, как обычно бывает на встречах на высшем уровне, судя по свидетельствам очевидцев и участников многих предыдущих встреч, и все же — словно вынули душу живую...

Заголовки и аншлаги в газетах, звучавшие бравурно в адрес конференции, отдавали почти похоронным звоном, когда речь заходила о саммите. «Посол несуществующего государства», «Последнее танго в Париже?» — такими веселенькими словами встречали М.С.Горбачева московские газеты.

Да, все вроде бы было, как обычно. И то, что времени на подготовку к встрече после объявления о конференции у президентов было совсем немного и какой-то формальной повестки дня не составлялось, поначалу истолковывалось даже позитивно: пора широковещательных, многоформатных встреч, обреченных на успех, прошла, как миновало после инициативы Буша относительно тактического ядерного оружия и время утомительных, многоэтажных двусторонних переговоров по вопросам ядерного разоружения. Отношения лидеров — и личные, и на государственном уровне — стали такими, что нужда в усиленной подготовке, вернее, заготовке каких-то документов, без обязательного подписания которых и встреча — не встреча, отпала.

Буквально накануне нашего отлета в Мадрид из американского посольства передали письмо президента Буша Горбачеву. Оно касалось как раз ядерной проблематики, недавних заявлений двух президентов. Еще раньше было договорено обсудить все это в Мадриде. Теперь Буш сообщал, как, по его мнению, выглядит дело в связи «с моей инициативой и Вашим мудрым и смелым ответом». Президент констатировал, что «разительное продвижение вперед в укреплении ядерной стабильности достигнуто без продолжительных и сложных переговоров. Преодолены многие препятствия на пути к приспособлению вооруженных сил к новым реальностям отношений между двумя странами».

Буш информировал своего коллегу о том, что именно американская сторона успела уже сделать во исполнение собственных односторонних обязательств. Получалось солидно. Горбачев затребовал справку от министра обороны. Последние данные уточняли уже по телефонной и радиосвязи прямо из направляющегося в Мадрид самолета.

Помимо намерений обсудить с Бушем ближневосточные дела, Горбачев вез с собой просьбу президента Василиу, с которым расстался за час до отлета, адресованную Бушу, — активизировать участие в мирном процессе по решению кипрской проблемы. Предстояло, естественно, рассмотреть югославскую ситуацию, которая приобретала отчаянный характер. Ну и, конечно, весь ком-

плекс вопросов, связанных с экономическим содействием Запада, «семерки» России... Все последние недели Горбачев беседовал в Кремле по этому вопросу с добрым десятком глав государств и правительств, высшими представителями европейских сообществ, мировых экономических организаций и т. д. Несмотря на то что в Москве весьма энергично и эффективно шел процесс выстраивания соответствующих демократических институтов и структур, Запад в лице своих многочисленных посланцев самого высокого уровня все вопрошал и вопрошал — с кем иметь дело, кто кого представляет... Надо было кое-что заявить Бушу и по этому поводу.

Повестка дня была длинной, и портфель с материалами в руках у главного и бессменного помощника Горбачева Черняева был раздут до отказа. В самолете Горбачев попеременно совещался то с одной, то с другой группой своих советников. Все шло как положено. Мы заседали в одном конце салона, Раиса Максимовна, с которой я в этом полете возобновил знакомство, сидела тихо, непохожая на себя, за столиком в другом конце салона, читала книгу.

Президентский Ил-62 мало чем отличался внутренней своей организацией от того министерского, в котором я летал в Нью-Йорк, разве вот только был оборудован президентской связью. А так — такой же длинный и скучный салон с двумя столиками и парой диванов — для главного пассажира, маленькое купе — спальня, куда время от времени удалялась Раиса Максимовна. И еще две маленькие, на четыре и на шесть человек, кабины, в которых с удобствами пассажиров обычного рейсового самолета разместились мы. Я обратил внимание, что, как и в том моем самолете, самым душным и шумным был большой, то есть для главного пассажира, салон.

Перед самой посадкой в Мадриде сообщили, что чету Горбачевых в аэропорту ожидает премьер-министр Гонсалес с супругой. Мне показалось, что это сообщение Михаила Сергеевича порадовало, даже как бы приободрило. Ранее предполагалось, что и того, и другого президента встретят на рабочем уровне, тем более что Буш прибывал один, без Барбары.

На другой день встреча двух президентов в центральном холле нашего посольства была радушной, даже сердечной, особенно пока шла съемка, но все казалось, что обмену приветствиями не хватает, как хорошо приготовленному обеду, какого-то забытого поваром ингредиента, а потому — видимость та же, впечатляющая, а на вкус... За обедом то же ощущение. И даже во время беседы в узком составе — президенты и министры.

Чего же недоставало? Во всяком случае не тем для разговоров. Тут все как положено. Обменялись мнениями по поводу выполнения разоруженческих инициатив и остались довольны ходом дела. Поговорили о Югославии — Буш сказал, что здесь надо, наверное, положиться на Европейское сообщество, о Кипре — Буш закряхтел и сказал, взглянув на Бейкера, что пора, действительно, возобновлять разговор с турками. Прикинули, естественно, шансы на успех Мадридской конференции. Буш задал вопрос о внутреннем положении в Советском Союзе... Началось все, естественно, с разгрома путча, с эмоциональных поздравлений американцев с победой и избавлением от угрозы реванша — ведь после путча лидеры двух супердержав встречались впервые.

Постепенно я начал догадываться, в чем дело. Горбачева не могли не раздражать все эти мудрствования в прессе относительно развала страны и его положения в ней, о чем помощники президентов исправно докладывали шефам. Быть может, он ждал, что Буш как-то выразит свое отношение к этим спекуля-

циям. Подаст знак. Буш знака не подавал. Беседа их, вопреки обыкновению, закончилась точно в срок, так же, как и последовавший за нею завтрак. Пресса, которой не пришлось долго ждать, была, казалось, не обрадована, а огорчена этим.

На пресс-конференции многие вопросы касались предполагаемого флирта американской администрации с республиками, и Буш, опровергая это, дежурно говорил о своем высоком уважении к Горбачеву и безоговорочной его поддержке. Воодушевился Михаил Сергеевич, как я уже упоминал, только после вечерней встречи у короля. Судя по его возбужденному рассказу, там-то он и получил допинг, в котором нуждался. Король и премьер, с их опытом мирной трансформации диктатуры в демократию, говорили, как важно не медлить с реформами и в то же время не выпускать из рук рычагов власти. Демократия не может быть без порядка, без дисциплины, иначе она выродится в охлократию. И хотя замечания испанцев носили порой критический характер, именно это нужно было Горбачеву, чтобы воодушевиться и отмобилизоваться. Так под впечатлением этой ночной беседы он и улетел — сначала к Миттерану, потом — в Москву, где на заседании Госсовета он поделился услышанным с его членами — главами союзных республик, которые выслушали его без особого энтузиазма.

Под тем же настроением, видимо, он ночью переделал свое выступление на конференции в Мадриде, которое, к удивлению участников, оказалось наполовину посвященным нашим внутренним делам. Психологически объяснимый, но не очень удачный шаг. Делегатов, писала наутро мадридская «Паис», «удивило, что Горбачев говорил меньше, чем было отведено ему регламентом, и большую часть своей речи посвятил своим внутренним проблемам».

Откровенно говоря, меня это тоже удивило и даже разочаровало. Конференция в Мадриде была, по моему убеждению, пиком нашей внешнеполитической деятельности после разгрома путча, венчала целый ряд крупных дипломатических акций, которые гармонично вытекали одна из другой. Мы еще раз выдержали «экзамен на чин» великой державы. А это в свою очередь привело к советско-американской встрече на высшем уровне, столь необходимой в этот переломный момент. Впереди — встреча с Миттераном. И вот теперь все это как будто бы увязало в песке.

Впрочем, я и сам не мог не беспокоиться по поводу того, что происходит дома.

Между Парижем, где я, прилетев с Ближнего Востока, участвовал в конференции по Камбодже, и Мадридом у меня было всего пять дней в Москве. Уже в аэропорту, перед отлетом в Мадрид, кто-то из журналистов спросил меня, как я отношусь к заявлению министра иностранных дел Козырева, что в МИДе СССР надо в будущем оставить не более трехсот человек для исполнения тех немногих функций, которые поручат ему республиканские министерства.

Нимало не озабоченный вопросом, я выразил предположение, что это всего лишь обмолвка Андрея Владимировича. Или пресса исказила. Накануне отлета на Ближний Восток мы с ним говорили и обнаружили сходство наших подходов к распределению полномочий и к формам взаимодействия союзного и республиканских внешнеполитических ведомств.

В Мадрид, однако, пришла весть, что Борис Николаевич Ельцин высказался на заседании Верховного Совета РСФСР в том духе, что союзный МИД надо бы сократить на 90 процентов. Это сообщение озаботило меня сильнее. Но тут я решил отшутиться. Корреспонденту московского телевидения сказал, что,

видимо, это — метафора. Ведь когда встречаются два человека и один другому говорит, что, мол, не видел тебя тысячу лет, никто не воспринимает это буквально.

У корреспондента московского телевидения были вопросы о ходе Мадридской конференции — я считал это главным в интервью,— но в Останкино отсекли эту часть, зато мое замечание о метафоре передали в эфир. Несколько раз подряд. Видно, понравилось. Или хотелось рассердить Ельцина?

Юмор мой, увы, дошел не до всех. Панику на Смоленской, как мне сообщали мои первые замы Ковалев и Петровский, он не предотвратил. Послышался даже ропот, что, мол, министр сидит в Мадриде, когда дома крыша горит. Ходила даже петиция по руками, неизвестно кому адресованная. Вначале я прочитал об этом в «Известиях» и не поверил, глазам своим. Мне казалось невероятным, чтобы серьезные люди, дипломаты, с которыми столько за эти без малого три месяца пудов соли было съедено, могли рассуждать таким образом. Ставить на одну доску какие-то внутриведомственные дела и судьбу конференции. Увы, наивность моя была наказана, когда из Москвы шифром мне «перегнали» заявление, подписанное одним из заместителей, моим выдвиженцем, кстати, и рядом других больших и малых начальников и экспертов, в котором черным по белому так и было сказано: надо не мир на Ближнем Востоке восстанавливать, а МИД спасать.

На дворе 31 октября. Четверг. Пленарные заседания конференции закончились. В воскресенье, отведя два дня на консультации, мы с Бейкером планировали усадить конфликтующие стороны за столы двусторонних переговоров. С тем чтобы в тот же день к вечеру и разлететься по домам с чувством выполненного долга. На понедельник, 4 ноября, было назначено заседание Госсовета. Один из вопросов повестки дня — о реорганизации МИДа. Мои основательно подготовленные предложения были еще перед Мадридом направлены в Госсовет и Президенту. Я чувствовал себя уверенно — вернусь и доложу.

— Борис Дмитриевич,— сказал мне многоопытный мой заместитель, он же главный эксперт по Ближнему Востоку Белоногов,— мой вам совет — заказывайте на завтра самолет и летите. Как раз будет у вас два дня — суббота и воскресенье — подготовиться к выступлению, успокоить народ. А мы уж тут как-нибудь справимся. Если полетите завтра во второй половине дня, успеете еще встретиться с палестинцами, они опять попросили о встрече.

Подумав, я счел за благо прислушаться к доброму совету.

В разгар подготовки конференции в одной из наших газет, кажется, это была «Независимая», мелькнул заголовок: «Как Белоногов спасал Бейкера». Это не было преувеличением. В конце сентября госсекретарь позвонил мне в Нью-Йорк из Аммана, где он находился в очередном, восьмом по счету, вояже на Ближний Восток, попросил меня направить нашего эксперта в Тунис — «надавить» на Арафата, чтобы тот послал «своих людей» в Амман составлять список палестинской части совместной иордано-палестинской делегации. Он признался, что для него самого попытки заполучить их в Аммане оказались непосильными. Белоногов полетел в Тунис, где у него состоялись три встречи с лидером ООП, общей продолжительностью в семь часов. Через сутки, как совершенно точно сообщала газета, в Амман прилетела Ханнан Ашрауи. Она получила из рук Бейкера документ с американскими гарантиями палестинской стороне и приступила к формированию делегации, которое, помните, продолжалось и тогда, когда я уже покинул Иерусалим.

Теперь у Белоногова нашелся неожиданный союзник в лице Бейкера. Когда я сказал Джеймсу, что, возможно, вынужден буду улететь в Москву несколько раньше, чем мы об этом уславливались, он огорчился и в высшей степени деликатно поинтересовался, в чем причина. Поскольку вопросы о будущем МИДа Буш и особенно Бейкер, как это ни покажется странным, поднимали в беседах с Горбачевым в Мадриде: как же, мол, можно нападать на внешнеполитическое ведомство в такой момент, когда его руководитель исполняет здесь мирового значения миссию,— я решился намекнуть Бейкеру, в чем дело, и он поддержал мое решение. Даже сказал, что поговорит с Бушем, чтобы тот позвонил Ельцину. Видит Бог, у меня и в мыслях не было этого, и я до сих пор не знаю, был ли сделан такой звонок.

Глава четвертая

Пресловутая эпоха

Вместо предисловия

ИЗ РЕЦЕНЗИИ МИХАИЛА ЛИФШИЦА, ПИСАТЕЛЯ, ИНЖЕНЕРА, МНОГО ЛЕТ ПРОРАБОТАВШЕГО В ВПК

Книга «Пресловутая эпоха» — шикарная портретная галерея. Множество заметных, интересных, страшных и загадочных лиц изобразил в своих картинах-главах умный и тонкий художник. Важная, быть может, главная особенность книги — со всеми своими героями автор был знаком, со многими общался на равных, со многими, как теперь говорят, имел общие проекты. Поэтому многие из его героев схвачены за «главное место», показаны в самом сокровенном.

Глава о Ельцине полнее и ценнее, чем книга Коржакова. Глава о Суслове великолепна, и я с удовольствием и многократно повторяю про себя слова автора о единственной роскоши, которую позволял себе этот аскет, — властвовать, и действительно, властвовал роскошно.

Удачных глав много, и про каждую есть что сказать. Большая часть книги написана хорошо, а местами — блестяще.

Б.Д.Панкин рассказал, в основном в первой части книги, что такое советская элита и как она функционирует, и кто в нее попадает (попадал). Лидер государства с помощью одних только чиновников управлять страной не может. Нужны интеллектуалы. Вот в книге и показано, чуть ли не по пунктам, кто они такие, номенклатурные таланты и умники. Рассказы об этих умниках появлялись в печати последних лет, но писали их либо гневные обличители, иногда и с тайной завистью, что сами из этого корыта не хлебали, либо деятели, у которых от сладкой новой жизни отшибло память, и они запомнили только, как «самоотверженно трудились и о народе заботились». Борис Панкин, в отличие от многих, сохранил свежий и верный взгляд, рассказал читателю о явном и скрытом советского Двора.

Обо всем этом, в том числе и про себя, Панкин пишет смело, просто и не отвлеченно, а как об обстоятельствах жизни. Никто так не писал.

Тема формирования и функционирования элиты проведена Панкиным ненавязчиво, во многом, как факты его собственной биографии. Вызывает уважение и удивление, как автор, с юных и бедных лет «оторванный от народа», записанный в привилегированный класс, сумел так интересно и непосредственно написать обо всем этом чинодральстве.

В заключение надо сказать, что книга написана с юмором.

ИЗ ВСТУПЛЕНИЯ К РЕЦЕНЗИИ И РЕЦЕНЗИИ Г.И.БЕЛЕНЬКОГО, ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ, ДОКТОРА НАУК, ПРОФЕССОРА

Автор этих строк — бывший школьный учитель Бориса Панкина. Не многим учителям выпадает на долю видеть более чем пятидесятилетний отрезок жизненного пути своего ученика.

Я благодарен Борису Панкину за теплые слова, прозвучавшие в книге. Но, как увидит читатель при знакомстве с «Пресловутой эпохой», ее высокая оценка отнюдь не связана с чувством личной благодарности рецензента.

…Автор счастливо избежал слабости большинства мемуаристов — исключительного внимания к собственной персоне. Судьба сводила его с Михаилом Шолоховым, Константином Симоновым, Булатом Окуджавой, Александром Твардовским, Валентином Катаевым, Мариэттой Шагинян, Владимиром Буковским, Астрид Линдгрен, Олегом Табаковым, Юрием Гагариным, Галиной Улановой, оставляя сейчас в стороне ключевых политических деятелей той самой пресловутой эпохи, котрым тоже посвящены отдельные главы: Хрущев и Брежнев, Горбачев и Ельцин, Марагарет Тэтчер и Улоф Пальме, Дубчек и Гавел…

К каждому герою и персонажу — свой ключик, для каждого — своя палитра.

У автора — обостренный слух и наметанный глаз журналиста и художника слов. Мы слышим сочную народную речь его бабушки или сторожа Федотыча на правительственной даче, живые диалоги спорящих политиков и дипломатов, неторопливый говор писателя Троепольского.

На эпохе, названной автором пресловутой, лежит трагический отсвет, который искусно передает писатель. …Тем не менее повествование не вызывает мрачного чувства, ощущения безысходности. Оно пронизано шуткой, светлым юмором, даже самоиронией…

ИЗ РЕЦЕНЗИИ ОЛЬГИ КУЧКИНОЙ В «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ»

Странно, что человек, сделавший оглушительную карьеру от литсотрудника «Комсомольской правды» до министра иностранных дел (а еще главный редактор КП, а еще посол в трех странах), примерял к себе жизнь диссидента. Перебрав именитых, с кем свела работа, от Алексея Аджубея до Горбачева, Галины Улановой и принцессы Дианы, кому главка, кому две строки, о ком с искренней симпатией, о ком с такой же антипатией, Панкин, с его высоким самомнением, обращается к Владимиру Буковскому, с которым встретился и подружил в Лондоне: «И сколько еще раз потом мое чувство собственного достоинства и уважения к себе разбивалось, как морская волна о скалы, о судьбу и личность этого человека».

ИЗ СТАТЬИ ДМИТРИЯ БАБИЧА В «МОСКОВСКИХ НОВОСТЯХ»

Кому-то может показаться, что все это — далекая история. Но разве и сегодня не востребованы «разбитные идеологические бойцы», способные «переводить ортодоксальные постулаты на слегка приблатненный язык», как иные персонажи из книги Панкина… Так что не будем торопиться с выводами, какая эпоха лучше…

ИЗ СТАТЬИ АННЫ ЧЕБОТАРЕВОЙ В ГАЗЕТЕ «ВОСКРЕСЕНЬЕ»

По признанию автора, главное, что он хотел выразить в своей книге, да и всем творчеством, это то, что «каждый великий по-своему мал, и каждый малый по-своему велик».

ИЗ СТАТЬИ ЮЛИИ РАХАЕВОЙ В «ИЗВЕСТИЯХ»

Книгу ждали, и это не удивительно… Автор многое и многих видел и знал. Но ведь надо еще и уметь обо всем этом рассказать. Так вот Панкин из тех, кто сумел.

ИЗ СТАТЬИ АНАТОЛИЯ ЮРКОВА В «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ»

В книге Панкина каждый герой живет своей жизнью, а не жизнью автора, точнее, не жизнью, откорректированной автором в соответствии с его мировоззрением и выбором.

В «Пресловутой эпохе» каждый объект и субъект исследования индивидуален — и явление, и человек, и сюжет и даже, извините, баран… Тот баран, которого Давид Кугультинов вместе с Константином Симоновым везут из Калмыкии в Волгоград в багажнике в подарок своему другу Михаилу Луконину по случаю его юбилея. Тот баран, который будучи помещен по прибытии в ванну, съел всю «зелень», привезенную к праздничному столу грузинскими собратьями юбиляра.

Как говорили классики, истина всегда конкретна. Оказывается, кумиры могут быть в жизни и другими. А совсем не такими, как пишут о них в учебниках. От старого солдата, которого хоронят вскладчину, до первого (и последнего) Президента СССР, вычеркнутого из власти, но оставшегося действующим лицом в жизни.

Люди, интересующие Панкина, чем-то похожи друг на друга — нет, не профессией, не ремеслом, а скорее звучанием души.

ИЗ СТАТЬИ ЕВГЕНИЯ РИВЕЛИСА, КАФЕДРА СЛАВИСТИКИ СТОКГОЛЬМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ПЕРЕВОД СО ШВЕДСКОГО

«Пресловутая эпоха», новая книга Бориса Панкина, вышедшая недавно в Москве, — это одновременно и настоящая литература, и совершенно уникальное свидетельство, обладающее неоспоримой доказательной силой. В едва ли не по-чеховски исчерпывающем описании многочисленных и значимых человеческих типов общества, выполненном с психологической точностью и наблюдательностью, проступает эпоха с ее лицом и душой, анатомией и физиологией — без цензуры и сентиментальности, что относится и к самоимиджу автора… Ни роман, ни чисто документальное произведение не могли бы произвести такого эффекта — ощущения широкого и многогранного литературного повествования, вырастающего из свидетельских показаний.

Дядя Вася и юный тимуровец

Война к нам, как и ко всем москвичам, пришла в 12 часов дня 22 июня 1941-го года выступлением Молотова. Меня оно застало в комнате моего приятеля и соседа, десятилетнего, как и я, Юрки Бурлая. Когда из висевшей на стене черной картонной тарелки по имени «Рекорд» прозвучали последние слова Вячеслава Михайловича: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!», мы в недоумении посмотрели друг на друга.

Нет, не о том, что много позднее стало притчей во языцех, — почему выступил Молотов, а не Сталин, мы спрашивали друг друга взглядом. Мы не понимали и радовались: неужели же фашисты такие идиоты, что не понимают, что рабочий класс Германии немедленно восстанет против войны с Советским Союзом, а гитлеровские вояки сразу же начнут сдаваться в плен нашим красноармейцам.

Услышанное через несколько часов по тому же репродуктору сообщение, что один гитлеровский ас уже приземлился на своем то ли «мессершмитте», то ли на «фокке-вульфе» на одном из наших аэродромов, только укрепило уверенность в близости полного разгрома фашистов.

Пока же я устремился по длинному коридору нашего барака в Ново-Останкине, куда выходило сразу двадцать дверей, к себе в комнату, которая в обиходе называлась все же квартирой.

Отец был в командировке. Мать и гостившую у нас двоюродную сестру Женю — приехала на пару недель из Ашхабада — я застал с пустыми продуктовыми сумками в руках.

— Бери и пойдем, — сказала мне мама, протянув одну из них.

Мы поспешили в ближайший магазин, который называли «домовкой». Там уже стояла очередь...

Через пару-тройку дней очереди схлынули, правда, ненадолго. Но мать и сестра, наверное, предвидя, что скоро они снова появятся и уже навсегда, продолжали свои неутомимые хлопоты, выезжая почти каждый день на несколько часов в «город» — так мы, москвичи с останкинской окраины, называли центр столицы. Я под разными предлогами исхитрялся оставаться дома. Один из таких предлогов был более чем уважителен. Во дворе начали рыть бомбоубежище, в нашем случае именуемое «щели», и надо было, чтобы кто-то от каждой квартиры ежедневно участвовал в этой работе.

Так и случилось, что, когда появился дядя Вася, младший папин брат, который с женой и двумя дочками от этого своего второго брака жил под Москвой в Павловском Посаде, дома не было никого, кроме меня и моего младшего брата, которому в ту пору было всего четыре года.

С дядей Васей мы были старыми знакомцами и, насколько это было возможно при двадцатилетней разнице в возрасте, даже друзьями. Когда отца после окончания Московского автодорожного института послали в Бурят-Монголию начальником рейсового гаража на строительстве дороги Улан-Удэ — Улан-Батор, дядя Вася работал у него шофером и иногда брал меня с собой в длинные рейсы между столицей республики и пограничным с Монголией городком Кяхта, где мы временно жили.

Когда мы все вернулись в Москву, он взял меня с собой в отпуск в Сердобск Пензенской области, откуда происходил весь отцовский корень, и мы там с ним бродили по лесу, ловили рыбку и в маленькой избушке на берегу Сердобы, где жили мои бабушка с дедушкой, слушали их рассказы о прежнем крестьянском житье-бытье. Теперь дядя Вася был в неопределенного цвета костюме, косоворотке без галстука и с вещевым мешком за плечами. Он, я почувствовал, был ужасно огорчен, просто убит, когда обнаружил, что, кроме нас с братом никого нет дома. Он сбросил свой мешок с плеч, расстегнул пуговицу на вороте рубашки, сел на кушетку и закурил. Выяснилось, что времени у него в обрез, что через три часа он должен быть на сборном пункте, — мне уже знаком был этот термин, — что зашел попрощаться да вот...

Я сказал, что мама, может быть, еще успеет вернуться, а отца вообще нет в Москве. Он еще до начала войны уехал в командировку, куда точно — не знаю, и что-то вот задержался.

Не помню, убейте меня, о чем еще мы говорили с ним те полтора часа, которые он провел в нашей комнатушке, тесноты которой я тогда, кажется, совсем не ощущал, хотя за последние дни в ней стало еще теснее от массы закупленной продукции.

Помню только, что пили чай, который я подогрел в чайнике на общей для всех двадцати комнат кухне, и грызли бублики, которые были тогда непременной частью чаепития. Наконец, взглянув еще раз на часы, он поднялся и забросил на плечи свой дорожный мешок.

Мы вместе вышли из дома. По соседству со входом (подъездом это никому в голову не приходило называть), соседи, среди которых были и мои дружки, закладывали специально привезенным дерном крышу «щели». Дядя Вася молчал. Я же вдруг ощутил острую потребность что-то сказать ему на прощанье. Ведь он, может быть, уже завтра-послезавтра будет на фронте.

Я даже знал приблизительно, что я должен был ему сказать. Я в мои десять лет был заядлым книгочеем. И конечно, гайдаровский Тимур был моим любимым героем. Я даже пытался уже организовать что-то вроде тимуровской команды у нас во дворе, но почему-то не получилось.

Итак, я ощущал необходимость что-то сказать дяде Васе в духе того, что Женя, подруга Тимура, говорила, провожая, своему военному отцу — человеку в длинном кожаном пальто и со шпалами в петлицах. Повторяю, я знал, что сказать, но почему-то слова не шли у меня с языка.

Все же я взял себя в руки и пробормотал что-то вроде того, что «бей врагов как можно больше...» Быть может, я пожелал ему быть героем?

Или обещал, что мы здесь в тылу будем выполнять свой долг? Быть может, я при этом даже посмотрел на крытую черным толем крышу нашего двухэтажного дома, куда мы с ребятами рвались по ночам при звуках воздушной тревоги вместо того, чтобы, как было велено, идти в бомбоубежище, то бишь в почти уже отстроенную «щель»? Может быть, не помню. Помню только, что он как-то

странно посмотрел на меня и, выпростав свою правую ладонь из моей левой, сказал:

— Ну, я пошел... Передавай привет...

С ощущением человека, сделавшего что-то не то, я смотрел ему вслед, пока он не исчез за углом, и словно желая искупить неведомую мне вину, я рванул к своим достраивать «щель». Не помню, сколькими годами позже я добрался до третьего тома «Войны и мира» и прочитал с внутренним облегчением, что так же трудно и неловко было героически настроенному Пете Ростову в его 16 лет выдавить из себя слова «Когда отечество в опасности», требуя согласия родителей отпустить его в действующую армию.

Когда зимою того же года в Сердобск, куда нас с матерью и младшим братом отправил к своей родне отец, пришла похоронка — Панкин Василий Семенович, военный шофер, пал смертью храбрых при обороне Ленинграда на Ладоге, я рыдал, кажется, не только от горя, но и от стыда. Наверное, с тех пор у меня и появилась аллергия к громким словам.

На ловца и зверь бежит. Когда эти строки были написаны, прочитал в давнем, но только в мае 1999 года опубликованном интервью Юрия Роста с Булатом Окуджавой: «Я не помню, чтобы простой народ уходил на фронт радостно... Война была абсолютно жесткой повинностью».

Тетка Маша, или Бабушкино заклятие

Тетка Маша — так в шабрах, в соседях то есть, звали мою бабушку, Марию Павловну, мать отца. Соседей в ту пору, о которой я хочу рассказать, у них с дядей Семеном, моим дедушкой, было раз, два да обчелся. Что взять с маленького хуторка в трех километрах — и все лесом от Сердобска, на берегу тихой, с плоскими камышовыми берегами в этом месте, реки Сердобы. Когда-то, до раскулачивания, были тут пасеки у крепких крестьян, чьи усадьбы, как они любили их называть, стояли в Пригородной слободе, под самым носом у города.

— Так, для баловства держали, — объясняла мне бабушка, как взрослому, — полдюжины уликов за землянку. А там вишь как обернулось, когда дедушку твово взяли, что было в подсобку, стало наиглавнеющим.

По тем ли, иным ли причинам, но лишь бы укрыться от начальственных домогательств, собрались в этих местах глухой да губастый, как бабушка говорила со смехом, утирая платочком сложенный в розеточку рот. Вот диво — хоть и недалеко было от районного центра, но не трогали власти тех, кто здесь поселился. Две бабы-бобылихи, одна бывшая монашенка, тетя Поля, другая в прошлом — депутат сельсовета. Тетя Лена Ермакова.

Дядя Боря с сыновьями Петькой и Павликом, любитель порассуждать о злонамеренной политике Америки, или САСШ, как он называл ее. И вот еще Иван Михайлович Мордвин, который и будет вместе с бабушкой героем этого моего рассказа. Я тогда уже девятый класс закончил и приехал к старикам на каникулы. Свидетелем этой истории я не был, но бабушка так ее рассказывала, что, если бы и сам я все это видел и слышал, так ясно я бы ее не запомнил.

— Смотрю, сосед наш, из мордвинов, ходит по двору. С топором. Свят, свят!

— Ты чего, мол, Иван Михалыч, ходишь?

— Я, тетка Маша, твою кошку ищу. Она моих трусков поела.

— А ты-то почем же знаешь, миленький, что моя?

— Я знаю. К тебе на двор следы привели.

— Да что, у нее какие-нибудь особенные, что ли, следы-то. Да и не одна она тут. Ты вон поди послушай, как они ночью на потолке орут. Может, и твоя там надрывается.

— Твоя кошка, тетка Маша, твоя, — знай себе талдычит. — Представь ее мне, я ее враз зарублю.

— Как же, родимый, так я ее тебе и представила. Ты ее хоть в глаза-то видал? Знаешь, кака она — бела, черна, сера? Кака?

— Я видел, она летось вкруг моей избы венчалась. Подавай, я ее убью...

С тем, правда, и ушел. А сам, оказывается, в сельсовет, с жалобой. А те Ленке поручили расследовать.

— Тете Лене Ермаковой, что ли? — спрашиваю.

— Ей, кому ж еще. Она ж у нас в епутатах ходила. Епутатка. Навязалась, прости господи, за поллитру. Кроме как лаяться, ничего более не могет. А уж это-то... Уж она и в сердце, и в легкие, и в печенку, всюду насажает... Я, слышь ты, человек государственный. И вот, значит, идут. Впереди эта Елена преподобная с бумагой в руках, сзади — Иван Михайлович, уже с ружьем.

Ленка так это заходит в избу с бумагой, а сама уж глаза налила с утра пораньше, Мордвин, видать, поднес.

— Тетя Маша, я буду говорить, — это у нее такая присказка была: «Я буду говорить».

— Тетя Маша, тебе приказ вышел, я буду говорить. Первое предложение — твою кошку поймать и застрелить. Она у Иван Михалыча трусков поела.

Я, знамо дело, опять за свое.

— А ты как можешь говорить, что моя то кошка. А может, твоя? Ты к его двору-то поближе живешь.

Мордвин, тот знай, свое бубнит:

— Я видел, к тебе следы привели.

Я ему снова про потолок да погребицу. Он матом ругаться. Побежал к себе на огороды — принес полтруска без головы. Вот, туды-растуды, какой твоя кошка беды наделала. Подавай, говорит, ее сюда. Я ее сказню.

А при мне тут Леша наш был. (Муж еще одной моей двоюродной сестры.) Ну, моли бога, он тогда не очень штобы уж пьяный был. Не навроде Ленки. А то бы он их в клочья разнес.

— Ты, — говорит он Иван Михайловичу, — не имешь полного права так выражаться в чужом дому.

Мордвин ему:

— Я не с тобой разговариваю, я с теткой Машей разговариваю.

А он:

— Ты не со мной разговариваешь, а я с тобой хочу поговорить, разговориться... Ты знаешь, что нынче за матершину бывает?

Тот завел — и про гуся и про корову, — а я ему и говорю:

— Ты, Иван Михайлович, почто с этой бумагой да с ружем этим ко мне-то пришел. Ты ее кошке предъяви. Ты кошку мою на суд вызови. Там ее и допросят...

— Ну, и чем же все кончилось? — спросил я бабушку.

— Да тем и кончилось, что достала я бутылку беленькой, налила им по стакану. Да и Лехе заодно. С тем и ушли.

Она по привычке вытерла концами белоснежного своего платка старческие губы:

— Надсядишься-и-и!

Я же припомнил, как несколько лет до того бабушкино искусство разговориться, может быть, даже спасло нас с мамой и младшим братом от погибели. Собственно, даже два таких случая мне припомнилось.

Дело было все в тот же ужасный сорок первый. Я-то, помнится, книгочей-тимуровец сидел во мне крепко, поначалу так это не воспринимал. И все происходящее я долго еще пропускал сквозь призму гайдаровского «Юного барабанщика», «РВС» да львакассилевских повестей, которые помнил чуть ли не наизусть.

Чем больше сходства между наступившей жизнью и прочитанными книгами я находил, тем больше воодушевлялся, на детский, разумеется, манер...

Проводы на фронт, сначала дяди Васи, потом, через неделю, отца... Первые воздушные сначала тревоги, а потом и налеты, дежурства, в тайне от матери, на крыше. Первая брошенная в бачок с песком шипящая зажигалка...

Известие о том, что предстоит отправиться в эвакуацию в Сердобск, к родне отца, я встретил со смешанным чувством. С одной стороны, стояли в памяти прошлогодние каникулы, проведенные на берегу полюбившейся речки, с другой стороны — расставание с боевыми, прямо из книг, буднями.

Примирило с предстоящим путешествием то, что ехать довелось не в обычном пассажирском поезде, а в теплушке. С сеном-соломой на полу, с нарами вместо полок, с неожиданными и надолго остановками где-нибудь в поле или в лесу, когда все женско-детское население составов высыпало наружу и то устраивалось на корточки по нужде, то вглядывалось в небо и вслушивалось в отдаленное уханье — то ли бомб, то ли пушек, то ли своих, то ли чужих...

Бог миловал, к моему глубоко запрятанному разочарованию, бомбежки нас миновали. И после четырехдневной, вместо одних суток, дороги, мы как нож в масло, вошли в родню отца. Мама с братом остались жить у его сестры в Сердобске, а я, конечно же, выбрал Мысы, так называли хуторок из семи-десяти далеко разбросанных друг от друга изб, в одной из которых жили бабушка и дедушка.

Тут на смену Гайдару и Льву Кассилю пришли Вальтер Скотт с Фенимором Купером. Мастерить луки, стрелы, щиты, копья. Воздвигать в саду шатры и вигвамы. Пробираться на лодке-плоскодонке в прилегающие к Сердобе озерца да заводи. Ну и, конечно же, строить планы побега на фронт...

А он подходил все ближе. То слышалась отчетливо канонада, то слухи проносились, что гитлеровская «этажерка» пролетела над городом и обстреляла водокачку. Никого, правда, не убило... То появлялись сонмы беженцев и ходили по домам с протянутой рукой, с младенцами на горбу или под мышкой. До нас, правда, на Мысах, не добрались. И вдруг пришла весть, которая в одночасье вырвала меня из моего полусна.

Пришли мама и другие родственники из города и сказали, что всех «вакуированных» собирают и отправляют в Челябинск. Подальше от войны. Отъезд через три дня.

И сейчас, как вспомню об этом, мурашки по коже бегут. Что меня тогда напугало? Какие подспудные инстинкты сработали? Только я, на удивление матери, уже примирившейся с судьбой, заявил, что никуда отсюда не поеду.

Как так «не поеду»? А вот так, не поеду и все. И для пущей убедительности залез в яму, которую мы с дедом копали для новой погребицы. Буду здесь сидеть и никуда не двинусь. Что хотите, то и делайте.

Сначала над этим невесело посмеялись, потом стали увещевать меня, только не бабушка.Она позвала меня малину собирать. В другое бы время я обрадовался. Не так уж часто мне такое дело.Слишком уж они соблазнительны. Да и не много кустов и грядок у нас было. То ли дело черная смородина — ты, сынок, насобирай лукошко, а там и кидай в рот, сколько хотишь. Все-таки вылез я из своего убежища, веря, что бабушка меня не подведет. Недлинной дорогой к кустам она посвятила меня в свои планы: «Сейчас насобираем ягоды, и пойду в город. В сполком. Просить за вас стану. К Анатолию Петровичу постучусь».

Я тут же вспомнил этого Анатолия Петровича. Судя по всему, он был большим начальником. Потому что с другим начальником, «партийным», как называла его бабушка, да еще с заведующим мельницей, где дед работал ночным

сторожем, несколько раз за лето приезжали к нам отдыхать на бричке, запряженной в пару лошадей, которые, конечно же, немедленно становились участниками моих игр в индейцы и рыцари.

Дед разжигал для «дорогих гостенек» костер и заводил уху. Бабушка волокла все, что было под рукой, и то, что припрятано: беленькую, медок, огурчики с помидорчиками, секрет соления которых знала только она одна. Ну и конечно — ягода всех сортов.

Через полчаса она уже собралась в дорогу. Ненадеванная юбка, новая кофта, ослепительной белизны косынка на седой голове. Корзина с малиной на сгибе локтя. Корзинку у нее тут же забрали, кто помоложе. Так все гамузом и двинулись, оставив на хозяйстве нас с дедом, который тут же засадил меня плести лапти, для чего достал с крохотного озерка, скорее бочага, отмокавшее там липовое лыко, которое совсем недавно мы с ним драли в лесу. Вернулась бабушка только на следующий день, после обеда. Я, истомившийся, подкараулил ее с самого утра, прячась в кустах, как какой-нибудь Чингачгук, хотя, признаюсь, в те часы все Айвенго, Квентин Дорварды, делавары, ирокезы и крестоносцы начисто вылетели у меня из головы.

Заслышав ее шаги, увидел издалека светившийся белый платок, шмыгнул на подворье и прямиком в яму. Бабушка, не заходя в дом, сунула на старую погребицу пустую корзину, сняла платок и обмахнула им запотевшие лоб и щеки.

— Вылезай, коли, — сказала она, пряча улыбку в морщинах. — Не боись. Отмолила. Упала Анатолию Петровичу в ножки...

Я выскочил из ямы, как пробка из бутылки. Целоваться, обниматься с бабушкой было не принято. Моя радость, мое ликование вылилось в суету вокруг нее, в какие-то бешеные, уж точно на манер краснокожих, прыжки навстречу поспешившему из избы на бабушкин голос дедушки.

Эшелон ушел в Челябинск в положенный срок. Но без нас. И уж больше мы о нем ничего не слышали. Может, и благополучно он добрался до Урала, а может... Новостей о разбомбленных составах, и с грузами, и с людьми, было в те месяцы в наших местах не занимать... Да и что нас могло ожидать в Челябинске — оторванных от дома, от родных. Без знакомых, без родственников...

...Вскоре, наказав мне нарядиться «по-городскому», бабушка повела меня за реку, в Пригородную слободу, которая лежала, как и вытекало из ее старого, еще дореволюционного названия, под самым Сердобском, на другом берегу Сердобы.

Сама она тоже оделась на «выход», еще наряднее, вернее, торжественнее, чем прошлый раз: новая кофта в черный горошек и, конечно, ослепительной белизны белый полотняный платок, ее слабость, как я начинал уже понимать.

Накрахмаленные концы ситцевого платка, туго завязанные под подбородком и разведенные в разные стороны, составляли прямую линию.

Путь был неблизкий. Сначала лесом, потом «горою», протянувшейся вдоль Сердобы, которую мы пересекли по мосту — плотине. Тут начиналась бывшая слобода, которую теперь запросто называли Заречка.

Странное это было поселение. Даже для моего детского восприятия. Не поймешь, где улица начинается, где она кончается. Дома то густо стоят, чуть ли не наползая друг на друга, то вдруг пустота меж ними, вся в каких-то рытвинах, буераках, заросших лебедою и лопухами. В провалах виднелись закопченные остовы печей, обугленные, изъеденные жучками тесины...

Бабушка, всегда такая добрая и мягкая, тянула меня за руку, больно дергая и не замечая этого, от пепелища к пепелищу и, указывая пальцем свободной руки то в одну сторону, то в другую, яростно восклицала:

— Вот гляди — это нашего свата усадьба... А здесь сусед наш, Постнов Иван Михайлович, жил, царствие ему небесное, ныне уж и косточки его, поди, давно сотлели. Загубили его душу, говорят, где-то за Уралом-горой.

Я с робостью и недоумением смотрел не столько в сторону, куда указывал бабушкин палец, ставший вдруг необычайно длинным и негнущимся, сколько на ее лицо. Обычно спокойные, даже кроткие уложенные волосы выбивались из-под платка жесткими спутанными космами, платок перекосился.

— Здесь, — остановилась она, наконец, — дедушки твоего была усадьба, отсюда его, сердечного, и отправили под белы ручки в Вятку... А мы, стало быть, на Мысы спасаться...

— Кто отправил? — переспросила она себя, хотя я и не думал задавать ей такой вопрос и боялся ответа. — Сталин ваш любимый отправил, аспид рода человеческого. И как только его земля носит, эдакого-то супостата, прости ты меня, Господи, грешную.

Она глубоко и как бы с облегчением вздохнула: выговорилась. И стала поправлять сбившийся платок. Я потому и боялся ответа, что знал, что сказанное бабушкой было как бы продолжением нашего затянувшегося спора, если можно, конечно, назвать так разговоры бабушки и ее десятилетнего внука, начавшиеся еще в присутствии дяди Васи, с которым я проводил тут в прошлом году свои первые каникулы.

Для меня тогда впервые услышать такое было концом света. И я, готовившийся вступать в пионеры, наскакивал на нее, как молодой петушок, и ощущал себя еще одним Павликом Морозовым, о котором давно уже успел и в книжке прочитать, и по радио услышать, и в театре посмотреть.

Что думал, что чувствовал я теперь, стоя перед заваленной мусором ямой, которая была некогда домом моих предков. И каким домом! В рассказах бабушки это была усадьба, сруб-пятистенок на каменном фундаменте, узорчатые наличники на окнах, резное высокое крыльцо, деревянный петушок на коньке соломенной крыши. Это сам дом. А на дворе, за дубовыми с тяжелым кованым кольцом воротами, — все «поместье» — конюшня на двух-трех лошадей, «клев» для коровы да катух для поросят. Кошарка для овечек.

«Каки мы таки кулаки были? — вскидывала голову бабушка. — Каки таки? Что работали от темна до темна вот этими самыми руками», — она протягивала мне потемневшие от забот, изъеденные временем руки, на которых я и так знал каждую морщину.

— Только вот что и было нашего кулачества. Отца твоего в борозде родила. Зато в достатке жили. Ни к кому одолжаться не бегали. Сами, бывало, милостыню подавали. И под Рождество, и в светлое Христово Воскресенье...

И уж не припомню, продолжил ли я тогда, у родных руин, свой спор с бабушкой. Наверное, нет. Одно знаю, уж никогда не был я в силах забыть этот наш проход, старой да малого, по рытвинам знавшей лучшие времена Пригородной слободы. И когда десять с лишним лет спустя на митинге в Комаудитории Московского университета люди плакали вокруг меня, я не проронил ни слезинки. Хотя и угрызался еще совестью.

Хохловка — это где?

Школьников (так в отличие от бывших фронтовиков называли тогда абитуриентов, пришедших из десятилетки) на отделение журналистики принимали только с золотой медалью. У меня была серебряная, и, несмотря на успешное завершение собеседований, мне предложили... классическое отделение или отделение логики.

Классика была далека и непонятна. Но все же это была литература. Логика — только логика. Пометавшись и потосковав, я выбрал классику.

Сима Соловейчик, с которым я познакомился накануне, выбрал логику. Тоже из школьников и тоже с серебряной медалью. И тоже хотел на журналистику.

Когда в конце августа я пришел на Моховую, 9, чтобы узнать расписание занятий, я обнаружил себя, не веря глазам своим, в списках немецкой группы отделения русского языка и литературы. Немецкой, французской или английской группу называли по языку, который новоиспеченные студенты учили в школе.

Сима по-прежнему фигурировал среди «логиков».

После первого курса я, к великому огорчению моих сокурсников по второй немецкой, где большинство составляли девчонки, перевелся-таки на отделение журналистики и чувствовал себя человеком, которому просто не о чем больше мечтать.

Сима, который, как показало время, журналистике был привержен так же фанатично, как я, если не больше, продолжал учиться на логике, хотя попытку сигануть на журналистику сделал. Но не преуспел. Не помню, думал ли я тогда, что это потому, что он еврей, или нет. Кажется, нет.

А может быть, его еврейство было тут и ни при чем? Просто я уже на третий день своей студенческой жизни двинул на улицу Герцена, 3, левый фланг того же козаковского здания на Моховой, где в двух комнатах-клетушках находились редакция многотиражки «Московский университет» и ее ответственный секретарь Сима Гуревич.

Невысоконького роста, идеально выглаженные костюм и галстук, очки-«велосипеды», под которыми необыкновенно внимательный и добрый взгляд. Иногда мне кажется, что такого взгляда я больше ни у кого никогда уже не встречал.

Сентябрь 1948 года. Несколько дней назад умер Жданов. Наш, первокурсников первый учебный день на Моховой, напротив Манежа и Кремлевской стены, пришелся на его похороны. Уже год бушевали бури по поводу постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», на всех перекрестках кляли Зощенко и Анну Ахматову, о которой я знал из доклада Жданова только то, что в своем «будуаре» она «грешит и кается. Кается и снова грешит».

Как вспомнишь, задним числом мурашки по спине бегают. А на моем пути, сколько ни напрягаю теперь свою память, еще не встретился ни один человек, который отнесся бы зло ко мне, позавчерашнему выпускнику средней школы, вчерашнему абитуриенту, сегодняшнему первокурснику филфака МГУ. Наоборот, все только и делают, что вызволяют меня из разных нелепых ситуаций, в которые я то и дело попадаю по собственному растяпству.

Вот и Сима Гуревич, недолго думая, зачислил меня внештатным сотрудником отдела культуры и быта, выдал, о чем я даже и помыслить не смел, переступая порог редакции, удостоверение в виде красивой бумажки со штампом МГУ и печатью... Заодно и сообщил имя заведующего отделом отделом культуры и быта, куда я был зачислен корреспондентом на общественных началах, — Алексей Аджубей. И внимательно посмотрел на меня. А может быть, это мне так теперь кажется?

Убей меня бог, не помню, был ли Аджубей тогда уже зятем Хрущева. Но помню, что в тот момент я понятия не имел об этом примечательном обстоятельстве...

Мой первый в жизни зав мне понравился с первого взгляда. Чуть выше среднего роста. Плотный, мускулистый. Волна мягких каштановых волос. Лицом же, казалось мне, похож на Аркадия Гайдара, любимого писателя моего детства. Взгляд больших глаз испытующий и одновременно что-то хорошее тебе обещающий.

Аджубей не стал вводить меня в курс забот отдела. Не стал выяснять, что я могу и не могу.

Просто залез в карман своих твидовых штанищ, достал бумажку и сунул мне в руку:

— Это письмо из общежития строителей МГУ. Дуй туда и проверь. И напиши, как у них там. Жалуются, что плохо.

Поехал я проверять, хотя понятия не имел, что, собственно, сие слово означает.

Адрес был — Хохловка, тоже название для меня неизвестное. Когда я написал о том, что там увидел, а было еще хуже, чем у нас в Останкине, двухэтажном бараке на сорок квартир с двумя кухнями и двумя уборными, и протянул написанное Аджубею, он первым делом взглянул на заголовок. Увидел: «Хохловка — это где?» — и просиял. Так и началась наша дружба, которая позднее, когда он был в зените своей карьеры, иногда напоминала отношения Миллионера и Чарли из фильма Чарли Чаплина «Огни большого города». Крепко выпив в компании, он начинал превозносить меня до небес и заявлял, что завтра же назначит меня... Утром, встретив в коридоре «Комсомолки» или на каком-нибудь совещании, куда он приходил уже из «Известий», сухо кивал. Я не сразу понял, что сухость эта была особого рода. Поскольку я всегда был у него кандидатом на продвижение или какое-то особой сложности задание, он не хотел, чтобы меня воспринимали как «его» человека.

А история с заголовком повторилась несколько лет позднее. Журналист «Комсомолки», я вернулся из своей первой заграничной поездки — из Болгарии, где провел месяц. По приглашению, или, как тогда говорили, по обмену, с болгарской молодежной газетой, их «Комсомолкой» — «Народна младеж». Так наградили меня за мою трехмесячную вахту на алтайской целине, откуда я слал в основном критические заметки.

Хотя работал я в отделе сельской молодежи, свой первый болгарский опус отнес, как положено, заведующему иностранным отделом Борису Стрельникову.

— Как назвал? — спросил он с усмешкой. — Небось, хороша страна Болгария?

Я кивнул, не без злорадства. Поскучнев ликом, он нехотя взял у меня из рук рукопись. Взглянул на первую страницу и расцвел: «За границей — но дома».

Я действительно так себя тогда чувствовал в Софии и в Болгарии. В августе–сентябре 1956 года. За два месяца до венгерских событий. Ощущал себя желанным гостем. Хотите верьте, хотите нет. И все мои хозяева из «Народна младеж» именно так ко мне и относились. И никогда уже больше, ни до и ни после, ни в Болгарии, ни где-нибудь еще, мне не посчастливилось встретиться с таким приливом любви ко всему русскому. Которое, как не сразу, но заметил, никто не называл советским.

Но пока я в МГУ на Моховой. Студент первого курса филфака, рвущийся на отделение журналистики. И до смерти Сталина еще почти пять лет.

Как все-таки не погасили факел

Поздним январским вечером 1956 года я был вызван «на ковер». На столе у Главного «Комсомолки» лежала верстка моей обличительной статьи, которая называлась «Как погасили “Факел”».

— Чьи это у тебя тут «старшие товарищи»? — не спросил — рявкнул он, в привычной для меня манере, которая давно уже меня не пугала.

Не уверен, впрочем, звал ли он уже меня на «ты», или стал так называть после всей этой эпопеи. Я-то «выкал» до конца его дней. В тот момент не это меня занимало, разумеется.

— Старшие товарищи? — переспросил я, уже почти не сомневаясь, что статью мою сейчас зарубят, если уже не зарубили. — Первый секретарь Калужского обкома партии Павлов.

Горюнов издал уже хорошо знакомый мне звук:

— Так почему так и не написал?

Меньше всего я ожидал этого вопроса. И воспринял его как предлог, как удобный повод снять статью из номера. Еще со времен ареста и казни знаменитого генсека комсомола Косырева молодежные газеты в тех случаях, когда они отваживались поднять голос на партийного деятеля, какого бы ранга он ни был, прибегали к эвфемизмам типа «старшие товарищи», «окрик сверху» или что-нибудь еще в этом духе.

Можно было, Богу помолясь, с духом соберясь, раскритиковать даже министра, хоть он наверняка был аж членом ЦК КПСС, но не партийного секретаря какой-нибудь сельской первичной организации. То есть можно было, но лишь назвав его «старшим товарищем» или вообще без чина — по фамилии. Иначе будет противопоставление комсомола партии. Самый страшный грех на свете.

В данном же случае (ого!) речь шла о главе парторганизации крупного областного центра. Так что я ушам своим не поверил, когда услышал:

— Вот и надо назвать всех своими именами.

— Так ведь... — заикнулся я, желая объяснить, что я-то с милой душой, — но вы же знаете...

— Надо назвать его по имени,—непонятно на кого ярясь, пропыхтел Горюнов, и я, не помня себя от радости, сказал, что сделаю это за десять минут.

— Нет, — сказал главный, — десяти минут на это не хватит. Тут надо с умом сделать. Не торопясь. А время уже позднее. Номер держать не будем. Ты сегодня поправь. И отдай в секретариат. А я завтра с утра почитаю.

В приемной главного, куда я выкатился, как футбольный мяч в аут, меня ждал целый синклит. Услышанное разделило болельщиков на два лагеря. Спорить мы покатились в отдел.

Какой-то мудрец, их всегда в достатке в любом редакционном коллективе, высказал мнение, что это какая-то игра, и неизвестно еще, устоит ли статья завтра.

— Может, и игра, только не у нас, а повыше, — убежденно сказал мой товарищ по отделу, Алан Стародуб, сын бывшей коминтерновки и революционного китайского поэта Эми Сяо. Рискуя прослыть подлипалой, он не скрывал симпатий к Горюнову.

— Ты давай не рассуждай, а садись и пиши, что тебе сказано, — заключил он со своей китайской категоричностью.

Этим я и занялся. Дописанное отправил через секретариат в типографию. И с утра, с десяти часов, как штык, был уже в редакции. Сидел и вычитывал только что поднятую из типографии мокрую, пачкающую руки полосу.

— Панкин, к Горюнову, — заглянула в комнату щеголявшая лаконизмом секретарь главного Люба. Люба стала популярной, после того как подсказала однажды Д.П. (так мы между собой звали Дмитрия Петровича. — *Б.П.*) фамилию завотделом иллюстрации.

— Позови мне этого, — сказал он, — ну, как его. — И почему-то несколько раз поднял и опустил руку со сжатой в кулак ладонью.

— Драчинского, — догадалась Люба и побежала в фотоотдел. Прогулки по этажу она предпочитала телефонным звонкам.

Горюнов, когда я к нему вошел, сидел над такими же, как у меня, мокрыми оттисками статьи, и несколько «вожжей» уже тянулось из глубин текста на поля.

Вот он сейчас у меня перед глазами — этот абзац, в том виде, в каком он, как и вся статья, был опубликован на следующий день вопреки предсказаниям скептиков:

«Комсомольские секретари просто боялись прямо и исчерпывающе высказывать свое мнение о клубе, о такой необычной “никем не предписанной” затее.

И они выжидали. Это стало ясно, когда горком партии и его первый секретарь тов. Павлов высказались отрицательно. Тов. Павлову показалось, что создатели “Факела” хотят избавиться от руководства комсомола, чуть ли не новую какую-то организацию создать, что клуб станет средоточием дурного влияния на молодежь. Откуда же взялись такие сомнения? К таким неправильным выводам работники горкома партии пришли потому, что о клубе они знали в основном понаслышке, не познакомились с его участниками, не побывали на занятиях секций. Вот тут бы секретарям горкома и обкома комсомола и высказаться, рассказать обстоятельно о добрых делах клуба. Этого не случилось. Они не вступились за клуб, наоборот, сомнению, осуждению было подвергнуто все, что как раз и обеспечивало успех хорошему начинанию.

И при этом самодеятельность и инициатива превратились в непозволительную самостоятельность, а шутливые рисунки плаката в карикатуры на советских людей».

Не помню сейчас всех подробностей нашей совместной работы над этим «многоуважаемым шкафом», но думаю, что первые нарочито громоздкие строки были сочинены все же Д.П., который хоть изысков в стиле не чурался, но в данном взрывоопасном случае предпочитал основательность. Концовка же, с ее гегельянскими оборотами, которыми я, влюбленный в Белинского и Герцена, увлекался со студенческих лет, несомненно, принадлежала моему перу.

— Отдайте ему курсив, — буркнул по этому поводу Горюнов строкой из записных книжек Ильфа.

В результате родилось нечто такое, что сразу поставило статью на обе ноги, придало ей требуемую основательность и призванную обезоружить самого настырного оппонента респектабельную агрессивность, сравнимую с той, что демонстрирует трубящий боевой сбор бенгальский слон.

А началось все с письма, из калужского «Молодого ленинца», звонка из редакции, а потом визита ко мне Булата Окуджавы, который «Окуджавой» в ту пору вовсе еще не был. И до последнего времени работал в этом «Молодом ленинце» чуть ли не завотделом пропаганды. Рассказывал больше пришедший с Булатом мой бывший сокурсник, тоже подвизавшийся в «Ленинце» на руководящих ролях. Валька Жаров.

Окуджава, высокий, чернявый, гибкий, ограничился парой реплик юмористического плана. Где-то витал, как я отметил в своих записях, которые сделал сразу же по уходе гостей.

— Затеяли в редакции создать молодежный клуб, — повествовал Жаров. — Напечатали в газете объявление-приглашение: «Энтузиасты! Здесь штаб по организации молодого клуба “Факел”, самого интересного, самого необычного, самого веселого в мире. Все, кто молод душой, объединяйтесь. Идите к нам!»

Народ и пошел. Только успевай записывать. И вдруг из горкома комсомола указание: «Вы запись ведите, а с работой не торопитесь. Идея клуба хорошая, а почему именно при газете? И так все плохое тащат в газету».

— А что именно? — поинтересовался я на всякий случай.

— Да вот опубликовали статью Окуджавы о формализме в политсети. Вызывают нас двоих и редактора в обком комсомола. Там автора статьи спросили: «Вы со статистикой положения в политсети знакомились?»

— Я делился собственными впечатлениями.

— Значит, положение дел знаете понаслышке...

Приглашенный на заседание редактор областной партийной газеты спросил своего молодого коллегу, Колю Панченко, к тому же еще и начинающего поэта, почему, мол, такие-то и такие-то места «пропустили»?

— Так дискуссия же...

Тот пожал плечами:

— Мы все вычеркиваем, с чем не согласны...

— А что тут неправильного, — высунулся Жаров, стажировавшийся на роль ответственного секретаря.

— Вам еще рано выступать, — сказали ему. — Как бы на этом выступлении не закончилась ваша стажировка.

Потом какая-то дама выясняла:

— Кто это был такой, которому мы на язык наступили?

«Молодежку» обязали опубликовать на ту же тему статью секретаря Калужского горкома. Когда она появилась, сказали:

— Вот и печатайте теперь на нее отклики.

— Да нету откликов-то...

— А вы организуйте, что мы не знаем, как у вас это делается?

— Вот и оказались мы с этим клубом, — с мрачным юмором заметил Окуджава, — в прямом и переносном смысле в противоестественном положении. Зачать зачали, а родить не дают.

Материал просто плыл мне в руки. На бюрократов и перестраховщиков у меня еще с университетских лет была идиосинкразия. Я не выходя из редакции исписал пару блокнотов. Условились, что если что, мне позвонят, и я сразу же объявлюсь. Позвонил сам редактор, видно, допекло, начинающий поэт Коля Панченко, ушедший позднее в диссиденты!

— Увы, экскурсия в Москву только усугубила ситуацию. В ход пошла тяжелая артиллерия — парторганы. Приезжай.

Приехал. Начал «входить в матерьял». Мне рассказывают, что все, что было связано с клубом, в партийных и комсомольских кабинетах читали с лупой в руках:

— «Все, кто молод душой, объединяйтесь»? У нас в районе 18 тысяч несоюзной молодежи. Все молоды душой. Разве всех объединишь?

— «Смелее, острее, без оглядок...» Тут явная попытка уйти из-под контроля.

— «Бюро интернациональных связей». С иностранцами встречаться? А откуда иностранцы у нас в Калуге?

Когда я сам пошел по этим кабинетам, разговор был еще круче. Со мной, «товарищем из центра», разговаривали на родном партийном языке. Без обиняков.

Павлов, правда, поинтересовался:

— Вы, конечно же, член партии? — И не дослушав ответа, моя везуха, понес: — В газете помещали всякий хлам. Да вы сопоставьте эту трепотню и весь этот визг с решениями ЦК ВЛКСМ...

— Инициативная группа, к которой примкнули не совсем советские люди, неряшливо подошла к вопросу. В Уставе клуба, говорят, Окуджава привез его из московских салонов, упустили вопрос о руководстве комсомолом. В программе написали: диспуты по всем вопросам. Вы же понимаете, надеюсь... Стали декларировать отмену политзанятий, заменили их танцульками... И всего этого комсомольские секретари не заметили. Слишком много взяли на себя. С бюро, с пленумом не посоветовались...

Сейчас вся подноготная той истории видится мне куда яснее, чем тогда, когда XX съезд и доклад Хрущева были еще впереди. Но в стране уже все бурлило. И самые мощные импульсы политической лихорадки исходили, как это случится еще не раз и в будущем, из твердыни режима, со Старой площади, из кабинета первого человека в партии, а соответственно, и в стране.

«Оттепель», крылатое слово, брошенное Эренбургом, растапливала льды, но на смену ей снова и снова приходили заморозки. Вот и тут, в Калуге, областные Деды Морозы, которые в схватках Хрущева с Молотовым и Кагановичем явно держали сторону последних, пальнули и по страницам «Молодежки», и по комсомольским областным и городским вождям, которые сначала спасовали перед вольнодумцами, а теперь, оказавшись между двух огней, «ударили жидким», по выражению еще одного словотворца «Комсомолки» Володи Онищенко...

— Значит, я так понял, — торопливо заносил я в свой блокнот (просто слюнки текли!) словесные перлы будущих персонажей своего опуса, — клуб никто не распускал. Поскольку юридически он не был создан, он не мог быть и закрытым.

— Говорят, разогнали клуб. А мы просто поправили его устроителей.

Все это многоголосье, упиваясь лексикой как сторонников, так и противников «Факела», я вложил в девять машинописных страниц. Высунув от удовольствия язык, строчил: «Трусость в нашем представлении неразлучна с робостью во взоре, с краской испуга на лице, а здесь — высокомерный окрик, постукивание стопкой карандашиков по столу, оргвыводы. У такой трусости есть более точное название — перестраховка. И плодятся перестраховщики там, где не внимают голосу масс, а откликаются только на начальственный басок».

Статья появилась на свет как раз накануне очередного Пленума ЦК ВЛКСМ. На нем «Комсомолку», то есть центральный орган комсомола, обвинили в том самом, что в Калуге шили многострадальному, так и не открывшемуся «Факелу»

«Молодого ленинца»: противопоставление комсомола партии: «несоюзной молодежи» — комсомолу.

Мне на пленуме присутствовать было не по чину. Меня таскали по кабинетам. Семичастный, тогда второй человек в комсомоле, допрашивал, правда ли, что на редакционных летучках я критиковал Шелепина.

Я являлся на все эти вызовы, внимательно выслушивал назидания, говорил что-то в ответ, но чувства реальной опасности не появлялось ни разу.

Как же отбивался и отбился Горюнов, не знаю. Но когда на подпись ему положили проект очередного приказа о премиях за истекший месяц, где на первом месте красовался мой «Факел» (триста рублей в так называемых старых рублях при тогдашней зарплате литсотрудника в 1200 рублей), он, по свидетельству той же его помощницы Любы Антроповой, подписал приказ «не моргнув глазом».

Короткая комсомольская карьера Булата Окуджавы, о которой мало кто и помнит, на этом завершилась. Он разочаровался в своей идее хождения в народ, то бишь в плотные слои комсомолии, осел на время в «Литературке» и посвятил себя стихам и песням, со всеми вытекавшими из этого последствиями.

Но эта главка — не об Окуджаве, который еще появится на страницах этой книги. Она — о Д.П. О моем первом главном редакторе.

...С переходом его в «Правду», а потом в ТАСС в наших отношениях мало что изменилось: «Вы наши отцы, мы — ваши дети».

Называть его Д.П. или Дима я позволял себе только заочно.

— Вы какую газету там с Юрой делаете? — спросил он меня однажды грозно по телефону. Аджубей только что ушел в «Известия», а Воронов еще не набрал оборотов.

— Так не я же главный, — смалодушествовал я.

— А кто ты? Заместитель? Вот и замещай! Тебя ж только назначили. У тебя знаешь какой запас прочности.

Несколько лет спустя, застав у меня, уже в кабинете главного, тогдашнего моего зама, присланного на амплуа политкомиссара, о чем Д.П. видимо знал, он поинтересовался его фамилией:

— Сергей Высоцкий? Не знаю такого журналиста.

Мальчишкой из Коврова он оставался всю жизнь. Когда Зимянина назначили секретарем ЦК партии, начальником всей идеологии, Д.П. поведал мне, притворяясь озабоченным, как в Праге, где они вместе, главный редактор «Правды» и генеральный директор ТАСС, были на Конгрессе журналистов, он выдал своему руководителю делегации за какой-то неуклюжий диалектизм в выступлении: «Такой-то персоне надо бы научиться простейшие слова правильно произносить». Теперь припомнит, наверное.

Но нашла однажды коса на камень. Давид Кугультинов рассказал, как ехали огромной делегацией поездом в Псков на один из первых Пушкинских праздников. Он был в одном купе с Беллой Ахмадулиной. Из соседнего купе заглянул к ним таровито Горюнов, с закуской и выпивкой. Выпили по первой, по второй. Вдруг Беллочка, которая все это время неотрывно смотрела на Горюнова, спрашивает:

— А почему этот тип с нами?

Тут даже Горюнов растерялся:

— Белла, вы наверное, не узнали меня, с кем-нибудь спутали...

— Нет, — сказала она с той отчетливостью в голосе, которая у нее появлялась после нескольких рюмок. — Я вас ни с кем не спутала. Вы тот редактор, который печатал о псевдонимах...

Была, была такая страница в его и «Комсомолки» биографии, о которой он сам вспоминал с горечью. Хоть и не без юмора. Все началось с публикации им заметки Михаила Бубеннова «О псевдонимах», появление которой было воспринято как намерение Сталина реанимировать уже было заглохшую, но принесшую столько бед дискуссию о космополитах.

В «Комсомолке», меж тем, к письму Бубеннова, которое в редакцию принес завотделом литературы Шахмагонов, отнеслись профессионально — как к хорошему газетному гвоздю. К тому же автор в фаворе, лауреат Сталинской премии за нашумевшую «Белую березу». Сам Шахмагонов — хоть и продувной мужик, бестия, но вхож... В номер!

Реплика Симонова в «Литгазете» оказалась полной неожиданностью. Запахло поражением. Мысль одна, как ответить? За грудки Шахмагонова. Тот: «Шолохов напишет. Он сейчас как раз в Москве и трезвый. Сегодня же принесу».

— Просто как у Островского или у Сухово-Кобылина, — сокрушенно крутил седою головой мой первый редактор Горюнов, которому и четверть века спустя эта история свербила душу. — Чего ради стравили двух таких писателей? Бубеннов оказался подонком. Он — не в счет. Но тогда одно было на уме — спуску не давать.

В сталинскую пору обычным было выходить в первом часу ночи. В тот раз держали полосу до трех утра. Матвеич, выпускающий — грузный, старый мастеровой, человек со страниц Гиляровского — не выдержал, поднялся из типографии «наверх», в кабинет главного:

— Вы, ученые, газету будете выпускать или нет?

Только в четвертом часу принес Шахмагонов текст за подписью Шолохова. В цеху и над талером снова закипела работа. Честь газеты была спасена. О подобной точке в конце полемики можно было только мечтать.

Реакцию на новую реплику Симонова со скромненьким названием «Еще об одной заметке» можно было, по словам Горюнова, сравнить только с появлением истинного ревизора в финале бессмертной комедии Гоголя.

...Словно для того, чтобы еще более усугубить панику, раздался звонок из ЦК, от Суслова: полемику прекратить.

Сразу стало ясно: Шахмагонов — групповщик. Держать его дальше в газете нельзя. Но как избавиться? Тут как раз вышло очередное партийное постановление. Редактор вызвал его — вам лично надо выступить. Никому не поручайте. Два подвала. Срок — неделя. Через неделю приносит — бред чистый.

— Ну, так вот, пишите заявление об уходе. Или я это — в ЦК, без комментариев...

Написал, ушел.

«Комсомолка» всегда делалась руками азартных людей. И нередко то, что со стороны выглядело хитроумно, а то и коварно разыгранной операцией, являлось лишь желанием «и чтоб, между прочим, был фитиль всем прочим».

Как ни велик был страх, не он один двигает людьми.

...Смерть Д.П. в возрасте семидесяти семи лет 2 июня 1992 года застала меня послом России в Великобритании. 10 июня некролог с портретом появился в консервативной лондонской «Таймс»: «Дмитрий Петрович Горюнов был одним из тех, кто помогал оформить либерализацию культуры в 60-е годы... Его дружба с Алексеем Аджубеем, зятем Хрущева и главным редактором «Известий», обеспечила ему место на внутренних кремлевских советах. И он делал все, что было в его силах, чтобы использовать эту позицию для поддержки многих своих либеральных коллег, а также для внедрения некоторых гуманных перемен...

Как и многие другие реформаторы, Горюнов быстро потерял свои позиции при преемнике Хрущева Брежневе и был отправлен в своеобразную политическую ссылку в качестве советского посла в Кении».

«Его жизнь — свидетельство того, что в конечном счете не обстоятельства лепят человека, а человек — самого себя. Несмотря ни на что». Так написал я в «Комсомолку».

«Запиши, как доехать...»

Судьбе было угодно, чтобы десятилетия спустя после той полемики о псевдонимах в «Комсомольской правде» я вместе с главными ее участниками оказался в одном и том же корпусе знаменитой больницы Мичуринская.

Тот самый корпус для привилегированных пациентов, кивая на который во время наших прогулок по больничному двору Константин Симонов провидчески заметил:

— Все говорят, что в нашем однородном обществе нет базы для многопартийности. Да из одних только почтенных обитателей сего заведения можно организовать две партии, которые будут отличаться друг от друга больше, чем демократы и республиканцы в Штатах.

Я выздоравливал после операции на сломанном при верховой езде позвоночнике. Симонов готовился к оказавшейся для него роковой «выкачке» из легких. У Шолохова были свои проблемы, из-за которых он не покидал палаты. Друг с другом они не встречались.

И вот однажды сестра сказала, что Михаил Александрович просит меня зайти. Я был не на шутку заинтригован приглашением и, как нетрудно догадаться, не заставил себя долго упрашивать.

Меж тем, как оказалось, дело у него было ко мне, как к председателю ВААП, до обидного прозаическое. Ему настала пора поменять резину на своем многострадальном «мерседесе», а по линии ВААП должен был набежать гонорар из Болгарии и Финляндии. Так не могу ли я поручить проверить, сколько там его, то есть гонорара, и заодно помочь купить покрышки в той же Финляндии. Та резина, в которую был обут заграничный красавец, вышла из строя буквально через несколько тысяч километров. Протекторы слоями отлетали.

— Оказывается, и у них мошенники бывают, не только у нас, — усмехнулся Шолохов в заключение своей тирады.

Разумеется, я сказал ему, что все от меня зависящее сделаю. А про себя подумал горько, какими же пустяками вынужден заниматься великий писатель, да еще в столь болезненном состоянии...

Я к тому времени со многими живыми достопримечательностями века успел пообщаться, а то и подружиться. Да и о Шолохове знал и слышал много такого, что заметно поумерило тот восторг, который я с детских лет испытал к автору моих любимых «Тихого Дона» и «Поднятой целины».

Да, и «Поднятой целины», которую я отнюдь не считаю апологией колхозного строя. Просто надо уметь читать эту, с секретом, вещь.

Шолохов и «Комсомолка» родились в один день — 24 мая, хотя и в разные годы. Может быть, и поэтому нам удавалось соприкасаться с «вешенским за-

творником» чаще, чем другим. Один раз, когда мы отмечали очередной, далеко не круглый день рождения газеты в Доме журналистов, его, тоже в тот день новорожденного, по просьбе тогдашнего нашего главного Юры Воронова привез в Домжур Горюнов, видно, сохранявший с ним связи еще со времен той злополучной полемики с Симоновым.

Естественно, что его тут же пригласили на трибуну, и он, хоть и принял уже несколько бокалов своего любимого шампанского, а может быть, именно поэтому, охотно согласился «сказать несколько слов» и пространно говорил об армии и необходимости уважения к ней.

Он был уже где-то в середине своей речи, когда спохватившийся Юра закивал нам всем сразу, кто был из «Комсомолки» в непременном президиуме: «Записывайте».

У кого-то не оказалось ручки, у кого-то — блокнота под рукой. Когда свели все записи воедино — получилось что-то ординарное, дежурное, отнюдь не способное вызвать то упоение, с которым мы слушали нашего неожиданного гостя. Я и сейчас затрудняюсь утверждать, кто был в этом повинен, мы или он.

Десяток лет спустя я сам, уже в качестве главного «Комсомолки», оказался в составе того летнего «литературного десанта», который верхушка комсомола высадила в Вешенской по случаю первых «шолоховских дней». Днем в укрывшей от жаркого солнца лесосеке, на пологом берегу Дона, был устроен пикник для молодых советских писателей и их коллег из социалистических стран Европы. Шолохов появился, сопровождаемый Сергеем Павловым и Юрой Гагариным. Сказав несколько приветственных слов, патриарх потом милостиво побеседовал с каждым, кого к нему подводили, в том числе с Распутиным и Беловым, которые тогда были в зените своей славы.

Им, особенно Белову, задире по натуре, явно не понравилось такое «явление Христа народу», и вечером, на следующем банкете под открытым небом, только уже прямо перед домом классика, в который, кстати, пригласили войти всего несколько человек и отнюдь не упомянутых мною мастеров слова, Белов и вовсе не скрывал своего возмущения «таким барством», подогретого к тому же многократными приемами «ее, родимой».

Я как мог успокаивал его, говоря, что список «избранных», который нам показали, составлен был вовсе не Шолоховым, а его прихлебателями из издательства и журнала «Молодая гвардия», которые, выражаясь по-сегодняшнему, давно уже приватизировали его имя, его славу, а может, и волю. Но мне и самому было обидно, что редактора «Комсомолки» предпочли чиновнику-молодогвардейцу.

Не был я, разумеется, в неведении и относительно появившихся в зарубежных источниках сомнений относительно авторства «Тихого Дона», которые не оставались секретом и для его создателя.

Но было в памяти и то, что когда еще при Хрущеве Шолохову присудили Ленинскую премию за «Судьбу человека», он отказался явиться в Кремль на вручение, заявив, что не хочет получать дорогую его сердцу награду «вместе со всей этой футбольной командой». Он имел в виду группу журналистов и писателей, возглавляемых редактором «Правды» Сатюковым, которые в тот же год получили Ленинскую за свой коллективный труд о Никите Сергеевиче — «Лицом к лицу».

Все это да и многое другое, бродившее во мне, когда я собирался в первый раз открыть дверь шолоховской палаты, словно бы испарилось и уже

никогда не возвращалось после тех немногих часов, проведенных с ним наедине.

...Через несколько дней после первого визита в шолоховскую больничную палату, примерно в тот же час, я снова постучался в ту же дверь, вооруженный бумагами и расчетами, которые по моей просьбе были подготовлены в ВААП. Из них явствовало, что контора вполне способна в короткие сроки помочь своему автору.

Шолохов сидел, вернее восседал, за небольшим круглым столиком в той же позе, в какой я его оставил в первый раз. Сидел глубоко и, казалось, комфортно, хотя встать самостоятельно, без чьей-либо помощи (я знал об этом от медсестер) не смог бы.

— Спасибо, Борис... Дмитриевич, я не ошибся с отчеством? — за ревностную службу нашему авторскому делу, — сказал он, с видимым облегчением сдвигая в сторону бумаги, которые я для пущей верности разложил перед ним. И непонятно было, относилось ли это облегчение к тому, что дело сделано, или к тому, что можно больше не говорить о нем.

— Хочу пригласить тебя в гости ко мне. Домой, — неторопливо продолжал он. — Приезжай лучше летом. Пока рыбалка... Поедем на стерлядь, пока она еще вся не переведена.

— В какое же это время?

— Август. Она в это время в самой упитанной форме обретается. Правда, браконьерская будет рыбалка, — он знакомо уже усмехнулся — чуть заметно в усы. Помолчал. Постучал папиросой о блюдце.

— Расскажу тебе, как доехать. Запомни или запиши...

— Михаил Александрович, — запротестовал я. — Да кто же не знает...

— А я гостю своему хочу внимание оказать, — твердо возразил великий человек. — Так что садись в Москве (наверное, он все-таки и вокзал назвал Курский, при его любви к конкретности в словах) на «Тихий Дон» и езжай до Миллерова. Там тебя машина будет ждать. Машина, кстати, — он снова усмехнулся, — уже на новых колесах будет.

Симонов, расспрашивая меня как бы невзначай об этих коротких встречах с Шолоховым, напоминал школьника, который и боится, и ждет вызова к директору.

Шолохов, когда я упомянул в разговоре, что в больнице находится и Симонов, бросил сокрушенно: «Сдает Костя, не по годам сдает».

Словно бы сам он появился в этой больнице лишь для того, чтобы засвидетельствовать свое богатырское здоровье.

За время каждой из двух наших бесед он выкурил по нескольку сигарет. Неторопливо вытянет сигарету, неторопливо постучит ею о пачку, прежде чем чиркнуть спичкой. Сидит и курит неторопливо, словно впереди у него вечность. А пока хозяин курит, и гость спокоен. Никто, стало быть, не предполагает, что свидание пора бы и завершить.

При явной физической немощи нет ощущения удрученности ею. Глаза голубые. Выцветшие. Веки набрякшие. Но взгляд ясный и пристальный.

Необыкновенной красоты лоб. Шолоховский лоб — по-иному и не скажешь.

Человек, который ясно осознает свое место в истории, но не обременяет этим знанием ни себя, ни других. Наверное, это ощущение сделанного однажды в совершенстве дела, выполненного долга, что бы там ни случилось

потом, жило в Шолохове и наполняло такой натуральной значительностью и спокойствием каждое слово, какой бы порой житейской мелочи оно ни касалось, каждый жест и движение. В ту пору еще не было так затаскано, как десяток лет позднее, слово «харизма», но именно оно пришло мне тогда в голову.

Федор Великий Александрович

Нас познакомил Твардовский — осенью 1969 года. А предсмертный привет от Федора Александровича Абрамова мне передал Солоухин. В мае 1983 года.

Между этими двумя событиями лежит полоса наших отношений. Вот несколько эпизодов. Не обязательно в хронологическом порядке.

Сломав ногу, играя с сыном на даче в футбол, я оказался в больнице. По тогдашним правилам, согласно моей должности главного редактора «Комсомольской правды», это было травматологическое отделение «Кунцевки», как называли в житейском обиходе Центральную клиническую больницу, которая при Ельцине, сделавшем свою карьеру на борьбе с привилегиями, была окутана еще большим туманом легенд и слухов.

О Илизарове здесь, конечно, слышали, но лечить переломы продолжали консервативным способом, благодаря чему, дай бог здоровья травматологу Владимиру Ивановичу Лучкову, я теперь уже не могу с уверенностью сказать, какая нога была сломана. Зато пришлось пролежать, как прикованному, двадцать один день на спине — с травмированной конечностью на специальной подставке. Затем — несколько недель более подвижного существования с гипсом до самого паха.

Что делать на больничной койке человеку, который не может даже повернуться со спины на бок и вынужден неделями созерцать белый, как маски героев Брехта в постановке Юрия Любимова на «Таганке», потолок палаты? Только читать. Судьбе было угодно, чтобы этим моим «чтивом» оказались номера «Нового мира» с романом «Две зимы и три лета».

Каюсь, имя Федора Абрамова мне не так уж много тогда говорило. Нашумевшее в начале 60-х «Вокруг да около» как-то оторвалось в моем сознании от имени его создателя.

Пока Абрамова не стали громить из «молодогвардейского лагеря», я «чистил» его где-то между Михаилом Алексеевым, Проскуриным да Анатолием Ивановым.

Начав читать роман, я уже не мог остановиться. Ходовая фраза, которая, однако, точно передает тогдашнее состояние. Невольные паузы между одной голубой тетрадкой и следующей были просто мучительными.

Сама ли эта проза меня так разобрала или вызванные ею воспоминания о собственном военном детстве, чуть ли не точно в возрасте Михаила, на маленьком лесном хуторе, с той же двужильной, по-пряслински, работой по хозяйству, но роман стал представлять опасность для моего здоровья — так сильно ерзал я по кровати, забыв о всех предписаниях. Читая и воспаряя. Словом, руки сами потянулись к перу, перо к бумаге... В таком положении и застал меня Александр Трифонович, который заглянул в палату узнать,

не тут ли обретается еще один обитатель того же отделения Мирзо Турсунзаде.

Мы с Твардовским знакомы тогда были шапочно. Просто пожимали друг другу руки на различных писательских сходках. Я — со всей мерой моего почтения к нему, классику и бунтарю, он — с благодушием великого человека, привыкшего к такого рода знакам внимания, которыми неизменно оделяли его и друзья и недруги. Увидев разложенные поверх одеяла новомировские тетрадки, он присел рядом. Услышав, что я «пытаюсь сочинить что-то о "Двух зимах"», внутренне напрягся — пресса угрожающе молчала о романе, — но тут же и расцвел, и по-мальчишески, перебивая меня, стал сам выражать свой восторг. Неожиданно для меня в простецких, разговорных выражениях.

Через день он заглянул с верстской своей поэмы «По праву памяти», которую при жизни так и не увидел опубликованной полностью. Наша следующая встреча, уже в коридоре, — мне положили гипс и разрешили ходить, — была посвящена только что появившемуся в сафроновском «Огоньке» так называемому «Письму одиннадцати», запустившему процесс разгрома редколлегии «Нового мира» и увольнения его редактора.

Показалось, что Твардовский посматривает на меня испытующе, и это только подхлестывало меня в работе над статьей. В один из тех дней навестил меня Дмитрий Петрович Горюнов, приехавший в отпуск из Кении, куда был отправлен послом вскоре после падения Хрущева. Была такая манера, которая коснулась позже и меня.

Узнав, что по соседству лежит Твардовский, Д.П. потребовал вести его к нему. Там снова зашел разговор о преследованиях «Нового мира» и соответственно об Абрамове. Горюнов позднее написал об этом в своих воспоминаниях.

Я закончил статью в больнице, назвал ее «Живут Пряслины!» и отправил в редакцию, а через день, с пудовым гипсом на ноге, перебрался на дачу. Приехавшие вскоре навестить меня мои заместители Чикин и Оганов привезли с собой верстку статьи — два подвала, — но стали уговаривать отказаться от публикации. Для моего же, мол, блага.

Речи их, как всегда, были с завитушками, но смысл ясен: статья будет воспринята как поддержка практически уже уволенного Твардовского. В ЦК не любят, когда идут против течения. Я знал это не хуже их, но отказаться от публикации не согласился. Хотя и догадывался, что мои бравые помощники высказывают не свое, вернее, не только свое мнение.

Через несколько дней после публикации мне привезли из редакции помеченное 17 сентября 1969 года письмо Твардовского, которое я не могу не привести почти целиком:

«Дорогой Борис Дмитриевич! Сразу же по ознакомлении с Вашей великолепной статьей об Абрамове пытался дозвониться до Вас — все неудачно. Наконец, узнаю, что Вы больны. Уж не опять ли Вы в больнице, не с ногой ли? Если, не дай бог, там, звоните, пожалуйста, мне в "Н.М." (249-57-04). Звонил Вам и по домашнему телефону — никого. Так или иначе, хочу сердечно поблагодарить Вас за доброе дело — статью о Пряслиных. Я так рад за Абрамова, человека — мало сказать талантливого, но честнейшего в своей любви к "истокам", к людям многострадальной северной деревни и терпящего всяческие ущемления и недооценку именно в силу этой честности. Авось, теперь его хоть в "Роман-газете" издадут — до сих пор открыто отстраняли, предпочитая "филевскую прозу". Конечно, даже при сочувственном отношении к "Зимам и летам" вы могли

(и это уже было бы не мало) ограничиться заказом статьи кому-либо, но Ваша дорога тем особым поворотам темы "положительного героя", до которого вряд ли внешний автор дотянулся. Будьте здоровы и веселы.

Искренне Ваш Твардовский».

Надо ли говорить, что я испытал, читая это письмо. Я до сих пор в тяжелую минуту беру и перечитываю его... Еще через несколько дней, когда я уже перебрался со своим гипсом в Москву, позвонил Федор Абрамов, голос которого я услышал впервые. И которым не переставал упиваться на протяжении следующих полутора десятков лет.

Тем, у кого есть фонтан, Козьма Прутков рекомендовал заткнуть его. Но как быть тому, у кого внутри вулкан?

Федор клокотал денно и нощно, и поводом для очередного извержения, восторженного или гневного, сардонического или с юмором, могло быть что угодно — статья «Живут Пряслины!» и мировой катаклизм, козни против «Нового мира» и проигрыш любимой футбольной команды.

В любую минуту он мог сорваться и наорать на любого, включая и самых близких ему. Правое плечо задрано до предела вверх. Левая нога вперед. Голова откинута назад. Голос не подстать тщедушному его физическому естеству, а мощностью с иерихонскую трубу. Так он нападал и на Твардовского, который честно признался при их первой встрече в 1963 году, что такую острую вещь, как «Вокруг да около», они бы не могли напечатать: «Я что-то стал возражать. Дескать, стыдно слышать от редактора. Вы что, не знаете, как народ живет?»

Так случилось однажды и в Москве, на Петровке, в покоях бывшего Петровского монастыря, который давно уже превратился в склад Министерства культуры СССР. Странное впечатление производит этот склад, или, как его торжественно величали служители, запасники.

Бесконечная цепь переходов и бывших келий, забитых полотнами, бюстами, скульптурными портретами в полный рост и скульптурными группами.

Своего рода кладбище, напомнившее мне кадры из недавно виденного фильма Альберто Сорди, который играет там отца, потерявшего сына. Гроб с телом в ожидании места для погребения хранится в своеобразной камере хранения, где гробы составлены поленницей.

Из окаянства я обратил внимание одного из рабочих, что Ленин у них стоит вниз головой.

— А что такого, — сказал он. — У нас и Брежнев вверх ногами, — чем доставил огромное удовольствие всем нам, особенно, по-моему, Федору.

Пришли мы сюда ради картины ленинградского земляка Абрамова Евгения Мальцева «Современники», которую он, находясь в затруднительном положении, продал, потеряв на нее права, Министерству культуры, откуда она и попала в неволю, то бишь в запасники.

Привел нас сюда, меня и слегка сопротивлявшегося этому Мальцева, Федор Абрамов. Хотел, чтобы я, председатель ВААП, перекупил бы эту картину и выставил ее в ВААПе. Не век же ей здесь прозябать. Выполненная в монохроматической гамме работа Мальцева была групповым портретом любимых его писателей, ушедших и живых: Твардовский, Шукшин, Солоухин, Белов, Абрамов, Яшин.

— Выставишь в своей конторе, — горячился Абрамов. — Это ж твоего агентства авторы. И размер подходящий — три на полтора.

— В Союзе же никто об этом не думает. Секретари молодые... Для них главное — не писать, а выставляться. Вывешиваться, — продолжал кипеть Федор. — Пять лет над картиной, которая, став сенсацией, уходит в запасники и там стоит, что вызывает лишь тихое поскуливание ее создателя, — негодующий взгляд в сторону художника. Тихий, почти молчаливый его ропот. Ссылаясь на свой исторический триптих, Мальцев сказал, что «Пророк» — это гибель плоти буквально, на копьях; «Самосожжение», которое мы совсем недавно рассматривали с Федором в мастерской у Мальцева в Ленинграде, — та же кара, которой люди добровольно себя подвергают ради идеи. Персонажи «Современников» — те же самосожженцы. Федор полез в полемику:

— Какие же они самосожженцы. Они богатыри, сгорают на огне собственного духа.

Каждая следующая фраза произносилась громче предыдущей.

— Вот именно, — успокаивающе согласился Мальцев. — Это я и имел в виду.

Я обратил внимание на то, что Солоухин единственный из всех изображен на картине лежа.

— Он сам меня спрашивал: почему лежа? А я говорю, а я откуда знаю? Мне так видится, вот и все. И Белова я так вижу, как написал. И Шукшина.

Из монастыря Федор повлек нас в ЦДЛ, в ресторан. После первой Мальцев слегка оттаял. Говоря о себе, обращался больше ко мне, человеку для него сравнительно новому. Федор, которого постоянно отвлекали приветствиями и предложениями поднять бокал, тем не менее внимательно прислушивался к нашему разговору, точнее монологу Мальцева.

— Когда-то я часто тут бывал, еще с Ильей (Глазуновым. — *Б.П.*). Было, все было. Суета эта. И три съезда за мной, я и оргсекретарь, и иностранная комиссия. Потом увидал, нет! Или-или! Тут играешь с огнем. Все оставил. Только мастерская да вот иногда с Федором выйдешь, пройдешься по набережной. И все. Мне хватает.

Объясняя мне, что такое монохроматическая гамма, Женя не без доли комизма посетовал, что много белил на нее идет. А они подорожали. И кисти тоже.

— Вот живет человек, как говорится, одним куском хлеба, — громогласно вторгся в наш разговор Федор. — И светится весь. И пишет, пишет, ничего специально не делая для того, чтобы люди это увидели. Только скорбя.

— Да, не сладко, — подтвердил Мальцев, — когда лежит взаперти вещь, на которую ушло столько лет. Федор Александрович еще говорит, ты ее как-то быстро написал...

Федор, который сам ощущал себя изгоем в ССП, что было для него предметом и гордости, и негодования, особенно когда он приезжал в Москву и сталкивался с бюрократической писательской иерархией, считал своим долгом опекать Мальцева, тоже, по его меркам, изгоя, но в другом Союзе — художников.

Мальцев, словно бы в объяснение своего положения, снова и снова возвращался к Глазунову.

— Я ведь тоже его дорогами ходил. Нет, не надо мне этого. Отвлекает. Мешает работать. А каждый час дорог весеннего солнышка... Да и возраст не дает баловать. Только что в декабре пятьдесят стукнуло...

— Нет, это поистине нечто очень наше, очень русское. Это смирение.

— Тем более поразительно, — тут Федор чуть ли не за грудки меня берет, — что внутренняя мысль всех его картин — бунт, изображение бунта, правда тоже

молчаливого, хоть и исполненного силы и достоинства.

Алексей Симонов, сын Константина Михайловича, говорил мне, ссылаясь на слова отца, что, если бы не анкета (по материнской линии он принадлежал к роду князей Оболенских), тот ни за что бы не связался с поэзией, а двинул бы прямиком в политику.

То же самое о себе и политике, думаю, мог бы сказать Федор. Только удерживало его не происхождение, а темперамент. Если не полушариями, то подкоркой он понимал, что, коснись политики, моментально бы переступил границу терпимого и угодил бы в места не столь отдаленные. Не страх тюрьмы, а боязнь исчезнуть, не сотворив предписанного судьбой, удерживала его от активных действий. Изначально он, как и Твардовский, отторгал советский режим не столько умом, сколько душой и сердцем.

Создавая и после «Пряслиных» перл за перлом, которые в равной степени были исполнены художественной и гражданской мощи, считал все это лишь прелюдией к своему главному труду, над которым давно уж исподволь работал, роману, где вопль по загубленной судьбе русского крестьянина должен был вылиться в прямую анафему тем, кто в этом виновен. Он назвал свое детище «Чистая книга». Услышав от меня, что одного из них, Молотова, я частенько встречаю, гуляя в свободные часы по дорожкам Жуковки, и иногда даже заговариваю с ним, Федор потребовал, чтобы я устроил ему с ним свидание. Зная о его замысле, я не стал спрашивать, зачем ему это надо. Хотя отдавал себе отчет, что задачку он задал мне нелегкую. История наших отношений, если можно так это назвать, со сподвижником Сталина была не столь уж долгой и ни теплотой, ни близостью не отличалась. Просто движимый тем же самым, что у Федора, неодолимым политическим любопытством, я, поселившись по милости властей на даче в Жуковке, при первой же встрече с Молотовым, недалеко от его столь же убогой, как и моя, дачки, поздоровался с ним, а при второй (со мной был сын-студент) представился и представил сына.

На фамилию он вряд ли среагировал. Но слово ВААП, мелькавшее тогда в прессе, вызвало какие-то ассоциации. Он упомянул Женевскую конвенцию по авторским правам. И выразил твердую уверенность, что хороших наших книг там, у них публиковать не будут.

Я поразился совпадению того, что он сказал, с тем, что я слышал уже и в устных беседах, и с писательских трибун, от людей не столь изрядного возраста, к тому же слывущих мыслящими современно. Дойдя до своей дачи — не долгий путь, — Молотов вежливо распрощался, а мы еще долго судачили с сыном об этой живой реликвии страшных времен, которая теперь выглядела безобидным старичком — круглая большая голова, широкое, обтянутое мучнисто-бледной кожей лицо, возрастные желтые пятна на лбу я на руках... Рубашка с отложным воротником, широкие полотняные брюки, парусиновые туфли, словно бы только что натертые мелом. Разыгравшаяся фантазия подсказывала сравнения: то ли Корейко, только без миллионов, то ли мучной червь гигантских размеров, по какой-то неведомой нам надобности обернувшийся человеком.

Были и еще более продолжительные встречи, на тех же жуковских дорожках: он был вежлив, даже приветлив, но не исключал, возможно, про себя, что его соседи, останавливаясь поговорить, исполняют чью-то волю... Это было сильнее его.

Сыну не терпелось расспросить о прошлом. Его потрясло то, что, когда он упомянул о массовых репрессиях, Молотов переспросил буднично, без эмоций:

— Какие репрессии? У вас цифры?

— Да как же?.. — чуть было не поперхнулся втянутым вовнутрь воздухом Алексей. — Все же знают...

— Вот именно, — парировал человек, чья подпись стоит под тысячами и тысячами смертных приговоров. — Все знают. А где проверенная статистика?

Еще поразила реакция его на рассказ сына о том, какой бардак творится на комсомольской стройке, в Удмуртии, где он был со студенческим отрядом. Молотов отказался верить и этим чем-то напомнил мне услышанные примерно в ту же пору рассуждения Мариэтты Шагинян о конфликтных историях в повестях Распутина.

— Такого, — волновался он, — не должно, просто не может быть в нашей советской стране. А где же были вы? Почему не протестовали? Почему не поставили в известность партийные и комсомольские органы?

Вячеслав Михайлович оделял нас банальностями с завидной непринужденностью. Я сказал Федору, что если он переночует у меня на даче с пятницы на субботу, то часов в восемь утра, выйдя погулять, мы обязательно наткнемся на Молотова на какой-нибудь жуковской тропке. В означенное утро, прилично «посидев» накануне вечером над тещиными соленьями, которые грех есть помимо водки, мы устремились по невысохшей росе по направлению к молотовской даче, до которой от меня ходу было минут пятнадцать.

Остановились так, чтобы остаться назамеченными. Федор просто пожирал глазами в молчании непритязательное деревянное строение в полтора этажа, ничем не отличающееся от расположенных вокруг так называемых персональных дач чиновников, «приравненных» к министрам и председателям государственных комитетов. Долго не сводил глаз с вороха недавно, видимо, завезенного каменного угля, предназначенного, как я уже знал по своему опыту, для топки котла в подвале, с сохнущего исподнего на веревке...

Я понимал его, хотя острота моих ощущений после нескольких встреч с Молотовым отчасти притупилась.

Вряд ли, как и в моей, в душе Федора сохранилась хоть частица симпатии или хотя бы сочувствия к человеку, появления которого он ждал с таким напряжением. И все же как-то не вязалась стоящая у нас перед глазами картина со всем, что читано и слышано было о нем, начиная с раннего детства. И убийца, и творец, и участник, и очевидец всех сколько-нибудь приметных событий века. Ведь в семнадцатом году ему было уже двадцать семь лет. И уже в двенадцатом он был одним из редакторов «Правды». О последующем — что и говорить. Столько лет второй человек после Сталина. Всегда рядом с ним. Одной только речи 22 июня сорок первого года, с тремя ее лозунгами, лишенными — случайно или намеренно? — какой-либо идеологической окраски: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — достаточно, чтобы войти в историю.

Пакт о ненападении с Германией, «зимняя война» с Финляндией, все конференции глав держав победителей во Второй мировой войне, ссора с Тито и договор с Австрией, против которого он возражал. Согласие с арестом и отправкой в ГУЛАГ собственной жены... Да разве это только проносилось тогда в голове моего друга Федора? Вот и хозяин появился в привычном уже для меня обличье. Мы двинулись ему навстречу. Поздоровавшись со мной как со знакомым, Молотов вопросительно воззрился на моего спутника и, когда тот назвал себя, узнающе

кивнул. Федор, стряхнув оцепенение, взял быка за рога: работаю над романом о послереволюционной истории нашей. Хотелось бы поговорить.

— Давайте поговорим, — неожиданно легко согласился Молотов. — Приходите завтра в это же время. — Он взглянул на часы: — Нет, на часок попозже.

Не хотел, видно, ломать устоявшийся график прогулки. Я предложил Абрамову задержаться у меня еще на сутки, но он сказал, что приедет из Москвы, где у него были дела. Возьмет такси или попросит какую-нибудь развалюху в Союзе писателей.

— Встретимся в понедельник на съезде.

Речь шла о VII съезде советских писателей, который через день открывался в Кремле. Я понял, что до и после намеченной встречи Федор хотел бы побыть наедине с самим собой.

В понедельник мы обнаружили себя сидящими рядом в знаменитом президиуме не менее знаменитого, теперь уже не существующего зала заседаний Верховного Совета в Большом Кремлевском дворце. И пока тянулась процедура открытия с неизменными приветствиями партии и от партии, ерничали по поводу тех, чьи кресла мы так неожиданно оккупировали. Толковали, естественно, не о тогдашних, а о вождях сталинского еще помета: Ворошилов, Берия, Каганович. А может, тот же Молотов...

Я только было собрался спросить Федора о воскресной встрече, как его позвали выступать. Он неторопливо, словно бы это было обычное дело для него, спустился на несколько ступенек к трибуне, вынимая из кармана написанный заранее и уже просмотренный «кое-кем», как тогда водилось, текст.

Его темпераментная речь была встречена аплодисментами. Мне показались, что аплодировали не только сказанному, но и появлению этого оратора впервые на такой трибуне, что само по себе было обнадеживающим знаком для многих. На обратном пути Федор промахнулся, быть может, от волнения и сел не со мной, а одним рядом выше. К нему со всех сторон потянулись руки, слышались приглушенные поздравления, летели записочки.

Я же, как помню, рассердился на его заявление, что у нас нет реальной критики, хотя она, по моему убеждению, только что сидела рядом с ним. Может, от того показалось, что в речи перебор с риторикой, вроде «Всегда ли мы на высоте?» или «Пора, давно пора повести решительную борьбу...»

Недвижность моей спины не устраивала Федора. Максималист, он потянулся вперед, тронул за плечо:

— Какая у меня вчера потрясающая встреча была. Если бы не ты, ничего бы не получилось. А как тебе?..

По всем правилам надо было вернуть комплимент.

— Когда схлынут аплодисменты, к которым я полностью присоединяюсь, я обращу твое внимание на пару запятых...

— Запятые?

— Да, два места, которые, по-моему, можно бы улучшить.

— Что ж, я всегда рад. Впрочем, — с улыбкой в голосе, — можно ли улучшить такое?..

Через несколько минут он достал из папки текст, сунул мне его сверху:

— Давай, не теряй времени.

«Потрясающую встречу», как я ни теребил его позже, он прокомментировал одной только фразой собеседника: «Если бы не было так называемых репрессий, мы бы войну не выиграли».

Молотов при очередном нашем пересечении на жуковских проселках сказал:

— Ему надо расширять свой политический кругозор.

— ???

— У всех деревенщиков куриные мозги. А он — человек талантливый.

Позднее счастливый случай дал мне еще одну возможность познакомиться с литературными воззрениями Вячеслава Михайловича, о которых я не преминул поведать Федору. Дело было все на тех же жуковских дорожках. Задумавшись о чем-то своем, я не сразу заметил двух шагающих впереди меня мужчин. Один из них был Молотов, разительно изменившийся за тот почти год, что я его не видел. На нем белый, наверное, из тех еще, сталинских времен, китель, под которым прорисовываются широченные подтяжки той же, похоже, эпохи. В правой руке — палка с металлическим наконечником и резной деревянной ручкой. Опираясь на нее, он сильно припадает на эту сторону. Левая рука висит. Голос старчески-сипловатый, но звучный. И я хорошо слышу их диалог.

В.М.: — Да, там и Марков есть. Рассказ его. А тут роман Айтматова. Спрашиваю — ну как? Говорит — антисоветчина.

Спутник (высоченного роста мужчина, тип интеллигента из народа): — Антисоветчина!

В.М.: — Но вот странно, как-то не все это понимают. Говорил с Сергеем (не знаю, кто такой. — *Б.П.*). Говорит — не заметил. Как это можно не заметить? Как это читают!

Мой сосед по даче, тоже из «бывших», хоть и не такого высокого ранга — Николай Александрович Михайлов — удивился моему удивлению:

— Я тоже разговаривал с ним по этому поводу. Действительно, антисоветчиной называет. Он ведь советскую власть в наше-то время считает лучшим, что только может быть на свете. И не может понять, как это Айтматову могла такая фантазия прийти в голову, что есть где-то такая цивилизация неземная, которая якобы еще лучше нашей жизни.

...Уверен, что и в Твардовском, который был ему и за товарища старшего, и за отца родного, Абрамов тоже видел героя будущего своего романа. Вдова Александра Трифоновича Мария Илларионовна относила Абрамова к немногим людям, способным постоять за доброе имя ее мужа, что не мешало ей, образно говоря, трепать за уши любого, кто, ей казалось, этого заслужил.

Свидетелем одной такой трепки мне довелось быть в тот день, когда в июне 1980 года в зале Чайковского отмечался юбилей Твардовского.

Грустное и неприличное для глаз и уха было зрелище. Место и время мероприятия столько раз меняли, что уследить за этим могли только самые отчаянные поклонники поэта да казенные люди. В результате зал отнюдь не был переполнен, и занаряженной конной милиции, как и на похоронах Твардовского почти десять лет назад, делать было нечего.

Речи напоминали раешник.

Первую, открывая собрание, произнес Михаил Дудин, который тут же передал бразды правления Карпову, представив его как «Героя Социалистического Труда и первого заместителя главного редактора “Нового мира”».

— Того «Нового мира», — продолжал он с пафосом, — каждая тетрадка которого в течение 18 лет, с 50-го года, завершалась подписью Твардовского.

Карпов, который пришел в уже разгромленный «Новый мир», олицетворял, по словам Дудина, «преемственность того “Нового мира” и этого, молодого...»

Сам Карпов начал с того, что «рано, очень рано ушел Александр Трифонович. Шестьдесят один год. Меньше среднего возраста московской писательской организации...»

Не помню уж, сконфузил или воодушевил оратора возникший в зале смех. Естественно, говорили о Твардовском как о великом русском поэте, старательно опуская его «новомирство». Этой его ипостаси коснулся, и основательно, только Олег Табаков, но и тому Егор Исаев, новоиспеченный лауреат Ленинской премии, — тут же избранный, читай назначенный, секретарем Союза писателей, попытался, со свойственной ему непринужденностью, сделать в перерыве выговор:

— Ну, это ты несерьезно. Не надо так было, — бубнил он, — не поработал ты...

Олег, у которого никогда не угадаешь, когда он всерьез, а когда играет — в том числе и самого себя, вытаращил на него глаза то ли по-унтер-пришибеевски, то ли под Петра Первого, расправил до отказа плечи, налил пухлые щеки малиновой краской и заорал:

— Вы кто та-ко-ой?

Ошарашенный Егор затараторил, оглядываясь по сторонам и дергая Олега за рукав:

— Ну брось, брось, что ты, меня не знаешь...

— Вы кто та-кой? — продолжал хулиганить Табаков вслед спине посчитавшего за благо ретироваться лауреата и, кажется, уже и Героя Соцтруда.

Федор на вечере сидел мрачный и к концу его сказал мне, что Мария Илларионовна просила его приехать «после всей этой говорильни» к ней на дачу и прихватить меня». Дорогой я вспоминал мое первое, заочное, можно сказать, знакомство с ней.

Дело было все в той же больнице, тем описанным выше летом 1949 года. Мы с Твардовским оказались в одной очереди к врачу, которая из нас двоих только и состояла. В холл вошла пожилая, просто одетая женщина. Александр Трифонович поспешно поднялся с кресла и пошел ей навстречу. Проводив до следующей двери, вернулся и занял свое место.

— Нельзя ли поинтересоваться, кто эта дама? — не без трафаретной игривости спросил я и, возможно, совершил ошибку, не добавив никакого эпитета, типа «интересная» или хотя бы «впечатляющая»... Александр Трифонович грозно, словно Табаков на Исаева, посмотрел на меня и отчеканил:

— Эта дама, милостивый государь, не дама, а моя благоверная супруга, Мария Илларионовна, с которой имею честь пребывать в браке на протяжении последних тридцати с большим гаком лет...

Не успели мы теперь с Федором порог хорошо знакомой ему дачи переступить, Мария Илларионовна говорит:

— Я думала, Федор Александрович, вы выступите...

— Выступлю? Так меня ж никто не приглашал...

— Как не приглашал... Мне сказали, что вы в списке. Думала, пусть хоть один порядочный человек скажет слово об Александре Трифоновиче. Не готовы? Не захотели? Так вот как вы относитесь к Александру Трифоновичу... От кого, от кого, но от вас я этого не ожидала.

— Она агрессивного темперамента человек, Мария Илларионовна, — комментировал по дороге домой Федор.

А тогда подстегнутый, но не обиженный упреком, которого не заслужил, стал рассказывать, как было дело. Как, приехав в Москву из Ленинграда, сразу

же пошел к Витасику, то есть Виталию Озерову, который значился секретарем Союза по критике.

— Как это учуял Мокеич (Г.Марков. — *Б.П.*), не ведаю, но тут же объявился. Он большую волю Витасику дал. Как Шауро — Беляеву. Тот его звонком вызывает.

— Где же, — Мокеич говорит, — вы были, Федор Александрович? Мы вас искали, хотели предложить выступить, а вас нет...

— Неправда, это ваши холуи вас неправильно информировали. Меня нельзя было не найти. Я был дома. Но я и теперь готов.

— Теперь уже поздно.

— Почему поздно? Я выступлю!

— Тогда передайте нам ваш текст.

— Нет у меня текста. Я без текста выступлю. Что я, не знаю, что сказать?

— Нет, без текста неудобно. Такой ответственный вечер.

Смотрю, Мокеич колеблется, явно для виду.

Тогда Витасик специально берет огонь на себя:

— Как угодно, Г.М., но я считаю, без текста нельзя. И вообще, уже поздно...

— Хорошо, — говорю, — я вам текст дам. Только представьте мне какой-нибудь пустой кабинет. И дайте бумаги...

Переглядываются:

— Нет, уже поздно. Это неудобно. Надо, чтобы и другие товарищи успели посмотреть. Нет, не успеть.

На том и покончили.

Мария Илларионовна не знала, плакать ей или смеяться, слушая Федора. Только рукой махнула и перешла к обсуждению очередного тома собрания сочинений Александра Трифоновича, его писем, в связи с чем она попросила у меня разрешения опубликовать приведенное выше письмо ко мне А. Т.

— Вы помните, он вам писал по поводу вот его? — кивок в сторону Абрамова.

— Помню? Да я это письмо наизусть знаю.

— Ну вот и хорошо, что договорились. А то я уж хотела вам звонить.

...Умудрившись родиться 29 февраля, Федор Абрамов праздновал свои дни рождения раз в четыре года. 29 февраля високосного 1980-го все совпало — и день рождения, и юбилей.

Что говорить, Федор Александрович знал себе цену. Но казалось, что той волне любви, обожания и преклонения, которая окатила его в тот день, не в силах был сопротивляться даже он. Сидел благостный и умиротворенный на сцене конференц-зала ленинградского Дома писателей на Воинова и то подносил платок к увлажнившимся очам, то прочищал в надежде, что не заметят, схваченное судорогой горло. На следующий день, однако, когда вместе с ним, Мальцевым и Солоухиным мы оказались в парилке гостиницы «Гранд Отель», выяснилось, что вполне понятное юбилейное волнение не притупило памяти и наблюдательности юбиляра.

Соглашаясь с притворным смущением, что вчера был не вечер, а фурор, он в своих комментариях старательно делал упор на смешных сторонах события.

Особенно досталось его старому знакомому Феликсу Кузнецову, который когда-то родил термин «Четвертое поколение», отнеся его к Аксенову, Евтушенко, Ахмадулиной и их соратникам. И хотя он потом от этого поколения отступил, а может быть, именно поэтому, он предметом своих теоретических

изысканий сделал творчество Федора Абрамова, Бориса Можаева и других «деревенщиков». Вот и в своем выступлении на юбилее он поставил Абрамова «на уровень той гряды, которая тянется от Эльбруса до Казбека».

Подумав, добавил:

— Не с самыми, конечно, великими вершинами, как Гоголь или Толстой, мы его сравниваем, но со средними величинами великой гряды.

«Нагрядил Феликс», — хмыкнул Федор, подавая парку. И Солоухин в тон ему прочитал четверостишие Дудина, родившееся на вечере:

Вот от имени скопцов
Духоборец Кузнецов.

Единственное, о чем в тот наш банный день не мог Федор говорить без умиления, это о композиции «Братья и сестры». Ее поставил и сыграл на вечере по его романам и повестям выпускной курс театрального института, который после сдачи «госов» и защиты дипломов отправился в Томск и теперь специально приехал на юбилей с этим спектаклем. Пошли по стопам любимовской «Таганки», поставившей «Деревянные кони». Играли сразу и судьбы Прялиных, и этот свой замысел, становясь как бы нынешним поколением хрестоматийной династии. И все это «железом, обмокнутым в сурьму», плавилось в их безграничном обожании Федора Александровича, за него — в огонь и в воду, за него — и на костер.

Вечно ощетинивающийся, как бойцовый петух, Федор не мог вспоминать об этом без дрожи в голосе. Мальцев заглушал ее утверждениями, что ни в какой Томск им ехать не надо было. Там своим талантам податься некуда. Создавать театр здесь. Держаться за Додина.

Так оно, кстати, и случилось.

...Майским, не по-северному приветливым деньком 1983 года мне позвонили в Стокгольм из Москвы: умер Федор Абрамов. Оперировали по поводу желчного пузыря. А умер от сердечной недостаточности. Хоронить будут на родине, в Верколе.

Страшная новость оглушила. Я не успел еще прийти в себя, как секретарь сказал мне — на проводе Владимир Алексеевич Солоухин.

— Звоню по поручению Федора Александровича, — заокало в трубке. Я обмер. — Передай, — велел, — Борису, что сегодня Ленинград прощается с Федором Абрамовым.

Я не нашел в себе ни сил, ни мужества о чем-то спросить Солоухина. Только сказал, что у меня от его слов — мороз по коже.

В первом же письме вдове писателя, Людмиле Владимировне Крутиковой, Люсе, как он ее звал, признался: к словам Федора, которые передал мне Владимир Алексеевич по телефону, и сейчас боюсь прикасаться. Может, я и не так понял его?

Се Человек

Хрущева уже с первых месяцев его властвования приходилось видеть довольно часто. Но как правило — на массовках. Всякого рода совещания, в основном по сельскому хозяйству, конференции, семинары, как, например, в селе Мальцеве Курганской области, у «колхозного полевода» Терентия Семеновича Мальцева, где Никита, как ледокол килем, раздвигал своим животом толпу чиновников, консультантов и журналистов.

Не знаю, как это получалось у Сталина, но Хрущев в окружении восторженных сборищ чувствовал себя как рыба в воде.

Как дома, так и за границей, куда мне довелось сопровождать его лишь однажды, в Австрию. Пословицы, поговорки, собственные заковыристые изречения на муки переводчиков, натуральный смех, непроизвольные же частенько слезы..

«Христос остановился в Эболи». Бог спустился на землю.

Июль 1960 года. Вена. Государственный визит председателя Совета Министров СССР, который, в отличие от нынешних времен, обычно растягивался у Хрущева на неделю.

Я был в составе небольшой группы журналистов, которая за десять дней до Хрущева прилетела в Вену по приглашению австрийского МИДа, а затем влилась в пеструю группу сопровождающих и освещающих его визит.

Как ни старалась охрана, возглавляемая красавцем — генералом КГБ Захаровым, — а может, и не очень старалась, образовать какой-то пояс недоступности вокруг главы делегации, лидеру одной из двух супердержав мира можно было запросто задать вопрос, до него можно было дотронуться или, развесив уши, слушать его импровизации, особенно во время поездки по стране, которая заняла дня три.

Мы навещали фермеров, бродили по каким-то заводам, осмотрели гидроэлектростанцию. Шебутной характер главы делегации моментально превращал в кашу любое из детально расписанных в программе и протоколе мероприятий. Достаточно ему было остановиться и заговорить с каким-то не числящимся в списках человеком, залюбоваться непредусмотренно рапсовым желтым полем или отдать должное кружке пива на пивоварне. Все это — к вящему удовольствию нас, журналистов. Вместо того чтобы обретаться где-то на задах процессии, мы, поработав чуть-чуть локтями, оказывались у главного гостя перед носом, к неудовольствию основных членов делегации.

Помню, вслед за Хрущевым меня как будто бы засосало в лифт, который должен был доставить его куда-то в недра гидростанции. Тут же начала опускаться служившая дверью тяжелая металлическая решетка, которая чуть было не отхватила голову отставшего от меня всего на полшага Косыгина. Всеобщий

испуг сменился дружным смехом при виде того, с какой быстротой и ловкостью отпрянул назад первый вице-премьер.

Острота ощущения того, что ты находишься рядом с одним из самых известных и влиятельных в мире людей, притуплялась от повседневного соприкосновения с его миром.

Сталинский принцип «явления Христа народу» был Хрущевым отвергнут, и скорее всего бессознательно.

Помню завтрак в ресторане маленькой, но уютной, как все у австрийцев, гостинице. Через два стола от меня Хрущев с женой. Аджубей, про которого говорили, что он вот-вот станет министром иностранных дел, остался в Вене.

Между хрущевским и нашим столом — Захаров и его зам Литовченко со своими подчиненными. Травят анекдоты и хохочут так, словно бы никакого премьера, не говоря уж о первом секретаре тут нет...

Весело и у нас. Заболтавшись, не сразу замечаем, что стул Хрущева осиротел. Кто-то из моих коллег касается рукава Захарова, мол, шеф-то... Он оглядывается и беззаботно, если не пренебрежительно машет рукой. «Ничего с ним не сделается», — можно прочитать в этом жесте главного охранника.

Но мне Хрущев интереснее, чем его страж, и я направляюсь к резной деревянной двери, которая ведет на улицу.

На маленькой площадке, скорее, лужайке перед отелем — многолюдно. В самой середине этого скопления легко узнаваемая лысина Никиты, как тогда все называли его между собой. То нырнет, то снова покажется, отражая лучи солнца. Целуется, что ли? Ну, так и есть.

— Простите, извините, — с этими словами я легко пересек несколько стихийно сложившихся концентрических кругов и оказался рядом с Хрущевым, который прижимал к себе поочередно женщину и мужчину, стоящих рядом, примерно его возраста и его комплекции. Только вместо лысины голову последнего украшала седая на лбу шевелюра.

Тут же стояла с растерянным видом Нина Петровна, которая, словно бы не замечая пожилой пары, потихоньку тянула к себе мужа:

— Неудобно, Никита Сергеевич. Люди же смотрят, что люди скажут.

Один из опередивших меня коллег-журналистов, тассовец, из постоянного пула, шепнул мне по дружбе, что эта пара, воспользовавшись отсутствием охраны, вышла на Никиту прямо из толпы. Мужчина назвал себя. Никита Сергеевич всхлипнул, и по последовавшему беспорядочному обмену возгласами можно было понять, что это какие-то бывшие эмигранты, скорее всего давние невозвращенцы, которые, видимо, крепко дружили когда-то с семейством Хрущевых.

Нина Петровна продолжала волноваться, оглядывалась тревожно по сторонам и вообще выглядела человеком, который опасается, что сейчас явится либо милиция, либо еще похуже кто, и заберет сразу всех четверых...

Судя по насупившейся физиономии великана Захарова, который расстался-таки со столиком в кафе, можно было поверить, что так оно сейчас и случится...

Кажется, и сам наш первый секретарь не исключал такой возможности. Он отстранился от вспотевшей от волнения пары, видимо, не ожидавшей такой эмоциональной реакции их знатного земляка, оглянулся по сторонам, словно сейчас заметив весь тот люд, который с азартом наблюдал за ним, и двинулся, вытирая платком лысину, навстречу Захарову:

— Ну, что, пора двигаться?

Захаров деловито кивнул головой.

...В последний вечер от имени Президента Австрийской республики в честь высокого гостя был дан прием в Шенбруннском дворце. На приглашениях с тисненым гербом, которые и мы, журналисты, нашли в своих номерах, была указана форма одежды — фрак, то есть двухвостый черный пиджак с кружевная рубаха, белая бабочка и белый жилет. Чертыхаясь, мы отправились по указанному адресу, где можно было взять напрокат это хитроумное обмундирование за счет австрийского правительства.

Добравшись не без опоздания до дворца, пройдя, скорее, пробежав по анфиладе роскошных и тысячи раз описанных залов в направлении главного чертога, мы со смущением обнаружили, что никто из ближайшего окружения Хрущева, включая Косыгина и Громыко, и не подумал выполнять указания протокола. Прохаживаются себе в обыкновенных темных костюмах. Белые рубашки. Тусклые галстуки. С трудом узнав в подошедшем к нему «пингвине» меня, Аджубей ехидно усмехнулся.

Но где же сам виновник торжества? В самом центре Главного зала. Вместе с хозяином приема. Если бы не фрак на президенте Шарфе да не переводчик за спиной у каждого, их, сидящих в низких мягких креслах, можно было бы принять за двух зажиточных крестьян, вдоволь поработавших в течение долгого летнего дня и теперь отводящих за чаркой душу в неторопливой беседе.

И вокруг — опять же — никакого оцепления, никто никого не теснит... Подходи любой из гостей, садись, если хочешь, рядом. Слушай, что говорят. Я подошел, послушал. Что-то записал в свой рабочий блокнот. Потом процитировал это в очередном репортаже.

Непритязательность поведения главных персон, дисгармонировавшая с пышностью окружающей обстановки, каким-то гипнотическим образом действовала на основную массу гостей, а их, наверное, было не меньше тысячи.

Народ попадал сюда основательно разогретый по дороге напитками и закусками, которыми изобиловали залы, и вдруг натыкался с ходу, словно на стеклянную невидимую стену, на эту идиллию. Сразу стихали гомон, смех. Люди чуть ли не на цыпочках обходили сидящую в центре пару, замедляя, как на демонстрации, шаг и оглядываясь. В первую очередь, конечно, на Хрущева. Слишком уж не вязалась эта безмятежность с ходячими представлениями о его взрывном темпераменте и трюках, которыми изобиловало его поведение в зарубежных поездках.

Вспоминался Блок:

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли...

Ведь людям свойственно считать, что их счастье и благополучие зависят от сильных мира сего, а тем стоит только постараться...

На следующее утро, в день возвращения в Москву, Вена познакомилась еще с одним Хрущевым.

Дело было за прощальным обедом, который на этот раз давал вице-канцлер Австрии, социалист Бруно Питтерман. Визит советского вождя, даровавшего Австрии свободу от оккупации и независимость, завершался на хорошей ноте, и настроение у гостей и хозяев было приподнятое, поведение раскованное. Все

мы, высокий гость, члены делегации, сопровождающие журналисты, хозяева сидели за одним овальным столом, и главные действующие лица были у меня как на ладони.

Питтерман произнес длинную приветственно-прощальную речь, выдержанную в слегка шутливом тоне, и, прежде чем заключить ее тостом, преподнес Хрущеву подарок с намеком на его хорошо известное хобби — охотничью двустволку знаменитой австрийской марки, которую он протянул ему через стол.

Никита взял ружье и вдруг прицелился им, к изумлению, если не к испугу всех окружающих, прямо в вице-канцлера.

— Охотиться будем не на лосей, — сказал он голосом человека, которому надоело быть паинькой, — а на социал-предателей.

И далее последовала получасовая тирада на эту тему, суть которой вряд ли есть смысл передавать. Питтерман под дулами подаренного им же ружья ответил в том же духе. И далее началась довольно эмоциональная перебранка на тему, кто кого скорее закопает — коммунисты социал-демократов или социал-демократы — коммунистов. И если Бруно, считавшийся теоретиком своей партии, еще пытался прибегать к каким-то наукообразным формулам и цитатам, то Хрущев резал правду-матку, как человек, которого «ученостью не обморочишь».

В какой-то момент Лебедев, помощник Хрущева по идеологии, глянул в нашу, журналистов, сторону и показал жестом — записывайте. Мы стали, что было можно, записывать, легче было, естественно, с Питтерманом.

Кончился диспут тем, что два толстяка двинулись в направлении друг друга и при столкновении обнялись.

Захаров давно уже посматривал на часы. Конечно, премьеры часов не наблюдают, но...

Мы кубарем побежали к заранее расписанным машинам. Выпадешь из кортежа, не успеешь к поезду.

На бегу Лебедев собирал у нас записи. Я, не дрогнув, отдал свои, твердо уверенный, что моих каракулей все равно никто не разберет. Через пару дней после возвращения Хрущева домой отчет об этой дискуссии появился в «Правде». Читать его было одно удовольствие — так складно и доходчиво излагали оппоненты свои мысли и так очевидно стало, что историческая правда на нашей стороне. В сноске было сказано, что отчет подготовила пресс-группа при председателе Совета Министров СССР.

Возвращались мы специальным поездом. Вагон для журналистов был прицеплен сразу за вагоном Хрущева, в котором вместе с ним следовали Косыгин, Громыко и Фурцева. В Киеве на вокзале, в честь проезжающего первого секретаря, был митинг. А на какой-то очень большой станции в Российской Федерации встретить главу партии и государства собралось все местное начальство. Никита Сергеевич хотя и был, наверное, предупрежден, и сам не проснулся, и разбудить себя никого не попросил.

Сопровождавшие его члены Президиума ЦК КПСС, спешно и тревожно посовещавшись, делегировали для выхода на перрон Фурцеву. Мы опустили стекла окон и слушали ее милый щебет, который совершенно обезоружил областную верхушку. Речь Екатерины Алексеевны состояла из одних восторженных восклицаний и междометий:

— Никита Сергеевич буквально покорил всех. Его совершенно изумительно принимали... А как слушали!!! Вот, например, перед самым отъездом...

В роли «восхищалочки», притом исключительно талантливой, мне пришлось через пару лет увидеть и услышать Екатерину Алексеевну на нашем «Шестом этаже». Дело было накануне XXII съезда партии. В газетах был опубликован для всеобщего обсуждения проект Программы КПСС, который предсказывал, что к 70-му году будет построено полкоммунизма, а к 80-му — весь целиком.

Мы созвали совещание собкоров, и Юра Воронов, тогдашний наш главный редактор, попробовал пригласить выступить Фурцеву. К нашему удивлению, она легко согласилась.

Перед самым ее приездом охрана устроила кутерьму. В кабинете главного решили расположить перед выходом в Голубой зал к народу Екатерину Алексеевну: привести себя в порядок, то есть поправить свои роскошные русые косы, которые шатром поднимались над ее просто как со старинных барельефов головкой. Меня по этому случаю тоже выселили из моего прилегающего к редакторскому кабинета, о чем я с изумлением узнал, когда по дороге в Голубой зал попытался забежать к себе за блокнотом.

Когда, сидя по левую руку от докладчицы (по правую сидел Воронов), я в разгаре ее выступления протянул руку к графину, чтобы налить ей воды, рука моя была с силой отодвинута, стакан и графин, стоявшие на столе, чьей-то невидимой рукой убраны, а бутылка боржома и другой стакан, тоже, видимо, предварительно проверенный, поставлены. Екатерина Алексеевна ничего этого не заметила. Она восхищалась — первым секретарем, проектом Программы, «идеи которой целиком принадлежат Никите Сергеевичу», зримыми высотами коммунизма, которые как живые встают со страниц...

Через несколько дней, не попав на съезде в члены Президиума ЦК КПСС, она попыталась вскрыть себе вены.

...Много-много лет спустя в Стокгольме моя шведская знакомая Биргитта Едберг рассказала мне о своей встрече с Таге Эрландером, предшественником Улофа Пальме, который принимал Хрущева в загородной резиденции шведских премьеров под Стокгольмом — Харпсунде.

Биргитта тогда начинала учительствовать где-то в провинции и однажды публично выразила свое неудовольствие тем, что Таге никогда не бывал в шведской гимназии. Премьер позвонил ей на следующий день и сказал, что с удовольствием исправил бы свою ошибку, да вот личный шофер его сегодня отдыхает — дело было в субботу. А сам он машину не водит. Биргитта приехала за ним в Харпсунд на своем потрепанном «фольксвагене» и вечером отвезла его обратно. По дороге он рассказал ей о своей пятилетней давности встрече здесь с Хрущевым, для которого визит в Швецию был последним в его жизни выездом за рубеж.

Наслышавшись, что его советский коллега привык вставать и завтракать очень рано, премьер с женой практически не спали всю ночь. Угомонились поздно, а в четыре утра хозяева были уже на ногах. В пятом часу встали гости, Никита Сергеевич и Нина Петровна. Позавтракали вместе и с большим аппетитом. Потом Хрущев заявил:

— Поедем в поле, посмотрим, как у тебя крестьяне работают.

В Швеции крестьяне так рано ни в поле, ни в коровники не выходят. Эрландер в панике позвонил знакомому фермеру по соседству и уговорил его подняться. Но что такое четыре человека — фермер с женой да два сезонных рабочих?

Хрущев потом сказал не без удовольствия:

— Вот и у нас колхозники ленятся так рано на работу выходить.

...Еще одна моя встреча с Хрущевым состоялась благодаря письму, которое я получил от другой шведки. Автор его, женщина, изучающая русский язык, откликнулась на мою статью в шведском еженедельнике, вроде нашей «Недели»: «Читая Вашу публикацию, я подумала, что, может быть, я могла бы попросить Вас об одном одолжении. Вы понимаете, в 1988 году я была в Москве на курсах русского языка. И однажды мы были на экскурсии на Новодевичьем кладбище. Там между другими стоял человек у могилы, на которую он положил цветы. Когда мы с друзьями только что прошли мимо, мне сказали, что в могилах, там их было две, покоятся Хрущев с женой Ниной, а что человек с цветами — сын, который каждый день посещает могилу родителей. Тогда я хотела вернуться только для того, чтобы сказать ему, как мы любим его мать и уважаем его отца, с тех пор как они посетили Швецию. Мать, потому что она оказалась очень добрая, скромная, любезная женщина. А отца, потому что мы искренне верили ему и его желаниям, чтобы добиться хороших связей между нашими странами. Но я слишком много задумалась — удобно ли это будет, — и потеряла случай.

Все эти годы я часто думала об этом. И о том, как, может быть, эти слова могли бы его порадовать. Или, по-шведски: “Betyda nogot for honom”. Только я не знала, куда написать. Просьба к Вам сейчас: можете и хотите ли Вы рассказать ему это, что я Вам написала. Только если это не значит слишком много беспокойства для Вас, разумеется».

Когда я получил это письмо, Сергей Никитич, а судя по всему, это о нем идет речь в письме, был уже в Соединенных Штатах. Узнать сразу его телефон и адрес там не удалось. А потом другие дела заслонили, каюсь чистосердечно, просьбу этой славной шведки. И вспомнил я о ее письме только тогда когда Сергей сам прилетел в Стокгольм, на представление биографии Никиты Сергеевича Хрущева, написанной американским профессором и изданной в Швеции.

Красная Лолита

Мог ли у набоковской «Лолиты» быть иной финал? Например, его герои Лолита и Гумберт Гумберт благополучно доживают до глубокой старости в любви и мире. Как «старосветские помещики», как Филемон и Бавкида. А быть может, и умирают в один день — как Лаура Маркс и Лафарг.

Нет, невозможно, разумеется. Для этого Набокову надо было бы написать совсем иной роман. С другими героями. Без их фатальной обреченности на взаимоотторжение и разрыв. То, что оказалось невозможным в книге, осуществилось в жизни. Произошло с людьми, о которых я теперь хочу рассказать. Агнесса и Антал Гидаш. Дочь лидера красной венгерской республики в 1919 году и ее глашатай, пролетарский поэт. И читателю скоро станет ясно, почему свою героиню я назвал Красной Лолитой.

Но сначала — слово ей самой.

По рассказам Агнессы, ее первая встреча с Гидашем произошла где-то в Подмосковье, на даче у друзей. Отец, Бела Кун, в Советском Союзе — политэмигрант, — был принципиальным и яростным противником дач и прочих примет обуржуазивания. Шел 1926 год. Ей в ту пору было одиннадцать лет. Антала Гидаша она знала заочно. Читала некоторые его стихи. Видела фотографии, и в глубине своей вполне детской души была убеждена, что покорена, нет, порабощена им.

На дачу она заявилась как бы к подруге. Но только потому, что узнала: там будет Гидаш. И все время крутилась рядом. Улучив момент, спросила, правда ли, что он переводит стихи.

— Правда.

— А Пушкина могли бы?

— Прочитайте мне что-нибудь, — он всегда к женщинам, даже ко мне одиннадцатилетней, обращался на «Вы».

Я прочитала: «Я помню чудное мгновенье...» Он заставил повторять по строкам и перевел. И написал мне в виде автографа. Когда я показала перевод отцу, он был в восторге. Но когда узнал, что это Гидаш, тут же изменил свое мнение. Это было первое проявление его отцовской ревности, которое меня только подтолкнуло...

— Года через три мы все вместе, отец, мама, брат, Иллеш, Гидаш и другие красные эмигранты из Венгрии попали в какую-то праздничную толпу. Тогда они часто возникали. По самым различным поводам. Нас сдавило, потом раскидало, и мы остались вдвоем с Гидашем.

Мы где-то бегали, прыгали, держали друг друга за руки, и он вдруг сказал, что, быть может, мы всю жизнь будем скакать вместе по этой земле.

И еще добавил, что если бы я осталась вдвоем с Иллешем, никто бы ничего не сказал. Но с ним, Гидашем, совсем другое.

И сказал, что нам не надо встречаться. Два года. Я согласилась. И когда вернулась на дачу, где мы гостили у друзей, бросилась на стог сена с чувством торжества. Победила...

И конечно же, мы встретились уже на следующий день. Он был на 16 лет меня старше.

Пятьдесят лет спустя Антал написал об этом стихотворение, которое Агнесса нашла в его бумагах после его смерти. Она сделала подстрочник с венгерского и показала стихи мне.

Печалюсь и все же не печалюсь,
Ведь уже пятьдесят лет прошло с тех пор,
Увы, уже пятьдесят,
Что двух особенных звезд
Сиянье искало друг друга —
И нашло.
Пятьдесят лет назад.
Тебе было четырнадцать лет, я был зрелый мужчина.
Ты ликовала. Но я по дороге к дому
(Я думаю, это все поймут),
Не поверил даже, что такое может быть.
И словно рассекая радость, сомневаясь,
Написал (белая бумага швыряла мне обратно слова):
«Твои четырнадцать лет, четырнадцать звезд
Сверкают или угаснут над жизнью моей?»

— А отец назвал тот день, когда я отстала от него и осталась с Гидашем, моим первым предательством. Он был ревнив. Как и все отцы...

В мои детские и студенческие годы имя Белы Куна произносилось шепотом, да и на это отваживались немногие. Для одних, большинства, он был враг народа, предатель революции, арестованный и, скорее всего, расстрелянный.

Другие, и таких смельчаков были единицы, называли его вождем короткой и трагической венгерской пролетарской революции, который пал жертвой, нет, не сталинских репрессий, такого выражения просто не существовало, а перегибов и предательства во времена Ягоды и ежовщины.

После XX съезда КПСС он стал неоспоримым героем и мучеником. Его звезда взошла высоко, выше, чем Георгия Димитрова, освобожденного в тридцатые годы из гитлеровских застенков, и стояла наравне со звездой Эрнста Тельмана, злодейски расстрелянного в Бухенвальде накануне капитуляции гитлеровской камарильи.

С началом перестройки, с открытием партийных архивов, его репутация претерпела те же изменения, что и портрет Дориана Грея. Из Революционера с большой буквы, легендарного подпольщика-коминтерновца он превращался в ленинско-сталинского сатрапа, палача венгерского народа, одного из опричников Гражданской войны в России...

Я никогда не спрашивал Агнессу, с которой познакомился в середине 60-х годов в Будапеште, о ее отце в лоб. Но она и не ожидала расспросов. Он, как и Гидаш, был всегда у нее на устах. Только два этих мужчины и существовали для нее в мире.

То, что она вспоминала вслух об отце, не злоупотребляя выводами, могло бы послужить как одной, так и другим версиям. Я говорил ей об этом. Она пожимала плечами.

— Когда отдыхали в Барвихе, там второй этаж был вроде люксов. Предложили отцу, он отказался: мне с дочерью хватит и одной комнаты.

Это вызвало неудовольствие, ибо воспринималось упреком тем, кто соглашается на люкс.

Ему однажды позвонил Каганович и спросил: правда ли, что у тебя даже дачи нет?

— Нет.

И это тоже расценивалось, как якобинство, никому не нужное.

Отец отказался от пятикомнатной квартиры в Доме правительства:

— Зачем мне жить в доме, где дети судят об окружающих по тому, в какой машине ездит отец.

Популярным в его устах было слово «перерожденцы». Когда он узнал об аресте Косарева, то сказал:

— Правильно, давно пора. Надо что-то с этими перерожденцами делать.

— Вот почему, — добавила она от себя, — я не люблю, когда начинают говорить о борьбе с коррупцией. Всегда с этого начинается.

— В другой раз отец произнес то же слово, когда шел мимо дачек старых большевиков: Смидовича и Емельяна Ярославского. На маленьких участках цвело по нескольку кустиков роз.

— Розы, — с презрением сказал отец. — Перерожденцы. — О Димитрове он говорил: «Раздутая фигура».

Это вызывало негодование Агнессы, правоверной тогда пионерки, а потом комсомолки.

— Были в Барвихе. И вдруг Пятницкий, Осип, в прошлом один из помощников Ленина, был вызван к телефону. Вернулся недовольный.

— Представляешь, — сказал отцу. — Говорят, нам с тобой надо встречать Димитрова.

А тот как раз тогда прибывал из Берлина, оправданный и прославленный. И Агнессу, считавшую за огромную честь встречать великого человека, возмутили такие слова, о чем она не замедлила сказать.

— А что тут такого, — возразил Пятницкий.— И отец твой тоже сидел. И судили его. И так же обменяли. Из-за чего тут шум поднимать?

— В 21-м году отец был послан в Германию с целью раздуть-таки мировую революцию. Очередная попытка не удалась. И Сам, то есть Ленин, на Коминтерне громил его за левацкие тенденции, детскую болезнь... Отец отмалчивался, потому что громил его тот же, кто и посылал.

Был спартанцем, но когда надо было ехать за границу, мгновенно преображался в денди, в соответствии с ролью — тросточка, манишка, бородка, котелок, безукоризненные манеры...

— Позднее тот же Димитров сказал отцу: «Если ты отступишь от Пятницкого, тебя не тронут». На что отец ответил: «Я еще ни от кого не отступал».

Говорит, что из всех коммунистических «первых лиц» в эмиграции (Димитров, Тольятти) пострадал один отец — слишком глубоко влез в русские дела, принимал их близко к сердцу и много знал.

— Он ведь знал, что все это дутое в отношении Сталина: и роль в Царицыне, и участие в русском бюро, и многое другое.

Его арестовали 29 июня 1937 года — в день 25-летия свадьбы родителей. Гидаш тогда написал стихотворение:

Что за лето.
На перекрестках торгуют арбузами,
Красными как кровь.
Но кровь еще краснее.
И она льется, льется...

Эти строки видела только Агнесса. Запомнила наизусть, а клочок бумаги, на котором они были записаны, растерла в порошок. Название «1937 год» она дала этим стихам сама, когда готовила к печати посмертный поэтический сборник. Тот самый, из-за которого она осталась жить после смерти Гидаша. Вопреки их давней и твердой договоренности.

Но до этого еще далеко. Пока они крутят любовь, которая кажется предосудительной не только ее ревнивому отцу.

Мир тесен. Почти в ту же пору, что мы познакомились «с Гидашами», как мы их называли вопреки более громкому имени Агнессы, моя жена работала в журнале вместе с сыном еще одного видного венгерского эмигранта Белы Иллеша — Володей Иллешем. Это на даче его отца так часто встречались Агнесса, его ровесница, и Гидаш. Однажды Володя увидел ее у него на коленях. Он, быть может, и не удивился бы очень — взрослые часто брали детей на руки. Смутило лицо Агнессы, когда она, вспугнутая его неожиданным появлением, повернулась к нему — щеки ее полыхали, а большие глаза словно закатились.

— Когда я догадался, в чем тут дело, — рассказывал жене чуть ли не полвека спустя побелевший от времени Володя, чего только не испытавший за это время, — они перестали для меня существовать.

Видно, не прочитал вовремя Набокова.

Агнесса, у которой тоже застрял в памяти этот эпизод, уверяла, что появление Иллеша нисколько ее не смутило. Для нее уже в ту пору было все решено. И душою, и телом.

Гидаш, Гидаш... До выхода в свет в двадцатых годах его первой книги «На земле контрреволюции» — Дюла Санто. Санто — пахарь по-венгерски.

После этой книги он — Гидаш, в переводе на русский — мост.

«Человек, — говорил он нам, — должен рассчитывать свои силы. Как инженеры рассчитывают прочность и сопротивляемость моста. Ошибешься в расчетах и рухнешь как мост. И сам погибнешь, и погребешь под собой всех, кто на тебя опирался». Агнесса знала эту его доморощенную, как она говорила, теорию и утверждала, что сам Гидаш нисколько ее не придерживался. И тем не менее — ни разу не рухнул. Ни в лагерях, куда последовал вслед за тестем, ни на смертном одре...

Агнесса говорила Гидашу, который был старше ее более чем на пятнадцать лет: Гидаш, тебе всю жизнь от трех до пяти.

Близким им людям объясняла: дети в этом возрасте еще наивны, смелы, не ведают опасности. А споткнувшись о жизнь, воспринимают случившееся как трагедию, которая столь же мгновенно, от малейшего проявления добра или появления солнечного лучика, сменяется жизнерадостностью, ликованием.

Словно бы подтверждая ее слова, он обращался к самому себе:

Не тужи, что круглый год
Твои кудри буря рвет.

И сам уже не мог вспомнить, когда он это сказал — в гулаговской ли теплушке, по дороге на Восток, или еще раньше — после разгрома венгерской революции. А может быть, гораздо позже?

Гидаша арестовали в феврале 1938 года. В тот же день забрали и мать Агнессы, и младшего брата. Их взяли, рассказывала она, на каком-то торжественном заседании, посвященном дню Красной армии. Мать и Гидаша — как врагов народа. Кольку — как члена семьи.

— В тридцатые годы Гидаш примкнул к РАПП, Российской ассоциации пролетарских писателей. А куда еще податься революционеру-эмигранту, ощущающему себя то мостом, то пахарем, пишущему стихи и роман о сапожнике Фицеке. В травле литературных попутчиков, которую Авербах называл борьбой за очищение идеалов, не участвовал. Не в его это было натуре. Но в руководстве РАПП числился, украшая собой список. Так что, когда Сталин с Ежовым стали физически расправляться с лидерами разгромленной несколько лет назад организации, попал в эти сети и он.

Дольше других задержалась в Москве в те страшные годы Агнесса, хотя и была трижды членом семьи врага народа — по отцу, матери и по мужу. Когда в ИФЛИ, Институте философии, литературы и искусств разбиралось ее «персональное дело», она так и сказала:

— Отец был для меня слишком высок и далек. Но от него не откажусь. А за Гидаша я ручаюсь, я знаю о каждом его шаге. Если виноват Гидаш, то должна быть арестована и я.

В тот день, это было в марте 1938 года, ее даже не исключили из комсомола. Случалось и такое. В пору, когда в ходу была повторявшаяся шепотом поговорка: «Иногда одноклассник бывает опаснее классового врага». Быть может, тем, кто на Лубянке ждал и не дождался ее исключения из комсомола, стало потом не до того. Быть может, их самих уже допрашивали...

Арестовали ее летом 41-го года, как иностранку, после начала войны, и однокурсники узнали об этом, лишь вернувшись с каникул. Отправляли поначалу не в лагеря, а в ссылку. Она угодила в Узбекистан. И сразу же стала писать письма с требованием освободить Гидаша. Засыпала ими и Союз писателей, то есть Фадеева и Тихонова, которые дружили с Гидашами, и Лубянку, и даже Кремль.

Много лет спустя услышала случайно, что в гулаговских кругах ее звали «наша сумасшедшая» — сама сидит, а за мужа хлопочет.

Письма ли ее тому причиной, молитвы ли — в Бога она верила, хотя долго еще считала себя коммунисткой, — Гидаша отпустили — «с вещами на выход» — в самом конце войны.

Законом «сто первого километра» он пренебрег и прямо в зэковской робе постучал в квартиру Фадеева. Больше некуда было. Тот принял, приютил и пробил разрешение остаться в Москве. Теперь началась его борьба за освобождение других членов семьи, что произошло только после Сталина, и то не сразу. Не вернулся только отец — Бела Кун.

Собравшись, наконец, снова в столице и даже в той же самой квартире, в писательском доме по улице Фурманова, которую получил когда-то Гидаш, обнаружили, что ни один не держит зла на народ и страну, где с ними столь злодейски поступили: Сталина развенчали, а обыкновенные люди тут ни при чем.

Самым сильным аргументом матери Агнессы, вдовы Белы Куна, было: «Вы не знаете, какие у нас в ГУЛАГе люди были», — и начинала перечислять тех, с кем свела дружбу в лагерях, — академики, конструкторы, писатели, врачи...

А самой лучшей представительницей русского народа была для них домработница Маруся. Когда шли аресты, она чуть ли не с кулаками бросалась на чекистов. Потом снова пришла на Фурманова. По существу, была членом семьи. Если не ее главою. Ворчала на Агнессу, которая никогда в жизни не могла ничего ни сварить, ни приготовить, ни купить толком. Поедом ела их обоих за мотовство: «Это же бознать что».

И припрятывала от гостей, которых называла шантрапой, разбросанные по квартире Агнессины не драгоценные драгоценности.

О возвращении в Венгрию, успевшую за это время стать социалистической, не думали. Знали цену Матиасу Ракоши, будь он хоть трижды первым секретарем партии. Для него Бела Кун был по-прежнему врагом народа.

Венгерские события, ставшие прямым продолжением XX съезда КПСС, Агнесса назвала вслед за Хрущевым контрреволюцией. Может быть, потому, что он реабилитировал ее отца? А может быть, подспудно в ней говорил отец? У нее тоже в ходу было слово «обуржуазивание», и молодую жену своего племянника, Коли, она иронически называла «частный сектор» за то, что ее родители чем-то владели.

Гидаш, безнадежно погруженный в себя, ничего, казалось бы, не замечающий вокруг, назвал эти события революцией.

Спор их не был праздным. Обстоятельства вели к тому, что надо было возвращаться в Венгрию. После чуть ли не сорока лет в эмиграции, которая включала в себя и ГУЛАГ.

Для набоковской Лолиты и ее друга внешний мир не существовал. Если он и напоминал о себе, то только как среда обитания, в которой надо было, хочешь не хочешь, заботиться о пропитании, одежде и крыше над головой.

Герои и героини чеховских пьес любили, страдали, тосковали по делу, рвались в Москву, даже стрелялись, но все их злоключения, разделенные поколениями читающего мира, протекали во внешне благополучном, застывшем, как природа перед грозой, мире, а все конфликты вызывались преимущественно их душевной неустроенностью и высокими моральными требованиями, которые они предъявляли к себе и этому неустроенному миру.

Агнесса и Гидаш, сначала порознь, потом вместе, и снова порознь, и снова вместе, с ранних лет были погружены в водоворот таких невиданных и невыдуманных, увы, событий и катастроф, что состояться и сохраниться как люди они могли только силой своей любви.

Красная Лолита. Не берусь утверждать, но думаю, что в ту пору, когда мы с женой впервые встретились с Гидашами в Будапеште, в середине шестидесятых — нас познакомил племянник Агнессы — Миклош, который был переводчиком нашей маленькой тургруппы из двух человек, плотское влечение, бросившее их друг к другу, уже вряд ли играло какую-то роль в их отношениях. Мне просто не приходило в голову задумываться об этом. Даже Агнесса стояла на пороге шестидесятилетия. Много позднее доверенная жене Агнессой цифра сделанных ею абортов убедила, что в их жизни были не только духовные наслаждения.

Мы увидели их впервые на ступенях парадной лестницы оперного театра. По окончании представления. Долго проталкивались к ним, ведомые за руки

быстрым и дерганым Миклошем сквозь нарядную и шумную театральную толпу, но когда приблизились, показалось, что никого вокруг нет — только они двое, очерченные неким исходящим сиянием. Это видение и сейчас стоит у меня перед глазами, хотя привести какие-то детали внешности того и другого в тот момент, честно признаюсь, не могу.

Но думаю, что Агнесса была, как обычно, в одном из своих любимых одноцветных платьев — темно-голубом или ярко-красном scarlet, по-английски, цвет Византии. Длина по моде, которая никогда не устареет — чуть-чуть ниже колен. Стройные, как будто обойденные временем, ноги в телесного цвета чулках и туфлях-лодочках на высоких каблуках. Черные, с блеском, как вороново крыло, волосы, облегающие голову словно туго натянутая резиновая шапочка. Все — для Гидаша. И ухоженные руки с длинными ногтями, над которыми она могла, когда условия позволяли, сидеть часами. И эта всегда одна и та же, и всегда «с иголочки» прическа.... И тот же запах тонких французских духов.

Агнесса уже держала в руках накидку. Точно в тон тому платью, которое на ней было. А Гидаш был в плаще. Тут уж не спутаешь. В его любимом, как мы позднее убедились, и потому единственном темно-синем габардиновом плаще. Я потом увидел его в этом плаще на обложке только что вышедшей книги стихов «Утро весеннее, тополь седой...» Сильный ветер развевает полы этого плаща, застегнутого на одну верхнюю пуговицу, завивает снежным вихрем белый шелковый шарф, треплет непокорную шевелюру.

Тополь славный,
тополь — свет!
Тебе равных
в мире нет.
Над юдолью свой венец
Ты возносишь,
как мудрец.

Так и хочется назвать эту строфу из книги автопортретом, но нельзя. Услышь это Гидаш от меня, очень бы рассердился. Не скромно.

Первая встреча наша не стала последней. Наша дружба закончилась только смертью — сначала Гидаша, потом Агнессы.

Все, что я рассказываю — впечатления от наших встреч и их рассказов, которые, когда касались их жизненных перипетий, становились лаконичными и обрывистыми. Казалось, им скучно пересказывать канву событий.

— Перипетии разные, юдоль одна. С той разницей, что миллионы погибли, а мы выжили. Чудом, но выжили. Спасибо добрым людям. Александр, Саша Фадеев — один из них.

Удивительно, как переплетались «за» и «против» в их суждениях о нем. Преобладало «за»: если бы не Саша, не выбраться бы Гидашу досрочно из лагерей, а может быть, и вообще... Что не мешало Агнессе однажды воскликнуть:

— Всю эту возню вокруг «Звезды» и «Ленинграда» Фадеев организовал. Не мог он простить Тихонову, что тот занял его место Генерального секретаря в Союзе (писателей. — *Б.П.*).

Черное и белое. Белое и черное, которые порой не отличишь друг от друга. А то и перепутаешь. А что было в их жизни цельным, кроме их любви к друг другу?!

Вот и это их возвращение домой, в Будапешт. Победное? Ведь они были изгнаны оттуда. Бежали. Гидаш сам по себе. Агнесса — с родителями. Само имя отца ее было под запретом — сначала в буржуазной, потом в фашистской, потом в социалистической Венгрии.

Теперь, после изгнания Матиаса Ракоши — куда? Да в тот же Советский Союз, отец в общественном мнении, и в официальной пропаганде — герой и мученик сталинского террора.

Новые власти выделили семье Бела Куна вкупе с национальным поэтом Гидашем дом. На первом этаже — вдова, сын с семьей, на втором — Агнесса и Гидаш.

Дом стоит высоко над Дунаем. На Розовом холме. Но жизнь в нем далеко не розовая.

Все снова перепуталось, и о цельности, idee fix Гидаша можно только мечтать.

Из СССР, если говорить всерьез, их просто, по Агнессиному выражению, вытурили. Ракоши — в Россию, их — в Венгрию.

«Рокировочка», — как сказал бы Ельцин. Надо ехать и демонстрировать, — звучало в подтексте, — благие плоды разоблачения культа личности. Но какие? Те самые, что подвигли народ выступить против сталинского сатрапа Ракоши? А что из этого вышло? Их спор — революция? Контрреволюция? — давно уже потерял смысл. Та же самая страна, которая однажды принесла Венгрии свободу, вывела на улицы Будапешта танки. Советская армия пролила кровь теперь уже не гитлеровцев и их пособников...

А они по-прежнему любили эту страну. Не государство, не партию коммунистическую, а страну и людей.

Брат Агнессы Миклош освоил в лагерях вагонно-блатной жаргон и заразил любовью к нему сына, Миклоша-младшего. При полном отсутствии слуха, зато на чистом русском языке отец с сыном закатывали над Дунаем домашние концерты. Гостей на них не приглашали. Не поймут, как не поняли продолженную было в Будапеште традицию русского хлебосольства. Слишком ко многому оно обязывало.

В семье любили повторять старый московский анекдот, сочиненный скорее всего иностранцами: «В Европе глянешь на витрины — магазины забиты деликатесами. Позовут в гости — на столе ничего. В России на полках пусто, а в гостях стол ломится от яств».

Смыслом жизни стало ожидание ежегодной поездки в Москву. Там, на улице Фурманова, — их дом. Там их друзья и подруги. Пестрое сообщество, объединенное только близостью к Гидашам. Николай Заболоцкий и Леонид Мартынов, бывшие ифлийцы Караганов и Черноуцан, вдова репрессированного драматурга-рапповца Рита Киршон; Маргарита Алигер и Сергей Наровчатов; Анна Берзинь, вдова сгинувшего в лагерях Бруно Ясенского, написавшего в тридцатые годы жизнеутверждающую книгу «Человек меняет кожу», а вслед за ней увидевший свет только после реабилитации автора роман «Бойтесь равнодушных», за который его сгноили в ГУЛАГе. Его и до сих пор, как отца Агнессы, одни зовут жертвой, другие — палачом.

— Два месяца в Союзе, — смеялась Агнесса, — остальное — хождение по будапештским магазинам — кому что привезти в подарок. Что одной Рите, что другой...

А уж в Москве — из одного родного дома в другой или на дачу, часто с ночевкой, или у себя на Фурманова... И разговоры, разговоры... разговоры.

Вот они, к примеру, у нас. Дома или на даче. Традиционное мужское объятие с Гидашем, ликование — щека об щеку с Агнессой. Прогулка. И за стол, за беседу.

Со стороны гостей беседу вела Агнесса. Все знает. Обо всем свое мнение. Как правило, критическое. При всей безапелляционности суждений, всегда интерес к твоему мнению и даже готовность прислушаться.

Гидаш то взрывался могучим баритональным смехом, то заполнял возникшую нечаянно паузу своим любимым «ну вот, ну вот», словно готовясь произнести тираду. Как правило, он тут же и передумывал и снова погружался в активное, все впитывающее молчание, разряжающееся репликой, смехом.

Тому были, по крайней мере, две причины. Первая заключалась в том, что, прожив полжизни в Советском Союзе, Гидаш все-таки плохо говорил по-русски. И это затрудняло ему общение. Вторая же причина — а она, собственно, объясняла и первую, заключалась в том, что он ни на минуту не мог оторваться от того процесса, который беспрерывно шел у него внутри, и этот процесс был — сотворение стихов. Он был из тех счастливцев, которые не сочиняли стихи, а думали и чувствовали ими, разговаривали ими сами с собой. Но он был и из тех страдальцев, которые никогда не осмеливались сразу доверить обретшие форму стиха чувство или мысль бумаге. Надо было выносить его в себе. И это занятие повергало порой Гидаша в мрачную задумчивость.

А если уж и решался он довериться, то поначалу какому-нибудь обрывку из блокнота, спичечной коробке, куску обоя, клеенке на кухонном столе... Ничего, если запись и потеряется. Можно будет сочинить заново. Еще лучше...

Агнесса, по ее словам, как грибы в лесу, собирала эти записи, расшифровывала и переписывала в специально заведенную тетрадь, чтобы потом предъявить Гидашу. Ей, этой тетради, еще предстояло сыграть в их жизни, нет, в их жизни и смерти свою провиденциальную роль.

О, эти бесконечные беседы. Во время одной из них мы услышали, что у них твердо решено — кому бы ни досталось первым расстаться с этой юдолью, второй уйдет вместе с ним. Агнеса, тайком от Гидаша, раскрыла заповедную тетрадь и показала две строки:

Потому что с тобою мы были одно,
Не дано тебе быть отдельно.

Что было сказать в ответ? Выручало то, что перспектива такой ситуации казалась столь далекой и потому нереальной, что о ней можно было рассуждать абстрактно. Но время шло, и чуть ли не каждый год приносил им новые и новые расстройства.

Ударом было узнать в один из приездов в Москву о предстоящем сносе дома на улице Фурманова. Сколько радостного и страшного, которое каким-то причудливым образом тоже окутывалось со временем ностальгической дымкой, уходило с ним в никуда.

В практическом плане тоже потеря — лишались пристанища. Компенсировать утерянное жилье им, иностранцам, никто не предложил. Сами, обитая в Будапеште, в доме на Розовом холме, хлопотать об этом посчитали неприличным. Друзьям, которые готовы были рвануться и в ЦК и в Моссовет (мол, Антал Гидаш, дочь Бела Куна), они делать это запретили.

«Московские каникулы» поневоле сократились. В гостиницах месяцами не будешь жить. Друзей отягощать тоже не хотелось. Да и какие у них хоромы.

Гидаш захандрил первым. Как водится, признался в этом в стихах:

Зачем стареть задумал я,
Когда ничто мне так не шло,
Как молодость моя.

В общем-то, всегда считалось, что хандра, или, по-научному, депрессия, была рабочим состоянием Гидаша. Без нее стихи не рождались. Но теперь это было что-то иное.

Вдруг приснился ему сон, будто сидит он по-прежнему в лагере, и не семь лет, как это было на самом деле, а триста. Сидит и думает, как это могло быть, если ему еще нет и восьмидесяти.

Проснулся и подумал: «Нет и восьмидесяти... Это только по сравнению с тремя сотнями лет немного».

Разговоры о возрасте никогда не были запретными в их доме. Агнесса, узнав, что я как-то виделся с Вадимом Кожевниковым, спросила не без иронии, все так же ли прекрасно он выглядит.

Я, задумавшись над ее вопросом, ответил, что выглядит он так, что ему одновременно можно дать и пятьдесят, и сто лет.

— Маска, — задумчиво сказала она. — Маски не стареют.

У Гидаша возникла проблема со зрением. Операция у Святослава Федорова, с которым я его познакомил, не дала результатов.

Теперь Агнесса читала ему. Или пересказывала прочитанное: «Гейне с наслаждением цитирует Берне о том, что вся жизнь спасается наличием в ней поэзии».

Увы, образ тополя, который он всегда носил в себе: «Тополь мощный, тополь — свет!» — рушился, и прежде всего внутри него самого. Венгерские доктора открыли у него рак.

Уверен, что, услышав или догадавшись об этом, он подумал не о себе, а об Агнессе. То, в чем поклялись еще в незапамятные времена, стояло на пороге...

В те дни, оказавшиеся в числе последних в жизни Антала, у них на Розовом холме гостила моя жена. Гидаш вызвал ее на разговор, и она, твердо убежденная в своей правоте, сказала ему то, что, быть может, и ему облегчением было услышать.

— Нельзя этого делать. Скажи это Агнессе. Это — противоестественно. Ей надо жить ради тебя. Ради твоих стихов. Чтобы не умерло, жило все, что ты написал, нет, успел только записать на этих вот клочках бумаги и на спичечных коробках... Жить, чтобы жива была память о тебе.

Последние слова произносить было особенно трудно.

И вот позвонил младший Миклош и сказал, что Гидаш умер. Я стоял с трубкой в руке и смотрел на жену, которая все слышала.

— Спросить? — она угадала или скорее испугалась возможного моего вопроса и яростно закрутила головой.

Я повесил трубку. Несколько часов спустя позвонила Агнесса. Голос ее звучал виновато. Или мне так показалось?

Полететь на похороны мне не удалось. Как разъяснил мне тогдашний секретарь ЦК КПСС по идеологии Зимянин, в качестве председателя ВААПа, то есть лица официального, я себе не принадлежу.

— Решение ЦК по этому вопросу принималось? Не принималось. Обращение венгерской стороны было? Не было.

И, угадав мои чувства, добавил уже в иной, бытовой тональности:

— К тому же у тамошних лидеров эта пара всегда была на заметке. Как они поймут твое появление, если мы тебя направим?

— Да не вы меня направите. Я сам прилечу. Как друг. Частным образом.

Зимянин посмотрел на меня, как на расшалившегося младенца и, подняв трубку одного из десятка телефонов у него на столе, дал понять, что разговор окончен.

А вскоре Агнесса сама прилетела в Москву. Первый раз одна. Это были странные дни. И для нее, и для нас — ее друзей. Тяжесть утраты, сама по себе неподъемная для нее, усугублялась как бы растворенным в воздухе вопросом, которым, она знала, мы не можем не задаваться после всего, что было переговорено об этом за последние годы.

И мы догадывались, нет, знали, что она не может не думать о том же самом. И непонятно было, что деликатнее — продолжать молчать или спросить.

И вдруг она сама, в неминуемом рассказе о последних часах Гидаша, о диких болях, которые истязали его, и о минутах просветления: «Он спрашивает:

— Ты принесла?

— Нет, не принесла.

Ему-то ведь не надо было. Он только уколами и держался.

— А где это?

— Это там.

Он знал, где это там.

— Как все кончится, я пойду и сделаю это.

И тут он вдруг говорит:

— Забудь об этом. Тебе надо готовить стихи к печати.

И дает мне книжку, ту самую, в которой около ста пятидесяти никем не виданных и не слышанных стихов. Он велел мне жить. И я, как всегда, послушалась».

Так она сказала, и так я это тут же, как только остался один, записал. Слово в слово. Со всеми невнятицами, которые только подхлестывали мое свихнувшееся воображение. Я продолжал писать. Уже свое: «Самое дорогое у человека — жизнь.

А смерть? Смерть, наверное, самое страшное, перед чем бледнеет любое переживание, любая потеря.

Вот и Агнесса застыла на ее пороге... Завороженная? Напуганная? Остановленная? Кем? Чем?

Только ли его словом, его приказом жить, собственным осознанием необходимости хранить его наследие, память о нем? Но ведь все это и раньше, когда уславливались, могло прийти в голову. Но прежде, до приближения безвозвратного, не принималось в расчет?

И вот она осталась жить и, дико выговорить, чувствует необходимым как бы извиняться за это перед окружающими, объяснять, почему живет... Ловит, ей кажется, этот вопрос в их глазах».

От этой фобии Агнесса не избавилась до конца дней своих, которых оставалось еще немало.

...После того как я уехал послом в Стокгольм, мы редко виделись, больше переписывались. Ее письма нам были один нескончаемый рассказ о работе:

«...Нашла еще 29 новых стихов Гидаша». Это уже после того как вышел посмертно сборник «Утро весеннее, тополь седой».

«Просмотрела 2,5 тома дневников и два тома записных книжек. Вот они-то и доконали меня. Всего-то ведь полторы тысячи страниц».

«Много писем перепечатано, но много еще и не разобрано. Перепечатаны и все стихи, но их надо вместе с новыми, последними двумя книжками, составить по-настоящему».

«Фототека в основном готова — делала я ее вместе с музейным работником, поскольку вся квартира взята под охрану одним из музеев».

«Осталось мне сделать два тома — три вышло, четыре сдано...» И неожиданно:

«Устюшкина мать, / Собралась помирать, / Помереть не померла, / Только время провела, — как пели в частушке.

Теперь даже не собираюсь, потому что столько недоделанного...»

И почти в каждом письме:

«А вот Вы так и не приедете на те заветные три денечка (речь шла о 85-летии Гидаша, которое отмечалось в Будапеште в декабре 1984 года. — *Б.П.*). Увы! Ну, да это я не в упрек».

«Ах, если бы Вы приехали ко мне!»

И я, получив очередное письмо, каждый раз дергался. Оставаясь «лицом официальным», я по-прежнему, чтобы из Стокгольма или из Москвы, по дороге в Стокгольм, прилететь в Будапешт, нуждался в разрешении «центра». Чтобы получить его, посылал шифровку или заходил, если оказывался в Москве, к министру — в одном случае это был Громыко, в другом — Шеварднадзе. И неизменно получал отказ. Мотивы отказа были примерно те же, что у Зимянина. И изложены примерно в тех же выражениях.

В октябре 90-го года снова позвонил Миклош Кун-младший. Теперь уже не в Москву и не в Стокгольм. В Прагу. Умерла Агнесса.

«И ТАК КАЖДЫЙ ВЕЧЕР...»

Был день рождения, юбилей великой балерины, расцвет которой пришелся на 30–50-е годы столетия. Гостей было немного, только самые близкие. Она давно уже не терпела дома шумных сборищ. Артистические «вакханалии», гениально воспетые Пастернаком как раз в пору ее фантастического взлета, были уже не по возрасту да и не по натуре.

«Средь гостей танцовщица...» И не одна. Две давние ее знакомые, одной за семьдесят, другой за шестьдесят. Обе — из миманса. И та, что помоложе, все заводила разговор о своем «некогда роскошном» бюсте, который, мол, и кормил ее, когда перевели в миманс. «За него и держали».

Другая в тосте говорила о счастье жить, помня, что хоть в мимансе, но выступала вместе с несравненной.

И была еще одна гостья, ровесница хозяйки, в прошлом солистка, с именем, теперь, впрочем, позабытым. Она тоже произносила тост, который неожиданно закончила тем, что никому свою — сорок с лишним лет — дружбу с виновницей торжества не отдаст. В кого-то из присутствующих, видно, метили эти слова, и этот, вернее, та «кто-то» не замедлила откликнуться. И тоже в тосте. С обидным снисхождением победительницы.

Всем стало неловко. Зачинщица смуты сидела с застывшим, словно обмелевшим лицом.

Все это, однако, лишь присказка. Но без нее — сказки не понять. А сказка в том, как слушала своих гостей балерина и что она потом сказала.

Слушала она с почти роняющим ее вниманием к произносимому. Никого не остановила. Но когда тосты кончились, с первой заговорила с той, ну, проигравшей, что ли.

И когда все стали подниматься, чтобы размяться перед чаем, который вызвались приготовить Володя Васильев с Катей Максимовой, осталась сидеть и говорить с нею, вспоминая, как «мы вот с Надей на гастролях вместе выступали». И неторопливый, по-молодому отчетливый, ясный говорок ее был слышен каждому.

Дело было в 1945 году. Чуть ли не в первый ее выезд за рубеж, в Вену, которая тогда была оккупационной зоной. Концерты давали в помещении какого-то драматического театра.

— И была там женщина, которая поразила тем, как ухаживала за балеринами. Пачка. У меня сзади крючки, смотрю, она на молнии переделала. У нас тогда этого не было... Придешь — она тапочки снимает. Она мне — тапочки снимает... Мы к этому не привыкли. И вот вернешься со сцены, короткий перерыв, пока вот Надя танцует. Она сразу — молнию вжик, каким-то составом тебя оботрет, тут же пуанты расшнурует... За две-три минуты — полный отдых. И снова на сце-

ну. А к ней в руки — Надя. Весь концерт мы вдвоем. У Нади четыре номера, у меня шесть... Характерные танцы и классика. И так каждый вечер, несколько дней подряд...

Гости слушали, каждый там, где его застало начало рассказа. И не было вокруг ни знаменитостей, ни статистов. Ни счастья танцевать с великой, ни чести дружить с нею. Была работа, которая, пока ее делаешь, одинаково и трудна, и радостна для всех. «У меня классические, у Нади — характерные. Шесть и четыре...»

Если бы не этот вечер и не этот так поразивший меня рефрен, я, быть может, другими глазами смотрел на все то, чему довелось быть свидетелем парой лет позже, в Большом театре, где происходило главное действо 70-летнего юбилея Галины Улановой. Сюжет его хорошо известен. С тех пор церемонию не раз прокручивали на экранах телевидения — и при жизни Галины Сергеевны, и после.

Зал, естественно, переполнен. Впрочем, в те времена и на заурядные текущие постановки в Большой было не пробиться. Публика, выражаясь современным языком, элитная. Все — по приглашению. Нет, не виновницы торжества, у нее такого количества личных знакомств не было, — юбилейного комитета.

После соответствующих манипуляций со светом вспыхивает рампа. Уланова в ложе. Одна. Все встают. На сцене — персонажи из «Щелкунчика», которых церемониймейстер представляет балерине. Они покидают подмостки, целуя ей руку и даря цветы.

На сцене — столик с зеленой лампой. Сидит Лановой и читает об Улановой. Стихи, проза, письма. Среди них и строки из эссе английской писательницы, кажется Кларк, о первом представлении Большого в Лондоне. В 1956 году. 46-летняя Уланова впервые на сцене Ковент-Гардена. В роли Джульетты. Быть на высоте той легенды, которая творилась двадцать лет. Последнее па. Последний музыкальный аккорд. И мертвая тишина. А потом — обвал, грохот, водопад, все что угодно, только не те звуки, которые можно произвести, хлопая ладонью о ладонь, сколько бы их, ладоней, не было.

Чудо!

И все это, в том числе и сам танец, ничто по сравнению с той грацией, с которой Уланова принимала эту неописуемую дань восхищения. Как, казалось, робко, как бы недоумевая и защищаясь от этой волны восторга, кланялась Уланова — уж не опасалась ли она, что прибой вот-вот захлестнет, поглотит ее без остатка?

Воспроизвожу эти строки по памяти, быть может, окрашивая их собственными переживаниями... Ведь это то самое, что открылось мне в ее словах: «Весь концерт мы вдвоем...»

Точно знать, что такое «твое дело», и делать его в совершенстве. И знать, что именно так ты его и делаешь. Она это знала, и больше ей ничего не надо было.

И слышанное от самой Галины Сергеевны сливается с только что прозвучавшим со сцены, из-под лампы с зеленым абажуром: Уланова, танцуя, непрерывно смотрит в себя, ищет связь внешнего с внутренним. И стоит ей хотя бы на мгновение утратить эту связь, как она не сможет танцевать, захромает, оступится...

Образы, вдохновение, — спотыкаясь на этом нелюбимом ею слове, говорила она нам, — черпаешь повсюду: музыка, картины, драматургия, случайные встречи... Обойдешь в который раз близкий и родной тебе Русский музей и — пусто.

Шагнешь за порог, какое-то мимолетное впечатление, и что-то отдалось, заработало в тебе...

Пока я не найду, в прошлом, конечно, рисунок, душу, что ли, очередной своей роли, я снова и снова чувствую себя новичком. Не могу не только профессионально — грамотно сделать ни одного движения».

Ну, а уж если «слово найдено»... — добавляю мысленно от себя.

В те дни, под настроение, я поделился с ней своим — какой это был кошмар — работа Главным редактором в «Комсомолке». Рисовался, конечно, немного. Начинаем в десять утра, заканчиваем за полночь. Двенадцать с лишним часов у конвейера, который сам же то и дело останавливаешь, — то полоса получилась скучной, то клише невыразительное, то «гвоздь» тебе только что принесли, который не терпится тут же, не откладывая на завтра, поставить в номер, к отчаянию корректуры и выпускающих у талера... А утром не знаешь, кто и по какому поводу спустит на тебя собак. Читатель ли, заметивший со злорадством какую-нибудь дурацкую опечатку, партийно-комсомольский бонза, орущий по телефону, что будет писать на самый верх, или коллега по этажу, смертельно оскорбленный, что его бессмертное творение сократили в последнюю минуту чуть ли не пополам...

— Но вот уже семь лет, как этого кошмара нет, и семь лет я вижу сны — я снова на шестом этаже и никому не нужен. Там, где столько лет был главным. Просыпаешься с чувством человека, которого только что ограбили.

— Знаете что, Боря, я вижу такие же сны. И так же просыпаюсь в холодном поту. Во сне я снова танцую, а, просыпаясь, думаю, ну почему, почему так устроено, что я не могу танцевать, делать то, что всю жизнь делала, для чего я создана... Должна бросить, когда ты в расцвете опыта, мастерства. И все то же, руки те же, ноги, — словно бы застеснявшись редкой для нее патетики, заставила пощупать, — вот какие мускулы. Вот посмотрите — на ногах тоже.

— У меня тоже, — брякнул от смущения.

— Да, но у вас, когда вы напрягаете... И фигура та же, — тут она похлопала себя по тому месту, которое у других людей называется животом. — А танцевать уж нельзя.

— Плисецкая же танцует...

Милая гримаска в ответ.

Все эти восторги, похвалы, обожания — ей ничего этого не надо было. Но она знала, что искусство без них не обходится. Что они больше нужны поклонникам, чем творцу, и относилась к ним лояльно. Проще говоря, терпела их, со всем присущим ей тактом. Дополнительное неизбежное бремя. Крест профессии, тем более — успеха.

То есть на заре карьеры, когда все только приходило, когда успех и все внешние, материальные его проявления означали возможность танцевать, то есть делать то, что и есть твое единственное дело в жизни, все это ценилось. Когда же необходимый минимум всего этого был достигнут, слава и успех незаметно для нее самой и, быть может, неосознаваемо, все больше становились бременем.

Знаю, что ее нелегко было уговорить на тот юбилейный вечер в Большом театре. Только то, что это нужно не столько ей, сколько ее коллегам, ровесницам, сподвижникам, ученикам, заставило согласиться «пойти на это».

И коль скоро пошла, то держала себя в узде, хоть и испытывала внутренний дискомфорт, — легко ли это, с ее-то представлениями, сидеть одной-одинешень-

кой в золоченом кресле, будто жар-птица в клетке, в засыпанной цветами ложе на виду у всей страны, если не на виду и у всего мира, и слышать, как тебя, мало цветов, засыпают еще и комплиментами. И не иметь возможности возразить, как это было тогда у нее дома, отпустить какую-нибудь шуточку, чтобы дать понять, как она ко всему этому относится.

Чуть легче ей, как мне показалось, стало лишь тогда, когда, повинуясь зову Кати Максимовой, она вышла на сцену и пошла по ней своей невыразимой улановской поступью. В легком до пят лазоревом платье она, кажется, вышла не из ложи, а шагнула прямо с экрана, который только что показывал ее, много лет уже не выступающую, в «Ромео и Джульетте», в «Бахчисарайском фонтане» и «Красном маке»... Тут-то и стал ясен (а может, это я додумал?) замысел всего действа. В «Щелкунчике» она как бы и была той девочкой Машей — наряду или над Максимовой, которой все это снится и для которой и был устроен этот праздник.

Все было очень кстати — вплоть до елки, которая стояла на сцене по ходу действия и стояла еще в домах — на второй день Рождества, которое теперь празднует все больше людей в Москве.

И этот ее проход, пробег по сцене, вызывающий в памяти другой. Однажды виденный и оставшийся в памяти навсегда, пробег Джульетты в прокофьевском «Ромео».

Пробег навстречу танцевавшей Машу Максимовой, вдруг превратившейся в волшебницу, которая показывает девочке — Улановой — подаренную ей грезу. Сон наяву — она снова в театре, снова танцует.

...Готовясь к очередному Дню Победы, мы на шестом этаже захотели отметить тридцатилетие «четвергов» «Комсомольской правды», которые начались вместе с Великой Отечественной войной. Решили пригласить в свой «Голубой зал» всех живых участников первого такого «четверга».

Галину Сергеевну я, тогдашний главный редактор газеты, «закрепил» за разъездным корреспондентом Татьяной Агафоновой.

— Ты или никто! — демагогически заявил я, адресуясь сразу и к слухам о недоступности Улановой для прессы да и для публики, и к безграничной пробивной силе нашего спецкора.

В ту пору мне был известен лишь один пример добровольного отшельничества — Грета Гарбо. Связав volens nolens свою жизнь со Швецией, познакомился здесь и с другими. Давно уже уединился на своем острове Фарре Ингмар Бергман. Фактически прервала на долгое время свои связи с «большой землей» и Агнетта Фельтскуг, одна из двух солисток «ABBA». Да и Сальвадор Дали...

Наш Пушкин мог только мечтать об этом:

Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Видно, человечество, а проще — публика, — не такая уж прекрасная вещь, как это принято считать, если именно те, кто служил ей всю свою жизнь, кто ей обязан и успехом, и богатством, бегут от нее на склоне лет, как от чумы...

У Галины Улановой была беспримерная слава, но, как и у Пушкина, не было богатства. И отшельничество ее было скорее вынужденным. Не в гулкой тишине старинных замков, не на дачном приволье, среди лесов и пажитей зеленых, а в «высотке» на Котельнической набережной, в гигантском человеческом

улье, жить в котором когда-то считалось привилегией «умных и знаменитых», а в дни нашего знакомства становилось бременем — потрескавшиеся потолки, разговорчивые водопроводные и канализационные трубы, рассыпающиеся во все стороны, если включить ночью неожиданно свет, тараканы.

Просто одиночество человека, оставшегося волею судьбы без семьи — детей и мужа, — не вполне уверенного в том, что сохранившиеся друзья столь уж бескорыстны в дружбе. От великого человека всегда и все хотят получить больше, чем могут ему дать. Судить о мере этого ее одиночества можно по тому, как Галина Сергеевна привязалась к Татьяне. Более разных людей, если даже как следует поискать, не найдешь.

Вряд ли следует характеризовать в этой связи Галину Сергеевну. Что касается Татьяны... Иначе как городской сумасшедшей ее на этаже не называли.

— Ей бы мужиком родиться, вашей Агафоновой, — говорила моя теща после каждой встречи с ней, когда она приходила к нам в дом вместе с Галиной Сергеевной.

Не волосы, а космы. Не ноги, а жерди. Но она убеждена в неотразимой силе своих прелестей. Походка — артиллериста. Платье или юбка с кофтой висят, как на огородном пугале. В зубах или между пальцами — неизменная сигарета. Движения резкие, порывистые. Для редактора и находка, и наказание. Татьяна обожала поручения сделать возможным невозможное. Без таких поручений она не могла жить. По первому же приказу, зову или письму готова была мчаться хоть на край света. Чем дальше, тем лучше. Благо, с мужем развелась еще до появления на этаже, а детей завести не догадалась. Но уж вернется из командировки — душу вымотает, пока очередной ее «гвоздь» не появится на газетной полосе. Правка, сокращения? Приступать к этому — все равно что входить в клетку к только что пойманной рыси. В отношениях с людьми не знала середины. Если уж возлюбит — душу отдаст. Не покажешься — пеняй на себя. Не этим ли всем и привлекла она Уланову? Недаром говорят, противоположности сходятся.

Галина Сергеевна пришла в «Комсомолку» на юбилейный «четверг». Пришла и осталась с нами до последних своих дней: подружилась с Татьяной и со всем тогдашним коллективом «Комсомолки». Стала участником наших торжеств и бед. Да и дружеских застолий. Уже и тогда, когда из «Комсомолки» я перешел в ВААП.

За месяц до описанной выше знаменательной даты Татьяна явилась ко мне в ВААП: Володя и Катя собираются пробиваться «наверх», ходатайствовать о присвоении Галине Сергеевне звания дважды Героя Социалистического Труда. Просили посоветоваться. Предварительный зондаж показал, что «наверху» вроде не против, но колеблются, не хотят создавать прецедент: в то время как дважды героями уже хоть пруд пруди, а генеральному вот-вот уже четвертую звезду прицепят, среди деятелей литературы и искусства такой чести пока никто не удостоен...

Я благословил учеников Улановой на этот поход и даже обосновал свое «добро»: Г.С. — вне конкуренции, вне сравнений. Тут и речи не может быть о прецеденте.

Что мною двигало? Славы — Улановой не убавить, не прибавить. Вторая «Звезда», однако, по тем временам означала не только славу и почет. Кое-что прибавляла и из повседневных земных благ, тех, что по тем временам за деньги было не купить, тем более, что их у нее и не было. То есть таких, чтобы жить достойно ее имени.

Кто не знает, что такое Уланова? Но будет еще одна «Звезда», и, быть может, удастся пробить ей «продуктовую книжку», то есть право покупать на сто пятьдесят рублей продуктов ежемесячно в «кормушках» — специальном магазине на Грановского или в Доме правительства, где кино «Ударник». Можно будет и о даче заикнуться, и о других «благах», которые полагались любому сверхсредней величины чиновнику в годы его службы, а министрам — и при уходе на пенсию. Боже мой, сколько их, этих министров, и кто их помнит, если не прославили себя каким-нибудь скандалом... А тут великая балерина сидит круглый год в своей «высотке», окруженной со всех сторон асфальтом, выхлопными газами да скрежетом автомобильных тормозов...

Кстати уж, и об этих «благах». О них десятилетиями ходили легенды. Послушать со стороны — так просто молочные реки, кисельные берега. Я основные из них — право лечиться в «спецполиклинике на Сивцевом Вражке» и в «спецбольнице в Кунцеве», той самой, что всегда была на слуху в годы правления борца с привилегиями Ельцина, и «книжку» — получил, соответственно, двадцати шести лет, когда стал членом редколлегии «Комсомольской правды» и в тридцать четыре, когда был назначен главным редактором. «Полагалось».

«Книжку» выкупали за 70 рублей, а продуктов за нее «получали» на сто пятьдесят. Если учесть, что продукты эти были дефицитные, то есть те, что кроме рынка, «достать» было негде, считай, что это была рублей в двести максимум прибавка к моей зарплате, которая сама составляла у члена редколлегии двести пятьдесят рублей, а у Главного — четыреста пятьдесят.

Добавлю, что, вопреки тем же слухам, набору этих продуктов, недоступных для основной массы населения, далеко было до того, что сейчас можно увидеть на прилавках любого гастронома в Москве. Увы, основной массе населения они так же недоступны, как и ранее. Только уже по другим причинам.

Побывав за границей, познакомившись в Штатах с пособиями для безработных и малоимущих, я пустил хохму, которую сам потом слышал от третьих лиц не раз: в Америке талоны на питание выдают самым бедным, а у нас — самым преуспевающим.

Был ли поход или письмо Кати и Володи в «инстанции» или не был, но уже через три недели Татьяна позвонила мне и сообщила торжествующе, что Указ только что подписан и будет обнародован в день рождения. Так 8 января 1980 года Галина Сергеевна стала первым в гуманитарной сфере дважды Героем Социалистического Труда. И все же о «книжке» нам пришлось хлопотать отдельно. А до дачи в ту пору даже и не дошло.

...То редакторское поручение, которое привело Татьяну к Улановой, стало для нее знаком судьбы. С ее холерическим темпераментом она ни о чем не могла говорить спокойно, ничего не умела делать вполсилы. Это само провидение вручало ей великого человека, столь беспомощного, внушила она себе, в отношениях с окружающим миром. Этому стоит посвятить жизнь. «Остаток жизни», по ее, тогда еще едва перевалившей за тридцать женщины, выражению.

Мы в «Комсомолке» загорелись: Татьяна поможет Галине Сергеевне написать воспоминания. А газета получит «право первой ночи» на публикацию глав из нее.

Мой переход в ВААП, знакомство с международным книжным рынком лишь подхлестнуло наши амбиции. Книга, несомненно, станет мировым бестселлером.

Оставалось только создать ее.

И кажется, Галина Сергеевна вполне была готова поучаствовать в этой благонамеренной авантюре.

Татьяна объявила, что первым шагом должен стать документальный фильм. Работа над ним «окунет» Галину Сергеевну в ее прошлое, поможет разговорить.

Звучало убедительно. Позднее я сам пошел по этому пути: написав очерк-воспоминание о Константине Симонове, принял предложение его вдовы сделать двухчасовой документальный фильм. А там дело дошло и до романа-биографии.

Кто из пишущих не знает, какая это неимоверно трудная задача — усадить себя за письменный стол. То ли дело — документальное кино. Тут в хлопотах о съемках, склоках с оператором, рысканьях по архивам и сам не заметишь, как сочинится сценарий. Константин Михайлович, например, любил говорить, что сценарии к своим документальным фильмам и телефильмам — а он их сделал десятки — часто садился писать, когда лента в основном была уже смонтирована. Татьяну устраивал именно такой путь. Организовывать, пробивать, выбивать — это была ее стихия. И коль скоро речь шла о местах, вещах и людях, связанных с именем Улановой, которое открывало все двери, дело шло, казалось, на лад.

Я и оглянуться не успел, как получил приглашение на рабочий просмотр. Всего-то на этом рабочем просмотре нас тогда было, наверное, человек семь, включая героиню, автора, вернее, авторшу сценария, режиссера — Алексея Симонова, и двух моих коллег из «Комсомолки» — Инну Руденко и Лену Брускову.

Поскольку в фильме было «много Галины Сергеевны», он мне понравился. Цепляться к деталям не хотелось. Тем более, что нацеленный на тебя яростный взгляд Татьяны, в авторском экстазе забывшей о еще недавно существовавшей между нами субординации, которая раньше как-то удерживала ее в рамках, ясно давал понять, что ничего, кроме откровенных восторгов, она не потерпит. Вдохновлял сам факт, что фильм-таки появился. Что от слов Татьяна перешла к делу, и можно было ожидать, что теперь они приступят с Галиной Сергеевной к мемуарам.

Увы, от разговоров о работе над фильмом Татьяна перешла к разговорам о фильме — кто смотрел, кто что сказал, кто что написал... мемуары же должны еще вызреть. И вообще не так, в конце концов, важно, что Уланова о себе скажет, как то, что скажут о ней другие. Она, Татьяна, будет это выслушивать и записывать.

Неожиданно выяснилось, что соотечественники, все соотечественники — начальство, коллеги, ученики, друзья, слушатели и зрители — в долгу у великой артистки, и ее, Татьяны Агафоновой, назначение — заставить их всех этот долг выплатить. Наверстать упущенное.

...Мы, друзья обеих, и не заметили, как Татьяна стала своеобразным ходатаем по делам Галины Сергеевны.

История их отношений — это еще одна сага того времени.

«Прежний» круг знакомств, в том числе и те немногие гости, собравшиеся у Галины Сергеевны на вечер, с которого я и начал этот рассказ, были убеждены, что Агафонова подавила, чуть ли не поработила Галину Сергеевну, отлучила ее от старых друзей, особенно после того, как они решили объединить две свои квартиры — малую Татьяны и большую Галины Сергеевны все в той же «высотке» на Котельнической.

Слухи, разговоры и восклицания на эту тему достигали порой высокого накала и доносились до меня, уже посла, сначала в Швецию, потом в Чехословакию и Англию. Туда же не раз приезжали, как правило с труппой Большого театра, и Галина Сергеевна с Таней. Теперь, когда их обеих нет уже в живых (раньше ушла Татьяна), об этом можно рассуждать спокойнее.

Нет, не тем была человеком Галина Сергеевна, которого кто-то мог бы подчинить своей воле. Но и заступиться за себя, тем более попросить кого-то о чем-то, она не умела.

Парадокс нашего советского времени — великая балерина, всемирно известный человек, загадочная и непостижимая Уланова вела, особенно перестав танцевать, довольно-таки ординарную жизнь, состоявшую в основном из занятий с ученицами в Большом и редких встреч с немногими близкими ей людьми у себя дома. И в общем-то, не замечала монотонности дней поздней своей осени.

Татьяна, вместе с которой Галина Сергеевна приобрела всех нас в «Комсомолке», так же как мы обрели ее, вырвала ее из этой своеобразной летаргии, и свершилось нечто непредвиденное: открылись двери в другую жизнь. И выяснилось, что в этой новой жизни ничто человеческое ей не чуждо. Словно открылись поры души. Ей стало нравиться все то, чего раньше она старалась избегать и что обычно по нраву бывает всякому нормальному, обыкновенному человеку.

С удовольствием принимала приглашение в гости. Бывало, приходили с Татьяной первыми и уходили последними. Иногда — в час-два ночи, несмотря на то, что утром чуть свет надо уже быть на ногах — сделать неизменную получасовую зарядку у домашнего станка и отправляться на занятия в Большой. Ни при каких условиях она не позволяла себе ни пропустить, ни опоздать на урок.

В гостях не отказывала себе в шутках и даже баловстве. Как-то зимним вечером на даче, толкая друг друга, чтобы согреться, мы упали в сугроб, и окружающие, к неописуемому их восторгу, услышали ее озорной выклик:

— Боже мой, на мне снова мужчина.

Другой раз, в разгаре многочасового застолья у нашей общей знакомой, Лены Брусковой, которая станет ей опорой после смерти Тани, она бросила мне, подмигнув:

— Вы заметили, Боря, все уже по два раза прогулялись из-за стола, а мы с вами все сидим.

В гостях, оглядев перегруженный закусками праздничный стол, могла спросить с интонацией заправского кутилы:

— А пить что будем?

Они с Татьяной не пропускали теперь ни одних зарубежных гастролей балетной труппы Большого. И молодым ее коллегам стало уже невозможно понять, как это раньше они могли выезжать без Галины Сергеевны.

Радениями Татьяны — тут, впрочем, особых усилий и не требовалось — каждый такой выезд — в Швецию ли, в Японию, Латинскую Америку, Великобританию, США превращался в чествование танцовщицы века. Вернувшись очередной раз из-за океана, Галина Сергеевна поведала с гордостью:

— В Аргентине я поняла, что я — человек.

И не было в этом восклицании ни позы, ни преувеличения.

Волною бурной рока

(Женя Верещагин из Братска)

Начиная работать над этой главкой, ловлю себя на мысли, что труднее всего будет справиться с теми ее страницами, которые намерен посвятить первому нашему знакомству с Женей Верещагиным. Уж больно все в жизни развивалось по стандартам той журналистской прозы, которую в изобилии печатало издательство «Молодая гвардия» и над которой мы в «Комсомолке» не прочь были, вслед за Александром Трифоновичем Твардовским, поиздеваться: «Растущий зам, отсталый пред и в коммунизм идущий дед».

«Растущим замом», если верить письму со строительства Братской ГЭС, был как раз Евгений Верещагин. «Отсталый пред» — это его комсомольское начальство, конкретнее, первый секретарь Иркутского обкома комсомола Мелентий Арбатский, который, видимо, завидуя популярности первого комсорга строящейся Братской ГЭС, копает под него и на предстоящую отчетно-выборную конференцию собирается вместо него привезти варяга из Иркутска.

Коллективный же «в коммунизм идущий дед» — это авторы письма, люди на самом деле молодые и справедливые. Верещагин им нравился тем, что приехал сюда добровольцем, с большой комсомольской должности в Свердловской области. Фронтовик. Его не отпускали, так он письмо написал — сначала в обком партии, потом — в Москву. И не один приехал, а с целой командой, по его зову, таких же энтузиастов, которым надоело протирать штаны в кабинетах. Вспомнили, какая у кого была, свои старые рабочие профессии, сформировали моторизованную бригаду лесорубов и принялись рубить и вывозить лес со дна будущего Братского моря. Только вот Женя с его неукротимым темпераментом общественника недолго продержался в бригадирах. Отыскали и в порядке партийно-комсомольской дисциплины — пожалуйте в комсорги стройки. И сразу же пошли в Иркутск, Арбатскому, на нового комсорга жалобы со стороны производственного начальства. Непослушен. Авангардизм. То подай ему клуб, то библиотеку. Жилье для молодоженов рвет зубами. Словом, развивает иждивенчество среди молодежи.

Обком его раз предупредил — никакого впечатления. Второй раз. Вызвали в «область», так принято было называть областные центры. Он на бюро строптивой речью разразился... С виду податливый, а упрется — не сдвинешь. «Арбатский заявил — надо менять. А у нас все против. Но руки выкрутить могут очень даже просто. Приезжай, «Комсомолка».

Частью я все это вычитал в письме, частью в Иркутске почерпнул из разговоров с Сашей Власовым (второй секретарь обкома, который был, я скоро понял, в оппозиции к первому именно потому, что был солидарен с Верещагиным — сколько можно спекулировать на энтузиазме молодежи). Люди сюда не на день, не на год приехали — жить.

В Братске я убедился, что в жизни — редкий случай — было все именно так, как в письме и рассказах Власова, который поехал на стройку вместе со мной.

Проводить конференцию это называлось. Проводить ее он провел, но данные ему инструкции не выполнил.

Кстати, этот был тот самый Саша Власов, Александр Владимирович, который через три десятка лет, при Горбачеве, стал министром внутренних дел СССР, а потом — и председателем Совмина РСФСР, до тех пор пока не сменил его ельцинский Силаев. А тогда мы вместе с ним отлеживали бока в жестком плацкартном, который тащил нас из Иркутска в Братск. Потом следили, не вмешиваясь, чтобы волеизъявление молодых избирателей было не нарушено. И первыми пожали Верещагину руку, когда оказалось, что подавляющее большинство бюллетеней в тайном голосовании было за него. Варяга прокатили. По тогдашним меркам это было ЧП.

В общем, сейчас все это писать — зубная боль: словно не вспоминаешь, а воспроизводишь какой-нибудь производственный роман той поры, — а тогда я был в большом воодушевлении. Тем более что и Арбатский подыграл — устроил Власову неимоверный скандал, когда узнал о результатах конференции. Мне только этого и надо было. Я так и обозначил его в своей корреспонденции прозвищем, которое дали ему молодые строители, — «начальник обкома».

А Верещагин, действительно, показался мне тем самым идеалом, который по молодости лет надеялся найти. Много ли надо было? Прост, но с достоинством. С утра до ночи — на объектах: то на «дне», то «на лесах», то в общежитии или в «балках», а то стучит кулаком по столу в конторе какого-нибудь заскорузлого хозяйственника. В кабинете его не найдешь, а уж если он там — дым коромыслом. Кто на машинке стучит, кто по телефону надрывается, кто «молнию» выпускает...

Словом, полный антипод тем комсомольским бюрократам, вроде того же Арбатского или моих калужских знакомых.

Да и внешне — болотные сапоги, зеленая стеганая фуфайка и, главное, неизменная кепочка — клетчатая, с пуговкой посередине и крохотным лакированным козырьком.

Нос — утиный и глаза маленькие, но хитрые-хитрые. Хитрые, но добрые. Смотрит он на тебя этими глазами и видит насквозь. Сужу хотя бы по тому, как он прокатывался насчет моей страсти найти какого-нибудь чудо-богатыря для очерка. Подсунул мне, словно в насмешку, молодого дистрофика, к тому же еще начинающего поэта, которого по слабости здоровья в тайгу не пускали, к великому его негодованию, зато безбожно эксплуатировали в местной многотиражке. Передо мною, представителем «литературных кругов» из Москвы, он трепетал, но стихи свои читал победным, слегка с завыванием голосом. Явно подражал входившим тогда в моду Евтушенко, Рождественскому...

И вот волною бурной рока
Сюда, в Сибирь, я занесен.
Хотел уехать, не дождавшись срока.
Но был размахом покорен.

Я-таки написал о нем и о его любви в журнале «Молодая гвардия»:

Мерещится она мне в блеске солнца,
В мерцанье звезд и при луне.
И в каждом маленьком оконце
Избушек разных в Падуне.

...В той своей кепочке с пуговкой Верещагин через пять лет после нашего знакомства объявился в Москве. Комсомольская служба его подошла-таки к концу. Возраст, ничего не поделаешь. Но начальник стройки Наймушин, сколько ни воевал с ним Верещагин, назначил его начальником большого управления, и он снова оказался в молодых — молодой, хотя за тридцать давненько уже перевалило, командир производства. В качестве такового его включили в одну из первых молодежных делегаций, которая отправлялась в Соединенные Штаты. По счастливому совпадению, одним из двух руководителей этой делегации оказался я.

Да, та же кепочка и та же пуговка, и тот же хитроватый взгляд прищуренных глаз, но никаких уже курток и тем более болотных сапог. Черные в рубчик брюки, шерстяной клетчатый пиджак под твид и галстук-селедка с узлом чуть больше пуговки на малокозырке. В Братске Женя на правах хозяина слегка подтрунивал надо мной. В нашей поездке он сам нарывался на смешки. Я к тому времени уже успел побывать за границей — в народно-демократических Болгарии, Чехословакии и даже в капиталистической Австрии. А у него это первая вылазка за рубеж. И сразу в Соединенные Штаты. Словом, здесь он чувствовал себя не так уверенно, как на Падунских порогах, но виду не подавал. Из многочисленных рекомендаций, которым мы в избытке подвергались на многочисленных инструктажах, он, человек предельно конкретный, усвоил одно — свою страну в обиду не давать, а их прелестями не обольщаться: насквозь фальшивые.

В Штатах мы были гостями ИМКА — организации молодых христиан. Ее люди месяц возили нас по всей стране, из одного студенческого кампуса в другой. Вот где я впервые почувствовал, что в свои тридцать лет далеко уже не молод. Одно утешение — наши сопровождающие из ИМКА были еще старше нас. В частности, наша гидесса Анастасия Романофф, полная дама лет, наверное, за пятьдесят.

Судя по ее поведению, инструктажей она прошла не меньше нас. И на каждом шагу пыталась демонстрировать нам преимущества капиталистического образа жизни перед социалистическим, свободы перед несвободой и тому подобное...

Естественно, что главного оппонента она нашла в Верещагине. Поначалу от их столкновений летели искры, но по мере того, как мы все глубже забирались в плотные слои американского студенчества, углы сглаживались. Мы подтрунивали по поводу намеков Анастасии на ее высокое происхождение, Романофф же, а она неустанно прохаживалась по поводу нашего «неумения» пользоваться системой самообслуживания в университетских кафе. При подходе к кассовому аппарату, где расплачивалась за нас госпожа Романофф, на наших подносах оказывались такие груды продуктов питания, что у хозяев глаза на лоб лезли. Чаша терпения была переполнена в тот момент, когда Женя, ничтоже сумняшеся, как говорят, положил себе на завтрак целый ананас, экзотический тогда для нас фрукт, вместе со всей его чешуей и хвостом.

Карт-бланш заменили на талоны с указанными в них ограниченными суммами кредита.

В целом, однако, события развивались в нашу пользу. Через три или четыре дня после нашего прибытия в Америку взлетел Гагарин, и на волне вызванных этим событием восторгов, изумления и скрытой ревности мы триумфально прожили до следующего, совсем другого плана события. Началось и тут же закончилось провалом поддержанное новоизбранным президентом Кеннеди вторжение кубинских эмигрантов в Заливе Свиней, чье название мы без устали обыгрывали на все лады. Застала нас эта авантюра в некоем Форт-Уэйне, казав-

шемся нам глухой провинцией, где пресса да и обыватели рассматривали нас, советских, «красных», чуть ли не как пособников Кастро, чьи люди топили в заливе симпатичных американскому общественному мнению повстанцев.

По словам перепуганной Романофф, забывшей в этот момент о всех наших политических разногласиях и помнившей только о своей ответственности за группу, нас могли интернировать. Женя был на коне. Он подбадривал малодушных и торжествующе допрашивал Анастасию Михайловну и ее коллег, что они думают по поводу этого неспровоцированного нападения на маленькую мирную страну, ставшую на путь освобождения от империалистического господства.

С течением дней и эта заваруха потеряла свою остроту. Перебираясь из кампуса в кампус, мы постепенно адаптировались к нашему кочевому образу жизни и стали получать от него истинное удовольствие. Женина непримиримость, которая так воодушевляла нас в дни кубинского кризиса, теперь вызывала улыбки и даже иронию, и не только с американской стороны.

В столице штата Небраска он пытался загнать в угол местных конгрессменов вопросами, почему в отличие от национального и других штатов, их парламент всего-навсего однопалатный. Неравноправие?

Праздником было узнать, что нас пригласил неожиданно к себе друг Хрущева, американский предприниматель канадского происхождения Итон. Не без торжества констатировали, что и в США есть зоны, закрытые для иностранцев. Поместье банкира, который прислал за нами два огромных «Линкольна», находилось как раз в одной из таких зон. И он взял на себя нарушение порядка, что дало возможность госпоже Романофф парировать ехидные реплики Верещагина указанием на то, что «у вас» на такое никто бы не решился. А если бы и решился, оказался в тюрьме.

В Техасе с нами несколько дней подряд были студенты из семей эмигрантов до- и послевоенной поры. Одна из девушек, Галя, украинка, была настроена особенно воинственно и всем своим видом, даже словами, давала понять, что согласилась общаться с нами только ради возможности сказать всю правду в глаза. Надо ли говорить, что и тут основным ее спарринг-партнером был наш Женя.

Пять дней бок о бок с нами, чье поведение и манеры все-таки, видимо, расходились с тем, что существовало в ее представлении, смягчили, казалось бы, и Галину.

Атмосфера прощального вечера была особенно сердечной, и под влиянием ее Женя предпринял попытку окончательно закрепить достигнутый в непрерывных дискуссиях успех:

— Ну, вот, Галю, теперь ты видишь, какие мы. А обещалась всех нас, москалей, перевешать на первой осине...

Галина глянула на него вприщурку и после короткой паузы, которая привлекла внимание всех, кто был рядом, процедила:

— Ще приде час, Женечка, ще приде...

Ответом ей был взрыв хохота с советской стороны, который поверг ее в состояние шока. Чего угодно ожидала она в ответ на свой выпад, только не это. Немного пришла в себя только после того, как сообразила, что веселье было вызвано фиаско очередного пропагандистского хода Верещагина.

Помню, прилетели мы в Чикаго. Идем от самолета к зданию аэровокзала. Женя с двумя огромными чемоданами в руках, один свой, другой — одной из наших девушек, останавливается на секунду перед широкими, во всю стену стеклянными дверями, ставит чемоданы на землю, чтобы открыть двери, и, о

чудо... створки сами поползли в разные стороны. Напомню, это был 1961 год, и мы были из Советского Союза, который в бытовой и гражданской технике преуспел куда меньше, чем в военной и космической.

— Ну, Женя, а что ты на это возразишь? — спросил, снова под общий смех, инженер из Челябинска.

К чести Жени, он нимало не обижался на эти смешки. Полагая нас, среди которых он, член экипажа бомбардировщика времен Второй мировой войны, был самым старшим, просто несмышленышами, еще не отведавшими, почем фунт лиха, он продолжал жить по принципу — подвергай все сомнению. Когда мы были на ферме, он, ласково погладив гусеницы покорителя полей, вкрадчиво спросил хозяина: «Тракторишко-то когда последний раз меняли?» И, выслушав ответ, полез куда-то внутрь в поисках технического паспорта — проверить...

...После Америки мы редко встречались — где Братск, где Москва, но из виду друг друга не упускали. Не исключаю, что здесь была и доля доброкачественного тщеславия с обеих сторон. Мне приятно было упомянуть в компании о друге-приятеле с Братской ГЭС; ему тем более — о былом молодом репортере, который когда-то заступился за него в газете, а теперь вон, глядите, стал ее редактором.

Только-только установится более-менее регулярная связь, как что-нибудь да происходит — то с ним, то со мной, — будь то хорошее или не очень, что на долгое время выбивает из колеи. С чувством запоздалой вины признаюсь себе, что он в таких ситуациях был более настойчив и последователен.

С началом моей посольской жизни мы и совсем подзатеряли было друг друга. Звонить из Стокгольма в Братск сложнее, чем из Москвы. А письма писать... Мне хватало служебной переписки, которая занимает процентов шестьдесят служебного времени посла.

Он, кажется, впервые встретился с необходимостью адресовать письмо за рубеж, и первое из его посланий начиналось так: «Борис Дмитриевич! Это Верещагин. (С чего бы это вдруг Дмитриевич, пожал я мысленно плечами). Пишу, как Ванька Жуков на деревню дедушке. Дай мне четкий адрес для писем. Тебе — Борису Панкину. И тебе — послу. И телефон. Возможно, надо будет позвонить. Служебный и домашний. Договорились?»

По счастливой случайности это письмо, адресованное в МИД СССР, дошло до меня. Что же касается телефонов, то Женя никак не мог примириться с тем, что домашнего телефона у посла нет, — не положено по правилам безопасности, — и всегда сетовал на то, что начинать разговор приходится с секретарем — ненужная трата денег. «Как я тебе сообщал раньше, — писал он в одном из следующих писем, находясь при идеально правильном правописании в конфликте со знаками препинания, из которых он жаловал только точку да отчасти запятую, — меня вновь догнала война. Вследствие контузии в 1945 году в 1990 году произошло очередное нарушение мозгового кровообращения или попросту инсульт. Результат — передвигаюсь с костылем, а левая рука временно не работает. Военно-врачебный признак инвалида войны первой группы. Лечение в Кисловодске и др. местах положительных результатов не дает. Ветераны войны (А.П.Маресьев и др.) обещают отправить меня на леченье до конца года в Израиль. Надеюсь и жду. Но пишу по другому поводу.

Задумали мы, Совет ветеранов, администрация г. Братска, руководство Братскгэсстроя, провести в августе 1993 года большое общественное дело, назвав его «Встреча с юностью на Ангаре». Программа задумана обширная. Позднее, когда будет отпечатано вместе с официальным приглашением, тебе все будет

отправлено. В программе встречи имеется в виду большая выставка на тему «Братск в периодической печати в 1960–1980-е годы». В том числе большой зал планируем отдать «Комсомолке», имея в виду поместить ксерокопии всех статей, информации и фото из Братска. На встречу обязательно пригласим всех редакторов «Комсомолки». Напиши, кто и когда – А.Аджубей, Б.Панкин, Ю.Воронов... Остальных не помню и, конечно, собкоров и спецкоров. Напиши кого – твои предложения. Официальное письмо сегодняшнему редактору «Комсомолки» скоро будет от оргкомитета направлено. Но мы надеемся на твою помощь в этом вопросе.

Надеемся, что откликнутся также «Правда», «Известия», «Красная звезда», «Труд», а также журналы «Вокруг света», «Огонек» и другие. Прошу, воспитай их редакторов до получения ими наших предложений. Они их получат в сентябре–октябре.

В дни встречи планируется провести обстоятельную научно-практическую конференцию «Уроки Братска»... Ждем от тебя реакцию на нашу затею, ответь обязательно, прошу. Если будут советы, пожелания, мы их примем с пониманием. На встречу приглашено и, надеюсь, приедет не менее трех тысяч чел. ветеранов Братска, живущих в СССР, а также пригласим много гостей из-за рубежа настоящего».

«Из-за рубежа настоящего...» В одной этой заключительной фразе – весь Женя. И Советский Союз он не называет бывшим. Письмо написано в конце 1992 года. Можно сказать, по горячим следам развала Советского Союза, которое им как бы не воспринимается всерьез.

«Привет от Маши и ребят, которые тебя помнят, когда мы пили кофе у тебя в “Комсомолке”».

На фотографии, приложенной к письму, вид у Жени непривычный – с бородой. В постскриптуме объяснение: «Рука не работает. Бриться нельзя, из-за этого отросла борода. Не узнаешь. Буду носить, пока президент не введет крутой налог на усы и бороду. Ждем твое фото».

Как ходили такие письма, свидетельствует лежащее передо мной уведомление, полученное из Форин Оффиса: дата российской почтовой марки октябрь 1992. Штамп английского МИД, ибо туда поначалу попало письмо, адресованное послу РФ, – 7 декабря того же года. Несколько дней назад совершился визит Ельцина.

Задним числом испытываю неловкость, воспроизводя повторяющееся «Прошу, ответь», «Прошу, напиши».

Видно, не всегда находилось время написать или даже ответить.

С минутным облегчением натыкаюсь теперь на такие строки: «Борис Дмитриевич, здравствуй. Большое тебе спасибо за доброе письмо, книгу. Ну и виски к 8 янв. В день рождения будет употреблено с пользой.

Днями напишу подробнее обо всем.

Ждем роман о К.Симонове. Отрывки прочитали в «Юности». Маша уже на полке в моей комнате учредила место для книг Бориса Панкина. Пиши – места хватит.

Если будет прямой рейс до Братска, приезжай. Ждем».

А вот из письма, которое, как и предыдущая открытка, застала меня еще в Лондоне. Видимо, не будучи уверен, получил ли я ее, он пишет:

«Борис Дмитриевич, Борис, здравствуй!

Не знаю, получил или нет мое январское послание. Виски поступили прямо

к дню рождения. Мне, дурню, 8.01.94 стукнуло 68. Сегодня спешу послать вырезку из «Красной звезды». Подумал, едва ли ты ее регулярно читаешь, а там Симонов, и о нем тебе, видимо, будет интересно.

О своем житье писал в прошлом письме подробно.

Время отдаю в основном: 1) Копаюсь в своей родословной: добрался документально о своих предках по линии отца до 1654 года, дальше едва ли стоит, ибо письменные источники далее о смертных отсутствуют и, думаю, нет смысла с родословной забираться в каменный век, учет там был, думается, плохой.

Поездка на лечение в Израиль сорвалась, хотя при участии А.Маресьева приглашение из израильской клиники поступило, но у меня нет 87 тыс. долларов для оплаты поездки и лечения.

Не исключено, что в 95-м г. представится возможность вольным туристом проехать по маршруту Польша — Франция — Голландия, повидать своих друзей-ветеранов; они в основном лидеры ветдвижения этих стран. Чего доброго, возможно, в Париже возьмем с сыном напрокат машину и махнем к тебе через Ла-Манш, если пустят. Мария уже начала возиться с огородом, хотя еще снег полностью не сошел.

О жизни нашей писать сложно. Это надо посидеть рядом и побеседовать.

«100 оборванных дней» у нас в городе есть в книжных магазинах. Жду авторский экземпляр Константина Симонова. Дом наш с Марией постепенно превращается в мини-музей, в т.ч. одна комната отдана однополчанам, другая родословной, а третья — комсомол и Братск. В последний раздел ждем твое фото и ксерокопию твоей статьи в «Комсомолке» в мою поддержку. (Попроси их, пусть подготовят.)».

...Первые пять лет последнего десятилетия прошлого века оказались в моей жизни особенно суматошными. После почти восьми лет в Стокгольме — полтора года в Праге. Потом — три месяца в Москве.

Неполные три года в Лондоне. И снова в Стокгольме, теперь уже на положении частного, к тому же опального, лица. Мне было не до переписки. Я нехотя отвечал на редкие письма, которые меня здесь находили. И тем более никому не писал первым. Верещагин потерял меня из виду. Теперь уж такой палочки-выручалочки, как МИД, у него не было. О том, что в Швецию мне можно писать по принципу «на деревню дедушке», то есть «Стокгольм, Борису Панкину», он не догадывался. «Общая газета», где я вел колонку первые два года моей новой жизни, до него не доходила. Но вот появились мои первые публикации под рубрикой «Шведская модель» в «Российской газете», которую он выписывал, и Женя нашел выход.

«Главному редактору «Российской газеты» т. А.Юркову. Уважаемый товарищ главный редактор!

Помогите! Суть проблемы: мне надо установить почтовую связь с Вашим постоянным корреспондентом в Швеции, автором книги о Конст. Симонове Панкиным Борисом Дмитриевичем. У меня есть материалы, которые помогут Борису Дмитриевичу. Прошу Вас сообщить мне его почтовый адрес в Швеции (служебный или домашний — мне безразлично); то же его телефоны».

Стиль его в силу развивающейся болезни становится все более телеграфным. Почерк с сохранившимся со школьных, наверное, времен наклоном вперед — менее понятным. Он считает нужным объяснить это: «Простите за вздорный почерк. Писать по-иному (разборчивее) мешает состояние здоровья (я инвалид ВОВ 1 группы)».

Мои адреса все эти годы менялись беспрерывно. На конверте, который пришел в «Российскую газету», стоял все тот же: «665717, г. Братск, улица Рябиновая...» и так далее.

Вскоре письмо с тем же обратным адресом появилось и у меня на столе в Стокгольме: «Уважаемый Борис Дмитриевич, Борис! Здравствуй!

Наконец с большим грехом узнал твой адрес, ты не сообщил, и я вынужден был обратиться к гл. редактору «Российской газеты». Выдумал предлог, почему он нужен, и они прислали с твоего разрешения... Итак, много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз, да и с тех пор, как обменивались письмами. В силу этого не знаю, какая моя информация до тебя дошла? В 1991 году меня в очередной раз догнала война... А в последние два года появилась дюжина других болячек, заработанных не на фронте, а на ударных комсомольских стройках, но голова и язык пока работают нормально, но тем не менее вынужден был первоначально ограничить, а затем и прекратить активную общественную деятельность в Комитете ветеранов Великой Отечественной, в компартии и органах власти города и области....

Много у меня обязанностей перед моим родным 341 АБП АДД (341-й отдельный краснознаменный авиационный бомбардировочный полк авиации дальнего действия). Волей судеб я обязан возглавлять его совет ветеранов. А это — огромная переписка. Хотя писать сложно при одной действующей руке. Но вместо левой использую различные приспособления для удержания бумаги. На машинке одной рукой заправить лист тоже не получается. Неплохо получается на компьютере, но, к сожалению, из-за денежных проблем обзавестись им не представляется возможным...

Борис, внимательно читаю твои публикации о шведской модели жизни. Твою статью «Давайте подметать!» рекомендовал мэру города внимательно изучить. Конечно, Братск не Стокгольм, но подумай и найди аналогичный Братску город в Швеции. Население около трехсот тысяч человек, народ в основном молодой, условно. Промышленность: гидростанция, производство алюминия, целлюлозно-бумажная продукция.

Не посчитай за труд: вышли мне туристический план-схему и стрелкой укажи балкон твоей квартиры, из которой ты можешь забрасывать удочку прямо в озеро Мелларен. Это на случай, если судьба нас занесет с Машей в шведскую столицу. А говоря серьезно, особенно после твоей рекламы Швеции, нам хочется там побывать, будем искать наиболее приемлемый (дешевый) способ приехать к вам, а наиболее благоприятное время назовешь ты, я имею в виду время года.

Почему бы тебе на основе газетных публикаций не родить книгу очерков о шведской модели, мне думается, найдутся и спонсоры для издания. Делай!

Мне читать твои статьи в «Российской газете» во 2-м полугодии не придется, опять-таки из-за денежных проблем на второе полугодие 99-го года не подписались, предпочтение из центральных газет отдали «Комсомолке».

О материальной стороне жизни особо не пишу. Суммарно получаем с Марией (хотя и не регулярно) 2000 рублей. Немного изредка помогают сыновья. Живем в нашем прежнем коттедже, но только вдвоем. Младший, Павел (инженер-строитель), живет в нашем городе отдельно. Старший, Игорь, в Москве. Год назад стали прадедом и прабабушкой. Растет в Иркутске правнучка Алена.

Возле дома приличный участок земли. Огород и т.д. Помогает материально.

Ксерокопию твоей статьи о комсомоле Братска по-прежнему буду тебя просить организовать.

80-летие ВЛКСМ в городе отметили достойно, а я, старый дурень, в преддверии его собрал в Москве собрание «стариков» и учредил Союз ветеранов ударных комсомольских строек. На днях Минюст должен зарегистрировать».

Связаться с Женей по указанным им телефонам и факсу его младшего сына в Братске, как я и опасался, не удалось. Я попросил сделать это своих питомцев из «Российской газеты», еще помнящих традиции «Комсомолки». Через них же — факсом в Москву, потом почтой в Братск, отправил письмо. Придравшись к его словам о том, что голова и язык работают нормально, выразил удовлетворение тем, что «несмотря на неюношеский, как у нас у всех, возраст, ты по-прежнему здоров духом, бодр и энергичен — как сорок лет назад в Братске и без малого сорок в США, где ты не давал спуску капиталистам, фермерам и сенаторам».

В ответ на его отчет о своем житье-бытье рассказал, чем занимаюсь, сидя в Стокгольме. Упомянул, что опубликовал наконец роман «Четыре «Я» Константина Симонова», который при первой возможности отправлю ему с автографом.

Написал, что «намекнул руководству "Российской газеты", чтобы они подписали тебя на нее хотя бы на эту половину года».

И вот снова конверт от Жени.

«Борис! Дружище, добрый человек из комсомольской юности. Спасибо, на днях получил твое факс-письмо в подлиннике — пришло окольными путями. Ты послал в Москву в редакцию с поручением передать в Братск на номер факса сына, но во время их попытки аппарат оказался неисправен, и они отправили его в конверте почтой. Молодцы. Получил.

Теперь по существу.

Ты из моего письма сделал чересчур оптимистические выводы о том, что я бодр, энергичен — если не физически, то духом. Этот восторг чересчур завышен, приходится только вспоминать, что были когда-то и мы рысаками. На днях в Москве похоронили глубокоуважаемого Петра Степановича Непорожнего, а какой был человек. Казалось, износу ему не будет. А вечного нет.

Генний Агеев — замсекретаря парткома Братскгэсстроя, которого ты критиковал, помнится, в статье, защищая меня, последние годы был первым замом Председателя КГБ СССР. Попал в Матросскую Тишину (как активный участник августовского 91-го года путча. — *Б.П.*) и два года назад, будучи генерал-полковником, ушел из жизни.

Мелентий Арбатский постарел, но еще понемногу шевелится как член совета ветеранов области. Изредка пишет, звонит.

На днях по российскому ТВ было интервью с В.Е.Семичасгным в связи с годовщиной смерти Вас. Сталина. Вид у него, конечно, не комсомольский, но еще, видимо, может пахать. В январе 99-го года ему исполнилось 75 лет».

Далее, видимо, реагируя на мое упоминание нашего сорокалетней давности американского турне, Женя пишет: «Из наших «американцев» знаю координаты и изредка поддерживаю связь: с Чубарьяном в Москве, с Маркаряном — Рэмик в Бреване. Вот и все. Чекиста из Питера в безрукавке фамилию забыл и не искал, и не питаю к нему интереса. Вадим Таскаев (гл. инженер из Челябинскугля) года два-три назад выехал на работу в Канаду. Возможно, найдешь? Гамлет Алиев где-то, видимо, в Баку у президента однофамильца. Элик Егиазаров был где-то в Париже в ЮНЕСКО, но кто-то сообщал мне, что умер. Славы Шевченко нет».

В конверт был вложен номер «газеты г. Братска и Братского района» «Знамя», которая, как помечено в титлах, выходит с 1934 года. Я бросился изучать

ее, уверенный, что здесь есть что-то, связанное с Женей, о чем он по скромности не упомянул в письме. Но нет, ничего специального. Просто он прислал ее мне, чтобы я вдохнул, как «травы степной пучок сухой», воздуха сибирского края, где многие еще, по уверению Жени, помнят и обо мне.

Передовая «Национальные особенности подъездов» — словно бы косвенный отклик на мою замеченную Верещагиным заметку в «Российской газете» «Давайте подметать».

Но квинтэссенция — во вкладке, точнее, газете в газете, которая, по замыслу ее создателей, является продолжением издания тех «Огней Ангары», которые родились в 1955 году, то есть с началом гигантской стройки на Падунских порогах.

Одна из статей вкладки звучит своеобразным реквиемом по тем временам и таким его людям, как мой друг Женя Верещагин. Толчком этому послужила опять-таки юбилейная дата — двадцатипятилетие с начала второго захода на строительство БАМа, которое вел тот же коллектив, что строил Братскую ГЭС.

Ни в одной другой стране нет, наверное, такой тяги отмечать юбилеи, как у нас. Не отражается ли и в этом мятущаяся русская душа, которая все ищет и не находит согласия с собой. И переводит беспрестанно взор с событий сегодняшних на дни вчерашние. И как бы тяжко, а порой и отвратительно ни было это прошлое, сегодня и в нем находим нечто, что задевает сердце. Как задевают его песни и сочинявшие и исполнявшие их «песенные идолы тех лет», выражение автора «Огней Ангары», которые собрались на юбилей в Братске: «Они звали тогда парней и девчат тратить свою молодость на стоящее дело: осваивать земные недра, строить промышленные гиганты и электростанции, города в тайге и, наконец, вести железнодорожную магистраль через необжитые на тысячи километров края. И наш удивительный народ живо отзывался. И ехали ребята и девчата черт знает куда, жили в вагончиках, бараках, ездили по лежневкам да зимникам, кормили собой мошку да комаров. И вспоминают те годы, как лучшие в жизни. Потому что над неблагоустроенным бытом витало обещание лучшей жизни, если не для них, то для их потомков». Что хотел сказать мне Женя, посылая мне этот номер газеты? О своих надеждах или разочарованиях?

По разумению автора «Огней Ангары» — а это женщина — светлое будущее не светит даже его, Верещагина, потомкам. С горечью листает она всем нам хорошо известный томик Джека Лондона, повествующий об американских искателях «золотого руна» на Клондайке: уж они-то песен не пели, от громких слов воздерживались, воздушных замков не строили. Точно знали — ищут не жар-птицу, а золото, — рассчитывали только на себя и немного — на удачу. И ведь вся Америка строила свою жизнь чисто по-хозяйски, расчетливо, в результате стала самым могучим государством в мире.

«Конечно, — иронизирует автор, — можно попрекнуть — не хватает, мол, у американцев духовного начала, романтики, полета души нет. Утилитарность, расчет у американцев в крови. Зато у нас в избытке такие качества, как вера, надежда и любовь».

Все это было в избытке и у Жени. Я говорю, было, ибо то письмо стало последним. Через несколько месяцев после того, как я его получил, позвонил из Москвы старший сын Жени, Игорь, и сказал, что отец умер.

У НЕБА ОТПРОСИЛСЯ...

Впервые это имя и фамилию — Юрий Гагарин — я услышал в Нью-Йорке, на второй или третий день после того, как наша молодежная делегация, в составе которой был уже знакомый читателям Женя Верещагин, прилетела в «Железный Миргород», как его назвал Сергей Есенин.

В первые часы, даже сутки наши в Нью-Йорке я почти готов был согласиться с поэтом. В аэропорту, пока ждали проверки паспортов, поразила длиннющая очередь к таможенному контролю, состоящая из одних негров. И до сих пор не знаю, было это следствием существовавших в ту пору предписаний или просто совпадением, но впечатление было не из приятных. «Значит, все правда насчет сегрегации, — подумал я. И вместе со мной — мои спутники. — Не врут календари».

В гостиницу, дело было к вечеру, ехали в каком-то задрипанном автобусе через какие-то бесконечные мрачные улицы с ежеминутными и казавшимися бесконечными пробками, которые для нас, людей начитанных, не были сюрпризом, однако оказались тягостнее, чем ожидалось.

Гостиница, долговязое здание из покрытого копотью и пылью кирпича, принадлежащее организации молодых христиан ИМКА, показалась убогой по сравнению с теми роскошными КЛМовскими отелями, светлыми и просторными, в которых мы останавливались в Копенгагене и Амстердаме по дороге в США. Прямого сообщения между Москвой и Нью-Йорком тогда еще не существовало. Меня, как одного из двух руководителей делегации, поселили отдельно, но я сразу же позавидовал своим спутникам, у которых номера были на двоих.

В своем апартаменте — четыре шага вдоль, три — поперек, я почувствовал себя узником. Узкая, покрытая чем-то темным кровать. Кресло со скрипучими пружинами. В ванной с туалетом сочится вода, а где-то под потолком надрывно дышит еще мало знакомый мне кондиционер. Окно забаррикадировано плотными в несколько слоев шторами, за которыми скрываются тугие жестяные жалюзи. Если через то и другое продраться и выглянуть наружу, увидишь гудящую и рычащую тьму, рассекаемую неподвижным тусклым светом фонарей и мельтешением желтых автомобильных огней.

Подумалось вдруг, что, если бы по какому-то дьявольскому стечению обстоятельств пришлось бы остаться здесь навсегда — покончил бы с собой. Наутро внезапное возникновение имени Гагарина на полосах газет и экранах телевизоров развеяло это наваждение, навеянное, быть может, не только реальными обстоятельствами, но и предшествующей поездке «подготовкой».

Доброжелательная настороженность, с которой нас встретили и опекали «молодые христиане» из ИМКА, сменилась бурной восторженностью. Словно это кто-то из нас, восьми неуклюжих норовистых парней и двух молодых жен-

щин, оказался первым человеком в космосе. Нам прощалось даже то, что на первых порах мы, особенно несгибаемый сибиряк Женя Верещагин, упрямо педалировали на очевидном — на том, что этот первый человек в космосе — советский. И что первый спутник тоже был советским. Это был тот редкий случай, когда наши сопровождающие и все, с кем мы в те дни встречались, начисто забыли о национальной гордости североамериканцев и ликовали по поводу того, что человечество преодолело земное притяжение и вслед за спутниками и собачками в коосмос вырвался человек. Тогда эти превратившиеся за десятилетия в штамп слова звучали свежее, чем восклицания о розах в тургеневских «стихотворениях в прозе». Я чувствовал себя именинником вдвойне. Газеты миллионами экземпляров тиражировали снимок Гагарина с его, сразу ставшей фирменной, улыбкой на устах и белым голубем в руках. Увидев под снимком фамилию Барашев, я всем, кому только можно было, разъяснил, что это — дело рук Пашки Барашева, моего коллеги по «Комсомолке» и соседа по даче.

Гагарин выручил нас и несколькими днями позже, когда начались события в заливе Кочинос — вдохновляемое Джоном Кеннеди нападение на фиделевскую Кубу, против которого сразу же, со всей свойственной ему экспрессией, выступил Хрущев, что моментально было доведено до сведения американской публики. Сообщение об этой авантюре, которой скоро начнет стесняться даже ее инициатор, застало нас в американской глубинке, в каком-то Форт Уэйне, где мы из героев и звезд сразу же превратились чуть ли не в преступников и шпионов.

Отель, в котором нас разместили по прилете, наутро окружили плотные слои полицейских. Их главный — коротко остриженный здоровяк с жезлом в руках и серебряной звездой на груди — был похож сразу на все карикатуры на американских шерифов. Бешено вращая глазами и дубинкой, он наблюдал не только за каждым нашим шагом, но, кажется, и за каждым глотком кока-колы, который выпивал кто-нибудь из нас.

Наш ответственный гид Настасия Михайловна — Анастасия Романофф, — не прерывавшая с ним переговоров, которые велись шепотом с ее стороны и рычанием с его, поведала нам потом, и совсем не шутку, что речь заходила об интернировании нас «до особого распоряжения». И только ее настойчивые упоминания о том, что господин Панкин лично знаком и даже в дружбе с тем, кто произвел на свет этот замечательный снимок с голубем, заставили его смилостивиться. Добившись разительных перемен в настроении нашего стража, чья колпак-шляпа сразу стала похожа на панаму дачника-пенсионера, она тем не менее «аранжировала» досрочный переезд к следующему пункту нашего месячного путешествия. Гагарин меж тем уже не выходил у меня из головы. Полистав в посольстве поступившие из Москвы газеты, я уловил по публикациям в «Комсомолке», что первый в мире космонавт уже попал в ее теплые объятья. К Барашеву подключился Песков. Я мог надеяться, что и моя встреча с ним не за горами.

Так оно и случилось. Когда я вернулся в Москву, Юра Воронов, главный редактор в «Комсомолке», где я был в ту пору его замом, под секретом поведал мне, что бюро ЦК ВЛКСМ взяло своего рода шефство над космонавтами.

— Космонавтами?

— Ну да, будут же еще полеты.

С тремя будущими космонавтами он уже познакомился в Переделкине. Переделкиным на жаргоне комсомольской элиты именовалась дача для секретарей

и членов бюро ЦК комсомола, расположенная недалеко от более известного писательского поселка с тем же названием. В отличие от Воронова, которому по рангу было «положено», мне туда пока ходу не было. Но для знакомства с Гагариным это и не понадобилось. Первый раз мне довелось пожать ему руку, когда он прибыл на встречу с «активом» в конференц-зал ЦК ВЛКСМ. Виделись и еще несколько раз по случайным и неслучайным поводам. И вот как-то встретились в Георгиевском зале Кремля на приеме в честь какого-то высокого зарубежного гостя. Когда пришла пора расходиться, я «от балды» предложил Юре поехать в «Комсомолку». Он посмотрел на меня как на чокнутого:

— В такую-то пору?

Время было — десятый час вечера.

— Газета выходит в лучшем случае в половине двенадцатого, — объяснил я ему.

— А может, и правда махануть? — не столько меня, сколько себя спросил Гагарин. И озорно крутнув головой, расплылся в своей хрестоматийной уже улыбке: — Поехали!

И словно чтобы не показалось мне, что он цитирует самого себя, добавил спешно:

— А машина у тебя где?

— У Спасской башни, — должен был признаться я. Дальше Спасских ворот «Волгу» с моим номером не пускали.

— А у меня — на Ивановой площади. Поехали на моей.

Поднялись мы на шестой этаж не через редакционный, а издательский подъезд, который вплотную примыкал к командному пункту «Комсомолки».

Часовой у лифта, который хорошо, разумеется, знал меня, сунулся было к моему спутнику:

— Ваш пропуск? — И отпрянул, козырнув и заорав во весь голос: — Пожалуйста, проходите, товарищ Юрий Алексеевич Гагарин.

Чтобы, выйдя из лифта, попасть в кабинет главного, куда я повел дорогого гостя, надо только пересечь коридор, но и этого было достаточно, чтобы весь этаж знал — у нас Гагарин.

Он еще не успел снять шинель, а Рита, секретарь Воронова, уже шептала мне, приоткрыв дверь:

— Там народ собрался.

Я сказал об этом Гагарину. Он укоризненно посмотрел на меня. Но тут же овладел собой:

— Запускай.

И когда ввалилась первая очередь побросавших ради такого случая даже дежурство «комсомолят», каждому казалось, что нет для Юрия Гагарина большего удовольствия, чем потрепаться с ребятами из «Комсомолки».

Тут же, разумеется, набежали наши первачи — фотокоры. И им в руки он отдался без сопротивления.

С тех пор прошло уже без малого сорок лет, но каждый раз, когда «Комсомолке» приспичивает обратиться ко мне по какому-либо знаменательному поводу, она помещает эту дорогую для меня фотографию — два словно бы соревнующихся в широте улыбки молодых лица, из которых одно известно каждому человеку на планете.

Два часа — в тостах, выкриках, вопросах — пролетели как один миг. Не могу с уверенностью сказать, кому принадлежала эта идея, но когда мы сели снова в

машину, — на этот раз уже в мою, его шла следом, мы обнаружили, что едем ко мне.

Перед выездом я, правда, умудрился набрать номер, чтобы предупредить жену, загадочным тоном сообщив ей, что прибуду с гостем.

— А ты знаешь, сколько сейчас времени? — поинтересовалась она, но, услышав слово Гагарин, согласно хмыкнула и тут же положила трубку.

— Чтобы, не теряя времени, поднять маму и отчима, — объяснила она мне позже. — Иначе они бы мне никогда не простили. Да и на стол надо было успеть накрыть.

Когда приехали, я порывался разбудить детей — сыну шел шестой год, дочери третий. Старики дружно меня поддержали.

— Зачем? — первый раз за этот долгий вечер нахмурился Юра. А мне послышалось: «И ты, Брут». И слова о том, что вот будут всю жизнь знать, что у их постели... — застряли у меня на языке.

А гость, постояв в одиночестве у кровати детей, отправился потирая руки на кухню.

В тот момент я открыл для себя, что Гагарин — это естественность. И что ему теперь всю жизнь придется сражаться с неестественным к себе отношением. Не он первый, не он последний, кто попадет в такую ситуацию. Но в большинстве случаев люди, будь то писатель, ученый, артист или политический деятель, приходят к ней в результате долгого жизненного пути. На него слава свалилась в одночасье и была несравнима ни с какой другой. И то, как быстро он понял это и нашел верный тон, — еще одно подлинное свидетельство его незаурядности, которая не с космическим витком родилась. Он хотел бы, чтобы люди знали и относились с должным уважением просто к Юрию Алексеевичу Гагарину, И чтобы они пореже вспоминали, а в личном общении вообще забывали бы, что он — первый космонавт вселенной, Герой Советского Союза, депутат... бла-бла-бла... Как продолжил он однажды, в дружеском кругу, перечисление всех своих формальных и неформальных титулов.

То есть когда надо было послужить эмблемой страны, он был на высоте как никто. Его неповторимая улыбка, его чеканный шаг по ковровой дорожке навстречу Хрущеву на виду у всего мира, взмах его руки, когда, стоя в открытом лимузине, он приветствовал тысячи, десятки тысяч людей по всей планете... Никого уже из космонавтов, даже покорителей Луны, не встречали так, как его, но никому и не было так трудно, как ему.

Один раз только, на моих глазах, его занесло.

Дело было на исходе одного авиапутешествия, которое мне посчастливилось совершить вместе с Гагариным летом 1970 года. Вначале был полет в Ростов-на-Дону, а оттуда — в Вешенскую, на встречу молодых писателей с Шолоховым. Я был туда командирован уже как главный редактор «Комсомольской правды». Возглавлял нашу делегацию придумавший это все тогдашний «румяный комсомольский лидер» (Евгений Евтушенко. — *Б.П.*) Сергей Павлов, ну а уж Павлов ни одного крупного мероприятия не проводил без Гагарина. Не успел наш «Ил-18» оторваться от земли, как Гагарин ушел в кабину к пилотам. И я тогда уже понял, что главная и, может быть, единственная страсть Гагарина — это летать. Водить самолеты.

Вернулся он в свое кресло пассажира, только когда самолет без сучка и задоринки приземлился. Из Ростова в Вешенскую мы летели на четырехместном самолете чешского производства. Мы с Павловым сидели сзади, а Гагарин, ко-

нечно же, рядом с пилотом и, конечно же, со штурвалом в руках. То же самое повторилось на обратном — из Вешенской в Ростов — пути. Но на этот раз, когда волновавшая его встреча с Шолоховым была уже позади, Юра, сидевший на месте пилота, решил побаловать нас фигурами воздушного пилотажа.

Бросив самолет вниз, так, что у меня все словно бы оборвалось внутри, он затем так же резко взмыл вверх. И, выровняв машину, вежливо поинтересовался, как мы себя чувствуем. От неожиданности и чисто физических перегрузок я не мог вымолвить ни слова. Зато Павлов нашелся:

— Я вот блевану тебе сейчас на твой белоснежный мундир, ты тогда узнаешь, как мы чувствуем...

Гагарин раскатился смехом, донельзя довольный. Но пируэтов своих до Ростова больше не повторял. С этим, белоснежным, по определению Павлова, а скорее, светло-кремовым мундиром связано у нас еще одно семейное предание. Дело было опять после какого-то мероприятия в Кремле, на этот раз — утреннего. Гагарин спросил меня, куда я отсюда двигаюсь. Я замешкался с ответом, пытаясь угадать его намерения.

— Если домой, — сказал он, — можем заехать к тебе, тем более, что это по дороге к нам.

Мы жили на Ярославском шоссе, недалеко от тогдашней ВДНХ, Выставки достижений народного хозяйства. И это, действительно, было на пути в Звездный городок. Меня уговаривать не пришлось. Зато Валя, жена Гагарина, воспротивилась, призывая нас сообразить, каково это хозяйке — встречать незваных и негаданных гостей да еще в такую рань. Было часов одиннадцать утра.

— Негаданных — да, но не незваных, — пробормотал я, оказавшись между двух огней. Порешили, что все-таки заедем, но на несколько минут. Юра поднимется, а Валя останется в машине.

И лишь когда моя Валентина открыла дверь и ахнула, увидев в дверях Гагарина, все объяснилось:

— Я тебе пришел показаться в новой форме. Сегодня первый день надел, — объявил Юрий Алексеевич, и я только тут сообразил, что такой светло-кремовой и как с иголочки формы я на нем действительно раньше не видел.

Я был тут же отправлен за Валентиной, а Юра, как рассказала мне потом жена, принялся с мальчишеским задором расхаживать по самой большой из наших трех комнат, предлагая посмотреть на него то в профиль, то в анфас.

И только прощаясь, он сообщил доверительно, что завтра чуть свет улетает в Крым на станцию слежения.

— Предстоят события, — таинственным тоном заключил он.

В ту пору каждый следующий полет был великой тайной. Итак, из Ростова, где мы пересели опять то ли на «Ил», то ли на «Ту-104», путь наш лежал через Москву аж в Комсомольск-на-Амуре, на юбилей города. Из Москвы в Хабаровск летели без посадок на дребезжащем всеми своими фибрами чудовище — «ТУ-114». И конечно же, львиную долю полетного времени Юрий провел с пилотами, за штурвалом. То же самое — на отрезке Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, где мы пересели в уютный «Як» и летели вшестером — трое нас, два пилота и стюардесса.

Здесь первый космонавт планеты совсем уже превратился в подростка, которому старшие позволили порулить. Два с лишним часа мы с Павловым наслаждались за придвинутым к штурвалу столиком гостеприимством дальневосточного летсостава, и все это время Гагарин не вставал с командирского кресла. Не

слышал наших восторгов бескрайней тайгой, которая простиралась под нами, и не замечал полных обожания взглядов, которые бросала на него симпатичная стюардесса да и летчики, не стеснявшиеся своих чувств.

...Когда через два дня мы снова приехали в аэропорт Комсомольска, на этот раз вместе с одним из секретарей крайкома, представлявшим на празднестве руководство края, выяснилось, что самолет, который должен доставить нас в Хабаровск, не пришел. То ли по погодным, то ли по техническим обстоятельствам. И не известно было, когда придет.

Нисколько не обескураженный ситуацией, Гагарин плотоядно поглядывал на маленькие самолетики, которые стояли на летном поле. Еще не высказанная им вслух идея моментально овладела массами, состоящими из Павлова и меня.

Но, догадываясь о нашем замысле, вернее умысле, всполошился секретарь крайкома. И к нему тут же присоединился старший по аэропорту:

— Нельзя, нельзя, — твердили они, хотя их никто еще, кажется, ни о чем не попросил. — Нельзя Гагарину летать такого класса самолетами.

Я вопросительно посмотрел на Юрия Алексеевича, потом на Павлова. По их виду нетрудно было понять, что они тоже знакомы с этой инструкцией.

Из Хабаровска, куда беспрерывно звонил секретарь крайкома, сообщили, наконец, что самолет сможет вылететь к нам через час. По всем подсчетам оказывалось, что мы не попадали на московский рейс. Секретарь пообещал, что по такому случаю московский рейс задержат. Гагарин сказал, что это неудобно. Павлов, поколебавшись, присоединился к нему. Обо мне и говорить нечего.

— Летим, надо лететь, — повторяли мы.

И тут наш партийный начальник рухнул. Получив заверения снявшего с себя ответственность шефа аэропорта, что стоящие на полосе самолеты и свежая смена пилотов в принципе-то готовы к полету и что со стороны погоды тоже особых препятствий больше нет, он с видом человека, кидающегося в пропасть, сказал:

— Летим!

Когда самолет, ведомый, разумеется, Гагариным, приземлился в Хабаровске, секретарь крайкома, словно оправдываясь, шепнул мне, что отважился на эту авантюру лишь после того, как сказал себе, что в случае чего отвечать уже будет некому.

Мне его реплика напомнила собственные переживания. Как-то весной, под красный день календаря, в комсомольском Переделкино собрались по традиции комсомольские деятели с семьями и Гагарин с женой и дочками. Павлов сказал, что из соседнего лесничества, где-то под Звенигородом, пригласили поохотиться на глухарей. От желающих отбоя, разумеется, не было. Но первый секретарь ЦК безапелляционно указал на Гагарина, двух своих коллег и меня. Ехать надо было на ночь глядя, чтобы до рассвета добраться до места, повстречаться с лесниками, получить инструкции и разобраться по шалашикам. Разумеется, самая перспективная точка досталась Юре. К нему одному и вышли глухари на оказавшийся роковым танец. Он один и был среди нас «с пером». Зато, как оказалось, и водители двух наших «Волг», которым не надо было дышать на глухарей, время не теряли. Разогревались понемногу всю холодную ночь и к вождению автомобилей, тем более с такими пассажирами, были признаны непригодными. Павлов знал, что у меня есть собственный «Москвич» и, стало быть, водительские права.

— Сядешь за руль? — спросил. Я кивнул. Он решил сам вести другую машину. Не знаю почему, но пассажиров распределили так, что Гагарин достался мне.

Машина не самолет. Юрий Алексеевич, все еще переживавший свой успех, послушно сел рядом. И как только мы двинулись, заснул.

Павлов впереди, я следом. Гнал он со страшной скоростью. Благо широченное Минское шоссе было в эту раннюю, шестой час утра, пору, пустынным. Монотонность движения убаюкивает. Я один раз обнаружил себя выходящим из секундного, но небытия, второй... Как ни таращил глаза, как ни крутил головой, ничего не помогало. И вдруг страшная картина нарисовалась перед моим взором. Мы терпим аварию. Гагарин гибнет, я остаюсь живым. Мысль о том, как покончить с собой и немедленно, была настолько реальной, что нога сама собой круто нажала на тормоз. Я увидел себя устремившимся в метро и бросившимся под поезд. Гагарин проснулся от толчка.

— Все в порядке?

— Все, все, — сказал я, выходя из транса.

Он снова задремал, а у меня уж до самой переделкинской дачи сна ни в одном глазу.

...Угомонился Юра лишь тогда, когда мы вновь заняли места в «ТУ-114». Наверное, сказались перегрузки Комсомольска-на-Амуре. Да и купе наше на четверых, где стюардессы на откидном столике же начали монтировать угощение, выглядело так уютно и заманчиво...

Мы только-только, после короткого тоста Павлова за успешное завершение праздника, подняли рюмки, как служившая дверцей шторка зашевелилась.

— Юрий Алексеевич, можно автограф?

Делать нечего. Он расписался один раз, потом другой. Но в салоне уже стояла целая очередь. Тормоза отказали, когда в купе просунулся подросток с экземпляром «Огонька» в руках. Выяснилось, что он просит не от себя, а от вон той тети... Она сама стесняется.

Посмотрев вместе с Гагариным в указанном мальчишкой направлении, я увидел красивую блондинку с выступающими из-под юбки породистыми коленками.

Всей своей позой она показывала, что к ней наш разговор никакого отношения не имеет. На обложке журнала танцевала Майя Плисецкая. Гагарин с отрешенным видом смотрел несколько секунд на фотографию. И вдруг, словно в отместку кому-то, закусив нижнюю губу, начертал свой «Гагар» так, что венчающая его подпись стрела угодила балерине прямехонько между ног.

Я успел выхватить журнал из рук оторопевшего посланца.

— Придется тебе, Юра, расписаться еще раз.

И протянул ему какую-то брошюру о Дальнем Востоке, которыми нас в изобилии снабдили в Хабаровске.

Я никогда ни у кого не просил автограф. А этот, не предназначенный мне, сохранил. Но тогда мною двигали, конечно, другие соображения.

...Помимо врожденной, по всей видимости, страсти летать, было у Гагарина еще одно, благоприобретенное увлечение. Он как ребенок радовался, когда его... не узнавали.

Подъезжаю однажды, ранним летним вечером, к гостинице «Юность» и вижу, как из главных ее дверей выходит, нет, выскакивает молодецки Гагарин. В непривычной для него штатской одежде, в которой даже я его не мигом распознал. По короткой стрижке и по парфюмерным ароматам, которые я уловил носом, едва открыл дверцу машины, стало понятно, что он только что от парикмахера. С кресла человек всегда встает слегка помолодевшим и полным неот-

четливых, но конструктивных замыслов.

— Точно, — подтвердил он мою догадку. — Я здесь всегда стригусь.

А я подумал, что, помимо прочего, это для него еще один легальный повод вырваться из заколдованного круга служебных, семейных обязанностей и непременного почитания.

Постояли, обменялись текущими новостями и, как водится у нормальных мужчин, моментально дозрели до понимания необходимости «посидеть». Ясно было и то, что пить в такой теплый, еще отдающий весной вечер нельзя ничего кроме холодного пива. В «Юности», при всех ее достоинствах, хорошего пива сроду не бывало. К тому же здесь Гагарина каждый узнал бы даже в одних плавках.

Значит? Значит — пивной бар «Пильзень» в ЦПКиО, то бишь Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Открылся он сравнительно недавно и, по нашему обоюдному ощущению, не успел еще, как это водилось в ту пору с любыми густо посещаемыми объектами, утратить свой блеск.

До центральных ворот нас за десять минут домчал автомобиль. И хотя у его «Волги» пропуск был даже на территорию парка, Юрий предложил дойти до бара пешком.

Он просто хочет, догадался я, пройти тест на неузнаваемость. И действительно, большинство гуляющих не обращали на нас, то есть на Гагарина, никакого внимания. Зато если кто-то нечаянно упирался взглядом в Юрия Алексеевича, то застывал на месте. И не раз еще оглядывался на этого паренька в светло-сером костюме, так похожего на самого Гагарина. Но невозможно, конечно, чтобы это был действительно он.

В пивном зале, к вящему удовольствию Гагарина, тот же эффект. Зал, на удивление, был полупуст. Вошли непринужденно, заняли место подальше от дверей. Официант, принявший заказ — по кружке пива, топинки и шпикачки, с первого предъявления ничего нештатного в двух штатских не заметил. Но когда принес заказ и стал расставлять кружки на столе, все усек.

— Сейчас начнется, — приуныл Юра и поднял свою посудину, увенчанную белоснежной кучерявой шапкой. — Давай глотнем, пока не нагрянули. — И дунул на пену.

Ждать пришлось недолго. Сначала официант явился и поставил нам на стол бутылку зеленоватого «Очавери»:

— Вон от того стола, — он показал глазами на группу, как теперь сказали бы, лиц кавказского происхождения, которые и в чешской пивной пили только грузинские вина.

Потом подсунулся кто-то с автографом. И тут же в направлении нашего стола двинулась целая процессия, возглавляемая толстым человеком в ослепительно белом халате и белом же поварском колпаке. Он нес на вытянутых руках торт, напоминающий размерами и очертаниями пражские Градчаны. Следовавший за ним гражданин транспортировал не меньших размеров книгу для почетных гостей, в которой Юрия Алексеевича Гагарина, а заодно уж и меня, чтобы не обидеть, покорнейше просили расписаться, а если не затруднит, то и оставить памятную запись.

— Такая честь для нас.

Гагарин вел себя в этой ситуации более взвешенно, чем тогда в самолете. Но лицом совсем загрустил.

— Надо отходить, — скомандовал он, вложив в эти слова остатки юмора. — Пока не окружили.

Так кончилась еще одна попытка вести жизнь обыкновенного человека.

...Гагарин не был многословен, особенно по поводу своих забот в «Звездном городке», где все, что ни коснись, тайна, но очень любил слушать. Быть может, это было для него способом расширения кругозора. А ему, он был уверен, надо было его расширять, чтобы не ударить в грязь лицом во внезапно и неоглядно распахнувшемся для него мире. Наши разговоры крутились вокруг «Комсомолки», которую он выписывал и читал. Она ему нравилась, и он не понимал, почему и Павлов, и другие секретари и в рабочей обстановке, и в неофициальной, все время на меня, как теперь бы сказали, наезжают. Я объяснял как мог, но случай помог сделать это устами самого Сергея Павловича.

Дело опять было в Переделкино. Опять какой-то праздник. А может быть, просто уикенд. Под горкой, на которой стоял дом, на берегу небольшого пруда, была выстроена финская баня. На трех-четырех человек. Вот туда и пригласил нас с Гагариным Павлов. Прихватили ящик пива, тараньку, сухой колбасы, сыра и пошли.

Поначалу все шло как положено. Разговор крутился, в основном, вокруг способов париться. Мы все оказались большими специалистами в этом деле. Я настаивал на своей методе, которую позаимствовал от знакомого финского журналиста. Состояла он из трехтактового цикла. Перед заходом в парилку душ не принимать. Первый раз в парилке — на пять минут. Как начнешь потеть, поскрести себя мыльницей — чтобы пот пошел сильнее. Потом душ и — минут пятнадцать — отдых, завернувшись в простыню и позволяя себе небольшие глотки пива. И так — три захода — три отдыха. Только после этого — можно водки. А там, если не напарился, повторить все сначала. У Павлова были свои правила с привлечением водки на более ранней стадии, а Юра предпочел мои.

Быть может, это и задело Павлова. Он пошел по нашим стопам, но уже после первого захода «принял» и, когда взгромоздился на полку, завел привычную уже для меня песню. Неожиданным было место, выбранное для очередной проработки, и то, что Сергей Павлович решил вовлечь в этот процесс и Гагарина. Внимая первым его выбросам, я понял, что баня втроем была задумана именно с этой целью. А стопку водки Павлов принял не столько удовольствия ради, сколько для куража.

Не для храбрости, ему ее было не занимать, и не только по отношению к тем, кто стоял ниже его на иерархической лестнице, как это было в нашем случае. Он любил себя завести. Как, бывало, и Хрущев, когда был еще вождем, а не пенсионером. И в этом было не только подражание, но и натура. Во всяком случае, манера взрываться сохранилась у него и тогда, когда Хрущева в политическом смысле «не стало», а сам Павлов впал в немилость, о чем его в свойственной ему манере известил Брежнев:

— Будешь заговоры плести, в порошок сотру, — буркнул при очередном рукопожатии во время какого-то казенного мероприятия и сразу же отошел, не дав ответить.

Как Хрущев, избранником и любимцем которого он был, Павлов мог ополчиться, гневно и громогласно, на бюрократов, хапуг, очковтирателей, публично поддержать соответствующие выступления «Комсомолки» и тут же заявить не без демагогической нотки, что, мол, еще недостаточно наступательно она это делает. Но стоило ему побывать на каком-нибудь современном обличительном, пусть и в меру, спектакле, увидеть такого же рода фильм или прочитать новый роман, как моментально начиналось саркастическое словоизвержение,

с обязательным кивком в сторону той же «Комсомолки», которая «мирится с таким извращением действительности», не выступает против навеянных Западом попыток идеологического растления нашей молодежи, «подыгрывает всяким хлыщам и пижонам от литературы и искусства».

Когда в плане очередного номера, который мы обязаны были посылать в «большой» и «малый» ЦК, он увидел мою рецензию на «Кентавра» Апдайка, он затребовал гранки, а прочитав их, тут же собрал экстренное заседание секретариата ЦК, который, разумеется, единодушно его поддержал, после чего бывший тогда секретарем по идеологии Лен Карпинский вынужден был позвонить мне и попросить снять статью из номера. «На время», — добавил он уже от себя. Мир художественного творчества и его обитателей Павлов был способен воспринимать только в черно-белом измерении. Одних любил и пестовал, и не обязательно, как может показаться, бездарей и лакировщиков. Аля Пахмутова и Николай Добронравов, Тамара Синявская и Юрий Гуляев, Эдита Пьеха и Роберт Рождественский, Муслим Магомаев и Лариса Голубкина — к ним он и вместе с ним весь комсомол «милели людскою лаской». «Новый мир», «Юность», «Современник», «Таганка» — эти названия, имена их руководителей и авторов действовали на Павлова, как красная тряпка на быка, на какового он и становился похож в минуты гнева и раздражения, которые, впрочем, так же быстро и проходили, как накатывали. Вот и в тот наш «банный» вечер, сидя на раскаленной полке, которая жгла даже через полотенце, он, чувствовалось, специально себя заводил, надеясь воспламенить тем самым и Гагарина.

Сергей Павлович, только так мы его с Гагариным называли, пользуясь своим старшинством, даже рассадить нас, голяков, на полке постарался так, чтобы устроить мне что-то вроде коробочки. Я оказался в центре: справа — Павлов, слева — Гагарин. Но в этом-то и была промашка Сергея Павловича.

С Гагариным они были дружны. Юрий относился к нему если не как к отцу, разница в возрасте была лет в восемь, то как к старшему брату, чей авторитет был для него неоспорим. Он не то что не решался, не брался возражать ему даже тогда, когда был с ним не согласен. Как и в этот раз. Он просто держал меня за руку, чего не мог видеть Павлов, и молча пожимал ее в те моменты, когда наш третий сотоварищ по бане очередной раз брал самую высокую ноту, а я отвечал ему в той же тональности.

...Уже недалек был тот час, когда Павлов позвонит мне в «Комсомолку» и со спазмой в горле скажет, что разбился Гагарин.

И тот день, когда он же позовет меня на Маросейку, в конференц-зал, где Пахмутовой и Добронравову предстояло впервые «показать» свой «Гагаринский цикл».

— У неба отпросился, да отпуск был краток.

Мы не будем этой темени бояться...

Когда Давид говорил о «Булатике», на которого он гневался явно не всерьез, а для порядка, для разгона, в моей памяти возникла встреча с Окуджавой на юбилее баруздинской «Дружбы народов». Меня на этом заседании вместе с Симоновым утвердили членом редколлегии, и на встрече с читателями я уже сидел в президиуме, как раз рядом с Булатом.

Журнал тогда претендовал на роль наследника «Нового мира» времен Твардовского, и кажется, собравшаяся в конференц-зале Дома литераторов публика склонна была с этим согласиться, но не торопилась выдавать авансы. Точно и скупо отмеривала дозы внимания.

Римму Казакову встретили равнодушно и как бы с некоторым недоумением. Вяло похлопали Андрею Дементьеву. С симпатией, но без ажиотажа слушали Симонова, который вспоминал о Твардовском. Оживились, когда слово было дано Юрию Трифонову, который вновь показал себя владельцем удивительного сачка для вылавливания выразительных деталей. И когда стало ясно, что речь его подходит к концу, многие двинулись было из зала. Именно в это время Булат потянулся за неизменной своей, но до поры невидимой залу гитарой. Все, кто уж стоял или двигался к выходу, застыли, словно мухи, попавшие в мед. Потекли обратно, реагируя на возникший в зале шум, и те, кто уже успел приземлиться в буфете и в барах.

Окуджава, не вставая с места, придвинул к себе свободной рукой стоявший на столике микрофон. Я не склонен обожествлять своих современников, но в тот момент, первый и, кажется, единственный раз, чувствовал так, словно сидел рядом с богом. Человекоподобным богом античных времен.

«Исторический роман / Сочинял я понемногу, — пел, вернее, рассказывал любимый автор «Дружбы народов». — Пробираясь сквозь туман / От пролога к эпилогу».

Вернувшись домой, я сел за машинку в надежде, как оказалось, тщетной, что хоть в этот раз получится написать об Окуджаве. Как я написал для того же Баруздина и его «Дружбы народов» о Юрии Трифонове, Валентине Распутине, Василии Шукшине...

Сколько раз уже задумывал я и даже принимался писать о Булате и каждый раз не шел дальше нашей встречи в «Комсомолке» по поводу «Факела». Как легко было говорить о том Окуджаве, и как трудно об этом. Окуджава его песенной поры оказывался неподвластным моему перу. О нем что ни скажешь, все — не то, все — не так, все приблизительно. Вместо того чтобы говорить о нем и о своих впечатлениях, хотелось делать только одно — повторять и повторять его стихи, начиная с песенки о троллейбусе и кончая... Но слава богу, им еще нет конца, его строкам:

И пока еще жива
Роза красная в бутылке,
Дайте выплеснуть слова,
Что давно лежат в копилке.

Так очередная попытка закончилась фиаско. Зачем эти речи, зачем произносимые с трибуны трактаты, зачем твои критики в прозе, говорил я себе, мучаясь над вложенным в пишущую машинку листом, когда уже написано такое:

Нам не стоит этой темени бояться,
Но счастливыми не будем притворяться.

И сегодня, когда Булата уже нет, лежит там же, где и Высоцкий, на Ваганьковском кладбище, я испытываю то же чувство беспомощности. Она не огорчает, а радует меня. Я не хочу и не буду с ней бороться.

Некто из Воронежа, или три трости к юбилею

Как и с Федором Абрамовым, дружба с Гавриилом (Гаврилой, как упорно звал его Федор. — *Б.П.*) Троепольским завязалась сразу после моей статье о его «Белом Биме», которую я назвал «Ребята и Зверята». Сначала он пришел ко мне в «Комсомолку», представившись: «Некто из Воронежа», а потом вместе со мной перекочевал в ВААП, став одним из виновников своеобразной расшифровки этой новой для того времени аббревиатуры, которую я уже приводил. На третий этаж, который местные остряки называли «правительственным», он поднимался не сразу. Сначала обходил кабинеты на двух других. Угощал конфетами девочек в одной комнате, курил с мужиками в другой. Помощницу мою, которая порывалась тут же сообщить о его появлении, останавливал, приложив палец к губам:

— Не замай начальство свое. Вдруг оно сейчас как раз с каким-нибудь нашим вождем беседует. Я ведь не спешу. В мои-то годы куда спешить. Сем-ка я присяду и мы с тобой малость покалякаем.

И калякали до тех пор, пока я, открыв по какой-либо надобности дверь в приемную, не обнаруживал гостя...

— Гавриил Николаевич, какими судьбами? Давно ли...

Его приход я называл про себя праздником, который длится долго. Уж так он был нетороплив и обстоятелен — в приветствиях, в манерах, в разговорах и рассказах. Ну не вписывался он в дерганый ритм и нервную атмосферу московских служивых будней. И нисколько этим не смущаясь, навязывал хозяину кабинета свои правила игры.

Усядется поудобнее в кресле, хлебнет из чашки предложенного ему чая и, опершись руками и грудью на трость, происхождение которой было доведено до моего сведения еще ранее, и начинает...

— Приезжает ко мне в Воронеж некий Грязнов. Говорит — я из АПеэНа. У нас, мол, знаете какая организация. Не все, что мы говорим одним, должны другие знать.

Да, бывал, говорю, я в вашем АПеэНе. Ничего такого особо таинственного не замечал.

Ну ладно, говорит, одним словом, наше начальство (а может, он даже «руководство» сказал), просит вас о Солженицыне высказаться. Тут вот даже вроде тезисов есть, и если что вам непонятно, я могу дополнительную информацию дать. И вообще помочь написать...

— Нет, говорю, не бывало еще такого, чтобы за меня писали.

— Тогда, — говорит, — и напишите сами. А я потом, если надо, поправлю, если руководство скажет.

— Я говорю: мы давайте с вами кончим этот разговор. Вот почему. Я в пророки не гожусь, но этого вашего Солженицына через два года забудут, он уже

и сейчас надоел всем на Западе. А мы напишем и дадим им пищу новую, они и будут это сколько еще времени мусолить.

Тут он тяжело вздохнул и внимательно посмотрел на меня, дескать, правильно ли я понял его, эту его своеобразную дипломатию, к которой тогда многие из нас прибегали, лишь бы уклониться от настойчиво предлагаемой чести полить публично ненавистного властям хрущевского выдвиженца. Убедившись, что все правильно понято, продолжил рассказ:

— Тогда, говорит, давайте я у вас интервью возьму...

— Нет, интервью я вам не дам.

— Почему?

— Тут, говорю ему, извините за нескромность, я на Льва Толстого сошлюсь. Может, и не каждый в его письмах и записях копается. Но есть там такой эпизод. Пришел к нему журналист и просит интервью. — «Что это вы ко мне с интервью?» — «Да сейчас, — отвечает, — каждый дурак у вас интервью хочет взять».

— Вот на том мы с ним и расстались. Я-то что хотел сказать? Я просто хотел сказать, что у меня, мол, юбилей приближается и потому всяк ко мне с интервью пристает.

Не знаю, обиделся он иль нет, только потом появилась его статья. А.Грязнов. АПН.

И боже мой, что там понаписано. Бедный Лева Якименко. У него статья была вступительная в «Роман-газете» к моему «Биму». Так он ее всю ободрал. Все мысли. Да еще и исказил. И в конце пишет: «Троепольский никому интервью не дает. Но я его попросил, и он мне сказал...» Это он, любезный, наш разговор, значит, когда я отказывался, за интервью выдал. Насчет Толстого, однако, не упомянул.

— Мне ребята говорят: «Ты начальству его напиши или скажи». Но где его найдешь? Я спрашивал, никто не знает. У них епархия огромадная, у АПН. Только по его милости мне мой юбилей придется два раза справлять. Он эту свою статью поганую в аккурат перед Новым годом напечатал и написал, что в этом году мне 75 стукает. А в каком — этом? Ну и пошел народ меня поздравлять раньше времени.

Тогда только что было объявлено, что фильм Станислава Ростоцкого по его повести «Белый Бим Черное Ухо» получил Ленинскую премию. Фамилии Троепольского в числе награжденных, однако, не было. Сам в ту пору член комитета по премиям, я пытался убедить коллег, что это абсурд. Но мне в ответ твердили, что Троепольский получил же за свою повесть Государственную премию. А за одну и ту же вещь два раза не награждают.

— Был, был я и автором-то сценария. Две тысячи мне за это заплатили. И расписочка имеется. Но я им посоветовал в титрах меня не проставлять. Иначе вы премии себя лишите. Они согласились со мной. Написали «по мотивам».

— В конечном-то счете, — говорю ему в утешение, — все равно книгу наградили, а не мотивы.

— В общем, — тут глаза у него заговорщически заблестели, — у автора — Государственная, у киношников — Ленинская. А у Бима — и та и другая.

Беседу Троепольский ведет по принципу — шаг вперед, два шага назад.

А то и вбок.

— Мне фильм нравится.

...Шаг вперед.

— Но не все у них получилось. Деревни, например, совсем нет. Городской фильм получился.

Это о Биме-то — городской фильм! Вот так похвалил. И все это — неторопливо, слова — врастяжку. Прощаясь, бросал с нарочитой небрежностью, знал, чем подлечить мне душу, израненную стенаниями врагов и друзей насчет «грабительских налогов»:

— Поеду сейчас чеки получу, а потом в «Березку» — пару костюмчиков надо примерить...

— Значит, охрана прав все-таки работает?

— Работает? Да я вам честно скажу, меня заботит, куда эти чеки-то и девать. Между нами говоря, сейчас на двадцать тысяч скопилось.

Когда же я однажды сказал ему, что можно бы не только костюмы купить, но и машину, он сделал испуганное лицо:

— Так ведь она сколько стоит-то?! Восемь с половиной!

Мне припомнилась старая байка. Солдатиков спросили, хватает ли им еды.

— Хватает, еще остается.

— А куда остатки деваете?

— Доедаем, еще не хватает.

Когда мой тогдашний директор телеобъединения «Экран» Борис Хессин предложил мне «сделать» телефильм о Книге, а проще говоря, о ВААПе, а то, мол, люди вокруг черт-те чего несут, у меня первая мысль — поеду к Троепольскому. Тем более, что и в Воронеже, стыдно кому сказать, никогда не бывал.

Московский поезд приходит в Воронеж в девять утра. На перроне десяток встречающих нашу маленькую киногруппу — из местного отделения Союза писателей, из обкома, куда телевизионщики позвонили, газетчики. В центре — Гавриил Николаевич. Он — в соломенной шляпе, сбитой на макушку. В серых, издания шестидесятых годов, брюках. Пуговица на кармашке сзади оторвана и клапан воинственно топорщится. Без пиджака, но в рубашке с галстуком, который он, впрочем, по прибытии вместе с нами в гостиницу, снимет, чтобы больше уж не надевать, и ходить с широко распахнутым воротом.

Он тут хоть и по-стариковски, но прям и статен и вообще разительно непохож на самого себя в Москве, где он — в длинном на все пуговицы застегнутом двубортном пиджаке, основательный, галстук с узлом в кулак, и круглая с высокой тульей шляпа, сидящая идеально прямо и глубоко. Шаг — уверенный, но тяжелый, не частый. И громкий стук трости. Старец, патриарх. Создатель «Белого Бима».

Здесь же даже указывающее как будто бы на возраст прозвище «дед» только молодит его, и уж тем более залихватское Гаврила, употребляемое, правда, лишь за глаза.

В номере гостиницы, которая только что открыта, отчего в ней все мажется, скрипит и отстает, разговор заходит, вопреки моим попыткам, не о деле, которое привело меня в Воронеж, сюжет с Гавриилом Николаевичем, и не о литературных московских новостях, которых я поднакопил, чтобы позабавить хозяина, а о погоде, о видах на урожай, о суши, которая стоит уж вторую неделю и грозится загубить скот и посевы.

Чувствуется, что разговору этому здесь нет ни начала, ни конца, и он был лишь прерван короткой вокзальной суетой. Кто-то рассказывает, как перегоняли в эту жару овец и половина их по дороге пала — от какого-то то ли комара, то ли мошки, которую «дед» сразу же определил «толкунцом»: — Эдак вот — движение перпендикулярно к земле ладонью вверх и вниз — толчется в воздухе и набивается в пасть, в уши, в глаза. Бывало, на два-три дня такая пакость, а тут целый месяц — ну никакого спасу нет.

— А свекла от мушки-минера пропадает, — сокрушенно продолжает он. И объясняет исключительно мне: тонким своим жальцем прокалывает покров, кожицу листа и откладывает внутрь микроскопические яйца. Выводится личинка и начинает бороздить по листу зигзагом. Пока донизу доберется, высушит лист. По стеблю на другой — и вверх. Так пока все растение не погибнет.

Выясняется далее, что и на картошку припасен враг — разновидность колорадского жука — «черная ножка», по причине которой картошка, если сварить ее, остывая, чернеет.

— Как это по-русски, по-российски, по-писательски, — успеваю цитатой из ненаписанного еще своего сценария подумать, — так вот, забыв обо всем, печься о земле родной, об урожае, о хлебе... Так оно и должно было быть вокруг Троепольского.

Коллеги его, все, как он, — рыбаки, охотники, краеведы. Люди с воображением. Так что высказанное одним и подхваченное другими предположение, что, мол, уж не воинство ли какое невидимое ополчилось на нас, грешных, в наказание человеку за его бесцеремонное вмешательство в дела природы, не кажется ненатуральным.

Оставив на время эту тему, заговаривают о футбольном матче, который состоится сегодня вечером на городском стадионе. Я же пытаюсь, пока безуспешно, перевести все на предстоящие и все больше беспокоящие меня, учитывая жару и возраст героя, съемки.

Гаврилу, чую, перспектива эта тоже волнует, но не из-за жары и возраста. Просто не любит он сниматься. Так мне и сказал, когда я ему позвонил из Москвы.

— Видеть буду рад. Но лучше бы без камеры...

Теперь, как малое дитя, он стремится отдалить неприятное.

— Сначала ко мне, пообедать.

Меня приглашение радует возможностью понаблюдать своего героя в самой естественной обстановке. Да и аппетит начинает уже давать о себе знать.

Но сначала город. Об этом напоминают мне и истомившиеся в ожидании «дела» режиссер и оператор.

На новеньких, купил-таки, «Жигулях» — «дед» за рулем — едем по Воронежу. Город знаменитый, и манит к себе каждая улица, каждый дом. Но поневоле обуздываешь себя. Главное все-таки — не Воронеж. Главное — Троепольский.

В голове — нехитрая схема — был Кольцов в Воронеже, был Никитин... Теперь — Троепольский. Остановиться у каждого памятника. Сделать по нескольку кадров. Записать, что он скажет. Был еще Мандельштам. Но ему памятника пока не поставили...

Все это было условлено заранее, еще перед выездом из Москвы. Удивительной силой обладают эти самые схемы.

И я вскоре начинаю понимать, что во власти их уже не только я, но и Троепольский. От него, действительно, требуется сейчас сказать лишь несколько фраз. Но он, только что, на вокзале и гостинице — душа беседы — их не находит. Сбивает с настроя суматошная, не любезная сердцу съемочная мельтешня?

Просит пощады и идет к своим «Жигулям». Возвращается с книгой. Это стихи его земляка Владимира Гордеичева о Воронеже с его, Троепольского, предисловием.

Что-то он вычитывает из книги и с видимым смущением, глядя на бронзовую фигуру своего великого земляка, тоном школьника, школярскими же, вряд ли из книги, словами, восклицает:

— Смотришь вот на его лицо и как будто видишь, как он говорит: «Аль у молодца крылья связаны, аль пути ему все заказаны?!»

Не нравится. Перелистывает с отчаянным видом еще несколько страниц и снова поворачивается лицом к бесстрастному и безжалостному объективу, который тупо возвращает ему взгляд: «А с другой стороны, мысленно повторяешь про себя строки, которые он написал в письме Белинскому, духовному своему отцу...»

Снова замолкает и протирает лицо и лоб под шляпой большим, как столовая салфетка, платком. Смотрит на меня одновременно вопрошающе и негодующе. Успокаивается и даже веселеет, когда многоопытные киношники сообщают, что съемки не было. Недреманное око не работало, а только примеривалось.

Став снова самим собой, Троепольский ультимативным тоном предлагает всей честной компании ехать к нему обедать.

Уповая на то, что в доме писателя, в его рабочем кабинете все, быть может, сложится удачнее, мы отдаем себя в его руки.

Вначале надо поставить машину в гараж. Стандартная металлическая коробка, которую удалось поставить во дворе какого-то полуразрушенного дома, и то только потому, объясняет Гавриил Николаевич, что дом подлежит сносу. Но пока что в нем, уже тронутом запустением, еще теплится кое-какая жизнь. Из одних окон доносятся женские и детские голоса, из других — стук пишущих машинок.

Перед самым гаражом — апокалиптическая картина. Стоит полный пожилой человек в майке, судя по всему — лицо еврейской национальности, и жжет в цинковом ведре бумагу. Дым, искры, пепел.

— Вы бы пошли в другое место жечь, — вежливо предлагает ему «дед».

— А куда и почему? — не менее приветливо спрашивает майка.

— Поджечь же можете.

— А тут гореть-то нечему, кроме как вашей машине, — охотно поясняет «поджигатель».

— Ну, машина-то авось и не загорится.

— Ну и порядок, — заключает беседу странный человек и бросает в ведро новую охапку бумаги.

Пока Троепольский загоняет машину в гараж, из окна на втором этаже высовывается женщина:

— Дядечка, ты бы другое место нашел. — Почти слово в слово повторяется только что имевший место диалог. Женщина в возмущении и изумлении захлопывает окно.

Странный человек, явно довольный собой, высыпает из ведра пепел и остатки обуглившейся бумаги и уходит не прощаясь.

Направляясь к жилью Троепольского, стараемся в эту жаркую полуденную пору держаться в тени огромных старых лип, которыми засажена ведущая к его дому улица. Кажется, что он знает «в лицо» каждую из них, во всяком случае те, что больны и как-то повреждены. Вот, например, одну, тужит он, задело совсем недавно автобусом, который развернули в неположенном месте.

Продолжается и знакомство с аборигенами. Недалеко от дома обгоняем двух, видно, уже «пообедавших» мужчин в белых, далеко не первой свежести прозхалатах. Один что-то оживленно и с чувством превосходства человека, в чем-то твердо уверенного, втолковывает другому, кивая в сторону моего спутника. И уже пропустив было нас вперед, обращается к «деду» как к знакомому:

— Вы извините, товарищ Троепольский, ваша собачка, вы писали, какой породы будет?

— Английский сеттер, — неохотно отвечает Гавриил Николаевич, отнюдь не польщенный таким подтверждением собственной популярности.

— Гуляете, стало быть, с такой же. Тоже Бимом кличут?

— Лель, — роняет Троепольский и ускоряет шаг.

— Я читал, — говорит первый «халат» второму. — Они написали Бим. С жизни, стало быть?

Троепольский тянет меня за рукав, а у меня мелькает, что если бы халаты были почище, тут и камера моих операторов не помешала бы. Поди угадай, где найдешь, где потеряешь.

В подъезд дома, послевоенной постройки, где он живет, — вход со двора. Сюда выходят черные ходы продовольственных магазинов. Шум и характерный, словно просоленной рыбой, запах. «Дед» ожесточенно стучит тростью по асфальту.

— Собственного производства? — спрашиваю, вспомнив, что мне говорил Федор Абрамов об этом увлечении его старшего коллеги.

— Да нет, подарок. К юбилею, который два раза справляли. Три трости, как сговорились, подарили. Первый признак, что окончательно меня за старика посчитали.

Мы входим в подъезд и начинаем подниматься на четвертый этаж его дома без лифта.

— Ничего, — успокаивает он то ли меня, то ли самого себя. — Это нам с Лелем вместо зарядки.

Лель — первое, что бросается в глаза после того, как чья-то невидимая рука открывает нам по звонку обитую дерматином дверь. Белый сеттер, только без черного уха. Белый или седой?

Собака стара. Это видно и не специалисту. Поступь тяжелая. Шерсть на исхудавшем теле висит длинными серо-белыми косицами.

— Это у нас вторая. Взяли сразу после того, кого Бимом назвали. После гибели его, — говорит Троепольский и чешет Леля за ухом, предоставляя мне самостоятельно знакомиться с его довольно-таки многочисленной семьей. По очереди жму руку жене, сухонькой и легкой на взгляд, как одуванчик. Дочерям. Старшая — спокойная, положительная. Младшая живее, экспансивнее... А «дед» все треплет и треплет за ушами улегшегося у его ног Леля.

— Год назад еще собака была бодрая. Но охотиться с ней лучше, чем с молодой. Дело знает и в сторону не бегает, держится рядом.

В маленькой, к тому же еще переполненной сейчас и гостями и родней, прибывшей на подмогу хозяйке, квартире одно есть, по словам Троепольского, сравнительно тихое место, его кабинет, куда мы втроем, он, Лель и я, и отправляемся. «Белый Бим Черное Ухо» по статистике ВААПа — рекордсмен по изданию за рубежом. Не соблазнительно ли высыпать на экран, буквально как карточную колоду, десятки красочных обложек этой книги на всех языках — от английского до суахили? Вон их — целая полка.

Здесь же с удовольствием обнаруживаю папку с вырезками из газет и журналов на разных языках — рецензии, отклики на издания «Бима». Догадываюсь, что это работа нашей пресс-службы. Она же обеспечила автора переводами публикаций на русский язык.

«В романе описана захватывающая история одной собаки, в то же время он заставляет читателя необычным, но убедительным образом задуматься о собственной жизни». Вот еще: «Это лаконичное, близкое к действительности, порой ироническое, но проникнутое духом большой человечности произведение...»

Листаем вместе страницы этого внушительного досье. Нет недостатка в щедрых комплиментах автору: «Книга вполне может занять место рядом с “Холстомером” Толстого».

Но «деда», кажется, больше привлекает другое. Он желтым своим от курения указательным пальцем водит по строкам перевода из шведской газеты. Автор рецензии представляет бедолагу Бима своего рода диссидентом, не способным ужиться с коммунистическим режимом, в результате чего он после многих мытарств оказывается в руках «полиции» и в конце концов теряет свою голову на живодерне.

— «Белый Бим»? Он семь месяцев в цензуре томился. Красный карандаш над ним висел...— словно бы ненароком бросает Троепольский и подталкивает меня к другой полке.

Здесь первые издания его «Записок агронома», «Прохора Семнадцатого», голубые тетрадки «Нового мира» той поры с автографами Твардовского. Ему не нравится, вспоминаю я прежние наши разговоры, что все, словно бы сговорившись, твердят об одном «Белом Биме».

Вот и тот прохиндей из АПН написал, переврав Якименко, что, мол, в творчестве Троепольского было два взрыва. «Записки агронома» и «Бим». А остальное — творческий простой.

Сейчас он вспоминает, что крестным его отцом в литературе был Трифонович, как он его почти по-сыновнему называет, хотя и родился раньше Твардовского.

С неостывшим еще и сегодня раздражением говорит о каком-то недавно опубликованном письме Овечкина редактору «Нового мира», в котором тот рекомендовал воздержаться от публикации «Короля жестянщиков».

Ворчит и, в паузах наклонясь, треплет Леля.

— Тринадцать лет, — замечает вздыхая. — Мой возраст. Четыре собачьих года — это двадцать пять наших.

Сам того, быть может, не замечая, «дед» смотрит в Леля как в зеркало.

Собака действительно стара. Все время прилаживается улечься у его ног и заснуть. Моментально, однако, просыпается, стоит только хозяину пошевелиться.

Собака, видимо, больна. Нос ее, которому по всем собачьим законам, полагается быть комком антрацитово-черной, важно поблескивающей кожи, больше похож на кусок древесного угля, на который, чтобы его загасить, плеснули водой. Тусклый черный цвет. Пористая взрытая поверхность. Под одним глазом выросла и висит на паутинке века, словно кожаный шарик, бородавка.

Троепольский смотрит на Леля и, быть может, видит в нем Бима, такого, каким тот был, когда он писал «с него», много-много лет назад, свою пока последнюю, но уже ставшую классикой повесть. Я же смотрю на Троепольского, притомившегося за жаркий день, и вижу Гаврилу, который в шляпе, молодецки сдвинутой набекрень, встретил меня утром на вокзале. И еще вижу фильм, но не тот, за которым приехал, а большой, настоящий. Который, может, никогда и не появится. Фильм о счастливом человеке, который сам не ведает о своем счастье.

«Дед» печется о «Записках агронома», о «Прохоре Семнадцатом». Рассказывает, что вот-вот начнет выходить трехтомное собрание его сочинений. Обещает подарить. С автографом. Я же думаю, что вот пройдет время, многое забудется, уйдет, а в сознании народном, рядом с именами таких создателей одной книги, как Грибоедов, как Решетников, как Шарль де Костер, будет стоять и это имя — Гавриила Троепольского.

Так будет когда-нибудь, может быть, будет, думаю я. И радуюсь, что ему, живому человеку, еще переполненному в свои без малого восемьдесят лет замыслами, нет сейчас до истории никакого дела.

— «Колокол», — говорит он. И я знаю, что это название той вещи, над которой он работает уже больше десяти лет.

— «Колокол», — повторяет он. — Я ведь вот чего... Я ведь заново его переписал последние два года. После болезни. На спине-то лежа — лучше думается. Я вот чего понял: в искусстве писать главное — вычеркивать.

Не знаю, успеет ли он написать «Колокол», но теперь знаю, почему есть и будет.

— Белый Бим.

За обедом — бутерброды с черной и красной икрой. Банки с лососем.

Окрошка, салат. Вареная курица. Он выпивает больше молодых и держится как ни в чем не бывало.

Вечером идем на стадион болеть за воронежцев. По возвращении в Москву я позвонил первому секретарю обкома партии Игнатову:

— Был вот у вас в Воронеже, но всего один день...

— Чего ж не зашли, познакомились бы, может, и мои авторские права какие-нибудь защитили.

Я привык: словосочетание «авторские права» все еще внове для партийно-советской элиты, и каждый в разговоре со мной стремится сострить.

— Да у вас и без того есть чьи права защищать — целая писательская рота.

— Да ну их, они только... Ничего не пишут. На партийных собраниях все разговоры — о мясных пайках.

— Ну, по крайней мере, один-то у вас писатель всесоюзного, всемирного масштаба.

С явным недоумением:

— Кто же это?

Я с ответным недоумением:

— Да Троепольский же, Гавриил Николаевич...

— Ах этот... Говорили мне о нем. Я, правда, с ним не встречался. Сложная фигура. Вы прошлое-то его знаете?

— Знаю, что он автор «Белого Бима» и лауреат Государственной премии.

— Да нет, это я не спорю. Это мы знаем. Помогли тут ему недавно, дочь от него отселили.

— А я как раз по этому поводу и хотел говорить. Старый дом. Четвертый этаж. Без лифта. Под носом — стадион. Каждый вечер — рев. Пьянки во дворе. Нет-нет, он сам этого вопроса не ставил, ни о чем таком со мной не говорил и об этом нашем разговоре не знает....

— Тонкий человек, этот товарищ Троепольский. Никогда ни о чем не просит, а все о нем ходатайствуют.

—Так это естественно. Достаточно знать, что он такое, и побывать у него дома.

— Да нет, я ничего не говорю. Но вы и нас поймите. Мы вот только что дочь отселили, а он у нас не один. Есть такие старики. По двадцать лет уж ничего не пишут, а подавай им...

— Ну, о Троепольском не стоит говорить во множественном числе....

Вот такой был разговор 12 июня 1981 года, о котором я пишу двадцать лет спустя.

Четвертое измерение

До тех пор, когда за несколько лет до ее кончины мы стали с Мариэттой Шагинян, как мне показалось, друзьями, была у меня только одна возможность встретиться с нею, вернее, наблюдать ее вблизи.

Это случилось теперь уж чуть ли не полвека назад, на летучке в «Комсомольской правде». В ее Голубом зале. В разгар набиравшей обороты дискуссии к вольготно раскинувшемуся в своем кресле главному редактору подошла его секретарша и что-то прошептала.

Может быть, впечатление, о котором я сейчас хочу сказать, родилось позднее, под воздействием тут же последовавших событий, но мнится, что так оно и было: наш главный, Дмитрий Петрович Горюнов, вдруг сам стал похож на ученика, только что получившего двойку.

Он покраснел, в каком-то недоумении обвел взглядом зал и, махнув в отчаянии рукой, сказал:

— Пусть заходит.

Но уже не дожидаясь его согласия, в зал не вошло, а влетело со скоростью шаровой молнии некое балахонисто одетое, с выдвинутой вперед правой рукой с чем-то твердым и черным в ней существо, которое остановилось около редактора, протянуло ему раскрытый экземпляр «Комсомолки», произнесло короткую, из одних восклицаний, речь и покатилось дальше, вдоль нашего длинного, овалом, стола, оккупированного, согласно неписаной традиции, исключительно членами редколлегии. С правой рукой, все так же выставленной вперед.

Этим способом Мариэтта Шагинян, а это была она, высказала свое негодование по поводу только что опубликованной в «Комсомолке» статьи об одном армянском просветителе и теперь ожидала реакции, которую она могла воспринять лишь с помощью микрофона у нее в руках.

Когда минут через пятнадцать она с видом победителя покинула зал наших заседаний, атмосфера в нем напоминала тот момент в природе, когда гроза уже отгромыхала, ливень кончился, но тучи, медленно расползаясь, еще скрывают солнце.

Ни тогда, ни позднее я не относил Мариэтту Шагинян к числу своих кумиров, хотя рассудком отдавал должное ее бросавшейся в глаза неутомимости не по возрасту, который на моей памяти всегда был почтенен, неукротимому темпераменту и множеству ею написанного, что вызывало в представлении образы великих тружеников пера позапрошлого века.

Никогда не перечитывал, «пройдя» в университете, «Гидроцентраль» или «Месс-Менд». И только появившиеся в «Новом мире» главы ее книги «Человек и время», а там и сама книга, стали для меня открытием. О чем я и поведал в вышедшем в конце семидесятых сборнике литературно-критических очерков «Строгая литература».

Услышать в телефонной трубке высокий, даже пронзительный женский голос, уведомивший меня, что он принадлежит Мариэтте Сергеевне Шагинян, которая хотела бы увидеться с Борисом Дмитриевичем Панкиным, было для меня, наверное, таким же шоком, как некогда для Горюнова ее появление на редколлегии «Комсомолки». С близким к этому ощущением я поехал к ней домой.

Эта и последующие встречи, всего, кажется, четыре, были чудом соприкосновения с неким неведомым, уже почти по ту сторону черты стоящим миром. С существом, которое, однако, словно бы и не замечает этой черты, что бы за ней не ожидало.

Не то чтобы не было упоминаний о старости, о смерти, наоборот, слова эти все время у нее на устах, но в каком-то непередаваемом рабочем значении. Так в прошлые века, когда путешествия за океан делили жизнь пополам, говорили, должно быть, отцы-пилигримы о переселении из Старого Света — Англии, Швеции, Испании — в Новый — будущие или уже существующие Соединенные Штаты.

От ее практического отношения к главному и единственно достоверному таинству кружилась голова.

Ей было за девяносто, когда я с ней познакомился. Сам этот неправдоподобный для большого города возраст при почти полной глухоте и слепоте, что, однако не мешало ей беспрестанно прибегать к глаголам «видеть» и «слышать», в сочетании с потоком восклицаний, утверждений и вопросов, которые исторгали ее уста, обрамленные подобием легких как пух усиков, рождал ощущение чего-то сверхъестественного, запросто, однако, поселившегося, подобно булгаковским пришельцам, среди нас на самой что ни на есть обыкновенной московской улице близ метро «Аэропорт», в самой что ни на есть затрапезной двухкомнатной квартирке построенного в 60-е годы кооперативного писательского дома.

Одно только осознание того, что беседуешь с человеком, проведшим с Псалтырью в руках ночь у тела Блока, в его голодной и холодной квартире в Петрограде, выбивало из колеи.

В ее малогабаритной квартире на первом этаже все завалено книгами, которые подчинены, однако, строгому порядку, ведомому одной лишь хозяйке.

На стене — ее портрет маслом, дореволюционной еще поры. Гипсовый оттиск ленинской посмертной маски, снятой Меркуровым.

Выполненный в графике двадцатипятилетней давности автопортрет ее сестры-художницы Лины.

Вместе со мною Мариэтта Сергеевна смотрит на этот портрет.

— Глаза, она подарила мне свои глаза. Мы ведь были одно целое. Уходя, она сказала: «Работай, и в работе я буду с тобою».

Увидев или догадавшись, как я, словно бы машинально, вожу пером по бумаге, слушая ее, она кинулась на меня ястребом:

— Что он записывает? Что он там записывает? Он что, хочет донести на меня? Если так, я из гроба прокляну!

Обидные, собственно, оскорбительные в других устах слова эти не задевают. И звучат они без какого-либо интервала после ее же великодушных замечаний о некоторых страницах моей книги, посвященной тем писателям, которые и ее занимают. Ничего, что воспринимает она их по-своему.

Любит «Дом» Федора Абрамова.

—Это первое у нас произведение, где сказано, что стремление к чрезмерному потреблению опасно. А его за него критикуют.

Ценит Чингиза Айтматова:

— Он сказал, что нельзя быть коммунистом, не сомневаясь, не размышляя. А когда я об этом написала, у меня вычеркнули.

К Распутину относится спокойнее, чем я. Говорит неожиданно:

— У него нет корневых ситуаций. — В пример приводит «Деньги для Марии»: — Просто автору надо было наболевшее выплеснуть. А ситуация надуманная. Почему филантропия? Где сельсовет, где общественность? «Уроки французского» — другая поза.

«Тихий Дон» — корневая ситуация. И «Пегий пес» Айтматова. Легенда — но тоже корневое. Тут третьего не дано.

К другому персонажу моей книги она подходит еще строже.

Морализирует:

— Мне совершенно официально один писатель сказал, что у него, — а я так его уважала, замечательный парень, — миллионы в английском банке.

Возразить ей невозможно. Перебивает тебя при первой же попытке. И одновременно сетует:

— Я хочу вас послушать. Вы молодой человек. Вы явились ко мне из самой гущи. Мне ваше мнение интересно. Я же вашу книгу прочитала.

И подавив очередную мою безнадежную попытку самовыразиться, снова переходит к своей книге, которую она мечтает увидеть, пока жива, изданной на немецком, языке философов и романтиков.

— Летом ко мне на дачу пришел какой-то человек, типичный работяга, — тут она запнулась, словно удивившись такому необычному в ее собственных устах слову.

— Я спросила: «Что вам здесь нужно?» Я была одна на даче. Он сказал, что пришел поклониться мне в ноги. «Почему это?» — спросила я. «Я пришел поклониться вам, потому что я прочитал вашу книгу...» Я поняла, что он говорил о моих мемуарах. «Кто вы такой? — спросила я. — Я никогда вас не видела». — «А вы и не можете меня видеть, потому что я работаю ночью». — «Что же вы делаете?» — спросила я. «Я, — сказал он, — ассенизатор. Я очищаю ваши уборные, когда вы спите. И вот, возвратившись домой, я читал вашу книгу и скандалил с женой, которая была недовольна, что я мешаю ей спать. И вот я пришел вам поклониться».

И он стал пересказывать мою книгу простым своим рабочим языком, но так четко и ясно, что мне стало стыдно моих мыслей, что он как простой человек мог не понять ее, эту сложную книгу. Он сказал: «Если с человеком разговаривают с уважением, все можно понять». Вот эти слова, которых я за всю свою долгую жизнь не слышала ни от одного критика.

— Ругайте, — продолжала она, привычно переходя от конкретного к общему и обращаясь заочно уже ко всему литературно-критическому цеху. — Ругайте, только профессионально. Для этого взгляд только наполовину должен быть критическим. Наполовину — читательским.

Мне льстит ее неоднократное обращение к моим скромным трудам. И я не чувствую себя разочарованным, когда осознаю, что больше всего в моей книге ей нравятся ее же строки, посвященные ее юности, когда она приехала в армянское село учительствовать и, пожив там, пришла в ужас от необъятности труда землепашца: «Земля необъятная, голая, голодная, сухая лежала до горизонта, куда ни посмотри».

Молодая учительница поделилась своими паническими ощущениями с одним из крестьян, и тот ответил: «В каждом труде свой секрет есть. Наша работа — нам легкая, потому что, видишь ли, нам земля отвечает».

Земля отвечает. И я поняла, что в труде педагога есть такой же секрет.

Это уже мостик к ее кумиру — Илье Николаевичу Ульянову, которому в ее воспоминаниях посвящена целая глава. Та, из которой я взял приведенные выше строки. Приближался как раз его стопятидесятилетний юбилей.

— Надо, — восклицала она, — напечатать эту главу отдельно. И передать ее по радио. Чтобы больше людей узнали о настоящем Илье Ульянове. Известно, что существует сорок девять документов. Подлинных. О нем. И все сорок девять документов находятся у меня. А будут, — опять неожиданный переход, — печатать сопли типа Прилежаевой с ее пошлым языком. Это Чарская нашего времени. Для нее Илья Николаевич вроде удобрения, вроде навоза, на котором взошел его великий сын. Упирает на доброту, на внимание к людям, но в нем главное, что это — великий педагог...

— Вы почитайте мою главу об Илье Николаевиче, — призывает она, словно бы не с цитат из этой главы в моей книге начался наш разговор. — Вот это были собрания.

Это же было самое прекрасное в жизни, когда люди приезжали, советовались друг с другом, спорили, вырабатывали общую программу.

Она просто не умела без крайностей — будь то за здравие или за упокой.

— Я Ленина считаю вторым человеком в истории человечества. Я вспоминаю, как выглядит его пальто, заштопанное Надеждой Константиновной. Это такой человек, до платья которого хочется дотронуться.

Мое деликатное молчание она истолковывает по-своему:

— Вы чужой. Вы не хотите стать мной.

Мне хорошо знаком этот дефект восприятия, и не одной только Мариэтты Сергеевны... — тоскуя по общению, по воздуху дружбы и взаимопонимания, она склоки, междоусобную борьбу времен своей молодости, прямое словесное, за которым могло последовать и физическое, изничтожение друг друга интерпретирует теперь как вольное и бескорыстное пиршество ума. И, как раньше, не выносит несогласия с собой.

Она приходит в ужас от того, что я еще не успел прочитать ее статью в недавнем «Коммунисте» о Ленине.

— Эта статья к нему миллионы привлечет. Там речь идет — я нашла такое место, — где Ленин говорит о симпатиях к ранним христианам, которых он сравнивает с самым дорогим для него, с Парижской коммуной. Какие горы клеветы снимает одно только упоминание об этом,

Еще несколькими фразами она, словно ткачиха на станке, приправляющая нить, «ставит», развивает свою мысль:

— То, что там сказано, вернет, откроет Ленина тем миллионам на Западе, кто утратил его или не пришел к нему, не по своей, впрочем, вине. Средние слои. Тем самым, что в тридцатых годах качнулись к Гитлеру. И сейчас не воспринимают Ленина.

Через какое-то время снова звонок.

— Борис Дмитриевич, когда же вы приедете?

— Мариэтта Сергеевна, я...

— Знаю, знаю. Я все про вас знаю от вашего милого секретаря — Ирины Васильевны. Что вы были в заграничной командировке. Что потом опять куда-то

ездили и только сегодня вышли на работу. Я очень хочу увидеться. У меня плохо со здоровьем. У меня нашли инфаркт. Я долго не протяну. Хочу с вами говорить о судьбе моих книг.

— Обязательно, — добавила она, — захватите с собой этого вашего Карцева. Он очень хороший товарищ (член правления ВААП. — *Б.П.*). Он настоящий старорежимный интеллигент. Да-да, старорежимный интеллигент, каких теперь очень мало вокруг меня. Все люди совсем с другим потолком, от которых я за недостатком настоящих старорежимных интеллигентов, достаточно натерпелась.

...В общении она не знает условностей, даже тех, что общеприняты:

— Я не плюю? Рот-то старческий.

— Блок? Он ведь в двенадцатом еще году чувствовал, кто идет рядом с Христом — грубые люди, которые разорят усадьбу, сожгут библиотеку... Сейчас ведь все врут. Простить не могу Наровчатову. Его слова с литературным блеском, но фальшь. Не могу простить, что Блок у него прямо-таки живой большевик. Его величие в другом. Чувство тоски. Нравственные муки перед лицом страданий народа. Но и одиночество, метания... У него был в молодости подхваченный и вылеченный сифилис, из-за которого его брак с Любой был платоническим.

Неожиданно заговаривает о Суслове.

— Да, он любил меня, откликался на каждую мою просьбу, их было немного. Благодаря ему была напечатана четвертая глава моей книги о Мережковских. Ее задержала цензура, я пожаловалась, и он моментально решил. Не знаю почему, но он помогал мне всегда и во всем. Он позвал меня на идеологическое совещание. Меня привезли на машине, взяли под руки, подняли на лифте, привели в президиум, посадили в первый ряд. Вставили в каждое ухо по наушнику.

Я сидела и слушала его доклад. И мне понравилось. Конечно, он звезд с неба не хватает, но он все же культурен до какого-то уровня. И главное, там приводились мои любимые слова у Ленина о том, что знания должны перерастать в убеждения.

Тогда я взяла клочок бумаги и написала, как мне понравился доклад и особенно то, что принадлежало Ленину. Через какое-то время мне позвонили и сказали, что мне привезут от него письмо. Я была больна, вокруг меня стояли дочь, внучка, я была раздета, но я стала рваться. Дочка сказала, что возьмет это письмо, но я сказала, что я должна это сделать сама.

Приехал человек. Красивенький лейтенант. В шинели, в военной фуражке. В сапогах, с большим портфелем, из которого он достал письмо.

Я получала письма. Я имею письмо от Вронского, который сказал, что моя книга понравилась Ленину. Он сказал об этом Сталину, а Сталин — Вронскому. У меня есть письмо от Сталина. Оно хранится у меня до сих пор. Оно написано от руки.

И вот теперь этот конверт...

Интонация, с которой она произнесла эти последние слова, протянув мне конверт, говорила сама за себя.

Несколько строчек на машинке. Поздравление с 8 марта. И автограф. Слава богу, хоть не факсимиле.

— Но я ответила, поблагодарила. У нас начинался духовный, лирический роман. И все до нашей трагической встречи на российском съезде писателей. Там меня снова привели и посадили в первый ряд президиума. И мимо меня проходил какой-то человек, я видела только контуры его. И он сказал: «Здравствуйте, Мариэтта Сергеевна».

— Я сказала: «Кто вы? Я не вижу и не слышу. Назовите себя». Он назвался, и я сказала о радости встретить его и спросила, читал ли он мою статью в «Коммунисте». Он сказал, что с глазами у него почти так же, как у меня, и он не мог ее прочитать. Но раз я прошу, то он подумает, как это сделать. Кстати, мне мои близкие, когда очень нужно, переписывают необходимое крупными буквами, и я читаю с помощью вот этих очков, у которых одно стекло как в подзорной трубе.

Потом, когда кончилось заседание, я сама подошла кСуслову, меня никто не остановил.

— Нам же надо увидеться с вами. Поговорить как коммунист с коммунистом.

И вот — в некоторых случаях это бывает, как какое-то озарение, — я, слепая женщина, вдруг увидела его до мельчайших подробностей. Эти сузившиеся до предела веки и в них маленькие, жидкой голубизны глазки, и острый носик, сморщенное, как печеное яблочко, личико и оскал зубов, который как бы говорил: «Что такое, что нужно от меня, как посмели, почему?»

Тут же он пришел в себя и сказал, возвращая лицу прежнее радушное выражение: «Ну что ж, мы подумаем, как это лучше устроить». Я сказала «хорошо» и ушла не попрощавшись.

С тех пор не видела, не слышала, не писала и не буду писать.

Столь же печален был финал ее общения с боссом чуть меньшего калибра — Зимяниным.

Когда-то давно, она не помнила, то ли в сорок восьмом, то ли в пятьдесят шестом году она пришла в Праге в советское посольство. Хотела раздеться.

— Вдруг какой-то маленький человек бросился взять у меня пальто. По старой буржуазной привычке я протянула ему крону, и он взял эту крону. Я спросила, как пройти к послу, он рассмеялся и сказал, что он и есть посол. Вот такой он тогда был. Кстати, крону он мне так и не вернул, по-моему. Может быть, взял ее на память.

И вот полгода назад я снова была у него, секретаря ЦК. Я пришла к нему просить о разрешении купить тот маленький домик в Переделкино, часть той огромной дачи, которую мне когда-то подарил Сталин и из которой я бежала, как зачумленная, когда умерла Лина. Потом все это переходило из рук в руки, и вот я попросила купить, чтобы оставить потом своим. Он мне сказал: «Как это можно? Коммунист не должен иметь никакой собственности. Вот посмотрите на меня. (А он, между прочим, блестяще одет.) У меня нет ничего. У моих детей нет ничего. Они не пользуются никаким блатом». Я разозлилась и ушла от него, он догонял меня, просил не сердиться, задержаться. А я ушла, тем более живот у меня еще болел.

Он вообще изменился, боже, как он изменился. Он ведь был сталинист, ярый сталинист, когда началось все это. А теперь совсем другое. Как сумел он попасть в масть?

О прошедшем незадолго перед тем XXV съезде КПСС почти кричала: «Это не термидор. Это не хунта. Это хуже. Это — театральное действие, которое годится при Олимпиаде. Там не было никаких прений, не было взаимодействия друг с другом, было заученное и дифирамбы. Я там услышала прекрасные куски в докладе. Но это же куски Ричарда (был у нее такой знакомый в журнале «Коммунист». — *Б.П.*). Он мне читал их до этого».

Поражало совмещение несовместимого в ее суждениях о власть предержащих. Убийственная меткость, с которой она несла день сегодняшний, ужива-

лась со столь же категорической идеализацией самого неоспоримо страшного периода в нашей истории — сталинского. Сама она явно не замечала тут никаких противоречий.

— Сталин умер — у него сберкнижки своей не было, он ничего не нажил. Одному моему знакомому армянину, он у него чем-то вроде помощника был, дал под зад коленкой, когда тот предложил что-то за него написать.

Говорит, что написала об этом для какого-то партийного журнала, в пору, когда это было уже ересью. Не взяли.

Незыблемым для нее было одно — идеалы. Коммунистические идеалы, уходящие корнями, как она открыла для себя с чувством великого облегчения, в раннее христианство, в проповедь Иисуса Христа. Путь же к ним — тернист и неведом. Идущие им могут ошибаться, сбиваться с дороги, отступать, творить неразумное, вплоть до преступлений. Но все равно — вера в эти идеалы, как ариаднина нить, указывает направление и рано или поздно приведет к желанной цели.

...Приподняв от стола голову, — в такой позе с помощью лупы и своих чудо-очков она все еще рассматривала письмо Суслова, — Мариэтта Сергеевна попросила прислушаться, не кипит ли на кухне чайник, который она поставила, чтобы напоить нас с Карцевым чаем.

Получив подтверждение, что да, кипит, попросила пройти туда вместе с нею — помочь.

Сняв чайник с огня и завернув крантик, провела кончиками пальцев вокруг конфорки — удостовериться, погас ли газ.

Показала мне руку с застарело обожженными пальцами.

— Вчера зазевалась и вот, — она кивнула в сторону закопченной алюминиевой миски, полной сгоревшей фасоли.

Лицо ее покрыто старческим, почти растительным пухом, который окутывает его подобно сумеречной лесной дымке. Глаза, которые отгорожены от тебя похожими на бинокль очками, видятся сквозь линзы лошадино большими и всепроникающими. На ней плотное, чуть ли не из байки, в темных цветочках платье до полу.

Она беспощадная в своих суждениях о людях, но точно так же не умеет щадить себя. Жизнь она и на смертном пороге пробовала на вкус и на ощупь, как горелку с газом. И постоянно обжигаясь, привыкала и к этому, как к неизбежности.

«Обжегся» же и Господь Бог с Адамом и Евой.

«Глядя на луч пурпурного заката...»

На той первой моей даче мы с моим коллегой и соседом Павлом Барашевыми жили на удивление дружно. На удивление — потому что человек он, Павел, был заносчивый и надменный. Ко мне, как старший и преуспевший к начинающему, относился грубовато покровительственно. А потом, когда мы как бы поменялись ролями, стал даже срываться, грубить. Что говорит только в его пользу.

Но тот год, на даче в «Заветах Ильича», жили душа в душу. Делили один, не первой молодости одноэтажный дом. У каждой семьи — терраса, две комнаты и кухня.

Теща моего сослуживца была уже пенсионеркой, а в прошлом пела в хоре Свешникова. Но вечерами, особенно по воскресеньям, когда мы сходились то на их, то на нашей территории, она любила взять в руки гитару и не сильным, но таким характерным, русским романсовым голосом, которым пели все у Свешникова, заводила:

Глядя на луч пурпурного заката,
Стояла ты...

Мы все так и замирали вокруг. Просто таяли от наслаждения.

Ты руку жала мне,
Умчался без возврата...

Безвозвратно умчались и эти дни и вечера нашей молодости.

Мы разъехались дачами. Но тещи наши поддерживали телефонную связь и время от времени навещали друг друга, Галина Михайловна если и приезжала к нам, то без гитары, и я уж никогда более не слышал от нее запавшего в душу: «Глядя на луч...»

Павел вскоре разошелся с женой. Но сына Ромку теща ему не отдала, и от своих женщин я слышал, что время от времени он приезжал в старую свою семью, и не всегда дело обходилось без скандалов.

А потом я узнал, что Галина Михайловна умерла. Обстоятельства, при которых произошла смерть этой, в общем-то посторонней мне уже женщины, больно ударили по сердцу.

Рассказывали, что она пошла по хозяйству и заглянула в магазин с входившим в моду, но еще не отлаженным самообслуживанием. Дело было в короткую андроповскую пору. Положив в сумку необходимое, она расплатилась в кассе и направилась к выходу. И тут-то попала в поле зрения какой-то из бесчисленных

в те дни бригад проверяющих. То ли это был народный контроль, то ли «комсомольский прожектор» или какая-нибудь «Легкая кавалерия», но пожилую, грузную женщину, годящуюся в матери, а то и в бабушки контролерам, заставили выложить продукцию из хозяйственной сумки и предъявить чеки. В волнении она не смогла найти одного чека, и, таким образом, две или три бутылки постного масла оказались как бы взятыми с прилавка бесплатно.

Напрасными были ее, с комканьем носового платка, с вытиранием глаз и вспотевших от волнения щек и шеи уверения, что, конечно же, она за все заплатила и только вот сама не может понять, куда мог запропаститься этот чек.

Ее демонстративно, с позором, препроводили обратно к кассе и в знак особого снисхождения разрешили заплатить за эти несчастные бутылки. Еще раз, как она их уверяла.

И может быть, старая, но не потерявшая еще вида нейлоновая шуба, привезенная из заграничных гастролей, была тому виною, что ее захотели проучить, и что во время всей этой позорной экзекуции из толпы зевак слышались возгласы: «Ишь ты, барыня советская... меха нацепили, а масло воруют...»

Вырвавшись, наконец, из этого ужаса, она, ничего не видя от слез, добрела до дому. И здесь, в передней уже, не донеся продукты до кухни, с маниакальной дотошностью стала потрошить снова свой кошелек, в одном из отделений которого нашла этот проклятый чек. Как ни успокаивала ее случившаяся дома дочь, как ни предлагала пойти вместо нее, она сама, погрузившись в нейлоновую шубу, отправилась в магазин, где еще не успели утихнуть дебаты. Здесь она подошла к главному из контролеров, с широкой красной повязкой на правом рукаве, и с истерическим всхлипом бросила ему чек «в морду».

Когда же он, отнюдь не сконфуженный, говорят, таким неожиданным поворотом событий, спокойно предложил ей получить в кассе обратно деньги за масло, она царственным жестом отвела его руку... и упала. Ей пытались в панике помочь, поставить на ноги, но безуспешно. Прибывшая через полчаса «Скорая помощь» констатировала мгновенную смерть от «острой сердечной недостаточности», разрыва сердца, как точно и коротко называли это еще тридцать-сорок лет назад.

Это человеческое достоинство, попранное досужими негодяями, выплеснулось наружу и разорвало ей грудь.

Я вспомнил чеховского Червякова, который чихнул на лысину статского генерала и умер от душевных мук. Но то была смерть чиновника, а это — смерть человека.

Валюн из Переделкино

— Валюн, — это Булгаков придумал.
А я звал его Мишуня.
Из признаний Валентина Петровича

Еще в университетские годы я наткнулся где-то на ленинское: «Благородная страсть печататься».

Жизнь и собственные заблуждения заставили усомниться — так ли уж и всегда ли она благородна, эта страсть, во власти которой нахожусь и до сих пор.

Вот лежат передо мной два письма из моего незамысловатого литературного архива. Оба помечены январем 1986 года. Одно принадлежит Владимиру Карпову, тогдашнему главкому редактору «Нового мира». Другое — копия моего собственного, отправленного тому же Владимиру Васильевичу.

Перечитываю первое, отправленное мне вслед в Стокгольм, куда я вынужден был сорваться, прервав отпуск, чтобы передать Улофу Пальме приглашение в Москву.

«Очень жаль, что Вы умчались, даже не позвонив мне.

Как я уже Вам говорил, эссе о Катаеве мы берем и сразу стали готовить его к печати. Но в процессе этой подготовки стал вопрос (по линии Романова) о тех строках, которые были посвящены “Уже был написан “Вертер”. Вы, наверное, в курсе дела по поводу того, что произошло после публикации этой вещи? Если нет, напомню: о ней не появилось в печати ни одной строки и табу до сих пор не снято. А потому указанные строки не пропустят. Второй момент, по этому же месту о “Вертере”: он появился в нашем журнале, и курить фимиам самим себе будет не совсем прилично. Я вижу выход в следующем — дать лишь общие какие-то рассуждения об этой повести, м.б., их пропустят...

В общем, подумайте и срочно верните рукопись для сдачи в набор. А засим желаю Вам благополучия в делах Ваших международных и личных».

Жадно набросившись на это письмо, переданное мне секретарем в промежутке между двумя какими-то дипломатическими встречами, я стал вспоминать, что же мне известно об истории с катаевским «Вертером», который был опубликован в «Новом мире» года по крайней мере четыре назад, то есть еще в брежневско-сусловские времена.

Ну, конечно, это же мне рассказывал сам Валентин Петрович во время одного из наших сидений у него на даче в Переделкине, тех самых сидений, которые и сподобили меня написать о нем для «Нового мира», когда его не стало.

Повесть «Уже был написан “Вертер”, первоначально названная автором «Гараж», очень долго лежала в журнале, так- как ее появлению на свет сопротивлялся уже упоминавшийся на страницах этой книги всесильный в ту пору начальник Главлита, то есть общесоюзного цензурного ведомства, Павел Константинович Романов, человек с бычьим лбом, челкой древнеримских императоров и голубыми, навыкате глазами Николая Первого, с его же бульдожьей хваткой.

Строго говоря, не его и не его клевретов, называвшихся уполномоченными Главлита, было дело вмешиваться в определение судьбы художественного произведения. Считалось, что цензуры у нас нет, и официальной задачей «романовского ведомства» была забота о том, чтобы ни одна государственная тайна не проскочила в открытую печать. Потому оно полностью и называлось Главным управлением по охране государственных тайн в печати. Но о какой государственной тайне могла идти речь в повести, посвященной событиям Гражданской войны в Одессе?

Попробуй, однако, объясни это Паше, как его звали между собой его коллеги по руководящим постам в различных идеологических ведомствах. Тех, кто пытался указывать ему на границы компетенции его конторы, он искренне считал либо недоумками, либо контрой, даже если это были важные партийные деятели, как А.Н.Яковлев, например. В беседах с чересчур назойливыми редакторами и авторами, вроде Константина Симонова, которым удавалось добраться до него, Романов имел обыкновение молча указывать пальцем на потолок — там, то есть наверху, этого не потерпят, а уж кому, как не ему, лучше знать, что хочет «верх», против чего сейчас «верх» настроен и какие оттуда, сверху, токи идут.

В этих дебатах, если он до них снисходил, он чувствовал себя уверенно еще и от того, что в его распоряжении были не только доводы и ссылки на «верха», но, так сказать, и материальная сила. Пока не поставит его человек, то есть прикрепленный к тому или иному органу печати уполномоченный, своего штампа на сигнальном экземпляре книги, очередного номера журнала или газеты, сие издание света не увидит. Что газета или журнал? Новая наклейка на спичечную коробку не могла появиться на свет без этого сиятельного росчерка пера.

Я и сам имел печальный опыт схваток с ним еще в «Комсомолке». Однажды со ссылкой на какие-то ведомые ему одному указания он глубокой ночью заставил снять из номера памфлет о романе Кочетова «Чего же ты хочешь?», являвшем собой оформленный в виде прозы призыв: «Назад к Сталину». Тот самый случай, когда его человек, по его указанию, отказывался поставить на полосах выходящего номера свою подпись. А это значит, что процесс производства газеты с десятимиллионным тиражом приостанавливается, — ЧП общенационального масштаба с потерями в десятки миллионов рублей.

В другой раз его жертвой стала статья о научном открытии Андрея Дмитриевича Сахарова, которую ребята из отдела науки «Комсомолки» (Голованов, Губарев, Репин) подготовили как раз в ту пору, когда на Сахарова начались «закрытые» поначалу гонения в связи с появившимся на Западе манифестом «Размышления о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе». В этом случае Паша не только воспротивился публикации статьи, но и послал докладную в «инстанцию», утверждая, что предотвращена антисоветская провокация. Мы же со своей стороны спекулятивно заявляли, что, мол, просто не хотели отдавать Сахарова на откуп Западу.

Не избежал я вторжения всевидящего и всеслышащего Паши и в мои собственные произведения. В «Юности» при Борисе Полевом шла моя большая статья о дневниках и мемуарах Марка Щеглова, Виктора Головинского, Сергея Чекмарева, Нины Костериной, погибшей в Отечественную войну...

Позвонил Борис Николаевич и обрадовал:

— Романов требует убрать кусок, посвященный Костериной...

— Почему?

— Говорит, есть соображения. Какие — не открывает.

Звоню Романову. Как-никак, я уже главный редактор «Комсомолки».

— Павел Константинович, это же расширенный вариант того, что в «Комсомолке» еще в 63-м году было напечатано. И никто насчет Нины Костериной не возражал, да и что возражать? Комсомолка, партизанка, героиня...

— Тогда не было, а сейчас возникли, — доверительно. — Ее отец, которому она у тебя в любви объясняется, как вернулся по реабилитации из Воркуты, так ударился в антисоветчину. Им сейчас органы занимаются...

Но вернусь к повести Катаева.

— Я послал рукопись в ЦК, — тонко улыбаясь, рассказывал мне Валентин Петрович. — Есть там человек. — Он пристально посмотрел на меня. — Очень большой человек. Я к нему обращаюсь, когда уже вот так, — и он совсем по-одесски, по-молодому, лихо провел ребром ладони по кадыку. — Помогает. Позвонили от него и сказали — вещь будет напечатана. Но рецензий на нее не будет — ни положительных, ни отрицательных.

Теперь-то, сидя над письмом Карпова, я знал, кто был этот таинственный большой человек. Суслов. Я уже успел убедиться — заслуженно слывший олицетворением догматизма, человек-сухарь, человек-вобла, ранец, набитый прописными истинами и циркулярами, выкидывал порой такие номера. И тайно покровительствовал иным уникумам, вроде Катаева или Мариэтты Шагинян, наступая, казалось бы, на горло собственной песне. Впрочем, наступал ли? Тайный убежденный сталинист — так его даже Молотов называл, он у Сталина и научился подобным головоломкам. Когда партийный киргизский босс воспротивился публикации одной из повестей Айтматова, в которой в неприглядном, по его убеждению, виде было показано прошлое нации, Суслов бросил:

— А если тогда все было хорошо, зачем бы было и революцию делать?

Но когда ж это все было?! И Катаев умер, и Суслов умер. И три подряд генсека за ним последовали. И повеяло уже свежим ветром от четвертого. И Карпов у этого четвертого, Горбачева, вроде бы в фаворе. Даже, говорят, получил приглашение поселиться в одном с ним доме. А Романов Павел Константинович все сидит. И запрет остается в силе...

Что ж, посмотрим еще раз, что там такое у меня о «Вертере» сказано? Повторяю для сегодняшнего читателя: мое эссе вовсе не было рецензией на то или иное произведение Катаева или обзором его творческого пути. Просто впечатленческого, импрессионистского толка заметки, рожденные теми вечерами у него на даче в Переделкино в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов.

— Вы читали Катаева? — спросил один из весьма либерально настроенных знакомых, и я знаю, что он имеет в виду только что появившегося в «Новом мире» «Вертера».

— Читал.

— Это действительно ужасно?

— Да откуда такое предположение взялось?

— Но я отовсюду это слышу.

Вскоре, за столом у Катаевых, обнаруживается, что и молодое поколение (его сын Павел и дочь Женя, работавшая тогда у меня в ВААПе. — *Б.П.*) не разделяет моего нескрываемого и отнюдь не куртуазного восхищения «Вертером». Здесь это принято — «нападать на папочку», — и в общем-то это не вызывает как будто бы возражений ни у главы дома, ни у жены его — Эстер. Валентин Петрович от нападок отбивается поначалу вяло, дежурно, как бы не желая обидеть детей ни безразличием к их суждениям, ни откровенным, бывает, их неприятием.

Нет пророка в своем отечестве? Сдается, предположение такое нимало не смущает Валентина Петровича. Безмятежно восседая за столом, он, как бы подавая пример младшим, время от времени пригубливает из бокала красное французское вино.

— Что такое? — спрашивает громогласно время от времени, как это свойственно людям, которые недослышат. И победоносно оглядывается вокруг.

Спор за столом сливается с тем гулом, который стоял в ушах все последние дни после выхода «Вертера».

Наиболее доходчиво выразился, как всегда артистично заикаясь, Михалков, Дядя Степа:

— Это о том, как евреи прорвались в ЧК и уничтожали русских.

И это было еще не самое крутое, что говорили о «Вертере»

И не угадаешь, кому адресованы эта злость и этот сарказм. То есть ясно кому — автору. Но за что его так? За то, что показал в таком виде большевиков, уничтожающих в одесском гараже под шум заведенных моторов всех подряд — от белогвардейцев до впавших в немилость чекистов? Или за то, что они у него почти все — с еврейскими фамилиями?

Думаю невольно о том, как быстро рождаются и как прилипчивы ярлыки, которые словно заклеивают лежащий перед нами текст.

— Нет, невозможно быть писателем! — вырывается у Катаева вдруг. — Они все от тебя чего-то хотят. Но ведь это же правда, правда...— то ли утверждающие, то ли вопросительно повторяет он. — И как они не понимают, — это же все о той девочке, о маме и о ее мальчике... Остальное — аксессуары.

Да, в те дни много и многими говорилось о «Вертере», но диву даешься и по сию пору, как редко вспоминали о том, что это же — литература. Счет престарелого мастера самому себе. Соперничество с самим собой. Единоборство с природой, если хотите.

Нет, недаром уши Катаева, которые Юрий Олеша называл похожими на волчьи, — свидетельство самого Валентина Петровича, — мне напоминают устрицы. Гул голосов, проникая сквозь их створки, способен причинять ему боль. Но, должно быть, эта боль сродни той, что испытывает владелица настоящей раковины, когда между ее чувствительной мантией и известковой крышей набивается песок и камешки. Но подождем сочувствовать обоим. Специалисты утверждают, что именно этот-то процесс и рождает жемчужину, которая только «в особо ненормальных условиях» и может появиться. Без того, чтобы песчинки и камешки не поранили мантию, нечего и думать о том, чтобы началось выделение особого вещества — перламутра, который, обволакивая слой за слоем раненое место, и образует те переливающиеся на свету шарики, что люди потом называют жемчугом.

Не каждая ранка ведет к появлению жемчужины. Но без раны наверняка уж ничего не выйдет. «Без боли нет писателя», — любил повторять Федор Абрамов.

Катаев переводит разговор на форму. Говорит, что «Вертер» был вначале на восьми листах и он сам сократил его до трех. Отжал, как выжимают мокрое белье после стирки. Убрал все лишнее. На этом и спотыкаются. Не надо много деталей. Лучше одна деталь, которая сверкала бы как один крупный бриллиант. Лучше один чистый бриллиант, чем несколько с трещинами.

— Мандельштам браковал все, что я написал. Но находил одну-две настоящие строчки, и это было праздником и наградой.

Катаев задумывается.

— А сейчас тебя никто по-настоящему, в лицо не обругает, но и не похвалит. Не к кому бежать с рукописью.

Перебираю, сидя в Стокгольме, свои записи и натыкаюсь на неоднократно повторяющееся имя Карпова.

Он один из немногих, о ком Валентин Петрович говорил хорошо. Не потому же только, задаюсь вопросом, что он напечатал «Вертера». После того как дал согласие Суслов, на это большой смелости не надо было... Хотя дорога, конечно, и добрая воля.

— Он ведь сидел. И знал за что. Еще в училище или в школе, за партой, он раскрыл книгу — какая-то ленинская работа с предисловием. И стал подчеркивать в этом предисловии упоминания о Сталине синим карандашом, о Ленине — красным. И подсчитывать, сколько раз. Счет оказался не в пользу Ленина. И сосед на него донес. Посадили. А ведь совершенно советский человек, с правильными, ортодоксальными взглядами.

Кто-то из детей:

— Он и сейчас таким остается, судя по тому, что пишет. Сталинист без Сталина...

— Но неправильно говорят, что он плохой писатель. Я читал его роман о разведчиках, сильно написан. Он из лагерей попросился в штрафбат. А там — до первой крови. Все вокруг ранены, а он хоть и к черту в пекло лезет, целехонек. В конце концов взяли его в разведчики, он тридцать языков привел...

Ну вот, тридцать языков привел, а теперь тени Суслова остерегается. Я перечитываю письмо Карпова, и в голову закрадывается мысль, что в его несогласии возвращаться к «Вертеру» есть доля лукавства, особенно насчет того, что неудобно, мол, курить фимиам самим себе. Нет. Не так воля покойного Суслова или сопротивление Романова сдерживает его, как нежелание перечить сложившейся за минувшие годы точке зрения так называемых прогрессивных кругов, которые ничтоже сумняшеся поставили на повести штамп «антисемитизм»:

— Это — жуткая вещь, и самое ужасное в ней то, что она талантливо написана.

— Не потому ли, — спрашиваю себя теперь, — и я не был столь категоричен в своем ответе Карпову, каким следовало бы быть?

«Здравствуйте, Владимир Васильевич! Рад был получить Ваше письмо. Одна строчка, вписанная от руки, понравилась больше всего. Это о том, чтобы срочно вернуть рукопись для сдачи ее в набор. Так и делаю.

Смутившее вас место поправил, как мог. Но с другой-то стороны, Владимир Васильевич, времена меняются, и, может, “Вертер” сегодня уже никого не испугает. Я слышал от самого “Валюна”, с какой самоотверженной настойчивостью вы добивались его публикации в “Новом мире”. Почему бы теперь не сделать так, чтобы упоминание о “Вертере” наконец появилось, тем более, что сказанное мною отнюдь не панегирик, не претендует на какую-то оценку законченную. Просто собственные впечатления и размышления о впечатлениях других...»

О, этот шум и гул толпы, который, как говорил Писарев, мы и называем общественным мнением. Оно «доставало» даже такого олимпийца, как Катаев, как я убеждаюсь и по тексту своего эссе, и по оставшимся за бортом записям. «Но ведь это же правда, правда, — повторял он снова и снова. — И еще — как я могу быть антисемитом, если у меня жена еврейка, и, стало быть, мои дети наполовину евреи. Вот, полюбуйтесь-ка на них».

Признание в истинном замысле вещи пришло неожиданно — в форме тоста.

— Это было испытание для системы. Я предложил советской власти испытание — способна ли она выдержать правду? Оказывается, способна. Выпьем за нее.

Я пригубил из вежливости. Дети и Эстер Давидовна пить демонстративно отказались.

— Надо еще долго искать другую такую власть, которая захотела бы что-то запретить, — буркнул Павел.

— Они, — сказал Катаев, обращаясь только ко мне и словно продолжая какой-то спор, который был без меня, — делают кумира, философа из Троцкого. А он же был предтечей Сталина.

Рассказывает, что при публикации «Вертера» вычеркнули лишь одно место, там, где он назвал Ленина «кремлевским пленником». Допускает, что это могло быть по воле того же самого «высокого лица», то есть Суслова, который разрешил печатать и которого Валентин Петрович так и не назвал по имени.

Говорит, что это место, конечно же, не могло быть не вычеркнуто, но на самом деле так оно и было. Когда Ленин был в Горках, то телефонная линия, линия номер один, то и дело выходила из строя. Ленин писал гневные записки. Но это дело не меняло.

— Тут замешан был Дзержинский, который наверняка был троцкистом, и уж наверняка — левым эсером.

«Вертер» — это восстановление событий. «Алмазный мой венец» — восстановление имен, а «Вертер» — восстановление событий. Вот и все...

Имена исторических лиц, для меня уже густо покрытых патиной времени, Катаев произносит с продолжающей ошеломлять непринужденностью. Они для него — современники, пусть и постарше возрастом.

Вот заговорили за столом об очередном фильме — о Борисе Савинкове, которого, на взгляд всех присутствующих, великолепно сыграл Евгений Лебедев.

— Как ни сопротивлялись режиссер со сценаристом, Савинков у него получился положительным героем, сильной личностью, — сказал Павлик, явно сочувствуя такой трактовке одного из самых непримиримых ненавистников советской власти.

— Савинков, — возразил, нет, не возразил, а просто констатировал Валентин Петрович, — был совсем не такой человек, каким его показывают. Абсолютно не такая крупная личность. Он был пошляк (самое страшное обвинение в устах Катаева), обыватель, ужасный эгоцентрист, самовлюбленный.

Невнятное, но явно протестующее бормотание за столом.

— Он в Первую мировую войну был обыкновенным офицериком, разведчиком. Лебедев — прекрасный артист, но он совсем не того играет. В восемнадцатом году Савинков потерпел полный провал, его банды были разбиты, он вынужден был бежать.

Слышится реплика за столом, что, мол, каким бы Савинков ни был, одного у него не отнимешь — он точно знал, чего он хочет...

— А я вот, — поднимает свои сутуловатые плечи Катаев, — с трудом себе представляю, чего бы он мог хотеть, кроме славы, власти и лести... С большевиками он боролся. С белогвардейцами, у которых была ясная программа, он был в кровной вражде. Они откровенно говорили: вот вернемся, не одних только большевиков к стенке поставим, всех, кто расшатывал. Чего же принципиального он мог хотеть? Он ко всем примазывался, чтобы потом взять верх. Был с Керенским, вошел в сговор с Корниловым, потом пытался столковаться с левыми эсерами.

— Его не было. Он уже не существовал. Зачем, собственно, надо было его вытаскивать из эмиграции, по существу поднимать? Дзержинский вызвал его из

небытия. Видите ли, нашел его опасной фигурой. Интеллектуалом. Даже консультировался по этому поводу с Луначарским. Еще одним большим интеллектуалом. А теперь снова — и книга, и фильм. Второе воскрешение.

— Тут уж явно ведомственные интересы, — полусогласился с отцом Павел, имя в виду КГБ.

— Дзержинский вступил в партию в восемнадцатом году. Троцкий — в семнадцатом. Это была одна компания. — Катаев великодушно оставляет спор неоконченным и с удовольствием окунается вновь в свою излюбленную стихию — рассказчика.

— Когда убили Мирбаха, мы были в Одессе. И Олеша сразу сказал — это Яшка. Меня всегда поражала его способность провидеть. А он сам, когда это через несколько дней подтвердилось, даже не удивился и не вспомнил о своем заявлении.

Якова Блюмкина выпустили из тюрьмы после убийства Мирбаха через два месяца, а между тем председатель Совета народных комиссаров, когда приходил извиняться, дал гарантии, что убийца Мирбаха будет расстрелян.

О событиях чуть ли не семидесятилетней давности он говорил так, как будто они случились пару лет назад.

— Сам Блюмкин был одесский еврей. Он был немного моложе меня. Бедная еврейская семья, три сына. Старший — репортер и агент охранки. Средний — как раз Блюмкин. Он все время мечтал о переворотах и говорил, что дома под кроватью у него лежат бомба и револьвер.

По словам Валентина Петровича, Блюмкин, живя в Одессе, с детства шился около людей знаменитых. Но знаменитых тогда там было немного, поэтому он шился и около него, Катаева, который только-только опубликовал первые стихи. И тогда же задумал вещь в прозе — «Жизнь Яшки», то есть Яшки Блюмкина.

— Мы думали, его тут же расстреляют. А он через некоторое время появился в Одессе. Ну, не таким уж большим начальником, как Наум Бесстрашный (персонаж из «Вертера». — *Б.П.*), но с какой-то особой миссией, а какой, мы не знали. Всегда он был чекистом. Ходил в форме, с шевронами.

Позднее, примерно в году двадцать третьем, мы возобновили знакомство в Петербурге, и там он мне рассказал всю историю убийства Мирбаха. Он действовал от левых эсеров, прикрывался званием чекиста. Его сообщник Андреев и он долго готовились к этому. Запаслись удостоверением, которым им поручалось проверить проводку в посольстве, а затем провести переговоры с Мирбахом по поводу его племянника, арестованного в ЧК.

А для того чтобы их липовое удостоверение было истинным, они пробрались ночью в кабинет Дзержинского, который в это время спал за ширмой, и поставили печать.

Вначале побывали в особняке посольства, чтобы изучить расположение комнат. Потом уже появились как посланцы ЧК для беседы о племяннике Мирбаха. Сидели с ним за столом, и он выяснял, что собственно они от него хотят.

Блюмкин рассказывал, что он наряду с револьвером привез с собой какую-то бомбу, которая сильно шипела, лежа в портфеле. Разговор подошел к тому моменту, когда надо было уже что-то предпринимать, но мы, говорил Блюмкин, долго не решались. Вдруг Блюмкин выхватил револьвер и сделал несколько выстрелов. Посол упал со стула, а они выскочили в приемный зал. Там никто не слышал выстрелов. И дикий же у них был вид с револьвером, дымящимся в руке Яшки.

Несколько минут провели в растерянности, вдруг открывается дверь и на пороге появляется окровавленный Мирбах. Согнувшись, он говорит что-то. Тут они поняли, что надо кончать, и Блюмкин бросил бомбу между собой и Мирбахом. От взрыва упал Мирбах, а их, как он рассказывал, выбросило в окно. Они оказались во дворе, прорвались мимо часового, который в них стрелял и слегка ранил Андреева, и попали в Покровские казармы, где уже начинался мятеж левых эсеров. Это было 6 июля 1918 года.

Вся эта история, о которой я, как и каждый мой соотечественник, читал, разумеется, десятки раз, в самых разных вариантах, теперь, в устах Валентина Петровича, звучала так, словно я слышал о ней впервые в жизни. И случилась она вчера. В его завораживающем рассказе хотелось верить каждому слову.

Именно так, слово в слово, по горячим следам я записал ее и вставил в свое эссе для «Нового мира».

Историю с убийством посла Блюмкин поведал своему земляку под ужасным, любимое словечко Катаева, секретом и велел, «чтобы я уж, конечно, никому не рассказывал». Но я, конечно, не выдержал и на следующий же день написал повесть «Убийство имперского посла» и тут же отнес ее в «Молодую гвардию», где у меня был знакомый редактор Моня Зоркий, и одновременно отправил рукопись в Ленинград в журнал «Аргус».

— В «Аргусе», — продолжал Катаев, — эту вещь быстро набрали, и она вот-вот должна была выйти из печати. Как вдруг ночью, в Мыльниковом переулке, в моей комнатухе появился Блюмкин и сказал:

— Я вот вам рассказал историю с Мирбахом, просил никому не говорить, а вы о ней написали. Хорошо, что мой друг Моня Зоркий мне об этом рассказал, иначе были бы большие неприятности для вас и для меня. Я у него забрал рукопись, давайте все другие варианты.

— Я ему отдал все, что у меня было, кроме затерявшегося первого листа одного из экземпляров, который у меня и сейчас хранится.

Уходя он спросил еще раз:

— Вы мне все отдали? У себя ничего не оставили?

И тут я ему сказал, что эта повесть должна вот-вот выйти в Ленинграде, в «Аргусе». Он схватил меня за руку и сказал, что мы должны немедленно звонить в Ленинград. Так как звонить было неоткуда, мы поехали на телеграф, и там Блюмкин, предъявив мандат, потребовал, чтобы его немедленно связали по телефону с редактором «Аргуса». Тот оказался на месте. Так он приостановил издание.

Потом они не раз еще встречались с Блюмкиным, который продолжал оставаться крупным чекистом, часто ездил за границу. И однажды, году, кажется, в 35-м (так, по крайней мере, говорил Катаев), был схвачен на том, что вез письмо от Троцкого единомышленникам.

И об этой, финальной поре жизни Блюмкина, ставшей давно достоянием научных изысканий и документов, Катаев рассказывал мне так, словно это была какая-то частная история, которую он внезапно, по случаю, вспомнил.

— Это письмо было перехвачено, и Ягода пошел с ним к Сталину и сказал, так, мол, и так. Что делать с Блюмкиным?

Сталин, как рассказывали, посмотрев на него, сказал:

— А вот товарищ Дзержинский таких бы вопросов не задавал.

Ягода все понял, и Блюмкин был расстрелян.

— Я был у Ягоды после поимки и расстрела Блюмкина. Я решил ему рассказать, что вот был такой случай с моей так называемой повестью и что, может

быть, в бумагах Блюмкина она осталась. Ягода сказал, что поинтересуется, но на следующий день после визита сам был арестован и далее уничтожен.

— Так и не вернулась ко мне моя повесть, — меланхолически заметил Катаев.

— И это еще не самое страшное, что с тобой в этой связи могло случиться, — в тон ему заключила Эстер.

Поскольку Катаев не раз возвращался к этой истории, я однажды не преодолел соблазна спросить, зачем же он сказал про «Аргус», и он, как-то особенно посмотрев на меня, — ты дурак или просто так — прочитал я про себя этот взгляд, ответил:

— Я просто-напросто испугался. Блюмкин же явился как крупный работник и сказал, что произошло раскрытие важной государственной тайны.

— А кто бы не испугался? — говорю я себе. — Кто бросит камень?

Увы, были в долгой жизни Катаева случаи и похлеще этого. И о них заходила речь в тех наших памятных переделкинских застольях. Пора тотального переосмысления исторических императивов и переоценки репутаций еще не наступила. Только ждала еще своего часа. Но Катаев словно предчувствовал, что она грядет и что ему от нее вряд ли поздоровится.

Правда, отнюдь не украшающая старшее поколение этой семьи, всплывала иногда как-то сама собой, не в монологах хозяина, а в репликах детей, обмене взглядами между В.П. и Эстер, в его случайно брошенной фразе. Но впечатляло то, что, став нечаянно явным, тайное уже не исчезало. Его не пытались вновь запрятать.

Так было с Мандельштамом. Разговор о нем самым естественным образом заходил всякий раз, когда мы с женой приезжали к Катаевым, потому что каждая такая встреча неизменно превращалась в вечер воспоминаний. Кто и почему коснулся устойчивого слуха о том, что Катаев указал Мандельштаму и его жене на дверь в преддверии ареста поэта, я уж не помню. Сдается, что это была Женя, старшая из второго поколения Катаевых. И заговорила она вдруг об этом отнюдь не с целью, как легко было бы предположить, дезавуировать оскорбительную сплетню, а с болью в голосе и взгляде, как о чем-то для нее не вызывающем сомнения.

И тут заполыхала Эстер. Как верный оруженосец, бросилась вперед и заградила собой суверена.

— Дайте я... Дайте я расскажу это. Это моя вина и моя боль. Валентин Петрович тут совершенно не при чем.

И стала рассказывать, как, навестив их очередной раз на квартире в Лаврушинском переулке вместе с Осипом, Надежда стала вдруг яростно ругать Сталина.

— Я обмерла, я застыла, признаюсь, — почти навзрыд звучала Эстер Давидовна. — Я тогда вот с этой в пузе ходила, — она ткнула пальцем в Женю. — И главное — у нас только что появилась новая домработница. Кто-то порекомендовал взять. И я не знала толком, кто она и откуда. И я сказала, да, сказала Надежде: «Пожалуйста, в моем доме я не желаю слышать ничего дурного об этом человеке. Не желаю...» — воспроизвела она самое себя той поры. — А что прикажете мне делать? Ждать, когда его арестуют? И нас вот с ней, — снова отрывистый кивок в сторону дочери, давший почувствовать, что не первый раз заходит этот разговор в этом доме, — еще не родившейся.

— Я жалею, что мне пришлось это сказать. — Она свела кисти узких рук вместе и так прижала их к груди, что побелели сухие изящные пальцы. — Но я ни минуты

не раскаиваюсь, что я это сказала. Они меня осуждают — скопом, всей семьей. Но я знаю, если бы я этого не сказала, нас бы сейчас тоже никого не было на свете.

И — вдогонку собственным словам, в безысходном раздумье:

— Они уже были обречены. Но зачем тянуть за собой других?

Дети — взрослые, сложившиеся люди, и внучка Тина, студентка, — не возражают, но смотрят в пол. Катаева выручает спасительный прием.

— Что такое? — громко спрашивает он и меняет пластинку.

Теперь — рассказ о том, как в сороковом году он в числе других писателей, среди которых был и Александр Авдеенко, сравнительно недавно прогремевший своей повестью «Люблю!», пылким и искренним гимном советской власти, был приглашен на встречу со Сталиным. Сталин рассадил их в своем кабинете, а потом сказал, что «вот вы сидите на тех местах, где сидели оппозиционеры, например Троцкий». Тут он задумался: «Талантливый человек был, но враг». — Не сладко, скажу я вам, было нам сидеть на местах бывших оппозиционеров. Ну, подумал я — конец нам всем.

А Сталин вдруг воззрился на Авдеенко:

— Кто такой Авдеенко? Средний, плохой писатель. Человек, который маскируется. Это, — сказал он, — человек маски, охвостье.

Было плохо слышно. К тому же Авдеенко прямо забился в наших руках. Пытался что-то сказать.

Тогда Сталин подошел к возвышенью вроде трибуны и громко повторил:

— Охвостье.

— Встреча была окончена, мы все стали расходиться, а Авдеенко остался, не зная, что ему делать. Какой-то полковник спросил его: «А вы что стоите?»

Тот пробормотал что-то вроде того, что его, наверное, должны арестовать. Полковник сказал: «Идите себе спокойно домой». И ничего больше потом с Авдеенко такого не случилось.

— И я понял, что Сталин все-таки прохвост, арап, который говорит как бы по наитию, — Катаев обвел нас всех взглядом, словно проверяя, поверили ли мы этому его прозрению.

— Была, — продолжал он, — и еще одна встреча...

Катаев выступал на этой встрече и похвалил какое-то литературное произведение, а Сталин прервал его и стал критиковать эту вещь. Потом замолчал и сказал:

— Ну, продолжайте, товарищ.

— Он, по-моему, даже не помнил в тот момент моей фамилии. И тут я сказал, что после того как товарищ Сталин так блестяще закончил мое выступление, мне нечего добавить.

Все замолчали. Как я потом узнал, это было воспринято присутствующими как дерзость. А он вдруг засмеялся и махнул рукой. Это меня спасло. Но потом я почувствовал, как меня потихонечку стали подтравливать.

...В один из вечеров я явился к Катаевым с экземпляром только что вышедшей моей книги — «Строгая литература».

И надо же было тому случиться, что, прочитав не без удовольствия дарственную надпись, Валентин Петрович раскрыл книгу на очерке о Симонове.

— «Страсть к настоящему»? — повторил он с непередаваемой гримасой, которой позавидовал бы любой артист-комик.

Я стоически перенес эту его реакцию, а когда за столом разговор естественным образом вернулся к книге, я, мысленно перекрестившись, перевел его на

Симонова. Я в ту пору начал работать над сценарием к двухсерийному документальному фильму о Константине Михайловиче, и упустить шанс поговорить на эту тему с Катаевым было бы непростительно.

Сказал для затравки, что в Париже, куда мы все, Катаев, Симонов и я, ездили на всемирный конгресс авторско-правовых обществ, Симонов очень хорошо говорил об Эстер и Валентине Петровиче.

Он взъерошил челку, которая в спокойном его состоянии трезубцем спускалась на лоб:

— Поздно уже зачесывать волосы назад, — объяснил он как-то мне этот фасон.

— Самое ценное в Симонове — это то, что он во время войны действительно не боялся смерти. И сумел поведать об этом.

Я с облегчением перевел дух. Мариэтта Шагинян мне говорила: когда пишешь о чем-то, надо влюбиться в предмет. И я влюбился и переживал за своего героя, как за самого себя.

— Это вызывало к нему уважение. Но в принципе — рептильный человек, который служил всегда всем веяниям времени. Искал заступничества у сильных. Этим объяснилась и его женитьба на Серовой, которая была вдовой летчика-героя Серова, и, как все другие вдовы таких людей, например, Чкалова, опекалась Сталиным.

Я уже не раз и от многих слышал эту версию, и у меня было что возразить в духе того, что «не все так просто», но в разговор опять энергично вклинилась Эстер и перевела, не без умысла, думаю, стрелки на Серову, назвав ее своей лучшей подругой, святой женщиной.

Ее энергично поддержала Женя, у которой сохранились девические еще воспоминания о том, как удивительно было видеть на экране эту красивую, благоухающую, смеющуюся женщину, фею, которая только вчера была у нас дома.

Женя рассказала о своей первой, нечаянной встрече с ней. Она была с мамой в Мосторге и потерялась. И глаза уже были у нее на мокром месте, когда ее подхватила какая-то женщина, повела с собой, усадила в черный «Линкольн» (она только потом узнала, что это за машина) и привезла домой, на Лаврушинский.

— У себя дома, — вел свою партию Катаев, — он устраивал культ Симонова: Симонов работает, Симонов творит. Симонов принимает гостей. В этой семье не знали слова «нет». Он приходил каждый вечер с кучей бутылок и собутыльников.

— Но когда он разошелся с Валей и женился на Жадовой, она мигом разогнала всех его друзей, — вставила Эстер.

Заодно с Симоновым досталось и Сергею Михалкову. Много обещал несколькими хорошими ранними стихами, в том числе и «Дядей Степой», а потом пошел по проторенной дорожке. Попал в семью Ворошилова, а через нее заявил о себе в высших сферах.

— Такие люди, как Симонов и особенно Михалков, прекрасно умели находить и использовать в своих интересах слабину системы, — несколько загадочно резюмировал он.

Мне нечего было сказать в защиту Михалкова, быть может, только то, что его «Кораблики», куда входил и «Дядя Степа», была первой книгой в моей жизни, которую я прочитал. И первой, которую я попросил в библиотеке, куда меня записали вопреки правилам за мою страсть к чтению в возрасте пяти с половиной лет.

Но о Симонове я рассказал, как мужественно он умирал и как в завещании распорядился поступить после его смерти. К моему удивлению, Катаевы в тот вечер, в июле 1980 года, почти через год после смерти Константина Симонова, услышали об этом впервые. Эстер Давидовна даже всхлипнула и сказала, что все эти муки ему, бедному, даны были за Серову.

Катаев, пробурчав было что-то о желании утвердить себя и после смерти, под влиянием жениных слез смягчился и признал, что «в принципе, такая манера существует». В Лондоне прах балерины из русских эмигрантов был высыпан на большую клумбу, где была посажена роза. В таком роде распорядились собой, как он выразился, многие.

Я внимал ему и невольно вспоминал, что приходилось слышать о нем самом от других.

— Катаев? — экспансивно переспрашивала Мариэтта Шагинян. — Какой богоданный талант. Но какой без принципов и без совести человек. Змея как ни повернется, все блестит.

И тут было не только осуждение, но и восхищение им.

Я уже смирился с тем, что злословие — отличительная черта писательского сообщества. Боюсь, что в нашей стране это относится не только к советскому периоду. Какие стрелы метали друг против друга титаны Лев Толстой и Тургенев! А почитайте мемуары Авдотьи Панаевой. Во многом это объясняется самим характером писательского труда: писатель — кустарь-одиночка, который, если он не халтурщик и не графоман, рождается и умирает с каждым новым своим детищем.

Услышанное где-то мотто: в конце концов каждый у самого себя на свете один-единственный — больше всего относится именно к рыцарям литературного труда.

Особенность советского периода — не говорить правды в лицо. Ни в повседневном общении, ни с трибуны. С трибуны, и под давлением властей, и из других привходящих соображений поносили и тех, кого на самом деле ценили и даже любили. В повседневном общении курили фимиам тем, кого ненавидели, но уж наедине, в узком кругу семьи или поклонников, давали себе волю.

— В США я встречался с Якобсоном. Да, с Ромкой Якобсоном. И спросил, как он оценивает Шкловского? И тот сказал, что если рядом со Шкловским были доктора и академики, то у него масштаб фельдшера.

К чести Катаева надо сказать, что он не вкладывал страсти в свои филиппики. По крайней мере, в те переделкинские вечера начала восьмидесятых годов. Просто констатировал очевидные для него факты и обстоятельства, а то и тренировал воображение и память перед очередным корпением над листом бумаги, которое ожидало его на утро.

...Я до сих пор сравниваю собственные ощущения о тех давних уже встречах с Катаевым с тем, что говорили и говорят о нем, каким видят его другие, и каждый раз снова убеждаюсь, что для меня существует свой Валентин Катаев, не только ни на кого другого не похожий, но и ни с чьим другим Катаевым не сравнимый.

Считалось, что он сутул и что не может не быть сутулым человек в его возрасте и при его росте. А в моем представлении — он строен, прям, когда сидит у себя на даче, на веранде или за обеденным столом во главе семьи, разбавленной небольшим числом гостей, которые давно уж в большом количестве не приглашаются.

Говорят, что он стар, чему свидетельством его года и старческие пятна на руках и на шее, а на меня от его суждений и реплик, сопровождаемых быстрым, с блеском в глазах, взглядом вокруг, быть может, и из-под старческих пергаментных век, веет молодостью и озорством одесской литературной богемы, воспеваемой им всю жизнь.

Отбиваясь от критиков, упрекающих его за искажения то образа, то события времен той самой богемы, он порой ссылается на издержки памяти, а я так не встречал еще человека, который так цепко удерживал бы в сознании мельчайшие, казалось бы, даже ненужные подробности. Как-то сын его Павел в свойственной ему универсально-иронической манере начал рассказывать об одном, в годах уже писателе, скорее всего Федине, который, возомнив себя Горьким наших дней, рассылает во множестве молодым своим собратьям напутственные письма.

— Зелеными чернилами, — машинально уточнил Катаев-старший.

Говорят, что он не дослышит, а я так подозревал, что он пропускает мимо ушей все, что незаслуживает его избирательного внимания и реагирования.

Он делит свое творчество на два этапа — до и после того, как понял, что не нужно писать «настоящих» романов, что они слишком громоздки и приходится волочить за собою массу балласта в виде «лепки характеров» и узоров сюжета.

Но я думаю, что существовал и другой водораздел, о котором он, быть может, не говорил даже самому себе...

Быть может, человек рождается не только с задатками характера и призванием; быть может, он рождается с глубоко заложенным в нем, закодированным влечением к какому-то одному-единственному, только на него одного и сшитому образу жизни и действий.

Угадать его, наверное, даже труднее, чем само признание. Иной человек только и делает, что плывет против течения собственной жизни и спохватывается, когда сил и воли не остается даже на то, чтобы просто отдаться на волю потока. Катаев плыл против этого течения не по собственному разумению, а по воле государства, системы, как он говорил, которая разрешала ему отдаваться своему призванию на определенных условиях. Все, что он написал до «Кубика» и «Святого колодца», было лишь выполнением этих условий, хотя у него даже произведение по заказу становилось эталоном. Без Гаврика и Пети мое и моих сверстников детство было бы еще беднее.

Человек «терял» себя сегодня, чтобы сохраниться завтра. Нет, — для завтра.

Иносказательно он изобразил этот период «сохранения» в «Кубике».

Может, он относил это не к себе, к кому-то еще, но читатель волен судить по-своему.

«Я сам однажды был избалованной собакой, правда, ненадолго... На меня вдруг нападало необъяснимое желание кусаться...

Когда же мне делали успокоительный укол, я сразу переставал раздражаться и покорно, даже не без некоторого удовольствия, отдавался в руки... человека, который, завязав мне на всякий случай морду, приводил меня в порядок, и когда за мной заезжал Мосье и надевал на меня поводок, я уже был одним из самых красивых... пуделей... Меня в нарушение правил охотно пускали в общий зал вместе с моими хозяевами... и подавали мне отличный Шатобриан... и ставили мне серебряную мисочку... Не буду лгать, все это подавалось мне, конечно, под стол...»

У каждого винодела свой способ выдерживать вино. Но когда его хранят слишком долго, оно становится уксусом.

Рожденная им «Юность» стала первой попыткой взять систему на понт.

Не скажешь, что неудачной.

И все же только перестав против собственной воли быть редактором своего детища, сложив поневоле руки, он обнаружил себя делающим то, что и надо было ему делать, — пишущим «Святой колодец». Да-да, осеняет меня, слушавшего его рассказы. Быть может, однажды и именно тогда, когда, расставшись с «Юностью», он стал заседать не на ее редколлегиях, а вот так, в кругу избранных им одним собеседников, он вдруг прислушался к самому себе и стал писать по-иному — не писать, записывать услышанное от самого себя — и то, что было уже произнесено вслух, и то, что было только что подумано, пригрезилось.

Поток сознания? Подражание Джойсу или Камю? Марселю Прусту? А может быть, новое направление каждый раз рождается вновь, когда писатель находит дорогу к себе?

Мариэтта Шагинян выразила это на свой лад: «Когда мы писали о стройке, он шагал рядом. А выписался потом».

Творчество ли стало образом жизни или бытие превратилось в творчество? Когда разница между одиночеством письменного стола и нешумным гулом дружеского застолья как бы стирается. Сократ записал бы свои притчи лучше Платона, если бы взялся за стило.

...Эстер рассказывает: знаменитая прорицательница в одной восточноевропейской стране, разбросив на него карты и взглянув на них, сомлела:

— Что же вы меня не предупредили? Это же необыкновенный человек. Это — Царь! По их терминологии, разумеется, — комментирует она самое себя, чтобы не звучать одиозно. — Колдунья предупредила, что будет болезнь, будет на этой почве тяжкая операция, но все минет без следа. Так и случилось.

Есть, несомненно, лежит на нем некий свет избранничества, та сила, которую чувствуешь, как это было и с Шолоховым, даже при мимолетном, бытовом соприкосновении.

Во время наших встреч он редко обращался к тому, над чем в тот момент работал. Наверное, это было его универсальное правило. Не касались этого и ближние. Лишь однажды у Эстер вырвалось:

— Когда люди прочтут то, что Валентин Петрович сейчас пишет, уже ни один человек на свете больше не захочет воевать.

И уже уехав в Стокгольм и открывая очередные номера «Нового мира», находя там новые и новые его вещи, я тут же смотрел на даты.

«Юношеский роман», то самое, о чем говорила Эстер. 1980—1981 годы. Разгар наших собеседований.

«Сухой лиман» — 1985 год.

«Спящий» — 1984 год. Эта вещь и подтолкнула меня назвать мое эссе для «Нового мира», которое я начал еще при жизни Катаева, «Грезящий наяву».

Спящий? Нет, грезящий наяву. Повестями, рассказами, романами, стихами даже, о чем мало кто догадывался при его жизни.

Кипучий родник на Мысах

(Женя из Сердобска)

В современные учебники истории и специализированные исследования система профессионально-технических, в просторечии — ремесленных училищ, предтеча суворовских и нахимовских, созданная Сталиным в самом начале войны, вошла как еще один пример военизации, если не гулагизации населения. Так, наверное, оно и было.

Четырнадцатилетние Ваньки Жуковы мужского и женского пола расставались с домом, переходили на казенный кошт, получали за два, три или четыре года рабочую профессию и становились своего рода собственностью государства, которое хоть и оплачивало кое-как их труд, приобретало право отправить их работать в любую точку Советского Союза.

На моей мальчишеской памяти в тот памятный сорок второй год в нашем заштатном, но также схваченном, как вся страна, войной, Сердобске, желающих поступить, вернее, устроить своих отпрысков в «ремеслуху», то есть только что открытое училище, которое разместилось в неплохо сохранившемся старого бурого кирпича здании бывшего реального училища, было больше, чем мест.

Возник конкурс, но не детей, а взрослых, конкурс семей, из которых предпочтение отдавалось семьям бедных и фронтовиков, что было почти одно и то же. В этом смысле моя двоюродная сестра Женя, Женька, как я зову ее всю жизнь, хотя она на несколько лет старше меня, была вне конкуренции.

Ее и ее младшей сестры Нинки мать, Мария, умерла в Средней Азии, куда их отец, мой дядя, дядя Вася, тот самый, которого я по-тимуровски провожал на фронт, поехал работать шофером вслед за старшим братом, моим отцом. Вторая жена, Матрена, тетя Мотя, как пренебрежительно называл ее отец, быстро родила ему еще двух девочек, а двух старшеньких держала в черном теле.

Это побудило бабушку, которая любила свою первую невестку и терпеть не могла вторую, проделать в начале тридцатых годов долгий и мучительный путь из Сердобска во Фрунзе и забрать девочек к себе, чтобы жить с ними в той самой избушке на берегу Сердобы, на Мысах, которая осталась у семьи после того, как дедушку, деда Семена, раскулачили. Куда с началом войны вселились и мы с матерью, вернее, только я, потому что мама с младшим братом вскоре перебралась в город Сердобск к старшей сестре отца Раисе, которая вместе с бабушкой опекала дяди-Васиных дочек, за что они звали ее мамой.

В начале сорок второго пришла на дядю Васю похоронная — погиб на Ладожском озере, на Дороге жизни, и Женька с Нинкой остались круглыми сиротами, что и проложило старшей из них дорогу в училище. Горькое это было утешение.

ГУЛАГ или не ГУЛАГ, а все мальчишки моего возраста завидовали появившимся на улицах городка ремесленникам, щеголявшим в новеньких формен-

ных шинелях, высоких фуражках с лакированными козырьками или беретах с гербами.

Всполошились, и не на шутку, лишь тогда, когда стало известно, что лучших учащихся РУ, к числу которых была отнесена и Женька, командируют в Москву, на оборонный завод. Еще до окончания курса обучения. Проливая горькие слезы, отправилась она туда с однокашниками в таком же вагоне, в каком мы приехали в Сердобск, — сорок человек, восемь лошадей.

Вскоре стали приходить от нее длинные письма, исполненные каллиграфическим почерком копировальщицы, — работа, к которой ее приспособили за ее малый рост и твердую руку. Письма эти, как и вся тех лет переписка, на пути следования к адресатам внимательно изучались военной цензурой и, соответственно, были испещрены жирными черными полосами, под которыми, нам казалось, и таились самые интересные подробности новой Женькиной жизни. Бабушке и деду, которые не знали грамоту, их читали вслух, поочередно, Нинка и я.

Бабушка слушала не прерывая. Только все утирала концом платка запотевшее лицо, уже тогда напоминавшее печеное яблоко, да издавала время от времени протяжный вздох, подозрительно напоминавший всхлипывание, хотя ничего такого страшного в том, о чем подробно извещала нас сестра, не было. По крайней мере, на мой, двенадцатилетнего подростка взгляд. Живет в общежитии, бывает с подругами в Москве. На заводе — по двенадцать часов в сутки, но работа у копировальщиков и чертежников — чистая. В цеху тепло.

Было странно. Сердобчанка Женька жила и работала в Москве, а мы, москвичи, — в Сердобске.

Летом 1943 года, после первого салюта по случаю освобождения Курска, Орла и Белгорода вернулись домой и мы с матерью и братом. Не помню, чтобы я особенно ликовал по этому поводу. Но, конечно же, это было не то, что ехать в какой-то пугающий даже своим названием Челябинск.

Женька, которая жила в общежитии в Подлипках, была нашей первой гостьей в Останкине. Еще до того, как мать, арестованную на вокзале за отсутствие у нас у всех пропуска на въезд в столицу, выпустили из кутузки. И потом уже наезжала регулярно. Мы с младшим братом — мне двенадцать, ему шесть — особенно радовались ее появлению в те дни, когда маму отправляли на неделю-другую на трудфронт, «на картошку» — перебирать гнилые и мороженые клубни, доставляемые старыми баржами в московские речные порты — Химки, Сходня... Втроем было надежнее и спокойней. Я отвечал за печку-времянку, которую приходилось перекладывать чуть ли не после каждой топки, чтобы не дымила, и за дрова — сырую осину, которую мы по талонам получали со склада у Рижского, тогда Ржевского вокзала, и потом везли на санках к нам в Ново-Останкино через мост. С Женькой возить дрова было веселей. Мне двенадцать, ей — шестнадцать. Мы все превращали в игру.

После войны, летней порой, мы часто вместе ездили в Сердобск. Однажды, это было, кажется, после девятого класса, я пригласил с собой одноклассника Вовочку. Спали все втроем в сенях, и однажды я, тогда еще — воплощенная невинность, проснулся от каких-то странных звуков, которые показались мне плачем. Но это был не плач, как объяснил мне утром с видом победителя Вовочка, которого я с тех пор невзлюбил. До сих пор не пойму, почему. Ведь ревновать я к нему Женьку или его к Женьке не мог — сестра же... Скорее я не ревновал, а завидовал. Он проник в некую таинственную зону, которая была еще недоступна

мне. И мне не с кем было туда за ним последовать. В лесу — одни родственники. Годы шли. Женька, которую «за ее малый рост, малый рост» и вообще миниатюрность звали Дюймовочкой, что-то, как переживали в Сердобске, засиделась в девках. Боялись, что уже навсегда. Вышла замуж позднее младшей своей сестры, когда этого уже никто не ждал. За рабочего того же завода в Подлипках. Мужа все звали Славочкой.

Такой же недомерок, как и жена. И тоже из ремеслухи. Отец звал их маленькими: «Что-то маленькие давно не навещали», «Маленькие только что звонили, звали в гости...» Ну, и так далее.

Они здорово подходили друг к другу.

Завод же в подмосковном Калининграде, на котором оба они работали, был, как мы все с изумлением со временем открыли, тем самым хозяйством Королева, которое запускало в небо спутники, а там и космонавтов. Вот тебе и девчонка из ремеслухи...

Потекли годы параллельного жития. Моя линия жизни — все вверх и вверх, по крайней мере, по казенным понятиям. Они — вроде бы все в той же позиции. Как начали, она — сначала копировальщица, потом — чертежница, он — токарь, так и на пенсию ушли в этих званиях. Но это только вроде бы. И только на взгляд со стороны. Потому что токарем он был самого высшего разряда и, когда подпирало, перед ним заискивали чуть не самые главные помощники Королева. Ей тоже поручали самую сложную работу.

Жили они еще долго в общежитии. Сначала — порознь, потом там же получили отдельную комнату. А там — и однокомнатную квартирку в пятиэтажке без лифта, в которой она и проживала, правда, со временем уже опять одна, потому что Славочка, похоронив сначала отчима, потом — мать, и сам скончался несколько лет назад. Детей им Бог не дал. Ее дети — Нинкиной, родной сестры, потомство. Дети и внуки.

Встречались и встречаемся мы, особенно после нашего отъезда на посольскую службу в Стокгольм, в основном у родителей, то есть теперь уж у мамы, потому что отец, ровесник века, оставил этот мир, не дожив двух лет до конца столетия.

Встречи как встречи — с непременными пельменями, фамильное блюдо в семье моих родителей — тушеная в собственном соку утка, мамин специалитет, и, конечно, грузди и опята из Сердобска, которые Женька возит оттуда возами, и «Абсолют» да пластиковые конверты с лаксом, балтийским лососем, специфической шведской икрой в тюбиках — из Стокгольма. Фирменные чай и кофе. Шведский шоколад «Марабу».

И ее рассказы — каждый раз перл. По случаю. По ассоциации.

— Говорю маме Рае (старшая сестра моего отца. — *Б.П.*):

«Собор как отремонтировали... Просто красавец. Так и тянет. Схожу — исповедуюсь».

Мама Рая:

— Сходи, коли, девка, сходи. Только гляди — он грудит...

— Кто-о-о грудит?

— Кто-кто. Батюшка, кто ж.

— Пришла. Накрыл чем-то черным. Вопрос — исповедывалась раньше? Замужем была? Аборты делала?

И облапил. Я как завизжу. Вырвалась. Мама Рая, с блестящими глазами:

— Грудил, стало ть?

Кто-то из родни посетовал, что ее муж-таки остался на всю жизнь токарем, не кончил вуз.

— Токарь? Он вот какой токарь. Медаль Королева вручали. Первые две медали. Заведующему комплексом и ему, то-ка-рю! Да он у меня еще танц-о-о-о-р! Училище в Ленинграде кончал. Он сам преподавать может. А пляшет... И деньги всегда при нем. Он только, извините, что в туалет с ними не ходит. А так — всегда при деньгах.

Но самое главное, то, ради чего и начал я сочинять эту главку, это Женины письма, теперь уже не бабушке, тоже умершей накануне собственного столетия в 1973 году, и не дедушке, который утонул в Сердобе сразу после войны, когда грузил скошенную на другом берегу траву в лодку, а мне — то в Стокгольм, то в Прагу, то в Лондон, а теперь уже снова в Стокгольм...

Письма, читая которые я порой думаю, что это не мне, ей надо было бы подаваться в писатели. Каюсь, мысль о том, что эти папирусы надо беречь как зеницу ока, не сразу оформились в моей голове. Да и потом, из-за бурных событий в моей жизни, не все удалось сохранить.

Но все же, все же...

Вот первое из сохранившихся, помечено февралем 1984 года. Шел семнадцатый месяц моего посольствования в Швеции.

«Здравствуйте, мои дорогие Валюша и Боря!

Сегодня последний мой вечер в Сердобске. Завтра я уезжаю».

Немаловажно заметить, что все или почти все ее письма начинаются со слова Сердобск — либо она туда собирается, либо уже там, либо на время с ним снова расстается, либо у себя в Подлипках принимает гостей или годков оттуда.

«Приехала сюда 14 января, а кажется, только вчера меня в Ртищеве (узловая станция. — *Б.П.*) встретил Алексей.

Вечер. Топится печь. Нина в духовку положила картошку. Кажется, ничего нет вкуснее печеной картошки. Из погреба достали соленья — огурцы, помидоры, грибы. При мне зарезали поросенка, сало посолили, оно пока не готово, а из мяса делали отбивные, пельмени, жарили картошку с мясом. Так что похудеть не удалось. Помаленьку куры занеслись, кушаем свежие яички. Молоко покупаем в магазине. Печет Нина блинчики, а Клавдя — пироги с картошкой и капустой. Перед самым отъездом сюда нам звонил Алексей, что мама Рая плохая, я так боялась за нее, думала, придется хоронить. Вырядилась в траур, но пока, слава богу, жива, но слабенькая очень.

Я им рассказывала о вас, о ваших делах. По телевидению все время смотрели тебя все. Мама очень жалела, что уже не видит, а то бы тоже посмотрела тебя, "Борьку".

Ты знаешь, что у Нины внук глухонемой. Его из Саратова на месяц привозили сюда. Он находится в садике. Дали им на зимние каникулы. Я семь дней с ними была. В письме трудно все описать, но я так довольна, что снова увидела его. Он такой умный, такой смышленыш. Все-все понимает. На пальчиках показывает, что к чему. К Исаевым придем с ним. Он начинает показывать что-нибудь, а Клавдя с мамой, глядя на него, плачут. Вася (Нинин сын, отец глухонемого мальчика. — *Б.П.*) уже работает. Жена в этом году закончит институт, и они уедут в Ульяновск. Докторами. Ты, наверно, спросишь, была ли я в лесу, на Мысах? Конечно, была, и была два раза. Собирались, как на Северный полюс. Приехала из Москвы, было тепло, а сейчас морозы -29 по Цельсию. Собрали два рюкзака продуктов, оделись потеплее с соседкой, пошли. Мы боялись, что

нет в лесу дороги, но наши опасения были напрасными. Была лыжня, мы по ней пошли и прошли все дороги, которые вели к кипучему роднику. Вышли очень далеко от нашей Песочной дороги.

Пришли к бабушкиному дому (тот, где мы жили в войну. — *Б.П.*). Все блестит от снега, а кругом тишина и покой. Я долго стояла на поляне. Вспоминала, как мы катались на санках с горы к Чернышевым...»

Чернышевы — отец, мать, дочь и два сына — Петька и Павлик, жили под горой, на самом берегу Сердобы. Запомнилось, что в темных сенях, где они держали корову, у них всегда почему-то было по щиколотку навоза, который никак было не миновать, если хочешь попасть в горницу. Отец, который, запомнилось, называл США «САСШ», очень интересовался мировой политикой и любил разъяснять ее слушателям вроде нас, малолетних, или, наоборот, моей бабушке. Сразу после начала войны его взяли на фронт, откуда скоро пришла похоронка, потом забрали старшего из братьев Петьку.

С дочерью Клавкой, которая была на пару лет старше меня, мы пасли коз, она гонялась за ними с хворостиной как угорелая, а я заглядывался на ее мелькавшие под изодранным платьем ляжки. Младший Павлик, чуть моложе меня, был известен тем, что каждую ночь обильно орошал постель, за что мать и старшая сестра били его нещадным образом. Отчаявшись, он не нашел ничего лучшего, как, не сказав ни одной душе ни слова, перевязать себе известное место ниткой, что было замечено только на третий или четвертый день, когда все распухло, я помню это, как сейчас, и приобрело страшный вид. Тем не менее умудрились как-то добраться до этой, к счастью, быстро сопревшей нитки без врача, которого и взять-то в такой глуши было негде. Когда под влиянием «Детства» Горького я прочитал «Подлиповцы» Решетникова, сразу вспомнил и этот дом, и эту семью.

«Пошли к тете Лене, а к ней и следов нет. (Та самая тетя Лена, матершинница, которая, по словам бабушки, «за поллитру в епутаты навязалась». — *Б.П.*) Подходим, я думаю: а вдруг она умерла? Смотрю в окно, кажется, что на кровати кто-то лежит. Потом в другое окно посмотрела, постучала. Она идет открывать дверь. Сначала не узнала меня, а потом узнала и начала охать, как мы до нее добрались.

Боря, что мы увидели, это не описать. Холодная изба, воды нет, и с ней три кошки. Я растопила печь, принесла снегу, натаяла в кастрюле. Посидели, повздыхали и ушли. Тетя Лена так плачет, все молит смерти. Пришла, все рассказала нашим. Пошли с Ниной, понесли ей снова питание и теплую одежду. В этот раз наш путь был коротким, вышли к Кипучему, набрали воды и захватили к тете Лене. Пришли, а у нее Лиза и Коля. Пилят и колют ей дрова. Они ходят к ней через две недели. Спасибо им, если бы не они, она бы погибла. Вспоминали о тебе. Спрашивали, был ли ты и собираешься ли в Сердобск?»

...Лиза и Коля. Трудяги, перекупившие нашу избушку на Мысах, когда бабушка, оставшись одна, перебралась вслед за последней своей внучкой Ниной в город. Они будут мелькать чуть ли не в каждом Женином письме из Сердобска. Уже и тогда, когда хатка наша перейдет силою обстоятельств в третьи, совсем чужие руки.

«Вот, Боря, так я снова была в дорогих для сердца местах. Кроме тети Лены, никто зимой в лесу не живет.

Боря, извини, что отняла у тебя много времени, но не написать о Сердобске и из Сердобска я просто не могла!»

И еще письмо. Из Подлипок. Снова — в Стокгольм. Года примерно через два. И опять — зима.

«Здравствуйте, дорогие наши Валюта и Боря. Хочется хоть в письме с вами поговорить. Ну, что вам написать?

Сейчас утро. Пишу вам и слышу, как звонко, почти по-весеннему поет синица. Хотя полно снега и не так уж тепло, хорошо, что морозы — 27–29 градусов — кончились».

Синички... Женя пишет здесь о городских синицах, в сущности, москвичках, а мне всякий раз, когда я беру в руки это письмо, видятся мои сердобские деревенские подружки... С тех военных лет не могу спокойно видеть синиц, этих, как говорится в учебниках зоологии, самых обыденных после воробья обитательниц наших лесов, полей и дубрав. Дедушка делал мне зимой ловушки для птиц, называвшиеся почему-то лутовками. Никогда уж после не встречался я с охотничьим снарядом проще этого. В неширокую досточку вбивалась пара-другая гвоздей. С их помощью крепились к дощечке конского волоса петли. Нехитрое это сооружение дед ставил зимой на завалинку, которая весной и летом кишела ужами, и высыпал на доску горстку отрубей, которые наметал по утрам на мельнице, где дежурил сторожем по ночам.

В солнечный зимний день затерявшиеся среди трухи зерна пшеницы отливали золотом и манили к себе птиц. Синицы были быстрее и безоглядней других. Наклевавшись, они взлетали с полным клювом, и их тонкие лапки, похожие на прутики хвороста, запутывались в петле. Поначалу я пробовал мастерить клетки, чтобы держать в них птиц. Но удовольствия это как-то не доставляло. Самым драгоценным был миг, когда я брал в ладонь теплый трепещущий комочек, впервые начиная сознавать, что есть кто-то на свете еще меньше и беззащитнее меня, и начинал растягивать петлю на лапке. Освобождать птиц было куда приятнее, чем сажать их в клетку. Увидев однажды, как глубоко врезался в лапку синицы конский волос, я вообще отказался от этой затеи.

С тех пор, дальше — больше, стоит моему взгляду заскорузлого горожанина остановиться на зеленой с черной головкой и белыми бакенбардами птичке, как словно вздрагивает что-то внутри, и я, как сквозь оттаянное дыханием заиндевелое оконце, вижу нашу утопающую в снегу по самую завалинку избушку, крытую обледенелой и тоже запушенной снегом камышовой соломой, зеленоватые подвижные пятна синиц на янтарном деревянном подносе, багровые отблески огня от полыхающей в избе русской печи. Вижу деревянную лопату для расчистки снега, приставленную к завалинке, и расчищенную уже этой лопатой дорожку к роднику, которую выпущенные поразмяться коза и две овцы уж усыпали черными, маслянистыми на утреннем солнце горошинами.

И другое видение тех лет, тоже перекликающееся с воспоминаниями Жени. Таким же солнечным зимним днем я спешу лесом к себе на Мысы из школы в Сердобске. На заснеженной поляне, где солнце с какой-то озорующей силой ударяет по глазам, слышу, зажмурившись, какой-то незнакомый, неземной красоты звон. Словно оглушенный им, застываю как вкопанный, прикрывая от света глаза ладонями, размыкаю веки: на белых, пышных от снега ветвях березы сидят стайкой, важно выпятив красные грудки, с черными короткими клювами птицы, каких я раньше никогда не видел.

— Снегири, никак, — определила, выслушав меня, бабушка, когда я ввалился домой. — Грудка красная? Навыкате? Как у енерала... Снегири, — повторила она уверенно.

Но я возвращаюсь к Жениному письму.

«Потихоньку готовимся к Славиному юбилею. Ведь 1 марта ему — 60! Из них 45 стоит у станка. Доработает до мая и пойдет отдыхать. Поедем на все лето в Сердобск. Мы так ждем это время, когда поедем в Сердобск.

Очень волнуюсь, как я смогу провести эти юбилейные дни. Только бы не заболеть снова. С работы двадцать человек придут. Один день — его родственники, один день — наши.

К нам на днях на каникулы Лена (дочь ее сестры Нины. — *Б.П.*) приезжала. Она уже на пятом курсе и подрабатывает в микрохирургии. Дежурит в месяц девять ночей и получает 90 р. Это очень хорошо!

Леночка рассказывала про маму Раю. Пока она хорошо себя чувствует. Говорит Нине: "А ведь я, девка, не знаю, как болит голова. И ноги у меня не болят". Вот ведь в 90 лет. А два года назад помирать собиралась. Мы можем ей только позавидовать по-хорошему».

А я читаю письмо и вспоминаю, как, попав единожды в жизни по поводу аппендицита в больницу, легкая на язык тетя Рая рассказывала: «Там, девки, тебе такую таблетку дадут, ты сама поперед врача на операцию побегишь».

«Нина в каждом письме зовет в Сердобск, вселяет надежду, что у них поправлюсь. Я в Сердобске всегда лучше себя чувствую. Ты помнишь Лизу-пчеловодку? Она уже третье письмо прислала. Зовет у них на все лето жить в лесу. Она ведь бабушкин дом купила. Как-то хорошо там. Но Слава не может жить без радио и телевизора. Как это он не будет смотреть спортивные передачи?! Без этого он не мыслит.

Плохо, что там нет на Мысах электричества. Мы могли б там домик в садах купить. Чем становлюсь старше, тем дороже и милее Сердобск. Господи, да разве можно забыть наш сад, Сердобу».

...Сердоба... Сердобу под Сердобском с незапамятных времен перегораживали плотиной, чтобы мельница могла свои жернова крутить. И чтобы речка была бы полноводной. Так уж заведено было, что каждую весну, в паводок, плотину сносило, и ее тут же начинали снова возводить. Методом народной стройки, как это стали называть в советское время. То есть мастера строили каркас, а съезжавшийся со всех сторон народ с подводами, и добровольно, и по мобилизации, засыпал его землей, битым камнем, кирпичами. Так было и в годы войны, когда мне посчастливилось две весны участвовать вместе с дедушкой и другими взрослыми людьми нашей многочисленной семьи в этой веселой и забавной, на мой мальчишеский взгляд, кутерьме. Много лет спустя, я уже был главным редактором «Комсомолки», какая-то мудрая чиновничья голова решила, что, коль скоро в мельнице нужда отпала и муку везут из больших городов, то незачем возиться с плотиной. И вот в одну оказавшуюся далеко не прекрасной весну плотину не запрудили. И речка обмелела. И негде стало населению разросшегося городка, Заречной слободы, в обиходе — Заречки и десятка сел в пойме Сердобы ни купаться, ни рыбу ловить, ни на лодках кататься, ни скот поить...

Да разве перечислишь все, что дает людям река? Десятки благ, которые принимаешь как должное и даже не замечаешь, пока они есть, и без которых невозможно становится жить, когда они вдруг исчезают. Словом, выдь на речку. Чей стон раздается?.. Через ту же Женю и других родственников тот стон был доведен до меня. Я попросил отправиться в Сердобск Васю Пескова, спецкора «Комсомолки» и лауреата Ленинской премии. И он написал статью «Река зовет

на выручку», после чего первый секретарь Пензенского обкома партии звонил мне и кричал, что я использую служебное положение для устройства дел своей родни, что он на меня пожалуется и в малый ЦК (ВЛКСМ), и в большой... Кричать кричал, но на следующий год плотина поднялась вновь...

«А наш маленький дом, который зимой и летом обогревал случайно забредших в лес путников. Помнишь, Боря, как бабуля встречала их, кормила-поила чем могла. Ну вот, дописалась до слез. Видно, всему виной старость».

...Следующее из сохранившихся писем. Разгар перестройки. Мы — по-прежнему в Стокгольме. С нами — дочь и внучка.

«Здравствуйте, дорогие наши Валя, Боря, Лена и маленькая Леночка. Пишу Вам из Сердобска. Валя, всем сделали поминки, ходила с мамой Раей в церковь, заказали Елене Георгиевне (мать жены, недавно до того умершая) обедню. Просвирка у нас. Когда-нибудь передам. Сегодня ходила, красила ограду на могиле бабульки. Смотрит с портрета лучистыми добрыми своими глазами, только ничего мне не сказала.

Обошли всех — и Нюру с Иван Ивановичем, и дедоньку с дядей Володей...

Сердобск понемногу меняет свой облик. Немного грустно от этого. Как выходишь из мамы-Раиного переулка на ул. Ленина, по одной стороне уже снесли все старые частные дома. Ставят безликие пятиэтажки. Боря, ты наверное, помнишь, на этой стороне стоял красивый резной домик-теремок, теперь его нет.

В отношении речки ситуация непонятная... Я тут же послала Алексею телефон и адрес Инны Павловны Руденко (спецкор «Комсомольской правды»), но он письмо не написал, объясняет тем, что когда-то он писал три письма, но они до вас, до «Комсомолки», не дошли, пока сам тебе не привез.

Я говорила кое с кем, хотела собрать подписи, но вчера ходила на речку, вода стала прибывать... Да, еще были события у нас. Решили крестить Машеньку, внучку Нины. Крестным захотел стать Ромка (через несколько лет умрет от наркотиков), Вовкин сын. А Ромка сам некрещеный. Пришлось ехать крестить Ромку, а он уже кончил восемь классов. Батюшка велел на следующий день прийти на исповедь и к причастию. Я маму привела в церковь, она исповедовалась, а Ромки все нет, и вдруг является в 11 часов. Батюшка его отругал, но все же весь ритуал с ним совершил. Ромка такой оболтус, но я не устаю удивляться, как это он решился креститься и исповедоваться...

Ну, дело сделано, и все получили какое-то благостное удовлетворение.

В лесу все меняется. Ты помнишь, как мы боялись лесника? Как бабушка ублажала его, старалась все достать «с погребицы» и угостить, и все за лишнюю палку дров и за вязанку травы, чтобы зимой было что дать нашим козам.

Сейчас многие места просто не узнаю. Пилят подряд крупный лес, сучки не убирают, лес захламлен. Я решила беседу с рабочими провести, мне ответили: «Вон сколько людей гибнет, а ты лес пожалела» (уже случились Чернобыльская катастрофа и землетрясение в Армении, пролилась кровь в Сумгаите, Баку, Таджикистане... — *Б.П.*). Обидно и грустно от этого.

Зато родник по-прежнему бежит, и вода такая же холодная и вкусная. Соседи по бабулиному саду все спрашивают о тебе, по телевизору тебя видели. Так что все тебя помнят. Ну, вот, кажется, все описала. Я бегаю за грибами, а Слава с Мишей (Нинин муж. — *Б.П.*) на рыбалку ездят за окунями и еще строят омшаник — дом для пчел. Старый дом будут ломать. Жара неимоверная. Но дожди были».

...Время шло. Шли письма. Умножалось число родных могил на сердобском да и на московских кладбищах. Тем, кому вчера еще ставили свечки за здравие, теперь возжигали за упокой.

У нас — после семи лет в Стокгольме — Прага. Через полтора года на три месяца Москва, потом три года — Лондон и снова, какой уже год — Стокгольм...

Письма Жени находили нас всюду, хотя не обходилось и без приключений. Новые времена...

«Посылаю письма, а не доходят. Конверты подорожали. Те же, что и были, но стоят рубль двадцать вместо пяти копеек. В Москве штамп ставят специальный, а до Сердобска это еще не дошло. Письма в старых конвертах просто на свалку выбрасывают.

С чего начать?

Речка совсем погибает. Собирались в этом году делать плотину, но нет средств. Собор стоит в своем дорогом убранстве после реставрации. Но в церковь теперь ходить стало дорого. От свечей и до просвирок цены выросли в десятки раз. Некоторые старушки складываются и на свечи, и на подаяния по умершим. Если раньше хлеб клали на поминальный стол, то теперь кладут кусочки. Очень дороги обедни стали. Теперь о маме Рае. Она уже не в себе. До моего приезда все спрашивала: "Приедет Женя?" Ну, как тут не приехать? А теперь все просит: "Женька, пойдем в Орловку (улица в пригородной слободе под боком у Сердобска, где стояла до раскулачивания изба-пятистенка моих предков Панкиных — Вдовкиных. — *Б.П.*), там дом пустой. Я на лавочке посижу"».

Миша Нинин в больнице с сердцем. А у них свинья решила пороситься. Первый раз обзавелись после многолетнего перерыва. Мы с Ниной караулили ее по ночам, но все же не укараулили. Один из пяти поросят был уже мертвый. Четыре вырастили за месяц и продали. Нет кормов, нечем кормить.

Завтра надо Вовке помочь, а потом опять — к Нине. Работы здесь невпроворот, даже посидеть некогда. Уродились сливы, а варить нет сахара. Хлеб с сегодняшнего дня стал 15 р. черный. Как будем жить? Вам, наверное, приелись уж мои сердобские страдания, ну вы уж простите меня за это. Я тут Славе рассказывала, как ты привез пластинку — арию Мефистофеля. Это надо представить, тогда ведь было чудо. Вдали от города, в лесу и вдруг — ария Мефистофеля.

А еще Клавдя рассказывала совсем давнее. Как тебя привезли в Сердобск. Ты совсем маленький был. Короче говоря, обмочил пеленки. Мама Рая спрашивает тебя: "Куда это теперь девать". А ты говоришь: "В печурку". Сушить, значит.

...Эх, не написала о роднике Кипучем. Хожу очень часто к нему, беру воду, хотя и там непорядок. Как понастроили дач, желобок разорили, а ведь нет чтобы собраться и все сделать. Ведь этот родник питает все и сады».

Да, с наступлением постсоветских реформ тон писем заметно изменился. И я нет-нет да и вспомню снова покойного уже Леню Лиходеева: «Борис Дмитриевич, запомните, что бы ни случилось, все будет наоборот».

«О ценах страшно писать. Носки простые — 125 рублей, женские трусики (извините) 350 стоят, а стоили 5 рублей, мыло хозяйственное — 73 рубля кусок. Сахар 280 р. за килограмм, хлеб — сорок рублей буханка, батон — 33 рубля, а это ведь самое необходимое. Ребята, вы уж извините меня за эту путаницу, просто хотелось обрисовать нашу жизнь.

Перед Пасхой ходила в церковь, святила куличи и яйца. Хотелось пасху сделать, но очень дорогой творог. Мы его давно уже не покупаем. Литр молока — 120 рублей».

«Здравствуйте, дорогие наши Валюта и Боря!

Остался у нас один еще праздник — День Победы, вот с этим праздником я вас и поздравляю.

Поеду в Рахманово, положить цветочки к обелиску. В этом скорбном списке и фамилия папы. Уже много лет мы со Славой там 9 мая обязательно бывали. А сейчас вот одна поеду. Меня там ждут. Еще спешу отблагодарить вас за гостинцы. Славе сегодня в больницу отвезу. Лежит уже полмесяца в кардиологии. Смотрели его и кардиолог, и невропатолог. Сейчас позвонили, у него опять с сердцем плохо.

Да и на могилку к матери надо сходить. Она староверка была. У них и хоронят не так, как у нас, и кладбище другое. Наконец открыли в деревне церковь. Сколько лет была под запретом. Склад сделали и строго охраняли...»

Следующее письмо пришло поздней осенью.

«Сейчас вечер. За окном — после ранних морозов, которые наделали много бед, капель. На душе тоскливо. Дома как-то пусто. Слава снова в больнице, и, наверное, надолго. Лежит в тяжелом отделении, а лекарств у них своих нет.

Пенсию пока не пересчитали. На 1500 далеко не уедешь. За что отдали 90 лет — наш со Славой общий стаж? Чтобы под конец жизни быть нищими? Уходили на пенсию и не думали, что нас так обманут, что наших сбережений даже на похороны недостаточно. Мама Рая дом когда-то продала за пять тысяч, а похоронили ее за двенадцать. Цены так быстро растут, мы не успеваем за ними следить».

«Ходила за Славой в больницу. Пролежал 50 дней. Дали выписку на инвалидность второй группы. Теперь он дома. Никуда не выходит. Единственное, что он может, читает мне много вслух, а я слушаю и делаю все по дому.

У меня все-таки осталась еще одна радость, один рай земной — баня. Всю жизнь хожу. У нас уже образовался свой круг. Ходим в определенный день и часы. Идем часа на четыре. В этот день уже все дела откладываются. Хотя и баня подорожала. Вместо 30 копеек стала 3 рубля.

Беру с собой термос с заваренной травкой. Обсуждаем иногда наши проблемы там. Так, обо всем понемногу. А уж дома наслаждаюсь свежезаваренным чаем. Разве это не радость?»

«Здравствуйте, дорогие... Спасибо вам большое за помощь, которую вы мне оказали. Помимо похорон и поминок были и 9 дней, и 40... За неделю до смерти у Славы поднялась температура до 38,5. Я вызвала врача. Послушала, смерила давление, выписала рецепты, говорит, если не пройдет температура, кровь возьмем на дому. Я сбегала за лекарствами. Позвонила подруга. Славе, говорит, передай привет. Я положила трубку, села в кресло, передаю ему наш разговор, а он захрипел. Я «Скорую помощь» вызывать. С третьего раза приехали. А он умер... Перед этим все старался что-то сказать. Кто бы мог подумать. Лежал человек на своей постели, а ночь проведет уже в морге. До пяти утра я проходила и проплакала. А еще голова болела от забот материальных.

Когда его немного парализовало первый раз, он мне говорит: «Ты помнишь, как наша баба молилась, чтобы Бог послал ей легкую смерть? Я тоже буду молиться». Он знал две молитвы и еще придумал свою и каждый божий день молился.

Теперь я думаю, его Бог пожалел, а он — меня. Нечем жить. Все делаю по инерции. Правда, все меня зовут. Всем я нужна. Звонили из Сердобска...

Вчера вернулась от ваших стариков. Была Варвара Васильевна (соседка по Останкинскому бараку, мать моего рано умершего школьного друга — *Б.П.*) Потом звонила тетя Нина (мама), говорит, Варвара поссорилась с Митяшей (отец), и она быстро уехала».

...Еще один феномен нашего времени: отец, некогда возмущавшийся ленинохульством моего сына, под конец жизни возненавидел Ильича; Варвара Васильевна, из зажиточной казацкой семьи, потерявшей в коллективизации все, горой — за него и за Сталина. Споры об этих персонах закончились только со смертью отца.

Меж тем наступил 1995 год, и письма снова пошли в Стокгольм. Женя знает, почему и как я оставил Лондон, одобрила наше решение, но тактично избегает прямых упоминаний об этом.

«Поздравляю вас от имени старших Панкиных и меня в том числе с наступающим праздником — Днем Победы... Вспомните нас, ветеранов, в этот день, оставшихся пока в живых и кого уже нет...

1 Мая пойду медаль получать.

Теперь немного о себе. Я давно вам не писала, часто по ночам бессонным сочиняла письма. Приходит день — и думаю, да что о нас, о нашей паскудной жизни писать. Может, вам там и без того несладко. Справила поминки по Славе. Прошел год, как нет со мной Славы, а мне кажется, что совсем недавно он был дома, говорили с ним. Как он мне сказал: «Я залежался. Надо вставать, с удочками заниматься, скоро поедем с тобой на рыбалку».

Прошлое лето прожила в Сердобске, у Нининой Лены в няньках. На Пасху она мне звонила, спрашивала, когда приеду. Наступила пора коз пасти, а с Машей некому сидеть. В садик еще не оформили. Май проживу — поеду к ним. У них теперь самая горячая пора. Огороды, посадка. Ой, как это все тяжело. Одна отрада — походы в лес. Навещала наш бывший дом, нашу поляну и речку, если еще можно называть ее речкой. От Сердобы остался большой ручей. Озера все пересохли. Осталось Дьяконово озеро — его питают родники. И еще пока не пересохло Городково озеро. Кажется, совсем недавно мы на лодке заплывали в него из речки и ловили карасей.

В нашем доме никто не живет. Дом не продан, но хозяйка купила в Салтыковке другой, обзавелась там хозяйством и сюда заглядывает. Кругом один бурьян. Зато тети-Ленину усадьбу содержат три хозяина. Тянут жилы изо всех сил, так как вода повсюду пересохла, вырыли колодец и черпают ведром на длинном шесте. Руки — до кровавых мозолей. Для питья воду берут из Кипучего родника. Теперь к этому роднику из города ходят за водой.

...Пенсию получаю мизерную. Из этих денег треть идет на коммунальные услуги. Продукты дорогие очень и все цены повышают. Очень дорогой проезд стал и небезопасный. Едешь из наших Подлипок в Москву и думаешь, благополучно ли доедешь. Боимся всего. Даже днем боимся. Стариков убивают или заставляют подписывать квартиры.

Разве я не могла бы одна на кладбище съездить? Боюсь теперь. Там бомжи живут. Утром одежду развесят и сушат.

Немного о деревенской жизни. Вася — главврач в Ульяновской области. Обслуживает восемь деревень и стационар. Я приехала к ним, а им два месяца не выдают зарплату. Поросят у них нет. Три кролика. Совсем невыгодно стало держать свиней. Очень дорогой комбикорм. Он теперь полностью хочет переключиться на пчеловодство. При мне смотрел ульи. Три семьи погибло. У него очень вкусный мед.

Живя там, я как бы окунулась в старое время. Как раньше крестьяне в фартуках несли в знак благодарности. При мне старик принес: кусок сала копченого и свежесбитого масла комочек. Потом бидон молока принесли, и бабуля старенькая в фартуке семечек от тыквы.

Спрашиваю ее:

— Бабуля, зачем ты это принесла?

— Как же, милая девонька, Василий Михайлович меня от давления вылечил.

Вечером говорю:

— Взятки берешь?

— Эх, крестная, ты бы знала, как мне тяжко работать. Зарплата три тысячи. Лекарств нет. У меня даже бумаги нет рецепты выписывать. Всякими правдами и неправдами достаю лекарства. Иногда свою зарплату трачу.

Смотрю, а у него в глазах слезы.

Вечерами засиживаемся допоздна с ним. Он любит вспоминать бабу. Как жили там на Мысах. Он-то совсем еще дитем был. Самый краешек застал. Ты ведь помнишь Ильича и Марию Ивановну? Она ведь такая богородица была, все добро делала. Никогда рыбу не ела. Ей жалко было ее резать и чистить. Помню, как она заболела и уже не вставала с постели. Ильич срубит сучок цветущей яблони и несет к изголовью.

Все это мы с Васей вспоминали. Он говорит мне: “Крестная, ну как нам вернуть бабин дом. Ну что же Лена не выкупит его. Давайте вместе”. Немного про Нину уже написала. Завезли коз, превратились в пастухов. И таких, как они, у нас много. Почти вся улица. Грибов не было совсем, но был урожай на желуди. Я по целому ведру набирала и таскала Нине для животных. Особенно много их было по склону от родника. Там очень большие дубы. Про Исаевых уже писала старших. Часзавод стоит. Нет запчастей. Люди бедствуют. Вовка бросил завод, работает на железной дороге. Славка на машиностроительном заводе работал, филиал ЗИЛа. Всех распустили с пособием в 30 тысяч рублей. Ну, его сторожем как инвалида поставили с окладом сто тысяч. Ну, он же такой деловой, какую только работу не умеет делать. Ну, и выпить молодец.

Что с нами, с нашей страной сделали? И эти вопросы всюду слышишь. В оездке, в очереди, даже в бане. Несмотря на большую цену за билет, я все равно хожу. Так вот в парной женщины заведут разговор о наболевшем. И начинаются разборки. Другие кричат, перестаньте, хоть здесь не говорите о проблемах, давайте отдыхать. Забудем на время все. Вот так! В Сердобске я тоже в баню хожу. Вернее, езжу на такси. Там и баня, и такси дешевле.

Это для меня праздник.

Боря, я прочитала твою книгу «Сто оборванных дней» за два дня. Сделала на свой взгляд свои выводы. Не все, но многое поняла, кажется. Поняла, почему вы сейчас там живете. Сейчас Лида, сестра моя, читает».

...У следующего из писем Жени, которые я получил, особая судьба. Но я расскажу о ней не раньше, чем познакомлю читателя с самим этим документом, который помечен двадцатым декабря 1998 года. Начала, как всегда: «Здравствуйте, дорогие мои Валюша и Боря. Наконец-то я собралась написать вам письмо».

И тут же к сути:

«В Сердобске меня очень ждали. Особенно Нина. Жара стояла ужасная. На крыльцо нельзя было выйти. Под 50 градусов. Нина утром выводила свое стадо коз, а их четырнадцать штук, в ближний лес. Возвращалась домой в одиннад-

цать часов. А я в это время крутилась как белка. Пищеблок. К ее приходу обед был готов. Все на столе.

Потом мы с ней уходили на Мысы. Там огород. Надо было успеть полить до прихода дачников. Все берут воду из нашего родника, и мало ее становится. Наш дом стоит, сад весь зарос. Озеро высохло. Речку не прудят. В лесу — как кладбище из упавших и спиленных дубов. Сейчас кому не лень вырубают деревья. Кому — орешник на загородку, кому — осины на жерди, а кому — дубы для постройки.

Как мы раньше боялись лесника. Это была власть! А теперь что он есть, что его нет.

Боря, я ходила в Заречку нашим Набережным переулком. Как-то вечером подошла к мамы Раи дому, заглянула в щелку во двор. И так мне стало грустно. Залилась я слезами, обняла столб у ворот и вспомнила всех и все. Домик совсем низенький стал. Я, по-моему, писала тебе: его купила Павлика Закалябина теща, а сама живет в деревне.

Так, прохожу дальше. Дом Самошиных прилично выглядит. Все умерли, осталась Настя хромая. Дальше дом дяди Бори Фирсова с Мысов, с которым ты в войну рыбу ловил сетями да ботом. Не жилой. Они в город переехали, дом в переулке построили и умерли с тетей Маней.

Вышла на Набережную и посмотрела на мельницу. Уже не слышно ее шума, как раньше было. Ни суеты, ни людей. Вижу проваленную крышу на мельнице — и опять нахлынули воспоминания. Вот зима, мы бежим в школу, а дедонька навстречу нам идет с дежурства на мельнице. Шуба нараспашку. Шапка и вилочки в руках от волков. Румяный, красивый, кудри развеваются.

Вижу, за мельницей вырос особняк. Большой участок огорожен. Люди поразному живут: кому-то хлеба не на что купить, им еще за август пенсию не заплатили, а кто-то особняки кирпичные строит. Поспели помидоры, огурцы, и мы с Ниной все это таскали с Мысов в рюкзаках. Уставали ужасно. Я ей сказала: “Брось ты это, такие больные ноги. Так тяжело поливать. Тебе хватит твоего огорода возле дома, или посади картошку, чтобы не поливать”.

А тут еще это козье стадо. Она пасет до одиннадцати, а Мишка с двух до семи вечера. Оба больны. У Нины ноги и камни в желчном пузыре. А Мишка без сердечных шагу не сделает. Сколько он этого нитроглицерина глотает. Сам себе уколы делает. Им бы бросить это стадо. А чем жить? Осенью они резали коз, на лето тушенку Нина делала. Летом ведь не режут коз, и молоко свое. Но я отвыкла дома от козьего молока. И здесь не пью.

А тут Вася прислал письмо из-под Инзы. Закрывают там его стационар — один на восемь деревень. «Скорую помощь» еще раньше закрыли. Я не представляю, как они дальше будут жить. Зарплату за март только получил. У них в Ульяновске голодовку учителя устраивали и умер учитель. Одна учительница на уроке умерла. К чему мы придем? Мы в Москве живем, а пенсию только за октябрь получили. А сейчас уже декабрь.

Поминали Клавдю и тетю Настю (Нинина свекровь. — *Б.П.*). Я Ленину среднюю дочку, Алену, в музыкальную школу водила, рядом с домом Алексея (муж, теперь уже вдовец, Клавди. Бывший председатель профкома Сердобского часзавода. — *Б.П.*) Каждый раз к нему заходила. У него плохо с сердцем, и плачет по Клавде.

Стирает, готовит сам. Я ходила в баню, зашла на базар. Прохожу и вижу — Алексей стоит и продает Клавдины валенки и калоши к ним: “Может, хоть

на мешок муки продам". Он сам печет хлеб. Не на что покупать. Вот такие дела.

В октябре был митинг в Сердобске с оркестром и красными знаменами. Я по-ихнему телевидению смотрела.

Осенью я не могла уехать домой. Заводы стоят. Машины в Москву не ходят. Как говорится, лето красное прошло. Наступил конец октября, начались молнии и грозы, ураганные ветры. Сидим без свету, порваны провода, нашли свечку. Хотели лампу зажечь, нет керосину. Ну негде его взять, и все.

Через два дня выпал снег. Все покрылось белым. Козы Дома. Завалило по самые окна, пробивали дорожки.

А душа моя на части разрывается. Зима, а я все не могу уехать. Наконец-то Владик, муж Лены, договорился. Три машины едут в Москву на ЗИЛ. Заехали за мной. Мороз 30 градусов. Едем. Доехали до бензоколонки, и стали машины по очереди вставать. Заправки частные. Всех заправили летней соляркой, а она застывает. Нальют в ведро, мотор разогреют, едем дальше.

А кругом холодная белая степь, вдали лес, и все — замерзай, ямщик. Я молитвы по десятку раз шептала. Господи, Царица небесная, матушка, не дай нам в пути замерзнуть. Помоги доехать до заправки, купить бензин и разбавить эту несчастную солярку.

Хорошо, что у нас три машины шли, помогли друг другу. Доехали, разбавили и дотянули до Москвы. Через несколько дней я свалилась. Не помню, когда была такая температура. Ну, Бог миловал, поправилась. Только рождение свое отложила до именин, в сочельник.

У меня не работал телефон, давно говорили, что в Москву придется звонить через восьмерку, то есть будет как международный разговор. Так, наверное, и сделали. Отнимают все. Я тут написала в Сердобск письмо — и мне оно вернулось. Оказывается, по весу больше — доплачивала. Посылку послать уже и речи нет — очень дорого. Валя, когда болела, заваривала твой чай. Там малина была. Чай такой красивый, красный, ароматный. Может, он мне тоже помог? Каждый день тебя благодарила».

...Это письмо, написанное 20 декабря 1998 года, я получил в Стокгольме уже в следующем году, 15 января. В три часа тридцать минут пополудни, как указано в штемпеле шведской почты. Пока письмо шло, я успел побывать в Москве, поприсутствовать, как это теперь называют, на презентации своей книги «Четыре Я Константина Симонова», повидаться со всеми родными, в том числе и с Женей Маленькой, которой подарил, естественно, экземпляр романа, и не один, ввиду предстоявшей ей следующей поездки в Сердобск.

Настроения сына и его жены, журналистки, как и он, сильно отличалось от того, что я услышал, а по возвращении в Стокгольм и прочитал в Женином письме. На их взгляд, дела в стране, по крайней мере, в Москве, шли нормально, во всяком случае, лучше, чем это можно себе представить из шведской столицы.

В качестве своего аргумента я послал им факсом ксерокопию этого Женино-го письма. И через день услышал по телефону от снохи, что она договорилась с редактором «Московских новостей» о публикации письма в газете. Так оно и появилось там под заголовком «Письмо тети Жени бывшему министру иностранных дел и его жене Валентине», на одной полосе с колонкой главного редактора Лошака, о «новом афганском синдроме».

У «тети Жени» получили, как положено, разрешение на публикацию письма. Согласовали с ней и некоторые сокращения, сугубо личного характера. Пос-

лали к ней фотокорреспондента. Так она впервые увидела свое имя в газете. Догадываюсь по ее следующим посланиям, что это было для нее шоком, которого она и сама не ожидала.

Я держал в руках газету — с ее письмом, которое, перелившись в газетные строки, и для меня, закаленного, звучало как-то особенно; с фотографией — чуть с калмычинкой, как у всех нас, Панкиных, лицо; большие все еще глаза — очи; пушистые, почти не тронутые сединой волосы, тоже семейная примета, — и вспоминал себя — чуть ли не пятьдесят лет назад, у стенда с номером многотиражки «Московский университет», где впервые увидел исполненную типографским шрифтом свою фамилию. Так же, наверное, как у меня тогда, потемнело у Жени в глазах и закружилась голова.

Впрочем, ее дебют был куда значительнее, чем мой. Смешно признаваться, но в тот день, когда я смотрел в Стокгольме на эту страницу «Московских новостей» с портретами шеф-редактора Виктора Лошака и моей сестры Евгении Панкиной, мне почудилось, что с этой публикации чуть ли не начнется новая эра в нашей журналистике, если не в жизни. После многих лет утомительного и нудного перемывания косточек политикам всех мастей и масштабов, от президента или генсека до какого-нибудь министра по делам культуры заштатного субъекта Федерации, уважаемая газета вдруг заговорила человеческим голосом, которым и рассказала простодушно и без приказа о том, как живет сегодня русский человек в российской глубинке.

Надо ли говорить, как я ошибался? Если где этот номер и наделал переполоху, то только в Сердобске.

Меж тем газета сопроводила иллюстрацию коротким сообщением: «Наш корреспондент сфотографировал Евгению Васильевну Панкину у нее дома, а на следующий день она опять уехала в Сердобск». Ее отчет о новой поездке не заставил себя ждать. Дело было в феврале. Рассказав о том, как, по существу, с теми же мытарствами, что и прошлый раз в Москву, добиралась сквозь пургу и морозы из Ртищева в Сердобск. Женя снова заступила на трудовую вахту, на этот раз в семье Нининой дочери Лены, чей муж, Владик, начинающий бизнесмен, единственный в этом роде в нашем клане, и довез ее до цели. Вместо полутора часов ехали все пять.

«Мать Владика из Саратова приехала с детьми сидеть. Как же она обрадовалась, когда увидела сына живым и невредимым. Слезы градом у нее катились. Он у нее один-единственный. Она уехала. Для меня начались будни, утром в семь часов поднимаю трех девочек. Три головы причесываю. Так жалко будить. Маленькая — Женя — с удовольствием бежит в садик. Два года и три месяца. А средняя Алена только и спрашивает, во сколько я ее заберу. Три дня в неделю я ее возила в музыкальную школу. Красивый партийный особняк. А теперь там дети занимаются. Он рядом с Алексеевым домом. Готовила обеды, а в промежутках бегала к Нине чистить снег. Дома в переулке не видны. Горы снега и узкие тропки к колонке с водой. Такого я еще не видела. Все боятся паводка. Как бы Заречку не снесло.

Я уже писала, как живет Нина. В большой комнате стоит телевизор с пультом, а на кухне в четыре квадратных метра, в ящике — десять козлят. Три раза в день надо каждого взять на руки и попоить по стакану молока. Итого — тридцать стаканов. В сарай их нельзя. Они маленькие. Нина говорит: я привыкла».

«Я привыкла», — выросшая и проведшая всю свою жизнь в Сердобске и его окрестностях, Нина не склонна давать волю словам, даже в разговорах с любимой сестрой.

И только в письмах, одно из них Женя мне переслала, позволяет себе толику эмоций: «Вышла я на двор, слышу — козленок пищит. Это самая маленькая объягнилась. Дочку черную принесла, потом Ушанка — двух козлов. Пташка — тоже двух козлов. Осталось три. Дежурили ночами. Ну, все совершилось — по два принесли. Каждая — мальчика и девочку. Их теперь у нас одиннадцать штук. Пять штук уже большенькие. На кухне от них кишит».

Женя: «И снова вспомнила я далекие годы. Когда мы жили в лесу, помнишь, у нас в пустых пчелиных уликах жили козлята. Бывало, выпустишь, а они прыгают до потолка».

Не обошлось, конечно, и в этом письме без общей нашей любви и слабости — Кипучего родника.

«Выбралась один раз к роднику. Плутала долго, но нашла дорожку. Горы и горы снега. Набрала нашим литров пятнадцать воды. И себе в Москву бутылку запасла».

И наконец, вот оно, я все ждал, как она к этой теме подойдет.

«Боря, я все-таки ругаю тебя. Ну, зачем ты мое письмо послал».

Ясное дело, этот упрек меня нимало не тронул. Наоборот, я почувствовал, что это просто подступ к новой материи, о которой ей хочется сказать, а мне, честно говоря, послушать. Или, как в данном случае, прочитать.

«Ты не представляешь, что я пережила. Владик понес мою газету в администрацию города. А там ему сказали: «Нам тоже прислали. Интересно, кто ее переслал?»

Приходили мои приятельницы. Соскучились. А когда увидели газету, у них чуть глаза из орбит не вылезли. “Да что же ты нам не сказала, а теперь не купишь”. Все хотят иметь свой экземпляр. Может, можно в газете попросить?»

Если я получу гонорар, обязательно пошлю его Васе, в Инзу. 16 января ночью заболело у него сердце. Отвезли в район. Положили в реанимацию — инфаркт. Пролежал в реанимации четыре дня и сорок дней в больнице. Он, видать, расстроился оттого, что закрыли больницу. В горячке, по первости-то ничего, а потом и прихватило. Мне не миновать на посевную к ним ехать. Васе нельзя ничего делать, а огород надо вспахать и посадить.

Вот так. Я в своей квартире живу как гость».

Были в том письме и строки, касающиеся моей книги о Константине Симонове. Комплименты я опускаю, а замечания еще раз заставили подумать, как тесен мир.

«Фамилия Жадова — Жидов. (Это о генерале армии — тесте Симонова.) Сталин очень плохо к нему относился, всегда с издевкой. Тогда сослуживцы посоветовали ему заменить в фамилии букву. Ты ведь знаком, наверное, был через Алексея с директором часзавода Бесовым? У него была секретарь — Сорокина Женя. Она во время войны была медсестрой у Жадова. Миша все это от нее слышал. В Сердобске она была в почете. Наград много, читала лекции. Жила она с мужем на Нининой улице. К сожалению, ушли оба в мир иной, а то можно было бы что-то еще узнать».

Следующее ее письмо тоже поневоле было навеяно последними событиями моей жизни. Отнюдь не радостными — операция на сердце. Читая его, я подумал невольно, что, кажется, эта операция моим московским родственникам и сердобчанам далась тяжелее, чем мне:

«Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством. Тебе, Боря, желаем скорейшего выздоровления. А тебе, Валя, душевного покоя и терпения. Сколько пришлось всего пережить.

Я ездила в Мытищи, подавала записку о твоем здравии. Тося в нашем сердобском соборе закажет молебен о твоем здравии. Помоги вам Господи пережить все это, мы всегда с вами.

Была я у тети Нины. Отмечали ее день рождения, 89 лет. Выпили за твое выздоровление. Ну а разговоры одни и те же — политика.

У нас прошли выборы. Предстояло выбрать губернатора по Подмосковью. Столько всего грязного в прессе писалось и по телевидению. Теперь осталось два кандидата — Громов и Селезнев. Ни тот, ни другой нас не устраивают. Ну, да Бог с ними. В Сердобске заводы по-прежнему стоят. С часзавода многие перешли в водоканал на работу. Зарплату редко платят, выдают «сухим пайком». Мешок муки или батон колбасы. Или масло. Все это было бы неплохо, но эти продукты идут с большой наценкой. На рынке или в магазине можно дешевле купить, если бы деньги.

Заставляют людей эти продукты брать от безденежья. Вот беда в чем. Приезжал Илюхин, депутат от Сердобска. Кулаками тряс: я говорил и т.д. Так, видно, хочется ему задержаться наверху.

Вот интересно, пенсии хоть вовремя стали платить, и прибавляют по пятьдесят рублей. А цены каждый день повышают.

Молодые без работы. Чем-то и как-то промышляют. Пенсионеры живут выращенным урожаем и рады, что им платят теперь пенсии. Бардак этот, наверное, никогда не кончится.

Я когда возвращалась из Сердобска, у меня был большой груз. Я везла мясо с трех козлов, Люде — сестре и себе. А еще, помимо этого, и сало, и рыбу копченую, да баночки всякие — грибы, соленые помидоры. Хотя все равно, как бабынька, их солить никто сейчас не умеет. В Сердобске приходил ко мне журналист, все выспрашивал о тебе. Подарил две статьи об истории сердобских сел... Сердобску было триста лет».

Сердобск, Сердобск, Сердобск... Читая Женины письма, я каждый раз думаю, что как только увижу, обязательно спрошу ее да и себя, что же, черт возьми, влечет человека туда, где ничего, кроме мук и лишений, если здраво посмотреть, он и не видел и вряд ли увидит.

А как встретимся, куда-то испаряются все эти вопросы, я жадно начинаю расспрашивать ее, как там, в Сердобске, словно сто лет не читал и не слышал об этом, а она начинает рассказывать так, словно никогда и не бралась за перо, чтобы написать мне, и то самое, что отвращает сегодня, кажется таким милым и драгоценным в нашем общем прошлом.

Вот и очередное ее письмо. Июнь двухтысячного года. Я только что из Москвы, с юбилея — 75 лет «Комсомольской правды». А она к тому времени уже снова была в Сердобске. И вот пишет мне оттуда в Стокгольм.

«...У меня сейчас пауза. Идут который день дожди. Поэтому на Мысы идти нельзя. Можно написать письмо.

Приехала из Москвы 16 мая. Погода не радовала. Было очень холодно и дождливо. Все переживали: нельзя было сажать картошку, а это — второй хлеб.

Плохо, хорошо, посадили. Теперь переживаем, не сгниет ли все посаженное в земле. Не один год была здесь засуха. В лесу не было совсем травы. А теперь море травы и много змей. Я уже одну убила медянку. И гадюку. Надо. А то в траве можно наступить...»

И далее: «Кажется, недавно бегали мы в школу из леса, и по дороге я учила стихотворение о Вещем Олеге... Прошла опять по всем своим заветным местам.

Постояла со слезами на глазах у нашего плетня. Воспоминания из той давней жизни нахлынули. Многое нам баба рассказывала, а ты еще совсем маленький был. Это были годы раскулачивания. Ну, дедонька наш отбывал срок в Сибири. Бабуля была с нами, маленькими, в лесу. Я да Нина, когда приезжала власть гулять, а они понимали прелести Мысов, бабу с нами выгоняли из дома и в нашем доме устраивали оргии. Баба нас прятала от холодного ветра и дрожала сама. В этом участвовала и тетя Лена.

Еще одно вспомнила. Умерла наша мама, и баба, уезжая за нами в Среднюю Азию, оставила дедоньке два килограмма пшена, чтобы он варил себе жиденькую кашу. Это были голодные 31-й и 32-й годы.

А когда она привезла нас в Сердобск, он ей с потолка достал это пшено. "Мать, — говорит, — я ведь его не тронул. Подвесил на чердак, чтобы мыши не съели. Ты его вари девочкам". Наступила весна. В нашем Набережном переулке, у мамы Раи, с голоду умерло несколько человек. Дедонька примется землю под огороды копать и упадет. Потом начали ловить рыбу. Баба пойдет продаст и купит из-под полы хлеб. А мы ее ждем и спрашиваем: "Баба, а это чистый хлеб? Значит — без травы?"

А она не знает, кому этот хлеб давать. Нам или дедоньке. Вот так жили, и как можно это все забыть. И не дай Бог, если еще наступит такое время.

Питаемся скромно. Лапша, крупы. Картошка варится редко. Надо дотянуть до новой. На базаре ведро в 8 килограмм — 50 рублей. У Миши погибли все пчелы. Осталось две семьи. Для него это трагедия. Такой труд, и вот что случилось. Ну, купим на базаре».

...Нередко вместе со своим письмом Женя вкладывает еще какой-нибудь документ. То при передаче мне письма принесет ей свою книгу о Сердобске местный журналист, то директор музея попросит переслать мне его запрос, мол, нам известно, что вы родились в Сердобске, но хотелось бы узнать об этом поподробнее: о родителях, о детских годах, о связях с Пензенской землей. А то просто перешлет что-то, не без смысла, разумеется, из собственной переписки с многочисленными нашими родственниками, рассеянными теперь не по одной только Пензенской области.

Обнаружил недавно в конверте письмо, которое Женя получила от супруги ее племянника Васи, того, что обосновался в Ульяновской области. Инзенский район, село Валгуссы. Захотелось, наверное, подкрепить свои горестные заметы еще одним свидетельством.

«На Новый год нас приглашали друзья в Инзу. Мы сначала не хотели, но они настояли. У меня перед праздником было 500 рублей. Думала купить рубашку Васе и себе что-нибудь. Так хотелось в новом встретить Новый год. Я на рынке не была с лета. Приехала — и глаза на лоб полезли. Купили Васе рубашку за 350 рублей и ребятишкам немного конфет и фруктов. А я перешила Олино платье, она давала мне, когда я была беременна, и в нем поехала, что же делать. Посидели хорошо. Домой приехали в семь утра.

...Я снова начала печь хлеб. Сидим второй месяц без денег. Вася все время на таблетках. Резали двух кролей. Ели. Все экономия. Весной надо брать поросят. Не знаю, в какую цену они будут. Но без них никак нельзя. С кормами только что делать будем. Один центнер стоит 180 рублей. А это только два мешка.

Стали с Васей считать, сколько мне надо денег, чтобы одеться и выйти на работу. Туфлей нет. Одежда вся потрепанная. Вася говорит: «За твои четыреста рублей, что ты будешь получать, лучше сиди дома».

...Вот прислала Женя недавно, старательно переписав из газеты, стихотворение сердобского поэта Бабина о Песочной дороге, которую она упоминает в письмах так же часто, как Кипучий родник. Песочная — дорога нашего общего с ней детства, которая желтой лентой струится сквозь леса, окружающие наши Мысы:

Вдоль реки Сердобы она вьется.
На пригорке идет по песку,
То пряма, то, как прутик, согнется
В высоченном дубовом лесу.
То повиснет над желтым обрывом,
То нырнет в крутобокий овраг,
То разрежет кустарника гриву,
То окружит поляну в цветах.
Я не раз о ней слышал легенды
От отца у костра по ночам,
Как гудело в глубинах подземных,
Выли волки, как филин кричал.
Говорили, что в темных пещерах
Тайно жил справедливый народ,
С бедным встретится —
Делится щедро,
У богатого — все отберет.

Как жаль, что я не поэт. А то бы обязательно написал стихотворение о Кипучем роднике. И уж конечно, сравнил бы его со своей двоюродной сестрой Женей. Такие оба неугомонные, неутомимые, щедрые, бескорыстные... Нет, не хватает эпитетов. Людям без них никак нельзя.

Остается добавить, что родник шумит и кипит как прежде, а Жени уже нет. Умерла от рака желудка. Мы виделись с ней в Москве за два месяца до смерти. Она собиралась в дорогу — в Сердобск. Знала и повторяла, без надрыва, что едет умирать. И когда прошлым летом я приехал-таки в Сердобск, встретился с ней уже на кладбище — фотография на обелиске, таком же, как те, что давно стоят на могилах многих, увы, из тех, о ком она писала в своих письмах.

«Свободы сеятель...»

Буковский — вначале эта фамилия ассоциировалась у меня с именем Константин. В 60-е годы был такой очеркист, автор «Литературки», Константин Буковский. Может быть, и не столь популярен, как Валентин Овечкин или Владимир Тендряков, но был он из их ряда. Писал о селе, о тяжких колхозных проблемах, об издевательстве над природой. И помнится, один из его очерков был даже предметом обсуждения на заседании Президиума ЦК КПСС и, если верить молве, стал еще одним «яблоком раздора» между Хрущевым и членами будущей антипартийной группы во главе с Молотовым, которые усмотрели в очерке клевету на нашу славную советскую действительность.

Я не был с ним лично знаком, должно быть, в силу разницы в возрасте, но испытывал заочную симпатию, потому, наверное, что и сам, как мог, писал о деревне.

И позднее, когда приходилось слышать об антисоветчике — слова «диссидент» мы тогда еще не знали — Владимире Буковском, я почему-то всегда напоминал себе, что он сын Константина Буковского.

Порой казалось, что все антисоветское движение состоит из «детей», то есть потомков бывших больших партийных и государственных деятелей, репрессированных при Сталине, — Якир, Литвинов... Это еще можно было понять. Но почему Буковский?

Потом узнал, что Буковского обменяли на лидера чилийских коммунистов, или, как гласила тут же родившаяся припевка, «обменяли хулигана на Луиса Корвалана».

Даже людям, далеким от диссидентских кругов, ясно было, что хулиганом безымянный автор назвал Буковского не в укор ему, а в пику казенной пропаганде и властям, которые стремились всех инакомыслящих изображать либо психами, либо правонарушителями, а то и уголовниками. И не только стремились, не только изображали, как известно, но и вели себя соответственно.

Я все больше узнавал об этом из диссидентской литературы, которая все чаще попадала мне в руки. И потому, что распространялась все более интенсивно, и потому, что интерес мой к ней неумолимо возрастал.

И вот наступила весна 1990 года. Я — в Праге. В одном из ее дворцов идет учредительная конференция так называемой Хельсинкской гражданской ассамблеи — попытка объединить в одном движении разрозненные группы диссидентов и эмигрантов из Советского Союза и других стран уже дышащего на ладан советского блока.

Послов на Ассамблею не приглашали, но дипломатам рангом пониже послушать прения не возбранялось. В желающих недостатка не было. Побывав на заседаниях, каждый из сотрудников спешил доложить об услышанном лично послу.

Те немногие, кто поддерживал перемены в наших отношениях с Чехословакией, рассказывали, как много хороших слов звучит с трибуны в адрес Горбачева, перестройки, реформ. Получалось, что собравшиеся, ярые диссиденты, бывшие зэки или подпольщики, даже немного смущены — не успеешь о чем-то помечтать, а оно уже осуществилось. Узники совести выпущены на волю, Берлинская стена рухнула, пресса пишет все, что ей заблагорассудится... Так что поневоле задумаешься, не исчерпало ли себя уже движение инакомыслия и инакодействия. Не бросить ли все силы на поддержку Горбачева и новых лидеров в других странах Восточной Европы.

Для ястребов, а они составляли большинство старшего дипсостава, формировавшегося в условиях оккупации Чехословакии Варшавским пактом, подарком был Буковский. С каждым днем, по их словам, его речи становились все яростнее, а требования все радикальнее — компартии должны быть распущены и объявлены вне закона, члены партии, все без изъятия, подвергнуты чему-то сравнимому лишь с нацификацией в Германии после падения фашистского режима в результате Второй мировой войны... И — всеобщее покаяние. Демонтаж тоталитарной системы и сам должен быть тотальным, а ни в коем случае не косметическим. Иначе — не очиститься.

Во взглядах, которые докладчики кидали на меня, легко прочитывалось злорадство: вот, мол, за что боролся, на то и напоролся.

Потом снова приходили либералы и говорили, что слова и призывы Буковского, который и по их мнению задавал тон на конгрессе, не надо воспринимать буквально. А чего другого можно ждать от человека, который одиннадцать лет провел в ГУЛАГе и психушках? Где, как не здесь и не сейчас, ему выговориться, выпустить пар? Именно так относятся к его эскападам и его коллеги, настроенные на конструктивное сотрудничество с прорабами перестройки из СССР и других демократизирующихся стран.

И вот Лондон. 1992 год. Я знаю, что Буковский живет в Кембридже. В моих планах — с ним встретиться, но я не знаю, как к этому лучше подступиться.

С посольством, при моем предшественнике Замятине, он никаких контактов не поддерживал. Вряд ли горит желанием встретиться с его преемником.

И вдруг — шифровка из Москвы. Президент Ельцин своим специальным указом даровал Владимиру Константиновичу Буковскому российское гражданство и поручает послу России выписать и вручить ему паспорт гражданина России.

Сон в руку. Скептики, а их и тут немало, особенно в консульском департаменте, еще бормочут что-то о том, что, мол, президент, строго говоря, не имел права такой указ принимать, поскольку он является нарушением российского, заимствованного еще у СССР законодательства, в соответствии с которым двойное гражданство запрещено, а ожидать, что от британского Буковский откажется, не приходится.

Скептики еще дудят свое, рекомендуют поручить все это консулу, а я уже набираю телефон Буковского в Кембридже — не тот это случай, чтобы поручать секретарю.

У него отвечает автоответчик, и я, отчасти довольный этим, наговариваю ему на пленку, представившись, приглашение в посольство по такому-то поводу в сроки, которые будут удобны нам обоим, например...

На следующий день секретарь говорит мне, что Буковский «отзвонил» и готов приехать в один из тех дней, которые ему были предложены. По стечению обстоятельств, которое я до сих пор благословляю, у меня до этого побывал

английский друг Буковского, лорд Никлас Бетелл, член верхней палаты британского парламента. Познакомились мы с ним в день первого визита Ельцина в Лондон в январе 1992 года. До этого пришла шифровка из Москвы: президент хотел бы встретиться с лордом Бетеллом, который активно выступил против путча, и поблагодарить его за поддержку. Включите в программу.

Ельцин прибывает в Лондон всего на несколько часов. В программе помимо премьера и спикера парламента — завтрак от имени Королевы... Все давно уже расписано не то что по минутам, по секундам... Но поручение есть поручение, тем более так человек охарактеризован.

Старожилы-советники говорят: Замятин имени его не хотел слышать. Тем более!

Разыскиваем Бетелла и договариваемся, что он приедет в Хитроу перед отлетом президентского лайнера. Ельцину я об этом сообщаю в посольстве, куда после всех официальных встреч завернули выпить по паре рюмок водки.

— Первый раз я в стенах посольства независимой России, — благодушествует он после первой. — Независимой! — указательный палец вверх, пронзительный взгляд на собеседника.

— Какой еще лорд? — хмыкает он после второй, услышав о Бетелле.

— Тот, — отвечаю, — который выступил против путча в августе... Мне сообщили, что вы хотели его поблагодарить...

— Я хотел? — он недовольно оглядывается вокруг. Подскакивает шеф протокола Шевченко и тянется к его уху, что при его росте удается ему не так-то легко. Но он привык.

— Это не я хотел. Это Старовойтова... — разъясняет мне Борис Николаевич. На лице у него читается явное раздражение — только, понимаешь, хотел расслабиться...

— Я получил это как указание, — развожу я руками, и Ельцин больше не возражает.

Предусмотрительный Шевченко заворачивает посольского официанта с подносом.

В аэропорту, когда мы махали вслед удаляющемуся президентскому «Илу», я пригласил Бетелла на ланч. Он охотно согласился. И с тех пор стал нашим частным гостем.

Он занес мне верстку своей книги «Шпионы и другие секреты». Подобно той поговорке о Буковском — хулигане, заглавие носило иронический характер. Среди «шпионов», фигурирующих в этой книге, был и ее автор, такой же шпион, как Буковский — хулиган. Но об этом позже.

Скажу пока лишь, что над этой книгой я просидел ночь, предшествующую нашей встрече с Буковским. Это была пропущенная через судьбу и личность автора история движения сопротивления семидесятых—восьмидесятых годов в нашей стране. Горестные и героические его страницы. Сахаров, Солженицын, Ирина Ратушинская, Александр Гинзбург, Глеб Якунин, Юрий Орлов, Сергей Григорянц...

Та, что связана с Буковским, — едва ли не самая индивидуальная из них. В середине декабря 1976 года Никласу позвонили от «Эмнести Интернэшнл» и сообщили об обмене Буковского на Корвалана. И в начале января он уже встретился с ним. Буковский был похож на привидение. Многодневная щетина, провалившиеся и словно приклеенные к скулам и нижней челюсти щеки, серовато-голубой цвет лица...

Я сопоставлял написанное о нем с тем, что читал и слышал раньше. Стыдясь своей, не по возрасту, непосредственности, примерял его хождения по мукам, которые были таковыми в самом буквальном смысле этого выражения, к себе. Падал в собственных глазах в пропасть и карабкался из нее наверх, чтобы снова упасть... И сколько еще раз потом мое чувство собственного достоинства и уважения к себе разбивалось, как морская волна о скалы, о судьбу и личность этого человека. И кажется, этот спор с самим собой прекратится только вместе со мной... Но не он ли и придает мне силы писать эту книгу?

...Начиналось все как будто со случайного и мало примечательного эпизода. В десятом классе, это было уже в 1959 году, три года спустя после XX съезда, Буковский предпринял издание сатирического машинописного журнала, который по его тогдашнему ощущению не имел никакого отношения к политике. Так, литературные пародии на каких-нибудь Софронова или Кочетова, фельетоны и дружеские шаржи на учителей и одноклассников. И се это — в одном экземпляре. Тем не менее в школе немедленно высадился десант чиновников из Министерства просвещения и райкома партии. Шутки истолковали в политическом смысле, все начинание окрестили подрывным. Директора школы сняли с работы, а Буковского исключили из школы. И порекомендовали пройти перевоспитание в рабочем коллективе. Отцу по месту его работы объявили партийный выговор за плохое воспитание сына.

Бог мой, не сами ли власти вызывали огонь на себя, не они ли ковали ту сталь, которая в конце концов по их же головам и прошлась? Судьбы Господни неисповедимы. Я не мог не вспомнить, что нечто подобное могло приключиться и со мной. Только десятью годами раньше, еще при Сталине. Но не приключилось — к счастью или увы?

В школе, где я заканчивал десятилетку, ребята из параллельного класса создали... тайное общество. Да-да, тайное общество, которое называлось ОЮЛНИЛ — Общество юных любителей науки и литературы. Помню даже имя инициатора этой затеи — Леню Боголюбова, который слыл вундеркиндом и закончил школу с золотой медалью. Я не был среди основателей, но был польщен приглашением вступить.

Тайным это общество считалось потому, что собственного желания стать его членом было недостаточно. С целью, как потом рассказывал мне Боголюбов, оградить общество от тупиц и зубрил была разработана хитроумная система экзаменовки, ритуалов, вступительных работ, которые я все счастливо одолел.

Нормальному человеку сразу становилось ясно, что все это навеяно Гайдаром. А может, Львом Кассилем или Фраерманом. Ненормальные, типа тех, что расправились с Буковским, вполне могли, что я осознал много позднее, квалифицировать эту затею как заговор, противопоставление комсомолу. В нашей школе ничего этого не произошло. Общество благополучно просуществовало несколько месяцев и своевременно скончалось своей смертью вместе с окончанием нами школы. Я поступил на филфак МГУ, Боголюбов — на исторический, где скоро снова прослыл звездой.

В университете я еще до университетской многотиражки стал трудиться в факультетской стенной газете «Комсомолия», где выступал с длиннющими литературными шаржами на наших профессоров, в том числе и тех, кто преподавал «теорию и практику большевистской печати». Я, в частности, с удовольствием сделал достоянием гласности историю о том, как заведующий отделением журналистики пришел на экзамены по этой самой «теории» и студентам

третьего курса предложил, видимо, спьяну, — он любил приглашать студентов в пивную, где показывал им, как хлебать водку с кусками чернушки из пол-литровой кружки, — билеты четвертого курса, на которые они чуть ли не поголовно ответили на «отлично». После чего возмутились и сказали, что еще год они эту «матату» слушать не будут.

К каждому свежему номеру газеты, а она была длиною метров в пятьдесят, столько, сколько позволяли коридоры старого здания МГУ на Моховой, было не протолкаться несколько дней подряд. И что же? Ничего? Если меня и трясло, то, как помнит читатель, совсем по другому поводу. Да и тут обошлось для меня счастливее, чем для моих обидчиков.

Так сами мы делаем выбор, или он предначертан нам свыше? Известно, что нет правил без исключений, и правилом всех коммунистических эпох, будь то сталинская, хрущевская, брежневская и т.д., был тотальный контроль над личностью. И возмездие личности, которая вольно или невольно покусится на этот порядок. Но не бывает правил без исключений. Иногда я думаю, а не был ли я «жертвой» этих исключений. Сколько раз со мной случалось или на моем пути встречалось то же, что и с другими, но карающая длань либо не замечала меня, либо промахивалась, либо останавливалась в последнюю минуту...

Вообще, как я с недоумением вспоминаю, контроль и слежка, существования которых я тогда даже и не подозревал, отнюдь не были такими всепроникающими. Или мне так везло? Преподаватель по «технике редактирования», например, отставной метранпаж «Известий», прочитал нам целую лекцию о «характерных» ошибках, опискаx и опечатках, встречающихся на страницах газет. Среди других, звучащих вполне безобидно, он привел случай из собственной практики, когда «Известия» чуть было не вышли с шапкой «Приказ Верховного главнокомандующего», где в слове «главнокомандующего» была пропущена... — тут он конфузливо, как сейчас это помню, хихикнул, — была пропущена буква «л». Ошибку нашел «свежая голова» уже в сигнальном номере.

Дело было в 1951-м или 1952 году... Мы тоже похихикали. И только несколько лет спустя, задним, как говорится, числом, я испугался — и за нашего лектора, и за нас, его хихикающих слушателей, которых всех, по идее, должны бы были замести...

Должны были, но не замели. Пронесло. А вот Буковскому не повезло — или по некоей высшей мерке повезло, — что он уже в ранней юности получил от советской власти и родной коммунистической партии, членом которой был и его отец, такой урок, какого позабыть не может и до сих пор.

Так был ли путь, выбранный Буковским, случайностью или закономерностью?

Наверняка — последнее. В отличие от многих, кто, как и я, грешил ересью и до поры до времени и не догадывался об этом, он уже тогда сказал себе, как написал лорд Бетелл с его слов, что будет сознательно бороться с системой и не позволит себе в этой борьбе ни одного компромисса.

И это, отметил про себя автор книги, было необычным даже для выдающихся диссидентов. И в этой связи напомнил о том, что и я годом позже упомянул, выступая перед слушателями Манчестерской высшей школы экономики: Андрей Сахаров оставался лояльным советским ученым вплоть до 1968 года, и Солженицын свою литературную карьеру начал, хоть и после отсидки в ГУЛАГе, но в легально издаваемом «Новом мире», редактор которого к тому же в ту пору пользовался поддержкой главы государства и партии — Хрущева. И пер-

вую восторженную рецензию на «Ивана Денисовича», принадлежащую перу нелюбимого Солженицыным Константина Симонова, напечатали «Известия», редактируемые зятем Хрущева. И до Ленинской премии ему при тайном голосовании не хватило всего нескольких голосов. И опередил его весьма уважаемый человек, любимец миллионов советских и российских читателей нескольких поколений, спецкор «Комсомолки» Вася Песков.

В жизни Буковского, который и Сахарову, и Солженицыну в сыновья годится, никаких таких «промашек» не было. И не могло быть. Его, с его целеустремленностью, если уж сравнивать, то скорее с ненавистным ему, наверное, Лениным, вернее Володей Ульяновым, который выбрал свой путь после казни за попытку покушения на царя его старшего брата Александра, тоже, кстати, не знавшего компромиссов и заплатившего за это жизнью. Политические устремления прямо противоположные, а натура та же? И эта мысль приходила мне в голову тогда, перед первой встречей с Владимиром Буковским.

— Я был агрессором, если уж хотите знать, — говорил Буковский.

Быть может, именно это его качество помогло ему преодолеть первые запреты и вопреки рекомендациям попасть из школы не в «здоровый рабочий коллектив», а пробиться в тот же Московский университет, на биологический факультет, откуда уже через год его тоже выдворили, но уже с более тяжелыми последствиями. Он сделал копию с одолженного ему экземпляра книги Милована Джиласа «Новый класс» и, увлекшись этой бывшей у всех нас на слуху в ту пору ересью, предложил почитать ее кое-кому из друзей. Кто-то из них, видимо, донес, и его уже как антисоветчика-рецидивиста, каковым, считалось, советский человек мог стать только по нездоровью, отправили в недоброй памяти институт Сербского, в «психушку», которые только-только начинали тогда входить «в моду». Это было уже для него даже не чистилище, а первый из кругов ада, которые ему предстояло пройти.

Дело было, не преминул заметить в своей книге Никлас Бетелл, в июне 1963 года, когда Запад «идолизировал» Никиту Хрущева за его разрешение опубликовать «Один день Ивана Денисовича». Вообще, кажется, идолизировать советских, а теперь уже и российских лидеров — что-то вроде хобби на Западе. Даже Сталин обрел своих апологетов в лице Фейхтвангера, Мартина Андерсена-Нексе, Ромена Роллана и других. Согрешил даже ненавидевший коммунизм Уинстон Черчилль.

Четырнадцать месяцев Буковский провел в одной камере, то бишь палате, с двумя действительно сумасшедшими, один из которых был маньяком, убившим своих детей. Однажды, на глазах у своих сокамерников, он отрезал себе ухо и проглотил его.

У Буковского все еще было впереди, но эти четырнадцать месяцев он и в Лондоне, в разговорах с английским лордом, называл самыми страшными в своей жизни.

Тем не менее вся его дальнейшая деятельность, да и жизнь, была уже хладнокровным и непрерывным вызовом властям.

В результате чуть ли не сразу после выхода из «психушки» он был снова арестован и заключен на восемь месяцев, отсидев которые, в январе 1967 года, стало быть, уже после падения Хрущева, организовал вечером на Пушкинской площади вместе с двумя своими товарищами «групповые действия, грубо нарушившие общественный порядок», требуя освобождения трех других единомышленников, обвиненных в подобных же акциях.

Снова суд и снова приговор, «три года лишения свободы с содержанием в исправительной колонии общего режима».

По выходе из заключения — год на свободе, если его тогдашнее положение можно назвать этим словом, и в марте 71-го года — снова арест и снова приговор, на этот раз уже на 12 лет — семь лет лагерей и пять лет ссылки.

В августе 75-го года его освобождения потребовала «Эмнести Интернашионал», к которой обратилась его мать, сообщившая, что ее сыну грозит смерть от пыток и голода: он был посажен на много недель в карцер с такой «диетой», которая неминуемо должна была привести к летальному исходу.

Все это время, рассказывал он в Лондоне лорду Бетеллу, ему предлагали покаяться, публично, разумеется, что, мол, сразу бы привело к «радикальному улучшению условий и скорому освобождению».

— Вы больше заинтересованы в моем освобождении, чем я в том, чтобы быть освобожденным, — бросал он в глаза своим мучителям.

Вот такого человека ожидал я в двухсотлетнего возраста особняке бывшего советского, а теперь российского посольства в Лондоне, на улице Кенсингтон Палас Гарден, с окнами на дворец, где еще проживала со своим мужем — наследным принцем — и двумя сыновьями принцесса Диана, с которой мы уже успели стать, решусь сказать, добрыми друзьями.

То, что он так охотно согласился прийти, — подбадривало. Но что это означает? Эпизод с Виктором Файнбергом в ратуше Праги два с небольшим года назад стучал в мою грудь, как пепел Клааса.

Пора стояла такая, что встреча могла обернуться чем угодно. И вот, с опозданием минут на двадцать, в тот самый скромный из всех представительских помещений зал, где я его ждал, в сопровождении моего помощника, встретившего гостя, как положено, у главного входа, вошел человек, меньше всего похожий на страдальца и фанатика. Твидовый серый пиджак нараспашку, мягкая рубашка с расстегнутым воротом. Невысокого роста, не то что бы полный, но широкий в кости. Брюки без стрелки и ботинки, видавшие виды. Небрежная прическа, открывающая лоб, и смеющиеся глаза.

Извинился непринужденно за опоздание — не рассчитал расписания поезда, доставившего его из Кембриджа в Лондон, — расположился с удобством в предложенном ему кресле со стершейся позолотой на спинке и ручках и вопросительно посмотрел на меня с той же улыбкой, не столько, однако, сокращавшей, сколько оберегавшей дистанцию между ее обладателем и его собеседником.

С тем же окрашенным миролюбием скепсисом он подержал в руках и полистал паспорт, который я ему протянул после обмена обычными для первых минут знакомства фразами.

— Чему бы он мог, собственно говоря, служить? — спросил он с коротким смешком, который в дальнейшем мне частенько приходилось от него слышать. — Ведь двойное гражданство в России, как и бывшем Советском Союзе, не разрешено. А отказываться от британского гражданства я не собираюсь.

Мне ничего не оставалось, как согласиться с тем, что паспорт был ему выписан, строго говоря, в нарушение законодательства, пусть и устаревшего, и его надо рассматривать просто как знак «высочайшего внимания». Словом, своего рода сувенир.

Кажется, ему понравилось, что я не стал говорить никаких торжественных фраз по поводу данного знаменательного события. Он сунул паспорт в карман, напряжение, если оно было, отпустило его, он обвел взглядом все вокруг и

лишь на мгновение задержал его на украшавшей зал стойке бара с массивной батареей бутылок на ней.

Я воспользовался этим и предложил выпить, если не по поводу паспорта, то по крайней мере в связи с нашей первой встречей.

Слегка как бы удивившись этому предложению и сказав: «Я с утра вообще-то не пью», он с удовольствием пропустил вместе со мной пару рюмок, закусил квадратными канапе с черной икрой, которую еще присылали по старой памяти из Москвы, слегка зарделся лицом и стал прощаться.

Перекинул через плечо сумку и ушел. Легкой походкой человека, довольного, по всей видимости, жизнью. Или лишь делающего вид? Я долго еще не мог разобраться в своих ощущениях, но с тех пор стал посылать ему приглашения на все приемы и мероприятия, которые проходили в посольстве. То, что обещало обернуться многолюдным сборищем, он игнорировал. На приглашения с оттенком личного откликался.

Так однажды собрались у нас за ужином Галина Сергеевна Уланова с неизменной Татьяной, которые были в Лондоне по случаю гастролей Большого, первый вице-спикер парламента, тогда еще Верховного Совета Российской Федерации Сергей Филатов, который только накануне из полученной мною шифровки узнал, что назначается главой президентской администрации.

Галина Сергеевна, обычно оживленная в нашем с женой обществе, была задумчива и погружена в себя. Я чувствовал, что встреча со вчерашним «врагом народа» многое разбередила в ней.

Филатов, наоборот, был этим свиданьем «оживлен и говорлив». В порыве откровенности он шепнул мне, что считает хорошим предзнаменованием тот факт, что его новое назначение, которое, он и этого не скрывал, его радовало, совпало со знакомством с «такими людьми». Он клятвенно пообещал, что, вернувшись в Москву, станет хлопотать о даче для Галины Сергеевны, которой абсолютно некуда было выехать летом из своей высотки на Котельнической набережной, пропитанной всеми гарями Москвы и пропахшей всеми ее запахами.

Главным же собеседником Филатова, его «добычей» был, конечно, Буковский. Он уже предвкушал, я чувствовал, как расскажет Ельцину об этой встрече и отрекомендует его еще одним протагонистом «Новой России».

В тот момент Филатов был, пожалуй, недалек от истины. Незадолго до этого я послал Буковскому свою только что вышедшую в Москве книгу «Сто оборванных дней». При встрече он сказал, что прочитал ее с удовольствием, что там все правильно о КГБ. А вот насчет развала Советского Союза у нас точки зрения, видимо, расходятся. Пафос моей книги был в том, что борьба за демократию была подменена борьбой за независимость, в результате чего вместо одного тоталитарного государства мы рискуем заполучить целый десяток, если не больше. Сигналы, подаваемые из Ашхабада, Душанбе, Баку, Ташкента, были более чем очевидны.

Для Буковского, как я понял уже из первых наших разговоров, разницы между Советским Союзом — страной — и советским режимом не существовало. Большевистский Карфаген должен быть разрушен. И коль скоро Ельцин взялся за это...

В один из пиков нараставшего противостояния президента и Верховного Совета позвонил Филатов. Посетовал, что, мол, растаяв от знакомства с Буковским, не взял его телефона, и попросил передать ему, что его хотели бы видеть в Москве. И как можно скорее. Это «хотели бы» не оставляло сомнений в том,

о ком идет речь. Чем-то, то ли тональностью, то ли аргументацией, ситуация напомнила мне ту, августовскую 91-го года, когда мне позвонил в Прагу Горбачев... Боюсь, что именно так и понял меня Буковский. Во всяком случае, на следующий день он уже звонил мне из Хитроу — попрощаться. А через неделю из Кембриджа — поздороваться.

— Вы просили меня позвонить, когда вернусь, вот я и звоню, — со свойственной ему скрупулезностью известил он меня. И на мой вопрос, как все было в Москве, с кем виделся, с кем говорил, ответил со знакомой усмешкой человека, успевшего восстановить равновесие:

— Да ничего не было. И можно сказать, никого не видел. — Помолчав, добавил: — Но многое понял.

Что именно, он не расшифровал. Да и наедине с собою, наверное, разобрался в ощущениях не сразу.

Я догадывался: герою и мученику ГУЛАГа его невольное затворничество в Кембридже, когда в Москве все бурлит, было тяжелее всякой пытки. Сбросив, как вериги, свой скепсис, помчался он в Москву, увы, лишь для того, чтобы распрощаться с последними иллюзиями. Чувство брезгливости (не то ли, которое оберегало его достоинство в тюрьмах и лагерях?) не позволило ему взять чью-то сторону в грязной, а позднее и обернувшейся кровью, потасовке.

«Революция случилась, — напишет он под впечатлением своих встреч в Москве, — но победили не мы. Те, кто раньше узурпировал право управлять всенародной собственностью, теперь просто присвоили ее».

Не удивила его после Москвы и выходка Ельцина, который, открывая очередное заседание Президентского совета, заглянул в подсунутую ему тут же, на глазах у миллионов телезрителей бумажку, рявкнул что-то нечленораздельное насчет «нашего посла в Англии», с которым надо бы разобраться.

Прочитав на следующий день в «Известиях» мое интервью по этому поводу, которое близкая властям российская пресса назвала «самоубийственным», Буковский, со знакомой усмешкой человека, который видел и не такое, предложил мне воспринимать и «взбрык» президента, и холопские комментарии в СМИ как награду. Но для меня наградой, о чем я, хоть и знал, что он не терпит сантиментов, все-таки пробормотал однажды Буковскому, стало другое. Его письмо в самую влиятельную и респектабельную британскую газету «Тайме», куда он отправил его, не сказав мне об этом ни слова.

— В одном можно быть уверенным, — заключал он. — Если господин Панкин будет в конце концов отозван, это будет еще одной победой тех сил, которые якобы потерпели поражение в августе 1991 года. Как сказал однажды Джордж Оруэлл: «Тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее».

Он так и назвал свое письмо, опубликованное 6 июля 1994 года: «Темные силы за работой в России».

После того как эти силы сделали-таки свое дело, он пришел на прощальный прием, где встретился со своей давней знакомой — Маргарет Тэтчер, которая 13 января 1976 года заявила в палате общин тогдашнему лейбористскому премьеру Калагану, громогласно отказавшемуся встретиться с Буковским:

— Это самая недостойная реплика из всех, какие приходилось слышать в этом собрании.

С моим отъездом из Лондона наши контакты с Буковским не прекратились. Мы звоним друг другу — чаще я ему, чем он мне. Иногда видимся.

Одна из таких встреч была в Варшаве, на Международной конференции по правам человека осенью 1998 года.

Самой большой неожиданностью для меня было обнаружить, что и здесь, среди «своих», он чувствует себя таким же одиноким утесом, как в те дни его короткого визита в Москву.

Когда я присмотрелся или, если хотите, придышался к атмосфере конференции, я понял, что ничего удивительного в этом нет. Буковский изменил бы себе, если бы чувствовал и вел себя тут по-другому.

Инициаторы демонстративно назвали конференцию Третьей. Счет вели от десятилетней давности, по существу подпольной, встречи под Краковым. Второй, в 90-м году, пришлось, как Второму съезду РСДРП из Брюсселя в Лондон, перебираться из оккупированного советскими омоновцами Вильнюса в Ленинград. Нынешняя же проходила в возрожденном сейме демократической Польши под эгидой его маршалов и премьера, все из бывших диссидентов. Пир победителей.

Не успев еще вырастить урожай, вчерашние герои и мученики за идею торопились насладиться его плодами. То самое, что оттолкнуло Буковского в Москве.

Председательствующий перечислял имена недавних узников совести, занявших места в правительстве и сейме. Одна иерархия сменилась другой. Свалив колосса, унаследовали его манеры. Кому первым предоставить слово. Кого посадить в президиум, а для кого зарезервировать места в первых рядах. Это еще куда бы ни шло. Какой-то порядок всюду требуется. Но посадив самих себя в президиум, его участники стали диктовать свою волю другим. Возражения и протесты встречали до боли знакомый «отпор». Изобретательности этих «новых бюрократов» в отстаивании любезных им правил позавидовали бы партократы догорбачевских времен.

Как на каких-нибудь саммитах Европейского союза или Большой семерки, обсуждение ситуации на просторах бывшего Советского Союза, особенно в России, оказалось нежелательным.

Председатели секций бдительно следили за соблюдением этого правила. Американка Ирена Ласота, президент Института демократии для Восточной Европы, лишила слова представителя Нагорного Карабаха под тем предлогом, что это «образование» не имеет государственного статута.

Бессменный председатель форума, вчерашний диссидент, ныне сенатор Збигнев Ромишевский дрогнул и не сразу решился поставить на голосование резолюцию об угрожающем положении с правами человека в России, которую, возмутившись зажимом, предложила российская делегация, в составе которой были и Елена Боннэр, и Сергей Ковалев, и Сергей Григорьянц...

Буковский, предупредительно посаженный в президиум, глядя на все это, становился угрюмее с каждым часом.

Не рассеяла мрачности и произнесенная его соратником по лагерям тирада о том, что правозащитное движение в России умерло. Место гладиаторов, подвижников заняли пай-мальчики, которые заступаться за права ходят как на службу и даже получают за это зарплату. Делят с партократами портфели, а такие, как Буковский, не у дел. А между тем это готовый российский Гавел.

Промолчал он и после того, как упомянутые «пай-мальчики», в изобилии представленные на конференции, бросились в контратаку.

Ни до, ни после я даже и не пытался говорить с Буковским о его настоящем и будущем. Знал и знаю, что он просто не потерпит этого. И будет прав. Но про

себя не раз задавался вопросом на этот счет. Особенно после того, как побывал у него дома в Кембридже. Удобный и просторный двухэтажный кирпичный особнячок, поменьше того, в котором неподалеку жил когда-то Петр Леонидович Капица, но все же, пожалуй, слишком просторный для одного. Изначально заложенный в такие типично английские жилища комфорт неизбежно подточен холостяцким бытом.

Не то чтобы, как писал Константин Симонов, «мужское неуютное жилье», но все-таки... Хотя к приезду моему, я заметил, был наведен некоторый марафет, что, признаюсь, растрогало меня. «Сам убирается или приглашает кого?» — мелькнуло в голове.

На столе стояло блюдо с креветками. Лососина. Сыр. Для начала, как водится, еще не садясь за стол, мы выпили виски. Потом он открыл одну из прихваченных мной бутылок «Столичной». Дошло и до холодного белого вина.

Выпили хорошо, но не рассиропились. Ему, по-моему, вообще это не свойственно. По обычаю едко и как бы отстраненно судил о новой России и новороссиянах. Холодновато — о своих новых согражданах, которых, однако, променять обратно на прежних своих соотечественников не собирается. Я лишний раз убедился в этом, когда ко мне уже в Стокгольм дошли сообщения о его стычке с российским консулом и послом, моим преемником Адамишиным. Собравшись впервые после того разочаровавшего его визита в Москву на конференцию правозащитников, Буковский предъявил в консульском отделе посольства свой английский паспорт. Ему в визе отказали и предложили ехать без визы, по тому российскому паспорту, что я вручил ему при первой встрече. Тут он отказался. Слишком хорошо знаком он с системой, которая, по его глубокому убеждению, изменилась лишь косметически, чтобы можно было довериться ей. То, что посольские деятели уперлись, лишь подтверждало, что они действуют не по наитию. Он остался дома.

Мне вспомнились строки его письма: «Пять лет назад, когда на Западе решили, что проблемы коммунизма больше не существует, закрылись практически все наши организации, порвались связи... Восстановить все это теперь просто нереально... особенно после президентских выборов в России, которые расценили на Западе как “победу демократии”...» «Что мучает его?» — задавал я себе вопрос.

Положение в России и других новых государствах бывшего СССР?

Растерянность правозащитного движения перед лицом новых рисков, вызовов и табу?

И то и другое, безусловно. Но еще больше, думаю, особого замеса разочарование. То, что в начале прошлого века называлось «мировая скорбь»...

Что-то от пушкинского: «Паситесь, мирные народы...»

Когда Ельцина сменил Путин и я услышал по «Свободе» интервью Буковского, я еще больше утвердился в этом предположении.

Уже после того, как были написаны эти строки, мы снова встретились с Буковским в его доме в Кембридже. На этот раз со мной была супруга, мечтавшая посмотреть на него в домашней обстановке. И он угощал нас собственноручно пожаренным мясом и французским вином.

От настойчивых попыток жены помочь ему по хозяйству столь же упрямо, хоть и вежливо, отказывался. Так что пришлось нам по первому бокалу осушить в отсутствие хозяина, который сноровисто управлялся на кухне.

А потом сидели в маленьком его дворике, прячась от упавшей на Англию июльской жары под кустами жасмина и акаций, слушая трели прижившейся у

хозяина синички, которую он звал Робин, и словно бы продолжали вести ту нескончаемую беседу, которую начали еще восемь лет назад.

— Я знать ничего об этой стране не хочу. Радио на эту тему не слушаю, от экрана отворачиваюсь и газетные статьи пропускаю, — повторял Буковский каждые полчаса-час и тут же возвращался «на круги своя»: — Вы только взгляните на этого Чубайса...

Куда от нее, от этой страны, от России денешься? Как тетерева на току, мы с ним ни о чем другом, как о текущих ее днях ни говорить, ни слушать не способны. Валентина апеллирует к вечному.

— Володя, расскажите о маме.

Знаем, что она для него — самый близкий человек.

— Мама? Мама умерла год с небольшим назад. В Женеве.

С несвойственной ему лиричностью продолжает:

— Тот, кто этого не пережил, тот не поймет. Это как последний звонок. Оказывается, и под шестьдесят лет можно чувствовать себя сиротой.

— Я похоронила маму десять лет назад, — роняет Валентина.

— А моя жива, слава богу, — говорю. — Полгода назад отметили девяностолетие. Если б не глаза — здоровый человек. А отца не стало три года назад. Без двух месяцев 98 было...

Тут уж сам собою заходит разговор о его отце, которого нет уже много-много лет.

Во избежание недоговоренностей Буковский напоминает, что они с отцом были чужие люди.

— Он убежденный коммунист, я — такой же убежденный антикоммунист.

Ожесточения, которое можно было бы предполагать в голосе человека, произносящего такие слова, нет, однако, и в помине.

— Когда ко мне первый раз пришли с обыском, они с мамой уже были в разводе. Но мы жили по-прежнему в одной квартире. У отца одна была комната, у нас с мамой две.

Он осуждал мои убеждения. И когда понял, что за гости пожаловали, заперся у себя. Но через какое-то время — они все еще искали — резко растворил дверь:

— Может быть, вы и у меня хотите порыться? — Нашел все-таки способ отмежеваться от них.

— И еще: когда его назначили заведовать отделом писем в «Литературной газете», он со мной поделился: — Представляешь, письма с критикой недостатков меня заставляют посылать в КГБ.

Растерянный такой был.

Чужие или не чужие, но воспоминание об отце завладевает сыном...

— В Ленинграде сижу в КПЗ, объявляют: «Буковский, свидание». Ломаю голову, кто бы это мог быть. Мамы в Питере нет... Оказывается, отец. И ведет себя так, словно случайно зашел. Я, мол, здесь в служебной командировке. Решил заглянуть. Когда прощались, в последнюю секунду пожал руку. Сказал, держись. А твердокаменный был коммунист. Хрущева — ненавидел.

Бенни Андерсон из «АББА» поет «Катюшу»

Что подвигло меня позвонить Бенни? Быть может, эта вот пластинка в шкафу? Берегу ее как зеницу ока. И сам себе опасаюсь признаться, что иногда подмывает воспринять слова на конверте, в который она была упакована, всерьез: «To Boris with love. Agneta Feldskuk».

Да — да, та самая Агнетта. Из «АББА». Рослая, крутоногая, в золотистом ожерелье волос и с серебряным голосом, который, по-моему, и предопределял тот неповторимый тембр, которым славилась ABBA. Конечно, дарственная надпись — всего лишь формальность. Тем не менее, говорю себе самонадеянно, она не хуже меня знает разницу между глаголами like и love.

...А может быть, все дело в том приеме, который я как посол Советского Союза дал в Стокгольме в связи с визитом премьера Николая Ивановича Рыжкова? Прием в дипломатической жизни, даже по торжественному поводу, дело рутинное, но тот таким не был.

Перестройка в стране шла полным ходом. Так, по крайней мере, это смотрелось со стороны, из Швеции. И шведы, кажется, радовались ей больше, чем мы. И не столько за нас, сколько за себя. Страх перед русскими сидел у них даже не в крови, а в генах. Столетиями шведская мать говорила своему шведскому дитятку: «Не плачь, а то Иван придет». Трансформация России в Советский Союз, Финская война превратили этот страх в фобию.

И вот тьма стала как будто бы развеиваться. Повеяло теплом и улыбками с той стороны Балтийского моря. Кажется, эти русские — а для Запада все советские граждане были русскими — взялись наконец за ум и вместо того, чтобы угрожать остальному миру, хотят с ним дружить и поучиться у него жить.

Каждый день приносил обнадеживающие новости. И так случилось, что олицетворением этих перемен для шведов стал именно Рыжков, самый близкий тогда Горбачеву человек. Конечно же, все благотворные импульсы исходили от Горби, но он где-то там, далеко, в Кремле, а Рыжков, получается, с ними, со шведами. Первый раз приехал, правда, по трагическому поводу — на похороны Улофа Пальме, но всех тронул своей неподдельной печалью и тут же позвал к себе в Москву Ингвара Карлссона, преемника и друга злодейски убитого шведского премьера. А теперь вот и сам вернулся, с официальным ответным визитом.

Когда руководители знаменитой шведской компании «Тетра Пак» принимали Рыжкова на молокозаводе под Стокгольмом, они пели на русском языке в его, человека с Урала, честь «Уральскую рябинушку» и произвели выстрел из пушки трехсотлетней давности.

Удивительно ли, что попасть на прием в советское посольство было в те апрельские дни мечтой каждого уважающего себя шведа. Атмосфера была близкой к экстазу. Приглашенные чувствовали себя приобщенными к тем не совсем

им понятным, но явно многообещающим историческим процессам, которые совершались в Москве.

В Березовом зале, способном вместить и вместившем в тот день более тысячи человек, не хватало разве только короля, который по определению не посещает ни под каким видом посольства. Зато были все «капитаны шведской индустрии», как окрестил их Рыжков; были шведы — лауреаты Нобелевской премии и сам глава Нобелевского фонда; Лизбет Пальме с сыновьями и ученица Галины Улановой Аннели Альханко. Была Астрид Линдгрен. О премьере и его министрах я уже не говорю. И была мужская половина группы АВВА, Бенни Андерссон и Бьерн Ольвеус, запечатленные вместе с другими знаменитостями на развороте самого модного стокгольмского еженедельника. Добрая физиономия совсем еще молодого Бенни источает удовольствие. С его всемирной славой его трудно чем-либо удивить, но он доволен, что он здесь и своим присутствием доставляет удовольствие другим. Быть может, взглянув случайно на эту фотографию, я и решил позвонить Бенни чуть ли не девять лет спустя. Я только что вернулся в Стокгольм из Франции, где выступал в Париже и Страсбурге, в Европейском парламенте, с призывом о помощи, материальной и нравственной, детям разрушенной и опустошенной Ельциным и Грачевым Чечни. В числе родившихся в те дни проектов была организация благотворительного гала-концерта, в котором уже согласились участвовать многие звезды.

Знакомый журналист из «Свенска Дагбладет» дал мне с оговоркой («только для тебя») мобильный телефон Бенни. Тот сказал «да» с полуслова, заметив, правда, что не очень-то представляет себе, что он сможет показать. Ансамбля-то ведь давно уже нет. Я рассказал ему анекдот относительно Людмилы Зыкиной, которой ее поклонник с Кавказа говорит:

— Ты не пой, ты ходи.

Отсмеявшись, Бенни неожиданно для меня спросил:

— А что я могу сделать для тебя лично (в Швеции все друг другу говорят «ты». — *Б.П.*)?

Я ответил ему на этот вопрос полтора года спустя. В Москве у меня была на выходе книга. Роман о Константине Симонове. Августовский, 1998 года, кризис поставил издательство на грань банкротства. Я рассказал об этом Бенни.

— Инвестиция, — сказал он деловито, словно вспомнив, что является президентом небольшой, но эффективной компании «Моно-мьюзик».

Так мы стали с ним соучастниками проекта, который помог мне не только издать книгу, но и ближе познакомиться с человеком, которого его соотечественники называют одним из украшений минувшего столетия.

Имени моего героя Бенни, увы, не слышал. Когда оно, после Великой Отечественной, гремело в мире, он сам был еще в проекте. Я предложил Бенни посмотреть вместе мой фильм, который был записан у меня на видеокассету. Он просветлел лицом:

— Обязательно. А то мне Мона (жена) говорит: «Ты хоть в курсе того, что поддерживаешь?»

Так было у него всегда: если возникали какие-то сомнения, он упоминал о них только постфактум.

Я догадывался, как трудно было ему, занятому своей музыкой, постановками, музыкальной фирмой, найти необходимые два часа, и, когда он их все-таки нашел, я решил пойти ему навстречу. Вложив кассету в проигрыватель, я то и

дело нажимал на кнопку ускорителя — пропускал те куски, которые, по моему разумению, могли показаться Бенни неинтересными.

— Я не спешу, — бросил он. Когда лента в кассете остановилась, он сказал: — Мне нравится этот человек.

Более пространно он высказался через несколько месяцев, когда, вернувшись из Москвы после представления книги, я привез с собой в Стокгольм черной и красной икры, водки и пригласил Бенни на обед. Английское слово «ланч», или «ленч», шведы произносят «лунш». Собираясь к нам домой, к 12 часам дня, Бенни предупредил, извинившись, что времени у него час, максимум — полтора. Его «мобильник» начал звонить с часу дня. В разговоры со своими абонентами Бенни не вступал и каждому звонившему объяснял, что он на лунше, на русском лунше, в семье Панкина и позвонит сам через полчаса.

Время шло. Звонки продолжались, а Бенни и в четыре часа, и в пять, и в половине шестого повторял, что он на лунше, русском лунше... С каждым новым объяснением голос Бенни становился ласковее и проникновеннее, а выражение глаз — хитрее. Точно так же, догадывались мы по его интонациям, изумление на том конце провода становилось все сильнее, услышать, что кто-то из его соотечественников ланчуется в три часа, а далее — и в четыре, и в пять, было для шведа равносильно получению информации о наступающем конце света. Вот в эти-то незабываемые часы Бенни и посетовал, что не удалось целиком посмотреть «такой интересный фильм». Я признался, что просто берег его время, а он сказал, что решил, что это я в цейтноте. Я боялся, что он торопится, он думал, что я. Вот когда я проклял себя за свою деликатность некстати.

По словам Бенни, фильм стал для него окном или дверью в мир, который всегда был для него загадкой. Тут он словно через порог перешагнул и многое понял. В том смысле, что тот, то есть наш мир, отличен, но равновелик его, то есть западному. А в чем-то каждый из них имеет перед другим преимущество.

Комплимент, преувеличение? Думаю, ни то и ни другое. Думаю, что и поярче окна, и фонари над дверями светили Бенни, и не раз, но не было времени или повода остановиться и вглядеться в то, что за этими окнами.

Теперь, волею обстоятельств остановившись, он хотел увидеть и понять как можно больше. Он вспомнил кадры синхрона, где Симонов читает стихи. Это было «Жди меня». Я рассказал ему, что это были за стихи и что на этом вечере поэт читал их последний раз в жизни. Как мог, я перевел их ему устно на английский.

Валентина посетовала, что на эти слова, которые до сих пор наизусть знают миллионы людей, так и не сочинено хорошей песни. Бенни понял намек. Помолчал.

— Но ведь я, — задумчиво и как бы даже виновато промолвил он, — даже не представляю себе, что такое война.

Я вспомнил, сначала про себя, потом вслух, что наша великая актриса Фаина Раневская, хорошо знавшая и Симонова, и Валентину Серову, которой были посвящены стихи, была уверена: «Жди меня» написаны еще до войны и они — не о войне, а о ГУЛАГе.

— Такие стихи могли бы читать наши переселенцы, — словно бы самому себе сказал Бенни, имея в виду героев своей оперы «Кристина из Дювемалы» — о судьбах шведских эмигрантов в Соединенных Штатах в конце XX столетия. Спектакль второй год уже шел ежедневно с аншлагом в помещении Стокгольмс-

кого цирка, и за это время, если верить прессе, его посмотрело и послушало чуть ли не все взрослое население страны.

— И петь песню на эти слова, — подхватила Валентина. Бенни кивнул с видом человека, который для себя что-то уже решил.

Он попросил меня начитать стихи по-русски на пленку и перевести их, хотя бы в прозе, на английский. И сделать транскрипцию.

В тот день Бенни попрощался с нами только в шесть вечера. И лишь после того, как в очередной раз позвонила Мона и объявила, что они с сыном умирают от голода.

— У нас так заведено, — объяснил Бенни, — что ужин на все семейство готовлю я.

Через день он рассказал, как развивались дальше события в тот вечер.

— Я пришел, накормил семейство и на полчаса прилег. Все было хорошо. В полвосьмого Мона меня разбудила, и я отправился в цирк. Все было хорошо. Поднялся на сцену. Потолковал перед поднятием занавеса с артистами. Все было хорошо. В антракте мы с режиссером выпили по бокалу шампанского, и я поехал домой. Все было хорошо. Утром я не мог встать.

— Все дело в шампанском, — успокоил я Бенни. И рассказал ему историю из времен «Комсомолки». Член редколлегии Виталий Ганюшкин поехал в ГДР в группу войск. Там устроили прием в его честь. Пили водку стаканами и закусывали солеными красными помидорами.

— Не доведут нас до добра эти помидоры, — меланхолично завершил трапезу Виталий.

Мне повезло. Наш с Бенни роман, пик которого попал на Рождество, был для него одновременно полосой таких побед, которые не могли не вывести из равновесия даже такую звезду, как он.

Приближавшееся двадцатипятилетие со дня возникновения ABBA становилось похожим на ее второе рождение, хотя члены великой четверки, великолепно относясь друг к другу, не подавали своим многомиллионным поклонникам надежд на воссоединение, несмотря на астрономические суммы контрактов, которые им предлагали. Зато в Лондоне группа восемнадцатилетних, которая так и именовала себя «Эйтинс», стартовала с огромным успехом в мюзикле «Мама миа» на музыку Бенни в постановке его друга и коллеги Бьерна Ольвеуса. При одной из встреч Бенни вручил мне компакт-диск, на котором были записаны песни в исполнении подружившегося с ними мужского грузинского хора, совсем недавно побывавшего в Стокгольме. В шведской столице, в респектабельном и консервативном Северном музее открылась при невиданном столпотворении выставка, посвященная группе. Приглашения на гастроли с «Кристиной» пришли из Штатов и России.

Надо знать Швецию, которая, слегка чокнувшись на равенстве и справедливости, «не дает распоясаться» своим знаменитостям и богачам, в какой бы сфере они ни подвизались; Швецию, где умудрились как-то арестовать Ингмара Бергмана по подозрению в неуплате налогов и содрать однажды с Астрид Линдгрен 102 % ее годового дохода (о чем она тут же написала сказку), чтобы понять, что значили для Бенни все эти знаки внимания.

Все это настраивало его на праздничный и слегка даже легкомысленный лад, что, вообще-то говоря, по свидетельству знающих его, было ему не свойственно.

...Когда по ходу наших переговоров возникла необходимость во встрече с директором издательства и редактором книги, Бенни вызвал их в Стокгольм за свой счет и поселил в старомодном романтическом отеле, сохранившемся чуть ли не со времен Густава Третьего и опекаемого им барда, шведского Моцарта, а заодно и Пушкина, — Карла Микаэля Бельмана. Рядом с тем цирком, где ежедневно шла его опера. Побывав на спектакле, мы стали гостями Бенни не только в зрительном зале, но и в буфете, куда он повел нас сразу по прибытии.

— Вам надо подкрепиться, — сказал он, заказав каждому, включая дам, по тройной порции виски. — Опера-то идет четыре часа.

И коварно, с видом птицелова, заманившего стаю пернатых в свои сети, улыбнувшись, удалился.

Заключительный вечер мы провели в оперном кафе — прибежище музыкальной богемы и интеллектуалов Стокгольма. Пили шампанское и пели советские песни. Бенни, к восторгу набившихся в бар посетителей, с энтузиазмом подтягивал «Катюшу».

— Из вас вышла бы хорошая группа, — сказал он.

— Под твоим управлением, — в тон ему подхватил я.

— В переходе метро, — уточнил он свою мысль.

День первый, день последний

Сам Александр Бовин, а с его слов и другие авторы, столько раз говорили и писали, и в статьях и в книгах, о том, как «Панкин, став министром иностранных дел, предложил Бовину поехать послом в Израиль», что мне уже всерьез стало казаться, что данный акт явился самым выдающимся моим достижением за время нахождения в этой высокой должности.

Но шутки в сторону, и обо всем по порядку. Наша первая встреча с Сашей Бовиным произошла где-то в конце 1967 года. На приснопамятном «Пятом этаже» здания ЦК КПСС на Старой площади, куда попасть можно было только через еще более сакраментальный «Первый подъезд».

Последняя — в декабре 2003, в одном из парадных залов отеля «Метрополь», куда мы оба были приглашены в качестве лауреатов только что объявленной национальной премии «Элита», о которой тогда мало что знали, кроме того, что проходили, не конкурируя, по той же самой статье, то бишь номинации — «за выдающиеся заслуги журналиста на государственной службе».

Между этими двумя свиданиями — три с лишним десятилетия дружеских отношений, которые вместили и деловые встречи, и творческое сотрудничество, и торжественные или интимные застолья, и долгие телефонные разговоры...

Меньше всего приходило в голову, что когда-то одному из нас выпадет писать о другом как об ушедшем...

На «Пятый этаж», где я до этого не бывал, меня, молодого тогда по стажу редактора «Комсомолки», пригласил помощник по международным делам тогдашнего Генсека, то есть Леонида Ильича Брежнева, Андрей Михайлович Александров-Агентов, который, ссылаясь на шефа, призвал меня поучаствовать в создании проекта его речи перед молодежью.

Что там поучаствовать, мне поручалось возглавить команду, которую я сам же должен был и набрать. Как подразумевалось — тоже из сотрудников «Комсомолки». За одним исключением — нам придавался в помощь консультант отдела пропаганды Наиль Бариевич Биккенин, в дальнейшем просто Наиль.

«Наиль — это гигант», — почтительно отозвался о нем, человеке невысокого роста, но, как оказалось, большого и острого ума, один из моих знакомых.

Сам же Наиль таким же образом, только с еще большим придыханием, отозвался о тоже не знакомом мне тогда Александре Евгеньевиче Бовине, которого уже старший помощник Брежнева Цуканов направил к нам на «шлифовку» нашего признанного относительно готовым для показа «самому» текста:

— Бовин — это гигант, — произнес с не терпящей возражений интонацией Наиль, не подозревавший, что сам был несколько дней назад охарактеризован таким же образом.

— Гигант, классик! — повторял он.

Ну, и как может догадаться читатель, внешний вид присоединившегося к нам «классика» не вызывал на этот счет никаких сомнений. Ну, а то, с каким видом он взял двумя пальцами и поднес к глазам стопку пододвинутых ему мною машинописных листов, не вызывало сомнений, что следующим его движением, которое может последовать уже через десяток-полтора минут, будет выбросить прочитанное в корзину для бумаг.

Авторское самолюбие меня в данном случае не терзало. Свой кураж я видел в том, чтобы нашпиговать текст речи на высшем уровне излюбленными на «Шестом этаже», как называли мы «Комсомолку», идеями — о свободе мнений, пользе дискуссий среди наших читателей, о том, что пора покончить со «спекуляциями на энтузизме» и «палаточной романтикой» на комсомольских стройках, избавить молодежь от мелочной идеологической опеки и больше заботиться об условиях ее труда и повседневного быта... Ну, и далее в том же духе. Чтобы можно было потом уже на страницах газеты опираться на эти ставшие законом указания главного человека страны. Маленькая хитрость, к которой прибегали мои предшественники в «Комсомолке» еще со времен Хрущева, а может, и раньше...

Вот и я был полон решительности вцепиться в соответствующие пассажи и не «отдавать курсив» Бовину, будь он хоть трижды гигант. Тем более что текст уже прошел сквозь цукановско-александровское сито...

Но Бовин и не думал покушаться на эти краеугольные камни. Положив манускрипт на стол и откинувшись на стуле, который с трудом вмещал его естество, он сначала вопросил кого-то, не видимого нам, зачем его, собственно, сюда прислали, а затем все же взял в руки перо: — Сейчас мы это только немного причешем под начальство (один из псевдонимов Брежнева в устах его главного спичрайтера): — Вот это место, например. Читая такие обороты, шеф (еще один псевдоним Брежнева) всегда обиженно говорит: — Что я им, ученый какой-нибудь, что ли?

— В чем его заподозрить, разумеется, никак нельзя, — добавил он неожиданно и бросил испытующий взгляд в мою, очно еще не знакомого ему человека, сторону.

Эта фраза и, может быть, еще то, как я буквально взрыднул от смеха, услышав ее, сразу и навсегда сделала нас своими людьми.

Текст же, в котором Саша ничего существенного не тронул, вышел из-под его руки преображенным. И я понял, что если и можно говорить о стиле Брежнева, то это — стиль Бовина, вернее, тот стиль, который он для «начальства» изобрел.

И которым, создавая собственные шедевры, никогда не пользовался.

...Первая встреча проложила дорогу другим... Перебирая их теперь в памяти, прихожу к выводу, что встречались мы с Сашей в основном, говоря памятным заголовком в «Комсомольской правде» — «по праздникам и по скандалам». Да еще — на похоронах и поминках по общим друзьям...

И не нахожу теперь в этом ничего удивительного. Так тогда было со многими близкими по духу людьми, если они не работали в каком-то одном месте.

По праздникам — это когда кто-то что-то выдающееся написал или опубликовал, по случаю дней рождения или круглых дат, на нечастых в те времена приемах, государственных или общественных мероприятиях.

Скандалы — это когда кто-то из нас или близких нам людей попадал в опалу, что довольно регулярно случалось.

Такой узелок завязался, например, по поводу опубликованной мною в «Комсомолке» статьи Михаила (Миши) Синельникова о нашумевших тогда так называемых романах Ивана Шевцова «Во имя отца и сына» и еще одного, название которого я уже и не помню.

Сейчас бы назвали эти творения бульварными, но тогда это слово было не так в ходу. Была там благосклонно пропущенная, и не случайно, цензурой порнография, были портреты, вернее, карикатуры на известных в московских политических и литературных кругах лиц, например на редактора «Литературки» Чаковского и, что самое главное, — поношение хрущевской оттепели и незавуалированная тоска по «отцу родному» и его временам, когда был порядок.

Вот по этой попытке гальванизировать сталинизм и ударил наш автор, который пришел на «Шестой этаж», то есть в «Комсомолку» после того, как его труд отвергли уже в двух или трех редакциях, в том числе и в «Литературке», постоянным автором которой он был.

Бовин уже рано утром, в день публикции, позвонил мне, чтобы поздравить и предупредить, что теперь «надо ожидать поступков» (Салтыков-Щедрин).

Он же предложил свою поддержку, когда его предсказание не замедлило сбыться и материализовалось в виде разгромной по поводу «Комсомолки» и ее автора статьи в «Советской России», которую тогда редактировал лихой отставной генерал Павел Московский, с кем у нас до того, в повседневном казенном общении, были вполне лояльные отношения.

Бовин, как и я, отдавал себе отчет, что ответить публично органу ЦК КПСС «Комсомольская правда» не может по определению — это рассматривалось как столкновение партии с комсомолом и потому было непроходимым.

Значит, надо действовать аппаратным путем.

— Пиши записку Генеральному, — сказал Саша, — и отдай ее Самотейкину (референт Брежнева по международным делам). А он ее положит на стол шефу.

Надо ли говорить, что записку эту, как сравнительно недавно еще проект речи Брежнева, писали сообща. Я создал «болванку», а Саша с Женей Самотейкиным и примкнувший к ним Анатолий Черняев, который в международном отделе ЦК заведовал тогда группой консультантов, ее редактировали, с учетом до тонкостей известных им рефлексов Генерального. И все это — при сочувственном наблюдении Александрова и Цуканова. Как тут не вспомнить ставшее известным немного позднее высказывание опального Эрнста Неизвестного о том, что нигде он не встречал столько антисоветчиков, как в ЦК КПСС.

Статьи в двух центральных газетах раскололи аппарат помощников Брежнева, где Голиков и Воронцов были против нас.

То же и в отделе пропаганды, тогдашний шеф которого Александр Николаевич Яковлев написал записку в поддержку нашей статьи, в то время как его заместитель подбадривал «Советскую Россию», поскольку знал, что та выступила с подачи члена Политбюро Полянского, слывшего ретроградом.

— У нас все на чистом сливочном масле,— бубнил в этой связи Московский.

Записка меж тем лежала на письменном столе у Брежнева, и Самотейкин, туда ее положивший, регулярно подкидывал шефу подборки «белого ТАСС», то есть выдержки из публикаций западных СМИ, которые как в томах Шевцова, так и в статье «Савраски» резонно увидели симптомы возрождения в Советском Союзе сталинизма.

Брежнева же, как со знанием дела отмечал Саша Бовин, волновала не столько судьба сталинизма, сколько собственная репутация, и прослыть очередной раз ястребом ему не улыбалось.

Кончилось тем, что Генсек начертал резолюцию, согласно которой Полянскому предлагалось сосредоточиться на своих обязанностях, то есть сельском хозяйстве, Дмитруку, заму Яковлева, соблюдать партийную и служебную дисциплину, а Московскому и Панкину — полемику прекратить.

За словом последовало и дело: агрессивный Полянский, который и раньше не раз был замечен в том, что «совал нос не в свой вопрос», был вскоре и, очевидно, по совокупности прегрешений отправлен послом в Японию, Московский — на заслуженную пенсию, а Дмитрук во Всесоюзное общество по распространению...

Мы же с Сашей, Женей и Толей отправились «для разбора полетов» в ресторан Дома кино, который мы называли лучшим из всех искусств, чтобы отметить одновременно и скандал, и праздник.

Подняв для тоста бокал с шампанским, которое он особенно любил, Саша предложил считать, что ведро наполовину полно.

...Меж тем не за горами уже был тот день и час, когда ему самому понадобилась вся сила нашей солидарности.

Об этом я узнал из его телефонного звонка, которым он сообщил, что работает теперь политическим обозревателем «Известий». Услышав об этом, я в первую минуту ощутил себя частью тех пушкинских «удивленных народов», которые «не знали, что им предпринять, ложиться спать или вставать».

Введенный в «Правде» и «Известиях» институт политических обозревателей был лакомым куском для профессинальных журналистов.

И в моральном, да и в материальном плане. Назначение же на эту должность работника аппарата ЦК КПСС высокого ранга, да к тому же слывущего любимцем и баловнем Брежнева, наводило на мысль о своего рода политической ссылке.

С симпатией относясь к раннему Брежневу, Бовин не скрывал своего пренебрежительного отношения к его так называемым сподвижникам. Более того, находил удовольствие в том, чтобы называть вещи своими именами. И не только, к примеру, сидя с друзьями в Доме литераторов или журналистов, но и в стенах Первого подъезда, работая над текстами для «первого лица». И в конце концов Саша и его супостаты не оставили этому «первому лицу» иного выхода, как «принять меры». Меры же эти были, как видим, довольно своеобразными. И не только в случае Бовина.

Сдается, что в глубине души Брежнев поклонялся принципу, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Может быть, даже из соображений самосохранения. И к крайним мерам прибегал лишь в крайних же случаях, когда, с его точки зрения, другого выхода уже не было.

Помилование к Саше пришло довольно скоро — в виде «избрания» его в Ревизионную комиссию ЦК и Верховный Совет РСФСР, к чему он отнесся с той же вселенской иронией, которая была его неотъемлемым спутником.

Следуя поэтической рекомендации Бориса Пастернака не отличать поражения от победы, он, перестав писать для «начальства», стал писать для себя, то бишь для читателей, что и сделало его тем Александром Бовиным, которого скоро узнала и полюбила страна. В том числе и читатели «Комсомолки», международный отдел которой не упускал случая заказать ему комментарий.

Это было то, чем мы могли его поддержать.

Следующим в череде «праздников и скандалов» всплывает в памяти эпизод, относящийся уже к самому началу моей дипломатической карьеры, которая началась в Стокгольме за несколько месяцев до смерти Брежнева. Дело было во время моего первого отпуска, где-то в конце 1983 года. Я пригласил все в тот же Домжур двух своих новых коллег из отдела Скандинавских стран МИД. Где-то в середине этого довольно умеренного сидения к нашему столику, расположенному в одном из уютных уголков зала, который зарезервировал для меня по старой памяти директор Дома, «подгребли» Бовин и Тимур Гайдар. И были они, прямо скажем, как та булгаковская осетрина, не первой уже свежести.

Заказ, разумеется, был повторен, беседа сразу же из вялотекущей превратилась в бурный поток, и вскоре выяснилось, что два известных своими «закидонами» журналиста и два мидовца, традиционно консервативные, смотрят на развитие событий и ситуацию в стране (а о чем же было еще говорить?) кардинально противоположно. Не обошлось тут и без Сталина, к которому, по мнению и тех, и других, новый Генсек, то есть Ю.В.Андропов, питал симпатии. Только у одних, понятно у кого, это вызывало отторжение, а другие связывали с этим свои извечные на Руси надежды на твердую руку и восстановление порядка, расшатавшегося сначала под Хрущевым, а потом и под Брежневым.

В паре с правдистом Тимуром политический обозреватель «Известий» сказал тогда — и так, что это было слышно не только за нашим столиком, — все то, что стали говорить лишь пару лет спустя, да и поначалу с оглядкой, опасаясь чуть ли не самих себя.

Хотя, будучи хозяином стола, я, как мог, старался следовать законам гостеприимства, направленность моих симпатий не оставила иллюзий у моих мидовских коллег, тем более что я и раньше был там на заметке.

...Ну а теперь как раз удобный момент обратиться к тому событию, которое так круто развернуло жизнь Александра Евгеньевича и родило нам, если хотите, еще одного Бовина, на этот раз дипломата.

Результативное участие советской послепутчевой, то есть после августа 91-го года, дипломатии в решении ближневосточных проблем хорошо известно.

Перед моим визитом в этот бурлящий регион, первым пунктом которого был Израиль, у меня в Москве и Нью-Йорке состоялись встречи и переговоры с тогдашним госсекретарем США Джеймсом Бейкером, премьер-министром Израиля Шамиром, Ясиром Арафатом и Махмудом Аббасом, министрами иностранных дел ключевых арабских стран.

Задача состояла в том, чтобы посадить палестинцев, арабов и израильтян за один стол. И на этом пути четко вырисовывался своего рода заколдованный круг. Претендуя на роль коспонсора мирного процесса, мы не имели дипломатических отношений с одной из его сторон. И считалось, что пойти на их восстановление мы сможем лишь в случае, если Израиль даст согласие на переговоры. Израиль же, помимо других факторов, обусловливал свое согласие на конференцию как раз их установлением.

Горбачев в те неповторимые летне-осенние недели доверял мне безраздельно. ЦК КПСС и его Политбюро перестали существовать, КГБ в его хрестоматийном виде — тоже. Руки у меня были развязаны. Направляясь в «членовозе» в Шереметьево-2, я был уверен, что разрублю этот гордиев узел, и мыслями заносился в те уже недалекие времена, когда будет объявлено о мирной конференции, которая войдет в историю как Мадридская. Сидя в салоне министерского

спецсамолета, я вслух, в присутствии только жены, подумал о том, кому же быть первым послом СССР в Израиле.

— Бовин, — вдруг как нечто само собою разумеющееся произнесла моя жена Валентина. И этим лишь на секунду опередила меня.

Тут мне придется вернуться еще немного назад, к тому времени, когда Саша оказался одним из первых журналистов, кто позвонил новоиспеченному министру и попросил об интервью, выразив надежду на то, что министр ему по дружбе не откажет, как бы ни был занят.

Мы встретились, поговорили, адаптируясь взаимно к возникшей новой конфигурации.

Среди его вопросов, кстати, был и такой: — Что мешает установлению дипломатических отношений с Израилем?

Когда настала пора попрощаться, Бовин отложил в сторону блокнот и авторучку и сказал: — Старик, пошли меня в какую-нибудь страну послом. Только в небольшую, и куда-нибудь подальше. Например, в Новую Зеландию. Хочется, знаешь, вырваться из этой нашей суеты и текучки, посидеть вне досягаемости, подумать о главном...

Позднее я от Саши же узнал, что с такой же просьбой, только насчет Люксембурга, он обращался еще несколько лет назад к Громыко, и тот сказал, что Люксембург слишком мал, Бовину в нем не поместиться.

Теперь это общеизвестно.

Я оказался не столь находчив, как мой выдающийся предшественник, и, застигнутый врасплох, пробормотал что-то ординарное насчет того, что подумаю, но, мол, такие люди, как он, нужнее в Москве.

Бовин, может, и сам бы быстро забыл о своем обращении, но во мне оно засело.

Отслужив до того некарьерным послом в двух посольствах, я лишь укрепился в мысли о том, что ставшей на путь разрушения автократии стране нужны в неординарных странах некарьерные послы. Руководствуясь именно этим соображением, я в те же дни предложил занять пост посла в Париже одному из «прорабов перестройки» академику Рыжову.

Вот почему, произнеся фамилию Бовин, моя жена, которая, будучи востоковедом по образованию, внимательно следила за творчеством Александра Евгеньевича, просто прочитала мои мысли.

Ведь никто так объективно и глубоко не писал у нас о Ближнем Востоке, как он...

Дальнейшее можно было бы назвать делом случая, но я предпочитаю именовать это знаком судьбы.

Чуть ли не первым, кого я, не считая неизбежных фигур высокого протокольного плана, увидел в правительственном аэропорту на библейской земле Израиля, был он, Александр Евгеньевич собственной персоной. В группе советских и иностранных журналистов. Оставив на пару минут встречавшего меня министра иностранных дел Израиля в одиночестве, я нырнул в эту родную мне стихию и, достигнув уха Бовина, шепнул: — А в Израиль поедешь послом?

Если хоть раз в жизни я видел Сашу растерявшимся, это было именно в ту минуту. Тем не менее он успел утвердительно кивнуть еще до того, как я воссоединился со своим израильским коллегой.

Дальнейшее было делом техники. Вернувшись из ближневосточного турне, в ходе которого были восстановлены дипломатические отношения с Израилем

и от имени СССР и США посланы приглашения заинтересованным сторонам на конференцию в Мадриде, я назвал Михаилу Сергеевичу кандидатуру нашего посла в Израиле.

Его удивление тоже длилось не более минуты.

— А и в самом деле! — воскликнул он. И хохотнул. И тут же добавил: — Вноси. Пиши бумагу.

Вернувшись из Кремля на Смоленскую, я тут же дал команду готовить официальное представление МИД, которое на следующий же день лежало на рабочем столе Президента.

Каждое время имеет свои плюсы и минусы. В те месяцы, между августовским путчем и сходкой в Беловежской Пуще, мы обходились минимумом формальностей. И, как видно на примере назначения Александра Бовина первым после многолетнего перерыва послом в Израиль, дело от этого не страдало.

....И вот последняя встреча. После особенно долгого перерыва, вызванного нестандартными обстоятельствами жизни каждого из нас.

Первым из знакомых, кого я увидел, ступив на парадный паркет «Метрополя» и преодолев суматошную и веселую преграду из серпантина, лотерейных билетов, бокалов шампанского, приветственных возгласов и цветочков в бутоньерках, был он, Бовин.

Саша грузно и одиноко среди этой суеты сидел в массивном кресле в самом начале того, что можно было бы назвать началом шествия в зал приемов. Мы увидели друг друга одновременно, он радостно вскрикнул и попытался приподняться, а я поспешил наклониться к нему. Мы поцеловались и тут же, словно никакого «столь долгого отсутствия» и в помине не было, стали привычно обмениваться незлобивыми колкостями по поводу «заслуг на государственной службе», за которые нас собирались увенчать премией «Элита».

Потом он сказал несколько добрых слов о моем романе «Четыре Я Константина Симонова», мол, проглотил его за одну ночь, и посетовал, что в свое время не мог достать «Сто оборванных дней». Я пообещал передать ему книгу через присутствовавшего при разговоре сына и в ответ потребовал «XX век как жизнь», которого у него с собой, разумеется, тоже не было.

Что-то все же было печальное в этой встрече на праздничном для нас обоих вечере. Или это мне теперь так кажется?

Посчитав, видимо, что стоять дальше около него «на юру», когда кругом все окликают и дергают за полы то меня, то его, мне как-то несподручно, Саша сделал величественный отпускающий жест. Мы условились, что встретимся в зале.

Но в зале, когда началась церемония вручения, его все не было и не было... И когда подошла наша очередь выходить на сцену, мне сказали, что Александру Евгеньевичу невмоготу было дожидаться торжественной минуты и он попросил его отпустить.

На следующий день я улетел в Стокгольм, а еще через несколько дней, шестого января, в канун Рождества, сын навестил Бовина у него дома на Большой Пироговке и произвел обмен книгами. «Дорогому Борису...», «Дорогому Саше...» — написали мы, и вышло, что таким образом попрощались друг с другом.

Глава пятая

ШВЕДСКИЙ ДОМ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Вместо предисловия

НИКОЛАЙ АНАСТАСЬЕВ, ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ЛИТЕРАТУРОВЕД, ПРОФЕССОР МГУ

Борис Панкин занимал разные высокие должности — главный редактор крупной газеты, посол, министр… но при одной оставался неизменно и остается поныне, при той, на которую нельзя назначить и с которой нельзя снять, — при должности проницательного и неравнодушного наблюдателя жизни, которую он умеет описывать увлекательно и остро.

О чем свидетельствует и эта книга о Шведском доме — взгляд на страну изнутри и со стороны одновременно. Изнутри, потому что Панкин в Швеции — не турист, он знает ее давно и близко, сначала как многолетний посол Советского Союза, потом и теперь — как писатель и журналист.

Снаружи — потому что Панкин — по-прежнему москвич, и в Москве у него тоже есть дом, и из этого дома, может быть, если не лучше, то по-особому можно рассмотреть и понять, как и чем живет Швеция.

Двойное это видение и делает эту книгу равно интересной для шведа и русского.

АЛЕКСЕЙ ПАНКИН, ЖУРНАЛИСТ, ПОЛИТОЛОГ

Привет, родители! Проводили только что наших друзей одесских. Супруга — декан факультета иностранных языков. Муж — крупный офтальмолог. Они были у нас пару недель назад, по дороге в отпуск, на Канарские острова. Как-то пришлось к слову, я дал им в дорогу «Шведский дом и его обитателей». Так сегодня, на обратном пути они о ней говорили больше, чем о самом отпуске. Юрий Евгеньевич чуть ли не куски наизусть цитировал, такое на них впечатление произвела и сама модель, и как о ней написано.

ТАМАРА БАЛАШОВА, ЛИТЕРАТУРОВЕД, ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ОДНОКУРСНИЦА АВТОРА ПО МГУ

Дорогой Борис! Книга твоя внимательно прочитана. Прочла ее и Майка Кузина, сейчас читает Анка.

Мой Виктор, видя, как я впиваюсь в страницы, спросил — ну, и что чувствуешь? Я ответила — НОСТАЛЬГИЮ. Словно потеряно то, что почти было рядом, близко.

Конечно, вековые традиции играют определяющую роль, но тогда, в конце 80-х, казалось столь реальным все поменять именно в таком вот «шведском» направлении. Знаешь, нам «снизу», может, даже ощутимее было, насколько широкие массы поддержали то, что тогда назвали перестройкой.

Не убоявшись «ястребов», наверное, можно было бы пойти очень далеко в этом направлении и не допустить того, что потом вывернулось наизнанку. Или я слишком наивна, а «ястребы» слишком сильны?

Так близко вроде было, и у нас могло пойти по похожему пути, а теперь… Уж, верно, не вернешь.

ИЗ СТАТЬИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕТЕРБУРГСКИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ БОРИСА ДЬЯКОВА В «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ»

Книга, уверен, интересна не только российским политологам, но и широкому кругу читателей.

Для российского человека, в том числе и российского социал-демократа, вечно живущего вопросом «что делать?», книга — откровение и актуальное руководство в осмыслении и поиске решения целого ряда проблем отечественной действительности.

Очень светлые мысли рождает и тема отношения шведов к своим выдающимся представителям культуры. В частности, к писательнце с мировым именем Астрид Линдгрен, справедливо называемой «вторым Я» в современной Швеции и гражданином мира. На фоне отношения в современной российской действительности к другому гражданину мира — Александру Солженицыну — такая любовь и почитание Астрид вызывает уважение к обитателям «Шведского дома».

АНАТОЛИЙ ЮРКОВ, «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

Шведы, вернее, шведские социал-демократы начали строить свою модель социализма, хотя официально и не называют это так, чуть позже нас. И в конце XX века вывели свою страну и свой народ на одно из первых мест в мире по уровне социальной защищенности. Как они достигли этого? — россиянам, ищущим свой путь в новом мире, как никому другому, быть может, интересно было это знать. Борис Панкин на протяжении нескольких лет публиковал свои статьи в «Российской газете», отвечая на этот вопрос. Труды его теперь обрели форму книги, умной, талантливой, полезной и дискуссионной. Она помогает каждому ее читателю ответить себе — почему шведская модель сработала на человека, а наша оставила нас у разбитого корыта.

ИЗ ПИСЬМА АВТОРУ ШВЕДСКОЙ ЖУРНАЛИСТКИ ЕВЫ ДИКСОН ПО ПОВОДУ ШВЕДСКОГО ИЗДАНИЯ КНИГИ. ПЕРЕВОД СО ШВЕДСКОГО

Прочитав Вашу новую книгу, я хочу сказать Вам, что снова нахожусь под впечатлением от того, как Вы пишете. Это удивительно, что иностранец может столько знать о столь многих сложных и противоречивых аспектах нашей действительности. Ваша совершенно очевидная симпатия к Швеции наполняет и меня гордостью от того, что я родилась и живу в этой стране.

ИЗ ПИСЬМА ШВЕДСКОЙ ГРАЖДАНКИ КАРИН ГУННАРССОН, НАПИСАННОГО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Дорогой господин Панкин, я прочитала Вашу книгу «Ambassador I folkhemmet» («Посол в народном доме», название шведского издания книги), которую я нашла очень интересной. Интересно было узнать, как кто-то «не-шведский» мою родину понимает. Может быть потому, что я раньше работала в шведском торговом флоте и много ездила почти по всему миру, я иногда забываю, что я родилась и выросла в стране, которая заботится о своих жителях. Здорово было тоже читать о наших хороших и плохих сторонах характера.

Я тоже думаю, что Вы один из первых представителей России, которому удалось выиграть место в сердцах шведов. Я Вас всегда находила привлекательным и приветливым.

Вы с женой были в Блекинге? Конечно, я думаю — Блекинге — сад Швеции. Летом — совершенный рай, и не так плохо зимой. Осенью мы собираем грибы в лесах, зимой, если зима холодна, можно кататься на лыжах, а иногда и на коньках. Рано зимой, в декабре, мы тоже ловим рыбу. Тогда приходит сиг зобатый, совершенное лакомство.

После периода в торговом флоте я решила стать массажисткой. И сегодня у меня своя маленькая фирма. Муж на пенсии. У нас небольшой и удобный дом. Две кошки и небольшой сад. Жизнь — простая, а хорошая.

Нам было бы очень приятно пригласить к нам, если у Вас будет время.

ИЗ РЕЦЕНЗИИ НА ШВЕДСКОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ ШВЕДСКОГО ПАРЛАМЕНТА РИКСДАГ

Книга о встречах с рядовыми шведами и героями страны, такими как Астрид Линдгрен и Улоф Пальме. Размышления о Швеции и объяснение в любви к «шведской модели», — так можно охарактеризовать книгу Бориса Панкина о нашей стране и ее гражданах. Картины повседневной жизни окрашены философскими размышлениями о характере шведа и его душе…

ИЗ СТАТЬИ БЫВШЕГО ПОСЛА ШВЕЦИИ В СССР ТОРШТЕНА ЭРНА В ГАЗЕТЕ «УПСАЛА НЮА ТИДНИНГ»

Litten ten naggande god, то есть мал золотник да дорог, — этим выражением, одинаково популярным как в Швеции, так и в России, выразил Борис Панкин свое отношение к нашей стране в своей книге «шведской модели»

Улоф Пальме — его любили и ненавидели

Если в политическом деятеле можно предположить что-то от Моцарта, то, из известных мне политиков, только в Улофе Пальме. Конечно же, случайное совпадение, но последнее, что он делал в своей жизни, — смотрел фильм «Братья Моцарт», поздним-поздним вечером 28 февраля 1986 года. После чего, чисто по-моцартовски, беззаботно, со смехом отделался от своего друга, профсоюзного деятеля, отослал домой взрослого сына, чтобы без докуки прогуляться под ручку с женой по ночному Стокгольму, по исторической Свеавеген, то есть «Шведской дороге», где его и застигла пуля до сих пор неведомого убийцы.

Можно ли представить себе какого-нибудь другого западного премьера, я уж не говорю о России, прогуливающегося по городу в такую пору — без охраны, без помощников, вообще без спутников. Только жена и он?

А для него это было нормой. Он не уставал повторять, что не даст запереть себя в политическом гетто.

За два дня до трагедии мы с женой увидели Улофа Пальме на перекрестке двух основных улиц Стокгольма, той же Свеавеген и Кунгсгатан, фактически в нескольких сотнях метров от места предстоящего убийства. Он стоял с портфелем, мне хорошо знакомым, в левой руке, в ондатровой русской шапке, подаренной, видимо, во время одной из поездок в Москву, тогда это было принято, и спокойно, как заурядный стокгольмовец, ждал, когда загорится зеленый свет, чтобы перейти улицу. Мела февральская поземка. Шапка и плечи его серого в рубчик пальто были запорошены снегом. Мы ехали в представительском «Мерседесе» в польское посольство на вечерний прием. Я оглянулся. Еще и еще раз. Он все стоял. И жена спросила, пожав плечами: что ты оглядываешься? Да, для нее, как и для меня, было неудивительно увидеть его в уличной сутолоке. Но мне было интересно понять, узнают ли его люди, стоящие рядом, те, кто, как и он, спешат куда-то по своим делам.

Однажды мы наткнулись на него в Старом Городе, Гамла Стан, выходящего из китайского ресторанчика с... пластиковой авоськой, в которой просвечивали стоящие друг на друге два судка, на «пешеходной тропе», Дротнингатан — Улице королевы.

— Здесь хорошо кормят, я вот даже на вечер кое-чего прихватил, — сказал он как ни в чем не бывало. Впрочем нет, он... как бы это подыскать правильный глагол, ухмыльнулся, да-да, ухмыльнулся, угадав, конечно же, состояние некоторой ошарашенности, которое нас объяло и которое его явно позабавило. Ему доставляло удовольствие фрапировать, выражаясь слогом сухово-кобылинских героев, окружающих.

За несколько месяцев до убийства Пальме в Швеции проходила, как всегда, в конце сентября, выборная кампания. Социал-демократы по опросам шли с

блоком буржуазных партий ноздря в ноздрю. Газеты были полны мрачных для них предсказаний.

Каково же было удивление зрителей одного небольшого стокгольмского театра, и это изумление разделили с ними читатели газет на следующий день, когда они увидели Улофа Пальме на сцене. Нет, не в роли трибуна, ратующего за победу своей программы, а в небольшой эпизодической партии французского полицейского.

Эта история стоит того, чтобы поведать о ней поподробнее. В театре «Регина» уже два месяца шел французский водевиль «Отель с привидениями». Режиссер придумал, чтобы проходную роль констебля каждый вечер играл кто-нибудь из внетеатральных знаменитостей. Встретив в ресторане Пальме, он предложил ему это удовольствие без всякой надежды на согласие. Но Пальме не заставил себя уговаривать. «Заметно усталый премьер-министр проскользнул через служебный вход «Регины» около девяти часов вечера, – писала либеральная столичная газета «Дагенс Нюхетер». – Он приехал туда после нескольких предвыборных митингов».

По ходу дела констебль должен был арестовать крупного преступника.

– Единственное, что от тебя требуется, – втолковывал режиссер премьеру, – это сказать: «Следуйте за мной и никаких фокусов».

– И никаких фокусов, – добавил он на всякий случай. Уже от себя. Премьер послушно кивнул.

Публика, увидев его на сцене, пришла в дикое возбуждение. Никогда еще, по свидетельству прессы, ни один шведский премьер не получал столько аплодисментов за одну реплику, которую, впрочем, никто в этом гаме и не услышал. Но этим дело не ограничилось.

Исполнявший роль начальника полиции актер по ходу действия приказал арестованному назвать свое имя. Вместо него ответил констебль – Пальме:

– Бу Парневик.

Публика грохнула.

Растерявшийся начальник полиции повторил свой вопрос. И снова Пальме:

– Улоф Букард.

И снова взрыв хохота. Буквально пароксизмы в зале. Оказывается, Пальме назвал имена двух пародистов, которые уже много лет пробавлялись за счет его голоса и мимики.

– Возможно, я и не отношусь к числу лучших характерных актеров нашей страны, но все равно было приятно внести свой маленький вклад в поддержание культурной жизни, – продекламировал премьер, прощаясь с режиссером, который не знал, гневаться ему на нарушителя конвенции или благодарить его.

Через месяц состоялись выборы. Их окончательный результат не был известен до последней минуты. Чаша весов, демонстрируемая в виде цифр и графиков на экране телевизоров, склонялась на виду у всей страны то в одну, то в другую сторону.

Улоф Пальме, который, как и вождь консерваторов, всю эту долгую ночь не сходил с тех же экранов, сохранял невозмутимость. Так, легкая загадочная усмешка мелькала время от времени на его губах. И только в тот момент, когда стало все ясно, он сорвался с места. Теле- и фотокамеры так и запечатлели его – со вздетыми вверх руками и лицом, которое буквально распирала ликующая улыбка.

Снимок обошел всю мировую печать. Рядом с этим снимком, который я берегу, у меня перед глазами стоит кадр из фильма «Амадеус».

Неслучайно многие считали Пальме, ну, тронутым, что ли. Одни полагали, что у него чего-то не хватает, другие настаивали, что, наоборот, слишком много, и все эти трюки — это поза и игра прожженного политика, который знает лучше любого актера, что надо публике, то бишь электорату. Один из магнатов шведского бизнеса сказал мне не без ожесточения:

— Если он Вам так нравится, возьмите и сделайте его Генеральным секретарем ООН. Там он лучше себя проявит.

Не думаю, чтобы Ельцин или Зюганов получали удовольствие, когда на выборах 1996 года выплясывали — один трепака, другой — подобие твиста. А Пальме... На вопрос, было это для него позой или жизнью, он ответил своей смертью.

Наше знакомство начиналось при благоприятных обстоятельствах. Социал-демократы только что вернулись к власти в Швеции. Я как посол подгадал как раз к его инаугурации, сменив престарелого Яковлева, просидевшего в Стокгольме десять лет и пережившего год назад шок, вызванный пленением нашей подлодки, заплутавшейся в мелководье шведских шхер.

Мое появление читалось как предложение начать все с чистого листа. Пресса приветствовала меня как опального главу авторско-правового ведомства, который побывал в Стокгольме уже несколько раз и «наводнил» Швецию переводами еретических советских авторов.

— Трифонов, Распутин, Айтматов, Солоухин, Белов, Розов, Быков, Шукшин...

К тому же у меня было письмо, род рекомендации, Георгия Арбатова, который был членом очень популярной тогда международной комиссии Пальме.

В силу всего этого и первая встреча наша состоялась чуть ли не на следующий день после вручения мною верительных грамот королю.

Но медовый месяц длился меньше тридцати дней. В прессе стали появляться сообщения о новых нарушениях шведских территориальных вод неизвестными подводными лодками. Созданная риксдагом парламентская комиссия указала на СССР.

То, что для вручения ноты протеста советского посла вызвали не в МИД, как полагалось бы, а прямо к премьеру, в прессе трактовалось как свидетельство экстраординарного подхода руководства страны к происходящему. Пальме объяснил мне это по-другому.

Через огромный стеклянный холл в резиденции правительства Русенбад, ведущий к лифту на этаж, где был кабинет премьера, я вынужден был прокладывать себе дорогу буквально локтями в толпе репортеров. Когда я возвращался, мы с моим секретарем-переводчиком просто покатились комом вместе с журналистами и их фото- и телеснаряжением по широким ступеням парадной лестницы.

А в кабинете, пожав мне руку и пригласив садиться, Улоф Пальме пробормотал, словно бы смущенно, все необходимые слова и протянул мне двухстраничную ноту.

Я со своей стороны сказал то, что требовалось от меня, то есть, что проинформирую свое правительство, и, откланявшись, повернул к выходу. Пальме догнал меня у самых дверей и, положив руку на плечо, сказал: «Я считал необходимым самому погромче крикнуть, чтобы обезоружить самых громких крикунов».

Конечно же, он рисковал, потому что, если бы я процитировал его, отвечая на бесконечные, часто весьма эмоциональные вопросы журналистов, а соблазн такой был, ему бы не поздоровилось.

Для меня же это явилось первым признаком того, что он и сам не уверен в объективности и доказательности предъявленных обвинений.

Но пойти против течения невозможно было в тот момент даже ему с его авторитетом и самовитостью.

Чтобы понять, что за атмосфера тогда царила в стране, достаточно заглянуть в газетные подшивки тех месяцев. Газета «Арбетет» на полном серьезе писала: «Остается без ответа со стороны комиссии вопрос о том, осуществлялось ли радиообщение окруженными подводными лодками через советское посольство. Таким образом предстоит еще ответить на захватывающий вопрос: руководил ли вновь назначенный русский посол Борис Панкин лично бегством подлодок из залива Хошфьердена?»

Того, кто увидит в этих строках своего рода розыгрыш, я должен разочаровать: «Если радиосообщение обеспечивалось через посольство, то это объясняет причину высылки советского военно-морского атташе».

Другая газета, респектабельная «Дагенс нюхетер» опубликовала снимок, на котором перископы торчали из воды прямо перед королевским дворцом в центре города. И главный редактор газеты, встретившись случайно со мной как раз в этот день, не нашла ничего лучше, как сослаться в смущении на то, что была в командировке в день выхода злополучного номера.

Мы и потом еще несколько раз встречались с Улофом Пальме по тому же поводу. И каждый раз казенные слова очередного протеста он смягчал каким-нибудь жестом или фразой.

— Что ж, — сказал он мне в одну из наших встреч, — советская сторона утверждает, что лодок нет, шведская — что лодки появлялись и появляются. Нам не удается добиться признания от вас, вам не удается убедить нас. С этим надо жить.

И уже следующую встречу он начал с того, что стал мне показывать фотографии из фамильного альбома, сделанные некогда еще в Курляндской губернии, где находилась усадьба его предков с материнской стороны. Это было своеобразной прелюдией к его сделанному мне заявлению, что он хотел бы отправиться в Москву с визитом. Дело было вскоре после того, как он побывал на третьих по счету государственных похоронах в Москве.

Да, в пору, когда по инициативе шведской стороны контакты с СССР на политическом уровне были прерваны из-за пресловутых «нарушений», которые сидели у меня в печенках, Пальме летал в Москву три раза. И все на похороны. Вместе с дядей короля — принцем Бертилем, потомком наполеоновского маршала Бернадота, который был еще при жизни своего принципала призван на шведский королевский престол.

Улетали чуть свет, в 5.15 утра, на крошечном реактивном самолете. Возвращались в тот же день вечером.

Я помню, приехав их провожать в первый раз, часов этак в пять утра, никак не мог найти этот самолет на поле второго по значению и отнюдь не правительственного стокгольмского аэропорта, в пятнадцати минутах от центра города, который выбрали, чтобы не ехать далеко. Ни неизбежной у нас, и при Брежневе, и при Горбачеве, Ельцине или Путине, не говоря уж о Сталине или Хрущеве, свиты, никаких кортежей, никакого правительственного зала.

Вышел из «Вольво» вместе с еще парой человек, подождал несколько минут приезда принца, который по шведскому протоколу, как принц-регент, считался руководителем делегации, пожал еле отыскавшему их в предрассветной темноте советскому послу руку — и к самолету. Бегом по лесенке — трапу. Принц, в мягком черном сильно поношенном, как это принято у аристократов, пальто, успел еще сказать мне, что очень мило с моей стороны, что он никак не ожидал... Еще поинтересовался, какая погода в Москве, сколько времени будет продолжаться печальная церемония и где будет происходить — на воздухе или в закрытом месте. Принц боялся простудиться, и это было так понятно в его семьдесят с лишним лет.

Самолет взревел и улетел. На поле остался я с секретарем-переводчиком да работники технических служб.

То же самое по возвращении. В тот же день, точнее — вечером. Из самолета — прямо к ожидающей поодаль паре машин. Улоф Пальме — с чем-то вроде авоськи со свертками в газетной бумаге в них в одной руке. В другой — набитый до отказа пузатый портфель. Никому из сопровождающих, их было двое, и встречающих, шофер и помощник, и в голову не пришло взять у шефа эти предметы. А он явно не ощущал никакой неловкости, ни физической, ни иной, от того, что они были у него в руках.

Принц Бертиль все три раза, — дело было, как помните, или поздней осенью или ранней весной, — жаловался на холод и ветер на трибунах Красной площади, зато с похвалой отзывался о хорошем горячем напитке, который подавали присутствующим — «как наш глег».

Похороны — невеселое дело, но Пальме возвращался каждый раз все более оживленным. В третий раз, в марте 1985 года рассказал, что удалось не только пожать руку, но и «перебросится парой фраз с Вашим новым руководством».

...Теперь, попросив передать его пожелание в Москву, он ясно дал понять, что не хотел бы, чтобы его намерение стало известно в шведских кругах.

Так трансформировал он для себя собственный афоризм «с этим надо жить». Решился сломать-таки плотину недоразумений и не хотел, чтобы ему в этом помешали пресса или оппозиция.

Двумя годами раньше он в той же манере готовил визит в Стокгольм Ясира Арафата, который имел устойчивую репутацию безжалостного террориста. Только после его сенсационного появления в столице Швеции палестинского лидера стали принимать всерьез в других европейских столицах.

За три недели до согласованного уже, но еще не объявленного срока поездки Пальме принял мое приглашение на обед со словами:

— Да, надо потолковать о философии визита.

За два дня до убийства я видел его на перекрестке двух главных улиц Стокгольма.

..Все социал-демократические премьеры служили одному делу, и служили и служат одинаково ревностно. Но у каждого свой почерк, каждый окрашивал время на свой лад. Самые яркие и оригинальные краски, конечно же, в палитре Улофа Пальме.

В молодости его называли «мальчиком Эрландера», того самого шведского премьера, который принимал Хрущева и катал его на лодке в своей скромной загородной резиденции.

Со временем секретарь, потом помощник премьера стал министром, а там — главою кабинета. Довольно характерный, кстати, путь для шведских лидеров.

Таким же примерно он был и у Ингвара Карлссона, который был мальчиком, и Таге Эрландера и Улофа Пальме. И после своей добровольной отставки написал книгу «В тени Улофа Пальме»

Карьеры сходны, личности разнятся. То, что другие лишь перенимают друг у друга, Пальме творил. То, что для иного – только лозунг, для него – глубокий душевный порыв. Жить для него означало бороться. Вызывающее у нас в постсоветское время оскомину, понятие это было его естеством.

Министром, сломав все протокольные правила, он двинулся к воротам посольства США во главе демонстрации, протестующей против американской агрессии во Вьетнаме, за что тут же и навсегда был занесен за океаном в черные списки.

Много позднее, став премьер-министром в четвертый раз, он «спровоцировал» беспрецедентную демонстрацию предпринимателей, выступавших против создававшихся по его инициативе фондов трудящихся, которые противники социал-демократов ехидно называли «фондовым социализмом». На самом деле речь шла о наступлении на безработицу, которая подпрыгнула при буржуазном правительстве, об укреплении базы пенсионного обеспечения и формах влияния рабочих и служащих на деятельность предприятий, включая и частные. На политические дебаты с участием Пальме у телевизоров собиралась вся страна. Когда его не стало, вспоминали и об этом. В очередную годовщину его убийства даже идейные противники признавались, что жить в Швеции без него стало скучнее. Говорили, что преемники Пальме хоть и разделяют его воззрения, не обладают его ораторским даром и не способны возбуждать столь сильные эмоции.

Да, было что-то моцартианское в его натуре. Казалось, он легко, играючи справляется со своими обязанностями, и в то же время, как строптивый иноходец, рвет постромки, все время взламывая клетку политического гетто, в котором поневоле находился, как и все люди его ранга. Делают политику сотни и тысячи людей. Тон ей задают единицы.

Стокгольмские каникулы

Дело было в начале нашего с женой второго стокгольмского периода.

В начале августа погостить к нам приехала дочь с двумя детьми — восьмилетней Аленой и трехлетним Александром, Сашкой.

Мы с Валентиной все еще чувствовали себя новоселами на десятом месяце нашей новой жизни в Стокгольме, так что приезд дочери и внуков был немалым событием. Меня он волновал и по-человечески, по-семейному, что объяснять не надо, и по-писательски. Дело в том, что и дочка, и особенно внучка, в силу целого ряда обстоятельств, многие годы моей посольской деятельности прожили с нами. Вместе с нами кочевали из Стокгольма в Прагу, из Праги в Москву, из Москвы в Лондон и снова в Москву. Были знакомы, а может быть, и избалованы слегка атрибутами дипломатической жизни, в которой для них, в отличие от нас, лепестков розы было больше, чем терний. Преувеличенные знаки внимания главе дипломатического учреждения со стороны его послушного и внешне почтительного окружения неизменно распространяются на его чад и домочадцев. Неизбежное в таких ситуациях зло, которое мы всеми силами стремились свести к минимуму. Запомнилось, однако, как в Лондоне, где не достигшая еще и шести лет маленькая Алена ходила несколько месяцев в английскую церковную школу, она спросила отвозившего ее туда шофера: а они там хоть знают, что мой дедушка — посол?

Как-то все сложится теперь? И вообще — как им, двум Аленам, покажется Швеция, пять лет спустя после того, как они ее покинули?

Впрочем, правомерно ли отнести вопрос к обеим нашим гостьям? Ведь младшей было лишь четыре года, когда она рассталась со Стокгольмом.

Как оказалось, переменой в нашем положении она совсем была не озабочена. Наоборот, никогда раньше у нее не было такой возможности гулять по плавающим в спокойствии улочкам и закоулкам нашего Миниберга, торчать с самодельной удочкой на берегу озера и бесконечно нырять со шведскими ровесниками в воду прямо под нашим балконом.

Только дня три спустя после приезда Аленка призналась, что ей страшновато было ехать из Арланды с дедушкой за рулем «Вольво». Раньше-то она его в такой роли никогда не видела. К тому же все домашние не устают повторять, что с техникой дед совсем не в ладах. И она, пожалуй, готова с этим согласиться. Скорее из вредности, чем по справедливости.

Зато наша новенькая «Вольво» ей нравится куда больше их московской, тоже, кстати, новенькой «Лады». Она настаивает на том, чтобы только ей одной было доверено открывать и закрывать двери машины, которые издают при этом такой аппетитный звук. Прилежно и с удовольствием застегивает на себе ремни безопасности и строго напоминает об этой обязанности забывчивым

взрослым. Для нее ни с чем не сравнимое наслаждение заставлять, с помощью карточки, открывать ворота большого общественного гаража, где стоит наша машина. Конечно, рассуждает она, явно цитируя старших, водить «Ладу» куда труднее, чем «Вольво». Руль крутить очень трудно. И на тормоза надо жать изо всех сил. Дверь скрипит, когда ее открываешь.

И неожиданный вывод: в Москве все-таки лучше, чтобы была «Лада», а не «Вольво».

Почему, спрашиваю я, притворяясь невинностью. Она с недоверием смотрит на меня: неужели, мол, не понимает? Да «Вольво» же сразу угонят!

Но тут, увы, и я могу поделиться печальным опытом. И впервые это доставляет мне некоторое удовольствие. Не все уж так блестяще в Швеции! Перед самым вашим приездом, говорю внучке, прихожу утром в гараж, а новенькая машина лежит, извиняюсь, на брюхе. Все четыре колеса сняли ночью жулики. И это в гараже с кодированным въездом.

— Ну и что дальше было? — тут уж в разговор включается дочь.

А дальше — вызвал полицию с помощью соседей. Полицейские составили протокол. Потом вызвали трак из компании, которая перевозит ставшие инвалидами машины. Отвезли мою «Вольво» на ближайшую станцию техобслуживания. Там написали письмо в страховую компанию. Заплатил шельфриск. Новые колеса поставили бесплатно. А заодно и систему безопасности.

И сколько же это времени заняло?

В ночь на воскресенье случилось, а во вторник позвонили. Приходите за машиной. Я, правда, специально попросил все поскорее сделать, чтобы вас на своей машине встретить.

Дочь с внучкой торжествующе смотрят на меня. «Понимаешь, мол, сколько времени это заняло бы в Москве?!»

«И сколько надо было бы дать». Это уж дочки выражение. Не внучки, слава богу.

Как и каждый ребенок в ее возрасте, младшая Алена непрерывно сравнивает Москву со Стокгольмом. С превеликим удовольствием она набирает цифры кода при входе в подъезд. Ей нравится вызывать лифт и то, что двери его открываются сами собой после легкого нажатия на большую как бы нарисованную на стекле кнопку. Не надо, говорит, как у них в Москве, двигать лязгающие решетки вправо и влево. Когда мы приезжаем с нею в супермаркет «Форум», она стремглав несется к тележкам с пяти- или десятикроновой монетой в руке. В магазине никому не доверяет эту тележку возить, как бы тяжело она ни была нагружена, а получив при выходе монету обратно, тоже доставляющая удовольствие процедура, отнюдь не претендует на нее. Для нее важно, как это все ловко получается.

Постепенно я начинаю понимать, в чем тут дело. Ей нравится обитать в мире хорошо сделанных и безупречно функционирующих вещей и устройств. То, чего она, увы, лишена в Москве, хотя семья живет во вполне приличных по московским меркам условиях, будь то дом, район или заработок главы семьи.

Это уже не персональная, а социальная проблема. В бывшем Советском Союзе вырваться за ее рамки не дано было никому. Можно соорудить какую угодно роскошную дачу или особняк для министра или для партийного босса. Но даже для Генсека не перестроишь улицы Горького в Москве, не порадуешь его глаз привычным для рядового западного обывателя супермаркетом на окраине

столицы или города на Неве, который еще назывался Ленинградом. Качество жизни зависит не только от уровня доходов той или иной семьи. Не случайно открытый еще при Брежневе на Пушкинской площади в Москве Макдональдс, один-единственный на восьмимиллионную советскую столицу, выглядел звездным пришельцем. Чтобы попасть в него, надо было несколько часов выстоять в очереди. И это при том, что пресловутый Биг Мак всего лишь плохая копия традиционной русской котлеты.

Так что не только устами, как утверждает библейская мудрость, но и глазами младенца глаголет истина. Я люблю, когда красиво, выплеснулось как-то у нашей Алены. Когда красиво, тогда хорошо.

Видя мирно стоящие у подъездов стайки велосипедов, внучка не раз повторяла: у нас такие долго не простояли бы...

Ее удивляло и радовало, что каждый карапуз пищал ей навстречу: «Хей!» Что продавец в Консуме, кооперативный магазин местного значения, рассчитываясь с дедом или бабушкой, мог улыбнуться ей и протянуть жвачку, а то и какую-нибудь игрушку. Что на детских площадках — их тут у-у сколько — никто ей не говорит: «Ты не отсюда».

Детские эти наблюдения и сетования я невольно переводил на свой взрослый язык. Россия унаследовала многие хронические язвы прошлого режима и не очень-то активно с ними борется. Не то чтобы всего, что увидела моя внучка в Стокгольме, нет в Москве. Скажите, чем только не способна блеснуть сегодняшняя российская столица? Разве только хрестоматийным птичьим молоком. Но все это пока кое-как, то густо, то пусто. Дворцам сопутствуют пустыри, орхидеи, образно говоря, растут на свалках мусора. Нет благорасположенной среды обитания, которую человек, родившийся и выросший в ней, просто не замечает. К ней-то, полузабытой, и потянулась подсознательно младшая Алена. В России социальное бытовое окружение продолжает негативно воздействовать на людей, рождает грубость, страх, эгоизм, нетерпимость. Открытия моей повзрослевшей внучки будили во мне собственные, теперь уж тринадцатилетней давности воспоминания. Я сравнивал Стокгольм со Стокгольмом. Мне трудно было защищать Москву, но и Швеция уже не представлялась такой благополучной и безупречной, образцовой, какой она выглядела первые годы работы послом. Что это — объективная реальность? Или поездив, повидав свет, поработав в других столицах, я сам стал требовательнее и придирчивее?

Звонок из Уппсалы

В Швеции любят все делать заблаговременно. Отчаявшись однажды в конце недели дозвониться до кого-либо из нужных мне в тот момент людей, я пожаловался на это своему старому знакомому.

— А ты разве не знаешь, что уик-энд в Стокгольме начинается в пятницу с утра? — удивился он.

Поработав послом в Англии и Чехословакии, попутешествовав по свету, могу засвидетельствовать, что нигде к Рождеству не начинают готовиться так рано, как в Швеции. Арки из разноцветных электрических лампочек над Библиотека гатан, добродушные в красных колпаках гномы в витринах модного ЭНКО, первые срубленные в лесу елки на экранах телевизоров, поздравительные открытки и оберточная бумага сплошь в Санта-Клаусах (по-шведски — том-тен) и золотых звездах... Все это появляется уже в ноябре.

А ведь впереди еще — День Нобеля, 10 декабря, когда Стокгольм наводняют новоиспеченные нобелевские лауреаты и их близкие. Главный банкет дают король и королева в необъятном зале городской ратуши, чей шпиль со знаменитыми тремя коронами стал неформальным гербом шведской столицы. А там еще? 13 декабря — День святой Люсии, который отмечают с не меньшим размахом: процессии девушек в длинных белых одеяниях, с короной на голове и горящей свечой в руке словно бросают вызов темени, которая в эту пору опускается на шведские города и веси уже в три часа пополудни.

Не думаю, что все эти традиции рождены лишь желанием поскорее сесть за обильный рождественский стол. Душе нужен праздник, как говорил один из «чудиков» Василия Шукшина. Нужен он и королю с королевой, и членам нобелевских институтов, и так называемому среднему шведу, который слывет в мире эталоном благополучия. Благополучие это не такое уж безусловное, как представляется многим в России, — плод кропотливого труда, повседневных забот. Хочешь не хочешь, а непрерывная будничная суета отягощает душу, иссушает ее, и она рвется на простор, тянется к возвышенному. Душе, а не телу прежде всего нужен праздник на Рождество.

Для нас с женой «первой ласточкой» зимних торжеств с давних пор служит звонок из Уппсалы — от Черстин Берглунд.

До недавнего времени она была настоятельницей четырнадцатого столетия церкви Святой Троицы, Helga Trefaldighets kyrka, которая так непринужденно расположилась в тени своего великого собрата — почти тысячелетнего Уппсальского собора, славного не только своей архитектурой (кирпичная готика), но и тем, что там похоронены первый «настоящий» король Швеции Густав Ваза, тот, что избавил страну в XVI веке от датского владычества, и предтеча экзистенциализма, великий шведский поэт, философ и мечтатель Эммануил Сведенборг.

А теперь вот Черстин на пенсии.

Женщина-священник. И священник-пенсионер. Два неизвестных у нас феномена, которые теперь, после многих лет знакомства, воспринимаются как нечто вполне естественное.

Впервые мы встретились с Черстин в доме, вернее, в усадьбе внука Льва Толстого, агронома Павла Львовича Толстого (Пала — на шведский манер), который родился в Ясной Поляне, но волею судеб нашел вторую родину в Швеции.

Дело было в 1988 году. Только что у нас в стране прошел юбилей Льва Толстого, в котором, естественно, приняли участие и представители многочисленной толстовской колонии из Швеции. Благо перестройка широко открыла им свои объятия. В Москве они познакомились с переводчицей Таней Балдовской, страстной поклонницей великого писателя, и им захотелось увидеть ее в Стокгольме. Но она, как оказалось, числилась в Советском Союзе в «черных списках», которые, словно реликты мрачного прошлого, все еще были неподвластны гласности, и выезд из страны ей был запрещен. Павел Толстой попросил Черстин «постучаться» в советское посольство. Она написала мне, тогда послу в Швеции, письмо, я «нажал», и успешно, на Москву: тут снова перестройка сработала. Приезд Балдовской, наша общая маленькая победа, и явился поводом для встречи в усадьбе Толстых Хальмбюбуда под Уппсалой, которая своим ласковым привольем, неповторимым сочетанием лесных кущ и шуршащих созревающим зерном нив напомнила в тот день сразу и Ясную Поляну, и знакомое по описаниям Сельмы Лагерлеф шведское поместье где-нибудь в Вермланде.

...Когда в конце прошлого, теперь, впрочем, уже позапрошлого, столетия сын Льва Толстого — Лев Львович — серьезно заболел, врачи рекомендовали ему показаться знаменитому шведскому медику Ернсту Вестерлунду. Эффект превзошел все ожидания. Больной вылечился и женился на дочке медицинского светила Доре. Жили потом молодые в Ясной Поляне. Но когда случилась Октябрьская революция, русско-шведской чете было, к счастью, куда эмигрировать.

Павлу Толстому, который был старшим ребенком в семье, еще не исполнилось двадцати лет. Долгие десятилетия личных связей с Россией не было, но русский язык сберегался и культивировался сначала в семье Льва Львовича, потом — Павла Львовича. Неторопливо ведя беседу с главой семьи, мы словно окунулись в атмосферу прозы его великого деда.

Подобно ее церкви в Уппсале, под боком у величавого собора, Черстин Берглунд в нашем восприятии оказалась тогда в тени великолепного в своей старости патриарха Павла Толстого. И этому не приходится удивляться. Но вскоре от нее стали приходить письма сначала в Прагу, потом в Лондон. Поводы для этого были, увы, и скорбные. Сначала Черстин сообщила о смерти Биргит, жены Павла Львовича, а затем и о его, весною 1992 года, кончине на девяносто втором году жизни. За несколько месяцев до кончины он успел еще выслушать «отчет» его младшего брата Никиты, который в возрасте девяноста лет отправился в Москву на Конгресс соотечественников и попал в «августовскую заваруху».

В письмах этих, копиях документов, которыми она их сопровождала, предстала история их дружбы.

Впервые они встретились на похоронах шведского друга Палы, где Черстин отправляла печальные обязанности священника. На Толстого это произвело такое впечатление, что он как об одолжении попросил Черстин выступить в

той же роли, когда придет и его черед. Невзирая на различия в обрядах протестантской и православной конфессий.

Черед этот пришел, и Черстин исполнила волю покойного. В старинной церкви местечка Фунбю пели псалмы, о которых он попросил в письменном завещании. На органе была исполнена мелодия «Однозвучно звенит колокольчик». Меню на поминках тоже было составлено его рукой. Внук Толстого ко всему подходил основательно. И к жизни, и к смерти. Свечи из русской церкви в Москве привезла и раздала детям, внукам и всем родственникам и близким Таня Балдовская, которую Черстин в своем письме назвала «важным звеном в цепочке, связующей русских и шведов».

К письму было приложено описание траурной церемонии в переводе на русский, сделанном Балдовской. Адресуясь к словам выбранного Павлом Толстым псалма: «То же солнце, что когда-то освещало райский сад...», Черстин сказала на похоронах: «Сегодня солнце не светит, но я думаю, что Пала был бы рад дождю. Этот редкий весенний дождь так нужен земле и всему, что на ней растет. Хлебопашец душою и телом, он ощущал это лучше, чем кто-нибудь другой».

Потом она прочитала выученную на русском языке молитву «Упокой, Господи, душу раба твоего Павла» и сказала, что заупокойная служба идет в эти часы и в маленькой приходской церкви в Ясной Поляне.

...Если Черстин привязывается к человеку, то уж не теряет его из виду. Это ее призвание — собирать людей, близких по духу. Встречи с ними она считает божьим подарком.

Словом, она была одной из первых, кто позвонил нам сразу же по возвращении в Стокгольм, чтобы заблаговременно, тоже характерная шведская черта, пригласить к себе домой, в Уппсалу, на одну из первых предрождественских встреч.

Список гостей, который Черстин, как здесь водится, прислала нам по факсу, оказался перечнем приятных сюрпризов. И самый дорогой из них — посол Агда Россель: когда-то своим расположением она облегчила мои первые шаги на дипломатическом поприще в Стокгольме, начинавшиеся под аккомпанемент обвинений СССР в подводно-лодочной экспансии, которой, как теперь выясняется, вроде и не было...

Здесь Агду Россель зовут шведская Коллонтай. В то время как у нас за последнее десятилетие взгляд на Александру Михайловну поменялся уже несколько раз — то ли она великий патриот, то ли ленинская подпевала, — в Швеции, где она проработала послом с 1930 по 1945 год, ее упорно чтут, и первый шведский посол-женщина Агда по-прежнему гордится, теперь, увы, уже гордилась, своим вторым именем.

Была в списке подруга Агды и моя знакомая по посольской еще службе — тогда министр по вопросам окружающей среды, а теперь тальман риксдага (председатель парламента) Биргитта Даль... Был мэр Уппсалы... И я понял, что не случайно все это. Просто предугадывая сумятицу наших чувств, Черстин попробовала излечить ее этим актом воссоединения с близкими ей и мне людьми.

Встретились мы все в церкви субботним утром за несколько минут до начала службы, которую отправляла Черстин. Прихожане пели псалмы, слушали проповедь, погружались в себя, соединялись сердцем с близкими и дальними своими, живыми и мертвыми.

Потом был обед у Черстин, в ее церковном доме, который ей вскоре предстояло покинуть. Из окон второго этажа были видны словно нарисованные на

фоне ослепительного голубого неба шпили собора и церковь Святой Троицы. На кровлях лежал и сверкал под солнцем ранний снег. Вот такое бы под самое Рождество!

Потом мы пели песни, в том числе и те, которые любил Павел Толстой. Сначала русские, под аккомпанемент фортепьяно, за которым сидела Черстин. А потом шведскую, которая в моем восприятии явилась кульминацией этого подаренного нам Богом и людьми дня. Каюсь, я не знал к тому времени имени ни поэта, ни композитора и только дивился, к счастью, не первый раз в жизни, тому, как могут неведомые тебе люди так глубоко заглянуть в тебя, угадать настроение. Чудо было и в том, что при всей ограниченности моего шведского ни одно из слов песни не потребовало перевода. Кощунственным казалось мне даже позднее прибегнуть к словарю.

Тем не менее для книги я попросил помочь мне профессионального переводчика Евгения Ривелиса.

Друг мой единственный,
дни все короче,
Так поспешим же, любимый, любить.
Свечи зажжем, время тянется к ночи,
Скоро цветущему лету не быть...

И мне вспомнился Булат Окуджава:

Мы не будем этой темени бояться...

Много еще с тех пор было и будет, надеюсь, встреч с Черстин, но эта запомнилась как никакая другая.

Ингвар Кампрад — олигарх из Ельматарюда

Впервые я встретился с Ингваром Кампрадом лет пятнадцать назад. В бытность свою советским послом в Швеции. Познакомил нас бывший тогда премьер-министром Ингвар Карлссон. А случилось это во время визита в Швецию Николая Рыжкова — советского премьера времен Горбачева.

Следующая встреча произошла уже в Москве, в Кремле, куда Кампрада пригласил Николай Иванович.

С тех пор все лелеял я мысль написать об этом удивительном человеке и его деле.

Но сначала останавливали посольские заботы. А позже — мысль о том, что пока хоть один магазин мебельной империи ИКЕА не появится в России, разговаривать с россиянином на эту тему будет трудновато.

Теперь, когда первый супермаркет ИКЕА уже несколько лет как открыт у северных ворот Москвы, откладывать этот рассказ просто грешно.

Признаюсь, пока я ближе не познакомился с этим человеком, его женой и тремя сыновьями, не побывал у него дома — сначала в местечке Ельматарюд, провинции Смоланд, откуда и Астрид Линдгрен, а потом на окраине Женевы, я довольно скептически относился к тому, что приходилось слышать, читать и о Кампраде, и его компании.

Уж больно идеальная картина получалась, словно бы специально сочиненная к началу перестройки и распространению в нашей стране нелитературных мечтаний о свободном рынке, цивилизованном капитализме и предприимчивых юнцах из трудовой семьи, которые исключительно в силу своих добродетелей становятся даже не миллионерами, а миллиардерами.

Да, согласно ежегодно публикуемым данным, Кампрад — много лет уже — миллиардер, входит в если не в десятку, то уж точно в сотню самых богатых людей на планете.

Не знаю, каково личное состояние семьи, но в 1999 году, когда был открыт стопятидесятый супермаркет ИКЕА, торговый оборот этого уникального «мебельного магазина», которым владеют Кампрады, составил 7,5 миллиарда долларов. Можно добавить, что торговые центры ИКЕА на тот же 1999 год располагались в 28 странах на пяти континентах. В США их тринадцать, в Китае и Польше — шесть, в Германии — двадцать пять и крошечной Голландии — восемь. У компании — семнадцать гигантских мебельных складов, две тысячи поставщиков оборудования, готовых изделий и их компонентов.

Сорок четыре тысячи рабочих и служащих обслуживают ежегодно до 195 миллионов посетителей.

...А теперь из другой оперы. 4 апреля 1991 года, когда я уже почти год работал послом в Чехословакии, пришло написанное, как всегда от руки, почерком

отличника письмо от Ингвара: «Дорогие Валентина и Борис! Как мы счастливы! Сегодня мы выкупили заказанные по АПЕКС авиабилеты. В 12.45 семнадцатого мая мы вылетаем из Женевы и в 14.40 будем в Пражском аэропорту. Мы надеемся пробыть с вами до понедельника, двадцатого, но если это вам не подходит, вы можете отделаться от нас в любое время».

Честно говоря, в то время летавший «по положению» только первым классом, не то что сейчас, я понятия не имел, что такое АПЕКС, то есть условия приобретения самых дешевых билетов в тур-класс.

Когда жена мне разъяснила, я вспомнил, по ассоциации, другой случай. Вскоре после нашего первого знакомства Ингвар пригласил к себе в Смоланд. На другой день он предложил проехаться за компанию с ним по близлежащим кооперативным магазинам — он кое-что должен закупить для предстоящего небольшого приема, а я познакомлюсь с набором товаров в шведской кооперативной сети. Когда дело дошло до покупки тоника, Ингвар минут пять обсуждал с сыном, Матиасом, купить ли десятка два классических, по 330 граммов, бутылочек или оптом три-четыре двухлитровых бутылки, что будет дешевле. Остановились на втором варианте.

Тот же Матиас, тогда еще студент, зарабатывал на каникулах деньги тем, что выкорчевывал лес на усадьбе у родителей. Жаловался, не без юмора, что за огромный участок отец предложил ему всего три тысячи крон, — гораздо меньше, чем заплатили бы за то же самое наемным рабочим. Когда позже он поступил на общих основаниях на работу в один из торговых центров ИКЕА, первоначальная зарплата его была такой, что, по словам его жены, они «просто бедствовали» и спасались лишь дешевыми обедами в кафе той же ИКЕА.

Гостя у Кампрадов в Смоланде, мы ловили рыбу в маленьком озере с дряхлых подмостков — и не каких-нибудь там лососей или сигов, а всего лишь окуньков средне-русских размеров, с которых Ингвар освоенным еще в детстве способом ловко снимал шкурку вместе с чешуей, после чего тушки, громко именуемые филе, поджаривал на углях. Вкуснота необычайная. Собирали грибы — в основном любимые его лисички, и все это вечером шло на ужин, который вместе и готовили.

Через пару лет после Праги, в Лондоне, куда Ингвар с женой Маргаретой прилетели по делам фирмы, мы заехали за ними, чтобы покатать их на посольском «Роллс-Ройсе» по английской столице, и глазам своим не поверили, увидев, в какой скромной гостинице обитало семейство шведских олигархов.

Если бы у меня существовало сейчас хоть малейшее подозрение в том, что речь идет о некой необъяснимой скупости, я бы, конечно, обо всех этих деталях не стал бы и говорить. Даже если бы это была не скупость, а своего рода рисовка, кокетство, которые нередки у феноменально богатых людей.

Но тут — и не то и не другое. Это — естество, нашедшее выражение в своего рода заповедях Ингара Кампрада, которые он чуть ли не впервые обнародовал в мидовском (тогда еще СССР) журнале «Международная жизнь».

— Расточительность в ресурсах, — писал он, — одна из тяжелейших болезней человечества. Многие современные здания являют собой скорее памятники человеческой глупости и тщеславию, чем рациональное удовлетворение нормальных потребностей... Зачем копить документы, которые никогда снова не понадобятся, тратить время на доказательства того, что вы всегда правы, занимать телефон, когда можно написать пару строк или послать факс... Для поддержания своего статуса ИКЕА не нуждается в роскошных машинах для руководства, титулах и званиях, швейцарах в униформе.

Но экономить, по Кампраду, — не значит тратить мало. Это означает — тратить разумно. Идет ли речь о десятках и сотнях миллионов долларов или каких-нибудь тысячах и даже сотнях крон. Не говоря уж о чисто производственных затратах, приемы по случаю памятных дат компании или одержанных бизнес-побед отличаются обилием и многолюдством. В недавнем письме он заметил, что открытие супермаркета в Москве не принесло и в ближайшие пять лет не принесет ему ни кроны или рубля прибыли, что он считает неизбежным. Тут не остановило владельца компании даже то, что первая неудавшаяся попытка обосноваться в России обернулась потерей двенадцати миллионов долларов.

В ту давнюю пору, когда он мальчонкой, сыном фермера средней руки, продал в округе в розницу привезенную ему дядей из Стокгольма пачку из ста коробок знаменитых шведских спичек, и чуть позднее, когда торговал пасхальными открытками, собственноручно выловленной рыбой и собранной брусникой, он вряд ли думал об отвлеченных материях, хотя уже тогда если не понял, то ощутил, что торговля — это то, чем он будет заниматься всю жизнь.

Кстати, первой его покупательницей была его бабушка, и после смерти в ее шкатулках обнаружили многие навевавшие ностальгию покупки — карандаши, авторучки, рождественские открытки...

Торговля — его страсть, его навязчивая идея. «Я испытываю наслаждение, занимаясь бизнесом», — воскликнет он позже. И продавать он будет не богатым, не «меньшинству», а «большинству», частицей которого был сам на пороге жизни. И это не из каких-то возвышенных соображений, которые были ему просто не по возрасту, а в силу врожденной практической сметки.

Позднее о нем скажут, что ИКЕА сделала для демократизации страны больше, чем многие яркие политические акции вместе взятые. После того как он впервые выгодно продал, хотя и предложил покупателям скидку, не просто кофейный столик, но и кресло к нему, а вместе с креслом, которое он назвал Рут, настольную лампу и софу, понял, что надо быть готовым предложить покупателю все, что ему потребуется для дома. Не для замка, не для виллы, а именно для дома.

Поняв, сделал и сам удивился, как прибыльно пошли дела. Благо, что выражение «народный дом» было в ту пору становления «шведской модели» у всех на устах.

То, что сейчас стало «общим местом» в производстве и торговле мебелью, впервые предложил именно он, в 1948-м, через год после того как семнадцати лет от роду оформил свою фирму, зашифровав в ее названии собственные имя и фамилию, а также название мест, где жил и где зарегистрировал компанию, — Ельмтарюд и Агиннарюд. Получилось — ИКЕА.

К его изумлению, на первую же демонстрацию-продажу собралось около тысячи человек со всего Смоланда. А между тем всем приглашенным на открытие были обещаны кофе с булочкой. Чтобы сдержать слово, пришлось всей команде и попотеть, и потратиться. Зато из этого первого угощения родились рестораны ИКЕА, без которых ее уже трудно представить.

Да пусть и сам магазин, куда люди приходят и приезжают на один час, напоминает им дом. И торговая площадь должна иметь домашний вид — вот гостиная, вот кухня, вот спальня. Покупатель выбирает все, что ему нужно, а продавец заказывает выбранное у производителей.

Позже это стало первой заповедью. Надо предложить широкий выбор со вкусом выполненной функциональной домашней мебели по ценам, которые

были бы доступны как можно большему числу покупателей. То есть должно быть в продаже буквально все, что необходимо в доме и у его порога.

Привлекательности должна сопутствовать надежность. Доступная цена не за счет качества и срока службы. Так же, на первый взгляд, спонтанно, а на самом деле из учета верно подмеченных потребностей родилась идея самосборки мебели покупателем, которая стала основным профилем, торговой маркой ИКЕА.

Одна заповедь влечет за собой другую. Всего их у Ингвара Кампрада — девять. Не десять, в отличие от Моисея. Изложить их — значит, представить философию компании, которая, по твердому убеждению Ингвара Кампрада, обладает материальной силой. Недаром эта философия стала предметом изысканий и диссертации в Гарварде. Эти заповеди — не то что он сначала придумал или где-то вычитал, а потом жил по ним. Нет, он сначала жил, начал действовать, а потом уж появилась потребность отлить пережитое и осмысленное в слова.

Легко сказать — лучше и дешевле. Говорят же — я не так богат, чтобы покупать дешевые вещи. И тут вступает в силу столь характерный для шведов поиск золотой середины. Если будем запрашивать слишком много, не встретим должного спроса. Если слишком мало — лишимся ресурсов. Не гнаться за мгновенной отдачей, а добиваться хороших результатов в течение длительного времени. Думай не о дивидендах, а об инвестициях. Наша прибыль — это не сладкая жизнь, а ресурсы.

Не так-то легко, как мы убедились на собственном опыте в России, усвоить эту простую истину, тем более следовать ей. И тут заявляет о себе, как трубы в оркестре, такое понятие, как дух ИКЕА. Твоя работа — не просто добывание средств к жизни. Это — энтузиазм. Если вы, работая, не испытываете «неисправимого энтузиазма», считайте, что по крайней мере треть вашей жизни пошла насмарку.

Кампрад признает, что поначалу он был единственным носителем этого самого духа. Сотрудники приходили и уходили, зато те, кто приживался, оказывались такими же, как он, чудиками.

По мере разрастания дела дух ИКЕА подвергался новым и новым испытаниям: «не так трудно было поддерживать его (дух. — *Б.П.*) в старые добрые времена, пока нас было мало, когда каждый знал каждого. Труднее, когда таких, как ты, — тысячи, а там и десятки тысяч. И не так уж заметно, есть у тебя этот самый дух или нет его... Тот, кто так рассуждает, утверждает Кампрад, достоин сожаления. И рано или поздно расстается с компанией. Или она с ним. Будь то в Стокгольме, Шанхае, Нью-Йорке, Праге или Москве. Дух ИКЕА — не есть нечто данное раз и навсегда. Его надо поддерживать и лелеять, но не специально, а всем ходом дел, отношением к ним.

Не бойся советоваться с коллегами и сотрудниками, но и не уходи от личной ответственности — гласит еще одна заповедь. Нерешительность не замаскируешь ни заседательской суетней, ни пристрастием к социологическим опросам.

Самое оригинальное решение ничего не стоит, пока мы не знаем его цену. Дорогое решение — удел посредственности.

Порядок должен соблюдаться, но не превращаться в оковы. Излишняя регламентация, преувеличение роли планирования — синоним бюрократизма. Бюрократизм, как и безответственность, парализуют.

Тот, кто на основе этих сентенций решит, что Ингвар Кампрад — рупор прописных истин, ходячая добродетель, беспроигрышный робот, — сильно ошибется.

Он грешен, как и все мы, и не лишен слабостей. В хорошую минуту, да, пожалуй, и в плохую, а у него бывают такие, — может принять на грудь. И даже загудеть на день или два, заранее очистив, правда, эти дни от каких-либо деловых обязательств. Сам был тому свидетелем и соучастником, когда, бывало, мы с ним отправлялись в лес, окружающий его «маленький коттедж», как называет он свою комфортабельную и просторную усадьбу в Смоланде, по грибы. Вдали от бдительных женских глаз он не преминет, заговорщически подмигнув, вытащить из потертых джинсов початую бутылку и спросить, в переводе на русский: из горла будешь?

А традиционный шведский «праздник раков», куда мы были приглашены как-то поздним летом вместе с тремя-четырьмя его ближайшими сотрудниками? В Швеции, в отличие от нас, раков едят с водкой, а не с пивом, и когда бокалы с этим напитком наполнили в очередной раз, кто-то из его сподвижников спросил Ингвара, подмигнув нам, не тот ли это дух, о котором он так любит напоминать, чем немало позабавил шефа.

Если читатель скажет, что все, к чему я подвожу, так это доказать, что и богатые, миллиардеры — люди, он будет прав.

Еще десяток лет назад такое утверждение воспринималось бы как цитата из воскресной сказочки. Сегодня оно приобретает злободневность.

Именно потому, что среди наших сверхбогачей уж очень много нелюдей.

Их сходство с такими предпринимателями, как Ингвар Кампрад, — мнимое. Оно лишь в том, что у них тоже — куча денег, хотя в отличие от того же Кампрада их финансовая отчетность не отличается прозрачностью...

Впрочем, и для Запада Ингвар Кампрад — не такая уж типичная фигура. Тем-то он и интересен.

Скажут еще — наши олигархи, как и Кампрад, сколотили свое состояние на протяжении одного поколения. Добавлю — даже быстрее. Если ему для этого понадобилась целая жизнь, у них это получилось за считанные годы, а порой — месяцы, если не за одну ночь. Такое ни в Швеции, ни в иной цивилизованной стране уже лет двести как невозможно.

Наши олигархи любят называть себя российскими Рокфеллерами, Фордами, Кендаллами, Морганами, Гейтсами...

Но те действительно что-то предприняли. Форд создал автомобилестроение. Кендалл наводнил мир пепси-колой. О Гейтсе и говорить нечего. А что предприняли наши?

И вот как в свое время «строительством социализма в одной стране» была скомпрометирована сама идея социализма, восходящая еще к раннему христианству, так наши олигархи успели уже скомпрометировать капитализм, частную собственность, предпринимательство.

Другими словами — не система красит человека, а человек систему. Недаром Ингвар Кампрад неоднократно объявлялся «человеком года» в Швеции.

Карлсон, который живет в каждом доме

Задумав написать об Астрид Линдгрен, я перелистал свои записи разных лет, перебрал в памяти наши встречи и даже телефонные разговоры.

В соприкосновении с людьми, подобными ей, мелочей не бывает. И со временем эти мелочи оказываются даже важнее того, что представлялось тебе главным. Впрочем, есть ли вообще в мире такие люди, как Астрид? Она — единственная в своем роде. Быть может, потому, что единственность личности — это именно то, что она сама утверждает в отношении каждого человека на земле. Это ее символ веры, пусть и не записанный ни на каких скрижалях.

Когда в апреле 1995 года, вскоре после моего возвращения в Стокгольм из Лондона, Астрид пригласила нас с женой к себе на обед, она потребовала, чтобы я тщательно записал ее адрес, хотя я, как и многие в Швеции, знал его наизусть еще со времен нашей первой, десятилетней давности, встречи. Мне невольно вспомнился Шолохов: «Если соберешься ко мне, езжай на Курский вокзал, билеты бери до станции Миллерово...»

Так же дотошно она выясняла позднее наш адрес в Миннеберге, район Стокгольма, когда собиралась в гости к нам. По инерции я назвал и цифры входного кода. Потом спохватился. Какой код? Разве я не встречу гостей, Астрид и ее друга и литературного агента Черстин, на улице?

Я вышел из дома по крайней мере за пятнадцать минут до условленного срока и обнаружил, что Астрид и Черстин сидят и оживленно беседуют на скамейке в нашем дворе под лучами позднеиюньского необычайно жаркого в тот день солнца.

— Беспокойная Астрид, — объяснила мне тут же Черстин, — потребовала, чтобы мы выехали по крайней мере за час. И соответственно заказала такси. Таксист, услышав адрес, сказал, что на дорогу потребуется не больше пятнадцати минут. Я предлагала Астрид позвонить и подняться к вам раньше, но она заявила, что это неудобно.

То-то порадовались этой невольной оплошке мои соседи. Весть о появлении Астрид Линдгрен в нашем дворе облетела округу быстрее пламени, бегущего по хворосту. Дети и взрослые дефилировали мимо увлеченной разговором парочки как на демонстрации.

Не знаю, говорят ли эти «мелочи» читателям столько, сколько мне, но я убежден, что только таким способом можно добавить что-то к портрету всемирно известной писательницы. Именно в деталях, думаю я, сидят те самые чертики, которые так часто можно было увидеть в глазах Астрид.

Это они, я думаю, играли в ее взоре, когда, прогуливаясь по улочкам стокгольмского Риддерхольма, Острова Рыцарей, Астрид запросто потянула на себя подтяжки проходившего мимо нее парня с прической скинхэдов — клок

слепившихся оранжевых волос на бритой голове — и спросила: «Слушай, ты почему так выглядишь?»

Держу пари: не многие сегодня в Швеции рискнули бы поступить таким образом. Астрид — всегда неожиданность. Ей просто жаль было, что симпатичный молодой человек уродует себя так в угоду дурацкой моде. И 18-летний Никлас понял ее порыв. Любого другого, будь он сам премьер-министр или высший полицейский чин, он послал бы, наверное, как в России принято теперь говорить, далеко-далеко. Но на вопрос Астрид он только и осмелился пробормотать:

— Трудный вопрос, трудный вопрос.

— Обещай мне, что ты пострижешься по-человечески, — продолжала теребить его подтяжку Астрид.

— Обещаю, — истово заверил парень.

— Обещай, что посоветуешь это своим друзьям.

— Обещаю...

Когда Астрид об этом рассказывала у нас дома, у меня не было никаких сомнений, что собеседник ее обязательно так и поступит, как она ему сказала.

По крайней мере именно так произошло на моей памяти, можно сказать, на моих глазах, с двумя другими персонами. А они и постарше, и куда именитее Никласа.

Первый из них — это Ингвар Карлссон. Второй — Михаил Горбачев. С первым случилось в дни ее юбилея, в ноябре 1987 года, когда она при всем честном народе сказала поздравлявшему ее премьер-министру, что нужно обязательно принять закон о гуманном обращении с домашними животными. И попробовал бы он это не сделать. Ведь разговор транслировался по телевидению, и его видела и слышала вся Швеция. На носу были очередные парламентские выборы. Словом, закон был принят. Теперь вокруг этой проблемы дебаты идут уже на международном уровне — в Европейском союзе.

А я хочу завершить эту часть моего рассказа еще одной деталькой. Посольские странствия по Швеции привели меня на остров Оланд, в гости к одному бизнесмену, который активно торговал с нашей страной. Во дворе его виллы бегал голосистый пудель. Хозяин заметил, что щенок этот принадлежит к первому поколению пуделей, которым, согласно принятому недавно риксдагом закону, не отрубают хвосты. Вот бы сюда Астрид, подумал я.

В другом случае, к которому я теперь хочу обратиться, мне довелось быть уже не только свидетелем, но и участником. Его тоже хорошо помнят в Швеции. Но мало кто до недавнего времени знал одну решающую подробность.

В Стокгольме объявилась супружеская пара из Эстонии. Молодые люди приехали туристами в Хельсинки, куда советским людям выбраться было проще, чем в другие западные страны, а там сели на паром — и в Стокгольм, где попросили политическое убежище. Но здесь было осложнение. У молодой четы дома, в Таллине, осталась дочь, пятилетняя Кайса. Они, естественно, потребовали воссоединения с ней, и пресса, и общественность Швеции, да и других стран столь же горячо их поддерживала.

Демонстрации у ворот посольства с каждым днем становились все многолюднее, а в один далеко не прекрасный день супруги разбили у ограды палатку и поселились в ней. К тому же еще объявили голодовку. Дело между тем двигалось к очередной годовщине Октября. Шел второй год горбачевской перестройки. Я бомбардировал телеграммами Москву, настаивая на положительном решении вопроса. В интересах дела не брезговал и легкой долей демагогии.

Мол, накануне Октябрьской годовщины, в преддверии праздничного приема в посольстве, самое бы время продемонстрировать свежие веяния политики нового руководства по вопросу о правах человека.

Москва мертво молчала. Так бывало и раньше, когда не соглашались с послом. Молчание к делу не пришьешь. Отказ — это уже документ. Улика.

И вот пришло адресованное мне письмо Астрид Линдгрен. Конечно же, о Кайсе. Обращаясь ко мне, как к доброму старому знакомому, она писала: «Я надеюсь, что Вы не посчитаете меня дерзкой и вмешивающейся в такие дела, которые не имеют ко мне никакого отношения. Дело в том, что мысли об этом не дают мне покоя даже по ночам, и только Вы можете помочь мне...

Я могу себе представить, что для господина Горбачева не так уж и важно мнение шведского народа в этой связи. Однако трудно поверить в то, что он не позволит своему большому русскому сердцу высказаться в пользу невинного ребенка.

Я умоляю Вас, пожалуйста, попросите его».

Добавив несколько строк Горбачеву от себя, я поручил моему тогдашнему секретарю Косте Косачеву (ныне — председатель Комитета Госдумы по международным делам. — *Б.П.*) перевести письмо Астрид на русский и отдал его шифровальщикам. Через два часа его текст был в Москве. Я ждал с замиранием сердца. Мои прежние послания могли и не дойти до Горбачева, но обойтись так с письмом Астрид Линдгрен, я был уверен, не осмелятся.

На следующий день из Москвы пришло сообщение, что по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Кайсе разрешен выезд к родителям.

Как это водится у бюрократов, они могут саботировать принятие решения бесконечно. Но когда оно все же принято, тем более на таком уровне, ничто не может сравниться с их оперативностью. Я еще не успел разыскать Астрид и рассказать ей о реакции Горбачева, а Кайса уже была в Стокгольме.

Когда пять лет спустя мы вспоминали с Михаилом Сергеевичем эту историю в Москве, он искренне сокрушался, что не догадался тогда собственноручно написать Астрид несколько строк. Но она никогда на это не сетовала. Она была полна радости, что семья соединилась, и не очень поощряла разговоры о ее личном участии в воссоединении семьи.

О той роли, которую сыграла писательница в судьбе Кайсы, я рассказал на страницах популярного шведского еженедельника, своего рода аналога нашей «Недели». Вскоре я получил коротенькое письмецо от Астрид, которое начиналось фразой абсолютно в ее духе. Чтобы уловить это, надо сначала привести ее на шведском: Voj voj vilken underbar artikel du bar skrivit... То есть: ой, ой какую ты статью написал! И далее: «Черстин читала ее мне (Астрид, увы, сейчас почти не видит. — *Б.П.*), и мы обе почувствовали себя приподнятыми и вознесенными. А я, так ну просто воздвигнута на пьедестал...»

Мне оставалось гадать, над кем Астрид больше посмеивается — над собой или надо мной.

Но это все было много позже, а тогда Москва с присущим ей в те времена здоровым цинизмом решила, что железо надо ковать, пока оно горячо. Мне пришло поручение пригласить Астрид Линдгрен от имени Генерального секретаря поучаствовать в одной из бесчисленных международных сходок, которые проходили тогда у нас в Москве чуть ли не каждую неделю. Не припомню, то ли это был международный форум за выживание, то ли всемирный конгресс деятелей культуры.

Приглашение поставило Астрид в трудное положение. Было неловко отказать Горбачеву, который так живо откликнулся на ее обращение. Но и ехать в эту толчею, как она называла все на свете совещания и заседания, ей тоже было не под силу.

Тогда она написала два письма. Одно — мне, в котором, сославшись для порядка на нездоровье — «мой доктор посоветовал мне не очень-то гарцевать», — высказалась откровенно: «Я не оратор. Я только писатель. И я не думаю, что я смогу обогатить этот митинг какими-нибудь новыми идеями. Мне неловко признаваться в этом, но я надеюсь, что Вы меня поймете. Я надеюсь, что подвернется другой случай побывать в Москве, когда можно будет обойтись без речей и тому подобных вещей».

Второе письмо было Горбачеву. В нем Астрид рассказывала о пятилетнем мальчике, который спрашивал ее: «Я боюсь войны. Ты тоже?» — и желала форуму стать «шагом на длинном, трудном пути к долгожданному миру».

Москва меж тем не собиралась отступать. Детский фонд наградил Астрид Линдгрен Почетной медалью Льва Толстого. И уважение к русскому гению не оставило ей пути к отступлению.

Провожая ее в дорогу, я сказал в шутку сопровождавшим ее журналистам, что в Советском Союзе две книги сейчас наиболее популярны — Библия и «Карлсон, который живет на крыше».

Когда она вернулась, ее спросили на пресс-конференции: так ли это?

Она, потупив в притворном смущении очи, подтвердила, добавив:

— Но я удивлена была, что Библия так популярна в России.

...Немного найдешь сейчас в мире стран, особенно в Европе и США, где бы к голосу писателя, художника прислушивались так, как к словам Астрид в Швеции (хотя Шведская академия и не торопится с присуждением ей Нобелевской премии).

И немного в мире таких деятелей духа, которые, подобно ей, могли бы, выражаясь словами Пушкина, «истину царям с улыбкой говорить». Это особенно горько сознавать в отношении России, где поэт даже в коммунистическую эпоху был «больше, чем поэт».

Одеяло оттянули на себя политики и так называемые политологи. Одни действуют сплошь и рядом неуклюже, дилетантски, эгоистически и амбициозно, а другие торопятся объяснить и оправдать их художества. И кажется, что вполне можно обойтись без сокровенного слова, замешанного на боли, настоянного на совести, обеспеченного мудростью и опытом. Оно даже мешает, когда все-таки звучит. Не оттого ли даже Солженицын, который был иконой в России пока жил в эмиграции, превратился в мишень для иронических стрел, когда вернулся на Родину.

Перешагнувшая 93-летний рубеж, уже почти не появлявшаяся на людях, Астрид Линдгрен и осязаемо, и незримо присутствует в повседневной жизни Швеции и каждого шведа. Нечего и говорить, что надо очень постараться, чтобы найти дом, в котором были бы дети, но не было бы ее книг.

Именами ее героев дети и взрослые наделяют и обзывают друг друга. Их облик узнаваемее любой суперзвезды.

Шагнув в театр и кино, ее творения родили целую сцено- и киноиндустрию, неповторимую музыкальную стихию. Песни из кинофильма «Пеппи — Длинный чулок» звучат как позывные в радио- и телепрограммах.

Люди «не прощают» Астрид ее возраста и жаждут ее помощи, совета, терпеливо ждут ответов на письма...

...Кажется, проголосовав полтора десятка лет назад, пусть и почти неприлично малым меньшинством, за вступление в Европейский союз, шведы впервые не послушались свою Астрид. Я спросил ее тогда, как она к этому относится.

— Наверное, я ошиблась, — сказала она смиренным голосом. Но в глазах заплясали знакомые чертики. Времени еще предстоит рассудить этот спор писательницы с ее читателями. Ведь сейчас чуть ли не половина населения сожалеет, что подобно Норвегии их страна не отказалась присоединиться к ЕС.

...О чувствах, которые охватили без преувеличения всех жителей Королевства утром в понедельник 28 января 2002 года, лучше всего сказать словами Пушкина: «Печаль моя светла». В возрасте 94 лет умерла Астрид Линдгрен, второе Я современной Швеции. И все, о чем говорилось выше в настоящем времени, надо, увы, переводить в прошедшее. Впрочем, так ли?

Об умерших говорят: ушел, ушла... Но этих слов не слышно, когда в Швеции говорят, не вспоминают, а именно говорят об Астрид. Говорят о мире, который она создала и нам подарила. И этот созданный ее фантазией мир реальней всякой материальной реальности.

Физически — это ее книги, один перечень которых занял бы целый газетный лист, фильмы и спектакли, поставленные по этим книгам, песни, сочиненные для этих фильмов и спектаклей, которые сразу же зажили самостоятельной жизнью.

Духовно — это та неповторимая атмосфера, которая окружает ее героев, детей и взрослых, воздух добра, справедливости, взаимопонимания... И юмора, который пронизывает каждую строку написанного ею и каждое слово, сказанное в повседневном общении.

Если задуматься над ее кредо, хотя сама она явно никогда не ломала над этим голову, то оно вот в чем: ребенок — это тоже человек, даже больше человек, чем взрослый.

Все, что детям нужно, — сказала она однажды, — это любовь. Больше любви. И еще больше любви.

И это то, добавлю от себя в полном согласии с Астрид, что нужно и взрослым, чтобы человечество выжило.

А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?

Зная, что я люблю путешествовать по их стране, мои шведские знакомые часто спрашивают, что мне больше всего понравилось или запомнилось. И нередко удивляются ответам. Пять лет назад, например, когда я расставался со Стокгольмом, чтобы направиться послом в Прагу, где только что свершилась «бархатная революция», этим поинтересовался маститый журналист Харальд Намрин. Он брал у меня интервью для «Дагенс нюхетер», что — то вроде наших «Известий» советской поры. Я сказал ему: «Болнес», — и увидел недоумение в его взгляде. Пришлось объясниться.

Конечно же, я влюблен в Стокгольм с его прочно утвердившейся репутацией «Северной Венеции». И вечно соперничающий с ним Гётеборг всегда манит к себе. Да и Даларна с ее Рэтвиком, «сердцем лена», по словам одного из шведских королей. Мура с домом Цорна и Бурленга с Вазастугой недалеко от нее. Бывал я и в Кируне, и в Хельсинборге, и в Оребру...

Но для меня место всегда связано с людьми и обстоятельствами. В Болнес нас пригласила Гуннель Юненг, которая тогда была членом риксдага от партии центра. Собственно, даже не сам Болнес, чудесный и очень шведский городок, произвел такое сильное впечатление, а маленькая деревушка, почти хутор, недалеко от него, где находился летний дом нашей гостеприимной хозяйки. В доме том вместе со своими бабушкой и дедушкой проживали ее внуки, два мальчика лет пяти и семи, и девочка чуть постарше. Ее звали Лиза, точно так, как ее ровесницу в фильме «Дети из Бюленбю», по повести Астрид Линдгрен, который мы, так случилось, посмотрели незадолго до этой поездки в лен Евле.

Дело было в середине лета. Деревушка, окруженная живописными холмами и ласковым лесом, утопала в зелени. Маленьких, тоже типично шведских «красных домиков», из которых она состояла, было почти не видно, и только звенели неутомимо детские голоса, приглашая нас то в сад, полюбоваться созревающей малиной, то на огород, нарвать огурцов, то на какие-то им одним ведомые тропы, где обязательно встретишь оленя... Семилетний Андреас то и дело ревниво спрашивал меня: Лиза правду говорит, что ты ее друг? Мне все это напоминало мое собственное детство. Те два года во время Второй мировой войны, которые я провел на хуторе у бабушки. В Поволжье.

Вот что пришлось мне поведать Харальду Хамрину, чтобы он меня понял и не обиделся за Стокгольм.

Если теперь меня спросят, я назову еще одно место, в котором побывал уже первым летом после возвращения в Швецию. Пожалуй, и здесь брови у многих могут подняться. Gallery Astley. Хотите знать, где это? Поезжайте по E 18 до Вестероса и сверните направо по 66-й, которая приведет вас к

Рамнесу. Оттуда по еще более скромной 233-й надо двигаться в направлении Шинскаттеберга. А там по дороге, которая даже на карте лена Вестманланд вообще не имеет номера, до Уттешберга. В трех километрах от него, на месте отжившей свой век железнодорожной станции начала нынешнего столетия, и раскинулись привольно строения Галереи Эстли. Остается объяснить, чем она мне так дорога. Тут снова целая цепь неожиданностей, совпадений и ассоциаций, которые, собственно, и являются предметом этого моего рассказа.

Незадолго до переезда в Прагу, примерно в ту самую пору, когда я давал упомянутое выше интервью Хамрину, мне позвонил из Нью-Йорка Эрнст Неизвестный, всемирно известный русский скульптор и график, эмигрировавший в конце семидесятых годов из СССР. В свойственной ему непринужденной манере он сообщил, словно мы виделись с ним только вчера, что у него под Стокгольмом открылась студия. Я изумился и засыпал его градом вопросов. Он сказал, что мне все объяснит ее директор Эстли Нюлен. Так оно вскоре и случилось.

Между тем последний раз я встретился со скульптором много лет назад. В московском баре «Жигули» на Старом Арбате за кружкой пива с копченой скумбрией он поведал мне, шумно и экспрессивно, что покидает страну, где совершенно уже невозможно стало заниматься творчеством. Последним толчком к отъезду, по наивным конспиративным соображениям мы не произносили слова «эмиграция», был его памятник опальному Хрущеву. В 1962 году при посещении художественной выставки в московском Манеже Никита Сергеевич именно на Эрнсте сосредоточил весь огонь критики «абстракционизма». По убеждению этого борца с культом личности Сталина, искусство скульптора Неизвестного было всего-навсего бредом сумасшедшего, злостным хулиганством, которое спровоцировал зловредный Запад. Эрнст, как известно, отвечал всесильному советскому лидеру мужественно и с достоинством: «Вы премьер-министр страны, а здесь, у моего стенда, я премьер. И извольте говорить со мной на равных».

На своенравного, но отходчивого Хрущева это, видимо, произвело такое сильное впечатление, что перед смертью он повинился и завещал детям просить Эрнста Неизвестного высечь памятник на его могилу. Эрнст согласился. Позолоченную голову Хрущева он поместил в раму из белого и черного мрамора, отразив трагический дуализм его личности, который лег и в основу отношений властителя с художником.

Была долгая борьба с идеологами режима, прежде чем памятник разрешили установить на могиле на Новодевичьем кладбище. Уступив поневоле, власти отыгрались на другом. Закрыли кладбище для свободного посещения. Вслед за этим для Эрнста началась изнурительная тяжба из-за выездных виз...

Когда в конце 1994 года я вернулся в Стокгольм, Эстли Нюлен, который нашел меня благодаря публикациям в Ика Курирен, снова пригласил нас с Валентиной в студию. Назначение Галереи Эстли — служить прекрасному в жизни и культуре. В дни нашего посещения там, например, открылась выставка, посвященная искусству Мексики, от ацтеков до наших дней, и чуть ли не каждый из гостей щеголял в тут же купленном пончо. Но молва уже нарекла это место музеем Неизвестного. Причиной тому необыкновенная, поистине поэтическая привязанность Эстли и всего его семейства к творчеству и личности гонимого в годы коммунистического правления художника.

Первая встреча с Неизвестным, которая произошла по инициативе Эстли, еще больше укрепила его в намерении купить землю и старинные строения на ней и открыть галерею. Сюда, в ту пору еще бездомный скиталец, Эрнст приезжал отдохнуть и отвести душу. Все здесь располагало к этому. Обрамленные хвоей речушки и озера. Бесконечные лесные тропы, которые напоминали родное Приуралье. Кулинарный талант Рут Нюлен, беседы за глотком «Абсолюта» с главой семьи. Отдых незаметно переходил в ожесточенную работу. Плодами ее стали десятки, если не сотни рисунков, эскизов, набросков, которые бережно хранят хозяева галереи. Иллюстрации к Данте, Достоевскому. Наброски собственных будущих работ в камне. На глазах влюбленных в его резец хозяев он изваял здесь варианты Кентавра и Пророка. Его излюбленные образы. Установленные подобно творениям Миллеса под открытым небом, они доминируют в этой маленькой артистической деревне с ее портативными выставочными залами, концертным холлом, небольшими магазинчиками сувениров. По какому бы поводу ни приехал сюда посетитель, зритель или слушатель, каждый первым делом устремляется к этим изваяниям. На мой взгляд, в них заключены все страсти, боли, взлеты и падения нашего века.

Наши беседы с Эстли, его сыновьями, дочерью и женой напоминали звучание близкого Эрнсту по духу какофонического оркестра: мы все говорили одновременно и каждый прекрасно слышал других. Я рассказал им о своей последней встрече с Эрнстом — в Нью-Йорке, когда он подарил мне авторский экземпляр цикла своих литографий «Man through the Wall» — Китайская стена, Кремлевская стена, Берлинская стена... Как ни драгоценен был подарок сам по себе, дороже его была надпись: «Борису Панкину в память о стенах, которые мы проходили». «Кремлевская стена» стала обложкой моей книги на шведском языке «Последние сто дней».

Еще одно счастливое совпадение позволило мне рассказать моим друзьям об эпизоде, который стоял за этим посвящением. И сделать это устами его автора. Незадолго перед этой нашей встречей в Галерее Эстли в Москве отмечали 70-летие «Комсомольской правды», газеты, в которой я проработал двадцать лет. В отличие от большинства других изданий, ей не пришлось перестраиваться в эпоху, начатую Горбачевым. Может быть, поэтому ее поздравило столько выдающихся персон, включая Бориса Ельцина и Эрнста Неизвестного. Каждый из них упомянул и мою скромную особу. Человек творчества, скульптор сделал свое поздравление сюжетным. В свое время, написал он, я по просьбе главного редактора Бориса Панкина сделал монумент в память журналистов «Комсомольской правды», погибших в Великую Отечественную войну. Открытие было очень помпезным. Присутствовали многие наши военачальники во главе с маршалом Коневым. Встреча называлась «Фронтовая землянка». Мы пили спирт, как на войне, из алюминиевых кружек и пели фронтовые песни. Панкин повесил табличку, где было сказано, что скульптура создана мною, погибшим в атаке лейтенантом Украинского фронта, которым командовал Конев. Я действительно во время войны считался погибшим. Рядом с табличкой поставили оружейный патрон с цветком.

Вскоре после этого я окончательно впал в немилость и уехал из страны. Но позже узнал, что все так и осталось стоять в «Комсомольской правде» — и монумент, и табличка, и патрон».

Так мы говорили с Эстли, перебивая друг друга, и мечтали о том времени, быть может недалеком, когда на этом месте возникнет Эрнст-горден. Гордон — на шведском многозначное слово. Но в данном случае я бы первел его как сад. Сад Эрнста.

А почему бы и нет? Почему мы умеем чтить по достоинству только мертвых?

Панкин Борис Дмитриевич
П16 Та самая эпоха. — М. : Собрание, 2008. — 582 с. — ISBN 978-5-9606-0057-6.

Борис Дмитриевич Панкин — известный россиийский дипломат, писатель, журналист, литературный критик. В книгу вошли наиболее известные его литературные труды — «Четыре Я Константина Симонова», «Сто оборванных дней», «Пресловутая эпоха», «Шведский дом и его обитатели» и другие.

Для широкого круга читателей.

УДК 82-32+82-4
ББК 84Р7-4

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ
С.А.Стулов

Борис Дмитриевич Панкин

ТА САМАЯ ЭПОХА

Подписано в печать 06.06.2008 г.
Гарнитура NewBaskerville. Формат 70×100/16
Усл. печ. л. 47,45. Уч.-изд. л. 45,26
Тираж 500 экз. Заказ №

ООО «Издательство «Собрание»
109559, Москва, Тихорецкий бульвар, 1, стр. 5
Тел. (495) 389 68 88

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
в ИПП «Гриф и К»
300062, Тула, ул. Октябрьская, 81а